

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

КОСТОМАРОВ

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

русская классика

Смутное время
Николай Иванович Костомаров

Аннотация
Николай Костомаров. Смутное время
Введение
Часть первая. Названый царь Димитрий
Глава первая
I. Самозванство на Украине. – Явление Димитрия. – Пребывание у Мнишка
II. Димитрий в Кракове. – Сватовство. – Набор ополчения. – Вступление в Московское государство
III. Взятие Моравска и Чернигова. – Осада Новгорода-Северского. – Победа Димитрия. – Добрыницкая битва. – Отступление в Путивль
IV. Поведение Бориса. – Посольство в Польшу. – Гришка Отрепьев. – Смерть Бориса
V. Житье Димитрия в Путивле. – Его прибытие в Тулу
VI. Восстание Москвы за Димитрия. – Гибель Годуновых
Глава вторая
I. Прибытие Димитрия в Москву. – Встреча за городом и торжественный въезд. – Димитрий в

Кремле и народные о нем толки

II. Первые дни царствования Димитрия в Москве. – Заговор Шуйского. – Приезд матери. – Царское венчание

III. Черты царствования Димитрия. – Его распоряжения. – Его частная жизнь. – Любовь к иностранцам. – Религиозный либерализм. – Завоевательные планы

IV. Посольство в Польшу дьяка Афанасия Власьева. – Обручение с Мариною Мнишек

V. Недоразумения, связанные с браком Димитрия. – Посольство Безобразова в Польшу. – Недовольство против Димитрия в Польше

VI. Козни и заговоры против Димитрия в Москве. – Его легкомыслие. – Интриги в его пользу в Польше против Сигизмунда

VII. Приезд Мнишека. – Увеселения

VIII. Въезд Марины в Москву. – Поведение поляков. – Прием родственников Марины и послов короля Сигизмунда. – Приготовления к свадьбе

IX. Бракосочетание Димитрия

X. Пять дней после свадьбы. – Пиры. – Споры с послами. – Толки в народе. – Презрение царя к доносам. – Привидение

XI. Ночное совещание заговорщиков. – Легкомыслие поляков. – Новые предостережения

царю. – Последний бал
XII. 17 мая. – Убийство Димитрия
XIII. Продолжение 17 мая. – Расправа с поляками и уловка иезуитов. – Объяснение с послами. – Резня на Никитской улице
XIV. Поругание над трупом Димитрия. – Слухи в народе и сожжение трупа
Часть вторая. Царь Василий Шуйский и воры
Глава первая
I. Избрание Шуйского в цари. – Ограничение царской власти. – Царские грамоты. – Объяснения с Мнишеками и польскими послами. – Царское венчание
II. Перенесение мощей царевича Димитрия. – Окружная грамота. – Новый патриарх. – Объяснение с польскими послами и задержание их
III. Тревога в Москве. – Козни Молчанова и Шаховского. – Волнение в Северской земле. – Слухи о Димитрии. – Ссылка поляков
IV. Болотников. – Мятеж в украинных городах. – Возмущение мордвы. – Волнение в Астрахани, Перми, Пскове. – Болотников подходит к Москве. – Видение. – Челобитная Варлаама
V. Объяснение Болотникова с москвичами. – Ослабление мятежа. – Дворяне оставляют Болотникова. – Поражение мятежников. – Бегство

Болотникова. – Перенесение тел Годуновых. – Примирение патриарха Иова с московским народом

VI. Пример украинных городов. – Осада Болотникова в Калуге. – Явление царевича Петра. – Поражение царского войска под Калугою. – Болотников и царевич Петр в Туле

VII. Сбор и поход царя на мятежников. – Осада Тулы. – Затопление. – Взятие Тулы. – Судьба мятежников. – Несколько названых царевичей

Глава вторая

I. Явление второго Димитрия

II. Новые польские силы. – Недоразумение «вора» с поляками

III. Ополчение Шуйского. – Волховская битва. – Царик Димитрий под Москвою. – Битва на реке Химке. – Действия Лисовского в Рязанской земле

IV. Переговоры с новыми польскими послами и отпуск их. – Увольнение пленных поляков. – Мнишек и Марина в воровском таборе. – Признание Мариною «вора» первым своим мужем

V. Обращение Шуйского к шведам. – Картина тушинского табора. – Виды Сапеги на Троицкий монастырь. – Битва при Рахманцах. – Московские и тушинские перелеты

VI. Успехи вора. – Псков. – Борьба богатых с бедными. – Признание Димитрия. – Переяславль. – Суздаль. – Углич. – Ростов. – Плен митрополита Филарета. – Ярославль. – Поволжские города, Владимир, Шуя, Балахна, Арзамас и другие признают Димитрия. – Верность Шуйскому Нижнего, Смоленска. – Колебание Новгорода. – Удаление и возвращение Скопина. – Убийство Татищева. – Поражение Кернозицкого

VII. Осада Троицы. – Предложение сдаться. – Приступ 13 октября. – Подкоп. – Подвиги русских людей. – Зима. – Бедствие осажденных. – Смуты. – Приступы 27 мая и 28 июня 1609 года

VIII. Поборы и неистовства поляков и русских воров. – Восстание народа. – Отпадение от Димитрия Галича, Соли Галицкой, Вологды, Тотьмы. – Деятельность нижегородцев

IX. Поход Лисовского на Кострому и Галич. – Сбор восстания в Вологде. – Положение северо-восточного края. – Поражение Вяземского. – Поход нижегородцев. – Восстание Владимира, Ярославля и других городов. – Новый поход Лисовского. – Попытка взять Владимир и Ярославль. – Поход на Кострому. – Неудачи Лисовского и Наумова. – Шереметев. – Поражение инородческих скопищ. – Поход Шереметева на Владимир. – Пла-

чевное состояние народа

X. Москва в осаде. – Мятеж против Шуйского. – Деятельность патриарха Гермогена. – Измены. – Дороговизна. – Состояние тушинского табора

Глава третья

I. Приглашение шведов. – Прибытие Делагарди в Новгород. – Поражение Кернозицкого. – Покорение городков. – Упорство Пскова

II. Поход русских и шведов. – Неудача тушинцев под Москвою. – Дела под Торжком и Тверью. – Волнение в наемном войске

III. Дела под Москвою и под Троицею. – Победа Скопина под Калязином. – Средства удовлетворения войска

IV. Дальнейшие успехи Скопина. – Козни тушинцев. – Снятие Троицкой осады

V. Приготовления Польши к войне с Москвою. – Поход польского короля Сигизмунда под Смоленск

VI. Недоразумение польского короля с тушинцами. – Королевские комиссары в тушинском лагере. – Домогательства тушинцев. – Волнения в таборе. – Бегство вора и Марины из табора. – Сапега и Марина в Дмитрове. – Уничтожение тушинского табора

VII. Прибытие в Москву Скопина. – Его смерть

VIII. Волнение в Московском государстве. – Успехи поляков. – Победа русских под Иосифовым монастырем

IX. Битва под Царевым-Займищем. – Битва под Клушином. – Поражение московского войска. – Сдача Царева-Займища и Можайска

X. Козни Жолкевского. – Приход вора к Москве. – Заговор. – Низложение и пострижение царя Василия

Часть третья. Московское разорение

Глава первая

I. Грамота временного правительства. – Партии. – Прибытие Жолкевского под Москву. – Совещания. – Договор об избрании Владислава на царство. – Царя Василия Шуйского низвели с престола

II. Недовольство патриарха. – Присяга Владиславу. – Посольство польских приверженцев вора к королю. – Свидание Жолкевского с Яном Сапегою. – Бегство вора из-под Москвы. – Снаряжение московского посольства к королю

III. Совещание в королевском стане под Смоленском. – Консидерации, привезенные Андроновым. – Занятие Москвы польским войском. – Отъезд Жолкевского

IV. Отношение польского войска к жителям

столицы. – Состояние областей. – Награды от Сигизмунда московским людям

V. Переговоры московских послов с панами под Смоленском

VI. Ропот в Московском государстве. – Заявление Ляпунова. – Мужество патриарха Гермогена. – Боярская грамота к Сигизмунду

VII. Гибель калужского вора

VIII. Твердость московских послов под Смоленском

Глава вторая

I. Грамота из-под Смоленска. – Грамота московская. – Ляпунов. – Заруцкий. – Сапега. – Воззвание Ляпунова. – Восстание разных городов

II. Противодействие поляков. – Движение русских ополчений. – Тревога в столице. – Стеснение патриарха

III. Приближение русских ополчений. – Резня над москвичами. – Сожжение столицы

IV. Осада поляков в Москве русскими. – Битвы. – Усиление восстания

V. Раздоры под Москвою в русском стане. – Гибель Ляпунова

VI. Последнее совещание с послами. – Отправление их в Польшу. – Приступ и взятие Смоленска

VII. Торжество Польши и Рима. – Приведение пленного царя Василия в Варшаву. – Юрий Мнишек

VIII. Взятие Новгорода шведами

IX. Новый вор

X. Месть казачества над земщиною. – Странствование Сапеги за припасами. – Прибытие его к Москве. – Отнятие Водяных ворот у русских. – Смерть Сапеги. – Посольство к королю. – Положение польского войска

XI. Шиши. – Казанское воззвание. – Ходкевич под Москвою. – Стычки. – Отступление Ходкевича. – Конфедераты. – Битва с шишами. – Бедствие Руси. – Лихолетье

Глава третья

I. Видения. – Пост. – Троицкая грамота в Нижнем. – Козьма Захарыч Минин-Сухорук. – Избрание Пожарского в предводители. – Образование ополчения и поход в Ярославль. – Грамота о присылке выборных для выбора царя

II. Деятельность троицких властей. – Медленность Пожарского. – Сношения с Новгородом. – Беспорядки в ополчении. – Скудость средств. – Гибель псковского вора. – Покушение на жизнь Пожарского. – Бегство из-под Москвы Заруцкого. – Поход Пожарского из Ярославля. –

Пожарский у Троицы

III. Струсь заменяет Гонсевского в Кремле. – Движение Ходкевича. – Прибытие Пожарского к Москве. – Битва на Девичьем поле. – Битва на Замоскворечье. – Отбитие возов с запасами. – Потери Ходкевича. – Его отступление от Москвы

IV. Осада Кремля и Китай-города русскими. – Письма Пожарского к полякам. – Гордый ответ поляков. – Голод и людоедство между поляками. – Взятие русскими Китай-города. – Поляки кладут оружие. – Освобождение Москвы. – Судьба польских пленников

V. Прибытие короля Сигизмунда с Владиславом в Московское государство. – Стан под Волоком Ламским. – Неудачное посольство в Москву. – Сигизмунд уходит домой. – Избрание в цари Михаила Феодоровича Романова

VI. Посольство к Михаилу в Кострому. – Его прибытие в Москву и вступление на царство

VII. Судьба Заруцкого и Марины с ее сыном, нареченным Иваном Димитриевичем. – Конец Смутного времени и значение этой эпохи в русской истории

Источники

Аннотация

Костомаров Николай Иванович (1817—1885) – русский историк, публицист, писатель, педагог и общественный деятель, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Автор многотомного труда «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей».

В книге «Смутное время Московского государства в начале XVII столетия» на основе разнообразных письменных источников подробно изложены события в Московском государстве начиная со смерти царя Федора Иоанновича в 1598 г. и до восшествия на престол Михаила Романова в 1613 г.

Этот период, получивший в историографии название Смутного времени, стал одним из самых трагических в истории России, включив в себя страшный голод в царствование Бориса Годунова, череду царей-самозванцев, гражданскую войну и польскую интервенцию, когда «восстал сын на отца, брат на брата, враги ж иноземные терзали государство». Тушинский вор стоял под Москвой, а

польский король под Смоленском, и гибель русского государства казалась неизбежной…

Николай Костомаров
Смутное время

© ООО «Издательство АСТ», 2026

* * *

Введение

I

В сентябре 1580 года у московского царя Ивана Васильевича в Александровской слободе была свадьба: царь женился на дочери боярина своего Федора Федоровича Нагого, Марье Федоровне. Это был, как показывают хронографы, осьмой брак царя; но что было запрещено и делало соблазн для других, царю Ивану Васильевичу было позволительно. Неизвестно, спрашивал ли он на этот брак особого разрешения церкви, но оно было даваемо ему прежде. Недозволительно было церковью — в четвертый и в шестой, и в восьмой раз вступать в супружество; если же собор дозволил ему, не в пример другим, жениться в четвертый раз, то он сам после того мог успокаивать свою совесть, разрешая себе и в восьмой. Свадебное празднество совершалось со всеми надлежащими обрядами того времени. Роли свадебных чинов были розданы так, что вышло как-то знаменательно и странно: посаженым отцом царя был его сын Федор, а невестка Ирина Федоровна — посаженой матерью; другой сын, Иван Ива-

нович, был у него тысяцким; дружками были: со стороны жениха — князь Василий Иванович Шуйский, со стороны невесты — Борис Годунов, оба будущие цари московские.

Бракосочетание царя с девицею из дома Нагих должно было возвысить эту фамилию. Дядя новой царицы, Афанасий, был человек, известный своим долговременным пребыванием в Крыму в качестве посла московского. Эта возвышающаяся фамилия встретила соперничество в Годунове. Борис Федорович Годунов, татарин по происхождению, женатый на дочери царского любимца Малюты Скуратова, брат жены царевича Федора, уже в последние годы царствования Грозного делался одним из первых людей около царя; уже зачиналось то могущество, которое его ожидало по смерти Ивана Васильевича. Нагие стали ему на дороге, и он тоже стал на дороге Нагим. Рассказывают, когда царь Иван Васильевич убил железным жезлом старшего своего сына Ивана Ивановича, Борис хотел было защитить царевича и получил несколько ударов от царя тем же железным жезлом. После того он сидел в своем доме за Неглинною и врач Строгонов делал ему заволоки для нагноения, на месте удара. Федор Нагой, отец царицы, воспользовался случаем и

заметил царю, что Борис притворяется больным и удаляется от царских очей. Грозный царь сам отправился в дом Бориса, но убедился, что тот действительно не выходит от болезни, сам видел его заволоки и, в наказание за оговор, приказал положить заволоки своему тестю, совершенно здоровому и не имевшему нужды в заволоках. Вообще быть тестем или шурином московского государя не было счастье: родственники одной из жен его, Собакины, поплатились жизнью за эту честь.

В 1583 году царь Иван вздумал было жениться на английской принцессе Марии Гастингс. Когда отправлен был в Англию Федор Писемский, то в наказе ему было написано: «Если спросят: как же это царь сватается, когда у него есть жена?», то Писемский должен отвечать: «Она не царевна, не государского рода, неугодна ему, и он ее бросит для королевской племянницы». Царю Ивану не впервые было распоряжаться так сурово со своими женами. Три из предыдущих его жен — Анна Колтовская, Анна Васильчикова и Василиса Мелентьева были заточены в монастырь и должны были благодарить Бога за то, что царь оставил им жизнь. Не так милостиво разделался он с одною из них, Марьею Долгорукою: женившись

на ней 1573 года ноября 11-го, он узнал, что она еще прежде потеряла свое девство, и на другой день после свадьбы приказал *затиснуть* ее в колымагу, повезти на борзых конях и опрокинуть в воду[1]. Подобные примеры должны были указывать новой царице, Марье Федоровне, чего она могла ждать каждый день. Бедная царица была тогда беременна и 19 октября 1583 года родила сына; нарекли его Димитрием, а прямое имя ему, говорит летописец[2], Уар, потому что он родился в день, когда празднуется память мученика Уара. Дошли об этом слухи в Лондон. «Смотрите, — сказал Томас Рандольф русскому толмачу Елизару, — когда вы поехали, у государя был только один сын, а теперь уже у него другой родился». Федор Писемский, которому передали слова Рандольфа, ответил: «Пусть королева не верит ссорным речам, лихие люди наговаривают, не хотят промеж государя и королевы доброго дела видети».

Не удалось Ивану жениться на англичанке: он умер 1584 года марта 17-го, и царица Мария,

---

[1] Сноски: 1

Известие о Долгорукой из рукописи Императорской Публичной библиотеки сообщено А. Ф. Бычковым.

[2] Сноски: 2

Карамз., т. IX, примеч. 741.

урожденная Нагая, осталась вдовою. На престоле Московского государства должен был сесть слабоумный Федор Иванович. Отец сознавал, что он вовсе не способен к правлению, и учредил над ним опеку из пяти бояр. Но так или иначе, а власть должна была перейти к Борису Федоровичу, брату царицы. Он был всех хитрее и умел прокладывать себе пути и избавиться от соперников; прежде всех Нагие понесли удар. В ночь, когда еще труп Ивана не был положен в гроб, арестовали Нагих и отдали запристaвы; взяли тогда же нескольких их сообщников. Потом маленького Димитрия с матерью удалили в Углич, данный ему от отца в удел; с ним отправили туда всех Нагих. Царице дали почетную прислугу: стольника, стряпчих, стрельцов; у Димитрия был свой двор. Таким образом, Нагих не было при московском дворе, и от них прежде всего избавился Годунов. Не так дешево расплатились их сторонники: их сослали, а имения их и вотчины побрали в казну. Летописец того времени приписывает Борису ссылку Нагих и их союзников. Он обвинял их в измене, а в чем именно — остается неизвестным; но так как вслед за тем малолетнего Димитрия послали в Углич, то кажется более чем вероятным, что их вина состояла в намерении овладеть правлением

во имя маленького царевича. Впоследствии рассказывали, будто царевич не доехал до Углича: предвидя, что Борис со временем его погубит, царственного ребенка подменили другим ребенком, увезли куда-то и воспитывали в глубокой тайне, тогда как все думали, что в Угличе растет настоящий сын царя Ивана Грозного.

Вслед за Нагими опала постигла одного из сильнейших бояр того времени, Богдана Бельского, которому покойный царь поручил в опеку маленького Димитрия. Летописцы наши повествуют, что в Москве открылся мятеж; народ требовал казни Бельского; подозревали, что он извел царя Ивана и хочет извести Федора. Его, как бы в угоду народу, сослали в низовские края. Как ни темно, как ни сбивчиво представляется это событие, но по соображении предшествовавших обстоятельств с последующими видно, что тогда шло дело о том, кому царствовать: слабоумному ли Федору, на которого не было надежды, чтоб он поумнел, или малолетнему Димитрию, который мог быть умным человеком, достигши зрелого возраста. Возмущение предпринято было за права Федора. Бельский, конечно, должен был желать воцарения Димитрия, потому что в его малолетство правил бы государством он, Бель-

ский, как назначенный самим отцом Димитрия его опекун. Его виды и виды Бориса Годунова были противоположны; но Борис так ловко умел заслониться, что впоследствии думали иные, будто Борис Годунов и Богдан Бельский были приятели между собою. Вопрос, кому царствовать, разрешился окончательно не прежде как 4 мая 1584 года, когда именитые люди из городов, собравшись в Москве, от имени всей земли подали Федору челобитную и просили быть царем. Федор короновался и по скудоумию тотчас же отдался Борису Годунову, своему шурину, всецело с принадлежащею ему по рождению и по избранию верховною властью.

Освободившись от Бельского, Годунов мало-помалу избавился и от других трех товарищей по управлению государством, назначенных царем Иваном. Опаснее всех казался ему Никита Романович, брат первой жены Ивана Васильевича Грозного, добродетельной Анастасии, которой память уважал народ, как память святой. Его самого до того любили москвичи, что во время бунта против Бельского толпа боялась, чтоб с Романовым чего-нибудь не сделали бояре, насильно вытребовала его из Кремля, увела в его собственный дом и до самого венчания царя Федора берегла с

горячею любовью. Но судьба скоро избавила от него Бориса. В том же году Никита Романович был поражен параличом, лишился употребления языка, а в апреле 1586 года умер. Князя Ивана Федоровича Мстиславского обвинили в том, будто он намеревался зазвать к себе Бориса и убить: его насильно постригли в монахи. Оставался последний товарищ, Иван Петрович Шуйский, человек сильный и родом, и собственными заслугами, памятный геройскою защитою Пскова против Батория. Величие Годунова становилось нетерпимо для многих. Составился заговор. Намеревались подать Федору челобитную, чтоб он развелся с бесплодною сестрою Бориса и женился на княжне Мстиславской, дочери насильно постриженного князя Ивана Федоровича. Годунов заранее узнал об этом замысле и уничтожил его. По его наущению слуга Шуйских Федор Старков подал на них извет в измене; произвели розыск, какой угодно было Годунову, и Борис отделался от своих врагов. Кара постигла фамилию Шуйских: двоих из них, соправителя Борисова Ивана Петровича и Андрея Ивановича, сослали, а потом, как говорят, тайно умертвили; других соучастников, Татевых, Колычевых, Быкасовых, Урусовых, отправили в заточение; семерым купцам отрубили головы;

митрополита Дионисия с крутицким архиепископом Варлаамом, несмотря на их духовный сан, не подлежавший суду светской власти, сослали в монастыри, а на место митрополита посадили благоприятеля Борисова Иова, ростовского митрополита, который потом получил небывалый еще в русском мире сан патриарха; княжну Мстиславскую за то, что ее прочили царю в невесты, заточили в монастырь; один из соучастников заговора, Головин, ушел в Польшу. Так победил Борис врагов своих и стал еще могущественнее.

Царь был бездетен и слаб здоровьем почти так же, как и умом. Борис был во цвете лет. Никогда в Московском государстве человек, не носивший венца, не владел такими богатствами, не достигал такой силы и чести, как Борис. Царя Федора знали только по имени. С одним Борисом имели дело иноземные послы, к одному Борису обращались с челобитными, когда их следовало подавать царской особе. Народ падал перед ним ниц, когда он выезжал; челобитчики, когда он им говорил, что доложит о их просьбе царю, осмеливались говорить ему: «Ты сам наш государь милостивец, Борис Федорович; скажи только слово — и будет». Это не только проходило им даром, но еще доставляло Борису удовольствие. Богат-

ства его были чрезмерны; доходы его доходили до огромной по тогдашнему суммы 93 700 рублей в год. Кроме наследственных вотчин в Вязьме и Дорогобуже, область Вага была ему отдана в пользование, и он получал с нее с одной 32 000 рублей; сверх того ему отданы были доходы со всех конюшенных слобод по званию конюшего, которое он носил (12 000 р.); доходы Северщины, Твери, Торжка (38 000), доходы с пчельников и пастбищ в окрестностях столицы по обеим сторонам Москвы-реки; наконец, доходы с бань и купален в самой столице. За всеми этими доходами он еще каждый год получал от царя по 15 000 рублей. При такой обстановке, естественно, Борису стал представляться престол. На той степени величия, на которую он взошел, нельзя было оставаться: тут не было средины — либо трон, либо гибель. Его жена, честолюбивая и злая дочь Малюты Скуратова, имевшая на мужа большое нравственное влияние, беспрестанно побуждала его к возвышению, подвигала и ободряла не останавливаться ни перед какими средствами, успокаивала его совесть, когда она возмущалась. Чем выше он становился, тем ярче представлялась ему опасность, тем настойчивее побуждала его жена преодолевать ее. Всякое новое вступ-

ление на престол началось бы погибелью и его, и его семейства; ему не простили бы прежнего, почти царского величия. Он должен был избавиться от таких лиц, которые могли иметь право на престол после смерти Федора Ивановича.

Было два таких лица: первое — женщина с дочерью; она называлась Марья Владимировна, была дочь двоюродного брата царя Ивана Васильевича, Владимира Андреевича, убитого Иваном. Царь Иван отдал ее за датского принца Магнуса, возведенного им в сан ливонского короля. После разделения Ливонии и уничтожения тени королевства она жила в Риге полупленницею поляков под надзором кардинала Радзивилла, на ограниченном содержании. По прекращении царственной линии с бездетным Федором право престолонаследия, не утвержденное на этот случай предупредительным законом и потому зависевшее от избрания, могло легко в народном понятии перейти на нее и на ее дочь. По русским извечным понятиям, женщина не исключалась от этого наследства, особенно если не было мужского пола. Притом если б даже побоялись отдать правление женщине, то легко выдать мать или дочь за какого-нибудь князя Рюрикова дома или за немецкого принца, который согласился бы

принять греческую веру. Во всяком случае, разумеется, Марья Владимировна, по мужской линии прямая правнучка великого князя, властвовавшего Москвою, имела больше права, чем Борис, который в случае прекращения царственного дома мог опереться на свойство с прежними царями только потому, что сестра его была женою царя, а в нем самом не было ни капли крови прежних царей. В августе 1585 года Борис поручил англичанину Жерому Горсею выманить ливонскую королеву с дочерью в Москву из Риги. Ловкий англичанин подделался к кардиналу Радзивиллу и был допущен к Марье Владимировне. «Брат ваш, царь Федор Иванович, — сказал Горсей, — узнавши, что вы с дочерью вашей живете в нужде, желает, чтоб вы возвратились на родину и жили в довольстве, сообразно вашему царственному рождению; а протектор Борис Федорович, помня свою службу царю, обещает вам стараться о том же».

«Я не знаю вас, — ответила Марья, — но ваш вид внушает мне доверие более, чем сколько говорит мне о вас рассудок. Меня держат здесь как пленницу, на скудном содержании: я получаю тысячу талеров в год. Я бы рада была отсюда выбраться, но меня смущают некоторые обстоятельства:

во-первых, трудно убежать, король и паны берегут меня здесь, чтобы извлечь какую-нибудь пользу из моего происхождения и крови; во-вторых, я знаю московские обычаи, знаю, как там поступают со вдовами-царицами: меня запрут в монастырь, а это будет мне хуже смерти».

«Теперь другие времена настали, — сказал Горсей, — теперь не принудят к тому вдову, если у нее есть дети, которых нужно воспитывать».

Горсей дал ей тысячу угорских червонцев и еще обещал дать; и он так настроил бедную королеву, что она совершенно ему доверилась. По приказанию Бориса расставлены были лошади по дороге от Москвы до границы Ливонии. Королева с дочерью ускользнули из Риги; их повезли быстро в Москву. Сначала с Марьею Владимировною обходились хорошо: дали ей земель, денег, прислугу; но через несколько времени Борис, поступавший по произволу, именем царя, ничего не знавшего о том, что его именем делают, разлучил ее с дочерью и заточил в Пятницкий монастырь близ Троицы. В 1589 году маленькую дочь ее похоронили с честью, как королевну, у Троицы. Смерть ее все принимали за неестественную. Много лет протомилась в скучном заключении несчастная королева, вспоминала Ригу и прокли-

нала англичанина, которому так неосторожно доверилась[3].

Борис избавился от Марьи и ее дочери; его беспокоил ребенок Димитрий. Правда, он рожден был от восьмой жены: по уставам церкви, такой брак был незаконным, следовательно, и сын, рожденный от такого брака, не был законным; он не мог бы, казалось, быть претендентом на престол и пугать Бориса. Сначала Борис думал воспользоваться этим обстоятельством и запретил молиться о нем в церквах. Сверх того, по приказанию Бориса распространяли с умыслом слух, что царевич злого нрава, с удовольствием смотрит, как режут баранов. Еще дитятею он любил кровь животных; внушалось опасение, что такой вкус в зрелых летах перейдет и на людей[4]. Но скоро Борис увидал, что этим не достигнешь цели; невозможно было убедить московский народ в том, что царевич незаконнорожденный и потому не может быть на престоле: для московских людей он все-таки был сын царя, кровь его и плоть. Царь в народном воззрении был существо выше обыкновенных существ; что не

---

[3] Сноски: 3
Horsey, 204. — Fletch., 22.

[4] Сноски: 4
Fletch., 22.

дозволялось другим, то прощалось царю; нельзя было подвергать осуждению поступки царя. Видно, что русский народ признавал за Димитрием право царствовать, когда впоследствии имя этого царевича, принимаемое многими удальцами, увлекало за собою народ. Нельзя было испугать русских, привыкших к долгому царствованию Ивана Васильевича, рассказами о злонравии отрока Димитрия. По народному воззрению, дурной царь посылается Богом народу в наказание за грехи; тогда ничего другого не остается, как только сносить с терпением Божью кару и молить Бога о помиловании. Конечно, Борис, попытавшись так и сяк отстранить Димитрия от будущего воцарения, убедился, что нельзя вооружить против него русских; а между тем Нагие, удаленные в Углич, злобствовали против Бориса и с малолетства настраивали Димитрия враждебно к нему. Дитя повторяло то, что ему твердили родственники и мать; дитя жаловалось, что брат удалил его, что не пускают его в Москву, а всему виною Борис — он его лютый враг. Вырос бы Димитрий — выросла бы у него и злоба к Годуновым. Федор был слаб здоровьем и мог скоро умереть; провозгласили бы царем Димитрия, Нагие захватили бы власть, — и было бы их первым делом погубить

Бориса и с его семьей, и с родней… Не было для Бориса другого выхода: либо Димитрия сгубить, либо самому со дня на день ждать гибели. Человек этот уже привык не останавливаться перед выбором средств. Это знали и понимали другие и были уверены, что если без его положительного приказания совершат то, что ему полезно, то он будет доволен.

Были у Бориса люди преданные, готовые за него на все. Таким был Андрей Клешнин. Этот человек поручил вниманию правителя одного дьяка, по имени Михайлы Битяговского. Борис назначил Битяговского главным надзирателем над домостроительством царевича в Угличе; с ним поехали: сын Михайлов Данило, Никита Качалов и Данило Третьяков. Царица боялась, что эти новоприезжие затем и прибыли, чтоб извести царевича. Братья царицы, Михайло и Григорий Нагие, ссорились с Битяговским: он у них власть отнимал. Нагие жаловались, что им не выдают содержания, требовали от Битяговского прибавки, тот им отказывал, — и вообще эти приезжие стали не в дружеские отношения с царицею и с ее родными…

17 мая 1591 года пришло в Москву известие, что 15 мая царевич Димитрий погиб насильствен-

ною смертью… Федор, услышав о смерти брата, расплакался. Говорят, что он сам хотел ехать в Углич, но Борис отговорил его, уверивши, что там свирепствует заразительная болезнь[5]. Борис отправил на следствие князя Василия Ивановича Шуйского, дьяка Андрея Клешнина и дьяка Вылузгина. Выбор Шуйского, казалось, был никак не в пользу Бориса: Шуйские были с ним во вражде, родственники их были сосланы, задушены. Но зато брат Василия, Димитрий, был в свойстве с Борисом: жена Димитрия была родная сестра Борисовой жены, и эта связь была причиною, что Борис щадил и приближал к себе одну ветвь рода Шуйских, состоявшую из трех братьев, но все-таки побаивался их и не допускал обоих братьев Димитрия жениться. Василий не мог бы, казалось, быть доброжелателем Борису. Однако он произвел следствие совершенно в угоду Борису, и из дошедшего до нас следственного дела об этом событии представляется в таком виде.

15 мая 1591 года после обедни, часу в двенадцатом утра, зазвонил в Углицкой Спасской церкви, находившейся в земляном городе, сторож Максим Кузнецов. На этот звон прибежал первым поно-

[5] Сноски: 5
Grevenbruch, 10.

марь другой церкви, царя Константина, вдовый поп по прозвищу Огурец. Навстречу ему бежит стряпчий кормового дворца Суббота Протопопов. Увидя Огурца, он закричал: «Царевича не стало! Царица велела звонить». Огурец принялся усердно звонить в набат. Звон переполошил весь Углич, толпы народа посыпали в Углицкий кремль, не знали, что значит этот звон, и сперва думали, что пожар: бежали с рогатинами, дубинами, топорами. Тут раздался крик: «Царевич зарезан!» На заднем дворе кормилица *Орина* Жданова держала мертвого ребенка: царица Марья в неистовстве колотила поленом мамку царевича Василису Волохову. По ее приказанию посадские схватили эту женщину, сбили с нее волосник и опростоволосили. Это считалось крайним бесчестием и поруганием женщине. Царица и ее братья кричали всенародно, что царевича зарезали сын этой мамки, Осип Волохов, Никита Качалов и Битяговские. Народ без дальних размышлений бросился убивать тех, на кого ему указывали. Заперли ворота, чтоб никто не ушел со двора. Михайлы Битяговского не было тогда во дворе: он обедал у себя дома с попом Богданом, и, как доказывал этот поп, сын Битяговского был тогда с ними же. Битяговский услышал звон, по-

бежал ко двору, но ворота у двора были заперты. Один из дворцовых служителей, сытник Кирило Моховиков, бросился отворять Битяговскому. Только что вошел Битяговский, народ бросился на него. Он пустился бежать в брусяную избу, Данило Третьяков примкнул к нему и побежал туда же. Толпа погналась за ними. Михайло Нагой подстрекал народ убить Битяговского. Битяговский, чтоб обратить злобу толпы на своего врага, кричал, что «Нагой добывает ведунов на государя и государыню». Послушали тогда Нагого, убили Битяговского и Третьякова… Потом узнали, что другие, обвиняемые царицею и ее братьями, Никита Качалов и сын Битяговского, Данило, спрятались в разрядную избу; ворвались туда и убили их; перебили людей Волоховой. При этой свалке погибли и какие-то посадские, неизвестно за что и по какому побуждению. Царица кричала, чтоб ловили еще одного убийцу, Осипа Волохова, сына мамки; но его не нашли скоро: он убежал к жене Битяговского, и там его спрятали. Тело зарезанного ребенка понесли в церковь Спаса; за ним пошла мать. Тут поймали Осипа Волохова и притащили в церковь пред царицу; за ним вели жену и детей Битяговского. Царица закричала: «Вот убийца царевичев!» Народ убил его в церкви:

не дали ему проговорить ни слова в оправдание. Рассвирепевшая толпа хотела растерзать и жену, и дочерей Битяговского, но их спасли духовные: архимандрит Феодорит и игумен Савватий. Василису Волохову, сильно избитую, посадили под караул.

Через два дня, по наговору царицы, схватили юродивую женку, которая жила у Михайлы Битяговского и хаживала к Андрею Нагому. Царица обвиняла ее, будто она портила царевича, и велела убить ее…

Следствие указывает, что некоторые снятые Шуйским показания были даны людьми в качестве свидетелей смерти царевича. При этом событии были: мамка Волохова, кормилица Ирина Жданова, постельница Марья Самойлова и четыре мальчика жильца, сверстники царевича, постоянно с ним игравшие. Все они в один голос объявили, что царевич играл со сверстниками в тычку ножом и зарезался в припадке черного недуга (падучей). Что царевич был подвержен таким припадкам и делался в то время неистов и зол, подтверждалось свидетельством родственника царицы, Андрея Александровича Нагого: он показал согласно с мамкою Волоховой, что в прошедший пост царевич у его дочери объел руки и

также бросался и кусал жильцов и постельниц. Из прочих лиц, не бывших при событии, многие согласно показывали, что царевич зарезался сам. Один из братьев царицы, Григорий Нагой, показал, что царевич сам зарезался; другой брат ее, Михайло Нагой, показывал, что царевича зарезали Осип Волохов, Никита Качалов и Данило Битяговский; но сам он не видал этого события. Оба Нагие запирались в том, что после смерти царевича велели убивать кого-нибудь по подозрению; царицы не спросили; и тех, которые перебили людей, оговоренных Нагими, не спрашивали.

По возвращении следователей дело представлено было от имени государя на обсуждение духовенства: патриарха и освященного собора. Тут митрополит Сарский и Подонский подал извет, будто царица Марья сознавалась, что убийство Битяговского было дело грешное, виноватое, и просила довести до государя челобитье о царском милосердии к ее братьям, которых она именовала бедными червями.

Собор рассудил, что Михайло и Григорий Нагие и углицкие посадские люди виновны в измене против царского величества; царевича Димитрия постигла смерть Божиим судом, а они велели по-

бить напрасно людей, которые стояли за правду, а это все произошло оттого, что Михайло Нагой бранился с Битяговским за то, что Нагой держал у себя ведуна Молчанова и других. Нагие и мужики угличане достойны всякого наказания. Но как это дело земское, градское, а не церковное, то благочестивые духовные сановники предают его в волю Бога и государя, полагая в царскую руку и казнь, и опалу, и милость.

Борис сделал примерное наказание всем, которые осмеливались говорить, будто царевич зарезан, и бросать подозрение на него. Царицу Марью сослали в Судин монастырь на Выксе (в 20 верстах от Череповца) и постригли; Нагих разослали по городам в ссылку; казнили угличан, которые оказывались виновными в мятеже: иным порубили головы, других утопили, иным резали языки, и, наконец, всех жителей Углича перевели в Сибирь и населили ими г. Пелым. Даже колокол, в который звонили, сослали в Сибирь[6].

Несмотря на то, что все было, как говорится, шито и крыто, общее подозрение обвиняло Бориса: русские говорили на него, иностранцы слышали

---

[6] Сноски: 6

Никон, лет., VII, 10. — Нов. лет., 35 — по Петрею и по Буссову, в Угличе делалось то же.

это от русских и повторяли, что царевич убит по приказу правителя. Говорили, будто Борис прежде пытался отравить его, но яд не подействовал на младенца: чудотворным образом он спасен был. В Русском Летописце рассказывается (конечно, как говорили в то время везде), что царевича убили таким образом:

В хоромах трудно было убить царевича: мать при нем неотлучно находилась, подозревая, что есть злой умысел на дитя. Наконец, 15 мая, злая мамка успела вывести его на нижнее крыльцо; тут стояли убийцы: Битяговский, Качалов и Волохов. (Летопись называет неправильно Качалова Миколай, когда он был Никита; Волохову, который звался Осипом, дается имя Данила; неправильно помещается здесь и Битяговский, который ни в каком случае не был при событии.) Волохов, взяв за руку Димитрия, сказал ему: «У тебя, государь, на шее новое ожерелье». Ребенок поднял головку, указал пальцами на ожерелье и сказал: «Нет, старое!» Тогда Волохов ударил его ножом по шее и не мог сразу зарезать, только ранил. Кормилица с криком бросилась на него, а Битяговский и Качалов стащили с него кормилицу и ударили так, что она чуть душу не отдала; потом зарезали царевича и убежали. Так

рассказывали в Москве, разумеется, шепотом, а официально не смели иначе говорить, как им указывало правительство.

В одном старинном известии[7] рассказывается это событие таким образом.

В этот день царевич, встав поутру, чувствовал себя нездоровым: *голова у него с плеч покатилася;* в четвертом часу дня (то есть в десятом утра) пошел к обедне, где после Евангелия старец Кирилловского монастыря поднес ему образа. Пришедши в хоромы, царевич переменил платьице; на ту пору вошли с кушаньем; постлали скатерть; священник принес Богородицын хлеб: царевич всякий день вкушал Богородицына хлеба. После обеда он попросил напиться и пошел гулять с кормилицей. Это было в седьмом часу дня (в первом часу). Когда они дошли до церкви царя Константина, Никита Качалов и Данило Битяговский, подошедши, ударили палкой кормилицу так, что она, испуганная и ушибленная, упала на землю; тогда они бросились на царевича, перерезали ему горло, а сами стали кричать, как будто царевич сам зарезался. На крик выбежала мать: убийцы ничего не могли сказать, только

[7] Сноски: 7
Погод. Сборн., № 31.

глядели. Дядей Нагих не было здесь, они обедали у себя. Царица приказала ударить в колокола; народ, услышавши набатный звон, сбежался. Царица была уже в церкви Преображения, держала мертвого сына и с воплем кричала, чтоб убили злодеев. Народ побил их каменьями.

Из рассказа англичанина Жерома Горсея, находившегося тогда в ссылке в Ярославле[8], узнаем мы, что брат царицы, Афанасий Нагой, в полночь после рокового дня прискакал в Ярославль прямо к месту помещения Горсея, своего прежнего знакомца, и начал стучаться в ворота. Горсей вышел к нему, и Нагой объявил, что Димитрию *дьяки* перерезали горло около шести часов (дня); некоторые из их слуг, принужденные истязаниями, объявили, что на это злодеяние подучил их Борис Годунов. Нагой извещал, что царица Марья отравлена или испорчена, и просил поскорее дать какое-нибудь средство. Вероятно, матери от потрясения, произведенного смертью сына, стало дурно; это, по обычаю, объяснено было порчею, и брату ее было естественно обратиться к иноземцу и попросить у него какой-нибудь заморской хитрости. Горсей дал ему какой-то

[8] Сноски: 8

Bond, Russia at the close of the sixteenth century. 264. Travels of sir Jerom Gorsey, 254.

бальзам. Поутру англичанин узнал, что уже весь город толкует о смерти царевича и приписывает ее Борису. Сказание англичанина достойно вероятия, тем более что Афанасий Нагой не значится спрошенным по сыску и, следовательно, не был в Угличе. Но при всех известиях, и русских, и иностранных, событие это остается темным для истории. Верно только, что Борис считал себя уже избавленным от страшнейшего врага в будущем. Царский венец мерещился ему и наяву, и во сне. Наружно набожный, он в то же время не боялся прибегать к волшебству, собирал волхвов из русских и звездословов из иноземцев, спрашивал о своей будущности. Гадатели, видя, что ему хочется быть царем, прислуживались к нему и говорили: «Ты в царскую звезду родился и будешь царь в Великой России»[9].

II

Прошло еще семь лет. Борис продолжал пребывать в силе; он умел преклонить на свою сторону духовенство. Глава духовенства, возведенный им в сан патриарха Иов, был его верным слугою. Кажется, и самое учреждение патриаршества

---

[9] Сноски: 9
Погод. № 1456.

соединилось у Бориса с дальнейшими планами воцарения. Патриарх облечен был властью и значением выше, чем прежние митрополиты. Сан патриарший для русских имел обаяние новизны. Прежде они знали об этом сане только в отдалении: слышали, что на Востоке есть патриархи, чином своим святее и выше митрополитов и епископов; теперь такой высокий сан находился в Москве; когда всякого духовного голос уважался чаще голоса светского, потому что над духовным совершен обряд хиротонисания, то как было не уважать голоса такого церковного лица, которое есть глава всех посвященных? Как не признавать изреченного им за выражение высшей мудрости? Патриарх был государь духовенства, поэтому стоило только иметь своим орудием патриарха, и все духовенство будет на его стороне, а духовенство было в то время — вся нравственная и умственная сила Московского государства. Так, без сомнения, рассчитывал Борис и не ошибся: освященный собор готов был исполнять то, что патриарх укажет.

Бояр, дворян и детей боярских Борис приготовил в свою пользу изданием закона «О крестьянском выходе», запрещавшего свободный переход крестьян и таким образом оставлявшего их во

власти землевладельцев.

Легко было и толпу народа настроить в свою пользу. Народ сельский не был важен для него: этот народ будет повиноваться столице, к нему не близки государственные дела, да и собраться ему трудно для какого бы то ни было обсуждения. Борису нужна была только чернь московская, а московская чернь много раз испытывала его щедроты. Вскоре после смерти царевича Димитрия сделался в Москве большой пожар: Борис чуть не всех погорелых обстроил на свой счет. Враги его говорили после, что пожар был и произведен Борисом, чтобы иметь возможность показать щедрость и любовь к народу[10].

С каждым годом для русских казалось более и более невозможным не видеть Бориса верховною особою.

Царь Федор умер 7 января 1598 года, и прекратилась царственная линия московского дома. Много было князей Рюриковичей, потомков удельных владетелей; но давно уже удельность лишилась прав своих, давно уже Восточная Русь привязана была к Москве и забыла о прежней возможности существовать без московского центра, а проис-

---

[10] Сноски: 10
Smith, 28, на обор.

хождение от удельных князей никому почти не давало прав на Москву. История Восточной Руси сложилась так, что кого Москва признает, тот и всей Руси государь. Борис был богат, и поэтому у него было много покупных друзей: за деньги, дары и выгоды они готовы были говорить и делать все в его пользу. Глава духовенства был его пособник; из бояр многие не любили Бориса, но в земском всенародном деле их совет не мог быть важен, когда против них станет духовенство, — за духовенство будет против них и народ; да и между боярами не было согласия: каждый думал прежде всего о себе и готов был копать яму товарищу, если бы избирать в цари приходилось не Бориса, а кого-нибудь другого… Другого не было, такого, чтобы страсти и побуждения примирились при его имени.

Из всех бояр могли помериться с Борисом Романовы, сыновья любимого народом Никиты. Эта фамилия была родственная царю Федору; у ней больше, чем у других, было сторонников в народе, но и ей трудно было бороться с Борисом при его власти, богатствах и силе. Иов и духовенство не благоволили бы к Романовым, как не благоволили бы ни к кому, кроме Бориса. На сторону Бориса подобраны были гости, богатые купцы,

надеявшиеся от него льгот и милостей. Борис сам владел огромными имениями, и в руках его было много предметов производства, которые покупали купцы: например, лес, деготь, поташ, пенька. Богатые торговцы находились с ним в прямых сношениях по торговле и, следовательно, связаны были с ним важнейшими интересами. Недаром Борис ласкал и английскую компанию, которая держала тогда в руках торговлю России.

Московские посадские люди, чернь, были уже, как мы сказали, заранее подготовлены в пользу Бориса. С одной стороны, рабский страх, с другой — надежда на приобретение выгод делали из московской черни удободвижимую массу, готовую поддерживать сильных. Притом же в народе московском было умственное смирение, не дозволявшее смело высказать то, что чувствуется и думается, если это не понравится сильным или тем, кого считали умнее. Так, когда пронеслась в народе мысль, что приходится избирать царя, то многие тогда считали лучшим отдать это дело на волю патриарха: кого ему Бог покажет, того он и сделает царем.

Борисовы агенты рассыпались по Москве и располагали людей разного звания и разных отношений в пользу избрания на царство Бориса.

С таким запасом надежд Борис начал играть комедию, которая должна была и нравственно, и вещественно упрочить за ним и за его потомством власть и венец.

Говорили, что умирающий царь Федор поручил царство свое царице. В понятиях того времени у нас право государственное во многих отношениях еще мало отличалось от права частного владения. В частном владении было в обычае, что бездетный хозяин, умирая, оставляет свое достояние вдове. Сообразно этому обычаю и умирающий царь мог оставить своей жене царство — свое достояние. Царица Ирина при жизни мужа имела больше значения, чем другая на ее месте могла иметь. По неспособности мужа она часто распоряжалась делами, особенно когда дело шло о прощении виновных или о раздаче каких-либо милостей. Тогда царица сама приказывала, и народ знал, что это исходит от нее, а не от царя. Но оставить престол вдове значило прямо оставить его Борису; если при царе правил всем Борис, то при женщине отдать ему власть было как нельзя уместнее. Впрочем, патриарх и духовенство поставили этот вопрос сбивчиво и противоречиво.

В утвержденной грамоте об избрании Бориса[11], где излагалась история престолонаследия до избрания Бориса, сказано, что «Федор Иванович оставил на престоле свою супругу, а душу свою приказал патриарху Иову и своему шурину Борису Федоровичу»; а в соборном определении, где приводятся доводы права Борисова на престол, говорится, будто «Федор Иванович прямо назначил по себе преемника Бориса Федоровича».

Видно, что сперва выдумали одно, а потом увидели, что этого недостаточно, — выдумали другое.

Как бы то ни было, после погребения Федора Ивановича вдова его, царица Ирина, объявила, что хочет по обещанию постричься в монастыре. Иов на челе духовных и бояре просили ее не оставлять сиротою государства, оставаться на престоле, а править государством будет по-прежнему Борис Федорович. Но царица упорствовала: вдове, по нравственному приличию, следовало лучше всего идти в монастырь. Она удалилась в Новодевичий монастырь и там постриглась под именем Александры. Тогда бояре сошлись в Кремле, приказали звонить на сбор народа; собра-

---

[11] Сноски: 11
Акты Эксп., 1, 19.

лась толпа, и дьяк Василий Щелкалов прочитал народу, что по смерти Федора, за прекращением царствующего дома, правление переходит в думу боярскую. Но толпы, по преданию отцов своих знавшие, что значит боярское правление, кричали: «Мы не хотим ни князей, ни бояр, знаем одну царицу! Пусть патриарх, кого ему Бог укажет, того и изберет; тот и будет нам царем!» Патриарх Иов воспользовался этим случаем, объявил, что подобает просить на царство Бориса Федоровича, предложил идти торжественною процессиею в Новодевичий монастырь, молить царицу, чтоб она благословила после себя царствовать своему брату. Доброжелатели Бориса в толпе тотчас оглушили всех криками: «Согласны!» Те бояре, которые этого не хотели, не смели слова пикнуть и должны были соглашаться, тем более что в их кругу были сторонники и свойственники Годунова, которые тотчас вторили голосу патриарха, окружавшего его духовенства и народной толпы. Шуйским особенно было не по нутру это; тяжело было и Романовым, и Черкасским, и Мстиславскому, и всем вообще знатным лицам; но поодиночке никто не отважился говорить против главы духовенства, которого предложение нашло себе тотчас же отголосок.

Все отправились в Новодевичий монастырь. Борис Федорович нарочно был уж там с сестрою и как будто бы занимался богомыслием. Царица вышла из кельи вместе с Борисом. Патриарх, большой ритор, начал просить ее благословить на царство брата своего Бориса Федоровича, который «при блаженной памяти царе Федоре Ивановиче правил и содержал великие государства Российского царствия премудрым своим и милосердым правительством». Потом патриарх обратился к Борису и говорил: «Будь нам, милосердый государь, царем и великим князем и самодержцем всея Руси, по Божией воле восприим *скифетро* православия Российского царствия; не дай в попрание православной веры, святых Божиих церквей в осквернение и православных христиан на расхищение!» Этими последними выражениями патриарх показывал, чего ожидать, если бы бояре покусились захватить правление в руки своей думы. Патриарх намекал, что это было бы попранием веры…

Борис, с постным, благочестивым видом смирения и со слезами на глазах, отвечал:

«Не думайте себе того, чтоб я хотел царствовать: мне в разум этого никогда не приходило и не будет того в мысли моей. Как мне помыслить

на такую высоту царствия и на престол такого великого государя, моего пресветлого царя? Нам теперь только помышлять, как бы устроить праведную и беспорочную душу пресветлого государя моего, царя и великого князя Федора Ивановича, всея Руси самодержца; а о государстве и о земских и всяких делах радеть и промышлять и править государством тебе, государю моему, отцу святейшему Иову, патриарху московскому и всея Руси, и боярам с тобою. А если моя работа пригодится, то я за святые Божий церкви, и за одну пядь земли, и за все православное христианство, и за ссущих младенцев готов излить кровь свою и положить голову!»

Патриарх начал ему доказывать, что он должен принять венец, приводил пример из Ветхого Завета и византийской истории, когда лица не царского происхождения приобретали славу своими заслугами военными и гражданскими и были за то избираемы на царство. Он указал на полновесный пример св. царя Константина, который был хотя и сын цезаря, но избран не по наследству; припомнил Феодосия Великого, облеченного в порфиру от цезаря Грациана, упомянул о Маркиане, Тиверии, о Маврикии, усыновленных предшествовавшими им царями. Но Борис

не поддавался риторике и силе исторических свидетельств, упрямился и не хотел принимать царского достоинства. Люди удалились.

Патриарх снова предпринимал такие же торжественные путешествия, и для большей наглядности дворяне, расположенные к Борису, взяли туда своих жен и детей: одних матери вели за руки, других несли на руках. Но и это не помогло: Борис со вздохами отрекался от царского бремени и говорил, что думает теперь о спасении души, а не о мирском величии.

Тогда патриарх сказал народу, что надобно подождать окончания сорокоуста, потому что действительно Борис Федорович, по своему обычному благочестию, теперь предался молитве за своего благодетеля — покойного царя Федора Ивановича; а меж тем нужно созвать изо всех городов людей всякого чина и устроить Земский собор: коли всею землею станут его просить, он тогда не дерзнет противиться.

Пособники Борисовы поехали по разным городам наблюдать и устраивать, чтобы приезжали в Москву такие, которые бы сказали слово за Бориса. К началу Масленицы съехались в Москву выборные люди и составился Земский собор. Но это — как показывают подписи на утвержденной

грамоте — был только призрак собора, а не в самом деле собор. Представителями из земель были преимущественно настоятели монастырей (их было до ста); они привыкли исполнять волю высшего духовенства и, разумеется, без всякого рассуждения соглашались на то, что велят им власти. Затем из светских большая часть приходилась на долю дворян: их было 119; они-то с жильцами были расположены к Борису. Выборных из городов, также из дворянского звания, было только 33 человека; стольников 41, стряпчих 19, жильцов 38, дьяков по приказам 26, голов стрелецких 5; собственно на долю народа приходилось: гостей 22, гостинной сотни два, суконной два; затем черносотенных шестнадцать, и те все — московские. Из провинций подписали из гостей: один за Водскую пятину, другой из суконной сотни за Шелонскую пятину. На долю высшего чиноначалия, то есть бояр, окольничих и думных людей, приходилось более пятидесяти. Несмотря на то, что в числе составлявших Земский собор, как видно по соображению с современными известиями, были подготовленные друзья Борису, были там и его недоброжелатели, но они должны были молчать: у Бориса было здесь две силы, одна напереди — духовенство, другая позади — гро-

мада московской черни, которою его пособники могли помыкать как нужно.

Собор собрался первый раз 27 февраля, в Кремле, в пятницу на пестрой неделе. Патриарх объявил, что освященный собор и бояре, и служилые и всякие люди, что находились в Москве, уже просили на царство Бориса Федоровича, а он отрицался; теперь патриарх предлагал, чтоб члены собора объявили ему, патриарху, и всему освященному собору свою мысль, кому быть на государстве государем. Но не давши затем никому из прибывших на собор сказать своей мысли, не допустивши их ни рассуждать, ни спорить, Иов сказал: «А у меня, Иова патриарха, и у митрополитов и архиепископов, у епископов и у архимандритов и игуменов, и у всего освященного Вселенского собора, и у бояр, дворян, и приказных, и служилых, и у всяких людей, и у гостей, и у всех православных христиан, которые были на Москве, мысль и совет всех единодушно: что нам молить государя Бориса Федоровича и иного государя никого не хотеть и не искать».

Сторонники патриарха тотчас же стали доказывать, почему Борису Федоровичу надлежит быть царем: восхваляли его добродетели, храбрость, оказанную против крымцев, щедрость,

правосудие и основывали его кровное право на том, что царь Иван Васильевич поверил ему сына своего и при Федоре Ивановиче он правил всеми делами. Пришедшие на собор увидали, что все духовенство за Бориса; им нечего было толковать, и они заявили скромно, что их совет будет един с советом Освященного собора.

Тогда патриарх объявил, что с этих пор «кто захочет искать иного государя, кроме Бориса Федоровича и его детей, против того всем светским стоять как против изменника, всею землею; а патриарху и Освященному собору отлучить его от церкви: того предадут проклятию и отдадут на кару градскому суду». После такого решительного и страшного постановления никто не посмел объявить иной думы, не согласной с волею патриарха и Освященного собора.

Патриарх назначил три дня молиться, поститься и служить молебны, чтоб милосердый Бог преклонил сердце Бориса Федоровича, чтоб он оказал милость и принял венец Московского государства; на четвертый же день, 20 февраля, в понедельник Сырной недели, положил идти всем в Новодевичий монастырь просить Бориса Федоровича на царство. В эти дни пособники Бориса бегали между чернью и объявляли, что

кто не пойдет в понедельник просить Бориса Федоровича на царство, с того возьмут пени 2 рубля. «Смотрите, — говорили посадским приставы, — когда придете, то плачьте, показывайте, что плачете, и кричите слезно и кланяйтесь Борису Федоровичу; а кто так не будет делать, тому дурно будет, когда Борис станет царем».

В назначенный день патриарх с Освященным собором и с так называемыми выборными Земского собора отправились в Новодевичий монастырь. За этими выборными Земского собора понеслась громадная сила московской посадской черни: мужчины, женщины, дети. Из тех, которые потом подписали избрание и, следовательно, принимали на себя совершение дела, многих там и не было… Когда толпа ввалилась на двор Новодевичьего монастыря, вышел Борис. И на этот раз был он непреклонен. «Как я прежде сказал, и ныне то же говорю (то были его слова): не думайте, чтоб я помышлял о высоте царствия». Тогда, возвратившись назад в Кремль, патриарх объявил, что нужно еще на другой день, во вторник, идти просить Бориса Федоровича и нести святую икону Богородицы-Одигитрии из Вознесенского монастыря. «Если Борис Федорович не согласится, — говорил патриарх, — то мы с Освя-

щенным собором отлучим его от церкви Божией и от причастия Святых Тайн, и этим учинится святыня в попрании и христианство в разорении, и погибнет в безгосударственное время народа множество, и междоусобная брань воздвигнется, и то все пусть взыщет Бог на Борисе Федоровиче в день Страшного суда. А мы тогда свои святительские саны снимем и панагии сложим и облечемся в одежды простых мнихов, и за ослушание Бориса Федоровича не будет в святых церквах литургисания; и все то взыщет Бог с Бориса Федоровича».

Этим объявлением Иов еще более сделал невозможным противодействие: всяк, кто бы осмелился говорить против Бориса, был бы враг церкви; значит, тот не желал, чтоб отправлялось святое богослужение, которое считалось залогом благосостояния страны и ее жителей.

На этот раз приставы и пособники Борисовы согнали еще более народа, чем было его вчера; многих привлекала нарядность шествия, и колокольный звон возбуждал их следовать за другими.

Навстречу чудотворной иконе вышел сам Борис, поклонился до земли и сказал: «О, святый отец и государь мой Иов патриарх! Почто воздвиг чудные чудотворные иконы Пречистые

Богородицы и честные кресты и сотворил такой многотрудный подвиг?»

«Не мы этот подвиг сотворили, — отвечал патриарх, — а Пречистая Богородица с превечным младенцем Господом нашим Иисусом Христом и с великими чудотворцами возлюбила тебя и изволила прийти напомнить тебе святую волю Сына своего, Бога нашего. Не будь противен воле Божией, повинись святой Его воле, не наведи на себя ослушанием праведного гнева Божия».

Борис ушел в сестрину келью. Патриарх с Освященным собором пошел в храм, отслужил обедню и потом вошел в келью. Толпа народа стояла на дворе. Несколько приверженцев Бориса, бояр и окольничих, смотрели в окно кельи и подавали приставам знаки руками; приставы заставляли народ с воплями кланяться и плакать. Из раболепства и страха за будущее москвичи за недостатком слез мазали глаза слюнями; а тех, которые неохотно вопили и дурно кланялись, Борисовы пособники понуждали к этому пинками в спину. Те, говорит летопись, хоть и не хотели, а поневоле выли по-волчьи[12]. Патриарх и архиереи, будучи в келье, указывали Борису в

[12] Сноски: 12
Времен., XVI. Иное сказ. о Самозв., 8.

окно и просили его посмотреть на трогательное зрелище плачущего народа.

Борис все упрямился, изъявлял готовность работать для государства, жизнь приносить ему, но отрекался от венца ради своего недостоинства. Патриарх и архиереи, истощивши старание тронуть сердце Бориса видом плачущего народа русского, наконец стали грозить, что он принесет Богу ответ, если в безгосударное время окрестные государи порадуются сиротству Русского государства, и будет в попрании святая непорочная вера, а православные христиане в расхищении от иноземцев.

Тогда инокиня Александра подала согласие. Борис еще упрямился: «Неужели тебе, моей государыне, угодно возложить на меня толико неудобоносимое бремя, и ты ли возведешь меня на такой превысочайший престол, о чем у меня никогда и мысли не было и на разум не всходило? Я всегда при тебе хочу оставаться и зреть святое пресветлое равноангельское лицо твое».

«Слышь, братец мой единокровный, — сказала инокиня Александра, — это Божие дело, а не человеческое: как будет воля Божия, так и сотвори!»

Тогда Борис, с видом скорби от принуждения, залился слезами и говорил: «Господи Боже Царь

царствующих и Господь господствующих! Если Тебе то угодно, да будет святая Твоя воля! Я Твой раб: спаси меня по милости Твоей и соблюди по множеству щедрот Твоих! Если на то воля Бога, пусть так будет!» — прибавил он, обратившись к патриарху и к прочим.

Тут патриарх в восторге упал на колени, за ним духовные и бояре, находившиеся в келье, также стали на колени. Все крестились, и патриарх говорил: «Слава благодетелю всещедрому Богу! Он презрел слез наших и послал Святого Духа в сердца великой государыне царице и государю Борису Федоровичу!»

Патриарх благословил Бориса, сестру его и жену Борисову, которая тут же находилась. Потом все вышли из кельи, и патриарх объявил народу, что наконец «Борис Федорович пожаловал, хочет быть на великом Российском царствии». Раздался радостный крик: «Слава Богу!» — а пристава толкали и пихали москвичей, чтоб они кричали погромче и повеселее и благодарили инокиню Александру и Бориса Федоровича за то, что не оставили их в сиротстве.

26 февраля приехал Борис в Москву, кланялся кремлевской святыне; на ектении провозгласили его богоизбранным царем. Чтобы внушить к себе

более уважения, с наступлением поста он уехал в Новодевичий монастырь снова, как будто на постный подвиг. Тогда патриарх, чтоб не дать выборным возможности одуматься, составил *утвержденную грамоту* и заставил их подписаться.

Борис пробыл в монастыре весь пост и всю Пасху и приехал в Москву только через неделю после Пасхи, а венчался на царство уже в сентябре. Летом он ходил с войском против крымцев, угрожавших нашествием, с которыми, однако, не пришлось ему побиться. При своем венчании Борис сказал в церкви громко: «Бог свидетель, отче: в моем царствии не будет нищих или бедных!» Взявшись рукою за воротник рубашки, он прибавил: «И эту последнюю разделю со всеми!»[13]

Главнейшею опорою царя в его царствование был патриарх Иов. Это был один из таких духовных сановников, общих всем временам, которые с непритворным обрядовым постничеством и обрядовым благочестием упивались собственным величием и спокойствием собственной совести, были себялюбцы и угодники сильных мира. Несмотря на свое риторство, патриарх Иов не

---

[13] Сноски: 13
Врем., XVI, 85.

был настолько образован, чтобы всегда искусно закрывать наружным благочестием то, что было внутри души у него. Так, в своей отреченной грамоте, которую он писал в 1604 году, он расточает похвалы Борису за то, что оказывал милости во время пребывания его на Коломенской, Ростовской и митрополичьей Московской епархиях, и говорит, что когда сделался патриархом, то был от него честим и пребывал в благоденствии; а когда Борис сделался царем, то он очень был этому рад, а Борис успокоил его во все дни живота его[14]. Патриарху не было дела до поведения и правления Бориса; лишь бы он сам, патриарх, проводил тихое и благоденственное житие, достигая в спокойствии Царствия Божия…

Царь Борис был тогда сорока семи лет от роду, по наружности высокий ростом, плотен, с черными волосами и бородой, круглолиц, плечист, чрезвычайно льстив на словах, глаза его внушали страх и повиновение[15]. Борис хорошо знал все извычаи и обычаи тогдашней боярщины, никому не доверял, ни на кого не полагался, был до крайности подозрителен и страшился, чтоб

---

[14] Сноски: 14
Собр. гос. грам., II, 180.

[15] Сноски: 15
Smith, 26.

ему и роду его не сделали зла чародейственными способами. В записи, по которой Борис требовал верности от своих новых подданных, главное внимание обращено на волшебство. Эта вера в волшебство была обычною чертою времени; но в крестоцеловальных записях других государей не говорится об этом столько, сколько в Борисовой. Но пока Борис не видал против себя явных козней, он казался добрым, и в самом деле, осторожность его не была опасна прежде, чем его не раздражали действительным злоумышлением.

III

В первые два года своего царствования Борис делал все, чтобы привязать к себе народ и утвердить любовь к себе и своему народу. Он хотел удивить его льготами сначала. И вот Борис освободил сельский народ от всех податей на один год, дал торговым людям право беспошлинной торговли на два года; служилым людям выдал одновременно двойное годовое жалованье. Его огромные богатства, накопленные в царствование Федора, дозволяли ему показывать всевозможнейшую щедрость. Разные края получали свои льготы. Так, в Новгороде царь упразднил созданные им же два кабака, которые уже много лет причиняли

жителям тесноту и нужду. Он сложил с гостей и с посадских людей лавочные денежные оброки и не велел отдавать на откуп мелкие промыслы, предоставив пользоваться ими молодым посадским людям. В Корельском уезде и в городе дана была льгота от всех поборов на десять лет[16]. В Сибири и Восточной России уволены были инородцы на год от платежа ясака[17]. Борис знал, как народ русский уважает нищелюбие, и был чрезвычайно щедр на подачу милостыни: никто из нуждающихся, подавши ему челобитную, не возвращался от него, не почувствовав щедрости царской. Вдовы, сироты получали вспоможение. Беспрестанно он кормил и оделял неимущих. «Около него, — говорит современное известие, — аки море ядения и езеро пития разливашеся»[18].

Сидевшие прежде в тюрьме приобретали свободу, опальные прежнего царствования получали прощение, им возвращено отнятое достояние. Милости полились на лиц, близких к верховной власти: тем дал он боярство, другим окольниче-

---

[16] Сноски: 16
Дополн. к акт. ист., I. 253.

[17] Сноски: 17
Собр. гос. грам., II, 156.

[18] Сноски: 18
Погод. Сборн., 1446.

ство или стольничество. Не было казней. Борис наказывал воров и разбойников, и то не смертью. Борис говорил, что наказание у него будет растворено милосердием. Выказываясь блюстителем нравственности, Борис преследовал бесчинное пьянство, говорил, что хорошо, если кто дома с гостьми будет пить и веселиться, но не терпел уличного пьянства, содержателям корчем приказывал оставить свои занятия, обещал им, в случае если они не имеют других средств пропитания, дать земли и поместья для того, чтоб они занимались честным земледелием[19]; это нравилось благочестивым и добронравным людям. Все эти блестящие явления имели с первого взгляда только временной характер уже и потому, что льготы, расточаемые Борисом по вступлении на престол, освобождали народ от таких тягостей, которые сам же Борис ввел при Федоре; все это было только на год, на два, потом пошло бы все по-старому. Борису нужно было только, чтобы на первых порах после его воцарения народ охотно повиновался ему, был им доволен и прославлял его. В то время Борис ласкал и привлекал к себе иностранцев и окружал

[19] Сноски: 19
Buss., 8.

себя вступившими в московскую службу. Так, он поселил в Москве недалеко от Кремля, во дворах русских бояр (вероятно, опальных), ливонских выходцев, искавших убежища во время войны Польши со Швециею[20]; их наделили в Московской земле жалованьем и поместьями. Еще при Федоре в войске московском было уже до пяти тысяч иностранцев; при Борисе их определилось на службу еще более. Может быть, Борис хотел на будущее время составить около себя стражу, не привязанную к туземным интересам, чуждую побуждений страны, обязанную в ней одному государю, готовую поэтому охранять пользу государя и в таком случае, когда бы против государя нашлось что-нибудь враждебное в подвластной стране; сверх того, ему хотелось, чтобы в иноземных государствах знали о нем, и притом знали с хорошей стороны, чтобы таким образом не только в своей земле, но и в чужих утвердилась привычка считать его законным и достойным государем Московского царства. Наконец, Борис понимал превосходство Западной Европы и необходимость усвоить приемы ее образованности для охранения престола и удобства царской жиз-

[20] Сноски: 20
Buss., 14.

ни. Таким образом, он выписывал из-за границы аптекарей, лекарей, зодчих, литейных мастеров. Что это делалось собственно для царя, а не для народа, показывает то, что лекарям запрещалось лечить кого бы то ни было без воли царя, не исключая и бояр.

Сразу заявил Борис, что он не ограничивается желанием поцарствовать сам, но заранее хочет утвердить наследственное преемничество в своем роде. Он стал писать грамоты не только от себя, но вместе от сына, приготовлял его к правлению и при всяком случае выставлял как будущего царя и даже при жизни отцовской соправителя. Все стремления, все поступки Бориса стали направляться к единой цели — чтоб утвердить род свой на престоле и расположить к этому народ Московского государства. Он выдумал особую молитву о своем здравии и приказал читать ее народно во время заздравных чаш: ни один пир не должен был проходить без питья заздравной царской чаши с этой молитвой.

Так прошел конец 1598-го, прошел 1599 год, истекал 1600-й. Царство Бориса шло мирно и спокойно. Это время казалось золотым веком для Москвы. Скоро изменилось все. Несмотря на все щедроты Бориса, его не любили. Его бы не

избрали в цари, если бы избрание происходило правильным порядком, если бы духовенство и московская чернь не порешили тогда судьбы Русской земли. Московские люди понимали, что все знаки царского добродушия истекают из одного желания утвердить за собою похищенную власть, что Борис только обольщает народ. Люди родовитые с омерзением видели на царском престоле потомка мурзы Четя, природного татарина, тогда как были княжеские роды гораздо его знаменитее. Мысль, что потомство татарской крови утвердится на престоле московском на будущие времена, оскорбляла народное самолюбие тех, кому была знакома история Русской земли и кто дорожил ею как святынею. Но дело было искусно обделано. Борис, в качестве избранного всею землею, венчанный, помазанный, поддерживаемый патриархом и всем духовенством, был крепок как нельзя более. Он казался вполне законным государем, и никакой потомок Рюрика или Гедимина не в силах был поставить своих родовых преимуществ против величайших прав народного избрания и церковного освящения. Столкнуть Бориса и не допустить род его до венца можно было только таким именем, за которым бы, прежде возведения Бориса, народ признавал

право занять престол московский. Таким именем было одно имя — имя Димитрия царевича. Правительство, объявивши раз, что этот царевич в детстве зарезался, старалось, чтобы не говорили о нем в этом мире, хотело, чтоб все русские люди забыли его. Между тем в народе шепотом продолжали обвинять Бориса в убийстве царственного дитяти[21]. Казни в Угличе, переселение жителей этого города в Сибирь, заточения и ссылки, которые последовали после смерти царевича, гонение на всех тех, кто осмеливался не верить, что царевич — самоубийца, все это уже бросило черное пятно на Бориса. В судьбе Димитрия оставалось много таинственного, неразгаданного. Эту таинственность поддерживала двойственность представления его смерти: приказывали верить,

---

[21] Сноски: 21

Старинная народная песня так сохранила народное представление о смерти царственного ребенка и о достижении престола Борисом:

«Не лютая змея воздывалася,
Воздывался собака булатный нож.
Упал он ни на воду, ни на землю.
Упал он царевичу на белу грудь…
Убили же царевича Димитрия,
Убили его на Угличи. На Угличи, на игрищи.
Уж и как в том дворце черной ноченькой
Коршун свил гнездо с коршунятами…
Что коршун тот Годунов Борис,

Убивши царевича, сам на царство сел».

Киреевский. Песни. Вып. VII, I.

что он сам себя убил, и не верилось этому, потому что в оное время, близкое к его смерти, столько людей пострадало за то, что иначе понимали его смерть. Среди этой неизвестности легко мог получить веру третьего рода слух, что убит был не Димитрий, а подмененный заранее мальчик, сам же Димитрий здравствует и готовится гласно потребовать от Бориса своего наследия.

И вот в 1600 году стал разноситься слух, будто Димитрий не убит, а, предохраненный друзьями, проживает до сих пор. Этот слух доходил до Маржерета, служившего в числе иноземцев, француза, и, без сомнения, дошел тогда же до Бориса. Эта роковая весть перевернула Годунова и изменила до корня. Мягкосердечие его исчезло. В нем проснулся прежний Борис Годунов, воспитанник страшных годов ивановской опричнины, не содрогавшийся ни пред чем истребитель Углича, гонитель Шуйских и всех врагов своих, правитель царства Федорова. Цель его жизни была утвердить свой род на престоле, для этой цели он был жестоким и суровым, для этой цели сделался добродушным и милосердным; кроткие средства не удавались теперь: для той же цели ему приходилось опять сделаться подозрительным, мрачным, свирепым. Он увидал, что у него

есть враги, а у врагов может явиться страшное орудие. Надобно было найти это орудие, истребить своих врагов; или же приходилось потерять плоды трудов всей жизни, ожидать себе и своему роду позора и гибели. Его положение было таково, что он не мог, не смел объявить, чего он ищет, кого преследует, какого рода измены страшится; заикнуться о Димитрии значило бы вызвать на свет ужасный призрак. Притом же Борис должен был сообразить в те минуты, что он не может сказать, что уверен в смерти Димитрия. Он не видал убийц его, да если бы и видел, если бы вполне был убежден, что в Угличе зарезали отрока, то и тогда не мог бы поручиться, что зарезанный был настоящий Димитрий, что царевича не спасли заранее и не подменили другим мальчиком. Оставалось хватать всех, кого можно было подозревать в нерасположении к воцарившемуся государю, пытать их, мучить, чтоб таким образом случайно попасть на след желаемой тайны. Так Борис и стал поступать. Если бы Борис знал подлинно, кто враги его, то только на них бы налег и их гибелью окончилось бы все дело; но он только подозревал, а не был уверен. Вероятно, во время отказов своих от венца Борис старался выведать, не проявится ли кто из его недругов, чтобы

впоследствии знать, кого следует ему бояться и уничтожить. Но он не достиг цели. Враги его не смели тогда выявиться вполне; Борис оставался в неведении и теперь, когда услышал, что толкуют о Димитрии, соображал, что, верно, где-то ему приискивают Димитрия, может быть, фальшивого, а может быть, и настоящего; ему приходилось искать врагов, перебирать по одному подозрению много невинных, чтобы найти виновных.

На первого он напал на Богдана Бельского: этот человек был ближе всех к Димитрию. Царь Иван Васильевич поручал ему охранять свое детище. Борис всегда считал его себе опасным, в 1599 году удалил из Москвы и послал в украинские степи строить город Царев-Борисов. Бельский зажил там богато и знатно, состроил крепкий город, набрал на свой счет войско, кормил, одевал, жаловал ратных людей. Когда разнесся слух о Димитрии, Борис, не упоминая об этом имени, придрался к Бельскому за то, что он, как доносили царю, будучи в Цареве-Борисове, в веселый час произнес неосторожные слова: «Царь Борис в Москве царь, а я царь в Цареве-Борисове!» Бельского привезли в Москву. Царь позорил его, поругался над ним, приказал доктору своему шотландцу выщипать ему густую красивую бороду,

которой Бельский гордился. Его сослали куда-то на Низ и заточили в тюрьму. Ссылка постигла и других, которые были с Бельским в Цареве-Борисове, и в том числе приятеля его, Афанасия Зиновьева.

След Димитрия не был отыскан. Борис, растоптав Бельского, принялся за других. Пострадала вся фамилия Романовых и несколько других родственных и дружеских с нею знатных фамилий. Романовы находились не во враждебных отношениях к Бельскому: впоследствии один из сосланных Романовых невольно высказал это высоким мнением об уме и способностях Бельского. Притом же Романовы были и без того бельмом на глазу у Бориса. Это был род, самый близкий к династии и самый любимый народом. Если Борис вступил на престол, будучи шурином покойного царя, то Романовы также могли добиваться венца, будучи двоюродными братьями по матери царя Федора Ивановича. На стороне их были и память добродетельной Анастасии, и безукоризненное их всех поведение, и непричастность их рода к тяжелому времени опричнины. В народе носились слухи, будто царь Федор пред смертью хотел, чтоб венец царский перешел по избранию Романовым, а не Борису. Понятно, что при такой

обстановке Романовы не были расположены к Борису, и Борис мог подозревать Романовых, когда ему приходилось отыскивать тайного зла против себя. Нужно было потормошить Романовых: авось либо найдут нити, по которым можно добраться до тайны; нужно было потом, во всяком случае, избавиться от них навсегда. По известиям, сообщаемым летописями, Борис придрался к ним таким образом: один из холопей Александра Никитича Романова, Второй-Бартенев, явился к окольничему Семену Годунову, родственнику и клеврету царя Бориса, и предложил свои услуги — донести на Романовых. Семен тотчас же обещал ему царское жалованье. Тогда Второй-Бартенев наклал в мешок разных кореньев и положил этот мешок в казну Александра Никитича, а потом сделал донос, будто у его боярина есть коренья, которыми он хочет извести царя и добыть ведовством царства. Когда Семен донес об этом, царь послал сделать обыск, вместе со Вторым-Бартеневым, окольничего Михайла Глебовича Салтыкова, будущего изменника и предателя Русской земли. Обыскали Александра Никитича, взяли заповедный мешок и понесли к патриарху Иову; из мешка вынуты были коренья и положены на стол при патриархе и при других лицах

из знатного духовенства. Улика была налицо. Делавшие обыск ссылались на Второго-Бартенева как на свидетеля, несмотря на то, что он же был и доносчик. Так писано в наших летописях; но историческая критика едва ли может дозволить принять на веру эти известия: летописные сказания написаны, очевидно, уже после, в XVII веке. Дело, которое производилось о Романовых, не дошло до нас, и мы не знаем подлинно, какую вину нашли тогда за Романовыми. Известно только, что начали брать Романовых-братьев одного за другим и приводить к сыску. У них были враги между боярами; желая подделаться к царю, они ругались над Романовыми, старались показать их виновными. На сыске Романовых истязали. Некоторые из холопей Романовых оказали такую преданность господам своим, что претерпевали муки и умирали от истязаний. Царь Борис осудил всех братьев с их семьями, как изменников и злодеев своих, и сослал их в разные отдаленные места. Александра сослали к Белому морю в усолье Луду; его там скоро не стало; по известию летописца, его удавил пристав Лодыженский. Василия Никитича с приставом Некрасовым сослали в Яренск, а потом в Пелым; этот боярин пострадал от жестокостей своего

пристава Некрасова: он надел на узника тяжелые цепи, мучил и бил вопреки приказаниям самого Бориса, а оправдывался тем, что Романов украл у него ключ от цепи и хотел убежать. Туда же сослали и брата его, Ивана Никитича, больного, не владевшего рукою. Борис не был из таких тиранов, которые находят себе наслаждение в страданиях тех, кого считают врагами. Он только охранял самого себя, был решителен в этом, но стеснял опасных людей настолько, чтобы они ему не могли быть вредны. Поэтому Борис вовсе не приказывал мучить братьев, сосланных в Пелым. Он велел им отвести особый двор с двумя избами, давать им по калачу и по два денежных хлеба в сутки, в скоромные дни по части говядины и по три части баранины, а в постные дни рыбы; не накладывать цепей, — но велел не допускать к ним никого, не дозволять ни с кем переписываться, следить за их каждым словом. Слуги Борисовы показывали свое усердие к царю больше, чем царь требовал. Василий Никитич скоро умер в Пелыме от дурного содержания и худого обращения. Михайла Никитича отослали с приставом Романом Тушиным, заточили за 30 верст от Чертыни в Наборгской волости и держали в земляной тюрьме. О нем сохранилось предание,

что он был силач: и теперь хранятся в Наборгской церкви его цепи: плечные в 12, ножные в 19, а замок на них в 10 фунтов. Приставы и сторожа истязали его, но не по приказанию Бориса.

Всех их разлучили с семьями. Более всех братьев отличался Федор Никитич, от природы умный, острый, любезный и приветливый с русскими и чужеземцами, любознательный и начитанный, знакомый даже немного с латынью; никто лучше его не умел ездить верхом; не было в Москве красивее мужчины, так что красота его вошла в пословицу, и если портной, сделавши платье и примерив его, хотел похвалить, то говорил своему заказчику: «Теперь ты совершенно Федор Никитич».

Говорят, что еще при царе Федоре Ивановиче принудили его жениться на бедной девушке, жившей у сестры его, княгини Черкасской, вероятно, с целью унизить его. Но он нашел добрую жену в этой незнатной девице, урожденной Шестовой. Этого-то щеголя московского постригли насильно в Сийском монастыре под именем Филарета и приставили к нему строгий надзор; жену его Ксению Ивановну разлучили с малолетними детьми, постригли под именем Марфы и сослали в Егореевский погост Толвуйской волости в Зао-

нежье; малолетних детей ее, мальчика Михаила и девочку, сослали на Белоозеро с теткою их, сестрою Романовых, девицею Анастасиею. Туда же сослали мужа другой сестры Романовых, князя Бориса Канбулатовича Черкасского, с женою и детьми. Постригли и мать Ксении Ивановны, Марью Шестову. Сослали по делу Романовых многих других свойственников и друзей их, в том числе князя Ивана Васильевича Сицкого, бывшего воеводою в Астрахани; его привезли из Астрахани в оковах, разлучили с женою и сослали в Кожеозерский монастырь, а жену в Сумскую пустынь; сослали также князей Репниных, Карповых и Шестуновых. Вскоре участь их несколько была облегчена: так, Ивана Никитича перевели в Нижний Новгород. Федор Никитич до конца Борисова страдал в Сийском монастыре, и пристав Воейков должен был доносить о речах, о всяком шаге его Борису.

Но Филарет был слишком для того умен и осторожен, чтоб Воейков мог услышать от него что-нибудь важное. Только и мог Воейков донести, что старец Филарет говорил: «Бояре мне великие недруги, искали голов наших, научали говорить на нас людей наших, я сам видел то не однажды. У них теперь нет ни одного разумного:

не сделает с ними царь никакого дела; только и есть умный человек, что Богдан Бельской, — тот досуж и к посольским, и ко всяким делам…» Перед приставом Филарет вспомнил о семье, показывал вид, что не знает ничего о ней и говорил: «Милые мои дети! Маленьки бедные остаются! Кто их будет кормить и поить? А жена моя наудачу уже жива ли? Где она? Чаю, где-нибудь туда ее замчали, что и слух не зайдет. Мне уже что надобно! То мне и лихо, что жена и дети: как помянешь их, так словно кто рогатиною в сердце кольнет! Много они мне мешают. Дай Господи услышать, чтоб их раньше Бог прибрал, — я бы тому обрадовался; чаю, и жена сама тому рада, чтоб им Бог дал смерть, а мне бы уже не мешали: я бы стал промышлять один своею душою». А между тем, несмотря на всю строгость, Филарет знал, где его жена и дети; находились добрые люди, которые облегчали участь страдальцев. В Толвуйской волости был поп Ермолай и некоторые крестьяне, которые осведомлялись о положении Филарета и сообщали о нем известия жене его и от ней переносили вести ему. Они как будто предчувствовали, что эта погибшая, по-видимому, фамилия будет в состоянии вознаградить за это сочувствие к ее несчастию всех их потомков.

И другие фамилии испили подобную чашу. Так, семейство Пушкиных по доносу своих холопов было разослано в Сибирь; их поместья и вотчины описаны, имущество распродано, а доносчики получили награды. Дьяку Щелкалову не прошло даром, что он читал народу о присяге Боярской думе: и его сослали в 1602 году[22].

Подозрительный до крайности, Борис каждую минуту боялся за свой венец, за свое существование, за свой род и был несчастнейшим в мире человеком. Желанный Димитрий не отыскивался; но Борисовы агенты проведали и донесли царю, что тайные враги спроваживают этого Димитрия за рубеж, в Польшу. Донесли также Борису, что уже и в Польше поговаривают, будто жив законный наследник прежних государей Московского государства. Борис, по-прежнему не упоминая имени Димитрия, приказал устроить на западной границе караулы, не пропускать никого через границу, хотя бы с проезжею памятью, но всех велел задерживать и доносить ему о них. Так прошло несколько месяцев. «Трудно было ездить из города в город», — говорит Маржерет. Все знали, что ищут каких-то важных государствен-

---

[22] Сноски: 22
Карамз., т. X. примеч. 156 и 161.

ных преступников, но никому не объявляли, кого именно ищут. Народ испытал много тесноты, оскорблений; много было схвачено и перемучено невинных людей, а того, кого Борису было нужно, не нашли. Награды за доносы привлекали к этим занятиям. По московским улицам, говорит современник[23], то и дело сновали мерзавцы да подслушивали, что в народе говорится, и чуть только кто заведет речь о царе, о государственных делах, сейчас говорунов хватают и — в пытку. Не проходило пира, чтоб на нем не было соглядатаев; где только люди соберутся, там и доносчики явятся. «И сталась, — говорит русский летописец[24], — у Бориса в царстве великая смута: доносили и попы, и дьяконы, и чернецы, и черницы, и проскурницы, жены на мужьев, дети на отцов, отцы на детей доносили». Бояре и боярыни доносили одни на других — первые царю, вторые царице; так, князь Димитрий Михайлович Пожарский (впоследствии, в 1612 году, бывший предводитель ополчения против поляков) при Борисе был доносчиком на князя Бориса Лыкова, а мать его, княгиня Марья, доносила

[23] Сноски: 23
Is. Mass., 46.

[24] Сноски: 24
Никон, лет., стр. 41.

царице на мать Лыкова и на жену Василия Федоровича Скопина-Шуйского (мать знаменитого в Смутное время Михаила Васильевича), будто эти женщины неуважительно отозвались о царевне Ксении, Борисовой дочери. Опала постигла их.

Обвиняемых в недоброжелательстве к государю и в злоумышлениях обыкновенно подвергали пыткам и, если они под пыткою оказывались сколько-нибудь виновными, заключали в темницы или рассылали по отдаленным землям. Имущества опальных брали в казну или раздавали доносчикам. Борис воспользовался положением холопов и их естественною неприязнью к господам. В те времена господин без крепостного акта мог покуситься на свободу служившего у него человека и сильный всегда мог оскорбить, закабалить, примучить слабого. Зато холопу, если ему тяжело становилось холопство, был прекрасный способ освободиться от рабства — донести на господина. Первый пример показал тогда Борис над Воинком, холопом князя Шестунова. Этот человек донес на своего господина, а царь за то наградил его поместьем, да еще велел объявить об этом всенародно, чтоб другим был пример. Два-три таких случая разлакомили холопов; вошло у них в обычай составлять на

господ доносы: сойдется их иногда человек пять, шесть и больше, подговорят лживых свидетелей и подадут в приказ челобитную на царское имя. По этим челобитным начинался сыск. Кроме тех, на кого прямо доносили, к делу притягивались родственники, друзья, соседи обвиненных, и чуть извет казался правдоподобным — господ поражала опала, а холопы получали свободу; их записывали в число служилых, им давали поместья. Случалось, господа в свое оправдание ссылались на других своих холопов — те стояли за господ: их предавали пыткам, и если они не переносили кнута и горячих угольев и путались в показаниях, им резали языки, иногда и вешали за приверженность к господам в ущерб царской безопасности. Всего чаще обвиняли господ в ведовстве. Скрывая упорно главнейшую причину розысков, Борис гласно высказывал другого рода страх: чтоб его и семью его не испортили чарами, наговорами, зельями, и достаточно было голословного слуха о ведовстве, чтоб начать розыск. Царь хоть и боялся ведовства, но в самом деле не столько, сколько показывал, а прикрывал этою боязнью надежду посредством розысков напасть на след Димитрия. Искали в сущности его — Димитрия; никто не смел сказать, что его

ищут; между тем об этом знали, и расходился, на беду Борису, слух о Димитрии в русском народе тем более, чем более Борис хотел уничтожить эту молву в самом источнике.

Быстро исчезла та призрачная любовь, которую Борис подогревал к себе в русском народе искусственною добротою и щедротами. Бориса стали ненавидеть: его ненавидели бояре, ненавидело и дворянство, которое ему обязано было закреплением крестьян; скоро оно охладело к нему после того, как он стал царем. Народ в первое льготное время после венчания нового царя отдохнул немного от своего обычного бремени; но когда воротился прежний порядок, ему после отдыха стало тяжелее, чем прежде, терпеть от налогов и грабительства правителей. Разные ветви казенных доходов, как то: денежные оброки с лавок в городах, налоги на промыслы, ярмарочные сборы отдавались от казны откупщикам, получавшим грамоту, где обозначалось: сколько, за что и при каких обстоятельствах следует брать; но этого не соблюдали: делалось много произвола и злоупотреблений. Некоторые статьи торговли были достоянием казенной монополии: важнее было то, что продажа вина производилась от казны; заведены были кабаки, куда сходились пить

царское вино; не дозволено было производить частного вина никому, кроме тех, кому давались особые льготы для домашнего обихода. Таким образом, пьянство стало источником царских доходов; царский интерес покровительствовал этому пороку, обыкновенно очень заразительному в северных климатах, а вместе с тем невольно поощрялось народное развращение: кабаки царские стали притоном всяких мерзостей. По восшествии на престол Борис на первых порах как будто хотел изменить этот порядок, тягостный для народа, уничтожал кабаки и показывал вид, будто преследует пьянство, но в сущности поощрял его; под видом охранения народной нравственности запрещалась частная продажа вина, а вино, как исключительная принадлежность казны, продавалось на кружечных дворах. Распространение пьянства столько же и разоряло народ, сколько развращало; явилось много праздношатающихся, пропившихся, готовых на всякое порочное дело из легкого прибытка или с отчаяния, порвавших семейные узы и не ценивших жизни, потому что она им не представляла впереди ничего прочного. Были и другие причины накопления такого рода людей. Борис, еще бывши правителем, покровительствовал закреп-

лению холопов. В 1597 году было установлено, чтоб те, которые давали на себя кабалы за деньги до 1597 года, оставались до смерти в холопстве у тех, кому они поступали по кабале; не следовало уже брать с них денег, которые они занимали у господ и за которые сами себя им закладывали; равным образом и дети их, рожденные в то время, когда их родители находились в кабале, должны были оставаться в холопстве у того же господина; а на будущее время постановлено, что всякий вольный человек, прослуживши у господина добровольно около полугода, делался его вечным холопом на том основании, что господин его одевал и кормил[25]: принималось во внимание содержание холопа, а его служба не ценилась ни во что. Это привело к всевозможнейшим насилиям. У кого было много денег, тот делал безнаказанно все что хотел с теми, кто в них нуждался. Приносил ли кто вещи в заклад — нужно было, чтоб вещь стоила вчетверо против суммы денег. Проценты брались по четыре со ста в каждую неделю, и когда к сроку нельзя было выкупить, вещь оставалась у хозяина. У кого не было чего заложить, те закладывали сами себя на

---

[25] Сноски: 25
Ак. Ист, 1, 490.

время, и тогда заимодавец устраивал дело так, что обращал должника своего себе в холопы. Обыкновенно бедняк, взявши взаймы у богатого, вместо процентов служил у него, а хозяин придирался к нему, делал начеты, и после срока должник, не в состоянии будучи высвободиться из кабалы, оставался в полном холопстве. Этого мало. Часто наемный слуга, получавший жалованье, делался рабом потому, что господин делал притязание, будто он у него служил без уговора; и власти присуждали его в полное холопство противно всякой правде. Неопределенность закона о сроке, после которого вольный слуга делался холопом, подавала повод к кривотолкованиям. Все зависело от судьи, а судья приговаривал к холопству и такого, который несколько дней послужил господину, на том основании, что господин на него потратился. Невольный холоп не мог найти управы. Призовут мастерового работать в дом; тот сколько-нибудь поживет в этом доме; хозяин изъявляет притязание, что он его раб, а власти потакают ему, оттого что хозяин дает властям взятку. Другого зазовут в гости, обласкают, покормят, попоят, а потом начнут мучить и вымучат кабалу. У богатых дворян нанимались служить в ратном деле дети боярские, люди свободные, даже имевшие

поместья; сильный господин задерживал их и делал притязания, будто те закабалили себя, и они поступали ему в холопство со своими имениями. Явилась ловля людей: хватали иногда по дороге прохожих и заставляли работать, а потом муками и насилиями вымогали кабалу; или же начинали с бедняками иск; начальство потакало сильным и отдавало бессильных в рабство. Зато ловкие пройдохи играли своей свободой и извлекали для себя пользу из рабства: они продадут себя в одном доме, поживут в нем, обокрадут хозяев, бегут в другой дом и в иной город; с другими сделают такую же проделку; потом убегут от них и перейдут к третьим, чтоб и этих обмануть.

Таким образом, между господами и холопами была круговая порука: то господин делает насильство холопу, то холоп разоряет господина. В Московском государстве чересчур мало и редко было тогда чувство чести быть свободным, звание несвободного не тяготило человека. Это было естественно там, где все, до самого родовитого князя, были холопы царя. Исключение составляло казачество на юге: беглецы в казацкое общество разрывали связи с московскими порядками; там зачиналось общество на иных началах, и притом под сильным влиянием Южной

Руси, где были иные убеждения, иные предания, где остатки удельно-вечевой старины смешивались с польскими понятиями о рыцарстве, заимствованными с Запада и переделанными в славянской жизни. Там образовались понятия о свободе; там ценилось звание вольного человека, и казак с гордостью называл себя: «вольный казак». В Московском государстве считали наравне — что служить государству, что быть холопом: последнее казалось сноснее; правительство постоянно должно было, ради удержания на службе дворян и детей боярских, запрещать им вступать в холопство к боярам.

Крестьяне, сельские люди, имевшие право свободно переходить с земли одного владельца на землю другого и защищаемые законом от покушений владельцев, при Федоре были закреплены и отданы произволу владельцев, доставлены почти наравне с кабальными. Мера эта была до крайности необходимая. С расширением пределов Московского государства на восток в Сибирь, на юго-восток по Волге и к прилежащим ей степям, на юг — к татарским степям, открылись новые привольные пространства, годные для поселения; туда, естественно, стал двигаться народ: чем дальше от средоточия власти, тем

ему было льготнее. Само правительство желало заселения новых земель русским народом, давало для этого и подмогу, и предоставляло льготы новопоселяющимся; но такие выселения в видах правительства не должны были переходить границы, иначе Московское государство опустело бы. В начале царствования Федора Ивановича ехавший из Вологды в Ярославль англичанин Флетчер видел на этом пути до пятидесяти деревень, покинутых своими жителями. Между тем бояре, дворяне, дети боярские, все вообще служилые люди, составлявшие военную силу, должны были исправлять свою службу за населенные земли, называемые поместьями. Доходы с этих земель могли получаться только тогда, когда было кому обрабатывать эти земли. Естественно было правительству оградить им возможность содержать себя для службы. Государственные доходы, получаемые с посадов и волостей, также могли собираться только тогда, когда были налицо рабочие силы: необходимо было правительству удерживать эти силы в тех местах, откуда оно получало через них свои доходы. Борис, правивший всем государством при Федоре, ввел закрепление, соображаясь с государственными выгодами. Закрепление крестьян было благодеянием класса

служилого, наделенного имениями, который нуждался в работниках. Служилые были одолжены этим Борису и расположены стоять за своего благодетеля при случае. Для громад крестьянского сословия эта мера была тягостна, но Борис рассчитывал, что ему важнее приобрести силу в служилых людях, чем в крестьянах. Тягость закрепления для крестьян, впрочем, состояла не в том, что владельцы и должностные люди могли поступать с ними как с рабами, а в том, что они должны были безвыходно жить на одном месте, тогда как это было противно их вековым, дедовским привычкам, и притом когда была для них приманка поселяться в более льготных и привольных местах. Трудно было пересилить старину.

Охота переходить должна была еще сильнее одолевать крестьянина после запрещения: по крайней мере, вместо законно переходивших явились беглые, противозаконно оставлявшие владельческие земли, где были прикреплены. Их искали, их преследовали и заводили тяжбы с теми, кто их принимал. Они сами считались преступниками; их связь с обществом была нарушена; преследуемые законом, они готовы были идти против закона и людского общества,

подчиненного этому закону и исполняющего его повеления. Таким образом, накоплялись громады людей, готовые на всякую смуту. По дорогам нападали на проезжих: грабили и убивали в городах по ночам; в Москве стоило выйти ночью из двора, и можно было бояться, что из-за угла свистнет кто-нибудь кистенем в голову. Там каждое утро привозили к земскому приказу убитых ночью и обобранных на улицах.

Борис одумался и во время постигшего русскую землю голода отменил было в близких к Москве местах закрепление, позволил крестьянам переходить от владельцев к владельцам по-прежнему, но это мало помогло. Страшный голод, постигший Русь в 1601 и 1602 годах, довершил подготовку Московской земли к потрясениям. Он произошел оттого, что в течение весны и лета шли проливные дожди и недоставало тепла; так что в то время, когда уже хлебу нужно было созревать, он был еще зелен, а 15 августа ударил на него утренний мороз, и в этот год не собрали на поле ни зерна. Много было народу, жившего насущным трудом; многие жили беспечно, не думая собирать запасы на будущее время; в хлебе оказалась скудость, и тотчас цены на хлеб поднялись неимоверно, особенно в городах, так что

в Москве, где было стечение народа, цена дошла до пяти рублей за четверть. Тогда по дороговизне продавали уже не четвертями, а четвериками[26] — 1/8 четверти; этого не было прежде в обычае, когда бочки (4 четв.) покупались от 3 до 5 алтын. Нищета поразила простой народ быстро. Тогда многие из владельцев, державших у себя холопов, и добровольных, и насильно закабаленных, прогоняли их от себя, потому что дорого обходился их прокорм. Изгнанники увеличивали толпы голодного народа. Настала тяжкая зима. Но это была только половина бедствия. Осенью посеяли рожь, на весну овес — и не взошли ни рожь, ни овес; и в следующий год был такой же неурожай, летописи не говорят — отчего. Тогда уже постигла Московское государство такая беда, какой, как говорили, не помнили ни деды, ни прадеды. Царь приказал отпереть свои житницы, продавать хлеб дешевле ходячей цены, а очень бедным раздавать деньги. Каждый день в Москве раздавали нищим по полуденьге человеку, а в праздники и воскресные дни по целой деньге. Для приходивших за царскою милостыней в нескольких местах близ стены Белого города

---

[26] Сноски: 26
Хроногр. Погод. Сборн., 1445.

выстроили переходы, и в них-то раздавалась милостыня: каждый день у царя выходило по 20 000 фунтов стерлингов — говорит один англичанин[27]. Но этого было недостаточно; хлеб и прочие припасы при накопившемся многолюдстве дорожали более и более; невозможно было всех прокормить такою милостынею; притом же в Московской земле, по замечанию современника[28], все должностные лица были воры; они на этот раз раздавали царские деньги своей родне, приятелям и тем, которые с ними делились барышами; их сообщники приходили в лохмотьях, зауряд с нищими и голодными, и получали прежде всех и более всех царские деньги, а настоящие нищие — хромые, слепые, увечные — не могли дотолпиться, их прогоняли палками. «Я видел сам, — говорит этот современник, — как дьяки, нарядившись в лохмотья, брали милостыню». Пекарям приказано было печь хлебы определенного веса и величины, а они, чтоб придать больше веса своим печеным хлебам, продавали их почти сырыми, и даже нарочно воды подливали; и за это некоторые были казнены смертью.

---

[27] Сноски: 27
Smith, 28. (Сумма по тому времени нам кажется преувеличенною.)

[28] Сноски: 28
Is. Mass., 39.

Бедняки ели сено, солому, собак, кошек, мышей, всякую падаль, такую мерзость, что, как говорит летописец, и писать недостойно[29]. Много народу издыхало по улицам. Борис учредил стражу, чтобы подбирать и хоронить тела умирающих бесприютно от голода, и приказал из своей казны отпускать на мертвецов саваны. Эта стража то и дело разъезжала по Москве и увозила мертвецов в яму за городом. Случалось, таким образом, и живых, падавших от изнеможения, захватывали; случалось — везут полные сани трупов, а между ними слышатся стоны и жалобные моления, а те, что везут их, как будто не слышат, рассчитывая, что все равно придется же забирать их и увозить впоследствии, — и так без содрогания бросали еще дышавших людей в могилы.

Раздача милостыни продолжалась с месяц. Потом правительство рассудило, что раздача милостыни только обогащает плутов, накопляет голодный народ в столице; смертность усиливается, может явиться и зараза; притом подозрительный Борис боялся, чтоб народ, пришедши в крайнее ожесточение, не поднял бунта, а это было бы опасно в столице при таком мно-

---

[29] Сноски: 29
Хроногр. Погод. № 1463.

голюдстве. Запретили раздачу милостыни в столице. Это было именно в такую пору, когда весть о щедротах Бориса успела распространиться по отдаленным углам русского мира и со всех сторон шли народные толпы к Москве за пропитанием; на дороге постигла их весть, что уже более не раздают в Москве милостыни и не кормят голодных. Путники, лишенные средств, погибали по дорогам как мухи, а другие ели их трупы, и эту пищу у них отнимали стаи волков, которые бросались и на мертвых, и на живых.

Борис приказал посылать милостыню денежную в города, на месте покупать хлеб, где тогда можно было купить его, раздавать бедным деньги и хлеб. Все это не спасало от голодной смерти, а только доставляло возможность еще обогащаться холопам государевым. Целые селения вымирали с голоду. Один современник голландец, царский аптекарь, рассказывал, что ехал он зимою в свое имение и на дороге поднял замерзавшего мальчика, отогрел его в медвежьем меху и привез в ближайшую деревню. Мальчик, пришедши в чувство, едва ворочая языком, сказал: «Весь мой род вымер от голода; осталась мать моя и шла со мною; невтерпеж ей стало, что я околеваю, и убежала она в лес, а меня покинула на снегу». Гол-

ландец оставил поднятого им ребенка в деревне, дал кое-что на его содержание и поехал далее за своим делом, обещавши воротиться и взять к себе сироту. Но когда он по этому обещанию воротился, то не нашел никого в деревне; все ее жители умерли от голода, и спасенный мальчик тоже[30]. По известию русских и иностранных современников, в одной Москве погибло 127 000 народу, погребенного в убогих домах; в это число не включались мертвецы, которых погребали у приходских церквей. Петрей рассказывает, как он видал, что на улице в Москве умирающая от голода женщина вырвала зубами у своего ребенка мясо из руки и пожирала в припадке бешенства...[31] Иногда муж загрызал и съедал свою жену, иногда жена съедала мужа; вареная человечина продавалась в пирогах на московских рынках. Дорожному человеку опасно было заехать на постоялый двор: его могли там зарезать и съесть или кормить его мясом других проезжающих. «Я был свидетелем, — говорит Маржерет, — как четыре москвитянки, брошенные мужьями, зазвали к себе крестьянина,

[30] Сноски: 30
Is. Mass., 36.

[31] Сноски: 31
Rer. Rossic. scipt. ext., I, 165.

приехавшего с дровами, как будто для заплаты, зарезали его и спрятали в погреб про запас, сначала намереваясь съесть лошадь его, а потом уже и его самого. Злодеяние это тотчас же и открылось; тогда узнали, что эти женщины поступили таким образом уже с четвертым человеком».

Тем не менее современники свидетельствуют, что на Руси в то время не было совершенно недостатка хлеба. Не все области Московского государства были одинаково поражены голодом.

В Северской земле, особенно в окрестностях Курска, урожаи были хороши, и куряне приписывали это счастливое исключение заступничеству своей чудотворной иконы Божией Матери. Когда в Москве цена четверти ржи доходила до трех рублей, в Курске она продавалась по одному рублю. Но провоз оттуда был чрезвычайно затруднителен. У многих помещиков около Владимира по Клязьме и в разных уездах украинных городов сохранялись полные одонья немолоченного хлеба прошлых годов. Но мало было готовых приносить общему делу на пользу свои частные выгоды; напротив, старались извлечь себе корысть из общего бедствия. Нередко зажиточный человек выгонял на голодную смерть рабов, рабынь, даже близких сродников, а сам продавал свои запасы

дорогою ценою. Иной мужик-скряга боялся везти свое зерно на продажу, чтоб у него не отняли на дороге голодные, и зарывал его в землю; там оно и сгнивало у него без пользы; другому удавалось продать и взять огромные барыши, но потом он трясся над деньгами от страха, каждую минуту боялся, чтоб на него не напали; были такие, что от страха за свои сокровища, так быстро нажитые продажею хлеба, сходили с ума, вешались или топились[32]. Московские торговцы с начала дороговизны покупали множество хлеба и держали его под замками в своих лабазах, рассчитывая продать его тогда, когда цены поднимутся донельзя. Борис стал преследовать тех, у кого был спрятан хлеб. Холопы делали доносы на господ: царь посылал поверять истину доносов и найденный хлеб раздавать бедным, выплачивая хозяевам по умеренным ценам. Но посланные стакивались с хлебопродавцами, иногда скрывали найденный хлеб, иногда же хлебопродавцы отдавали на продажу по установленной от царя цене гнилой хлеб или же царские чиновники принимали от них меньше, чем писали. Так же точно и посылаемые в города для поверки немо-

[32] Сноски: 32
Is. Mass., 39.

лоченного хлеба брали с владельцев посулы и укрывали их. Таким образом, все старание Бориса к удешевлению хлебных цен послужило только к беззаконному обогащению его чиновников. Впрочем, найденный в далеких провинциях хлеб трудно было возить: голод разогнал ямщиков, невозможно было отыскать подвод.

Борис, однако, хотел, чтоб его царство если было в печальном положении, то по крайней мере казалось бы в счастливом. Уже по окончании голода приезжали в Москву иноземные послы; Борис думал утаивать от них бедствие: ему было стыдно, что его царствование несчастно; ему хотелось, чтобы иноземцы распространяли вести, что народ под его державою благоденствует. Велено было всем наряжаться в одежды бархатные и камчатные, непременно цветные; запрещено было беднякам в отрепьях являться на дороге. Бедные дворяне, выстроенные для встречи послов, должны были тратить свое состояние, чтоб закрыть своим фальшивым блеском горе, постигшее Московскую землю. На тех, которые скупились разориться для царской воли, доносили доносчики (обыкновенно их же слуги), и царь за то лишал их поместьев и жалованья. Когда послов поместили в Москве, то наблюдали, чтобы никто

из живущих в России иноземцев не разговаривал с посольскою свитою; смертная казнь обещана была тому, кто станет рассказывать приезжему иноземцу о бедствии, тогда уже проходившем. С этою целью в самый разгул голода Борис не дозволял выписывать хлеб из-за границы, а между тем такой ввоз впору мог значительно понизить цены и спасти многих от голодной смерти[33]. Борис дозволил, однако, ввоз уже по окончании сильного неурожая, чтобы понизить цены. Но урожаи последующих лет не скоро могли понизить цены на хлеб до прежней дешевизны. При огромной смертности людей и скота много полей оставалось и после незасеянными. Еще в марте 1604 года на востоке Московского государства, в Нижегородской земле, платили за четверть ржи целый рубль, тогда как скот пал в цене до того, что езжалую лошадь продавали по 40 алтын (1 р. 7 ½ алт.), а корову за 36 алт. 2 д. (1 руб. 3 алт.[34]). Дороговизна поддерживалась до осени 1605 года.

Голодное время сделало свое: кроме погибели множества народа оно утвердило в московском народе тяжелую мысль, что царствование Бориса

---

[33] Сноски: 33
Rer. Ross. scr. ext., 24.

[34] Сноски: 34
Расх. кн. Нижегород. Печерск. Мон. 112 г., сообщ. П. И. Мельниковым.

не благословляется Небом, потому что достигнуто и поддерживается беззакониями. Как он там ни старался показываться народу щедрым, сострадательным, милосердым, — все это принималось за лицемерство; все дурное, напротив, что происходило на Руси, — все ставили в вину царю. Укоренилось мнение, что род Борисов после него, если сядет на престоле, не принесет русской земле благословения Божия. Желательно становилось, чтоб детям Бориса не пришлось царствовать, чтоб нашелся такой, который пред Борисом имел бы более прав. Таким был единственно Димитрий. Мысль о том, что он жив и явится отнимать у Бориса престол, была отрадна и потому принималась, так как везде и всегда в несчастиях охотно верится в возможность того, что желается. Суровые преследования со стороны Бориса распространяли и поддерживали эту страшную для него мысль.

Если старожилы не помнили на Руси такого страшного голода, то не помнили и такого бродяжничества, как в эти времена. Господа выгоняли слуг своих, когда чересчур дорого стоило их прокормить, а потом, как хлебные цены спадали, хотели возвратить их себе; но бывшие холопы, если не успевали пропасть от голода,

жили у других или приобрели вкус скитаться — и не хотели ворочаться. Умножились тяжбы, преследования; отыскиваемые беглецы собирались в шайки. К этим бродягам приставало множество холопов, принадлежавших опальным боярам. Борис запрещал их принимать в холопство; а это было так же тяжело для них, как запрещение перехода для крестьян; тяготясь холопскою участью у одного господина, редкий холоп желал выйти совсем из холопского звания; все почти для того и бегали, чтоб поступить в другое место. Этих опальных холопов собрались тогда тысячи; лишенные права шататься из двора во двор, они приставали к разбойничьим шайкам, которые повсюду составлялись в разном числе. Большей части холопов нечем было кормиться иначе; исключение составляли только те, которые знали какое-нибудь ремесло[35]. Было тогда множество беглых из дворцовых, монастырских, черных сел, также из посадов; они разбегались во время голода, а потом, когда их требовали на прежние места, им тяжело показалось тянуть тягло, особенно после того, как множество народа перемерло, а на оставшихся валились большие налоги, прежде

[35] Сноски: 35
Хроногр. Погод. Сборн., 1456.

отбываемые большим числом тягот; и они бегали, жалуясь на поборы, на неправды приказчиков и старост, на насилия сторонних людей. Одни убегали в Сибирь, другие на Дон, третьи в Запорожье; многие селились на украинных степях и там уклонялись от государственных повинностей. Счастливое исключение Северской Украины во время голода было причиною чрезвычайного накопления народа в этом крае. Правительство стало принимать меры к возвращению беглецов, а они, со своей стороны, готовы были отбиваться. Все это беглое население, естественно, было недовольно тогдашним Московским государством; все оно с радостью готово было броситься к тому, кто поднимет его на Бориса, кто пообещает ему льготы. Тут не было никаких стремлений к какому бы то ни было иному государственному и общественному строю; громада недовольных легко пристает к новому лицу, надеясь, что при новом будет лучше, чем при старом.

В Северщине, лесной пограничной стороне, в 1603 году образовалась большая разбойничья шайка Хлопки Косолапого. Так обыкновенно современники считают ее разбойничьей шайкой, но едва ли она была тем в полном смысле этого слова. Скорее, это было в зародыше такое

сборище, каких много являлось впоследствии в русской истории, — сборище, которое не ограничивалось простым грабежом и убийством, а покушалось сломать и опрокинуть господствующий строй государственной и общественной жизни. Хлопка не ограничивался нападением на проезжих: с огромной шайкой он шел прямо на Москву, грозил истребить и престол, и бояр, и все, что было на Руси правительственного, властвующего, богатого и утесняющего. Борис в октябре 1603 года послал для истребления этой шайки ратную силу под начальством окольничего Ивана Федоровича Басманова. Уже недалеко от Москвы напали на Басманова «воры» нежданно. Они ударили на царскую рать на пути между зарослями. Басманов был убит. Но тут сталось противно тому, что обыкновенно бывает в таких случаях, когда убьют вождя и войско разбегается; на этот раз смерть воеводы побудила ратных сражаться с удвоенным мужеством и храбростью. Бились храбро и мятежники. Наконец вождь их был ранен и, раненый, схвачен в плен. Они были разбиты и бежали; почти все важнейшие заводчики были пойманы, сам Хлопка — в их числе; его казнили в Москве, всех прочих «воров»

повешали на деревьях[36]. Басманова погребли с честью у Троицы.

Этот неудачный мятеж был только предвестником того, что приближается время, когда так или иначе, а приходится пошатнуться Московскому государству. Благочестивые люди ожидали Божией кары. В сентябре того же 1603 года скончалась сестра Бориса, инокиня Александра, бывшая царица Ирина. Говорили, что смерть постигла ее от тоски: она слышала о бедствиях Московского государства, о страданиях русского православного народа, о мучительствах своего брата. Она пророчила грядущие беды. Говорят, совесть угрызала ее за то, что она способствовала возведению Бориса на престол. «Всемогущий Господь, — говорит современник-иноземец, повторяя, конечно, слова русских, — воззвал ее из юдоли плача к себе, чтоб избавить от ужаса дожить до того, что постигло после нее и царский дом, и Московское государство». Толпы мужчин, женщин, детей провожали тело усопшей царицы в склеп Вознесенского монастыря. Ехавший на санях за гробом сестры царь Борис чувствовал, что народное сожаление о его

[36] Сноски: 36
Is. Mass., 47.

сестре было зловещим укором ему самому[37].

Всегда в истории пред великими и страшными потрясениями и народными бедствиями бывали предзнаменования, тревожившие суеверные понятия ожиданием чего-то неизвестного и страшного. Так было и тогда, пред началом Смутного времени. Еще при Федоре, скоро после убийства Димитрия, происходили в разных углах Русской земли явления, пугавшие народное воображение. Говорили, в 1592 году в Северном море появилась такая кит-рыба, что чуть было Соловецкого острова со святою обителью не перевернула. Страх и раздумье навело на русских разрушение Печерского монастыря близ Нижнего Новгорода в 1596 году: осунулась под монастырем крутая гора и придвинулась к Волге; монастырские строения развалились; люди, однако, успели убежать. Это событие повсюду сочли предзнаменованием большой перемены в Московском государстве. Скоро народное ожидание оправдалось: прекратилась царственная ветвь варяжского дома, и на престол сел в первый раз с тех пор, как Русь себя государством помнила, человек другого рода, да еще татарской крови. Теперь, при Борисе, опять

---

[37] Сноски: 37
Is. Mass., 47.

народ пугался предзнаменований. То и дело, что носились слухи о видениях и страшных знамениях. В 1601 году в Москве караульные стрельцы рассказывали: «Стоим мы ночью в Кремле на карауле и видим, как бы ровно в полночь промчалась по воздуху над Кремлем карета в шесть лошадей, а возница одет по-польски: как ударил он бичом по Кремлевской стене да так зычно крикнул, что мы со страху разбежались». На запад от Москвы бродили стаи волков и беглых собак, они нападали на прохожих и заедали их; зловещий их вой слышали в городах и в самой Москве; рассказывали, будто они пожирали друг друга, — это казалось необыкновенным. «Вот, — говорили москвичи, — стало быть, не права пословица: волк волка не ест». Один какой-то смелый татарин говорил: «Это значит, что вы, москвитяне, будете, как голодные волки или собаки, терзать или истреблять друг друга!» Около Москвы появилось множество лисиц, и некоторые смело забегали в город. В сентябре 1604 года близ самого дворца убили лисицу; эта лисица была черная, каких не видано было никогда в этой стороне; один купец заплатил за нее большую сумму, как за редкую, за сибирскую — 90 рублей. В разных местах Московщины ужасные бури вырывали

с корнем деревья, перевертывали в городах колокольни, срывали крыши. Тут не ловилась в воде рыба; там птиц совсем не было видно; там женщина родила урода; там домашнее животное произвело такое чудовище, что нельзя было сказать — что оно такое. На небе стали видеть по два солнца и по два месяца. В довершение всех ужасов явилась комета: она была так велика, что во второе воскресенье после Троицына дня 1604 года видели ее в полдень. Борис призвал какого-то немца-астролога, и этот немец сказал ему: «Бог посылает такие знамения на предостережение великим государям; это значит, что в их государстве будут важные перемены. Царь! Берегись, остерегайся людей, которые около тебя, и укрепляй границы своего государства, — большая беда наступит!»[38]

В Иван-городе перехвачено было письмо, которое в январе 1604 года отправил из Нарвы в Або некто Иоганн Тирфельд: в нем он сообщал носившиеся слухи, что явился сын московского царя Ивана Васильевича, Димитрий, теперь находится у казаков и скоро Московию постигнет большое волнение. Вслед за тем случилось сле-

---

[38] Сноски: 38
Is. Mass., 41. — Buss., 26.

дующее: послан был окольничий Семен Годунов, родственник царя, в Астрахань для усмирения волновавшихся инородцев. Доплывши до Саратова, он услышал, что казачество по Волге поднялось; купцы сбегались в Саратов, извещали, что казаки разбойничают большими шайками; далее нельзя плыть, — говорили Годунову купцы. Но Годунов поплыл далее; казаки на него напали; он бежал; кое-кто из его людей попал в плен казакам[39]. Казаки отправили в Москву этих пленников и поручили передать царю так: «Вот мы, казаки, скоро придем в Москву с царем Димитрием Ивановичем!» Борис призвал к себе бояр, объявил об этом и сказал мрачно: «Вот наконец оно, вот что вышло! Я знаю: это ваше дело, изменников и предателей, князей и бояр дело...»[40]

---

[39] Сноски: 39
Is. Mass., 48.

[40] Сноски: 40
Bussov, 27.

Часть первая. Названый царь Димитрий

Глава первая
I. Самозванство на Украине. – Явление Димитрия. – Пребывание у Мнишка

Польская Украина была в те времена обетованною землею удали, отваги, смелых затей и предприимчивости. Соседство с воинственною Турциею, грозившею беспрестанно разливом своих завоеваний, нескончаемые битвы с татарами, нападавшими на чересполосные степные оконечности Речи Посполитой, поддерживали такой дух между населением этих стран. Казачество росло не по дням, а по часам. Казачество, впоследствии враждебное насмерть польскому шляхетскому строю, в те времена еще не образовало из себя окончательно сословия, неприязненного шляхетству. Тогда и шляхтичи, и знатных родов паны носили в своих правах много казацкого, охотно служили в казацких рядах, начальствовали казаками. Казак значил вольного удалого молодца, а не мятежного хлопа, как в половине XVII века. Воспитанию и развитию казачества между прочими причинами помогали в XVI веке молдавские беспорядки, которые выразились

рядом самозванцев, называвшихся именами умерших и даже небывалых претендентов на молдавское господарство; все они искали приюта и опоры на Украине и с толпами украинской вольницы ходили добывать себе призрачного господства. Первый проложил к этому путь сын рыбака с острова Крита, Василий, называвшийся племянником самосского деспота Гераклида; после разных романтических похождений в европейских странах он с помощью украинской вольницы, собранной подольским паном Альбертом Ласским, в 1561 году изгнал из Молдавии тирана Александра, овладел молдавским престолом, был всеми признан за того, за кого сам себя выдавал; но через два года погиб от возмущения за то, что пытался ввести в Молдавию европейские обычаи и хотел жениться на дочери одного польского пана, ревностного протестанта, что для молдаван угрожало ущербом их национальной религии[41]. В 1574 году казацкий гетман Свирговский помогал получить молдавское господарство другому самозванцу, Ивонии, который назвался сыном молдавского господаря Стефана VII. В 1577 году казаки проводили на молдавское господар-

[41] Сноски: 41
De J. Heraclide.

ство третьего самозванца Подкову, или Серпягу, который назвался братом Ивонии. Несмотря на несчастный исход обоих последних самозванцев (успевших на короткое время быть признанными) в 1591–1592 годах, у казаков искал помощи четвертый самозванец, которого выдали, однако, полякам[42]. В конце XVI века сербский искатель приключений Михаил овладел Молдавией, поднимал на ноги все казачество именем греческой веры и тем взволновал всю русскую чернь. По свидетельству современника, на Украине его ждали как мессию[43]. Тогда украинская удаль искала личностей, около которых, как около центров, могла соединиться. Тогда у казаков давать приют самозванцам и вообще помогать смелым искателям приключений сделалось специальностью, и король Сигизмунд III наложил на казаков, для обуздания их своевольств, обязательство не принимать к себе «господарчиков». Когда по Московской земле стал ходить слух, что Димитрий-царевич жив, и этот слух дошел до Украины, было вполне естественно явиться на Украине Димитрию, — был ли бы этот Димитрий

[42] Сноски: 42
Joach. Bielski.

[43] Сноски: 43
Lubbienicki, Poloneutichia, 143.

истинный или ложный, подобный молдавским господарчикам. Пришел удобный случай перенести на Московскую землю сцены казацкого своеволия под тем знаменем, под которым оно уже привыкло разгуливать по Молдавской земле. Не могли же не проведать на Украине, что в Московщине думают, что Димитрий жив; много было перебежчиков из Московского государства на Украине, многие служили в казацких рядах. Всякий, кто бы на Украине ни назвался именем Димитрия, непременно мог рассчитывать на поддержку: дальнейший успех зависел от способностей и умения вести дело.

И вот, в 1600–1601 годах, когда Борис учреждал по границе заставы и не пропускал никого, даже с проезжими памятьми, стал по Киеву бродить молодой монах. Он говорил о себе, что вышел из Московской земли. Это был перехожий калика, странник: много шаталось таких повсюду. Он поступил во двор князя Острожского, киевского воеводы. Этот столетний старец, главный деятель защиты православия против римского католичества, был гостеприимен, особенно для православных духовных; много их проживало у него на его счет. Но таинственный монах остался у него не долго: он оставил его и перешел к панам

Гойским. Гавриил и Роман — отец и сын — Гойские были люди чрезвычайно влиятельные и известные[44].

Они были ариане и в то время оставались самыми ревностными двигателями этой вольнодумной секты в Речи Посполитой. Гавриил Гойский был прежде старостою в имениях князя Острожского и пользовался расположением его и сыновей его. Православные паны дружили с еретиком во имя свободы совести. Старик Константин Острожский не терпел католичества и ради этого ладил со всеми разноверцами, лишь бы и они враждебно относились к католичеству, надеясь составить из различных толков союз против папского всевластия. Арианство в Польше было сначала религиозное вольнодумство неопределенного свойства, в конце царствования Сигизмунда-Августа получившее вид правильной церкви с определенными догматами. Основания этой секты были таковы: признание единого Бога, но не в Троице; признание Иисуса Христа не воплотившимся свыше чудесно сыном Божиим, а боговдохновенным человеком; отвержение крещения младенцев, иносказательное

[44] Сноски: 44
О Гойских см. Lubbienicki, Hist. reform. In Polon. 276.

понимание христианских догматов и таинств, стремление вообще поставить свободное мышление выше авторитета веры в невидимое и непостижимое. Гойские устроили на Волыни две арианские школы: одну в Гоще, на р. Горыни, другую в Соколе, на р. Случе. Сами они проживали в Гоще; около них постоянно собирался арианский собор, т. е. приезжали единоверцы толковать и спорить, а после споров пировать и веселиться. В такой круг попал наш калика и сбросил с себя монашеское платье; некоторые говорят, будто он служил на кухне у Гойского[45], другие говорят, что он там учил детей, но вероятнее третье известие, — что он сам там учился. Сколько мы его знаем впоследствии, он кое-чему учился и успел нахвататься вершков польского либерального воспитания. Здесь, быть может, он приобрел навык к стрельбе и верховой езде, и вообще ту ловкость и развязность, которою после отличался. Тогда в Польше в школах и в панских дворах, где воспитывалось юношество, очень заботились о том, чтобы развить телесные силы и быстроту движений молодого человека. Тот был молодец, кто мог на лету застрелить птицу или попасть

[45] Сноски: 45
Bar. Barezzi, 6.

пулею или стрелою в написанное на бумаге слово, перескочить с разбега через забор, вскочить на коня, не прикасаясь к луке седла, а еще более славы тому, кто заставит слугу поднять вверх руку, расставить пальцы, между пальцами держать монету, а он выстрелит и попадет в монету. При таком способе воспитания неудивительно, что наш калика, побывши несколько времени при дворе Гойского, сделался ловким молодым человеком, и гимнастика далась ему лучше, чем латинская грамматика. Сверх того, пребывание в этой школе свободомыслия положило на него печать того религиозного индифферентизма, которого не стерли впоследствии и отцы иезуиты. От Гойского калика перешел в местечко Брагин к князю Адаму Вишневецкому и поступил к нему на дворовую службу. Как это могло сделаться, что наш калика перешел во двор Вишневецкого, объясняется отчасти тем, что Гойские, у которых он жил и учился, были в дружеских отношениях с Вишневецкими. Знатные паны держали у себя на дворах большие *оршаки* слуг. Из них одни назывались дворяне, были шляхетского происхождения и занимали ближайшие к панской особе должности; из них-то составлялась надворная команда, выходившая в поле под

панскою хоругвиею. Другие, под общим названием либерии, составляли дворню: между ними различались гайдуки, казаки, хлопцы, пахолки, пахолята. У пана, как у независимого владельческого лица, были свои придворные чины. Первое место занимал между ними маршалок двора (дворецкий); он заведовал порядком службы, творил суд и расправу над слугами, принимал их в службу и увольнял. За ним следовали: панский доктор, правник, то есть ходатай по судебным делам, коморник, крайчий, старосты, ключники, писари, наконец, шуты или забавники, которых обязанность состояла в том, чтоб веселить пана и гостей его, когда понадобится. Большая же часть слуг не имела определенного занятия. Собственно слуги, или либерия, назывались юргельтниками оттого, что получали юргельд (Juhrgeld) — жалованье, но таких было немного, да и то жалованье обыкновенно давалось в скудном количестве; остальные тем довольствовались, что получали помещение и пищу, ничего не делая; не имея средств к хорошему содержанию, слуги панские нередко делали всякого рода своевольства и разбойничали. Многолюдство прислуги во дворе знатного вельможи увеличивалось оттого, что с дворянами, то есть слугами шляхетского

происхождения, проживали у панов собственные пахолки этих дворян. Дворы Вишневецких отличались многолюдством, и паны не были разборчивы в приеме слуг, даже сами не знали, кто у них служит: приходили к ним и уходили от них бродяги всяких стран, стоило только попросить маршалка записать себя в реестре. Князь Адам Вишневецкий, владелец огромных имений в Южной Руси, был пан молодых лет, гуляка, любил пиры задавать и показывать панские причуды, был готов на всякое своевольное удалое предприятие — украинский пан! Молодой московский человек, каким пришелец себя выдавал, был лет двадцати, худощав, небольшого роста, с русыми волосами, лицо у него было кругловатое, некрасивое, смуглое, большой расплюснутый нос, под носом бородавка; голубые глаза отдавались какою-то задумчивостью; голос его был приятен: говорил он складно, с воодушевлением.

Поступивши во двор к Вишневецким, молодой человек там был открыт: узнано было, что он не тот, за кого с первого раза его признали, не простой слуга, а скрывающийся царский сын.

Существуют разные сказания о способе, каким он открыл свою тайну. По одному, он заболел или сказался больным, лег в постель и попросил к

себе русского священника, а по другим известиям — русского игумена[46]. Его исповедали. Он сказал духовнику: «Если я умру от этой болезни, похороните меня с честью, как погребают царских детей». Священник изумился и спросил: «Что значит это?»

«Я не открою тебе теперь, — отвечал слуга, — пока я жив, не говори об этом никому; так Богу угодно; по смерти моей возьми у меня из-под постели бумагу, прочитаешь — узнаешь после моей смерти, кто я таков; но и тогда знай сам, а другим не рассказывай»[47].

Священник, вместо того чтоб исполнить так, как говорил больной, сделал, как, быть может, втайне хотелось больному: он побежал к Вишневецкому и рассказал все. Князь Вишневецкий вместе с этим исповедником сам пришел к больному и стал его расспрашивать. Тот молчал. Вишневецкий отыскал под постелью свиток, прочитал и узнал из него, что перед ним находился сын московского царя Ивана Васильевича Грозного, Димитрий, которого считали убитым в Угличе в царствование Федора Ивановича.

---

[46] Сноски: 46
Petric., 17.

[47] Сноски: 47
Никоновск., 56.

Голова закружилась у пана; приятно стала щекотать его самолюбие мысль, что в его доме между его слугами пришел искать убежища несчастный изгнанный царевич, законный наследник великого соседнего царства. Вид больного внушал доверие: Димитрий, по-видимому, не хотел открывать себя; он открылся только потому, что уже не надеялся жить. Вишневецкий приложил попечение о его выздоровлении. Димитрий поднялся на ноги очень скоро. Тогда князь Адам одел его в богатое платье, приставил к нему слуг, дал ему парадную карету с шестью отличными лошадями, начал с ним обращаться с уважением и повез его к брату своему, воеводе Константину Вишневецкому. Между тем дали знать об этом королю.

По другому известию, князь Адам однажды отправился с ним в баню и приказал что-то принести себе. Слуга позамешкался. Князь рассердился, обругал его и ударил. Слуга горько заплакал и сказал: «Если бы ты, князь Адам, узнал, кто я таков, ты бы не ругал и не бил меня». — «Кто же ты?» — спросил князь. Тогда слуга объявил, что он царевич Димитрий, и в доказательство истины слов своих показал ему золотой крест, осыпанный драгоценными камнями: «Вот крест

— сказал он, — который мне дали при крещении». Он упал к ногам князя: «Князь Адам, делай со мною что хочешь. Я не хочу более жить в таком унижении. Если ж ты мне поможешь, возблагодарится тебе достойно». Князь Адам пригласил царевича помыться в бане, а сам побежал к жене, рассказал, что у них в доме московский государь, приказал подвести к бане карету в шесть лошадей и сам с семнадцатью слугами вошел в баню, помогал царевичу одеваться в принесенные богатые одежды и проводил до кареты, которую просил принять в дар от себя[48].

По третьему известию, претендент открылся не у Адама, а у Константина Вишневецкого, куда он приехал с паном Адамом в качестве слуги. Там он увидал сестру жены князя Вишневецкого, Урсулы, урожденной Мнишек, панну Марину Мнишек. Ослепительная прелесть поразила его. Он осмелился мечтать о ней и однажды подложил ей на окно записку, где сказал, что он не то по рождению, чем принужден быть по несчастным обстоятельствам, и подписался Димитрием. Любопытство увлекло панну Марину. Она объявила об этом сестре своей. Обе сестры

---

[48] Сноски: 48
Chr. Buss., 20.

пригласили Димитрия для объяснения с ними. Димитрий рассказал им историю московского царевича. Вдруг появились паны Вишневецкие и бывший у Константина в то время пан Гойский, прежний хозяин Димитрия. Они слушали его речи в скрытом месте. Димитрий, не смешавшись, прежде чем они произнесли слово, сказал: «Если б я был московский царевич, мог ли бы надеяться получить руку панны Марины?» Константин Вишневецкий сказал: «Советую вам хорошенько подумать о том, что вы говорите. Если вы точно Димитрий, сын Ивана Васильевича, то я могу вам помочь и поднять за вас большую часть Польши. Мой тесть также силен. Но если вы говорите неправду, вас узнают. Когда получите ваше государство, то наша слава будет в том, чтоб служить вам, а теперь не думайте видеть желаемую супругу». По этому сказанию как бы выходит, что самая мысль назваться царевичем родилась от страстной любви. Он ухватился за эту мысль с целью овладеть особою, которую полюбил[49].

Первое сказание подтверждается письмом князя Вишневецкого к королю[50]. Называвший

---

[49] Сноски: 49
Bisaccioni, 27–40.

[50] Сноски: 50
Nowak. Zrodla, t. II.

себя Димитрием рассказывал, что Борис, посягая завладеть царством, когда умрет его зять царь Федор, тайно приказал убить царевича Димитрия. Но царевича спас его пестун; проведав, что ребенка хотят убить, он подменил его другим мальчиком, который и был убит подосланными убийцами на постели ночью. Димитрия увезли к одному сыну боярскому; там он воспитывался в неизвестности, а чтоб лучше сохранить его от Бориса, удалили его в монастырь. Димитрий ходил из монастыря в монастырь, но потом Борис узнал о его существовании и стал сильно искать его, и он ушел на Украину, во владение польского короля[51].

Когда слух распространился о спасении царевича, тут случился какой-то московский человек, звавший себя Петровским, слуга канцлера Льва Сапеги; он говорил, что видел когда-то угличского царевича и может теперь узнать его. Петровского призвали, и тот с первого раза закричал: «Это истинный царевич Димитрий!» Сходство нашлось поразительное: у царевича маленького была бородавка на щеке и одна рука короче другой — и у этого молодого человека точно те же признаки;

[51] Сноски: 51

Собств. письмо Сигизм. III к Брестскому воев. Зеновичу, от 18 февр. 1664 года. В автогр. Публ. библ. № 63.

у царевича будто бы при самом корне правой руки было родимое красное пятнышко — и у него точно такое оказалось[52]. Этого свидетельства было достаточно; дальнейшей критики не требовалось, особенно когда панское тщеславие побуждало более верить, чем сомневаться. Оба брата Вишневецкие сочли несомненным, что у них спасенный сын московского царя.

Вишневецкие имели большое значение в южнорусском крае, дом их всегда был битком набит шляхтою. Теперь весть о чудесно спасенном царевиче распространилась быстро, и все бежали смотреть на такое диво. Вишневецкий показывал его пред всеми. Молодой человек говорил о своей судьбе с жаром и возбуждал сочувствие в слушавшей шляхте. «Я должен был скрываться под вымышленными именами, — говорил он. — Я знал, какого я происхождения, и когда пришел в возраст, тяжело мне стало в Московской земле, и я ушел к вам и теперь принял твердое намерение — возвратить отеческое достояние. Я не из честолюбия хочу этого, а чтоб не торжествовало злодеяние; многие московские бояре желают этого, многие знают, что я жив, ожидают меня,

[52] Сноски: 52
Petric., 12–17.

ненавидят тирана и готовы признать меня законным государем». В этом крае, несмотря на соседство, мало были знакомы с подробностями обстоятельств Московской земли и потому легко верили. Этому помогло одно обстоятельство: нашелся в Польше какой-то ливонец, который уверял, что служил царевичу Димитрию в его детстве и был тогда в Угличе, когда случилось убийство. «Я не знаю, — говорил он, — настоящего ли тогда убили или подмененного. Но я помню царевича и узнаю его, если тот, кто называется его именем, действительно настоящий». Король приказал послать этого ливонца к Вишневецкому. Ливонец, поговоривши с претендентом, потом всем говорил: «Это настоящий царевич Димитрий. Я узнал его по знакам на теле; кроме того, я его расспрашивал; он помнит много такого, что случалось в его детстве и чего другой не мог бы знать»[53]. Вероятно, от этого ливонца пошло в ход доказывать истинность Димитрия между прочим тем, что у него на плече красная родинка, которую будто бы видели на нем тогда, когда он, будучи еще ребенком, жил в Угличе.

Проживая у Вишневецкого, Димитрий завел

---

[53] Сноски: 53
Письмо Сигизмунда III.

сношения с казаками и побуждал их помогать ему достигнуть московского престола[54]. Он отправил поджигать против Бориса и донских казаков. Это поручение принял на себя, по уверению современника, Григорий Отрепьев: быв монахом в Чудовом монастыре, он служил у патриарха Иова для письмоводства и ходил с ним в царскую думу, а потом был обвинен в чернокнижестве и убежал в пост 1602 года в Польшу. Так как этот монах, по известиям знавших его, был в Гоще, то, вероятно, там он и сошелся с Димитрием. По известию Буссова[55], он-то и настроил его назваться этим именем. Король потребовал от Вишневецкого, чтоб он доставил к нему отыскавшегося московского царевича, и Вишневецкий выехал с ним вместе к королю.

Польские паны ездили пышно и медленно; их сопровождало множество экипажей и множество слуг; за ними везли чуть не все хозяйство; а едучи, если не было к спеху, они заезжали к родне и к друзьям, где приезд гостей давал повод к празднествам и угощениям. Так было и теперь. Константин Вишневецкий, ехавший вместе

---

[54] Сноски: 54
Ibid.

[55] Сноски: 55
Bussow, 26; русск. перев. 32.

с женою, заехал и завез молодого царевича к своему тестю Юрию Мнишеку, сандомирскому воеводе, в Самбор, город «королевских добр», отданный в управление Мнишеку. Он находился в превосходнейшем крае, стоял на прекрасном местоположении над Днестром, был, как все города, набит жидами; в нем был деревянный замок с башнями и с двумя воротами, над которыми возвышались башенки, покрытые жестью; одна была с золотою маковкою. Тут находилось много деревянных строений, где помещались службы и находились приюты для гостей, которые то и дело приезжали на двор и съезжали со двора знатного пана; был там сад, а за садом гумна, оборы, шпихлеры, пивоварня, скотня и проч. Напереди во дворе возвышался деревянный костел, а близ него дом, или палац, где проживал Мнишек, управитель королевской экономии в Самборе. Палац в Самборе был деревянный. Тогда богатые паны не гнушались домами, построенными из лиственницы: это не мешало украшать их великолепно и снаружи, и внутри. На верху очень высокой, в два уступа, гонтовой крыши со множеством слуховых окон была средняя вышка с золоченой маковкой; по углам стояли вышки поменьше. Панские дома обыкновенно

строились тогда в два жилья, с заворотами и угольниками, на глубоком подвале. Наружное разнообразие постройки увеличивалось многими входами с крыльцами под навесами. С приезда на двор бросался в глаза главный вход под фронтоном на колонках, украшенных гербом владетеля (у Мнишеков — пук перьев). С главного крыльца входили в огромные сени, где всегда бывало множество прислуги. Из сеней был вход в столовую залу, обычное место сборища гостей; за нею анфиладою шли две или три залы, убранные нарядно. Потолки разрисовывались, раззолачивались узорами, резные створки дверей блистали позолотою; на дверях и на окнах с разноцветными стеклами и лепными карнизами висели золототканые или бархатные занавесы с широкою бахромою; стены, столы и скамьи, а во многих комнатах и полы укрыты были ковровыми тканями с затейливыми изображениями охоты, сражений, любовных сцен, мифических и исторических событий и пр. На стенах висели картины, и в одной из зал по стенам красовались в золоченых рамах портреты королей и предков хозяина. У стен стояли лавки с откосами, а кресла, которых было немного, делались на золоченых ногах с золочеными рукоятками

в виде вычурных фигур. Кроме этих парадных комнат панский дом наполняли жилые комнаты в различных направлениях, отличавшихся тем, что в стенах были выемки и шкапы с полками и дверцами для хранения всякого рода домашних вещей. Таков был общий вид панского дома начала XVII века; такой вид жилья должен был тогда представиться нашему монаху. Управитель самборского королевского имения не пользовался расположением подданных, которые были вверены его управлению; напротив, сохранились жалобы на притеснения и несправедливости Мнишека[56]. Это, впрочем, было дело обычное в имениях, так или иначе пожалованных от короля пану в пользование или в аренду. Огромная толпа панских слуг шляхетского звания жила на счет мещан, жителей города или местечка, данного пану; мещане обязаны были давать им «стации» на продовольствие — хлебом, мукою, рыбою, мясом, а часом шляхтич-слуга и насильно брал, что хотел, у мещанина. Когда пану нужно было что-нибудь для дома, то это покупалось у подвластных мещан; им вместо чистых денег давались карточки, которые ходили между ними

[56] Сноски: 56
В дел. Литовск. Метрики.

как ассигнации и, разумеется, падали в цене при сношениях с чужими. Кроме обычных по уставу поборов, пан вымогал от мещан упоминки, особенно когда случалось ему делать пир. Тогда у пана веселились, а мещане терпели лишения, втайне проклиная панскую веселость.

Мнишек был пожилой человек лет за пятьдесят, невысокого роста, с короткою шеею, дородный, с высоким лбом, с небольшой круглой бородой, с выдавшимся вперед подбородком и с голубыми плутоватыми глазами, со сладкими манерами, с красивым образом выражения. Есть известия, дающие нам возможность познакомиться несколько с этим человеком[57].

Слава о нем была не отличная. Отец его, Николай Вандалин Мнишек из Великих Кончиц, родом был чех и пришел в Польшу из Моравии в царствование Сигизмунда I, женился на дочери пана Каменецкого, русского воеводы, и получил звание коронного подкомория. Двое сыновей его — Николай и Юрий — служили при дворе Сигизмунда-Августа и в последние дни жизни короля вошли к нему в большое доверие. После смерти своей любимой супруги, Барбары Радзивилов-

[57] Сноски: 57
У Оржельского, Bezkrolewie, t. I и II.

ны, король впал в тоску, которая истощала его нравственные и телесные силы. Исполняя волю умирающей жены, Сигизмунд-Август женился на австрийской принцессе, но скоро возненавидел ее и развелся с нею. Он не мог забыть Барбары; годы проходили, тоска его возрастала. Надобно было чем-нибудь заглушить ее. Как часто бывает с теми, которые страдают от потери дорогих существ, король предался распутству. Тут пригодились ему Мнишеки. Они доставляли женщин для королевской спальни. Сигизмунд-Август стал ребячески суеверен — и в этом угождали ему Мнишеки: они держали у себя для короля двух колдунов — Гроновиуса и Бурана; кроме того, выписывали и доставляли королю разных баб-шептух, гадальщиц и лекарок, которые волшебными средствами поддерживали в короле способность наслаждения женским естеством. Проведают Мнишеки про подобную знахарку, сейчас посылают за нею, привозят к королю тайно ночью, и та обливает чудесною водою его иссохшее тело и советует оставить прежнюю любовницу и взять себе иную — такую-то. Мнишеки добывают королю ту, на которую укажет колдунья. Тогда прежняя любовница, покинутая, вместе со своей бабой колдуньей хотят ведовством испортить

короля. Опять работа Мнишекам. Они достают еще одну бабу, которая уничтожит зловредные чары прежней. Король был совсем не мстителен и не преследовал тех любовниц и баб, о которых думал, что они ему творят зло, а старался их задобрить деньгами и подарками. Родственники и свойственники любовниц получали королевские милости и возвышения. Перед концом жизни короля была у него в любви Барбара, дочь мещанина Гижи, называемая по отцу Гижанка. Она и по своей красоте, и по своему имени напомнила ему незабвенную супругу Радзивиловну; король пристрастился к ней. Ее достал ему Юрий Мнишек; он переоделся в женское платье, вошел в монастырь бернардинок, где воспитывалась Гижанка, подговорил ее, увез из монастыря и доставил на королевское ложе. Она жила во дворце, и каждый день два раза приводил ее к королю Мнишек. Тогда Мнишеки стали всемогущими людьми в Речи Посполитой. Юрий получил сан коронного крайчего, начальствовал дворцовою стражею, оберегал здравие любовниц, которых жило во дворце пять с их роднёю: из зависти и досады их могли оскорблять; тогдашнее поведение короля соблазнило нравственные понятия польского общества. Мнишек с братом имели до-

ступ к королю во всякое время, тогда как знатные сенаторы, лица древних родов, не такие пришельцы, как они, принуждены были дожидаться за воротами, пока их допустят к высокой особе. К Мнишекам обращались с просьбами: через них получались должности, имения; Мнишеки писали королевским именем грамоты и подносили Сигизмунду-Августу, а тот, не читая, подписывал слабою дрожащею рукою. Его домашняя казна была в распоряжении Мнишеков. В этом положении они получали от короля награды, да и сами не стеснялись поживляться из той казны, которая отдана была им в руки. Но окончательно обогатились они в день смерти короля. Постепенно таявший король, приехавши с Мнишеками, с Гижанкою и с приближенными дворянами в литовский замок Книшин, скончался там 7 июля 1572 года. В ночь после того Мнишеки отправили со своими слугами несколько мешков из замка, а за шесть дней перед тем вывезли уже такой большой сундук, что шесть человек едва могли поднять его. Другие дворяне с их согласия также погрели руки. Домашняя королевская казна до того была очищена, что не во что было прилично одеть смертные останки короля. На последовавшем потом избирательном сейме возникло об

этом грабеже дело; оно началось по неудовольствию сестры короля, инфантки Анны, которая давно уже ненавидела Мнишеков, оскорбляясь тем, что король больше оказывал чести и внимания подставляемым от Мнишеков любовницам, чем сестре. Но за Мнишеков стали заступаться сильные люди, которые были с ними в свойстве, — доказывали, что невозможно фактически доказать растрату королевского имущества, и уговорили инфантку Анну оставить преследование Мнишеков. «Я много потерпела от них, — сказала инфантка, — но пусть эти негодяи остаются ненаказанными: не приходится мне в моем горе домогаться их заслуженной кары, а простить их никогда не могу». Дело было прекращено. Несмотря, однако, на сильные связи Мнишеков, находились впоследствии смелые люди, которые решались обличать их. На том же избирательном сейме, когда некоторые подавали мнение избрать на польский престол Пяста, противники заметили, что наследственное правление имеет ту невыгоду, что король может приблизить себе любимцем какого-нибудь негодяя, и будет вроде того, как при Сигизмунде-Августе, когда никто не смел сказать слова против пахолка Мнишека. При короле Генрихе, когда Юрий Мнишек

исполнял за торжественным обедом свою должность коронного крайчего, один из королевских дворян, Заленский, заявил, что Юрий Мнишек — человек, известный своим дурным поведением, не очистился от обвинений, не достоин исполнять своей обязанности. Король, не знавший дел Польши, объявил, что Юрий Мнишек должен оправдаться от таких обвинений; но зять Мнишека, Фирлей, убедил короля оставить это дело и не обращать на него внимания. С тех пор уже всем ведомые поступки Юрия и брата его остались без преследования, но никогда уже Мнишеки не могли изгладить о себе дурного воспоминания. Их огромные богатства, приобретенные около больного короля и награбленные после его смерти, сделали их значительными людьми в Речи Посполитой. При Стефане Батории Юрий был каштеляном радомским; но ни он, ни его брат не играли важной роли в политических делах. При Сигизмунде III Юрий подделался в милость короля и получил воеводство Сандомирское, староство Львовское и управление королевским имением в Самборе. При отсутствии дарований, трудолюбия и опытности в важных делах он держался и возвышался только богатством, связями и интригами. Еще смолоду он обставил

себя выгодно родством с важными домами, и замечательно, что его родство и связи были преимущественно с диссидентскими фамилиями. Одна сестра его была за арианином Стадницким, другая — за кальвинистом, воеводою краковским Яном Фирлеем; сам он был женат на Гедвиге Тарло, которой отец и братья были упорные ариане; в родстве с ним была арианская фамилия Олесницких; даже Якуб Сенинский, главный коновод арианской партии, основатель арианской академии в Ракове, был покровителем Мнишеков. Таким образом в XVI веке мы встречаем Мнишеков в глубоко некатолическом кругу. Но когда вступил на престол Сигизмунд III, ревностный католик и друг иезуитов, Юрий Мнишек стал показывать себя католиком и, получив от короля в управление Самбор, построил там монастырь отцов доминиканцев, а в своем Львовском старостве бернардинского ордена монастырь; он подарил десять тысяч на устройство иезуитской коллегии во Львове. Ловкий человек наблюдал, откуда ветер веет, и сообразно тому показывал свои убеждения и наклонности. Роскошная жизнь, при его крайней суетности и пустоте, истощала его большое состояние; как ни велики казались его доходы, но их недоставало для того

блеска, которым окружал себя уже наживший от пресыщения подагру пан; он вошел в долги и поправлялся, устраивая детей своих. Меньшую дочь свою, Урсулу, он успел выдать за князя Константина Вишневецкого, сильного и чрезвычайно богатого пана. Другая — старшая, по имени Марина, ожидала себе знатного жениха[58].

Воевода был в восторге, когда узнал, какого знатного и странного гостя привез ему зять. Он расточил все, чтоб понравиться гостю и пленить его. Самбор зашумел гостями. С разных сторон спешили посмотреть на московского царевича. Съезжались к Мнишеку соседние паны; ехали и такие гости, что хозяин встречал на крыльце, а для помещения отводили им чистые, убранные коврами комнаты, в наугольниках дворца, — и

---

[58] Сноски: 58

По гербовнику Несецкого (т. III, стр. 280). Юрий Мнишек имел от первой жены двух дочерей: *Марину* и *Урсулу* Вишневецкую, и двух сыновей: *Яна* и *Станислава.* Гедвига, мать их, принесла большое состояние в приданое Мнишеку. От второй жены, Софии, княжны Головинской, было у него три дочери: *Анна, Августина* и *Евфросина*, и четыре сына: *Николай, Сигизмунд, Станислав-Болеслав* и *Франц-Бернард.* Дети от второй жены в описываемое нами время еще не были совершеннолетними.

По родословной книге Долгорукого, у Юрия Мнишека были дети: а) сыновья — 1) Ян-Стефан, р. 1580, ум. 1602, 2) Станислав-Вонифатий, ум. 1645, женатый на княгине Софии Сангушко, умершей в 1605 г., 3) Николай, 4) Франц-Бернард, каштелян Сандецкий, женатый на Варваре Стадницкой; б) дочери — 1) Христина-Терезия, монахиня кармелитка; 2) Анна, за Войницким каштеляном Петром Шишковским, 3) Урсула, княгиня Вишневецкая, 4) Марина, 5) Евфросиния, за Ермолаем Иорда-

ном (Родосл. кн. III, 197).

такие, которых помещали где-нибудь на соломе, а за обедом, сажая на конце стола, давали им ложки оловянные, когда другим подавали серебряные, не давали ножей и вилок, не переменяли тарелок; гости, которым хозяин надменным обращением показывал, как велико для них счастие, что им дозволено переступить за его высокий порог, но которые при случае, когда их много соберется, отомщали хозяевам за их высокомерие, поднявши в доме такую кутерьму, что гордому пану, по выражению современника, меньше было свободы в собственном дворце, чем шинкарю в собственной корчме. Таких гостей в то время у Мнишека было много; и он в них нуждался для своего царевича, и они себе занятие предвидели. Тогда в Польше — оттого, что в моде было гостеприимство, пированье, щегольство, — много было таких, что проедались, пропивались, проигрывались и искали средств поправиться рыцарскими трудами, хотя бы обыкновенным разбоем; по тогдашним понятиям честнее было шляхетному человеку разбойничать, чем жить с расчетом, трудами ремесел и торговли. У Мнишка начались пиры, где всего роскошнее высказывалась приманчивая сторона польской жизни. Не скупился Мнишек, надеясь потрачен-

ное воротить с лихвою на счет Московщины. Польский пир в те времена так отправлялся. В два часа пополудни ударял колокол между палацом и официною. Гости собирались в столовую, где пол был усыпан пахучими травами, а в воздухе носились облака благовонных курений; в одном углу за перилами блистала пирамида серебряной и золотой посуды, а в противоположном, также за перилами, сидел оркестр музыкантов, где преобладали духовые инструменты. Маршалок, стоя у дверей столовой, впускал гостей по реестру. Четыре служителя подходили к гостям по очереди; один держал таз, другой из серебряного сосуда лил на руки гостю благовонную воду, третий и четвертый подавали ему вышитое по краям полотенце утереть руки. Гости садились за стол, обыкновенно поставленный в виде букв *покоя или твердо*, смотря по количеству гостей, накрытый тремя скатертями одна сверху другой и уставленный множеством серебряных и позолоченных кубков, чарок, роструханов и серебряных судков с филигранными корзинами наверху для плодов. Дамы садились попеременно с мужчинами для веселости беседы. Музыканты играли в продолжение всего обеда. Подстолий, крайчий, подчаший распоряжались слугами: множество

последних в цветных платьях бегали взад и вперед, ставили на стол и снимали со стола кушанья, которых бывало у поляков четыре перемены, и на каждую перемену ставилось разом на стол блюд пятьдесят и больше, как можно позатейливее изготовленных как по выбору материала, так и по способу приготовления: тут подавались чижи, воробьи, коноплянки, жаворонки, чечетки, кукушки, козьи хвосты, петушьи гребешки, бобровые хвосты, медвежьи лапки, какой-нибудь соус в виде барана с позолоченными рогами, налитого жидкостью, пропитанною шафраном; но особенное художническое дарование поваров выказывалось в конце обеда на «цукрах», когда, снявши верхние скатерти, слуги устанавливали стол сахарными изображениями городов, деревьев, животных, людей и пр., и пр. Так как польская вежливость требовала в этом случае представить изображения, имеющие отношение к почетному гостю, то наш претендент видел на столе у Мнишека двуглавых орлов, Московский Кремль с позолоченными куполами церквей и свое собственное подобие на троне в Мономаховой шапке. Из кубков вычурной работы, которые Польше доставляли во множестве Нюренберг и Генуя, пили заздравные чаши старого вен-

герского, и тут было раздолье всевозможному краснословию, тут сыпались фразы из Св. Писания, из латинских классиков, из греческих философов, часто в искаженном виде, уподобления из мифологии, примеры из древней истории, дифирамбы католичеству, восхваления доблести польских героев, угрозы неверию. Димитрий рассказывал о мучительствах Бориса, о собственном терпении; шляхтичи обещали служить ему и положить за него жизнь. Ознакомившись с приемами тогдашней вежливости, Димитрий нравился полякам, когда приводил разные примеры из истории, как цари и властители были в таком же затруднительном положении, как он сам теперь, а впоследствии достигали могущества и делались славны подвигами своими. «Такими, — говорил он, — были Кир и Ромул, пастухи бедные, ничтожные, а потом царские роды основали и заложили великие государства». Ловко и красиво сплетенные фразы приводили поляков в восторг. «Не может быть, чтоб он не был истинный царевич! Москва — народ грубый и неученый, а этот знает и древности, и риторику; он должен быть царский сын».

Еще гости сидели и толковали за кубками венгерского, а уже блеск польского пира сменялся

другою стороною польского веселья. Музыка играла полонез. Дамы, ушедшие из-за стола заранее, входили попарно в танцевальных нарядах, сверкая множеством цепей, украшавших их грудь, затейливыми филигранными кружевами около шеи, дорогими перстнями на пальцах, в те времена не закрываемых перчатками. Они плавно подходили к пирующим и кланялись; мужчины, покручивая усы, побрякивая карабелями и поправляя на головах расшитые золотом магерки, молодецки выступали за ними и попарно шли по разным покоям дома. Эта процессия открывала ряд туземных и иноземных танцев в соседнем зале, их никто не в состоянии был описать; фигуры вымышлялись по вдохновению, а общего между ними было то, что в телодвижениях, кружениях, беготне разыгрывалась история любви, ее упоения, ее муки, измена, ревность, спокойствие семейного счастья, житейское горе, ссоры и примирения, торжество мужской отваги и женской красоты. Эти танцы сопровождались хорами, криками, стуками, хлопаньем в ладоши, ударами металлических подков до появления искр. Влияние западноевропейской образованности ввело в польское общество и иноземные танцы, в знатных домах они свидетельствовали о хоро-

шем тоне, но и там не изгнали они еще народных забав, и на балу польско-русского пана можно было рядом с чужеземными танцами увидеть нежно-разбитную горлицу или удалого казака[59], танцуемого под меланхолическую украинскую песню, которую пел посредине зала с лютнею какой-нибудь шляхтич, и притом забавлял гостей передразниваньем степных приемов запорожцев. Наш претендент проникся прелестью такого веселья и уже мечтал ввести в своем Московском государстве эти признаки цивилизации.

Не менее приманчивая сторона польской жизни высказывалась в охоте. После танцев это была любимая забава. Знатный пан, открывая свой дом для гостей, считал долгом угостить их охотою на своих полях, пощеголять своими собаками, соколами, кречетами. Тут было где развернуться шляхетскому молодцу, показать свою ловкость и мужество, красоту своей лошади, блеск конского убора, на который поляки тратили чуть не столько, сколько на посуду. Тут молодые пани и панны показывали свою удаль наравне с мужчинами, и нигде польская красавица не была так очаровательна, как несясь на коне в мужском наряде с

[59] Сноски: 59
Горлица и казак — южнорусские народные танцы.

развевающимися по ветру кудрями из-под берета, украшенного перьями.

Дочь Мнишека, Марина, была девица росту небольшого, с черными волосами, с красивыми чертами лица, но в ее немного прижатых губах, узком подбородке виднелась какая-то сухость, а глаза ее блистали более умом и силою, чем страстью. Эта девица употребила тогда всю силу женской прелести, чтоб овладеть царевичем; а это было нетрудно. Монах-скиталец не знал женщин или, может быть, знал их с такой стороны, с какой можно было к ним прикасаться бродяге; он очутился в очарованном мире любви и красоты, непохожем на его грустную жизнь. Он влюбился — и первые впечатления любви, как бывает часто, определили его последующую судьбу. Тут, вероятно, утвердилось то предпочтение всему польскому перед русским, та любовь к польским нарядам, к польскому языку, к польскому образу жизни и к польским понятиям — все, что впоследствии очертило характер этого человека и погубило его.

Чтобы уверить гостей в подлинности Димитрия, как, разумеется, захотелось Мнишеку с первого раза, призваны были слуги, которые когда-то находились в плену в Московщине.

Слуги, разумеется, говорили так, как желательно господам: уверяли пред всеми, что знали и видали Димитрия в Московщине, и клялись, что это поистине царевич. Их не спрашивали, как и где они могли видеть царевича; все верили им, потому что приятнее было верить, чем не верить, успокаивали свои сомнения, радуясь, что так скоро можно их успокоить, хотя эти свидетели не выдержали бы самой легкой критики. В южнорусском крае жило много московских детей боярских, перешедших на жительство во владения польского короля; там им давали поместья. Еще многие убежали туда от тиранства Ивана Васильевича, другие спасались от Бориса. Услышали они, что явился царевич. Им было подручно признать его за настоящего. В случае неудачи они ничего не теряли и оставались бы в том же положении, в каком находились; а в случае удачи их могло ожидать возвращение в отечество, почести и возвышение в благодарность за содействие царю в получении законного достояния. Они приезжали смотреть царевича, и те из них, которым по времени своего удаления из отечества возможно было видеть царевича, свидетельствовали перед всеми, что он истинный Димитрий, сосланный в детстве в Углич, о

котором распространяли ложный слух, будто он убит. Видя, что его признают свои, поляки тем скорее успокаивали свои сомнения.

Кроме женских сетей, наследника московского престола опутывали в то же время иными сетями. Тогда было время, когда католическая пропаганда обратила сильнейшую деятельность на Московию. Чрезвычайные успехи иезуитского ордена побуждали Рим к смелым предприятиям, располагали к широким предположениям. Из отдаленных стран Японии, Китая, Индии, Америки приносились баснословные известия о быстром падении идолопоклонства и неверия, о торжестве истинной религии. В Европе протестантство уступало реакции. В Польше и Литве только что совершилось давно желанное присоединение греко-славянской церкви: Флорентийский собор переставал быть одним воспоминанием. Ничего не было естественнее побуждения следовать далее — проникнуть в Московщину и покорить власти св. Петра схизматические и языческие души этой неизмеримой страны. В Западной Европе знали, что в Московском государстве царь всемогущ, ничто не может остановить его воли: народы привыкли повиноваться ей без размышления и считать справедливым то, что царь

таким почитает. Казалось, нужно только, чтоб московский государь был расположен присоединиться к западной церкви, — весь управляемый им край последует за ним. Иезуитская политика везде отыскивала слабую сторону и на нее действовала, и через нее проводила свои виды. В Польше могущественна была аристократия, на нее налегли иезуиты.

В Московии все значил царь: для успеха в этой земле и нужно во что бы то ни стало сделать царя орудием пропаганды. Уже не один раз подбиралось латинство к Москве и придавало себе больше успеха, чем сколько было его на деле. Отец царя Ивана Грозного, Василий, по поводу войны с Литвою завел сношения с римским двором, принимал папских послов, посылал в Рим своего, обращался к папе с вежливыми письмами; из этого папа и весь католический мир заключили, что московский государь уже признал власть апостольского престола[60].

В 1580 году Иван Грозный по поводу войны с Баторием обратился к папе, и тогда послан был от св. отца иезуит Антоний Поссевин. Устроивши мир московского государя с Баторием, Поссевин

---

[60] Сноски: 60
Hist. Russ. Mon., 1, 128, 134.

отправился в Москву с покушением осуществить заветное желание присоединения московской церкви. Покушение не удалось; но двукратное обращение московских государей к главе Римско-католической церкви показывало, что московские государи могут иметь необходимость в связи с римским престолом, и рано ли, поздно ли, а может отыскаться счастливый случай, когда московский государь будет поставлен в условия, благоприятные для панских видов. И католичество искало этого желанного случая. После неудачной поездки Поссевина папская политика не теряла из виду «Московии». Письма за письмами следовали к московскому государю. Сношения стали чаще. Рим следил за событиями в Московском государстве; папские нунции при польском дворе и иезуиты, рассыпанные по Литве, были его соглядатаями в этом деле. Узнавали и сообщали в Италию обо всем, что делалось в Московском государстве, соображали разные стороны: нельзя ли за то или за другое уцепиться. Малоумие Федора, ссоры между боярами, возвышение Бориса, предположения об избрании московского государя на польский престол, сношения с Персиею, подданство Грузии — все эти события обращали на себя внимание римско-

го престола и его слуг. Важнейшим поводом к сношениям с Московским государством казался тогда вопрос о войне с Турциею, об участии московского государя вместе с католическими монархами в предполагаемом союзе христианства против ислама: в этом отношении папской пропаганде естественно было присоседиться к сношениям Австрии с Московским государством. Австрия более всех христианских держав нуждалась в образовании союза против турок, и потому ей ближе всего и нужнее всего было побуждать Московское государство ко взаимному союзу. По этому поводу папа Климент VIII отправил к царю Федору послом иллирийского прелата Александра Комулео: он был природный славянин и выучился по-русски; до того времени не было подобного, и от его посольства ожидали больших успехов. «Семьсот или восемьсот лет прошло с принятия христианства, а еще никогда не случалось, чтоб от св. престола был послан к москвитянам знающий их язык, и потому есть надежда, что вы будете орудием для большего блага св. церкви», — говорилось в наказе этому славянину. Предлогом посольства было расположить к войне против Турции в помощь Австрии. Посол должен был обещать Московскому государству за-

воевание Константинополя, указать, что прямое назначение московского государя — присоединить к себе единоплеменных и единоверных народов, находящихся под турецким игом, которые мало разнятся по языку от москвитян. Рассчитывали, таким образом, на подмеченную уже склонность Московского государства к расширению пределов своих владений. Но главная цель посольства была попытаться склонить царя этими блестящими надеждами к подчинению папской власти. Посол должен был действовать на высокомерие московского государя: с одной стороны, представить, как унизительно уважать духовную власть константинопольского патриарха, который получает свой сан за деньги и есть раб турецкого государя, главного врага христианства, с другой — польстить его императорскою короною, которую дать может только один папа. Славянин приготовился спорить о вере и отвечать на всевозможные вопросы о различии догматов, уставов и обрядов[61]. Этот проповедник ездил в Москву два раза; он не сделал там ничего важного, но пропаганда не оставила своего дела; надобно было искать иных путей.

---

[61] Сноски: 61
Др. Р. Вивл., XII, 458.

Федор умер. Взошел на престол Борис. Еще когда он был правителем, папа знал о нем и писал к нему вежливые письма. С переменою династии приходили в Рим неясные и двусмысленные вести. Оказалось нужным поближе узнать, что делается в Московщине. И вот в 1601 году[62] посланы были двое послов, португальцы Франческо Коста и Дидак Миранда Генрих, в Персию, через Московию, с просьбою дозволить им проехать через эту страну. Явно было для Бориса, говорит живший в Московском государстве голландец[63], что эти послы приезжали с тем, чтобы проведать, что делается в Московской земле, и узнать свойства народа, потом передать об этом сведения своему государю, римскому папе, чтобы впоследствии употребить их для своего искусства. Борис угостил их и с миром отпустил. Итак, когда за Московским государством наблюдали пристально и знали и хотели знать в подробности, что там делается, — такие события, как убийство последнего наследника прежней династии, воцарение Бориса, несчастия его царствования, нелюбовь к нему народа, наконец, слух о спасении Димитрия,

---

[62] Сноски: 62
Hist. Russ. Mon., II, 54.

[63] Сноски: 63
Is. Mass.

не могли не приниматься в соображение при стремлении римской пропаганды проникнуть в Московское государство. Димитрий появился чрезвычайно кстати для нее; да и для него в его положении она была необходима. В Польше было время господства сильной католической реакции. Протестантское вольнодумство падало. Иезуитское воспитание переделывало молодое панское поколение в верных слуг св. престола. На польском престоле царствовал король, глубоко преданный католичеству. Чтоб снискать себе поддержку в Польше, Димитрию выгодно было показаться готовым принять католичество и обещать его ввести в Московское государство, а католической пропаганде отыскивался наконец самый счастливый и удобный случай для ее видов; то, о чем она помышляла, сбывалось: царь московский расположен к католичеству и, следовательно, введет его в своих владениях. Не видно ни из чего, чтобы Мнишек был очень ревностный папист: но, как практический человек, он должен был сразу понять, что самая верная надежда Димитрию от короля и католической Польши будет тогда, когда в молодом царевиче заметят готовность быть орудием католической пропаганды. Ксендзы принялись за Димитрия;

дамы им помогали. Царевича пленяли обаянием богослужебного великолепия. Ксендз Помасский, духовник королевский в Самборе, расточал пред ним доводы своей учености. Претендент понял, что пред ним сила и ей надобно угождать; и зато за каждое слово, сказанное им дружелюбно о Римско-католической церкви, и духовные, и светские восхваляли его ум, дарования, красноречие; кричали, что все в нем показывает истинное царственное происхождение, что долг справедливости и человечества побуждает всякого помогать ему, и заранее пророчили московской державе счастье и величие, когда над нею воцарится такой мудрый государь. Его побудили написать письмо к папскому нунцию Рангони, жившему в Кракове, и искать его покровительства. Кругом царевича все твердило, что если он приобретет его благосклонность, то успех несомненен; нунций напишет святому отцу, а слово святого отца все может — вся Польша пойдет за него.

Димитрий написал к нунцию. Нунций не отвечал, но в то же время, как оказывается из переписки, написал папе о Димитрии, сообщил, что явлением его в польских владениях следует пользоваться в видах распространения рим-

ско-католической веры. Прождавши несколько времени, Димитрию советовали писать в другой раз. Он послушался, написал в другой раз и опять несколько времени ждал ответа. А между тем иезуиты следили каждый шаг его и доносили нунцию, что дело идет очень успешно, молодой царевич расположен и настроен принять католичество.

Наконец из Кракова последовало новое приглашение к Вишневецкому и Мнишеку, чтоб они ехали в столицу, везли с собой спасенного чудесно царевича и представили королю. Так Димитрий, весело поживши в доме Мнишека, выехал; его провожало уже много друзей; а в голове у него был чарующий образ женской прелести, который более всего увлекает к предприимчивости пылкие натуры.

II. Димитрий в Кракове. – Сватовство. – Набор ополчения. – Вступление в Московское государство

Димитрий с панами прибыл в Краков в марте 1604 года. Мнишек пригласил к себе на званый обед знатнейших особ; в числе их был и папский нунций Рангони. Названый царевич сидел скром-

но в кружке других за одним из столов, как будто не желая себя выказывать. По известию нунция, это был молодой человек, хорошо сложенный, смуглолицый, с бородавкою на носу под правым глазом, с длинною белою рукою. В его походке, в поворотах и голосе видно было благородство и отвага. Такое впечатление произвел он на нунция. Он слушал с участием его рассказ о чудесном спасении, удивлялся промыслу Божию и говорил: «Перст Божий явно показывает, что провидение сохранило тебя для великого дела человеческого спасения; призвание твое велико!» Наконец нунций объявил положительно, что король и польская нация будут ему помогать только в таком случае, если он примет покровительство папы и соединение со святою римско-католическою религиею. Письма Димитрия к нунцию, который не отвечал на них, хранили как обличительный документ на случай; они были растолкованы так, как будто со стороны московского царевича уже последовало полное обещание принять католическую веру. Претенденту некуда было деваться: в случае отказа он лишался помощи. Этого мало; он мог бояться, что когда Борис начнет усильно домогаться его выдачи, то его могут и выдать, как существо бесполезное для целей Польши и,

напротив, вредное для согласия с соседями.

Между польскими панами велись беседы и толки о необыкновенном явлении. Некоторые паны, и в числе их знаменитый Ян Замойский, не хотели давать никакой веры названому царевичу и указывали на исторические примеры, когда плуты назывались чужими именами, как, напр., в древние римские времена являлся некто под именем Агриппы и в последние времена был названый португальский король. Но таких, как Замойский, относившихся к явлению с критическим взглядом, было меньшинство, большая же часть склонялась признать претендента за Димитрия; удовлетворялись свидетельством тех, которые, как ливонец и некоторые поляки, бывшие когда-то в Москве, уверяли, что видели Димитрия дитятею и узнали его. Литовский великий канцлер говорил, что верит ему настолько, что готов помогать его предприятию и деньгами, и людьми, а краковский епископ Бернард Мацейовский особенно стоял за него, потому что при первом же знакомстве с ним дал ему книгу об унии, а названый царевич отозвался с сочувствием о подчинении православной церкви папе. Другой пан, также с первого раза схватившийся за названого Димитрия в его пользу, был кра-

ковский воевода Жебржидовский. По известию папского нунция, этот пан, собственно, плохо верил в подлинность царевича, но видел в нем подходящее орудие для политических видов. Его соблазняли получаемые вести о состоянии умов в Московщине, о страхе, наведенном на Бориса появлением Димитрия, о возможности возвести последнего на престол московский и сделать его чрез то самое слугою Польши, и при содействии Московского государства приобресть для Речи Посполитой Ливонию, а для польского короля — его наследственную шведскую державу. Претендент уверял панов, что стоит ему с какими-нибудь десятью тысячами войти в пределы Московского государства, как все пристанут к нему, как к законному своему государю, и похититель Борис забежит, так как он уже и теперь отправил свою казну к Северному морю, к порту Св. Николая[64].

В следующее воскресенье после своего приезда Димитрий приехал к Рангони и там, в присутствии многих особ, между которыми находился

[64] Сноски: 64

Depeches de Nonce Rangoni. Rome et Demetrius p. Pierling. Pieces justificatives № 5, 6, 7 и 13. Mars 1604 an., p. 177–179.

сообщающий эти известия Чилли[65], просил покровительства себе от Римско-католической церкви и со своей стороны обещал быть ей верным слугою. Монсиньор Рангони дал ему роскошный пир, на который приглашено было много панов.

При содействии папского нунция названый царевич получил доступ к королю Сигизмунду III. Прием его произошел в понедельник 15 марта. С королем были тогда паны: коронный подканцлер, маршал коронный, королевский секретарь и литовский писарь Война. Сигизмунд III давно уже ждал царевича и желал видеть. Получивши известие о его появлении у Вишневецких, польский король тотчас сообразил, что из этого можно извлечь выгоды для страны, которою управлял, и разослал письма к разным важным панам: извещал о событии, просил совета, как поступить, а со своей стороны наклонялся к мнению, что следует принять благосклонно претендента на московский престол, но не излагал этого мнения настойчиво, готовясь во всяком случае последовать чужим советам. Этим поступком король хотел оградить себя на будущее время от укоров,

---

[65] Сноски: 65
Stor. Di Moscov., стр. 11.

которые бы его постигли, если б он самовольно поступал так или иначе в таком важном деле. Действительно, впоследствии это послужило его защитникам и сторонникам поводом оправдать его, когда некоторые вздумали было обвинять короля за принятие неизвестного лица, бездоказательно назвавшегося царственным именем. Король получал различные ответы: некоторые совсем были против участия в этом деле; другие не прочь были обратить это явление в пользу Речи Посполитой, но боялись войны с Московским государством. Выпытавши мнение панов, король принял Димитрия ласково, но сдержанно. Димитрий начал говорить с некоторым страхом; потом стал смелее, изъяснил, что он, лишенный наследия царевич, по воле провидения некогда спасенный от злодейского умысла Годунова, долго проживал в неизвестности, терпел всякие лишения, когда его отечеством владел похититель, человек из низкого звания, его собственный подданный, — а теперь ищет отеческого наследия, полагая надежду на известные всему свету могущество, благодушие и благочестие польского короля, паче других монархов: «Многие бояре московские доброжелательствуют мне, многие знают о моем спасении и о настоящих

моих намерениях. Вся земля Московская оставит похитителя и станет за меня, как только увидит сохраненную отрасль своих законных государей: нужно только немного войска, чтобы мне войти с ним в пределы московские».

Димитрий, по обычаю, пересыпал речь свою примерами из истории, вспоминал о сыне Креза, который не мог произнести слова, видя своего родителя в отчаянном положении перед Киром. Претендент просил помощи и не забыл излиться в обещаниях благодарности и готовности быть орудием промысла на пользу короля, его державы и всего христианства. Король не отвечал ни слова, но ответ за него дал претенденту коронный подканцлер в ласковых выражениях. Он сообщил, что по воле короля маршал коронный при обратном отъезде сандомирского воеводы сделает распоряжение о снабжении всем нужным Димитрия и его людей, которых было тогда до тридцати. Претендент понял, что в Польше ему тогда только может быть успех, когда поляки станут уверены, что царевич склонен к римско-католической вере и есть надежда на введение унии в Московском государстве, если он получит там престол. На этой струне стал играть названый Димитрий. Его приятель францисканец Помас-

ский, приехавший разом с ним и с Мнишеком из Самбора в Краков, отправился к иезуитам, вероятно, не без ведома самого же Димитрия, и заявил честным отцам, что явившийся московский царевич расположен к Римско-католической церкви. Иезуиты, конечно, уже слышавшие о царевиче, ухватились с восторгом за мысль о его обращении. Первым из них отправился к названому царевичу отец Каспар Савицкий. После первого посещения наступило второе. Иезуит с умыслом заговаривал о вере и увидал, что царевич уже на такой дороге, что, казалось, можно было его отвернуть от веры отцов и наклонить к латинству. Но Димитрий также сообразил, что если он слишком легко и скоро, без всякого колебания, перейдет в новую веру, то будет всем ясно, что это делается ради выгод, и тогда могут подозревать, что он впоследствии так же легко оставит эту веру, как легко принял ее. Надобно было показать вид, что он принимает веру по внутреннему, глубокому убеждению, а не из посторонних видов. Названый Димитрий расчел, что следует ему некоторое время не поддаваться убеждениям ксендзов, показывать до известной степени упорство и горячо стоять за догматы православной церкви, но потом понемногу сдаваться, подавая

ксендзам надежду победить его в прениях. Он пожелал, чтоб назначена была нарочно беседа с ним о спорных религиозных вопросах, и сообщил об этом отцу Каспару Савицкому и краковскому воеводе Жебржидовскому, который оказывал внимание царевичу и ухаживал около него более всех тех панов, с которыми пришлось ему познакомиться в Кракове. Краковский воевода сам предложил устроить такую беседу у себя в доме. Во все время пребывания своего в Кракове названый царевич был самым интересным лицом для польского общества. Паны наперерыв приглашали его к себе в гости, устраивали по случаю посещения его пиры и созывали на них знакомых, которые с охотою стекались туда, где можно было посмотреть на чудного московского царевича. Жебржидовский назначил для предположенной беседы день 7 апреля. Папский нунций также заранее знал об этом: сам названый Димитрий, видевшись с ним в его доме, а потом в замковой церкви, сообщил ему об этом и просил указать мудрых учителей, которые бы могли его наставить в истинах веры. Жебржидовский принимал у себя названого Димитрия уже не раз и, оставляя с царевичем приехавших гостей в приемной, уходил с ним вдвоем во внутренние

покои своего палаца. Так было поступлено и на этот раз, и притом по просьбе самого названого Димитрия: ему не хотелось, чтоб его склонности к латинству как-нибудь проведали московские люди, которые беспрестанно к нему наезжали и повсюду за ним сновали.

В одном из внутренних покоев, куда повел гостя хозяин, увидал названый Димитрий двух ксендзов: они уже заранее были туда приглашены хозяином. Первым был знакомый уже Димитрию Каспар Савицкий, второй был Станислав Гродицкий, считаемый в свое время очень ученым человеком. Воевода, представляя их обоих своему высокому гостю, сказал: «Вот с этими господами можете беседовать о религии. Говорите с ними совершенно смело, открывайте им свои чувствования прямо: они будут вам возражать. Если они вас успеют убедить — вы не будете иметь поводов раскаиваться и сожалеть, а если не успеют — беды оттого не будет никакой: вы только останетесь при своем!» — «Мне очень приятно, — отвечал названый Димитрий, — что вы мне доставляете благоприятный случай, быть может, приобресть внутреннее духовное успокоение!»

Беседа названого царевича с двумя иезуитами вращалась около трех вопросов, издавна

составлявших главные пункты различия между церквами Восточной и Западной: об исхождении Св. Духа, о способе причащения мирян и о власти папы. Названый Димитрий, казалось, защищал взгляды Восточной церкви, но от проницательных и опытных иезуитов не ушло и то, что, кроме учения Восточной церкви, называемого ими в презрительном смысле схизматическим, царевич был проникнут арианскою ересью. Сначала названый Димитрий горячо стоял за свои взгляды, но потом как будто охладевал и мало-помалу сдавался, а в заключение сказал, что хотя во многом убеждается, но еще не совсем, и желал бы еще раз вести с ними беседу об этих предметах. Он расстался с ксендзами, оставивши им право льстить себя надеждою на успех в будущем. После беседы названый царевич сказал Жебржидовскому, что отец Каспар Савицкий говорит удобопонятно и ясно, а Гродицкий объясняет чересчур учено.

Савицкий на третий день сообщил о своей беседе папскому нунцию, и тогда назначена была вторая религиозная беседа с царевичем. На этот раз, по неизвестной нам причине, место для нее указано было не в палаце пана краковского воеводы, а в монастыре бернардинов: дело было поручено тому же отцу Каспару Савицкому, но

вместо Гродицкого получил поручение другой отец, по прозвищу Влошек. День для беседы указан был 15 апреля.

Между тем названый Димитрий усердно посещал римско-католические церкви и присматривался к особенностям богослужения, стараясь показывать свое расположение к нему и свое благочестие. Свидевшись с нунцием в церкви, он распространился в жалобах на то, что в то время, как он медлит, московский народ страдает от тирании Бориса, указывал и на собственное положение свое, царского сына, изгнанника, и умолял содействовать к поданию ему помощи от Польской державы. Нунций представлял ему, что изменение судьбы его отечества связано с услугами св. церкви, утешал его самого, что в короткое время он может получить желаемое. 15 апреля, в намеченный заранее день, прибыл названый Димитрий в бернардинский монастырь, где ожидали его два отца — Савицкий и Влошек. Там состоялась вторая беседа московского названого царевича с ксендзами о религии и кончилась так желательно для последних, что они представили нунцию о полном успехе возложенного на них поручения. Названый Димитрий изъявил желание формально принять римско-католическую

веру, исповедаться и причаститься у римско-католического священника. На другой день после того, 16-го числа, в Великий четверг, было между ксендзами совещание, в котором положили в день Страстной субботы принять Димитрия в лоно католической церкви.

Надобно было укрыть поступок этот от наблюдений московских людей и всех тех, которые могли узнать о нем и, разгласив, сделать известным московским людям. Краковский воевода, которому названый Димитрий продолжал поверять движения души своей, дал ему совет, как поступить. Было в Кракове религиозное братство, называвшееся братством Милосердия. Члены этого братства, знатнейшие паны Речи Посполитой, из благочестивых побуждений в последние дни Страстной седмицы надевали рубища и в виде нищей братии ходили по городу собирать милостыню для своего братства с конечною целью наделять настоящих нищих. Жебржидовский пригласил названого Димитрия одеться в рубище и вместе с ним идти за милостынею. Походивши таким образом по Кракову, они повернули к церкви Св. Варвары, где находилась иезуитская коллегия. Остановились они у ворот и дали знать о себе, что они иностранцы.

Их впустили, вероятно, уже понимая, в чем дело. Они вошли в келью отца Каспара Савицкого. Краковский воевода тотчас отправился в церковь на хоры слушать читавшуюся проповедь, а названый Димитрий остался в келье. Отец Каспар Савицкий пригласил его сесть, с большим красноречием начал хвалить его доброе намерение и желать ему успеха. Он в заключение сказал ему: «Приступая к важному и священному действию, вам следует надлежащим образом открыть все тайные помыслы души. Не увлекайтесь светскою суетою и мирским величием, не поддавайтесь пустым надеждам; вы стремитесь к цели высокой и труднодостижимой, вы не можете ее достигнуть без особой к вам благодати Бога!» Названый Димитрий несколько смутился, но потом оправился и смело говорил священнику: «Я не гоняюсь за мирским величием, я ищу того, что мне принадлежит по праву рождения. Я откровенно действую как пред Богом, так и перед людьми. Я уверен в правоте своего дела и всего ожидаю единственно от Бога, которого промысел уже неоднократно помогал мне в различных обстоятельствах моей жизни».

После таких взаимных объяснений иезуит стал его исповедовать. Названый царевич приносил

покаяние в грехах, стоя на коленях. В глазах исповедовавшей его духовной особы его величайшим грехом было то, что он прежде исповедовал восточную веру, которую западное христианство клеймило именем схизмы. Названый царевич отрекался от нее и обещал быть верным и послушным Римско-католической церкви и воле св. отца, наместника Христова, папы римского. Савицкий по правилам церкви преподал ему разрешение от грехов. Названый Димитрий снова надел свое рубище, в котором вошел к иезуиту, вышел из кельи и соединился с паном Жебржидовским, ожидавшим его на хорах. На другой день была Пасха. Названый Димитрий не смел в этот день посещать римско-католическую святыню, чтоб не подать на себя подозрения московским людям, следившим за ним. Он целый день оставался дома и сочинял письмо к папе Клименту VIII. Краковский и сандомирский воеводы не оставляли его и поддерживали в нем уверенность, что только искреннее принятие римско-католической веры и видимая решимость ввести ее в Московской державе могут даровать ему содействие поляков к получению московского престола. После исповеди, происходившей 17 апреля, он причащался Св. Тайн не ранее 24 апреля. 20-го числа того

месяца — об этом было условлено между ним и отцом Савицким — названый царевич должен был принять Св. причастие из рук самого папского нунция пред своим отъездом из Кракова.

23 апреля нунций доставил названому Димитрию вторую и уже прощальную аудиенцию у короля Сигизмунда III, но уже не приватную: с королем было тогда несколько особ, которых не было на первой; и свидетель, придворный королевский итальянец Чилли, передал нам несколько черт этого свидания. Король принял гостя с важным, величавым, но приветливым видом, стоя, опершись рукою о столик, протянул ему другую руку, а названый царевич поцеловал ее. Димитрий начал говорить несколько со страхом, просил помощи к возвращению московского престола и при этом произнес: «Вспомните, ваше величество, что вы сами родились узником, Бог освободил вас вместе с вашим отцом и вашею родительницею. Этим самым Бог показал, что Ему угодно, чтоб вы также освободили меня от изгнания и лишения отеческой державы!» Этими словами названый Димитрий припомнил Сигизмунду, как тот был рожден в то время, когда король шведский, Эрик, держал в темнице его отца Иоанна, герцога Финляндского, вместе с его

женою. Скоро после того шведские чины низвергли с престола Эрика и возвели Иоанна, а Эрика заточили в тюрьму, где он и умер. Сигизмунд, сделавшись наследственным королем шведским, был избран на польский престол и в данное время потерял шведскую корону, которую возложили шведские чины на дядю Сигизмунда, Карла, герцога Зюдерманландского, поставленного от Сигизмунда королевским наместником в Швеции. Названый царевич в речи своей коснулся этого предмета и указывал на свою готовность по приобретении московской короны содействовать Сигизмунду к усмирению мятежника и похитителя, как называл в угоду польскому королю Карла, властвовавшего тогда в Швеции. Он доказывал также, что его воцарение будет полезно для Речи Посполитой и для всего христианства, потому что он силами Московской державы будет удерживать дальнейший разлив мугамеданского могущества. На панов, стоявших около короля, речь эта произвела хорошее впечатление: они находили, что претендент произнес ее с благородством, с царскою простотою и с выражением глубокого чувства. Король, не отвечая ничего, дал знак своему придворному маршалу: тот попросил названого царевича на минуту выйти в

другую комнату, где находились краковский и сандомирский воеводы и другие вельможи. Король остался наедине с папским нунцием. Спустя немного времени позвали снова царевича. За ним вошли и паны. Король произнес такой ответ: «Боже вас сохрани в добром здоровье, московский князь Димитрий. Мы верим тому, что от вас слышали, верим письменным доказательствам, вами доставленным, верим и свидетельствам других и поэтому ассигнуем в пособие вам сорок тысяч злотых в год, с этого времени вы друг наш и находитесь под нашим покровительством. Мы позволяем вам иметь свободное обращение с нашею шляхтою и пользоваться ее помощью и советами, насколько будете в этом нуждаться».

Нунций Рангони в своей депеше сообщает, что король назначил названому Димитрию получить от Мнишека четыре тысячи злотых в счет королевских доходов. Разницу в сумме, показанной в сочинении итальянца Чилли, с суммою, показываемою Рангони, может быть, следует понимать так, что король, назначив сорок тысяч в год, из них выдавал четыре наличными тотчас, тем более что Рангони прибавляет, что Димитрию дано было обещание получить более в будущее время. Кроме того, названый Димитрий получил в по-

дарок от короля золотую цепь с медальоном, на котором находилось королевское изображение, и еще дали ему на одежду материй, вытканных с золотом и серебром. Вероятно, в этот день взята была с претендента запись, о которой мы скажем далее.

24 апреля, в тот день, в который названый Димитрий собрался уезжать вечером из Кракова, он утром в доме нунция выслушал обедню и причастился из его рук Св. Тайн по римско-католическому обряду. Он снова обещал отклонить народ в своем Московском государстве от схизмы, привесть его к подчинению папе римскому и крестить мугамедан и язычников, живших в пределах этого государства. В то же время он уверял, что принимает римско-католическую веру по искреннему убеждению, а не из посторонних видов на помощь к достижению престола. Не имея возможности лично облобызать ноги святейшего папы римского, названый царевич хотел было приложиться к ногам папского наместника, но Рангони отклонил от себя такую честь. Нунций в своей депеше говорит, что названый Димитрий вручил ему письмо к папе, написанное по-польски и переведенное по-латыни Савицким. У нас в руках было письмо названого Димитрия к папе,

из содержания которого видно, что это был ответ на папское письмо, врученное ему нунцием, где святой отец посылал ему благословение, назидательные и утешительные советы и побуждал следовать неуклонно к предположенной цели, с тем чтобы возвратить себе похищенное родительское достояние[66].

Отца иезуита Савицкого назначили и на будущее время поучать Димитрия в догматах римско-католической религии, указывать ему на величие римско-католического богослужения и укоренять в нем мысль о соединении с Римско-католическою церковью для блага и мира всего христианства.

Во время пребывания названого Димитрия в Кракове явилась к нему толпа московских людей, — на челе их был какой-то Иван Порошин с товарищами; они услышали, что во владениях короля польского есть кто-то, называющий себя царевичем Димитрием, и хотели взглянуть на него. Когда их допустили, они поклонились ему

---

[66] Сноски: 66

Rome et Demetrius. Pieces justificatives. Depeches de nonce Rangoni, p. 178–188. — Barezzo, 6. — Grevenbr., 22. — Lubieński, 29. — Cilly., St. d. Mosc. 11–14. — Велевицкий, в Зап. Жолк. о моск. войне, изд. Муханова, 118–131. — Ответ Димитрия папе, из которого видно, что нунций тогда передал ему от папы письмо, обязательно сообщен был мне г. Минцлофом.

и признали его настоящим своим законным государем. Тогда же с Дону прибыло двое атаманов, Корела и Нежакож. Когда посланный Димитрием на Дон монах Отрепьев известил казаков и уверял, что Димитрий жив и находится в Польше, в казацком кругу стали думать и так, и иначе; восемь тысяч молодцов со своими атаманами решили так: идти к польским границам и отправить на выведку двоих — узнать, настоящий ли Димитрий явился, и если найдут, что он настоящий, тогда казачество будет служить ему. Посланным назначили двухнедельный срок. Эти посланцы — двое атаманов — и явились теперь в Краков. С ними был какой-то беглец из северских областей; он объявил перед всеми, что видел когда-то Димитрия в Угличе и теперь узнает его. Этот свидетель нашел в претенденте царевича Димитрия с первого раза. Он рассказывал, что Борис мучит, умерщвляет тайно ядом, разоряет целые семейства за одно слово о Димитрии. Нелюбимый и прежде, Борис за последние свои злодеяния сделался еще ненавистнее всем, и нужно только появиться Димитрию в московских пределах — вся земля пристанет к нему. Эти свидетельства и известия придавали полякам надежду, что если повести Димитрия в Московское

государство, то предприятие пойдет успешно; а казацкие атаманы, видя, что знатные паны и сам польский король признают явившегося Димитрия настоящим, объявили ему готовность служить всем Тихим Доном и, воротившись к своим, уверяли, что царевич действительный[67].

В польском сенате, однако, не так горячо принимались за дело. Понятно, что украинским панам, которые преследовали прежде всего свою личную пользу или свое тщеславие, а еще более духовным и иезуитам не нужно было слишком строгой критики и можно было довольствоваться теми доказательствами, которые до сих пор представлялись. Достаточно было их и для тех русских, которые не терпели Бориса и готовы были стать под какое угодно знамя, лишь бы оно развевалось с целью низложить ненавистного похитителя. Но люди, у которых на первом плане была безопасность Польши, и внутренняя, и внешняя, разбирали построже: сообразно ли с выгодами Польши намерение помогать Димитрию? Сигизмунд был иноземец для Польши и по душе, и по телу: швед по рождению, немец по симпатиям и по жизненной обстановке, римля-

[67] Сноски: 67
Isaaci Mass. Chronicon, 51.

нин по религиозным побуждениям, менее всего поляк. Сигизмунд, с иезуитскими наклонностями к расширению господства, находил большие выгоды для страны, которою управлял, если Польша возведет на московский престол государя. Сигизмунда между прочим побуждал помогать Димитрию епископ Краковский, кардинал Бернард Мацейовский, родственник Мнишека. Сам король хотел бы за претендента объявить войну Борису и идти на него с целью посадить вооруженною силой на престол Димитрия. Но если предложить это на сейме, то плоха была надежда, чтоб земские послы согласились на это; в Польше вообще боялись всякой новой наступательной войны: тогда приходилось давать королям власть и распоряжение над большим войском и деньги, а это грозило опасностями для шляхетской свободы: поляки остерегались, чтоб их короли не увлеклись духом господствовавшего в Европе стремления к усилению монархической власти. Сигизмунд обратился 23 марта 1604 года с письмом к старому Замойскому, еще находившемуся в сане канцлера и гетмана со времени Батория. Он открывал ему свою мысль, что очень выгодно было бы помочь Димитрию, — московский государь, посаженный на трон поляками, был бы

слугою Польши: тогда с одной стороны Турция не осмелится беспокоить польских пределов; тогда соединенными силами можно будет усмирить Крым, который уже издавна пользуется вечными раздорами русских с поляками, чтоб разорять тех и других; тогда можно будет удержать Ливонию и принудить Швецию к уступкам; тесная связь двух государств повлекла бы к развитию торговли Польши с Востоком не только в Московии, но через Московию с Грузиею и Персией; наконец, это предприятие в настоящее время представляет ту ближайшую выгоду, что отдалит из Польши толпы молодцов-удальцов, которые делают бесчинства и беспорядки во многих провинциях. По мнению Сигизмунда, это дело трудно было провести через сейм; уже не раз выражал он в письмах своих, что выгоды Речи Посполитой страдали от частной вражды некоторых особ на сеймах. Он предлагал начать это дело без сейма, при посредстве архиепископа гнезненского Тарновского[68]. 4 апреля отвечал ему Ян Замойский[69] отрица-

[68] Сноски: 68

Hist. J. Kar. Chodkiewiza, 213. — List. Zogm. Poprawiony w kilku miejscach od p. Silickiego w Muz. Krolewsk.

[69] Сноски: 69

List originalny, pasany do krola z Zamoscia 3 kw. 1604 w Muz. J. K. M. — J. Kar. Chod., 215.

тельно, совершенно не одобрял его намерений, вовсе не верил, чтоб Димитрий был настоящий царевич, и считал опасным и бесчестным вмешивать в это дело Польшу без воли сейма. Мнишек и сам названый Димитрий заискивали благорасположения Замойского и писали к нему письма пред своим отъездом из Кракова (23 апреля). Мнишек уверял, что, пристально наблюдая над человеком, явившимся в его дом с Вишневецким, он убедился, что он есть именно тот, за кого себя выдает, и просил со своей стороны помочь ему своим ходатайством пред королем. Названый Димитрий в письме своем к Замойскому расточал лесть, говорил, что Бог украсил Замойского великими дарованиями, прославил у различных народов славою, говорил с похвалою о его любви к отечеству, о неутомимой деятельности, о мужестве, внушающем каждому удивление. Он просил Замойского, как знатнейшего из всех сенаторов польского королевства, ходатайствовать пред королем о скорейшем оказании ему пособия. Замойский оставил названого московского царевича без ответа, явно показывая ему тем самым свое пренебрежение. К сандомирскому воеводе Замойский в ответ на письмо его написал, что когда король спрашивал его мнения относительно

Димитрия, которого Замойский в том же своем письме обзывает презрительною кличкою «московского господарчика», то он советовал королю отложить это дело до сейма. «Случается, — выражался Замойский, — что кость в игре падает и счастливо, но обыкновенно не советуют ставить на кость важные и дорогие предметы. Дело это такого свойства, что может нанести вред нашему государству и бесславие королю и всему народу нашему. Москвитяне могут сделать нападение на коронные земли и предать наш край огню и опустошению, а мы не готовы к отпору»[70]. Король сам рассудил, что трудно начать это дело; нация под влиянием Замойского, врага иезуитских козней, не одобрит разрыва с Московским государством. И король ограничился только позволением панам содействовать Димитрию, решился, так сказать, смотреть сквозь пальцы на это предприятие, чтоб после получить от него выгоду, если оно пойдет успешно, и отговориться от обвинений, если пойдет неудачно. Тайно он сам побуждал своих подданных помогать Димитрию и сложил с Мнишека временно платеж в королевскую казну доходов с Самборского имения

[70] Сноски: 70
Письмо Замойского в рукописях библиотеки Красинских.

на то, чтобы Мнишек мог обратить эту сумму на сбор ратной силы Димитрию.

За эту милость, за то только, что польский король будет смотреть сквозь пальцы, когда польские паны станут помогать претенденту, названый Димитрий должен был заранее обещать Польше большие жертвы. Ему предложили условия, и он принужден был принять их, подписать и утвердить их присягой. По восшествии своем на престол он должен был возвратить Польской короне Смоленск и Северскую землю, которые Польша не переставала считать своим достоянием, устроить на будущее время вечное соединение государства Московского с Польшею, сооружать в своем государстве костелы, ввести иезуитов и другое католическое духовенство, содействовать Сигизмунду к приобретению шведской короны. Ему в числе условий позволяли жениться в Польше, с прибавлением выражения «хотя бы с королевной», из чего видно, что король в случае успеха имел виды отдать за него сестру. Эти условия хранились в тайне от всех у королевского секретаря Боболи, в шкатулке под его ключом[71].

---

[71] Сноски: 71
Bibl. Kras. N. B. 1, 3, 384.

Было вполне естественно и согласно с историческою необходимостью предложить претенденту такие тяжелые условия. Польша и Русь давно уже завязали между собою такой узел, который мог развязаться только окончательным подчинением одной страны другой, уничтожением самобытности слабейшей. Этот роковой узел завязался еще в XIV веке, со времени бракосочетания Ядвиги и Ягелла и соединения Литовской державы с Польскою. Это случилось в то критическое и многознаменательное для русского мира время, когда древняя удельно-вечевая союзность отживала свой век и возникало единовластие на двух пунктах — в Литве и Москве. Но два русских государства не могли спокойно существовать и развиваться на Русской земле. Ее география не представляла для этого надежных условий; не было никаких преград, которыми бы естественно обозначались государственные рубежи; еще более мешал этому давний дух единства, привычка считать Русскую землю единою при всяких внутренних разделах, укоренившихся многими веками. Ни Москва, ни Литва не нашли бы линии, где по каким бы то ни было правам начинались владения той или другой. Литва двигалась на восток, Москва — на запад; каждый

шаг той или другой располагал их двигаться далее. Литва могла считать себя вправе овладеть всем, чем владела Москва, и наоборот — то же побуждение должно было двигать Москвою. Не было другого исхода их борьбы, как только покорение и поглощение одной другою. Польша, соединившись с Литвою и с принадлежавшими ей русскими землями, тем самым взяла и на себя историческую необходимость вести эту борьбу за единство Руси с кем бы то ни было. Польша, страна малая по отношению к пространству в сравнении с литовско-русскою державою, была выше ее по цивилизации и скоро начала над нею иметь перевес и завоевывать ее нравственно, — и то же призвание должно было явиться у ней по отношению к тем частям Руси, которые не входили в сферу литовского владения. Таким образом, возникшее поступательное движение Польши на восток выражалось в двух сторонах — материальной и нравственной: Польша вместе с Литвою стремилась присоединить к себе дальнейшие русские земли и в то же время ввести туда строй своей цивилизации; в этом стремлении она прямо упиралась в Москву и державу ее; неизбежно являлась потребность уничтожить самобытность Московского государства и втянуть его в круг

земель, уже соединенных с Польшею. Со своей стороны, Московское государство, развивая в себе иные стихии, не только противодействовало стремлениям Польши в силу самоохранения, но, соединяя под свою власть все прежде свободные русские земли, по отсутствию определенных для своей державы на западе географических и исторических границ, в силу древнего единства земли Русской, стремилось отнять от польского мира все земли, которые вошли в состав польско-литовской державы. Критическое время для Москвы было в конце XV века, когда шло дело о покорении Великого Новгорода. Тогда Великий Новгород, для сохранения своей удельной независимости и прежнего порядка, отдавался польско-литовскому государю Казимиру. Помоги ему Казимир — Новгород потянул бы за собою весь севернорусский край в состав польско-литовской державы, и, конечно, Москва, осекшись в своих стремлениях к господству на Новгороде, не удержалась бы и с тем, что уже успела приобрести, не сохранила бы и собственной своей самобытности, и Восточная Русь поглощена бы была польско-литовским элементом, как и Западная; стали бы в ней господствовать польская цивилизация, польский гражданский

строй, польский образ воззрений, польская речь, а наконец, и католическая вера. Но Казимир промахнулся; поляки не узнали своего часа, не ковали железа, пока оно было горячо; Москва овладела Новгородом, потом Псковом, а потом уже стала распространять свои владения и за счет Литвы: присоединила к себе Смоленск и Северщину. И Москва с тех пор не останавливалась в своих стремлениях и постоянно заявляла свои права на все русские земли, принадлежавшие Литве и Польше, как на свое законное достояние. В самом деле, если Москва овладела Смоленском и Северщиною — русскими землями, бывшими под властью Литвы, то почему же ей не силиться и не желать овладеть Киевом, Волынью, Подолью, Галичем, Полоцком, такими же русскими землями, как Северщина и Смоленщина, но еще находившимися во власти Литвы и соединенной с нею Польши? Но этим дело не окончилось бы: притязание Москвы на русские земли, которые Польша считала своими, в случае успеха необходимо повлекло бы новое притязание на всю Польшу и Литву; естественно, приобретши земли, которые считала своим достоянием, Москва не удержала бы их, если б не уничтожила с корнем и Литву, и самую Польшу, которая не отдала бы да-

ром того, что признавала своим, и скорее погибла бы, иссякнувши в борьбе, чем удовольствовалась бы прежним политическим ничтожеством. Со своей стороны и польско-литовская держава для самозащищения должна была стремиться овладеть Московским государством. В половине XVI века Польша, уже около двухсот лет соединенная с Литвою фактически, соединилась с нею в одно тело юридически. То был результат нравственного преобладания Польши над Литвою и Русью и залог дальнейших успехов на пути этого преобладания. С тех-то пор в соединенной державе сильнее, чем прежде, началось чувствоваться стремление присоединить к себе и Московскую Русь. Оно выражалось несколько раз намерением возвести на польско-литовский престол московского государя. Так, по смерти Сигизмунда-Августа предлагали корону царю Ивану, по смерти Батория — царю Федору; об этом толковал и при Борисе Лев Сапега, заключая в 1600 году перемирие. Теперь кстати представлялся удобный случай если не совсем достигнуть цели, то значительно придвинуться к ней. Очевидно, здравая политика требовала не иначе оказать содействие претенденту на московский престол, как с возможно большими выгодами для Польши

и, следовательно, с возможно большим изъяном для Московского государства. Предполагалось прежде всего обессилить Московское государство отнятием у него двух пограничных областей: это бы отодвинуло его назад, к XV веку, и возвратило польско-литовской державе то, что она после того утратила; введение иезуитов и католического духовенства, приготовляя в Московском государстве торжество и господство веры, исповедуемой в Польше, пролагало бы вместе с тем путь нравственному преобладанию польского элемента; этому же содействовала бы и женитьба московского царя на польке. С царицею польскою вошли бы и польские нравы, особенно когда претендент уже и так достаточно окурился польским духом. Наконец, с московского царевича требовали обещания стараться о вечном соединении государств. Это-то и была конечная цель; как она могла быть достигнута, об этом не говорилось, но достаточно было, что этот царевич, сделавшись государем, будет в руках Польши, и притом до того связан своим обещанием, что Польша станет помыкать им, и со временем можно будет исполнить заветное стремление так, как обстоятельства укажут. Таков был смысл этих условий. Но если со стороны Польши было исторически

законно давать помощь претенденту с такими тяжелыми условиями, то со стороны претендента также исторически законно было их не исполнить в свое время, хотя крайняя необходимость и побуждала их теперь принять. Такой царь, каким мог быть при успехе претендент, назвавшийся именем, которое можно будет у него оспаривать, более, чем другой, должен был показаться в своем царстве своенародным человеком и, следовательно, меньше, чем всякий другой, мог решиться гласно заявить об этих условиях, а еще менее решиться их исполнить. Очевидно, ему тогда пришлось бы сложить голову, а Польша не выиграла бы ничего из этого. В будущем также не проглядывало ничего, кроме новых поводов ко вражде и кровопролитию между соперничествующими державами, и каждый такой повод открывал обеим суровую истину, что рано или поздно борьба их не может окончиться иначе, как совершенным поглощением одною стороною другой стороны. Так и понимал дело Сигизмунд, и хотел бы, чтоб молодой претендент был посажен на престол силою Польской державы: тогда он был бы ее вассалом; царство его было бы временным призраком; его при первом удобном случае можно было стереть. Но не так смотрели на вещи

поляки, как их король. Осталось предоставить дело претендента вольнице, которой было, на беду Польше, много в этой земле, и тем историческим инстинктам, которые иногда невольно, бессознательно увлекают громады туда, куда они стремятся, идя по дороге, проложенной прежними веками, сами не видя и не понимая, что это за дорога, и оттого часто с нее сбиваются.

В Польше толковали о Димитрии и так, и иначе. Составилась целая легенда о спасении его, перешедшая до нас в современном рукописном сочинении Товиановского. Историю эту перенесли в Европу, и долго ходили по рукам сказания о необыкновенном и занимательном для всех событии: говорили, что Димитрий спасен был каким-то доктором-итальянцем, увезен к Ледовитому морю и потом воспитатель посоветовал ему поступить в монастырь под чужим именем; он, избегая опасности быть открытым, переходил из одного монастыря в другой, жил в Москве, бывал в палатах Бориса, наконец ушел из Московского государства, жил в Киеве и потом пришел к князю Острожскому. Некоторые говорили, что он был в Ливонии, прожил там три года, выучился

отлично по-латыни[72]; другие рассказывали, что он доходил до такой нищеты, что в Гоще у пана Гойского служил на кухне[73]; наконец, когда услышал, что Борис сделался своим подданным ненавистен за свое тиранство, тогда только решился открыться Вишневецкому[74]. Говорят[75], что у него был алмазный крест, данный ему при крещении крестным отцом, князем Иваном Мстиславским, и это служило Вишневецкому одним из доказательств подлинности царевича[76].

Димитрий воротился с Мнишеками и с Вишневецкими в Самбор. Тут паны кликнули клич, приглашали шляхту и казаков идти с ними в Московщину добывать законному царю престол. Нетрудно было набрать в Украине охотников на какой-нибудь набег, особенно Вишневецким: они владели там множеством имений, и голос их был повсюду знаем и уважаем.

---

[72] Сноски: 72
Vassenberg, 14.

[73] Сноски: 73
Grevenbr., 12.

[74] Сноски: 74
Ibid, 11.

[75] Сноски: 75
Grevenbr.

[76] Сноски: 76
Tovian., рукоп. И. П. Б. № 32. — Буссов, 32.

Пока собирались охотники, претендент опять поселился у Мнишека и опять начались пиры и веселости. Свидевшись вновь с Мариной, Димитрий, уже признанный от короля в звании царевича, стал смелее[77]. На помощь ему приспел патер Савицкий, втершийся к нему в дружбу иезуит. Он начал ему советовать жениться на Марине и представлял, что это будет полезно для предприятия. Родство с знатною фамилией произведет хорошее впечатление. «Воевода сандомирский горд! Ему подобного не найти; если вы снизойдете до вступления с ним в родство, то с этим вместе скорее достигнете отеческого престола; тогда никто не подумает, чтоб воеводa, такой гордый и умный, мог не знать, за кого отдает дочь, и не вполне уверен, что вы настоя-

[77] Сноски: 77

О том, как Димитрий сошелся с Мариной, существуют целые романические повествования. Долго он не смел заговорить с нею о любви, хоть давно уже сердце его таяло. Но вот однажды вечером увидел он красавицу в саду. Она была одна. Димитрий подошел к ней и сказал: «Панна! Моя звезда привела меня к вам; от вас зависит сделать ее счастливою!» Марина отвечала: «Ваша звезда слишком высока для такой девушки, как я». Присутствие любимой особы взволновало его; он упал перед нею на колени; она протянула к нему руку, чтоб поднять его; он приложил ее к губам своим. «Моя рука, — сказала Марина, отнимая свою руку, — слаба для вашего дела; вам нужны руки, владеющие оружием, а моя может только возноситься к Небу вместе с молитвами о вашем счастье». — «Я посвящу вам жизнь свою, — восклицал восторженный юноша, — я говорю это от души». Шорох идущих гостей перервал эти объяснения. Марина своим обращением томила, мучила Димитрия: то дарила ласковыми взглядами, то убивала неприступною холодностью;

страсть его разгоралась сильнее и сильнее. Он заболел от любви. Марина показала к нему участие. «Я умру от любви к вам, — сказал Димитрий. — Тогда велите разрезать мое сердце, и в нем увидите свой образ». — «Перестаньте думать обо мне, — сказала Марина, — оправьтесь; станьте на челе войска, победите своих врагов, тогда подумаете, как победить мое сердце; только славными подвигами и доблестями вы меня завоюете!» Марина продолжала с ним прежнюю игру женского кокетства. Димитрий написал к ней страстное письмо. В ответ на него она всунула ему в руку записку, где он прочитал такие строки: «Вы много страдаете; я не могу быть безответною к вашей благородной искренней страсти. Победите врагов ваших и не сомневайтесь, что в свое время ваши надежды увенчаются и вы получите награду за ваши доблести».

Говорят, что Димитрий выходил на поединок с каким-то князем, неравнодушным к Марине. Его называют испорченным именем Доренский — может быть, это был один из князей Корецких. Это было в духе того времени. Прекрасная девица знатного рода гордилась тем, что за нее проливали кровь мужественные рыцари. Димитрий обронил письмо, полученное им от Марины. Князь поднял его, пришел в ярость, написал Димитрию дерзкое письмо, назвал его обманщиком и вызывал его на поединок. Соперники выехали верхом в восемь часов утра в рощу. Димитрий сбил князя с коня и стал этим довольствоваться, но князь, рассвирепевши, бросился на него. Поединок кончился тем, что князь оцарапал Димитрию щеку, а Димитрий проколол ему насквозь руку. Князя увезли чуть живого. Мнишек удалялся от объяснений и радовался, что дочь его так умеет пленять сердца и покорила себе того, кто мог быть на престоле. Но Мнишек и Марина сохраняли такой вид, чтоб Димитрий не проникнул, что его желают больше, чем он Марины (Appendix being the amours, etc).

щий Димитрий. Тогда и польский король будет явно за вас; тогда вы заставите замолчать голоса, которые теперь поднимаются вам во вред, вы удовлетворите и дворянству, и народу русскому. Поговорите с панной Мариной; заметите согласие, тогда поговорите с отцом. Конечно, он, прежде чем согласится, спросит моего совета; а вы уже знаете, что я скажу. Я знаю ваше расположение к истинной религии и так радуюсь, что вы преуспеваете на пути истины, что каждый день молю Бога о ниспослании вам благословения. Его благословение победит ваших врагов. Оно сильнее всякой человеческой мудрости, оно возведет вас на отцовский трон».

Димитрий просил наставника поговорить о нем с воеводою, а когда услышал от иезуита, что Мнишек уже предупрежден, обратился к нему сам. Мнишек обрадовался, целовал его, обнимал нареченного зятя, плакал от умиления. Но свадьба отложена была до того счастливого времени, когда Димитрий, низвергнувши Бориса, сядет на престол московский: тогда он пошлет посольство и отец приедет с невестой к сильному и могучему монарху. Мнишек нашел отговорку очень благовидную. Он сказал Димитрию так: «Чтоб доказать вам свое расположение, я откла-

дываю вашу свадьбу до того времени, когда труп Годунова послужит ступенью вам на трон. Это совершенно против собственного моего желания и выгод, но я вас прошу: поступите так; это мой отеческий и дружеский совет. Сигизмунд готов вас поддерживать, и знаете ли, что у него на уме? Он надеется выдать за вас свою сестру, поэтому только он и благоприятствует несколько вашему предприятию. Другие паны воеводы будут завидовать нашему родству; многие рассчитывают на вас и перестанут помогать вам, когда узнают, что вы женитесь на моей дочери; а вам следует расти, а не малитися, увеличивать, а не уменьшать число своих союзников[78]. Не возражайте мне, я знаю лучше ваш путь. Я пойду с вами; пожертвую всем, что имею, за возвращение вам отеческого достояния»[79].

Удостоверившись, что дочь совершенно пленила Димитрия и, следовательно, можно теперь из него, как говорится, вить веревки, Мнишек потребовал крупную цену за свою красавицу. 23 мая 1604 года Димитрий вручил Мнишеку запись, где давал слово жениться на панне Ма-

---

[78] Сноски: 78
Esame critico. Ciampi. 32–35.

[79] Сноски: 79
The Russ. Impost., 39.

рине по восшествии на престол и налагал на себя проклятие за неисполнение такого обещания; обещал прежде всего дать Мнишеку 100 000 польских злотых на подъем и уплатить долги его и для покупки убранств невесты и столового серебра; а потом обещал во владение будущей жене своей Новгород и Псков со всеми уездами этих государств и отрекался сам владеть в них. В этих землях предоставлялось ей давать своим служилым людям поместья и вотчины, ставить римско-католические монастыри, костелы и школы и содержать сколько угодно римско-католического духовенства. В записи прибавлялось, что это делается потому, что он сам будет стараться привести свое государство во единую веру Римско-католической церкви[80]. «Если я этого не сделаю в течение одного года, — было сказано в этой записи, — то вольно будет ей развестись со мною; а захочет — подождет более года». Такая запись была в порядке вещей того времени. В Литве и Польше при сговоре жених всегда давал своей невесте в вено сумму, назначал ее, и полагалось, что следовало заплатить ее на деле вдвое против того, а в залог оставлялась треть его име-

[80] Сноски: 80
Собр. гос. грам., II, 161.

ния; в случае смерти мужа и бездетности жена владела заложенною частью имения, а наследники имели право выплатить двойную сумму вена и возвратить в свой род имение. Кажется, и здесь Новгородская и Псковская земли отдавались в вено Марине как третья часть наследственного владения Димитриева. Сумма сто тысяч злотых, обещанная Мнишеку, также полагалась вдвое, и потому впоследствии Димитрий заплатил ему 200 000 злотых. Существует еще другая запись — от 12 июня 1604 года. Там претендент обещал дать самому Мнишеку в вечное и потомственное владение Смоленское и Северское княжества, за исключением половины Смоленской земли и шести городов Северской, которые отдавал польской короне ради дружелюбия с польским королем[81].

Существование такой записи было отвергаемо впоследствии польскими послами, споривши с русскими боярами. Тогда они возражали, что Мнишек, сенатор Речи Посполитой, не мог принимать того, что уже принадлежало по праву Речи Посполитой. Но, видно, претендент не стеснялся обещать одно и то же и Речи Посполитой,

[81] Сноски: 81
Собр. гос. гр. II, 166. — Petricii, 24.

и Мнишеку, для соблюдения приличия делил свой подарок пополам, но, как оказалось впоследствии, не думал исполнить того, что принужден был обещать им. Во всяком случае, видно, что и Сигизмунд, и Мнишеки распоряжались на счет претендента самым бесцеремонным образом Русскою землею, куда вели его на трон. Димитрий должен был на все соглашаться, у него не было денег; а Мнишек, удостоверившись, что Димитрий женится на его дочери, и получивши записи, начал деятельно работать, своим влиянием собрал денежные пожертвования; по его призыву сходились люди и давали на издержки в чаянии будущих благ[82].

Так Димитрий поневоле потакал окружавшей его среде и оставлял ей надежды, которые сам не считал осуществимыми. Несмотря на то что он получил письмо от папы еще в Кракове, он отвечал на него не ранее 30 июля[83]. Говорят, что при пособии Савицкого Димитрий тогда так наловчился в латинском словосочинении, что

---

[82] Сноски: 82

Petricii, 26.

[83] Сноски: 83

Письмо Димитрия к папе, сообщенное в итальянском переводе г. Минцлофом.

сам составлял письмо к папе[84]. В своем письме Димитрий «извинялся нездоровьем, мешавшим ему при других обстоятельствах, и в том числе при недостатке средств, предпринять свой поход в Московию, благодарил святого отца за внимание и благочестивые нравоучения, изъявлял намерение всегда помнить их и обещал, если Бог, защитник невинных, пособит ему возвратить похищенный престол, посвятить юность, здоровье и самую жизнь на пользу христианства и апостольского престола, стараясь вести подвластные ему народы к той же цели для восхваления имени Божия». В письме его не было ни явного принятия католичества или унии, ни положительного обещания за свой народ. Все ограничивалось двусмысленными изъявлениями расположения; католики могли толковать это к своей выгоде так, как будто Димитрий уже принял римско-католическую веру; Димитрий оставлял возможность на будущее время оставаться с одною терпимостью римско-католического вероисповедания, не давая ему исключительного первенства.

Живучи у сандомирского воеводы, Димитрий написал грамоты к московскому народу и послал

---

[84] Сноски: 84
Grevenbr., 13.

их вперед, прежде чем он войдет в свое наследие. В этих грамотах он благодарил тех, которые ему помогли спастись, и увещевал народ русский отстать от Бориса и признать законного государя. Эти грамоты появились в украинных землях и подготовляли народ к появлению царевича. Борис принял чрезвычайные меры, чтоб ничего и никого не пропускать из Литвы; но грамоты Димитрия входили в Московское государство в мешках с хлебом, который привозился в Россию по случаю дороговизны[85]. Явилось множество незваных слуг и пособников претенденту, его воззвания переписывались и распространялись по дорогам, на улицах городов и посадов[86]. По-слан был еще какой-то Свирский на Дон снова возбуждать донских казаков. Между тем двое Борисовых слуг прокрались в Самбор, с тем чтоб убить царского врага. Они прикинулись верными Димитрию и однажды в полночь намеревались извести его, а сами бежать. Один из них пошел седлать лошадей, другой взялся убить царевича. Но тот, который пошел за лошадьми, был пойман и признался. Тогда отыскали другого. На счастье

[85] Сноски: 85
Petric., 19.

[86] Сноски: 86
Ст. спис. Арх. И. Д. № 26.

Димитрия, он долго вечером сидел у Мнишека и не шел в свои покои, где его стерег убийца. На другой день казнили обоих заговорщиков и с тех пор берегли неусыпно царевича[87].

Под Глинянами сделан был сбор войска. Составилось ко́ло рыцарское, на нем выбрали начальником, или гетманом, Юрия Мнишека и трех полковников: Адама Жулицкого (800 человек), Станислава Гоголинского (1400 чел.) и Адама Дворжицкого (400 чел.)[88]. Передовою стражею начальствовал Неборский с двумястами человек пятигорцев. Полки делились на роты. Набралось тогда тысяч до трех человек. Они двинулись к Днепру. Тут присоединились к ним две тысячи днепровских казаков.

Что было тогда в Южной Руси буйного, развратного, враждебного гражданскому порядку и спокойствию, стекалось под знамя московского претендента. В сеймовых речах того времени каждый год жаловались на своевольство шаек в Южной Руси; неудачный исход бунтов Косинского и Наливайко несколько лет не допускал проявляться своевольству в слишком больших

---

[87] Сноски: 87
Zabczeyc, Mars Mosk.

[88] Сноски: 88
Zabczeyc.

размерах, но не истребил его. Теперь появление московского царевича сделалось собирательною точкою для украинской удали; составленные в пользу его отряды, прежде чем вступили в Московское государство, успели себя выказать, как только собрались в условленное место. На сейме 1605 года говорили о сподвижниках Димитрия, что татары своими набегами не наделали столько бесчинств и горестей народу, сколько поборники московского царевича[89]. Замойский продолжал быть главным препятствием намерениям сандомирского воеводы и Вишневецких с их названым московским царевичем. Мнишек в мае писал к нему снова, представлял, что для успеха дела не следует тратить времени и можно было бы открыть военные действия без воли сейма, по воле короля и сенаторов, — можно надеяться на успех заранее, так как Бориса москвитяне не терпят и все обратятся к своему законному наследнику престола. «Это человек, — писал он, — богобоязненный и умный, полагает всю надежду на Бога и на польского короля и готов на всякие условия и договоры. Я не вижу необходимости стесняться договором, заключенным с Борисом, который

[89] Сноски: 89
Bibl.Villan. № 31.

достиг власти крамолами, а не по праву!» И названый Димитрий снова писал к Замойскому, хотя и огорчался, не получивши от него ответа на первое письмо. Он писал теперь: полагает, что Замойский не отвечал ему по поводу титулов, им принятых, но «я, — выражался он, — употребляю их потому, что Бог и предки мне их даровали». «Неприлично, — писал он также, — мне входить в рассуждения о том, что говорит королю совесть по поводу договора с Борисом, но посудите, должен ли я терять поэтому свое право?» Он умолял оказать ему в его бедном положении утешение присылкою ему письма. Замойский опять-таки оставил без ответа претендента, которому отнюдь не доверял, а к Мнишеку написал выговор за то, что он собирает около себя войско, не давая знать о том ему, законному главному начальнику всех военных дел в Речи Посполитой. «Уж и так, — выражался Замойский, — ропщут на вас за то, что от такого сбора людей причиняются неприятности жителям; если же вы этим навлечете какой-нибудь вред от неприятеля, то это будет приписываться вам. Следует, полагаю, вам подумать об этом. В Москве чуют и все хорошо знают, что у вас готовится. И они против вас приготовятся гораздо исправнее, чем кажется

вам. Рассудите — может ли кто из частных лиц толковать по-своему присягу его величества короля? Сохрани Боже неудачи: тогда сомнительною будет для нас возможность возмездия москвитянам, так как вина будет наша, начало положится от нашей стороны несоблюдением мирного договора. Прибавлю: все полагают, что вы действуете противно воле короля, и я сам, будучи военным сановником, не получил от его величества никакого заявления в вашу пользу, напротив, из отзывов его величества уразумеваю противное. Это я писал вам уже не раз и более ничего не могу вам написать».

Приближаясь к Киеву, ополчение боялось князя Острожского, который, как видно, не благоволил предприятию. Отряд его следил за ополчением, и удальцы боялись, чтоб Острожский не ударил на них, держали наготове лошадей и не спали по ночам. Когда они дошли до Днепра близ Киева, то не нашли ни одного парома для переправы. Острожский с намерением велел угнать все паромы, которые обыкновенно стояли на перевозе. Перед тем незадолго к нему приезжал посланец от патриарха Иова, Афанасий Пальчиков, с грамотою, где патриарх уверял, что «называющий себя Димитрием — беглый дьякон; сам патриарх

посвящал его, и весь освященный собор это знает. Впоследствии он впал в злые еретические дела и чернокнижие и, страшась справедливой казни, бежал». Патриарх убедительно просил не только не оказывать помощи «вору», но поймать его и прислать в Москву для достойного возмездия по делам его[90]. Острожский не отвечал на эту грамоту ничего. Киевский воевода не верил, чтоб претендент был истинный Димитрий, не хотел помогать его делу, но не хотел и раздражать Вишневецких, Мнишеков, у которых была огромная партия, а предпочел не мешаться в это дело никак.

Ополченцы ждали несколько дней у Днепра и послали искать паромов; наконец нашли их, переправились, потерявши только одного товарища, который в припадке горячки бросился в воду. В Остре присоединился к ним староста остерский Ратомский с толпой украинской вольницы.

«На левой стороне Днепра, — говорит соучастник[91], — нам пришлось идти посреди дубрав и веселых полей; все вокруг цвело изобилием, и

---

[90] Сноски: 90
Арх. иностр. дел, № 26.

[91] Сноски: 91
Borsza, Истор. Библ., I, 367.

мы себе все нужное получали к нашему удовольствию». Здесь явились к Димитрию в другой раз послы от донских казаков с изъявлением охоты служить спасенному чудесно царевичу всем вольным Доном. Они в доказательство своей верности привели к ногам его дворянина Петра Хрущова, посланного Борисом для возбуждения их против Димитрия. Пленник, приведенный к нему в кандалах, как только посмотрел на претендента, тотчас упал ему в ноги и говорил: «Теперь я вижу, что ты природный, истинный царевич; ты похож лицом на отца своего, государя царя Ивана Васильевича. Прости и помилуй нас, государь; по неведению нашему мы служили Борису, а как увидят тебя, все признают тебя». Димитрий понял, что в признании Хрущова мало искренности, и, освободив его от оков, держал, однако, несколько времени под стражею и допрашивал его. «Я, — сказал Хрущов, — жил далеко от Москвы, в Васильгороде, а в Москву меня призвали, и я был в Москве только пять дней, а потому не могу достаточно обо всем сказать». Он сообщил только то, что мог узнать в продолжение пяти дней. По его показанию, Борис по-прежнему старался, чтоб о Димитрии не говорили, и, пославши в Северскую землю войско под началь-

ством Петра Шереметева и Михайла Салтыкова, дал им наказ охранять край не против царевича, а против перекопского царя. «Я, — говорил Хрущов, встречался с ними, был у Шереметева на обеде, а у Салтыкова на ужине, и сказал, что меня Борис послал к донским казакам побуждать их на того, кто назвался царевичем; а Шереметев пожал плечами и сказал мне: мы ничего не знаем, нас послали на татар, но мы догадываемся, что идем не против татар, а против другого; если он в самом деле природный царевич, то трудно будет против него воевать. А как я был в Москве, так Борис дознался, что двое господ, Василий Смирной да Меньшой Булгаков, пили за здоровье царевича; первого приказал убить в тюрьме, а другого утопить; только его еще не утопили, как я в Москве был». Хрущов сообщил также слух, что Борис ласкает и приближает к себе Смирно́го Отрепьева, который назвался родственником тому, кто явился царевичем; Борис его отправил в Польшу. И то было не при нем. Относительно расположения умов Хрущов радовал претендента, уверяя, что его письма и грамоты читаются народом с любовью[92].

---

[92] Сноски: 92

Собр. госуд. гр. и догов., II, 173–178. — Rome et Demetrius. Pieces justificatives. I. Depeches de Rangoni, № 19.

Октября 16-го называвший себя царевичем Димитрием вступил в Московское государство и отправил Борису письмо, где припоминал его злодеяния, извещал о своем спасении, убеждал добровольно оставить престол и удалиться в монастырь и обнадеживал своим милосердием к нему и его семейству[93].

Разом с письмом к Борису посланы были с агентами по России воеводам, дьякам, служилым, гостям, торговым черным людям списки с другой грамоты, от имени претендента, такого содержания:

«Бог милосердый по своему произволению покрывал нас от изменника Бориса Годунова, хотевшего нас предать злой смерти, не восхотел исполнить злокозненного его замысла, укрыл

---

[93] Сноски: 93

В одном рукописном дневнике о событиях этого времени помещено такое письмо в польском переводе, но оно, очевидно, или подложное, или, вероятно, испорченное неверным переводом и вставками:

«Мы, Димитрий Иванович, Божиею милостию царевич всея Руси, удельный князь Углицкий, Дмитровский, Городецкий, по роду от предков своих наследственный государь великого царства Московского, похитителю власти нашей над государством Борису Годунову любовь и напоминовение, желаем неисповедимых щедрот Вышнего Бога и предлагаем нашу милость. Мы недавно еще писали письмо к тебе и напоминали тебе по-христиански; но твои коварства, о, Борис, и злодеяния пусть будут известны людям; они важнее, чем ты хочешь притворно показать. Нам, природному государю твоему, жаль тебя, подданного своего; ты готовишься к пролитию христианской крови; жаль нам глупого разума твоего, ибо ты осквернил душу, созданную

Богом по образу Своему, и в своем упорстве готовишь ей большую гибель; разве не знаешь, что ты смертный человек и подлежишь случайности? Довольствоваться бы тебе, о, Борис, тем, что Бог дал тебе, не равнять бы себя с Богом, который распоряжается государствами, а ты противишься Богу и нарушаешь Его заповеди. Так, будучи по воле Вышнего Царя нашим подданным, ты украл при сатанинской помощи наше отеческое достояние, которое поручено нам во временной жизни, по воле Господа Бога, от наших предков; не знаем, как нам с тобой считаться: как с изменником или как с мучителем, который коварно захватил столицу предков наших? Но кто кладет злое основание, тот все должен потерять снова; ты, глупец, присвоивши себе государство, порученное нам от Бога, покусился на то, чего тебе не дала природа и запрещало брать общественное право. Ты не предвидел исхода делам своим и приготовил себе именно такой, на какой теперь должен смотреть с досадою и великим стыдом. Но еще недовольно того, что ты лживо объявил славу свою в сей краткий век; мы соболезнуем, чтоб ты не погубил души своей, и хотим дать тебе исповедь и припомнить тебе вкратце, какими путями ты достиг власти. Ты сам это лучше знаешь, но пусть другим также будут известны твои деяния. Ты захватил управление государством при посредстве и содействии сестры своей, жены нашего брата Федора; вкусна тебе показалась верховная власть. Брат наш Федор занимался большею частию богослужением, мы же были в малолетнем возрасте, и ты, не обращая на нас внимания, пролагал себе путь к престолу, преградивши доступ к блаженной памяти нашему брату, и начал истреблять некоторых знатнейших бояр, выдумывая разные вины. Прежде ты приказал умертвить князей Ивана и Андрея Шуйских и московских посадских лучших людей за то, что они были расположены к Шуйским; так, ты погубил Гая, купца знатного, приказал выколоть глаза Симеону, царю казанскому, великому князю удельному Тверскому, сына его Ивана приказал отравить; но мало этого — ты самому Богу не спускал: оскорблял духовный сан: митрополита Дионисия за то, что он укорял и обличал тебя перед братом нашим

Федором за твои преступления, ты послал в ссылку, а брату нашему сказал, будто он внезапно скончался; а мы знаем, что митрополит до сих пор живет в Тихвинском (Хутынском) монастыре и ты ему дал льготу после смерти брата нашего. Многих других ты погубил; имен не упомним, потому что тогда были еще в недозрелых летах. Ты погубил цвет наших друзей и верных подданных. Только мы тебе стояли на дороге; ты чувствовал, что будешь в наших руках; хотя мы были и в молодых летах, но уже слышали о твоих злодействах. Помнишь ли, как мы тебе напоминали об этом нашими письмами? Помнишь ли, как послали к тебе священника с напоминанием? Помнишь ли, как мы отправили свойственника твоего Андрея Клешнина, который, будучи послан к нам от брата нашего Федора, надеясь на тебя, отнесся к нам неуважительно? Это тебе не понравилось, Борис, потому что мы были тебе препятствием к приобретению царства; и ты, коварный мудрец мира сего, искоренивши знатнейших князей нашего государства, стал точить нож на нас и так как тебе, яко подданному, было страшно брата нашего Федора, то ты нашел прекрасный способ: подговорил дьяка нашего Михаила Битяговского и двенадцать спальников, Никиту Качалова и Осипа Волохова, чтобы нас умертвили; согласился на это, боясь тебя, и наш учитель и лекарь доктор Симеон, который берег здоровье наше; но, по воле Божией, мы через его посредство спасены от жестокой смерти, которую ты нам приготовлял; и чтобы твои смелые дела не открылись, ты прибегнул к средству, вполне достойному похвалы: ты сказал брату нашему Федору, будто в Угличе, где мы жили, большой мор; а чтоб из Углича не пришла весть к брату нашему о том, что с нами сталось, ты подвел крымского хана с большими силами к Москве и в то время, когда приготовил нам смерть, приказал зажечь столичный город Москву в нескольких местах и другие окольные города, чтобы люди были заняты другими важными делами, и в это-то время велел нас убить и замучить; чтоб способ смерти нашей не стал известен брату нашему Федору и другим людям, ты приказал в продолжение нескольких недель поджигать Москву, чтобы тем временем кончить

свои дела, и объявил нашему брату Федору, будто мы сами убили себя в припадке падучей болезни. Брат наш, опечалившись, велел привезти тело наше в Москву, а ты склонил на свою сторону патриарха, которого сам из митрополитов посадил на престоле. И говорили вы, что не следует класть тела самоубийцы между телами помазанников Божиих. Брат сам хотел уехать в Углич, а ты сказал, что там большое моровое поветрие. С другой стороны, против царя крымского расположил войско, которое было вдвое сильнее неприятеля под Москвою, и запретил под смертною казнью выходить на *герцы*. И так три дня смотрели вы в глаза неприятелю и отпустили его свободно, и он ушел себе, не сделавши вреда нашему государству; а ты на третий день пустился за ним будто в погоню, не допуская брату нашему предаться печали о смерти нашей. Между тем пожары объяснились, когда земский судья, боярин Андрей Клобуков, перехватил поджигателей. Они показывали на тебя, что ты их подговаривал; а ты, желая показать, что это вовсе не твое дело, подговорил тех, которые дали тебе себя поймать, чтоб они на пытке показывали на Клобукова, и тогда ты его, по их наговору, отдал в пытку и замучил. Когда же стали говорить, что мы не сами убили себя, а нас умертвили, тогда ты с притворным сожалением приказал о нас сделать сыск, и, схвативши слуг наших, одних замучил на пытке, других утопил, третьих бросил навеки в темницы как будто бы за то, что не уберегли царевича. Когда же все исполнилось по твоей мысли, тогда ты посягнул на жизнь брата нашего и ускорил его смерть, и плакал, невинная овечка с волчьим сердцем… Думал ты, что уже нет более прямых наследников нашего дома, и показывал сам, будто не желаешь царствовать, а между тем разными обычными способами коварства достигал этого: ты рассыпал большие деньги убогим, слепым, хромым, расслабленным, раздавал милостыню с злою целью, поднял за себя голь и устроил так, что по всем городам и в Кремле бесчисленная толпа тебя провозгласила царем, и малые дети кричали: благослови, Боже, быть ему государем, он достоин этого! Но какая награда досталась за то, показало твое царствование: ты

погубил свойственников отца нашего Романовых, князей Черкасских, Шуйских; и до сих пор еще многие чувствуют твое добросердечие.

Мы пишем тебе это краткое исповедание с тою целью, чтоб ты опомнился, не приводил нас своею злобою к большему гневу и себя не доводил до гибели. Разве мало тебе, что Бог избавил меня от рук твоих, от жестокой смерти? Но ты, оставаясь в прежнем упорстве и зная, что мы, Димитрий, живы, хочешь уподобиться Богу и творить людей по своей мысли и начинаешь нас, Димитрия, окрещивать чернецом Григорием, Отрепьевым сыном. Но скоро узнаешь, кто Григорий и кто Димитрий; ты, конечно, этому не рад, но следует сказать тебе, глупцу, совсем лишенному рассудка: не посылай к мудрым и благоразумным, знающим про твои злодейства. Но приходит конец твоим злодеяниям, и правда и справедливость возьмут верх: никто в свете не может их истребить. Как ни тяжко тебе, а придется уступить царство; но сам видишь, что оно следует нам по справедливости. Лучше же потерпеть тебе временное посрамление, чем послать душу свою на вечную гибель в адский огонь. Видим, что ты не заботишься о Боге и душе своей; тем хуже. Возврати же лучше нам наше; а мы простим для Бога все твои вины и, заботясь о душе твоей, которая в каждом человеке драгоценна, назначим тебе спокойное место для покаяния. Лучше тебе на этом свете потерпеть, чем гореть вечно в аду за множество душ: замученные тобою, они взывают к Богу об отмщении. Ведь мы терпели в недавнее время по грехам: скитались по монастырям, ибо Господь Бог через тебя отнял у нас достояние. Напоминаем же тебе, Борис: иначе скоро увидишь, что не помогут более тебе никакие коварства. Помысли о конце твоем и предупреди заранее беду свою. Затем желаем тебе от Господа Бога доброго здоровья и души спасения». Historya Dmitra falszywego, в рукоп. И. П. Б. Польская истор., f. № 33.

меня, прироженого вашего государя, своею невидимою рукою и много лет хранил меня в судьбах своих; и я, царевич Димитрий, теперь приспел в мужество и иду с Божиею помощью на прародителей моих, на Московское государство и на все государства Российского царствия. Вспомните наше прирожение, православную христианскую веру и крестное целование, на чем вы целовали крест отцу нашему блаженной памяти государю царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Руси и нам, детям его, — хотеть во всем добра; отложитесь ныне от изменника Бориса Годунова к нам и вперед уже служите, прямите и добра хотите нам, государю своему прироженому, как отцу нашему блаженные памяти государю царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Руси; а я стану вас жаловать по своему царскому милосердому обычаю и буду вас свыше в чести держать, ибо мы хотим учинить все православное христианство в тишине и покое и в благоденственном житии»[94].

Отправив эти послания, нареченный Димитрий двинулся в Московскую землю.

---

[94] Сноски: 94
А. А. Э., II, 76.

III. Взятие Моравска и Чернигова. – Осада Новгорода-Северского. – Победа Димитрия. – Добрыницкая битва. – Отступление в Путивль

Первый город, который ему предстояло в Московской земле взять, был Моравск, иначе Монастырево. Воеводами там были Борис Ладыгин и Елизар Безобразов. Димитрий, остановившись от Моравска верст за 30 на самой границе, в Шляхетской слободе, отправил туда казаков запорожских под начальством Дилешка с 2000, Куцька и Швайковского. В Моравске полученные грамоты произвели свое действие: жители и ратные люди взбунтовались, отлагались от Бориса и кричали, что они хотят служить законному государю Димитрию Ивановичу. Воеводы заупрямились. Их связали[95] и прислали сказать Димитрию, что они поддаются. Не понимая такой быстрой сдачи, поляки, бывшие с Димитрием, не могли приписывать этого иному побуждению, кроме страха. Димитрий отправил вперед ротмистра со ста пятьюдесятью воинами, а на другой

[95] Сноски: 95
Дневн. соврем, в Hist. Russ. Mon., II.

день сам подступил под Моравск[96]. Войско стало обозом. Сам царевич с воеводою поехал в город. Жители встречали его с хлебом-солью и представили его суду связанных воевод. Димитрий обошелся с ними ласково, дал им свободу и обворожил русских при первом знакомстве с ними в звании царевича. Мнишек призывал к себе этих *севрюков*, как назывались вообще жители Северской области, говорил им, кто он такой: что он сенатор польский и радный пан и, стало быть, не станет лгать, уверял и клялся, что с ним идет настоящий царевич. Для большего успеха он говорил, что король и вся Польша приняли участие в изгнанном царевиче, и если москвитяне не примут его добровольно и не покорятся ему, то пойдет на них войною королевское войско. С этими вестями отправили севрюков по окрестным поселениям распространять между народом весть о спасении Димитрия и убеждать скорее покориться ему, чтоб избежать прихода королевских войск. Посланцы эти имели чрезвычайный успех. Им помогало еще то, что в Северскую землю Борис ссылал множество всяких людей, и действительно дурных, беспокойных, и просто

[96] Сноски: 96
Сказ. совр. Паэрле, 6.

своих недоброхотов, которых у него было много. Они, со своей стороны, располагали жителей отложиться от Бориса и признать настоящего государя. В Северщине стали составляться шайки на помощь Димитрию.

Из Моравска претендент двинулся на Чернигов. Там был воеводою Иван Андреевич Татев с товарищами. Не доходя Чернигова, Димитрий послал туда отряд казаков. Подошедши к Чернигову, казаки увидали крепкий город, окруженный плохо укрепленным посадом, и, подъехавши, кричали: «Поддавайтесь царю и великому князю Димитрию Ивановичу, Моравск уже поддался!» В городе сделалась суматоха; иные кричали: «Сдаваться!», другие кричали: «Биться!» Иван Андреевич Татев был за Годуновых. Со стен города дали залп по казакам, и так удачно, что сразу многих положили. Казаки отступили и ударили на слабый посад. В это время партия, противная Борису, взяла верх; на ее сторону перешли товарищи Татева. Ивана Андреевича связали и послали сказать казакам, чтоб они перестали нападать на посад: все черниговцы бьют челом царевичу. Но казаки не слушали, ворвались в посад, стали грабить жителей и бесчинствовать. Тогда гонцы поскакали от черниговцев к Димитрию просить, чтоб он оста-

новил буйство казаков: Чернигов признает его власть добровольно. Царевич послал немедленно к казакам Станислава Борша с товарищами. Но когда эти посланцы прибыли, то уже казаки сделали свое дело: весь город облупили. На другой день пришло все войско и стало обозом. Димитрий, увидевши, что сделали казаки, послал им сказать: «Отдайте все, что вы награбили незаконно у черниговцев; а не отдадите, пойду биться против вас с рыцарством». Казаки прислали ответ: «Когда мы подошли к Чернигову, по нас стреляли и многих убили и ранили; поэтому мы и взяли посад, чтоб вознаградить себя; мы хотели этим царевичу прислужиться; мы боимся, чтоб Москва, укрепившись, не стала нам сильною». Но Димитрий этим не удовлетворился и требовал, чтоб казаки воротили награбленное. Казаки упорствовали, царевич настаивал. Так прошло несколько дней; наконец казаки должны были уступить и обещали воротить награбленное, но воротили не все, оставивши у себя кое-что. Димитрий обласкал черниговцев. Татев присягнул ему служить и прямить. Но для верности Димитрий оставил в Чернигове одного из ротмистров, Яна Запорского. В черниговском городе Димитрий нашел на 10 000 злотых казны и разделил ее

между своею дружиною[97]. Она начинала уже вопить о заплате жалованья.

4 ноября выступило войско, значительно усиленное пристающими к нему русскими и казаками, к Новгороду-Северскому, и шло до него восемь дней. Везде по берегам рек Десны, Свиницы и Сновы покорялись Димитрию жители сел и деревень. Не было ни сопротивления, ни боязни: народ не разбегался, как обыкновенно бывало, когда приближается войско, но выходил навстречу с хлебом и солью; севрюки с умилением смотрели на своего государя, чудесно избавленного Богом, и кричали в исступленной радости: «Многая лета царю Димитрию Ивановичу!» На дороге прискакал к нему гонец из Польши и 8 ноября привез панскую грамоту[98].

То был ответ на Димитриеву. Эта грамота, писанная еще от Клемента VIII, не дошла до нас, но, без сомнения, в ней были побуждения не забывать своего назначения. Таким образом, когда все на Руси склонялось к Димитрию во имя отеческого православия, когда к нему выходили священники и миряне с православными икона-

---

[97] Сноски: 97
Borsza, Ист. Библ., I, 368.

[98] Сноски: 98
Собр. гос. грам., II, 169.

ми, папская грамота должна была стать для него невольно зловещим кошмаром, предсказывавшим ему, что в будущем не так легко может он расплатиться за помощь, которую ему теперь оказывают чужие. Достойно замечания, что, когда папа переписывался с Димитрием и признавал его законным наследником, в половине июля того же года снаряжено было опять посольство в Персию, и папа просил очень дружелюбно Бориса пропустить чрез московские владения пятерых кармелитских монахов, отправленных для этой цели[99]. Видно, что св. отец взирал тогда самым наблюдательным оком на отдаленную и непокорную его власти Московию.

11 ноября стало ополчение под Новгородом-Северским. Тут претенденту уже не пошло как по маслу, подобно тому как шло до сих пор. Здесь он должен был встретить препятствия. В Новгороде-Северском начальствовал воевода умный, расторопный, храбрый, знавший ратное дело и умевший держать в повиновении подчиненных. Это был окольничий Петр Федорович Басманов, брат убитого в бою против Хлопки, сын одного из гнуснейших сподвижников мрачного периода

---

[99] Сноски: 99
Hist. Russ. Mon., I, 55.

тиранства царя Грозного. Он знал дух народа. Он знал, что как только прибудет войско с Димитрием, то между жителями откроется желание пристать к нему. Наступило зимнее время; Димитрию сдались бы прежде всего посадские, и Димитрий утвердился бы в теплых избах посада. Басманов послал двести стрельцов и внезапно приказал сжечь посад, а жителей загнать в город. Жители убегали с тем, что успели схватить. Подъехав к Новгороду-Северскому, Димитрий послал вперед казаков. Они пришли уже на потухающий пожар. Жалко им было посада; сожалели они о нем со своей казацкой точки зрения: лучше было бы его так ограбить, как ограбили черниговский. Остановившись, они не знали, что делать, и дали знать Димитрию. На другой день подошел к Новгороду-Северскому сам Димитрий со всем войском и отправил трех поляков и несколько московских людей из Моравска с предложением сдаться и присягнуть Димитрию Ивановичу, как это сделали другие. Но Басманов принял их не так, как другие; со стен Новгорода-Северского закричали им: «А, б..... сыны, приехали на наши деньги с вором!»

Ополчение Димитрия стало обозом над рекою Десною, версты за полторы от замка. 14 ноября

приготовили они свои пушечки, которых у них было восемь небольших немецких полевых, да шесть смиговниц на колесах; стали стрелять из них по городу, ничего не сделали: не могли пробить стены. Выстрелы из города, напротив, нескольких побили и покалечили. Потом охотники сошли с лошадей и пошли было на приступ; два раза подходили они к стенам и два раза их отбивали; тем, которые доходили до стен, бревнами и колодами покалечили руки и ноги. Через четыре дня, 18 ноября, с субботы на воскресенье, задумали Димитрий и Мнишек зажечь стены, иначе невозможно было и думать добыть город, когда пушки были так малы, что не могли пробить стены. Выстроили подвижные деревянные башенки, поставили на санях и тихо покатили по пепелищу посада. При них шли человек триста с соломою и хворостом; нужно было разложить огонь у самых стен так, чтоб занялись стены. Но от Басманова не укрылись эти замыслы: только что димитриевцы стали приближаться к стенам, Басманов велел стрелять со стен, и выстрелы прогнали их. Другой раз собрались они и пошли, придавши себе храбрости, — и опять выстрелы со стен разогнали их. Оправились они и в третий раз пошли к стенам с такими же снарядами; но и

в третий раз Басманов разогнал их. Так суетились они бесполезно целую ночь до рассвета. Человек до десяти выбыло[100]. Утром раздосадованные поляки стали роптать и говорили царевичу, что теперь уже не пойдут на приступ; а царевич отпускал им такие колкости: «Я думал, что поляки великий народ, а они такие люди, как и другие!» — «Не порочь нашей славы! — закричали бывшие при нем рыцари. — Все народы знают, что нам не новость добывать приступом крепкие замки; хотя теперь это не наша обязанность, но мы и тут не хотели потерять славы предков наших; прикажи только прежде дыры пробить в стене. Как придется нам в поле встретиться с этим же неприятелем, так вот тогда узнаешь, ваша милость, каковы мужество и храбрость наши; вот тогда полюбуешься доблестями поляков!»

В воскресенье, 19 ноября, Димитрий мог утешиться от неудачного приступа. Пошли из Путивля посланцы и объявили, что путивляне повязали воевод и отдают ему Путивль со всем уездом. На другой день приведены эти воеводы. Вот как дело происходило по рассказам современников: был у Димитрия отряд из московских

---

[100] Сноски: 100

Сказание соврем. Паэрле. — Borsza, Истор. Библ., I, 371–375.

людей, что жили поместьями в польской Руси; они пристали к нему первые, когда он набирал дружину в Самборе. Они отправились из-под Новгорода-Северского за живностью для войска и наткнулись на отряд, посланный из Путивля. «Что вы за люди?» — спрашивали путивляне. Те отвечали: «Мы братья ваши; едем в свою землю с Димитрием Ивановичем, нашим прирожденным царем». Путивляне забирали их в плен и грозили им пыткою, но Димитриевы воины сказали: «Вольно вам делать с нами что захотите, только мы иначе не можем сказать, как уже сказали; мы знаем и наверно дознались, что это наш истинный государь, царевич Димитрий; и вам, братья, советуем поклониться ему». Пока путивляне довезли их до Путивля, сами совершенно перешли на их сторону; а приехав в Путивль, подняли всех ратных людей и жителей; и все объявили себя за истинного царевича, законного наследника Московского государства. Воевод привели к Димитрию под Новгород-Северский[101]; одного из них, Михайла Михайловича Салтыкова, связали, а другой, князь Василий Рубец-Мосальский, сам без принуждения объявил себя за Димитрия. То

[101] Сноски: 101
Ник. лет., 63. — Borsza, Истор. Библ., I, 375.

же сделал дьяк Богдан Сутупов, и другие ратные так же поступили. Василий Рубец-Мосальский скоро вошел к Димитрию в особенную доверенность, а дьяк Сутупов доставил Димитрию деньги, которые сам привез недавно из Москвы для раздачи войску; этим он поддержал Димитрия, когда тот сильно нуждался в деньгах, и за то впоследствии Сутупов сделался думным дьяком. Димитрий послал в Путивль установить порядок Станислава Боршу и приказал ему вернуться скорее назад.

24 ноября — новая радость: приехал посланец из Рыльска и объявил, что рыльчане сдаются и признают Димитрия. Чрез несколько часов в тот же день еще одна радость: приехал посланец из Комарницкой волости и объявил, что она сдалась с городом Севском и тамошние воеводы взяты. 1 декабря пришло известие из Курска, что этот город признал Димитрия Ивановича. Потом 2 декабря новый посланец привез известие, что сдались Кромы. Вслед за тем Димитрий узнал, что на его сторону перешел Белгород. Войско Димитрия беспрестанно увеличивалось и уже простиралось до 15 000, кроме отрядов, которые находились в покорившихся городах и готовы были присоединиться, как будет нужно.

Димитрий продолжал стоять под Новгородом-Северским. Напрасно к городу не раз подъезжали поляки, убеждали покориться царю и великому государю, грозили истреблением и старых, и малых, когда придется взять Новгород-Северский приступом. «Убирайтесь! — кричал им со стены Басманов. — У нас государь царь и великий князь всея Руси Борис Федорович на Москве, а ваш Димитрий — вор и изменник; вот его скоро посадят на кол со всеми единомышленниками!»[102] 2 декабря стали было палить из новых пушек, привезенных из Путивля; и то не помогло: эти пушки не пробили стен Новгород-Северского кремля, а пушки у Басманова были отличные; сам Басманов то и дело что бегал по стене, сам зажигал фитили, сам учил направлять пушку, осматривал днем и ночью стены и, главное, не допускал предательства. Правда, при тесноте, какая была в кремле, куда согнаны были все разоренные «посадские людишки», Басманов не мог усмотреть, как некоторые переходили в обоз Димитрия. Так, 27 ноября в один день перебежали туда 80 человек[103].

---

[102] Сноски: 102
Сказан, соврем. Паэрле, 4.

[103] Сноски: 103
Собр. гос. грам. II, 170.

5 декабря услышали в обозе Димитрия, что приближается войско, посланное Борисом на своего врага.

Еще в июне в Москве у царя с Освященным собором и с Боярскою думою состоялся приговор о том, чтоб не только из поместьев и вотчин, но и из имений церковного ведомства, владычных и монастырских, снаряжены были слуги с оружием и отправлены в Калугу в полк к Мстиславскому[104]. В этом приговоре правительство уже сознавалось, что дела его пошли плохо: казаки, забыв крестное целование, изменяют, многие из русских прельщаются от «вора» и передаются на его сторону; многие хотя еще не изменяют явно, но бегают от службы самовольно или не хотят идти на службу. Тогда, по известию современника[105], употребляли крутые меры: за ослушание или медленность сажали в тюрьмы или секли плетьми так больно, что на спине не оставалось целого места, где бы можно кольнуть иглою. Такими-то мерами согнали войска, как сказано выше, от сорока до пятидесяти тысяч. Носились преувеличенные слухи о его величине: одни

[104] Сноски: 104
Собр. гос. грам. II, 164.

[105] Сноски: 105
Маржер., 46.

говорили, что в нем сто тысяч, другие — двести тысяч. В нем были доброжелатели Димитрия, и за десять дней до его появления в обоз претендента приходили письменные извещения о движении войска; а когда оно приближалось, то некоторые, отделившись от годуновцев, переходили в стан Димитрия служить законному государю.

Главный предводитель царского войска был князь Федор Иванович Мстиславский, человек ничтожнейший по дарованиям, зато знатный по происхождению — первая личность в Боярской думе. До сих пор не было ничего, что бы побуждало надеяться на преданность этого человека Годуновым. Отца его при царе Федоре постриг Борис насильно; сестру его за то, что ее хотели навязать слабоумному царю, также заточили в монастырь. Ему самому не дозволял жениться подозрительный царь с намерением прекратить род, стоявший выше рода Годуновых. Теперь[106] Борис бросил ему надежду, что если он истребит Димитрия, то получит в супружество царскую дочь Ксению, да еще даст ему Казанское и Сибирское государства в удел. С этой надеждой и отправился Мстиславский предводительство-

[106] Сноски: 106
Is. Mass., 52.

вать над войском, отличаясь блеском своего родового имени за недостатком способностей.

20 декабря, на рассвете, передняя стража, высланная для наблюдения, дала знать Димитрию, что войско царя Бориса подходит. Войско Димитриево вышло в поле, затрубило в трубы; Борисово войско показалось. Удальцы выезжали с обеих сторон и вызывали друг друга на герцы. В это время Басманов стал делать внезапные вылазки одну за другою, чтоб развлекать внимание и силы димитриевцев. Они должны были отстреливаться и гоняться за гарнизоном; русские в Новгороде-Северском притворно показали вид, что поддаются, отворили ворота, заманили димитриевцев, а потом затворили ворота, перебили тех, что вскочили в ворота, и вслед за тем сами из других ворот выскочили и наделали большого смятения в Димитриевом войске. В стычках прошел короткий зимний день. Ратники разошлись. Димитрий посылал в Борисово войско сказать: пусть его там признают царем, а он не желает сражаться против своих соотечественников и подданных. Эти выходки были еще пока напрасны. На другой день московское войско приблизилось. Димитрий приказал своим начать битву. Вышла прежде двухсотная конная

рота Неборского, ударила на московских ратных людей и была отбита. Потом бросились в дело другие роты[107]. Московские люди подались. Димитриевцы наперли на правое крыло Борисова войска, и правое крыло расстроилось. Но остальные Димитриевы люди не шли в дело и стояли да ожидали времени, когда, быть может, им придется выручать своих из нужды. Маржерет говорит, что тут если бы хоть один отряд в четыреста всадников бросился на годуновцев, так годуновцы были бы наповал разбиты. Не удалось Мстиславскому сделать и засады: он еще перед светом отрядил было отряд в долину, да польская пехота, узнав об этом, ударила на засаду и рассеяла ее. Довольно московских людей легло тогда на месте. Все московское войско отступило назад верст за четырнадцать и оставило неприятелю поле сражения[108]. Самому Мстиславскому дали тогда несколько ударов в голову; он упал с коня, его едва унесли. У москвитян, говорит очеви-

[107] Сноски: 107

Дворжицкого, две гусарские, одна Мнишека и другая Фредра, а потом царская.

[108] Сноски: 108

Borsza, Истор. Библ., I, 380.

дец[109], словно как будто рук не было для сечи.

На другой день собирали и хоронили мертвых. Московских людей подобрали тысяч до шести, из войска Димитриева погибло более 120 человек, и только 20 из них шляхетского достоинства; прочие были простые люди. Эта неравномерность подозрительна по своей чрезвычайности. Московских людей зарыли в трех высоких могилах. Царевич находился при погребении и плакал над убитыми земляками, против которых сражался. Неподалеку от могил московских людей вырывали могилу для простых димитриевцев; но шляхетские тела удостоились быть погребенными особо близ церкви, что стояла посреди Димитриева обоза[110].

Малые силы одолели большое войско. Казалось бы, такая победа должна была заохотить поляков воевать бодрее: не то вышло. Они как будто пресытились своей славой. В Димитриевом войске были все удальцы, хотевшие поживы; вот более месяца стояли они под упорным Новгородом-Северским и ничем не поживлялись, а проживались. Жалованье за прежнюю службу

---

[109] Сноски: 109
Маржер., 30.

[110] Сноски: 110
Borsza, Истор. Библ., I, 380. — Petricii, 43.

было им заплачено. Они хотели получить еще вперед. Жолнеры-товарищи приходят к Димитрию толпою и говорят: «Царевич, давай нам жалованье, а не то уйдем в Польшу».

«Ради Бога, будьте терпеливы! — говорил им Димитрий. — Я сумею вознаградить храброму рыцарству скоро, а теперь послужите мне; время очень важное — надобно нам преследовать нашего неприятеля: он теперь поражен нашей победой; если мы не дадим ему собраться с духом и погонимся за ним, то уничтожим его, и тогда верх будет за нами и вся земля нам покорится, а я заплачу вам!..»

Но жолнеры прервали его речь и кричали, что дальше не идут и не будут служить, коли Димитрий тотчас же не выплатит им жалованья.

«Что же я буду делать? — говорил Димитрий. — У меня нет столько денег, чтоб я мог заплатить всем».

«А нам что за дело? — говорили другие. — Не можешь, так мы уйдем».

Как ни упрашивал их Димитрий, ничто не действовало на них: твердили одно и то же. Тогда товарищи из роты Фредра пришли тайком к Димитрию и говорили: «Ваша царская милость, извольте заплатить только нашей роте, а другие

знать не будут; мы останемся, и другие, глядя на нас, останутся также». Димитрия поддели на эту удочку. Он согласился заплатить одной роте; на это у него ставало денег, и он выплатил жолнерам Фредра ночью. Утром после того в других ротах узнали об этом и подняли тревогу. Толпа бросилась к Димитрию с выговором; схватили его знамя; один поляк сорвал с него соболью ферезь; тут подскочили московские люди и выкупили за 800 злотых одежду своего государя. Кто-то из жолнеров осмелился сказать царевичу: «Ей-ей! Быть тебе на коле!» Димитрий не утерпел и ударил его в зубы[111].

Поляки пошумели и побуянили перед царевичем, показали, как уважают его, и разошлись. Димитрий бросился за ними. Они собирались домой. Димитрий ездил между ними да упрашивал, чтоб не покидали его на погибель… Насилу из разных рот кое-какие жолнеры расчувствовались от его просьб и остались: таких было человек 1500. Прочие ничем не умолились и ушли. К большей его досаде, и воевода Сандомирский объявил, что оставляет нареченного зятя и идет в Польшу. Он извинялся, во-первых, нездоровьем, во-вторых,

---

[111] Сноски: 111
Borsza, Истор. Библ., 382–383.

что сейм наступает. Его побуждал возвратиться король, его укоряли многие паны за то, что дает поблажку экспедиции в Московское государство; король боялся, что когда соберется сейм, то многие послы поднимут против него за это же голос, и потому, чтоб себя очистить, он, посредством универсалов, приказывал, чтоб его подданные не вступали с вооруженною рукой в чужое государство. Конечно, свободная шляхта могла служить где хотела; пребывание шляхты в войске Димитрия значило, что свободные люди частно служат Димитрию, а никак не Польша нападает. Но Мнишек занимал звание воеводы и в этом звании не мог распоряжаться своей вольностью так, чтоб его нападение на пределы чужого государства не сочтено было за нарушение мира со стороны Речи Посполитой. В глазах Димитрия ушли поляки в Польшу; но не прошло это им даром, говорит очевидец, который тогда предпочел остаться в службе Димитрия: «Натерпелись они на дороге и холоду, и голоду, и лошади у них поморились, и кляли они сами себя, что уехали, и хуже было им, чем тем, которые остались с царевичем»[112].

Однако скоро Димитрий утешился. Чрез

---

[112] Сноски: 112
Borsza, Истор. Библ., I, 383.

несколько дней после выхода поляков пришли двенадцать тысяч запорожцев; они привезли с собой пушек, а в них нуждался Димитрий. Рассудили, что нечего стоять под Новгородом-Северским, а гораздо лучше перейти в Комарницкую волость; носились слухи, что тамошний народ, еще недавно буйный и беспокойный, станет за Димитрия и желает его видеть. Он оставил осаду и со всем войском двинулся в Комарницкую волость и стал у Севска.

Но Борисовы воеводы узнали, что поляки ушли, и разочли, что теперь, пока еще у них силы не утомились, а у претендента не прибавились, надобно ударить на него. После сражения под Новгородом-Северским вышло так, как бы ожидать не следовало. Димитрий выиграл сражение, и вслед за тем заслужил нерасположение поляков и его силы умалились, а московские воеводы, проиграв битву, приобрели благосклонность своего царя. Борис прислал к раненому Мстиславскому чашника Вельяминова-Зернова и велел от себя и от своего семейства челом ударить, о здоровье спросить, похвалить за службу, и обещал такое великое жалованье, какого у него и на уме нет. Вместе с тем царь прислал ему для излечения медика и двух аптекарей немцев. Разом милостив

был Борис и ко всем дворянам и детям боярским и велел их спросить о здоровье[113]. Это значило, что Борис заискивает у войска, боится измены, хочет задобрить его и тем предотвратить измену. Рана Мстиславского не была опасна: через месяц он мог сесть на коня, хотя еще и чувствовал слабость. Войско его увеличилось и простиралось от 60 000 до 70 000; товарищем ему послан князь Василий Шуйский. Шуйский прислан прибыльным воеводою[114].

Воеводы пошли на войско Димитрия, стоявшее под Севском, и остановились от него обозом за несколько верст. По известиям современников, у Димитрия было тогда семь хоругвей польских конных, сотня польской пехоты, четыреста пеших и пятьсот конных московских людей[115], а

---

[113] Сноски: 113
А. Э. 1, 17.

[114] Сноски: 114
Тогда было такое распределение начальства: в большом полку князь Федор Иванович Мстиславский да князь Андрей Андреевич Телятевский; по другим полкам оставлено прежнее расписание: в правой руке князь Димитрий Иванович Шуйский и князь Михаил Федорович Кашин, в передовом — боярин князь Василий Васильевич Голицын и боярин Михаил Глебович Салтыков; в сторожевом — окольничий Иван Иванович Годунов и князь Михаил Самсонович Туренин, а в левой руке — окольничий Василий Петрович Морозов и князь Лука Федорович Щербатов.

[115] Сноски: 115
Petricii, 46.

по другим известиям, их было до 2000[116]; три тысячи донских казаков да сверх того пришедшие запорожцы[117]; всего было до 15 000 человек[118].

Годуновцы хоть и недалеко были от Димитрия, а долго не знали, где он именно и с какими силами стоит. Надобно было запастись продовольствием. Борисовы воеводы послали отряд, по показанию одного из современников, более чем в семь тысяч[119], по показанию другого — в четыре[120], для сбора скота, овса, сена и хлеба по соседним селам; но как только этот отряд вышел, на него напал отряд, высланный Димитрием; произошла схватка; годуновцев разбили жестоко; много легло, остальные бежали. Это произвело страх в царском войске; там никак не думали, чтоб неприятель был так близко. На этой[121] или

---

[116] Сноски: 116
Сказ, соврем. Паэрле. 18.

[117] Сноски: 117
Petricii, 46.

[118] Сноски: 118
Buss., 57.

[119] Сноски: 119
Petricii, 169.

[120] Сноски: 120
Is. Mass., 57.

[121] Сноски: 121
Is. Mass., 58.

на другой[122] стычке годуновцы поймали какого-то поляка и не могли от него ничего дознаться. «Люблю выпить, — сказал он. — Дайте две чарочки винца — всю правду скажу». Одни говорят[123], что воевода приказал его положить спать и он во сне умер, другие[124] — что воеводы рассердились, велели пытать, думая и без вина заставить его высказать правду, и замучили до смерти, ничего от него не допытавшись, а потом с досады повесили его голое тело на высокой ели[125].

У Димитрия в войске был совет, в совете разногласица. Поляки, бывшие при нем, советовали не нападать на московских людей и дожидаться, пока те сами нападут; казацкие атаманы были против этого и советовали самим выйти из обоза и ударить на врагов. «Что, — говорили они, — нам тут дожидаться! Пусть Москвы и больше; мы на это не посмотрим: били ее прежде и теперь

---

[122] Сноски: 122
Petricii, 169.

[123] Сноски: 123
Is. Mass., 58.

[124] Сноски: 124
Petricii, 169.

[125] Сноски: 125
Petricii, 169.

побьем!»[126]

Говорили, что в Борисовом войске колебание. Уже многих там брало раздумье: быть может, они идут воевать против законного государя за ненавистного похитителя; многих соблазняли слухи о Димитриевом удальстве, великодушии и доброте, тогда как за Борисом не оставалось для них никакого привлекательного качества; доброте его не верили давно. Соображая это, поляки подавали Димитрию советы не открывать битвы, а заводить с годуновским войском сношения и стараться склонить московских людей на свою сторону[127]. После споров и толков Димитрий пристал к думе казацкой; он рассудил так: годуновцев несравненно больше; они могут осадить его с войском, перервут сообщения, нельзя будет подвозить продовольствие. «Лучше и славнее, — говорил Димитрий, — встретить их в открытом поле и найти или смерть, или победу, — последняя вероятнее»[128]. Счастливые стычки предыдущих дней подавали ему надежду.

---

[126] Сноски: 126
Petricii, 48.

[127] Сноски: 127
Petricii, 47.

[128] Сноски: 128
Сказ. совр. Паэрле, 18.

Донесли ему, что немалая часть войска Борисова находится в деревне Добрыничи в тесноте. Жители этой деревни расположены были к Димитрию, как и вообще жители всего этого края; они сами вызывались зажечь свою деревню в то время, когда Димитрий на нее нападает; тогда, среди суматохи, годуновцы не успеют устроиться в боевой порядок и можно будет разбить их. Но прежде чем успели поселяне исполнить задуманное, узнали об этом годуновцы, перевешали зажигателей, вышли из деревни; войско устроилось к бою[129]. Ожидали Димитрия; направо поставлены были татары вперемежку с московскими людьми, в числе 20 000; налево тридцать тысяч московских людей; посредине десять с небольшим тысяч и пушки[130].

21 января на рассвете все войско Димитриево пошло на годуновцев. Сам Димитрий перед выездом в поле отслушал обедню. Его войско разделилось на три отдела: один состоял из поляков и был поделен на семь рот; гетманом у них вместо отъехавшего Мнишека был теперь полковник

---

[129] Сноски: 129
Маржер., 80.

[130] Сноски: 130
Petricii, 49.

Дворжицкий[131]; к ним присоединились две тысячи московских людей; для отличия от своих единоотечественников, годуновцев, они надели белые рубахи сверх панцирей и лат[132]. Другой большой отряд состоял из 8000 запорожских казаков, третий — из 4000 казаков[133].

Местоположение было холмистое; большая часть войска закрылась от московской рати холмами, на вид вышла сперва польская конница — тысячи две человек; они воинственно гарцевали, весело разливался звук их труб и литавр, а польские ротмистры возбуждали отвагу удалыми окликами и такими похвалками на неприятеля, как будто уже одолели его. Они направлялись на правую сторону московского войска и уже спускались в лощину; они думали отрезать московский стан от деревни Добрыничей, стоявшей на холме за лощиною. Димитрий для ободрения своих летел впереди на каром аргамаке с обнаженным тесаком в руке. Сначала выступили из царского лагеря немцы, потом за ними московские люди.

---

[131] Сноски: 131
Borsza, Истор. Библ., I, 386.

[132] Сноски: 132
Сказ, соврем. Паэрле, 18.

[133] Сноски: 133
Маржер., 80.

Началась перестрелка. Вдруг из-за холмов разом появилось шестьдесят или семьдесят Димитриевых знамен, раздался оглушительный звук труб и литавр, задорный крик ратных людей. Московские люди подались назад. В московском войске не было так много знамен, как у поляков; у них было тогда всего-навсего три знамени, но чрезвычайно огромные, с изображением святых, украшенные жемчугами; не было вовсе и труб, кроме у служивших царю иноземцев; поэтому годуновцы, увидя множество знамен и услыша сильный трубный глас, вообразили, что на них идет большое войско. Начальствовал передовым полком Иван Годунов, человек не храброго десятка; он так обомлел, что его можно было пальцем с коня сшибить, говорит современник. Димитрий выбил годуновцев из лощины и уже поднимался на гору к Добрыничам, — вдруг один немец, Арнст Кляссен, служивший в отряде Маржерета, заметил, что поляки не страшны: идут они маленькими отделами и можно с них прыть сбить; бегущие годуновцы быстро остановились, раздвинулись. За ними на горе был обоз. Московские стрельцы стояли за укреплением из саней и, допустивши к горе поляков, дали по ним сверху залп из полевых пушек и множества ружей,

по известию современника[134] — из 12 000. По уверению поляков[135], к их собственному удивлению, этот залп мало повредил им; неискусны были стрельцы московские; зато залп отуманил поляков. Дым от стрельбы понесло сильным ветром на запорожскую конницу, стоявшую влево; на несколько минут закрыл ее дым, и вдруг раздался крик: «Запорожцы убегают!» Поляки были поражены этим известием и расстроились. Годуновцы, воспользовавшись смятением в рядах неприятелей, ударили на них; дым разошелся: оказалось, что запорожцы действительно убежали; поляки окончательно растерялись и побежали, отбиваясь от годуновцев и все еще надеясь, что запорожцы воротятся и подкрепят их. Но запорожцы не воротились. Только отряд пеших казаков, вероятно, донских, поставленный за холмом, дал было отпор годуновцам; однако, натиснутые огромными силами, казаки потеряли много убитых и отступили, побросавши пушки. Годуновцы преследовали димитриевцев конницею верст на шесть или на семь; много их

---

[134] Сноски: 134
Маржер., 81.

[135] Сноски: 135
Borsza, Истор. Библ., I, 387–388. — Сказ, соврем. Паэрле, 20.

перебили, нахватали много пленных[136], взяли пятнадцать знамен и тринадцать орудий. Сам Димитрий чуть было не попался в плен. Его конь был под ним застрелен. Служившие в Борисовом войске немцы чуть-чуть не схватили Димитрия; но Василий Рубец-Мосальский, соскочив со своего коня, посадил на него Димитрия, а себе взял коня у своего слуги. И другой конь под Димитрием был ранен, но унес его. С этих пор Димитрий чрезмерно уважал Василия Мосальского и в большой чести содержал коня, который спас его от гибели[137]. Выбыло тогда у него, по одним известиям, до шести тысяч. Так говорит Маржерет, участвовавший в тогдашней войне[138]. По другим известиям, у Димитрия убито было до трех тысяч[139]. Русские известия увеличивают потерю до 13 000[140].

После этой потери Димитрий приказал наскоро

---

[136] Сноски: 136
Паэрле, 21.

[137] Сноски: 137
Is. Mass., 69.

[138] Сноски: 138
Маржер., 91.

[139] Сноски: 139
Сказ. совр. Паэрле, 21.

[140] Сноски: 140
Хроногр.

сняться обозом и уходить к Рыльску. На казаков не смел он больше полагаться. Современники говорят, что начальники этих восьми тысяч запорожцев были подкуплены Борисовыми воеводами за несколько дней, умышленно не стали помогать Димитрию и ушли, покинув его в решительную минуту[141]. Когда они проходили мимо Рыльска, со стен этого города московские люди отпускали им крепкие ругательные слова. Они пошли себе в польские владения. Димитрий сказал им такое прощальное слово: «Вы храбры перед битвой, а в битве трусы; стыдно мне, что вы мне служили, только и могу о вас вспомнить по одному бегству вашему»[142].

Борисовы воеводы не могли решиться преследовать Димитрия иначе, как со всем своим обозом, а для этого нужно было время, и в сборе провели московские люди несколько дней. Это дало Димитрию возможность уйти до Рыльска. В эти дни московские воеводы изрубливали, вешали, расстреливали и мучили пленников без разбору: доставалось не только своим в качестве изменников и бунтовщиков, но и полякам; их

---

[141] Сноски: 141
Сказ, совр. Паэрле, 21.

[142] Сноски: 142
Petricii, 50.

не считали военнопленными, оттого что войны между Польшею и Московским государством не было объявлено. Пощадили только тех, что были познатнее, да и то для того, чтобы в Москве поругаться над ними всенародно. 8 февраля их водили по городу со взятыми знаменами при звуках труб и накров, у них же отнятых. Тогда несли и показывали народу позолоченное копье с тремя белыми перьями[143] — оно было найдено близ убитого Димитриева коня. Так хотели народ уверить, что царские войска одолевают богомерзкого расстригу.

Наконец, собравшись, двинулось войско Борисово за Димитрием, но Димитрий ушел уже более чем на сто верст. Годуновцы достигли Рыльска, а Димитрий был тогда уже в Путивле. Годуновцы осадили Рыльск. Рыльчане перед самым приходом годуновцев отправили к Димитрию просить помощи. Из Путивля Димитрий послал им две тысячи своих московских людей и пятьсот поляков. Годуновцы были тогда до того оплошны, что в их глазах посланная Димитрием рать вошла в Рыльск и увеличилась тамошняя ратная сила, охранявшая город. Годуновцы простояли

[143] Сноски: 143
Is. Mass.,61.

под Рыльском тринадцать дней и ничего ему не сделали[144]. У рыльчан мало было запасов; продолжительная осада погубила бы их; но они знали, что с ними жестоко поступят Борисовы воеводы, и поневоле должны были храбро отбиваться[145]. В Рыльске воеводствовали[146] передавшиеся Димитрию князь Григорий Долгорукий-Роща и Яков Змиев. Пытались было склонить убеждениями к сдаче рыльчан: «Не стыдно ли вам изменять законному царю и служить расстриге, беглому монаху?» — «Стоим за прироженого государя Димитрия Ивановича, которого ваш Борис изменник хотел убить, а Бог его укрыл», — твердили рыльчане. Между тем вначале в Путивле Димитрию было нехорошо; поляки, которые с ним оставались, рассудили, что счастье ему перестает служить, и уходили в Польшу почти все, даже не прощаясь с ним. Насилу часть их воротилась по убеждениям Станислава Борши

---

[144] Сноски: 144
Маржер., 82.

[145] Сноски: 145
Petricii, 52.

[146] Сноски: 146
Ник. VIII, 62.

и начальника гусаров Бялоскурского[147]. Если бы годуновцы поспешили ударить на Путивль, то много бы вреда ему сделали. Но годуновцы потратили время под Рыльском, а тем временем дела Димитрия с другой стороны поправлялись: украинные города продолжали сдаваться; один за другими приступили к нему Оскол, Воронеж, Царев-Борисов, Орел и также Елец[148]. Во всех этих городах досталось Димитрию до 50 орудий[149]; в последнем городе взяли какого-то знаменитого чародея. К Димитрию с Дона прибывали один за другим в Путивль отряды.

Тогда, чтоб отвлечь Борисово войско от Рыльска, Димитриевы поляки из Путивля подослали в Борисов обоз «языка» и научили, что ему говорить. Он попался в плен. Борисовы воеводы стали его допрашивать. Он показал, будто на помощь Димитрию идет коронный гетман Жолкевский, а у него войска сорок тысяч. Этому легко было поверить оттого, что Борис, по своему обыкновению хитрить, содержать в тайне настоящий

---

[147] Сноски: 147
Borsza, Истор. Библ., I, 390.

[148] Сноски: 148
Bar. Bar., 10.

[149] Сноски: 149
Grevenbr., 16.

смысл дела и распускать ложь, дал своей борьбе с престолоискателем такой смысл, как будто все делается по злобе Сигизмунда, который ищет такого или иного повода объявить войну[150]. Воеводы разочли, что тут им не следует оставаться, а нужно уйти в Комарницкую волость, поближе ко внутренним землям, и там ожидать неприятеля. Снялись так поспешно, что побросали в обозе много запасов и съестных, и боевых. Рыльчане, как только увидели, что осаждавшее их город войско удаляется, тотчас сами сделали вылазку, напали на задний отряд, рассеяли его, многих взяли в плен, забрали тринадцать орудий[151]. Годуновцы ушли к Кромам. Димитрию тотчас дали знать об этом, и он отправил туда в передогонку отряд донцов и московских людей; всех было четыре тысячи, начальствовали ими атаман Корела и Григорий Акинфиев.

Они успели войти в Кромы тихо, прежде чем Борисово войско 14 марта осадило этот город[152]. С этих пор главный стан царского войска был

---

[150] Сноски: 150
А. Э., 178.

[151] Сноски: 151
Паэрле, 23.

[152] Сноски: 152
Borsza. Истор. Библ., I, 393. — Маржер., 22. — Паэрле. 21.

под Кромами, а из него посылались отряды по окрестностям разорять жителей. «Нельзя выразить, — говорит Паэрле, — с одной стороны, с каким бесчеловечием ратные люди Борисовы свирепствовали над своими соотечественниками, с другой — с каким мужеством и твердостью духа шли мученики на смерть и истязания за Димитрия, своего законного государя[153], те, которые и не видали в глаза никакого Димитрия, а воображали, что видели его, и никакие пытки не могли заставить их говорить иное. Годуновцы свирепствовали особенно в Комарницкой волости; за преданность Димитрию мужчин, женщин, детей сажали на кол, вешали по деревьям за ноги, расстреливали для забавы из луков и пищалей, младенцев жарили на сковородах. Вся Севрщина была осуждена царем на порабощение по произволу военщины; людей, ни к чему не причастных, хватали и продавали татары за старое платье или за жбан водки, а иных отводили толпами в неволю, особенно молодых девушек и детей. В московском войске было наполовину татар и прочих инородцев, и они-то особенно варварски свирепствовали. Ничего подобного не

[153] Сноски: 153
Паэрле, 23.

делалось народу от димитриевцев, и эта разница утверждала народ в убеждении, что Димитрий настоящий царевич».

IV. Поведение Бориса. – Посольство в Польшу. – Гришка Отрепьев. – Смерть Бориса

Со времени появления Димитрия царь Борис вел против него борьбу таким способом, какой только мог быть наиболее выгоден для претендента. Кроме коротких сбивчивых извещений чрез пограничных воевод, Борис не посылал в Польшу, не объяснялся с королем и правительством, не старался, с другой стороны, в пору и в свою пользу объяснить народу русскому явление царевича. Только исподволь распространяли вести, что этот новоявленный Дмитрий в Польше — Гришка Отрепьев, расстрига, беглый монах из Чудова монастыря. Но в то же время Борис хотел, чтобы в его государстве не говорили ни о Димитрии, ни о расстриге. Под тем предлогом, будто в Литве моровое поветрие, Борис велел учредить по московской границе крепкие заставы и никого не пропускать ни туда, ни оттуда. Думали, что таким образом не будут знать ничего в Мос-

ковщине о Димитрии, а в Литве — о настроении умов и недоброжелательстве народа московского к Борису. Внутри государства шпионы повсюду прислушивались, не говорит ли кто-нибудь о Димитрии, не ругает ли Бориса; обвиненным резали языки, жгли их на огне, сажали на колья; сомнительно-виновных засылали в сибирские города в тюремное заключение[154]. Московские люди боялись говорить между собою о повседневных делах. Поссорятся люди между собою — и один от другого боится доноса; кто прежде успеет объявить, что его недруг говорил про Димитрия, тот и выигрывал, а того, на кого доносили, схватят и начнут пытать и допрашивать[155]. Борис думал, что, истребивши распространителей слухов о Димитрии, он может отклонить от себя опасность[156]. Мрачен, угрюм, недоступен становился Борис, постоянно сидел во дворце своем, не показывался народу; бедных просителей, которые являлись с челобитными, отгоняли от дворцового крыльца палками; и много безнака-

---

[154] Сноски: 154
Supplem., 411.

[155] Сноски: 155
Is. Mass., 50.

[156] Сноски: 156
Videk, 20.

занных насильств совершали начальные люди в Московском государстве, зная, что до царя не дойдут жалобы утесненных[157].

А между тем в Москву давали знать, что на польской Украине собирается ополчение и день ото дня надобно ждать вторжения в Московское государство. В июле приехал в столицу посланник от немецкого императора и сообщал от имени государя по соседской дружбе, что в Польше проявился Димитрий и собирает силы. Борис отвечал, что Димитрия нет на свете, а в Польше — какой-то обманщик, и он не боится его[158]. Но скоро царь увидел необходимость действовать явнее: чтоб доказать, что Димитрий есть Гришка Отрепьев, нашли Смирно́го Отрепьева, которого называют дядею Гришки Отрепьева, и пустили слух, что его посылают в Польшу; говорили, что там он будет просить короля, чтоб свел его с племянником, и он обличит Гришку в «воровстве». На самом деле этого Смирного Отрепьева хотя и послали гонцом в Польшу, да не дали никакого письменного поручения о том человеке, который назывался Димитрием, а дали грамоту, где

[157] Сноски: 157
Is. Mass., 52.

[158] Сноски: 158
Is. Mass., 50.

шло дело о пограничных недоразумениях между жителями обоих государств и о высылке судей с обеих сторон для прекращения этих недоразумений. Когда Смирной Отрепьев воротился в Москву, то говорили, будто король, норовя «вору», не допустил гонца видеться с племянником. Такие слухи распускали тогда в Московском государстве. Но впоследствии, когда царствовал Шуйский, московские бояре, думавшие, что Смирной Отрепьев ездил в Польшу для обличения «вора», начали польским панам выговаривать несправедливость польских панов; тогда паны объяснили, что гонец Смирной Отрепьев ездил совсем за другим делом, и притом Борис выбрал послать его в такое время, когда он не мог исполнить такого поручения, если бы и предъявил его в Польше: называвший себя Димитрием тогда уже выступил из польских владений[159].

После Смирного Отрепьева, в октябре 1604 года, снаряжен был в Польшу гонцом дворянин Постник-Огарев, но не был послан тотчас. Вероятно, Борис рассчитал, что лучше помедлить, пока дело более разъяснится, а между тем начал действовать внутри. Он, говорят, велел привезти мать

---

[159] Сноски: 159
Арх. И. Д., № 30.

Димитрия в Новодевичий монастырь; оттуда привезли ее ночью во дворец тайно и ввели в спальню Бориса. Царь был там со своею женою. «Говори правду, жив ли твой сын или нет?» — грозно спросил Борис. «Я не знаю», — отвечала старица. Тогда царица Марья пришла в такую ярость, что схватила зажженную свечу, крикнула: «Ах ты б...! Смеешь говорить: не знаю, — коли верно знаешь!» — и швырнула ей свечою в глаза. Царь Борис охранил Марфу, а иначе царица выжгла бы ей глаза. Тогда старица Марфа сказала: «Мне говорили, что моего сына тайно увезли из Русской земли без моего ведома, а те, что мне так говорили, уже умерли». Рассерженный Борис приказал отвезти старицу в заключение и держать с большею строгостью и лишениями[160].

Но после того, что делалось, после того, как до 80 000 войска сражалось с претендентом, хотящим сорвать венец с Борисовой головы, невозможно было играть по-прежнему в молчанку, нельзя было затыкать подданным рты и уши, чтоб имя Димитрия не произносилось и не слышалось, и только исподтишка пускать вести, что называющийся Димитрием — Гришка Отрепьев;

---

[160] Сноски: 160
Is. Mass., 65.

приходилось, наконец, объяснить народу, что все это значит. И вот послушный Борису патриарх Иов пустил грамоту по всему Московскому государству. Таким образом, не Борис царь, а первопрестольник церкви взялся объяснять запутанное дело Русской земле: по его словам, все это дело происходило «из крамолы врага и поругателя христианской церкви Жигимонта, литовского короля»; цель у него была «разорить в Российском государстве православные церкви и построить костелы латинские и лютерские, и жидовские». В этих видах он, Жигимонт, с панами радными назвал странника-вора, беглеца из Московского государства, расстригу Гришку Отрепьева князем Углицким Димитрием. Грамота оповещала, что «патриарху и всему освященному собору и всему миру известно, что Димитрия-царевича не стало еще в 1590 году, назад тому четырнадцать лет». Святейший первопрестольник Русской церкви счел уместным покрыть благоразумным молчанием вопрос о том, как не стало этого дитяти; довольно, казалось, припомнить только отпевание его. Тот, кто теперь называется Димитрием-царевичем, есть не иной кто, как чернец Гришка; он назывался в мире Юшка Богданов сын Отрепьев, жил в детстве у Романовых, заворовал-

ся и пошел в монахи, был во многих монастырях, потом в Чудовом монастыре в дьяконах; патриарх брал его к себе во двор для книжного письма; потом он, Гришка, убежал из Москвы вместе с товарищами Варлаамом Яцким и крылошанином Мисаилом Повадиным, проживал в Киеве в монастырях Печерском и Никольском во дьяконском чине, потом отвергся христианской веры, скинул с себя чернеческое платье, уклонился в латынскую ересь, в чернокнижие, ведовство и, по умышлению короля Жигимонта и литовских людей, начал называться Димитрием Углицким. Про него знают и показывают воры, его товарищи, которые с ним знались, они проводили его в Литву и водились с ним в Литве: чернец Пимен, постриженник Троицкого Сергиева монастыря, чернец Венедикт и посадский человек ярославец Степан Иконник, — они все трое пред патриархом дали показание, и патриарх теперь сообщает его всей Русской земле во всеуслышание и разумение. Первый говорил, что он спознался с Отрепьевым и с его товарищами Варлаамом и Мисаилом в Новгороде-Северском, в Спасском монастыре, проводил их для знанья дороги за Стародуб в Литву до села Слободки. Второй показывал, что, убежавши из Смоленска в литовские

владения, он, Венедикт, проживал в Киеве и там познакомился с Гришкою, проживал с ним в разных монастырях во дьяконстве и бывал у князя Острожского; Гришка потом пристал к лютерам, впал в чернокнижие, учал воровать у запорожских черкас; будучи чернецом, ел мясо; Венедикт, узнавши об этом, извещал печерскому игумену, и тот посылал к казакам печерских монахов взять этого вора; но вор как был чернокнижник, то узнал, что его ищут, и убежал к Адаму Вишневецкому, а потом, по воровскому умышлению этого князя и по королевскому велению, стал называться князем Димитрием. Третий, Степан Иконник, показывал, что, торгуя иконами или меняя иконы, как выражаются обыкновенно для благочестивого приличия, он видел Гришку в Киеве: приходил Гришка к нему в лавку покупать иконы; а потом Гришка расстригся и ушел к Вишневецкому, и там, по умышлению королевскому, начал называться князем Димитрием. Такие-то свидетельства выставляли русскому народу в доказательство, что появившийся Димитрий был Гришка. Патриарх извещал, что он с Освященным собором проклял Гришку и всех его соучастников и повелевает теперь везде по церквам во всем Московском государстве произ-

носить анафему на Гришку-расстригу и на всех тех, которые ему последствуют и именуют его князем Димитрием[161]. Таким образом, народу вначале представили, что Гришка есть только орудие, что умысел у него явился в Польше, а не в Руси, и что все это дело злобы польского короля. Пустивши патриаршую грамоту в народ, правительство решилось объясниться и с Польшею. Послан был гонцом тот же Постник-Огарев, который был снаряжен еще в октябре 1604 года.

В грамоте, которую он привез, главным образом говорится о том, что польские судьи не прибыли на границу для разбирательства пограничных недоразумений, когда русские туда, по условию, прибыли, и излагались жалобы на то, что люди из Польши и Литвы делают набеги на Московское государство. Вслед за тем излагалось дело претендента так: «Стало ведомо, что в вашем государстве проявился расстрига-монах, называющий себя царевичем Димитрием. Был он прежде в Московском государстве дьяконом, и у чудовского архимандрита он был в келейниках, и для письма бывал в патриаршем дворе; имя ему Гришка, а перед монашеским званием в мире звали его Юшка

[161] Сноски: 161
А. Э., I., 80.

Отрепьев, Богданов сын; и, будучи в мире, он не был послушен отцу своему, впал в ересь, разбойничал, крал, играл в кости, пьянствовал и много раз убегал от отца своего, и, наконец, учинивши преступление, вступил в монастырь, но там не покинул воровства своего, впал в чернокнижие, отступал от Бога, призывал духов нечистых, и найдено у него отступление от Бога; и богомолец наш, святейший патриарх, узнавши об этом, со всем Освященным собором, по правилам Святых Отец повелел сослать его с единомышленниками на Белоозеро в тюрьму на смерть, а Гришка, увидя свою гибель, с товарищами своими попом Варлаамом и крылошанином Мисаилом, убежал из Москвы за границу, в ваше государство, и жил в Печерском монастыре, и в Остроге, и в Брагине, а потом пришел к Вишневецким и от монашеского звания обратился в мирское звание и по совету тамошних тузов начал называться сыном царя Ивана Васильевича Димитрием. Он посылает в украинные города грамоты и к донским казакам послал Сченсного Свирского; запорожские казаки погромили московских людей Ивана Реутова и Афанасия Сухачева, а Михайла Ратомский из Остра, соединившись с расстригою, губят и разоряют Московское государство и над святынею ругают-

ся». Государь московский требовал от польской нации выдачи «вора», в противном случае считал перемирие нарушенным и обещал писать об этом к соседним государям. В этой грамоте было упомянуто, что и Димитрий, который зарезался в припадке черной немочи в Угличе, был незаконный сын, потому что был рожден от седьмой жены. Впоследствии поляки толковали это замечание так, как будто бы в грамоте было сказано, что «если б тот, который называется Димитрием, был и настоящий Димитрий, то не имел бы права на престол»; они делали из этого такой вывод, что сам Борис не знал наверное, кто идет против него, и допускал возможность, что человек этот мог быть настоящий Димитрий. Гонец приехал в Варшаву 10 февраля, когда еще сейм не кончился. Сейм этот был очень бурный и неблагосклонный к королю. Уже много накопилось неудовольствий против короля; уже слышались предвестники открытого возмущения, которое наступило в следующем году. Охранитель шляхетской свободы, Замойский, говорил тогда Сигизмунду такие многозначительные речи: «Уже есть много такого, за что мы имеем право укорить ваше королевское величество в нарушении прав. В старину, когда короли польские не соблюдали

своей присяги, их прогоняли предки наши из Польского королевства и выбирали других; то же и с вашим величеством быть может, если не опомнитесь». Покровительство названому Димитрию ставилось, между прочим, в вину королю. «Я считаю, — говорил Замойский, — это дело противным не только благу и чести Речи Посполитой, но и спасению душ наших. Этот Димитрий называет себя сыном царя Ивана Васильевича. Об этом сыне был слух у нас, что его умертвили. А он говорит, что вместо него другого умертвили. Помилуйте! Что это за Плавтова или Теренциева комедия? Возможное ли дело: приказать убить кого-нибудь, особенно наследника, и не посмотреть, кого убили? Так можно только зарезать козла или барана! Да кроме этого Димитрия, если б пришлось кого-нибудь возвести на московский престол, есть законные наследники Великого княжества Московского — дом Володимирских князей: от них, по праву наследства, преемничество приходится на дом Шуйских; это можно видеть из русских летописей!» Так говорил на польском сейме о московских делах Замойский незадолго до своей смерти. Можно подозревать, что Василий Шуйский тогда уже действовал через своих пособников, которые в

Польше распространяли мысль о его праве на престол. Едва ли бы Замойскому пришло в голову толковать на польском сейме о правах Шуйского на московский престол и ссылаться на русские летописи, если б его на эту мысль умышленно не натолкнули. За Замойским поднялись послы воеводства бельзского, которое на всех сеймах в делах тянуло за Замойским. «Мы не видим вероятия, — говорили они, — в этом господарчике, Димитрии, человеке московского происхождения; но если б он и был истинный, все-таки нам дивно, что предпринято частными силами без согласия сейма ему помогать. Этого не бывало никогда. Это очень дурной пример для Речи Посполитой и Бог знает куда поведет. Король присягнул настоящему московскому государю не за себя только, но и за нас всех». Некоторые паны также сами по себе поднимали голос против претендента. Епископ виленский Война называл пособие Димитрию разбойничьим набегом. Дорогостайский хвалил короля за то, что он своим универсалом приказывал Мнишеку и другим полякам возвратиться, но вопиял против Мнишека и боялся, что своевольная толпа, ушедшая в Московщину, воротится назад и начнет неистовствовать в Польше. Другие паны, как,

напр., Лещинский, Тарновский, не подавая голоса ни в пользу, ни во вред Димитрию, говорили, что надобно подождать конца. Осторог, не одобряя помощи, оказанной Димитрию, изъявлял желание, чтоб так или иначе этот Димитрий остался в Московской земле, потому что те, которые с ним ушли, хуже татар для своей собственной земли. Никто не смел сказать слова в пользу Димитрия. Даже родственник Мнишека, краковский епископ Мацеевский, ограничился советом подождать конца. Московский гонец прибыл в самую благоприятную пору, когда не хотели нарушать мира с Москвою. 12 февраля был он допущен к королевской руке, проговорил речь по наказу и в конце заметил: «Только в вашей земле такие беглецы и богоотступники могут находить себе притон». Ему назначили также совещание и для того уполномочили нескольких панов; то были Януш Острожский, Гиероним Ходкевич, Адам Збаражский, Ян Замойский, епископ виленский Война и Лев Сапега. К сожалению, переговоры эти нам неизвестны. В конце концов Лев Сапега дал такой последний ответ: «Этот человек вступил уже в Московское государство, и его там легче достать и казнить, чем в Польше». С тем

и отпустили Постника-Огарева[162]. Польские государственные люди, как оказывается, считали Бориса гораздо крепче на престоле, чем он был на самом деле. Опасность московскому государю угрожала тогда уже не из Польши, а изнутри.

Ни патриаршая грамота, ни увещания духовных лиц, которые должны были повторять слова патриарха с добавками собственного красноречия, ни обряд проклятия, совершенный торжественно по всей Московской Руси, не расположили к Борису сердца народного. Напротив, этот новый Борисов прием к своему спасению, как и другие, ускорил его погибель. Все обратилось ему во вред. Слушая патриаршую грамоту, московские люди шепотом говорили: это по начатию Борисову делается. Сходились в домах рассуждать: права ли грамота; обыкновенно решали, что она лжива. Московские люди судили так: «Борис поневоле должен говорить и делать так, как говорит и делает; а то ведь ему придется не только царства отступиться, а еще и про жизнь свою промышлять». Другие толковали: «Борису

[162] Сноски: 162

Bibl. Villan., № 31. Рукопись. — Имп. публ. библ. fol. 33, q. 8. — Отрывки из дневника сейма 1605 года. Напечатаны в Исторической библиотеке, издаваемой Археографическою комиссиею, в 1-м томе (с. 1–81) по рукописи публичной библиотеки f. № 119.

и патриарху самим неведомо, что Димитрий Иванович жив, они думают, что его зарезали, как велел Борис, а того не знают, что вместо него другой убит. За долгое время мать и родные его Нагие проведали умысел Борисов, что он хочет царевича извести, что будет царевичу смерть потаенно, неведомо как и в какое время; вот мать подменила ребенка, чужого приняла в царевичево место, а своего отослала в соблюдение; вот Бог его и сохранил от убийства и погубления Борисова; теперь же он возмужал и идет на свой прародительский престол»[163].

Иные говорили: «Пусть, пусть проклинают Гришку; от этого царевичу ничего не станется: царевич — истинный Димитрий, а не Гришка». Вести об успехах Димитрия возбуждали радость в народе; а когда прошел слух о деле под Добрыничами, то распространилось уныние. Не раз в народе разносились ложные вести. «Вот, — говорили, — Польша поднялась за Димитрия; вот войско наше передалось; вот царь Димитрий недалеко от Москвы!» Многие, не задавая себе труда подумать, действительно ли Димитрий тот, кто домогается свергнуть Бориса, наклонялись к

[163] Сноски: 163
Врем. XVI, 22.

нему и сердцем, и помышлением только оттого, что всякую другую власть, чья бы она ни была, готовы были предпочесть Борисовой[164]. Борисовы шпионы продолжали подслушивать речи, подмечать движения и доносить. Довольно было подметить у человека смутный взор и нетвердую походку, и его подвергали пытке, вымучивали признание, нередко замучивали огнем, железом или кнутом. Не проходило дня, чтоб в Москве не мучили людей. Эти меры при напряженном состоянии умов в народе обращались более и более во вред царю. Если прежде ненависть к Борису обуздывал страх противиться помазаннику, то теперь в народном воззрении уважение к царской святости в особе Бориса умалялось по мере сознания, что он достиг престола беззакониями, темными злодействами и всенародными обманами. В то же время Борис, с одной стороны, свирепствовал над тем, кто навлекал на себя подозрение, а с другой — показывал подданным свою трусость, задабривал войско и тем как будто хотел сказать ратным людям Московского государства: постойте за меня, я вам заплачу за это. Когда ему принесли известие о победе при

[164] Сноски: 164
Grevenbruch, 13.

Добрыничах, он был у Троицы. Принес ему это известие Михайла Борисович Шеин, впоследствии знаменитый защитник Смоленска. Борис так обрадовался, что вестника за добрую весть наградил чином окольничего; говорят, что этот еще молодой в то время человек отличился в битве и спас от смерти военачальника[165]. Потом Борис со стольником князем Мезецким послал войску несколько десятков тысяч рублей[166]. Самим воеводам подарил он золотые монеты, которые были редки, чеканились нарочно по какому-нибудь событию, давались за особые заслуги, как ордена[167]; иноземцам, служившим в войске, дано годовое жалованье не в зачет; обещаны служилым за будущие услуги поместья и вотчины. Борис, по своей обычной поговорке, изъявлял готовность даже поделиться с ратными людьми последнею рубашкой, если нужно будет. Так Борис ласкал войско. Но чрез несколько времени он услышал, что войско после победы при Добрыничах ходило следом за претендентом,

---

[165] Сноски: 165
Is. Mass., 60.

[166] Сноски: 166
Bussov, 30.

[167] Сноски: 167
Petricii, 170.

не поймало его и оставило в Путивле спокойно; тогда Борис раздражился и послал к воеводам выговор с окольничим Петром Никитичем Шереметевым и дьяком Афанасием Власьевым. Эти посланцы застали войско уже под Кромами. Суровое слово от Бориса раздражило против него многих из начальных людей: они и без того уже колебались. Начались шепотом толки: не передаться ли Димитрию Ивановичу, не выгоднее ли это будет[168]. Самая милость Бориса послужила поводом к раздорам в войске. Окольничий Василий Морозов не взял золотого из-за местнических счетов с князем Телятевским; его сместили, а преемник его Замятия Сабуров, будучи воеводою левой руки, не хотел служить, считаясь меньше князя Голицына, который был в передовом полку[169]. При таком несогласии и беспорядке мудрено было ожидать успехов.

Зато Борис особенно был признателен Басманову. За храбрую защиту Новгорода-Северского этот человек, еще молодой, получил такие почести, какие всем казались выше его породы и звания: многих знатных это приводило в досаду,

---

[168] Сноски: 168
Ник., VIII, 63.

[169] Сноски: 169
Хроногр. Карамз., хран в Арх. Ком.

особенно князя Никиту Трубецкого, который находился в Новгороде-Северском вместе с Басмановым и по происхождению был гораздо выше его. Борис, однако, понимал, что охранял город не Трубецкой, а Басманов. Когда Басманов приехал в Москву, Борис послал ему для въезда богатые сани, и знатные думные люди должны были выехать встречать его как торжествующего победителя. Борис дал Басманову золотую чашу, наполненную угорскими червонцами, несколько серебряных кубков, пожаловал его саном думного боярина[170]. Этим-то думал Борис привязать к себе человека, в котором одном между всеми увидал воинское дарование. Борис давно уже не доверял бескорыстной преданности; он хотел купить полезного человека и ошибся: он только испортил этим своего раба. Обращение с войском вообще ясно показывало, что Борис считал врага своего слишком опасным. Однако в то же время он переходил от трусости к высокомерию и старался показать вид, как будто не видит беды. Шведский король присылал к нему предложение помогать против претендента войсками. Смертельный враг Сигизмунда и Польши, шведский

[170] Сноски: 170
Petr., 171.

король считал разумным для собственной безопасности поддерживать Бориса, чтоб не дать усилиться Польше; он понимал, что у того, кто идет на Москву, поддержка в Польше, и он сам ее орудие. Царь московский с достоинством приказал послу шведского короля дать такой ответ: «Московскому государству не нужна шведская помощь; при царе Иване Васильевиче мы дали себя знать и теперь постоим разом против турок, татар, поляков и шведов, а не то что против какого-нибудь беглого монаха»[171]. Тем не менее его очень беспокоило, что думают о Димитрии в иноземных краях, и он посылал одного немца, служившего в Москве переводчиком, Ганса Ателаера, в Швецию, а оттуда в Германию проведать вестей; но этот немец пропал безвестно в Швеции[172].

Притворяясь спокойным, Борис с каждым днем опускался. Могущество его падало — он видел: русская земля не терпела его; он знал это и не старался более примириться с нею; тайно доносили ему, что в войске шатость, что там сомневаются: не истинный ли против них царевич,

---

[171] Сноски: 171
Videk., 20.

[172] Сноски: 172
Is. Mass., 53.

и уже совесть укоряет их за то, что они стоят за похитителя. Борис подозревал измену или, по крайней мере, недоброжелательство в том, что воеводы не пошли добывать Димитрия в Путивле. «Верно, — думал он, — есть из начальников такие, что желают добра врагу». Вероятно, и сам Борис не мог положительно сказать сам себе, кто такой этот страшный враг, грозивший его венцу из Северской земли. Имя Гришки, очевидно, было поймано как первое подходящее, когда нужно было назвать не Димитрием, а кем бы то ни было того, кто назывался таким ужасным именем. Борис едва ли мог поручиться — в самом ли деле это самозванец, а не Димитрий. Он не видал трупа отрока, зарезанного в Угличе, не удалось ему говорить со слугами, исполнявшими его желание. На Шуйского, производившего сыск в Угличе, он не надеялся; не доверял он никому оттого, что ни в ком не мог возбудить к себе бескорыстной привязанности; ему служили из страха или из личных выгод. Зловещая неизвестность окружала Бориса. Он обращался к ворожеям и предсказателям и выслушивал от них двусмысленные прорицания. Рассказывают, что была в Москве какая-то затворница Алена юродивая; ее келья была в земле. Славилась она даром прори-

цания, и все говорили: «Что Алена предскажет, то и сбудется». К ней поехал царь; в первый раз она не впустила его к себе. Борис поехал к ней в другой раз. Тогда Алена велела принести перед свою подземельную келью четвероугольный кусок дерева и пропеть над ним духовенству погребальную песнь. «Вот что ждет царя Бориса», — сказала она. Зловещее предсказание поразило еще более Бориса. Отчаяние овладело его душою. Он сидел по целым дням запершись один и только посылал сына молиться по церквам. Но сердце его не умилялось. Казни и пытки не переставали, а враги его умножались, и уже в близких ему лицах созревала измена. Однажды, в порыве отчаяния, призвал он Басманова, целовал перед ним крест на том, что показывающий себя Димитрием не истинный царевич, а обманщик, беглый монах-расстрига, умолял Басманова достать злодея и, по известию современника-голландца, обещал ему, как прежде Мстиславскому, свою дочь в замужество, а в приданое давал Казань, Астрахань, Сибирь, лишь бы только Басманов избавил его от расстриги. Басманов сказал об этом Семену Никитичу Годунову, царскому родственнику, которому царь во всем доверял. В Семене Годунове возбудилась зависть к Басманову, досада на

Бориса, что он возвышает и приближает к себе Басманова, и он сказал последнему: «Ох, мне сон был, что этот Димитрий истинный царевич». Слова эти запали в сердце Басманова, раздумье взяло его; сердце у него не лежало к Борису, верить он ему не мог; знал, что Борис готов сулить золотые горы, а потом, когда беда минет, то не сдержит обещания, а еще и погубит его. Уже со многими он так поступал. Басманов, несмотря на уверения Бориса и на почести, убеждался, что с Борисом воюет истинный Димитрий, и готов был перейти к нему.

Долго томившись думами, Борис решился на тайное убийство: это казалось вернее[173], это средство было ему издавна хорошо знакомо и не раз помогало. Самозванец ли этот Димитрий — тем лучше: почему же не избавить себя от опасности и землю от соблазна и кровопролития; настоящий ли Димитрий — все равно; если один раз он избежал смерти, ему приготовленной для того, чтоб открыть Борису дорогу к престолу, почему же не приготовить ему в другой раз гибели, чтоб удержаться Борису на престоле? Борис подговорил трех монахов идти в Путивль и отравить

---

[173] Сноски: 173
Is. Mass., 64.

его злодея[174]. Это было в марте.

Неизвестно, дошла ли до Бориса весть, что сделалось с этими монахами. Немного времени спустя после того Борис окончил свою историю. 13 апреля была неделя мироносиц. Царь встал здоров и казался веселее обыкновенного. После обедни приготовлен был праздничный стол в Золотой палате. Одно известие (письмо Димитрия к Мнишеку) говорит, что он принимал тогда иноземных послов. Борис в этот день ел с большим аппетитом и переполнил себе желудок так, что ему стало тяжело. После обеда он пошел на вышку, с которой он часто обозревал всю Москву. Вдруг сошел он оттуда и закричал, что чувствует колотье и дурноту. Побежали за доктором. Но еще не успел прийти доктор, ему стало хуже. Окружавшие его заговорили о будущей судьбе России. Борис сказал: «Как угодно Богу и земству!»[175] Вслед за тем у него полилась кровь из ушей и из носа, он упал без чувств. К нему прибежали патриарх, духовенство, едва успели кое-как приобщить его, а потом наскоро совершили уже над полумертвым посвящение в схиму и нарек-

---

[174] Сноски: 174
Сказ. совр. Паэрле, 23.

[175] Сноски: 175
Smith, 25, на обор.

ли Боголепом. Он скончался около трех часов пополудни. Все во дворце были поражены неожиданностью события. Целый день не объявляли народу. Москвичи замечали в Кремле беготню, видели, как бояре, дворяне, стрельцы шли туда с оружием, догадывались, что это значит, но никто не смел заикнуться, что царь умер. Только на другой день объявили об этом и послали народ всякого звания, и детей боярских, и купцов, и посадских ко Кремлю целовать крест царице Марии и сыну Федору. Патриарх объявил, что им оставил Борис престол свой. Тотчас пошли рассказы, что Борис на вышке сам себя отравил ядом в припадке отчаянья и мук совести. Этот слух вынесли немцы доктора, лечившие царя Бориса[176]. Лицо мертвого было страшно изуродовано предсмертными конвульсиями и почернело[177].

На следующий день останки его погребены были в Архангельском соборе между прочими властителями Московского государства. Семьдесят тысяч рублей назначено было раздать в течение сорокоуста на милостыню ради успокое-

[176] Сноски: 176

Is. Mass., 65.

[177] Сноски: 177

Barezzo Bar., 13. — Buss., 31. — Petr., 171. — Врем., XVI, 22. — Grevenbr., 19. — Petricii, 74. — Smith. The Russ. imp., 59.

ния души усопшего царя[178].

Новый царь был юноша шестнадцати лет, довольно полный телом, с белым румяным лицом, с черными глазами, способный и умный от природы, начитан с детства, изучен, как говорят современные летописцы[179], всякого философского естествословия и благочестив. Отец до чрезвычайности любил его, готовил к венцу и посвящал во все дела управления[180], заботился, чтобы молодой царевич читал книги и приобретал знания; вообще, отец не спускал его с глаз от себя, и над молодым человеком с детства тяготело отцовское наблюдение; все свои чувства, помышления, желания, впечатления он должен был сообразовать с волею отца. Борис напоминал ему часто, что, пока он жив, сын — раб его, раб государя и должен существовать для государя и отца, так же как после отцовской смерти все должно будет существовать для него. Сын при-

[178] Сноски: 178

В народе осталась уверенность, что Борис лишил себя жизни самоубийством. В народной песне, сохранившейся до сих пор, говорится: Умертвил себя Борис с горя ядом змеиным, Ядом змеиным, кинжалом вострым (Киреевск. Вып. VII, 3).

[179] Сноски: 179

Врем., XVI. Иное сказание о самозв., 23.

[180] Сноски: 180

Smith, 26, на обор.

нимал отцовское наследие с теми понятиями и способами, какие внушил ему отец; другой науки управления он не знал, и, следовательно, его царствование должно было явиться продолжением отцовского. Первым делом нового правительства было избрать предводителя войску. Назначен Петр Федорович Басманов, но, в угождение местничеству, Басманов был официально назван только вторым воеводою, а первым — Михайла Катырев-Ростовский[181]. Басманов был старого дворянского рода Плещеевых, но не мог стать в уровень с родами княжескими[182].

Басманов немедленно послан к войску приводить его к присяге и воевать против врага. Вслед за тем послана во все города русского царства грамота с известием о кончине царя Бориса Федоровича и о воцарении сына с его матерью. По семейному характеру государственного строя русской земли мать поставлена была выше сына,

---

[181] Сноски: 181

Два хроногр. Карамз.

[182] Сноски: 182

Распределение сделано такое: в большом полку князь Михаил Катырев-Ростовский, Петр Федорович Басманов; в правой руке — князь Голицын (Василий Васильевич) и князь Михаил Федорович Кашин; в передовом полку — боярин князь Андрей Андреевич Телятевский и князь Михаил Самсонович Туренин: в левой руке — Замятия Иванович Сабуров и князь Лука Осипович Щербатов. Замятия продолжал спорить с Телятевским.

и она, пока жива, не могла не быть участницею верховной власти, хотя бы только по имени. Присяга требовалась прежде всего матери, а потом уже сыну. Чтоб придать Федору Борисовичу право признания со стороны народа, была пущена во все пределы Русской земли от патриарха грамота, где представлялось дело так, будто новый царь Федор Борисович избран на престол Земским собором; излагалась небывалая история, будто по смерти Бориса бояре, окольничьи, дворяне, весь царский синклит и гости, торговые люди и всенародное множество Российского государства молили со слезами сначала мать, чтоб благословила сына на царство, а потом самого молодого Борисовича, чтоб он принял царственное бремя после отца. По силе-то этого вымышленного избрания требовалась присяга на службу царице Марье Григорьевне, царю Федору Борисовичу и царевне Ксении Борисовне[183]. Этою ложью явно показывалось, что сын Бориса не имеет родового права на престол, и эта ложь повредила его делу. Старались показать вид, будто новый царь получает престол по единодушному молению народа; но в то же время заранее изъявлялась боязнь, что

[183] Сноски: 183
А. Арх. Э., 1, 87.

в народе будет противодействие его воцарению. Таким образом, в окружной грамоте от имени царицы и детей ее было сказано, чтоб воеводы берегли накрепко, чтоб не было ни одного человека, который бы креста не целовал[184].

Разослана была крестоцеловальная запись, на которой велено было произносить присягу; в ней, как и в крестоцеловальной записи Борисова времени, главное внимание обращено на волшебство. Что же касается до тогдашних угрожавших обстоятельств, то вместо того, чтоб назвать соперника Годуновых именем Гришки Отрепьева, каким он уже был объявлен недавно в патриаршей грамоте, прочитанной повсюду, в крестоцеловальной записи сказано глухо: «К вору, который называется Димитрием Углицким, не приставати и с ним и с его советники ни с кем не ссылатись ни на кое лихо, и не изменити, и не отъехати, и лиха ни которого не учинити, и государства не подъискивати, и не по своей вере ничего не искати, и того вора, что называется князем Димитрием Углицким, на Московском государстве видети не хотети»[185]. Этою неяс-

[184] Сноски: 184
Собр. гос. грам., 182.

[185] Сноски: 185
Собр. гос. гр., II. 192.

ностью выражения новое правительство как будто показывало, что само не уверено, есть ли соперник его Гришка Отрепьев, между тем как везде по церквам проклинали Гришку Отрепьева. Таким образом, ходила в народе мысль, что Борис с патриархом свалили вину на Гришку Отрепьева, а сами или не знают, кто такой претендент, или же сознают, что он настоящий; и проклятие в церквах делалось беззаконным обращением церковных уставов и обрядов на пользу властолюбия Бориса и его рода. «Пусть, — толковали москвичи, — приведут сюда старую царицу, мать Димитрия, и поставят всенародно у Кремля. Пусть всякий услышит от нее: жив ли ее сын или нет. А то за что ее держат в заточении? Значит, знают, что она скажет: „Ее сын жив“ — вот что она скажет! Недолго царствовать Борисовым детям. Димитрий Иванович придет на Москву, как на дереве начнет лист развертываться»[186].

Во все время Великого поста войско Борисово осаждало маленький город Кромы. Маржерет в военном отношении называет эту осаду делом, достойным смеха[187]. Огромное войско,

---

[186] Сноски: 186
А. И., I, 67.

[187] Сноски: 187
Сказ, соврем. Марж., 82.

тысяч в семьдесят или восемьдесят, стояло под маленьким городком, укрепленным прежде деревянными стенами и земляными окопами, где было всего-навсего жителей тысячи четыре или пять. А между тем у годуновцев было много больших пушек, по одним известиям — семьдесят; некоторые были так огромны, что два человека едва могли охватить пушку[188].

Годуновцы сожгли дотла стену; оставался высокий вал; строения в городе все были истреблены от выстрелов и огня; но казаки и кромчане делали себе подземные норы и переходы со множеством входов и выходов: все упирались в вал, откуда можно было выходить на свет и делать вылазки. Эти подземелья рыли глубоко, ниже поверхности пласта, который замерзал, и потому их было легко копать; в них можно было прятаться и от стужи, а землю из подземельев выгребали на вал и повышали его. Годуновцы ничего не могли сделать с осажденными. Годуновцы нападут — осажденные уходят в свои норы; осаждающим невозможно было туда проникнуть, затем что одним осажденным известно было, как направлены эти подземелья: два-три смельчака приблизятся

[188] Сноски: 188
Grevenbr., 24.

к выходам — из глубины в них стреляют; большою толпою нельзя было вскочить в отверстия: они были для того узки. Как только годуновцы отступят, кромчане в свою очередь выскакивают из нор и стреляют в них; а оборотятся годуновцы — кромчане опять убегают в свои норы. Ружья у казаков были предлинные, а стреляли они так, что редкий давал промах. Соберутся двести или триста и выходят из Кром пешие, дразнят конных московских людей. Те думают: как это пешие смеют так далеко выходить, вот мы им дадим! Пускаются на них верхом; казаки выпалят из ружей — у годуновцев лошади попадают; а потом казаки в другой раз выпалят, людей бьют, и пока другие наскочат, казаки отбегут к Кромам, а сами заряжают ружья; и как только годуновцы к ним близко наскакивают — снова стреляют, бьют еще лошадей и людей и уходят в свои норы. Так погибало каждый день человек пятьдесят и шестьдесят московских людей[189].

Так распоряжался казацкий атаман Корела. Его считали чернокнижником, то есть характерником, по казацкому образу выражения[190]. С виду

---

[189] Сноски: 189
Is. Mass., 62.

[190] Сноски: 190
Is. Mass., 171.

это был невзрачный человечек, весь в рубцах; родом он, говорят, был из Курляндии, наверное, из Корелы, поступил в казачество, как поступали туда бродяги из разных краев русского мира, и на Дону уже прославился своею храбростью и смелостью; его там еще сделали атаманом, а имя его уже прежде наводило страх[191].

Но главное — необычное было терпение у казаков, и никто не мог, как они, переносить всякую нужду; они, говорит летописец-современник[192], бесстрашны к смерти, непокоримы и к нуждам терпеливы. Запасу у них ставало. Они пешие пробрались в Кромы и притащили туда множество саней, которые связывали четвероугольником, и они им служили подвижною крепостью: на этих санях привезли они с собою не только сухари, но еще и довольно водки, и в своих норах жили они весело — пили, гуляли; слышны были в Кромах трубы и песни, и даже веселые женщины у них были: для поругания московским людям казаки раздевали этих женщин донага и заставляли их в виду годуновского лагеря отпускать насмешки и показывать оскорбительные постыдные телодви-

---

[191] Сноски: 191
Is. Mass., 61.

[192] Сноски: 192
Врем., XVI, 21.

жения. Корела умышленно протягивал такого рода войну; он рассчитывал, что, пока годуновское войско будет стоять попусту под Кромами, город за городом, земля за землею станут сдаваться Димитрию и его сила будет возрастать без боя. В годуновское войско приходили воззвания от Димитрия очень искусительного содержания. «Если не верите мне, — писал он, — поставьте меня перед Мстиславским и моею матерью; я знаю — она еще жива и находится в горьком бедствии от Годуновых. Если она скажет, что я не сын ее, не настоящий Димитрий, тогда вы изрубите меня в куски». Между осажденными и годуновцами происходили сношения, письма летали из стана в стан на стрелах; а когда в московском войске узнали, что у казаков недостача пороха, то выставили на шанцах мешки с порохом, и казаки, предуведомленные об этом через письмо, пущенное на стреле, бросились и достали назначенный для них подарок. Караульные не повредили им. С каждым днем росла охота переходить на сторону Димитрия Ивановича. Однажды, когда воеводы сделали решительное нападение и причинили, по выражению летописцев[193], тесноту велию,

[193] Сноски: 193
Нов. лет., 85. — Лет. о мятеж., 4.

Михайло Глебович Салтыков, начальствовавший орудиями, самовольно, без ведома главных воевод, свез наряд (то есть пушки) с осыпи, «норовя окаянному Гришке». О самом Мстиславском говорили, что он начинал верить в истинность Димитрия после того, как Димитрий написал к нему дружелюбное письмо, в котором извинял его упорство данною присягою Борису и ссылался на мать свою, отдавая себя совершенно на суд материнского свидетельства. У Корелы собственно донских казаков было только 600 человек[194], кроме них были все московские люди; но зато казаки держали осаду. Войско годуновское затруднялось собственною огромностью; оно уже разорило страну варварским обращением с жителями, разогнало народонаселение края и теперь само затруднялось в продовольствии; селения были пожжены; не было теплого помещения. Годуновцы должны были в шатрах и шалашах терпеть стужу, да вдобавок в войске распространилась болезнь, которая называется у летописцев *мыт.* В войско были присланы Борисом врачи и лекарства.

В таком положении были дела, когда 17 апреля

---

[194] Сноски: 194
In. petr., 171.

прибыл в войско Петр Федорович Басманов в качестве главного предводителя и с именем второго после князя Михайла Катырева-Ростовского. Прежние главные воеводы, князья Мстиславский и Шуйские, должны были оставить команду и ехать в Москву. Они уехали немедленно. Басманов должен был приводить к присяге. С ним для этого дела приехал новгородский митрополит Исидор с духовенством. Но Басманов поколебался. Слова Семена Годунова запали ему в душу. Внезапная смерть Бориса казалась ему явным указанием Божиим. Счастье престолоискателя давало вид небесного покровительства над ним, но Басманов не решился первый озваться за Димитрия, а прежде нужно ему было узнать расположение войска. Стали приводить к присяге, в войске поднялся шум и разногласие.

Слышалось имя Димитрия Ивановича, законного наследника. Многие ратные напрямик показывали, что не хотят служить Борисову роду. В числе первых, смело поднявших такой голос, были рязанские дворяне Ляпуновы, братья Прокопий и Захарий, за ними все рязанское ополчение; потом к ним пристали ополчения других городов: Тулы. Каширы, Алексина и вообще украинных мест, которые лежали на юг от Москвы.

Положение Федора Борисовича на престоле оказалось чересчур шатким: он не мог быть царем ни по избранию, ни по наследству. В окружной грамоте патриарх рассказывает об избрании Федора Борисовича всею землею, всенародным множеством всего Российского государства; но такого избрания не было вовсе. Наследственное право Федора Борисовича было также несостоятельно. Тогда все знали, что отец его Борис неправильно был выбран. Да и сами Годуновы и патриарх сознавали это, потому и обманывали Русскую землю, будто бы новое преемничество совершилось избранием. Происхождение от Бориса не имело силы, когда сам Борис представлял вид, будто избран народом только потому, что не оставалось прямого наследника после Иоанна Грозного. Такой наследник отыскивался, и хотя Борис и его преемники внушали народу, что называющий себя Димитрием есть самозванец, но способы уверения были неловки. Существенного на этот счет патриарх мог сказать только то, что какие-то два беглых монаха-бродяги так говорили да какой-то торговавший в Киеве иконами глухо и неясно присоединил к ним свой голос. Других свидетельств не представлялось; народ ничего больше не слыхал и не знал. Недостаточность

таких доказательств только могла расположить к тому, чтоб поддаться заманчивой мысли о чудесном спасении законного царевича, увлечься странным и таинственным его появлением, а это свойственно всегда, во всякие времена народным громадам. Пока Борис был жив, многих удерживала присяга, понятие, что он царь, помазанник Божий; хотя его не терпели, а все-таки считали грехом не повиноваться ему, признавая, что следует покоряться и дурному господину, не только хорошему. Поэтому-то некоторые воеводы, расположенные к Димитрию, давали себя народу связывать и потом охотно служили Димитрию; они успокаивали совесть тем, что изменили признаваемому всеми царю поневоле, а не по охоте. Как скоро русские подвергали рассуждению тогдашние дела, им представлялась мысль, что есть два соискателя престола: один — сын Бориса, хоть и царя, но обманом и злодеяниями достигшего престола; другой — сын старого законного царя Ивана Васильевича, которого и отец, и дед, и прадед были на московском престоле и признавались всем народом русским. Вопрос, кого из них предпочесть, естественно разрешался в пользу Димитрия.

По этим чувствам и воззрениям войско, до сих

пор наружно верное Борису, стало явно двоиться, когда узнало, что Борис умер и сын его предъявлял перед народом притязание быть царем после отца. К прежним недоброжелателям Бориса стали приставать и те, которые относились к делу равнодушно. Некоторые ратные люди покорно присягнули, другие кричали, вопили и гнали прочь митрополита Исидора с его присягою. Митрополит видел, что не миновать усобице; ничего не оставалось ему, как уехать в Москву со своим духовенством. Воеводы не знали, на что им решиться в это время. Но им пособил слепой случай. Сведения о том, что делается в войске и в Москве, сообщались быстро в Путивль. Димитрий узнал о смерти Борисовой тогда же, когда узнало о ней Борисово войско, а может быть, и раньше. Как только приехали новые воеводы под Кромы, сын боярский арзамасец Бахметев тотчас побежал в Путивль сообщить вести[195]. Басманов отправил повинное письмо к Димитрию, извинялся, что так долго служил Борису, потому что не был уверен, что явился истинный Димитрий. «Я не был никогда изменником и не желаю своей земле разорения, а желаю ей счастья. Теперь

[195] Сноски: 195
Хрон. Карамз.

всемогущий промысел открыл многое, притом сам ближний Бориса, Семен Никитич Годунов, сознался мне, что ты истинный царевич; теперь я вижу, что Бог покарал нас и мучительством Борисовым, и нестроением боярским, и бедствием царствия Борисова за то, что Борис неправо держал престол, когда был истинный наследник; теперь я готов служить тебе как подобает». Тем временем Басманов хотел подготовить войско, чтобы переход на сторону нового царя обошелся без братнего кровопролития[196].

В Путивле тогда же узнали, что в войске разноголосица. Димитрий отправил вперед под Кромы Дворжицкого да пришедшего к нему недавно Запорского; у них было пять польских рот, 500 запорожцев и 1000 казаков[197]. Не доходя нескольких верст до Кром, Запорский остановился, призвал одного ловкого московского человека и сказал ему: «Берешься ли послужить своему прирожденному государю Димитрию Ивановичу и идти в обоз годуновский и согласен ли потерпеть за него?» Московский человек отвечал: «За своего государя Димитрия Ивановича я готов

[196] Сноски: 196
Is. Mass., 62.

[197] Сноски: 197
Diar. Wisloucha.

умереть и всякие муки претерплю; я не открою ничего о своем государе врагам его».

«Ну, так иди, возьми это письмо и попадись в их руки», — сказал Запорский. Он научил московского человека, что отвечать на расспросы, обещал ему большую награду, если он исполнит счастливо свое поручение[198], и дал ему рубль на дорогу.

Молодец пошел мимо обоза, показывая вид, что пробирается в Кромы. Караульные его остановили, спрашивали: кто он и куда идет? Тот сказал: «Я иду от моего государя, царя и великого князя всея Русии Димитрия Ивановича в Кромы с грамотою».

Его схватили и представили Басманову. Взяли у него письмо, и прочитано было оно в присутствии совета бояр, находившихся в войске. В письме было написано:

«Мы, Димитрий Иванович, царь и великий князь всея Русии, посылаем вам, верным кромчанам, по вашей просьбе и желанию, две тысячи поляков и восемь тысяч русских, а сами не идем к вам потому, что ожидаем со дня на день сорок тысяч польского войска с Жолкевским, которое уже

---

[198] Сноски: 198
Grevenbr., 21.

недалеко от Путивля. Мы надеемся на справедливость дела нашего; вы, при помощи Божией, не только отобьете нападения врагов на ваш город, но и нанесете им совершенное поражение; убеждаем вас оставаться верными подданными нашими, не щадя ни жизни, ни имуществ за нас, а мы вас вознаградим в свое время».

Воеводы, прочитавши эту грамоту, поверили ей совершенно и стали рассуждать: если польское войско нападет на русское в таком положении, в каком находилось последнее, то совершенный успех будет на стороне поляков, а русских ожидает неминуемое и жестокое истребление. Невозможно было думать о воинском строе для встречи неприятеля, когда все войско волновалось. Пришлось бы тогда сражаться не только с поляками, но и со своими; а свои, не объяснившись еще как следует, били бы друг друга, не разбирая, где свой, а где противник.

Пока воеводы размышляли и так и сяк, прибежали к ним татары; татарский отряд был послан на объезд, начальствовал им Иван Годунов[199]; он встретился с Запорским и, как следовало ожидать по его трусости, бежал. Татары уверяли, что

---

[199] Сноски: 199
Grevenbr., 22.

собственными глазами видели польское войско.

Тогда Басманов сошелся с Василием Васильевичем Голицыным, братом его Иваном Васильевичем, Михайлом Глебовичем Салтыковым, и стали они рассуждать, что им делать. Басманов говорил им так: «Видимое дело, что сам Бог ему пособляет: вот сколько мы с ним ни боремся, как из сил ни бьемся, а ничего не сделаем; он сокрушает силу нашу и наши начинания разрушает, стало быть, он настоящий Димитрий, законный наш государь. Если б он был простой человек, Гришка-расстрига, как мы думали, так Бог бы ему не помогал. И как простому человеку можно сметь на такое дело отважиться! Сами видим в полках наших шатость, смятение: город за городом, земля за землею передаются ему, а литовский король посылает ему помощь. Не безумен же король; значит, видит, что он настоящий царевич! Придут поляки, начнут биться, а наши не захотят. Все государство русское приложится к Димитрию, и мы как ни будем упорствовать, а все-таки наконец поневоле покоримся ему и тогда будем у него последние и останемся в бесчестии. Так, по-моему, чем поневоле и насильно покориться, лучше теперь, пока время, покоримся ему по доброй воле и будем у него в чести».

Голицыны согласились с мнением Басманова; о Салтыкове нечего было и заботиться: он прежде всех был склонен на это. Оставалось теперь одно: склонить или принудить войско. Зазорно казалось самим предводителям объявить о переходе; это значило подать пример измены и повод к непослушанию, разохотить ратных к смутам. Положили снестись с кромчанами, чтоб те подали начаток этому делу, а свои подготовленные окончат его. С того времени как снег растаял, с кромчанами не происходило ничего важного. Мелководная река Крома разлилась, и между обеими враждебными сторонами была топь и грязь; только в том и война состояла, что московские люди иногда постреливали на ветер да тратили по-пустому боевые запасы. То и дело что из годуновского обоза ходили перебежчики в Кромы и извещали, что у них в обозе делается; через таких перебежчиков составился уговор, чтобы в назначенный день кромчане были готовы броситься на обоз по данному знаку, и в то же время свои помогут; все — кто за Димитрия — перейдут на другой берег реки Кромы, начальников повяжут, упорных прогонят или принудят; знаком к этому будет то, что верховой подбежит к валу. День назначен был 7 мая.

В этот условленный день в четыре часа утра все кромчане стояли уже наготове. Был наскоро устроен мост через реку. Воеводы собрались у разрядного шатра. Вдруг по данному знаку с криком вырвались кромчане и бегут в обоз.

В это самое время Прокопий Ляпунов с толпою преданных ему рязанцев окружает разрядный шатер, требует присяги Димитрию и приказывает вязать воевод. Раздались крики: «Боже сохрани, Боже пособи Димитрию Ивановичу!.. За реку, за реку!» Потащили связанных воевод, и Басманова тоже; на мосту развязали ему руки. Толпы бежали к мосту. Тогда Басманов, стоя на мосту, показывал грамоту Димитрия, которую последний присылал в обоз во множестве списков; Басманов кричал громким голосом:

«Вот грамота царя и великого князя Димитрия Ивановича! Изменник Борис хотел погубить его в детстве, но Божий промысел спас его чудесным образом. Он идет теперь получать свое законное наследие. Сам Бог ему помогает! Мы признаем его теперь за истинного Димитрия царевича, законного наследника и государя Русской земли. Кто с нами соглашается, тот пусть пристает к нам, на эту сторону, соединяется с теми, что сидят в Кромах; а кто не хочет, пусть остается на другой

стороне реки и служит изменникам против своего государя».

Толпы бежали за реку; на мосту стали три или четыре священника с крестами в руках. Они принимали крестное целование на имя Димитрия Ивановича. От чрезвычайной давки подломился мост; многие попáдали в реку, иные перешли ее вброд, иные верхом переехали; были такие несчастливцы, что попали в глубокие места и утонули. Между тем раздавался несмолкаемый крик: «Многая лета царю нашему Димитрию Ивановичу! Рады служить и прямить ему!»

Назади между тем, по другой стороне речки, нашлись такие, что, присягнувши Борисовой вдове и сыну, хотели оставаться на своем целовании и убеждали других именем церкви и долга не изменять. Они поносили Димитрия, провозглашали: «Многая лета детям Бориса Федоровича!» Тогда Корела закричал: «Бейте их, да не саблями, не пулями, а батогами; бейте их да приговаривайте: вот так вам, вот так вам! Не ходите биться против нас!» Понравилось это ратным людям, особенно рязанцам. Годуновцы пустились врассыпную, а димитриевцы с хохотом гонялись за ними и били — кто плетью, кто палкою, а кто кулаком. И от этого иные ворочались и объявляли, что готовы

покориться Димитрию Ивановичу. Князь Андрей Телятевский стал при наряде и кричал: «Стойте, братцы, до последнего и не будьте изменниками». Но когда у него начали отнимать наряд, а люди передавались, он бежал из лагеря. Убежал и товарищ Басманова, Катырев-Ростовский, по имени первый воевода; он остался верен Годуновым. Были такие, которые не приставали ни на ту ни на другую сторону и кричали: «Кого на Москве царем признают, тот нам и царь!» Иные, испуганные переполохом, не разобравши, в чем дело, бежали на возах и верхом из лагеря: кто в Москву, кто спешил в свою деревню; трусы прятались, друг у друга спрашивали: что это, но не могли друг другу отвечать; в неистовстве бросались друг на друга, стрелялись и рубились, не зная, о чем идет дело, и таким образом много побили людей напрасно. Немцы упорно стали под свое знамя и не хотели переходить. Басманов послал к ним убеждение служить законному государю. Капитан Розен сначала отказал, но, когда большая часть подчиненных поколебалась, и он согласился. Только семьдесят человек из них убежали. Они-то принесли роковую весть о переходе войска. Не так был счастлив родственник царей Годуновых, Иван Годунов: он также бежал,

но его догнали, связали и решили отправить к Димитрию. Он не прочь был признать Димитрия. Его поместили в шатре, и он лежал там, а слуга отгонял около него мух[200].

Василий Голицын, один из первых советников, принявших предложение Басманова, сказал: «Я присягал Борису, моя совесть зазрит переходить по доброй воле к Димитрию Ивановичу; а вы меня свяжите и ведите как будто неволей»[201].

V. Житье Димитрия в Путивле. – Его прибытие в Тулу

Димитрий жил в Путивле с февраля, уже около двух месяцев. Там у него устроился сам собою двор: маленький Путивль сделался на некоторое время оживленною и многолюдною столицею. С разных сторон Руси туда беспрестанно прибывали охотники служить Димитрию. Многолюдство привлекло туда и торговцев; образовалось там подобие ярмарки. Вместе с этим Путивль сохранял

---

[200] Сноски: 200

Is. Mass., 69.

[201] Сноски: 201

Borsza. — Сказ, соврем. Паэрле, 27–33. — Bussovii, 30–32. — In. Petricii, 76–77. — Petreji, 172. — Маржер., 85. — De Thou. — Lubieński, 31. — Летоп. о мят., 87–90. — Grevenbruch, 22–23.

воинственный образ: каждый день опасались то нападений, то измены. На стенах были заряженные пушки: и день и ночь пушкари, чередуясь, стояли наготове с фитилями; по валу, по всему посаду и по околице ходили и ездили отряды для надзора. Димитрий деятельно работал над воинским делом, прибегал и к благочестию. Он приказал привезти из Курска чудотворную икону Божией Матери, которая славилась знамениями и исцелениями.

Духовенство обнесло ее по городской стене в торжественной процессии; множество народа следовало за ней. Каждый день после того, утром, Димитрия видели в церкви: он усердно молился пред иконою и говорил, что отдает себя и свое дело защите и покрову Пресвятой Девы Богородицы. Димитрий любил беседы, приглашал русских и поляков на обед; тут были и православные монахи и священники, и католические ксендзы. Димитрий поднимал разговоры и споры о предметах богословских и философских и укорял в невежестве своих духовных. «Когда я с Божиею помощью стану царем, — говорил он, — то заведу школы, чтоб у меня по всему государству выучились читать и писать; в Москве университет заложу, как в Кракове; буду посылать своих в

чужие земли, а к себе стану принимать умных и знающих иностранцев, чтоб их примером побудить моих русских учить своих детей всяким наукам и искусствам». Сам Димитрий был очень любознателен; не получивши основательного воспитания, он хотел дополнить этот недостаток чтением польских книг и беседами с образованными поляками, заводил разговоры о риторике, философии и истории, спрашивал о многом и сообщал собственные впечатления. Ксендзы пользовались этим с тайною целью распространения католичества. В Путивле около Димитрия неотступно находились двое иезуитов, Николай Чиржовский и Андрей Лавицкий. Они были ученее других, окружавших Димитрия, были способнее отвечать ему на разные вопросы, касавшиеся области знания, а потому легко овладели его беседою, сделались ему необходимы для его умственной жизни. В своих письмах они сообщают, что названый Димитрий, увидавши у патера Лавицкого латинскую книгу Квинтилиана, приказал себе из нее прочесть развернутое место и так увлекся любознательностью, что пожелал у иезуитов тогда же учиться риторике и философии. Определяли быть каждый день по уроку из той и другой науки. Приближенные

к Димитрию московские люди также присутствовали на этих уроках, и тем отстранялось подозрение, которое легко зарождалось по поводу его близости с иезуитами. На этих уроках щекотливые религиозные вопросы умышленно устранялись. Учители изумлялись необыкновенной памяти и остроумию названого московского царевича. Военные обстоятельства, требовавшие беспрестанного отвлечения от мирных научных занятий, побудили его прекратить эти уроки. Он отлагал их до будущего времени, когда Бог пособит ему овладеть престолом. Но мысль об основании в Москве академии и коллегий не оставляла его в разговорах и с поляками, и с русскими. Иезуиты всеми средствами старались расположить и Димитрия, и его приближенных к Римско-католической церкви[202].

Поляки устроили себе в Путивле церковь и отправляли в ней богослужение. Названый Димитрий в день Благовещения подарил в эту церковь образ Богородицы, украшенный по серебряному золоченому окладу дорогими каменьями, а ко дню Пасхи — богатый покров из персидской материи, который ксендзы употребили на покровение

[202] Сноски: 202
Barezzo Barezzi, cap. VI, IX. — Grevenbruch, 19.

гроба Христова, устраиваемого католиками в последние дни Страстной недели[203]. Московские люди приходили туда, дивились латинским обрядам, уразумевали, что это обряды также христианские, как и обряды Греческой церкви; им они понравились. В ночь Пасхи, во время обряда резурекции, католики ради торжества стреляли из пушек и для того заранее предупредили русских, чтоб они не были изумлены внезапною стрельбою[204].

Всем казалось, что промысел печется над Димитрием. Тайное поручение Борисово — извести врага — не имело успеха. Посланные Борисом монахи, вместо того чтоб сейчас подделаться и приблизиться к Димитрию, чтоб иметь возможность его убить, стали возмущать людей в Путивле, проповедовали, что называющий себя Димитрием не есть настоящий царевич, уверяли, что знают его, что жили в одном монастыре, что он беглый монах-чернокнижник, а настоящий Димитрий давно лежит в земле в Угличе. Они принесли в Путивль грамоту от патриарха, предающую проклятию расстригу и обманщика. Они

---

[203] Сноски: 203
Pierling, Rome et Demetrius. Pieces justificatives, p. 206–209.

[204] Сноски: 204
Barezzo Barezzi, cap. IX.

успели склонить на свою сторону двух приближенных претендента. Но больше не удалось им ничего. Их поймали. Один из них, уже старик, сознался: «У моего товарища, — говорил он, — есть в сапоге яд, страшный яд; если к нему прикоснуться голым телом, то тело распухнет и человек в девятый день умрет; твои приближенные согласились с ним, решили положить яд в кадило и окурить тебя этим ядом вместе с ладаном; они подкуплены Борисом и пересылали ему письма». В те времена было в обычае верить в яды, которых действие оказывается каким-нибудь необычным способом. Димитрий призвал обвиненных. То были люди, которых привели к нему прежде связанными, как обыкновенно выдавал народ своих воевод и начальников. Они были люди старые. «При ваших сединах вы решились на такое дело, — сказал Димитрий. — Коварные злодеи, так-то заплатили вы за милость и милосердие, когда я даровал вам жизнь? Бог обнаружил ваши злодеяния чрез этого монаха». Они повинились во всем. Димитрий, приняв уже правилом отстранять от себя суд и отдавать его обществу, дозволил просившим его обывателям Путивля совершить над ними суд миром и казнить. Их расстреляли из луков; двух монахов заключили в тюрьму, а

третьего, открывшего заговор, наградили[205]; иезуиты, бывшие тогда при названом Димитрии, писали, что у этого монаха под подошвою обуви вынули приготовленные к царю и к патриарху донесения, где извещалось, что они, явившись с поручением в Путивль, убедились, что престолоискатель есть истинный царевич Димитрий Иванович[206]. После Димитрий простил и тех, которые сидели в тюрьме[207].

Также удалось Димитрию рассеять и опровергнуть распущенные слухи, будто он Гришка-расстрига. Димитрий показывал перед всем народом лицо, которое называло себя Григорием Отрепьевым. Этот человек рассказывал, что он действительно был у патриарха Иова книжником, бежал из Москвы, спознался с царевичем, когда последний ходил в Киеве в монашеском виде, но что он и царевич — разные лица. Свидетельство, заявляемое беспрестанно в Путивле всенародно, как следовало ожидать, удостоверяло русских в истинности Димитрия и привлекало

---

[205] Сноски: 205
Паэрле, 27.

[206] Сноски: 206
Rome et Demetrius. — Pierling, Pieces justificatives, p. 205.

[207] Сноски: 207
Grevenbruch, 18.

к нему.

Хоть он еще не воцарился в Москве, но уже был на самом деле владельцем Северской земли и в качестве действительного князя Северского послал к польскому королю князя Ивана Андреевича Татева, бывшего черниговского воеводу, и извещал о том, что ему покорилась уже Северская земля. Вместе с ним для подтверждения истины слов претендента отправился посол от Путивля и всех городов и уездов Северской земли, как от духовных, так и от мирских людей всякого звания. Выбран был для этого Сулеша-Булгаков. Северская земля извещала польского короля, что она поклонилась и принесла подданство и послушание Димитрию Ивановичу, жаловалась на польское рыцарство, что оно оставило ее государя, просила короля Сигизмунда оказать ей помощь и спасение и не попустить на разорение неприятелям государя Димитрия Ивановича[208]. Польскому королю Сигизмунду хотя и было, конечно, весьма приятно слышать о таких успехах претендента, от которого можно было ожидать выгод и для Римско-католической церкви, и для Польши, но он не принял посольства, не допу-

[208] Сноски: 208
Bibl. Krasin. № 13. 1. 3. 383.

стил его к себе до тех пор, пока не услышал, что Бориса нет на свете и Московское государство склоняется признать государем Димитрия[209].

Немного дней спустя после прибытия из Северской земли послов Димитрия в Польшу умер Замойский, к большой радости иезуитов, поборник свободы совести и мысли, муж закона, ревнитель просвещения и народности, враг всякого пронырства и иноземных козней. Замойский долго стоял костью в горле отцам иезуитам. Антоний Поссевин, извещая тосканского герцога о его кончине, писал: «Теперь исчезнут препятствия, которые он ставил, противодействуя немцам, покровительствуя Трансильвании и мятежным уграм, подавая помощь (как я много раз удостоверился) еретическим союзам против польского короля, не говоря уже о задержках и препятствиях к распространению римско-католической веры в Московии и Ливонии»[210].

Когда Димитрию донесли о смерти Бориса, о волнении в войске, он выпроводил, как было выше сказано, Дворжицкого и Запорского, а сам дожидался со дня на день появления к нему по-

---

[209] Сноски: 209
Рукоп. И. П. Библ. Polygr. f. № 3. также Hist. Polon. f. № 33.

[210] Сноски: 210
Esame critico, 53.

слов. 14 мая старого стиля к нему явился Иван Голицын; товарищами ему были выборные от всех полков, собранных для этой посылки во имя разных земель и уездов русских. Иван Голицын, кланяясь низко, говорил:

«Государь, царь и великий князь Димитрий Иванович! Прислало нас войско из-под Кром, бьет тебе челом и обещается тебе служить; молят твоего, государь, милосердия и прощения за вину к нему, что мы по неведению стояли против тебя, прироженого своего государя. Нас Борис ослепил и обманул: мы прежде его признали царем и по смерти хотели присягать его детям, стоять против Гришки Отрепьева; но теперь нам дали другой образец присяги, где не поминалось о Гришке, а чтоб мы стояли против тебя, прироженого нашего государя, царя Димитрия Ивановича, и не признавали тебя за государя своего; так мы уразумели, убереглись и однолично все положили, чтоб ты, наш государь прироженый, шел и воцарился на столице блаженной памяти отцов твоих. Ныне, вместо присяги Борисовым детям, мы учиняем присягу тебе, а бояр, что держатся Бориса, перевязали; а в Москву послали мы знатных людей объявить, что мы все признали тебя наследным и законным своим государем, чтоб и

в Москве, подобно нам, принесли тебе присягу на послушание»[211].

Димитрий принял их чрезвычайно любезно, обнадеживал милостию, вполне извинял их за то, что они до сих пор были его врагами, и вообще обворожил ласковым обращением.

Ивана Годунова, как родственника Борисова, посадили в тюрьму в Путивле.

Вслед за этими депутатами приехал в Путивль Басманов. Выехав из обоза, этот главнокомандующий встретился с Запорским и от него узнал, что грамота о прибытии польского войска была фальшивая и написана самим Запорским. Басманову стало стыдно своего легковерия, хотя он не раскаивался более, что передался новому царю. Когда он явился к Димитрию и принес повинную, Димитрий принял его дружелюбно; оба сразу узнали, поняли друг друга. Димитрий стал дорожить им, потому что видел в нем человека способнее и умнее других. Привязался к Димитрию и Басманов, когда увидел, что Димитрий умеет ценить преданность, дружбу и ум. Басманов, важнейший до сих пор враг Димитрию на пути к московской короне, теперь сделался

---

[211] Сноски: 211
Dz. Pan. Zyg., III, 333, прилож.

его первым советником. Димитрий отправил Басманова снова к войску приводить его к присяге. Вслед за ним и сам он отправился из Путивля, 24 мая[212].

По дороге спешили явиться к нему навстречу бояре: Шереметев, Василий Голицын, Михайло Салтыков и другие; с ними приходило несколько сот человек бить челом новому государю. «Все войско, — говорили они, — и вся земля Российская покоряются тебе». Не доезжая до Кром, Димитрий остановился, не поехал в обоз, а послал приказание, чтоб все те, у которых есть поместья около Москвы, ехали домой на время до указу; другим не приказано идти к столице, а велено находиться в сборе до тех пор, пока Москва не покорится, дабы в случае, когда придется подчинять ее силою, пресечь подвоз съестных припасов в столицу; третьей части велено было идти к Орлу и там дожидаться самого царя. Он задержался несколько дней близ Кром, пока войско разошлось. Поляки предостерегали его не слишком вверяться и не отдаваться в руки огромного войска, которое еще так недавно шло против него. За войском и он двинулся к Орлу, и, когда подъезжал к этому

[212] Сноски: 212
Diar. Wisloucha.

городу, воевода Федор Иванович Шереметев, духовенство, народ и часть войска, тысяч до восьми или более того, встречали его с хлебом-солью, с крестами, образами, с колокольным звоном и с торжественными восклицаниями: «Буди, буди здрав, царь Димитрий Иванович!» Поляки и здесь нашептывали ему — не доверяться вполне, и постоянно держали около него почетную стражу человек во сто. Эта мера была уже некстати, могла только раздражать русских, — и в самом деле, поляки не в силах были защитить претендента, если б русские не захотели его иметь царем.

Димитрий пробыл в Орле несколько дней и назначал над войском команду по полкам[213]. Из Орла Димитрий отправился в Тулу в сопровождении русского войска и польского отряда. В каждом людском поселении встречали его с хлебом-солью, с колокольным звоном; выходили священники с хоругвями и образами, из окрестных городов и сёл спешили на большую дорогу встречать царя, посмотреть на него, полюбоваться им; все ликовало. И были то для Димитрия

[213] Сноски: 213

В большом — Василия Васильевича Голицына и князя Бориса Лыкова; в правой руке — князя Ивана Семеновича Куракина и князя Луки Осиповича Щербатова; в передовом — Петра Федоровича Басманова и князя Алексея Долгорукого. О левой руке и сторожевом нет известий: верно, оставались прежние.

минуты самые счастливые, какие не могли повториться более в жизни при всех возможных успехах. На Оке явились к нему выборные от всей Рязанской земли, били челом и уверяли в готовности отдать жизнь и достояние за государя[214]. Так он достиг Тулы, а вперед себя послал в Москву Гаврила Пушкина и Наума Плещеева с возбудительной грамотою к москвичам.

VI. Восстание Москвы за Димитрия. – Гибель Годуновых

В Москве со времени отправления Басманова народ с каждым днем становился смелее и смелее, с каждым днем власть Годуновых колебалась. Народ единогласно требовал возвращения сосланных Борисом и, главное, матери Димитрия. Требование было сильно справедливое, и, конечно, Годуновы были бы спасены, если б царица Марфа объявила всенародно, что она знает, что сына ее нет на свете. Но царица Марья Григорьевна хорошо знала, что Марфа ни за что так не скажет, и нельзя было освободить ее. Возвратить всех опальных также значило бы умножить

[214] Сноски: 214
Petricii, 3.

число сильных врагов: сделали уступку народу и воротили из ссылки князя Ивана Михайловича Воротынского. По возвращении из похода Мстиславского и Шуйского чернь возмутилась, лезла уже в Кремль. Тогда вышел Василий Иванович Шуйский и говорил народу речь: «Сами видите ежедневно, какую кару посылает карающая десница Господня за наши грехи. А вы все коснеете во зле и замышляете измену на разорение земле нашей, поругание святой нашей веры и осквернение святыни московской. Я вам целую крест на том, что Димитрия царевича нет на свете, я сам своими руками положил его тело во гроб в Угличе; и тот, кто называется этим именем, — расстрига, беглый монах, наученный сатаною, осужденный на казнь за свои мерзкие дела. Собирайтесь вы лучше Богу молиться, чтоб отвратил от нас гнев Свой, и стойте твердо на истине, — так и все поправится». Толпа расходилась повеся головы, потому что Шуйского многие уважали. Но ропот не переставал. Снова раздались требования, чтоб в Москву привезли мать Димитрия: пусть она порешит дело.

Около половины мая стали появляться в Москве бежавшие из-под Кром ратные люди. Большая часть из них не могла ничего сказать, потому что

ничего не знала. Когда их спрашивали знатные люди, они грубо отвечали: «Поезжайте сами и узнайте». Наконец прибыли Телятевский и Катырев-Ростовский, и все разъяснилось.

Весть о переходе Басманова, бояр и всего войска на сторону Димитрия была роковою для Годуновых: оставалось им либо бежать, либо отречься от престола и признать добровольно Димитрия перед всеми, либо же попытаться собрать последние силы, идти против врага и погибать с честью. Годуновы не сделали ничего подобного: они сидели в кремлевских царских палатах и противодействовали общему смятению только тем, что, по изветам доносчиков, которых подкупали деньгами, приказывали ловить и мучить распространителей Димитриевых грамот да тех, которые чересчур смелым сочувствием к Димитрию навлекали их гнев. Это значило — не сходить ни на шаг с дороги Борисовой политики. Оказалось, что сын не мог идти далее отца. Говорят, что Димитрий посылал к Федору письмо с убеждением мирно оставить престол, как и прежде к отцу, но молодой Годунов приказал замучить посланца и не отвечал на предложение[215].

---

[215] Сноски: 215
Smith, 33.

Когда в народе стало известно, что войско передалось Димитрию, в Москве сделалась тишина. Иностранцы, видевшие ясно, как перед тем с каждым днем возрастало народное волнение, удивлялись этому и боялись. Действительно, это была та самая тишина, как в природе бывает перед сильною грозою. Тридцатого мая сделалась было тревога: какие-то два молодца увидали за Серпуховскими воротами большую пыль и закричали, что идет множество возов и конницы. Весть разнеслась с быстротою по столице; все подумали, что это идет Димитрий: началась беготня, толкотня. Москвичи выбегали из домов: все спешили — не запасаться оружием, чтоб отражать неприятеля, а покупать хлеб-соль, чтоб встречать законного государя. Царица и Федор пришли в ужас; бояре вышли из Кремля спрашивать, что это значит; народ не отвечал, и ясно было, чего ждут и как готовится Москва встречать врага, если б он пришел. Но никто не приходил. Обман открылся, народ стал расходиться. Многие толпою еще стояли в молчании на площади. Боярин стал возвещать им нравоучение, хвалил царя Федора Борисовича и приказывал вперед хватать виновников народного волнения. Два молодца, наделавшие кутерьмы, казнены. Народ молчал.

На другой день, 31 мая, по приказанию правительства стали взводить на стены пушки; но заметно было, что ратные люди работали неохотно, а толпа глядела на это с кривляньями и насмешками. Стены эти укрепляли затем, что услышали, будто атаман Корела идет к Москве и находится от нее уже верст за сорок. Тогда благоразумные люди спешили упрятывать свои драгоценности и деньги по монастырям: боялись, что у черни что-то недоброе затевается: хочет она поживиться на счет богатых. Возмущение московской черни казалось пострашнее Димитрия.

1 июня привезли в Москву Димитриеву грамоту посланные им дворяне. Они не осмелились прямо въехать в столицу и остановились в подмосковной слободе, в Красном селе. Там ударили в колокол. Сбежалась толпа. Стали читать Димитриеву грамоту. Раздались восклицания в честь Димитрия. «В город, в город!» — закричали голоса. Плещеева и Пушкина подхватили и повезли в Москву прямо на Красную площадь. Ударили в колокола. Поставили посланцев на Лобном месте. Народ бежал на Красную площадь со всех сторон. Все пространство около Лобного места, называемое Пожаром, было занято народом около Троицы на рву (Василия Блаженного), вдоль Кремлев-

ской стены от Фроловских до Никольских ворот, на площади, в рядах по лавкам, — везде была такая давка, что невозможно было протесниться; вышедшие из Кремля бояре, думные дьяки, стрельцы ничего не могли сделать. Они громко говорили: «Что это за сборище, за бунт? Разве нельзя было подать челобитную такому доброму, ласковому, мягкосердому государю? Самовольно собираться не следует! Берите воровских посланцев и ведите их в Кремль! Там пусть они покажут то, с чем приехали!»[216]

Народ отвечал неистовыми криками, не давал посланцев и приказывал им читать громко грамоту. Посланец с Лобного места прочитал грамоту от имени Димитрия. Грамота обращена была к знатнейшим боярам: Мстиславскому, Шуйским, Василию и Димитрию, и ко всем боярам, окольничим, стольникам, стряпчим, жильцам, приказным, дьякам, дворянам, детям боярским, гостям, торговым людям, к лучшим и середним и ко всяким черным людям. В грамоте говорилось:

«Вы целовали крест блаженной памяти отцу нашему царю и великому князю Ивану Васильевичу и нам, его детям, на том, чтоб вам не хотеть иного

---

[216] Сноски: 216
Smith, 34.

государя на Московское государство, кроме нашего рода. И когда судом Божиим не стало нашего родителя и стал царем брат наш Федор Иванович, тогда изменники послали нас в Углич и делали нам такие утеснения, каких и подданным делать негодно, и присылали много раз воров, чтоб нас испортить и убить; но милосердый Бог укрыл нас от злодейских умыслов и сохранил в судьбах своих до возрастных лет. А вам всем изменники говорили, будто нас в государстве не стало и будто нас похоронили в Угличе в соборной церкви Всемилостивого Спаса. Когда судом Божиим не стало брата нашего царя Федора Ивановича, вы, не зная про нас, прироженого, государя своего, целовали крест изменнику нашему Борису Годунову, не ведая его злокозненного нрава и боясь его, потому что он уже при брате нашем Федоре Ивановиче владел всем государством нашим и всех жаловал и казнил как хотел. Вы думали, что мы убиты изменниками, а когда разошелся слух по всему государству Российскому, что с Божией милости мы, великий государь, идем на православный престол родителей наших, великих государей царей Российских, мы хотели доступать нашего государства без крови; но вы, бояре, воеводы и всякие служилые люди, по неведению

стояли против нас, великого государя, не смели даже говорить о нас. Я, государь христианский, по своему государскому милосердому обычаю, не держу на вас за то гнева, ибо вы так учинили по неведению и от страха смерти себе».

Далее грамота извещала, что Димитрий идет с большим войском, что города Российского государства ему били челом, и в том числе отдаленные поволжские города ему покорились, что из Астрахани ведут воевод и уже они на дороге в Воронеже, а князья Ногайские изъявляют готовность помогать ему, но он не принял их помощи и велел им кочевать близ Царева-города, а не идти в Русь, потому что он не хочет кровопролития и междоусобия. Чтоб раздражить народ против Годуновых, Димитрий припоминал их несправедливости и жестокости:

«Наши изменники, Марья Борисова жена Годунова, и сын ее Федор, не жалеют о нашей земле, и жалеть им нечего, потому что они чужим владели; оттого они разорили отчину нашу Северскую землю и православных христиан побили без вины; мы, однако, не ставим и этого в вину нашим боярам и служилым людям, потому что они так поступали по неведению и боясь от изменников смертной казни. Припомните, какое утеснение

от изменника нашего Бориса Годунова было вам, боярам и воеводам, и всем родовитым людям какое поношение, какое бесчестье, и от инородного терпеть того было невозможно! А вам, дворяне и дети боярские, какие были разорения, ссылки и нетерпимые муки, каких и пленным делать негодно! А вам, гостям и торговым людям, не было вольностей в торговле вашей и в пошлинах: треть имущества вашего отбиралась, а иногда чуть не все… И тем еще вы не могли укротить злокозненного нрава его! А вы еще до сих пор не опомнитесь и не хотите знать нас, своего прироженого, государя, и праведного суда Божия не помните, и хотите проливать кровь неповинных православных христиан. Этого вам делать не годится; вот, даже иноземцы скорбят и соболезнуют о вашем разорении и, узнавши нас, христианского, кроткого милосердого государя, служат нам и не щадят крови своей за нас. Мы, христианский государь, жалея вас, пишем вам, чтоб вы, памятуя свое крестное целование царю Ивану Васильевичу и детям его, побили нам челом и прислали бы к нашему царскому величеству митрополита и архиепископов, и бояр, и окольничих, дворян больших, и дьяков думных, и детей боярских, и гостей, и лучших лю-

дей; а мы вас пожалуем: боярам учиним честь и повышение и пожалуем прежними их отчинами, да еще сделаем прибавку и будем держать в чести; дворян и приказных людей станем держать в нашей царской милости; гостям и торговым людям дадим льготы и облегчение в пошлинах и податях; и все православное христианство учиним в покое, тишине и благоденственном житии. А не добьете челом нашему царскому величеству и не пошлете просить милости, то дадите ответ в день праведного суда, и не избыть вам от Божия суда и от нашей царской руки»[217].

По прочтении этой грамоты поднялись смятение и споры, так что ничего нельзя было со стороны разобрать. Бояре, возвышая голос, старались успокоить толпу. Их голоса не слушали. Одни кричали: «Буди здрав, царь Димитрий Иванович!» Другие упорно стояли за Годуновых, еще не доверяли: точно ли тот Димитрий, кто идет к ним под этим именем. Наконец из толпы закричали голоса: «Шуйского! Шуйского! Он разыскивал, когда царевича не стало; пусть скажет теперь по правде, точно ли царевича похоронили в Угличе?» Шуйского взвели на Лобное место; громада

[217] Сноски: 217
А. Э. 1, 91.

замолчала и с напряженным вниманием ждала, чем разрешит ее недоумение этот боярин. Шуйский, давний враг Годуновых, сказал: «Борис послал убить царевича, но царевича спасли, а вместо него погребен попов сын»[218]. После русские толковали правдоподобно, что Шуйский рассчитал, что его уверения в пользу Годунова не удержат народа, и оттого сказал народу такое слово: все равно, думал он, народ в неистовстве сведет Годуновых, пошлет за матерью; она признает претендента сыном, и ей, конечно, поверят более, чем ему. Может быть, при том Шуйский и для своих видов воспользовался случаем погубить Годуновых, чтобы потом проложить себе дорогу к престолу. Сказанного Шуйским было довольно. «Теперь, — кричала громада, — нечего долго думать: все узнали; значит, настоящий Димитрий жив, и теперь — в Туле! Принесем ему повинную, чтоб он простил нас, по нашему неведению».

«Долой Годуновых! — заревела неистово народная громада. — Долой их, б..... детей! Всех их друзей и сторонников искоренить!

Бейте, рубите их! Не станем жалеть их, когда

---

[218] Сноски: 218
Petreji, 173. — Tragoed. Mosc. II. — The Russ. Impost. 71.

Борис не жалел законного наследника и хотел его извести в детских летах. Господь нам теперь свет показал; мы доселева во тьме сидели. Засветила нам теперь звезда ясная, утренняя — наш Димитрий Иванович. Буди здрав, Димитрий Иванович!»

Говорят, что некоторые советовали Федору выйти на площадь и обличить неправду писем Димитрия; но он не решился[219]. Толпа хлынула без удержу в Кремль во дворец. Уже некому было защищать семью Бориса. Караул держали стрельцы; они увидали, что не совладать им с народом, и отступились. Федор бросился в тронную (вероятно, в Грановитую палату) и сел на престоле. Он думал, что толпа не посмеет наложить на него рук, как увидит его в царственном величии. Мать и дочь стояли с образами в руках, словно со щитами против народной ярости[220].

Но для народа Федор Борисович был уже изменник Федька, а не царь. Его стащили с престола. Мать-царица, потерявши все царское величие, начала метаться перед народом, сорвала дорогое

---

[219] Сноски: 219
Smith, 39.

[220] Сноски: 220
Lub. 32.

жемчужное ожерелье с шеи, бросила в толпу[221], плакала, униженно просила не предавать смерти детей ее. Народ и не хотел убивать их. Вдовуцарицу, молодого Федора и Ксению перевезли на водовозных клячах в прежний Борисов дом, где жил Борис, когда еще не был царем. К дому приставили стражу. Весь царский дворец опустошили, все в нем ломали, грабили; говорили, что Борис осквернил его. Другие толпы напали на дома свойственников и клевретов покойного тирана. Досталось всем носящим прозвище Годуновых; постигла одинакая участь Сабуровых и Вельяминовых: дворы опустошили, их имущество разнесли, их дома разломали, челядь разогнали, иных вдобавок поколотили и, наконец, заковали и отдали за-приставы. Тогда раздражило громаду сильно то, что во дворце отыскали двоих посланцев от Димитрия; они были иссечены, испечены: никто не знал прежде, что их мучили тайно. «Вот, — кричал народ, — и всем то же было бы! Вот что делают Годуновы! вот какое их царство!»[222] Был тогда с народом Богдан Бельский; его только что освободил из

---

[221] Сноски: 221
Smith, 37. — Milton, 56.

[222] Сноски: 222
Smith, 36. — Хроногр. Арх. Ком.

ссылки Федор Борисович. Этот боярин получил тогда в народе большую честь и силу, первое за то, что его Борис гнал, а второе за то, что был пестуном Димитрия по назначению царя Ивана Васильевича. Народ кричал, чтоб он управлял царским дворцом и Кремлем, пока прибудет царь. Между тем, покончивши с Годуновыми, толпа хотела разгромить царские погреба и на радостях накатиться. Богдан Бельский остановил их и говорил: «Так делать не годится, — теперь мы все разопьем, а приедет царь Димитрий Иванович, тогда к столу ничего не будет: чем же царя угощать будем? А вы ступайте в погреба немецких докторов, Борисовых любимых иноземцев: они богаты и нажились при Борисе, были у него советниками и наушниками назло православному народу. Выпейте их напитки и все добро их себе возьмите». Народ бросился на дома немецких докторов: у них в погребах стояли бочки многолетних медов и вин, — все в минуту было выпито. Разнесли их имущества; бедные немцы так много лет разживались в чужой стороне, теперь вмиг лишились всего и стали нищими. Бельский не любил немцев, мстил докторам особенно за то, что один доктор по приказанию Бориса когда-то выщипал ему бороду. Дали тогда трепку всем,

кого только могли обвинить в прежней приверженности к Годуновым. Толпы бросались на их дома, взламывали замки, забирали платье, деньги, утварь, выводили лошадей и скот, а когда доходили до погребов — тут было раздолье: поставят бочку дном вверх, разобьют дно и черпают сапогами, котами, шапками и пьют, пока без чувств не попадают; и так в этот день до ста человек лишились жизни[223].

Душ не губили, зато сильно грабили без всякой пощады, снимали с осужденных народною ненавистью даже рубахи, и многие видели тогда, — говорит очевидец, — людей, адамовым способом прикрывавших свою наготу листьями. Чернь, долго и много терпевшая, долго униженная, радовалась этому дню, чтоб потешиться над знатными и богатыми, отплатить им за прежнее унижение. Потерпели тогда и такие, что вовсе не были сторонниками Годуновых, за то единственно, что были богаты; и всеобщий грабеж и пьянство продолжались до ночи, когда все заснуло мертвецки[224].

Гаврила Пушкин и Плещеев, смотревшие над

---

[223] Сноски: 223
Smith, 36.

[224] Сноски: 224
Smith, 37. — Is. Mass.

этим надо всем, отправили с известием к Димитрию в Тулу сеунча (вестовщика). Поехали к Димитрию выборные от Москвы князь Иван Михайлович Воротынский и Андрей Андреевич Телятевский; они повезли ото всей Москвы повинную грамоту[225], где москвичи просили прощения, приглашали нового царя на престол, признавали себя верными подданными его и извещали, что Годуновых детей более нет на престоле: и они, и все их свойственники и друзья отданы за-приставы и дожидаются воли царской над собою. Грамота была написана от лица патриарха Иова, митрополитов, архиепископов, епископов и всего Освященного собора, бояр, окольничих, дворян, стольников, стряпчих, жильцов, приказных людей, дворян московских, детей боярских, гостей и торговых всяких людей всего Российского государства[226]. Невозможно теперь решить, до какой степени в самом деле участвовали все сословия, поименованные в призвании нового царя, и равным образом патриарх

[225] Сноски: 225
Лет. о мят., 91. — Ник. лет., 68.

[226] Сноски: 226
Собр. гос. гр., II, 200.

Иов[227].

Патриарх оставался на своем престоле несколько дней по свержении Годуновых; если бы он не хотел признавать Димитрия царем, то сам бы удалился по свержении царя. Но этого не было. Он священнодействовал и не оставил своего сана; не видно также, чтоб он заявил тогда что-нибудь против Димитрия. Это обстоятельство невольно заставляет подозревать, не поклонился ли новому царю, наравне с другими, этот архипастырь, всегда уважавший силу и успех, думая: авось ли не удастся под сению его оставаться в покойном и благоденственном житии, как и при Борисе?

Находясь в Туле, Димитрий занимался государственными делами как русский царь: приказал рассылать грамоты во все города и земли Российской земли о своем пришествии, послал форму присяги и сносился с иноземными державами. Он узнал, что из Москвы уехал английский посол Смит с письмами Бориса. Он приказал догнать и отправить его с письмами от своего имени, где

[227] Сноски: 227

Те, которых звание становило наравне со многими другими одинакового звания, могли против собственной воли попасться в число без означения своего имени и считаться признавшими новый порядок, потому что сословие их в большинстве членов признало его; но трудно, кажется, чтоб написали имя патриарха, лица единственного во всей России, если он этого не желал.

извещал, что теперь в Московском государстве новый царь, желает пребывать с Англией в дружелюбных отношениях и, как только вступит в свою прародительскую столицу, тотчас пошлет в Лондон послов, а английской компании даст такие выгоды и привилегии, какими она не пользовалась еще до сих пор[228].

Он просил агента остаться в Москве до его приезда[229]. Среди этих занятий приехали присланные в звании выборных от Москвы с повинною. За ними прибыли добровольно некоторые бояре — ударить челом новому государю. В числе бояр были все три брата Шуйские, Федор Иванович Мстиславский, главные представители тогдашнего боярства.

В то же самое время, когда бояре кланялись и приносили повинную Димитрию, явилась к нему толпа донских казаков: ее вел атаман Смага Чертенский с товарищами. Димитрий любил донских казаков; недавно его поразила верность и храбрость Корелы в Кромах. Он принял их с явными знаками предпочтения боярам и допустил их к руке прежде, чем бояр. Таким образом, он

---

[228] Сноски: 228
Карамз., примеч. 353.

[229] Сноски: 229
Smith, 42.

задевал родовую гордость и высокомерие последних. Если, с одной стороны, от этой смелости и могла зашевелиться в сердцах бояр гордость, то, с другой, это убеждало многих в том, что новый царь есть истинный Димитрий; плут и обманщик не решился бы так поступать; до этой смелости мог дойти только тот, кто сильно уверен в своих правах и до того надеется на свою правду, что ему нет нужды искать расположения сильных: он считает себя всех сильнее по праву и надеется, что это право охраняет всемогущий Бог. Димитрий обошелся на первый раз с боярами сурово и укорял, что они так поздно признали законного наследника престола, когда казаки и простой народ предупредили их в этом и заранее отторглись от крамольников.

Люди московской знати ехали из столицы одни за другими, били челом царю и произносили присягу в соборной церкви. К присяге приводил их рязанский архиепископ Игнатий. Родом он был грек; был он в отечестве архиепископом на острове Кипре, приехал в Россию при Федоре; Борис покровительствовал изгнанным восточным духовным; он взял под свою опеку Игнатия, и вскоре Игнатий назначен в Рязань архиепископом. Теперь, когда по выходе Димитрия из Орла ему

присягнула вся Рязанская земля, этот архипастырь первый из своих собратий архиереев явился к новому царю, чтоб заслужить его внимание и расположение; Димитрий полюбил его. Иова нельзя было держать на патриаршестве, хотя бы он, уступая обстоятельствам, и покорился; нельзя было доверяться старому Борисову приверженцу и пособнику, который знал о злодеяниях Бориса, покрывал убийство Димитрия и недавно еще уверял православный народ, что идущий на него не настоящий Димитрий, а самозванец. Димитрий решил заменить его Игнатием; этот архипастырь во многом сходился с царем: был он нрава веселого, любитель прекрасного пола, снисходителен к себе и другим, не суровый, не понурый аскет, и притом разделял с Димитрием его веротерпимость и расположение к Западу.

Димитрия беспокоило, что Годуновы находились в Москве. Федор был уже наречен царем, Федору дана была присяга; нельзя было поручиться, что нет более сторонников Годуновых или способных назваться их сторонниками для своих видов; при всяком неудовольствии на нового царя могло явиться покушение поднять их знамя. Прежде чем Димитрий решился идти в Москву, он послал вперед князя Василья Васильевича

Голицына, князя Василья Рубца-Мосальского, бывшего воеводою в Путивле, и дьяка Сутупова; он приказал устранить его опасных врагов. Патриарха Иова следовало свести; свойственников Годуновых развезти по городам в ссылку, а царственных особ — вдову Бориса и сына — убить. Так рассказывают современники[230]. Некоторые говорят прямо, что Димитрий положительно приказал убить мать и сына. Но вероятнее в этом случае известие хроники Буссова, по которой Димитрий дал свое приказание в неопределенных словах: «Я не могу приехать в столицу прежде, чем мои враги не будут оттуда удалены. Вы уже большую часть их выпроводили, — нужно, чтоб Федора и матери его тоже не было; тогда я приеду и буду вашим милосердным государем»[231].

Неясных выражений было достаточно. Приехали посланные в Москву и прежде всего объявили патриарху, что он лишается своего сана. Московское государство давно уже привыкло видеть, как светская власть самовольно распоряжалась саном первопрестольника Русской церкви. Патриарх пошел в церковь, облачился

---

[230] Сноски: 230
Ник. 9.

[231] Сноски: 231
Лет. о мят., 92. — Врем. XVI, 29. — Petr., 173. — Buss., 34.

в архиерейские одежды в присутствии толпы народа, снял с себя панагию, положил пред образом Богородицы Владимирской и сказал: «О всемилостивейшая Пречистая Богородица! Эта панагия и святительский сан возложены на меня, недостойного, в Твоем храме, у честного Твоего чудотворного образа. Я исправлял слово Сына Твоего Христа, Бога нашего, 19 лет; православная христианская вера нерушима была, а ныне грех ради наших видим, что на православную веру находит вера еретика… Мы, грешные, молим: умоли, Пречистая, Сына Твоего Христа Бога, утверди сию православную христианскую веру непоколебимо!» Он положил панагию у образа; его разоблачили, одели в черное платье. Уже стояла у церкви тележка. На эту тележку посадили и повезли патриарха как простого монаха в Старицкий Богородицкий монастырь, по его обещанию[232]. Был благовидный предлог с ним так поступить: еще в последние дни царствования Бориса Иов написал прощальную грамоту, где со смирением, будто бы обремененный недугами, отрекался от власти и блеска патриаршеского сана и изъявлял желание пребывать в уединении

[232] Сноски: 232
Buss., 34. — Ник. лет., 64.

и смирении[233].

Почти всех свойственников Годуновых — Сабуровых, Вельяминовых — развезли из Москвы в понизовые и сибирские города в заточение: их везли по Москве на тележках со всенародным унижением; они были в одних рубашках, все закованы, не дали им даже полстей, хотели, чтоб все видели их нищету и падение в противоположность прежнему величию и богатствам[234]. Было таким образом отправлено тогда в разные стороны семьдесят четыре семейства[235].

Все это были люди, служившие тиранству Бориса и потому ненавистные народу. Вместо них должно было воротить гораздо более томившихся в тюрьмах и пустынях по их доносам. Хуже всех досталось Семену Годунову; его отправили в Переяславль и посадили в подземную тюрьму, откуда вывели одного невинного страдальца, который протомился там более шести лет. Семен Годунов умер голодною смертью: ему подали

---

[233] Сноски: 233
Собр. гос. грам., II, 1.

[234] Сноски: 234
Хроногр... 174.

[235] Сноски: 235
Bar. Bar., 16. — Grevenbr., 27.

камень, когда он просил есть[236].

Наконец, разделавшись с клевретами Бориса, 10 июня Василий Голицын и Рубец-Мосальский поручили дворянину Михайле Молчанову и Шереметинову разделаться с семейством Бориса, которое сидело под стражею в собственном доме. Молчанов и Шереметинов взяли с собою троих дюжих стрельцов и вошли в дом. Семья Борисова десять дней находилась в страхе, не зная, что с ней станется. Мать думала и так, и иначе; то воображала она, что новый царь не оставит их живыми, будет бояться, чтоб именем Федора Борисовича не сделалось против него мятежа; то казалось ей, что он покажет над ними русскому народу свое великодушие. Мучения неизвестности и сомнения разрешились для нее в десятый день утром. Вошли посланные, взяли царицу и отвели в одну комнату, а Федора в другую; Ксению оставили. Царице закинули на шею веревку, затянули и удавили без труда. Потом пошли к Федору. Молодой Годунов догадался, что с ним будут делать, и хоть был безоружен, но стал защищаться руками: он был очень силен от природы, дал в зубы одному, другому, так что те повалились.

---

[236] Сноски: 236
Is. Mass., 75.

Тогда один из них схватил Федора за детородные части и начал давить. Федор лишился силы и от невыносимой боли кричал: «Бога ради, докончите меня скорее!» Тогда другой товарищ взял дубину и хватил его с размаху по плечам и груди, а потом накинули ему на шею петлю и удавили. Сестру бывшего царя, девицу Ксению, не убили. От ужаса она лишилась чувств, и насилу молодая жизнь перемогла в ней потрясение. Она осталась в живых, на безотрадное злополучие…

Голицын с Мосальским объявили народу, что Борисова вдова и сын отравили себя ядом. Тела их выставлены были народу напоказ. Ненавистны они были московским людям, особенно царица: москвичи знали, что это была злая женщина, поджигавшая своего мужа на всякие злодейства. Но некоторые тогда же заметили на них явные признаки удавления[237]. Тем не менее о смерти их у современников осталось двоякое мнение: одни говорили, что они умерщвлены[238], другие считали Годуновых самоубийцами; именно говорили, чти вдова Борисова томилась от стыда и унижения, боялась чего-то ужасного и не снесла

---

[237] Сноски: 237
Petricii, 175.

[238] Сноски: 238
Врем. XVI, 29. — Ник. лет., 69. — Лет. о мят. — Petr., 179. — Buss., 39.

пытки каждоминутного ожидания: находясь в своем доме под стражею, она приготовила отраву, выпила сама и дала детям. Ксения не успела еще выпить, как увидала, что матери и брату дурно; они упали, и Ксения не стала пить[239]. Это распустили русские, передавали и иностранцам, и даже рассказывали, будто Федор писал Димитрию перед смертью письмо. «Пусть лучше, — будто бы сказано было в его письме, — погибнет один невинный, чем много невинных на войне; когда не станет нас, твоих соперников, у тебя друзей будет больше и ты больше будешь любим. Будь уверен, что мы, наша дорогая мать и милая сестра, для тебя пьем чашу смерти; будь царем, с твоим потомством; ты имеешь право; будь правосуден ко врагам, любимым подданными, милосерд к бедным, будь всегда счастлив». Говорили, что Димитрий, получив это письмо, разливался слезами[240].

Сам Димитрий повторял ту же сказку о самоубийстве Годуновых в письме, которое послал к

---

[239] Сноски: 239
Grevenbrach, 20. — Паэрле, 33.

[240] Сноски: 240
Smith, 40.

Мнишеку по своем прибытии в Москву[241].

Девицу Ксению Борисовну, по одним известиям[242], тотчас же постригли в монастыре во Владимире под именем инокини Ольги; по другим — она оставалась в Москве для временного удовольствия и забавы новому молодому царю; некоторые говорят, что до приезда царя содержалась она в Девичьем монастыре[243], а другие — что в доме Рубца-Мосальского[244]. Какая бы судьба ни постигла эту девицу после смерти матери и брата, без сомнения, она была ужасна. По описанию современников, дочь Бориса была редкой красоты, тип великорусской красной девицы — белолица, румяна, полнотела, росту среднего, с черными глазами, с густыми сходящимися вместе черными бровями; длинные волосы лежали по плечам, свиваясь в трубы; у нее был превосходный голос, пела она духовные песни и была изучена книжному писанию; но более всего

---

[241] Сноски: 241
Библ. Крас. Рук. B. I, 3. List Dymitra do Mniszka od 8 Lipca.

[242] Сноски: 242
Ник. лет, 70.

[243] Сноски: 243
Bussow, 26.

[244] Сноски: 244
Мороз, лет. Карамз., 348.

блистала она красотою, когда плакала; а ее слезы видал всякий, кто видал ее[245].

В заключение вынули из Архангельского собора гроб Бориса: похититель недостоин был лежать между останками царей. Его зарыли в убогом монастыре Варсонофиевском за Неглинною, между Сретенкою и Рождественкой. Там похоронили вместе с ним в особых гробах и его жену, и сына. Не было над ними торжественных обрядов; похоронили их как самоубийц, ибо народу показывали вид, будто они сами наложили на себя руки[246].

Тогда вдруг распространился слух сначала по Москве, а потом и по всему государству, будто Борис жив, будто он велел похоронить вместо себя металлическое изображение ангела, сделанное иноземными художниками, а сам укрывается: везде верили этому и в некоторых местах искали и ловили его; если этот слух не произвел радости, то, конечно, потому, что никто не пожелал бы тогда возвращения бывшего царя.

Так кончился последний акт драмы, которую разыгрывал Борис долгое время, с самого воца-

---

[245] Сноски: 245
Хронограф, хранящ. в Арх. Ком.

[246] Сноски: 246
Ник., 70. — Petr., 137. — Smith, 40.

рения Федора Ивановича, с целью возвысить род свой и доставить своему потомству славу, могущество и власть над Московским государством; много совершил он коварств и злодеяний, много и долго лицемерил, трудился, хитрил, многим жертвовал. Развязка совершилась 10 июня 1605 года. И современная философия разразилась таким финалом на последней странице этой драмы: «Смотрите, друзья, какова бывает кончина творящих беззакония! Какою мерою они другим мерили, так и им возмерилось; ту же чашу, которую для других наполняют, и самим приходится испивать. Он алкал суетных богатств и высоких престолов и не страшился ни самовольного крестного целования, ни клятвопреступления. И вот плоды дел его! Где теперь слава высокоумия его? Где супруга и любимые дети? Где его златоверхие чертоги? Где пышные трапезы и упитанные тельцы? Где предстоящие пред ним рабы и рабыни? Где многоценные одежды и обувь? Где царская утварь? Кто мог жену и детей его изъять из рук палача, когда они обращали очи свои туда и сюда и нигде не находили себе защитника, чувствовали свою последнюю нищету и погибли лютою

смертью — удавлением?..»[247]

[247] Сноски: 247
Врем. XVI, 29.

Глава вторая
I. Прибытие Димитрия в Москву. – Встреча за городом и торжественный въезд. – Димитрий в Кремле и народные о нем толки

Дав приказание, чтоб в Москве не было у него врагов, Димитрий выехал из Тулы и прибыл в Серпухов. Он ехал медленно, отовсюду стекался к нему народ всякого звания и состояния; он останавливался, говорил с народом, расспрашивал подробно о его житье-бытье, обещал льготы. Он понимал, что в Московском государстве новый царь должен показаться милостивым и дать народу надежду, что при новом государе будет лучше, чем при прежнем было. В Серпухове он также остановился на короткое время. Привезли из Москвы огромный шатер; в нем можно было поместить несколько сот человек. В Московском государстве тогда все щеголяли шатрами, и, как наступает лето, богатый человек выезжает в поле, разбивает нарядный шатер; там он веселится и пирует с друзьями. Шатер, привезенный Димитрию, разделялся на несколько отделений

в виде комнат; одна из них, просторнее других, была столовою; внутренность шатра обита была золототканными материями. Снаружи этот шатер был разукрашен пестро, в него входили четырьмя входами в виде ворот; наверху его были возвышения в виде башен. Разом с шатром приехала из Москвы царская кухня с огромным запасом живности, пряностей, вин, меда; привезли столовую драгоценную посуду, ехала многочисленная прислуга, везли царские дорогие кареты, пригнали из царской конюшни до 200 лошадей. На лугу, недалеко от берега Оки, устроен был шатер. В нем молодой царь дал первый пир. День тогда был ясен и тих. В столовой шатра угощал Димитрий бояр, окольничих, думных дьяков, приехавших из Москвы. Тут же были и поляки, провожавшие московского государя на свое наследие. Приехавшие били царю челом, желали здравия и приносили по обычаю подарки: собольи меха, серебряные и золотые вещи. Царь также их отдаривал. Здесь узнал он, что Федора и Марии нет на свете, а их родные и приятели вывезены из столицы. Внутренне он был доволен, что Годуновых извели, и приблизил к себе убийц, а наружно сожалел о погибели Годуновых и показывал вид, что готов помиловать лютейших врагов своих.

Отпировав на славу, Димитрий двинулся из Серпухова к Москве торжественным поездом, в великолепной карете, в сопровождении множества знатных особ[248]. Он прибыл в село Коломенское и там еще раз остановился.

Опять раскинули шатер на пространном лугу, окаймляющем Москву-реку. Продолжала стоять прекрасная погода. Народ всех сословий и состояний из Москвы повалил туда. Шли попы, монахи, гости, посадские люди поклониться царю своему; с москвичами толпою приходили и крестьяне из сел. Это была, по старинному русскому обычаю, почетная встреча государя; она всегда отправлялась в некотором расстоянии от столицы. Так делалось в былые времена выборных князей, всегда, бывало, князя встречают жители за городом. Всех допускал к себе Димитрий, со всеми обходился равно любезно, равно царски-милостиво. Царю подносили подарки, кто одежды, кто меха, кто золото, серебро, жемчуг, дорогие камни, а иные хлеб-соль. Димитрий принимал хлеб-соль от бедняков с особенным чувством и расположением. Он говорил: «Я не царем, не великим князем у вас буду — я хочу быть отцом у вас; все

---

[248] Сноски: 248
Borsza, Истор. Библ., I., 397–398. — Petricii, 84.

прошлое забыто; что вы служили изменникам — Борису и его детям, я того во веки не помяну; буду любить вас — только и буду жить, что для пользы и счастья моих любезных подданных»[249].

Тут он рассказывал свои похождения; везде по дороге он так поступал; это очень нравилось народу: ему верили, его рассказы казались правдоподобными, а кто знал что-нибудь такое, что не сходилось с рассказами царя, должен был на тот раз прикусить язык.

Бояре кланялись ему и говорили: «Иди, великий государь, на свой прародительский престол в царствующий град. Великий государь, спасенный Богом! Приими свое наследие, радуйся и веселись вместе с верным твоим народом; враги твои исчезли яко прах. Нет более мыслящих тебе злое — все готовы служить и прямить тебе, своему истинному государю»[250].

Тут пришли к нему немцы, служившие у Бориса. «Не прогневайся, великий государь, — говорили их офицеры, — мы стояли против тебя на войне; нас обязывал долг присяги Борису: он был тогда царем; теперь, когда вся земля русская тебя

---

[249] Сноски: 249
Petricii, 376.

[250] Сноски: 250
Petricii, 176.

признала государем, мы так же верно готовы служить тебе!» Они говорили искренно, думали так, как прилично думать иноземцам-наемникам; для них не было сердечных побуждений к стране, куда их забросила судьба; для них все нравственное достоинство состояло в точном выполнении денежных условий. Димитрий понял это, обошелся с ними не только без сухости и досады, но еще с любезностью, и улыбаясь сказал: «Вы служили верно Борису, сражались против меня храбро; когда войско перешло на мою сторону под Кромами, вы не пошли за ним, а воротились к Борису. Вы не знали наших дел. Если вы, вступивши теперь ко мне на службу, будете так же верны и мне, как были верны Борису, я буду вам доверять и любить вас. Кто держал знамя на Добрыничской битве?»

Тот, кого нужно было, выступил из толпы. Димитрий положил ему руку на голову и сказал: «Мне памятно твое знамя! Вы, немцы, чуть меня не схватили, и насилу мой конь унес меня. Он был тогда страшно ранен, мой бедный конь! Он здесь, со мною, и до сих пор еще не выздоровел. Он унес меня тогда и спас. Если б вы, немцы, тогда меня взяли, вы бы убили меня?»

Немец почтительно поклонился и сказал: «Благодарение Богу, что ваше величество ушли тогда

от беды. Да сохранит Бог ваше величество от всяких опасностей!»[251]

Все казались довольны и веселы, и русские, и нерусские, и знатные, и простые. Но всеобщее торжество уже начало отравляться предзнаменованиями. Когда небо было совершенно безоблачно, над грудами московских церквей и домов замечали какую-то мглу. Не все это видели, но были такие, что увидали и чувствовали то, что для других глаз было недоступным[252].

Гонцы бегали взад и вперед; в городе происходили приготовления к торжественному въезду нового государя.

20 июня утром Димитрию подвели коня самого лучшего, какой был в царской конюшне, и убрали его сбруею самою драгоценною, какую Богдан Бельский мог отыскать в царской Оружейной палате. Димитрия окружили бояре, окольничьи и думные люди. Один другого старался перещеголять — и одеждами, и конями, и конскою сбруею.

Начался въезд. С Серпуховской дороги он вступал в город по Заречью. Прежде всего народ

---

[251] Сноски: 251
Buss., 36.

[252] Сноски: 252
Ник., 70.

увидел польские роты; их оружие и латы были вычищены с особенным старанием и блистали против солнца. Оне держали свои копья остриями вверх; между ними ехали трубачи и барабанщики и играли на своих инструментах. За ними следовали стрельцы по два в ряд, пешком, чинно и важно; потом везли царские кареты, — яркие краски блистали на покровах, закрывавших их входы; в каждой карете запряжено было по шести отличных лошадей. За каретами ехали верхом дворяне, дети боярские в своих праздничных кафтанах; их воротники, вышитые золотом и усаженные жемчужинами, сверкали против солнца подвижною искристою линиею. Позади их гремели накры и бубны, московская военная музыка. Потом следовал, также верхом, длинный ряд русских служилых; за ними несли церковные хоругви, а потом шло духовенство в сверкающих золотом ризах; каждый держал образ или Евангелие; в конце ряда духовных несли четыре образа: Спасителя, Божией Матери и св. московских чудотворцев, богато изукрашенные золотом и жемчугом. За этими образами ехал новый первопрестольник Русской церкви, вместо сверженного Иова, еще не посвященный в этот сан, но уже назначенный царем. Перед ним несли

посох. Вслед за нареченным патриархом народ увидел давно жданного царя, чудесно спасенного Провидением. Он был в золотом платье; один воротник или ожерелье ценился, как говорят современники, до 15 000 злотых. Царь был окружен боярами и окольничими, как большое дерево малыми отпрысками, по выражению народных песен о царе. За царем следовала пестрая толпа казаков волжских, яицких, донских и запорожских, пришедших на дороге служить новому царю[253]. За ними ехали поляки, татары; наконец, бесчисленное множество народа бежало с радостными лицами. На улицах, по окнам и по крышам домов, даже по вершинам церквей пестрели толпы посадских и пришедших из волостей крестьян; приходили не только из соседних, но и из далеких посадов и уездов на великий, неслыханный праздник русский: они встречали своего царя законного, погибшего и обретенного; им тогда казалось, что после долгих лет обмана, невзгод и насилия наступили ясные дни надежд и благополучия… Шумные восклицания раздавались, как только Димитрий в своем поезде равнялся с тою или другою громадою народа.

[253] Сноски: 253

Хроногр. Погод. № 1451. — Рассказ иезуита Лавицкого у Ciampi. Noticie, стр. 187. — Boisza. Истор. Библ., I. 398.

«Вот он! — кричали русские, — наш батюшка кормилец! Бог его чудесно спас и привел к нам! Сколько бед и напастей он претерпел, голубчик! Ах ты, праведное солнышко наше! Взошло ты, ясное, над землею русскою, царь наш государь Димитрий Иванович! Бог тебя сохранил доселе, сохрани тебя Господи и напредки!» Так кричал русский народ, а Димитрий, обращаясь на обе стороны, восклицал: «Боже, сохрани мой верный народ в доброе здоровье! Молитесь Богу за меня, мое прироженье, мой народ любезный, верный!»

Поезд наконец дошел до Москвы-реки и поехал по мосту, который был устроен из досок, положенных на бочках, плотно связанных между собою. Когда передние проехали и царь вступил на мост, вдруг поднялся вихрь, вздулась пыль столбом, и все принуждены были закрывать глаза и придерживать на головах шапки. «Господи Боже, — восклицали многие, — что это! Уж не беду ли какую-нибудь пророчит? Господи помилуй, Господи помилуй!»

Димитрий проехал в ворота, стоявшие при конце моста, называвшиеся Водяными. Поезд очутился в Китай-городе. Перед глазами был Кремль. Димитрий снял шапку, перекрестился и громко воскликнул: «Господи Боже, благодарю

Тебя: Ты сохранил мне жизнь и сподобил увидеть град отцов моих и мой народ возлюбленный!» По щекам его текли слезы. Весь народ с ним плакал. Оглушительно разливался колокольный звон. Димитрий подъехал к Лобному месту. Многочисленное собрание духовенства изо всех церквей московских ожидало царя с образами и хоругвями. Церковное пение оглашало воздух; но в то самое время польские музыканты заиграли на трубах, заколотили литавры и заглушили церковное пение. Это явление показалось народу неладным. Русские уши не привыкли, чтоб мирские звуки забавы прерывали пение духовенства и молитву.

Димитрий сошел с коня, приложился к крестам и образам. Тут заметил кое-кто, особенно монахи, что он делал это не совсем так, как должен был делать природный московский человек; для благочестивых москвичей в наклонении головы, в колебании руки, творящей крестное знамение, в изгибах тела при земных поклонах были черты, по которым узнавали истого православного: иноземцу чересчур трудно было эти черты усвоить[254]. Но народное сердце на этот раз извинило

[254] Сноски: 254
Is. Mass. 76.

своего новообретенного царя. «Он был в чужой земле, — говорили русские, — его сохранили и привели к нам иноземцы, а иноземцы не знают нашего русского обычая».

Димитрий въехал в Кремль, сошел с коня близ Успенского собора, вошел в храм, принял благословение от духовенства, приложился к иконе Божией Матери и другим иконам, к мощам московских святителей; отслужил молебен, а потом отправился в Архангельский собор к гробам своих прародителей. Бояре окружали его, народ толпился за ним. Он припал ко гробу Ивана Грозного. «О, мой родитель! — говорил он. — Я оставлен тобою в изгнании и гонении, но я уцелел отеческими твоими молитвами». Его слезы лились на гроб Грозного, и никто не мог в те минуты допустить сомнения, чтоб это был не сын Иванов. Из Архангельского собора царь отправился в Благовещенскую придворную царскую церковь. Там, после молебна, протоиерей Терентий произнес ему приветственное слово[255].

После посещения церквей Димитрий вступил во дворец и тут еще раз принимал поздравления, как бы с новосельем. Во все продолжение пути

---

[255] Сноски: 255
Напеч. в Акт. Арх. Ком., т. II.

Димитрия и после того целый день до вечера без умолку гремели все московские колокола, и так сильно, что, по выражению иезуитов, ехавших в свите нового царя, можно было, казалось, оглохнуть[256]. Особенно поражал своим густым звуком огромный колокол в пятьдесят пять футов шириною и в пятнадцать футов вышиною, приводивший в изумление иноземцев. Строгим ревнителям православного благочестия не понравилось, что в церковь с Димитрием входили иноземцы — поляки, немцы, угры. Стало иным казаться, что тут осквернение святыни. Но были и такие либералы, что смотрели на это без волнения, не находили тут ничего дурного. В самом деле, это была не новость, как иные тогда толковали. Царь Иван Грозный сам предлагал Антонию Поссевину посмотреть русское богослужение в Успенском соборе, а во время свадьбы короля Магнуса с племянницею царя римско-католический священник, сопровождавший короля, находился в церкви, где происходило венчание. Конечно, наибольшее число было таких, что не обратили внимания на этот факт, очень естественный в том положении, в каком находился Димитрий.

[256] Сноски: 256

Ciampi, Notizie, 187 и др. — Grevenbr., 95. — Pierling. Rome et Demetrius. Pieces justificatives, III, 211.

Иноземцы отнюдь не знали, что в христианской земле непозволительно входить в храм христианам, какими они себя сами признавали.

После всего вышел на Красную площадь Богдан Бельский и взошел на Лобное место; его окружали несколько знатных особ. Бесчисленное множество народа теснилось в страшной давке, чтоб услышать, что теперь скажет этот человек, который был с детства так близок к Димитрию. «Православные, — сказал Бельский, — благодарите всемогущего Бога за спасение нашего солнышка, истинного государя-царя Димитрия Ивановича. Как бы вас лихие люди ни смущали, ничему не верьте. Это истинный сын царя Ивана Васильевича. Во уверение я целую перед вами Животворящий Крест и святого Николу Чудотворца». Он снял с шеи образ, где было распятие и сверх того изображение Николая Чудотворца (вероятно, складни), поцеловал и продолжал: «Святой Никола Чудотворец помогал ему до сих пор во всех его бедах и к нам привел его. Берегите ж его, любите его, почитайте и служите ему прямо, без хитрости, ни на что не прельщаясь!» Народ разразился восклицаниями: «Боже, сохрани нашего царя Димитрия Ивановича! Дай ему, Господи, здоровья и долгоденственного жития и

покори под ноги его всех врагов и супостатов, которые не верят ему и не желают ему добра»[257].

Тогда в народе объясняли спасение Димитрия таким образом (как это записал один англичанин, который не мог почерпнуть своих сведений ниоткуда, кроме народной молвы или от тогдашних москвичей): когда Богдан Бельский был удален от двора при царе Федоре, ему сообщали обо всем, что делается в Москве, его друзья[258]; и, по этим известиям, он, сообразив, что Борис замышляет истребить Димитрия, вошел в сношение с матерью его; мальчика подменили: на его место подставили сына какого-то священника, который был одних лет с царевичем и очень похож на него. Этот попов сын и воспитывался под именем царевича, и однажды, когда он играл с детьми, ему перерезали горло (по известию англичанина, кажется, смешавшему то, что он слышал, судя по тому, что в летописях в этом событии играет роль ожерелье) как будто случайно, желая разрезать шейное ожерелье. Тело царевича в продолжение трех дней стояло всенародно; все думали, что это Димитрий, а настоящий царевич

---

[257] Сноски: 257
Petricii, 176.

[258] Сноски: 258
Дьяк Андрей Щелкалов и Андрей Cliskenine (Квашнин?).

между тем проживал в неизвестности. Дальнейшие коловратности его судьбы не дошли до ушей иноземца[259]. Таким образом, видно, что в Московском государстве изъяснялось спасение царевича гораздо правдоподобнее и притом сходнее с известными народу обстоятельствами углицкого убийства, чем рассказывал в Польше об этом спасении тот, кто назвался Димитрием.

II. Первые дни царствования Димитрия в Москве. – Заговор Шуйского. – Приезд матери. – Царское венчание

В первые дни после своего воцарения Димитрий занялся делами и тотчас показал склонность к реформам, как обещал в Путивле. Он начал со внешности. Видно было, что он нахватался приемов иноземной образованности и счел ее выше московской, но не успел взвесить условий ее с разных сторон. Явилось подражание польскому строю. Боярская дума была переименована в сенат; членов думы новый царь окрестил названиями польских чинов. Сенат разделил он на две половины: духовных особ и думных людей. Яви-

[259] Сноски: 259
Smith, 45–46.

лись звания: великого дворецкого, подскарбия, мечника, крайчего, подчашего, печатника[260].

Видно, однако, что он подходил к этим нововведениям не быстро и хотел соблюдать постепенность. Таким образом, сразу введено только немногое, похожее на польское. Тогда возвысились те, что были в опале при Годуновых, и те, что приставали к Димитрию сначала и сдавали ему города, и изгнанники, воротившиеся с ним из Польши, и те, наконец, в ком он замечал расположение ко введению иноземных обычаев. В думе засели, между прочим, прежние воеводы северских городов: Рубец-Мосальский, князь Татев, кн. Кашин, кн. Долгорукий-Роща, а дьяк Сутупов, сдавшийся в Путивле, получил звание печатника. Бельский возведен в сан великого оружничего. Гаврило Пушкин, так отважно вступивший в Москву с грамотою, сделан думным дворянином. Дьяк Власьев, дипломат прежнего времени, упорно стоял за Бориса и явился к Димитрию только в Туле, но Димитрий полюбил его особенно за то, что он был образованный человек. Во многие города назначены новые воеводы; надобно было поддержать воротившихся из ссылки

---

[260] Сноски: 260
Собр. госуд. гр.: II, 210.

и своих наградить, и тем самым царь удерживал в повиновении край. Он переменил придворную прислугу, отставил долго служивших Годуновым и назначал тех, которым мог более доверять; притом ввел в число придворной челяди уроженцев из польских владений, которые с ним приехали. Они были и живее, и смышленее московских людей, и умели читать и писать.

Он отправил за своею матерью князя Михайла Скопина-Шуйского, юношу двадцати лет, которого наименовал мечником.

Его сопровождали дворяне. Они должны были привезти инокиню Марфу, находившуюся в ссылке в пустыни на Выксе — за Череповцом.

24 июля был посвящен патриархом Игнатий. Освященный собор уже привык повиноваться: в таких случаях воля царская и прежде была исполняема.

Димитрий отлагал царское венчание до приезда матери. Поляки советовали ему поспешить, полагали, что после венчания он получит в глазах народа значение неприкосновенного помазанника Божия и, следовательно, будет тверже на престоле. Но царь знал народные обычаи: уважение к родителям, особенно к матери, русские считали первою добродетелью: этим вниманием

он надеялся понравиться народу.

Между тем, пока еще не приехала мать, пока еще не успели съехаться из ссылки гонимые Борисом, которые должны были увеличить число царских приверженцев, Василий Шуйский стал уже устраивать ему гибель. Он признал его истинным сыном Грозного тогда, когда еще живы были Годуновы; ему представился удобный случай их низвергнуть и уничтожить; теперь их не стало, и Шуйскому к достижению престола препятствием оставался один Димитрий; одного его нужно было устранить: погибни Димитрий — венец будет на голове Василия. Князь Мстиславский не захочет быть царем; Василий был ближайшим преемником московских царей. Его двое братьев не могли быть ему соперниками: они были моложе его. Но еще невозможно было явно пред всею землею стать противником признанного им самим царя. Шуйский расчел, что сперва нужно отравить пылкие минуты народного восторга, бросить в народе сомнение о царственном происхождении Димитрия и указать на такие стороны в его поведении, которые возбуждали бы тайное неудовольствие в московских людях. Его замыслам должны были помогать поступки поляков, сопровождавших Димитрия: в первые

же дни, как только разместились в Москве, они стали делать хозяевам насилия и бесчинства, особенно обращались нагло с женщинами[261]. И вот, как только новый царь устроился во дворце московских государей, Василий Шуйский, при пособии своего брата Димитрия, принимает в дом свой знакомых торговых людей; на челе их был некто по имени Федор Конев. Шуйский дает им наставление, что говорить и как говорить, поручает рассевать в народе мысль, что вступивший на престол отнюдь не истинный сын царя Ивана, а Гришка Отрепьев, как прежде говорили о нем Борис и патриарх Иов: «Он достиг престола обманом и будет царствовать на беду Московскому государству; он уже и теперь приблизил к себе иноземцев, тотчас по своем приезде позволил некрещеным ходить в церковь, расставил литву в Москве, сам во всем держится иноземного обычая, он уже изменил православию; он подослан Сигизмундом и польскими панами; у него с ними поставлен уговор — искоренить святую православную веру, разорить церкви, построить вместо них костелы и ропаты; и хочет он истребить старые боярские роды, чтоб не было

[261] Сноски: 261
Petricii, 81. — Grevenbr., 33.

ему помехи в злых его умыслах». Одним словом, нужно было воскресить все то, что было писано Борисом и патриархом Иовом против Димитрия, да еще и своего прибавить. Прежде всему дурному про Димитрия приказывали верить, и народ не верил; теперь приказывают этому не верить, — Шуйский хочет, чтоб народ этому начал верить. Раз уже обнаружилось недоверие к тому, что говорила власть, казалось, легко народу войти во вкус к такому недоверию, хотя бы та же власть была в иных руках, как скоро есть повод не доверять. Гришку прокляла церковь; при малейшем сомнении, что сидящий на престоле может быть Гришка, проклятый собором, страх должен был овладеть народом. Если Московское государство управляется проклятым человеком, то проклятие, его поразившее, падет на всю землю. Таким путем должно было идти нерасположение к Димитрию. Шуйский, понимавший характер людей, приглядевшись к Димитрию, конечно, понял, что в остальном сам Димитрий поможет его планам. То был только начаток интриги; Шуйский надеялся быстро вести ее далее. По свидетельству современника голландца[262], оказалось, по суду

[262] Сноски: 262
Is. Mass. 78.

над Василием Шуйским, что он назначил днем низвержения царя 25 августа, следовательно, полагал два месяца на подготовку заговора. Но Федор Конев и товарищи разболтали об этом там, где не нужно, сказали не столько, сколько нужно, и попались; их привели к Басманову, стали допрашивать и пытать; они прямо показали на Шуйских. Тотчас и Шуйских взяли за-приставы. Это было 23 июня. Димитрий по делу, касавшемуся его чести и престола, отстранил себя от суда и приказал разбирать дело и судить Шуйских собранию изо всех сословий. Это явление было необычно в Московском государстве. Здесь царь казался как бы сам подсудимым, принял на себя долг оправдываться против тех обвинений, которыми хотел Шуйский очернить его в народе.

Потеря дел этого суда — незаменимая потеря для истории; тогда бы многое открылось из того, что теперь остается темным. Неизвестно, как поставил себя тогда Шуйский: отрицал ли он только свое соучастие с Коневым и его товарищами в распространении дурных слухов о царе, или же ему приходилось обличать царя в самозванстве. Русские летописи говорят последнее: будто бы, явившись в это собрание, Шуйский смело сказал при всех в глаза: «Я знаю, что ты не царский

сын, а законопреступник и расстрига Гришка Отрепьев!»[263] Некоторые иностранцы говорят, что Димитрий должен был пред этим собранием отстаивать себя и убедил всех своими доводами и красноречием[264]. Как бы то ни было, все собрание было на стороне царя, и никто, ни из бояр, ни из простых, не склонился тогда на сторону Шуйских, а все кричали против них[265]. Дело становится понятным, если сообразить известия современников, что Димитрий привез с собой в Москву и показывал народу бывшего чудовского монаха Гришку Отрепьева, о котором впоследствии говорят, что это был не настоящий Гришка, а другой под его именем. Димитрию стоило показать всему судному собранию этого Гришку, и таким образом уничтожалось подозрение, а Василий Шуйский явно оказывался преступником. Суд был короток над ним. 25 июня судное собрание осудило Василия на смерть, а братьев его в ссылку. Казнь должна была совершиться на Красной площади в тот же или на другой день.

---

[263] Сноски: 263
Времен., XVI, 30.

[264] Сноски: 264
Esam. crit., 189. — De Thou, IV, 460.

[265] Сноски: 265
Ник, 71.

Стечение народа было огромное. Многим было жаль Шуйского: у его знатного рода были свои приятели. Михайло Глебович Салтыков и Петр Федорович Басманов находились у него приставами. Обвиненного вывели на площадь; там стояла плаха, в плаху был воткнут топор; подле плахи был палач. Стрельцы стали плотным кругом. Басманов приказал читать приговор. В нем от имени царя говорилось народу: «Сей великий боярин князь Василий Иванович Шуйский изменяет мне, великому государю царю и великому князю Димитрию Ивановичу всея Русии, рассевает про меня недобрые речи, остужает меня со всеми вами, с бояры и князи, и дворяны, и дети боярские, и гостьми, и со всеми людьми великого Российского государства, называя меня не Димитрием, а Гришкою Отрепьевым; и за то он, князь Василий, довелся смертной казни». Русские летописи говорят, что Василий поступил здесь бесстрашно, приблизился к плахе, перекрестился и, обратившись к народу, сказал: «Умираю за веру и за правду!» Честолюбивому Шуйскому, ожидавшему смерти, ничего более не оставалось в утешение, как умереть со славою мученика за правду.

Он подступил к плахе; палач снял с него кафтан,

хотел снимать даже и рубашку, прельстившись ее блестящим воротом, унизанным жемчужинами. Шуйский не давал ему, говорил, что хочет в ней Богу душу отдать. Вдруг из Кремля скачет вестовой, дает знак, чтобы остановились. Он прискакал на место и объявил, что царь, по своему милосердию, не желает проливать кровь даже важных преступников, дарует Шуйскому жизнь и заменяет смертную казнь ссылкою в Вятку[266].

Тогда Басманов воскликнул к народу: «Вот какого милосердого государя даровал нам Господь Бог, что своего изменника, который на живот его посягал, — и того милует!» Народ отвечал громким желанием здравия и многолетия милосердому царю. «Возможно ли после этого, — говорили тогда между собою московские люди, — чтоб он был не истинный царевич? Кто же может так делать, кроме истинного царского сына?» Василия, Димитрия и Ивана Шуйских с их семьями повезли в ссылку, а дома и вотчины их взяли в казну по издавна заведенному в Московской

[266] Сноски: 266
Is. Mass., 79.

земле обычаю[267]. Русские летописцы (Аврамий Палицын, Никоновская летопись) говорят, что, прежде чем Шуйский стал возмущать народ, были казнены за непризнание Димитрия царевичем дворянин Петр Тургенев и Федор Колачник. Когда их вели на смерть, последний кричал, что русские приняли антихристова слугу; народ не сочувствовал обоим и кричал: «Поделом вас осудили, умирайте!» Так как между воцарением Димитрия и арестом Шуйских прошло всего три или четыре дня, а помилование Шуйского объявлено с заявлением, что царь не хочет проливать крови, то, вероятно, казнь этих двух лиц случилась до пришествия Димитрия, и осудили их бояре, может быть, с одобрением Димитрия, но тайным; иначе выдумали бы иной повод для царского милосердия Шуйскому. Не мог бы решиться объявлять народу новый царь, что он не хочет проливать крови, когда кровь была уже им пролита; да, вероятно, об этих казнях упомянули бы иностранцы.

Необыкновенно милостиво поступил Димит-

---

[267] Сноски: 267

Pert., 187. — Buss., 40. — Врем. XVI, 30. — Сказано, еже содеяся. Чтен. 1847,9. — Маржер. Сказ, о сам., III, 28. — De Thou, XVI, 460, 462. — Ciampi, Notizie, 189. — Pierling. Rome et Demetr., 85. — Grevenbr., 27. — Petricii, 85. — Лет. о мят., 96. — Никон, лет. 71.

рий с одним архиереем, не хотевшим признать его царем наравне с другими. То был астраханский владыка Феодосий. Получив патриаршую грамоту, он усердно проклинал Гришку Отрепьева, а между тем в народе астраханском, как и повсюду, увеличивалось расположение к Димитрию. Наконец, не стало Годунова; передалось Димитрию войско; пришли вести в Астрахань, что все Московское государство признает обретенного законного наследника; тогда народ взбунтовался, разграбил владычний двор, сбросил с раската кое-каких владычних людей; самого владыку изругали непотребными словами и повезли в Москву вместе с воеводою Михайлом Богдановичем Сабуровым, упорным годуновцем. Владыку привели к царю на глаза. «Астраханский владыка, — сказал ему царь, — за что ты меня, прирожденого царя, называешь Гришкою Отрепьевым?» Владыка отвечал ему с достоинством: «Нам ведомо теперь только то, что ты царствуешь; Бог тебя знает, кто ты таков и как тебя зовут; но прироженый Димитрий царевич убит в Угличе». Царь не велел ему делать никаких обид и отпустил с миром[268].

---

[268] Сноски: 268
Житие Феод. Астрах., рук. И. П. Библиот.

18 июля прибыла давно жданная царица — инокиня Марфа. Дано знать о ее приближении Димитрию. Он выслал ей лошадей к Троице. Оттуда она ехала в Москву. Димитрий выехал встречать ее в Тайнинском. Вся Москва повалила за царем. Зрелище было очень любопытное: всем хотелось посмотреть, как будет встречать мать сына, которого не видала с младенчества и должна была столько времени притворно уверять всех, что его нет на свете, — как будет приветствовать сын мать, которой не видел с детства и не смел заочно назвать матерью. Царицу везли в карете. Димитрий подъехал к ней верхом; карета остановилась. Царь быстро соскочил с лошади, бросился к карете. Марфа отворила полу занавеса, закрывавшего бок кареты; сын бросился ей в объятия; оба зарыдали и повисли друг у друга на шее. Так пробыли они четверть часа пред множеством народа. Потом карета двинулась; но царь не сел на своего аргамака, шел пешком подле кареты несколько верст, а потом уже, под самой Москвой, сел на коня и уехал вперед, чтобы снова встретить мать при ее въезде в Кремль. Колокола звонили по всей Москве, когда въезжала царица; ликовал народ в праздничных нарядах, с веселыми лицами; тысячи голосов поздравля-

ли царицу с возвратом из долгого и грустного заточения. «Боже наш, Боже наш! — восклицали москвичи. — Как дивно и неизреченно Господь Бог устрояет судьбу человеческую!» Редкий в ту минуту не плакал от умиления. Никто в народе не сомневался, что на московском престоле настоящий сын царя Ивана; всем казалось, что только настоящего Димитрия могла так встретить родная мать, увидевши в первый раз после разлуки с детства.

Еще больше уверился народ в этом, когда услышал, как Димитрий после того обходится с матерью. Ее поместили в Вознесенском монастыре; покой для нее убрали с большим удобством тогдашней жизни. Димитрий каждый день посещал ее и сидел с нею по нескольку часов. При людях он оказывал ей величайшее уважение и заботливость. При начале каждого важного дела он испрашивал ее родительского благословения. Ее имя поминалось в церквах прежде царского, и сама присяга на верность была произносима ей и сыну[269].

Один за другим возвращались из заточения

---

[269] Сноски: 269

Никон., 71. — Petricii, 88. — Grevenbr., 90. — Petreji, 177. — Bussow, 37. — Врем. XVI, 31. — Рук. Арх. II. Дел Польск., 20. — Паэрле. 34. — The Russ. Imp., 84. — De Trou. XIV, 463. — Ciampi, Esame, 40.

сосланные Борисом, и всякое такое возвращение было праздником народу и славою царю. Приехали дяди Димитрия, Нагие. Возвращены Романовы. Димитрий показал большое сочувствие к этой семье: не только живые Романовы были возвращены и осыпаны почестями, даже кости погибших в заточении трех братьев он приказал перевезти в Москву[270]. Такой чести не было еще ни для кого в Московском государстве. Страдалица Ксения Ивановна, жена Федора Никитича Романова, была вывезена из толвуйского заточения, а сын Михаил из Белаозера; мать соединили с сыном, возвратили им вотчины, и они уехали в Ипатьевский монастырь подле Костромы, основанный одним из предков их гонителя, царя Бориса. Филарет Никитич приехал из Сийского заточения к почестям и славе. Он чуял близость своего освобождения за несколько месяцев, как только разнесся слух, что появился Димитрий Иванович в пределах Московского государства. Тогда Воейков, его суровый пристав, доносил Борису, что «старец Филарет неведомо чего смеется, перестал заниматься монашескими делами, говорит все о мирских делах, о птичьей

[270] Сноски: 270
Хроногр. Археогр. Ком. — Голик. Доп., I, 226.

охоте да о собаках, грозит старцам, что скоро с ними справится». Когда не стало Годуновых и Димитрий воцарился, — тогда стало понятно, о чем смеялся старец Филарет и почему грозил старцам[271]. Тотчас по возвращении, по желанию Димитрия, его посвятили в сан митрополита Ростовского. Иван Никитич Романов посажен в сенат с боярским званием.

Июля 30-го совершено царское венчание в Успенском соборе по обычному чину, какой наблюдался в прежние царствования в подобные торжественные минуты. От дворца до Успенского собора устлали путь красною материею; сверху ее постлали золототканый персидский алтабас. Этот путь был священный: никто не смел перейти его; вельможи должны были смотреть за этим. Этою дорогою должен был шествовать царь в золототканой одежде, усаженной сверху донизу жемчугами и дорогими каменьями. Благовещенский протопоп Терентий шел впереди его и кропил ему путь крестообразно. В соборе, перед обедней, патриарх с обычными церемониями возлагал на царя бармы, венец, и давал ему в руки скипетр и государственное яблоко.

---

[271] Сноски: 271
А. И., II, 38.

Венец Димитрию был нарочно для этого случая изготовлен; он отличался богатством больше тех венцов, которыми венчались на царство прежние цари. Патриарх сажал царя посреди церкви на возвышенном месте с двенадцатью ступенями. Клир пел многолетие царю. Все поздравляли царя. Потом совершилась литургия. В конце литургии царь причащался святых таин, а потом патриарх совершил над ним помазание великим миром. По окончании обряда Димитрий, окруженный окольничими (получившими оттого и название свое на Руси, что в церемониях шли *около* царя), по устланному пути ходил в Архангельский собор, там поклонялся гробам отцов и праотцев, оттуда в Благовещенский и на выходе из последнего шел по средней главной лестнице дворца. Окольничьи с золотой мисы осыпали царя золотыми монетами, нарочно для этого случая вычеканенными, и бросали их в народ. По возвращении во дворец совершался обычный в этом случае обряд поздравления и целования царской руки. Кроме русских подходили к царю и бывшие в Москве поляки, число которых указывается их соотечественником до семи сот. На челе их были прибывшие с царем иезуиты, и один из них, Чиржовский, произнес пышную

речь, которой содержание тут же объяснял царь своим боярам[272]. Пир, данный царем, по отеческому обычаю завершил праздник. Бархатные и златоглавые ковры, которыми устилались пути, куда должен был ходить царь, были изорваны в куски народом: каждый хотел приобресть себе кусочек на память великого события[273]. Из царских венчаний, до сих пор бывших на Руси, ни одно еще не казалось народу до такой степени достойным долгой памяти, по странной судьбе венчавшегося царя.

III. Черты царствования Димитрия. – Его распоряжения. – Его частная жизнь. – Любовь к иностранцам. – Религиозный либерализм. – Завоевательные планы

Для русской земли это царствование как будто обещало хороший поворот жизни. Во многом оно казалось продолжением лучших дней начала

---

[272] Сноски: 272

Велевицкий. Перев. Муханова. 133. — Pierling / Rome et Demetrius. 83. Pifcesjustificat., IV, 211.

[273] Сноски: 273

Маржер. Сказ, о Дим. Сам., III, 87. — Wassenb., 19. — De Thou, XIV, 463–464.

Борисова царствования; во многом этот царь и вел себя, и думал не так, как прежние цари, и хотел не того, чего другие. Он был очень деятелен. Каждый день он присутствовал в сенате, им самим устроенном, сам разбирал дела, часто самые мелочные, и удивлял думных людей беглостью своих способностей. Случалось, какой-нибудь вопрос озадачивал думных людей, и они никак не могли решить его умом своим; вдруг царь с легкой иронией говорил: «Что тут вы нашли трудного?» — и в несколько минут обсуждал и разрешал недоразумения. Нам, к сожалению, очень мало осталось от внутренних распоряжений его времени; последующие бурные времена вообще истребили тогдашнее делопроизводство. Важными памятниками его царствования остаются распоряжения относительно холопства. При Борисе было в обычае записывать в кабалы, что продающий себя отдавался не только одному хозяину, но и детям его; таким образом, все потомство по воле предка осуждалось на рабство. Димитрий воспретил такого рода кабалы. Холоп мог поэтому быть холопом только тому, кому отдавался, и тем самым подходил к наемнику, служившему господину по взаимному соглашению. Сверх того, постановлено было, что помещики,

которые не кормили крестьян во время голода, теряли право на удержание их на своих землях; и вообще подтверждено прежнее правило, что на беглых крестьян не давать суда далее пяти лет, после этого срока уже законно расторгается сама собою обязанность беглого к помещику[274]. Вообще в управлении Димитрия видно было желание дать народу сколько возможно более льгот. Установлено было, чтоб везде судопроизводство было бесплатное, и вообще правящим лицам строго запрещалось брать посулы, а поэтому им удвоено содержание; объявлено, что царь принимает от людей всех званий и сословий безразлично челобитные; всем доставлялась возможность объясняться с царем по своим делам лично, и для того назначены два дня в неделю, в среду и субботу. Для того, чтобы при сборе податей не было прижимок и злоупотреблений, Димитрий установил (неизвестно — везде или в некоторых местах), чтобы общины сами приносили то, чем были обложены; так, остякам велено было самим доставлять свой ясак, вместо того чтоб к ним ездил чиновник[275]. Подобные льготы дарованы

[274] Сноски: 274
А. И., II, 77, 78. — А. Э., II, 36.

[275] Сноски: 275
А. И. II, ibidem.

были вогулам еще при Борисе.

Чтобы разлить благосостояние в народе, торговля была объявлена свободною как русским, так и иностранцам. Всем позволено свободно заниматься промыслами и ремеслами. Уничтожены всякие стеснения к выезду из России, ко въезду в государство и к переездам внутри государства. «Я не хочу никого стеснять, — говорил он. — Мои владения для всех во всем должны быть свободны». Англичане того времени находят, что он был первый государь в Европе, который сделал свое государство до такой степени свободным[276]. Многим казалось это разорительным. Димитрий на это говорил: «Напротив, я обогащу свободною торговлею свое государство, и везде разнесется добрая слава о моем имени и моем государстве»[277].

Один современник итальянец говорит, что мать Димитрия ходатайствовала о свободной торговле между Московским царством и Польшею в благодарность полякам, что они помогли ее сыну

---

[276] Сноски: 276
Smith, 41.

[277] Сноски: 277
Ibid.

овладеть престолом[278]. Вероятно, Димитрий из политики покрывал благовидным предлогом свои поступки, как будто делал из угождения матери. Царь покровительствовал народному труду собственным примером. Вопреки обычаям прежних царей, которые после сытных обедов укладывались спать, Димитрий, пообедавши, выходил один пешком в город, заходил в разные мастерские, толковал с мастерами, осматривал их работы, говорил ласково со встречными. Такого рода неслыханная прежде доступность царя в обращении с подданными соблазняла тех, у которых укоренилось понятие, что чем лицо важнее, тем оно должно быть неповоротливее, тем оно больше требовало, чтобы другие за него делали, ему служили, для него жили. Никто лучше Димитрия не ездил верхом. Люди, с детских лет привыкшие к верховой езде, удивлялись его ловкости и искусству. Не то что прежние цари: тех, бывало, вели под руки ради их величия, а когда они садились на лошадь, то им скамьи подставляли; а к Димитрию подведут ретивого, необъезженного жеребца, он быстро бросится к нему, схватит одной рукою за повод, другою

[278] Сноски: 278
Nero Giraldi. — Ciampi, Esam., crit., 58.

за седло, вмиг вскочит на него, и неукротимое животное ходит под ним послушно. Любил он охоту, держал редких собак и соколов. Ловили медведей и содержали в подгородных селах для царской потехи. То же делалось и при прежних царях: Иван Васильевич любил медвежьи травли; но тогда царь стоял вдали и любовался, как подданные потешают его с опасностью собственной жизни. Димитрий, напротив, сам потешал подданных своею ловкостью и первый бросался на лютого зверя. Русские невольно любовались такою удалью, хотя и признавали, что удаль и подвижность не сходились с признаками божественной неприступности царственного сана.

Любил он толковать о том, чтобы дать народу образование, которое понимал во внешних признаках, виденных им в Польше. Сходясь со своими вельможами, он часто замечал, что они ничего не знают, ничего не видали, ничему не учились, и объявлял, что позволяет всем путешествовать по Европе; советовал им посылать туда детей присмотреться к жизни образованных обществ, заохочивал их к чтению и познаниям, так как и сам любил читать и говорить о том, что вычитал. Он готовился основать в Москве

университет[279].

Димитрий был нрава чрезвычайно вспыльчивого, легко приходил в неистовство, и не одна палка в руках его ходила по спинам дьяков и придворных, когда те не изменяли своих московских привычек обращения, от которых царь хотел их отучить[280].

Трудно было ему сдерживаться, царствуя над таким народом, у которого в ту эпоху битье считалось необходимым для вразумления, как воздух для дыхания; да и в том обществе, где он нанюхался цивилизации, мало мог он увидеть у сильных людей поучительных примеров подчинения порывов страсти благоразумию; но, посердившись немного, тотчас же успокаивался, был совсем незлопамятен и чрезвычайно добр и щедр. Щедрость его казалась даже мотовством. Никто, попросивши у него милости, не уходил без удовлетворения. Всем служилым было удвоено содержание: кто получал прежде десять рублей, тому дано по двадцати; кому была

---

[279] Сноски: 279
Bussow, 38. — Petricii, 179.

[280] Сноски: 280
Is. Mass., 83.

тысяча, тому — две[281]. Во всех городах в государстве приказано было переверстать земли для поместного оклада, и всем помещикам удвоили надел земли[282]. Таким образом, до нового года он истратил до семи с половиною миллионов рублей[283]. Сумма покажется огромною, если вспомнить, что Московское государство получало всех доходов, за исключением сибирских мехов, около полутора миллионов рублей в год. Но тут следует сообразить, что, увеличивая жалованье, он способствовал благосостоянию служилого и земледельческого классов и тем самым возможности на будущее время содействовать увеличению государственных доходов; притом эти затраты не сопровождались новыми налогами. В казне московских государей лежали громадные сокровища, накопленные в разные времена исключительными способами. Царь Иван Грозный все свои казни сопровождал отнятием имуществ у опальных и копил себе казну. В то время как он посадил на престол Симеона, то

---

[281] Сноски: 281
Собр. гос. грам., II, 261.

[282] Сноски: 282
Хроногр. Арх. Ком.

[283] Сноски: 283
Собр. гос. гр., 11, 261.

приказал этому подставному царю обобрать монастырские богатства, а потом, принявши вновь правление, оставил у себя награбленное, а монастырям выдал новые жалованные грамоты[284]. Сверх того, правительство захватывало часто монополию разных товаров, запрещая покупать их и продавать, прежде чем поступит их достаточно в царскую казну. В последнее время казна царская обогатилась отбором в казну богатств Годуновых и их свойственников. Таким образом, в распоряжении царя было много наличных сумм, которые он мог тратить, не производя на первый раз расстройства в отношении доходов к расходам. В числе потраченных Димитрием сумм были платежи долгов, сделанных Иваном, и вознаграждения за несправедливо отнятые достояния. Димитрий многим возвращал имения, отнятые царем Иваном. Неудивительно, что новый царь, поставивши себе задачею загладить, по возможности, отцовские несправедливости, поневоле должен был в начале своего царствования сделать чрезвычайные затраты. Пользовались его щедростью поляки: они забирали жалованье вперед, пропивали, проигрывали, а потом

[284] Сноски: 284
Gorsey, Bond., 179.

жаловались на царя, что мало им дает. По свидетельству одного из них, корму им давали так много, что они продавали, и находилось много таких, что, получив свое, не хотели отслуживать выпрошенного вперед.

Выказываясь непамятозлобивым, готовым прощать оскорбления, Димитрий твердил, что не хочет преследовать своих зложелателей. «У меня два способа царствовать и укрепиться на престоле, — говорил он, — или милосердием и щедростью, или суровостью и казнями; я избрал первый способ; я в сердце своем дал Богу обещание не проливать крови подданных, и я исполню его»[285].

Замечательно, что кудрявая фраза о двух способах царствования целиком встречается в современной речи пана Гербурта, произнесенной на польском языке. Видно, что она была ходячею политическою сентенциею в Польше, и Димитрий часто рисовался своею цивилизациею, повторяя то, чего он наслышался в Польше. В октябре он возвратил из ссылки Шуйских, приблизил их к себе по-прежнему и думал, что такое дело милосердия привяжет к нему этот род.

---

[285] Сноски: 285
Собр. гос. гр., II, 261.

Царь довольствовался тем, что Василий Шуйский с роднею дал ему клятву в верности. Василий казался благодарным, преданным — и тайно положил вперед работать для своих целей поосторожнее. Не только Шуйские, но и Годуновы и их приверженцы, сосланные при начале царствования, получили прощение, а Иван Годунов сделан воеводою в Сибири. Когда кто-нибудь, желая подслужиться Димитрию, заговаривал дурно о Борисе, Димитрий замечал: «Вы кланялись ему, когда он был жив, а теперь, когда он уже мертв, вы хулите его; пусть бы кто другой говорил о нем дурно, а не те, которые его выбрали; он был похититель, но разве не признали его все царем?»[286] Борис не допускал Василия Шуйского жениться. Борис боялся, чтоб Василиевы потомки или он сам, ради потомства, не извели с престола Бориса и его потомства. С тою же целью запрещалось жениться Мстиславскому. Димитрий объявил, что все свободно могут жениться, и сам побуждал Шуйского и Мстиславского выбрать себе невест. Оба выбрали себе родственниц царицы-матери. Мстиславский женился на двоюродной сестре ее, а Шуйский обручился с Мариею, княжною

[286] Сноски: 286
Smith, 40.

Буйносовой-Ростовской. Брак был отложен до царского брака. Предполагаемый брак был неравный по летам: невесте Шуйского было менее двадцати, Шуйскому за пятьдесят лет. Свадьбу Мстиславского праздновали с большим великолепием. Царица-мать и царь были на свадьбе, веселились вместе со всеми целых два дня. Были и другие свадьбы знатных особ; новобрачные приглашали царя; царь не отказывал, посещал их дома, пировал зауряд с подданными. Время было такое веселое, какого не помнила Москва: там богатая свадьба, там новоселье, там просто пир. По городу то и дело летали пестро убранные сани с золотными коврами, подбитыми бобром, со множеством бубенчиков; все одевались в золото да соболи, украшали себя жемчугом да камнями; самый незнатный стыдился выходить в люди не нарядившись. Царь любил, чтоб подданные ходили нарядно и веселились.

Случалось, царь устраивал охоту близ самой Москвы и со своими придворными скакал за выпущенными нарочно лисицами да волками, красуясь породистостью коня и статностью своей осанки, и народ высыпал из Москвы любоваться на своего царя-молодца. И то было веселье народу.

Димитрий был человек нрава веселого и хотел, чтоб вокруг него все веселилось; любил довольство и хотел, чтоб в народе его было довольство. Свобода торговли, промыслов и обращения в самое короткое время произвела то, что в Москве все подешевело: людям небогатым становились доступны предметы житейских удобств, тогда как прежде могли ими щеголять бояре и богачи. Вдобавок прошедший год был урожаен, хлеб дешев. Москва стала изменять свой суровый характер. В государствах такого строя, как московское, нравы и склонности государей часто передаются громаде подвластных. Все тогда знали, что Димитрий любит веселиться, что у него после забот и трудов идет обед с музыкой, после обеда пляска. То же стало входить и в жизнь народа. Теперь уже не преследовались забавы, как бывало в старые годы: веселые скоморохи с волынками, домрами и накрами могли как угодно тешить народ и представлять свои «действа», не чинили тогда наказания ни за зернь (карты), ни за тавлеи (шашки). В корчмах наряжались в хари, гулящие женки плясали и пели веселые песни. Рассказывают, что веселый царь был охотник до женского естества, и Михайло Молчанов, убийца Федора Борисовича, доставлял ему особ прекрас-

ного пола в баню. Петр Басманов участвовал также в этих удовольствиях. После царя пользовались теми же женщинами его любимцы. Даже хорошеньких монахинь соблазняли на грех, и после смерти Димитрия осталось до 30 женщин, которые сделались беременны после посещения царской бани[287]. Но московские люди охотнее извиняли тайный разврат, как извиняли его в Иване Васильевиче, чем явное нарушение наружных условий благонравия. Все, что прежде делалось тайком, с оглядкой, теперь совершалось явно, к соблазну благочестивых хранителей прадедовского приличия.

Димитрию была душна суровая, чопорная, постная Московская Русь. Ему тяжело было жить во дворце царей; он выстроил себе два деревянных дворца ближе к Москве-реке, у самого ската, недалеко от житного двора. Эти дворцы примыкали друг к другу; один был для царя, другой для его будущей царицы. Внутри дверные замки и гвоздики были позолочены, потолки превосходной резной работы раскрашены, печки зеленые изразцовые с серебряными решетками, стены покрыты блестящими тканями; передняя комната,

[287] Сноски: 287
Is. Mass., 82.

большая, была обита голубою персидскою материею, а на окнах и дверях висели золототканые занавеси; седалища обиты были черною тканью с золотыми узорами; столы были покрыты золототканными скатертями. За нею были три комнаты, обитые золотыми тканями с разными узорами в каждой комнате для разнообразия. Большие сени пред переднею комнатою уставлены были всевозможнейшею затейливою серебряною посудою с разными изображениями зверей, птиц, баснословных богов и проч. Кто-то из иноземцев удружил ему: сделал медное изваяние цербера с тремя головами и устроил так, что челюсти могли то раскрываться, то закрываться, а во время движения издавали звук. Это изображение поставлено было у самого входа. Царь думал, что оно будет забавлять его подданных, но оно стало соблазнять их: некоторым представлялось, что из него исходит дым и пламень[288].

Не нравилось это все боярам, а особенно не по сердцу им было предпочтение, оказываемое полякам, с которыми царь был знаком более, чем с другими европейцами. У ревнителей отечественной старины была ненависть против всего

---

[288] Сноски: 288
Hist. Russ. Monum., II, 164. — Хроногр. Арх. Ком.

иностранного, неправославного и немосковского. Все предшествовавшие цари за расположение в меньшей степени к иноземцам подвергались нареканиям. Ивану Васильевичу охотнее прощались бесчеловечия и варварства, чем дружба с Англией. Когда Борис затеял отдать дочь свою за датского королевича, его близкие родственники негодовали, и даже, когда этот царь поехал навестить умиравшего зятя, многие кричали: «Это недостойно царского величества; православный царь не должен навещать нехриста немца». Димитрий поступал так, как никто до него не поступал, и на каждом шагу оказывал уважение к иноземцам. Он сам любил ходить в польском платье лучше, чем в русском; за обедом, по обычаю польских панов, у него была музыка, чего не делалось при прежних царях, исключая однажды при Борисе. Он любил пышность польскую, а не московскую и без нужды не соблюдал заветных обрядов, сопровождавших царскую жизнь. Говоря по-русски, он нередко ввертывал польские обороты и поговорки. С первого раза видно было, что он сильно пропитался польским образом обращения. Он ни перед кем не стеснялся, но в то же время показывал вид, что зазнаваться полякам в Москве не даст. Отряд, проводивший

Димитрия в Москву, остался у него на службе. Сами бояре, подлаживаясь к сочувствию царя, просили об этом. Служилых поляков поместили в польском дворе. Воины они были хорошие, но вместе с тем народ буйный и своевольный, в их отечестве радовались, что избавились от них, когда они не слишком умели обуздывать свои страсти. Случилось однажды, они повздорили с московскими людьми: какой-то поляк Липский оскорбил московского человека; тогда его схватили и повели по улицам, подгоняя кнутом по московскому обычаю. Этого рода обращение не понравилось польским шляхтичам; они оскорбились, все вышли из посольского двора с обнаженными саблями и напали на русских, сделалась драка: нескольких убили, нескольких ранили, москвичи жаловались, что гости, живучи у них, осмеливаются нападать на них с оружием. Димитрий послал к полякам с такими словами: «Выдайте виновных, которые нападали на моих подданных с оружием; иначе я прикажу подвести пушки и истребить вас всех от мала до велика с двором, где вы живете». Поляки дали такой ответ: «Неужели это награда нам за кровавые услуги наши царю? Нас этим не устрашите; пусть мы станем мучениками, но пусть помнит

царь, что у нас есть король: узнает он о нашей судьбе, узнают и братья наши в Польше; мы, как прилично рыцарям, готовы защищаться, пока все не погибнем!» Димитрий отозвался с похвалою о их мужестве, но повторил требование, и уж ласковее, обещал оставить в живых виновных, но не хотел, чтоб их поступки прошли без наказания: того требовала справедливость; нужно было проучить поляков и успокоить своих русских подданных. Рыцарство выдало троих забияк. Димитрий выдумал им наказание необычное: запер их в одну из кремлевских башен, где натыканы были остроконечные колья и положены вверх острием косы, вверху над ними были по стенам приделаны узкие лавки; на эти лавки посадили виноватых поляков. Они там пробыли сутки, сидя на корточках; нельзя было им ни лечь, ни задремать: каждую минуту грозила им опасность свалиться. Такие меры не обуздали жолнерского своевольства; жалобы и столкновения были беспрестанные. По сказанию самих поляков современников[289], соотечественники их, живучи в Москве, оскорбляли жителей и делом, и языком, притесняли хозяев тех домов,

[289] Сноски: 289
Petricii, 85. — Borsza. Истор. Библ, I, 399–402.

где помещались, брали у них бесплатно припасы, вымучивали деньги, пьянствовали, развратничали, бесчинствовали, бегали по улицам с угрозами и похвалками на москвичей, задевали и били встречного-поперечного, чтоб показать, что никого не боятся.

Димитрий был так же благосклонен и к другим иноземцам, жившим в России. Он был милостив к немцам, которых так ценил за верность Борису. Он приглашал в Россию немцев, ремесленников, торговых и служилых, и благоволил к Густаву, сыну Эрика XIV, жившему в Московском государстве, изгнанному шведскому королевичу; несмотря на вражду к этому принцу Сигизмунда, польского короля, Димитрий держал его в чести и не лишал того, что было дано ему Борисом. Долго Московское государство было для Европы заповедною землею; если торговец приезжал туда, то не иначе как принятый на царское имя, и ехал за приставами. Столетия проходили, говорит поляк современник, и трудно было даже птицам летать в Московское государство, а в это время не только купцы — мелкие шинкари стали ездить туда[290].

Димитрий не казался очень прилежным к

---

[290] Сноски: 290
Lubieniecki. Poloneutychia, 157.

благочестию. Он знал хорошо Священное Писание, любил приводить из него примеры и тексты, опирался на него в своих суждениях о текущих делах. Но ему не приходилась по нраву та строгая исключительность, которая, по понятиям тогдашнего благочестия, требовалась от настоящего православного, особенно от царя православного. Димитрий говорил без околичностей с духовными и мирскими: «У вас в церкви только обряды, а смысл их укрыт; только в том поставляете благочестие, что посты сохраняете, иконы чествуете, мощам поклоняетесь, а никакого понятия не имеете о существе веры, не знаете догматов: ваши попы и архиереи — невежды и не учат народ; вы лицемерно славитесь своим благочестием и считаете себя самым праведным народом в мире, называете себя новым Израилем, а живете не по-христиански, недостойны высокого о себе мнения; вы развратны, злобны, мало любите ближнего, мало расположены делать добро». Он укорял их за религиозный фанатизм и доказывал, что недостойно христиан и безрассудно презирать иноверцев. «Что ж такое латинская и лютеранская вера? — говорил он. — Такая же христианская, как и греческая: и они во Христа

веруют!»[291] Когда ему говорили о семи соборах и неизменяемости соборных определений, он замечал: «Если семь было соборов, то почему же не может быть и восьмого, и десятого, и более?[292] Пусть всякий верит по своей совести. Я хочу, чтобы в моем государстве все иноверцы отправляли богослужение по своему обряду». Он хотел построить церковь католическую в Москве для солдат иноземцев и вообще для приезжающих в Москву из католических стран. Вельможи стали возражать. Димитрий говорил им: «Они христиане и вполне заслуживают этого внимания; почему же протестантам дозволено было прежде построить свою церковь? И для немцев-телохранителей я позволю пастору говорить проповеди в Кремле, чтоб не ходить им далеко в немецкую слободу». И, несмотря на ропот, он дозволил приехавшим с ним иезуитам Чиржовскому и Лавицкому отправлять в Кремле римско-католическое богослужение, хотя иезуиты, жившие в Москве, одевались как православные священники и носили бороды, вероятно, в предупреждение соблазна русским, привыкшим уважать духов-

[291] Сноски: 291
Хроногр. И. П. Б:, 485.

[292] Сноски: 292
Хроногр., хран. в Арх. Ком.

ное звание не иначе как в освященной давним обычаем одежде священников[293]. С ними он советовался о распространении просвещения в Московском государстве; по его поручению один из них написал к Антонию Поссевину и просил доставить печатную славянскую Библию и другие религиозные печатные книги. Царь хотел распространить чтение Св. Писания. Поссевин нашел только служебник, Новый Завет и маленький катехизис, печатанные для далматов, и обратился к тогдашнему тосканскому герцогу, который занимался печатанием книг на разных языках; он просил его обратить внимание на издание славянских книг для Московского государства. Разумеется, главная цель у кардинала была — введение римского католичества и подчинение папе русской церкви[294].

Димитрий не любил монахов, обвинял их в тунеядстве, смело грозил посягнуть на их достояние, велел сделать опись монастырских имений, говорил, что хочет оставить им только необходимое для содержания, а все прочее отберет в казну. По этому поводу он заметил: «Лучше пусть

---

[293] Сноски: 293
Pierling. Rome et Demetr., 110.

[294] Сноски: 294
Esame critico, 190.

пойдут их богатства на защиту святой веры и христианского жительства от неверных!»

Присматриваясь к обстоятельствам, Димитрий должен был приходить к убеждению, что дело европейского образования в Московском государстве следовало начинать с покорения Крыма. До тех пор, пока у Московского государства будет под боком это хищническое гнездо, из которого почти каждый год делались набеги, доходившие иногда вплоть до Москвы, для обитателей Московского государства не было безопасности и, следовательно, нельзя было думать о внутренних преобразованиях. Московская Русь находилась в бедственном положении от беспрестанных набегов татар; лучшие земли оставались незаселенными, украинное население загонялось в плен, а потом приходилось выкупать дорого пленных; неверные обогащались, а русский народ оставался в бедности; лучше разом решиться на смелое дело, покорить варваров и сделать их безвредными, чем томиться и страдать от беспрестанных разорений. Ему представлялась возможность освободить от турецкого ига восточных христиан и приобрести в истории бессмертную славу себе и своему народу. В те времена папы указывали на это блестящее призвание Московскому го-

сударству; Димитрий неизбежно должен был захватить в Польше мысль о таком призвании Московского государства и теперь, сделавшись царем этой страны, восхищался надеждою, что ему суждено исполнить это указание судеб. В этих видах он делал приготовления к войне с турками и замышлял склонить к содействию западные страны.

С самого прибытия в Москву война с турками и татарами не сходила у него с языка. Деятельно работали на пушечном дворе, делали новые пушки, мортиры, ружья[295].

Там подвизались приезжие иностранцы. Сам царь часто туда ездил, сам пробовал новое оружие. Он устраивал военные маневры, которые вместе были и потехою, и упражнением. В этих играх он сбрасывал с себя царственное достоинство, работал зауряд с прочими, не сердился, когда его в давке толкали и сбивали с ног, даже когда получал удары. Таких примерных сражений он устраивал несколько. Зимою на льду Москвы-реки он построил крепость; польская рота должна была брать ее. На окнах сделаны были изображения чудовищ, знаменовавших татар-

---

[295] Сноски: 295
Bussow, 39.

скую силу, которую царь намеревался побеждать. Московские люди испугались этих чудовищ: они им напоминали чертей. Летом и осенью строил он земляные укрепления и приказывал одним брать, другим защищать, чтоб таким образом познакомить своих служилых с искусством овладевать укреплениями[296]. Близ села Вяземы он устроил зимою из снегу крепость, но сделал ту ошибку, что разделил стороны по народностям: русские должны были защищать, а поляки и немцы брать. Вместо оружия следовало употреблять снежные комки. Димитрий с иноземцами взял крепость, полонил воеводу и с похвальбою сказал: «Вот так я завоюю Азов и возьму в плен татарского царя!» После этой игры последовало угощение. Димитрий велел играть музыкантам; раздались песни, полились напитки; но тут один боярин сказал ему тихонько: «Царь, у немцев снег в комках был очень тверд, нашим фонари под глазами поставили; князья и бояре рассердились, у них у каждого по острому ножу за поясом: как бы кровавой пирушки не вышло из этого!» Димитрий должен был осторожнее обращаться с такими потехами. Русские оскорблялись, когда

[296] Сноски: 296
Is. Mass., 81.

иноземцы, будучи в их земле, слишком явно гордились преимуществами своего воспитания и гласно честили русских невеждами и варварами. Димитрий хотел, чтоб между ними было согласие, чтоб иноземцы были снисходительны к русским, а русские сознавали бы преимущества иноземцев. Это было невозможно[297].

Предполагаемая война с мусульманским миром была главным поводом его внешних политических сношений. Сам он без союзников не мог отважиться на такую борьбу. Прежде всего ему нужно было содействие польско-литовской Речи Посполитой. Он мог надеяться на немецкого императора, владетеля венгерских земель, не раз испытавших на себе наплыв грозной и многолюдной турецкой силы; в последнее время все приглашения к союзу против Турции от него исходили; и Димитрий, казалось, был ему давно желанным союзником. Богатая Венеция должна была пособлять этому союзу деньгами и своим флотом в надежде утвердить свое надломленное господство в Архипелаге. Димитрий предполагал отправлять посольства к испанскому королю и римскому императору и вместе с тем просить па-

[297] Сноски: 297
Bussow, 41. — Petr., 181.

пу о воздействии на этих католических государей к заключению союза с московским царем против турок в видах пользы всему христианству[298]. Но с особенным сочувствием думал Димитрий о союзе с Генрихом IV французским[299]. Этого государя он уважал более всех, слушал с участием рассказы о нем от француза Маржерета, хотел завязать с ним дружеские сношения и намеревался отправить к нему посольство после своей свадьбы. Было много такого, что привлекало его к Генриху; казалась подобною судьба французского государя его собственной судьбе: так же точно он добыл оружием престол, так же был великодушен к врагам, каким хотел казаться московский государь; Димитрий сочувствовал желанию Генриха даровать как можно более удобств жизни и благосостояния своим подданным. Как Генрих, бывши в душе протестантом, должен был уживаться с римско-католическими подданными и увертываться от римско-католического фанатизма, так и Димитрий, со своим широким и свободным взглядом на религию, должен был сживаться с исключительностью

[298] Сноски: 298
Pierling. Rome et Demetrius. Pieces justificatives, 170.

[299] Сноски: 299
Maiger., 96.

древних народно-религиозных понятий в своем царстве, да вдобавок избавляться от покушений иезуитов держать его в своих сетях.

Но, отложивши сношения с отдаленною Франциею, он вступил в сношение по вопросу о войне против Турции с Польшею и с папою, главою римско-католического мира. Казалось, общие интересы должны были расположить Польшу к союзу: Польша должна была получить одинаковые выгоды с Московским государством в предполагаемой войне. Польские владения равномерно опустошались татарами, как и московские; обе страны находились в состоянии беспрерывной войны с Крымом и должны были в равной степени истощать свои жизненные силы и свою деятельность на постоянную защиту своих южных границ; на окраинах обеих стран были казаки, которые столько же могли быть полезны для государства, если их правильно употребить на войну с турками, веденную ими и без того набегами, сколько и гибельны, если, допустив существование казаков, стеснять их стремления извне и тем самым дать повод обратиться внутрь. Опыт предыдущей истории уже показал, что Речь Посполитая и Московское государство, предоставленные собственным одиночным силам, не

могли обезопасить своих пределов от неверных, тем более что одна страна не только не помогала другой против татар, но в пагубном заблуждении каждая думала обратить в свою пользу бедствия другой; пора было опомниться и понять, что всякий раз, когда одна из этих стран возбуждала татар против соперницы, в то же время она делала вред самой себе или приготовляла его на будущее время. Только при взаимном содействии можно было и той и другой избавиться от неизбежного зла. Папы издавна, по старому преданию, хотели подвинуть христианство против мусульманского Востока и всегда были рады такому союзу. Со времени завоевания Константинополя турками крестовый поход сделался стереотипною фразою у Римского двора. Но, к сожалению, и папа, и Сигизмунд прежде всего надеялись осуществить иного рода виды на Димитрия: папа рассчитывал посредством его покорить Россию своей духовной власти, а Сигизмунд надеялся, что московский государь, возведенный на престол при помощи поляков и расположенный вдобавок жениться на польке, будет покорным вассалом польского короля. И с тем и с другим Димитрий должен был увертываться. Зоркие взоры святого отца, римских кардиналов, папского нунция

в Польше, римско-католических епископов и иезуитов не переставали следить за ходом дел в Московии и за ее новым государем. Как только Димитрий уселся в Москве, папа Павел V прислал к новому царю поздравительную грамоту, писанную в июле, напоминая, что он уже принял римско-католическую веру, побуждал сохранять ее, поучал, что он станет сильнее молитвами, чем оружием, и советы благочестивых мужей будут ему полезнее советов крепких в бранях вождей. В письмах к краковскому епископу Мацейовскому, родственнику Мнишека, святой отец просил этого прелата содействовать со своей стороны воеводе во влиянии, какое тот имеет на Димитрия. В Риме верили, что для обращения в римское католичество России достаточно, если царь этой страны принял эту веру. «Мы узнали, — было сказано в этом письме, — что Димитрий не только с детства напитан римско-католической религией, но и возгорелся истинною любовью к Богу и предан римской церкви. С твоим благоразумием ты поймешь, как это полезно для римско-католической церкви. Мы не сомневаемся, что если Димитрий, как надеемся, пребудет тверд, то и все московиты будут приведены к лону святой римской церкви. Этот народ, как мы

узнали, бесконечно предан своим государям»[300]. Папа писал к Мнишеку в выражениях самых льстивых, наиболее способных пленить его высокомерие, приписывал обращение Димитрия заботам воеводы, прославлял его благоразумие и способности. «Сам знаешь, — было сказано в письме его, — что наше давнее желание — привести народ московский, издавна отпадший от римско-католической религии и блуждающий во тьме, в лоно святой церкви. Обрати все помышления твои, все разумение твое на великое дело славы Божией, на спасение ближних, чтобы московиты присоединились к римской церкви. Употреби все старание и все прилежание, чтоб ревность к вере Димитрия не только утвердилась, но умножилась и исполнилась, и будет тебе слава пред людьми и вечное спасение у Бога на небеси»[301]. Папа писал к королю Сигизмунду, похвалял его за расположение к Димитрию во время его пребывания в польских владениях. Святой отец выражался так: «Так как Димитрий, будучи изгнанником в Польше, принял католическую веру и, сколько мы думаем, хранит ее, то

---

[300] Сноски: 300
Hist. Russ. Mon., 62.

[301] Сноски: 301
Ibid., 63.

этим путем, надеемся, введется она в Московское государство. Уже и теперь немало принесено пользы от твоего покровительства. Это мы тебе замечаем для того, чтобы ты и на будущее время помогал нашему делу». Король в ответ писал ему утешительное известие, что Димитрий не изменяет своему обещанию и покровительствует католикам в своем государстве[302].

В августе папа, не зная образа мыслей Димитрия, отправил в Польшу племянника нунция Рангони, Александра Рангони, с тем чтоб он ехал в Московию лично поздравить Димитрия и переговорить с ним о деле веры. Он повез доверительные письма от святого отца к Димитрию, где папа извещал московского царя, что поручает послу говорить с московским государем откровенно[303]. В Польше лучше знали ненависть московских людей к римскому католичеству, чем в Италии, и не советовали ехать в Московское государство папскому послу. Сам Сигизмунд был против этого. Когда в Риме узнали, что король не хочет отправки посла, то также запретили

[302] Сноски: 302
Рукоп. Имп. П. Библ., IV. — Hist. Polon. № 119.

[303] Сноски: 303
Hist. Buss. Monum., II, 64.

нунцию посылать его[304].

Сообразили, что лучше узнать мысли Димитрия от его посла, когда он пришлет его в Польшу. Но папский нунций, не дождавшись запрещения из Рима, послал племянника в Москву. Молодой Рангони приехал в столицу и был принят отлично: его встретили за несколько верст с пушечными выстрелами, с колокольным звоном, с трубами, литаврами, с большим стечением нарядно одетых дворян и детей боярских, как вообще встречали знатных послов. Димитрий сделал ему пышный прием, сидя на троне, окруженный духовными и светскими сановниками, изумил итальянца и его свиту блестящим богатством золотых сосудов и одежд, обилием медов и вин. Он поговорил с ним наедине. Что он говорил, осталось тайною, но не видно, чтобы Рангони вывез что-нибудь утешительное: напротив, его выпроводили как можно скорее, под предлогом, что москвитяне не привыкли к таким посещениям и уже толкуют приезд Рангони в дурную сторону[305].

В сентябре святой отец написал письмо к Димитрию, где доказывал, что одна только есть

---

[304] Сноски: 304
Ibid., 79–80.

[305] Сноски: 305
Hist. Russ. Monum., II, 53–54.

истинная вера, ведущая к спасению, — римская, по благословению Христа, давшего власть апостолу Петру, основанная на камне, которую не одолеют врата адовы и только на ней, как на твердом камне, могут незыблемо стоять земные царства[306].

В ноябре Димитрий писал к нунцию письмо, не упоминал вовсе об этом сентябрьском письме св. отца, ссылался только на письмо папы к нунцию в Польше. Нунций прислал к нему латинскую Библию нового издания и напоминал со своей стороны, чтоб он торопился соединить греческую церковь с римской[307]. Но и эти уловки не привели Димитрия к тому, чтоб решительно высказаться так, как бы хотелось папе. В конце 1605 года Димитрий отправил к папе своего домашнего иезуита Андрея Лавицкого. В грамоте, которую он повез, не было и намека на обещание вводить католичество в русской земле, не говорилось и о собственном принятии римской веры, не было даже уверений в особенном расположении царя к римскому католичеству. Вместо чего-нибудь подобного царь говорит: «…возложа надежду на

---

[306] Сноски: 306
Ibid., 68.

[307] Сноски: 307
Собр. гос. грам., II, 219.

Божию помощь и покровительство, мы намерены проводить жизнь не в праздности и не в бездействии, стараться о святой церкви и христианстве и обратить оружие наше вместе с силами императора римского на врагов святого креста; а так как для всего христианства — естественные причины к этой войне, то мы, приступая к ней, с полнотою души уповаем, что Бог даст намерению нашему свое благословение, ибо оно будет полезно всем прочим христианам; поэтому мы надеемся, что ваше святейшество одобрите его, и просим убедительно ваше святейшество, по вашему значению у императора римского, убедить его величество — не заключать с турками мира, но войти в общий с нами совет о продолжении войны против них»[308].

После отъезда Лавицкого папа не оставлял Димитрия и письмами, и нарочными, и 5 марта Димитрий написал снова письмо, кажется, уже последнее в своей жизни, к папе, где ни более ни менее как только благодарил за внимание, оказанное к нему во время его борьбы с изменниками, потом за поздравления по поводу обручения с Мариною и наиболее за выраженное

---

[308] Сноски: 308
Собр. гос. грам., II, 243.

расположение и добрые советы, клонящиеся к славе Божией, благосостоянию христианского общества и процветанию московской державы. В заключение он извещал, что граф Александр Рангони, вероятно, сообщал ему о приеме его, и рассыпался в похвалах высоким качествам этого господина. Категорически высказанной готовности сделать то, чего добивались папы, не было и в этом письме, как в предыдущем[309].

Эти послания доказывают, что Димитрий вовсе не имел намерения исполнить то, что обещал когда-то в Кракове, — вводить римско-католическую веру в Московском государстве, даже и не считал себя принявшим ее лично. Католики могли уже понять тогда, что вся формалистика, совершенная им когда-то в Кракове, не имела нравственной подкладки. Ответ святого отца на письмо царя от 5 марта, уже не заставший Димитрия в живых, показывает то же: папа хотя и говорит ему о великом поле для жатвы, но замечает, что иезуит сообщал ему не такие утешительные вещи, каких он ожидал, и советовал отдалить от себя еретиков и слушаться

[309] Сноски: 309
Письмо Димитрия, сообщенное г. Минцлофом.

благочестивых мужей[310]. В то же время, как ни побуждал его в своих беспрестанных письмах нунций из Польши, Димитрий не отвечал ему ни малейшими намеками на согласие вводить католичество в своей земле, хотя в наказе, данном Лавицкому, хлопотал пред лицом папы о даровании кардинальской шапки нунцию Рангони, которого называл своим приятелем. Одним словом, папа и нунций писали ему о распространении римского католичества, а он им о войне с турками, показывая как будто, что прежде нужно сделать что-нибудь для этого вопроса, а потом уже говорить о другом. Иезуит Лавицкий уехал из Москвы со своим поручением в Рим в конце декабря 1605 года. Оставшийся его товарищ Чиржовский не мог без труда добиться свидания с глазу на глаз с царем. 15 февраля 1606 года иезуит собрался было сделать царю пастырский выговор за приближение к себе еретиков, но встретил близ царя ненавистного для иезуитов Бучинского и какого-то приближенного русского боярина. Димитрий умышленно наводил разговор на другие предметы, хотя тут же расхваливал иезуитов за услугу, оказанную ему во время похода из поль-

---

[310] Сноски: 310
Hist. Russ. Mon., II, 90 и д.

ских владений в Московскую державу, когда они своими убеждениями удержали находившихся при Димитрии поляков, порывавшихся уйти восвояси. Через несколько дней Чиржовскому удалось-таки увидеться с царем наедине. Царь говорил с ним о желании пригласить в Московское государство провинциала иезуитского ордена в Польше Стриверского, неизвестно с какою целью. Но никаких особенных надежд не получил Чиржовский от этого свидания, кроме подаренной ему богослужебной утвари как образчика работы московских серебряков. Сам Чиржовский видел, что над царем собираются грозные тучи и затевается заговор между боярами, да и между народом, возбуждаемым попами, распространялось недовольство царем за то, что он собирается вступить в супружество с католичкою[311].

Сигизмунд вскоре после венчания Димитрия прислал посланника своего Александра Корвина-Гонсевского с поздравительною грамотою, очень короткою, где поручалось верить посланнику и словам его наказа. Как только разнесся слух, что едет польский посланник в Москву, дворяне из Ржевы Володимеровой и Зубцова приехали к

[311] Сноски: 311
Pierling. Rome et Demetrius, 117. — Pieces justificatives, I, № 8, 166–167.

нему на дорогу и говорили: «Мы выехали нарочно бить челом и воздать хвалу его величеству королю, вашему государю, и всей Польше за то, что наш прироженый, государь Димитрий Иванович укрывался от беды в землях королевских, никакого насильства не потерпел у вас, в добром здоровье приехал в Москву и сел на престол предков своих». Когда он приехал в Москву — и там ему заявляли такую же благодарность, как будто вся земля русская согласилась говорить одно и то же. «Дай Бог много лет здравствовать королю Сигизмунду! — говорили русские. — Дай Бог, чтоб и вперед было между нами и вами братское согласие»[312].

Гонсевский прежде всего, — как говорится, не в бровь, а в глаз, — припомнил Димитрию, что король в его несчастии и унижении оказывал ему любовь, пособлял и помогал в отыскании отеческого наследия, сколько было возможно, и теперь готов оказывать прямую любовь, если от Димитрия будет видеть взаимность. Затем он сообщил Димитрию от имени короля по секрету, что распространяется слух, будто Борис жив: проявился на Украине и Литве, во владениях

---

[312] Сноски: 312
Supplem., 437.

королевских, какой-то Алешка; родился он от иноземца, крещен в детстве Борисом в греческую веру, служил в крестовых дьяках, потом в приказах Стрелецком и Казенном; и вот что рассказывает этот Алешка: когда Димитрий был еще в Путивле, волшебники, которых Борис держал при себе и доверял им, сказали ему, что пока Борис будет сидеть в Москве, то не оборонится от Димитрия, но если б он на время выехал из Московской земли в чужую, а сын его Федор сделался бы царем, то он бы мог удержать за собою царство и оборониться от врагов; тогда Борис опоил какого-то человека, похожего на себя, велел положить в гроб и распустил молву, будто Борис умер: не знал этого даже и сын — и тот думал, что отец умер; знали тайну только Борисова жена да Семен Годунов; сам Борис, набравши золота, серебра и разных драгоценностей, под видом торгового человека уехал в Англию и там теперь находится. Король, как услышал об этом, велел узнать, действительно ли так, как говорил Алешка. А между тем ему известно, что многие люди не преданы Димитрию в Московском государстве, и поэтому он велел своим украинным воеводам быть на всякий случай наготове для обороны московского государя: им будет приказано выступить, куда

окажется нужно по грамоте Димитрия.

Ясно было, что король хотел уверить московского государя, что его дело шатко и зависит от милости и покровительства польского короля. Обрисовавши таким образом положение Димитрия, посланник Сигизмунда домогался, чтоб Димитрий помогал королю за его расположение против шведского короля Карла, отнявшего престол у Сигизмунда. От московского государя требовалось: когда придут послы от шведского короля, то их задержать и отослать к польскому королю; да еще хотел Сигизмунд, чтоб проживающий в России шведский королевич Густав, сын Эрика, не пользовался приютом и честью; чтоб польским служилым людям выплачено было жалованье; чтоб торговым людям из Польши и Литвы предоставлена была свободная торговля и, наконец, чтобы дозволено было возвратиться семейству Хрипуновых, которое убежало в Литву, спасаясь от Бориса.

Димитрий положительно согласился на свободную торговлю купцов литовских и на возвращение Хрипуновых, потому что первое предоставлялось не только литовским, но и всем вообще иноземным купцам в его государстве; а второе — вероятно, потому, что всем измен-

никам во времена Борисовы можно было смело возвращаться в отечество, когда в нем царствует государь, низвергнувший Бориса. Относительно прочего Димитрий сразу показал, что не хочет играть подначальной роли у Сигизмунда и что его нельзя принудить каким-нибудь страхом. «Мы уверены, — отвечал он, — что Бориса нет в живых, и нам не угрожает ниоткуда опасность; но мы вообще благодарим за предостережение и за готовность помогать в случае, если б явилось что-нибудь враждебное; о шведских послах тогда станем совещаться и думать с королем Сигизмундом, когда эти послы приедут. Густава же я держу у себя не так, как шведского королевича, а так, как смышленого человека. Что же касается до шведского Карла, то я готов дослать ему суровый отзыв». Гонсевский, по поручению короля, напомнил ему об исполнении условий, которые лежали в шкатулке у Боболи. Димитрий заявил, что не король Сигизмунд посадил его на московский престол, а Московского государства народ сам признал его, увидавши законного наследника своих государей, следовательно, и нельзя требовать от него жертв в виде вознаграждения. Он давал согласие стараться всеми силами, чтоб устроилось вечное соединение Московского го-

сударства с Польским для чести и благополучия обоих народов, но отказывал строить костелы и вводить римско-католическое духовенство, особенно иезуитов, во вред отеческой вере. Довольно было терпимости, которая оказывалась всем вообще иноверцам в государстве: всякое явное покушение на введение католичества или подчинение Русской церкви римскому первосвященнику возбудило бы против царя подданных, погубило бы его самого преждевременно и никакой пользы не принесло бы католичеству. Он объявил, что исполняет свое обещание жениться в Польше и хочет сочетаться браком с дочерью сандомирского воеводы. Обещание действительно исполнилось буквально, может быть, и к тайному неудовольствию короля Сигизмунда, если в самом деле последний, как тогда некоторые полагали, рассчитывал отдать свою сестру за московского государя. Что касается до отдачи Смоленска и Северской земли, Димитрий объявил тогда, что это совершенно невозможно: Москва не дозволит этого никогда. Но так как в Польше находилась еще невеста царя, то он рассудил, что не следует раздражать Сигизмунда до тех пор, пока ее не отпустят к нему; он объявил, что вместо этих земель, из любви и рас-

положения к польскому королю, впоследствии поможет ему при нужде денежною суммою, но не определил, в каком размере. Конечно, это говорилось без твердого намерения сделать или с надеждою повернуть со временем вопрос иначе, чтоб, по-видимому, исполнить обещание, но так, что исполнение будет выгоднее для Московского государства, чем для Польши[313].

«Прежде, — сказал Димитрий, — мне нужно удостовериться, в какой любви и в каком союзе будем мы находиться с польским королем. А теперь пока мы видим, что король убавляет наш титул и именование»[314].

Димитрий потребовал, чтоб в грамотах, писанных на его имя, его именовали не только великокняжеским, но и царским титулом, который он по справедливости имеет от предков; он переводил *царский* титул на латинский язык и потребовал, чтоб его писали *цесарем;* да еще прилагал к своему титулу эпитет *непобедимый*, по образцу польскому. Это было заявлено потому, что польский король начинал обращаться с ним как с вассалом, и Димитрий хотел на пер-

[313] Сноски: 313
Рукоп. Библ. Красин. В. 3.

[314] Сноски: 314
Собр. гос. грам., II, 216.

вых порах не дозволить ему дальнейших шагов в этом роде: требованием высокого титула он хотел прекратить притязания Сигизмунда, ибо императорский титул ставил его по значению выше польского короля; вместе с тем через это он хотел не дозволить польскому королю и полякам смотреть свысока на политическое значение Московского государства и строить на его счет честолюбивые планы. Но чтоб до поры до времени не раздражать польского короля, он, чрез племянника папского нунция Александра Рангони, сообщал, что хотя и требует цесарского титула и не перестанет его требовать, однако не намерен вступать из-за него в войну: он принужден так поступать ради своих подданных, ибо между ними распространился слух, будто бы он хотел отдать королевству Польскому часть земель своих; надобно же противными поступками рассеять эти слухи[315].

[315] Сноски: 315
Щерб., VII, 18, 48. — Рук. Библ. Красин., ibid.

IV. Посольство в Польшу дьяка Афанасия Власьева. – Обручение с Мариною Мнишек

Осенью Димитрий выслал в Польшу послом Афанасия Власьева. Посол этот повез королю грамоту и подарки; ему было поручено совершить по католическому обряду обручение с панной Мариной и препроводить ее с отцом в Москву. С ним поехало до двухсот подвод, на которых повезли подарки несметной цены; их провожало до сорока дворян, кроме прислуги. Посольство это прибыло в Краков 29 октября и остановилось в доме воеводы. Через два дня явились к нему королевские паны с поздравлением о прибытии. Значение Власьева было особенно важно: кроме того, что он был посол и представлял лицо государя своего в политическом отношении, как всякий посол, он должен был представлять его лицо как жениха. Посол явился к сандомирскому воеводе, объявил ему подарки от нареченного зятя — коня в яблоках (что считалось достоинством), верховой прибор с золотой цепью вместо поводьев, оправленную дорогими камнями булаву, меха,

расшитые золотом, персидские ковры и разные дорогие вещицы, да живого соболя, живую куницу, трех кречетов. 4 ноября пригласили посла к королю Сигизмунду. На этом первом представлении посол представил царскую доверительную грамоту, потом должен был, по своему наказу, излагать предложение о войне с турками. Власьев сказал:

«Божьею милостию, великий государь царь и великий князь Димитрий Иванович, всея Руси самодержец, вам, великому государю, приятелю и соседу своему королю Сигизмунду, велел говорити: за грехи всего христианства, по несогласию государей христианских, неприятель святого креста, султан турецкий, овладел многими христианскими странами, и наипаче Грециею, где есть корень и слава всякого благочестия, благословенным Вифлеемом, где изволил родиться Господь наш Иисус Христос, Сын Божий и Слово, священным Назаретом и Галилеею, и Поморскою страною, и Иерусалимом, самым святым градом, где Господь наш Иисус Христос, сотворивши многие чудеса, принял вольную страсть и смерть за спасение наше и в третий день воскрес; все эти священные места видим поныне в суровых руках измаильтян; наша святая православная хри-

стианская вера повсюду попираема и унижена; христиане как стадо без пастыря; злобная власть неверных повсюду простирается и распространяется, покоряет многие христианские государства и ничем ненасытима пребывает. Ныне доходит до нашего царского величества весть, что неприятель всего христианства и креста святого, турецкий султан, у Рудольфа императора римского в Венгерской земле покорил области и замки и во многих местах правоверным христианам чинится утеснение. О сем мы, великий государь Димитрий Иванович, искренно сожалеем и усердно Бога просим и о том намерены промышлять, чтоб нам, всем государям христианским, быть между собою в дружбе, любви и соединении, дабы нашим, великих государей, старанием, христианство освободилось от бусурманства и рукою нашею было возвышено, а неверие бы падало. А вам, великому государю Жигимонту, напоминаем и с любовью об этом извещаем и желаем от вас узнать: какова будет ваша мысль о таких важных делах, дабы вам, великому государю, приятелю и соседу нашему, помыслить об этом, и нам, великому государю, объявить мысль свою чрез нашего подскарбия и наместника муромского думного дьяка и отпи-

сать об этом: как ваше помышление о том, чтоб нашим государским старанием христианство было освобождено от их рук неверных»[316].

Исправивши посольство, Власьев представил королю подарки собственно от себя: соболей, три коня с прибором, бриллиантовый перстень и лук с колчаном и стрелами с золотой оправою.

О сватовстве не говорилось на этом первом представлении, дело частное отложено было до другого раза.

На другой день король пригласил русских на бал. Сам посол не присутствовал на нем, отговорившись нездоровьем.

8 ноября было второе представление. Московский посол объявил о желании своего государя от его имени такими словами:

«Мы, великий государь цесарь и великий князь всея Руси самодержец, били челом и просили благословения у матери нашей великой государыни, чтоб она дозволила нам, великому государю, соединиться законным браком ради потомства нашего цесарского рода и пожелали взять себе супругою великою государынею в наших православных государствах дочь сандомирского

---

[316] Сноски: 316
Рукоп. И. П. Библ. — Hist. Polon., IV, № 119.

воеводы Юрия Мнишека, потому что, когда мы находились в ваших государствах, пан воевода сандомирский нашему цесарскому величеству оказал великие услуги и усердие и нам служил, и ты бы, государь, брат наш король Сигизмунд, позволил сандомирскому воеводе и его дочери ехать к нашему цесарскому величеству и для братской любви сам бы ты, великий государь, был у нашего цесарского величества в Московском государстве».

9 ноября приехала невеста с матерью из Самбора в сопровождении своих родственников.

12-го числа был день обручения. Оно совершалось в каменном доме ксендза Фирлея. В приготовленную залу прибыл король Сигизмунд с сыном Владиславом и сестрою, носившею титул шведской королевны. Кардинал Бернард Мацейовский с двумя прелатами стоял в драгоценном церковном облачении и готовился священнодействовать. За ним стояла толпа церковников, одетая в блестящих стихарях. Двое панов, воевода серадзский Александр Конецпольский и каштелян гнезненский Пржиемский, ввели посла. За ним двое служителей москвитян несли шелковый ковер, на котором должны стоять обручаемые. Посол поклонился Сигизмунду, а

Сигизмунд не привстал и даже не приподнял шапки, которая, по тогдашнему обыкновению, была у него на голове. Этим, как многими другими выходками, король польский хотел постоянно показывать, что считает себя выше и важнее московского государя. Королевич Владислав, напротив, снял шапку. Откланявшись всей королевской семье, посол стал на своем месте.

Тогда двое панов, воевода ленчицкий Липский и каштелян малогосский Олесницкий, привели невесту. Марина одета была в белое алтабасовое платье, унизанное жемчугом и драгоценными камнями; на голове у нее была многоценная корона, с которой по распущенным черным волосам скатывались вниз нитки жемчуга, перемешанного с каменьями. Королевна стояла близ Марины и была ad actum, как называлось. Король стоял рядом с кардиналом. Двое особ стояли близ послов, двое — близ Марины и составляли ассистенцию. Посол начал речью; она не была длинна: в ней он только изложил, что царь послал просить ему в супруги дочь воеводы сандомирского. Он окончил речь свою обращением к Мнишеку и просил его благословения. Потом говорил краснословенную речь канцлер Лев Сапега, который тогда в Речи Посполитой славился искусством

ладно и складно говорить. На речь его дал ответ Липский, воевода ленчицкий, и расхваливал качества московского царя такими словами: «Невозможно достойно прославить признательность и благоразумие царя; он, раз принявши намерение, в воспоминание радушия, оказанного ему воеводою сандомирским, и почетного приема при дворе его величества, теперь вступает в супружество с дочерью пана воеводы». После этих речей говорил речь кардинал: он вспомнил несчастное состояние Москвы, когда москвитяне хотели даже за морем и у соседей отыскивать себе государя; наконец Бог дал им царя настоящего, природного. Кардинал сказал: «Признательный за благодеяния, оказанные ему в Польше королем и нациею, царь Димитрий обратился к его милости королю со своими честными желаниями и намерениями и чрез тебя, посла своего, просит руки вольной шляхтянки, дочери сенатора знатного происхождения; царь желает показать этим благодарность и расположение к польской нации. В нашем королевстве люди вольные; не новость панам, князьям, королям, монархам, а равно и королям польским искать себе жен в домах вольных шляхетских; теперь такое благословение осенило Димитрия, великого князя

всей Руси, и вас, подданных его царского величества, ибо он заключает союз с королем государем нашим и дружбу с королевством нашим и вольными чинами».

В речи кардинала проглядывало то же, как и у Сигизмунда, желание дать заметить, что Димитрий, облагодетельствованный Польшею, обязан помнить благодеяния и считать себя ниже польского короля, а свою нацию ниже польской.

По окончании этой приветственной речи запели *Veni Creator*. Все стали на колени, кроме посла и шведской королевны. Кардинал, обратившись к Марине, произнес текст псалма: «Слыши, дщи, и виждь, и приклони ухо твое, и забуди дом отца твоего». Этим он намекал на то, что она уходит в чуждую землю; он сравнивал посла со слугою Авраама, который посылал в чужую землю своего раба за невестою своему сыну Исааку. Кардинал, по обряду обручения, спросил посла: «Не обещал ли царь прежде кому либо?» — «А почему я знаю! Он мне этого не говорил», — сказал посол. Этот ответ развеселил всех. Паны ассистенты объяснили ему, что кардинал спрашивает об этом потому, что так следует по обряду. Власьев на это замечание удивил поляков своим простодушным ответом: «Коли б кому обещал, так бы меня сюда

не слал!» Кардинал по римско-католическому обряду сказал: «Говори за мною, посол!» — и начал говорить по-латыни; Власьев стал было говорить за ним и удивил поляков, когда произносил правильно и показал, что латинский язык ему знаком. Но потом Власьев не хотел продолжать и сказал: «Панне Марине говорить имею я, а не ваша милость». Он проговорил Марине обещание от имени царя, а Марина — царю от своего имени. Когда пришло до перемены перстней, посол бережно вынул из маленькой коробочки перстень с алмазом величиною в большую вишню и дал кардиналу; кардинал надел его на палец невесте и, взявши от нее другой перстень, хотел надеть на палец послу; но Власьев не осмелился не токмо что надеть его себе на палец, даже дотронуться до него голыми руками, а взял его через платок и спрятал в коробочку. Далее кардинал хотел связывать им руки: Власьев не считал себя достойным прикоснуться голой рукой до руки царской невесты и потому обернул себе руку платком, который приказал нарочно подать для этого. Насилу ассистенты принудили его дать Марине руку, доказавши ему, что он здесь не своим лицом действует, а изображает своего государя. Как только обряд окончился, капелланы

кардинала приняли ковер, на котором стояли обрученные, а посол выкупил его за сто червонных. Это означало вознаграждение за обряд.

После обручения все пошли в столовую к обеду. Посол шел за королем, а за ним сорок московских дворян несли подарки невесте. Вместо матери невесты, которая была тогда нездорова и не явилась к обручению, отбирала их бабка Марины, пани Тарлова. Прежде всего отдан был подарок от будущей свекрови, царицы Марфы Федоровны: образ Святой Троицы, оправленный богато золотом с камнями. Потом следовало двадцать девять нумеров подарков от царя. Подарки эти были очень драгоценны и затейливы. Кроме разных сортов материй, венецианских бархатов, турецких атласов и ста двадцати пяти фунтов жемчугу, бросались в глаза кое-какие искусно обделанные вещи: так, поляки засмотрелись на золотые часы, на которых сверху стояло изображение слона с башнею; эти часы были тем замечательны, что выделывали разные «штуки московского обычая»: били в бубны, играли на флейтах и на двенадцати трубах так громко, что оглушили присутствовавших, а в конце всего ударили два часа, как тогда было это время дня. Обращало на себя внимание изображение корабля, сделанное

с чрезвычайным искусством и прелестью из золота с каменьями и жемчугами. Затем рассматривали с любопытством золотого вола: фигура эта раскрывалась, и в средине ее укладывался домашний прибор. Нравился полякам и серебряный позолоченный человек, сидящий на олене с коралловыми ногами, стоявшем на верху большого сосуда, сделанного из цельного дорогого камня в виде птицы с крыльями. Любовались они и серебряным пеликаном, пронзающим клювом собственное сердце, чтоб кровью накормить детей, и золотою павою с красиво распущенным хвостом: у ней перья дрожали, как у живой птицы. Кроме того, очень красивою показалась им запона с жемчужиною величиною с грушу; далее — перстень, чарки: золотая, коралловая, гиацинтовая, крестики, золотое перо с лалами. «Вот истинно царские подарки!» — все говорили в один голос.

Сам посол от себя прибавил подарки, в числе которых заметен был персидский ковер с вытканными с обеих сторон золотыми фигурами. Потом он явил подарки от царя воеводе; из них дороже и нагляднее был опять конь с прибором: об этом последнем, разумеется, посол только заявил здесь словесно.

После приема подарков начался обед. Стоял стол, который заворачивался двумя краями. Посредине сел король, близ него, на правом углу, поместилась нареченная царица московская; на левом — королева и королевич Владислав; напротив сидели кардинал и папский нунций. Посла посадили подле царской невесты, но надобно было поломаться, чтоб посадить его: москвич упирался и говорил, что недостоин обедать за одним столом с царственными особами; он боялся, чтоб ему не было за это чего-нибудь от царя; в Москве этого не предвидели и в наказе не написали. Когда, наконец, его таки убедили сесть, он остерегался, чтоб своею одеждою не коснуться одежды своей будущей государыни. В продолжение обеда он не ел. Король чрез пана Войну спросил его: что значит, что он ничего не ест? Посол отвечал: «Не годится холопу есть с государями». После такого ответа ему воевода сандомирский заметил, что он теперь носит на себе лицо своего государя. Посол отвечал: «Благодарю его величество короля, что меня угощает во имя моего государя, но мне не пристало есть за столом такого великого государя, короля польского, и ее милости королевны шведской; я и тем доволен, что смотрю на обед таких высоких особ!» Полякам казался такой

способ уважения к царственным особам диким и чересчур раболепным. Но и Марина ничего не ела за обедом. Когда по польскому обычаю пред обедом носили тазы с умывальником и подавали умывать руки, посол не стал мыть рук, ибо не намеревался есть за столом; но он не отказался пить, когда пили за здоровье: отречься ему от такого питья значило бы отрекаться от желания здоровья и благополучия. По польскому обычаю пили за столом круговую, обращаясь с чаркою друг к другу. Король послал своего подчашего к Марине; тот говорил поздравление, а король, привставши со стула, пил; потом царица послала своего подчашего к королю: он проговорил поздравление, а Марина в это время, вставши, пила. Потом королевна пила, обращаясь к царице, царица к королевичу, королевич к послу, а посол, когда ему приходилось пить, обратившись к кардиналу, встал со стула, стал за стулом и выпил из другой чарки. Потом царица пила за здоровье царя, обращаясь к послу, а посол, когда ему пришлась очередь пить, снова стал за своим стулом и пил, обращаясь к королевичу. В той же зале были еще столы гораздо длиннее: направо обедали духовные и светские сенаторы, а налево — разные старосты, королевские дворяне и

с ними двадцать человек московских дворян, приехавших с послом. Поляки с омерзением глядели, как московские люди брали руками из мис кушанье и посылали горстями в рот.

Пир продолжался до ночи. В других покоях обедали дамы и придворные обоего пола. Когда подавали сласти (wety), воевода подарил королю, королевичу и королевне сосуды, а московский посол подарил от себя Марине вышитый золотом ковер и сорок соболей. После обеда заиграла превосходная музыка, коронный и литовский маршалки двора «учинили пляц»: начались танцы. Король протанцевал с Мариною, четыре знатных пана служили им; потом король дал знак послу, чтоб он пригласил на танец царицу, но посол не смел прикоснуться к своей государыне, говоря, что он недостоин; царица танцевала с королевичем и королевной. Марина была дивно мила и прелестна в тот вечер, в короне из драгоценных камней в виде цветов; московские люди и поляки равно любовались ее стройным станом, быстрыми, изящными движениями и роскошными волосами, развевавшимися по белому серебристому платью[317]. После танцев,

[317] Сноски: 317
Cilli, 65.

когда все сели по местам, воевода сандомирский, взяв за руки дочь, сказал ей: «Марина, иди сюда, падай к ногам его величества короля, государя нашего милостивого, твоего благодетеля, и благодари его за великие его благодеяния!» Король, сидевший до этого времени, встал; воевода с дочерью упали к его ногам, король, поклонившись, поднял Марину, снял с себя шапку, потом надел ее снова на голову и говорил: «Поздравляю тебя, Марина, с этим достоинством, данным тебе от Бога для того, чтобы ты своего супруга, чудесно тебе от Бога дарованного, приводила к соседской любви и постоянной дружбе с нами, для блага нашего королевства; ибо если тамошние люди прежде сохраняли соседственное дружество с коронными землями, то тем более теперь должен укрепиться союз приязни и доброго соседства. Не забывай, что ты воспитана в королевстве польском; здесь получила ты от Бога свое настоящее достоинство; здесь твои милые родители, твои кровные и друзья; сохраняй же мир между обоими государствами и веди своего супруга к тому, чтоб он дружелюбием и взаимным доброжелательством вознаградил отечеству твоего родителя то расположение, какое испытал здесь. Слушайся приказаний и наставлений своих ро-

дителей, уважай их, помни о Боге, живи в страхе Божием, и будет Божие благословение над тобою и над твоим потомством, если Бог тебе дарует его, чего мы тебе желаем. Люби польские обычаи и старайся о сохранении дружелюбия и приязни с народом польским». Сигизмунд снова снял шапку, перекрестил Марину; она снова упала к ногам короля и заплакала; и отец ее кланялся в ноги королю своему. Потом так же прощались они с королевичем и с королевной шведской. По окончании прощальной церемонии Олесницкий и Ваповский отвели Марину к ее матере; туда ее проводила королевна и еще раз прощалась с ней дружелюбно. Король уехал в замок, воевода провожал с почтением посла царского, представлявшего лицо государя, до самой кареты; а потом секретарь Мнишека и несколько близких друзей сандомирского воеводы проводили его до самого дома в королевской карете. Немедленно послан был некто Липницкий в Москву с известием о совершившемся обручении.

На другой день посла пригласили слушать ответ. Речь прочитал ему от имени короля канцлер литовский Лев Сапега. Он объявил, что о делах, относящихся до взаимной войны против турок для защиты всего христианства, надобно подумать

и посоветоваться с сеймом, так как это предприятие очень важное; а относительно брака московского государя с дочерью сандомирского воеводы король очень радуется и поздравляет московского государя. Посол высказал неудовольствие, во-первых, за то, что в отпускной грамоте московский государь назывался просто великим князем господарем, а во-вторых, оскорбительно показалось для русского то, что Марина, будущая царица московская, падала к ногам польского короля. На последнее отвечал Сапега, что она до тех пор подданная его величества, пока находится в его королевстве, и притом она чувствует благодеяния, оказанные ей королем. Послу московскому ничего более не оставалось, как только пока довольствоваться этим объяснением[318].

На следующий день посол подносил подарки брату царской невесты и бабке ее, а 22 ноября царица выехала в Промник; тут при ее выезде из города собралось огромное множество любопытного народа, желавшего посмотреть на польку, которая будет московскою царицей. Посол и Мнишек проводили ее до Промника, воротились оба в Краков, и в тот же вечер король давал великолеп-

[318] Сноски: 318

См. Relacya o pesetstwie W. Kn. Dim. do króla. I. M. r. 1605. Рук. Имп. Публ. Библ. Польск. Ист., IV, № 119.

ный бал, куда приглашен был и посол. Но как его ни ласкали — он все-таки жаловался, что король убавляет достоинство московского царя, не хочет давать ему императорского титула, который есть одно и то же, что царский, а поляки хотели уверить его, что московский государь издавна назывался только великим князем.

V. Недоразумения, связанные с браком Димитрия. – Посольство Безобразова в Польшу. – Недовольство против Димитрия в Польше

Посол выехал из Кракова 8 декабря в Слоним и там решился дожидаться приезда воеводы, чтоб провожать его до Москвы. Меж тем все должно было указывать Димитрию, что там, где он искал любви, не было ничего, кроме корыстных видов, и на него смотрели как на средство к достижению известных целей: Мнишеки — богатства и назначения, Сигизмунд — унижения «Московии» перед Польшей, а духовные и вообще католики — введения католичества в Московском государстве. Когда посол еще был в Кракове, выслан был в Польшу новый посланник, поляк

реформатской веры Ян Бучинский, один из двух братьев, приближенных Димитрию особ. Он вместе с дворянином Михайлом Толченовым вез двести тысяч злотых, обещанных воеводе по его требованию, пятьдесят тысяч его сыну, старосте саноцкому, да царской невесте разные подарки, в том числе золотые посудины, жемчужные четки, золотую цепь со ста тридцатью бриллиантами и бриллиантовый герб. Но тот же Бучинский вез воеводе предложения, которые мало соглашались с католическими видами. Димитрий требовал заранее, чтоб его будущая супруга получила разрешение от папского легата причаститься от русского патриарха, чтоб она ходила в греческую церковь, постилась бы в среду и ела в субботу мясо, не открывала бы волос, ибо замужней женщине ходить с открытыми волосами казалось для русских предосудительным и противным вере. За этим он предоставлял Марине содержать свое благочестие, как ей будет угодно. Вместе с тем Бучинский должен был сообщить требование, чтобы после обручения Марина во всех приемах пользовалась уважением как царственная особа. Последнее требование заявлено было против новых высокомерных выходок короля Сигизмунда и польских панов, которым чрезвычайно

хотелось, чтобы Димитрий смотрел на себя как на получившего корону по милости Польши и, следовательно, как на обязанного признавать над собою ее первенство[319]. Когда царь узнал, что обручение совершилось, он к Мнишеку отправил с гонцом Липницким обязательство на сумму в сто тысяч злотых, которую воевода задолжал королю, предоставляя на волю Мнишеку представить его королю, если пожелает[320]. Это был еще не весь сполна долг воеводы; царь обещал выплатить и остальное. Мнишек между тем, не стесняясь, у посла Афанасия брал деньги и по его расписке набирал товаров у московских купцов в Люблине на царский счет: он взял у московского купца деньгами четырнадцать тысяч злотых наличными, потом набрал сукон на четыре тысячи восемьсот злотых да еще мехов у купца Ильи на 2600, а у купца Федора на 3000 злотых[321].

Димитрий, любя Марину пламенно, очень мало видел от нее взаимности. По удалении своем из Польши он беспрестанно писал к ней; она ему

---

[319] Сноски: 319
Собр. гос. гр., II, 228.

[320] Сноски: 320
Ibid., 236.

[321] Сноски: 321
Ibid., 242.

не отвечала; он все извинял ей, надеялся, что когда он станет царем, тогда будет счастливее и в любви; писал он к ней страстные письма и из Москвы, ставши царем, но ответа ему не было; наконец, даже тогда, когда она стала его обрученною невестою, и тогда не прислала ему Марина письма с Липницким, который от посла привез известие об обручении. Воевода писал только к царю от 15 декабря с тоном огорчения за медленность Бучинского, когда тот не успел привезти ему денег: «Я живу здесь, в Кракове, — говорил он, — с большими издержками; расходится дурная молва о моих недостатках; люди про меня поговаривают и то и другое; время идет, а я живу в огорчении и с ущербом моего здоровья. Для того чтобы обряд обручения был совершен с пышностью, я принужден был набирать у купцов в долг, надеясь заплатить из суммы, которую мне привезет Бучинский, а он до сих пор не привозит». Мнишек здесь говорит неправду; он получал у посланника деньги и у купцов товары, следовательно, не мог терпеть от медленности Бучинского. Вместе с тем Мнишек коснулся в письме и вот чего: «Есть (писал он) у вашей царской милости неприятели, которые распространяют о поведении вашем молву; хотя у

более рассудительных эти слухи не имеют жеста, но я, отдавши вашему величеству сердце и любя вас как сына, дарованного мне от Бога, прошу ваше величество остерегаться всяких поводов, и так как девица дочь Бориса живет вблизи вас, то, по моему и благоразумных людей совету, постарайтесь ее удалить и отослать подалее»[322]. Таким образом, причиною холодности Марины могла быть в последнее время если не ревность любви, которой она не имела к Димитрию, то досада самолюбия, оскорбленного слухами, что тот, который совершенно пал к ее ногам, увлекается, хотя временно, иною женщиною. Отношения Димитрия к Ксении остаются тайною. Русские и некоторые иноземные источники говорят, что он действительно имел с нею связь[323]. Из письма

---

[322] Сноски: 322

Собр. гос. грам., II, 243.

[323] Сноски: 323

У Bussow., 35; Die Tochter wurd ins Jungfrauen Kloster verstossen und dem Demetrius hernacb zur Concubin zugefahrt.

У Петрея, 177; Boris Phedor. Tochter Axinia, die er zu sich holen liess und seine Unzucht mit ihr etliche Tage ubete und da er ihr gnug ubte, Hess er ihr die Haaren abschnitten und ins Kloster stossen, etc.

Из «Иного сказ. о самозв.»: «а дщерь повеле в живых оставити, дабы ему лепоты ее насладиться; еже и бысть».

В Никонов., напротив (70), не упоминается об этом, но говорится, что Ксению прямо услали в монастырь во Владимир.

Lubieński: Filiam ipsius (principis Hoduni) invitam et scelus detestantem privatae libidini seposuerat.

Мнишека мы можем заключать несомненно то, что тогда ходили слухи о близких отношениях Димитрия к Ксении. Известно только одно, что бедную сироту постригли под именем Ольги и отвезли во Владимир. Память о ее трогательной судьбе осталась в произведениях народной поэзии. В пятидесятых годах текущего столетия в Англии найдены были песни, сложенные русскими вскоре после того, как минуло Смутное время. Ксения царевна сравнивается с перепелкою, у которой хотят разорить гнездышко и побить птенцов[324]; она в раздумье: за какие и чьи вины погибло царство рода ее[325]; она тоскует, глядя на переходы и терема, где жила прежде царевною[326]; вспоминает о былой роскоши, об убрусах, ширинках, яхонтовых сережках[327]

---

[324] Сноски: 324

«Сплачется мала птичка,
Белая пелепелка:
Охте мне молоды горевати!
Хотят сырой дуб зажигати,
Мое гнездышко разорите,
Мои малыи дети побити,
Меня, пелепелку, поимати...»

[325] Сноски: 325

«Ино Боже Спас милосердой!
За что наше царство загибло,
За батюшково ли согрешенье,

За матушкино ли немоленье?..»

[326] Сноски: 326

«Ино, ох, милыи наши переходы!
А кому будет по вас да ходити?..
Ах, милыи наши теремы!
Кому будет в вас да сидети
После царского нашего житья
И после Бориса Годунова?..»

[327] Сноски: 327

«А светы браныи убрусы!
Береза ли вами крутити?
А светы золоты ширинки!
Лесы ли вами дарити?
А светы яхонты-сережки,
На сучье ли вас задевати?
После царского нашего житья,
После батюшкова преставленья...»

и страшится, что как приедет враг ее, то велит ее постричь, а ей, молодой, не хочется постригаться[328]. И не будет знать она, как вступить в темную келью и благословиться у игуменьи[329].

Бучинский привез воеводе желанные деньги 3 января 1605 года[330]. Мнишек получил их вместе с богатыми царскими подарками, кроме того, что уже перебрал у посланника и у купцов[331].

Димитрий хотел, чтоб тесть ехал к нему в Москву скорее; посылал письмо за письмом, приказывал послу торопить воеводу. Ему хотелось жениться в мясоед, и он домогался, чтоб невеста была в Москве по крайней мере за неделю до Масленицы. Но воевода ломался; несмотря на то, что уже получил от короля обеспечение от всяких тяжб и позвов, которые могли бы остановить

---

[328] Сноски: 328

«Что едет к Москве изменник,
Ино Гришка Отрепьев-расстрига,
Что хочет меня полонити,
А полонив, меня хочет постричися,
Чернеческой чин наложити!
Ино мне постричися не хочет,
Чернеческого чину не сдержати:
Отворити будет темна келья,
На добрых молодцов посмотрети...»

[329] Сноски: 329

«Ино охте мне горевати;

Как мне в темну келью ступити,
У игумени благословитца?!»

Киреевский. Песни. Вып. VII, 58, 59, 60, 61.

[330] Сноски: 330
Дневн. Марины. Сказан. соврем., IV, 11.

[331] Сноски: 331
Собр. госуд. грам., II, 242.

его и замедлить поездку, он уехал в свой Самбор, вместо того чтоб ехать скорее в Москву. Афанасий Власьев, живучи в Слониме, 13 декабря[332] писал к Мнишеку: «Великому государю, его цесарскому величеству, в том великая кручина, и, чаю, надо мною за то велит опалу свою и казнь учинить, что вы долго замешкались». Он жаловался, что «люди и лошади, стоя на границе, проедаются», и говорил, «чтобы воеводе однолично ехать наспех, чтобы можно было доехать до Москвы за неделю до Масленицы и тем бы показать свою службу к великому государю и себя и лошадей не пожалеть».

Надеясь, что Марина будет наконец отвечать его сердечным желаниям, Димитрий выправил в январе знатных бояр: Михайла Нагого, Василия Васильевича Мосальского, Андрея Воейкова для встречи невесты[333]. Власьев подождал с неделю и еще раз послал к воеводе письмо, где умолял ехать скорее, хотя бы с невеликими людьми, в Москву, оставя другие дела свои[334]. Но Мнишек

---

[332] Сноски: 332
Собр. гос. грам., II, 253.

[333] Сноски: 333
Ibid., II, 254.

[334] Сноски: 334
Ibid., 256.

не отвечал послу, не писал и к царю; не писала к нему ни строчки и невеста. День уходил за днем. Димитрий выходил из себя от досады, и когда получил от Афанасия Власьева присланный обручальный перстень, то считал себя до некоторой степени вправе уже не просить, а требовать от Марины внимания и говорил, что теперь она должна бы была к нему писать.

Требования, сообщенные Бучинским относительно будущего поведения московской царицы, подали повод к недоразумениям. Римское католичество, начиная от святого отца и кончая иезуитами, думало видеть в браке московского царя с польской панной орудие для разрешения векового дела — присоединения Руси к Западной церкви. Папа, поздравляя ее с обручением и, по обычаю, желая ей дожить весело до спокойной и счастливой старости и увидеть сынов сыновей своих даже до четвертого поколения, писал к ней: «Мы от твоего супружества ожидаем великой пользы для католической церкви; ты дочь благородного отца, родилась, выросла и воспиталась в благочестии и в похвальном научении; ныне, когда тебе даровал Бог соединиться с таким государем, то достоит нам ожидать от твоего величества всего, чего можно ждать от благо-

родной женщины, согретой ревностно к Богу и помнящей Божии к себе благодеяния вместе с возлюбленным сыном нашим и супругом твоим Димитрием, великим и могущественным государем. Ты должна стараться всеми силами, чтобы богослужение католической религии и учение святой апостольской римской церкви были приняты вашими подданными в вашем государстве и водворены прочно и незыблемо. Это твое первое и главнейшее дело»[335].

После того как римская пропаганда ожидала себе такого блестящего преуспеяния от брака Димитриева, неприятно должно было отозваться римско-католическому духовенству требование Димитрия, чтоб его супруга причащалась в русской церкви и соблюдала ее уставы; иными словами, он требовал, чтоб она видимо приняла восточное православие. Что касается до позволения ей соблюдать какое угодно благочестие, то это не показывало в нем особой любви к папизму: это была только свобода совести, которую он проповедовал своим подданным и предоставлял в своем государстве не одним католикам, но вообще всем разноверцам. Нунций Рангони от

[335] Сноски: 335
Hist, Russ. Monum., II, 71.

3 февраля писал Димитрию: «Как я ни стараюсь услужить вашему величеству, но, к сожалению, представляются мне затруднения, при которых я не могу сделать вам угодного относительно вашей августейшей невесты: это дело требует власти больше той, какую я имею, и более зрелого обсуждения; я не сомневаюсь в том, что ваше величество, при вашем смысле и неизменном благочестии, рассудите об этом деле внимательнее и силою своей самодержавной власти, которой никто не должен противиться, отстраните все затруднения, не допустите превратного толкования законов и насилий в важном деле, от которых могут произойти большие недоразумения»[336].

При римском дворе, получивши требования Димитрия, догадались, что московский государь обращается совсем не туда, куда ожидали вести его честные отцы; там не находили дозволительным, чтоб Марина содержала обряды греческой церкви. Кардинал Боргезе писал к нунцию в феврале 1606 года: «Пусть Марина остается непременно при обрядах латинской церкви, иначе сам Димитрий будет находить новые оправдания

---

[336] Сноски: 336
Собр. государ, грам., II, 267.

своего упорства»[337]. В самом деле, московский государь не только уклонялся от обещаний сделать римско-католическую религию господствующею в своем государстве, но еще ободрял и поощрял ревность к православной восточной вере в польских владениях и послал грамоту львовскому собору с соболями на триста рублей: это внимание, как сама грамота гласила, было оказано потому, что он видел духовенство и прихожан этой церкви несомненно непоколебимыми в истинной правой христианской вере греческого закона[338]. Это делалось во время самого сильного разгара римско-католической пропаганды и было явным доказательством, что царь московский не отстает от своих предшественников и готов ободрять ревность православных подданных короля Сигизмунда и Речи Посполитой для противодействия тому, что Сигизмунду так хотелось навязать его собственным подданным.

Римско-католическая церковь имела уже важные причины к недовольству тем, на кого надеялась: напрасно, как оказывалось, она воссылала об успехах его молитвы, так же как и он

[337] Сноски: 337
Hist. Russ. Mon., II, 85.

[338] Сноски: 338
Собр. госуд. гр., II, 280.

напрасно на нее полагал надежды в деле войны с неверными. Правда, святой отец поощрял Сигизмунда в союзе с московским государем действовать против татар и пользоваться его тогдашним рвением к турецкой войне. Но на всеобщую войну против турок начали уже смотреть как на дело почти невозможное: это была запоздалая песня Европы, которую все заводили на разные голоса и никто не был в состоянии кончить; разве только в Московском государстве Димитрий мог искренно верить в возможность склонить и соединить к такому предприятию государей. Римско-католическая пропаганда надеялась в то время действовать в Турции иным путем. Посол короля французского Солиньяк писал, что открывается надежда на позволение со стороны падишаха допустить иезуитов в Турецкую империю[339]. Иезуиты слишком в себя верили, и на них в Европе много полагалось надежды. Тогдашние их успехи в Китае и Японии, представляемые в Европе в преувеличенном и далеком от правды виде, побуждали принимать за чистую монету их уверения, что, стоит только им войти в Турцию, — магометанство падет без

[339] Сноски: 339
Es. Grit., 53.

войны, а вместе с ним искоренится и ненавистная восточная схизма. Таким образом, в видах Римско-католической церкви было не поднимать войны против турецкого правительства, напротив — подделаться к нему в дружбу. Поэтому Сигизмунд и польские чины также холодно принимали этот проект войны против неверных, даром что в то время казаки своими морскими походами на Турцию и счастливым взятием Варны в 1605 году раздражали мусульманский мир, а татары в отместку опустошали южные пределы Речи Посполитой, и, казалось, очень кстати было Польше искать союзника против Турции. Сигизмунда и польских панов раздражало то, что Димитрий вовсе не хочет быть вассалом Польши, покорным слугою польского короля. Наперекор желанию короля и панов заставить Московское государство служить Польше он не только не хотел исполнять данные в Кракове унизительные условия, но требовал себе цесарского титула и тем показывал, что считает себя выше польского короля по достоинству, а свою страну могущественнее и сильнее Речи Посполитой; не показывал охоты действовать по внушению польской политики, а, напротив, сам призывал Польшу содействовать ему, как будто находил,

что лучше будет, если Польша станет соображать свои выгоды с видами и пользою Московского государства.

За Власьевым, который дожидался своенравного сандомирского воеводы, прибыл в Польшу гонец Иван Безобразов с известием, что царь пошлет в Польшу больших послов о важных делах; в грамоте своей царь опять титуловал себя цесарем и нарочно, как бы для того, чтоб дразнить высокомерие Сигизмунда и панов, придавал к своему титулу эпитет «непобедимый». Но Димитрий не знал, что за лицо он посылает в Польшу. Безобразова представил Димитрию Василий Шуйский. Чтобы скрыть тайну, которая была уже у него с Шуйским, Безобразов показывал вид, будто не желает ехать в Польшу, и просил не посылать его; а Шуйский в присутствии царя обошелся с Безобразовым грубо и выбранил его по принятым обычаям, показывая перед царем вид, будто вовсе не расположен к этому человеку; а потом внушал Димитрию, что Безобразов — человек способный к этому делу, не следует ему давать поблажки и должно принудить его ехать. Безобразов поехал в Польшу как будто нехотя, поневоле. Он приехал в Краков, отдал по обычаю грамоту, потом сказал Сапеге, литовскому канц-

леру, что у него есть тайное дело и сообщить его он может только ему наедине. Сапега остался с ним с глазу на глаз. Безобразов объявил, что его послали тайно бояре московские, Шуйские, Голицыны и другие. «Они слезно жалуются на его величество короля, — говорил Безобразов: — нам он дал в цари-государи человека подлого происхождения, ветреного; мы не можем долее терпеть его тиранства, распутства и своевольства; он ни в каком случае не достоин своего сана; бояре думают, как бы его свергнуть, и желали бы, если б в Московском государстве сделался государем сын Сигизмунда, королевич Владислав. Вот что мне доверили бояре тайно передать его величеству королю Сигизмунду!» Так говорил Безобразов.

Канцлер сообщил об этом Сигизмунду, а потом, при другом тайном свидании с Безобразовым, дал ему такой ответ: «Его величество очень жалеет, что этот человек, которого король считал истинным Димитрием, сел на престол и обходится с вами тирански и непристойно; его величество отнюдь не хочет загораживать вам дороги: вы можете промышлять о себе. Что же касается до королевича Владислава, то король не такой человек, чтоб его увлекала жажда властолюбия; желает он, чтоб и сын его сохранил ту же умерен-

ность, предаваясь во всем воле Божией»[340].

В то самое время является из Москвы в Польшу швед, и также с тайным поручением. Он сказал вот что:

«Царица московская, инокиня Марфа Федоровна, мать покойного Димитрия, через свою воспитанницу немку Розновну сообщила мне, для передачи его величеству королю, что на престоле московском царствует теперь вовсе не ее сын, а обманщик; она из своих видов хотя и признала его за сына, теперь сообщает, что этот обманщик расстрига хотел было выбросить из углицкой церкви гроб настоящего ее сына, как ложного Димитрия; ей, как матери, стало очень жалко; кое-как хитростью она помешала этому, и ее сына кости остались нетронутыми»[341].

По всем вероятиям, этот швед говорил так же, как и Безобразов, по наущению бояр, которые втайне уже ткали тогда заговор на жизнь своего Димитрия.

Неизвестно, знала ли инокиня Марфа то, что говорилось от ее имени.

Панов огорчала настойчивость Димитрия и

---

[340] Сноски: 340
Рук. Жолк., 15–16. Д. польск. арх. И. Д., № 30.

[341] Сноски: 341
Рукоп. Жолк., 17–18.

неподатливость их патриотическим видам; они обнаруживали явное недоверие к его подлинности. В особенности кричал против московского государя познанский воевода Гостойский; он говорил так, а многие ему вторили:

«За великое королевское благодеяние он воздает теперь злом; если б король ему не помогал, то много бы получил от Бориса; а от него нечего ожидать. В одной грамоте своей пишет, что желает совокупиться с нами против турецкого султана, а в другой грозит его величеству королю: хочет, чтоб его именовали цесарем, да еще непобедимым. Ни один христианский государь этого не делает. Если б кто другой его писал непобедимым, так это было бы не диво, а то сам себя таким считает; это слово одному Богу подобает. Так поганцы делают некрещеные, которые не знают всемогущества Божия: и он, видно, его не знает: перед Господом Богом несется; за то его Бог свергнет с престола; и надобно всему свету указать, что это за человек, и самой Москве, его подданным; да не такие они простаки, чтоб не видели, что он с ними может сделать, когда не чувствует благодеяний его величества короля». Эти слова переданы были Димитрию письменно Яном Бучинским, секретарем его, который тогда

находился в Польше.

Дурные слухи о Димитрии распускали те жолнеры, что у него служили и воротились в Польшу. «Этот человек, — говорили они, — наобещал нам много-много, а заплатил нам скудно, и наших братьев насильно не отпускает от себя в отечество». Бучинский в защиту московского государя уличал этих жолнеров во лжи и доказывал, что они получили слишком много, более, чем сколько выслужили, но все пропили и проиграли в карты; а что некоторые не выпущены из Москвы, так это случилось оттого, что царь не знает, с чем будет отпущен посол его. Но меньше верили тогда Бучинскому, чем клеветникам, перешедшим из московской службы, и кричали: «Вот, хочет воевать с турками и татарами, а служилых рыцарских людей не жалует!» Некоторые русские, как, например, уволенный в отечество Хрипунов и еще не успевший уехать, говорили полякам: «Уже на Москве узнали, что царствует не настоящий Димитрий, а обманщик». Хрипунов между прочим сообщал это Борше, который, воротившись в Польшу на время, поддался увещаниям Бучинского ехать в Москву снова, — на погибель,

как оказалось[342].

Такое мнение составлялось о московском царе в Польше, когда он торопил Мнишка ехать в Москву. Принимая с удовольствием желание бояр променять своего царя на сына польского короля, Сигизмунд сохранял наружную дружбу с Димитрием и готовил к нему посольство. Для этого выбран был родственник Мнишека Николай Олесницкий и уже бывший посланником у Димитрия Гонсевский.

VI. Козни и заговоры против Димитрия в Москве. – Его легкомыслие. – Интриги в его пользу в Польше против Сигизмунда

Димитрий продолжал деятельно готовиться к важным предприятиям; по всем областям Московского государства собирали и везли хлебные и боевые запасы к Ельцу для весеннего похода; велено было детям боярским быть наготове с оружием и выступить в поход тотчас по просухе. Царь сделал вызов к хану крымскому: он послал к нему в подарок остриженный тулуп, приказавши

---

[342] Сноски: 342
Собр. гос. гр., II, 261, 263.

объяснить, что с наступлением весны он точно таким образом острижет Крымскую орду[343].

В то же время он не страшился задирать Швецию и, сообразно слову, данному польскому королю, послал к правившему Швециею под именем короля Карла IX герцогу зюдерманландскому, похитившему шведский престол у племянника своего Сигизмунда, совет добровольно уступить Сигизмунду неправедно присвоенную корону, объявлял, что вступил в дружеский союз с польским королем, и грозил в случае отказа соединить свои силы с силами своего союзника для возвращения ему шведского престола. «Перед твоими глазами, — писал он Карлу IX, — свежий и печальный пример над похитителем престола нашего Борисом Годуновым. Бог не оставляет без наказания изменников наших»[344]. Он даже думал было напасть на Нарву и отнять ее у шведов, но бояре ему отсоветовали начинать преждевременно ссоры разом со многими соседями. С верою, что он послан судьбою для совершения великих дел, Димитрий мечтал о распространении Московского государства на все стороны; показывая

[343] Сноски: 343
Is. Mass., 86.

[344] Сноски: 344
Рук. Имп. Публ. Библ. Польск. истор., IV, № 119.

себя перед шведским королем союзником Сигизмунда III, он думал на будущее время, завоевавши Крым при помощи Польши, овладеть самою Польшею и присоединить ее русские земли к русской московской державе[345]. Эти воинственные планы и мечты были не по сердцу тогдашним думным людям, которые скорее боялись неудач и разорений Московскому государству от этих войн, чем восхищались надеждами приобретений; и чем горячее Димитрий говорил о славе и усилении Московского государства, тем больше вооружал против себя. Не дремал его заклятый враг Василий Шуйский. Научила его беда; воротившись из ссылки в конце октября, он теперь вел заговор осторожно. Одним слухом, что царь не настоящий Димитрий, а обманщик, невозможно было произвести переворота. У народа всегда был готов ответ: а зачем родная мать и все бояре его признали? Надобно было напирать на поступки Димитрия и представлять их опасными вере, обычаям и благосостоянию Московского государства. Из первых, кроме родни Шуйского, сошлись с ним князь Василий Васильевич Голицын, князь Куракин, Михайло Игнатьевич

[345] Сноски: 345
Is. Mass., 99. — Bibl. Kras., rek. B. I, 4.

Татищев. Вероятно, к соумышленникам, также в числе первых, пристали кое-кто из важных духовных сановников: это видно из того, что впоследствии Шуйский нашел себе сильную поддержку в Освященном соборе. Царя ненавидели тогда особенно казанский митрополит Гермоген и коломенский епископ Иосиф, строгие противники общения православных с иноверцами: они порицали царя за легкость в делах религии и не одобряли его женитьбы; они утверждали, что Марину, как еретичку, по правилам церкви следует крестить. Этим, вероятно, воспользовался Василий и сошелся с ними. В то время Димитрий стягивал к Москве войска с севера: готовясь воевать с Турциею и Крымом, он уже отправил наряд в Елец, чтоб спустить по Дону, а сам только дожидался невесты, чтобы тотчас после свадьбы выступить с войском в поход. Шуйский надеялся заранее склонить на свою сторону кое-кого из голов, сотников и пятидесятников. Сам Шуйский допускал к себе в дом для совещаний только немногих, самых близких и надежных, и говорил им такие речи:

«Мы признали расстригу царевичем только ради того, чтоб избавиться от Бориса; мы думали: он молодец, будет, по крайней мере, хранить

нашу веру и обычаи земли нашей. Мы обманулись. Что это за царь? Какое в нем достоинство, когда он с шутами да с музыкантами забавляется, непристойно пляшет да хари надевает! Это скоморох! Он любит больше иноземцев, чем русских, совсем не прилежен к церкви, позволяет иноверцам некрещеным с собаками входить в православную церковь и осквернять святыню храма Господня, не наблюдает постов, ходит в иноземном платье, обижает духовенство, хочет у монастырей отобрать достояние. Вот, арбатских попов выгнал из домов и поместил там немцев; водится с латинами и лютерами, ест-пьет с ними, нечистыми, да еще теперь женится на польке! Этим делается бесчестье нашим московским девицам! Разве у нас не нашлось бы ему из честного боярского дома невесты и породистее, и красивее этой еретички? А что будет, как он женится на польке? Польский король станет нами помыкать; мы будем в неволе у поляков. Вот он теперь хочет в угоду польскому королю воевать со шведами и послал уже в Новгород мосты мостить; да еще хочет воевать с турками. Он разорит нас; кровь будет литься, а ему народа не жаль и казны ему не жаль: сыплет нашею казною немцам да полякам. Вот уже сколько теперь он растратил; что

же дальше будет! Если мы останемся с ним, то дойдем до конечного разорения и станем притчею во языцех! Но паче всего он намеревается веру святую искоренить и ввести проклятую латинскую веру»[346].

Шуйский знал, однако, что всего, чем можно восстановить народ против Димитрия, еще недостаточно. Московский народ был привязан к нему. Шуйский отложил исполнение умысла до того времени, когда съедутся свадебные гости. Это было сделано верно, расчетливо и благоразумно: Шуйский понял, что если съедутся шляхтичи, то не утерпят, чтоб не оскорбить народности и веры; тогда можно скорее возбудить народ. Кроме того, Шуйский рассчитывал, что царь много истратил казны и бросил полякам; когда приедут Мнишеки и его свита, можно будет ограбить поляков и воротить потраченное с лихвою. Шуйский был очень скуп, и потому, с его точки зрения, стоило соображать время восстания с возможностью возвратить в казну то, что оттуда улетело.

Сообщники Шуйского разными путями набирали людей для заговора; ропот против Димитрия распространялся между дворянами, гостями и

---

[346] Сноски: 346
Petric., 184. — Bussow, 44.

стрельцами. В январе 1606 года составился умысел убить царя. По известию современника[347], убийцею царя Димитрия готовился быть за подкуп Андрей Шереметинов, тот самый, который вместе с Молчановым извел царя Федора Борисовича с матерью. Заговорщики 8 января проникли было во дворец; но сделался шум, они бежали. Было открыто, что Шереметинов замышлял убийство. Он пропал без вести. Один стрелец донес Басманову, что его товарищи кричали, что царь попирает веру и обычаи земли Русской, что он не Димитрий, а обманщик. Произвели розыск. Нашли семерых виновными.

Тогда царь приказал собраться стрельцам на задний двор без оружия. Он вышел в сопровождении Мстиславского, Нагих, Басманова, нескольких поляков, находившихся на царской службе, окруженный алебардщиками; все, увидевши государя, по московскому обычаю, разом сотворили земной поклон с открытыми головами; царь не мог удержаться от смеха и сказал: «Умны!» Потом он сел на высшей ступени дворцовой лестницы и говорил:

«Мне очень жаль, что вы грубы и нет любви в

---

[347] Сноски: 347
Is. Mass, 84.

вас. Покуда вы будете заводить смуты и делать бедствие земле? Она и так страдает: что же, вы ее хотите разве довести до конечного распадения? Вспомните изменников Годуновых, как они истребили знатные роды в земле нашей и овладели неправедно царским престолом. Какую кару земля понесла! Меня одного сохранил Бог и избавил от смертоносных козней, а вы ищете меня погубить и ухищряетесь всякими способами произвести измену. В чем вы можете обвинить меня, спрашиваю я вас? Вы говорите, что я не истинный Димитрий; обличите меня, и тогда вольны меня лишить жизни. Моя мать и эти бояре мне свидетели. Как могло быть, чтобы кто-нибудь, не будучи истинным, овладел таким могущественным государством без воли народа? Бог не допустил бы до этого. Я жизнь свою ставил в опасность не ради своей высоты, а затем, чтоб избавить народ, упавший в крайнюю нищету и неволю под управою и гнетом гнусных изменников. Меня к этому призвал Божий перст. Могучая рука помогла мне овладеть тем, что мне принадлежит по праву. Я вас спрашиваю: зачем вы зло умышляете на меня? Говорите прямо, говорите свободно передо мною: за что вы меня не любите?»

Толпа залилась слезами; все попадали на землю и говорили:

«Царь государь, смилуйся! Мы ничего не знаем; покажи нам тех, что нас перед тобой оговаривают».

Царь приказал Басманову, и тот вывел семерых. Царь сказал: «Смотрите, вот, они повинились и показывают, что вы все зло мыслите на вашего государя!»

Он вошел во дворец. Стрельцы бросились на семерых и руками, без оружия, без палок, растерзали их на клочки. Ярость их была так велика, что они кусали виновных зубами: один в неистовстве откусил ухо и жевал его. По окончании такой казни царь снова вышел на крыльцо и расточал убеждения в том, что он истинный Димитрий.

Толпа опять поклонилась в землю и кричала: «Помилуй нас, государь!»

Этим окончилась сцена. Стрельцы разошлись, а из Кремля на страх народу повезли полную телегу кусков человеческих тел[348].

С тех пор страшно было заикнуться, что царь — не истинный Димитрий. Народ готов был строже всякой верховной власти наказывать врагов

---

[348] Сноски: 348
Is. Mass., 84–85.

государя; особенно ревностно преследовали за оскорбление царского имени казаки. Недаром их храбрый атаман Корела расхаживал по Москве и чудил, говоря, что он презирает блага мира сего; он шатался, ничего не делая, между тем многое имел возможность услышать и узнать, а его молодцы по-свойски расправлялись с недоброжелателями Димитрия[349]. «Тогда, — говорит современник, — от злых врагов казаков и холопей все умные только плакали, не смея слова сказать; только назови кто царя расстригою, тот и пропал. Так погибали монахи и миряне. Некоторых утопили. Сам царь никого не казнил, казался милостивым и кротким государем, готовым все простить, все забыть, а между тем суд народной толпы уничтожал его врагов. Но, к его несчастию, пропадали только самые менее опасные; тот враг, от которого все исходило, находился близ него, пользовался его расположением и вел заговор так искусно, что никто из попавшихся в руки народу не мог указать на главного заводчика»[350].

Димитрий, надеясь на любовь народа, побаивался, однако, тайного убийства и в январе 1606

---

[349] Сноски: 349
Is. Mass., 78.

[350] Сноски: 350
Авр. Палиц., 27.

года, именно после того, как открыт был заговор между стрельцами, составил около себя из немцев стражу под названием алебардщиков, потому что они были вооружены алебардами. Их было три дружины; одна — под начальством француза Якова Маржерета: эта дружина вооружена была алебардами с позолоченным изображением русского орла, с древками, обтянутыми бархатом и увитыми по бархату серебряною проволокою с висящими золотыми и серебряными кисточками. Это была самая богатая дружина. У ней нарядное платье было — бархатный плащ с золотым позументом, а будничное — суконное. Другою дружиною начальствовал ливонец Кнутсон; у нее были алебарды с царским гербом на обеих сторонах лезвия; платье носила она суконное темно-фиолетового цвета с красными камковыми рукавами и такого же цвета штаны, а кафтан был обшит бархатными шнурками. Третья — под начальством Альберта Вандемана, которого прозвали паном Скотницким; это был немец, обжившийся в Польше; у его дружины кафтаны и штаны были обшиты зеленым бархатом и зеленые рукава. Каждая дружина состояла из ста человек и должна была по очереди содержать

караул у дворца[351].

Между тем царь с каждым днем легкомысленнее делал выходки, нарушавшие обычаи. Московские люди, по предрассудку, не ели телятины; Димитрий не только любил ее и приказал подавать, но русский летописец говорит, что он даже велел подавать ее на стол в Великий пост; кажется, справедливее принять указание Маржерета, который это событие относит к 20 апреля[352], когда уже пост миновал, тем более что Димитрий не решался еще нарушать отеческих постов, как это видно из описаний обедов, даваемых иноземцам по постным дням. Как бы то ни было, только Шуйский за столом начал доказывать Димитрию, что есть телятины не следует. Царь никогда не препятствовал возражать себе, напротив — охотно вступал в споры и состязания. В разговор вмешался Татищев, тут же обедавший, и в жару спора сказал царю что-то дерзкое. Димитрий вспылил и приказал отправить Татищева в ссылку в Вятку, однако потом опомнился и оставил его при всех его почестях. Но Татищев был мстителен, и этот поступок

[351] Сноски: 351
Bussow, Chronic, 40.

[352] Сноски: 352
Маржер., 20.

утвердил его еще более в решимости так или иначе погубить Димитрия. Около этого времени поссорился Димитрий с Симеоном Бекбулатовичем, которого сам возвратил из печальной ссылки. Слепой новокрещенец предался весь молитве и сделался очень набожен; услышав, что Димитрий не слишком церемонно обращается с религиозными обрядами и обычаями народной святыни, он начал вопиять, что погибает православие, что царь хочет обратить всех в латинство и что православные должны заранее промышлять и стоять за веру. Димитрий узнал об этом и сослал его в Белозерский монастырь, где его постригли[353].

Воеводе сандомирскому известно было многое, что касалось его нареченного зятя, и, может быть, оттого-то он и медлил поездкою, что раздумье его брало: ему сообщили и то, что приезжал швед извещать от имени старой царицы, что в Москве царствует не родной сын ее, а самозванец. Конечно, Мнишека, собственно, мало беспокоило то, кем на самом деле был его зять: с него довольно было, что он царствовал и был признаваем за царя; но его беспокоила мысль о непрочности

[353] Сноски: 353
Ник., 73. — Акт. Эксп., I, 96.

такого царствования, и эта мысль должна была входить ему в голову беспрестанно. Недели проходили, царь, казалось, сидел на престоле твердо и посылал к Мнишеку письмо за письмом. «Мы посылали к вам, — писал Димитрий от 29 января, — Слонского, Геремыку, Свирского, Липцинского, Горского, Склинского с нашими письмами и по настоящее время не получили от вас никакого известия, к великому нашему удивлению и недоразумению»[354]. Не было и на это письмо ответа. Потерявши терпение, Власьев сам наконец приехал в Самбор. Наступила и прошла Масленица, настал Великий пост. Димитрий все еще имел терпение и писал Мнишеку, чтоб по крайней мере, если воевода с невестой приедут в Московское государство в пост, то пусть приостановятся у Можайска[355]. Вероятно, царь боялся, чтоб поляки, въехав в Москву в пост и не соблюдая поста, не приводили в соблазн москвичей. Но Мнишек сообщал послу, что он может приехать разве спустя несколько недель после Пасхи. Ясно было, что воевода увертывается, что у него что-то на уме. Действительно, Мнишек рассчитывал,

[354] Сноски: 354
Собр. гос. грам., II, 266.

[355] Сноски: 355
Ibid., II, 277.

что если пройдет долгое время и царь московский останется цел и невредим, то, значит, слухи о намерениях внутренних врагов свергнуть его с престола ложны и можно будет к нему ехать. Димитрий выходил из терпения. Выставленные для встречи бояре с толпою слуг ждали уже долго и напрасно. Димитрию было досадно, если они возвратятся без дела. Он писал Мнишеку так: «Ваша милость приведете нас наконец к таким намерениям, которые были бы для вас неприятны; нас еще удерживает достоинство наше и любовь к вашей дочери, наияснейшей панне, невесте нашей. Ваша милость должны были бы принимать во внимание, что, пропустивши зимний путь, вы не можете иначе к нам приехать, как после зеленых Святок, по причине трудных переездов и половодья, которое не скоро спадает, и если бы так случилось, то сомнительно, чтоб вы нас застали в столице, потому что после Пасхи мы намерены двинуться к обозу и там провести целое лето»[356]. Но спустя несколько дней царь получил известие, что Мнишек выехал из Самбора 2 марта. Вспыльчивый Димитрий легко успокоился, любовь взяла свое; 13 марта писал он снова дружеское письмо

[356] Сноски: 356
Собр. гос. грам., II, 281.

к Мнишеку и извинялся: «Хотя мы писали к вам через Денбицкого и Склинского с досадою, но Бог видит, что это происходило не от злого сердца, а, напротив, от скуки по вашей дочери и из любви к ней и ко всему дому вашей милости»[357]. В знак неизменности своего доброго расположения царь послал воеводе для уплаты его остального долга своему королю 13 324 талера и 5204 рубля[358] и, кроме того, в подарок своей невесте пять тысяч червонцев[359]. Мнишек получил эти деньги, благодарил за них, но жаловался на посла Афанасия Власьева, что он его торопит, а ехать так быстро ему трудно, потому что он едет с дамами, и притом сам страдает болезнью.

Наружно казалось, что гонец за гонцом ездят от Димитрия в Польшу только по делам любви, но тут делалось также иного рода дело. Король Сигизмунд надеялся устроить из московского государя орудие для видов польской политики. Димитрий, в противность ему, рыл яму под ним самим в Польше. Король Сигизмунд неодно-

---

[357] Сноски: 357
Ibid., II, 283.

[358] Сноски: 358
Ibid., II, 278, 284–285.

[359] Сноски: 359
Собр. гос. грам., II, 276.

кратным нарушением прав свободного народа и самовластными поступками собирал против себя в Польше недовольную партию: тогда она уже значительно возросла и была, так сказать, накануне того времени, когда ей пришлось разразиться бурным «рокошем». Между врагами Сигизмунда начала бродить мысль низвергнуть Сигизмунда и возвести на польский престол Димитрия. Его веротерпимость и либерализм располагали к нему польских разноверцев, недовольных иезуитским направлением короля Сигизмунда. Письма от разных лиц посылались в Москву с изъявлением желания, чтоб Димитрий сделался польским королем. Впоследствии открылось, что один из родственников Мнишеков, Станислав Стадницкий, который в следующем году оказался ярым врагом Сигизмунда, сносился с Димитрием. Он был первый, который в 1606 году гласно отрекался от повиновения Сигизмунду, объявлял его лишенным престола и требовал сейма для новой элекции: тогда у него и у некоторых других было намерение предложить преемником Сигизмунду Димитрия. Между недовольными образом действия Сигизмунда распространилось подозрение, будто Сигизмунд, вообще показывавший расположение к немцам,

женившись, против воли поляков, на австрийской принцессе, сестре умершей своей прежней жены, хочет отдать Речь Посполитую австрийскому дому. Неприязнь к этому дому, которая у поляков соединялась всегда с неприязнью славян к немцам, располагала противников Сигизмунда, в предупреждение опасности, грозившей им от соединения с Австриею, искать соединения с Московским государством. И прежде не раз мысль об этом соединении являлась на политическом горизонте Речи Посполитой; теперь это казалось более чем когда-нибудь уместным, когда на московском престоле царствовал государь, который провел юность в Польше, знаком с польскими обычаями и притом женится на польке. Очень жаль, что нам неизвестны подробности переговоров с Димитрием, оставшихся бесплодными по причине его, неожиданной для польских друзей, кончины. Несомненно, что весною 1606 года в польском сенате сторонники Сигизмунда проведали уже о замыслах заменить шведского принца московским. Лев Сапега в собрании сенаторов говорил так: «Находятся у нас такие люди, которые входят в тайные соглашения с московским государем; я укажу на одного из Краковской академии: он писал к московскому государю, что

теперь наступает время приобрести польскую корону. Если такие послания будут летать к нему из польского королевства, то едва ли можно ожидать чего-нибудь хорошего от дружбы с ним. Он обещает нам союз; но нет никакой надежды, никакого ручательства в его искренности. Он говорит, что собирает войско на неверных, но как скоро между нами есть такие особы, что с ним злоумышляют, как тут ему верить! Притом и то еще следует заметить, что он присылал к нам таких послов, которых бы в его собственном государстве посадили на кол, если бы они там говорили то, что здесь. Димитрий требует цесарского титула и говорит, будто его предку, киевскому князю Владимиру Мономаху, дан был такой титул от греческих императоров. Если так, то скорее польскому королю принадлежит этот титул, чем ему, потому что польский король владеет Киевом. Понятно, что Димитрий умышленно для того и добивается цесарского титула, чтоб потом лучше домогаться киевского княжения». Другие светские и духовные сенаторы также изъявляли недоверие и опасения. «Я не порицаю кумовства с московским государем, — говорил Барановский, плоцкий епископ, — только надобно быть с ним очень осторожным, а то как бы

из этого не вышло вреда и неприятностей для Речи Посполитой». Луцкий епископ сказал: «Он обещает помогать нам против Швеции; пусть же дозволит провести наши войска в Швецию через свое государство и даст им продовольствие, а не то нам будет опасно: наши войска пойдут в Швецию, а он со своею силою нападет на владения короля!» Видно было, что уже тогда ему не верили и боялись его[360]. Впоследствии, по миновании «рокоша» против Сигизмунда, стало несомненно, что Гришка Отрепьев, как тогда уже стали называть Димитрия поляки со слов московских людей, ставши царем, так далеко простирал свои планы, что затевал низвергнуть Сигизмунда и сесть на его престол, и многие из поляков были с ним в соумышлении. Тогда подозревали и самого сендомирского воеводу, и не без основания. Честолюбивый воевода, конечно, был бы рад возвышению своего зятя и своей дочери и, без сомнения, не стеснился бы преданностью королю; не уступал же он Сигизмундовой сестре, вместо своей дочери, чести быть московской государыней…

---

[360] Сноски: 360
Bibl. Kras. ręk B. I, 4.

VII. Приезд Мнишека. – Увеселения

Марина с отцом переехала границу не прежде 8 апреля, близ Баёва. Русские вельможи встретили их. С Мнишеками ехали несколько семей, большею частью родственники Мнишека: были с ним Адам и Константин Вишневецкие, Стадницкие, Тарлы и другие; с каждым по нескольку десятков человек, а с более важными, как, например, с Вишневецким, со старостою саноцким, сыном Мнишека, со старостою красноставским, братом Мнишека, — несколько сот прислуги; всего было свиты в обозе 1969 человек и сверх того более трехсот человек служителей. Все это ехало более чем на двух тысячах лошадей. Везде, при дурной погоде, тысячи московского народа строили им мосты и гати. Везде в Московской земле встречали их священники и народ с хлебом-солью, а в городе Красном встретили их те, что давно уже были высланы навстречу и дожидались их около трех месяцев с князем Васильем Михайловичем Мосальским и дядею царя Михайлом Александровичем Нагим. В Смоленске десятки тысяч народа толпами шли навстречу; дворяне Смоленской земли подносили хлеб-соль, дарили соболей.

Здесь Марина пробыла три дня. Путешественники, однако, иногда во время дороги лишены были всех удобств при своей многочисленности: паны должны были помещаться в бедных хижинах, а другие, за неимением помещения, останавливались в разбитых палатках, несмотря на холодное время. 19 апреля, в день Пасхи по русскому календарю, путешественники достигли Вязьмы. Отсюда воевода отделился от дочери, поехал скорее и 24 апреля прибыл в столицу. Дочь его оставалась в дороге.

Царь приказал устроить великолепную встречу и роскошный прием своему тестю; он желал теперь изъявить ему признательность за гостеприимство, которое испытал у него в Самборе.

Устроили нарочно мост на канатах без свай; на конце его поставили триумфальные ворота, так чтоб воевода, как только переедет реку, чувствовал свое величие. Версты за две от города выехал ему навстречу Басманов; с ним поехали тысячи полторы дворян и детей боярских. Сам Басманов, друг и собеседник Димитрия, оделся на этот раз не в русское, а в гусарское платье, вышитое золотом. С ним повели четырех отличнейших лошадей, оседланных в богатейшие седла, оправленные золотом; одна служила для пана воеводы, другая

для его брата, а две остальные для его родственников. От триумфальных ворот до помещения, назначенного Мнишеку в бывшем доме Борисовом в Кремле, уставлены были в два ряда дворяне и дети боярские в нарядных платьях. Говорят, что царь находился между ними инкогнито. Тут же увидал Мнишек и земляков — польскую роту, служившую у царя со своим начальником Домарацким. В таком торжественном величии, приветствуемый народом, при громе веселой музыки въезжал воевода сандомирский в столицу Московского государства. В своем отечестве он был один из многих, здесь он должен был почувствовать себя первым: только царь и дочь его были выше его; равного ему не было между невенчанными особами. За ним ехала его свита, состоявшая из четырехсот с лишком человек.

Как только вошел Мнишек со своими приближенными в приготовленные палаты, тотчас явились стряпчие с блюдами; одни несли кушанья, другие — напитки. Так следовало по русскому хлебосольству: гость приехал, надобно было тотчас его угостить; принесли, между прочим, много разнообразных сортов пирогов, но поляки не нашли их вкусными, потому что, по великорусскому обычаю, они готовились без соли.

По придворному этикету, важный гость не представлялся в тот же день: предполагалось, что ему надобно отдохнуть с дороги. Поэтому Мнишек не увиделся с царем в день своего приезда; только являлся к нему князь Иван Федорович Хворостинин поздравить с благополучным прибытием. Поляки видели в этот день царя только мимоходом, когда он проехал верхом в белой одежде к своей матери в Вознесенский монастырь; за ним шли его немецкие алебардщики и ехали верховые; его провожал князь Иван Федорович Хворостинин.

На другой день, 25 апреля, от бывшего Борисова дома, где помещался воевода, до царского дворца стояли в два ряда стрельцы в полном наряде с оружием. Воеводе подвели для приезда к царю татарского «бахмата» с богатою позолоченною сбруею, которую ценили до десяти тысяч злотых. Мнишек приехал со своею роднею; его провожал отряд дворян. В сенях панов встретили бояре и ввели в Золотую палату, где пол был устлан персидскими коврами. Царь сидел на троне; этот трон был большое серебряное кресло под балдахином, составленным из четырех щитов, положенных крестообразно; сверху на щитах был шар, а на нем драгоценное изображение

орла; над спинкой самого кресла была икона Богородицы в золотом окладе с дорогими камнями. Балдахин, в три локтя вышиною, утверждался на колоннах, по которым от щитов сверху вниз спадали и вились нитки крупного жемчуга с камнями; внимание поляков привлек между ними один большой камень, величиною в грецкий орех. Близ колонн два, а по другим известиям — четыре, лежащие серебряные, до половины вызолоченные, льва держали золоченые на серебряных ножках подсвечники, на которых стояли два грифа: один держал кубок, другой — меч; они касались колонн; трон, укрепленный на серебряных львах и богато разукрашенный золотом, серебром и драгоценными камнями, был поставлен на возвышении с тремя ступенями, покрытыми золотым ковром. По сторонам его стояли четверо рынд в меховых шапках, в белых одеждах и белых сапогах, с железными бердышами в руках; их груди обвивали крестообразно положенные через плечи золотые цепи. По левую сторону сидящего царя стоял князь Шуйский (названный Димитрием, но, вероятно, это был Михайло Васильевич Скопин-Шуйский, произведенный в сан великого мечника), в бархатном кафтане темно-каштанового цвета, с золотыми

цветами, подбитом соболями; он держал обеими руками обнаженный меч с богатою рукоятью, на которой был золотой крест. Близ него стоял стряпчий, сын Афанасия Власьева, с царским платком. Сам царь был в одежде, сверху донизу унизанной жемчугами; на шее отложное ожерелье было усажено алмазами и рубинами; на груди у него висел большой яхонтовый крест, на голове — царский венец; в правой руке царь держал скипетр. По правую сторону царя сидели духовные, составлявшие Освященный собор, которых Димитрий сделал тогда членами созданного им сената; патриарх Игнатий сидел ближе всех к царю на черно-бархатном кресле, в черной бархатной рясе, унизанной в ладонь шириною жемчугами и драгоценными камнями по разрезу и по подолу; правою рукою он держал посох с золотою верхушкою; перед ним стоял служка с блюдом, на котором лежал крест и был поставлен серебряный сосуд со святою водою. За духовными, на правой стороне от трона, а также на левой стороне близко от трона и прямо против трона на скамьях, покрытых персидскими ковровыми полавочниками, сидели бояре, окольничьи и думные дворяне; только по самой средине, против трона, оставлено было место для прохода, и

около него несколько пустых лавок было приготовлено для гостей, которым давался прием. За этим местом стояли толпою дворяне, стряпчие, жильцы и предводители польской дружины, находившейся на службе у Димитрия. Такое зрелище представилось воеводе и его родным, когда они вошли в залу. Мнишек стал посреди залы, поклонился, потом подошел ближе к царю и говорил речь: «Не знаю — удивляться мне или радоваться, видя ваше величество на этом престоле! Могу ли я без удивления смотреть на того, кого столько лет считали мертвым, а теперь видят окруженного величием?» Мнишек стал в речи своей размышлять о странной игре человеческого счастья, о непостижимости промысла, который одних возвышает, других понижает; восхвалял доблести Димитрия, его храбрость на войне, терпение, с каким он во время похода переносил стужу и всякие лишения; но самая большая добродетель царя московского, по его словам, была та, что он женится на Марине. Он говорил: «Ваше величество, осыпав меня и золотом, и серебром, избрали супругою себе мою дочь; ни громкий титул царя, ни высокая почесть не изменили вашего намерения; вы приобрели право на такие похвалы, каких не может выразить

ни поэзия, ни история. Я не столько самонадеян и смел, чтоб быть равнодушным к моему возвышению, но если вспомнить, как воспитана дочь моя, с каким старанием внушены были ей с колыбели все добродетели, приличные ее званию, то смело могу назвать вас моим зятем. Дочь моя, — продолжал Мнишек, — родилась в свободной стране, где отец ее занимает почетное место в сенате, где каждый шляхтич может достигнуть высших достоинств. Одна добродетель украшает царей и сильных земли, ведет человека на небеса и соединяет с Богом. Мне остается молить, чтоб Всевышний благословил этот союз для счастья и благоденствия русской вашей державы»[361].

Димитрий был растроган, в продолжение речи плакал «как бобр», по выражению поляка[362], беспрестанно брал у своего стряпчего платок и отирал себе глаза. После речи воевода подошел к руке. «Целую с благоговением руку, — сказал он, — руку, которую я жал некогда с нежным участием хозяина к злополучному гостю!» За воеводою допущены были к руке родные Мнишека, давние приятели Димитрия: брат воеводы, старо-

---

[361] Сноски: 361
Паэрле, 43.

[362] Сноски: 362
Rz. Polsk. Hist. Russ. Monum., 163.

ста красноставский, сын его, староста саноцкий, князь Константин Вишневецкий и староста лукомский Павел Мнишек[363]. Димитрий ничего не говорил. Так следовало по обычаям. За него отвечал Афанасий Власьев, великий секретарь.

По окончании целованья руки воевода сел против трона; сзади, на пустых лавках, поместились другие поляки: все подходили целовать руку царскую по списку один за другим, потом садились. Посидевший немного таким образом с гостями, царь встал; за ним все встали. Патриарх и духовные вышли вперед и стали в сенях, обратившись лицом к палате. Царь подозвал воеводу к трону и просил его на обед, а Басманов от имени царя приглашал обедать прочих панов и дворян польских. Стали выходить. Двое бояр повели царя под руки, перед ним несли государственное яблоко (державу); шествие направлялось в церковь. Патриарх с духовенством благословлял идущих, он давал целовать крест Мнишеку; за воеводою и прочие паны подошли ко кресту, и им патриарх дал целовать крест. Ревностным поборникам православия это не понравлось.

Все вошли в церковь, судя по описанию — в

---

[363] Сноски: 363
Паэрле, 44.

Благовещенский собор. Царю принесли другую корону, полегче. Воевода и поляки стояли в переходе, окружающем церковь, и присматривались с любопытством к московскому богослужению. Православные паны, вероятно, входили в самую церковь. По окончании литургии царь вышел из церкви и сел на паперти; подле него сел воевода. Царь хотел показать, что ведет дружескую беседу с тестем. Это продолжалось несколько минут.

Вставши, царь повел воеводу в свой деревянный дворец: паны пошли за ними. Димитрий показывал свое недавно оконченное жилище. Поляки хвалили вкус царя и убранство дома. Потом пошли в столовую обедать в большом каменном дворце.

Пред столовой залой, обитой персидскою голубой тканью, находились сени; в них поразило поляков множество дорогой золотой и серебряной столовой посуды: чарок, кубков, братин, стоп, золотых и серебряных, вложенных одна в другую, и в особенности семь или восемь серебряных бочек с золотыми обручами, величиною в сельдяные бочонки. На окнах и дверях столовой красовались золототканые занавесы, дорогими коврами устилался весь пол. Великолепный поставец вокруг столба, стоявшего посредине залы,

пышно сверкал множеством посуды затейливой работы; львы, единороги, драконы, олени, грифы, змеи, ящерицы, лошади, всевозможнейшие фигуры бросались в глаза полякам. Из серебряного с позолотою сосуда величиною в человеческий рост лилась кранами вода в три таза один над другим; но, против обычая поляков, мывших руки перед обедом, московские люди совсем этого не сделали. Столов было уставлено три больших и один маленький; два стояло под углом с третьим, а напротив третьего за маленьким столиком, серебряным, покрытым золотною скатертью, сидел царь на высоком седалище, обитом черною материею с золотыми полосами. По правую руку от царя сидели думные люди; налево от него, за другими столами, обедали воевода и с ним паны. Прямо против царя, за большим столом, сидели дворяне и между ними посольская свита; их рассадили так, что московские люди и поляки сидели вперемежку один с другим. Поляков поразило то, что никому не подали тарелок, кроме четырех важнейших панов. Царь заметил, что таков обычай, и даже подача тарелок четырем панам была уже его нарушением. Перед гостями не клали хлеба, но царь сам разрезывал белые хлебы и посылал каждому подачку с солью. «Кус-

ки хлеба, — говорит очевидец, — были очень велики и служили нам тарелками». Стряпчие начали носить кушанья в серебряных мисах и полумисках; их ставили пред гостями так, что одна посудина стояла от другой на локоть. Из этих мисок и полумисок гости должны были есть жидкое ложками, а прочее руками. День был тогда постный, и царь угощал поляков рыбными кушаньями. В заключение начали носить множество пирожных. Стольники наливали вино, мед, пиво в драгоценные кубки, чарки, чаши. Сначала церемония питья совершалась так: стольники подносили царю, слегка кланяясь и не снимая шапок, в которых служили; царь выпивал сам и отсылал всем гостям по чарке; выпивши царскую присылку, каждый гость уже свободно принимался за питье, которое стояло в чрезвычайном изобилии. Многим панам, как вообще многим иноземцам, бывавшим в Москве, нравились тогда ставленые ягодные меды. Но московской кухни никто не хвалил. Еще не кончился обед, как уже воеводе сделалось дурно от нее; он вышел из-за стола, его провели в царские покои; пир продолжался без него. Тогда, для потехи гостям, царь велел призвать лопарей, которые за ту пору случились в Москве, они привезли обычную го-

довую дань. Их, числом двадцать человек, ввели в залу, в народных одеждах из оленьих шкур, с луками и стрелами. Царь объяснял полякам, что это за народ, как далеко на Севере живет, чему он поклоняется, какие у него понятия.

В заключение обеда принесли полумисок слив, и царь раздавал их каждому стольнику из своих собственных рук; это означало по́честь и внимание от царя за их службу во время стола. Обед кончился вечером. Царь ушел в свой дворец, где был уже воевода. Гости разъехались по своим помещениям, а воеводу уже поздно проводили до его дома по крытым переходам, соединявшим царские здания в Кремле.

На другой день гости обедали у себя, от царского стола, а после обеда воевода и другие паны прибыли в царский деревянный дворец. Там, в передней комнате, играли сорок человек музыкантов пана Стадницкого. Русские, говорит поляк-очевидец, очень любовались этою музыкою. Князь Вишневецкий и сын Мнишека танцевали. Стольники разносили напитки. Царь ушел от гостей и через несколько минут явился снова в нарядном гусарском уборе, в сафьянных башмаках, в красных шароварах; на нем был надет золотоглавный жупан, а сверху накинут

малиновый бархатный плащ, унизанный по краям жемчугом. Повеселившись с гостями, он ушел опять и явился в московской одежде, в расшитом золотом кафтане со множеством жемчуга и камней, подбитом дорогими соболями; на голове у царя была большая соболья шапка. Это переодеванье резко выказывало особенность характера царя Димитрия, склонность рисоваться и казаться, которая невольно прорывалась во всех его поступках. Басманов между тем распоряжался угощениями, занимал гостей и заохочивал их веселиться. Вечером воевода посетил царскую мать в Вознесенском монастыре, а потом возвратился опять во дворец к ужину. Был приготовлен роскошный стол. Ужинали у царя и паны, и бояре; много пили; музыка играла; паны танцевали, а московские люди на них поглядывали: одни любовались этими непривычными приемами жизни, другие скорбели о таком нечестии, несогласном с монашескою тишиною и восточною неприступностью, чего требовало от царского жилища нравственное понятие. Шуйские веселились с царем, и царь, простодушный и доверчивый, не догадывался и не подозревал, что в голове у этих собеседников. Утренняя заря застала гостей среди плясов, песен, смеха и веселости,

и все разъехались уже днем. Музыканты пана Стадницкого получили в эту ночь от щедрого царя две тысячи злотых за свой труд.

На следующий день, 27 апреля, проспавшись от ночной пирушки, царь занимался делами, а вечером опять съехались к нему польские паны, и опять роскошный ужин, опять попойка, музыка, танцы, песни, веселье. В один из следующих затем дней, 28-го или 29-го, царь пригласил воеводу и панов на охоту за город и ехал верхом вместе с воеводою и Василием Шуйским. В подгородном селе Мамонове были нарочно приготовлены звери; был между ними огромный медведь, привезенный из далеких лесов северо-востока. «Не хочет ли кто сразиться с этим медведем?» — спросил царь, обратившись к гостям. Никто не решился; может быть, и находились бы храбрецы, да видели, что царь хочет сам показать свою удаль, и для того уступили из вежливости. Выпустили медведя; царь бросился на него с рогатиною и так ударил, что топорище рогатины переломилось; медведь упал; царь во мгновение отсек ему голову. Московские люди кричали ему похвалы и с гордостью указывали полякам на неустрашимость, молодечество и силу своего царя. После таких забав царь пригласил

гостей своих обедать. Стол был приготовлен в обширных, богато убранных шатрах; вечером все разъехались в город с веселыми криками.

VIII. Въезд Марины в Москву. – Поведение поляков. – Прием родственников Марины и послов короля Сигизмунда. – Приготовления к свадьбе

Шатры, где обедали гости с царем после подвига с медведем, были приготовлены для царицы и для ее поезда. Когда воевода с передними панами прибыл в Москву, нареченная царица находилась в Вязьме, где стоял дворец Бориса. Это был обширный двор, обведенный рвом, огороженный деревянным частоколом, с шестью башенками с заостренными верхами[364]; в нем находились царский дом со службами и каменная церковь, очень красивая, с богатым иконостасом и утварью. Тут пробыла Марина три дня, потом выехала и, доехавши за несколько верст от Москвы, остановилась в приготовленных для нее шатрах, тех самых, где угощал царь панов после медвежьей травли. Здесь собственно для нее был раскинут

[364] Сноски: 364
Hist. Russ. Mon., 162.

особый нарядный шатер, а около него много других обширных шатров для помещения ее свиты. Весь этот стан устроен был так, что снаружи купа шатров казалась замком; она обведена была полотняною стеною; натянутое на длинных шестах полотно изображало башни, расставленные по стене. Марина со своим поездом прожила в этих шатрах целых два дня. Гости и купцы приезжали из Москвы поклониться будущей государыне и подносили ей подарки, те — дорогие сосуды, другие — богатые материи. В это время в Москве приготовляли ей почетный въезд на день 3 мая. Накануне того дня воевода приехал из Москвы к дочери, чтоб с нею вместе участвовать в торжественном въезде.

Разом с Мариной ехавшие к московскому государю послы Речи Посполитой, Олесницкий и Гонсевский, поехали вперед и достигли Москвы прежде нареченной царицы. Они переправились через Москву-реку по мосту, устроенному на лодках; за рекою увидели приготовленные для царицы шатры. По выгону стояла и бегала пестрая толпа народа, и русских, и поляков; ездили верхом, бегали пешком — везде суета, крики… Послов встретили князь Григорий Константинович Волконский и дьяк Андрей Иванов и объявили,

что назначены приставами к ним. Им привели царских коней. Когда они ехали в Москву, стрельцы стояли в строю и отдавали им честь. Так, приехавши в столицу, они со всею посольскою свитой прибыли на посольский двор.

Вслед за послами ехал обоз Марины, а потом ехала и сама Марина. Поезд переехал по тому же мосту на лодках[365] и остановился у шатров, раскинутых на зеленевшем лугу. На мосту стояли человек сто барабанщиков и трубачей; гудели в литавры, бубны, сурьмы. Такого рода национальная музыка казалась иностранцам собачьим воем или кошачьим мяуканьем. Тысяча всадников стояла в строю около этих шатров. Польская нимфа, как называет ее современник, села в шатре на богатом кресле; ее окружили ее дамы и кавалеры. Подъехала к шатру великолепная карета, за нею верхом бояре и думные дворяне в драгоценных нарядах. За каждым ехала толпа слуг, также красиво одетых. Они оставили конюхам своих коней, блиставших серебром и золотом своих сбруй при ярком весеннем солнце, вошли в шатер и били челом новой государыне. На челе их был Мстиславский, как самый важнейший

[365] Сноски: 365
На Девичьем поле.

член Боярской думы или сената. Все приносили ей поздравление с приездом, кланялись до земли; в заключение Мстиславский объявил, что его цесарское величество, ее жених, прислал за нею карету, просил сесть и ехать в свою столицу. Все поздравлявшие царицу вышли из шатра без шапок и стояли с почтением, пока царица не села в карету. В другом шатре поздравляли с приездом Мнишека и подвели ему в подарок коня со сбруею; чепрак, узда, нагрудник, наколенки, стремена — все было разукрашено золотом; сверх того, поднесли футляр с двенадцатью золотыми чарками и разными драгоценными мелочами, ценою, как говорили, на сто тысяч злотых. Царица, сопровождаемая Мстиславским, села в подвезенную к шатру карету, запряженную двенадцатью белыми в яблоках лошадьми. От шатров, откуда вышла царица, дорога лежала прямо к Земляному городу. До самого города, по лугу, стояли рядами стрельцы в красных суконных кафтанах с белыми перевязами на груди и держали длинные ружья с красными ложами; далее стояли в два ряда конные стрельцы и дети боярские; на одной стороне были с луками и стрелами, на другой с ружьями, привязанными к седлам; они также были одеты в красные каф-

таны. Потом стояли двести польских гусар под начальством Домарацкого, на конях с пиками, у которых древка были раскрашены красною краскою, а близ острия были привязаны белые значки. Поезд должен был ехать между рядами этих воинов. Поляки били в литавры и играли на духовых военных инструментах. Вступивши в Москву, поезд следовал чрез Земляной город, потом въехал Никитскими воротами в Белый, оттуда в Китай-город, на Лобное место и наконец в Кремль. Прежде всех ехали те дворяне и дети боярские, которые высылаемы были на границу и три месяца проводили в нужде и лишениях, дожидаясь государыни. Потом шли пешие польские гайдуки, или стрелки, числом триста; за плечами у них были ружья, а при боке сабли. Они были одеты в голубые жупаны с серебряными нашивками и с белыми перьями на шапках-магирках; народ был рослый, на подбор. Они играли на трубах и били в барабаны. За ними ехали двести польских гусар сандомирского воеводы, по десяти человек в ряд, на статных венгерских конях, с крыльями за плечами, с позолоченными щитами, на которых виднелись изображения драконов, и с поднятыми вверх копьями; на одних из этих копий были белые, на других красные значки.

За ними вели, по одним известиям, трех, по другим — двенадцать лошадей отличной породы, посланных в дар невесте[366].

За ними следовали паны, сопровождавшие воеводу: здесь были князь Вишневецкий, Тарлы, трое Стадницких (Мартин, Андрей и Матьяш), Любомирский, Немоевский, Лаврины и другие; каждый со своей ассистенцией, и каждый хотел выказаться пред многочисленною толпою своим нарядом, нарядом слуг и убранством лошадей. Сзади всех их ехал верхом Мнишек в малиновом кафтане, опушенном соболем, в шапке с богатым пером; шпоры и стремена были золотые с бирюзою. За Мнишеком следовал арап, одетый по-турецки. Потом, за отцом, ехала дочь в карете, запряженной двенадцатью лошадьми, все белой масти с черными яблоками. На козлах не сидели, но каждую лошадь вел за узду особый конюх, и все конюхи были одеты одинаково. Карета снаружи была окрашена красною краскою с серебряными накладками, колеса ее были позолочены, а внутри она была обита красным бархатом. В ней на подушках, по краям унизанных жемчугом, в белом атласном платье, вся осыпанная каме-

[366] Сноски: 366
Mass., 89.

ньями и жемчугами, сидела Марина вдвоем со старостиной сохачевскою, которая помещалась против нее. Подле самой кареты шли шесть лакеев в зеленых кабатах и штанах и в красных внакидку плащах, а поодаль, по обеим сторонам кареты, шли немецкие алебардщики московского царя и московские стрельцы. За каретой, в которой сидела Марина, ехала другая карета, ее собственная, в которой она прибыла из Польши; ее везли восемь лошадей белой масти; карета была снаружи обита малиновым бархатом, а внутри красным золотоглавом; в ней устроены были четыре стула для сиденья с подушками. Возницы были одеты в жупаны и ферези красного атласа; вся сбруя на лошадях была красного бархата; карета была пустая. За нею следовала третья карета, запряженная восемью серыми лошадьми; упряжь была бархатная с серебряною позолоченною накладкою, а возницы одеты в черные бархатные жупаны, на которые накинуты были красные атласные ферязи. Там сидели четыре знатные дамы (княгиня Коширская, Тарлова, Гербуртова и Казановская). За этой каретой следовали два брожка (род коляски с высоким верхом), в которых тоже сидели дамы: один, из резного дерева, позолоченный, обит был красным

бархатом, возницы в зеленых атласах; другой обит был черным бархатом, возницы были одеты в черные бархатные ферязи; каждый везли шесть лошадей. За ними ехало несколько карет, где сидели старушки и женская прислуга Марины. За всеми этими каретами шла толпа московского народа всякого звания, высыпавшая из домов столицы глядеть на церемонию. Когда поезд въехал на Лобное место, вся площадь пестрела разнообразными восточными нарядами; тут были и персы, и грузины, и арапы, турки и татары, которых всегда можно было найти в торговой Москве; их расставили нарочно для того, чтоб они увеличивали разнообразие. Вдоль Кремля от Фроловских до Никольских ворот играли музыканты и песенники пели хором польскую песню:

W

kazdym czasie, tak w szczksciu jak i nieszczksciu[367]. Музыка сопровождалась боем в литавры и бубны[368].

Так въехала карета Марины в Кремль и остановилась у Вознесенского монастыря. Здесь ей приготовлено было помещение до брака. Там

---

[367] Сноски: 367
Niemcew, II, 376. (Во всякое время, в счастии и в несчастии.)

[368] Сноски: 368
Grevenbr., 84.

жила мать Димитрия, будущая ее свекровь. Следовало по обычаям края, чтоб невестка прежде приехала к ней и поселилась у новой своей матери[369]. Инокиня Марфа встретила ее, как хозяйка, с радушием. Другие кареты разъехались по тем помещениям, которые были им отведены. Царь был во все продолжение торжественного въезда в толпе народа и вслед за невестою приехал в Вознесенский монастырь, где имел с ней первое свидание после долгой разлуки[370].

Приезд Марины и с нею огромной польской свиты отозвался не совсем радостным впечатлением на многих из москвичей. Поляков развели по квартирам в городе, брали для этого дома не только у гостей и торговых людей, но и у дворян, и даже у самых бояр; так, Нагие должны были принять к себе гостей[371]. Неизвестно, сочтено ли было это повинностью домовладельцев — службою царю или выплачены им деньги, но во всяком случае многим было неприятно вторже-

---

[369] Сноски: 369
Ibid., 35.

[370] Сноски: 370
Hist. Russ. Mon., II, 99. — Piar. Niemojewski. — Is. Mass., 89–90. — Bussow, 43.

[371] Сноски: 371
Палицын, 26.

ние в дом людей, различных по образу жизни и нравам, в особенности когда из этих гостей было много наглых, готовых на разного рода своевольства и беспутства. Неприятно показалось москвичам, когда они увидели, что поляки, приехавшие в свите Марины, стали вынимать из своих повозок ружья, пистолеты и сабли; у иного было по пяти, по шести ружей[372]. Москвичи обращались к немцам и спрашивали: «Разве в ваших заморских землях на свадьбу ездят с оружием?» Шляхтичи смотрели с высокомерием на русских: подобно всем западным иноземцам, они считали их варварами, племенем ниже других и по вере, и по образованию; обычаи московские казались для них отвратительными, а на себя они смотрели как на цивилизаторов. Другие иноземцы, как, например, немцы, в этом отношении были сдержаннее и не всегда высказывали, что думали, но умели помолчать и притаиться. Поляки же, с их живым характером, с их склонностью высказываться и ставить себя выше тех, с кем имели дело, нарочно пользовались случаем заявлять о своем превосходстве. В особенности теперь это было неизбежно: они

[372] Сноски: 372
Bussow, 43. — Petric., 183.

гордились тем, что царь на их стороне, что они некоторым образом дали московской земле царя. Еще не доехав до Москвы, на дороге они заводили ссоры с жителями: в Можайске посольские люди вышли покупать пиво, хотели заставить шинкаря взять литовские деньги, и за это завелась такая ссора, что между московскими людьми и поляками дошло до ножей. С самыми послами возникло недоразумение за требования корма, и Афанасий Власьев написал довольно колкое письмо к послам, а те отвечали ему таким же, которого смысл, по-видимому, выражал мысль: мы-де не боимся твоего государя… Тотчас же по въезде в Москву поляки так были невоздержны в речах, так заносчивы и высокомерны, что врагам царя легко было бросить в народе мысль, будто в тот раз польские послы приехали для того, что царь хочет отдать Литве часть государства по Смоленск. Эти толки распространились, и о них донесли царю. «Не только Смоленска, — сказал царь в собрании думных людей своих, — одной пяди земли русской я не отдам к Литве»[373].

На другой день, 3 мая, царь сам хотел осадить высокомерие своих союзников. Он назначил

---

[373] Сноски: 373
Никон., 73.

торжественный прием послов короля Сигизмунда и родных Марины. Место для приема было приготовлено неизвестно в какой палате из двух — в Грановитой или Золотой; современные источники говорят только, что это происходило в обычной палате[374]. Царь сидел на троне, в белой одежде с белыми разводами, усаженной жемчугами и камнями; на груди у него висели золотые цепи; трон у него по-прежнему был серебряный, с позолотою. Патриарх с духовенством, бояре и думные люди сидели в таком же порядке, как во время приема Мнишека; те же рынды, тот же мечник с обнаженным мечом; один из думных держал то яблоко, то скипетр и попеременно подавал то и другое царю в руки. Прежде ввели родственников будущей царицы; на челе их был Мартин Стадницкий, дворецкий царицы (гофмейстер, ochmistrz); он говорил царю от имени всех такую речь:

«Ближние по крови и весь двор ее величества обрученной невесты вашего царского величества чрез меня приносят низкий поклон вашему царскому величеству. В настоящие времена упадка царств христианских Бог на страх невер-

---

[374] Сноски: 374
Hist. Russ. Mon., II, 166.

ным даровал христианам утешение в том, что, подвергнувши ваше величество искушениям, которыми обычно укрепляет своих избранников, восхотел соединить ваше царское величество родственным союзом с народом, мало различным от вашего народа по языку, обычаям, от веков равным по силе, великодушию, храбрости и мужеству. Это совершается чрез посредство дома сенатора королевства польского, о котором нет нужды распространяться, ибо ваше величество привел Бог лично видеть дом и значение его милости, пана воеводы сандомирского, у его величества короля, испытать его ум, совестливость, проницательность и способность приносить пользу другим и себе, его связи с важнейшими особами, а более всего — доверие и милость короля, которыми пан воевода пользуется более всех в Польском королевстве. Из такого знатного дома вашему величеству угодно было избрать себе подругу жизни. Да не удивляется никто этому браку московского государя с польскою девицею: Бог из давних времен являл такую волю над вашим государством. Прадед вашего величества имел супругою дочь Витольда, а мать вашего, блаженной памяти, родителя разве не была ли Глинская? Были ль какие-нибудь несчастия от

таких союзов предкам вашего величества? И мы, при милости Божией, уповаем на счастливый исход этого дела. Сам Господь Бог чудотворно обратил сердце вашего царского величества к тому народу, с которым роднились предки ваши. Теперь угаснут притворство и недоверие между поляками и русскими, прекратятся жестокие и варварские кровопролития между нами, и взаимные силы обоих народов, с благословения Божия, обратятся с успехом против неверных. Этого желаем не только мы, но все христианские народы того желают. Пусть же Господь Бог, ниспославший силу вашему величеству, дарует вам спасительные советы и возвысит могущество вашего престола, дабы ваше величество, исшедши из страны полуночной, ниспровергли луну и приобрели бы славу в краях полуденных, а в столице предков ваших узрели бы в изобилии и чести свое потомство!»

Ему отвечал Афанасий Власьев приличною, дружескою речью от лица государя[375]. Все прибывшие поляки целовали царскую руку. В числе их был приехавший с прочими иезуит Каспар Савицкий, обращавший в Кракове Димитрия в

[375] Сноски: 375
Hist, Russ. Monum., II, 167.

католичество[376]. Потом пригласили на аудиенцию послов.

Они приехали в Кремль верхом и встали с лошадей, по приглашению приставов, у царского двора; чрез двор надобно было идти пешком. Пред входом стояли в два ряда алебардщики под предводительством француза Маржерета. Там встретил их старый Мнишек; послы предуведомили его, что желают повидаться с ним прежде, чем будут допущены к царю. Он сказал, что слышал, будто царь не хочет принимать королевской грамоты, потому что в ней его титулуют великим князем, а не цесарем. Послы просили воеводу, чтоб он ходатайствовал у царя и постарался, как родственник, наклонить его к уступкам. Воевода сказал, что, судя по настроению царя, он мало надеется на успех, и отошел. Прежде, будучи еще в Польше, он сам в письме к Димитрию убеждал его быть умереннее в поддержке своего достоинства; теперь он стал так близок к царю, что интересы последнего становились ему дороги. Послы вошли. Окольничий Григорий Микулин с товарищем представлял послов царю. Этот окольничий провозгласил, что послы королевские Николай

[376] Сноски: 376
Велевицкий. Перев. Муханова, 167.

Олесницкий и Александр Гонсевский челом бьют великому государю Димитрию Ивановичу, цесарю, великому князю всей Руси и всех татарских царств и иных подчиненных Московскому царству государств государю, царю и обладателю. Олесницкий известил, что король Сигизмунд III посылает ему поздравление, изъявляет братскую любовь и желает всякого счастья *великому князю* московскому. Как только услышал Димитрий, что Олесницкий именует его только великим князем и не называет цесарем, тотчас приподнялся с места, посмотрел вверх и дал знак одному из бояр, чтоб тот снял с его головы корону. Это значило, что он хочет сам вступить в прение с послами. Но он не помешал окончить Олесницкому речи. Олесницкий, проговоривши что нужно, подал Власьеву грамоту короля. Власьев подошел с нею к царю, показал надпись на обертке; царь обменялся с ним потихоньку словами; потом Афанасий Власьев отошел с нераспечатанною грамотою от царя, подошел к послам и, отдавая грамоту, сказал:

«Николай и Александр, послы от его величества Сигизмунда короля польского и великого князя литовского к его величеству непобедимому самодержцу! Вы вручили нам грамоту, на которой

нет титула цесарского величества; эта грамота писана от его величества короля к какому-то князю всей Руси. Его величество — цесарь на своих государствах; а вы везите эту грамоту и отдайте его величеству королю своему».

Олесницкий взял грамоту и отвечал:

«Я принимаю с надлежащим почтением грамоту в том виде, в каком дал ее в руки Афанасия Ивановича, и возвращу ее королю, которым ваше величество пренебрегаете, когда не хотите принимать его грамоты. Это первый случай во всем христианском мире, чтоб монарх не оказывал справедливого уважения к королевскому титулу, признаваемому много столетий всеми государствами света, и не принимал королевской грамоты. Ваше господарское величество не воздаете должного его величеству королю и Речи Посполитой, сидя на том престоле, на котором вы посажены при дивном содействии Божием, милостью польского короля и помощью польского народа. Ваше господарское величество слишком скоро забыли эти благодеяния и оскорбляете не только его королевское величество, всю Речь Посполитую, нас, послов его величества, но и тех честных поляков, которые стоят пред лицом вашего величества, и все отечество наше. Мы не

станем более излагать цели нашего посольства и просим приказать проводить нас к нашему помещению».

Царь отвечал на эту колкую речь так:

«Неприлично монархам, сидя на троне, вступать в разговоры с послами; но нас приводит к тому уменьшение титулов со стороны польского короля. Недавно был у нас посланник: он и теперь в новом посольстве к нам; мы уже толковали с ним об уменьшении нашего титула. Повторяю прежнее: мы не князь, не господарь, не царь. Мы император на своих пространных государствах, мы приняли этот титул от самого Бога и пользуемся им не на словах, как некоторые делают, а на самом деле, ибо ни ассирийские, ни индийские монархи, ни римские цесари не имели более справедливого права на свой титул, как мы. Не только мы не были князем или господарем, но, по милости Божией, имеем под собою служащих нам князей, господарей и даже царей. Нет нам равного в краях полуночных; здесь нами повелевает один Бог; и мы сами так себя именуем, и все монархи и императоры писали к нам с таким титулом; только его величество король уменьшает нашу честь, и мы свидетельствуемся Богом, что не от нас, а от вины польского короля может воз-

никнуть вражда и кровопролитие между нами!»

Олесницкий отвечал:

«Ваше величество заметили, что неприлично монархам, сидя на троне, вступать в разговоры с подданными. Это правда. Но и послам неприлично входить в разговоры, несообразные с данною им инструкциею. Я хотя на красноречие не так способен, как ваше величество, но если этого требуется, то я буду защищать достоинство короля и Речи Посполитой, как прилично поляку, человеку из свободного народа. Если король не даст вашему господарскому величеству императорского титула, то потому, что никто из предков его величества не давал его предкам вашего величества; это доказывается коронными и литовскими метриками; да и сами бояре ваши — люди старые, знают, что другого титула не давалось, кроме того, каким мы называем вас от имени короля. Ваше величество не посылали для того нарочных послов, а хотя и сообщали об этом предмете чрез посланника нашего, старосту велижского, потом чрез посла вашего величества Афанасья Власьева, но ведется обычай, что если монарх пожелает чего-нибудь нового от другого монарха, то посылает нарочных послов и тогда получает требуемое, если справедливого требует.

Ваше величество должны бы знать это. Потом — староста велижский приезжал сюда за другим делом, и ваше господарское величество хотя заявили ему об этом, но в его воле было доложить и не доложить об этом королю. Афанасий Власьев послан был также совсем за другим делом. Сверх того, такой предмет — дело сейма; а с тех пор, как вы на престоле, король еще не собирал сейма. Его королевское величество хотя и управляет обширными государствами, но без дозволения коронных чинов не может ничего своевольно уничтожить или постановить что-нибудь новое. Напрасно, ваше господарское величество, так горячитесь за этот титул и вступаете в несогласие с его величеством королем: я свидетельствуюсь пред Богом, пред вашим господарским величеством и пред думными боярами, что ваше господарское величество, а не его величество король, наш государь милосердный, подадите повод к кровопролитию, если ему суждено произойти за титул. Впрочем, мы теперь ничего более не просим, кроме отпуска!»

Царь говорил:

«Я знаю, как назывались наши предки, и мог бы доказать письменно, но теперь не место. Мы прикажем думным боярам говорить с вами об

этом, и тогда покажется, каким титулом писались предки наши. Но король уменьшением нашего титула оскорбляет не только нас, но и самого Бога, и все христианство. Ну что если бы кто-нибудь не назвал вас паном Олесницким или не хотел бы именовать вас этим именем? Не подняли бы вы голоса? Вот так и я… Нет моего полного титула на письме — не возьму его. Мы уже объявили польскому королю, что он имеет в нас брата и такого друга, какого у Польши до сих пор не было. Но теперь нам приходится от польского короля остерегаться более, чем от какого другого неверного монарха. Сейм у вас окончился: я это знаю; вас с сейма отправили ко мне, да и то еще вы не скоро выехали. И то я знаю, что кое-какие из ваших советуют его величеству королю не давать мне титула. Впрочем, мы не считаем удобным состязаться с вами об этом».

Олесницкий сказал:

«И мы не хотим вдаваться в дальнейшие разговоры, ибо ваше господарское величество ссылаетесь на своих старых бояр, которым поручите с нами говорить о титуле; отлагаем это до разговоров с ними; но есть у нас еще другие поручения от короля его величества».

Послы, сказавши это, отходили, показывая

вид, что хотя имеют еще что-то сказать, да, к сожалению, не могут, потому что московский государь не хочет их слушать. Но царь сказал Олесницкому:

«Пан староста малогосский! Я помню доброжелательство ваше ко мне в землях его королевского величества вашего государя; вы оказывали ко мне расположение; поэтому не как послу, а как нашему приятелю я желаю оказать честь в моем государстве: подойдите к руке моей не как посол».

Он протянул руку. Олесницкий отвечал:

«Я очень благодарен за милость вашего господарского величества, но вы допускаете меня к руке не как посла; я этого не могу сделать и прошу ваше господарское величество не гневаться. Ваше господарское величество знали меня в Польше расположенным к вам другом и слугою, а его королевское величество пусть знает меня за своего верного подданного и доблестного слугу».

— Подойдите, пане малогосский! — повторил царь.

— Я не могу этого сделать! — отвечал Олесницкий и поворотился назад. Тогда царь закричал: «Подойдите как посол!»

— Подойду, — отвечал Олесницкий, — если

ваше господарское величество возьмете грамоту его величества короля.

Царь произнес: «Возьму».

Тогда оба посла подошли к руке. Дьяк Власьев взял грамоту и читал перед царем, а потом дал такой ответ послам:

«Хотя подобной грамоты без полного титула и не следовало принимать, но теперь наступает время радости для цесарского величества; по этой причине его цесарское величество устраняет неприятное дело насчет того, что его титул неправильно написан, и принимает как королевскую грамоту, так равно и вас, послов. Но, возвратившись к королю вашему государю, извольте сообщить, чтоб он не писал таких грамот без царского титула. Его цесарское величество именно приказал отвечать вам, что вперед ни от короля государя вашего, ни от кого другого он не примет грамоты без цесарского титула. Теперь же извольте сообщить поручение, какое дал вам Сигизмунд король ваш».

Олесницкий припомнил, что царь посылал Власьева к королю относительно Марины, и сказал:

«Так как при обручении, которое совершено было посланником вашего господарского вели-

чества Афанасием Ивановичем с вельможною панною Мариною Мнишековною, воеводянкою сандомирскою, присутствовал лично король с сыном своим королевичем Владиславом и сестрою королевною шведскою, так и теперь в ознаменование своего братского доброжелательства и расположения изволил послать нас, послов своих, на бракосочетание вашего господарского величества и приказал нам быть на нем вместо своей особы».

Олесницкий начал речь, а Гонсевский кончил ее: он изложил, что царь присылал Афанасия Власьева изъяснить королю желание взаимного содействия к освобождению из рук неверных христианских народов, а потом присылал гонца с известием, что пошлет об этом нарочных послов в Польшу. «Есть вещи, — сказал Гонсевский, — о которых следует условиться и сойтись предварительно. Его величество король поручил нам переговорить о важных делах с боярами вашего господарского величества, которых ваше господарское величество изволите назначить, чтобы потом ваше господарское величество послам своим, которых изволите послать, могли дать достаточную инструкцию, дабы не тратить времени и дабы послы могли не только словами,

но и делом довести это предприятие до конца, к великой чести Всевышнего Бога, к утверждению крепкой дружбы между его королевским величеством и вашим господарским величеством, к неувядаемой славе обоих народов, над которыми Господь Бог поставил вас, помазанников своих, к утешению всего христианства и к упадку и верной погибели неверных бусурманских орд».

После изложения предмета своего посольства послы сели на указанное им место. Афанасий Власьев дал ответ сначала на речь Олесницкого, что «за королевское позволение отпустить вельможную панну Марину к непобедимому самодержцу его цесарское величество благодарит и будет послов жаловать своею царскою милостью». Потом он отвечал на речь Гонсевского, что царь прикажет боярам переговорить с послами о государских делах.

Следовало, по дипломатическому обычаю, царю спросить о здоровье короля. Послы сказали Афанасию Власьеву:

«Обычай таков, *что* московские государи спрашивали о здоровье короля, вставши со своего места».

Царь услышал это и, не вставая с места, спросил:

«В добром ли здоровье его величество король государь ваш?»

Те отвечали:

«Отъезжая из Кракова, мы оставили его величество короля нашего в добром здоровье и в благополучном царствовании. Но ваше господарское величество извольте спрашивать о здоровье его величества короля, вставши с места».

«Пан малогосский! — сказал Димитрий. — У нас такой был обычай, что мы, когда услышим и узнаем о здоровье его королевского величества, тогда только с места встаем для принесения благодарности Богу».

Он приподнялся и сказал: «Радуемся доброму здоровью его королевского величества, нашего друга».

Потом послы являли подарки по реестру, которые представлялись собственно от послов: это были золотые цепи, несколько роструханов, ковров и несколько лошадей. После объявления подарков подходили к руке по очереди посольские дворяне и приветствовали царя. В заключение Афанасий Власьев сказал послам: «Его царское величество жалует вас своим обедом». Послов провели прежним порядком. Они уехали на свой посольский двор, а чрез несколько часов

явился к ним царский чашник Василий Бутурлин, за ним шла толпа слуг; они несли множество кушаньев и напитков в серебряных позолоченных сосудах[377].

Требование титула не было одним тщеславием сидевшего на московском престоле; оно делалось по политическим соображениям. В тот век от титула зависело значение государя и его державы. Сигизмунд и вообще польское королевство хотели воспользоваться исключительными обстоятельствами вступления на престол тогдашнего царя. Надобно было противостоять этим стремлениям. Оставить домогательство титула — значило бы дать повод полякам делать Московской державе новые унижения. Но неловко было царю видеть перед собою оскорбленное лицо гостя, который некогда был к нему приветлив в то время, когда царь был изгнанником. Размолвка с польским посольством поставила бы в затруднительное положение и Мнишека, и всю его родню, омрачила бы светлость свадебного праздника. Димитрию в таких обстоятельствах, в каких он был, нельзя было не уступить. Он уступил не без достоинства: собственная его свадьба была

[377] Сноски: 377
Hist. Russ. Monum., 99–104.

довольно законным предлогом, чтобы отсрочить толки о титуле. Некоторые русские посмотрели на эту уступку неблагосклонно: являлось опасение, чтобы Димитрий на дальнейшее время не стал делать еще более уступок. По своему горячему характеру Димитрий заговорил с послами таким языком, после которого снисхождение казалось уже очень резким. Сама по себе эта временная уступка с надлежащею оговоркою, может быть, и не была бы сочтена предосудительною, если бы при этом не обвиняли царя в поблажке полякам за то, что он дозволил такой толпе чужеземцев разгоститься в московской столице.

Марина, живучи в Вознесенском монастыре, чувствовала себя неловко на своем новоселье. У нее не было католического священника; ей сказали, что не только каждый день, да и в праздники нельзя ей слушать своей обедни. Ей нельзя было даже ездить к отцу. Ее поместили в монастыре на несколько дней, как будто на затворничество, для того, чтоб народ думал, что молодая царица, приехавши в Москву, прежде всего знакомится с православною верою. Ходили толки, что она крестится в православную веру. Не так сама Марина, как ее женская свита, тяготилась этим положением: шляхтянки, приехавшие с нею,

плакали, говорили, что они в неволе, что с ними Бог знает что станется в дикой стране, и бегали из монастыря в помещение паньи старостины сохачевской слушать римско-католическое богослужение как единственную отраду в своем злополучии. Когда принесли Марине кушать, она послала к Димитрию сказать, что не может есть московских яств. Царь тотчас послал ей польского повара и приказал отдать ему ключи от кладовых и погребов. Для развлечения царицы царь приказал в Вознесенский монастырь входить польским музыкантам и песенникам; это необычное в строе московской жизни нарушение тишины монастыря оскорбляло благочестивых москвичей.

В воскресенье, 4 мая, Димитрий давал великолепный обед родственникам Марины в новом доме своем; там, по обыкновению, после обеда были танцы и музыка.

В понедельник, 5 мая, Димитрий приехал к Марине и поднес ей в подарок шкатулку с разными вещами; говорят, что там было тысяч на пятьсот злотых. Марина не знала, что с этим делать, и раздаривала своим соотечественницам. В то же время он послал воеводе еще сто тысяч злотых и великолепные сани, обитые пестрым бархатом,

с красным покрывалом; был при них ковер, подбитый соболями; козлы окованы были серебром, оглобли увиты бархатом; в сани была запряжена белая лошадь, а у хомута ее висело сорок соболей. В этих санях воевода должен был ехать во дворец в день венчания. Димитрий объявил своей невесте, что прежде совершения желанного брака он намерен короновать ее на царство, чтоб она сделалась царицей московской, еще будучи девицей, и, следовательно, независимо от прав по браку. Неизвестно, что навело его на эту мысль — честолюбие ли Марины и отца ее подействовало на царя или влюбленный до страсти юноша хотел всеми способами проявлять свою любовь к Марине, и его сердце выдумало это.

В ночь со вторника на среду Марину перевезли в приготовленные для нее царицыны палаты, убранные золотыми коврами и соединенные переходами с деревянным дворцом царя[378]. Выбрали для этого нарочно время ночное, чтоб менее было давки. Царица проехала сквозь два ряда царской иноземной стражи и стрельцов; перед ее каретою и за каретою несли зажженные факелы.

---

[378] Сноски: 378
Grevenbr., 35.

IX. Бракосочетание Димитрия

Наступил четверг, 8 мая, день, когда назначено было коронование Марины, а потом брачное венчание. Было объявлено, что всякие работы в городе прекращаются на этот день. С утра стали съезжаться в Кремль всякие начальные люди в щегольских золотных нарядах; у кремлевских входов заняли караул с ружьями в руках стрельцы, одетые в малиновые кафтаны. Народ отовсюду толпами валил к Кремлю. Это был день, когда по обычаям церковным не венчали: следующий день был пятница да еще праздник перенесения мощей святого Николая — святого, особенно уважаемого на Руси. Может быть, патриарх, будучи греком, дозволил это отступление, потому что на Востоке не наблюдается так строго, как на Руси, выбор дней для брака; притом венчание должно было произойти до вечерни, следовательно, до пятничного и праздничного богослужения. Могло быть и то, что окружавшие царя тайные враги, и духовные, и светские, нарочно потакали его нетерпеливости и подстрекали его пренебречь обычаем, чтоб потом раздражать народ против него. Собственно совершение обряда венчания

в четверток не было положительно противно церковным уставам. Венчание великого князя Ивана Васильевича с греческою царевною Софиею Палеолог отправлялось 11 ноября 1473 года в четверток, и никто, сколько известно, не поднимал против этого голоса[379], но у московских людей вошедшее в житейский обычай признавалось установленным религиею, и брак Димитрия в такой день, когда уже по московским обычаям браков не совершали, остался в народной памяти как одно из крупных обвинений, о чем вспоминается и в народной песне[380]. Несмотря на это нарушение дня, бракосочетание торжественно произошло с точным сохранением всех заветных обычаев старинной русской свадьбы. Были назначены все чины свадебные: дружки,

[379] Сноски: 379

Полн. собр. русск. лет., VIII, 76.

[380] Сноски: 380

Поизводил вор-собака женитися;
Не у князя он берет, не у боярина.
Не у нас он берет в каменной Москве,
Берет вор-собака в проклятой Литве,
Проклятой Литве у Юрья пана Стредомирского,
Берет он Маринку дочь Юрьеву.
А свадьба была на вешний праздник,
На вешний праздник, Миколин день,
Миколин день был в пятницу,

А у Гришки свадьба в четверток была.
Стали благовестить к заутрене.
У святого Михаила Архангела,
Где кладутся цари благоверные,
Благоверные, благочестивые.
Бояре пошли ко заутрене,
Ко святому Михаилу Архангелу,
А Гришка рострига в баню пошел
Со своею Маринкою дочь-Юрьевой.
Бояре идут от заутрени,
А Гришка рострига из бани идет:
Шуба на нем соболиная,
На Маринке саян красного золота (или:
На Гришке одёжа черново соболя,
На Маринке одёжа рытово бархата).

Киреевский. Песни. Вып. VII, 68, 75–76.

тысячский, свахи. Две боярыни, Мстиславская и Екатерина, жена Димитрия Шуйского, повели Марину; она была наряжена в русское платье, бархатное, вишневого цвета, с рукавами, до того усаженное жемчугом и драгоценными камнями, что трудно было различить цвет материи; на ногах у нее были сафьянные сапоги с высокими каблуками, унизанные жемчугом; голова была убрана золотою с каменьями повязкою, переплетенною с волосами по польскому образцу. Говорили, что эта повязка стоила семьдесят тысяч рублей — большая сумма для того времени[381]; сверху царица была закрыта фатою. Ее ввели в столовую избу и посадили на возвышенное место; пред нею был поставлен стол с караваем и сыром. Протопоп со крестом благословил ее при входе. Когда посадили невесту, дали знать жениху, и Димитрий пришел, окруженный боярами и своими свадебными чинами. Его с обычными на свадьбе церемониями посадили возле невесты. Он был во всем царском наряде, в царском венце, на нем была мантия, густо унизанная жемчугом и драгоценными камнями по малиновому бархату. За ним несли скипетр и яблоко. Прежде

[381] Сноски: 381
Mass., 92.

совершился обряд обручения: новобрачные обменялись кольцами. Таким образом, сам Димитрий как будто не признал достаточным обручения, совершенного Власьевым за него по обряду Римско-католической церкви. В этой палате не дозволено было находиться никому из поляков, кроме воеводы сандомирского; прочие родственники и польские гости ждали в Золотой палате, сидя на скамьях, покрытых богатыми полавочниками. По окончании обручения царя и царицу повели в Грановитую палату по пути, устланному сукном и бархатом. Сам Мнишек был несколько в тревожном состоянии; дурная примета должна была его беспокоить: когда он въезжал во дворец в великолепных санях, присланных ему царем накануне, вдруг белый конь, который вез сани, упал. «Будет несчастье!» — поговаривали тогда.

Царь сел на престол; скипетр и державу держали близ него; один из приближенных, молодой князь Курлятев, стоял с обнаженным мечом, и четыре рынды в своих белых парчовых платьях поднимали кверху бердыши. Подле царя было пустое место. Царица остановилась. К ней подошел боярин и сказал:

«Наияснейшая и великая государыня цесарева и великая княгиня Марина Юрьевна всея Руси!

Божьим праведным судом, за изволением наияснейшего и непобедимого самодержца великого государя Димитрия Ивановича, Божею милостию цесаря и великого князя всея Руси и многих государств государя и обладателя, его цесарское величество изволил вас, наияснейшую великую государыню, взяти себе в цесареву, а нам великую государыню; Божией милостию, ваше цесарское обручение совершилось ныне, и вам бы, наияснейшей и великой государыне нашей, по Божией милости и изволению великого государя нашего его цесарского величества, вступити на свой цесарский маестат и быти с ним, великим государем, на своих преславных государствах».

Боярин, произносивший эту речь, был Василий Шуйский; он исправлял в свадебном чине важнейшее звание тысяцкого, когда втайне уже вырыл глубокую яму под царственной четой. С доверием к тому, кто ее рыл, эта чета в упоении величия не подозревала, чем кончится ее короткая блестящая жизнь показа и тщеславия. Протопоп благословил Марину крестом. Марина села на тронное место; ее подводили под руки — под правую отец, а под левую княгиня Мстиславская. Тогда велел царь позвать литовских послов и родственников панны Марины, ожидавших в

Золотой палате. Все они уселись на своих местах таким же порядком, как бывало при аудиенциях; но свадебные чины должны были стоять.

Между тем в Успенском соборе окольничий Колычев и думный дворянин Микулин устраивали чертежное место посредине собора; на нем должны были сидеть новобрачные. Когда доложили царю, что все готово, он приказал принести знаки царского достоинства. Конюший Михайло Нагой, брат царицы Марфы, принес их; это были крест, корона и диадема. Царь целовал каждый знак по очереди, потом давал их целовать царице, и в заключение отдали их протопопу, а тот положил их на блюде, покрыл пеленою, поднял над головой и понес в церковь. Звонили в колокола.

Проводивши священника в собор, конюший воротился и сказал, что все готово. Тогда пришли в церковь стольники, стряпчие, ближние родственники воеводы и послы. Потом царь с царицею пошли вместе рука об руку; царя под правую руку вел сандомирский воевода; царицу под левую — княгиня Мстиславская. Протопоп кропил перед ними путь св. водою для предохранения от порчи. По обеим сторонам царственной четы шли по двое рынд в белых кафтанах, в высоких

шапках, с серебряными топорами на плечах[382]. За царственными особами шли поезжане — свадебные чины, а за ними двое бояр[383] несли государственные знаки: скипетр и державное яблоко. За ними следовали бояре, окольничьи и вообще думные люди, все одетые в золототканые кафтаны, в высоких шапках; за ними некоторые поляки. Впускали в церковь только знатнейших, а из поляков — только послов и родственников Марины[384]. Церковь заперли. От Грановитой палаты до Успенского собора расставленные стрельцы и иноземные телохранители берегли путь. По тогдашнему верованию, боялись дурного влияния от того, если кто во время венчания перейдет путь, по которому шли новобрачные.

Новобрачных встретили многолетием. Царь приложился к иконам и святым мощам; за ним пошла прикладываться царица, поддерживаемая воеводою и княгинею Мстиславскою; перед нею шли дружки, за нею свахи; чтоб достать до икон,

---

[382] Сноски: 382
Żelanski.

[383] Сноски: 383
Василий Васильевич Голицын и Петр Федорович Басманов.

[384] Сноски: 384
Такой порядок шествия означен в свадебном чине. Иностранцы говорят, что царь пришел в церковь вперед, а царица за ним особенно.

подкладывали ей под ноги колодочки. Польки, не знавшие обычаев, соблюдаемых у православных, целовали иконы и мощи в уста, вместо того чтоб целовать в руки. Об этом пошли толки, русские находили тут оскорбление святыни.

По окончании целования образов и мощей царь и царица подошли к патриарху, который сидел на своем месте; он благословил их и сам возвел на чертежное место, поставленное посредине собора. На это место вели двенадцать ступеней; на вершине его стоял царский трон, весь золотой, персидской работы, осыпанный каменьями; перед ним — золотною тканью обитая колодочка. По правую сторону от него стояло место для патриарха, обитое черным бархатом, а по левую — небольшой золотой стул для царицы; обитая красным бархатом колодочка была у нее под ногами. От всех трех седалищ чертежного места протянуты были узкие бархатные ковры, от государя и царицы — малинового цвета, а от патриарха — черного; по обеим сторонам от этих трех ковров стояли скамьи, покрытые полавочниками; на них уселись архиереи и архимандриты. По правой стороне от чертежного места стали бояре и думные люди, по левую — боярыни. Царь говорил патриарху речь, излагал, что он приемлет

супругу и желает, чтоб она была коронована царским чином. Патриарх отвечал одобрительною речью. После этих речей духовные архиерейского сана носили и подавали патриарху один за другим знаки царского достоинства: сначала крест, потом бармы и диадему, и наконец, корону. Патриарх давал целовать крест, возложил на царицу руку, говорил молитвы, возлагал бармы, диадему и, наконец, корону. Торжество коронации окончилось многолетием, а потом духовные власти, за ними бояре и боярыни, дворяне и все находившиеся в храме поздравляли царицу. Патриарх во время многолетия и поздравлений сидел рядом с царем на чертежном месте. Во время сидения царя с царицею на чертежном месте Димитрий приказал Шуйскому поправить себе ноги и положить одну ногу на другую, а потом то же сделать Марине. Увидев это, послы польские говорили: «Такого поругания не делают у нас государи и последнему дворянину! Благодарение всемогущему Богу, что мы родились в свободной земле, которую Бог наградил правами!»[385]

После обряда коронования царь и царица сошли с чертежного места; царь стал на своем

---

[385] Сноски: 385
Паэрле, 53.

обычном царском месте близ столба, а царица в приделе Димитрия Солунского со свахами и боярынями. После херувимской царь и царица подходили к царским дверям. Патриарх возложил на Марину Мономахову цепь, а потом в свое время Марина была причащена святых таин вместе с государем и помазана на царство.

Тотчас по окончании обедни совершилось брачное венчание. Находившиеся в соборе удалились, остались только самые знатнейшие, и в том числе паны. По окончании обряда царь с царицей выходили, и при дверях князь Мстиславский из мисы, которую держал казначей Головин, осыпал новобрачных золотыми монетами; брали их из мешка, который держал казенный дьяк Меньшой Булгаков. Это были большие португальские монеты и малые с двуглавым орлом, нарочно сделанные для этого случая.

Двое дьяков, любимцы царя Афанасий Власьев и Богдан Сутупов, бросали их в народ; москвичи чуть не дрались за них между собою. Поляки, бывшие тут, хотели тоже приобрести что-нибудь, но им, по сознанию некоторых из свиты посольской, доставалось вместо монет несколько палочных ударов. Только простым казалось позволительным ловить эти деньги. Увидя стоявших знатных

панов, Димитрий приказал бросить в них горсть червонцев, но паны не только не стали их ловить на лету, а когда к одному из них случайно два червонца упали на шапку, поляк хладнокровно сбросил их, как сор[386].

Вышедши из церкви, сам царь сказал послам: «Сегодня мы не можем пригласить вас на пир; мы очень устали от продолжительной церемонии, но завтра пожалуйте к нам к столу». В самом деле, в церкви обряд продолжался несколько часов и, когда вышли, уже был вечер. Сами послы и паны родственники, не привыкшие к долгому стоянию на ногах, потеряли было терпение и требовали стульев; но Афанасий Власьев сказал им от имени царя, что в церкви нельзя сидеть; сам царь сидел только по поводу коронования. Несмотря на то, паны не вытерпели и садились, а другие прислонялись спиною к образам. Об этом тотчас начались толки; русские тут увидали оскорбление церкви. Паны отправились домой, а вслед за ними приехал стольник и привез им множество разнородных кушаньев и напитков в золотых и серебряных сосудах.

Новобрачных повели в столовую избу, посади-

---

[386] Сноски: 386
Hist. Russ. Monum., II, 172.

ли на прежнем месте вдвоем и стали подавать кушанья. Когда подали третье кушанье, к новобрачным поднесли жареную курицу; дружко, обернувши ее скатертью, провозгласил, что время вести молодых. Сандомирский воевода и тысячский Василий Шуйский проводили их до постельной комнаты. Это было уже вечером. Брачный праздник не остался без зловещего предзнаменования: у царя из перстня на пальце выпал дорогой камень и не могли отыскать его[387].

X. Пять дней после свадьбы. – Пиры. – Споры с послами. – Толки в народе. – Презрение царя к доносам. – Привидение

Настала пятница; был день святителя Николая. С утра заиграли трубы, заколотили в бубны и накры; зазвонили колокола по всей Москве. Пушкари палили из наряда ради царской радости. Государь отправился в мыльню по русскому обычаю, но без жены.

Послы ожидали, что их позовут к обеду, и за-

---

[387] Сноски: 387
Żelanski.

ранее сказали приставам, что они желают, чтоб их посадили за одним столом с царем, затем что они представляют лицо короля Сигизмунда: как бы сам Сигизмунд был на свадьбе у московского царя. Немного времени спустя явился к ним дьяк Грамотин и от царского имени приглашал послов на хлеб на соль.

— Мы не сомневаемся, — сказал Олесницкий, — что будем пожалованы прилично нашему званию, как послы короля, брата государя вашего, местом за собственным его столом.

Грамотин отвечал:

— Никому не возможно сидеть за одним столом с нашим цесарем, кроме его самого и царицы нашей.

— И у нас, — сказал Олесницкий, — не сидели никогда послы за одним столом с королем, но по случаю обручения король, из братской дружбы, почтил вашего посла местом у стола своего вопреки прежним обычаям, будучи уверен, что и великий государь ваш так же поступит; и нам строго приказано, чтоб мы этого домогались и иначе не поступали. Донеси об этом думным боярам и нам сюда ответ принеси через час. Если бы нам не было указано такое место, каким король почтил посланника вашего государя, то нам при-

шлось бы назад уезжать. Лучше заранее узнать.

Грамотин сказал: «Сообщу государю и принесу ответ». Через час он воротился, проговорил целый титул царский, приглашал от имени царя к столу и сказал:

— Думные бояре назначили тебе, пане мологосский, место близ самого царского стола, но за другим столом, против того, как и ваш король почтил посланника его цесарского величества Афанасия; а тебе, староста велижский, будет место у другого стола, по прежним обычаям, но будет вам чести больше, чем прежним послам.

Послы отвечали, что староста велижский, как второй посол, соглашается сидеть на обычном месте, где сидели прежние послы; а Олесницкий, старший посол, требует непременно, чтоб его посадили за одним столом с царем, а не за отдельным.

На том и разошлись. Грамотин ушел, не сломивши упорства послов. Чрез полчаса приехал к ним Афанасий Власьев и сказал: «Его цесарское величество, по братской дружбе к брату своему, жалуя вас, послов его, посылал к вам думного дьяка Ивана Грамотина звать на свою царскую радость к столу своему и указывал вам места по достоинству вашему, как послам брата своего; но

вы тех мест не принимаете, и один из вас хочет сидеть непременно за одним столом с цесарем, затем что я сидел за одним столом с королем; но это дело сталось потому, что у вас и цесарский, и папский посланник сидят за одним столом с королем, так и меня не приходилось в ином месте посадить; а наш цесарь не только не меньше папы и цесаря римского, а еще поболее. У нашего преславного цесаря каждый поп, как у вас папа!»

Эта резкая выходка должна была, по-видимому, вывести из терпения панов; но они удержали гнев свой и только объяснили, что король Сигизмунд посадил Афанасия с собою не по прежним обычаям, как всегда обращались с московскими послами, а по особой братской любви к настоящему московскому государю. «Допустивши Афанасия до чести, равной с посланниками цесарским и папским, король, — говорили послы, — уверен был, что за эту честь если бы не только двоих, но десять послов прислал он из Польши в Москву, то московский государь всех бы десять посадил с собою за стол!»

Власьев не стал входить в дальнейшие прения, но сухо и решительно спросил: «Желают ли послы ехать к цесарю?»

— Не поедем! — так же решительно отвечали

послы. — Мы недовольны теми местами, которые ты нам объявил от имени государя своего.

И они не поехали. Пир начался в Грановитой палате без них. Приглашены были все родственники Марины. В Золотой палате угощали других поляков из свиты Марины и офицеров отряда, находившегося в Москве на службе. Было там человек полтораста. Мнишек, как увидел, что послов нет, и осведомился, что за причина, скрепя сердце сказал царю: «Если послам его королевского величества не оказать чести, как они требуют именем короля, то и я не могу быть за столом!» Царь не поколебался и остался на своем. Мнишек вышел из залы.

Пир продолжался до вечера.

Для царственных особ устроено было возвышение; на нем, при двух концах узкого, в два с половиною аршина длиною столика, поставлены два седалища: одно, побольше, — для царя, другое, поменьше, — для царицы, так что супруги должны были сидеть аршина на полтора один от другого. Перед этим столиком висели часы в бронзовой оправе, и стояли на нем три подсвечника с свечами; а на левой стороне от столика находился фонтан, который, однако, не так искусно был устроен, чтоб выбрасывать воду на

долгое время. На обе стороны от царского места поставлены были столы; на правой должны были сидеть русские госпожи, за ними далее бояре; на левой — воевода, родственники царицы, а далее некоторые русские сановники и польские гости. Позади этих столов было еще два ряда столов один за другим, покрытых полотняными скатертями; последний ряд примыкал к стене. Перед столами стояли лавки, покрытые суконными полавочниками. Гостей рассаживали по списку, сообразно достоинству каждого; были приглашены к обеду дворяне, дьяки, гости и иноземные купцы. Царь вошел, одетый в русское платье; с ним вошла царица в польском. На голове у царя была огромная меховая шапка, которую с него тотчас сняли, и он остался в маленькой тафье, усаженной жемчугами. На голове у царицы была корона. Вместе с царственною четою вошли в залу двое духовных с причетником, который нес святую воду. Священник прочитал молитву и покропил св. водою стол. День был постный. Подавали вареных и жареных осетров, белуг, белорыбиц, судаков. Рыба, по большей части соленая, варилась и жарилась в меду, посыпалась шафраном, запекалась в пироги. После рыбных кушаньев подавались разные сласти; медовые

печенья, сахар, который ставили на стол головами, корица, которую клали длинными прутьями, варенья из разных ягод и квашеные арбузы. То были обычные лакомства московского обеда, но, кроме того, за столом у Димитрия подавались конфеты и мороженое, приготовленные польскими поварами. Пышность сочеталась с неопрятностью. Тарелки, ложки, кубки были золотые, но нечистые; тарелок не переменяли в продолжение всего обеда; московские господа ели руками и раскидывали по полу объедки. Стольники беспрестанно наливали гостям напитки. Прежде всего пили водку, потом вина, пиво и меды. Обильно разливалось любимое поляками венгерское вино, до этого времени бывшее редкостью в Москве. Государь московский щеголял перед иноземцами своими ягодными медами. При конце стола принесли три больших сосуда с отборным медом: царь пил мед, черпая хрустальною чаркою, гостям раздавал пить золотыми. Два раза во время стола гости вставали отвечать на заздравные чаши государя: один раз в половине пира, другой в конце, и тут все получали по чарке меда из царских рук. Не всем тогда нравились и меды, а московское пиво иноземцы вообще находили отвратительным. За царицею постоянно

стояли две госпожи: ее родственница пани Тарлова и княгиня Мстиславская. Во все продолжение пира играли музыканты, приехавшие с панами Стадницкими из Польши, а на дворе без умолку гремели трубы и бубны и разливался перезвон большого колокола. Вечером собрались родные и близкие царицы в деревянном дворце и там до поздней ночи танцевали, пели песни, тешились музыкою. Мнишек появился, но только для того, чтоб выразить соболезнование о том, что царь вступает в неприятную размолвку с послами королевскими, и тотчас ушел, извиняясь нездоровьем.

На другой день, в субботу, с самого рассвета загремели трубы, бубны, раздалась стрельба. После обедни патриарх, а за ним духовенство, потом бояре, думные люди, дворяне, а за ними гости и купцы поздравляли царя и царицу и подносили подарки. Царственная чета приглашала их к обеду. Были в числе поздравлявших лопари, подносили свои рысьи меха и оленьи шкуры, которые полякам показались собачьими. После русских подданных приносили поздравления польские офицеры и товарищи-жолнеры. Их также пригласили к обеду. По окончании поздравлений приехал к царю Мнишек. Перед тем

королевские послы посещали Мнишека, воеводу сандомирского, и поручили ему уговорить царя, своего зятя, дать им место за царским столом. Воевода рассыпал свое красноречие, умоляя царя не доходить ради обрядов до вражды с королем и дружественною польскою нациею. Царь истощал противные доводы. Наконец оба сошлись на том, что надобно дать старшему послу место подле самого царского стола, но за особенным, только так приткнутым к первому, чтоб они казались одним столом. «Но теперь, — сказал царь, — я не могу пригласить послов: уже поздно, наступает время обеда, пусть завтра». Воевода не остался обедать, извиняясь нездоровьем. Отчасти он в самом деле чувствовал себя нездоровым, отчасти затруднялся неулаженным недоразумением с послами. Обед был торжественный, многолюдный и великолепный. Царь был одет в русское, царица в польском платье. Последнее не понравилось многим русским. Царь и царица ничего почти не ели. Для них был изготовлен домашний обед в деревянном дворце с близкими особами; но на этом официальном пире они должны были прикасаться к заздравным чашам, и царь, между прочим, провозгласил здоровье польских жолнеров, благодарил за прежнюю службу, приглашал

вновь к себе на службу, кому угодно из прибывших поляков, назначал жалованья на год по сто злотых на гусарского коня и обещал дать тотчас вперед за четыре четверти, да сверх того дарил им по штуке золотной материи и по сорока соболей. Конечно, нашлось довольно охотников на такие выгодные условия, и, выходя из пиршества, поляки хвастали пред русскими, что царь Димитрий любит больше поляков, чем своих; а те русские, что слышали от них такие речи, принимали их к сердцу и негодовали как на поляков, так и на царя своего.

На следующий день, в воскресенье, опять в Кремле загремели трубы. Послы отправились представлять новобрачной чете подарки от короля и от себя, но с твердою решимостью не обедать у царя, если им не дадут место по желанию. Их пригласили в этот день не в торжественные палаты, а во дворец, построенный для царицы; они прошли через две-три комнаты в покой, обитый красным бархатом и устланный ковром из серой бобровой шерсти; там нашли царя, сидящего вместе с Мариною. Он одет был в красный бархатный опашень (кобеняк), усаженный жемчугом, опушенный соболями; из-под распахнутых пол его виднелся бархатный край кафтана, усажен-

ного жемчужинами с изображениями орлов с коронами над ними; на шапке был пук перьев с запоной, а сапоги у него были красные бархатные, подкованные. Царица одета была в платье польского покроя из драгоценной материи того времени, называвшейся телеем (которая ценилась тогда выше золотных). Около нее сидели только дамы — ее родственницы и несколько русских боярынь. Тут был и воевода. Послы поздравили царя и царицу и поднесли подарки и от короля, и от себя. Подарки эти от короля состояли из кубков, роструханов, раковин, серебряных изображений деревьев и виноградных ветвей, корабля с серебряною пушкою; от себя послы поднесли ей чарку с жемчугом, бриллиантами и рубинами, два ожерелья из алмазов и рубинов, бриллиантовые серьги и золотую цепь с каменьями и жемчугами. После обычных приветов Афанасий Власьев сказал им:

«Его цесарское величество зовет вас, послов его величества короля, к столу хлеба-соли есть».

«Мы очень рады сделать угодное государю и не пренебрегаем хлебом-солью, дожидаем уже несколько дней этого, и готовы были находиться при столе его, но государь не хотел дать одному из нас места с собою, как его королевское вели-

чество посадил за своим столом посланника его Афанасия. Это причиною, что хотя ваше господарское величество прежде приглашали нас на хлеб на соль, а мы не были; и теперь нам неприлично быть, если ваше господарское величество не почтите в нас особу его королевского величества и не укажете места за одним столом с собою».

Димитрий отвечал им на эту речь:

«Я короля польского на свадьбу к себе не просил. Иначе сумел бы почтить местом вас в особе его величества; только вы сядете за мой стол как послы».

Олесницкий хотел было возражать, но царь обратился к воеводе, отвел его в сторону, поговорил с ним, потом воевода подошел к послам и тихо стал их убеждать, чтоб они не спорили о местах. Послы ссылались на свою инструкцию. Мнишек сказал:

«Не держитесь слишком строго инструкции на этот раз, чтобы не привести в затруднение других дел его величества и Речи Посполитой. Я уверяю ваши милости, что теперь можно очень многое у него вытребовать для пользы короля и Речи Посполитой».

После усиленных просьб со стороны Мнишека, Олесницкий сказал наконец:

«Сами собою мы не смеем отступить от инструкции; но если его господарское величество даст нам письменное свидетельство к королю, что мы не хотели отступать от инструкции и делаем это по уверениям и обещаниям с его стороны, что от этого произойдет много пользы для Речи Посполитой и его величества короля, — а твоя милость, пан воевода, заступишься за нас пред королем, чтоб не казалось, что мы хотели тем унизить достоинство его королевского величества, — тогда примем место, которое, как пан воевода говорит, нам назначено, не желая приводить в затруднение дела его величества короля и Речи Посполитой».

Пир в этот день был в Грановитой или в Столовой палате (кажется, в Грановитой)[388]. Посол Олесницкий сел на правой стороне от царя близ самой особы его, но за особенным столом; прислуживал ему стольник. За царским столом на серебряных седалищах сидели Димитрий и Марина. И царь, и царица были одеты в этот день в платье польского покроя, с коронами на головах. По правую руку от царицы сидели знатные госпожи польские и русские; но столы расставлены

[388] Сноски: 388
Ник. лет., 113. — Собр. гр., II, 293.

были так, что русским приходилось сидеть спиною к царю, тогда как иноземцы сидели к нему лицом[389].

Обед продолжался несколько часов с разнообразными церемониями, принятыми при Московском дворе. Царь несколько раз посылал в золотых чарках разные напитки гостям, а стольники, поднося их, говорили: «Его царское величество жалует тебя!» Подавали тринадцать перемен мясных кушаньев; тут были жареные тетерева, обложенные лимоном, заячья голова с мелко искрошенным мясом под нею, баранина в борще, курица с белою кислою подливкою, курица с желтою подливкою, пироги с бараниной, пироги с свиным салом, пироги с яйцами, с творогом, огромные медовые пироги, начинка с бараньею внутренностью, крошеное легкое с крупою и с медом, перцем да шафраном, кушанье, называемое по-московски «мех». Затем следовали, по обычаю, сласти: разные варенья, печеный с медом хлеб, также хлеб кусками, политый сотовым медом, и длинные прутья корицы. Музыка гремела в продолжение всего обеда. Мнишек не садился за стол, но, снявши шапку, стоял пред

---

[389] Сноски: 389
Grevenbr., 47.

царем и царицею. Все смотрели с удивлением на это унижение старика, который в прошедшие дни то и дело что жаловался на нездоровье. Мнишек был в восторге, дождавшись возвышения своей крови, видя корону на голове дочери… Также знатная пани Тарлова весь обед стояла за Мариной и прислуживала ей. Димитрий, при громе музыки, провозгласил чашу за здравие королевского величества, а послы должны были сойти со своих мест и получить из царских рук для испития заздравную чашу. Замечательно, что после этого длинного обеда, когда послы ушли в свое помещение, им еще принесли обильный ужин. Но полякам очень не нравились московские бессольные кушанья: иные находили, что их нельзя в рот взять. При конце обеда Димитрий приказал явиться в залу послам, которых отправлял в Персию; они как будто приходили перед отъездом на прощанье ударить челом царю и царице. Это он сделал для того, чтоб показать свое великолепие и дружбу с соседними государствами. «Я, — говорил он, — посылаю послов к королям французскому и английскому, в Венецию и к итальянским князьям!» По окончании пира Димитрий ушел в свой деревянный дворец; поляки провожали его по переходам; он

остановился вновь на дворе, — тогда накрапывал дождик; над ним и над его супругой держали китайчатый балдахин; вынесли сорок две пары кречетов: ими издавна щеголяли перед иноземцами московские государи. Димитрий показывал их полякам и заметил: «Я уже триста пар послал таких польскому королю». — «Неправда, — заметили между собою поляки, — не посылал, а так только, для магнифиценции выдумывает!»[390]

В понедельник был опять пир, и уже совсем на польский образец. И царь, и царица были одеты по-польски, поляки прислуживали; из русских было только двое: князь Василий Рубец-Мосальский и Афанасий Власьев. После обеда были танцы. Димитрий, в богатом наряде, начал танец с царицею; потом танцевал воевода. Марина танцевала чрезвычайно изящно: никто из дам не мог сравниться с нею по живости движений и по благородству осанки[391]. Танцующие прежде всего попарно подходили к царской руке, а потом шли танцевать, снявши шапки. Только послы танцевали в шапках в знак своего величия, но снимали их, когда случалось в танцах прохо-

[390] Сноски: 390
Diar. Niemojewsk.

[391] Сноски: 391
Cilli, 70.

дить мимо царя. Все кланялись, когда, танцуя, проходили мимо царя и царицы. Бал продлился до солнечного заката. Царь объявил, что в следующее воскресенье будет за городом устроен турнир, и польские паны в восхищении ожидали дня, когда они будут ломать рыцарские копья в честь новобрачных.

Тогда случилось вот что: в этот же самый день к царскому столу подавалась телятина; нашлись из царских поваров такие, что не захотели себя поганить приготовлением яства, по их мнению, запрещенного церковью. Они вышли на площадь, роптали пред народом. Это приходилось кстати, потому что уже многое соблазняло москвичей[392].

В эти веселые дни по всей Москве был необыч-

---

[392] Сноски: 392

В народной песне память об этом отразилась так, что названый Димитрий приказывал своим поварам готовить скоромное кушанье не в пору:

«Как пошел на крылечко на заднее,
Скрычит он возвопил громким голосом:
– Есть ли у меня повары!
Мои батюшковы приспешнички!
Варите вы яству скоромную и постную.
Скоромную яству – гуси-лебеди,
А постную яству – рыбу белую.
Завтре у меня пир будет
Ради тестя любимаго

Про Юрья пана Стредомирского.
Скоромную еству сам кушает,
А постную еству роздачей дает».

Киреевский. Песни. Вып. VII, 69.

ный шум: по улицам московским поляки скакали на лошадях, стреляли из ружей на воздух, пели песни, танцевали… В Кремле между соборами устроен был сруб; на нем гремели тридцать четыре трубача и тридцать четыре человека били в бубны и накры[393]. «Крик, вопль, говор неподобный!» — восклицает летописец[394]. Благочестивые люди крестились и отплевывались от этой бесовщины. «О, как огнь не сойдет с неба и не попалит сих окаянных!» — говорит одно современное описание. Привыкшие жить со звоном колоколов, обращаться беспрестанно между монахов и монахинь, видеть нравственное достоинство жизни в одном монастыре, москвичи с омерзением смотрели вообще на мирское веселье. Если они сами предавались веселости, и часто очень грязной, то все-таки признавали это грехом; притом свои приемы были для них привычны, а чужие бросались в глаза: их соблазняло то, что люди плясали, играли и еще утверждали, что эти забавы не противны Богу. В понятии московских людей обычаи страны слились в одно с церковными; многое, что не имело никакого

[393] Сноски: 393
Grevenbr., 38. — Petricii, 187.

[394] Сноски: 394
Сказание еже содеяся. Чтен. 1847 г. № 9, 22.

отношения к церковному строю, почиталось ими за установления святых отец. И вот раздались такие толки, рассеваемые агентами Шуйского: «Что это за царь! По всему видно, что он не настоящий сын Ивана: обычаев старинных не держится, ест телятину, в церковь ходит не так прилежно, как прежние цари, и перед образами не очень низко поклоны кладет, в баню не ходит; хоть каждый день бани топятся, а он со своей еретичкой-женой спит да так, не обмывшись, и в церковь идет, а за собою ведет поляков, а они собак вводят в церковь: святыня оскверняется… Нет, он не может быть истинный Димитрий!» Нашлись и такие, что стали вспоминать добрым словом царя Бориса. «Вот, — говорили, — царь был так царь: родной отец!»

Подслушали подобные речи, схватили одного крикуна, донесли царю. Сначала Димитрий, по своей вспыльчивой натуре, думал сурово поступить с возмутителем и подвергнуть его обычной пытке, чтоб разведать, откуда он получил внушение говорить так в народе, а потом одумался, и, когда сказали ему, что говоривший был пьян, Димитрий посоветовался с боярами, может быть, тайными своими врагами, которые желали его усыпить, а может быть, и с друзьями,

вторившими его собственным желаниям. Царь не велел трогать его. «Что за беда! — говорил он. — Пьяный болтал! А хоть бы и трезвый, то я не хочу беспокоить себя всякою глупою болтовнею». Поляки, напротив, тогда же советовали ему не пренебрегать этим; они подозревали, что кроется заговор, и предостерегали царя. Царь не слушался, говорил, что народ его любит, что он силен как нельзя более и не хочет думать ни о чем, кроме удовольствий и забав. Говорят, что в эти дни Димитрию было странное предзнаменование. Он лежал на постели и увидел, что к нему подходит фигура старика: царь вскочил — привидение исчезло; царь спрашивал у стоявших на карауле; никто не видал, чтоб кто-нибудь приходил к царю. Димитрий лег на постель и через час опять увидел, что к нему приближается старик и говорит: «Ты государь добрый, но за несправедливости и беззакония слуг твоих царство твое отымется от тебя». Видение исчезло. Димитрий позвал Бучинского, своего доверенного, и рассказал, что с ним было. Бучинский стал порицать безнравственность русского народа, приписывал ее невежеству в деле христианской веры и, как протестант, стал доказывать, что все спасение зависит от того, когда царь сам примет и распро-

странит в государстве истинную веру, то есть реформатство. Об этом событии впоследствии рассказывал служивший в царской иноземной гвардии шотландец Жильберт своим землякам на родине[395]. Но Димитрия не столько тревожило это видение, сколько успокаивало другое предсказание: какой-то магик, астролог или гадатель, уверил его, что ему суждено царствовать тридцать четыре года.

Веселье продолжалось между тем по-прежнему во дворце. Во вторник пир был в покоях царицы. Здесь все было по-польски, так что когда послы вошли туда, то заметили, что посуда, мебель, одежды, прислуга и приемы — все было так точно, как обычно бывало в Кракове у польского короля. Музыка гремела. Напитки лились. После обеда, по обычаю, танцевали. Гости были веселы и довольны.

XI. Ночное совещание заговорщиков. – Легкомыслие поляков. – Новые предостережения царю. – Последний бал

Когда царь в упоении любви знать не хотел

---

[395] Сноски: 395
Milton, 59.

ни о какой опасности, в ночь со вторника на среду в доме Шуйского собирались званые гости. Кроме некоторых бояр и думных людей, которые с ним уже были в соумышлении, приглашено было несколько сотников и пятидесятников из войска, которое стянулось к Москве, чтоб идти к Ельцу; были тут кое-кто из гостей и торговых людей. Василий Шуйский излагал им общее дело в таком смысле: «С самого начала я говорил, что царствует у нас не сын Ивана Васильевича, а Гришка-расстрига Отрепьев; и за то я чуть было головы не потерял. Меня Москва тогда не поддержала! Но пусть бы он был не настоящий, да человек хороший, а то видите сами, до чего доходит! Он женился на польке и возложил на нее венец; некрещеную ввел в церковь и причастил! Роздал казну русскую польским людям и нас всех отдаст им в неволю. И теперь они уже делают что хотят: грабят нас, ругаются над нами, насилуют нас, святыню оскверняют… Собираются за городом с нарядом и с оружием будто на потеху, а в самом деле затем, чтоб нас, бояр и думных людей, извести, забрать в свои руки столицу; а потом придет из Польши большое войско, и поработят нас, и станут искоренять веру и разорять церкви Божии. Если мы теперь же не срубим дурного

дерева, то оно скоро вырастет под небеса и все Московское государство пропадет до конца! И тогда наши малые детки в колыбели станут вопить и плакать, и жаловаться к Богу небесному на отцов своих, что они вовремя не отвратили неминуемой беды. Либо нам погубить злодея с польскими людьми, либо самим пропадать. Теперь, пока еще их немного, а нас много и они помещены одни от других далеко, пьянствуют и бесчинствуют беспечно, теперь можно собраться в одну ночь и выгубить их, так что они не спохватятся на свою защиту».

Собранные долго раздумывали; Шуйский чрез своих агентов давно подготовил себе партию, и люди этой партии были теперь у него. «Мы на все согласны! — сказали они. — Мы присягаем вместе жить и умирать! Будем тебе, князь Василий Иванович, и вам, бояре, послушны; одномышленно спасем Москву от еретиков безбожных. Назначь нам день, когда дело делать!»

Шуйский сказал:

«Я для спасения веры православной готов теперь принять над вами начальство. Ступайте и подберите людей, чтоб были готовы. Ночью с пятницы на субботу чтоб были отмечены дома, где стоят поляки… Утром рано в субботу, как услы-

шите набатный звон, пусть все бегут и кричат, что поляки хотят убить царя и думных людей, а Москву взять в свою волю; и так по всем улицам чтоб кричали. Народ услышит, бросится на поляков; а мы тем временем, как будто спасать царя, бросимся в Кремль и покончим его там[396]. Если не удастся и мы пострадаем, то купим себе венец непобедимый и жизнь вечную; а когда будем спасены, то вера христианская будет спасена вовеки»[397].

В заключение Шуйский и бояре надавали всем множество обещаний: сулили дворянам города в управление, повышения по службе, гостям и торговым людям льготы. Положили, чтоб после низвержения самозванца не мстить никому и не поминать старого.

У Шуйских были большие поместья и вотчины; из них они вызвали нарочно своих людей как будто для того, чтоб видеть царскую свадьбу[398], и они были им помощниками. Для исполнения замысла достаточно было и нескольких сот че-

---

[396] Сноски: 396
Petricii, 186.

[397] Сноски: 397
Сказ, еже сод. Чтен. 1847, № 9, 23.

[398] Сноски: 398
Piasecii, 240.

ловек при беспечности царя. Бывшие с Шуйским имели у себя приятелей и слуг, которые были готовы идти за ними. Вступившие в заговор гости и торговые люди рассевали ненависть к полякам между торговым людом; дворяне — между дворянами и детьми боярскими, прибывшими в войске в Москву. Всего войска, конечно, нельзя было возмутить: его было, говорят, под Москвою тысяч до восемнадцати. Шуйский расчел, что нужно только, чтоб народ пустился бить поляков; а это было легко. Это отвлечет народ от Кремля; а как разделаются с царем, тогда можно будет именем оскорбляемой веры, при пособии духовенства уверить народ в справедливости убийства.

Между тем поляки сами невольно помогали врагам царя. Шуйский заранее сделал верный расчет на характер и нравы поляков, которые должны были приехать в Москву с Мариной. Он не ошибся. Поляки при каждом удобном случае высокомерно выставляли свое превосходство и с презрением отзывались о московских обычаях. Получив от царя предложение вступить в службу с хорошим жалованьем, они хвастались этим и кричали: «Ваша казна вся перейдет в наши руки!» Другие гордо побрякивали саблями, кричали: «Мы вам дали царя, Москве!» Эти выходки

вызывали со стороны московских людей раздражения, ссоры и драки. В пьяном разгуле поляки бросались на женщин среди улиц, вытаскивали их из каптанов (экипажей), врывались в дома, где замечали красивую хозяйку или дочек. Особенно наглы были гайдуки и слуги панов, приехавшие с ними во множестве. Следует заметить, что они считались только поляками: это были русские и большею частью православные, потому что в то время в южных провинциях Польши не только простые люди, но даже многие паны не успели еще потерять предковской веры. Но московские люди с трудом могли признать в них единоверцев, по разности обычаев и обыденных приемов жизни, входивших, по московским понятиям, в область предписываемого религиею. Когда вспомним, что польское правительство то и дело что издавало распоряжения о прекращении своевольств в южных областях, то нетрудно понять, почему прибывшие с панами отличались в Москве таким буйством. Когда еще тогдашний царь был претендентом и находился в Польше, когда между панами было разномыслие — помогать ли ему или нет, многие склонялись к желанию не мешать Димитрию набирать полки в Польше именно в надежде сбыть в Московское

государство беспокойных удальцов и забияк из польских провинций. Неудивительно, что эти «гультаи» успели раздражить против себя туземцев, даже самых преданных и верных царю Димитрию[399].

Утром в среду, после совещания, каждый из заговорщиков сходился с приятелями, знакомыми и вербовал их в число соучастников. Они сновали по городу и по рынку, толкались в народных сходках и возбуждали народ против поляков. В это время из Кремля повезли большие пушки; только огромную Царь-пушку тогда не двинули с места[400].

Пушки везли за Сретенские ворота. Там уже множество рабочих рук насыпали вал и строили сруб: предполагалось сделать примерную крепость для потехи; царь прикажет одним брать, а другим защищать. Подобные забавы были уже не в первый раз, но никогда еще не затевались они в таком большом размере, как теперь. Димитрий хотел удивить всех на этот раз. В то же время

---

[399] Сноски: 399

Хроногр. Арх. Ком. — Petreji, 186, 187. — Bussow. 46. Сказан, еже содеяся. Чтен. 1847, № 9. — Степ. Кн. рук. Арх. Ком. — Diar. Niemojewsk. — Hist. Russ. Mon., II, 172. — Grevenbr., 39. — Mass., 94.

[400] Сноски: 400

Сказ, еже сод. Чт. 1847, № 9, стр. 23.

велено приготовлять на поле обед и попойку для народа: царь хотел, чтоб все веселились. Поляки толковали и хлопотали о рыцарском турнире в честь новобрачной царственной четы. Это было кстати заговорщикам. «Смотрите, — говорили они народу, — что это затевают нехристи! Это они собираются извести всех бояр и московских людей, которые сойдутся на их проклятое игрище; одних перебьют, а других перевяжут; и дворян, дьяков, и гостей, и всех лучших людей возьмут и отвезут к королю в Польшу; а потом придет сюда большое королевское войско и покорит нас, и станут искоренять истинную православную веру и вводить еретичество — скверную и проклятую веру латинскую и лютерскую, на погибель душ христианских. Запасайтесь, братцы, оружием, чтоб не даться в руки неверных». Некоторым не говорили о царе ничего, другим же хулили царя. «Разве не видно, что он еретик: повенчался с еретичкой-полькой и некрещеную причащал; с поляками бражничает, пляшет и обычаю нашего не держится, в платье польском ходит. Он с ними заодно; его поляки сюда прислали, чтоб веру нашу истинную искоренить и нас в польскую неволю отдать!» Тогда, конечно, рассевали в народе слух, будто царь ругается над православною

святынею, как говорит народная песня:

А местные иконы под себя стелет,
А чудны кресты под пяты кладет[401].

Большая часть тех, к которым обращались такие речи, не имела еще вражды к царю и готова была служить ему; но поляков за их наглости побить многие были не прочь.

Между тем во дворце занялись делами. Послов пригласили на совещание с боярами о деле, касавшемся войны с неверными. Но у бояр было на уме другое: они знали, что из совещаний с поляками ничего не выйдет; пышно-фразистая речь Олесницкого не привела их в восторг. Послы не предлагали ничего, а, изливши свои чувства, ждали предложения от бояр. По этому поводу зложелатель поляков, Татищев, сказал: «Быть может, король хочет нас только выведать, а потом ничего не делать; так это ложь и обман будет». Послы не вдались в объяснения по поводу этих слов, но поспешили затереть их фразами и разошлись.

После этого совещания послы отправились к Тарлу обедать. Царица в этот день давала пир московским боярам и боярыням. Она была одета

---

[401] Сноски: 401
Киреевск. Песни. Вып. VII, 69, 70.

по-русски и старалась привлечь к себе гостей своею любезностью. В ее наружности, в ее обращении, чрезвычайной внимательности к собеседникам, простоте, соединенной с сознанием величия, было столько обаятельного, что самые враги, дышавшие против нее злобою, проникались к ней уважением[402].

К вечеру в этот день показались признаки страшной тучи, находившей на беззаботную веселость царственной четы и гостей ее. Паны, пировавшие у Тарла, окончивши обед, принялись танцевать. Вдруг прибежал к ним кто-то и сказал, что москвичи собираются толпою на князя Вишневецкого. Какой-то гайдук этого князя, пьяный, повздорил с москвичом и ударил его; тот закричал, сбежались москвичи и поляки. Последние, разумеется, уступили и ушли, а москвичи, разжигаемые заговорщиками, горячились; собралась толпа и кричала: «Бить Литву!» Послы, находившиеся на обеде, сейчас уехали на посольский двор, а прочие паны остались и продолжали веселиться. Вечером действительно толпа народа сошлась близ квартиры Вишневецкого, и поляки боялись нападения, но обошлось без драки.

---

[402] Сноски: 402
Cilli, 71.

Послы отправили к царю известить о своей опасности, а царь прислал к ним Бучинского и сказал чрез него: «Я так укрепил свое государство, что ничего не может случиться против моей воли». Чрез несколько часов снова царь послал к ним сказать то же и успокоить их. Старый Мнишек и сын его перепугались еще более и собрали в свой двор всю пехоту, с которой приехали. Послы поставили стражу на посольском дворе, вся их челядь собралась и держала караул.

На другой день, в четверг, все стало спокойно. У католиков был праздник «божьего тела»; поляки, забывши вчерашний страх, начали праздновать. Тогда царю подали челобитную на какого-то поляка, который будто бы обесчестил на улице русскую знатную девушку. Царь приказал сделать строгий розыск. Обвиняемого поляка стали пытать, он ни в чем не признался; по следованию оказалось, что на этот раз донос был несправедлив. Между тем в городе узнали об этом деле, заговорщики кричали: «Поляки бесчинствуют, и нельзя найти ни суда, ни управы на них: царь их покрывает!» Поляки весь день стреляли на воздух холостыми зарядами, одни для потехи, а другие думали этим дать знать москвичам, что они умеют обороняться. Эти выстрелы пуга-

ли народ, а заговорщики указывали народу на бесчинство и на угрозы польских людей[403]. Волнение распространялось более и более, смелее становились уличные крики, подозрительнее выглядывали лица исподлобья на каждого проходившего поляка. «Берегитесь, — говорили тогда полякам немцы, — москвичи недоброе затевают на вас, хотят вас побить». Нашлись и русские, которые пришли с доносом на своих к Басманову. Басманов доложил царю. «Я этого слушать не хочу! Не терплю доносчиков, — сказал царь, — и буду наказывать их самих!»

В этот день царь приказал допустить к себе Савицкого, который с самого приезда в Москву не мог, к своей досаде, добиться свидания с царем. Иезуит вручил царю письмо генерала своего ордена и подарки от этого генерала и от самого св. отца: последний прислал московскому царю свой портрет в золотых и серебряных пластинках и, сверх того, свою первосвященническую индульгенцию. Димитрий принял, поблагодарил. Иезуит сразу объявил, что он приехал узнать его державную волю насчет обещанного введения католичества в Московском государстве. Димит-

[403] Сноски: 403
The bloody massacre.

рий встал и, не прося гостя садиться, стал ходить взад и вперед по комнате, а иезуиту дал знак, чтоб и он с ним ходил. Но вместо того чтобы продолжать беседу, начатую Савицким, царь сказал:

— Я желаю основать в Москве высшую коллегию, как уже говорил прежде, и как можно скорее. Я хочу немедленно заводить школы, и мне нужны подготовленные к этому наставники.

— Этого нельзя исполнить вдруг, — сказал иезуит, — по совершенному неимению учеников. Их нужно прежде собрать и распределить.

— Моя непременная воля, — сказал царь, — такова, чтоб собрать из разных мест мальчиков, сколько-нибудь подготовленных быть учениками, и тотчас без отлагательства заводить школы.

Иезуит помолчал, не смея прямо спорить с царем и не находя возможным оправдывать его желания. Потом он сказал:

— Ваше величество — государь самодержавный, и все будет исполнено по вашему первому приказанию и повелению.

Иезуит снова думал было заводить беседу о введении католичества, как вдруг царь неожиданно заговорил совсем о другом.

— Вот, — сказал он, — мне предстоит еще военное дело. Я уже приказал собрать сто тысяч

войска, да еще не решил, куда вести его — против неверных и язычников, а может быть, и против кого иного. Вот польский король огорчает меня — не хочет признавать за мною титула, какой следует мне по правам моим!

— Надеюсь, — сказал иезуит, — что божественное провидение не допустит возгореться несогласию и вражде между могущественными христианскими монархами.

Иезуит снова хотел завести свою речь, но царь объявил, что об этом поговорить можно в другое время, а теперь ему нужно идти к своей матери.

— Ваше величество, — сказал Савицкий, — намерены ли удерживать меня здесь или отпустить?

Царь сказал, что он желает, чтоб Савицкий оставался. Он, как ученый человек, был ему нужен в видах основания в Москве коллегии.

— В таком случае, — сказал иезуит, — ваше величество, дозвольте мне во всякое время иметь к вам свободный доступ для совещания и предложения вам моих планов и соображений.

— Хорошо, — сказал царь, быстрыми шагами подошел к двери и позвал из нее своего секретаря Бучинского, ненавистного иезуитам и считавшегося ими опасным еретиком.

— Вот к этому господину извольте обращаться каждый раз, когда будете приходить ко мне, а он станет мне о вас докладывать, — сказал царь Савицкому.

Невкусно показалось это иезуиту. «Видно, — замечал он после такого свидания, — Димитрий уже совсем не тот, каким был когда-то в Польше. Вопреки прежним обещаниям, о католической вере мало думает. Будучи в Польше, он отдавал и себя, и своих подданных в волю св. отца папы римского, а теперь отзывается о нем без уважения и даже с презрением допускает к себе еретиков и подчиняется их советам и наущениям, а короля польского Сигизмунда III, которому обязан благодеяниями, не только оскорбляет словами, но и вознамерился лишить короны». Савицкому, вероятно, стали известны тайные сношения Димитрия с противниками Сигизмунда в Польше, да и сам царь в разговоре сделал зловещий намек, что, быть может, собранное тогда войско придется обратить против кого-то иного, явно разумея польского короля[404].

При дворе между тем шли приготовления к воскресному празднику: Марина затеяла маскарад,

---

[404] Сноски: 404
Велевицкий, перев. Муханова, 174–175.

и царский дом обставляли лесами для каких-то потех, вероятно, для иллюминации.

Ночью с четверга на пятницу караульные в Кремле заметили шестерых человек подозрительного свойства: они пробирались тайком в царский двор; трех караульные положили на месте, а трех поймали; их подвергли пытке, но ничего не могли от них добиться и замучили. В эту ночь сделался мороз, вредный для овощей.

Наступила пятница. Люди толковали о морозе, который был в прошедшую ночь. «Это не к добру!» — говорили в Москве; а друзья царя, предчувствуя беду, видели в этом явлении дурное предзнаменование для него. Москва с каждым часом высказывалась. Немецкие капитаны ясно видели, что в ней созрело что-то грозное и, несмотря на прежние царские запрещения являться с доносами, решились сообщить Димитрию на письме предостережение. Один из них подал ему записку в то время, когда царь осматривал своих лошадей. В записке давалось царю знать, что следующий день назначен заговорщиками для совершения над царем злого умысла. Димитрий, прочитав записку, разорвал ее и сказал: «Это все

вздор!»[405] Его сильно успокаивало предсказание о тридцатичетырехлетнем царствовании[406]. Приехал к царю тесть и говорил:

— Опасность очевидна! Жолнеры пришли ко мне сегодня и говорят, что вся Москва поднимается на поляков. Заговор несомненно существует.

Царь отвечал:

— Удивляюсь, как это ваша милость дозволяете приносить себе такие сплетни.

— Осторожность не заставит пожалеть о себе никогда, а ваша милость будьте осторожны! — сказал Мнишек.

Царь на это сказал:

— Ради бога, пан отец, не говорите мне об этом больше, иначе мне это будет очень неприятно. Мы знаем, как управлять государством; нет ни-

---

[405] Сноски: 405

Велев., перев. Муханова, 171.

[406] Сноски: 406

В одной народной песне, где ему придается качество колдуна, говорится:

«Стоит Гришка-ростригжка Отрепьев сын
Против зеркала хрустальняго,
Держит книгу в руках волшебную,
Волхвуе Гришка-ростригжка Отрепьев сын:
“Я стоял же Гришка нунь три годы,
Простою я тридцать лет”».

Гильфердинг. Онежск. был., с. III.

кого, кто бы мог что-нибудь против нас сказать. Да если б мы увидали что-нибудь дурное — в нашей воле такого жизни лишить. Ну да для вашего успокоения я прикажу стрельцам ходить с оружием по тем улицам, где поляки стоят.

Еще раз Басманов дал совет не пренебрегать опасностью и сейчас же принять меры. Царь не верил и его предостережениям; схваченные в Кремле ночью и замученные пытками люди заставили его, однако, несколько призадуматься. Димитрий сказал: «Хорошо, я сделаю розыск; дознаемся, кто против меня мыслит зло». Но он отложил до субботы после обеда[407]. В этот же самый день он разгневался на казанского митрополита Гермогена, который раздражил его хулением за то, что он допустил Марине венчаться в церкви, не принявши наперед православной веры.

Шуйский распоряжался, без ведома царя, по-своему войском; головы и сотники были с ним в соумышлении; вместо того чтоб идти к Ельцу, как хотел царь, Шуйский в продолжение предыдущих дней задерживал войско в нескольких верстах от Москвы, а отряду в числе трех тысяч

---

[407] Сноски: 407
Żelanski.

приказал подойти к самой Москве, как показывает современник[408].

Вечером в пятницу этот отряд должен был занять все ворота Белого города, чтоб во время замышляемого переворота никто не мог убежать из тех, кому следовало быть убитым или задержанным. Поляки, до сего дня беспечные, в пятницу уже стали беспокоиться и бросались покупать порох на случай нападения. Но в лавках им не продавали пороха[409]. Москвичи, напуганные заговорщиками, толковавшими, что потеха в воскресенье за Сретенскими воротами замышляется с дурною целью, убеждались в справедливости этих рассказов, когда увидали, что поляки хотят запасаться порохом.

Царь, ничем не тревожась, отгоняя всякое подозрение, созвал вечером гостей в новый дворец. Сорок человек музыкантов грянули на своих инструментах, начались танцы; молодые пахолята Марины в польском платье прислуживали. У входа дворца стояли, по обыкновению, сто очередных немецких алебардщиков на карауле, а по иным известиям — сто стрельцов и часть

---

[408] Сноски: 408
Is Mass. 92.

[409] Сноски: 409
Grevenbruch, 38.

царской гвардии[410]. Василий Шуйский именем царя приказал им разойтись по домам и оставить только тридцать, а по другим известиям — двадцать четыре[411] человека. Не смея ослушаться князя, который так близок к царю, алебардщики ушли; близ дворца осталось только около тридцати человек. Царь ничего не знал об этом и был особенно в хорошем расположении духа в тот вечер. Веселились до ночи. Толковали, как бы роскошнее и затейливее устроить на воскресенье праздник с турниром и маскарадом. Наконец гости разошлись. В сенях дворцовых легли пахолята и с ними несколько музыкантов, прочие ушли в свои помещения. Царь отправился спать к жене в ее новопостроенный и еще не оконченный дворец, соединенный с царским новым дворцом переходом[412].

---

[410] Сноски: 410
Grevenbr., 38.

[411] Сноски: 411
Żelanski.

[412] Сноски: 412
Petricii, 113.

XII. 17 мая. – Убийство Димитрия

Заговорщики не спали. Шуйский еще до света разослал некоторых, назначив, кому где быть: одни должны быть готовы на Красной площади, чтоб идти на дворец, другие — по улицам в назначенное время волновать народ. Дождались солнечного восхода. Это было самое удобное время: москвичи были тогда, по обыкновению, все на ногах, а гости, утомленные обычными ночными забавами, должны были спать по своим квартирам. Дома, на которые надобно было нападать, отметили.

Рассвело. Шуйский приказал отворить тюрьмы и выпустить заключенных. Им роздали топоры и мечи[413]. С солнечным восходом ударили в набат в церкви Святого Ильи на Новгородском дворе на Ильинке. Потом зазвонили также в соседних церквах, а потом ударили в большой *полошной* колокол, в который всегда били на тревогу. Звон распространялся от одной церкви до другой, и в короткое время по всем московским церквам раздался зловещий набат. В иных местах звонили,

---

[413] Сноски: 413
Petricii, 112.

не зная, в чем дело, звонили потому, что другие звонят. Народ бежал со всех сторон в Китай-город. Главные руководители — Шуйский, Татищев, Голицыны — были на конях; с ними толпились на Красной площади до двухсот человек заговорщиков. «Что за тревога?» — спрашивали толпы. Заговорщики кричали народу: «Литва собирается убить государя и перебить бояр: идите бить литву!» Быстро разнеслась по Москве неясная весть: одни узнали, что литва кого-то хочет убить; тем послышалось имя царя, а этим имя бояр; другие слышали, что царя кто-то хочет убить, и спрашивали: «Кто убивает царя?» — «Литва! — кричали в ответ заговорщики. — Идите на литву, бейте литву, берите животы себе!» Народ бросался в разные стороны на поляков: многие с мыслью, что в самом деле они защищают царя, другие — из ненависти к полякам за их своевольства и с желанием свергнуть чужеземное иго; а иные, как то случается в самом справедливом деле, просто из одной страсти к грабежу.

Шуйский, освободившись от народной толпы, поехал в Кремль: в одной руке у него был крест, а в другой меч. За ним ехали и бежали заговорщики с ружьями, обнаженными саблями, с копьями, топорами и рогатинами.

Набатный звон разбудил царя, лежавшего близ молодой жены. Он поспешно вскочил, накинул кафтан, не стал тревожить царицы и побежал по коридору в свой дворец. Вошедши в сени, увидел он Димитрия Шуйского, — этот, вероятно, забежал вперед, чтоб обмануть царя и не дать ему уйти впору. «Что это за звон?» — спросил Димитрий. «Пожар в городе!» — сказал Шуйский. Было в обычае, что сам царь ездил на пожар. Димитрий направился опять в покои жены, вероятно, на короткое время, чтоб успокоить жену, потом ехать на пожар. Набатный звон раздавался уже в Кремле у него над ухом. Он слышал крики на дворе, воротился во дворец и столкнулся с Басмановым. «Поди узнай, что это такое», — сказал царь. Басманов отворил окно, увидал пред собою разъяренную вооруженную толпу; она бегом спешила во двор и уже наполняла двор. Басманов спрашивал из окна: «Что вам надобно? Что это за тревога?»

Толпа закричала: «Отдай нам своего царя вора. Тогда поговоришь с нами!»

Басманов бросился к Димитрию и закричал: «Ахти мне, государь! Сам виноват! Не верил своим верным слугам! Бояре и народ идут на тебя!»

Тут проскочил мимо алебардщиков, стоявших

на лестнице, казенный дьяк Тимофей Осипов и явился перед царем. Вероятно, его пропустили, потому что он был без оружия. Он сказал: «Ну, безвременный цесарь, проспался ты? Выходи давать ответ людям. Велишь себя именовать непобедимым цесарем, что Богу противно и грубно. А ты не цесарь; ты вор, расстрига Гришка Отрепьев, чернокнижник, еретик, обругатель православной веры».

Он стал было поражать царя словами Св. Писания, но Басманов рассек его саблею. Этот дьяк был известен по своей набожности и постничанью, он хмельного в рот не брал. Он соблазнился особенно тем, что Димитрий венчался с Мариною и православным людям приходилось давать крестное целование еретичке латинской веры. Осипов хотел принять мученический венец за правду, исповедался, причастился Св. Тайн и пошел на обличение «расстриги»[414].

Тело дьяка выбросили за окно. Толпа подходила к крыльцу.

— Запирайте двери, мои верные алебардщики, не пускайте! — кричал Димитрий.

Но он, как видно, не знал, что алебардщиков

---

[414] Сноски: 414
Хронографы. — Is. Mass., 95.

только тридцать человек, и они не могли удержать толпы. Кроме них было во дворце человек двадцать с небольшим слуг да музыкантов — народ все не воинственный. Шуйский слез с коня, поцеловал двери Успенского собора, а потом указал толпе заговорщиков на дворец и сказал:

— Кончайте скорее с вором Гришкою Отрепьевым! Если вы не убьете его — он нам всем головы снимет.

Алебардщики стали было у входа; по ним дали несколько выстрелов. Они увидали, что не в силах защищаться. Половина побросала оружие и разбежалась; пятнадцать поднялись по лестнице в сени и пропустили за собою толпу, которая бросилась на лестницу.

— Государь, спасайся, — сказал Басманов, — а я умру за тебя! Царь бесстрашно выступил вперед в сени и закричал: «Подайте мне мой меч!»

Но тот, кто носил звание великого мечника и хранил его меч, не явился с этим мечом к своему царю.

Алебардщики стояли в сенях со своим оружием. Царь выхватил у одного из них, Вильгельма Шварцгофа, алебарду, подступил к наружным дверям и закричал толпе:

— Я вам не Борис!

Из толпы выстрелили. Димитрия не зацепила пуля. Басманов выступил вперед, заслонил царя собою, сошел несколько ступеней вниз по лестнице и говорил боярам: «Братья, бояре и думные люди! Побойтесь Бога, не делайте зла царю вашему, усмирите народ, не бесславьте себя!»

На него кинулся Михайло Татищев, сказал ему крепкое слово[415], а потом ударил Басманова длинным ножом прямо в сердце. Басманов покатился с лестницы. Другие выбросили труп Басманова напоказ народу.

Димитрий, притворивши дверь, высунулся из нее, начал махать алебардою на обе стороны и кое-кого зацепил. Но заговорщики стали стрелять. Димитрий отступил. Двери заперли. Сильным натиском и ударами топоров заговорщики выломали их. Царь с алебардщиками ушел в переднюю комнату и там заперся. Заговорщики стали ломать следующую дверь. Царь бросил алебарду, схватил себя за волосы, побежал по переходу к жениным покоям, но с той стороны пробраться было невозможно: сени и вход с другой стороны царицыных покоев были заняты толпою. Царь не вошел к жене, а только

---

[415] Сноски: 415
Oscula matrem tuam in vulvam et principem tuum in penem.

через окно закричал к ней: «Мое сердце, — здрада (измена)!» — и бежал, по одним известиям, в каменный дворец, по другим — назад в деревянный, и заперся в уго́льной комнате, где он обыкновенно купался[416].

Выхода не было. Он глянул в растворенное окно, увидал вдали стрельцов на карауле. Тут ему пришла мысль выскочить в окно, спуститься по лесам, приставленным к стенам ради предполагаемой иллюминации, и отдаться под защиту народа. «Если б ему удалось, — говорит иностранец[417], — благополучно соскочить и уйти, — он бы избавился от беды: народ перебил бы господ заговорщиков; народ не знал о заговоре, слышал, что поляки хотят убить царя, и бросился поэтому бить поляков; даже многие из тех, что бросились тогда в Кремль, думали, что они идут спасать царя от поляков». Димитрий прыгнул из окна, но споткнулся на лесах и оборвался на землю[418], на житный двор. От окна до земли было очень высоко: тридцать футов. Царь разбил себе грудь,

---

[416] Сноски: 416
Grevenbr, 40.

[417] Сноски: 417
Is. Mass., 96.

[418] Сноски: 418
Żelanski. — Арцыб., 111, 134.

вывихнул ногу, зашиб голову[419] и лишился на время чувства[420].

Заговорщики сломали другую дверь, пробежали по комнатам дворца и никого не нашли. Они отняли у алебардщиков их брошенное оружие и приставили к ним стражу. Толпа бросилась в каменный дворец, хватала все, что ни попадалось под руки, — золото, серебро, жемчуг, платья; обдирали обои, ломали мебель; другие старались спрятать себе в карман что-нибудь из общей добычи. Искали царя — и не находили его.

Между тем Марина пробудилась от набатного звона и крика, вскочила, не нашла близ себя мужа, поняла, что происходит что-то странное, надела юбку и, с растрепанными волосами, бросилась из своих комнат. Догадавшись, в чем

---

[419] Сноски: 419
Grevenbr., 41.

[420] Сноски: 420
В народной поэзии вот в каком виде сохранилось воспоминание об этом событии из жизни названого Димитрия:

«Зглянул в окошко косевчато:
Обступила сила кругом вокруг,
Вся сила с копьями.
Гришка ростригжка Отрепьев сын
Думает умом своим царским:
“Поделаю крыльица дьявольски,
Улечу нунь я дьяволом”.

Не поспел Гришка сделать крыльицов,
Так скололи Гришку ростригжку Отрепьева».

Гильфердинг. Онежск. был., III.

дело, она бежала в беспамятстве в нижние покои каменного дворца под своды и сначала бессознательно хотела укрыться в каком-то темном закоулке. Но ей, одинокой, стало страшно в этом убежище. До нее долетал треск выстрелов, набатный звон, грозные крики толпы[421]. Постоявши немного в этом месте, Марина выскочила оттуда, поднялась вверх и наткнулась на толпу москвичей, бегавших по дворцу и по переходам. Ее не узнали, столкнули с лестницы и не обратили на это внимания. Когда толпа пробежала, она скоро ушла назад в свой дворец к придворным дамам[422]. Все они стояли вместе в страшном ожидании. Из мужчин был один только юноша, паж Марины Осмольский. Двери заперли. Осмольский стал у дверей с саблею и говорил, что только по его трупу злодеи доберутся до царицы. Заговорщики разломали двери. Осмольского положили ружейными выстрелами и изрубили в куски. Придворные дамы Марины сбились в кучку. Одна из дам, старуха пани Хмелевская, пораженная нечаянно пулею, направленною в

[421] Сноски: 421

Pietr., 114.

[422] Сноски: 422

Буссов (с. 49) и за ним Петрей (с. 90) говорят, будто Марина спряталась под платье своей полнотелой охмистрины (гофмейстерины).

Осмольского, лежала, истекая кровью.

Москвитяне, говорит иностранный современник[423], тотчас, как увидели женщин, так и показали, что они народ бесстыдный, не имеющий понятия о чести, стыде и приличии.

— Говорите, польские… где царь? Где полька его, царица?

Гофмейстерина сказала в ответ:

— Вам лучше это знать, где вы его дели; мы за ним не караулим.

— А, — закричали москвичи, — вот мы вас всех!..

И они стали делать разные непристойности[424]. Такие сцены были, конечно, в порядке вещей, после того как Шуйский так был неразборчив в выборе сообщников, что для умножения их числа выпустил из тюрем преступников. Но тут прибежали старшие бояре и стали разгонять толпу; не то чтоб у них действовало человеколюбие и сострадание, говорит поляк современник[425], а они боялись истреблять знатных поляков и

---

[423] Сноски: 423
Petrei, 190.

[424] Сноски: 424
Nudabunt equina pudenda sua.

[425] Сноски: 425
Petricii, 115.

женщин, чтоб потом не навлечь войны и мщения от Польши. Шуйский рассчитывал, что если половину поляков и побьют москвичи, зато бояре оберегут некоторых и потом будут представлять это к своему оправданию.

Бояре приказали всем идти за ними, отвели их в особый покой и приставили к ним стражу.

В то время раздались крики: «Нашли, нашли еретика!»

Царь, упавши, лежал несколько времени без чувств, его поднял один алебардщик, Вильгельм Фирстенберг, и потом подбежали к нему стрельцы, отлили водою и отнесли на каменный фундамент сломанного, по приказанию Димитрия, Борисова деревянного дома. Таким образом, ему приходилось, окровавленному, бороться со смертью и молить себе защиты и спасения на том месте, где без малого за год не вымолили себе жизни Борисова жена и ее сын. Царь долго не мог прийти в себя, только жалобно стонал от боли. Наконец собрал силы и, увидя, что его окружают стрельцы, говорил им:

«Обороните меня от злодеев Шуйских, Христа ради! Мои милые православные! Ведите меня к миру на площадь перед Кремль. Я вас вознесу выше всех… и боярских жен и детей отдам вам в

неволю, и все их имущество ваше будет!»

Стрельцы обещали. Вдруг заговорщики, отыскавши след пропавшей было для них жертвы, бросились туда с ружьями, рогатинами и топорами. Они яростно кричали. Стрельцы закрыли своего царя, стали в строй и дали залп. Нескольких дворян положили. Это до того отбило у других охоту лезть на Димитрия, что заговорщики отступили и готовы были разбежаться. Тут много было народа, вовсе не способного жертвовать собою. Но Василий Шуйский остановил их.

«Разве вы думаете, что спасетесь? — говорил он. — Это не таковский человек, чтоб забыл обиду! Дайте ему волю, так он запоет иную песню: он перед своими глазами всех вас замучит. Это не простой вор — это змий свирепый! Задушите его, пока он еще в яме, а как выползет, то нам горе, и женам нашим, и детям».

Заговорщики послушались совета и опять было приступили. Стрельцы приложились к ружьям. Тогда кто-то закричал:

«Когда так, идем же в стрелецкую слободу, побьем их стрельчих и стрельчат, если они, б….ы дети, не хотят выдать вора, обманщика, злодея!»

— Дело! Идем! — закричали другие.

И заговорщики поспешно повернулись, по-

казывая вид, что спешат в стрелецкую слободу. Любовь к женам и детям, говорит современник[426], пересилила все приманки, которыми надеялся склонить их царь. Они, поговоря между собою, расступились и оставили Димитрия одного.

Бояре и заговорщики подошли к нему, подняли и понесли в деревянный дворец как бы для допроса. Недавно еще нарядный и опрятный, дворец теперь был страшно окровавлен и загрязнен. В сенях лежали трупы убитых музыкантов и пахолят. Алебардщики стояли безоружные под стражею и не смели поворотить языка. Им сказали московские люди: если пикнете, то и пропали. Димитрий посмотрел на них жалобно, вздохнул и прослезился. Его унесли в другую комнату. Когда толпа исходила на лестницу, Вильгельм Фирстенберг не утерпел, вошел за думными людьми и пробрался в ту комнату, куда внесли царя. Он хотел дать ему понюхать какого-то спирту, чтоб поддержать в нем сознание[427]. Но кто-то из толпы ударил его алебардою и повалил, мертвого, к ногам Димитрия.

---

[426] Сноски: 426
Паэрле, 82. — Borsza, Ист. Библ., 1, 423–424.

[427] Сноски: 427
Grvenber., 41.

«Эти собаки-иноземцы, — говорили тогда, — и теперь не оставляют своего воровского государя! Надобно их всех побить!» Но знатные бояре не попустили перебить иноземцев.

Принялись за Димитрия. «Еретик ты окаянный! — кричали заговорщики. — Что, удалось тебе судить нас в субботу?» — «Он Северщину хотел отдать Польше», — кричали одни. «Латинских попов привел!» — говорили другие. «Зачем взял нечестивую польку в жену и некрещеную в церковь пустил?» — кричали третьи. «Казну нашу московскую в Польшу вывозил!» — замечали четвертые[428]. Сорвали с Димитрия кафтан и надели на него дырявую гуньку. «Смотрите, — говорили москвичи, — каков царь-государь всея Руси самодержец! Вот так царь!» — «О, у меня такие цари на конюшне есть!» — сказал какой-то боярин. Тот тыкал ему пальцем в глаза, другой щелкал его по носу, третий дергал за ухо…

Один ударил его в щеку и сказал: «Говори, б…. сын, кто ты таков? Кто твой отец? Как тебя зовут? Откуда ты?»

Димитрий говорил: «Вы знаете, я царь ваш и великий князь Димитрий, сын царя Ивана

---

[428] Сноски: 428
Żelanski.

Васильевича. Вы меня признали и венчали на царство. Если теперь еще не верите, спросите у моей матери, — она в монастыре, спросите ее, правду ли я говорю; или вынесите меня на Лобное место и дайте говорить».

Тогда князь Иван Голицын крикнул во всеуслышание: «Сейчас я был у царицы Марфы; она говорит, что это не ее сын: она признала его поневоле, страшась смертного убийства, а теперь отрекается от него!» Эти слова были тотчас же переданы из окна стоявшей толпе. Шуйский между тем ездил верхом на дворе и тут же подтверждал, что единственный сын царицы Марфы убит в Угличе, а другого сына у нее не было. Он торопил поскорее убить вора. Ему нужно было, покончив с Димитрием, остановить народное буйство против поляков.

— Винится ли злодей? — кричала толпа.

— Винится! — отвечали из дома.

— Бей, руби его! — раздавалось в толпе.

— Что долго толковать с еретиком! — сказал дворянин Григорий Валуев. — Вот я благословлю этого польского свистуна.

Он выстрелил в Димитрия из короткого ружья, которое у него было под армяком. Пуля убила его сразу. Тогда москвичи бросились на труп и

били его палками, камнями, топтали ногами, кололи ножами… А потом обвязали ему веревкою ноги, зацепили еще иначе срамным образом[429] и стащили с лестницы; труп был до того обезображен, что не только нельзя было распознать в нем знакомых черт, но даже заметить человеческого образа. Его потащили из Кремля через Фроловские (ныне Спасские) ворота. У Вознесенского монастыря толпа остановилась и вызвала царицу Марфу.

«Говори, царица Марфа, твой ли это сын?» — спрашивали ее. Свирепые взоры и дикие голоса показывали царице, какого ответа от нее хотели[430].

По одному известию[431], Марфа отвечала: «Не мой!» По другому[432] — она сказала загадочно:

---

[429] Сноски: 429

Grevenbr., 41: transmissoper pudende fane.

[430] Сноски: 430

Petricii, 116.

[431] Сноски: 431

Diar. Niemojewsk.

[432] Сноски: 432

Hist. Russ. Monum., II, 119. — Borsza, Истор. Библ., I, 425–426. Вернее известие Немоевского, бывшего одним из польских гостей в Москве. Вероятно, если б Марфа дала такой двусмысленный ответ, он бы дошел и до него, тем более что, сообщавши прямой отрицательный ответ, он замечает, что царица или испугалась, или, как говорили, была уже прежде в соумышлении с заговорщиками: видно по всему, что это событие немало интересовало Немоевского.

«Было б меня спрашивать, когда он был жив; а теперь, как вы убили его, уже он не мой!»

По третьему известию, сообщаемому в иезуитских записках, мать на вопрос волочивших труп сначала отвечала: «Вы это лучше знаете». А когда они стали к ней приставать с угрожающим видом, то произнесла решительным тоном: «Это вовсе не мой сын»[433].

Как бы то ни было, убийцы признали, что мать отреклась от него, и успокаивали совесть свою. Тело положили на Красной площади на маленьком столике, длиною в аршин. За ним притащили за ноги труп Басманова и положили внизу, так что ноги Димитрия свешены были на грудь Басманова. «Ты любил его живого, пил и гулял с ним вместе: не расставайся с ним и после

---

[433] Сноски: 433

Велевицк., перев. Муханова, с. 178.

Примеч. В народной песне бояре спрашивают инокиню Марфу:

«Прямой ли царь на царстве сидит,
Твое дитя рожденное,
Что Дмитрий царевич углицкой?»
Инокиня мать отвечает им:
«Вы глупы бояре – неразумные!
Вестимо Богу и всей земли,
Что потерян князь Дмитрей на Угличе».

О таком ответе матери память перешла в народную поэзию. При этом песня влагает в уста матери и объяснение — зачем прежде она всенародно признала его сыном:

«Приезжает с угрозою,
Привозит наголо саблю вострую,
Велит называти своим сыном,
Князем Димитрием царевичем Углицким»…

Киреевский. Песни. Вып. VII, с. 70–72.

смерти», — сказали московские люди. Тогда прискакал из Кремля один дворянин и показывал народу маску, ее нашли во дворце: Марина, как сказано было, приготовляла маскарад. «Вот, смотрите! — кричал дворянин. — Это у него такой бог, а святые образа лежали под лавкою!» Маску положили трупу на грудь.

Кто-то достал дудку, вероятно, взявши у убитого музыканта, и всадил в рот мертвому царю: «Подуди-ка! Ты любил музыку; мы тебя тешили — теперь ты нас потешь!» Другой кто-то вынул копейку и положил на труп. «Это ему плата, как скоморохам дают», — говорил москвич. Толпа потешалась около трупа. Приходили и такие, что не были при убийстве, и задавали удары мертвецу; они хотели приложить руку к умерщвлению еретика, каким считали его по внушению Шуйского и его соумышленников. Пришедший на другой день к этому телу иноземец насчитал на нем двадцать одну рану[434].

[434] Сноски: 434
Is. Mass., 100.

XIII. Продолжение 17 мая. – Расправа с поляками и уловка иезуитов. – Объяснение с послами. – Резня на Никитской улице

В то время, как разыгрывалась такая трагедия с трупом Димитрия, московский народ бил поляков. Когда заговорщики приступали ко дворцу, вооруженная толпа окружила двор, где помещался Мнишек с сыном, чтоб не дозволить воеводе подать помощь зятю; он ведь, как было сказано, заранее предчувствуя беду, собрал к себе во двор свою команду. Двор этот, построенный Борисом, находился недалеко от дворца; задняя часть двора была огорожена деревянного оградою, а другая, обращенная ко дворцу, — каменною стеною; у стен навалены были кучи камня, извести и песку.

Воевода и бывшие с ним поляки услыхали набатный звон и неистовые крики, схватились за оружие, но увидели, что москвичи уже ворвались в примыкавший к этому дому другой корпус. Там жили музыканты и песенники. Москвичи ненавидели музыку, считали ее дьявольским

наваждением и без сожаления истребляли этих людей, которые приехали соблазнять благочестивое жительство древней Москвы. Потом принялись доставать Мнишка. На кучи камней взмостили три пушки, а внизу поставили две маленькие пушечки, чтоб разбивать стену, но не стреляли еще из них, оставляя такую стрельбу на дальнейшее время, а пока стали пускать во двор через стены и забор каменья и стрелы. Одна стрела чуть не попала в воеводу. Удальцы становились под забором, а другие взлезали им на плечи, чтоб таким образом перелезть во двор. Поляки не решались, что им делать: одни советовали защищаться и стрелять по москвичам. «Что же, — говорили они, — разве нам отдаваться на зарез, как стаду?» Другие представляли, что всякая неприязненная выходка только раздражит москвичей, и советовали уйти в глубокий подвал, откуда трудно будет их доставать. Но посреди этой суматохи подъезжают к воротам бояре и кричат: «Пан воевода! Вышли к нам на разговор своего лучшего человека». Воевода не посмел отворить ворот, думал, что, быть может, их нарочно выманивают, и приказал одному из своих служителей, Гоголинскому, перелезть через стену; его подсадили и спустили к москвичам. Москвичи

повели его к думным людям. Это было уже после окончания дела с царем. Михайло Татищев сказал ему: «Кончилось господство обманщика, хищника нецарской крови, которого привел к нам твой пан; жена его жива и будет отдана отцу со всею челядью; твой пан по справедливости стоит такой же участи, потому что от него пошли нам беды и кровопролития, но Бог сохранил его до сего часа от народной злобы; благодарите Бога! Теперь опасность миновала, и, если хотите быть целы, сидите тихо, не беритесь за оружие, не дразните народа, а то беда вам будет!» Гоголинский принес печальную весть воеводе, что зятя его нет в живых. Вслед за тем приставили караул к помещению Мнишека и отогнали толпу, хотевшую овладеть двором и грабить.

Если б поляки не предвидели на себя нападения, то их всех легко было бы истребить. Но важные паны собрали свою свиту во дворы, и с ними москвичам приходилось повозиться.

Толпа удальцов напала на двор, где помещался хорунжий перемышльский Станислав Тарло, в Китай-городе. Туда к жене его набежало много женщин с детьми и девушек. Прислуги у него было более двадцати человек; сверх того, к нему прибежал пан Любомирский с двенадцатью че-

ловек прислуги. Ворота были заперты. Москвичи потребовали, чтоб им отворили и отдали оружие; за то они обещали не делать над поляками ничего худого. Смельчаки хотели было отвергнуть это предложение и защищаться, но женщины и дети начали жалобно кричать; тогда рассудили, что отстаиваться в чужой земле от туземцев невозможно, и согласились. Потребовали, чтоб москвичи поклялись, что не будут никого убивать и оскорблять. Москвичи присягнули именем Святой Троицы. Их впустили и отдали оружие. Тогда чернь, рассуждая, что не грех нарушить присягу, данную Божиим именем тем, которые в Бога не так веруют, как следует, начала всех их обирать и бить: убили двадцать три человека служителей; других переранили; добрались до самих господ. Пани Тарлова бросилась к мужу и стала закрывать его собою. Ее отколотили, окровавили ей обе руки, но москвичей тронула их супружеская верность: они не стали убивать ни ее, ни мужа, а наделили ударами, обобрали и раздели донага. С ней была вдова пани Гербуртова: и ее тоже отколотили до крови и обнажили. Быть может, этим бы не кончилось и в конце концов перебили бы их всех, но тут прискочили бояре и разогнали толпу, а самих господ с оставшеюся прислугою,

большею частью женского пола, увели. Они шли нагишом по улицам; привели их в таком виде в Кремль и там одели в такой убор, в каком, по выражению очевидцев, и наиподлейший человек в Польше не ходит[435]. Впоследствии иезуиты рассказывали, что их спасение совершилось чудодейственно, помощью Божией Матери, потому что пани пообещалась, если жива останется, сходить на богомолье в Ченстохово[436]. Вместе с Тарлом взят был и Любомирский, который, как сказано, соединился с ним заранее в одном доме[437].

Оттуда часть этой толпы бросилась к Стадницким. Они помещались на Варварке, против дома Романовых. Стадницкие заперлись. Москвичи покусились сломать ворота, но не могли одолеть их, потому что поляки с забора поражали их выстрелами. Тогда москвичи бросились к церкви (Максима-исповедника), звонили напропалую и созывали толпу. Народ сбегался. Взмостили две пушки на дом Романовых и оттуда хотели

---

[435] Сноски: 435
Hist. Russ. Mon., II, 120.

[436] Сноски: 436
Annuae Soc. Jesu, 1607, 726.

[437] Сноски: 437
Petricii, 122.

стрелять из них во двор, где были Стадницкие. Но тут прибежали посланные от бояр и разогнали толпу[438].

Между тем другая толпа, неистовствовавшая над Тарлом, напала на дом, где помещался ксендз Франциск Помасский, самборский пробощ, приехавший с Мнишеками. Он носил титул королевского духовника: не был он иезуит, но друг иезуитского ордена. У него был походный алтарь. Когда москвичи ворвались к нему, он служил обедню; толпа мужчин и женщин слушала ее. Ворота были заперты. Москвичи, не докричавшись, чтоб им отворили, разломали их силою. Часть слушавших обедню в тревоге пустилась бежать; москвичи гонялись за ними: иных сразу положили мертвыми, иных переколотили и изранили. Другие остались со священником и хотели защищаться. Но священник сказал им: «Отоприте двери и впустите их; положим надежду нашу на Бога, и если нас перебьют, то умрем с достоинством!» Москвичи вбежали в домовую церковь, начали бить вправо и влево всех, потом добрались до алтаря, сорвали со священника служебные одежды и отколотили его так, что он

[438] Сноски: 438
Petricii, 124.

лишился чувств; на третий день после того он умер от побоев. Родной брат его был убит тут же. Чернь ободрала одежды с алтаря, взяла сосуды, образа изуродовала и поругалась над ними[439].

Счастливее обошлось отцам иезуитам. Их было тогда в Москве четверо; из них двое священников, а двое братии. Один священник, Каспар Савицкий, с двумя братиями скрылся у соседей между литовскими купцами: из них один был католик, а другие православные. Католик укрыл их. Другой иезуит-священник, Николай Чиржовский, был позван в далекую часть города к польским жолнерам служить обедню. Когда по Москве раздался зловещий звон, в тот дом, где служил Чиржовский обедню, набежало до двухсот человек поляков; из них много было православных и еретиков, т. е. реформатов и ариан. Когда москвичи разломали ворота, то, наученные отцом-иезуитом, поляки взяли со стен дома образа и, приложив к груди, выступили против москвичей; те, как увидали, так и руки опустили и закричали: «Это наши! Это истинные христиане!» Они стали подходить к ним и прикладываться к образам. Так спасли себя эти поляки благодаря находчивости отца-иезу-

[439] Сноски: 439
Petricii, 128.

ита[440]. Савицкий с товарищами у литовских купцов недолго был вне опасности. Какой-то схизматик, ненавидевший католиков, говорит современник, проведав убежище отцов иезуитов, хотел было направить туда рассвирепевшую толпу, но купцы обещаниями склонили на свою сторону этого подстрекателя. Иезуиты в невыразимом страхе провели целый день, в то время как на улицах происходил ужасающий шум и убийства. Ночью стало спокойнее, а на другой день утром один из польских послов, Гонсевский, упросил русских отыскать иезуитов, о которых не знали послы ничего. Бояре со стрельцами вывели их от литовских купцов, насилу добившись от последних правдивого ответа, так как купцы, не доверяя москвичам, запрятали ксендзов и долго уверяли, что у них нет их. Учитель бывшего царя, прибывший в московскую столицу с замыслами вводить католичество и искоренять православие, шел посреди окровавленных убийц, глядевших на него дико и спрашивавших: «Кто он?» Им отвечали, что это посольский священник, и Савицкого пропустили на посольский двор с его

[440] Сноски: 440
Annuae Societ. Jesu, 1608, 1626.

двумя товарищами-иезуитами[441].

Москвичи были особенно злы на брата Марины, старосту саноцкого Станислава, за то, что люди его бесчинствовали в Москве. Но он собрал заранее людей с оружием в свою квартиру, находившуюся в доме, принадлежавшем некогда Степану Годунову и после ссылки его отданном Голицыну. Через улицу был посольский двор. Поставлены были стрельцы для охранения. Приставы, находившиеся при польских послах, объявили народу, что послов никак нельзя трогать, и москвичи не решались напасть на старосту саноцкого.

На другой стороне посольского двора помещались Казановские. К ним прибежало много поляков, как только заслышали беду, в том числе пан Домарацкий, бывший начальником польского отряда у Димитрия. Они умоляли взять их на свой двор — послы не решились на это явно: они боялись, чтоб народная толпа, узнавши, что послы укрывают не принадлежащих к посольству, не бросились бы и на их двор, но в угождение соотечественникам сделали отверстие в заборе, чтоб из дома, где жили Казановские, поляки могли

[441] Сноски: 441
Велевицкий, перев. Муханова, стр. 179–180–181.

перелезать в посольский двор. Толпа, ограбивши и побивши в соседних дворах поляков, напала на дом Казановских. Приметили, что оттуда люди с пожитками убегают через отверстие в заборе в посольский двор. Бросились не допускать их. Но посольские слуги стали на кровле конюшни и прицелились в толпу, чтоб заставить ее отступить и дать время пробраться своим. Москвичи только издали метали в стоящих на конюшне каменьями. Никого не ранили. Казановские со всеми, которые у них были, успели пробежать в отверстие; только одного слугу пана Домарацкого догнал москвич пред самою дырою и застрелил, а потом прикончил умирающего рогатиною. Но за это ему с конюшни тотчас же послали пулю в лоб. Как увидели москвичи своего мертвым, разъярились и собрались напасть на посольский двор, не рассуждая более, что посольских людей трогать не велено. Но тут прискакал боярин Борис Нащокин и приказал именем Боярской думы разойтись. Толпа повиновалась; ограбили, однако, все имущество Казановских и убили двадцать два человека, не успевших за прочими убежать через отверстие в посольский двор.

Нащокин с товарищем, подъехавши к посольскому двору, закричал, что хочет говорить с

послами. К нему вышел Гонсевский и стал на воротах. Оба думные сидели на лошадях; за плечами у них были колчаны со стрелами и луки, при боках сабли. Нащокин сделал приветствие и сказал:

«Князь Федор Иванович Мстиславский, князья Василий и Димитрий Ивановичи Шуйские и другие бояре, и мы, товарищи их, вам, послам от Сигизмунда, короля польского и великого князя литовского, велели сказать: в государстве вашего государя известно было, что по смерти Ивана Васильевича, царя и государя нашего, малолетнего сына Димитрия по причине злых людей не стало на свете. Но скоро после того монах Григорий, Богданов сын, будучи дьяконом, впал в чернокнижие и убежал от наказания в Литву, государство вашего государя, и там назвался царевичем Димитрием Ивановичем, обманул и вас, и нас, а люди ваши вошли с ним в московские пределы; тогда мир наш взбунтовался и, как царя Бориса Федоровича не стало, принял к себе царем; и он, будучи на государстве, воровал, бесчинствовал, хотел веру нашу христианскую искоренять и ввести еретическую веру. А царица, которую он называл своею матерью, объявила боярам, и все, узнавши его, не хотели более того терпеть и

убили его. Вор уже не жив. Но вы, как прибыли от государя и ото всей земли своей послами, то не бойтесь никакой беды: бояре приказали строго вас охранять, а вас велели остеречь, чтоб вы к старосте саноцкому и людям его и к другим не вмешивались, потому что они не с вами, а вы не с ними пришли. Они с воеводою сандомирским сюда приехали, хотели Москву заесть и всякие обиды чинили русским людям».

На эту речь отвечал Гонсевский такими словами:

«Правда, было у нас известие, что после великого государя вашего Ивана Васильевича остался сын Димитрий, и слышали мы, что Борис приказал его тайно убить. Но когда явился этот человек в наших государствах, то доказывал, что он истинный Димитрий Иванович и что Бог его чудесно избавил от смерти. Люди наши как прежде жалели, слыша о смерти Димитрия, так потом радовались, увидя его живого; а ваши люди и думные бояре посадили его на государстве. Теперь, как ты говоришь, узнали вы, что он не истинный Димитрий, и убили его. Нам до этого дела нет: пусть вам Бог помогает по правде вашей! Мы, послы, уверены в своей безопасности, ибо не только в христианских, но и в бусурманских

государствах охраняют безопасность послов. Впрочем, благодарим бояр за расположение. Что же касается до старосты саноцкого и других людей, подданных его королевского величества, которые приехали с воеводою сандомирским, то они сюда прибыли не на войну, не с тем, чтоб овладеть Москвою, а на свадьбу, будучи приглашены тем, кто у вас был государем, и вами самими чрез посла вашего; они не имели ни малейшей догадки о том, чтоб это был не истинный Димитрий, не делали никаких бесчинств. Если же кто-нибудь из низшего звания людей сделал что-нибудь дурно — никто за виновных не стоит; но нельзя же всем терпеть за одного. Поблагодарите же бояр за их расположение и передайте от имени нашего желание, чтоб они постарались остановить пролитие крови людей его величества короля нашего, ни в чем не винных и обеспеченных миром. Сохрани Бог, если станут их мучить перед нашими глазами; тогда мы не только не можем удержать нашей челяди, но и сами не станем смотреть на пролитие крови наших братьев, а должны будем с ними все умирать; а что из этого вперед может выйти, думные

бояре могут сами легко рассудить»[442].

Когда Нащокин принес эти слова боярам, Мстиславский, Шуйские и другие с большим рвением побежали по улицам останавливать кровопролитие. Шуйский побежал в Белый город, где, как услышал, москвичи бились с Вишневецким.

Князь Константин Вишневецкий помещался в Белом городе во дворе Стефана, господарича молдавского, недалеко от стены, близ одной из воротных башен. Услышав тревогу, он собрал свою дружину, которая состояла у него из четырехсот человек с лишком, и хотел проникнуть в Кремль на помощь царю и воеводе, соображая, что они в опасности. Но ему пришлось скоро повернуть назад: за многолюдством нельзя было пробиться туда. Притом по улицам в некоторых местах были сделаны рогатки и навалены бревна[443].

Городские ворота, соседние с его домом, были заперты; князь догадался, что москвичи хотят не выпустить поляков из города. Он выстроил свою конную дружину, частью на улице перед двором, а частью в самом дворе, и объявил, что надобно защищаться до последней капли крови, если

---

[442] Сноски: 442
Bussow, 55. — Hist. Russ. Mon., II, 122–123.

[443] Сноски: 443
Is. Mass., 94.

москвичи нападут на них. Москвичи напали. Вишневцы храбро отбивались. Но прибывали свежие толпы москвичей. Скоро Вишневецкий увидел, что невозможно держаться с лошадьми в тесном месте, и завел всю свою дружину во двор. Москвичи ворвались во двор, овладели службами; но в главном доме заперлась дружина Вишневецкого и стреляла по ним беспрестанно, то появляясь в окнах и дверях, то быстро исчезая. Вишневцы как будто насмехались над москвичами: вышвырнут какую-нибудь золотую вещицу или одежду из окна, чернь бросится на нее, а из окон по ней дадут залп и положат многих. Раза три они появлялись на переходах и показывали вид, как будто сдаются. Москвичи бросаются на крыльцо; тогда вишневцы пустят по толпе сорок или пятьдесят зарядов и кладут москвичей десятками. Москвичи достали пушку, но пушкарь у них был так неискусен, что навел очень низко, и как выпалил, то повалил своих. Однако толпа все более и более прибывала; заняли вблизи башню и оттуда начали пускать стрелы и пули. Поляки увидели, что как они ни храбрятся, а все-таки до них доберутся. На выручку им прибежал Василий Шуйский и с ним Иван Никитич Романов; они разогнали народ. Шуйский закричал, что если по-

ляки сдадутся, то им не будет ничего дурного, и в уверение поцеловал крест, снявши с груди. Тогда Вишневецкий, полагаясь на крестное целование, приказал своей дружине положить оружие. Шуйский вошел в дом и заплакал, как оглянул кругом место битвы и увидел убитых москвичей, которые напрасно рвались овладеть воинственным князем. Вишневецкого со всею храброю его челядью отвели в дом Татищева. Лучших лошадей, лучшие вещи они успели захватить с собою: остальное было ограблено[444]. Сам Шуйский провожал их и охранял от народной ярости и мщения за множество русских, убитых в свалке.

Поляки говорят, что их самих погибло очень мало, а москвичей очень много. Одни полагают (преувеличенно) число русских убитых до трехсот, другие — до четырехсот, те же, которые не знали меры желанию прихвастнуть этим делом храбрости, — даже до тысячи[445]. Вишневецкий потерял, по одним — девятнадцать[446], по другим

---

[444] Сноски: 444
Is. Mass., 94.

[445] Сноски: 445
Hist. Russ. Mon., II, 177. — Petricii, 126.

[446] Сноски: 446
Petricii. 126.

— семнадцать человек[447].

Но самая отчаянная резня происходила на Никитской улице в Белом городе. Здесь по преимуществу помещались как приехавшие с царицею, так и состоявшие на службе у Димитрия; там было их несколько сот в одной улице; да и в соседних улицах помещались поляки. Многие, не веря грозящим предзнаменованиям, спокойно спали. На них напали поодиночке, не давши им сойтись вместе. «Великий государь, — кричали им, — приказывает у вас взять оружие». За это обещали полякам пощаду. Поляки отдавали им оружие. Тогда чернь рассекала их пополам, распарывала им животы, отсекала руки и ноги, выкалывала глаза, обрезывала уши и ноздри, замучивала их до смерти, а потом ругалась над их трупами: привязывали к столбам, к столам, ставили и клали для своей забавы в смешные положения. Другие поляки, увидавши, что москвичи не милуют тех, которые им сдаются добровольно, стали защищаться и доставались на убой не иначе, как положивши несколько человек. В числе десяти офицеров Димитриева польского войска погиб и Борша, оставивший дневник Димитриева по-

[447] Сноски: 447
Hist. Russ. Monum., II, 175.

хода в Москву: он пал с оружием, застреленный в сенях чужого дома, куда убежал из своего[448]. Старуха Тарлова, старостина сохачевская, спряталась на чердак в своей квартире со слугами, а сын ее вместе с Самуилом Баллем стал было обороняться. Москвичи требовали выдачи оружия. Те было послушались, но только что Балль отдал свое оружие, как толпа бросилась на него и изрубила в куски. Молодой Тарло, видя, что сдача не поможет, стал обороняться и остался жив, потому что додержался до тех пор, пока бояре не разогнали народ.

Охмеленная кровью, толпа москвичей всякого возраста, возбуждаемая набатным звоном, бегала по улицам и неистово кричала: «Бей, режь, бей, режь литву! Перенимай, не допускай до Кремля. Они хотели царя и бояр извести!» Впереди были отчаянные сорвиголовы, прежние разбойники, убийцы, воры, получившие теперь свободу и право вдоволь делать то, к чему располагала их натура; опачканные кровью, с обнаженными ножами, дубьем, рогатинами, они одним видом своим наводили страх и омерзение[449].

---

[448] Сноски: 448
Petricii, 127. — Hist. Russ. Monum., II, 176.

[449] Сноски: 449
The bloody massacre, 151.

Рассказывают, что один поляк, человек зажиточный, пробужденный тревогой, вскочил с постели, убежал в погреб и зарылся в песок. У него в руках был кошелек с сотнею золотых монет. Москвичи напали на дом его, изрубили прислугу, искали хозяина, забрались в погреб и увидали голову поляка из кучи песку. Тот бросил им кошелек с деньгами, божился, что не сделал ничего ни против царя, ни против земли Русской, и просил не убивать его, а отвести в Кремль: там он оправдается, если в чем-нибудь его подозревают. Поляк не знал, в чем дело, слышал, что москвичи обвиняют поляков в злоумышлении на царя, и думал найти защиту в царе, не воображая, что царя нет уже на свете. Ему обещали, вывели и повели в Кремль, вероятно, так же, как и поляк, не зная, что сделалось с царем. На беду его, встречается другая толпа москвичей; увидали они поляка и закричали: «Бей его, б..... сына!» Поляк был не из храброго десятка — упал к ногам их и вопил: «Помилуйте, не убивайте ради Христа, ради Пресвятой Девы Марии, ради святого Николая Чудотворца!» Но в ответ на эти вопли один москвич ударил его саблею. Поляк, истекая кровью, вырвался и опять упал на землю и кричал: «Москвичи! Вы называетесь христиане,

в Бога верите, — окажите христианское милосердие над невинным! У меня жена, дети в Польше, пощадите меня!» Москвичи было остановились, но тут, на беду его, пробегала другая толпа и, завидя плачевную сцену, с ожесточением напала на него и изрубила[450].

Шуйский и его соумышленники до самого полудня бегали по городу, разгоняли народ и спасали поляков. На Покровке случилось им напасть на один осажденный черным народом дом; они разогнали толпу, целовали крест во уверение, что поляков не будут истреблять, когда они положат оружие. Шуйский в знак примирения обнял и поцеловался с поляком, которого выслали его земляки из своей осады[451]. В видах Шуйского вовсе не было истреблять гостей: он направил народ на них только для того, чтоб помешать народу подать помощь царю в Кремле и убийством поляков, любимых Димитрием, сделать москвичей вообще соучастниками убийства Димитрия, дать вид делу, что низвержение и смерть царя есть дело общее, земское, всенародное. Но когда Димитрия не было уже на свете, он искренно

[450] Сноски: 450
Petreji, 123. — Bussow, 52.

[451] Сноски: 451
Is. Mass., 97.

спасал поляков, чтобы после иметь перед польским правительством оправдание и отклонить мщение Речи Посполитой.

Вместе с приехавшими поляками и их слугами пострадали иностранные купцы, заехавшие в Москву с целью нажиться посредством торговли по случаю свадебного торжества. Приехавшие итальянцы и немцы были ограблены и потеряли свое имущество, кроме того что еще прежде набрали у них ко двору на большие суммы и после не заплатили, потому что не хотели отвечать за вора[452].

Обезображенные тела не убирались целый день. Лужи крови стояли на улицах. Люди гуляли и веселились, дрались за добычу, продавали ее. Этот день для многих был днем великого благополучия. Иные до того времени были совсем нищие, а теперь набрали денег, мехов, золотых вещей, жемчугу, богатых одежд. Пьяные хвастались и кричали: «Нет на свете сильнее и грознее московского народа! Целый свет нас не одолеет! Нашему народу счету нет! Теперь пусть все перед нами молчат, кланяются нам, в ногах у нас валяются!» — «Да, — говорили потихоньку слышавшие

---

[452] Сноски: 452
The bloody massacre, 14.

эти похвалки немцы, — вы храбры и мужественны; когда вас сотня идет на пять человек, тогда вы совершаете великие дела и получаете большую честь, особенно когда ваши неприятели лежат на постели в теплой комнате!»[453] Ночью настала такая тишина, что, казалось, живой души в городе не было[454]. Москва опомнилась. Убийцы, пропивши часть имущества, награбленного у замученных поляков, лежали мертвецки пьяные. Но не все жители были с одинаковыми чувствами; иные приложили руки к душегубству над поляками потому, что думали, что идут защищать царя и бояр, как вдруг узнали, что царя убили не поляки, а бояре, и теперь остолбенели от ужаса и недоразумения. Другие не участвовали в убийстве; были даже такие, что спасали поляков от злобы своих соотечественников. Один из Мнишеков, Ян Мнишек, брат Юрия, староста красноставский, обязан жизнью своему хозяину, который спрятал его.

На другой день стали отвозить тела за город: там хоронили их без гробов, без христианских обрядов; одних сваливали в глубокие могилы,

---

[453] Сноски: 453
Petr., 196. — Buss., 53.

[454] Сноски: 454
The bloody massacre, 15.

других бросали в болото и заваливали навозом; тех, которые лежали неподалеку от Москвы-реки, стаскивали в воду.

Число погибших поляков одни считают более четырех сот (388 по именному списку, и сверх того были слуги, которые не вошли в список)[455]. И москвичей погибло столько же, а может быть, и более.

Тогда велено было собирать оставшихся поляков и приводить на земский двор. Им составляли реестр, в котором записывали их имена и должности. Слуг, у которых господа уцелели, отдавали им, а тех, у которых господа были побиты, разместили по квартирам, дали им содержание и одежды, потому что они все почти были ограблены до ниточки. Из них сто пятьдесят человек шляхетского достоинства, служившие царю и царице, отправлены были на посольский двор и отданы послам. «Надобно честь отдать москвитянам, — говорили послы, — всякому, кто называл себя посольским, давали пощаду и приводили на посольский двор, только облупливали их до ниточки». Всем полякам, служившим у бывшего государя, объявили, что они будут отправлены в

[455] Сноски: 455
Hist. Russ Mon, II, 177. — Bibl. Krasin. B. 3.

отечество, но знатнейшие паны будут оставлены до тех пор, пока бояре не объяснятся с польским правительством и не узнают расположения короля Сигизмунда. Назначенных к отправлению было до 600 человек, вероятно, кроме слуг. Им, однако, не возвращали лошадей, а погнали пешком и на скудном содержании.

Бояре, чтоб показать, что они не потакают народному грабежу и насилиям, приказывали доставлять в казну награбленное у поляков; но это приказание худо исполнялось.

Несколько лошадей и карет действительно было доставлено, потому что их украсть было трудно; ручные же вещи никто не думал отдавать, а отыскать их для отдачи по принадлежности было невозможно: удалые молодцы тотчас же спустили их, а потом они переходили в третьи и четвертые руки.

XIV. Поругание над трупом Димитрия. – Слухи в народе и сожжение трупа

Обезображенные и обнаженные тела убитого царя и Басманова лежали субботу и воскресенье. Москвичи ругались над ними и приговаривали: «Ах ты, расстрига, б..... сын! Сколько ты зла

натворил в нашей земле! Всю царскую казну промотал, веру нашу хотел искоренить!» Его измазали дегтем и всякою дрянью. Московские женщины ругались над ним самым бесстыднейшим образом. Наконец велено было прибрать оба трупа. Басманова выпросили родственники и похоронили у Николы Мокрого. Тела Димитриева некому было выпросить, и не дали бы его. Его считали чернокнижником, отступником. Говорили, когда он лежал на площади, что в полночь слышны были около него бой бубнов, играние на сопелях, пение песен. «Это, — говорит наш хронограф, — бесы приносили честь любящему их расстриге и радовались о пришествии своего угодника!» Другие говорили, что около тела его ночью показывались из-под земли огоньки; когда караульные подходили, огонек исчезает, а потом, как отойдут, огонек опять появляется. В понедельник его свезли в убогий дом. Но только что его вывезли, как поднялась ужасная буря, сорвала кровлю с башни на Кулишках и разломала деревянную стену у Калужских ворот на Замоскворечье. Похожее явление бури случилось при въезде его в Москву; в воображении народном эти события совпадали между собою как-то странно. Толпа любопытных шла за ним. Его бро-

сили в яму, куда складывали нищих, замерзших и опившихся. Но вдруг по Москве разнесся слух, что тело его невидимою силою вышло из той ямы и очутилось на просторном месте; над ним видали двух голубков: только что подойдут к нему, голубки исчезают; только что отойдут — опять появляются и сидят на теле. Велели зарыть поглубже в землю. Прошло семь дней, и вдруг тело убитого царя очутилось невредимо на кладбище, в четверти версты от убогого дома. Это известие потрясло всю Москву. «Ну, видно (говорили москвичи), он не простой был человек, когда земля его тела не принимает! Он колдун, учился у лопарей колдовать; а они такое средство знают, что сами себя велят убить, а потом оживут»[456]. «Он, — говорили иные, — в Польше продал бесам душу и написал рукописание: бесы обещали его сделать царем, а он обещал тогда от Бога отступиться»[457]. — «Да не сам ли он бес? — говорили некоторые. — Он явился в человеческом виде, чтоб смущать христиан и творить себе смех и игрушку с теми, которые отпадут от христианской веры». Иные говорили, что он мертвец, некогда

[456] Сноски: 456
Petreji, 194.

[457] Сноски: 457
Хроногр. Погод., 1456.

живший, а потом умерший и оживленный бесовскою силою на горе христианству[458].

Шуйский старался поддерживать такие толки, чтоб заглушить толки другого рода. В те дни, когда тело Димитрия лежало на площади, были ночью морозы, и в этом нашли соотношение с Димитрием. «Пока тело его не будет уничтожено, не избыть беды Московской земле!» — говорили в Москве.

Несчастное это тело вырыли, провезли опять через Москву и сожгли за Серпуховскими воротами, на месте, называемом Котлы, в том срубе, который строил покойник, чтоб доставить своим подданным увеселительное зрелище западно-рыцарского турнира и примерных битв. Рассказывали, что не сразу поддалось огню тело

---

[458] Сноски: 458

Достойно замечания, что в народе составилась и до сих пор сохранилась в устных пересказах легенда о том, как он, считаемый Григорием-расстригою, предал душу свою злому духу.

«Был, — говорит эта легенда, — Гришка-ростригка по прозвищу Отрепкин: уж такая ему по шерсти и кличка была! Пошел он в полночь по льду под Москворецкий мост и хотел утопиться в полынью. А тут к нему лукавый — и говорит: “Не топись, Гришка, лучше мне отдайся; весело на свете поживешь. Я могу тебе много злата-серебра дать и большим человеком сделать”. Гришка говорит ему: “Сделай меня царем на Москве!” — “Изволь, сделаю, — отвечает лукавый, — только ты мне душу отдай и договор напиши кровью своею”. Гришка достал тут же бумагу, что с ним была, разрезал палец и написал кровью запись на том, что он лукавому душу отдает, а тот обязуется сделать его царем на Москве. Только забыл Гришка срок поставить в записи, сколько

времени ему царствовать. И вот повел его лукавый в Литовскую землю и там такой туман на всех напустил, что король литовский и все его вельможи признали Гришку за московского царевича Димитрия Ивановича и повели его со своею военною силою к Москве, чтоб там на царство посадить. Тут лукавый и на весь московский народ туман напустил, всем глаза отвел, так что все его приняли за прямого царевича Димитрия Ивановича. Он сел на царство. Тут лукавый стал подущать его, чтоб во всем государстве Московском истинную христианскую православную веру искоренить и поганую латинскую ересь ввести. Испугались московские люди и стали Богу молиться. Собрались архиереи и весь духовный чин и начали служить молебны. Тогда мало-помалу стал спадать туман с глаз у всего народа, и все увидали, что на царстве сидит не Димитрий Иванович, а злой еретик Гришка-ростригжка по прозвищу Отрепкин, и убили его». (Эту легенду слышали мы в селе Тушине, близ Москвы.)

Само собою разумеется, что в народном представлении названый Димитрий, о настоящем имени которого нет никаких верных сведений, остался Гришкою Отрепьевым, потому что после его кончины при Шуйском уверяли в этом народ и впоследствии, по воцарении Романовых, поддерживали эту мысль в народе.

волшебника. Бросили его в огонь — обгорели руки и ноги, а тело самое не сгорело; донесли об этом Василию Шуйскому, уже царю; тогда, по царскому повелению, тело изрубили в куски и опять бросили в огонь[459]. Потом пепел собрали, всыпали в пушку и выстрелили из этой пушки, обратив ее в ту сторону, откуда названый Димитрий пришел в Москву. «Вот теперь, — говорили москвичи, — он не встанет и не наделает нам беды!»

В этом случае московские люди ошиблись.

---

[459] Сноски: 459
Żelanski.

Часть вторая. Царь Василий Шуйский и воры

Глава первая
I. Избрание Шуйского в цари. – Ограничение царской власти. – Царские грамоты. – Объяснения с Мнишеками и польскими послами. – Царское венчание

19 мая, когда еще тело Димитрия лежало на площади, Шуйский собрал бояр, своих единомышленников, и говорил:

«Мы совершили единодушно подвиг праведный, честный, полезный и спасительный для земли; если б только Богу угодно было, чтоб меньше крови пролилось! Бог, который земные царства раздает кому хочет, благословил наше умышление. Теперь, когда вора больше нет на свете и русские люди избавились от обольщения чернокнижника и бесоугодника, который всем нам отвел глаза, — теперь нужно выбирать нового царя. Род наших государей пресекся, и надобно нам поискать в Московском государстве человека знатной породы, прилежного к святой восточной вере, во всем благочестивого, чтоб он держал невозбранно наши обычаи, чтоб сиял

добродетелями, подобающими для престола, был бы опытен и не юн, поставлял бы царское величие не в роскоши и не в пышности, а в правде и воздержании, не казну бы свою умножал, а берег бы людское достояние наравне с казенным или собственным царским. Вы, может быть, скажете, что такого человека не найти нам. Но добрый земский человек должен хотеть наилучшего государя, чтоб он, по крайности, казался таким для своих подвластных»[460].

Шуйский описывал такие качества, какими сам славился. Он был немолод и опытен, бережлив до скупости и уничтожением Димитрия доказывал свое благочестие и преданность вере и русским старым обычаям. Бояре сказали, что есть такой человек в Русской земле только один — князь Василий Иванович Шуйский. Шуйский, как водится, для виду поломался и согласился.

Бояре и думные люди пригласили властей. Приказали зазвонить в колокол, чтоб собрался на площадь народ. Поляки, оставшиеся в живых, перепугались, услышавши звон; они думали:

---

[460] Сноски: 460

De Thou, XIV, с. 499–500. — Хотя эти слова приводятся таким историком, как де Ту, который никогда не был на месте описываемых событий, но в них так верно отразился характер Василия Шуйского, что, по нашему мнению, он должен был получить о них сведение от лиц, стоявших весьма близко к событиям того времени.

верно, москвитяне собираются перебить их всех остальных. И не прежде отошло у них от сердца, как узнали, в чем дело. По одним известиям, это было 19-го, по другим — 20 мая.

Пока выжидали на площадь архиерея и бояре стали на Лобном месте — народу бежало немало. Но площадь около Лобного места предварительно заняли соумышленники Шуйского, сотники и пятидесятники войска, подговоренные прежде торговые люди и вообще участники в восстании против Димитрия; вероятно, были там и преступники, которые выпущены были из тюрем в день убийства.

Бояре начали говорить:

«Бывший патриарх Игнатий был слугою и потаковником расстриги. Не подобает ему оставаться на патриаршестве, и надобно нам избрать на соборную апостольскую церковь патриарха».

То был только хитрый приступ. Хотели говорить собственно о царе, а начали о патриархе. Тогда из толпы заговорили:

— Наперед патриарха пусть изберется царь на царство, а потом уже патриаршеское избрание произвольно будет учинить великому государю.

Другие сказали:

— Разослать во все города Московского государ-

ства грамоты, чтоб изо всех городов съезжались в Москву выборные люди для царского избирания.

— Для чего выборных людей собирать и ждать! — подхватили третьи. — Невозможно нам оставаться без царя. Благородный князь Василий Иванович Шуйский избавил нас, при Божией помощи, от прелести вражьей и от власти богопроклятого еретика, расстриги; он едва было не пострадал от сего плотоядного медведя; он живота своего не щадил за избавление Московского царствия. Пусть он будет царем нашим! Он отрасль благородного кореня царского! Род его от Александра Невского! Да вручится ему царство российского скипетродержавия!..

Тогда поднялись голоса:

— Пусть царствует над нами благоверный князь Василий Иванович! Он избавил нас от пагубы, от мерзкого еретика Гришки Отрепьева[461].

Приверженцы Шуйского говорили, что народа было множество; но летописцы, передающие современные известия, указывают, что Шуйский был избран не народом, а только соумышленниками.

С Лобного места повели нового царя в церковь.

---

[461] Сноски: 461
Рукоп. Филар., 3.

И там сказал князь Василий Иванович:

— По Божию изволению и по вашему хотению я избран на престол Московского государства и наречен от всех царем. Еще при царе Борисе и после него я принимал от многих обиды и оскорбления, неправды и гонения. Я целу́ю крест вам на том, что не стану никому мстить за мимошедшее и не стану никого судить и наказывать без боярского приговора.

Это было условлено заранее боярами, которым, разумеется, было приятно ограничить самодержавную власть государя. Но тут же оказались голоса, противные этому нововведению. «Никогда не творилось у нас такого, — говорили иные, — не затевать нового государства!» Конечно, Василию было приятнее послушать этого совета; но он здесь был боярское творение. Отступили бы от него бояре — и он бы остался беспомощен. Он не мог поступать против воли бояр. Василий не послушался тогда оберегателей самодержавия; целовал крест на том, чтоб ему без боярского приговора не предавать никого смерти, не отнимать вотчин и имуществ у братьев и детей осужденных, а у гостей и торговых людей — лавок и дворов. Так как при Борисе доносничество стало всем ненавистно, то Василий

Иванович обещался не слушать ложных доводов, но сыскивать накрепко и ставить доносителей с очей на очи, а кто на кого солжет, того казнить.

После того как Василий Иванович произнес эту присягу по составленной крестоцеловальной записи, присягали все присутствующие, также по крестоцеловальной записи, служить и прямить государю, его царице и детям, когда они будут, — и не учинить им никакого лиха ни зельем, ни кореньем.

Тотчас была отправлена во все пределы Российского государства грамота, сообщающая русскому народу, что праведным судом Божиим, за грехи всего христианства, богоотступник, еретик, чернокнижник Гришка Отрепьев, назвавшись царевичем Димитрием Углицким, прельстил московских людей, был на московском престоле и хотел попрать христианскую веру и учинить латинскую и лютерскую. Но Бог объявил людям его воровство, и он кончил жизнь свою злым способом. Сообщалось во всеобщее сведение русскому народу, что у него в хоромах найдены грамоты ссылочные, воровские, с Польшею и Литвою и с папою: видно из них, что папа присылал к нему для утверждения в вере законника монаха, который вместе с Гришкою также при-

нял смерть от людей православных. Сверх того, оповещалось грамотою, будто поляк, живший при Гришке, объявил, что вор-расстрига намеревался везти пушечный наряд за город якобы для стрельбы, — созвать туда бояр, дворян и всякого звания людей, — и в то же время приказал быть там литовским людям в вооружении с копьями и пищалями: на вид для воинской потехи, а в самом деле для того, чтоб всех бояр, думных людей и больших дворян побить. И было расписано у него, кому кого убивать; и была у него дума потом захватить Москву и раздарить воеводе сандомирскому и его родне города на Руси, чтобы таким способом можно было насильно приводить православных людей в латинскую и лютерскую веру. Вместе с тем объявлялось, что некто Золотой-Квашнин, изменивший царю Ивану Васильевичу и уехавший в Литву, сказывал, что Гришка поступился воеводе сандомирскому дать многие города, а королю польскому отдавал Смоленскую и Северскую земли. В заключение грамота извещала, что совершился выбор нового царя всем Московским государством. Духовные — митрополиты, архиепископы, епископы и весь Освященный собор, — бояре, окольничьи, дворяне, приказные люди, стольники, стряпчие,

дети боярские, гости, торговые и всякие люди Московского государства били челом князю Василию Ивановичу Шуйскому, чтобы он был царем и великим князем по степени прародителей от Рюрика и от Александра Невского, от которого происходили предки князя Василия, правившие Суздальским удельным княжением. Предписывалось в каждом городе собрать людей всякого чина и звания, и духовных, и светских, — прочитать эту грамоту, — и они все должны целовать крест по крестоцеловальной грамоте, и в продолжение трех дней следовало служить молебны с колокольным звоном[462].

Эта грамота так писалась, чтобы в каждом городе обмануть русских людей. Везде тогда могли ложно думать, что все города, исключая того, куда присылался полученный список грамоты, участвовали в выборе нового царя. В одном городе могли подумать, что хоть из него выборных в Москву, как всем им известно, не посылали, но дворяне и дети боярские этого города и уезда его, бывшие в службе, находились в Москве, и их слово могло пойти за весь город и уезд; в другом — можно было поставить дело так, что как бы слу-

[462] Сноски: 462
Собр. гос. грам., II, 304.

чайно, только этого города людям не пришлось быть на избрании: не идти же одному городу против всей Русской земли; и, очевидно, такому городу, не заявивши своего голоса при избрании, оставалось только спокойно присоединить свое желание к общей воле других городов, земель, волостей и уездов.

Разом с царскою грамотою разослана была грамота от бояр такого же содержания. Бояре уверяли народ, что они все и других званий люди действительно били челом Василию Ивановичу принять престол и избрали его московским царем[463].

Для решительного уверения русского народа в том, что бывший царь был Гришка, а не Димитрий, разослана была на другой день после этих грамот грамота от имени царицы-инокини Марфы. Она извещала, что тот, который царствовал и взял девку латинской веры из Польши, не крестив ее, венчался с нею, помазал миром и на царство венчал, чтобы учинить в Российском государстве лютерскую и латинскую веру и всех отвести от Бога, — не сын ее, а богоотступник, еретик Гришка-расстрига. «А мой сын Димитрий

---

[463] Сноски: 463
Собр. гос. грам., II, 300.

Иванович (говорила грамота от имени Марфы) убит в Угличе передо мною и перед моими братьями и теперь лежит в Угличе. Это известно боярам и дворянам. А когда этот вор, называясь ложно царевичем, колдовством и чернокнижеством приехал из Путивля в Москву, за мною долгое время не посылал, а прислал ко мне своих советников и велел беречь, чтоб ко мне никто не приходил и никто со мной не разговаривал. И когда он велел нас привезти в Москву, то был на встрече у нас один и не велел к нам пускать ни бояр, ни других каких людей, — и говорил нам с великим прещением, чтобы мы его не обличали, угрожал и нам, и всему роду нашему смертным убийством. Он посадил меня в монастырь, приставил за мной своих советников, чтобы оберегать меня, и я не смела объявить в народе его воровство, а объявила боярам и дворянам и всем людям тайно». В заключение вдовствующая царица возвещала, что после достойной казни вора-расстриги князь Василий Иванович Шуйский принял престол выбором всего Московского государства и что она, царица, вместе с другими била ему челом о принятии царства.

Слушавшие грамоту должны были вообразить себе, что Марфа принимает участие в прави-

тельстве: грамота эта кончалась обещанием жалованья свыше прежнего от царя Василия Ивановича и от ней, царицы Марфы[464]. В какой степени уважал царь Василий мать Димитрия — показывает просьба ее, обращенная, уже по низложении Шуйского, к польскому королю: там инокиня Марфа жалуется, что Шуйский даже не кормил ее как следует.

По способу изложения эта грамота могла бы, кажется, произвести впечатление, обратное тому, какого домогался Василий, по крайней мере между теми, которые случайно видели прошедшие события поближе. Царица говорила, что называвший себя Димитрием по своем приезде в Москву виделся с ней в первый раз без свидетелей, тогда как чуть не вся Москва выходила смотреть на трогательное зрелище свидания сына с матерью. В грамоте говорилось, что расстрига угрожал царице смертью, и Марфа от страха признала его сыном; тогда как, по здравому рассудку, было явно, что не он мог ей угрожать, а она ему, и от нее зависела его участь и царство. Стоило только Димитриевой матери объявить, что он не сын ее, и все обольщение исчезло бы мгновенно. В гра-

[464] Сноски: 464
Собр. гос. гр., II, 306.

моте говорилось, что расстрига присылал за нею своих советников, тогда как в Москве известно было, что за ней ездил Михаил Скопин-Шуйский, человек, близкий к Василию, человек рода его, который со вступления на престол не только не был сослан как сообщник расстриги, но входил в силу. В грамоте царица объявляла, что расстрига содержал ее тайно, никого не допускал к ней; там же говорилось, что она объявляла о его воровстве боярам и думным людям и всяким людям; следовательно, она содержалась так, что могла видеться со многими. Одно такое противоречие этой грамоты самой себе, казалось, должно было лишить ее доверия. Неизвестно, действительно ли Марфа дала согласие на такую грамоту или, как нам кажется вероятным, она была писана без ее согласия. Но видно было, что новый царь не боялся явной лжи и обмана: иначе он сам не надеялся бы, что его признают в новом достоинстве, после того как он сам, при Борисе, производя следствие над убитым Димитрием, показал, что Димитрий убил сам себя, — потом, при вступлении названого Димитрия, поклонился ему как законному царю и заявлял, что вместо Димитрия убит попов сын, а настоящий Димитрий жив и вступает на царство; после того, наконец, как он,

по возвращении своем из ссылки, был близким человеком у Димитрия. Теперь, после смерти того, кого он признал настоящим, он заявлял, что оба прежние его показания были ложью, и представлял русскому народу новым, уже третьим способом это запутанное дело: что Борис приказал убить малолетнего царевича и что царевич действительно был убит по этому повелению.

После рассылки грамот отправились в Углич: митрополит ростовский Филарет, астраханский епископ Феодосий[465], два архимандрита, спасский и андрониевский, бояре Иван Михайлович Воротынский, Петр Никитич Шереметев и двое Нагих — Григорий Федорович, брат царицы, и Андрей Александрович. Они должны были перенести мощи царевича Димитрия из Углича в Москву.

В ожидании мощей новое правительство расправлялось с поляками. Марина оставалась во дворце под стражею, с нею дозволили видеться воеводе. В самый страшный день погрома поляков бояре предоставили ему вместе с дочерью поплакать о превратностях судьбы своей. Из дома во дворец, из дворца в дом его провожали и

[465] Сноски: 465

По житию его видно, что он не был тогда при открытии мощей, но, едучи из Астрахани в Москву, умер на дороге в Царицыне.

охраняли от толпы, которая, как только завидела, что Мнишек выходит из дома, бросилась было на него не с добрым духом. Когда он возвращался от дочери, москвичи заглядывали ему в глаза, любовались его униженным высокомерием и показывали телодвижениями свое торжество. С тех пор Марина оставалась во дворце, по одним известиям, до среды[466], по другим — до пятницы следующей недели. В эти дни Шуйский приказал ей доставлять кушанье от воеводы, потому что она не могла есть от того стола, который готовился во дворце. Ее собственный повар погиб в субботу вместе с музыкантами. Наконец бояре, посоветовавшись между собою, решили, что ее надобно отпустить к отцу, но воспользоваться случаем, чтобы взять с нее и с отца за те издержки, которые ради них так щедро расточал покойный царь из казны. Пришли к Марине от царя и бояр и говорили:

— Муж твой, Гришка Отрепьев, вор, изменник и прелестник, обманул нас всех, назвавшись Димитрием; но ты, дочь сандомирского воеводы, знала его в Польше, и заведомо было тебе, что он вор, а не прямой царевич; и ты за него вышла

---

[466] Сноски: 466
Monum. Hist. Russ., 178.

замуж! Теперь если ты хочешь быть на воле и идти к своему отцу, то отдай и вороти все, что вор тебе пересылал в Польшу и давал в Москве.

Марина указала им на свои драгоценности, украшения, одежды и сказала:

— Вот мои платья, ожерелья, камни, жемчуг, цепи, браслеты. Вы можете взять все; оставьте мне только одно ночное платье, в котором бы я могла уйти к отцу. Я готова вам заплатить и за то, что проела у вас с моими людьми.

— Мы с тебя за проесть ничего не берем, — сказали москвичи, — а ты верни нам 55 000 рублей за все, что вор переслал тебе в Польшу.

— Не только то, что мне прислали, — отвечала Марина, — но еще много и своего я потратила на путешествие сюда, чтоб было честнее вашему государю и вам всем московским людям. У меня ничего более нет, кроме того, что я отдаю вам и что вы можете взять. Отпустите меня на свободу с отцом моим, умоляю вас, — и мы вышлем вам все из Польши, что вы требуете[467].

По известию Петрея, москвичи не прежде ее отпустили к отцу, как поговоривши с воеводою об этом. Они потребовали денег в вознаграждение

---

[467] Сноски: 467
Petr., 196.

за потраченное Димитрием. Из расписки, представленной впоследствии Мнишеком, видно, что у него взяли тогда наличными десять тысяч рублей (что составило 33 333,5 злотых польских). Но, сверх того, у него позабирали лошадей, кареты, драгоценности и вино, которое он привез с собою в большом количестве; одного венгерского оставалось тогда тридцать бочек; видно было, что Мнишек собирался порядочно угоститься и весело пожить в чужой земле[468]. Мнишек, отдавая деньги и все свое имущество, умолял, чтоб его отпустили в Польшу.

Москвичи сказали: «Еще рано тебя выпускать, а дочь твою к тебе отпустим».

— Возьмите деньги и все, что у меня есть, только отпустите ко мне дочь с ее охмистриною и с придворными дамами[469].

В дневниках польских нет этого известия; достоверно, однако, то, что Марина, обобранная дочиста, отправилась к отцу в одном платье. На другой день, как будто на посмеяние, прислали ей пустые сундуки. С нею переехали дамы, но не все; некоторые были разобраны боярами и

---

[468] Сноски: 468
Собр. гос. гр., II, 333–335.

[469] Сноски: 469
Petr., 196.

содержались у них в домах под надзором их жен.

Воевода, чувствовавший себя еще недавно на верху блаженства от того, что дочь его царица, и теперь принимал ее с церемонными поклонами, титуловал царицей и предпочитал выражать свою любовь более знаками уважения к ее царскому достоинству, чем теплым сочувствием отца к несчастной дочери. С нею сидели в неволе соотечественницы в нищете, в унижении, чуть не в одних рубашках, и то оставленных им из жалости, и многие горячо оплакивали мужей, погибших в страшный день народной кары. Марина казалась несчастнее всех их. Недавнее царственное величие, радость родных, поклонение подданных, пышность двора, надежды молодой счастливой жизни — все разбилось в один миг, все исчезло как сон! Из венчанной повелительницы народа, который так недавно встречал ее с восклицаниями, принял на престол своих владык, стала она теперь невольницею; и в устах прежних подданных честное имя царской супруги заменилось позорным именем вдовы обманщика, подлой соучастницы его преступления. «Она и потому была несчастнее других

вдов, — говорит современник[470], — что ей не дозволено было после недолгих дней любви принять последнее дыхание супруга, не дозволено было ей даже похоронить его и оплакать. Но всего ужаснее было то, что, находясь под надзором врагов его, она должна была сносить их грубые речи — видеть их радость о своем горе. Всегда на виду у них, она не смела предаться своей горести, чтоб не дать своим злодеям повода к удовольствию. Эта женщина прошла тогда тяжелую школу! Марина вооружилась твердостью духа, закалилась волею. „Я царица, — говорила она, — и останусь царицею!“ И наперекор своему низвержению, своему унижению, она укрепилась в одной мысли — остаться царицею и мстить за свое поругание, за порчу своей жизни».

С Мнишеками оставалось 230 человек свиты, а с прислугою было всего около 300 человек. Значительная часть поляков, кроме важнейших панов, родственников Мнишека и посольской свиты, выслана из Москвы в Польшу. Они пошли пешком на скудном пропитании. С ними отправились и ограбленные иноземные купцы, приехавшие наживаться в Московской земле.

---

[470] Сноски: 470
Inno Petricii, 135.

Остальных поляков велено было разместить по дворам и отпускать им на содержание от царских щедрот. Когда приставы для этого потребовали тех поляков, которые во время резни укрылись на посольский двор, — они слезно просили послов не отпускать их от себя. Москвичи говорили им: «Не бойтесь ничего, все миновалось! Царь будет вам давать съестные припасы и жалованье деньгами». — «Мы, — отвечали поляки, — лучше будем питаться крохами от посольского стола, нежели кормиться от московского обилия и брать жалованье от вашего царя». Согласился идти за приставами один пан Тарло, и с ним поступили хорошо: ему дали помещение и двести рублей на платье. Тогда многие москвичи, хозяева дворов, где разместили поляков, принимали их с состраданием, давали им платье, деньги, кормили и поили их. Большая часть жителей столицы не участвовала в избиении гостей и не одобряла страшного утра прошедшей субботы; даже многие из тех, что в первом порыве бросились бить литву, услыша от бояр, будто литва собирается извести государя и бояр, раскаялись в своей опрометчивости, когда узнали, что литва не собиралась бить государя и бояр, а убили государя бояре сами.

Послы требовали объяснения и отпуска. Им сказали, что их допустят к царской руке в следующее воскресенье и после того они поедут в свою землю. Послы ожидали с нетерпением дня, чтоб скорее уехать из края, внушавшего им ужас.

В воскресенье их не позвали, как было обещано. В этот же день Москва зашумела. Целую неделю жители столицы были в каком-то чаду, так же точно, как и вся Московская земля, получивши весть о перевороте. Очень многие не могли прийти в себя и рассудить, что это за дивные дела делаются и что это такое творят бояре с землею. Недавно был на престоле царь Димитрий Иванович; его чудесному спасению радовалась вся земля Московская, жил он и здравствовал; сомнения в его действительности если и были прежде, то уже исчезли, когда родная мать признала его сыном, а бояре, близкие к царскому дому, уверяли, что это Димитрий настоящий, и сами служили ему уже вот около года. Теперь вдруг читается в церквах, что это был расстрига, еретик Гришка Отрепьев; его убивают без всякого суда, труп его валяется, изуродованный и искаженный, на поругание уличным гулякам, и новый выбирается царь будто бы волею всей земли, а в Москву не съезжалась земля Русская, и сами

москвичи не видали, как это вдруг сделалось, и не подавали своего согласия…

Вот в воскресенье, 20-го числа, стекается много народа на Красную площадь. Кто убил царя? Кто выбрал нового? Кричат, требуют объяснения. Думные люди, пособники Шуйского, стали грудью за свое создание, вышли на Лобное место и обещали народу представить явные улики, что бывший на престоле действительно вор и обманщик, расстрига, еретик и хотел истребить православную веру. После того они говорили: «Вот Господь Бог открывает свою благодать, являет мощи нового чудотворца, Димитрия царевича. Его святое тело в Угличе исцеления подает одержимым различными болезнями во уверение всем православным христианам; и многие о чудесах его свидетельствовали и извещали на соборе». Явление новых мощей было важно для русского народа. Он не привык подвергать сомнению такие происшествия, которые церковь ему указывала за явление Божией благодати. Известие о том, что мощи скоро перевезут в Москву, поразило толпу, и она согласилась ждать указания свыше, которое должно успокоить совесть.

Впрочем, москвичи должны были, размысливши, почувствовать, что, домогаясь власти,

новый царь искусно сделал Москву невольною участницею своих домогательств. Когда он с боярами истребил Димитрия, Москва уничтожала поляков, за которых главным образом, как выставлялось народу, Димитрий возбудил против себя необходимость убить его. Не все умерщвляли поляков, но после совершившегося дела разобрать было невозможно — кто тут прилагал руки и кто был в стороне? Истребление поляков в Москве угрожало возможностью мести от Сигизмунда и от всей польской нации. Поляки не станут разбирать, кто здесь был виновен, а будут считать виновною всю Москву, даже все Московское государство. Так, свергнуть Шуйского было трудно, несмотря на то что с первого взгляда могло казаться легко. Его выбрали бояре и толпа приверженцев; а чтобы покуситься на его свержение, нужно было иметь на виду претендента, и притом высокого происхождения или прежде чем-нибудь уже приобретшего любовь московского народа. Из лиц высокого рода выше Шуйского был Мстиславский. Но этот непредприимчивый и нечестолюбивый, вообще очень ограниченный по уму и способностям боярин заранее говорил, что если его станут просить в цари, то он пострижется в монахи. Поневоле

Москве приходилось терпеть то, что произошло.

Послы ждали и досадовали, что их не зовут. В понедельник второй посол отправился к Димитрию Шуйскому узнать: что это значит, что их обещали звать и не позвали.

Во вторник, 26-го числа, пригласили их во дворец в ответную палату. Они там увидели Мстиславского, братьев Шуйских — Димитрия и Ивана, Ивана Никитича Романова, трех братьев Голицыных, Татищева, брата царицы Марфы Нагого и еще нескольких других. Лица были знакомые, так недавно признававшие Димитрия; некоторые из них были облагодетельствованы им, возвращены из заточения; один из них недавно уверял всех, что бывший царь ему племянник, другой — что он ему двоюродный брат, а теперь они проповедуют вместе с другими, что он обманщик. Как изменились лица, так изменилась вся обстановка. Исчезла прежняя веселость, прежняя пышность! Не виднелись более радостные, сияющие довольством лица. Все глядели как-то смутно, как будто бы сошлись они на похороны; не пестрели алебардщики и стрельцы в нарядных одеждах, не веяло прежней свободой в обращении, не раздавалась музыка, не пелись песни. И Кремль, и дворец — все приняло

суровый характер, даже казались суровее, чем прежде были. Бояре сухо указали места послам королевским. Послы сели. Бояре уселись. Мстиславский, первый в думе, развернул бумагу и стал читать. Он помянул события прошедшего времени, сказал про убийство настоящего Димитрия, гласно приписал его Борису. Он вспомнил о перемирии, установленном на 20 лет и утвержденном обоюдною грамотою; потом говорил Мстиславский так: «По дьявольскому умышлению, Гришка Отрепьев, б.... сын, чернец, диакон, вор, впал в чернокнижие, и за то осужденный от святейшего отца патриарха, убежал в государство вашего короля, назвался князем Димитрием Ивановичем, царевичем, был у Сигизмунда, короля вашего. И мы, бояре русские, услышали об этом в Москве и посылали к сенаторам вашим литовским с грамотою Смирно́го Отрепьева, родного дядю этого вора, чтоб он обличил его и показал бы перед вашими сенаторами, что это не настоящий Димитрий, каким он себя сказывал. Потом патриарх и архиереи наши посылали к архиепископам и епископам вашим о том же самом. Но король Жигимонт и паны и рада не приняли нашего известия, забыли договор, который утвердили присягою: чтобы никакому неприятелю нашему

не помогать ни казною, ни людьми. Когда этот вор с людьми польского короля прибыл в землю Северскую, чернь, люди неразумные тотчас ему поверили, сдавали города, вязали воевод. А потом Божиим судом царя Бориса смерть постигла. И этот вор сел на столице Московского государства, хотел нас всех погубить и веру нашу христианскую истребить. А с воеводою сандомирским пришло много людей, жолнеров, народа вашего, и чинили они великие насилия и оскорбления русским людям. Царица, мать истинного Димитрия, которую вор называл своею матерью, хотя с первого раза от страха и признала его сыном, но потом тайно объявила нам, что он вор. И мы, не терпя такого вора над собою, убили его, а чернь наша, негодуя на ваших людей за насильства, которые они чинили, без нашего ведома бросилась на них, и так случилось великое кровопролитие. А вся эта смута началась от вашего короля и от вас, панов рады: вы нарушили крестное целование и мирное постановление. Теперь Божиим милосердием и по согласию всего духовного чина и бояр, и дворян, и всех людей учинен царем русским Василий Иванович Шуйский. И он, государь милостивый и мудрый, жалеет о толиком кровопролитии и всех ваших молодших людей,

которые остались в большом числе, со всеми их имуществами приказал проводить за границу Московского государства. Все это мы вам, послам, объявляем, чтоб вы знали неправду короля вашего и всего государства вашего, что вы поступаете не по-христиански».

Выслушавши это, послы переглянулись между собою, отошли в сторону и говорили шепотом. Потом Гонсевский, знавший по-русски, говорил длинную речь… «Если Сигизмунд король, — сказал он между прочим, — принял к себе изгнанника — этим он не нарушил мирного договора. И варвары не отказывают в убежище гонимым и просящим приюта. Можно указать много примеров, что люди частные, убегая из отечества по нужде и от страха, собирали рати, получали пособия, воевали против своих недругов, и от этого не нарушалась дружба и союз между государствами. Борис принял же к себе Густава, сына короля шведского Эрика, в то самое время, когда Сигизмунд воевал с Швециею, и не отпустил его от себя, хоть его просили об этом через посольства. Ни король наш, ни люди его не верили сначала рассказам этого человека, пока не пришли ваши люди — несколько десятков человек из разных городов, — и все они уверяли, что этот человек

настоящий Димитрий Иванович, и потому король дал изгнанному милостыню, и паны, из христианского милосердия, давали ему милостыню. Ведь и вы, как христиане, тоже даете убогим милостыню». Гонсевский уверял, что сандомирский воевода «проводил названого Димитрия с немногими людьми и воротился по королевскому приказанию». Как только король получил от Бориса посольство через Постника Огарева, тотчас приказал ему воротиться. Гонсевский уверял, будто под Новгородом-Северским совсем не было поляков. Вообще Гонсевский старался поставить дело так, чтоб казалось, будто вовсе не помощью поляков овладел престолом расстрига, а сами русские возвели его. «Не все ли вы и князь Шуйский, нынешний государь, и другие приезжали к нему в Тулу, признавали государем, присягали, а потом привели в столицу и венчали на царство? — говорил Гонсевский. — Не вы ли сами и те, которые бывали от вас в посольстве, твердили, что не наш народ посадил вам государя на столице, а вы сами его добровольно признали?.. Были мы со всеми вами на переговорах, а не слыхали ни от кого, чтоб он не был настоящий Димитрий. Даже если кто-нибудь из людей нашего народа заявлял сомнение, так вы наших уверяли, что он

истинный государь ваш. Теперь, после этих уверений и присяги, вы убили его. За что же винить короля и Речь Посполитую?.. Во всем ваша вина. Мы не спорим против убийства и не жалеем этого человека. Сами видели, с каким высокомерием он с нами обращался, как требовал необычного императорского титула, как не хотел принимать грамоты от короля. Нам жаль только многих почтенных людей, которые вовсе не спорили с вами за этого человека и не стерегли его особы. Вы их перебили, перемучили, разграбили достояние; да еще вы же нас и вините, будто мы перемирие нарушили! Вы говорите, что виновата чернь в кровопролитии; мы так думаем, что вы захотите наказать виновных, и принимаем ваше извинение, приписуем настоящий несчастный случай грехам нашим и Божиему попущению; отпустите же с нами воеводу сандомирского, дочь его и всех остальных поляков, оставшихся живыми, со всеми их имуществами. А мы, прибывши к его величеству королю, будем стараться о продолжении мира на вечные времена. Если же вы нас, не по обычаю христианскому, задержите и оскорбите этим короля и Речь Посполитую, корону польскую и Великое княжество Литовское, тогда уже трудно будет вам на чернь ссылаться и

случившееся пролитие невинной крови братий наших останется не на черни, а на вашем настоящем государе и на вас, думных боярах. Из этого ничего не выйдет хорошего ни для вашего, ни для нашего народа».

Бояре выслушали находчивый и ловкий ответ, в котором была и ложь, — например, что Димитрий остался вовсе без поляков под Новгородом-Северским. Бояре только переглядывались друг с другом. Потом Михайло Татищев начал говорить то же, что Мстиславский, и послы отвечали Татищеву почти то же, что уже прежде говорили. Наконец Татищев, как будто со злости, повернул речь на посторонний предмет и стал послам колоть глаза тем, что теперь их государству плохо — внутри беспорядки, а извне с одной стороны татары нападают, а с другой — шведы.

На это замечание Гонсевский, между прочим, сказал: «Мы не знаем о внутренних наших беспорядках, о которых вы говорите, и не думаем, чтобы они были. Правда, мы люди свободные, привыкли говорить свободно, охранять права, вольности и свободу народную. Но это нельзя считать беспорядком; хоть бы и случились в нашем отечестве какие-нибудь недоразумения, как между людьми бывает, то в польском и ли-

товском народе достанет настолько доблести, чтобы каждый пожертвовал своими частными выгодами для отечества, — и если теперь осмелится оскорбить нас посторонний неприятель, то наши легко между собою соединятся и не дозволят чужеземцам посягать на свободу и вольность нашу».

Бояре заметили Татищеву, что он некстати завел об этом речь. Наконец Мстиславский сказал:

— Все это сделалось за грехи наши. Вор этот и нас, и вас обманул. Вот Михайло Нагой, родной брат старой царицы; он назвал себя его дядею — спросите его! Он вам скажет, что это был вовсе не Димитрий; настоящий Димитрий в Угличе; за его телом поехал митрополит Филарет Никитич с архиереями, они привезут его и похоронят между предками его. А ваше слово об отпуске вашем и всех польских людей мы доложим великому государю и дадим вам ответ.

Послы просили позволения повидаться с воеводою, — им этого не дозволили. Когда возвращались из дворца, то увидали Мнишека, Марину и других у окон, смотрели один на другого, а поговорить не могли.

Через два дня бояре позвали Мнишека для объяснения. На него напустились бояре, называли

его виновником смуты, упрекали его, будто поляки с ним вместе умышляли овладеть Москвою, говорили, что ему следовало бы испытать такую же участь, какую испытал расстрига, его зять.

Мнишек отвечал резко: «Я не набивался со своею дочерью. Вы все согласились на ее брак! Вы прислали к нам посольство просить мою дочь за вашего царя! Вы уверяли, что он настоящий наследственный государь ваш. Ваши письма целы, они у короля в Польше. С какою же совестью вы говорите, будто мы вас обманули? Вы обманули нас, а не мы вас! Полагаясь на ваше слово, на письма, на крестное целование, мы приехали к вам как братья и друзья, а вы поступили с нами как с злейшими врагами. Мы доверились вам без всякой хитрости; мы поместились не толпами, а рассеялись по разным улицам. Мы бы этого не сделали, если б у нас было что-нибудь дурное на уме! А у вас был мед на устах и горькая желчь в сердце. Устами вы нас приветствовали, а в сердце помышляли, как бы нас передушить, как после и оказалось. Сколько теперь останется в Польше злополучных вдов и сирот! Когда они узнают об этом, то денно и нощно будут взывать к Богу, плакать и призывать отмщение за эту неслыханную бойню. Как же вы теперь будете отвечать

перед Всемогущим Богом? Какая слава пойдет о вас по чужим землям? Если Димитрий, как вы теперь говорите, был не настоящий царевич, а обманщик, то казните виновных в этом, а не других. Разве не могли вы схватить Димитрия, как вы его прежде называли, или Гришку-расстригу, как вы его теперь называете, без нашей крови и без убийства наших братий? Но пусть уже терпим мы — я и дочь моя — за то, что доверились вашим просьбам, приглашениям, посольствам, обещаниям и крестному целованию вашему! А друзья и ближние наши — чем заслужили это? Чем виноваты музыканты, песенники и купцы, которые привезли к вам товары? За что погибли невинно женщины и девицы? Еще немного времени прошло с тех пор, как вы обнимали нас, угощали нас, а теперь нас обобрали, держите хуже, чем пленных, и не пускаете домой. Мы не воевать к вам съехались, а на свадьбу! Есть Бог на небесах: Он праведен и ревнив к отмщению! Он не оставит без наказания убийства и взыщет на детях ваших в будущее время!»

На это бояре изложили вины убитого царя против русских обычаев, выставили на вид его коварные замыслы и сказали Мнишеку:

— Был бы твой зять благодарен за то, что его

возвели на такую высоту, и любил бы нас, и доверял больше нам, чем иноземцам и полякам, так этого с ним не было бы, хоть он и не истинный был сын Ивана Васильевича — он сам знал это хорошо! Мы думали, что при нем будет лучше, что мы через него возвысимся и процветем, а он нас сделал последними — ни во что поставил! Он жил по иноземному обычаю и нас заставлял то же делать, а нам это было не любо. Чтобы не было большой беды и не сталось пролития крови и чтобы нашу православную христианскую веру сохранить, мы его убили. А вы, поляки, вели себя гордо и бесчинно, бесчестили наших жен и дочерей, по улицам и распутьям чинили насильства и бесчинства — били, колотили, секли, поносили, ругались, толкали наших, плевали на наших и через то огорчили сердца множества людей наших, привели их в гнев и ярость, так что мы никакими мерами не могли укротить народа и запретить ему. Мы не радуемся тому, что в смуте погибли напрасно и невинные люди; но нельзя же нас винить за то, что сделала яростная чернь: никакой человек укротить ее не может, когда она начнет своевольничать. А что ты говоришь про женщин и дочерей ваших людей, так им лучше у наших жен и дочерей, чем твоей дочери у тебя.

Мы с тебя, воевода, хотим взыскать все, что зять твой пересылал тебе и твоей дочери в Польшу. Сколько было жемчугу, камней и всякого узорочья — все это он взял из нашей казны, и ты нам должен все воротить. Да еще дай нам, воевода, крестное целование, что ты и другие из твоего рода не станете мстить за то, что избили ваших ближних, и приложите старание помирить нас с королем.

— Все, что мой покойный зять, убитый государь ваш, посылал моей дочери, возлюбленной невесте, — говорил воевода, — все это вы у нее взяли; отняли даже и то приданое, что мы ей дали, и отпустили ее ко мне в одном ночном платье. Все это знаете вы сами, и видели: что у наших пропало во время замешательства, все это вашим женам досталось. И вы, ограбивши нас и обобравши, хотите еще с голых сорвать, когда у нас едва рубашки на теле остались! Я вам все отдал в своей крайней нужде! Это были мои собственные деньги, а вашего и гроша за мной не осталось — больше ничего не могу дать. Я за себя готов дать крестное целование, что не буду мстить за нехристианское и бесчеловечное избиение наших соотечественников. А за короля моего не могу обещать — я не ровня ему! Он мой

государь и повелитель. Как могу я с ним равняться и договариваться?

С него сняли допрос. Спрашивали, как явился в Польше человек, называвший себя Димитрием, и для чего воевода принял его и провожал в Московское государство, и для чего король давал ему деньги. Мнишек показал, что ему известно, что этот человек явился прежде всего в Киеве в монашеском одеянии, потом был у воеводы киевского Константина Острожского и там не объявил о себе, а потом пришел к Адаму Вишневецкому, где и рассказал, что он сын Ивана Васильевича, что его спас доктор в Угличе, положив на его место другого ребенка, а его отдал на воспитание к сыну боярскому, который посоветовал ему скрыться между чернецами. Князь Адам Вишневецкий повез его к брату своему Константину в Жаложицы, где его прознал истинным Димитрием приехавший в Жаложицы слуга литовского канцлера Петровский, будто бы служивший в Угличе и видевший знаки на теле царевича; а едучи к королю с ним, князь Константин Вишневецкий завез его в Самбор и там признал его царевичем слуга воеводы, пойманный под Псковом, находившийся в Москве в неволе и видевший царевича в младенчестве. Всем казалось тогда это

вероятно: и самому королю, и сенаторам. Деньги ему давали король и паны в виде милостыни. Сам он, воевода, провожал его в Московское государство с дозволения короля и решился на это с тем, чтобы испытать: точно ли он царевич и признают ли его таким в Московском государстве? Если б кто-нибудь из московских сенаторов отозвался с противным на границе, он бы его оставил[471].

— Ты остаешься здесь, — сказали потом бояре, — и другие паны останутся, пока мы увидим и узнаем, как можно будет сойтись с королем, а ты должен уплатить, чего недостает в нашей казне.

— Пусть будет воля Бога обо мне, — сказал воевода, — я принимаю крест, который он дал мне, и буду все терпеть, что бы вы со мной ни делали. Больше того, сколько вам Бог попускает, вы не можете мне сделать!

Его отвели снова в его помещение и оставили под стражей[472].

Шуйский продолжал упрочивать свою власть и позорить память бывшего царя. 30 мая (по свидетельству видевшего эту сцену голландского купца) на Лобном месте всенародно показывали

---

[471] Сноски: 471
Собр. госуд. гр., II, 293–296.

[472] Сноски: 472
Bussow, 53–57.

настоящую семью того, кто, как говорили, ложно выдавал себя за Димитрия. Купец говорит, что тут были отец, мать и братья Гришки Отрепьева. По другому известию, была только тут женщина простого звания, которую выдавали за мать убитого, и мужчина, называвшийся его братом[473][474]. Вероятно, отца не показывали потому, что отца Григория Отрепьева считали тогда уже не бывшим на свете. «Я видел собственными глазами, — говорит голландец, — как они целовали крест и клялись, что бывший царь — их кровный Григорий Отрепьев». Тогда говорили, что расстрига посылал в Галич, где всех своих свойственников, числом до шестидесяти, велел посадить в тюрьму. О Григории Отрепьеве, как видно из современных дел[475], распространили на Руси в то время такое сведение. Он был родом из Галича, сын боярский. Отца его Богдана когда-то зарезал литвин в немецкой слободе. Молодой Григорий впал в крайнюю бедность и служил в холопах у Романовых, а потом у Бориса Чер-

---

[473] Сноски: 473
Vid., 28. — Московск. резня. — The report of a bloody massacre.

[474] Сноски: 474
The report of a bl. mass.

[475] Сноски: 475
Польск. Дел. Арх. Ин. дел., № 26.

касского, и, наделавши каких-то преступлений (заворовавшись), ушел и постригся в чернецы в Спасоевфимиевский монастырь в Суздале. Потом он скоро ушел и оттуда и перешел в Галич на родину, в монастырь Св. Иоанна Предтечи. И там не жил он долго, ходил из монастыря в монастырь и пришел в Чудов монастырь, где был чернецом его дед Замятия Отрепьев. Архимандрит Пафнутий принял его ради нищеты и сиротства и посвятил в диаконы. В дьяконском чине пробыл он в Чудове год. Патриарх Иов брал его к себе во двор для переписки книг (для книжного письма). Григорий прилежно занимался чтением летописей и в патриаршем дворе приноровился ко всему и обо всем расспрашивал, что впоследствии пригодилось ему для обмана. Между тем, не ограничиваясь чтением бытописаний, Григорий впал в еретичество, начал заниматься чернокнижеством, свел знакомство с бесами. Его хотели поймать, а он убежал вместе с двумя монахами, Варлаамом Яцким и Мисаилом Повадиным, в Литву. Так оповестили народу. Тогда с Лобного места было объявлено десять преступлений убитого царя: они были изложены в грамоте, которая впоследствии была разослана по России. Что касается до того монаха, который прибыл с этим

царем и, всем показывая себя, назывался Гришкою Отрепьевым, — о нем сохранились разные известия. Одни говорят, что царь Димитрий за буйство и пьянство сослал его в Ярославль и там, после смерти Димитрия, он продолжал уверять всех, что Гришка Отрепьев действительно он, а никак не тот, который царствовал под именем Димитрия. Шуйский спровадил куда-то этого опасного человека[476]. По другому известию[477], этот монах после смерти Димитрия сознался, что он не Гришка, а был подкуплен расстригою и принял на себя имя Гришки. Впоследствии одни говорили, что он был Леонид, инок Крыпецкого монастыря, другие — что он был инок Пимен. Но по свидетельству современника[478], в то время мало верили, чтоб Димитрий был Гришка Отрепьев: мнение это сложилось уже впоследствии. Тогда, напротив, из тех, которые не признавали в нем истинного Димитрия, охотнее соглашались верить, что он был воплощенный бес, а те, которые размышляли об этом более, считали его

---

[476] Сноски: 476
Margeret.

[477] Сноски: 477
Is. Mass., 102.

[478] Сноски: 478
Ibid.

поляком, которого подготовили иезуиты, научили по-русски, послали скитаться в виде калеки и нищего по Московской земле и узнать ее историю и ее быт, а потом, когда он воротился в Польшу, они, с благословения папы, пустили его играть роль Димитрия, работая, таким образом, для своих видов — ввести в Московском государстве латинство; но объявлять таким образом всенародно было невозможно: во-первых, не было на то никаких доказательств, а во-вторых, чтобы уверить народ, что он был отнюдь не истинный Димитрий, надобно было непременно назвать его каким-нибудь другим именем; без того всякий вправе был возразить: если вы сами не знаете, кто он, то, значит, не знаете, что он не Димитрий.

Через день после чтения на площади повести о преступлениях Гришки царь Василий Иванович венчался на царство обычным порядком. Обряд царственного венчания совершал новгородский митрополит Исидор и в приветственной речи сказал: «Ныне тобою, богоизбранный государь, благочестие обновляется, и православная христианская вера просвещается, и святые Божии церкви от еретических соблазн освобождаются. И великий царский престол приемлет тобою

украшение благочестия»[479].

Царь спешил совершить обряд и не стал дожидаться нового патриарха: обряд укреплял его в царском достоинстве. Шуйский прежде был до скаредности скуп и, делаясь царем, не изменил своему качеству. Он совершил свое венчание с возможно малыми издержками. Физиономия нового царя представляла контраст с прежним. Это был старичок лет за пятьдесят, толстый, лысый, подслеповатый, с красными глазами, с редкою бородой, с лукавым взглядом и с выражением лица, не располагающим к доверию и сочувствию. Было полезно дать для народа какой-нибудь праздник, чтобы занять его воображение. Народ привык в последнее время к шумным и блестящим празднествам. Если многим не нравился московский характер Димитриевой веселости, то все-таки веселые праздники тешили народ, когда они отправлялись по-русски.

---

[479] Сноски: 479
А. А. Э., II, 105.

II. Перенесение мощей царевича Димитрия. – Окружная грамота. – Новый патриарх. – Объяснение с польскими послами и задержание их

Через день после венчания, 3 июня, наступило большое торжество: прибыли мощи Димитрия царевича. Царь со всеми архиереями и архимандритами, с огромным числом духовенства, с боярами и думными людьми встречал их за Каменным городом. С царем рядом всенародно шла инокиня Марфа, мать Димитрия, подтверждая своим присутствием и действительность мощей, и ложность того, кого называли прежде Димитрием. Современник-очевидец рассказывает, что многие, не доверяя истине всего, что выдавал Шуйский, остервенились на него до того, что хотели убить его каменьями, когда он выехал за город встретить мощи Димитрия[480]. Мощи внесли в Архангельский собор и поставили на месте, на котором им следовало почивать в грядущие века на поклонение благочестивым. Тогда царица Марфа, если буквально верить грамоте,

[480] Сноски: 480
Маржер., 102.

написанной от Шуйского всему народу русскому[481], перед всем народом громко сказала:

— Я виновата перед великим государем, царем и великим князем Василием Ивановичем всея Руси, и перед Освященным собором, и перед всеми людьми Московского государства и всея Руси; а больше виновата перед новым мучеником — перед сыном моим, царевичем Димитрием. Терпела я вору, расстриге, лютому еретику и чернокнижнику, не объявляла его долго; а много крови христианской от него, богоотступника, лилось, и разорение христианской вере хотело учиниться; а делалось это от бедности моей, потому что, когда убили моего сына Димитрия-царевича, по Бориса Годунова веленью меня держали после того в великой нужде, и весь род мой был разослан по дальнейшим городам, и жили все в конечной злой нуже, — так я, по грехам, обрадовалась, что от великой и нестерпимой нужи освобождена, и вскоре не известила. А как он со мной виделся, и он запретил мне злым запрещением, чтоб я не говорила ни с кем. Помилуйте меня, государь и весь народ московский, и простите, чтоб я не была в грехе и в проклятстве от всего мира.

---

[481] Сноски: 481
А. Э., II., 111.

Царь сказал, что для великого государя, царя и великого князя Ивана Васильевича, и для благоверного страстотерпца царевича Димитрия, честных его и многоцелебных мощей прощает царицу, инокиню Марфу, и просит митрополитов, архиепископов и епископов, и весь Освященный собор, чтобы они с ним вкупе о царице Марфе молили Бога и Пречистую Богородицу и всех святых, чтобы Бог показал свою милость и освободил душу ее от грехов.

Рассказывали тогда, что когда в Угличе открыли мощи Димитрия, то, как всегда бывало при подобных событиях, весь храм наполнился неизреченного благоухания. Мощи были целы, ничем нерушимы, а в иных местах часть земле отдана; на лице и на голове целы остались рыжеватые волосы; оставалось ожерельице, низанное жемчугом с пуговками; в левой руке была ширинка, шитая золотом и серебром. Тело его было в саване, а сверху покрыто кафтанцем камчатным на бельих хребтах, с нашивкою из серебра пополам с золотом, — все было цело. Только на сапожках носки подошв отстали, а в руке у него нашли горсть орехов; говорили, когда его убили, что он в то время играл орешками и эти орешки облились кровью, и для того их положили с ним во гроб. У

гроба его происходили исцеления еще в Угличе, а как привезли мощи в Москву — в первый день исцелилось тринадцать человек, а на другой день — двенадцать[482].

Полякам, бывшим в Москве, конечно, не по вкусу приходилось открытие мощей Димитрия. Находились, однако, и русские, которые не верили им и распускали дурные толки об этом. Начали говорить, что «нашли мальчика десяти лет, стрелецкого сына, по имени Ромашка, заплатили за него отцу большие деньги, убили и положили в Угличе на место Димитрия, — и распустили молву в народе, будто у тела Димитрия делаются чудеса, что исцеления совершаются, — это один подлог: эти плуты приходят и притворяются, будто они больны были и выздоровели, поклонившись мощам».

После привезения мощей две недели происходили чудеса и исцеления; и как совершится какое-нибудь исцеление — по всей Москве раздается звон, и люди потому знают, что Димитрий-царевич, новоявленный угодник, сотворил чудо. По одному известию, случилось, что введенный во храм один больной умер. Это объяснили его

---

[482] Сноски: 482
А. А. Э., II, 111.

безверием. Иностранцы-протестанты спрашивали у сидевших около церкви увечных и слепых: «Что же вас не исцеляет царевич?» — «По маловерию нашему, — отвечали страдальцы. — Бог чрез ангела своего объявляет нашим архиереям и попам, кого он удостоит исцелить». Иноземцы удивлялись находчивости этих людей и крепости веры православных, непонятной для их протестантского свободомыслия[483].

Через два дня по открытии мощей послана была еще одна окружная грамота во все города русские: в ней извещалось об явлении угодника, о покаянии Марфы и излагались вины признанного обманщиком царя, называвшего себя Димитрием. Он прельстил Польшу, Литву и Московское государство волшебством и сделался царем; предал смерти многих православных христиан, которые его обличали, поял за себя дочь сандомирского воеводы и, не крестив ее, венчался с нею; приводил в церковь с оружием иноверцев, отнимал у москвичей жен, хотел до основания разрушить Московское государство и попрать святую веру, хотел разорить церкви и устроить костелы. В обличение его дел посыла-

[483] Сноски: 483
Is. Mass., 109.

лись во всенародное сведение копии с договора с Мнишеками, где обманщик отдавал Марине Новгород и Псков; разослано известие, будто сандомирский воевода говорил, что расстрига писал к нему из Москвы и отдавал город Смоленск и Северскую область. Говорилось, что сам сандомирский воевода сознался пред боярами, будто он узнал впоследствии, что зять его не настоящий Димитрий, и от тоски заболел, — и все это сталось за то, что они злоумышляли о разделении христианской веры.

Разосланы были копии с найденных у Димитрия писем папы и римско-католических прелатов, показывающие, что папа считал его принявшим латинскую веру и согласным ввести ее в Россию. Но ничто, кажется, не могло столько ужаснуть народа, как показание будто бы братьев Бучинских, служивших у Димитрия. Они, как говорила грамота, сознавались, что в пятницу, накануне своей смерти, расстрига говорил с Вишневецким так: «Время мне утвердить свое государство и распространить веру римского костела, а начальное дело будет побить бояр; а если мне не перебить бояр, то они меня самого убьют». — «Если ты побьешь бояр, то на тебя всей землей станут», — сказал Вишневецкий. «Я

умыслил вот как, — сказал Гришка, — вывести наряд за город для потехи, а в воскресенье велю туда выехать воеводе сандомирскому, и тебе, и старосте саноцкому, и Домарацкому, и всем полякам и литве в доспехах и с оружием, а я выеду с боярами и дворянами; и когда начнут из наряда стрелять, в те поры я велю полякам ударить на бояр и дворян и побивать их. Я уже указал, кому убивать бояр: князя Федора Мстиславского убьет Михайло Ратомский, а Шуйских побьют Тарло да Стадницкие; и других бояр я распределил убить — человек двадцать; а когда их побьют, тогда во всем будет моя воля». Гришка надеялся, что народ тогда будет покорен ему. Бучинский заметил: «Если ты побьешь бояр, кто у тебя будет в царстве уряжать и сидеть в приказах?» — «У меня, — сказал Гришка, — все умышлено, все готово — будут править царством: воевода сандомирский, Тарло, Стадницкие, да ты, Вишневецкий, и иные ваши приятели, да еще пошлю в Польшу и в Литву. Тогда мне будет надежно, и государство мое будет без опасения, и я скоро всех приведу в римскую веру. Я уже видел тому примеры; кого безвинно убить велю — никто за того слова не молвит»[484].

---

[484] Сноски: 484
А. А. Э., II, 101.

Таково было показание, которое выставляли от Бучинских. Действительно ли так говорили Бучинские — неизвестно; но одного из братьев Бучинских утром 17 мая вытащили из кустарника[485], и могло быть, что он для спасения жизни говорил о мертвом то, что боярам было угодно. Таким образом, убийство «расстриги» выставлялось пред русским народом делом крайней и поспешной необходимости, единственным средством отвратить грядущее ниспровержение веры, разорение государства и подчинение русского народа иноземцам.

Новый царь хотел, чтоб все эти события были известны для его оправдания и за пределами Московского государства. Он отправил (вероятно, чрез английскую компанию) к английскому королю Иакову I письмо, где подробно рассказывал о всем случившемся в Московском государстве, извещал о своем воцарении и изъявлял желание находиться с Англией в таких же дружеских сношениях, в каких были прежние цари. Во время смуты англичан не посмели тронуть москвичи наравне с другими иноземцами: Шуйский их выгородил заранее. Этого мало. По их прось-

[485] Сноски: 485
Is. Mass., 98.

бам Бучинский, несмотря на свою близость к Димитрию, остался в живых. Шуйский перед англичанами-протестантами, ненавистниками католичества, старался выставить, что главная вина убитого царя была — связь с папою и иезуитами и явное желание насильно вводить папизм в Московском государстве[486]. Новый царь отправил гонца в Крым известить, что расстрига, который оскорбил крымского царя и затевал войну с Крымом, был вор, обманщик и достойно наказан по делам своим, а новый московский государь желает с крымским жить в дружбе и мире[487].

Шуйский думал, что этим всем он уничтожит в народе сочувствие и сожаление об убитом царе и расположит русский народ быть ему послушным. Он удалил из Москвы в ссылку людей, которые были искренно привержены к бывшему царю, не прилагали рук к перевороту и могли быть новому царю опасны. Богдан Бельский был сослан в Казань, Афанасий Власьев — в Уфу, князь Рубец-Мосальский — в Корелу. Других он тоже разослал по воеводствам на службу, чтоб только удалить

---

[486] Сноски: 486
Milt., 60–62.

[487] Сноски: 487
Is. Mass., 89.

их из Москвы и от своей особы; у иных отнимал поместья и вотчины. Так говорят летописцы[488]. Шуйский тотчас же забыл свое обещание не мстить никому за старое и начал показывать злобу к людям, которые ему «грубили».

Новоизбранный патриарх был прежний митрополит казанский Гермоген, ревнитель старины, ненавистник иноземщины, которому Димитрий оказал нерасположение за то, что он восставал против его брака и требовал крестить Марину. Ничего не было естественнее, как избрать такого патриарха. Но он не пользовался тогда всеобщим добрым мнением. Говорили, что во время оно в своей молодости он был в донских казаках; не хвалили его поведение после того, как он, вступив в духовное звание, был попом в Казани. В архиерейском сане он показывал высокомерие, был вообще злого нрава, чрезвычайно суров и жесток, окружал себя дурными и злыми людьми и через них делал много несправедливостей. Сделавшись патриархом, он беспрестанно досаждал царю, чтоб выказать свое достоинство. И патриарх, и царь любили равно слушать сплетни и наушничества; поднялся прежний обычай до-

---

[488] Сноски: 488
Хроногр. Арх. Ком.

носничества[489]. Шуйский внове, однако, не смел посягать явно на казни и убийства. Он еще не укрепился и еще не был самодержавен. Верховная власть, в сущности, находилась в руках бояр.

Надобно было чем-нибудь решить с поляками. Шуйский и бояре рассуждали, что если поляки проводили расстригу и король Сигизмунд благоприятствовал ему, то теперь могут подавно воспользоваться случаем избиения своих подданных. Правда, было известно в Москве, что в Польше в то время был «рокош», восстание против королевской власти. Но дело московское легко могло стать делом оскорбления всей польской нации, — и поляки могли прекратить свои домашние недоразумения для того, чтобы обратиться на Москву дружно. Недаром послы объясняли боярам, что поляки легко восстановляют нарушенный у себя порядок, коль скоро им угрожает внешняя сила. Злоба москвичей к папизму, насильственная смерть священника в Москве во время богослужения могли вызвать в Польше религиозную ненависть против Московского государства. Поэтому правительство сочло за лучшее держать у себя сколько возможно более

---

[489] Сноски: 489
Хроногр. Арх. Ком.

залогов на случай покушения поляков. Решили не выпускать не только панов, прибывших с Мариною, но даже послов, а для того сочли удобным придраться к ним, чтоб оправдать себя от обещания отпустить их домой, данного им прежде.

Послы дожидались несколько дней, что скажут на их просьбу об отпуске. Несколько дней их водили обещаниями, извинялись сначала торжеством царского венчания, а потом торжеством перенесения мощей Димитрия. Дни шли за днями. У них переменили приставов: вместо Волконского дали им Ивана Михайловича Воротынского и при нем дьяка Дорофея Брохну. Наконец послы вышли из терпения, послали боярам в думу письмо, где снова просили себе отпуска, а прочим панам, своим соотечественникам, освобождения… «Мы боимся, — писали они, — если без нас государь ваш пошлет своего посла в Польшу, то как бы он не потерпел каких-нибудь оскорблений от людей, не знающих дела, но слышавших, что их братьев побили в Москве. Отсюда возникло бы еще больше недоумения между вашим и нашим государями»[490].

В ответ на это заявление прибыл к послам от

---

[490] Сноски: 490
Hist. Monum. Russ., II, 131.

боярской думы Михайло Игнатьевич Татищев и дьяк Василий Телепнев. Татищев показал им копию с записи, данной Димитрием Мнишеку на Новгород и Псков Марине, — королевское письмо, где Сигизмунд говорит, что Димитрий сел на престол с помощью польского короля и польского народа, — письма папы, кардинала и легата, где они уговаривают его строить в Москве по своему обещанию костелы. «Есть у нас и еще много таких писем, — сказал Татищев, — царь их отправляет к королю со своими посланниками, Григорием Константиновичем Волконским и дьяком Андреем Ивановичем, а вы, послы, останетесь в России с поляками и подождете, пока возвратятся наши посланники с ответом короля».

— Вы себя только более стыдите, чем нам вредите, — сказал Олесницкий. — Воевода решился отдать дочь за него, когда его уверили, что он царевич Димитрий. Что ж тут удивительного, что отец хотел устроить дочь свою как можно лучше? От вас зависело исполнить это или не исполнить. Вы сами не только соглашались отдать Марине Новгород и Псков, а еще признали ее государыней до коронации. Нечего удивляться и письмам святого отца, легата и кардинала. В прежних договорах между нашими государства-

ми о взаимном мире всегда ставилось условие, чтобы людям русской веры служить в Польше и Литве, вступать там в родство, приобретать имения и в них строить церкви и исповедовать свою веру, а нашим людям в Московском государстве приобретать имения и строить костелы; а также и в главных городах государства иметь костелы для богослужения. Святой отец, заботясь о вечном мире между нами, чтоб неверие не распространялось, а христианская вера возносилась, хотел властью своей освятить эти условия вечного мира между нами. Он тут не себе, а всему христианству искал добра, и за это не следует гневаться, а должно вам благодарными ему быть. А что касается королевского письма, то вы сами, через Афанасия Власьева и других посланников, приписывали королю возведение Димитрия и благодарили его; королю не приходилось вести споров об этом, а только оставалось согласиться с вами. Стыдно, Михайло, говорить против самого себя! Все это дело велось вами, думными боярами, в Москве; вами началось, вами и нарушилось! Если же вы нас, послов, задержите без всякой причины, если мы поневоле тут останемся, то, значит, мы в плену у вас. Это не делается не только в христианских царствах, но и у неверных.

Татищев удалился. Послы пришли в уныние, а Олесницкому сделалось даже дурно. С тех пор они увидели, что их держат в неволе. Двор окружили стрельцами, не позволяли выходить на улицу. Находясь в тесноте, при многолюдстве, польские люди лишены были чистого воздуха и боялись во время дождя проходить из избы до избы: им приходилось идти по колена в грязи; не допускали их видеться и говорить с единоземцами, которых содержали под стражею в разных местах столицы, и не было им вести из дому.

Вслед за тем, через несколько дней (18 июня были они в Смоленске), отправились московские посланники в Польшу. Это были прежние пристава у польских послов: князь Волконский и дьяк Андрей Иванов. Свита их простиралась до пятидесяти человек дворян и детей боярских. С ними поехал из свиты содержимых в Москве польских послов Якуб Борковский с двадцатью человеками да по два и по одному человеку от задержанных в Москве панов Мнишеков, Вишневецкого, троих Стадницких (Мартына, Андрея и Матьяша) и Тарла. Тогда стали уходить из Москвы иностранцы, бывшие на царской службе. Уже им при новом царе не было так выгодно и полезно, как при Димитрии. Они просились на родину и были от-

пускаемы. Это считали тогда необычным делом. Ушло, таким образом, более пятисот человек, а некоторые, выступивши из службы Шуйского, остались в Московском государстве и поступили на службу к его врагам[491].

III. Тревога в Москве. – Козни Молчанова и Шаховского. – Волнение в Северской земле. – Слухи о Димитрии. – Ссылка поляков

Недолго тешился Шуйский безопасностью, которую упрочивал себе в Русской земле грамотами, объяснениями и церемониальными торжествами! Спустя несколько дней поднялся мятеж в городе. Ночью на воротах некоторых боярских домов и тех дворов, где помещались поляки, появились надписи, гласившие, будто царь приказывает перебить и истребить всех живущих в них бояр и иноземцев. Злоумышленники хотели низложить Шуйского и задумали то самое средство, которое он употребил для погибели «расстриги». После 17 мая толпа черни, разжигаемая всякого рода удальцами, разлакомилась на

[491] Сноски: 491
Is. Mass., 106.

грабеж и кровь. У многих чесались руки сделать снова какой-нибудь кровавый праздник. Удалые ударили в набат, пошел переполох по Москве. Бояре на этот раз кое-как утишили толпу. Через несколько дней потом, 15 июня, в воскресенье перед обедней, опять зашумела Москва; заволновался народ, пошли толки, будто царь будет говорить с народом на Лобном месте. Москвичи на этот раз, быть может, надеялись сделать царю несколько важных вопросов. Царь шел из дворца к обедне. И тут из-за кремлевских стен услышал он знакомый ему шум народного бунта. Василий, по собственному опыту зная приемы боярских крамол, смекнул, что это не сама собою волнуется чернь, а подымают ее бояре, тайные недруги его. Он обернулся к окружавшим его думным людям и спросил: «Что это? Кто из вас волнует народ?» Бояре говорили: «Неизвестно кто созывает народ именем царским». У Шуйского навернулись слезы… Он сказал: «Зачем выдумываете разные коварства? Коли я вам не люб, я оставляю престол! Вы меня избрали, вы меня можете и низложить!» Он отдал свой царский посох, снял шапку и продолжал: «Возьмите и выбирайте себе кого хотите!» И тотчас же, не дожидая, чтобы эту выходку приняли не в шутку, Шуйский опять

взял посох, надел шапку и говорил: «Мне уже надоели эти козни! Хотите умертвить — умерщвляйте! Хотите перебить или, по крайней мере, ограбить бояр и иноземцев?.. Если вы меня признаете царем, то я требую казни виновным!»

Стоявшие около него сказали: «Мы, государь, целовали крест повиноваться тебе и теперь хотим умирать за тебя! Наказывай виновных как знаешь!»

Уговорили народ разойтись. Тогда схвачено было пять человек, которых признали виновными в возмущении; их высекли кнутом и сослали[492].

Но все это, как говорится, были только цветики; ягодки вырастали в Северской земле. В числе лиц, расположенных к «расстриге», были князь Григорий Шаховской и князь Андрей Телятевский. Шуйский принял за правило удалять таких на воеводства в провинции, думая этим устранить от себя смуту. Но такие меры часто способствуют появлению смут, так что нерасположенные к государю люди, лишенные возможности возмущать столицу, где государь впору может узнать об опасности и предупредить ее, возмущают области, откуда государю приносятся известия

---

[492] Сноски: 492
Маржер. Сказ. иностр., III, 101–102.

тогда уже, когда дело заходит далеко. Шаховской отправлен в Путивль, а Андрей Телятевский — в Чернигов. Последний, как видели мы, был сначала одним из упорных противников Димитрия, а потом, присягнувши ему, стал его приверженцем и теперь готов был сделаться его мстителем против Шуйского.

Когда Димитрия убили, Шаховской во время всеобщей суматохи похитил царскую печать. Не зная этого, Шуйский тотчас по своем воцарении послал его в Путивль. Шаховской взял с собою двух человек; один из них, как оказалось после, был русский, по прозвищу Молчанов, другой — какой-то поляк. Некоторые говорят, что Шаховской с этими лицами бежал из Москвы, но это ошибка. Из разрядных книг видно, что он не бежал, а послан был царем на воеводство.

Дворянин Молчанов был, как уже то говорено, из приближенных покойного царя. При Борисе его обвиняли в чернокнижестве; а потом его так отстегали кнутом, что у него на спине, как уверяли послы Шуйского в Польше, остались навсегда следы этого наказания, — и по этим приметам можно было узнать его личность. Говорили, что «расстрига» держал его при себе ради чернокнижия, в котором Молчанов искусился.

Приехав в Серпухов, трое этих лиц остановились у какой-то немки, пообедали у нее, и, прощаясь с ней, Шаховской дал ей целую горсть денег и сказал: «Вот тебе, немка, возьми! А когда мы назад воротимся, дадим еще больше, а ты смотри, припасай хороший мед и водку!» — «А что вы за люди?» — спросила женщина. «Я князь из Москвы и объявляю тебе, что у тебя ел и пил царь. Его москвичи хотели убить, а он ушел и на свое место оставил другого. Москвичи убили этого другого и думают, что они убили царя».

Переправляясь через Оку под тем же городом, они дали перевозчику шесть талеров на водку. Шаховской сказал: «Ты знаешь, кто мы?»

— Не знаю, кто вы, — сказал перевозчик.

— Молчи, братец! — сказал Шаховской таинственно. — Видишь, вот этот молодой господин — это царь Димитрий Иванович; ты царя перевозил! Его хотели убить, а Бог его сохранил. Он ушел и придет назад с большим войском и сделает тебя большим человеком.

Таким образом, они рассказывали одно и то же в каждом городе, куда приезжали, вплоть до самого Путивля. Весть о том, что Димитрий жив, разошлась с чрезвычайною быстротою; не прошло месяца, и повсюду, куда они приезжали,

только и речи было, что царь спасся и что такой-то да другой видали его.

В Путивле Молчанов и поляк расстались с Шаховским и отправились в Самбор, к жене Мнишка, мачехе Марины, рассказывать ей о случившемся и советоваться с нею и ее ближними: как устроить мщение Шуйскому и москвитянам, истребившим царя. А Шаховской, вступивши на воеводство, созвал в Путивле сходку и говорил:

— Изменник Шуйский с такими же изменниками, как сам, сговорились убить нашего государя Димитрия Ивановича и перебили поляков, что находились в Москве. Но царя Бог спас; он ушел из Москвы и теперь уехал в Самбор к своей теще, там соберет он войско и придет снова. Постойте, братцы, за своего законного государя! Он приказал уговаривать и просить, чтоб вы были ему верны, как прежде. Помогите ему сотворить отмщение над злодеями, неверными собаками! Он их так накажет, что и внуки и правнуки помнить будут. Теперь вам и за себя надобно стоять! Шуйский злобствует на вас за то, что вы первые признали Димитрия; утвердившись царем, он хочет вас и всю Северскую землю жестоко наказать! Поднимайтесь против него, а не то — будет вам всем такое горе, какое было когда-то Новгороду при

царе Иване Васильевиче.

Путивляне знали Димитрия и любили его, когда он проживал у них в городе. Все с жаром кричали:

— Пойдем на Шуйского за своего государя!

Написали грамоты и разослали с ними дворян и детей боярских по всему уезду. Побежали из Путивля гонцы в соседние города с тем же известием, с такими же увещаниями, какими склонял путивлян Шаховской. Севрщине волею-неволею приходилось ополчиться за Димитрия. С одной и с другой стороны на этот край находила беда. Покорятся ли Шуйскому — Димитрий придет с польским войском и будет наказывать русских, которые отступились от него, и первая подвергнется каре Северская земля! Не покорятся Шуйскому, но не станут ополчаться — придет рать из Москвы и постигнет их, беззащитных, кара от Шуйского! Поэтому вооружение Севрщины за Димитрия пошло быстро. Путивльский уезд был уже в несколько дней весь на военной ноге. Моравск, Новгород-Северский, Стародуб, Ливны, Кромы, Белгород, Оскол, Елец стали за Димитрия. Но главным средоточием сделался Елец, потому что тут убитый царь назначил сбор войска, намереваясь идти на татар, и туда уже успели

собраться ратные люди… В одних городах воевод побили, других бросили в тюрьмы, а в иных сами они отложились от Шуйского. Предводителем восстания избран был Истома Пашков, сын боярский. Он писал грамоты во все города, приглашал всех стоять за Димитрия и угрожал его местью всем тем, которые будут держаться стороны изменника Шуйского. Казаки дали знать на Дон, и оттуда спешили на защиту царя, которому донцы так храбро и славно служили.

Царь сначала хотел подействовать увещанием и послал Крутицкого митрополита Пафнутия с духовенством. Но Пафнутий скоро увидел, что ничего не сделает, и удалился. Тогда двинулось на непокорных войско под начальством Ивана Михайловича Воротынского. Вместе с тем для увещания послана была в Елец грамота от инокини Марфы. Мать Димитрия уверяла, что сын ее Димитрий убит в Угличе, теперь лежат его мощи в Архангельском соборе, а тот, который царствовал и был убит всенародно, не был ее сын. Грамоту повез брат ее Михайло Нагой. Грамоты эти подействовали плохо. Народ твердил, что инокиня Марфа говорит теперь так поневоле, потому что сама находится в руках Шуйского, а прежде, при Димитрии, она целый год не то

говорила. Не действовало в пользу Шуйского даже открытие св. мощей. Русские, наученные многими явными и тайными проделками Бориса, Шуйского и их клевретов, и тут подозревали обман. Имя Димитрия было так страшно, что Шуйский, когда отправлял Воротынского с товарищами к Ельцу, скрывал и от воинов, и от московского народа, против какого врага идет эта рать. По его приказанию распущена молва, будто пятьдесят тысяч крымцев напали на украинские города. Ратные люди приблизились к Ельцу и тогда только узнали, что им приходится драться с земляками. Началась стычка. Пашков легко рассеял рать Шуйского. Она тотчас же сама разбежалась, как на нее наперли. Взятых в плен царских ратников били плетьми и казнили, а других отсылали в Москву с вестью. «Вы думали, б….ы дети, — кричали им мятежники, — со своим шубником убить государя, людей его перебить и крови напиться! Потрескайте блинов да попейте-ка лучше воды! Вот царь придет — проучит он вас за кровопийство!»

В Москве начали появляться подметные письма, где уверяли народ, что Димитрий жив и скоро придет, уговаривали москвичей заранее низвергнуть Шуйского, а иначе царь будет казнить

всю столицу. В Москве не все были уверены, что прежний царь действительно убит. Его труп был чересчур обезображен: знавшие его близко не могли тогда узнать лица его и теперь легко могли доверять молве о его спасении. Начались в Москве зловещие толкования. «Истинно, — говорили многие, — на площади лежал не царь, а другой: волосы у него были длинные, а царь остригся перед свадьбой. У царя была бородавка под носом, а у этого не видно было; да вот те, что в баню с царем ходили, говорят, что у него было родимое пятно на правом боку, а этот голый лежал и пятна не было на нем, да и зубы у него и ногти черные — совсем не царские, а мужичьи». — «Эка! — возражали им. — Видали вы, какие у него волосы были? Да он всегда в шапке ходил, ни перед кем не ломал ее; а кто там видал его родимое пятно да белые зубы — нешто девки, что в баню ему водили, так им не до того было!» — «А зачем же его сожгли? — говорили недовольные Шуйским. — Они б его нарочно таким составом помазать должны, чтоб не портился, а то затем и сожгли, что ошиблись; не того убили, который царствовал». — «Вот еще! — возражали сторонники Шуйского. — Черт бы стал пачкаться около такой гадости еретика! Затем сожгли, что ходить

стал, да мороз зелень побил». Возмутители, приходившие в Москву, слонялись промеж народу, уверяли, что царь Димитрий жив. «Не мы одни его видели, — говорили они, — а много людей с нами было: истинно тот самый царь и в царском венце, и со скипетром; царский наряд он увез с собой, и лошади его, как здесь ездил». Их ловили, и был им один конец — камень на шею и в Москву-реку! И ни один из них не страшился — перед смертью кричал, что умирает за истинного государя, и клялся, что тот жив. Тогда сочинилась такая сказка: будто Димитрий заранее узнал, что против него заговор; был у него служитель, похожий на него; он его нарядил в свое платье и приказал лечь на царскую постель: тот не понимал, что это значит, и думал, что это какая-нибудь шутка. На него наскочили убийцы: он закричал — я не Димитрий, я не Димитрий!

А те думали, что расстрига сознается в своем воровстве, и убили его, а настоящий царь ушел заранее[493].

Надобно было принять меры. Показалось опасным оставлять поляков в Москве, особенно Марину и отца ее. До них дошел слух, что Ди-

---

[493] Сноски: 493
Is. Mass., 109.

митрий жив: это было им очень приятно. Они надеялись, как скоро этот Димитрий будет близко, народ восстанет за него и их освободит. Но в то же время это было для них и опасно. Те из москвичей, которые не хотели Димитрия и считали весть о его спасении польскою крамолою, могли прийти в неистовство и побить пленных панов. В столице происходили в этом месяце частые тревоги. 6 августа утром был большой пожар. Десятого, перед полуднем, произошел взрыв порохового склада, находившегося вблизи Кремля, и попортил несколько строений. Тогда несколько человек лишились жизни. 17-го числа, в полночь, произошел пожар в самом Кремле, тогда сильно застроенном боярскими дворами. Пожар продолжался четыре часа. В народе ходили слухи, что эти пожары производят остающиеся в столице поляки. Из посольского двора перебежало к русским человек тридцать поляков: наверное нельзя сказать, чтоб это были настоящие поляки, а не южноруссы, тогда еще единоверные с московским народом, а таких в Москве было немало, особенно с Мнишеком, Вишневецким и другими панами. Эти перебежчики распространяли слухи, что пожары производятся поляками. Кроме того, поляки при каждом удобном случае старались

раздувать уже и без того существовавшее недовольство москвичей избранием в цари Василия Шуйского, и сторонники последнего приписывали частые мятежи в Москве и нелюбовь народа к царю их подущениям. Толковали, что напрасно их держат затем, чтоб отпустить к себе на родину и дать возможность снова воевать против Москвы. Лучше было бы их всех побить! Говорили, будто сам царь Василий был склонен к этой мысли, но его разубедили советники, представивши, что тогда неизбежна война, которая может кончиться несчастливо для Москвы; напротив, сохранивши поляков живыми, можно будет избежать войны и уверять польское правительство, что избиение поляков в день смерти названого Димитрия было делом народной ярости, которую правительствующие московские люди никогда не оправдывали, напротив, всеми возможными мерами останавливали[494].

Когда в Москве начал возрастать слух о явлении Димитрия, говорили, будто какие-то знатные люди уговаривали за городом в поле народную толпу побить поляков. Будет ли на первых порах перевес на стороне Димитрия или станется

---

[494] Сноски: 494
Велевицкий, перев. Муханова, 181, 188, 191.

напротив — в том и в другом случае казалось нужным удалить поляков из столицы.

В августе высылали одних за другими панов с их дворнею в разные места. Прежде всех отвезли Вишневецкого в Кострому; туда же послали весь оршак Мнишекова сына, старосты саноцкого; за ним дней через пятнадцать Тарлы были посланы в Тверь; а еще несколько дней спустя Стадницкие, Немоевский и некоторые другие паны — в Ростов. После них дошла очередь и до Мнишеков. Юрий Мнишек тогда уже не был в Кремле; его поместили в доме Афанасия Власьева, отнятом у хозяина. 26 августа его повезли, вместе с царицею, в Ярославль; туда же отправили и сына его, и брата Яна (старосту красноставского), и племянника Павла (старосту луховского).

IV. Болотников. – Мятеж в украинных городах. – Возмущение мордвы. – Волнение в Астрахани, Перми, Пскове. – Болотников подходит к Москве. – Видение. – Челобитная Варлаама

С каждым днем приносили известия, что Московское государство радуется спасению Ди-

митрия. Но сам Димитрий не являлся. Молчанов, которому сначала Шаховской думал дать эту роль, жил в Самборе, называл себя Димитрием и смущал поляков. Конечно, сначала мало было таких простодушных, чтоб ему поверили. Но слух о жестокостях в Москве до такой степени раздражил Польшу, что поляки готовы были потакать всякому обману, всякой проделке, лишь бы она клонилась к отмщению за соотечественников и к низвержению Шуйского. Мачеха Марины держала у себя обманщика. Но явиться с этою ролью в Москву Молчанов не осмеливался. Его знали многие; знали также и прежнего царя. Молчанов, смуглый, с покляпым носом, с черными волосами, с подстриженной бородой и нахмуренными бровями, вовсе не был похож на Димитрия. Одно сходство — у него была на лице бородавка, да и та у Молчанова была не на том месте лица, на каком у Димитрия. Тут явился к нему Иван Исаевич Болотников, холоп князя Телятевского. Маленьким попал он в плен к татарам, был продан туркам, работал в оковах на турецких галерах и был освобожден в числе других пленников, по одним известиям, венецианцами, по другим — немцами, а по освобождении привезен в Венецию. Здесь он оставался несколько времени и потом решился

возвратиться в отечество через Польшу.

Этот бывалый человек, услыша, что в Самборе живет Димитрий, прибыл туда и сошелся с Молчановым. Болотников не видал никогда того, который царствовал под именем Димитрия, и, быть может, верил искренно, что перед ним тот самый. Молчанов заметил, что это человек предприимчивый, живой и сметливый. Называя себя Димитрием, Молчанов спрашивал его: «Желаешь ли служить против изменников, бояр-клятвопреступников?» Болотников отвечал: «Я готов за своего государя во всякое время принести живот свой!» — «Ну, так вот тебе сабля, вот епанча с моих плеч и тридцать червонцев; больше у меня нет! Я дам письмо тебе; ты поедешь с ним в Путивль и отдашь моему воеводе князю Шаховскому; он учинит тебя воеводою, и ты будешь воевать за меня против всех изменников, насколько Бог поможет тебе». Болотников прибыл в Путивль с письмом. Шаховской поручил ему отряд в 12 000 человек. Болотников отправился в Комарницкую волость и возвещал всем, что он сам видел Димитрия и Димитрий нарек его главным воеводою.

Предводители отрядов, руководимые князем Шаховским, начали возмущать боярских людей против владельцев, крестьян против помещиков,

подчиненных против начальствующих, безродных против родовитых, мелких против больших, бедных против богатых. Все делалось именем Димитрия. В городах заволновались посадские люди, в уездах — крестьяне; поднялись стрельцы и казаки. У дворян и детей боярских зашевелилась зависть к высшим сословиям — стольникам, окольничим, боярам; у мелких торговцев и промышленников — к богатым гостям. Пошла проповедь вольницы и словом, и делом: воевод и дьяков вязали и отправляли в Путивль; холопы разоряли дома господ, делили между собою их имущество, убивали мужчин, женщин насиловали, девиц растлевали… В Москве умножались подметные письма, призывавшие народ восстать на Шуйского за истинного законного государя Димитрия Ивановича. Шуйский счел это делом дьяков и стал сличать руки, но не нашел виновного.

Послан был против Болотникова князь Юрий Трубецкой к Кромам. Но как только послышалось, что идет Болотников, Юрий Трубецкой с товарищами рассудили, что им не сладить с Болотниковым, и отступили. Затем все служилые люди этого отряда самовольно разошлись по до-

мам[495]. Ясно было, что ратные не хотят служить Шуйскому.

Мятеж охватил Московское государство чрезвычайно быстро, шел как пожар. После разбега войск Воротынского и Трубецкого город за городом возмущались. В Веневе, Туле, Кашире, Алексине, Калуге, Рузе, Можайске, Орле, Дорогобуже, Вязьме провозгласили Димитрия. Дворяне Ляпуновы, братья Захар и Прокопий, те самые, что поклонились со всею землею Димитрию под Кромами, теперь возмутили Рязанскую землю. С ними, на челе рязанцев, стали против Шуйского влиятельные Сумбуловы. Восстали против него города тверские: Зубцов, Ржев, Старица; сама Тверь еще держалась: на жителей ее в этом деле имел влияние епископ Феоктист. Возмутился и город Владимир, и вся земля его. В Нижегородской земле боярские холопы и крестьяне, услыша призыв Болотникова, поднялись на своих господ, на все начальствующее. Возмутилась мордва, еще по большей части языческая: она тогда возымела надежду освободиться от московской власти; составилось мордовское полчище, вооружилось луками и стрелами. Явились у них предводители,

---

[495] Сноски: 495
Ник. лет., 79.

поборники своенародности, выборные люди — Москов и Воркадин[496].

Они осадили Нижний Новгород вместе с шайками холопей и крестьян. Арзамас, Алатырь отпали от Шуйского. На Поволжье возмутился Свияжск. В Казани и в Твери удерживал власть Шуйского местный архиерей — митрополит Ефрем. Богдан Бельский не пристал к измене. Он знал хорошо, что того, кого он признал сыном Ивана Васильевича, не было на свете, а нового он не знал. Нерасположение к Шуйскому, видно, не доходило у этого человека до того, чтобы решиться на все, лишь бы ему повредить. Но в далекой Астрахани сосланный туда на воеводство приверженец Димитрия, князь Хворостинин, первый возмутил людей, и оттого-то в крае восстание приняло иной характер, чем в других частях русского мира. Вместо того чтобы люди незнатные ополчились на знатных, там люди мелкие с дьяком Карповым стали было за власть Шуйского. Но боярин Хворостинин велел сбросить с раската дьяка Карпова и его пособников, объявил царем Димитрия и приглашал ополчаться за спасенного государя не только русских, но и ногаев. В

[496] Сноски: 496
Ник. лет., 82.

отдаленной Пермской земле пронеслась весть о спасении Димитрия: пермичи не хотели давать ратных людей Василию и пили чаши за здоровье Димитрия. В Великом Новегороде, хотя не было явного отпадения от Шуйского, не могли собрать за царя Василия ратной силы. Во Пскове воевода Шереметев, хоть не друг Шуйского, не изменял, однако, его делу; в городе была сумятица. Шуйский требовал со Пскова денежной подмоги; собрали 900 рублей и послали их с выборными. Но в письмах, которые повезли выборные, богатые гости написали об этих выборных, что они изменники, и по таким письмам в Москве этих выборных чуть не побили; заступились за них псковские стрельцы, которых находился там целый приказ. Услышавши о беде своих земляков, они всем своим приказом подали царю челобитную, уверяли, что присланные псковские выборные вовсе не изменники, и поставляли за них свои головы. Во Пскове Шереметев правил как независимый государь, собрал ополчение на имя царя Василия Шуйского, а сам вместе с дьяком Иваном Грамотным распоряжался произвольно достоянием жителей, давал и отнимал поместья. Они своим своевольством вооружили подчиненных против себя и расположили их

против царя: творили они все царским именем. В пригородах псковских явилась измена: тамошние стрельцы провозгласили Димитрия.

Разбежавшиеся ратные люди, ушедшие каждый в свою сторону, стали возмутителями, часто невольными, уже только потому, что разносили весть об успехах того, кто назывался спасенным в другой раз Димитрием. Другие умышленно волновали народ, объявляли, что теперь настало время отплатить прежним сильным мира сего; что царь Димитрий на то идет, чтобы все перевернуть на Руси: богатые должны обнищать, нищие обогатеть; бояре станут мужиками, а холопы и мужики вознесутся в боярство и будут править землею. Холопы и крестьяне соблазнялись этими подущениями, вооружались дубьем и косами, спешили в полчище Болотникова. С этим полчищем он шел к столице. На дороге примкнуло к нему ополчение Истомы Пашкова; с ним соединился отряд вольницы, пришедший из Литвы: начальствовал над ним пан Хмелевский.

Отовсюду стекались к Болотникову шайки. Только шедшей из Владимира не посчастливилось — князь Димитрий Михайлович Пожарский рассеял ее. Серпухов сдался Болотникову. В Коломне отважились сопротивляться. Напавший

на этот город Хмелевский был отбит. Но потом коломенские стрельцы передались; город был взят и разграблен[497].

Полчище двинулось к Москве. В пятидесяти верстах от нее, близ села Троицкого, встретила его еще одна рать московская под начальством Мстиславского. Ратные не захотели биться и разошлись. Мстиславский с товарищами — Воротынским, Голицыным, Нагим и Димитрием Шуйским — вернулись в Москву. Болотников гнался за ними и 22 октября стал в селе Коломенском, за 7 верст от столицы.

Положение Шуйского и его партии было ужасное. Надобно было нравственно действовать на Москву.

И вот двенадцатого октября, когда уже слышали, что Болотникову сдается город за городом и он идет к столице, кто-то, вероятно, духовного звания, перед царем и патриархом и всем освященным собором объявил, что ему было видение. «Молился я, — говорил он, — о мире всего мира и лютых, на нас нашедших, и лег почивать, и вот

---

[497] Сноски: 497

В Коломне были Иван Бутурлин и Семен Глебов. Потом присланы были Семен Прозоровский и Василий Сукин. Они после поражения Хмелевского ушли в Москву, а Бутурлина сменил царь Василий Иваном Пушкиным.

в полночь, слышу, звонят в большой колокол, что сняли Борисовым повелением, и говорю сам себе: что это такое? Кажется, нет большого праздника; открыл я оконце, вижу: как будто день, так светло, и думаю сам себе — как же это ночь так скоро прошла? Ан идет знакомый мой, я и спрашиваю его: что это за звон? А он говорит: иди в церковь Успения Богородицы, там тебе видение преславное будет! Я, грешный, встал и пошел по улицам и думаю: что это значит — теперь осень и дождливая погода, а путь сухой? Пришел я к церкви, вижу: неизреченный свет; и пришел я к западным дверям и поклонился до земли и встал; а врата церковные отворены; и увидел я Господа Бога моего, сидящего на престоле; кругом его ангелы: стоят одесную — надежда наша Заступница, а по левую сторону — Предтеча Христов и лики святых пророков, апостолов, мучеников и преподобных отец; вижу я, Пресвятая Богородица кланяется до земли Богу и говорит: “Сыне мой и Боже мой! Пощади люди своя, познавшие Тебе, истинного Бога, мене ради Матери Твоей; многие из них вспомянут грехи свои и хотят прийти в покаяние”. А владыка и Господь мой говорит к своей Матери: “О, Мати моя вселюбезная! Смущают они мне злобами своими и лукавыми

нравами; осквернили церковь мою праздными беседами, мерзкие обычаи от язык восприняли, брады свои постригают, содомские дела творят и неправедный суд судят, правых насилуют, чужие имения грабят!” Тогда надежда наша Заступница и Предтеча Христов, и все святые стали кланяться и молить Бога, говорили: “Помилуй, владыко, род христианский; они не будут так творить!” А Господь Бог сказал: “Не стужай мне, Мати, и ты, друже мой Иоанне, и вси мои святые! Нет истины в царях и патриархах и во всем народе моем. Изыди, Мати моя, от места сего и вси святые с Тобою. Я предам их кровопийцам и немилостивым разбойникам, да покаются малодушные и приидут в чувствие, и тогда пощажу их!..” Тогда кто-то подошел ко мне и сказал: “Иди, угодниче Христов, поведай, что видел и слышал!”»

Тогда патриарх и Освященный собор заповедали пост с 14 до 19 октября всем от мала до велика, не исключая младенцев; совершалось моление об избавлении царствующего града от злых разбойников и кровопийц; народ, пораженный этим нежданным обрядом, со страхом ожидал чего-то ужасного и бежал в церковь, забывая на время то, что волновало ум его, и отдавая со смирением судьбу свою Богу и властям предержащим.

К этому времени относится появление и, вероятно, обнародование челобитной старца Варлаама, которая должна была уверить народ, что царствовавший под именем Димитрия был Гришка Отрепьев.

«В 110 году [1602] (говорится в этой челобитной), в Великий пост на второй неделе в понедельник шел я, старец Варлаам, в Москве Варварским крестцом; позади меня шел молодой чернец. Он сотворил молитву, поклонился мне и говорил: “Старец, из какой ты обители?” Я отвечал: “Постригся я по немощи и начало имею Пафнутьева монастыря Рождественского в Боровске”. — “А какой на тебе чин? Ты крылошанин? — спросил молодой чернец. — Как тебя зовут?” — “Мое имя Варлаам. А ты какой обители и какой на тебе чин, и как тебе имя?” Он сказал: “Жил я в Чудове монастыре; чин имею дьяконский; зовут меня Григорий, а прозываюсь я Отрепьев”. Я спросил: “Что тебе Замятия и Смирной Отрепьевы?” Он отвечал: “Замятия дед, а Смирной дядя”. Я сказал: “Какое тебе дело до меня?” Он отвечал: “Я жил у архимандрита Пафнутия в Чудовом монастыре и сложил похвалу московским чудотворцам: Петру, Алексию и Ионе; и патриарх Иов, видя мое досужество, начал меня брать на царскую думу

везде с собою, и я вошел в славу великую. Но мне не хочется славы и богатства земного; не только видеть и слышать про то не хочу, а хочу скрыться из Москвы в дальний монастырь. Есть монастырь в Чернигове: пойдем в этот монастырь". Я сказал: "Когда ты жил у патриарха, так не привыкнуть тебе в Чернигове. Слышал я: монастырь черниговский — местечко невеликое". Молодой чернец сказал: "Я хочу в Киев, в Печерский монастырь. В Печерском монастыре многие старцы души свои спасали". Я сказал: "Читал я патерик печерский". Отрепьев сказал: "Поживем в Печерском монастыре да пойдем до святого града Иерусалима". Я сказал: "Печерский монастырь за рубежом в Литве; не сметь нам ехать за рубеж". Он сказал: "Государь московский учинил мир с королем на двадцать лет; теперь все вольно и застав нет". Я сказал: "Для душевного спасения и для печерских чудотворцев и для святых града Иерусалима и гроба Господня пойдем".

Вот мы с ним уверились по-христиански, чтоб ехать нам вместе, уговорились на завтрашний день сойтись в иконном ряду, чтоб вместе ехать.

На другой день, в урочный час, мы сошлись в иконном ряду. А у него приговорен ехать с ним еще один старец, именем Мисаил: в мире его

звали Михайло Повадин, а я его знавал у князя Ивана Ивановича Шуйского. Вот мы пошли за Москву-реку и наняли подводы до Волхова и поехали; из Волхова поехали мы до Карачева, а из Карачева до Новгорода-Северского. Тут мы вошли в Преображенский монастырь; строитель Захария Лихарев поставил нас на клиросе; а Григорий в день Благовещения служил в обедне за диакона и ходил за Пречистою.

Мы пробыли там до третьей недели по Пасхе. Тогда мы наняли вожа Ивашка Семенова, отставленного старца, и пошли на Стародуб. Иван провел нас в Киевскую землю. Первый литовский город был нам Лоев, второй Чернигов, а третий Киев. Мы стали жить в Киеве, в Печерском монастыре, и жили три недели. После того Гришка вздумал ехать к князю Василию Острожскому и отпросился у архимандрита Елисея Плетенецкого. Я извещал про него архимандрита и братию и говорил, что мы хотели идти в Иерусалим, а он теперь хочет идти к Острожскому; он там скинет с себя иноческое платье и заворуется. Архимандрит Елисей сказал: “Здесь, в Литве, земля вольная; в какой вере кто хочет, в такой и пребывает”. Я просил у архимандрита, чтоб дал мне жительствовать в Печерском монасты-

ре, но архимандрит с братнею не дозволили и сказали: “Четверо вас пришло; четверо и подите отсюда”. Пришли мы в Острог, ко князю Василию Острожскому, а тот князь Василий Острожский в сущей христианской вере пребывает. Мы у него перелетовали, а на осень меня и Мисаила князь отправил в Дерманский монастырь, а Гришка уехал в Гощу к пану Гойскому и там скинул с себя иноческое платье и стал учиться по-латыни, и по-польски, и по-лютерски. И стал Гришка отметник и законопреступник православной христианской веры. Я князю Острожскому говорил, чтоб он взял из Гощи Гришку и велел по-прежнему быть ему чернецом и диаконом; а князь Острожский сказал: “Здесь земля вольная: в какой вере кто хочет, в такой и пребывает. Сын мой Януш родился в православной вере и принял латинскую, мне его не унять. Да теперь и пан Краковский в Гоще”.

Прозимовал Гришка в Гоще, а на весну, после Великого поста, он пропал без вести и очутился в Брагине у князя Адама Вишневецкого и назвался царевичем Димитрием Ивановичем Углицким, и князь Адам поверил Гришке и дал ему колесниц и лошадей. Князь Адам поехал из Брагина в Вишневец и взял с собою Гришку, и стал возить его по панам, по родным своим, и везде называл его

царевичем Димитрием Углицким. В Вишневце Гришка летовал и зимовал, и после Великого дня проводил его Адам до короля Сигизмунда и сказал королю, что он царевич Димитрий. Король его звал к руке, а Гришка сказал королю так: “Слыхал ли ты про великого князя московского Ивана Васильевича, всея Руси самодержца, что был и грозен, и славен во многих ордах? Я сын его присный Димитрий Иванович. Как судом Божиим не стало отца нашего на Российском государстве и остался царем брат мой Федор, меня изменники послали в Углич и присылали много раз воров испортить или убить меня, но Бог не восхотел исполнить злокозненного их замысла и избавил меня невидимою силою, и много лет сохранял меня в судьбах своих. Теперь же я пришел в мужество и помышляю с Божьею помощью идти на престол прародителей моих. Можно тебе разуметь, милостивый король, если твой холоп тебя или брата твоего, или сына у тебя потеряет, каково тебе в те поры будет? Разумей посему, каково мне теперь”. Тогда перед королем признали его князем Димитрием Ивановичем Углицким пять братьев Хрипуновых, Петрушка, человек Истомы Михнева, Ивашко Шварь, Ивашко вожь да мужики посадские киевляне.

Гришка и Адам Вишневецкий отправились от короля в Самбор, а я королю про этого Гришку извещал, что он не царевич Димитрий, а чернец, зовут его Гришкою, а по прозвищу он Отрепьев, и ходил он со мною вместе. Король и радные паны не верили мне и послали меня к Гришке в Самбор и к воеводе сандомирскому, к пану Юрию Мнишеку, и написали обо мне лист. Как меня привезли в Самбор, Гришка велел с меня снять иноческое платье и бить, и мучить. Тогда говорил расстрига Гришка про меня и про сына боярского Якова Пыхачова, будто мы подосланы от царя Бориса, чтоб убить его. Якова Пыхачова велел Гришка казнить смертью, а меня велел после битья и мук заковать в кандалы и бросить в тюрьму. 15 августа Гришка пошел войною к Москве, а меня велел держать в Самборе в тюрьме, и держали меня пять месяцев, пока пани Мнишекова и дочь Марина не выпустили на свободу. После того я был в Киевском монастыре, а 14 сентября 114 года (1605) вышел я в Смоленск; там смоленские бояре повелели мне жить в Аврамиевом монастыре»[498].

Эта челобитная была распространена в свое время, вошла во множество снимков последу-

---

[498] Сноски: 498
А. А. Э., II, 141 и. дал.

ющих редакций хронографов и служила для истории важнейшим доказательством, что царствовавший в Москве под именем Димитрия был чернец Гришка Отрепьев. Но, всмотревшись в нее пристально, легко видеть, какой это мутный и недостоверный источник. Здесь открываются несообразности:

1) Варлаам говорит, что он убежал с Гришкою в 7110 году, в Великий пост (1602), а по известиям, сообщенным поляками, видно, что тот, кто назвал себя Димитрием, был в Киеве уже в 709 (т. е. с сентября 1600 по сентябрь 1601 года).

2) Варлаам рассказывает, что, проживши в Печерском монастыре три недели, Гришка задумал идти ко князю Острожскому. Варлаам извещал на него архимандриту, чтоб тот удержал его, ибо, если он пойдет, то скинет с себя иноческое платье, а потом сам Варлаам пошел с Гришкою в Острог. Странно допустить, чтоб Гришка отправился вместе с человеком, который на него доносил и наблюдал за ним. Невозможно допустить такую неосторожность в отъявленном плуте.

3) Варлаам рассказывает, что Острожский отослал его с товарищем Мисаилом Повадиным в Дерманский монастырь, а Гришка ушел в Гощу и потом, весною 1603 года, пропал без вести, а вслед

за тем очутился в Брагине во дворе Адама Вишневецкого. Но из слов самого Варлаама видно, что он сам, уехавши в Дерманский монастырь, не видал более Гришки, следовательно, если даже не сочинял своих известий, то писал по слухам и соображениям. Варлаам сам себе противоречит, говорит, что Гришка из Гощи без вести пропал, а потом — что он очутился у Вишневецкого, где и назвался Димитрием. Но если Гришка без вести пропал, то почему Варлаам узнал, что тот, кто во дворе Адама Вишневецкого назвался Димитрием, был знакомый ему Гришка? Он не говорит, чтоб видел его лично тогда, как он назвался Димитрием; следовательно, слыша, что кто-то назвался у Вишневецкого Димитрием, он мог только предположить, что это должен быть Гришка.

4) Мнишек, хорошо знавший дело, на допросе, учиненном ему в Москве, объявил, что Адам Вишневецкий передал претендента брату Константину и претендент жил в Жаложицах, а не в Вишневце, как показывает Варлаам, потом приехал в Самбор, и оттуда Мнишек с Константином Вишневецким повезли его в Краков к королю, а Варлаам говорит, будто Адам Вишневецкий возил его в Краков. Нет повода думать, чтобы Мнишек в этом месте своего показания сказал

неправду, потому что не было на то никакой причины. Следовательно, Варлаам не знал близко обстоятельств дела, о котором говорит.

5) Варлаам приводит речь, которую Гришка говорил Сигизмунду III. Но каким образом мог Варлаам слышать эту речь? Это приведение речи в таком подробном виде побуждает подозревать справедливость всей челобитной. Притом называвший себя Димитрием никак не мог начинать своей речи так: «Слыхал ли ты, король, про царя Ивана Васильевича?» Это было бы со стороны претендента чересчур наивно.

6) Варлаам говорит, что он извещал короля о том, что называющий себя Димитрием есть Гришка Отрепьев. Но где, чрез кого, каким образом — об этом он не говорит; а из его же челобитной видно, что он сам оставался в Дерманском монастыре. Отчего здесь такая недомолвка, когда Варлаам сообщает очень подробно о свидании своем с Гришкою в Москве и о странствовании с ним вплоть до разлуки, случившейся тогда, когда Гришка уехал в Гощу? Почему же он не говорит, как узнал про самозванство Гришки, как выехал из Дерманского монастыря, как дошел до короля? Такое умолчание важнейших обстоятельств, такая несоответственность в способе изложения

челобитной сильно вредят ее достоверности.

7) Варлаам говорит, что признали Гришку за Димитрия братья Хрипуновы; но о дозволении братьям Хрипуновым возвратиться в отечество просил Сигизмунд Димитрия, уже царствовавшего в Москве. Если бы Хрипуновы были в числе первых, признавших названого Димитрия еще в Кракове, то не предстояло бы необходимости просить за них. Эту несообразность заметил еще Карамзин.

8) Варлаам говорит, что Гришка сына боярского Якова Пыхачова велел казнить, а его, Варлаама, заключить в тюрьму, но оставляет неизвестным, видал ли он тогда в лицо того, кто назван Димитрием. Здесь несообразность и невозможность: конечно, прежде всего Гришка, имея власть над обоими, казнил бы Варлаама, как человека, который хорошо знал его и мог обличить.

9) Наконец, Варлаам говорит, что в 1605 году он прибыл в Смоленск. Это очевидная нелепость. Как мог человек, обличавший расстригу и за то пострадавший, освободившись из тюрьмы, отправиться в государство, где властвовал тот, кого он обличал и кому мог быть вреден?

Замечательно противоречие между челобитною Варлаама и грамотою патриарха Иова. В

грамоте патриаршей Варлаам назван монахом чудовским, а в челобитной он сам себя называет постриженником Пафнутьевского Боровского монастыря. Варлаам говорит, что Гришка прожил в Киеве всего три недели, ушел прочь из Киева к Острожскому, и когда он уходил к Острожскому, то это считалось удалением из монастыря. А в грамоте Иова, по показанию Венедикта, Гришка, живя в Киеве в Печерском монастыре, служил в то же время у Острожского в Киеве, как киевского воеводы, и чрез это не разрывал своей связи с Печерским монастырем. Варлаам говорит, что, когда он сделал извет, что Гришка хочет уйти к Острожскому, архимандрит сказал, что «здесь земля вольная, кто как хочет, в такой вере тот и пребывает». А в показании Венедикта говорится, что тот же самый архимандрит посылал достать Гришку; тогда он ушел не к Острожскому, как показывает Варлаам, а к запорожцам. Венедикт показывает, что Гришка пришел ко князю Адаму Вишневецкому от запорожцев. Варлаам показывает, что он туда пришел из Гощи. По грамоте патриарха Иова какой-то чернец Пимен водил Гришку с товарищами через границу; Варлаам не знал Пимена, а знает в этом случае иное лицо, какого-то Ивашку-вожа. Кто же из них лгал?

Существует документ очень замечательный, свидетельствующий о действительном товариществе Григория с Варлаамом и Мисаилом. Это надпись на книге Василия Великого, хранящейся на Волыни в Загоровском монастыре, такого содержания: «Лета от сотворения мира 7110-го месяца августа в 31-й день, сию книгу Великого Василия дал нам, Григорию с братиею Варлаамом да Мисаилом, Константин Константинович, нареченный во святом крещении Василий, Божьею милостию пресветлое княже Острожское воевода киевский». Под словом «Григорию» приписано *другою рукою:* «царевичу московскому». Само собою разумеется, что приписку эту сделал человек, знавший, что того, кто царствовал в Москве, считали в действительности Григорием Отрепьевым, странствовавшим с Варлаамом и Мисаилом, и, вероятно, приписка сделана с наивною целью показать вид, как будто бы тот, кто писал надпись, сделал и приписку, и, именуя себя царевичем московским Димитрием, писал себя в то же время и Григорием. Приписка эта отнюдь не важна и могла быть включена в позднейшее время; важно только то, что надпись на книге подтверждает справедливость многоразличных показаний, что Григорий Отрепьев, монах Чу-

дова монастыря, действительно странствовал в польской Украине и проживал у Острожского вместе с монахами Варлаамом и Мисаилом. Но та же самая надпись на книге нимало не дает права признать, что царствовавший в Москве под именем Димитрия был в самом деле беглый монах Григорий Отрепьев; напротив, при сличении этой надписи, по всем вероятиям сделанной Отрепьевым, с почерком названого царя Димитрия не оказывается сходства. Поэтому ни челобитная Варлаама, ни надпись на книге Василия Великого не могут служить доказательствами, чтоб названый царь Димитрий и Гришка Отрепьев были одним и тем же лицом.

V. Объяснение Болотникова с москвичами. – Ослабление мятежа. – Дворяне оставляют Болотникова. – Поражение мятежников. – Бегство Болотникова. – Перенесение тел Годуновых. – Примирение патриарха Иова с московским народом

Болотников построил острог, укрепил его деревом и валом. Казаки, по своему обычаю, стали

копать норы и подземные ходы. Отсюда Болотников рассеял грамоты по Москве и по разным городам, возбуждал бедных и меньших против сильных, знатных и богатых. «Вы все (было им сказано) боярские холопы побивайте своих бояр, берите себе их жен и все достояние их — поместья и вотчины! Вы будете людьми знатными; и вы, которых называли шпынями и безыменными, убивайте гостей и торговых богатых людей, делите между собой их животы! Вы были последние — теперь получите боярства, окольничества, воеводства![499] Целуйте все крест законному государю Димитрию Ивановичу!»

Москвичи послали Болотникову выборных. «Вся Москва, — говорили они, — хочет, чтобы ты показал нам Димитрия. Если в самом деле он жив, — все придут к нему, упадут ему в ноги и поцелуют крест служить ему и прямить во всем».

— Я сам видел его в Польше, — говорил Болотников, — своими глазами; он жив и меня послал и назначил сам своим воеводою. И вы его скоро увидите!

— А может быть, это другой? — сказали москвитяне. — Того, кто выдавал себя за Димитрия,

---

[499] Сноски: 499
А. Э., II, 123.

убили в Москве[500].

С тем ушли москвичи. Болотников отправил посланца в Путивль к Шаховскому и писал ему: «Посылай, князь, скорее в Польшу, — пусть царь Димитрий едет скорее! Я с москвичами держал переговоры: они обещали поклониться ему, если он приедет и все узнают, что он тот самый, что был прежде. Не нужно ему войска, пусть едет сам-друг, — дело идет хорошо! Как только москвичи его увидят, тотчас же возьмут своих изменников за шею и отдадут ему»[501].

Желанный и действительно любимый многими, Димитрий не являлся. Болотникову скоро приходилось увидеть, что возбуждение меньших людей против больших было средство, годное только на малое время. Оно дало ему силу; оно же подорвало его дело. Дворяне и дети боярские в разных городах, не зная достоверно, что тот, кого считали Димитрием, более не существует, восстали при его имени и готовы были идти за него, потому что он к ним был щедр и милостив, потому что надеялись наград за услуги, а теперь его именем поднимают против них слуг, крестьян

---

[500] Сноски: 500
Petricii, 209.

[501] Сноски: 501
Petr., 209. — Buss.

и холопей. Им приходилось теперь охранять свое достояние, свои семьи и свою жизнь. Во многих городах целовали крест Димитрию и тотчас же начали каяться, когда к ним врывались шайки беглых всякого рода и стали насиловать женщин, расхищать имущества. Современники говорят, что они не уважали даже святыни церквей, расхищали церковную утварь, обдирали образа, оскверняли Божии храмы. Это известие правдоподобно. Тогда на Руси, несмотря на видимое официальное благочестие, было много таких, которых только по имени можно было назвать христианами. Они не знали ничего в деле веры, не ходили и в церковь. Да в полчищах, восставших за Димитрия, было много и нехристиан — мугамедан и язычников. Эти явления должны были внезапно охолодить ревность к Димитрию, охватившую разом почти всю Русь, и возбуждать охоту держаться Шуйского. Москва более других городов имела тогда поводов не поддаваться Болотникову. В Москве жили бояре, окольничьи, дьяки, знатные люди, которых Болотников грозил перебить или обратить в простолюдинов, а на место их возвести безыменных людей; в Москве жили зажиточные торговцы и промышленники, которых дворы, лавки, деньги — все это заранее

отдавалось в дележ неимущим, и все это делалось именем Димитрия, и все это не похоже было на Димитрия, которого знали как покровителя промыслов, торговли, зажиточности и роскоши.

Тут еще пособило Шуйскому и то, что шайки мятежников пошли на Тверь. Тверской архиепископ воодушевил дворян и детей боярских, представил им, что на них наступают хищники; и те, вместе с посадскими людьми, также дорожившими своим достоянием, отбили врагов.

В нестройных мужичьих мятежах всегда бывает так, что и малый успех привлекает к мятежу огромные массы и малая неудача отнимает у них дух. Пример Твери подействовал на пригороды, привыкшие, по преданию, следовать главному городу земли. Зубцов, Ржев отпали от Димитрия. В Ржевском уезде составилось ополчение из детей боярских, у них начальником был Колычев. Смоленск удерживал в повиновении Шуйскому князь Куракин, — смоленские дворяне и дети боярские ополчились, чтоб идти на выручку Москве. Примеру их последовали пригороды той же земли: Дорогобуж, Вязьма, Серпейск, попробовавшие, что значит крестное целование Димитрию. Можайск, прежде поднявшись за Димитрия, опять ударил челом Шуйскому. Двинская земля, Волог-

да, Ярославль, где вообще торговля избрала себе путь и где через то развилось благосостояние, не поддались увещаниям Болотникова и отправили стрельцов для защиты Москвы против Болотникова. Когда пронеслась весть, что Димитрий жив, вся русская земля готова была встретить Димитрия и выдать ему на казнь нового царя. Но когда, с одной стороны, царь не показывался и начиналось сомнение в том, что он спасен, а с другой стороны, именем Димитрия поставлено было кровавое знамя переворота русской земли вверх дном, то большая часть отступила назад и готова была лучше сносить власть Шуйского, лишь бы сохранить достояние и порядок жизни.

В самом полчище Болотникова сделалось раздвоение. На одной стороне стояли дворяне и дети боярские, на другой — холопы, казаки, беглые крестьяне — вообще самые мелкие безыменные люди. У последних главою был Болотников, начальниками первых были Истома Пашков и братья Ляпуновы. Между Истомою и Болотниковым возникло личное соперничество. Истома твердил, что он избран был прежде воеводою, чем Болотников; хвалился притом, что он был дворянин, а Болотников холопского происхождения. Болотников с гордостью говорил, что его

сам Димитрий сделал своим военачальником и он, как назначенный лично от царя, имеет над всеми первенство. Болотников хотел власть Димитрия утвердить на одном черном народе. Истома и Ляпуновы, напротив, хотели Димитрия такого, каким знали его на царстве. Вообще дворяне, находившиеся в подмосковном полчище во имя Димитрия, поставлены были в противоречие с тем оборотом, какой приняло дело. В начале честолюбие их щекотала вражда к тем, которые были их сильнее, — зависть к боярам, окольничим, вообще к вельможам; им хотелось низложить вельмож и заменить собою их первенство в земле Русской. Но теперь они увидали, что восстание Болотникова поражает их самих… что холопы и беглые крестьяне хотели быть выше дворян и детей боярских, как последним хотелось стать выше бояр… Невозможно же было им служить такому делу, которое клонилось к их общему унижению и разорению!

Братья Ляпуновы и воевода Григорий Сумбулов приехали в Москву и поклонились Шуйскому. С ними приехала толпа дворян и детей боярских; за ними последовали стрельцы, которые в Коломне передались было Болотникову.

Шуйский не только простил их, еще и облас-

кал, а Прокопию Ляпунову дал звание думного дворянина. Шуйский заметил честолюбие и способности этого человека, понял, что им держится Рязанская земля, и думал привязать его к себе. Это, на будущее время, ему не удалось. Ляпуновы не терпели Шуйского и были, напротив, привержены к прежнему царю, но теперь пока скрепя сердце должны были, только ради сохранения порядка в земле русской и безопасности имуществ и жизни лиц своего звания, стоять на стороне Шуйского. По примеру Ляпуновых и рязанцев приходили из обоза Болотникова другие дворяне и дети боярские и просили позволить им идти на врагов в Коломенское. Шуйский не велел и не хотел начинать наступательной войны с Болотниковым, пока не подойдет поболее ратных сил в Москву. Пришли наконец ожидаемые ополчения дворян и детей боярских Смоленской, Ржевской и Тверской земель и стали на Девичьем поле. С часу на час ожидали двинскую рать.

Болотников увидал, что тогда как он занимается укреплением своего обоза в селе Коломенском, в Москву беспрепятственно проходят на службу Шуйскому ратные силы. Надобно было начать приступ. 26 ноября Болотников перешел через Москву-реку и направил свой главный напор на

Гонную, или Рогожскую, слободу и в то же время отправил по другой стороне Москвы-реки часть ополчения, чтоб не допускать прохода ратных из Смоленской земли. Истома Пашков стал в Красном селе, чтобы перервать сообщение с Ярославлем и не допустить оттуда ратных людей к Москве[502].

Так распоряжались в воровском обозе, когда в Москве собирался поход на воров.

В этот же день в Архангельском соборе патриарх Гермоген с освященным собором отслужил молебен пред гробом Димитрия. Ратные люди были собраны на Красную площадь. После молебна вынесли из Кремля с пением и колокольным звоном покров, которым были покрыты мощи царевича Димитрия. Духовенство окропляло ратных людей св. водою. Затрубили тревогу. Двинулись на бой. Покров, от которого ожидали чудотворной помощи, понесли вперед к Калужским воротам. Царь на своем боевом коне поехал вслед. У Серпуховских ворот стояли молодой Михайло Васильевич Скопин-Шуйский с князьями Андреем Голицыным и Татевым.

Рать Шуйского ударила на мятежников, отбила

---

[502] Сноски: 502
А. А. Э., II, 135.

их, нахватала пленных. Тогда Истома Пашков вдруг оставил свой пост и с четырьмястами стрельцами, в сопровождении товарищей своих — дворян и детей боярских, приехал в Москву и поклонился Шуйскому. Болотников прекратил нападение и ушел в свой стан[503].

Пашков своим переходом много пособил Шуйскому. Когда его окружили москвичи и стали расспрашивать, он объявил, что Болотников лжет:

— Димитрия никакого нет!

— Разве он не в Путивле? — спрашивали москвичи.

— Его там не бывало! Шаховской выдумал и рассказывает, будто он сам в Польше, а ему приказал приводить к присяге людей Московского государства. Никто не видал его и никто не знает, чтоб он спасся![504]

Это известие так подействовало на москвичей, что они стали теснее приставать к Шуйскому; Димитриево имя их более не соблазняло, а идти за Болотникова готовы были только одни бездомные бродяги да беспокойные холопы.

---

[503] Сноски: 503
Ник. лет., 83. — Врем., XVI, 60. — Petr., 208.

[504] Сноски: 504
Petreji, 208.

Шуйский принял очень милостиво Истому и расчел, что лучше прекратить смуту милостью. Он послал к Болотникову — увещевал сдаться и обещал ему важный чин за это.

Болотников отвечал: «Я целовал крест своему государю Димитрию Ивановичу положить за него живот. И не нарушу целования, не уподоблюсь изменнику и клятвопреступнику Истоме. Верно буду служить государю моему и скоро вас проведаю»[505].

После этого отказа Михайло Скопин-Шуйский с князем Иваном Шуйским, стоявшие в Даниловском монастыре, за Серпуховскими воротами, 2 декабря пошли в Коломенское. Они рассчитывали, что хотя Болотников похваляется, но силы его значительно уменьшились после отделения дворян и детей боярских, и, кроме казаков, у него мало людей опытных — все войско его состояло из холопей и крестьян, вооруженных чем ни попало. Болотников вышел против царских воевод при урочище Котлы[506], не выдержал напора, ушел в Коломенское и заперся в остроге, надеясь на твердость этого острога. Там его воеводы оса-

---

[505] Сноски: 505
Petreji, 209.

[506] Сноски: 506
Рукоп. Филар., 11.

дили. Они стреляли из пушек три дня и не могли разметать острога, который был обсыпан землею по казацкому обычаю. Мятежники заползли в земляные норы и укрывались там от ядер, а огненные ядра утушали сырыми воловьими кожами. Наконец воеводы, узнавши их хитрости, сделали огненные ядра с «некоею мудростию», говорит летописец[507], так что угасить их было невозможно, — и пожар распространился внутри острога. Тогда Болотников со своим полчищем выскочил из острога и пустился бежать по серпуховской дороге. Ратные люди погнались за ним, поражали бегущих и хватали пленных, кидавших оружие. Казаки заперлись в деревне Заборье и сделали, по своему обычаю, укрепление из тройного ряда саней, тесно связанных и облитых водою. Скопин-Шуйский нашел, что нельзя далее преследовать Болотникова и оставить позади себя неприятеля в укреплении, из которого он мог сделать на него вылазку сзади. Он осадил заборский табор. Казацкий атаман Димитрий Беззубцев предложил сдаться, если казаков не станут убивать и примут в службу. Скопин дал слово. Беззубцев вышел и положил оружие. Скопин привел его в Москву с

[507] Сноски: 507
Врем., XVI, 61.

казаками. За Скопиным гнали туда такое множество пленных, что по тюрьмам в Москве не стало для них помещения. Их помещали по палатам каменным[508]; и там стало тесно.

Царь простил казаков, сдавшихся в Заборье, принял их в службу и приказал разместить по дворам, а всех тех, которые взяты были в плен во время бегства или в бою под Москвою, велел утопить (посадить в воду[509]); иных посадили на кол. Михайло Скопин-Шуйский, еще очень молодой, получил сан боярина.

В тот же сан был возведен и Колычев, начальник Ржевского ополчения. Большая была радость царю от этой победы: по государству в верные города послана была грамота; везде — благодарственные молебствия, колокольный звон, а царь в Москве праздновал свое новоселье: он построил себе новый дворец, освятил его и учредил по обычаю пир боярам; к нему приходили с поздравлениями и подносили подарки. Бывший деревянный дворец Димитрия еще не был сломан и стоял пустой: никто не решился бы жить

---

[508] Сноски: 508

То есть строениям, назначенным для хранения пожитков, преимущественно у купцов на дворах для хранения товаров.

[509] Сноски: 509

Ник., 83. — Времен., XVI, 61. — Рук. Филар., 41. — А. А. Э., II, 135.

в нем.

Болотников прибежал в Серпухов, собрал тамошних жителей, которые пристали прежде на его сторону, и спрашивал: «Станет ли у вас запасов, когда я останусь у вас и будем отсиживаться?»

— Нам самим есть нечего! — отвечали серпуховцы[510].

Тогда Болотников отправился дальше и остановился в Калуге. Калужане, во имя Димитрия, приняли его и взялись отсиживаться от Шуйского.

Шуйскому предстояло два способа вести войну против Болотникова и уничтожить его: или сосредоточить все силы войска у Калуги, где засел предводитель восстания, или разделить войска на отряды и рассылать по разным местам, где противились царской власти и ожидали Димитрия, и, таким образом, усмирить восстание по частям. Шуйский выбрал последнее, вероятно, полагая, что партия Болотникова слаба. Он отправил за Болотниковым свежую ратную силу под Калугу со своим братом Иваном. За ними вслед поехали туда с новыми силами князь Мстиславский,

---

[510] Сноски: 510
Bussow, 72.

князь Михайло Скопин-Шуйский, Иван Никитич Романов, князь Данило Мезецкий, Борис Петрович Татев и другие воеводы[511]. Затем отряды пошли для усмирения украинных городов. Полагали, что эти воеводы один за другим поберут украинные города.

Между тем по-прежнему Шуйский продолжал действовать на народ нравственными мерами. Победа над Болотниковым была оглашена по всей России как дело великое, как явление Божией благодати. После 26 ноября разосланы были грамоты к владыкам с известием о погроме и бегстве Болотникова. Архиереи приказывали местным духовным начальствам созывать людей всех состояний, прочитывать в церквах грамоту и служить молебны со звоном. Божию благодать приписывали заступничеству святых, между прочим местных того края, куда посылался экземпляр грамоты, и особенно силе новоявленного чудотворца Димитрия-царевича. В грамоте поручалось народу блюстись от воров и, где б они ни появлялись, тотчас же ловить и доставлять к приказным людям. Такие же грамоты отсыла-

[511] Сноски: 511
Хроногр. Арх. Комис.

лись по всей Руси в монастыри[512].

Шуйский нашел полезным для себя примирить народ с памятью Бориса и с патриархом Иовом, связать тем самым свое царствование с прежней историей до расстриги и возбудить еще более вражды и омерзения к расстриге. Еще перед пришествием Болотникова царь Василий приказал отрыть тело Бориса, его жены и сына в Варсонофьевском монастыре. Двадцать монахов несли тело Бориса, посвященного перед смертью в монашество, и двадцать бояр и думных лиц знатного звания несли гробы царицы Марьи и Федора. Их понесли к Троицким воротам. Множество монахов и священников в черных ризах провожали их с надгробным пением. За ними ехала в закрытых санях Ксения. Народ слышал ее причитанья и проклятие убийцам. «Горько мне, безродной сироте! — вопила она. — Злодей вор, что назывался ложно Димитрием, погубил моего батюшку, мою сердечную матушку, моего милого братца — весь мой род заел! И сам пропал, и при животе своем и по смерти наделал беды всей земле нашей Русской! Господи, осуди его судом

---

[512] Сноски: 512
А. А. Э., II, 136.

праведным!»[513] Их тела похоронили в притворе у Троицы, близ Успенской церкви.

В феврале 1607 года царь придумал новую церемонию в том же роде. По совету его патриархом Гермогеном посланы к отставленному патриарху Крутицкий Пафнутий с духовными лицами — приглашать Иова в Москву, чтобы там снять с московских людей тяготевшее на них бремя клятвопреступления. Для бывшего патриарха послана была из царской конюшни царская каптана, обитая внутри соболями, в восемь лошадей.

14 февраля приехал Иов в Москву. 16-го составили грамоту и оповестили всем жителям столицы, чтоб 20 февраля, в пятницу, все гости, торговые и посадские люди, мастеровые, служилые и все вообще явились в Кремль, в Успенский собор. Поместиться всем было невозможно в соборе, и большинству приходилось наполнять Кремль. Составили челобитную от гостей и торговых людей, какую следовало подать в церкви патриарху.

В назначенный день при многочисленном стечении народа бывший патриарх вошел в соборную церковь, приложился к образам и стал у

---

[513] Сноски: 513
Bussow, 69.

патриаршего места. Новый патриарх Гермоген отправлял богослужение. Потом выборные для подачи челобитной подошли к патриарху. Один проговорил ото всех речь и просил прочитать ясно и внушительно.

Патриарх Гермоген приказал прочитать челобитную с амвона архидиакону Олимпию. В ней московские люди сознавались в своем преступлении: что, присягнув Борису и Федору, они приняли на государство Московское вора Отрепьева и за это остались связанными от святого патриарха. Было сказано: «Не только живущие во граде сем, но и живущие во всех градех страны сей просят разрешения и прощения, — как живым от мала до велика, так и тем, которые уже отошли от мира сего прежде...» По прочтении этой челобитной прочитана была прощальная и разрешительная грамота от бывшего патриарха. Припоминая прошедшие события, патриарх теперь объявил, что настоящий Димитрий убит в Угличе; но не смел назвать убийцу, потому что прежде называл этого убийцу законным царем. Он разрешал и в сем веке, и в будущем весь народ от клятвопреступления Борису и его детям и, со своей стороны, просил у всех прощения за свое заклинание.

Таким образом, было видно и понятно, что прежде бывший патриарх признавал пред всем народом законность вступления на престол Василия по родовому праву[514]. Окончив обряд, патриарх уехал к Троице и там скоро скончался.

Так, всеми средствами Шуйский старался утвердить власть свою, основанную не на избрании страны, а на криках подученной толпы. Шуйский сам себе противоречил: он объявил Бориса убийцею Димитрия и, следовательно, незаконным подыскателем престола, на который он не мог взойти, если б Димитрий был жив. Мощи Димитрия творили чудеса в обличение злодеяния Борисова, — один и тот же Шуйский оказывает всенародную честь праху убийцы Димитрия и призывает бывшего патриарха разрешить народу тягость народного преступления; а это тяжелое преступление — неверность Борису, тогда как Борис, будучи объявлен злодеем-убийцею святого младенца, не мог в глазах народа быть лицом, которому надобно было сохранить верность. Так обстоятельства запутывали Шуйского. Он, как говорится, словно утопающий за соломинку, хватался за все, лишь бы удержаться. Нравственного

---

[514] Сноски: 514
А. А. Э., II., 148–160.

успеха было для него мало от всего этого!

Шуйский держался на престоле более всего страхом всеобщего разорения, которое грозило от восставших шаек черни, и отсутствием такого лица, к которому бы могло устремиться народное желание в это Смутное время.

VI. Пример украинных городов. – Осада Болотникова в Калуге. – Явление царевича Петра. – Поражение царского войска под Калугою. – Болотников и царевич Петр в Туле

Расчет царя на упадок сил Болотникова был не совсем верен. На юге, в краю, который тогда носил общее название украинных городов, был другой дух, чем в Москве и собственно в московской земле, или Московщине. Уже давно московские государи старались утвердить полное единство земли и слитие всех народных местных интересов под властию и нравственным первенством Москвы, так чтобы вся Русь не думала и не чувствовала иначе от Москвы. Но стихия древней раздельности искала себе исхода и находила в южных областях. Чем да-

лее русская жизнь шагала на юг от Москвы, тем более ослабевало в народном сознании слитие частей Руси, тем народ был вольнее и своеобразнее, тем более было местных особенностей и стремлений не подчиняться Москве. Полное явление этого свободного, противодействующего московским государственным интересам начала было в казачестве. Но казачество не отделялось от русских земель непереходимою границею. Если не по определенным формам, то по духу оно было, так сказать, в чересполосном владении с государством. Земля Северская, земля, преимущественно называемая Украиною (т. е. земля нынешних губерний — Орловской, Воронежской, Калужской, Тульской), и земля Рязанская — заключали в себе много казацкого, противного тому, чего хотела государственная власть. Оттого Иов в своей грамоте и назвал Северскую украину «прежде погибшею (давно погибшею) землею». В украинных городах было убежище всего, что не уживалось в центре России и в старых ее областях. Туда укрывались беглые холопи и крестьяне, недовольные произволом помещика, приказчика или мира, не хотевшие платить поборов посадские, не желавшие служить дети боярские; туда ускользали сделавшие преступ-

ление и ожидавшие казни; самые служилые люди посылались туда в виде наказания. Земли для жителей было вдоволь — за собственность полей не приходилось спорить. Отдаленность от столицы и вследствие этого недостаток надзора давали тамошнему населению более свободы. Неожиданные набеги крымских татар заставляли жителей вообще держаться на военной ноге, приучали к оружию, развивали дух удальства и наездничества. Необеспеченность жизни мешала строгой оседлости и гражданскому порядку. Там было приволье, раздолье! Там была игра опасностей, охота к приключениям, — там все необычайное, как, например, чудесное спасение царя, находило и веру, и сочувствие. Сказка была под стать раздольному житью-бытью украинных земель, жизнь строгая являлась там в виде гнета. Там кипели побуждения не ужившихся под государственным строем, искавших другого строя жизни, и потому так легко приставали украинцы к новому знамени, когда оно поднималось против Москвы. Для многих же стать под это знамя было приманчиво, потому что они видели тут возможность добычи, — и хотелось им пожить славно, хотя бы коротко, на счет старой Руси, разделить ее богатства и корысти. Под боком

украинных городов с одной стороны было донское, с другой — днепровское казачество. И то и другое по первому свисту готово было двинуться к северу и стать заодно с украинными городами, чтоб начать смуту.

От этих причин воеводы, посланные на украинные города, встречали везде сопротивление и были отбиты. Воеводы под Калугою также плохо успевали. Пытались они зажечь острог, где сидел Болотников. Для этого рубили лес и делали деревянную гору, которую хотели класть так, чтобы она становилась все ближе и ближе к острогу, потом воспользоваться погодою, когда ветер будет дуть на Калугу, и зажечь. Но Болотников не допустил этой деревянной горе подойти под стены своего острога — выскочил и сам сжег деревянную гору тогда, когда она еще была далеко от острога. Приступы ратных царских сил не удались; на них люди были побиты и поранены, а города все-таки не взяли[515]. Болотникову приходилось выносить долгую и тяжелую осаду. Шаховской послал было на выручку ему отряд под начальством князя Мосальского, но царские бояре предупредили его и выслали из

[515] Сноски: 515
Ник., 84.

обоза Ивана Никитича Романова с Мезецким. Эти воеводы напали на воров при реке Вырке. Была сечь кровавая. День и ночь бились. Мосальский пал в битве. Большая часть его людей погибла, а остальные в отчаянии, чтоб не достаться победителям, сели на бочки с порохом, зажгли их и взлетели на воздух[516].

Воеводы, осаждавшие Калугу, обрадовались этому успеху и думали, что Болотников теперь, лишившись подмоги, упадет духом. Известили его о поражении Мосальского и предложили просить милости. Болотников посмеялся над ними. В Калуге еще не истощился запас и хлеба, и меду, и пшена, и пороху, и свинца; а казаки были воины храбрые и терпеливые… Осада продолжалась целую зиму и походила на осаду Кром. Царские войска расположились станом: пьянствовали, играли в зернь; в стане набилось много веселых женщин; часто ратные люди были оплошны и терпели за то. Не раз из Калуги Болотников неожиданно выскакивал и причинял опустошения: казаков убьют человека три-четыре, а московских ратных людей, захваченных врасплох, человек пятьдесят. Воеводы, когда

---

[516] Сноски: 516
Ник., 85.

им надоела осада, предпринимали приступы, и всегда дело оканчивалось большою потерею людей и лошадей. Осада продолжалась до самой весны. Царю было видно, что не представлялось возможности взять Болотникова в Калуге, а в других местах дела шли тоже неудачно — мятеж прибывал и усиливался…

Тут явился к услугам Шуйского один немец, живший в Москве; имя его было Фридрих Фидлер. Был он родом из Кенигсберга, занимался аптекарским делом. Он велел передать Шуйскому, что берется освободить русскую землю от Болотникова.

— Я знаю яды, — говорил он Шуйскому, когда его призвали. — Я передамся Болотникову и изведу его! Я покажу свое раденье к тебе, государь, и государству Московскому.

— Если ты верно сослужишь мне эту службу, я дам тебе поместья и много денег! — сказал ему царь. — Только ты мне теперь присягнешь, что не учинишь измены.

Фидлер произнес такую присягу: «Во имя всехвальной Троицы, клянусь отравить ядом врага государства и всей русской земли Ивана Болотникова. Если ж я этого не сделаю, если, ради корысти, я обману государя, то не будет мне части

в Царствии Небесном, и подвиг Господа Христа, Сына Божия, пребудет на мне тощ, и сила Духа Святого да отступится от меня, и не почиет на мне утешение Его! Святые ангелы, хранители христианских душ, да не помогают мне, — и все естество, созданное на пользу человека, да будет мне во вред! Пусть тогда всякое зелье и всякая еда станет мне отравою! Пусть земля живым поглотит меня и дьявол овладеет душою и телом, и буду мучиться вовеки! И если я обману своего государя, не учиню так, как обещал, и не погублю отравою Болотникова да пойду к исповеди и священник меня разрешит от этих клятв, то священническое разрешение не должно иметь силы!»

Клятва эта до того была страшною, говорит современник, — что волосы дыбом поднимались у тех, кто слышал ее. Шуйский поверил Фидлеру, дал 1000 рублей и коня. Задаток был велик, обещаний дали ему гораздо больше!

Фидлер отправился в Калугу, передался Болотникову и сказал: «Шуйский послал меня отравить тебя, но у меня нет того в мыслях. Вот яд — делай с ним что хочешь!»

Болотников оставил его у себя. Неизвестно, что Фидлера побудило так поступать. Всего вероятнее, что, явившись в Калугу, он не избежал на себя

подозрения и, чтоб выпутаться из него, решился открыть замысел Шуйского, чтобы самого себя спасти от мести Болотникова. Когда в Москве об этом узнали — стали колоть глаза всем немцам этим поступком.

— Вот какова честность немецкая! — говорили москвичи.

К концу зимы, однако, запасы у мятежников истощились, сообщение было прервано и в Калуге начинался недостаток. Но холопы и казаки, составляющие ратную силу, довольствовались малым и уже, за недостатком говядины и хлеба, ели лошадей, но могли еще подержаться. Хуже всякой осады Болотникова тяготило то, что Димитрия, которого он ждал, не было. Напрасно Шаховской писал к Молчанову, чтоб Димитрий скорее ехал в Москву. Сам Молчанов порисовался немного в звании Димитрия, поманил этим и подурачил жену Мнишека, хотевшую какого бы то ни было мщения за мужа и дочь. Молчанов набрал денег, что ему жертвовали для предприятия, да потом рассудил, что гораздо благоразумнее удалиться от треволнений и опасностей, и перестал называться Димитрием — остался пока в Польше до поры до времени зажиточным господином. Надобно было отыскать другого

Димитрия… А между тем Шаховской нашел, что, пока не явится Димитрий, смуту в Московском государстве может поддерживать Петр.

Еще в последних месяцах царствования названого Димитрия на прибрежьях Каспийского моря терские и волжские казаки стали досадовать и завидовать донским, что те, послужив Димитрию, пользовались от него выгодами. Эти казаки были пешие, проводили большую часть жизни на лодках, а в рядах их были беглые холопи и разные бездомные и безыменные люди, которым судьба не давала счастья и удачи на Руси. Терские казаки стали думать, как бы им поживиться: громить ли турецкие суда на Куре, идти ли служить шаху казильбашскому. Они между прочим так говорили в своем кругу: «Государь-то и хотел бы нас пожаловать, да лихие бояре переводят жалованье, а нам его не дают». Тут выбралось из них человек триста что ни есть отважных; у них головой был атаман Федор; с ним они пустились на казачье воровское умышление. «Вот что, братцы, — стали говорить они, — как бы кто да назвался царевичем Петром! Будто был сын у царя Федора, вместо дочери, и будто сына подменили дочерью; что назвали дочерью — та умерла, а настоящий сын, царевич, здравствует. То-то

мы бы много шуму наделали по Волге и добычи получили!» Такая мысль пришла им в голову после того, как Борис распустил слух, что идущий на него под именем Димитрия есть обманщик, назвавший себя ложно Димитрием. Казаки, быть может, сами не додумались бы до этого, если б им не подали примера.

Оказалось у них двое, годящихся на такое дело: одного звали Илейкою, другого — Митькою. Митька был сын астраханского стрельца. «Я, — сказал Митька, — на Москве никогда не бывал и никого там не знаю. Я родился и жил все в Астрахани».

— А я, — сказал Илейка, — в Москве бывал; как жил в Нижнем, так ездил в Москву и прожил там с Рождества до Петрова дни у подьячего Дементия Тимофеева, у Св. Володимира-в-Садах.

— Ну так тебе же быть Петром! — воскликнули казаки. Илейка стал Петром.

Этот Илейка (как он сам потом рассказывал свою биографию) был родом из Мурома. Жил там торговый человек, звали его Тихоном; у него была жена Ульяна. Она покинула мужа и жила с посадским человеком Иваном Коровиным, и от такого беззаконного сожительства родился сын Илейка. Когда отец его умер, мать, по завещанию умершего, постриглась в Воскресенском

муромском монастыре и там скоро умерла. Илейка остался без приюта, без роду, без племени. Он начал ходить по наймам. Сначала взял его к себе нижегородский человек; жил он у него в сидельцах, продавал яблоки и горшки. Тут он и в Москву ездил, как показывал. И так, в звании сидельца, прожил он года три. Но не полюбилась эта жизнь Илейке, — он пошел служить в кормовых казаках на судах и плавал по Волге от Нижнего до Астрахани. В этом звании он пробыл также года три и служил у разных хозяев. Из Нижнего отправится на судне в Астрахань, там зазимует и кормится мелкою торговлею: накупит по коже да по холсту у торгового человека и идет на татарский базар, продаст это — перепадет ему денег пять либо шесть — тем и кормится. Придет весна — Илейка пристанет к какому-нибудь купцу, доплывет до Казани — тут поживет; потом опять с кем-нибудь плывет на судне либо в Нижний, либо в Астрахань. Кормовые казаки получали содержание от хозяина и работали то, что прикажет хозяин. Илейка занимался по части стряпни. Судьба заносила его в хлыновскую Вятку, и там жил он полтора года, а потом он очутился на поволожском низовье снова. Илейка многого насмотрелся, многого натерпелся. Жи-

тье бурлацкое ему надоело. Он пошел в военное звание. Тогда бывало: если служащий стрелец заболеет или просто не захочет идти в поход, то нанимает вместо себя кого-нибудь. В Казани Илейка нанялся вместо племянника стрелецкого пятидесятника и ходил в поход в Тарки, против Шамхала, а потом воротился в Астрахань. Житье военное ему полюбилось. Но хотелось ему вести его повольнее; он пристал к вольным казакам и подружился с казаками Нагибою да Наметкою, вошел чрез них в казацкий круг и, как сказано выше, поступил в царевичи[517].

Выдумка трехсот молодцов понравилась всему терскому казачеству. Как только разнесся слух, что явился Петр, так и нахлынуло к нему казаков четыре тысячи. Терский воевода Петр Головин узнал, что у казаков затевается что-то недоброе, потребовал их на сбор в Терк. Они его не послушали и поплыли кверху по Волге. Царствовавшему в Москве названому Димитрию дали знать об этом. Он послал к казакам Третьяка-Юрлова с грамотою и приглашал называющего себя Петром ехать в Москву, если он в самом деле царевич; а если он чувствует за собой, что он не царевич, то пусть

[517] Сноски: 517
А. А. Э., II, 174.

лучше удалится скорее из пределов Русского государства[518].

Царевич поплыл далее вверх по Волге и давал знать, что едет к своему дядюшке-царю. Конечно, он едва ли считал возможным явиться в Москву; там бы его подвергнули испытанию — точно ли он Петр. А так как ему доказать этого нельзя было, то дело кончилось бы тем, что его бы там повесили. Казакам хотелось попользоваться именем царевича, чтоб удобнее наделать смуты по Волге и пограбить суда и города. Так доплыли они до Свияжска и поднимались вверх. У Вязовых гор стрелецкий голова из Кокшайска сказал им, что «расстригу» убили; они поворотили назад. Доплывая до Казани, они смекнули, что воеводы не пропустят их назад: в Казани был воеводой Василий Петрович Морозов, а «в других» (т. е. товарищах) у него был только что сосланный туда Богдан Бельский. Казаки послали в Казань Третьяка Юрлова с сорока товарищами известить, что они согласны выдать вора, который называется царевичем Петром, — приведут и отдадут его сами; посланные целовали крест на том за своих товарищей. Бояре им поверили и не радели

---

[518] Сноски: 518
Марж., 91.

о карауле на Волге. Этим воспользовались казаки и проехали на низ, держась берега нагорной стороны; плывя далее на низ по Волге, они ограбили несколько промышленных судов, грабили волжские городки, а у Царицына ограбили и убили посла, отправленного Шуйским к шаху Аббасу; убили тут же и воеводу Акинфиева[519]. Погуляв по Волге, они переправились обычным путем сообщения Волги с Доном — по Камышенке, оттуда переволоклись на реку Илавлю, впадающую в Дон, а потом поплыли по Дону.

До них доходили вести о волнениях на юге Московского государства; они услышали, что казаки, их братья, уже отправились помогать новому Димитрию. И Петр со своими отправился в ту же сторону искать счастья. От Монастырища он поплыл по Донцу. Тут явился к нему посланец Шаховского, Горяйно, из Путивля и говорил: «Иди, царевич Петр, воевать за царя Димитрия и за себя против похитителя престола Шуйского!» Петру был на руку такой зазыв; ему и прежде хотелось, чтоб его позвали; и он продолжал плыть вверх по Донцу на стругах. Казаки напали на Царев-Борисов, который еще

[519] Сноски: 519
Никон., 80.

не поддавался тени Димитрия. Его защищали воеводы Михайло Богданович Сабуров и князь Юрий Приимков-Ростовский. Казаки взяли город и воевод полонили. Отсюда они поплыли по реке Осколу, взяли в остроге Оскола воеводу Матвея Бутурлина, переволоклись на Сейм и достигли Путивля. Здесь Петр показал свою царскую грозу. В Путивле уже сидело несколько пленных воевод и дворян под караулом. Царевич приказал их всех побить. Казаки и холопи затевали над ними всякие потехи: одних бросали в ров со стены, других с башен; а на кого из них были особенно злы — тех распинали по стенам, прибивали руки и ноги гвоздями, а потом расстреливали из пищалей. Так погиб, между прочим, князь Бахтеяров, которого Шаховской, сменивши своею особою, не отпустил. Убивши его, Петр царевич взял дочь его к себе «на позор, на постелю»[520]. После такой расправы Петр объявил, что идет за холопов и меньших людей против больших и лучших.

Болотников был сострадательнее и умереннее, чем царевич казацкого произведения. Болотников хоть и был холоп по рождению, но в малолетстве увезен из России; он свое горе и

---

[520] Сноски: 520
Никон., 80.

унижение перенес на чужой стороне, и потому у него злоба к высшим и большим людям была слабее, чем у Петра, который вырос и жил в нужде, мыкал горе на русской земле и теперь имел возможность на других выливать горечь сердца, разъедаемого тяжелыми воспоминаниями. Петр был самый последний человек, каким считался на Руси незаконнорожденный сын. Теперь этот по рождению последний назывался по рождению первым и упивался призрачным величием своей роли, заглушая сознание о том, чем он был на самом деле[521].

Впрочем, он мог своевольствовать, насколько ему позволял Шаховской. Последний с ним обращался как с царевичем только оттого, что ему нужна была какая бы то ни было фигура с царственным призраком, лишь бы тянуть смуту и погубить Шуйского. Шаховской не обещал Петру престола, потому что, как уверял, был жив коро-

[521] Сноски: 521

Не все современники признают Петра-царевича незаконным сыном. Есть известие в хронографах, что он был родом муромец, сын сапожника и служил в стрельцах. Другое известие, также в хронографах, называет его уроженцем Звенигорода; звали его Петрушка, ремеслом он был гончар, и назывался он сыном не Федора, а Ивана Ивановича. В последнем известии ошибкою отнесена к этому Петру биография другого самозванца, явившегося позже и действительно называвшегося сыном царевича Ивана Ивановича. Мы признаем достовернее известие, основанное на собственном его показании, снятом после того, как он был взят Шуйским.

нованный царь Димитрий, его дядя, а Шаховской сделал его только пособником и наместником Димитрия. Тогда о Петре Федоровиче, царевиче, сочинили и распустили такую историю: жена царя Федора Ивановича боялась брата своего, Бориса, который уже метил на царство. Пришлось ей родить. Она родила сына. Но, чтоб Борис не извел младенца, она подменила его девочкою, сказала, будто родила дочь, а сына отдала на воспитание Андрею Щелкалову и на попечение князя Мстиславского. Царевич рос у жены Щелкалова за ее собственного сына полтора года, а потом его отдали Федору (или Григорию) Васильевичу Годунову, который также знал тайну; у него он жил два года, потом его отдали в монастырь, недалеко от Владимира на Клязьме, к игумену, и тот научил ребенка грамоте. Когда он грамоту узнал, игумен написал Григорию Васильевичу Годунову, считая ребенка его сыном, но того уже не было в живых, а родные его сказали: «У племянника (т. е. родича) нашего не было сына; не знаем, откуда взялся этот мальчик». И обратились они к Борису, а тот написал к игумену, чтобы прислать мальчика к нему. И мальчика повезли к Борису. Но царевич догадался, что ему грозит что-то недоброе, убежал с дороги, прибе-

жал к князю Барятинскому и скрывался у него, а потом убежал к донским казакам, где и объявил про себя[522].

Явление Петра поддержало восстание, а иначе оно должно было угаснуть, когда не являлся Димитрий. Новое лицо царского достоинства, чудесно спасшееся, не давало успокоиться взволнованному народному воображению. Пришедшие с названым царевичем Петром казаки составляли для смуты военную силу более крепкую, чем толпы крестьян и холопей. Вдобавок, на радость Шаховскому, пришли служить еще не найденному Димитрию толпы запорожцев. Они почуяли, что в Московском государстве безурядица, и бежали туда искать себе рыцарской славы.

Шаховской отправил Петра в Тулу, а за ним двинулся и сам. Надобно было выручить из осады Болотникова и его также присоединить к себе в Туле. В начале мая Шаховской послал на войско, осаждавшее Калугу, отряд под начальством князя Андрея Телятевского. Московские воеводы, находившиеся под Калугою, узнали об этом от «языков» заблаговременно. Им пришлось выбирать что-нибудь из двух: либо дожидаться,

---

[522] Сноски: 522
Рукоп. Bibl. Krasinsk.

пока на них нападут под самою Калугою, либо не допускать Телятевского и выслать против него отряд. Они выбрали последнее — послали на Телятевского часть своего войска с князьями Борисом Татевым и Андреем Черкасским. Этот отряд встретил Телятевского на берегу реки Пчельни, стал биться и был разбит наголову. Оба князя — предводители царского отряда — пали в битве. Рать их прибежала в лагерь под Калугою 2 мая, и там сделалось великое смятение и расстройство. В это время воеводы опять задумали зажечь город. Повезли груды дров, соединенные вместе в сплошной дровяной вал; за ними двинулись туры, заслонявшие ратных людей. Уже один конец дровяного вала близился к городской стене… И вдруг под этим валом с громом и треском поднялась земля, и бревна, дрова, туры, лошади, люди разлетелись!.. На остальное войско напал неописанный страх: никто не ждал этого, никто не понимал, что это… Ратные бежали во все стороны; бросили пушки, возы; никто не успел даже схватить платья или ручного оружия. Оказалось после, что Болотников, узнавши заранее, что замышляют против него, устроил подземельный ход, подкатил туда пороху и зажег его в то время, как только деревянный вал стал на месте

подкопа. Воеводы также бежали без оглядки. Тогда выскочили осажденные, и начали, говорит современник[523], разбойники и богоотступники посекать без милости царское войско. Многие (в степенной книге говорится тысяч пятнадцать — число, без сомнения, преувеличенное) передались неприятелю. Даже немцы, обыкновенно честно исполнявшие договор, перешли тогда к Болотникову. Только Михайло Скопин-Шуйский и здесь показал себя, что не похож на других. Он со своим полком не бежал, а мужественно, в порядке отступил, отбиваясь от Болотникова. В рядах его войска был прежний сподвижник Болотникова, Истома Пашков. Теперь он, дворянин, грудью стоял за дворянское и царское дело. Говорили после, что в царском войске была измена: некоторые подумали, что если и впрямь Димитрий жив и возьмет верх, тогда можно перед ним через это выслужиться.

Болотников выступил из Калуги и соединился с Телятевским. Их полчище пришло в Тулу, а там были уже Петр и Шаховской.

---

[523] Сноски: 523
Хроногр. Арх. Ком.

VII. Сбор и поход царя на мятежников. – Осада Тулы. – Затопление. – Взятие Тулы. – Судьба мятежников. – Несколько названых царевичей

Поражение царского войска под Калугою сильно встревожило Москву. Ожидали, что полчище Болотникова, теперь усиленное казаками, снова подступит к столице. Царь стал думать думу с боярами — порешили, что следует идти на войну самому царю. Положили, сколько собрать со всего государства ратных по сохам. Судя по грамоте в Белозерский уезд, брали по шести человек с сохи — по три конных и по три пеших. Этих людей брали с посадов, со всех волостей, с дворцовых, с черносошных, патриарших, митрополичьих, владычних, монастырских и с имений светских владельцев, если эти владельцы сами не были на службе лично, именно с имений, принадлежавших вдовам, недорослям, приказным людям и бегавшим со службы. Воеводы должны были принимать даточных людей и выдавать им жалованье за два месяца вперед, по 2 рубля. Эти деньги собирались с тех же имений, которые доставляли

даточных людей. Ратные даточные люди должны быть не стары, не увечны, не замечены в дурном поведении, не зернщики и вооружены луками, пищалями, рогатинами и бердышами. После того как снаряжали даточных людей, их разделяли на десятки, пятидесятки; выбирали из посадских и волостных людей над ними пятидесятских и десятских. Их отправили в Серпухов, сборное место царского войска. С прибытия на это место считалась за ними служба, и они с этого времени получали жалованье; дорога от места их жительства до Серпухова не входила в расчет. Деньги, собираемые в посадах и уездах, следовало присылать в Москву с волостными старостами и целовальниками в те приказы, куда приписаны были по управлению земли, откуда высылались даточные люди[524]. Пока даточные сходились в Серпухов, 21 мая выступил из Москвы царь с тем войском, какое у него было в наличности. Москвою править остались брат царский Димитрий и князья Одоевский и Трубецкой.

Патриарх оповестил по всему Московскому государству об этом походе и указывал в грамоте, кто были изменники царя: это были тати и раз-

[524] Сноски: 524
А. А. Э., II, 170.

бойники — холопи боярские и казаки донские и волжские.

Московское государство разделилось на два лагеря: в одном были царь и все, кто считал себя лучшим по роду, по богатству и по значению; на время оставлены родословные счеты: бояре, дворяне и дети боярские, люди торговые стали как бы одним сословием. Теперь им угрожал враг, всем опасный в равной степени. В противоположном лагере было все безыменное, худое, обиженное обстоятельствами, владеемое и ничем не владевшее, битое и никого не смевшее побить, гнетомое законом и не находившее в законе для себя позволения гнуть других. Кроме немногих или действительно обманутых, или ловивших в мутной воде рыбу, людей лучших и даже середних тут не было.

Шуйский стоял более месяца в Серпухове, дожидаясь сбора войска, которое приходило отрядами из разных северных и восточных земель. Между тем на востоке война с мятежниками повелась лучше для Шуйского. Арзамас и Алатырь, признавши Димитрия, опять покорились царю Василию. Нижний Новгород был в осаде от сбродного полчища, состоявшего из русских крестьян и мордвы, которая увидела тогда случай отомстить

Московскому государству за свое давнее народное угнетение. Это полчище бежало, как только услышало, что воеводы (Григорий Пушкин и Сергей Ададуров) взяли Арзамас и Алатырь. Войско, составленное из дворян и детей боярских: из каширян, тулян, ярославцев, угличан и городов низовых, под начальством Хилкова и Глебова, взяло город Серебряные Пруды[525] и принудило там бывших мятежников поцеловать крест царю Василию. На другой день оно разбило воровскую шайку, которая шла на выручку этому городу, потом повернуло к Дедилову. Но, не чаявши, тут застали они большое скопище; пришлось с ним биться; их разбили воры. Воеводы убежали в Каширу. Тогда Шуйский на смену Хилкову назначил Андрея Васильевича Голицына. К нему присоединилось ополчение Рязанской земли с Прокопием Ляпуновым и Федором Булгаковым; главным воеводою над ним был князь Борис Лыков. Болотников послал против них передовой полк под начальством князя Телятевского. С ним были казаки: донские, терские, волжские и яицкие, да украинных городов — Путивля и Ельца — люди, тысяч до тридцати всего.

---

[525] Сноски: 525
Село Тульской губ. Веневского уезда, при реке Осетре.

На берегу речки Возьмы, в семнадцати верстах от Каширы, встретились оба войска в девятую пятницу после Пасхи. Бой продолжался, говорит хронограф[526], с первого часа дня до пятого. Вдруг, по известию одной современной летописи, князь Телятевский, с четырьмя тысячами, отстал от мятежников и присоединился к войску Шуйского. Это решило победу — мятежники бежали. Впрочем, известие это если не представляет совершенной невозможности, то, с другой стороны, противоречит русским летописным сказаниям, которые говорят, что Телятевский был взят в Туле. Во всяком случае, на берегах Возьмы царское войско одолело мятежников и гнало их на пространстве тридцати верст. Тогда тысяча семьсот молодцов-воров за речкою Возьмою засели в буераке и отстреливались. На них покусились напасть рязанцы, но воровские казаки не подпустили их близко к себе и меткими выстрелами перебили у них много людей и лошадей. Рязанцы отступили. Подоспели иные и бросились на воров-казаков; и тех отбили казаки от буераков. Прошла пятница, прочие царские люди гнали бегущих, а воры-казаки продолжали сидеть в своем

---

[526] Сноски: 526
Хроногр. Арх. Ком.

буераке. Бояре посылали сказать: «Добейте челом царю и великому князю Василию Ивановичу всея Руси, принесите свою вину, выйдите из буерака. Царь-государь милосерд — помилует вас и отдаст вам вины ваши». Воры-казаки отвечали: «Мы помрем здесь все, а не сдадимся». Бояре повторили свои убеждения, воры-казаки упрямились. Так прошла и суббота. В воскресенье бояре послали на них большую конную ратную силу. Подошедши к ним, конные сошли с лошадей и стали добывать воров. Те дружно отстреливались до тех пор, пока у них ставало пороху. Только после того, как нечем было им стрелять, оставшиеся в живых согласились сдаться. Но уж тут им не было милосердия. Всех истребили за то, что они побили государевых людей; оставлено было в живых только семь человек. Дворяне, нижегородцы и арзамасцы говорили: «Шел вор Петрушка с Терека Волгою; встретил он нас на Волге и хотел нас побить, а эти самые казаки не дали нас на смерть». По их просьбе пощадили этих семерых.

Весть об этом деле разнеслась по окольной стране — страх обдал мятежников; ободрилась партия Шуйского. Царь выступил из Серпухова. Алексин — город, до сих пор признававший Димитрия, сдался. Чтобы и другие города заохотить

принести повинную, царь не только простил алексинцев, а еще наделил их съестным[527]. С передовым отрядом шел Скопин-Шуйский и раньше целого войска стал подходить к Туле. Болотников выслал из города сильный отряд против него. За семь верст от города воры хотели не пропускать ратных через топкую и грязную речку Воронью — стали на ее берегу, огородились засекою из срубленного лесу. Был упорный и долгий бой. Скопин-Шуйский одолел. Раненые царские люди перешли речку в разных местах и погнали воров вплоть до Тулы. Много их легло, много было схвачено. Таким образом, гоняясь за ними, ратные царские люди бежали до самого города Тулы, и человек десять вслед за ворами сами сгоряча вскочили в городские ворота, — там их и побили[528]. Это происходило в десятую пятницу по Пасхе. Вслед за тем, 30 июня, пришло большое войско и сам царь с ним. Обложили Тулу. Говорят, что всего в войске с Шуйским было людей тысяч до ста. Начиная от крапивенской дороги по обеим сторонам растянулось вокруг

---

[527] Сноски: 527
Рук. Филар., 413.

[528] Сноски: 528
Хр. Археогр. Ком., 539.

Тулы главное войско[529].

На каширской дороге, на Чермной горе и на речке Тулке стоял Каширский полк под начальством Андрея Голицына: тут было войско, пришедшее главным образом из-под Арзамаса, с прибавкою из других украинных городов. Наряд (артиллерия) большой поставили в двух местах: близ реки Упы по каширской дороге и у Крапивенских ворот; оградили его турами. Подле Каширского полка Андрея Голицына, по речке Тулке, стали татарские мурзы из города и уезда Казанского, романовские, свияжские, козьмодемьянские, арзамасские, стали чуваши и черемисы. Главным воеводою над ними всеми был князь Петр Арасланович Урусов. Сверх того, значительная часть татар с черемисами и чувашами отправлена была разорять украинные города и села за то, что не хотели признать царя Василия и стояли против Московского государства. Таким образом, в войске царя Василия была громада инородцев. Рязанские города Михайлов, Спасск, Сапожок сдавались и признавали царя Василия Шуйского.

---

[529] Сноски: 529

Войско разделилось на три полка: в большом — боярин князь Михайло Васильевич Скопин-Шуйский да боярин Иван Никитич Романов; в передовом — боярин князь Иван Васильевич Голицын; в сторожевом полку — боярин Василий Петрович Морозов да Яков Васильевич Зюзин.

Прибытие волжского вора, в сущности, больше повредило воровскому делу, чем помогло: те, которые обманывались и в самом деле думали, что Димитрий жив, теперь уже сомневались, когда вместо Димитрия явился какой-то Петр, о котором прежде они и не слыхивали, чтоб на свете был такой царевич. Вероятно, это-то было причиною, что и Телятевский передался, если верно последнее. Этот человек, когда-то верный Борису, не хотел передаться Димитрию, когда его все уже признали. Но как скоро раз он по совести признал его государем, то и оставался ему верен до крайности. Вероятно, он не знал достоверно, что царь его погиб, и потому сражался за его имя до тех пор, пока не удостоверился, что царя нет на свете и сам он служит орудием обмана.

У мятежников, говорят, было тысяч до двадцати. Прошло два месяца в осаде; исходил третий. Оказался недостаток. Осажденным пришлось есть лошадей, стало им это противно. Они бунтовались — толпа приступила к Болотникову и Шаховскому. «Где же ваш Димитрий? — кричали воры. — Вы говорите, что он жив и будет к нам; где он?! Его нет, и мы погибнем напрасно!..» Болотников так объяснялся: «Когда я ворочался из Италии через Польшу, меня потребовал к себе

царь; я увидал молодого человека лет двадцати осьми. Он мне сказал, что он царь Димитрий, что он ушел из Москвы, когда его убить хотели. Он с меня взял крестное целование — служить ему верно. Я ему буду служить до конца живота моего; не знаю, истинный ли он Димитрий или нет. Я не видал его, когда он сидел на московском престоле. Еще попытаемся: пошлем нарочного затем, чтоб он непременно сюда ехал. Тогда увидите — истинный ли он царь»[530]. Болотников послал в Польшу донского атамана Заруцкого, выступившего здесь впервые на ту роль, какую играл долгое время.

Прошло несколько недель. Заруцкий не ворочался. Он и не поехал в Польшу, а засел в Стародубе. Болотников послал другого казака за Димитрием. В Туле между тем толпа более и более приходила в неистовство. Приступили к Шаховскому. «Ты, князь, — кричали мятежники, — всему заводчик! Ты распустил слух, что Димитрий ушел из Москвы, и твердил нам, что вот приедет, вот приедет Димитрий; а Димитрия нет как нет! Мы тебя посадим за приставы и не выпустим до тех пор, пока не увидим твоего

---

[530] Сноски: 530
Petreji, 212.

Димитрия. А если он не придет, так мы тебя Шуйскому отдадим!» Его посадили в заключение.

Но и Шуйский со своим войском тяготился осадой. Засевшие в Туле холопи и казаки как ни скудно ели, как ни тесно помещались, а отбивались так, что ратные люди после всякой попытки идти на приступ уходили назад с уроном. Но хуже того: в войске царском началась шатость. Татарский князь Урусов со своими мурзами ушел из царского войска в Крым. Тут пришел к Шуйскому какой-то Мешок Кравков; родом он был из города Мурома, большой хитроделец, как называет его летопись. «Я обещаю тебе, государь, — сказал он, — потопить Тулу водою. Они сдадутся». — «Я обещаю тебе большие милости, — сказал царь, — если ты это сделаешь». Хитроделец во всю ширину русла реки Упы сработал плот и приказал на него сыпать землю; плот с землею пошел на дно — и течение реки перервалось. Вода вышла из берегов и залила Тулу. Люди начали ездить по улицам на лодках. Вода вошла в кладовые, потопила хлебные и прочие запасы. Прежде был недостаток, а тут сделался голод. Люди ели дохлых лошадей, мышей, кошек, собак,

грызли кожу[531].

Мятежники заключили, что Шуйский сделал это волшебством. Отыскался и у них волшебник и взялся разрушить очарование. Это был какой-то старый монах. «Дайте мне сто рублев, — сказал он Болотникову и Петрушке, — я знаю такое средство, что влезу в воду и сделаю так, что прорвется плотина». Ему пообещали. Он бросился в воду. Людям показалось, что от этого вода забурлила, заклокотала, — и люди потом говорили, будто он чуть не час был под водою. Но сколько бы времени он там ни был, а как вылез из воды, то сказал: «Нет, ничего не сделаешь! Видите, как я исцарапан! Шуйскому сделали плотину 12 000 бесов: половину их я привел на нашу сторону, а шесть тысяч не поддаются — меня всего исцарапали!» Когда волшебник не помог им, мятежники, посоветовавшись между собою, послали к Шуйскому сказать такие слова: «Мы сдаем город, если ты, царь, помилуешь нас и не будешь казнить смертью. А если нет, то будем держаться, хотя бы пришлось нам друг друга съесть!» Шуйский отвечал:

— Хоть я и присягнул никого в Туле не мило-

---

[531] Сноски: 531
Рук. Филар., 14.

вать, однако за вашу храбрость и мужество я изменяю гнев на милость. Жалую вас и оставляю вас при животе! А вы мне служите и будьте верны так, как были верны вору. Поцелуйте мне крест!

Болотников выехал из Тулы верхом, в задние ворота, где воды было меньше. Он явился перед Шуйским во всем вооружении, снял с себя саблю, положил перед царем, ударил челом до земли и сказал:

— Царь-государь! Я верно держал крестное целование тому, кто в Польше назывался Димитрием. Точно ли он Димитрий или нет — я не мог этого знать: не видал его я прежде. Я ему верно послужил — он меня покинул! Я теперь в твоей власти. Если тебе угодно убить меня — вот моя сабля: убей! А если ты, по твоему крестному обещанию, помилуешь меня, я тебе служить буду верно, так, как я до сих пор служил тому, кто меня оставил!

— Встань! Будет так, как я обещал! — сказал царь. Привели Шаховского. Он сказал царю: «Меня посадили в тюрьму мятежники за то, что я хотел сдать город тебе, государь!» Шуйский притворился, что верит Шаховскому: он был знатный боярин.

18 октября царь из-под Тулы прибыл в Москву,

едучи в коляске, обитой красным сукном. Пышности было мало. Шуйский наблюдал, чтобы его торжества обходились дешевле. Зато и москвичи как-то лениво прославляли его подвиги. Даже и колокола звонили плохо в день его въезда!

С Петра сняли показание. Он рассказывал свою жизнь. Его повесили близ Москвы, на серпуховской дороге. Болотникова с казацким атаманом Нагибою, другом Илейки, отвезли в Каргополь, — их засадили в тюрьму. Немцев сослали в Сибирь; туда пошел и Фидлер. Потом Болотникову выкололи глаза. Наконец утопили и Болотникова, и Нагибу. Сделано было это втайне: народ не должен был знать, что царь нарушил обещание помиловать этих воров; но, вероятно, их погубили с боярского ведома. Казалось, невозможно было царю, обязавшемуся править по боярскому совету, оставить жизнь тому, кто посягал на унижение и бояр, и всего сословия лучших людей. Телятевского оставили при своем достоинстве. Шаховского сослали в Каменную пустынь на Кубенское озеро. Простых пленных не щадили: их бросали сотнями в реки, и вода выносила их во множестве на берег; изъеденные рыбами и раками их трупы кругом столицы разносили

зловоние[532].

Уничтожение царевича Петра не привело в порядок окраин Московского государства; напротив, наступил ужаснейший хаос. У казаков проявился сейчас же другой Петр-царевич. С легкой руки Петра начали удальцы называться именами таких царевичей, каких на свете не было. Так, в Астрахани проявился царевич Август; кто-то назвался Иваном Ивановичем, сыном царя Ивана Васильевича от жены Колтовской; потом явился там же Лаврентий-царевич и называл себя сыном убитого отцом царевича Ивана Ивановича. В «польских юртах», то есть в полях, сопредельных с казацкими жильями, появились царевичи Федор, Ерофей, Клементий, Савелий, Семен, Василий, Таврило, Мартын, и называли себя сыновьями царя Федора Ивановича[533]. Но все эти царевичи исчезали как привидения. Поднялся, назло Шуйскому и на долгое страдание Московскому государству, страшный призрак в другой раз воскресшего Димитрия.

---

[532] Сноски: 532
Хроногр. Арх. Ком. — Никон. лет., 91. — Bussow, 75, 79.

[533] Сноски: 533
Истор. смута, вр., т. II. Прилож., № VII.

Глава вторая
I. Явление второго Димитрия

Долгожданный Димитрий явился. Царь Василий Шуйский узнал о нем тогда еще, когда стоял под Тулою. Одни говорят, что его звали Богданом и что он был литвин; другие называют его Матвеем Веревкиным из Стародуба; третьи — Иваном; четвертые говорят, что он был сын убежавшего в Литву при Грозном князя Курбского; пятые — что он был еврей и т. д. По одним известиям, его выслала в Московское государство жена Мнишека через своего агента Меховецкого, по другим — его отыскал в Киеве посланный нарочно с целью найти Димитрия путивльский поп Воробей.

По иезуитским известиям, он был крещеный иудей, звался Богданко и служил у царя Димитрия, занимаясь по его поручениям составлением писем на русском языке. После умерщвления Димитрия он, страшась русских, которые преследовали приверженцев бывшего царя, уехал в Литву, где несколько месяцев скитался без приюта, наконец основался в городе Могилеве на Днепре; там пристал он к какому-то прото-

попу, державшему при церкви русскую школу. Протопоп определил его учителем в эту школу, допустил его в свой дом и обращался с ним по-приятельски. Но вскоре заметил он, что принятый к нему учитель начинает ухаживать за его женою; протопоп тогда приказал его высечь и прогнал. Он воротился в Московское государство, но был по подозрению схвачен, посажен в тюрьму сперва в Велиже, потом в каком-то другом пограничном городе; наконец, по неимению никаких против него улик, отпущен; сошелся с двумя человеками и с ними отправился в Стародуб, где провозгласил себя Димитрием, когда о чудесном спасении последнего носились слухи во всей Северщине[534].

В одном из западнорусских хронографов рассказывается о нем так[535].

Был он родом стародубец, переселился в Белую Русь, учил детей у священника в Шклове, потом перешел в Могилев и там также договорился учить детей у священника церкви Св. Николая, Федора Сашковича, который, подобно многим своим собратьям, держал школу. Учитель, без-

---

[534] Сноски: 534
Велев., перев. Муханова, стр. 192.

[535] Сноски: 535
Рукоп., принадл. Арх. Ком.

домный скиталец, поселился у просвирника той же церкви Терешки и так был беден, что летом ходил в изорванном тулупе и носил бараний шлык, потому что не на что было ему сделать себе летней одежи. Из Могилева он перешел в Пропойск; там почему-то сочли его шпионом, задержали и посадили в тюрьму. Тогда он, для своего избавления, сказал на себя, что он московский боярин Нагой, дядя царя Димитрия. Пропойский подстароста Рогоза Чечерский известил об этом своего старосту пана Зеновича, а тот приказал его отпустить и проводить в Московское государство. К нему пристали тогда двое молодцов — один по имени Грицько, другой — Рагозинский. Они провели его в Попову-Гору. Там, как узнали, что идет Нагой, стали его расспрашивать о Димитрии, и так как все толковали, что он жив, то и названый Нагой стал уверять их, что Димитрий жив и скоро придет из Польши. Еще пристали к нему несколько молодцов, и в том числе Алексей Рукин, подьячий. С ними он отправился в Стародуб и там говорил так:

«Я Нагой, родной дядя царя; сам царь недалеко, идет с паном Меховецким, ведет тысячу конных. Вот он скоро вас обрадует, приедет и пожалует вас за вашу верность и даст вам большие льготы».

Прошло несколько времени. Не приходил Меховецкий с Димитрием. Его товарищ Алексей Рукин отправился по соседним городам рассказывать, что Димитрий жив. Было легко найти легковерных, потому что Шаховской уже подготовил к этому Северскую землю. Рукин приехал в Путивль. «Где Димитрий?» — спрашивали его. Он отвечал: «В Стародубе!» Они задержали его, послали с ним в Стародуб нескольких своих путивлян и сказали ему: «Мы тебя замучим, если ты не покажешь нам Димитрия». Стародубцы уже теряли терпение, когда пришли к ним путивляне. В Стародубе толпа жителей вместе с пришедшими из Путивля приступили к названому Нагому и спрашивали: «Где же Димитрий, почему он не приходит? Где он — туда мы пойдем к нему головами!» Нагой говорил: «Не знаю!» Стародубцы стали грозить пыткою. Нагой уверял, что ничего не знает. Тут стародубцы и путивляне принялись за Рукина за то, что он их ложно уверял. Стали полосить ему спину кнутом, приговаривая: «Говори, где Димитрий, где Димитрий?!» Не стерпя муки, Алешка закричал: «Смилуйтесь, ради Николы Чудотворца! Я покажу вам Димитрия!»

Его отпустили. Тогда он указал на того, кто назвался Нагим, и сказал: «Вот Димитрий Ива-

нович! Он перед вами, и смотрит, как вы меня мучите. Он у вас в руках! Вы можете и его убить рядом со мною. Он для того не объявился вам сразу, чтобы узнать: рады ли вы его приходу будете!» Новопоказанному Димитрию оставалось или назваться этим именем, или подвергнуться пытке. Он, приняв повелительный вид, махнул грозно палкою и сказал: «Вы, б..... дети, все еще меня не знаете! Я — государь!» Это было сказано с такою решимостью, что стародубцы, пораженные, невольно упали к ногам его и закричали: «Виноваты, государь, перед тобой — не узнали тебя! Помилуй нас! Рады тебе служить против твоих недругов! Живот свой положим за тебя!»

Его повели с колокольным звоном в город (замок); убрали для него покои как могли, чтобы они казались царским жилищем, несли ему подарки и деньги.

Тогда наиболее убеждал стародубцев и располагал верить отысканному Димитрию стародубец Гаврило Веревкин.

Из Стародуба разосланы были грамоты в соседние северские города, чтобы люди русские спешили к своему царю. Посланы были гонцы с грамотами и в Москву. В них извещалось всем, что «с Божиею помощью Димитрий спасся от

убийц, благодарит московских людей за то, что при их пособии он достиг престола, и снова просит, чтоб его в другой раз посадили на царство». Из Северской земли, где так давно ждали Димитрия, собралось к нему тысячи три вольницы, севрюков. Явился в Стародуб и Меховецкий с отрядом украинской вольницы. Современники думали, что этот Меховецкий и выпустил Димитрия из литовских пределов в Россию.

В это время прибыл в Стародуб Заруцкий, посланный, как выше сказано, от Болотникова искать Димитрия. Казацкий атаман явился к Димитрию и сразу увидал, что это вовсе не тот, который царствовал в Москве. Но Заруцкому нужно было Димитрия какого-нибудь; Заруцкий поклонился ему, уверял всех, что действительно узнал в нем настоящего государя. Заруцкий не поехал назад в Тулу, остался при Димитрии, сделался его всегдашним товарищем, доверенным лицом. Вору хотелось испытать: точно ли преданы ему и верны стародубцы. И вот однажды он выехал за ворота с Заруцким; и начали они разъезжаться и сражаться копьями. По тайному приказанию Димитрия Заруцкий сбил его с коня. Димитрий упал и показывал вид, будто сильно ушибен. Заруцкий пустился бежать. Народ закричал: «Ловите,

держите изменника!» Схватили его, связали и привели к Димитрию. Тот встал и, засмеявшись, сказал: «Благодарю вас, православные христиане! Вот теперь я дважды уверился, что вы мне верны!» Все стародубцы смеялись, а Заруцкий все-таки схватил несколько порядочных пинков. Но после того все знали, что Заруцкий самый близкий человек к царю Димитрию.

Димитрий несколько времени оставался в Стародубе, ожидая более сил, а между тем отправил к Шуйскому, находившемуся под Тулою, посланца, одного боярского сына из Стародубского уезда. Этот человек смело явился перед царем Василием Ивановичем с грамотою. В ней Димитрий называл Шуйского изменником, похитителем и требовал уступить ему престол. Посланец, со своей стороны, сказал царю: «Прямой ты изменник! Подыскался царства под нашим государем». Царь приказал его пытать, вероятно, чтоб выведать от него о состоянии дел. Но у посланца не вымучили никакой вести. Он жарился на огне да в то же время расточал на Шуйского всевозможные ругательства. Так он и умер в муках.

Когда наконец понабралось у Димитрия северской вольницы, он двинулся на Карачев, взял его, оттуда повернул к Козельску: разбил и взял

в плен московский отряд и вернулся к Карачеву. Тут литовские люди, бывшие с ним, заспорили за добычу, полученную под Козельском от разбитого московского отряда, и думали уйти. Димитрий был не предприимчивого и не храброго нрава, и притом подозрителен. Он сообразил, что поляки его оставляют, а русским нельзя доверяться. Взявши одного поляка, по имени Кроликовского, да нескольких московских людей, он бежал тайком в Орел. В Орле лег он спать в одной избе с Кроликовским и с одним московским человеком. Ночью московский человек вынул нож, зажег свечу и подошел к Димитрию. Но Димитрий не спал. Кроликовский лежал, преклонивши голову на коленах Димитрия. Димитрий толкнул Кроликовского, тот вскочил, а московский человек уронил свечу, поскорее лег и притворился спящим. Димитрий перешел на другое место и не спал до свету. На другой день Димитрий хотел бежать подальше. Но тут за ним прислал из-под Карачева Меховецкий, оставшийся при войске. «Воротись, — извещал он его, — будешь сам здесь налицо, так войско тебя послушается и не разойдется!» Димитрий пробыл с неделю в Орле: раздумывал так и сяк и наконец воротился, по просьбе Меховецкого, в Карачев, но опять увидал,

что поляки не слишком расположены служить ему и думают только о добыче, а московские люди готовы при первом удобном случае выдать его. Сообразивши все это, Димитрий опять тайно убежал. На этот раз он уже не остановился в Орле, а бежал в Путивль. По всему видно, он хотел вовсе отказаться от звания Димитрия, случайно принятого в Стародубе. Он не чувствовал в себе настолько силы, чтоб носить это имя, и рад был случаю улизнуть и избавиться от своей роли. Но и теперь, как в первый раз, не удалось ему. На дороге встретился с ним некто Валавский. С ним было тысяча человек. Он шел с Украины от знатного пана, князя Романа Рожинского, на помощь Димитрию. Потом Самуил Тышкевич привел украинскую вольницу. Современники говорят, что игравший роль Димитрия не хотел им сказаться и назвать себя царским именем; но все стали допытываться и уличать его, и он не мог извернуться: должен был сознаться, что он тот самый, который уже признавал себя за Димитрия. «Куда же ты это бредешь?» — спрашивали его. «Меня, — говорил он, — поляки оставляют, а своим я не доверяюсь. Они меня выдадут или убьют; так я хотел бежать в Путивль. Там люди мне издавна преданы. Оттуда я первый раз, по

смерти Годунова, был приглашен на царство!»

Его не пустили. Вслед за тем явились к нему новые пособники из Брацлавского воеводства: Хмелевский, Хруслинский и князь Адам Вишневецкий. Последнему, должно быть, очень дико было признавать новое лицо за то самое, которое он знал так близко, как редкий тогда мог знать в Польше.

Понятно, что такими пособниками руководила обычная на Украине охота к шатанию и разбоям. Руководило ими и желание отомстить за тех, которые потерпели в Москве во время бойни, и за тех, которые томились в плену. Много было в Польше жен и детей, которые в томительной неизвестности о судьбе своих мужьев и отцов взывали о справедливой каре лживому московскому народу, говорит современный стихоплет. Это чувство должно было служить нравственным предлогом к оправданию своей лжи. Доблестные поляки, говорит тот же стихоплет, выступая с призраком царя, уверяли единогласно, что Димитрий ушел из Москвы от смерти. Сам Бог помог их справедливому делу: они мстили за тяжкие оскорбления своим согражданам[536].

---

[536] Сноски: 536
Pieśń o tyrańстwie Szujskiego.

С этими новыми силами Димитрий воротился опять к Карачеву, а из Карачева со всем полчищем пошел к Брянску. Русские предупредили его и сожгли Брянский посад, а в самый город ввели крепкий гарнизон. «Вор» стоял под Брянском несколько недель. В это время к нему привезли казаки из Дона одного из названых царей, Федора, выдававшего себя за небывалого сына царя Федора Ивановича. Димитрий не хотел признать его племянником и велел казнить. За девять дней до Рождества прибыл на помощь Брянску воевода князь Иван Семенович Куракин. Зима была в тот год теплая, и в декабре все еще не замерзала Десна. По ней плавали льдины; был большой холод и в воде, и в воздухе. Литовские люди никак не ожидали, чтоб их неприятели решились идти вплавь. Но московские люди не побоялись холода, перешли реку и дружным натиском выбили из окопов толпу; тут же ударили на нее осажденные в Брянске. Довольно воров побили и побрали в плен. Шайка снялась с обоза и отступила к Карачеву, а оттуда вор опять приехал в Орел[537].

[537] Сноски: 537

Marchocki. Histor. wojny Mosk., 6–10. — Никон. Лет., 92–95. — Хрон. Арх. Ком. — Buss., 81–83. — Petr., 212.

II. Новые польские силы. – Недоразумение «вора» с поляками

В польских владениях имя Димитрия все больше и больше привлекало удальцов. Письма Меховецкого зазывали поляков во имя военной славы и мщения за убитых в Москве. Тогда «рокош» окончился в Польше. Но куда было обратить воинскую отвагу? Меховецкий и братия его указывали ей новый путь; что не чувствовало себя спокойным в Польше, стремилось тогда в Московское государство. Тут были проигравшиеся и пропившиеся шляхтичи, которым ради насущного хлеба приходилось пристать к какому-нибудь делу, достойному шляхетского звания, а такое дело и могло быть только военное; были тут неоплатные должники, которые, долго увертываясь от заимодавцев, пользуясь неприкосновенностью шляхетского человека в его собственном доме, просиживали по целым дням взаперти, дожидаясь солнечного захода, после которого нельзя было по юридическим обычаям задерживать должников. Скучно было такое положение; заимодавец имел право, поймав

должника на улице, засадить в вежу; оставалось идти либо в монахи, либо в разбойники; вдруг в Московской земле открылся должникам случай и от заимодавца улизнуть, и весело пожить, и шляхетской чести не замарать; тут были банниты, осужденные за разные своевольства и опасавшиеся в отечестве казни; были тут и такие молодцы, у которых просто руки чесались: для них было все равно, что в одну или в другую сторону света отправиться, лишь бы весело пожить; а весело жить им было не придумчиво иначе как только грабить, разорять других и вообще делать кому-нибудь вред.

Главным заводчиком выхода в Московское государство на польской Украине стал князь Роман Кирикович Рожинский. Богатый владелец многих местностей в Южной Руси, он все их позакладывал и обременил себя долгами. Теперь представлялись ему надежды поправить свои дела на счет Московского государства. В нравах и понятиях тогдашней южнорусской аристократии грабежи и насилия не представлялись предосудительными поступками. Благородная супруга этого князя, отпустивши его добывать счастья в чужой земле, сама занималась наездами на

владения своих соседей[538].

По его призыву с ним в поход собралось до четырех тысяч удальцов. Перед праздником Рождества Христова этот отряд вступил в Московское государство и стал под Черниговом. Рожинский отправил посланцев в Орел известить, что новое войско из Польши пришло служить царю Димитрию, обещает явиться к нему с раннею весною, а теперь желает заключить договор. Вслед за тем это войско двинулось под Новгород-Северский, а оттуда в Кромы. Уже кончалась зима. Из Кром отправили к называющему себя Димитрием тридцать человек посланцев. Димитрий пригласил их к себе и, ради царской важности, отвечал им не сам лично, а через Валавского, который называл себя царским канцлером. После речи Валавского названый Димитрий сам отвечал по-русски; он старался походить на русского царя: «Я обрадовался, — говорил он, — когда узнал, что Рожинский идет, но потом услышал, что он мне не доброжелательствует, и теперь хотел бы я, чтоб он вернулся назад. Меня Бог уже посадил на столице один раз без Рожинского и в другой раз посадит. Вы требуете денег? У меня много добрых

---

[538] Сноски: 538
Киевск. Стар. 1882, т. II. Князья Рожинские, стр. 79.

поляков, таких, как вы, а еще никому ничего я не давал. Я убежал из столицы от милой супруги и друзей и не только не взял с собой денег, но и платья. Я знаю, что вы говорили с посланцем в Новгороде Северском, на льду; вы допрашивались: тот я или нет. А я с вами не игрывал в карты?»

Поляки вспылили и высказались перед ним в таких выражениях: «Вот мы видим, что не прежний ты; прежний умел ценить и принимать людей рыцарских, а ты не умеешь! Жаль, что мы пришли к такому неблагодарному; мы перескажем нашей братии, что нас к тебе послали, пусть знают, как им поступать!» С гневом они вышли от него. Димитрий послал за ними вдогонку и приглашал на обед. «Не сердитесь, — говорили полякам посланные, — царю вас обнесли». — «Кто ж бы это нас обнес?» — стали рассуждать поляки и заключили, что это должен быть Меховецкий.

— Да, да! — подтверждали хором. — Это он, он! Чует он, что приходится уступить начальство Рожинскому!..

Составилось коло. Голоса раздвоились. Одни кричали: «Вернемся в Польшу; ничего доброго тут нам не будет!» Другие, которые знали уже поближе вора и были с ним в Орле, говорили:

«Останемся у него на службе! Все будет иначе, лишь бы сам князь Рожинский к нему приехал».

В Великий пост приехал Рожинский в Орел. Ему захотелось прежде всего низвергнуть Меховецкого и самому сделаться гетманом Димитрия. Ему хотелось держать все дело самому, чтоб царь под именем Димитрия был только орудием в его руках. Его сопровождали двести товарищей и четыреста пятьдесят человек пехоты, служивших на его иждивении. После первого их ночлега в Орле, утром, называвший себя царем позвал их к своей царской руке. Но чуть только Рожинский с товарищами по этому приглашению двинулся с места, как бежит ему навстречу другой посланец и говорит: «Воротитесь! Еще царь моется в бане; у него такой обычай: он от трудов облегчается банею и здоровье свое сберегает! Подождите, когда царь окончит мытье и воссядет на своем царском седалище». Рожинский не слишком уважал царское достоинство этого царя и не хотел подчиняться царственному этикету, тем более когда это происходило от желания царя как-нибудь отвязаться от Рожинского. Названый Димитрий ясно видел, что этот навязчивый и властолюбивый человек пришел не служить, а повелевать Димитриевым именем. Рожинский объявил, что

не хочет ждать. Он самовольно вошел в избу, где жил царь, и не хотел выходить из нее. Димитрий принужден был уступить и вышел; но когда выступал из дверей, то нарочно отвернул голову от той стороны, где стоял Рожинский. Он сел на своем месте. Рожинский подошел к нему первый и поцеловал руку. За ним все поляки подошли к царской руке. После этой церемонии царь пригласил Рожинского и всех товарищей на обед.

Обед был приготовлен на разных столах. Димитрий сидел за одним столом с Рожинским, хоть это было для него невкусно. Чтобы досадить Рожинскому и его партии, он начал разговор о прошлом рокоше, спрашивал, нет ли между прибывшими рокошан. И тут, как будто негодуя на рокошан за короля Сигизмунда, он заставил поляков выслушать такое неприятное замечание на их счет: «Ни за что бы я не захотел быть у вас королем. Московский государь не на то родился, чтобы им помыкал какой-нибудь арцибес, или, как он там у вас зовется — арцибискуп, что ли?»

Поляки давали ему ответ в защиту своей нации.

После пира Рожинский просил назначить ему разговор. Ему отвечали, что он будет позван на другой день. Пришел этот другой день; Рожин-

скому послали сказать, что его позовут завтра. И это завтра пришло и прошло, а Рожинского не звали. Его поляки взволновались и кричали: «Мы разъедемся!» Пехота первая стала выступать из Орла. За нею сам Рожинский собирался уезжать. Тут несколько ротмистров и товарищей, которые прежде находились при воре, поговорили промеж собою, потом бросились к Рожинскому и стали его упрашивать: «Потерпите, ваша княжеская милость, до утра. Мы соберем коло. Если царь останется таким неблагодарным к нам, так мы все сложимся, отрешим от начальства Меховецкого и выберем гетманом тебя, князя Рожинского. Все войско будет слушаться тебя!»

Рожинский обрадовался: те из его соотечественников, которые еще не стояли под его начальством, теперь сами готовы подчиниться ему. Рожинский остановился и стал дожидать утра в предместии Орла.

Наутро собралось коло. Там были и те, что прежде находились, и те, что вновь пришли с Рожинским. На этом коле низложили Меховецкого от начальства, избрали гетманом Рожинского и отправили к Димитрию такое заявление: «Коли царь хочет, чтоб с ним оставались поляки, пусть примет князя Рожинского, назовет своим

гетманом и выдаст нам на суд тех, которые оговаривали князя царю». На Меховецкого и на его немногих сторонников наложили бандо, т. е. изгнание из войска; он лишился покровительства и защиты со стороны его прежних сослуживцев и подчиненных. Сообщили об этом Димитрию. Он отвечал: «Никого не назову и не выдам, сам приеду в коло».

Принесли это известие в коло. Рожинский сказал: «Теперь будьте спокойны и дожидайтесь царя — не мешайтесь в речи. Я за вас за всех говорить буду!»

Названый Димитрий приехал на богато убранном коне, в золототканой одежде. Его провожали несколько московских людей, пожалованных им в бояре; по бокам шли пешие ратники. Он въехал в коло. Там поднялся шум. Названому Димитрию показалось, что поляки допрашиваются, точно ли он прежний царь, и называют его негодяем. Это его взбесило — он закричал: «Цыть-те, скурви сынове!»[539]

Поляки переглянулись между собою, выходка называвшего себя царем их раздражила. Они хотели было отвечать на нее резко; но Рожинский,

---

[539] Сноски: 539
March., 17.

как было сказано, заранее обязал их не мешаться без его позволения в разговоры и ему одному поручить отвечать за всех.

Тогда Рожинский приказал дать ответ одному из товарищей, Хруслинскому. Тот сказал: «Мы для того посылали послов к твоему царскому величеству, чтобы ты нам объявил, кто тебе оговорил гетмана и все войско наше изменниками. А как твое величество сам сюда приехал, то мы хотим от тебя здесь услышать это самое».

Димитрий приказал отвечать за себя одному из своих московских людей, тот начал говорить; Димитрий стал недоволен речью. Московский человек не умел говорить понятным для поляков способом. Димитрий закричал: «Молчи! Ты не умеешь по-ихнему говорить. Вот я сам буду!» Он обратился к полякам и продолжал: «Вы присылали ко мне, требовали, чтоб я выдал и назвал вам верных слуг моих, которые меня в чем-нибудь предостерегают. Никогда еще московским государям не приходилось так поступать, чтоб они выдавали верных слуг своих, которые их предостерегают! Не только для вас я этого не сделаю, а хотя бы сам Господь Бог сошел с высокого неба и приказал мне так поступить!..»

Тут его прервал крик; послышались резкие

выражения, потом волнение несколько стихло; один из кола сказал: «Что же, ты хочешь около себя держать таких только, что тебе из-за пустяка языком прислуживают, а не таких воинов, которые бы тебе служили жизнью и саблею? Ну, если ты не поступишь так, как хотим, то все отойдем от тебя!»

«Как себе хотите! — сказал вор. — Идите!»

Раздражение усилилось, стали кричать неистово: «Убить обманщика! Изрубить его!» Кричали другие: «Нет!» Кричали третьи: «Поймать! А, такой такой сын! Мошенник! Ты позвал нас, да еще кормишь неблагодарностью!»

Стрельцы, окружавшие игравшего роль царя, бросились на поляков, поляки — на стрельцов. Сделалась суматоха… драка…

Среди всеобщего беспорядка названый Димитрий поворотил коня и тихо поехал в свой двор; вслед за ним поскакали из кола поляки, окружили его и сказали, что присланы стеречь его, чтоб он не ушел. Вор почувствовал всю тягость и унизительность своего положения. Он должен был поневоле играть царя, сносить и наружное к себе поклонение, и в то же время терпеть оскорбления!

В припадке досады он начал пить водку. Он не

пил ее никогда и теперь стал пить с намерением залиться до смерти. Это ему не удалось! Он не умер — перенес тяжелое похмелье и потом решился покориться своему жребию.

Поляки прислали к нему прежде Адама Вишневецкого, названного его конюшим. Хруслинский и Валавский, царский канцлер, побежали на предместье в ставку Рожинского и стали упрашивать соотечественников остаться служить царю; именем царя они обещали, что он снова приедет в коло и попросит прощения за вчерашнюю дерзость.

Кое-как смиловались поляки над цариком, позволили приехать к ним в коло. Вор явился и объяснил, что сказанные им слова — «Цытьте, скурви сынове» — относились не к полякам, а к его московским стрельцам. Поляки сказали: «Так и быть, останемся на службе, коли царь обещает нам жалованье за две четверти». Царь обещал. После того Рожинский со своим отрядом отправился в Кромы и там расположился до просухи. Царик — как его стали прозывать в презрительном смысле — со своими московскими людьми и поляками, прибывшими к нему ранее, по-прежнему жил в Орле. Отсюда от имени Димитрия рассылались грамоты по Московской земле. Одна

из таких грамот, присланная в Смоленск, дошла до нас. Она писана цветисто и пространно. В ней Димитрий сообщал, что один из соумышленников Шуйского предостерег его и он успел уйти из Москвы в Литву; он убеждал отстать от вора и изменника Шуйского и покориться своему законному государю. «Сами ведаете, — писал он, — как я милосерд, щедр и праведен; и прежде я никого не казнил даже торговой казнью, не только что смертью». Вместе с тем Димитрий в своей грамоте вооружался и против появившихся царевичей. «За наши грехи, — выражался он, — в Московском государстве объявилось еретичество великое: вражьим советом, злокозненным умыслом многие называются царевичами московскими, природными царскими семенами!» Он приказывал ловить этих царевичей, бить кнутом и сажать в тюрьму до его царского указа[540].

Тут между новичками ходили толки и споры: что это за царь? Да в самом ли деле он настоящий Димитрий? Начальники из поляков были уверены, что это не тот, который царствовал в Москве и которого считали убитым, но отклоняли разговоры об этом и говорили: «Нужно, чтоб он был

---

[540] Сноски: 540
Ист. смутн. врем., II. Прилож., 57.

тот самый, — вот и все!» Для успокоения тех, которые заявляли сомнения, выдумывали разные выходки. Какой-то из товарищей, Тронбчевский, говорил: «Хоть бы все уверяли меня, что он тот самый, который царствовал в Москве, я не дам себя уговорить! Я хорошо знаю первого. Я был с ним под Новгородом-Северским». Тронбчевский вошел с цариком в разговор при свидетелях и начал ему вспоминать о прежних событиях; он умышленно говорил не так, как было, а царик поправлял его и говорил, как было и как Тронбчевский считал правильным. Тогда при множестве своих товарищей этот Тронбчевский сказал: «Милосердый царь! Признаюсь тебе; здесь был в войске один такой человек, что не считал тебя за того, кто царствовал в Москве. Но теперь Дух Святый осиял его, и он верит, что ты тот самый!» Царик улыбнулся. Этой комедии достаточно было, чтоб на время поддержать если не веру, то приличие веры в существо Димитрия.

Так стояло это полчище до просухи; никто его не беспокоил. Новые силы еще подходили к Димитрию. Прибыли еще три тысячи запорожцев. Эти люди то приходили, то уходили и вновь приходили. Заруцкий еще до прихода Рожинского отправился на Дон и теперь возвратился

со свежим отрядом: в нем было тысяч до пяти. Названый Димитрий все более и более показывался царем, преимущественно черни. Он велел объявить, что в боярских имениях, где владельцы не признают его, подданные крестьяне могут овладеть имуществом их; земли и дома их делаются крестьянскими животами, даже их жен и дочерей крестьяне могут взять себе в жены или в услужение[541].

III. Ополчение Шуйского. – Волховская битва. – Царик Димитрий под Москвою. – Битва на реке Химке. – Действия Лисовского в Рязанской земле

Когда в Северской земле собирались тучи на царя Василия Шуйского, сам царь Василий в январе женился на той самой княжне Марье Петровне Буйносовой-Ростовской, на которой ему предлагал жениться первый Димитрий. Наступала весна; царское войско отправилось в поход под главным начальством царского брата Димитрия

[541] Сноски: 541
Хроногр. Археогр. Ком. — Marchoc. Hist. wojny Mosk., 20. — Bussow, 62.

Ивановича Шуйского[542]. В этом войске были дворяне и дети боярские разных городов, но значительная часть его состояла из татар мещерских, касимовских, кадомских, темниковских и арзамасских. Каждого уезда татары составляли особый отряд под начальством выбранного головы. Пока войско собиралось, Димитрий Шуйский с воеводами стоял в Белеве[543], а потом двинулся к Волхову.

Услыхавши, что войско Шуйского двинулось на «вора», поляки, стоявшие в Кромах с Рожинским, прибыли снова в Орел. В самый день их прихода сделался пожар в Орле и загорелся дом, где жил царик. Он должен был бежать в ставку Рожинского, на предместье. Отсюда он двинулся к Волхову. Войско Димитрия из Орла поспешило к Волхову. 10 мая за десять верст с небольшим от Волхова сошлись враждебные силы. Передовая

[542] Сноски: 542

Распределение воеводства было такое: товарищем Шуйского — Михайло Алексеевич Нагой; впереди — боярин князь Василий Васильевич Голицын; в сторожевом полку — боярин князь Борис Михайлович Лыков. «А с ними посланы многие ратные люди изо всех городов, дворяне и дети боярские, — и с мещерскими князи, и мурзы, и татарове. А с касимовскими мурзы и с татарове — голова Гозан Петров сын Болтин, а с кадомскими — Остафей Яковлев сын Соховцов; с темниковскими — Федор Клокачев; с арзамасскими — Степан Шитлов — нижегородец».

[543] Сноски: 543

Хроногр. Археогр. Ком.

часть Рожинского сцепилась с передовым полком царского войска. Московские люди под начальством Голицына бежали, привели в беспорядок большой полк, пробились сквозь него и достигли до сторожевого полка. Но этим полком начальствовал человек похрабрее и поискуснее других — князь Иван Куракин, тот, который прошедшею зимою отбил вора от Брянска. И теперь он отразил поляков, хоть и сам потерпел; немецкая рота, служившая в московском войске, тогда вся пропала; зато у царика пропала целая хоругвь Тупальского, которая далеко от своих увлеклась вперед и наткнулась на храбрый сторожевой полк. Стало смеркаться. Поляки воротились в свой обоз, русские — в свой.

Утром 11 мая Рожинский двинул в бой против московских людей все войско. Московские люди стали за болотом, которое трудно было перейти. «Они, — говорили поляки, — думают, что мы такие простаки, что так и полезем в болото, не рассмотревши хорошенько места!» Поляки начали искать удобного места для переправы и нашли его. В то же время пришло в голову слугам, которые находились при возах, натыкать значков в возы; возы двигались, поднялась пыль. Московские люди не могли различить хорошень-

ко возов, видели только в облаке пыли значки и вообразили, что, должно быть, идет огромное войско. Московские воеводы рассудили, что вступать в бой опасно, — лучше уйти к Волхову. И приказали они отправлять наряд. Нашелся изменник, сын боярский, каширянин Иван Лихарев: он перебежал к Рожинскому и объявил, что московские люди хотят уходить и уже отправили наряд; поляки нарочно задерживали возы вдали, чтоб московские люди не могли разобрать, что там такое, а сами стали переправляться через болото. Тогда московские люди решительно потеряли дух и бежали в беспорядке; их свирепо преследовали поляки верст двадцать, отняли у них наряд и догнали до засеки. То была большая деревянная стена с земляным присыпом. Такие стены тянулись на сотни верст, они охраняли государство от татарских набегов. По длине засеки стояли башни, а кое-где в стенах проделаны были ворота. Когда пришлось московским людям вбегать в такие ворота и тесниться, поляки наперли на них со всех сторон и жестоко их побили. По степи, где бежали московские люди, лежало чрезвычайно много трупов, они долго оставались без погребения; целое лето после того ветер разносил по окрестностям смрад от гниющих людских и

конских тел. Победителям, кроме пушек, досталось много разного оружия.

«Вот, — говорили поляки, — как их Бог покарал за гордость! Они хвалились, что дойдут до Киева, а теперь поражены от малого польского войска; их тысяч сто, а наших каких-нибудь тысяч пять, и мы их таки побили».

Через день потом, 13 мая, Рожинский подступил под Волхов; там, кроме гарнизона, заперлось тысяч пять убежавших с поля битвы. Старшими в Волхове были князь Третьяк-Сеитов да Гедройц, последний был родом литвин; проживал он когда-то на Запорожье, оттуда убежал в Московское государство и там уже усвоил московскую народность. Болховцы сперва отбивали приступы, но в среду, 14 мая, рассудив, что нельзя им удержаться, сдались и присягнули царю Димитрию[544].

Волховская победа значительно поддержала Димитрия. Поляки стали верить в его родовое счастье и обращались с ним уважительнее, а он понимал, что без поляков существовать не может. Он собрал их и говорил: «Я надеюсь с вашею помощью скоро сесть на столице предков! Заплачу вам тогда за все ваши труды и отпущу в

---

[544] Сноски: 544

March., 25. — Hist. Dm. falsz. — Ник., 97. — Хроногр. Арх. Ком., 545.

отечество. Умоляю вас не покидать меня! Когда я буду государем в Москве, и тогда без поляков не могу я сидеть на престоле; хочу, чтобы при мне всегда были поляки: один город держать будет у меня московский человек, а другой — поляк. Золото и серебро — все, что есть в казне, — все ваше будет, а мне останется слава, которую вы мне доставите. Когда вам придет нужда уйти домой, не покидайте меня, покуда не придут на ваше место другие поляки из Польши». Чтобы более придать вид справедливости своему делу, поляки сыграли еще одну комедию. Какой-то бернардин начал кричать: «Это совсем не тот царь, что прежде назывался Димитрием! Я с ним жил в одной келье в Самборе! Наша война неправедная, надобно воротиться назад!» И как будто для того, чтобы уверить поляков, что называвший себя Димитрием — обманщик, он вступил с ним в разговор. Но после того он говорил своим так: «Я ошибался! Удивительно, как это я подумал, что он не прежний!.. Теперь я увидел и удостоверился, что он точно тот самый, которого я знал в Самборе!..»

Из-под Волхова двинулось войско Димитрия к столице очень спешно. Передовой полк составляли московские люди, сдавшиеся в Волхове. Они

только что перешли реку Угру, тотчас отделились от воровского полчища, убежали вперед в Москву и дали знать, что вор идет скоро, но войско его не так огромно, как могло показаться тем, что были разбиты под Волховом. «Это так только по грехам нашим сталось!» — говорили они.

Вышло другое царское войско против воровского полчища. Оно было под начальством Михайла Скопина-Шуйского и стало на реке Незнани. Рожинский с цариком не пошел ему навстречу, а повел свое полчище через Козельск и Калугу на Можайск. Нигде не нашли они сопротивления. Везде люди выходили с хлебом и солью — встречали Димитрия, своего законного царя, с образами и колокольным звоном.

Только в Можайске не хотели было принять его и заперлись в монастыре Святого Николая. Но этот монастырь с острогом стоял на небольшом холме, и с соседнего холма можно было видеть, что делается в городе; поляки с этого холма стали стрелять из пушек и скоро принудили осажденных сдаться и присягнуть царю Димитрию. Царик въехал в монастырь и поклонился чудотворному образу святого Николая.

Из Можайска двинулось полчище под столицу. Под Звенигородом встретил их поляк Петр

Борковский, из свиты задержанных польских послов. Он именем послов приглашал своих соотечественников выйти из пределов Московского государства и не нарушать мирного договора, заключенного между Москвою и Польшей. Рыцарское коло дало ему такой ответ: «Что вы это говорите, то вы говорите поневоле — Москва вас к этому принуждает! А мы коли сюда зашли, так уже ничьих приказаний не слушаем, только на помощь Божию надеемся и не оставим своего предприятия, пока не посадим на престол того, с кем пришли!»

1 июня достигли они Москвы и в солнечный день удивлялись красоте золоченых верхов бесчисленных церквей царской столицы. Прикидывавшийся Димитрием вор, созерцая Кремль и его блестящие церковные верхи, заплакал как бы от умиления, а стоявшие около него поляки и немцы, видя такую чувствительность, и сами заплакали: тогда у них в головах никак не могла утвердиться мысль, что этот человек не то, чем он себя выказывает[545].

Сначала поляки остановились на правом берегу Москвы-реки, с северной дороги. Из города не

[545] Сноски: 545

Записка одного немца, начальствовавшего отрядом в войске тушинского вора.

показывалось живой души. Поляки осмотрелись и стали между собою говорить: «Место неудобно; мы сами стоим внизу, и около нас горы — они будут нам при случае помехою! Притом Москва будет получать запасы из своих земель; мы так ничего ей не сделаем! А мы лучше перейдем на другую сторону реки и станем мешать подвозить в столицу продовольствие». По этому соображению они переправились через Москву-реку и стали обозом в селе Тайнинском, за семь верст от столицы. Вышло противное их планам. Они хотели стеснить Москву и не допускать провоз запасов в столицу, а вместо того самих их стеснила Москва. Продовольствие для них должно было подходить с южной и с западной сторон Москвы, а для того, чтоб достичь их стана, — огибать город. Во время этого огиба москвичи захватывали возы с запасами, и, таким образом, попалось в плен несколько значительных купцов, ехавших с товарами из Северской земли. Надобно было искать иного места.

Снялись и двинулись. Московское войско вышло из столицы и за Тверскими воротами заступило было им дорогу. Поляки пробились сквозь него и дошли до села, называемого Тушино. Место показалось им удобным. Здесь они

решились заложить лагерь. Избранное место между Москвою-рекою и извилистою речкою Всходнею отлично было ограждено водою с трех сторон. Только с одной стороны, на пространстве 700 шагов, нужно было сделать искусственное укрепление от ближайшего к Москве-реке изгиба реки Всходни до Москвы-реки.

Не успели остановиться поляки на своем новом месте, как приходит весть, что московская сила, собравшись вновь, готовится напасть на них. Прежде нападения явились к ним двое соотечественников — Доморацкий и Бучинский, известные слуги первого Димитрия. Они извещали от имени послов, что заключен мир и поляки должны выйти из пределов Московского государства. «Это хитрость московская — закричало коло, — нечего этому верить! Они нас хотят усыпить. Нет, не выйдем отсюда, пока не посадим на престол царя Димитрия!»

Рожинский решился предупредить нападение московских войск и напасть на московский обоз. Войско царя Василия, состоявшее наполовину из русских, наполовину из татар и других инородцев, стояло под городом, растянувшись до реки Ходынки. На Ваганьковом поле стоял сам царь Василий со всем разрядом. Его стан был окопан

рвом, и по рву были поставлены стрельцы и пушкари с орудиями[546].

С 4 на 5 июня ночью двинул Рожинский свое войско тремя отрядами на московский обоз[547].

Московские знатные люди спали и не ожидали нападения; заключался мир с Польшею, и была надежда, что польские послы принудят своих единоземцев отступить от вора. Поэтому, когда перед рассветом Рожинский напал на московский обоз, то московские люди, не готовившись к бою и внезапно проснувшись, хоть и хватились за оружие, да порядка у них не было. Поляки разгромили их, забрали весь их обоз с пушками; на протяжении пяти верст гнали бегущих победители. Но когда обвиднело, то часть войска московского, та, которая стояла на Ваганькове с царем, увидела погром своих, бросилась на поляков и прогнала их за реку Химку. Московским людям не удалось, однако, вернуть ни своих пушек, ни захваченно-

---

[546] Сноски: 546

Начальство в московском войске распределено было так: в большом полку — боярин князь Михайло Васильевич Скопин-Шуйский и боярин Иван Никитич Романов; в передовом полку — боярин князь Иван Михайлович Воротынский и окольничий князь Григорий Петрович Ромодановский; в сторожевом — стольник князь Иван Борисович Черкасский да Федор Борисович Головин.

[547] Сноски: 547

Влево пошел Адам Вишневецкий, вправо, к реке Москве, Хруслинский, а сам Рожинский входил по дороге между зарослями.

го поляками обоза: польская челядь уже успела ограбить его в то время, как польские товарищи дрались с войском царя Василия. Поляки привели в свой лагерь одного знатного пленника — князя Василия Мосальского. Из страха он присягнул вору и обещал служить.

Дела царя Василия шли плохо и в других местах. Рожинский, когда шел к Волхову, отпустил отряд под предводительством Лисовского в Рязанскую землю. В этом отряде был всякий сброд из польских владений да еще донские казаки и московские воровские люди. Лисовский занял Зарайск. Мятеж против Василия распространился по Рязанской земле. Пронск стал за Димитрия. Прокопия Ляпунова ранило пулей в ногу. Удача в Рязанской земле зависела от этого человека: куда вел он рязанцев, туда и шли они. Когда он не мог уже быть в деле, все пошло дурно в Рязанской земле. Брат его Захар приступил было к Зарайску и был разбит. Лисовский набрал много пленных, а другие из побежденного войска добровольно покинули оружие и пристали к нему. Над убитыми рязанцами Лисовский приказал насыпать холм в память своей победы. Войско Лисовского увеличилось тогда воровскими людьми из украинных городов Московского государства и простиралось

уже до тридцати тысяч.

Из-под Зарайска Лисовский пошел на Коломну. Этот город был взят приступом. Боярин князь Владимир Долгорукий достался в плен; Лисовский взял с собой коломенского владыку Иосифа и двинулся к Москве. Царь выслал против него войско под начальством князя Куракина[548].

На дороге между Москвою и Коломною, на Медвежьем броде, встретились они с Лисовским. Битва была упорная. Лисовский был разбит, потерял наряд; много пленных из его отряда взято. Освободили владыку Иосифа и Долгорукого. Лисовский убежал в Тушино в беспорядке. Но приход его все-таки усилил Димитрия, потому что с ним прибежало много людей, годных в бою. Коломна была освобождена, и царь приказал укрепить ее; это был важный пункт для охранения Москвы и сообщения с юго-востоком.

В Москве расположение умов способствовало тому, чтобы спор между Василием и призраком Димитрия тянулся сколько возможно долее. В Москве больше, чем где-нибудь, было знавших

---

[548] Сноски: 548

Распределение было таково: в большом полку — князь Иван Семеныч Куракин и товарищ его Григорий Григорьевич Пушкин; в передовом — боярин князь Борис Михайлович Лыков и князь Григорий Константинович Волконский; в сторожевом — чашник Василий Иванович Бутурлин.

наверное, что того Димитрия, который царствовал, нет на свете, и потому Москва не могла скоро передаться ведомому обманщику всем городом, особенно когда этот обманщик шел с ненавистными для Москвы поляками. Но большая часть Москвы не любила и Шуйского. Поэтому те из москвичей, у которых совесть была полегче, как только увидали, что двое называются царями — один в Москве, а другой под Москвою, в Тушине, то и заключили, что из такого положения дела можно извлекать собственную пользу, и не стали затрудняться крестным целованием, данным Шуйскому, а переходили в Тушино, когда находили это для себя выгодным. Под стать было бегать туда простым людям: царик тушинский по необходимости должен быть казаться царем черни; но знаменательно было то, что к нему стали переходить и знатные люди. Еще когда царик со своим полчищем подходил к столице, трое князей, служивших в войске Скопина-Шуйского: Иван Катырев, Юрий Трубецкой и Иван Троекуров, были обвинены в измене и сосланы, а их товарищи казнены. После ходынского дела уехал в Тушино стольник князь Димитрий Тимофеевич Трубецкой, человек ограниченных способностей, но знатного рода. С ним поехал один из князей

Черкасских, Димитрий Мамстрюкович, и по их примеру другие, носившие высокое звание — князь Алексей Юрьевич Сицкий, князья Иван и Семен Засекины, многие стольники и стряпчие поехали туда же; на них глядя, поехали с поклоном к Димитрию дьяки и подьячие. Отъехали тогда к царику из Посольского приказа первый подьячий Петр Алексеев Гребенев, с ним два подьячих — Ивашки Виригина дети Ковертевы[549]. Москвичи стали пугаться и подумывать: как им быть, если город возьмет Димитрий. «И впрямь, видно, он настоящий, когда к нему чиновные люди идут?» — говорили кое-где в народной толпе. «Что же? Бояре и дворяне учинили смуту, а не мы; они подняли народ, людей царских перебили, самого царя прогнали, а мы ничего не знаем: так и скажем!» — «Да, — заметил кто-то, — он такой разумник и ведун, что как на кого взглянет, так и узнает: виновен ли тот или нет!» — «Беда! — сказал какой-то удалец. — Я вот этим ножом пятерых поляков слуг зарезал»[550].

Войско «вора» каждый день усиливалось новыми охотниками, приходившими из польских

---

[549] Сноски: 549
Хроногр. Арх. Ком. — Никон. Летоп., 96–102. — Marchock., 21, 36.

[550] Сноски: 550
Petr., 218.

владений. Прибыл некто Бобровский с гусарскою хоругвью; потом Андрей Млоцкий с двумя хоругвями — гусарскою и казацкою; потом Александр Зборовский и Выламовский. У них было у каждого до тысячи конных. Наконец, разнесся слух, что идет в Тушино на помощь и Ян Петр Сапега, староста усвятский, знаменитый богатырь и воитель. Его осудили в отечестве за буйство, а он, не подчиняясь приговору суда, набрал толпу вольницы всякого рода и повел ее в Московское государство. Его дядя канцлер Лев Сапега не одобрил такой затеи, но удержать его не мог. Чувствуя себя царем черни, царик держался равенства в обращении с сообщниками. «У нашего царя, — говорит современник, — все делается как по Евангелию: всех равняет он на службе»[551]. Вначале тому не противились; но, как стали приставать к вору породистые люди, возникли споры о старшинстве, зависть и соперничество.

Недолго можно было обманывать народ надеждами на небывалые льготы. У самозваного Димитрия или, лучше сказать, у Рожинского, который всем заправлял, не много было денег: доставалось только по тридцати злотых на че-

[551] Сноски: 551
Marchock., 37.

ловека. Недостаток казны решили пополнить сбором дани с Северской земли, которая повиновалась имени Димитрия. Для сбора этой дани послано по два человека с отрядами: один московский человек, другой поляк. Куда они приходили, там народ начинал чувствовать, что льготы царя Димитрия состоят больше на словах, чем на деле.

IV. Переговоры с новыми польскими послами и отпуск их. – Увольнение пленных поляков. – Мнишек и Марина в воровском таборе. – Признание Мариною «вора» первым своим мужем

Вероятнейшим способом избавиться царю Василию от тушинского соперника казалось — уладить дело с поляками, утвердить мирный договор и чрез посредство польских послов удалить поляков, служивших «вору». Посланники царя Василия воротились из Польши в 1607 году. За ними отправились в Москву послы польские — Волович и князь Друцкий-Сокольницкий. Пребывание русских послов в Польше обещало мало надежд. Пока они доехали до польской

столицы, в каждом городе принуждены были терпеть оскорбления. Приставы предостерегали их, что их могут убить. Польша была сильно раздражена за убийство и грабежи над поляками в Москве. Московские послы слышали повсеместные крики о войне и мщении Москве. В столице их держали почти под стражею и не допускали до представления королю, пока не кончился сейм. Им говорили, что это делается потому, что тогда съехалось в Варшаву много родственников и друзей убитых в Москве и потому положение их небезопасно. Когда послы жаловались на стеснение, им напоминали, что польские послы и оставшиеся в живых паны задержаны в Московском государстве. Наконец их допустили к Сигизмунду. Представление ограничилось обычными церемониями. После того назначили панов для переговоров с ними. Тут оказалось, что дело чересчур запуталось и невозможно было решить его мирно. Послы, по наказу, сваливали появление названого Димитрия на поляков, а поляки оправдывали себя тем, что московские люди сами признали его истинным Димитрием. Поляки обвиняли московских людей за убийство своих единоземцев, требовали выпуска задержанных послов и возвращения ограбленным торговцам

их имуществ. Московские послы насчет последнего дела отзывались, что им не дали об оном уполномочия, и жаловались в свою очередь, что новые воры находят себе в Польше поддержку. Паны по этому поводу говорили им напрямик: «Если ваш государь отпустит сандомирского воеводу с товарищами и всех польских людей, которые теперь у вас на Москве, то не будет ни Дмитрашки, ни Петрушки. А если ваш государь их не отпустит, то Дмитрашка будет Димитрий царь, и Петрушка будет царевич Петр, и наши станут с ними заодно».

Послы уехали из Польши, ничего не добившись, и могли только привезти известие, что вслед за ними будут польские послы в Москву.

Узнавши, что московские послы воротились, задержанные в Москве послы Олесницкий и Гонсевский требовали, чтоб их отпустили. Но приставы сказали им на это, что им следует ждать, пока приедут из их отечества новые послы. Олесницкий и Гонсевский вышли из себя, отзывались неуважительно о московском правительстве и царе, кричали: «Нет правды ни в вашем государстве, ни в ваших боярах!», обращались грубо с приставами. Посольские люди кричали московским людям: «Быть вам на ко-

льях с боярами и с вашим государем!» Но как ни горячились они, все-таки остались в почетной неволе[552]. Это не мешало им, однако, по обычаю ссориться и между собою. В посольском дворе была чрезвычайная теснота: человек до трехсот в нем помещалось. Для их духовного утешения москвичи позволили быть с ними вместе отцу иезуиту Савицкому и с ним какому-то бернардину. Так как в числе задержанных поляков было много православных, честимых схизматиками, и диссидентов, то ксендзы стали обращать их к лону римско-католической церкви; от этого поднялись споры и диспуты, и дошло до того, что диссиденты хотели было убить ксендзов, насилу послы успокоили волнение[553].

Так поживали они и дожидались, пока прибыли новые польские послы. Это было уже осенью 1607 года. Олесницкий и Гонсевский стали тогда просить отпуска и представляли, что теперь уже нет повода их держать — новые послы приехали. Царя не было тогда в Москве. Управляющий столицею брат его, князь Димитрий, не только не выпустил их, но еще выговаривал за то, что они

---

[552] Сноски: 552
Моск. Арх. Иностр. Дел. Дела Польск., № 26.

[553] Сноски: 553
Ann. Societ. Jesu, 1608, стр. 732.

отзываются дерзко о царе, и в виде наказания уменьшил им корм. К этому побудило тогда еще одно событие. Русские, доставлявшие живность в посольский двор, между другими предметами продовольствия доставили туда барана, до того исхудалого, что на нем оставались только кожа да кости. Один из польской прислуги облупил этого барана и повесил тушу его над воротами, чрез которые обыкновенно входили в посольский двор русские. Это сочтено было за оскорбление, наносимое вообще поляками целому московскому народу. Когда уменьшено было продовольствие, выдаваемое посольству, послы и их свита жаловались боярам, но не получили удовлетворения. Тогда все поляки, находившиеся в посольском дворе, пришли в негодование и решились взяться за оружие, с тем чтобы или пробиться через русский караул и освободиться из неволи, или пасть всем в битве. Как ни старались образумить и успокоить их ксендзы, ничто не помогало — и отец Каспар Савицкий с бернардином стали приготовлять их к смерти молитвословиями и исповедью. Отслушавши напутственное богослужение, поляки выстроились на посольском дворе, вывезли экипажи, вывели лошадей, вооружились одни верхом, другие

пешими. Московская стража, увидя это, доносит властям. Отправляется отряд стрельцов к посольскому двору. Между тем быстро разлетается по Москве слух, что поляки хотят бежать, а для того, чтоб сделать это возможным и отвлечь русских, затевают произвести пожар. Уже и прежде, при каждом пожаре, которые в Москве в тот год были часты, разносилось подозрение, что поляки жгут город. Теперь такой слух привел народ в исступление. Раздавались крики: надобно идти на посольский двор и перебить всех поляков. Но до кровавого столкновения не дошло. Сначала объяснился с послами стрелецкий голова, а потом двое бояр, высланных из царской думы. Послы объявили, что они только недовольны тем, что посольство помещено в тесноте и его худо кормят. Кроме того, они домогались, чтоб государь сообщил им срок, когда они будут отпущены; донесено было властям. Тогда послам объявили, что они будут отпущены в непродолжительном времени вместе с новоприбывшими польскими послами, а до той поры будет им выдаваемо прежнее содержание. Поляки на время успокоились. Событие это произошло 12 (22 н. с.) ноября 1607 года. С той поры стали поляки терпеливо ждать желанного отпуска в отечество, но пришлось им

ждать еще довольно долго[554].

После прибытия царя Василия Шуйского начались переговоры с новыми польскими послами. Долго домогались они, чтобы к переговорам допущены были прежние задержанные послы. Московские бояре упирались против этого. Никак не могли сговориться: московские бояре подали польским послам на письме обвинительные статьи против польского короля и панов, а польские послы давали им на письме ответ, где оправдывали своих и обвиняли во всем московских людей. Польские послы оправдывались главным образом тем, что никак не поляки посадили на престол Димитрия, а сами московские люди, недовольные тиранством Годунова, привели его к себе и признали коренным своим царем. «Разве, — говорили они, — не князья, бояре, воеводы и все дворяне послали к нему в Путивль, проводили до Орла, а оттуда до Тулы, — и там приехали к нему из Москвы на поклон, не связанные, а добровольно ваш нынешний государь Василий Иванович, другие Шуйские, Мстиславский и ты сам, князь Воротынский, и все знатнейшие дворяне, бояре и лучшие люди… Ведь у вас, кроме

[554] Сноски: 554
Велевицкий, перев. Муханова, стр. 196–200.

бояр, князей и дворян, было сто тысяч войска. Зачем же не поймали тогда Димитрия? Ведь наших было каких-нибудь несколько сот…»[555]

Они старались очистить от всего не только короля своего и польскую нацию вообще, но даже Мнишека и его родственников; отрицали, будто Мнишек принял от Димитрия запись на Смоленск и Северскую землю, сомневались даже и в записи, данной его дочери на Новгород и Псков. Впрочем, они извиняли воеводу, если б и так было, как показывают бояре, потому что всякому отцу дозволительно, отдавая дочь замуж, думать о ее обеспечении.

Бояре выставляли им на вид, будто Мнишек сам сознавался, что Димитрий действовал по наущению короля и панов рады.

«Не мог, — отвечали послы, — воевода и сенатор говорить такую небылицу на короля. А если б и так было, то он говорил по принуждению, по вашей воле. Что же это за свидетельство?» Они опровергали многое очень ловко и искусно: так, например, когда бояре объяснили, что царица Марфа признала сыном Гришку Отрепьева потому, что он грозил ей смертью, паны заметили,

---

[555] Сноски: 555
Suppl., 425.

что это невозможно: если б он убил ее за то, что она не хотела признать его сыном, то тем самым показал бы всем, что он не истинный Димитрий, а самозванец. «Вы держите ее в руках, в неволе, и делаете с нею что хотите, — так она и говорит по вашему приказанию». Приходилось защищать и Афанасия Власьева, которого бояре называли вором. Послы вспоминали, что этот Афанасий Власьев не раз ездил от прежних царей послом в Польшу и к императору, и заключали из того, что после того нельзя и распознать, кто из московских людей вор и кто честный человек. Относительно обвинения короля и польских панов в намерении искоренить в Московском государстве православную веру польские послы уверяли, что в польских владениях ненарушима остается греческая вера, а папа в Италии дозволяет строить церкви, где отправляется богослужение по восточному обряду. Вместе с тем заметили, что в Польше духовенство греко-русской веры пользуется бóльшими правами, чем в Московском государстве; польский король не смеет лишить сана митрополита и епископа Русской церкви, а в Московском государстве цари по своему произволу сменяют и назначают своих архиереев.

Москвичи обвиняли воеводу и прибывших с

ним поляков, будто они затевали побить бояр и захватить власть в Московском государстве.

Послы против этого указывали, что воевода и другие приехали на свадьбу с таким числом людей, с каким невозможно покорять больших городов. «Вы взводите на поляков, — говорили послы, — будто они ругались над образами, привязывали к поясам кресты, ходили в церковь с оружием, брали у москвичей насильно жен и дочерей и причиняли московским людям различные оскорбления. Что большая часть взведенного на поляков — сущая неправда, видно из того, что у поляков образа в таком же уважении, как и у русских; если кто мог позволить себе что-нибудь подобное, то разве лютеране; нам неизвестно, были ли лютеране в числе приехавших с Мнишеком; но, во всяком случае, в Московском государстве есть много своих лютеран, и прежде всего надобно поискать виновных между последними. Если в самом деле происходили какие-нибудь бесчинства от некоторых польских людей низкого звания, то воевода и другие паны никак не постояли бы за них и наказали бы виновных; нужно было только указать на таких преступников. Правда, люди наши приходили в церковь с оружием; но это потому, что они

не знали здешних обычаев; следовало бы вам прежде огласить это, тогда поляки бы не посмели поступать в чужой стороне противно обычаям. Они знают, что в чужую землю ездят не со своими обычаями, а затем, чтоб чужие обычаи узнать».

Поляки уверяли, будто им неизвестно, были ли диссиденты в числе приехавших с Мнишеком, но они тогда хорошо знали, что их было довольно.

Всего более паны протестовали против задержания Олесницкого и Гонсевского: эти паны, как послы, ни в каком случае не должны быть оставляемы в чужом государстве. В заключение всего послы требовали отпуска воеводы и других панов и вознаграждения награбленного имущества у торговцев.

Послы домогались, чтоб им дозволили видеться с воеводою, и не хотели продолжать переговоров. Бояре долго упорствовали. Сношения прекратились. Новые послы, находясь в Москве, стали, подобно старым, чувствовать себя в неволе.

Но тут подступал к Москве Димитрий. Войска Шуйского постыдно убегали. Столице угрожала беда. Надобно было уступить. И вот приказано было привезти воеводу с дочерью и иных поляков из ссылки.

Мнишек с дочерью, с сыном, братом и племян-

ником и толпою слуг проживал все это время в Ярославле. Пленным панам дали там для помещения четыре двора: в одном помещался старик воевода, в другом — Марина со своими дамами, в третьем — сын Юрия, староста саноцкий, в четвертом — брат Юрия со своим сыном. Первые три двора находились рядом и соединялись между собою. Они стояли возле самого вала полуразвалившейся крепости. Четвертый двор был поодаль от них. Немалочисленный «оршак» панов разместили по разным дворам посадских, поблизости к панским помещениям. Туда же заслали купцов, задержанных и ограбленных в Москве. Пристава наблюдали за пленниками, берегли их, чтобы они не убежали; но вообще поляки жили довольно льготно. Сначала большую часть лошадей у них отобрали, оставив только немного, но потом позволили продать их русским. Пленникам не запрещали носить оружие: был случай, что один слуга выстрелил в русского стрельца. Содержание им шло от казны вообще нескудное; сверх всяких припасов — баранины, говядины, рыбы — им давали пиво и вино. Летом 1607 года часть прислуги, именно 53 человека, отправили в Польшу; с ними же выехали и девять купцов, потерявших безвозвратно то, что

у них отнято было в Москве, и то, что следовало им в уплату за забранные Димитрием товары. Из прислуги не дозволено был уезжать людям шляхетской породы. «А иной из нас, — говорит современник, — рад был в то время холопом назваться, лишь бы избавиться от неволи и уехать на родину». Не обходилось без столкновений с русскими. Пристава жаловались, что поляки ведут себя нагло, между собой и со стрельцами дерутся и пытаются убегать. Присланному на следствие воеводе Михайлу Михайловичу Салтыкову посадские люди, напротив, доносили, что сами эти приставы делали жителям всякие насилия, не спуская женскому полу. Однако жалобы на намерение пленных поляков бежать оказались тогда справедливыми. Дворжицкого, содержавшегося в Ярославле с тридцатью семью человеками, за умысел бежать сослали в Вологду и там держали построже на скудном пропитании. Нередко русские, разгулявшись, не пропускали случая загнуть полякам какую-нибудь загвоздку. Однажды, например, польские слуги ехали за водою. Толпа русских напала на них, и один сидевший на коне хлестнул плетью поляка, который вез воду, и закричал: «Вы, б..... дети, со своим расстригою наделали нам хлопот

и кровопролития в земле нашей!» Строго было запрещено передавать полякам вести; несколько раз стрельцов приводили к крестному целованию по этому делу, но, по замечанию поляка, присягнуть хлопу все равно что ягоду проглотить. Паны слышали все, что тогда рассказывали по Московской земле о спасении Димитрия; их веселили вести о том, что Московское государство возмущается против царя Василия Шуйского, что войска его разбиваются, что многие чают пришествия Димитрия. Между прочим, их навещал и ободрял один католический монах августинского ордена, замечательной судьбы человек. Странствовал он лет двадцать по Индии, проповедуя католичество; был в Персии, получил от шаха проезжую грамоту в Россию и возвращался чрез нее в Европу. Это было в царствование Бориса. Московское государство не жаловало католических проповедников; его за что-то схватили и сослали в Соловки. Названый царь Димитрий, узнав о нем, приказал привезти его к себе. Был он родом испанец, и через него царь хотел завести сношение с Испанией. Он был в дороге, когда Димитрия убили. Царь Василий велел отправить его в Борисоглебский монастырь близ Ростова. Отсюда этот монах (по имени Николай де Мело)

завел с Мнишеками тайную переписку, он надеялся впоследствии через Мнишека получить благосклонность польского короля и сообщал ему разные утешительные вести о Димитрии[556]. Так проживал воевода со своей родней в Ярославле до июня 1608 года. Тогда воеводу, Марину, их свиту, родственников привезли в Москву. Как только новые послы переговорили с Мнишеком и его родственниками, то со своей стороны стали уступчивее. Неволя слишком надоела пленникам: они умоляли послов своих поскорее чем бы то ни были покончить, до поры до времени, с Москвою. Бояре домогались возобновления двадцатилетнего перемирия, заключенного Борисом. На это послы не согласились: решиться на долговременное перемирие значило бы оставить дело оскорбления своих соотечественников. Взаимная нужда сблизила споривших. Послы уверяли, что когда отпустятся прежние послы и задержанные паны, то дастся приказание полякам, находящимся в Тушине, отойти от вора.

В июле обе стороны порешили наконец между собою на том, что переговоры будут продолжаться впоследствии с целью заключить мир или

---

[556] Сноски: 556
Hist. Russ. Mon., II, 193.

по крайней мере двадцатилетнее перемирие, а пока ограничиться на короткий срок прекращением вражды. Двадцать пятого июля составили перемирный договор на три года и одиннадцать месяцев. Воеводу сандомирского с дочерью и всех поляков, задержанных во время убийства бывшего царя, следовало отпустить и дать им все нужное до границы; воевода же обязывался не называть вора Лжедимитрия зятем, и Марина должна была отказаться от титула московской царицы. Послы должны были требовать, чтоб Рожинский и все поляки, служившие «вору» без королевского позволения, отошли от него немедленно и вперед не приставали бы к бродягам, которые станут называться царевичами. Рубеж оставался в прежнем виде. С обеих сторон договор утвержден присягою[557].

Послы и с ними задержанные прежние послы были отпущены в половине августа. Но Мнишек успел как-то дать знать в Тушино, что они едут, и изъявил желание, чтоб их перехватили. С поляками отправились в провожатых князь Владимир Тимофеевич Долгорукий с тысячью ратных людей. Так как нельзя было ехать пря-

[557] Сноски: 557
Моск. Арх. Иностр. Дел. Дела Польск., 27.

мо на Смоленск, то поехали на Углич, оттуда на Тверь, а из Твери на Белую. Послы и воевода благополучно проехали Углич, Тверь, стали уже приближаться к Белой. Рожинский послал в погоню отряд под начальством Александра Зборовского и Стадницкого; с ними поехал и отряд московских людей под начальством князя Василия Мосальского, недавно присягнувшего «вору». От имени царя Димитрия отправился Валавский, носивший у «вора» название канцлера. В тушинском лагере рассуждали и так, и иначе. Взять Марину и привезти в лагерь могло быть, с одной стороны, полезно, с другой — опасно. Нельзя было поручиться, что Марина согласится играть роль жены и признавать обманщика за прежнего своего мужа; зато если б можно было расположить ее к этому, то сила самозванца возросла бы через то. Поляки согласились отправить за ними погоню только для того, чтоб русские повсюду узнали, что царь покушается возвратить себе жену, но в самом деле у них было даже желание, чтоб этого не случилось, чтобы казалось, будто царь хотел воротить свою супругу, да не успел; главное, лишь бы слух пошел, что царь посылал за женою. Димитрий написал грамоты в города, признававшие его: в Торопец, Луки, Заволочье,

Невель, о том, что отпущены из Москвы литовские пани и паны; повелевалось их задержать и посадить под стражу[558]. Валавский отправился с полком своим и с умыслом приостановился, чтоб не дойти до конвоя, за которым следовали Мнишек с дочерью. Мнишек и Олесницкий, конечно, предуведомленные, желая, чтоб их нагнали и взяли, в селе Верховье остановились, упрямились, не слушали конвойных, медлили нарочно, чтоб дать время и возможность воровским людям догнать их. За Валавским шел Зборовский, но и тот совсем не надеялся, чтобы можно было догнать их, хоть пошел за ними будто в погоню, — и, сверх ожидания и желания, под деревнею Любеницами наткнулся на них 16 августа. Многие из бывших с князем Долгоруким для провожанья Марины и Мнишеков детей боярских — вязьмичи, смоляне, дорогобужане — с дороги самовольно разбежались и потом разъехались по своим поместьям. У Долгорукого оставалось мало людей; он не мог защищаться: не выдержал напора. Русские ушли. Паны достались своим. В числе их был и посол Олесницкий. Гонсевский уехал прежде иною дорогою и уже перебрался за границу.

---

[558] Сноски: 558
Акт. ист., II, 121.

Недалеко оттуда, в Цареве-Займище, стоял Ян Сапега с семью тысячами удальцов, собравшихся с ним идти на Москву. Сапега уже известил Димитрия, что он идет к нему на помощь, а Димитрий уже послал ему грамоту, где обещал пожаловать его так, как у него и на уме нет, но требовал, чтоб он, проходя чрез московские земли, не велел своим ратным людям грабить и насиловать русских жителей. В это время Марина, страшась за неизвестность своей судьбы, решилась отдаться под защиту Сапеге.

29 августа Сапега приехал к ней в Любеницы и на другой день привез ее в Царево-Займище, а на следующий день двинулся в путь к Тушину. Марина ехала с панами: посланники за нею ехали особо от Сапеги, хоть рядом с ним. В селе Сорокинках 1 сентября явился к ней пан Заблоцкий от имени Димитрия, поздравил с освобождением и приглашал к супругу. В Можайске ее встречали с хлебом-солью, как свою государыню[559].

Она не видела трупа Димитрия, ей могло казаться возможным, что он, как ее уверяли, спасся от смерти в страшное утро 17 мая 1606 года, и потому Марина, сидя в карете, была весела и

---

[559] Сноски: 559
Diar. Sapiehy.

пела. Подъехал к ней кто-то и сказал: «Вы, Марина Юрьевна, веселые песенки распеваете — оно бы кстати было веселиться, если б вы нашли в Тушине вашего мужа; на беду, там не тот Димитрий, который был вашим супругом, а другой». Марина, услышавши это, начала плакать. Тут подъехал к ней один из главных панов, кажется, Зборовский, и спросил: «Что вы так грустны? Вам следует веселиться, вы скоро приедете к вашему супругу». — «Мне говорят совсем иное», — сказала Марина. «Кто сказал вам иное?» — спросил пан. По известию немецкого летописца[560], сказавший Марине правду был польский шляхтич, и когда пристал к нему пан — тот увертывался и говорил: «Я не утверждал, что Димитрий не прежний, а сказал, что в лагере говорят, будто он не прежний». Это не помогло ему, его связали и в Тушине с ним разделались. По известию поляка, бывшего на службе у тушинского вора[561], Марине объявил об этом первый князь Мосальский. Могло быть, конечно, что, услышавши прежде какой-нибудь намек от шляхтича, она спрашивала Мосальского, а тот объявил ей истину. Как

[560] Сноски: 560
Bussow, 21.

[561] Сноски: 561
Marchock., 39.

бы то ни было, женское чувство возмутилось — Марина стала упрямиться и отбиваться.

8 сентября, приближаясь к Звенигороду, Марина ехала в своей карете, окруженная войском, уже как пленница. В Звенигороде она простояла два дня; предлог был — присутствовать при переложении мощей[562]; но в это время она все упрямилась, паны старались ее уломать. Тут Мосальский, объявивший ей, что она встретит в Тушине другого Димитрия, а не прежнего своего мужа, увидел, что ему несдобровать, и убежал к Шуйскому. Марину повезли далее: она горько плакала и жаловалась на свою судьбу.

11 сентября (1 ст. ст.) привезли ее к Тушину. Верст за десять выехали к ней двое панов с поздравлениями. Поезд следовал далее; виднелся табор — от него было всего две версты. Тогда явился к царице Рожинский, извинился за царя, что он сам не выехал навстречу, потому что нездоров, и приглашал Марину в обоз. Но Марина кричала, что не поедет ни за что. Везти ее насильно нельзя было, затем что нужно было, чтобы все видели нежную радость супругов при свидании. Остановились на берегу Москвы-реки, на сухом лугу,

---

[562] Сноски: 562
Собр. гос. грам., II, 339.

против табора. Зборовский и Стадницкий уехали к своему царику, а Сапега принялся уговаривать Марину играть роль.

Марина слышать не хотела. Через несколько часов Зборовский, посоветовавшись с цариком, снова приехал и приглашал ехать к царику сандомирского воеводу. Мнишек поехал с Рожинским. На другой день поехал, по приглашению Зборовского, к царику Олесницкий. Какими глазами взглянули в первый раз Мнишек и Олесницкий на нового Димитрия — неизвестно; но, должно быть, не поддались сразу. Олесницкий, представившись Димитрию, обедал не у него, а у Рожинского. 15 сентября (5 ст. ст.) Мнишек еще раз поехал к царику. «Это он хочет узнать, истинный ли он Димитрий», — говорили поляки. В другое посещение Мнишек сошелся с вором. Новый претендент на звание Димитрия обещал Мнишеку триста тысяч рублей и в полное владение Северскую землю с четырнадцатью городами. Что в этот день Мнишек поддался и соблазнился на обещания вора и, со своей стороны, продал ему дочь, показывает то, что на другой день самозванный Димитрий уже осмелился приехать к царице. Марина, как только увидела его, отвернулась от него с омерзением и была

очень рассержена за то, что он осмелился явиться к ней в качестве супруга. Паны надеялись, что она обойдется, оставили ее под стражею, а Сапега стал показывать царику свое войско.

Между тем в Москве от Мосальского узнали, где очутился сандомирский воевода с дочерью, и отправили в Тушино Василия Бутурлина и князя Прозоровского. На переговоры с ними вышли Мнишек, оба брата Вишневецких и Рожинский; к сожалению, не осталось подробностей этих переговоров, известно только, что они ничем не окончились. С послами Шуйского паны обходились дружески[563]. Сам Мнишек впоследствии, когда в Польше на него были обвинения, уверял, что в то время он советовал московским людям отдаться польскому королю и Речи Посполитой. Но этому показанию нельзя придать большой веры.

Паны достигли своего и при помощи нежного родителя уговорили Марину. К их голосу присоединил свой голос иезуит, уверяя, что на все должно решаться для блага церкви. Так наконец Марина согласилась играть комедию, но с условием, что называвший себя Димитрием не

---

[563] Сноски: 563
Diar. Sapiehy.

будет с нею жить как с женой до тех пор, пока не овладеет Москвою. Есть известие, что иезуит даже обвенчал их тайно для успокоения совести.

В то же время и посол Сигизмунда успокоил свою совесть: царик дал ему грамоту на владение городом Белою, и на другой день, 19 сентября (9 ст. ст.) вместе с Олесницким приехал в одной коляске в обоз к Марине. Послуживши, таким образом, со своей стороны обману, Олесницкий на другой же день (10 сентября) уехал из табора. С ним собрались в отечество многие из бывших в плену с 1606 года и большая часть женского двора Марины, но едва они уехали верст пятнадцать от обоза, как разнесся слух, что Шуйский послал татар перерезать им путь. Тогда от страху большая часть бежала назад в табор, но Олесницкий сказал, что не вернется назад, что бы с ним ни случилось. Он благополучно добрался до Польши.

В тот же день, проводивши Олесницкого, Сапега торжественно, с распущенными знаменами повез Марину в воровской табор и там, посреди многочисленного войска, Димитрий и Марина бросились друг другу в объятия… плакали, восхваляли Бога за то, что дал им снова соединиться. Многие умилялись, смотря на такое трогательное зрелище, и говорили: «Ну как же после этого не

верить, что он настоящий царь Димитрий?!» Шляхтича, который говорил на дороге Марине, что в Тушине другой Димитрий, посадили на кол.

После этого паны на радостях несколько дней праздновали и пировали. Рожинский угощал Сапегу, Сапега Рожинского. Оба вождя поклялись в вечной дружбе и поменялись саблями в знак побратимства. Сапега пьяный посетил царицу в ее новом жилище в таборе и до того нагрузился, что, ворочáясь от царицы, упал с лошади и ушибся. Царик также делал пиры, но не умел угодить полякам. Они говорили: «Его московские кушанья грубые, простые; медов и лакомств дает мало и скупо; настоящее итальянское угощение!» Вдобавок их покоробило, когда «вор» пил за здоровье Сигизмунда III, короля польского, и назвал его своим братом. «Это он на Господа Бога хулу произносит!» — говорили поляки.

Не всем можно было зажать рот. Из поляков очень многие знали, что происходило перед тем; знали, как Марина упрямилась и не хотела признавать бродягу за своего прежнего мужа; весть об этом распространилась в войске, и, по сознанию соучастника и очевидца, прибытие Марины вначале скорее подорвало веру в дей-

ствительность царя Димитрия, чем укрепило ее. Но большинству и не нужно было, чтоб он был тот самый, который царствовал прежде. На него смотрели как на орудие, ему вовсе и не желали царствования, а рассчитывали, что именем его можно свергнуть Шуйского, отомстить за оскорбление поляков и поживиться на счет Московского государства, а там — будь что будет. Совершенно невероятным казалось, чтоб на престоле усидел тот, которого никто из видевших первого Димитрия не мог считать за одно лицо с ним. Вероятно, и Марина вытребовала у него условие жить с ней не по-супружески оттого, что считала этого человека нужным только до времени[564].

Мнишек прожил около четырех месяцев в тушинском лагере, а потом уехал в Польшу. Он, как

[564] Сноски: 564

Тем не менее католическая пропаганда хотела тогда воспользоваться для своих видов на будущее время путаницею в Московском государстве и считала, как видно, возможным, что называвший себя Димитрием в самом деле может царствовать на московском престоле. Написан был проект, которого значительная часть дошла до нас, хотя во многих местах в испорченном виде; он писан был на польско-латинской смеси и разделен на параграфы. Шестой (первых пяти мы не видали) толкует о том, что московский царь не имеет права на цесарский титул, но подает ему надежду приобрести с условием принятия унии титул королевский, а впоследствии даже императорский. Внушается предложение, что по поводу распространения ереси в Неметчине австрийский дом может потерять цесарское достоинство и можно передать его тому, кто отличится в ревности к защите Римской церкви. Седьмой — чтобы государственные должности в Московском государстве давались не по роду, а по вниманию к заслугам, с целью

таким образом проводить унию (ad scopam unionis) и так устроить, чтоб как государь свой королевский титул, так думные люди сенаторский титул получали по вниманию к унии, чтобы сенаторские титулы следовали за государским и все исходило бы от верховного первосвященника; надлежало затем обещать туземцам всякие преимущества в постановленных судах, советах и пр., лишь бы склонялись к унии. В восьмом и девятом говорится об отдалении духовных и бояр от царя. Вместо них следует приблизить людей годных и верных, но прежних не забывать совершенно, а допускать к себе из них попеременно; не следует делать частых угощений, ибо это, кроме издержек, довело до настоящей трагедии. Над думными, удаленными от двора, следует наблюдать и запрещать им собрания. Пункты десятый, одиннадцатый и двенадцатый предлагают средства к устроению двора и обереганию особы царской. «Надобно удалить огромное число стольников и заменить их простыми и учтивыми людьми; таким образом, и царица может соблюдать польский образ жизни без поразительного изменения старинных обычаев, и сами москвитяне станут это переносить, увидавши, что царица и с нею польские паны едят с тарелок и сами велят себе подавать тарелки. Нужно царю такую стражу, которая бы не пускала никого в Кремль, как прежде было. Чужеземцев выбрать наполовину. В телохранители и комнатные служители выбирать должно католиков, если, как надеемся, введется уния; из москвитян же можно допускать только склонных к унии, которые бы после бесед с нашими людьми хотели слушать наше богослужение и проповеди. Пусть от подданных, а не от государя начнется речь об унии, а сам государь будет в этом деле скорее посредник и судья, чем деятель и поощритель. Между нашими много таких, которым нравы возбудили ненависть москвитян; надобно, чтоб находящиеся при царе и царице католики не навлекали укора святой вере и унии. Полякам следует раздавать самые ближайшие придворные должности, а москвитянам почетнейшие. Поляки должны брать слуг и мальчиков из москвитян, а царица также из московских домов должна брать к себе во двор

молодежь как мужского пола, так и женского. Поляки с собой, если можно, пусть возьмут из Москвы в Польшу детей знатных фамилий, чтоб изменить их нравы и религию, да и для верности». Тринадцатый параграф говорит коротко о том, что следует делать тайный розыск о тайных заговорщиках и соучастниках, наблюдать за приближенными, чтоб знать, что кому нужно доверить. В четырнадцатом — о назначении особ для приема челобитен. В пятнадцатом говорится, что канцелярские дела должны производиться на отечественном, а не на латинском языке, но царю должно держать около себя знающих латинский язык, непременно католиков, а не ариан или каких-нибудь других еретиков. В параграфах с шестнадцатого до двадцатого включительно — об обеспечении царицы: «Она должна иметь около себя достойных священников; сенаторы и подданные вообще должны ей принести присягу в послушании; один список этой присяги должен быть в Польше: думные люди за своими подписями должны дать ей в вено пограничные области, куда чиновники назначались бы ею; сверх того, ей следует купить маетность в польских владениях по соседству с теми, которые ей уступлены в Московском государстве». В двадцать первом предлагается перенести, хотя на время, столицу из Москвы поблизости к границе польской в следующих видах: 1) удобнее пригласить чужеземное войско и получить помощь от союзников; 2) в случае переворота царице удобнее убежать в Польшу с сокровищами; 3) мир московский лучше будет уважать царя, когда он в отдалении; 4) об унии легче вести переговоры, также строить семинарии для обучения московского юношества и отправлять молодых людей в Вильно или куда-нибудь в другое место ради изменения веры и нравов. Далее в списке, нам известном, опять перерыв: видно, что тут следовал проект водворения европейского просвещения в Московском государстве, из которого остались некоторые пункты. Предлагается искоренение предрассудков, происходящих от невежества, которое так велико, что простые люди не имеют понятия, что такое грех и вера, не знают десяти заповедей; пастыри невежды, ничему не учат и сами ничего не

знают, проповеди не говорят, исповедывать не умеют; нужно завести училища, водворить воспитание людей науки, юристов, медиков, политиков, историков, богословов, ораторов, математиков, людей, способных к посольскому делу; обратить имения духовенства на добро отечества, на воспитание юношества и на поддержание убогих и пр. В дальнейших статьях видно, между прочим, что проект этот списан еще до гибели царевича Петрушки или по крайней мере тогда, когда еще не знали достоверно о его гибели. Говорится, что сын старшего брата Димитрия имеет более его прав на престол по первородству, но это должно расположить Димитрия к принятию унии, потому что тогда за ним, как за правоверующим, останется первенство. Вслед за тем идет пространное рассуждение о том, что царю выгодно будет принять унию. В конце проекта приложен способ, как вести дело унии. Предлагаются следующие средства: «...запретить еретикам приезжать в Московское государство, выгнать скитальцев чернецов, прибывающих из Константинополя с турецкими переводчиками, заградить путь к козням польской Руси, ибо от этой Руси сталось кровопролитие, так что сам царь едва ушел и возникла большая, чем прежде, ненависть к унии; надобно знать, с кем говорить, и уметь молчать, когда требует этого дело; держать при царе очень мало католических духовных, а письма о предметах веры писать и посылать осторожно; не заговаривать самим об унии с ними, а стараться, чтобы сами схизматики стали делать предложения первые не об унии, а о разных преобразованиях в религии; к этому же можно их побудить, начавши следствие о бывшем заговоре, где участвовали духовные, и таким образом дойдет дело до преобразования клира в учении и нравах. Следует возбудить вопрос, справедливо ли им зависеть от царьградского патриарха и откуда его власть над ними. Отчего под этой властью у них молодежь не учат, как у еретиков и в иных краях, хотя у духовенства большие доходы, да только они не идут на духовное воспитание и образование к славе Божией и к просвещению душ человеческих. Отчего нет наук, как было при св. Василии, Златоусте, Николае и других святых отцах, которые

и сами были ученые люди, и других учили, и повелевали учиться. Видно, латинский костел лучше, когда там так много людей достойных, знающих языки еврейский, греческий и разные науки: право, историю, риторику. Нужно бы им по примеру древних патриархов, которые жили еще до разъединения церквей и прежде турецкого господства, ввести преобразования веры и нравов, завести семинарии, коллегии, следует для примера приводить в сравнение порядок Римско-католической церкви, указывать на ошибки в уставах и правилах, о чем давно уже константинопольские патриархи, как Герберштейн пишет, посылали требовать исправления ошибок, противных греческой церкви и соборам, которых восстановления они принимают, и поэтому установить закон, чтоб все было постановлено по образцу соборов и греческих отцов церкви и чтобы устройством занимались люди, расположенные к унии, а таким путем нападут они и на утаенные доводы о первенстве римского первосвященника, о чем теперь они противное утверждают. По этому поводу начнутся у них споры; пошлют они депутатов к государю, а государь собор назначит, а там, при Господней помощи, и к унии можно будет приступить. Но прежде всего нужно соборными постановлениями и сочинениями греческих отцов церкви указать им их заблуждения: в чем они отступили от церкви. На высшие духовные должности надлежит поставить людей, расположенных к унии, что легко сделать царю: духовных подманивать привилегиями, светских — достоинствами; народу внушать, что ему облегчится работа и дается свобода, какая существует в римской церкви, что слуги у господина не вечны; всем припоминать неволю греков: праведно было бы их освободить; об этом надлежит помышлять Московскому государству, потому что оно оттуда получило веру, а для этого нужна уния с христианскими государями. На этот же конец, пусть при царице будут находиться искусные священники, которые должны указывать суть дела, соображаясь с течением времени, письменно и словесно, отнюдь не преувеличивая ничего: из них один пусть будет грекоуниат, а то хоть и два. Следует призвать ученых, хотя бы светских, для

учреждаемых семинарий, чтоб учили философии; следует отправить под каким-либо иным предлогом молодых людей учиться в Вильно или же туда, где вовсе нет схизматиков, напр. в Италию, в Рим, в греческую семинарию; а равно хорошо было бы, если б господа поляки набрали с собою здешней молодежи и отдали в Польше учиться отцам иезуитам. Такие воспитанники могли бы многое учинить, будучи одного языка и одной нации с москвитянами, да и господам полякам будет великая заслуга. Немедленно надобно построить костел или монастырь в Москве ради царицы и находящихся там поляков, а московитянам не следует запрещать слушать наше богослужение, тем более что у них еретикам дозволено иметь свой собор. Но паче всего надлежит следить за ходом настоящего предприятия возвратить царю потерянное государство; если та же сила, которая возвратит ему государство, будет охранять его особу, то вот и готово основание для унии, особенно когда государю необходимо будет утвердить свою власть, а на это потребна уния, как сказано». Этот проект находится в рукописи позднего списка в библиотеке Красинских. Другой список, также поздний — в Архиве иностранных дел.

кажется, не мог решиться в Польше объявить тушинского вора одним лицом с прежним своим зятем. Современный стихоплет, писавший в тот самый год, говорит, что воевода, возвращаясь из неволи в свой Самбор, заезжал в польский обоз под Москвою, но не нашел там царя. Между Мнишком и дочерью возникли холодные отношения. Через несколько времени Марина писала отцу[565]: «Я нахожусь в печали как по причине вашего отъезда, так потому, что простилась с вами не так, как бы хотела; я желала получить из ваших уст родительское благословение, но, видно, я того недостойна». Она просила простить ее, если когда-либо она по глупости, молодости или по злости оскорбила отца. Но ответа не получила Марина. Просила она черного бархату на постное платье, просила хлопотать о делах своих, но проходили месяцы — Мнишек не писал к ней, и в конце августа 1609 года Марина умоляла отца написать и жаловалась, что, несмотря на множество писем своих, она не получила никакого ответа и что только от чужих узнавала об отце. Видно, Мнишек, сообразив, что дело Тушинского вора в Польше не может обратиться в его пользу,

[565] Сноски: 565

От 23 марта 1609 года (Собр. госуд. грам. и дог., II, 359). Ранее того есть ее письмо от 26 января 1609 года (ibid., 353).

прикидывался там, как будто не участвует в обмане и не одобряет поступков дочери, и, таким образом, покинул ее совершенно на произвол судьбы.

V. Обращение Шуйского к шведам. – Картина тушинского табора. – Виды Сапеги на Троицкий монастырь. – Битва при Рахманцах. – Московские и тушинские перелеты

В печальных обстоятельствах Шуйский решился обратиться к чужой помощи. Еще в 1607 году шведы предлагали Московскому государству содействие и пособие. Выборгский комендант писал королевскому воеводе князю Мосальскому и предлагал помощь. По приказанию Шуйского ответ был дан не только отрицательный, но надменный: «По Божией милости у нас все служат великому государю царю и великому князю Василию Ивановичу, и нет никакой розни между нами и вперед не будет; а вы, неведомо каким воровским обычаем, пишете такие непригожие и злодейские слова». Воевода, скоро после того отпавший от Шуйского, уверял, что у государя

московского есть многие собственные рати и он не нуждается в наемных. Чрез несколько времени король шведский, зная печальное положение России, послал гонца к самому царю. Правительство московское решилось скрывать от соседей свою беду, притворяться сильным. Царь в то время стоял под Тулою против Болотникова. По его приказанию бояре в Москве говорили шведскому гонцу, будто царь пошел в поход против крымского хана. Вообще московские бояре отнеслись тогда вежливо к шведам, благодарили короля за предложение помогать, но уверяли, что в их государстве нет такой смуты: если и были воры и разбойники, то их уже побили. «Объявляем, — было сказано в ответ, — что недруга у нас никакого нет, а хотя какой пограничный государь и помыслит какую недружбу начать, нам это не страшно: мы помощи чаем от единого Бога, и самому тебе известно, что у нашего государя многие несчетные русские и татарские рати»[566].

Но когда Тушинский вор стал под Москвою, когда с каждым днем прибывали к нему польские дружины, юг отпал от царя, на востоке города стали колебаться, в самой Москве стали думать

[566] Сноски: 566
Дела шведские. Архив Иностранных Дел.

и так, и иначе, — тогда Шуйский вспомнил о шведской помощи и отправил князя Михайла Васильевича Скопина-Шуйского в Новгород, чтоб оттуда начать переговоры со шведами. Новгород держался крепко Шуйского; была надежда на этот город и его землю. Можно было собрать ополчение, а между тем Скопин должен был послать посольство в Стокгольм и уговориться насчет присылки шведского войска.

Войско царика, стоя в Тушине, увеличивалось беспрестанно приходящими поляками. Большая часть этого войска состояла из сбродных команд, составленных на свой счет панами или же служивших каждая на свой счет — товариществом; к ним собирались шляхтичи и назывались товарищами; как вообще делалось в польском войске, такая команда составляла конфедерацию, устанавливала правила, как поступать и вести себя, и все обязывались присягою повиноваться избранному предводителю. Сверх товарищей в обозе было множество пахолков и слуг. Конные воины носили название гусар, панцирных и казаков. Гусары были вооружены длинными копьями, которых концы волочились по земле, почему они назывались влочнями; на этом копье, воткнутом у луки седла, привешен был двухцветный значок.

Кроме копья, у гусар был палаш, называемый тогда концер, и маленькое ружье. На голове у него был железный шишак, на теле сетка: у одних сетка была из плетеной проволоки, у других из железных колец, а у многих были панцири из блях; на ногах — полусапожки с особенным родом шпор, называемых гусарскими; на лошадях у них гусарские седла накладывались на звериные шкуры, у знатных леопардовые, у пахолков заячьи и волчьи; для красы приделывали к бокам коня большие орлиные крылья. Казацкое оружие было короткое копье, полгак и секира. Сабли были равномерно и у гусаров, и у казаков. Любимый цвет жупанов или внутренних одежд был белый, а верхний плащ, накинутый сверх вооружения, был голубой или синий. Таков был наружный вид поляков, служивших тогда в Тушине. Запорожцы, вооруженные самопалами и копьями, узнавались с первого взгляда по широким красным шароварам, черным киреям и большим бараньим шапкам. Донцы и московские люди были одеты чрезвычайно разнообразно, смотря по состоянию, и отличались издали по своим колпакам, высоким воротникам и собранным в складки длинным рукавам. Многие из них были вооружены луками и колчанами со стрелами

за плечом. Пестрота была чрезвычайная как в одежде, так и в нравах, и в речи. Всего более должна была бы слышаться там речь южнорусская, потому что из Южной Руси было больше половины народу. Всего войска в Тушине было: поляков до 18 000 конницы и 2000 пехоты, да сверх того запорожских казаков тысяч тридцать и донских пятнадцать. Затем следует прибавить московских людей неопределенное число. Сами предводители не знали, сколько их было, ибо одни убывали, другие прибывали. Главная сила «вора» была в казачестве, которое стремилось к ниспровержению прежнего порядка и к установлению казацкой вольницы. У казаков, постоянно поддерживаемых приливом всего, что не уживалось в Польше, Литве и Московском государстве, образовался, хотя неясно и неопределенно, свой образец общественного строя: отсутствие родовитости и равенство по происхождению, отсутствие писаного закона и замена его волею общества, выборная власть и выборный суд, и затем — личное право каждого идти куда угодно. Все это сходилось с задушевными желаниями черни.

Наступила осень. Стали поляки думать, как им зимовать. Некоторые советовали стать около столицы в волостях; другие представляли, что

разделить таким образом силы опасно; большинство положило на том, что следует остаться зимовать на том самом месте, где они стоят. Тогда начались постройки, и Тушино стало обращаться в город очень быстро. Построили из хвороста с соломой загоны или конюшни для лошадей. Для людей вырывали землянки и в них устроили печи. Те, которые были познатнее и побогаче, привозили из ближних сел и деревень избы и ставили их себе в обозе; у иных были и погреба при избах. Для царя и царицы построили просторное помещение. Тушино сделалось и местом торговли: набралось купцов тысяч до трех; они стояли особым обозом от военного, и там продавалась всякая всячина. «Гультаи» жили весело и шумно; водки и пива было разливное море, как говорится. Ротмистры отправлялись по окрестностям, приказывали курить вино и варить пиво на войско, и русские поневоле все это на них приготовляли. Поляки поселялись в селах и гоняли русских на винокурни и пивоварни, а собираемые запасы отправляли в табор: туда привозили печеные хлебы: житные боханами, а пшеничные калачами и булками, масло, соль, овес. Для мяса гнали в Тушино быков, баранов и гусей. Игра в карты и кости забавляла гультаев и

доводила их до драк и убийств: это также разнообразило жизнь. С панами были целые псарни, и они гонялись за зверьми по окрестным лесам, которых в то время было изобилие. Но более всего веселили жизнь воинов Димитрия женщины. Их было там множество. Туда из Литвы, Польши и Московского государства стекались толпами распутные женщины, почуяв лакомую жизнь. Сверх того удальцы хватали русских жен и девиц: отцы и мужья приходили просить их возвращения, а жолнеры не иначе отпускали их, как за деньги, да еще часто так, что возьмут деньги, а женщины не отпустят и говорят, что не получали денег, да в другой раз возьмут и отпустят за деньги, потом гонятся за отпущенными — и снова отнимут, и говорят, чтоб в третий раз внесли деньги и снова надобно выкупать. Сами женщины нередко осваивались с жизнью в лагере, привязывались к молодцам, и когда мужья и отцы выкупали их, то они сами бежали из дому и вешались на шеи любовников. «”Ох, — кричали они, по выражению современника, — вы — свет-благодетели!” Были они, — говорит он[567], — очарованы волшебством, и оттого изгарали сердца их». Такой

[567] Сноски: 567
Палиц., 40.

вид получило Тушино в конце осени.

Сапега хотя и подружился с Рожинским, но честолюбие не позволяло ему признавать его власть, да и чью бы то ни было. Он вызвался взять Троицкий монастырь. Это было важно для видов поляков. Троицкий монастырь стоял на дороге из Москвы в заволжский край; по этой дороге привозили в Москву запасы; по этой же дороге в тушинский лагерь должно было доставляться продовольствие. Овладеть этой дорогой значило обратить в свою пользу главный продовольственный путь и затруднить его неприятелю. Поэтому, даже не взявши Троицы, было выгодно поставить под монастырем войско, чтоб не допускать подвоза к столице. Взять монастырь было выгодно в двух отношениях: во-первых, монастырь был богат; приманчиво было завладеть его сокровищами и деньгами, но еще более он был важен в нравственном отношении: это было самое святое место Московского государства. Монастырь был за Шуйского и поддерживал падавшее его значение на Руси. Архимандрит Иосиф и келарь Авраамий Палицын рассылали по Руси грамоты, возбуждали верных стоять за царя Василия и не доверять прельщениям обманщика. В Новгород, в Вологду, на край студеного моря, в страны по-

волжские, в Казань, Нижний Новгород и даже в далекую Сибирь достигали их послания, и если где русские колебались отпасть от Шуйского, то часто именно потому, что Сергий и Никон чудотворцы — за него; ополчения шли к Москве и, проходя мимо Троицы, заходили в обитель: там получали благословение и ободрение; монастырь не жалел своих сокровищ на пожалованье ратным людям, содержал у себя ратную силу и кормил ее на свое иждивение. Святых Сергия и Никона народное верование считало дароватeлями побед. Димитрий вырос бы высоко, если б в этом монастыре вместо Шуйского молились за него и желали добра ему.

Ближайшим поводом к походу под Троицу тогда послужило то, что монахи, вышедши из стен своей обители и из лесов, нападали на гонцов, отправляемых от имени Димитрия по русским землям. Летописец повествует, что Сапега говорил: «Царь Димитрий Иванович! Стужают твоему благородству эти седые грай-вороны, гнездящиеся в своем каменном гробе! Они нам делают всякие пакости. Слух носится, что ждут князя Михайла Скопина со шведами; когда они придут, то займут Троицкую твердыню и могут быть вам опасны. Пока еще они не окрепли, пойдем

смирим их; а если не покорятся, то мы рассыпем по воздуху их жилища».

Под Троицу отправился Сапега со своими *сапежинцами*, и к нему пристал Лисовский, у которого было тысяч до шести казаков, разного сброда Московской земли удальцов из украинных стран[568].

Переметчики донесли в Москву, что к Троице идет Сапега, и государь тотчас послал в погоню за Сапегой войско под главным начальством брата своего Ивана. Сапега уже был недалеко от Троицы, в селе Воздвиженском, как услышал, что московское войско идет за ним; он поворотил назад и дошел до деревни Рахманцы. Произошла битва; сначала московские люди, бывшие с Лисовским, отступили перед своими земляками;

---

[568] Сноски: 568

В дневнике Сапеги так пересчитывают отделы войска, пошедшего под Троицу:
Два корнета, казаков по сту в каждом.
Хоругвь казацкая, полк Буйавского 100 конных.
Сотня пехоты голубой (одежды).
120 конных пятигорских Дзевалтовского.
Пана Мирского 100 конных,
Пана Колецкого 150 конных.
Две хоругви пехоты по 250 (красной).
Полк гусаров под двумя хоругвями 250 конных.
Пятигорцев 200 конных.
Казаков под двумя хоругвями 250 конных.
Лисовский с москвитянами 6 000.

Полк Яроша Стравинского, копейники 500 конных.
Полк Марка Валамовского 700 конных.
Полк казаков 200 конных.
Весь полк пана Сапеги с пушками.
Полк пана Микулинского, копейников 700 конных, казаков 300.

потом передовой полк московского войска под начальством Григория Ромодановского сцепился с казаками; подались и казаки. Но потом Сапега двинулся сам с гусарами и пятигорцами и поправил свое дело. Сторожевой полк Федора Головина дрогнул, смешался, побежал, напер на большой полк, и тот пришел в беспорядок. Русские были разбиты совершенно. Поляки преследовали их до села Братовщины. Только князь Григорий Ромодановский, у которого тогда убили сына, показал, говорит летописец, «храбрость и дородство». Тогда победители нахватали пленных, и в числе их поляков, которых целая хоругвь служила Шуйскому[569].

Сапега, отделавшись от неприятеля, повернул назад по своей дороге и на другой день, 23 сентября, дошел до Троицы.

Эта новая потеря еще более повредила Шуйскому. В его войске были новгородцы, псковичи, дворяне и дети боярские заволжских уездов. От беспрестанных неудач они потеряли надежду; они услышали, что в разных краях Руси бродят поляки, что уже многие города отступились от Шуйского, — и они самовольно разъехались по

[569] Сноски: 569

Ник. лет., VIII., 101. — Diar. Sapiehy. — Hist. Dmytra falszywego. Ист. Библ., I, 142.

домам. Трудно было удержать их, когда они боялись за оставленные семейства и каждую минуту могли опасаться, что противная сторона отмстит на их женах и детях за их службу Шуйскому. Нельзя было поручиться, чтобы край, сегодня верный Шуйскому, не изменил ему завтра. Шуйский, говорит летописец[570], видел, что над ним гнев Божий. Шуйский то обращался к церкви и молитве, то призывал волшебниц и гадальщиц, то казнил изменников, то объявлял москвичам: «Кто мне хочет служить, пусть служит и сидит в осаде; а кто не хочет, пусть идет теперь же; а оставшись, пусть после не бегает: я никого не силую». — «Мы все готовы помереть за дом Пресвятые Богородицы!» — кричали ему москвичи. Никто не осмелился явно сказать, что не желает Шуйскому служить: боялись, что Шуйский хочет только этим путем узнать своих недоброхотов. Все целовали крест на верность царю, но очень многие на другой день после того бежали в Тушино. Не то чтоб тут была какая-нибудь вера в Димитрия; не всех и ненависть к Шуйскому побуждала бежать. Многие так поступали ради пробы выгод. Побывавши в Тушине, ворочались

[570] Сноски: 570
Хроногр. Арх. Комисс. — Ник. лет., VIII, 101.

в Москву, а потом, поживши в Москве, снова ехали в Тушино. Послужат Димитрию — воротятся к Шуйскому; потом опять едут, признают вора Димитрием, а когда у Димитрия им надоест, приезжают снова с повинною на верную службу Шуйскому. Для ратных людей ни Димитрий, ни Шуйский не имели авторитета законности; и тот и другой давали жалованье; получив жалованье от Шуйского, беглецы получали жалованье в Тушине, а потом ворочались, выпрашивали прощение и служили Шуйскому, пока им давалось жалованье от Шуйского; и так случалось, что иной москвич раз пять или шесть бегал из Москвы в Тушино и ворочался назад. Москвичи торговцы привозили из Москвы в Тушино и припасы, и одежду, и лекарства, брали за это хорошие деньги, и Тушино было в изобилии, а Москва день ото дня терпела недостаток; только московские торговцы, разживаясь в Тушине, сберегали копейку про черный день. Происходило по нескольку раз целование креста: беглец, пришедши в Тушино, целовал крест царю Димитрию; когда ворочался с повинною, то целовал крест царю Василию. Таких называли перелетами. Удостоверившись в их непостоянстве, поляки и казаки не стали дорожить ими и презирали

их. Чувства долга не оказалось в наличности. Родственники и даже родители отпускали таким образом своих кровных, говоря: «Если возьмут Москву, нам будет легче, когда родня наша служит в Тушине». Очень много бежало к царику холопей. Тогда-то, вероятно, чтоб приманить отходящих от вора, установлен закон, что холопи, убежавшие от своего господина воровством, если ворочались и приносили вину свою, то их следовало отпускать на волю, а не отдавать прежним господам[571].

От этого действительно многие возвращались от Тушинского вора; но зато многие и бежали к вору именно для того, чтоб снова потом воротиться и получить от царя Василия Шуйского прощение и свободу.

Царь Василий хоть постоянно казался милостивым и прощающим, но не раз и казнил недоброжелателей. Между виновными попадались и невинные. Царь не смел трогать только тех, которые были посильнее: им прощалось многое такое, за что казнили других неважных. Никто не уважал царя; им играли как ребенком (говорят современники), точно так же как

---

[571] Сноски: 571
А. И., II, 115.

в Тушине обращались с царем тушинским. У последнего, как сталось изначала, всем управлял, всеми повелевал Рожинский. Явились было недовольные его властью и хотели снова поставить гетманом Меховецкого. Несмотря на то что на Меховецкого наложено было бáндо, он находился тогда в войске. На это смотрели снисходительно, пока не узнали, что его готовят на место Рожинскому. Тогда Рожинский стал искать его, чтоб убить. Меховецкий ушел к царику; Рожинский взял четырех слуг, бросился в царскую избу и при глазах царика приказал убить баннита. Царик оскорбился, гневался, а Рожинский закричал на него: «Молчи, а не то я и тебе голову сорву!» Царик должен был терпеть и повиноваться: если он нужен был для поляков, то и сам он без поляков не мог существовать.

VI. Успехи вора. – Псков. – Борьба богатых с бедными. – Признание Димитрия. – Переяславль. – Суздаль. – Углич. – Ростов. – Плен митрополита Филарета. – Ярославль. – Поволжские города, Владимир, Шуя, Балахна, Арзамас и другие признают Димитрия. – Верность Шуйскому Нижнего, Смоленска. – Колебание Новгорода. – Удаление и возвращение Скопина. – Убийство Татищева. – Поражение Кернозицкого

В Московской земле дело названого Димитрия на короткое время пошло было успешно. Еще в июле покорились на имя Димитрия пограничные Литве города Невель, Заволочье, Великие Луки. По соседству с ними, в Литовской земле в Усвятском старостве, был сбор охотников идти на Москву под начальством Сапеги. Своевольные литовские люди врывались в эти уезды, делали грабежи и насилия, уводили в полон людей; многих убивали и замучивали. Великолуцкий наместник Федор Плещеев, ревностный поборник вора, враг Шуйского, приводил ко кресту

жителей этих городов; присягали по станам и волостям дворяне, дети боярские и все служилые люди, старосты и целовальники волостей, и приказчики, все посадские и крестьяне. Они думали, что после того перестанут на них набегать литовские люди. Но их покорность не прекратила этих набегов, и после того Плещеев должен был ходатайствовать перед усвятским подстаростою, чтоб он не дозволял людям из Литвы делать нападения на эти уезды.

За Великими Луками отпали от царя Василия Псков и все пригороды. Внутренние обстоятельства общественной жизни во Пскове совпадали с этим отложением. Псков во многом имел тогда еще особую физиономию. Нигде на Руси не осталось столько следов старой удельно-вечевой жизни, как в этом городе. В эпоху падения его свободы из него не было такого большого вывода жителей в низовские страны, как из Новгорода, следовательно, там старые привычки и предания переходили от дедов и прадедов в их поколения. Порядок самоуправления посадов и волостей при Иване Васильевиче дал остаткам старины жизнь и движение. Псковичи сходились во всенародную избу, как в древности на вече. Одно только не делало похожим эти сходки на веча былого

времени: это — произвол царских наместников, которые дозволяли многое одним на счет других, мирволили богатым, потому что получали от них взятки. Таким образом, в городе образовались две постоянно враждебные стороны: одна — богатых и значительных, другая — бедных и простых. Присланный воеводою Петр Шереметев и дьяк Иван Грамотин держали сторону знатных и богатых гостей и сделались ненавистны мелким людям. Они побрали себе в кормленье дворцовые села, отягощали крестьян, заставляли в Пскове мастеровых на себя работать. Псковская земля обложена была тяжелыми поборами; раскладка велась неправильно, так что тягость падала на бедных, а богатые выгораживали себя при помощи начальства. Вскоре после приезда в Псков Шереметева царь потребовал со Пскова девятьсот рублей. По всей справедливости, этот побор должны были нести богатые гости, «мужи славные, кипящие богатством, мнящиеся пред Богом быть великими людьми» (по выражению летописи[572]); но при содействии воеводы раскладка сделана была так, что сбор этот припал на весь Псков, и в том числе на бедных людей и на вдов;

[572] Сноски: 572
Псковск. лет. П. С. Р. Л., IV, 322.

а бедных, разумеется, было более, чем богатых. По поводу этого дела во всенародном собрании поднялся ропот. Гости дали совет Шереметеву отправить главных крикунов с деньгами в Москву, как будто в качестве выборных, и написать тайно, что эти люди не хотят добра царю, что сбор производился только с гостей, а мелкие люди не хотели ничего давать. Таких подстрекателей к неповиновению выставлено пять человек[573].

Их отправили неправильно уже потому, что следовало миром выбрать тех, которые поедут в Москву с деньгами; а Шереметев без выбора послал их по своему распоряжению. О них написали в Новгород, что как только они приедут, то посадили бы их в тюрьму как изменников, потом отправили бы в Москву. Но один из этих пяти, Ерема Сыромятник, услужил Шереметеву тем, что работал на него безденежно. Шереметев хоть и послал его с прочими, но не поместил его имени в числе тех, кого следовало засадить. Итак, в Новгороде посадили в тюрьму, а потом отослали в Москву вместо пяти только четырех человек. Ерема же убежал назад во Псков и рассказал народу, какую хитрость делают гости. Весь

[573] Сноски: 573

Самсон Тихвинец, Федор Умойся-Грязью, Ерема Сыромятник, Овсейка Ржова, Ильюшка Мясник.

Псков заволновался; псковичи требовали суда над главными семью гостьми, что дали совет послать пятерых на гибель. Шереметев не мог оборонить этих гостей, да и не хотел; он посадил их в тюрьму и вымогал с них большие взятки за то, что не выдаст их народу, а в Москву принужден был написать в пользу четырех, что из-за них сделалось во Пскове смятение, и если их казнят, то простой народ побьет за них гостей.

В Москве в то время четырех обвиненных во Пскове вывели на смертную казнь. Тогда бывшие в Москве псковские стрельцы всем приказом подали челобитную, ручаясь, что эти люди не изменники, и выражались так: «Наши головы в их головы!» Осужденных отпустили во Псков. Приехавши туда, они подняли на богатых уже и без того раздраженный черный народ; злоба накипела на Шереметева, а от него перешла и на царя Василия. Он казался для них царем знатных, больших и богатых, и потому они готовы были пристать к тому, кто, в противоположность Василию, скажется царем меньших, черного народа. Таким именно царем и явился тогда Димитрий. Укротивши Болотникова, царь Василий прислал во Псков двумя посылками, одну за другой, более четырехсот человек пленных севрюков.

Псковичи приняли их сочувственно, поили их, кормили, одевали и плакали, глядя на них как на страдальцев за народ, тогда как в Новгороде, напротив, подобных присланных туда пленников поколотили палицами и бросили в Волхов. По псковским пригородам народ более, чем во Пскове, ненавидел царство Василия. Даже дети боярские, люди не земские, а служилые, негодуя на Шереметева, расположены были пристать к другому царю. Этим воспользовался Плещеев и в 1608 году послал стрельцов приводить к присяге Димитрию пригороды; Себеж, Опочка, Красный, Остров, Изборск присягнули Димитрию. Дети боярские в своих поместьях вооружили крестьян за Димитрия. Шереметев послал было на них ратную силу, составленную из дворовых своих, владычных и монастырских людей, с сыном своим Борисом. Но эта рать сама едва ушла от пригородцев. Плещеев занял Ржев и оттуда вступил в Псковскую землю. Псковские пригороды и волости составляли ополчение и приставали к нему. Плещеев начал собирать кормы на войско царя Димитрия и строго приказывал не грабить жителей, требуя от них всех целовать крест Димитрию. В то же время Шереметев и Грамотин, его дьяк, собирали с крестьян около Пскова так-

же кормы и подымщину на имя царя Василия, жестоко мучили на пытках тех, которых брали в плен, как присягнувших Димитрию. «Зачем мужик крест целует?» — говорили они им. Но когда крестьяне волостей, отданных в кормленье Шереметеву и Грамотину, пришли к ним и спрашивали, что им делать, то воевода и дьяк, чтоб сохранить от разорения волости, которые им давали доходы, сами велели мужикам целовать крест Димитрию.

Народ попался между двух огней: там его приневоливали к Димитрию, а тут — к Василию! Но во имя Василия на него тяжелее налегали. Тут прислали еще новгородцы уговаривать псковичей стоять вместе с ними против «вора» и обнадеживали их, что скоро придут «немцы» (т. е. шведы) на помощь. Это известие, вместо того чтобы успокаивать псковичей и удерживать под властью царя Василия, только волновало их и вооружало против Василия. «Немцы» вообще оставили по себе неприятное предание для Пскова издревле. Старинные распри и беспрестанные битвы Пскова с «немцами» еще не выдохлись из народных воспоминаний. Псковичи кричали: «Не хотим немцев, не дадим немцам разорять наших волостей!» Большие и богатые псковичи,

уповая на свою силу, презирали убогих и меньших и не ходили во всенародную избу; простые псковичи и стрельцы собирались там сами; к ним приходили толпы поселян, шумели, толковали, что не следует служить «немцам». Среди такой неурядицы Плещеев с пригородными силами подошел к городу и стал у Образа на поле. Тут прибежал во Псков некто Богдан Неведреев с товарищами. Это были беглые из Москвы дети боярские. Они сообщили псковичам, что войско Шуйского разбито наголову под Волховом; царь Димитрий идет на Москву и, верно, овладеет ею, а в Москве злобятся на псковичей; из Пскова прислан туда донос об измене на семьдесят человек посадских, главных коноводов. «Как новгородцы с немцами придут, — говорил пришедший из Москвы, — тотчас Шереметев станет казнить и посадских, и стрельцов!» Шереметев, держась богатых и знатных, хотел было навести страх: ловил «заводчиков», пытал их, сажал в тюрьмы. Для крепости он построил новые тюрьмы с оградою. «Вот, — говорили псковичи, — теперь и темницы поставили с оградою; прежние были без ограды!» Через несколько времени явился во Пскове агент Димитрия, стрелецкий голова Огибалов; с ним пришли псковитяне и пригородские стрельцы.

Они принесли от Димитрия грамоту, сложенную мудрым словом, по выражению летописца[574].

Грамота стала расходиться в народе; волнение усиливалось. Шереметев поймал Огибалова, посадил в тюрьму, а товарищей его и стрельцов разослал из Пскова — пригородных в пригороды, а псковских в стрелецкую слободу, за реку Мирожу. Но эта мера только помогла мятежу, потому что давала стрельцам удобнейший случай; они пристали к Плещееву. Шереметев созывал псковичей и спрашивал: «Что у вас за дума, скажите мне?» — «У нас никакой думы нету, — отвечали ему псковичи, — только немцев мы не хотим и за то помрем!»

Лето проходило. Толпы теснились в осаде, кроме посадских и стрельцов там были поселяне. Собрания день ото дня становились бурнее. Псков (выражаясь словами летописи) разделился надвое: одни, не доверяя Димитрию, готовы были еще держаться царя Василия, другие надеялись, что за Димитрием будут они избавлены от властительских насильств; тогда было все исполнено мздоимания и грабежа, всякая правда вывелась из Пскова, всякая добродетель потоптана и пре-

---

[574] Сноски: 574
Псковск. лет. П. С. Р. Л., IV, 324.

дана неправде, лжи и лукавству: властители умножили воров и обманщиков, поклепщиков, подметщиков, грабителей — кормильцев своих; им числа не было, и многих совратили они с правого пути; не оставалось праведным места, где прожить[575]. Думали, что с новым царем будет лучше. Вспоминалось короткое льготное время при первом Димитрии, и возникали надежды.

Когда таким образом волновался город, 1 сентября 1608 года разнесся по городу слух, что «немцы», которыми давно пугали псковичей, подошли к городу и стоят на Устье у Николы. Это так взволновало всех, что уже никак нельзя было удержать толпы.

Все закричали, что передаются Плещееву. Сторонники вора отворили великие ворота, народ посыпал в поле, и у церкви Алексея — Божьего человека начали псковичи целовать крест царю Димитрию.

2 сентября вошли плещеевские ратные люди в город, и на другой день совершилось крестное целование Димитрию от всего города. Всех сидевших в тюрьме севрюков, присланных Шуйским, выпустили с честью, накормили, одели и отпра-

---

[575] Сноски: 575
Псковск. лет. П. С. Р. Л., IV, 325.

вили под Москву. Плещеев объявлен воеводой в Пскове. Псковичи послали с повинною к царику в Тушино. Вслед за тем началась поголовщина. Собирали ратных и отправляли на помощь Димитрию, собирали деньги и запасы. Тогда досталось богатым гостям. Прежде мирволил им Шереметев; теперь они-то и должны были платить и содержать ратных.

Вслед за Псковом Иван-город покорился Димитрию. В Орешке Михайло Глебович Салтыков признал тушинского царика.

Города Восточной России с прихода вора под Москву поддавались ему быстро один за другим, и притом так, что как скоро признает его царем город — вслед за тем признает его и весь округ, который к городу тянет. Город был средоточием своей земли; жители приписанных к городу пригородов, станов и волостей привыкли повиноваться городу: оттуда рассылались приказания и распоряжения, туда доставлялись подати, и город платил и отвечал государству за всю землю или область; если происходило какое-нибудь всенародное совещание, то в том же городе; город земле указывал; жители в своих селах, деревнях, починках не рассуждали о том, как исходит управление над ними сверху из Москвы: для

них достаточно того было, что город их велит им делать то и другое. Поэтому когда говорилось о городе, то за малыми исключениями разумелся и весь уезд его.

Первым[576] сдался Переяславль-Залесский с его уездом, куда тотчас нахлынули ратные люди царика. Игумены тамошних монастырей поспешили покорностью вымолить себе от Димитрия грамоты, охранительные для их имений[577]. Потом в Суздале какой-то Меншик Шипов убедил жителей целовать крест законному царю Димитрию. Архимандрит Галактион пристал к нему, и пример архимандрита подействовал на тех, которые еще колебались. 14 октября[578] весь уезд вслед за городом признал царя тушинского.

Сапега, стоя под Троицею, заправлял сдавшимися городами; он в октябре отрядил в Суздаль Лисовского, чтобы оттуда приводить к повиновению соседние города. Воеводой назначен был в

---

[576] Сноски: 576
Bussow, 88.

[577] Сноски: 577
Сб. кн. Хилкова, 28.

[578] Сноски: 578
А. И., II, 132.

Суздаль Федор Плещеев[579] и при нем поляк пан Иеремий Боярский[580]. Сам царик от себя послал суздальцам похвальную грамоту.

Сдался Углич. Сапега прислал туда какого-то пана Очковского, который тотчас же начал своевольничать[581].

Ростов упорствовал. Там был митрополитом Филарет Никитич. Он удерживал жителей в повиновении царю Василию Шуйскому. В тушинском лагере, однако, знали, что этот человек не был из числа искренно преданных Шуйскому. Филарета нужно было достать. Прежде ему послали увещания. Он не принял их. Тогда решились достать его силою. Переяславцы собрались с московскими людьми, присланными Сапегою из-под Троицы, и пошли на Ростов. Они напали на него врасплох 11 октября. Филарет тогда вошел в соборную церковь, облачился в архиерейские одежды; народ столпился в церкви. Митрополит приказал протопопам и священникам причащать народ и приготовить к смерти. Переяславцы, овладев

---

[579] Сноски: 579
Ник., VIII, 103.

[580] Сноски: 580
Сборн. кн. Хилкова, 61. — Ник. лет., VIII., 103.

[581] Сноски: 581
А. И., II, 113.

городом, ринулись на соборную церковь. Ростовцы стали было защищать двери, но митрополит подошел к дверям, приказал их отворить, встречал переяславцев и начал их уговаривать, чтоб они не отступали от законной присяги. Переяславцы не слушались, бросились на митрополита, сорвали с него святительские одежды[582], одели в сермягу, покрыли голову татарскою шапкою, посадили на воз вместе с какою-то женкою, конечно, для насмешки, и в таком виде повезли в Тушино. Тогда ограбили церковь, где находились мощи ростовских чудотворцев, изрубили в куски серебряный гроб святого Леонтия и золотое изображение угодника[583]. Довольно людей было перебито при обороне церковных дверей[584].

Димитрий принял Филарета с почетом. Филарет не обличил пред всеми вора, хоть прежнего Димитрия он знал лично очень хорошо и никак не мог теперь ошибиться. «Филарет, — говорит Авраамий Палицын, — был разумен; не склонил-

---

[582] Сноски: 582
Ник., VIII, 104.

[583] Сноски: 583
Bussow, 88.

[584] Сноски: 584
Ник., VIII, 104.

ся ни направо, ни налево[585], и в истинной вере пребыл тверд». Его нарекли патриархом. Димитрий дал ему в почесть золотой пояс, приставил рабов служить ему. По свидетельству иноземца[586], Филарет подарил Димитрию дорогой восточный яхонт, находившийся в его жезле. Но в Тушине все-таки побаивались Филарета, не доверяли ему и подстерегали за каждым его словом и мановением. Было отчего. Признавши первого Димитрия, получивши от него милости, он потом служил Шуйскому, открывал мощи младенца Димитрия, теперь служил второму Димитрию и, конечно, не мог быть ему столько же предан, сколько сам ему был нужен.

Тем не менее именем новонареченного патриарха писались грамоты, и признание Филаретом Димитрия усиливало доверие и расположение к этому новому Димитрию. Филарета считали ближайшим родственником прежней царской династии.

Назначенный в Ростов воеводою Тимофей Биюков, обрусевший немец, и приданный ему в товарищи поляк Николай Яздовский отправили

---

[585] Сноски: 585
Авр. Палиц. Сказ., стр. 51.

[586] Сноски: 586
Bussow, 88.

партию из ростовцев для подчинения Димитрию городов Романова и Пошехонья. В обоих городах служилые, посадские и всякие люди присягнули на имя Димитрия и его матери. Тот же Биюков послал привести на верность Димитрию и Ярославль[587]. Как только распространилась там весть об успехах Димитрия, черные люди взбунтовались, начали угрожать лучшим; многие лучшие бросали свои дома и бежали для спасения жизни. Воевода князь Федор Борятинский, чтоб не быть растерзанным, присягнул Димитрию, выпросивши себе потом от Димитрия маетности[588]. По его примеру англичане и немцы, жившие в этом торговом городе, и некоторые русские торговцы думали было спасти свои имущества признанием вора, присягнули ему с условием, чтоб их не отдавали на грабеж черни. Другие поспешили убраться, захвативши с собою свои имущества и товары. Так как Ярославль слыл городом торговым и богатым, то царик отправил туда Ивана Волынского и Петра Головина с поляками и приказал отписать на государя имущества бежавших, да сверх того послал туда

[587] Сноски: 587
Сб. Хилкова, 17.

[588] Сноски: 588
Сб. Хилкова, 84.

своего стряпчего достать там «красного питья» и других предметов для дворцового обихода. Посланные не могли отписать имуществ бежавших и доносили, что беглецы все забрали с собою, покинувши пустыми свои дворы и лавки[589]. Новые посланные от царя вступили в пререкания с Борятинским о праве власти и управления. С оставшихся жителей собрано было до 30 000 рублей на содержание тушинской рати и на боевые запасы, а жители подверглись тягости содержать гарнизон в 1000 человек, и эти гости позволяли себе там всякого рода грабежи в лавках и в домах обывателей[590].

Местное духовенство спешило высказаться со своею преданностью царю Димитрию. Спасский архимандрит Феофил послал дары царику в Тушино и его гетману Сапеге и очень сожалел, когда по слову Сапеги в Ростове его не допустили совершить пути в Тушино для поклонения царю. Он боялся, чтоб через то не быть от царя Димитрия Ивановича в опале[591].

---

[589] Сноски: 589
Ibidem, 19.

[590] Сноски: 590
Bussow, 88. — А. И., II, 135.

[591] Сноски: 591
Сб. Хилкова, 32.

Взятие Ярославля подействовало на близкие города по Волге и на севере. Покорилась добровольно Кострома; игумены тамошних монастырей, Ипатского и Богоявленского, с кружком местных дворян, детей боярских и посадских людей поехали в Тушино с повинною царю Димитрию, а вслед за тем посланный им нарочно князь Иван Львов приводил к присяге на верность ему жителей Костромского уезда, как разом Ярославского и Пошехонского[592]. В Костроме поставили воеводой князя Мосальского-Горбатого. Покорились Рыбная Слобода, Молога, Юрьев-Поволжский, Галич, Кашин, Бежецкий Верх, Пошехонье, Чаронда, Тверь, Белоозеро, Торжок. Борятинский послал в Вологду письмо и целовальную запись. Чернь заволновалась; воевода Никита Михайлович Пушкин и дьяк Рахманин-Воронов удерживали ее, ничего не могли сделать и, выжидая времени, уступили. Лучшие люди в Вологде для спасения своих имуществ в угоду черни также целовали крест вору. Послали оттуда наказ в Тотьму, — и этого города жители, по современному выражению, «от нужи со слезами крест целовали»[593].

---

[592] Сноски: 592
Ibidem, 22–31.

[593] Сноски: 593
А. Э., II, 188.

Из покорившихся краев посылались к царю Димитрию духовные и светские люди с повинною, а царик приказывал собирать на себя разные столовые запасы и везти в его стан[594].

Во Владимире воеводою был окольничий Иван Годунов. При вступлении Димитрия на престол он вместе со свойственниками Годуновых был удален на воеводство в Сибирь. Казалось бы, если на кого, то на него можно было надеяться. Партия Димитрия, в каком бы виде она ни возрождалась, была прирожденно враждебною всякому тому, кто был близок по крови к Годунову. Этот воевода не мог, как Годунов, быть расположен и к Шуйскому. Шуйский хотел его перевести в Нижний, а на его место посадить во Владимире Третьяка-Сеитова; но Годунов не выехал из Владимира. Сначала он хотел было сопротивляться войскам тушинского царика, но когда Суздаль отпал к Димитрию, а Василий Шуйский оказывал Годунову недоверие, Годунов присягнул Димитрию. Годунов привел ко крестному целованию Владимир[595], поехал сам в Тушино, 13 ноября

---

[594] Сноски: 594
Сб. Хилкова, 24–25. — А. Э., II, 180.

[595] Сноски: 595
А. И., II, 132.

поклонился вору и был им обласкан[596]. Пример Годунова должен был усиливать партию царика и служить новым подтверждением того, что он истинный Димитрий. Впрочем, 16 ноября во Владимире был от царя Димитрия другой уже воевода — Михайла Вельяминов; Годунов оставался в воровском полчище под Москвою[597].

За Владимиром покорились имени Димитрия Шуя, Балахна, Лух, Гороховец, Муром, Арзамас, Шацк[598].

Стали передаваться города и волости на востоке, населенные инородцами. Мордва и черемисы вооружились во имя его. Касимовский царь Ураз-Махмет изменил Шуйскому, признал Димитрия, собирал из низовых князей и мурз ратную силу в пользу Димитрия[599], испросил у него сберегательные грамоты для имений своих и своей родни[600], а впоследствии для сына свое-

---

[596] Сноски: 596
А. И., II, 417.

[597] Сноски: 597
Сб. Хилкова, 26, 57.

[598] Сноски: 598
Сб. Хилкова, 16, 26.

[599] Сноски: 599
Сб. Хилкова, 29.

[600] Сноски: 600
Сб. Хилкова, 47, 63.

го Магмет-Мурата пожалование в собственность Юрьева-Поволжского[601].

Нижний Новгород удержал в повиновении Василию воевода Алябьев. Этот город в то время имел уже важное значение. Он был средним пунктом восточной торговли: тут была главная таможня для товаров, плывших по Волге и, по причине разгрузки, производился обширный торг. Поэтому тут проживало несколько купеческих домов, которые были связаны интересами с московскими гостями, стоявшими за Шуйского. Вообще торговые люди, как люди богатые, были на стороне Шуйского, и потому Нижний, как по преимуществу торговый город, больше чем какой другой город казался преданным и верным царю Василию. Но и из Нижнего многие, принадлежавшие к черни, ушли из города в шайки и ополчались за Димитрия.

Не поддавалась Димитрию Рязань, удерживаемая Ляпуновыми, которые ненавидели Шуйского, но не хотели менять его на вора. Оставались верными царю московскому Смоленск и Коломна.

Новгород был уже близок к переходу на сторону тушинского царика. Михайло Васильевич

---

[601] Сноски: 601
Сб. Хилкова, 59.

Скопин-Шуйский выслал в Швецию Семена Васильевича Головина (своего шурина) да дьяка Сыдавного, а сам хотел дожидаться их в Новгороде. Но он увидал, что новгородцы волнуются. Пример Пскова на многих действовал в Новгороде. Скопин советовался с новгородским воеводою Михайлом Игнатьевичем Татищевым. Они вдвоем сообразили, что во́йска при них немного, и Скопин вышел из города с теми, которые у него были, к Ивангороду; на дороге он услышал, что Ивангород уже отпал от Шуйского. Из отряда Скопина некоторые убегали назад в Новгород. Скопин отправился к Орешку, но в Орешек Михайло Глебович Салтыков, тамошний воевода, не пустил его и объявил себя за Димитрия. Скопину оставалось самому убежать в Швецию, чтобы выпросить иноземных сил и с ними войти в Новгород. Он находился уже на устье Невы, на пути в Швецию, как вдруг явилось к нему из Новгорода посольство. Митрополит Исидор подействовал на новгородцев: они всем городом обещались стоять за Шуйского и пожелали воротить Скопина. За ним послали старост из пяти концов города; догнавши Скопина, они просили его вернуться и целовали крест за весь Новгород. Скопин воротился, его приняли с честью. У молодого пол-

ководца была способность действовать на толпу и направлять ее.

В Тушине услышали, что Новгород, хотевши было отпасть от Шуйского, снова сопротивляется Димитрию. В Тушине разочли, что для этого нужно послать к Новгороду отряд, чтобы своим доброжелателям придать отваги и испугать недоброжелателей. Был послан полковник Кернозицкий с литовскими людьми. Когда он приблизился к Новгороду, в городе сделалось смятение, стали подозревать друг друга в измене. Тогда Михайло Игнатьевич Татищев вызвался идти предводительствовать войском, которое нужно было вести против Кернозицкого. Татищева не любили в Новгороде; его недоброжелатели пришли к Скопину и сказали: «Мы чаем, Михайло Татищев затем идет на литву, что хочет изменить царю Василию и Новгород сдать». Скопин, вместо того чтоб защищать Татищева, собрал ратных людей новгородцев и сказал им: «Вот что мне говорят про Михайла Татищева, рассудите сами!» Недоброжелатели Татищева подняли крик и так вооружили всех против него, что толпа бросилась на него и растерзала…

Скопин похоронил тело его в Антоньеве мо-

настыре[602], а имущество его было продано с публичного торга[603]. Так окончил жизнь этот человек, один из главных виновников убийства сидевшего на престоле под именем Димитрия: прошлое не спасло его от подозрения, чтоб он не мог пристать к новому претенденту на имя Димитрия. Тогда в Московском государстве уже никому не верили, и редкий по совести мог сам за себя поручиться.

Кернозицкий безотпорно приблизился к Новгороду и расположился в Хутынском монастыре. Город заволновался. Лучшие люди, ради спасения от грабежа в случае насильственного взятия города, кричали о сдаче. Но разошелся слух по Новгородской земле, что литва подходит к Новгороду; поселяне стали собираться в ополчение и спешить на выручку городу. В Тихвине составилась рать под начальством Степана Горихвостова, а из Заонежских погостов ополчились крестьяне под начальством Евсея Резанова. Оба ополчения пошли спасать Новгород. Тихвинцы шли вперед и дошли до Грузина. Тут несколько человек из них попались в плен. Литовские люди привели

---

[602] Сноски: 602
Ник., VIII, 103.

[603] Сноски: 603
Временник. М. Общ. Истор. и Др., VIII. Смесь, 1–40.

их в свой стан и стали пытать и допрашивать: «Сколько ваших?» Те были люди простые, не знали счету и не могли объяснить им, если б и хотели; они только и говорили, что сила большая идет. Литовцы в самом деле вообразили, что против них идет огромное войско, и отступили от Хутыня. Кернозицкий стал в Старой Русе[604].

Но если Новгород оставался еще во власти Шуйского, то окрестности быстро поддавались Димитрию; дело Василия Шуйского все-таки, казалось, шло к проигрышу в Новгородской земле, как казалось проигранным и в других русских землях.

VII. Осада Троицы. – Предложение сдаться. – Приступ 13 октября. – Подкоп. – Подвиги русских людей. – Зима. – Бедствие осажденных. – Смуты. – Приступы 27 мая и 28 июня 1609 года

При быстром успехе воровского дела недоставало только стеснить покрепче Москву, заставить ее испытать голод: тогда враждебная царю Василию партия взяла бы верх и в Москве, как она

---

[604] Сноски: 604
Ник. летоп., VIII, 109.

взяла уже верх в иных городах. Так и рассчитывали в Тушине, и с этою целью Сапега деятельно занимался осадою Троицы. Кроме Лисовского, с ним были со своими отрядами князь Адам Вишневецкий, Тышкевич, Будзило, Виляновский, Микулинский, Стравинский[605]. Сначала казалось полякам взять монастырь нетрудным делом. Стена монастырская была не высока, всего до двух с половиною сажен до зубцов, с зубцами до 3½, а в некоторых местах даже менее, всего же пространства занимала 550 сажен. Эти стены, по тогдашнему способу постройки, разделяли на бои, то есть отделены были ярусы с отверстиями для выстрелов; было три рода боев: подошевный, средний и верхний; последний был уже на верху стены, на одной черте с зубцами; сверху над зубцами были крыши. Эти невысокие стены были очень толсты: три сажени в ширину, и сделаны из твердого камня. В стене были башни разного вида[606].

---

[605] Сноски: 605

Hist. Dm. falsz. Ист. Библ., I, 141.

[606] Сноски: 606

По описи, составленной при царе Михаиле Федоровиче, их было двенадцать: *Плотничья* — на углу западной и северной сторон, на севере и северо-востоке — *Конюшенная* с воротами, *Соляная, Кузничная* и *Наугольная;* на востоке — *Сушильная, Красная* с воротами, *Житничья, Наугольная;* между восточною и южною стороною — *Пятницкая;* на юге — *Луковая, Водяная* с воротами; на западе — *Погребная.*

С восточной стороны окаймлял монастырь лес, с юга и с запада за стеною было несколько прудов; итак, с западной и южной стороны обитель была защищена водою. На западной стороне, против Погребной башни, и на северной, против Конюшенной, были особые монастырские заведения — на первой пивной двор, а на последней конюшенный двор; эти дворы составляли в военном отношении как бы передовые укрепления. В монастыре было ратных тысяч до трех с лишком или более. Начальствовали ими двое воевод — Григорий Борисович Долгорукий-Роща и Алексей Голохвастов: оба были враги между собою. Долгорукий был тот самый, который, передавшись первому Димитрию, служил ему усердно воеводою в Путивле. Казалось, плохой из него был слуга Шуйскому; но Долгорукий, искренно служивший первому Димитрию, которого признавал по совести настоящим, не хотел служить второму, будучи убежден, что он обманщик. Кроме ратных людей, в монастырь набилось множество поселян из монастырских слобод, сожженных отчасти неприятелями, отчасти самими жителями. Это многолюдство имело и выгоды, и невыгоды: здоровые и нестарые поселяне были годны на военное дело в случае

нужды; здоровые женщины исполняли разные работы. Но зато женщин было так много в тесном пространстве, что, по известию очевидцев, иным приходилось родить младенцев при чужих людях, и никто со «срамотою» своею не скрывался. Теснота увеличивалась еще от множества скота, загнанного в монастырскую ограду.

Сапега и Лисовский, подошедши к Троице, сперва с войском своим объехали монастырь вокруг. Раздавалась военная музыка. Литовцы и русские тушинцы кричали и похвалялись, пугая осажденных. Потом войско расположилось станом — Сапега стал на западной стороне, Лисовский на юго-восточной, у Терентьевской рощи. Приказали строить остроги с избами.

Прежде начатия военного дела Сапега 29 сентября пробовал склонить монастырь к сдаче убеждением. Он послал московского человека, по имени Безсона Руготина, с одним письмом к воеводам, а с другим к архимандриту Иосифу. «Пишем к вам, жалуючи вас, — писал он к воеводам, — покоритесь царю Димитрию Ивановичу, сдайте мне город, будете зело пожалованы от царя Димитрия Ивановича, как ни один из великих ваших не пожалован от Шуйского; а если не сдадите, то знайте, что мы на то пришли, чтобы,

не взяв его, не уходить отсюда; сами ведаете, сколько городов мы взяли; и Москва, и царь ваш в осаде. Мы в том ручаемся, что не только будете наместниками в Троицком городе, но царь даст вам многие города и села в вотчину; а не сдадите города и мы возьмем его силой, тогда уже ни один из вас в городе не увидит от нас милости».

В письме к архимандриту он припоминал милости царя Ивана Васильевича к Троицкому монастырю и его монахам, уличал их, что они платят неблагодарностью сыну его Димитрию Ивановичу, и оканчивал письмо так: «Пишем тебе словом царским, святче архимандрите: прикажи попам и монахам, чтоб они не учили войско противиться царю Димитрию Ивановичу, а молили бы Бога за него и за царицу Марину Юрьевну, а нам город отворили безо всякой крови; а не покоритесь, так мы *зараз* возьмем замок ваш и вас, беззаконников, *порубаем* всех!»

Воеводы и военачальники собрали совет с архимандритом и соборными старцами и составили вместе такой ответ:

«Темное державство, гордые военачальники Сапега и Лисовский и прочая дружина ваша! Десятилетнее отроча в Троицком Сергиевом монастыре посмеется вашему безумному совету.

Мы приняли писание ваше и оплевали его: что за польза человеку возлюбить тьму паче света, променять честь на бесчестье, ложь на истину, свободу на рабство, истинную веру греческого закона оставить и покориться новым еретическим законам, отпадшим от Христовой веры, проклятым от четырех вселенских патриархов? Что нам за приобретение и почесть — оставить своего православного государя и покориться ложному врагу и вам, иноверной латине, и быть хуже жидов. Жиды, не познавши, распяли своего Господа, а мы знаем своего православного государя. Как же нам, родившимся в винограде истинного пастыря Христа, оставить повелеваете христианского царя и хотите нас прельстить ложною лаской, тщетною лестью и суетным богатством! Богатства всего мира не возьмем за свое крестное целование».

Воеводы, все ратные люди и все находившиеся в осаде целовали крест стоять крепко и верно. Распределили людей, где кому стоять. Назначили голов из старцев и дворян, по башням и воротам устроили орудия в боях и строго приказали, чтоб всякий знал свое место. Других назначили помогать им и подавать нужное. Оглашено было, чтобы никто без воеводского позволения не смел

выступать на вылазку.

Осаждающие в виду монастыря покатили из своего стана туры на колесах — подвижные деревянные батареи — и расставили их вокруг монастыря; было всех девять тур: их поставили на южной, западной и северной стороне[607]. Между турами по всей их линии рыли глубокий ров и землею, добытою из него, насыпали вал.

Из девяноста орудий, поставленных на турах, начали палить по монастырю каждый день без отдыха с утра до вечера и ночью. Но эти выстрелы мало вредили осажденным. Орудия у литовских людей были небольшие и стояли довольно далеко, так что пускаемые ядра не долетали до монастыря, а падали в пруды и на пустые места; те же, которые попадали в стены, были уже на отлете и только царапали камни. Стрельба шла плохо: по известию современника[608], случалось,

---

[607] Сноски: 607

Первые за прудом на Волкуше-горе на южной стороне, вторые за прудом подле московской дороги, третьи за прудом к Терентьевской роще на юго-восточной стороне, четвертые на Крутой горе против мельницы на юго-западной стороне, пятые на Красной горе против водяной башни, также на юго-западной, западнее предыдущих; шестые на Красной горе против пивного двора и погребов на западной стороне; седьмые западнее предыдущих против келарской и казенных палат; осьмые на Красной горе на северо-западной стороне против Плотничной башни, девятые на северной стороне против Конюшенных ворот.

[608] Сноски: 608

Палиц., 85.

что с утра до вечера направляли выстрелы в одно место и никак не могли повредить стены.

13 октября предводители устроили в своем стане пир. Раздавалась веселая, дикая музыка. Целый день войско и казаки пили, пели, скакали на лошадях, стреляли для забавы. Когда стало вечереть, толпы всадников выступили одна за другою; за ними развевались знамена густо, как лес. Наконец, вокруг всего монастыря растянулись разнородные рати: тут были и поляки, и литва, и казаки донские, и татары, и инородцы, и свои русские московские люди, слуги вора. Сапежинцы — с западной и северной стороны, лисовчики — с южной и восточной; стреляли разом со всех тур. Крикнуло все войско громким голосом и бросилось к монастырю; катили деревянные тарасы на колесах, чтоб защищаться от выстрелов: несли лестницы для приступа.

Уже темнело. Весь монастырь поднялся на ноги, все поспешили на стены, принялись палить. Когда осаждающие подходили ближе, выстрелы монастырские из пушек и пищалей так начали их поражать, что у них бодрость пропала: все они чересчур пировали днем, и теперь большая часть была на похмелье. Они побросали свои лестницы и тарасы и побежали. Довольно их и легло. Тогда

ободренные русские выскочили из монастыря и потащили в ограду брошенные лестницы, покатили туда же и тарасы: на несколько дней было чем им готовить пищу и не нужно было подвергаться опасности, выходя за дровами.

В следующие дни за тем опять стали палить литовские люди со своих тур. Но удачный отбой приступа придал тогда бодрости осажденным. Архимандрит и монахи рассказывали, что является в видениях св. Сергий, велит не унывать и обещает спасение. Несколько раз подъезжали литовские люди к монастырю и заводили разговор. «Видите ли наше множество? — кричали они. — Не губите себя напрасно, сдайтесь!» Иные смельчаки наездники подскакивали к стенам, ругались над осажденными и вызывали их на расправу. Осажденные не только храбро отбивались, но сами делали вылазки на врагов. Один раз во время такой вылазки взяли они в плен ротмистра Брушевского и под огнем стали допрашивать. Он сказал: «Наши гетманы на том стоят, чтоб взять монастырь, выжечь и разорить церкви и побить всех людей: они не отойдут от монастыря, не взявши его, хотя бы год пришлось стоять. Теперь уже ведут подкоп под городовую стену и под башни». Напрасно его допрашива-

ли: куда именно ведут подкоп. Брушевский все твердил, что не знает этого. Весть о подкопе возбудила ужас. Самые пылкие и отважные, готовые выступить на вылазки, теряли мужество при мысли, что нежданно могут полететь на воздух. Ожидание каждую минуту гибели было страшнее всякого нападения. Был между троицкими слугами один по прозванию Влас Корсаков. Он признавался искусным в землеройстве: ему поручили под башнями и под стенами копать землю и делать слуховые колодцы. Сверх того начали за стеною до Служней слободы копать глубокий ров с целью перервать подкоп, если он будет поведен туда. Но все делалось наобум: не знали наверное, куда вести работу. Литовские люди, как увидели, что ров копается, бросились на рабочих. Со стен русские по ним стреляли. Вслед за тем монастырская рать сделала вылазку, и нескольких поймали. Пленные подтвердили показание Брушевского, говорили, что подкоп ведется, но не могли объяснить, куда ведут его. Страх усилился. Архимандрит для ободрения унывающих рассказывал, что ему являлся св. Сергий и возвещал, что монастырь останется цел. Ратные повторяли вылазки; бились с врагами храбро, а о подкопе доведаться не могли. Со дня на

день страх пуще одолевал осажденных: ожидали с часу на час смерти; толпы мужчин, женщин, детей теснились в церквах, желая по крайней мере, чтобы смерть их застала среди благочестия, исповедовались и причащались Св. Тайн. Между тем литовские пушки продолжали греметь, монастырские отвечали им. Наконец, на одной вылазке, 4 ноября, поймали казака, раненого и истекшего кровью; он был родом из Дедилова Рязанской земли. Стали пытать его. «Подкопы сделаны и поспевают, — сказал он, — на Михайлов день хотят подставить под стенами и под башнями зелье». Его повели по городовой стене. Казак, изнемогая от ран и мучений, указал им на Пятницкую башню и на поле прямо от нее. Далее он не в силах был продолжать — стал просить священника. Его исповедали и причастили, и он тут же скончался. В следующую ночь поймали еще казака-рязанца. И тот сообщил тоже, что подкоп ведется по направлению к Пятницкой башне.

Тогда принялись наскоро копать вал и строить деревянные тарасы против южной Пятницкой башни и ее окрестностей, внутри монастыря, чтоб в случае, если б неприятелю удалось взорвать Пятницкую башню, он встретил бы готовое другое укрепление. В то же время нашли старый

потайной ход из Сушильной башни на восточной стороне стены и прочистили его. Настал роковой Михайлов день. По-прежнему из всех тур летели литовские ядра, и в тот день долетали уже в средину обители; там убили одного старика и старуху-монахиню. Во время вечерни два ядра одно за другим упали в церковь. Одно пробило доску у образа архистратига Михаила у правого клироса и повредило подсвечник у образа Св. Троицы. Другое пробило образ Николы Чудотворца. Народ ужасно переполошился; но архимандрит утешил его такими словами: «Во время стихирного пения сведен был я в забвение и увидел архистратига Михаила; лицо его сияло как свет, в руке у него был скипетр, и он говорил сопротивным: “О враги лютеры! Ваша дерзость, беззаконники, дошла до моего образа. Всесильный Бог воздаст вам отмщение скоро!”»

Стали петь молебен архистратигу Михаилу. На другой день до рассвета зазвонили к заутрене. Архимандрит сказал народу, что видел в эту ночь св. Сергия и святой муж объявил, что Богородица с ангельскими силами молится к Богу о сохранении обители. Другие монахи рассказывали, что в эту ночь видели св. Сергия и св. Серапиона. Эти известия ободряли осажденных. Тогда воеводы

поняли, что ждать более не следует: надобно отважиться поддержать бодрость, внушенную рассказами о видениях, и предприняли сильную вылазку. Ударили в осадные колокола. Ратные высыпали из монастыря разными путями и произносили имя св. Сергия, то был «ясак» у них. Шли в бой не одни ратные, но слуги и крестьяне. В этот день не успели найти подкопа и уничтожить его, но посчастливилось троицкой рати взять несколько неприятельских орудий (наряд взяв[609]). На следующий после того день сделана была вновь вылазка. Неизвестны ее подробности, но подкоп все-таки не был уничтожен. Наконец, 11 ноября, удалось добраться до подкопа[610].

Авраамий Палицын приписывает это смелое дело двум крестьянам Клементьевской слободы. Они назывались Никон Шилов и Слота. Они-то набрели на устье того подкопа, который так давно тревожил воображение осажденных; они вскочили туда, заткнули отверстие и зажгли порох, насыпанный там. Подкоп взорвало, мужики-богатыри там погибли; но чего давно искали, то было найдено. Между тем на всех сторонах шла

[609] Сноски: 609
А. И., II, 212.

[610] Сноски: 610
Ibid.

драка. Уже многих дворян и слуг мужественных и ратному делу искусных приходилось оплакивать троицким людям; пал храбрый голова Иван Внуков; он с товарищем бросился из Святых ворот, сбил литву и казаков с горы вниз и очистил путь к месту подкопа. Тогда прославился Данило Селявин. Был он силен телом и горазд саблею. Тягость у него была на сердце: родной брат его Оська отъехал служить Сапеге. Данило говорил: «После этого мне жить не хочется». Данило нашел смерть под ударами казака-атамана Чики у Сергиева колодезя; но сподобил его Бог преставиться уже в иноческом образе, так как тяжелораненых спешили уносить в монастырь и там постригали. Досталось в этот день сапежинцам: у них убили двух полковников, четырех ротмистров и нескольких товарищей.

Воеводы ударили отбой. Ратные повернули в монастырь. Но тут из пивного двора, составлявшего на внешней стороне западной стены особое укрепление, старец Нифонт с двумястами ратных и тридцатью монахами сделал вылазку, перешел прудовую ручевину и бросился к турам; их тогда слабо охраняли, войско было на других пунктах занято дракою. Это заохотило в монастыре ратных. Они рванулись на вылазку снова.

Воевода Алексей Голохвастов не пускал было их и поставил приставов у ворот. Но ратные и слуги прогнали приставов, вырвались из конюшенных ворот и посыпали на Красную гору. Литовские люди прогнали было их с горы выстрелами и заиграли уже на инструментах к обеду; но монастырские люди зашли в овраги (Благовещенский, Косой и Глиняный), сзади бросились на туры врасплох и овладели первыми турами: схватили орудия, зажгли туры и тарасы. Литовские люди смешались, побежали к другим турам. Палицын говорит, будто в тот день троицким людям удалось взять третьи, четвертые и пятые туры. Но в современной выписке о вылазках[611] не говорится, сколько тур взяли, только упоминается, что их иссекли на дрова. У Палицына как будто такой смысл, что с тех пор туры не стояли уже около Троицы, а из выписки видно, что они продолжали стоять и впоследствии. Успели схватить восемь полуторных пищалей, разного оружия литовского, несколько пленных, и возвратились со славою. В этот славный день потеря монастырских людей простиралась до 174 убитыми и до 166 ранеными. Врагов легло более: по известию монастырско-

[611] Сноски: 611
А. И., II, 211.

го летописания[612], их пало до полутора тысяч — число, несомненно, чересчур преувеличенное; но, во всяком случае, победа в этот день осталась за Троицею и оставила на будущее время важное нравственное влияние. Архимандрит служил благодарственный молебен с веселым звоном. Люди ободрились и верили, что св. Сергий не даст своей обители на разорение.

После того долго не делали приступов, Сапега и Лисовский предпочли взять монастырь блокадою. Но они расставили войско таким обширным кругом, что монастырь мог иметь сообщение извне, как оказалось. Силы осаждающих умалялись отправкою отрядов для укрощения отпадавших от Димитрия городов; послан был даже и сам Лисовский. Впрочем, если монастырь и не мог быть очень скоро взят, зато стояние под ним не оставалось без существенной выгоды для Димитриева дела, потому что войско Сапеги перерезывало путь сообщения с Москвою и мешало подвозить туда продовольствие.

Настала зима. Сапежинцы и их московские пособники жили в построенных наскоро избах и землянках. Продовольствие получали они грабе-

---

[612] Сноски: 612
Палиц., 124.

жом по соседству. Монастырские люди делали на них частые вылазки, драки шли с переменным счастьем. Отважные монастырские осажденцы, вышедши партиями из монастыря, нападали на челядь, которая возила продовольствие в лагерь Сапеги, и отбивали его. Из современного польского дневника троицкой осады видно, что в продолжение всей зимы не проходило дня, чтоб из монастыря не было вылазки, а нередко было их по две — и утром, и вечером. На этих вылазках некоторые приобрели богатырскую славу. Так, современный писатель[613] рассказывает об одном даточном крестьянине; прозвище ему было Суета, росту он был огромного и очень силен, но неловок, неумелый в деле ратном. Над ним подсмеивались, ему надоели эти насмешки. Он схватил бердыш, сказал: «Либо умру, либо славу получу ото всех!», бросился на неприятеля и так начал поражать врагов, что никто против него стоять не мог: и он прославился ратною доблестью. Не один из слуг монастырских отличился тогда, сражаясь за обитель св. Сергия. Осаждающие хотели было отнять воду в монастыре и, по совету перебежавших к ним двух детей боярских

[613] Сноски: 613
Палиц., 129.

переяславцев, принялись было разрывать плотину на пруде у Водяной башни, чтоб спустить воду в реку Кончуру, — но им это не удалось. Пленники, взятые на вылазке, рассказали о таком намерении; монастырские люди принялись работать и успели из пруда воду провести в средину монастыря, так что пруд, выкопанный ими, наполнился водою до того, что вода потекла на противоположную сторону к монастырю.

Трудно было осажденным доставать дров. «На одну пядь не дают воры нашим выехать», — говорит современник чернец, очевидец событий. 17 ноября кое-какие удальцы решились из монастыря отправиться за дровами, и враги чуть было не отрезали их от монастыря, преследуя их; овладели было одними из ворот монастырских, называемыми Каличьими, и чуть не ворвались большим числом в средину монастыря. Насилу отбили их метанием на них камней[614].

И после того бывало всегда, когда нужно дров, выходят крестьяне с оружием рубить хворост, а уже не воротятся без того, чтоб кое-каких из них не побили и не поранили сапежинцы и лисовчики. Бывало, ворочаются монастырские люди,

---

[614] Сноски: 614
Сборник Хилкова, 83.

а их спрашивают: «А что стоит, за что купил эти дрова? За чью кровь?» Отец пойдет за дровами, чтоб пропитать семью, и пропадет; дети разведут огонь, а сами говорят: «Вот это мы отца своего кровь пьем»; иные говорили: «Сегодня мы потом и кровью братий наших напитались, а завтра другие нами наедятся и напьются!»

Враги между тем так привыкли одни к другим, что в промежуток между драками дружелюбно обращались между собою. Иногда литовские люди или московские, служившие вору, подъедут к воротам монастырским и попросят вина; им и вынесут, иногда даром, иногда на обмен; тут враги вместе пили вино, шутили, подсмеивались друг над другом, иногда расходились подобру-поздорову, обещая друг другу задать беды на стычке. Но случалось, что троицкие люди подъезжавших с такими целями к воротам схватывали и уводили.

Несмотря на неудачу Сапеги и на храбрость защитников монастыря, осадное положение привело, однако, к великим бедам обитель. Пока еще можно было пребывать на воздухе, толпы народа помещались на дворе; настала зима, и надобно было тесниться в душных покоях. Теснота была невыносимая. Воду пили скверную,

был недостаток хорошей пищи; вонь и смрад в покоях, вонь на дворе от зарезанных и павших животных; открылась цинга; беднякам не на что было пить вина. Пухли у людей десны, вываливались зубы, исходил изо рта невыносимый смрад. У других по телу от нечистоты делались струпья и раны; те страдали поносом и, ослабевши, не могли двигаться с места; некому было ухаживать за больными: монахи были заняты, истомлены работами. Некому было, говорит современник, ни перевернуть больного, ни приложить пластыря, ни промочить уста, ни умыть лица и рук: изнемогающий отирал себе уста и глаза замаранною рукою и переводил болезнь на глаза и уста; в ранах заводились черви, и люди умирали в страшных муках без призрения; смертность возрастала. Сначала хоронили трупы десятками на день, а потом все более и более. С утра до вечера только и слышно было, что пение похоронное да плач оставшихся сирот. Одежды умерших, покрытые вшами и червями, сваливались на возы и отвозились за стены; там их жгли. Не всякий решался прикасаться к ним. Такие бедствия постигали наиболее крестьян, потому что они были беднее и лишены средств. Ратные люди, имевшие состояние, на соблазн другим

вели в монастыре пьяную и развратную жизнь. Накопление женщин при чрезвычайной тесноте располагало к этому. «Ратных людей, — говорит Палицын, — часто утешали сладкие меды, и от того породились у них блудные беды». У них были ссоры с монахами. Ратные говорили: «Нас должен кормить монастырь!» У кого и были свои запасы, и тот брал монастырские хлебы на день, а иногда и на целую неделю, и продавал свою порцию другим. Монахи жаловались на них: архимандрит говорил: «Перестаньте, братия, понапрасну истощать житницу чудотворцеву; мы не знаем, сколько времени протянется наше сиденье в осаде. Какая вам польза истощать ее?» На это говорили монахам ратные: «Великое дело для вас, коли мы возьмем хоть и лишнее? Ну что ж? Коли мы вам глаза колем, так мы перестанем у вас брать; только уж как хотите, так расправляйтесь с сопротивными!» — «Видите ли, — говорили им монахи, — как терпят иноки в искусе: ни сна, ни покоя не знают, день и ночь около жара печного, и от дыма у них глаза вытекают!» Двое даточных людей, галицкие казаки, стали было рассказывать, что им являлись Сергий и Никон и велели сказать, чтоб ратные не брали лишнего, не пьянствовали, не сорили серебром, не ругались над

теми, что в пекарне работают. Но ратные, да и все вообще осмеяли их и «наплевали» на их речи, по выражению современника[615].

Болезни и несогласия между осажденными стали известны в неприятельском стане. Оттуда выбегали удальцы, подскакивали к стенам и подсмеивались над положением противников. Монахи продолжали поддерживать дух осажденных рассказами о видениях и явлениях святых.

Много троицких людей было побито на вылазках, еще более перемерло от болезней. На беду монастырю, выбывали годные, а оставались «едоки», то есть такие, которых надобно было только кормить, не чая от них пользы в ратном деле. Воеводы послали к царю челобитную, описывали свое бедствие и умоляли прислать им свежих ратных сил и пороху. Челобитная их дошла до царя благополучно. В Москве, при Троицком подворье, находился тогда келарь Троицкого монастыря Авраамий Палицын. Он стал хлопотать перед царем за свою обитель. Шуйский отвечал: «Великая беда обдержит Москву, я не в силах помочь монастырю!» Келарь обращался к царским братьям, и те не помогли. Келарь обратился к патриарху,

---

[615] Сноски: 615
Палиц., 195.

к разным боярам и представлял, что если не послать теперь помощи, то монастырь не выдержит более месяца. Заступился за Троицу патриарх Гермоген. Перед царем и Боярскою думою он говорил: «Если будет взята обитель преподобного Сергия, то погибнет весь предел российский до окиана-моря и царствующему граду настанет конечная теснота». Царь послал атамана Сухого-Осташкова и с ним шестьдесят человек, они повезли двадцать пудов пороху. Келарь отправил с ним двадцать человек троицких людей, находившихся на подворье. 15 февраля 1609 года этот отряд проехал сквозь обоз Сапеги и успел войти в монастырь. Но четырех человек схватили, и Лисовский приказал их казнить против стен монастыря. Тогда, в отместку, Долгорукий приказал вывести двадцать литовских пленников за ограду на гору против старой пекарни и казнить в виду войска Сапеги, а девятнадцать человек казаков вывели к верхнему пруду и казнили перед табором Лисовского.

В монастыре после того носились слухи, что литовские люди и казаки, увидя казнь своих товарищей, взволновались и чуть было не убили Лисовского за то, что он казнью четырех пленников вызвал эту месть со стороны осажден-

ных[616].

Прибытие слишком небольшого отряда мало подало помощи осажденным. Болезни свирепствовали, смертность не прекращалась; беспрестанными подозрениями один на другого в измене мучились осажденные. Дочь Бориса Годунова, инокиня Ольга, находившаяся тогда в осаде, в письме к своей тетке так описывает состояние монастыря в конце марта 1609 года: «Я в своих бедах чуть жива и, конечно, больна со всеми старицами, и вперед не чаем себе живота, с часу на час ожидаем смерти, потому что у нас в осаде шатость и измена великая. Да у нас же за грехи наши моровое поветрие: великие смертные скорби объяли всех людей; на всякий день хоронят мертвых человек по двадцати, по тридцати и побольше, а те, которые еще ходят, собою не владеют: все обезножели»[617].

Ратные люди злобились на монахов, последние жаловались на ратных; троицкие служки также недовольны были монахами. Стрельцы писали челобитную к царю, что старцы дурно их кормят, дают им на шестнадцать человек пушной хлеб

---

[616] Сноски: 616
А. И., II, 213.

[617] Сноски: 617
Палиц., 156.

и вырезывают из него середки; рыбой кормят их только два раза в неделю, и то однажды в день, а раненым нет вина в утешение; по их запросу пить и есть не дают. Ратные указывали, что монахи прежде всего себя самих должны понудить к жесткой ястве и наложить на себя крепкое начало. Старцы писали к царю, что стрельцы лгут; прежде им давали хлеб неучетом, а они выносили из келарской и продавали, и потому им стали ставить четверть хлеба перед четверыми за обедом и ужином; рыба им дается четыре раза в неделю, в постные три дня кормят горохом и соковою кашею; вообще в монастыре на всех было три яства: щи, каша, а в скоромные дни на четверых звено рыбы; прежде им пить давали квас, но потом перестали, потому что трудно было доставать дров и нельзя было варить квасу.

«Мы, — писали царю троицкие власти, — запасом со всякими осадными людьми делимся и не оскорбляем никого; как сели в осаде, все люди едят троицкий хлеб, а своего мало было у всякого припасено, и деньги, кому пригоже, даем. А как денег в казне не стало, так мы с братьи собрали с кого по рублю, с кого по полтине, а иным, кому надобно, занимаем и даем; 4 июня (1609) стрельцам дали по полтора рубли, ярославцам

и галичанам по три рубли, а слугам троицким всем на нужду по рублю, а крестьянам осадным стенным по полтине»[618].

Служки били челом государю, чтобы монахи их допустили к братской трапезе. Монахи отвечали, что прежде кормили служек в трапезе, и говорил им архимандрит: «Ешьте то, что братия едят, хоть из-перед меня архимандрита возьми перед себя, а свое перед меня поставь!» Но они не хотели есть в трапезе, а носили по кельям; что в трапезе ставят на четверых, то у них пойдет на одного в келье, а у иных и жены, и дети, у некоторых «жонки». Прежде они сами говорили, что им давать бы только щи и кашу да хлебы недельные, а больше ничего и не хотят; а потом попросили рыбы, им и рыбу стали давать; они, недовольные, стали просить опять, чтоб их допустили в братскую трапезу.

Старцы не ладили между собою. Составилась партия против соборных старцев; жаловались, что архимандрит и соборные старцы кормят старцев овсяником и не дают квасу, заставляют пить одну воду, а сами бражничают в своих кельях со своими «заговорщиками» и все царские и братские обиходы на погребах перевели. На мелких

---

[618] Сноски: 618
А. И., II., 283.

дрязгах не остановилось дело, стали подозревать и обвинять в измене. Обвинили казначея старца Иосифа Девочкина. На него говорили, будто он с перебежчиком Оською Селявиным посылал письма к Тушинскому вору, изъявлял желание сдать монастырь. Григорий Долгорукий спорил с Алексеем Голохвастовым. Долгорукий потакал обвинителям, Голохвастов защищал Девочкина. Когда Долгорукий приказал пытать обвиненного казначея, Голохвастов уговорил монастырских слуг не давать казначея в пытку. Иосиф заболел и скоро умер. Естественно было умереть Иосифу от болезней, свирепствовавших в осаде. «Он живой изъеден был червями, — говорил Авраамий Палицын, — маленький червячок, впившись в тело, вырос величиною с человеческий палец, и от него умер казначей в мучениях». Монастырские слуги донесли Долгорукому на Голохвастова, будто он внушал им и мужикам клементьевским, что от Долгорукого всем придется погибнуть и надобно отнять у него городовые ключи. Долгорукий просил Авраамия Палицына, чтоб тот ходатайствовал у царя перевести прочь Голохвастова, ибо от него начинается ссора. Долгорукий, желая избавиться от Голохвастова, не показывал, однако, на него измены в своем письме к

царю; только некоторые монахи доносили на Голохвастова; такое обвинение отсюда потом вошло и в историю Авраамия Палицына, который во время осады сам лично в монастыре не был, а записывал то, что ему говорили монахи. Враги казначея оговорили и бывшую ливонскую королеву Марью Владимировну; доносили, будто она называла царя Василия непристойными именами, именовала Тушинского вора братом, писала к Сапеге: «Спасибо вам, что вступились за брата моего московского государя царя Димитрия Ивановича», писала и к Рожинскому в Тушино. Главная причина этому доносу была та, что королева была расположена к Девочкину, посылала ему пирогов и блинов прямо из своей поварни и мед из царских погребов, которые были устроены в церкви Святой Троицы на случай царских приездов, а людей своих посылала по ночам топить Иосифу баню[619].

---

[619] Сноски: 619

Акт. ист., II, 285. Нет возможности добраться до истины, справедливо ли подозревали в измене этих лиц. Раздраженные беспрерывными и долговременными опасностями, среди болезней, тесноты, духоты, под непрестанным страхом смерти, люди всегда способны давать волю воображению и видеть друг в друге виновников своих бед. Рождается невольная злоба на все окружающее. Тогда люди бывают расположены преувеличивать, а малейшие признаки, внушающие подозрение, считают несомненным доказательством. Менее всех можно подозревать Голохвастова, потому что самый враг его Долгорукий не решился обвинять его в измене.

Прошла зима. Болезни не прекращались; но с наступлением теплой погоды люди могли пребывать на свежем воздухе и не страдать от невыносимой тесноты и духоты в покоях. Меньше нужно было дров, и потому не было необходимости часто выходить из монастыря, где так много гибло людей. Монастырские слуги, избегая этих опасных выходов, обломали в монастыре крыши и топили ими. Враги продолжали стоять под монастырем, перестреливались с осажденными. Не теряли прежнего терпения и настойчивости и осажденные, а делали вылазки. Их удерживали от сдачи и внушали бодрость слухи о скором приходе Михайла Скопина-Шуйского со шведским вспомогательным войском.

Наконец Сапега опять покусился на приступ. В ночь с 27 на 28 мая со всех сторон кинулись на монастырь осаждавшие с лестницами, тарасами и с разными стенобитными кознями. Но осажденные стреляли по ним из орудий, поставленных в подошевных боях, кололи их из стенных окон, когда они по лестницам добирались туда, с верху стен метали на них камни, лили кипяток с калом, серу, смолу и бросали мелкую известь, чтоб засыпать им «скверные очеса», как выражается троицкий историк. Осаждавшие

повернули назад, не сделав ничего монастырю. Тогда осажденные, в свою очередь, выскочили из монастыря, ударили на наступающих и взяли тридцать человек «панов» и русских изменников. Их заставили молоть муку. «Поиграйте в жернова», — говорили полякам, насмехаясь над тем, что они шли на приступ с музыкою. В добычу осажденным досталось несколько тарас, щитов и лестниц: это пошло им на дрова.

28 июня повторил Сапега приступ. Пошли со всех сторон к воротам; наперли особенно на острожок, который охранял колодезь за стеною у пивного двора. К острожку был пристроен сруб в виде башни. Успели зажечь сруб и стали приготовлять лестницы к острожку. Но в то же время из города кинулись свежие удальцы на пивной двор и отбили нападение. Сапежинцы со всех пунктов принуждены были отступать. Князь Долгорукий с ратными людьми и служками сделал вылазку; погнались за врагами, много их побили, поймали «языков», забрали у врагов щиты, лестницы и проломные ступы[620]. Один перебежчик из стана Сапеги впоследствии говорил, что во время этого приступа у осаждающих убито было семь

[620] Сноски: 620
А. И., II, 285. — Сборн. Хилкова, 111.

панов, более четырехсот пахолков, гайдуков и казаков и до пяти тысяч черного народа, который сгоняли поляки на работы — везти и нести щиты и лестницы. Многие из таких после неудачи разбежались[621].

VIII. Поборы и неистовства поляков и русских воров. – Восстание народа. – Отпадение от Димитрия Галича, Соли Галицкой, Вологды, Тотьмы. – Деятельность нижегородцев

Упорство Троицкой обители действовало нравственно на всю русскую землю московской державы и внушало смелость и надежду к отпадению от власти вора. Предводители воровского войска должны были разделять свои силы, посылать отряды для усмирения городов и чрез то затрудняли себе взятие монастыря. Города, так быстро признававшие Димитрия, скоро и быстро стали от него отпадать. Как только установились тушинские поляки в своем обозе, так потребовали семь четвертей вперед жалованья. Нужно было их удовлетворить, нужны были большие

[621] Сноски: 621
Сборн. Хилкова, 115.

деньги. Представлялся один способ достать их: собрать с подданных городов и уездов Московского государства. Андрей Млоцкий предложил разослать по Заволжью отряд с царскою грамотою и собирать казну. Некоторые не хвалили такого средства. Один из служивших у Тушинского вора поляков, как сам сообщает[622], представлял тогда, что отягощение городов на первых порах может довести до бунта. Сам носивший имя Димитрия не советовал делать сборов, просил обождать, обещал уплату после взятия Москвы. Но его не слушали, взяли от него разряд и распоряжались его именем. Предложение Млоцкого приняли: паны разошлись в разные стороны. С каждым таким паном ехала толпа слуг, и эти толпы очень скоро повернули дело иначе.

Вор для ободрения поддающихся ему русских послал грамоты, где обещал тарханные грамоты, по которым с жителей не будут брать никаких податей[623]. Такие обещания на первых порах действительно склоняли на его сторону жителей. Но они скоро увидели, что им не только не оказывают обещанных милостей, а еще, кроме

---

[622] Сноски: 622
March., 44.

[623] Сноски: 623
А. И., II, 132.

всевозможных отяготительных сборов, делаются им разные бесчинства. Паны отправлялись в города без подробного наказа, что им брать, а в общих словах говорилось, что они сберут запас на столько-то рот; и жители оставались в недоумении: сколько они обязаны давать, — а приходилось давать то, что захотели брать те, которые к ним пришли[624]. Из Тушина посылались сборщики свои, а Сапега из-под Троицы посылал своих, и случалось, что тушинские сборщики с Сапегиными сталкивались и ссорились между собою. Но и те и другие равно отягощали крестьян, и крестьяне должны были таким образом давать вдвое против того, сколько они прежде давали. Так, в Угличе явился от Сапеги пан Основский, стал требовать с выти по рублю сверх того, что следовало собирать с них по указу Димитрия, и напоследок Димитрий писал к Сапеге, чтобы он удалил Основского[625]. В Ярославль приехал Путило Резанов с грамотою от Димитрия, где приказывалось брать с ярославцев всякие товары на царя, но там же было сказано, чтоб ярославцы, кроме него, никому не давали товаров; а вслед за

[624] Сноски: 624
А. И., II, 147.

[625] Сноски: 625
А. И., II, 135.

тем от Сапеги приехал сбирать товары какой-то Константин Данилов; воевода князь Федор Борятинский не стал ему давать товаров, а Данилов за это бесчестил его в судной избе[626].

Подобное делалось по Ярославскому уезду. В Ярославский уезд прислал Димитрий своего посланца сбирать запасы натурою, а Сапега прислал своего, какого-то Ивана Незабитовского с товарищами, собирать с тех же самых людей для своего войска[627]. В разных местах Владимирского и Заволжского края наезжали эти паны с командами и брали у крестьян всякого рода запасы. В Юрьеве-Польском сбирали столовые деньги по 27 рублей с сохи; прислан туда из Тушина пан Хвощ сбирать запас на двести человек, а Сапега прислал пана Петра Михалевского сбирать запас и на своих тысячу человек[628]. Вообще всегда были тяжелы для русских людей подводы, но в это время они стали ужасны, ибо ратные люди, взявши лошадей сколько им захочется, не ворочáли их хозяину.

---

[626] Сноски: 626
А. И., II, 138.

[627] Сноски: 627
А. И., II, 159.

[628] Сноски: 628
А. И., II, 147.

При таком шатании Димитриевых и Сапегиных ротмистров поляки, литовцы и русские, разлакомившись шататься и своевольствовать, уже и никем не посланные, составляли загоны, по обычаю польскому назначали себе предводителей, врывались в посады и села и своевольствовали. Паны распоряжались достоянием поселян без счета, без развытки, заставляли крестьян молотить собственный хлеб, молоть, печь его, варить пиво, бить скотину и тем же крестьянам на своих лошадях возить в табор, а потом отнимали у них и лошадей; другие, забравшись в русские края, заживали в селениях как в своих поместьях[629]. И царик, и Сапега назначали села и деревни на корм панам; но случалось, что, когда село отдано уже одному пану, являлся туда самовольно другой и брал с крестьян что хотел на себя. Так, сохранилась одна челобитная того времени, где крестьянин Переяславского уезда жалуется, что в деревне, отданной пану Талинскому, явился пан Мошницкий, взял крестьянского сына и каждую ночь выгонял хозяина и семью, а сам насильно держал на постели его невестку. Казаки, татары, литва, поляки врывались загонами в поселения,

[629] Сноски: 629
А. И., II, 145.

пытали огнем и железом хозяев, вымучивали у них деньги, забирали платье, рухлядь. Мало того что брали все, чем сами могли воспользоваться, но истребляли для потехи достояние русского человека: убивали скот, кабанов и бросали мясо в воду или зверям, рассыпали хлеб и топтали лошадьми. Ругаясь над русским народом, казаки насиловали матерей и сестер пред глазами сыновей и братьев, не щадили недорослых девочек и, растливши их, отпускали нагими и окровавленными. Были случаи, что женщины, спасаясь от бесчестья, резались пред глазами злодеев, вырываясь от них, бросались в реку. Девушки и женщины, бегая от насилия, полунагие от нищеты, замерзали по лесам и полям[630].

Во Владимирском уезде свирепствовали шайки Наливайко, который замучил девяносто три человека помещиков; Димитриев воевода Вельяминов поймал его и казнил[631].

Но зато десятки других бесчинствовали безнаказанно. Не слишком церемонно они обращались со святынею церквей и с монашествующими. Нападут на монастырь, вымогут у монахов деньги,

---

[630] Сноски: 630
Времен., XXIII, Смесь, 6. — А. И., II, 149.

[631] Сноски: 631
А. И., II, 144.

пытают огнем, заставляют рубить дрова, мыть белье, варить пиво, возить тяжести, чистить лошадей; подгоняют их палками и толчками; разгулявшись вдоволь, для посмеяния паны заставляли монахов и монахинь петь срамные песни и плясать, а кто станет упрямиться, того нипочем было и убить. К соблазну благочестивых обдирали оклады с икон в церквах, брали чаши и утварь, клали на дискосы мясо, загоняли скот в церкви, кормили собак в алтарях, из царских дверей устраивали себе кровати, из священнических облачений шили себе исподние платья и теми тканями, которые были на плечах иереев Божиих, покрывали, говорит современник, себе задние части тела; играли на образах в карты или в шашки, покрывали воздухами и пеленами лошадей[632]; на больших местных иконах творили блудное дело с женщинами[633].

Из разных мест писались челобитные к Димитрию и к Сапеге, который был тогда сильнее Димитрия. Но насилия не прекращались, а увеличивались с каждым днем. По примеру одних поступали другие. Не прошло трех месяцев после

---

[632] Сноски: 632
Палиц., 52–55. — А. И., II, 147–149.

[633] Сноски: 633
Памятн. старинн. рус. литер., I, 149.

признания Димитрия, как русские люди возненавидели царство его и стали отпадать от него.

Крестьяне, выгнанные из домов, собирались в шайки, выбирали предводителей и стали мстить за опозоренных и замученных своих жен и детей. В Юрьево-Польском уезде поднялись под начальством сотника чарочника Федора Красного, в Решме стал предводителем восстания крестьянин Григорий Лапша. Поселяне Балахонского уезда ополчились под начальством Ивашка Кувшинникова. В Городецком — Федор Наговицын, на Холуе — Илейка Деньгин стали на челе крестьянских шаек; все сносились между собою, собрались воедино и грянули на Лух, где были литовские люди, сбиравшие запасы; их разбили, схватили русских дворян, целовавших крест Тушинскому вору, и отправили в Нижний. В Шуйском уезде собралось двадцать пять тысяч вооруженных чем ни попало крестьян, но им не посчастливилось. Суздальский воевода Плещеев пошел против них в ноябре и загнал их в Шуйский посад. Мужики заперлись во дворах насмерть и погибли не столько от оружия, сколько от огня, которому Плещеев предал весь посад.

Это нимало не остановило восстания. Оно разливалось с быстротою и, когда перешло в города,

стало крепче и соединительнее. Край, где тогда происходило восстание, обнимал пространство по обеим сторонам верховой части течения Волги до Нижнего и по ее притокам, на север до Белоозера и на юг до Оки и составлял средину или ядро Московского государства и его великорусской народности. Как по своим топографическим свойствам, так и по характеру народонаселения он представлял не только различие, но во многом противоположность с тем, что показывалось тогда в стране украинных городов на юг от столицы. Мало было приволья для жизни: земли было хотя и большое пространство, но плодородной не много; суровый климат, скудость произведений, угрюмая природа. Работать приходилось много, а добывалось только то, что нужно для первых потребностей. Крестьянин жил в курной избе, со своими животными, в нечистоте, обувался в лапти, одевался в грубый домашний холст и в грубую туземную овчину; ржаной хлеб да жесткая овсяная каша были его обычною пищею; пшеничный хлеб был лакомством богатых. Мясо ели редко; только рыбы вдоволь было, и рыбная ловля, чрезвычайно разнообразная по своим способам, была важнейшим и распространенным занятием. Темнейшее невежество всех классов, не нарушаемое

никаким умственным потрясением, мешало возникнуть побуждениям добыть новые средства к улучшению жизни. Множество крестьянских деревень рассеяно было по этому пространству; иные были очень малы: двора два-три; они тянули к селам, где были церкви: надобно заметить, что их было не так много, как теперь. Села и деревни разных владений, царские, дворцовые, черносошные (казенные), владычние и монастырские, вотчинные княжеские и боярские поместья, отдаваемые служилым за службу пожизненно, — все, составляя волости по роду их принадлежности, тянули к городам, средоточиям управления, и вместе с последними составляли уезд. Города были двух родов — большие и малые, или пригороды, и последние тянули к первым по управлению. Обыкновенно около городов (но иногда и не близ городов) располагались посады, места торговли и промыслов, населенные отличным от крестьян сословием посадских. Но и те и другие составляли рабочий народ — тяглых людей, в противоположность служилым. Их отличительною чертою в общественной жизни была строгая сомкнутость в общество, называемое миром, при огромности семей по числу членов и по их тугоделимости. Личность каждого

в отдельности ничего не значила прямо пред государством; каждый знал только свой мир, и общественная деятельность его была только под условиями мира; мир за него отвечал, и он нес ответственность за мир. Всякая власть, имевшая право над посадом и волостью, обращала свои требования к миру. Скосить владельцу сено, убрать рожь, овес или горох, давать дворцовому приказчику или монастырскому посельскому установленные праздничные кормы, отправить даточных в войско, выслать рабочих на городовое дело, снарядить подводу, разверстать налоги по промыслам в посаде, разделить землю в волости, просить власть о льготах, поднять тяжбу об обидах — все это было дело мира, а каждому члену этого мира оставалось повиноваться и делать что велят. Власть мира была великою тягостью для народной деятельности, тем более что мир редко даже имел возможность охранять своих членов от произвола правительственных лиц: последние всегда могли стеснять и оскорблять всех поодиночке, не стесняясь миром, а на мир возлагали только отправление тягостей. В этом мире вовсе не играла роли народная громада; им правили только так называемые лучшие люди, которых сам же великорусский народ метко

окрестил «мироедами». Из этих лучших людей исключительно всегда выбирались выборные мирские чиновники — земские старосты и целовальники, таможенные и кабачные головы; правда, иногда выбирали к случайным казенным делам целовальников и не из лучших людей, но это бывало тогда, когда должность целовальников представляла одно отягощение и не давала никаких выгод. В волостях были свои суды, но там сидели только лучшие люди; от лучших людей зависела разверстка земель и налогов, и при этом лучшие земли они всегда старались приверстать себе; так же точно и в посаде лучшие люди устраивали так, чтобы себе самим на счет прочих было повыгоднее в делах торговых, а если случится подать челобитную, то три-четыре отца семейств из лучших людей составляли ее и свои имена ставили наперед, остальные же и по именам не назывались, а считались подающими ее наравне с поименованными; в сущности же, им приходилось исполнять то, что лучшие выдумают. Когда в город созывалось собрание посадских и крестьян волостных, то хоть и говорилось, что это собрание всенародное, на самом же деле туда приходили одни лучшие люди; середние и молодшие не смели самопочинно появляться, а во всяком слу-

чае должны были повиноваться тому, что там постановят. В это именно время самоуправство лучших людей дошло до высокой степени, так что где в дворцовых селах не было приказчиков, там крестьяне сами просили их водворить, лишь бы избавиться от произвола лучших людей над середними и молодшими, т. е. беднейшими. Правительственные лица во всех видах — воеводы и дьяки в городах, приказчики в дворцовых селах, все вообще, под каким бы они видом ни являлись, невольно стакивались с лучшими людьми и мирволили им, потому что от них получали за то выгоды. Нельзя сказать, чтобы тягость такого положения не вызывала противодействия; оно было, но большею частью страдательное; выше мы показали, как оно разыгрывалось во Пскове; в других областях оно выражалось уже издавна побегами: кому невозможно казалось терпеть, тот бежал в Сибирь или в украинные города, или на Дон, и оттого-то юг Московского государства — притон недовольных сил — имел тогда иной характер, чем старое гнездо великорусского народа, где оставались те, которые терпеливо сносили иго тамошнего порядка. Самое это иго по мере побегов становилось еще тяжелее, потому что с этими побегами размер повинностей не

уменьшался, а еще при тяжелых обстоятельствах государства увеличивался и падал на меньшее число членов мира. Критическое положение государства при Шуйском вызывало увеличение тягостей с обычным произволом лучших людей и покровительствующих им властей; положение народной громады тяглых, не принадлежащих к немногим лучшим, стало чувствительнее. Вдруг имя Димитрия, появившегося под Москвою, растревожило эту громаду; пронеслись обещания льгот; середние и молодшие, так называемые вообще черные люди увидели для себя опору и спасение и стали приставать к Димитрию. Оттого-то везде черные люди производили восстания в пользу Димитрия и принуждали признавать его и лучших из своих братии и дворян, и детей боярских, и духовных. Воля почуявшей свою крепость громады была страшна; но прошло мало дней — черные люди увидали, что они жестоко обманулись; их положение не только не стало лучше, но еще хуже. Стали над ними бесчинствовать, ругаться, своевольствовать поляки и казаки, и свои дворяне, и дети боярские, да и те же самые лучшие люди, признавши Димитрия, могли бы на них налегать по-прежнему; к счастью, последние не могли сжиться с властью Димитрия,

потому что, будучи богаче из тяглого народа, они первые доставались на разграбление ворам. Это прекратило возбуждение страстей; и лучшие, и середние, и молодшие — все соединились заодно, и власть лучших людей взяла тогда верх больше, чем прежде: они стали руководителями громады в деле восстания против «вора» и его поляков. Тогда именно те свойства края, которые составляли прежде тягость для жизни, начали содействовать этому делу. Привычка подчинять личность воле мира, действовать миром, тянуть всем к известному средоточию способствовала скорому переходу народа на сторону Шуйского, особенно как только восстание коснулось городов. Стоило только собрать в городе лучших людей, постановить приговор, и весь уезд был готов безропотно поступать, как велят в городе; тогда уже никакие надежды не тянули никого в иную сторону. Громада народа, и прежде привыкшая повиноваться тому, что в городе постановлено, теперь беспрекословно готова была идти за городом, так как каждый в посаде и волости привык повиноваться приговору своего мира. Кроме того, скудость жизни приучила народ к возможности терпеть и голод, и стужу, и всякие лишения, не бояться ни смерти, ни мук. Вдобавок иноземцы

оскорбили тогда последнее утешение, и притом единственное духовное утешение народа — веру. При тогдашнем невежестве народа вера, конечно, касалась чувств только поверхностию наружных признаков; но зато чем меньше было рассуждения, тем сильнее оскорблялось чувство видимым нарушением уважения к этим признакам. Наконец, один пример производил другой; слыша, что в одном месте восстают, восставали и по соседству, заключая, что власть Димитрия становится не крепка; а тут еще разносился слух, что царь Василий Шуйский позвал немцев на помощь и скоро придут союзники; с другой стороны ожидалось прибытие боярина Шереметева, собиравшего против воров за Шуйского рать в понизовых городах. Тогда самый расчет побуждал жителей приставать к Шуйскому: думали, что Димитриева сторона падает, и спешили впору пристать к противной стороне, пока можно будет избавиться от наказания за измену ей.

Города, более зажиточные, чем села, большею частью и прежде только поневоле присягали вору и потому легко стали сбрасывать с себя эту присягу, как только услыхали и увидали, что громада черного народа больше не стоит за ложного Димитрия. Раньше всех отпал от Димитрия Га-

лич. Как только пришли туда литовские люди и казаки, галичанам показалось нестерпимо, а тут пришла грамота от царя Василия, где извещали их, что князь Скопин ведет шведов. Тогда в Галиче вышло так, что одни дворяне и дети боярские поехали с повинною к вору, а другие послали гонцов по всему своему уезду звать людей всех званий на всенародную сходку; собрались города Галича, галицких пригородов и Галицкого уезда служилые, посадские люди и черных волостей крестьяне, целовали крест[634] стоять за Москву, за царя Василия и всем заодно умирать за православную веру. Они присудили собрать с сохи по сто человек, из которых одна половина должна быть пешая, а другая конная, да еще кроме того призвали многих людей, снеслись с луговой и горной черемисою, готовою воевать за кого бы то ни было, и склонили ее на свою сторону; и луговая черемиса прислала Галичу пять тысяч человек. Галич разослал по окрестным городам детей боярских и посадских с вестями и приглашал повсюду жителей составлять ополчения и идти на сход к Галичу. Такие посланцы поехали в Вологду, в Тотьму с грамотами, с тем чтобы оттуда

[634] Сноски: 634
Сб. Хилкова, 25.

списки с этих грамот посылались далее, в Устюг, Соль-Вычегодскую, Вятку, Пермь и на Подвинье. Галичане приглашали приходить к ним в Галич с зельем и снарядом[635].

За Галичем восстала Соль-Галицкая; и там составилось преимущественно из крестьян ополчение и пристало к галицкому. Из Соли-Галицкой послали вестовщиков в разные города. В Костроме взволновались посадские люди в первой половине декабря, напали на своего воеводу Димитрия Мосальского и на бывших с ним литовских людей, перевязали их, посадили в тюрьму, а сами собрались всем посадом, пригласили служилых — дворян и детей боярских, и вместе с ними целовали крест царю Василию[636]. Мосальский под пыткою наговорил им, что тот, кого называют Димитрием, — попов сын Митька с Арбата от Знаменья[637]. Мосальскому костромичи в заключение отрубили руки и ноги и бросили в воду. Восстало Белоозеро; туда прибыл за побором из воровских полков какой-то Северьян Витовтов.

---

[635] Сноски: 635
А. Э., II, 185.

[636] Сноски: 636
Ibid., 203,205.

[637] Сноски: 637
Ibid., 192.

Белозерцам стало тяжело; дошли до них слухи, что в других местах поднялись русские люди; и они по их примеру схватили приехавших к ним за поборами и стали пытать, а те наговорили им, что московские люди побили литовских и вор, называющий себя Димитрием, хочет побить лучших воинских людей, а сам после того бежит в Литву. Белозерцы по этим вестям заключили, что Шуйский берет верх над вором, и отложились от вора[638]. За Белоозером отложился от вора и присягнул Василию Каргополь, куда заонежские купцы принесли известие, что к Скопину идут двенадцать тысяч шведов. Каргопольцы, как и белозерцы, присягнули потому, что сочли дело вора проигранным.

Вологда, присягнув по отписке ярославского воеводы, сначала ревностно стояла за Димитрия. Черный народ держал в страхе лучших людей, признавших его поневоле. Пушкина и Воронова, замечая в них неискренности, низложили. Но вслед за тем приехали туда двое детей боярских от Димитрия и стали читать грамоты: в одной исчислялось, что следует вологжанам доставлять с сохи по 8 лошадей с санями, с рогожами,

[638] Сноски: 638
А. Э., II, 191.

с веретьями да разных запасов с каждой выти; в другой грамоте все рыбные ловцы облагались повинностью ловить и доставлять рыбу на имя того, кто называется царем Димитрием[639]. Тут вологжане почуяли, что им будет нелегко. Многие стали говорить между собою шепотом: «Хоть мы целовали крест, да поневоле; готовы подняться за царя Василия, если бы только стали с нами заодно другие города: Устюг, Соль-Вычегодская и Тотьма»[640]. Но 29 ноября приехали в Вологду Федор Нащокин да Иван Веригин с товарищами, а с ними пан Ушминский, литвин, с разным сбродом литовских людей и русских воров. Нащокин поставил другого воеводу, Булгакова, а прежних — Пушкина и Воронова — велел сковать, имения купцов велел опечатать и обложить податями, да еще вымогал себе поминки в свое удовольствие[641].

Приехавшие с ними пустились по окрестностям собирать «стации», грабили, бесчинствовали и привезли в Вологду за собою несколько саней с

---

[639] Сноски: 639
Ibid., 132.

[640] Сноски: 640
А. Э., II, 180–181.

[641] Сноски: 641
Is. Mass., 122.

награбленным; а вслед за ними пришла толпа обобранных и обиженных мужиков с слезным челобитьем. Тут вологжане потеряли терпение, перевязали пришедших к ним, восстановили Пушкина и Воронова на прежних местах. Пленные с пытки объявили, что в тушинском таборе голод, ратные люди простоят не долее Рождественских Святок, а потом разойдутся. Это ободрило вологжан. Они сообразили, что воровская сторона слабеет. Вдобавок пленные показали, что тот, кто в тушинском таборе называется Димитрием, вовсе не тот человек, что царствовал в Москве и по своей смерти объявлен расстригой Григорием Отрепьевым; но они не могли согласиться в показании, кто он именно. Один называл его стародубцем, другой — сыном Андрея Курбского, третий говорил, что рода его не знает, но знает, что он вор. Вологжане, по отдаленности, могли более чем жители ближайших к столице городов склоняться к вере, что тот и в самом деле Димитрий, кто себя этим именем называет; теперь признание его сообщников давало им нравственную поддержку. Всех, пришедших от Димитрия, они побили, побросали их тела с горы и смотрели, как собаки пожирали

эти тела[642]. Пушкин и Воронов снова привели их ко кресту: стоять за царя Василия и умирать друг за друга[643], и отправили о том же грамоты в Тотьму и Устюг.

Устюжна в декабре получила из Белоозера отписку с советом не попрать веры и стоять за великого государя в то время, когда приехали туда воровские люди править кормы. Устюжняне не дали кормов, прогнали приставов, отправили по окрестности сбирать дворян, детей боярских и других людей, и в церкви Рождества Богородицы утвердились крестным целованием стоять и животы положить за царя Василия Ивановича, написали на список дворян и детей боярских, которых оказалось числом 27, и всяких чинов людей числом шестьсот, разделили их на сотни, поставили в них сотников, пятидесятников из детей боярских и послали в Углицкий и Белоозерский уезды звать к себе служилых; иные приезжали сами, а других силою привозили и смиряли непокоряющихся[644].

---

[642] Сноски: 642
Is. Mass., 223.

[643] Сноски: 643
А. А. Э., II, 186.

[644] Сноски: 644
Повесть об Устюжне в рукоп. Румянцевск. музея.

Тотьма с Чарондою были отданы тушинским царем атаману Заруцкому[645]. Русских раздражало то, что их города отдаются иноземцам в отчину. Тотьма скрепя сердце целовала крест Димитрию по грамоте, присланной из Вологды. Вслед за тем приехали туда двое детей боярских, Палицын и Цыплятев, да с ними какой-то пан с командою собирать поборы, выпустили из тюрьмы опальных, содержавшихся в Тотьме, и тотчас же дали себя знать тотемцам. Тут приходит из Галича отписка вместе со списком грамоты царя Василия, это прислано было к одному из лучших тотемских людей, Козьме Строганову. Он собрал к себе ночью лучших людей, прочитал им грамоту. Они обрадовались. Через несколько дней, 1 декабря, пришла к ним грамота из Вологды о том, что Вологда отложилась от вора. Тогда и Тотьма восстала, целовала крест царю Василию и обещала быть заодно с Вологдою.

Устюжане вовсе не целовали креста тому, кто назывался Димитрием. Когда Вологда признала его, то в Устюг послана была от воеводы Пушкина грамота с образцом крестоцеловальной записи царю Димитрию; но в то же время устюжане по-

---

[645] Сноски: 645
А. А. Э., II, 186.

лучили грамоту от царя Василия, и пришло к ним известие, что Галич и Кострома отложились от Димитрия. Устюжане рассудили так: неизвестно, чья возьмет; не лучше ли выждать и пристать к тому, кто будет посильнее и за кем будет им спокойнее. Уговаривая соседей своих, сольвычегодцев, не спешить целовать креста Димитрию, они выражались в своей отписке так: «Помыслите, на чем вы дали душу свою царю Василию; если услышим, что Бог пошлет гнев свой праведный на всю русскую землю, — до нас еще далеко, успеем с повинною послать; а если мы послушаем Никиты (Пушкина, вологодского воеводы), то будет выслуга ему, а не нам. Помыслите миром крепко и не спешите крест целовать: не угадать, на чем совершится»[646]. Так писали устюжане в последних числах ноября. «Так-то, — рассуждает современник, — слыша, что разоряются города и во огненные пещи превращаются, мы не болезновали об изгнанниках и даже домов своих не отворяли им, а говорили: эта беда еще далеко от нас и минует нас»[647].

Немного дней спустя пришла из Вологды грамо-

---

[646] Сноски: 646
А. Э., II, 183.

[647] Сноски: 647
Погод. сборн., 931.

та, где тот же Никита Пушкин уговаривал стоять за царя Василия. Дошла к устюжанам весть, что уже восстало много городов против вора. Надеясь, что дело Шуйского пойдет успешно, они целовали крест стоять за царя Василия и положили с посада и со всего уезда собрать по десяти человек с сохи. Лучшие люди снаряжали воинов от себя наймом, иные шли «охочими своими головами». Нарочные побежали в Соль-Вычегодскую, Пермь, Вятку с грамотами. В Соли-Вычегодской собрали с малой сошки (80 четв. посева) по четыре человека, а братья Строгановы (Максим, Никита, Андрей, Петр) по пяти человек с сошки[648].

Вслед за Устюгом и Солью-Вычегодскою поселения на берегах Сухоны, Выми, Сысолы поднялись, собрали ратных людей и отправили на соединение с сольвычегодцами и устюжанами[649]. Собранные отряды шли в Вологду, а оттуда в Галич или же прямо в Галич и Кострому.

Между тем с другой стороны восстание получало силу. Нижний и Казань упорно не поддавались Тушинскому вору, хотя кругом их города и волости передались ему. Боярин Федор Шереметев,

---

[648] Сноски: 648
А. А. Э., II, 190.

[649] Сноски: 649
А. А. Э., II, 200.

стоявший до того времени в Бальчике под Астраханью, прибыл в Казань со своим полком. В Нижнем были воеводами Алек. Андреев, Репнин и Андрей Михайлов, Алябьев. Последний заправлял тогда всем и поддерживал покорность царю Василию. Нижегородцы списались с Шереметевым. По их просьбе Шереметев прислал из Казани отряд, состоявший кроме дворян и детей боярских из татар и башкирцев. Алябьев составил еще местное ополчение: в него кроме русских служилых дворян, детей боярских и стрельцов вошли иноземцы: там были немцы, волохи, турки, сербы. Эти иноземцы в разные времена взяты были в плен в предшествовавшие польские войны, поселены в нижегородском крае, наделены поместьями и, обжившись, вошли уже в русскую жизнь. Некоторые из них были сведущее московских людей в ратном деле и теперь пригодились. С такими силами Алябьев пошел на Балахну и требовал, чтобы этот город отпал от вора и признал власть Шуйского. Когда он доходил до Балахны, балахонцы вышли к нему навстречу из своего города, 8 декабря вступили с ним в бой, были разбиты, потеряли знамена, наряд и набаты. Балахонский воевода Степан Голенищев, несколько лучших посадских людей

и казачий атаман Тимоха Толкаев, приводивший Балахну к крестному целованию на имя Димитрия, были взяты и отвезены в тюрьму в Нижний до государева указа. Балахонцы всем городом принесли повинную и целовали крест царю Василию. Но тут же нижегородцы услыхали, что на их город наступает ратная сила из Арзамаса, и поспешили домой. Алябьев успел вскочить в город прежде, чем враги подступили к нему. Кроме татар и черемис, на него шли и кое-какие свои нижегородцы, предпочитавшие служить Димитрию вместо Шуйского. Местоположение Нижнего на высокой и крутой горе не таково, чтобы с ним легко было справиться. 5 декабря Алябьев сделал вылазку и разбил своих супостатов. Взято в плен более трехсот человек; гнали воровское войско верст за шестнадцать; только темная ночь спасла воров. Победители взяли знамена, набаты. Воротившись в свой город, они услышали, что с другой стороны идет новое воровское полчище и уже находится в селе Ворсме; они выступили снова из города и, не доходя 5 верст до села Ворсмы, за 40 верст от Нижнего, разбили воровских людей, нахватали пленных, дошли до Ворсмы и зажгли это село за приверженность к Димитрию. На другой день нижегородцы подошли к

селу Павлову, встретили там еще одно воровское ополчение и его разбили; и там побрали знамена и взяли в плен людей[650]. Эти успехи ободрили нижегородцев. Они решились идти в дальнейшие города и волости и принуждать отлагаться от «вора». И вот они послали грозную грамоту в Муром и требовали, чтобы тамошние жители покаялись, целовали крест царю Василию и прислали в Нижний повинную[651]. В Гороховце, Ярополчей волости (Вязниках), Павловом Острове, Шуе, принадлежавшем тогда Суздальскому уезду посаде и в других волостях того же уезда восстали жители по их призыву и целовали крест царю Василию[652]. Около того же времени в Лухе схватили стоявшего там с ворами пана Арамского и отправили в Нижний[653].

---

[650] Сноски: 650
А. А. Э. II, 204–205.

[651] Сноски: 651
А. И., II, 142.

[652] Сноски: 652
А. И., II, 144, 418.

[653] Сноски: 653
А. А. Э., II, 205.

IX. Поход Лисовского на Кострому и Галич. – Сбор восстания в Вологде. – Положение северо-восточного края. – Поражение Вяземского. – Поход нижегородцев. – Восстание Владимира, Ярославля и других городов. – Новый поход Лисовского. – Попытка взять Владимир и Ярославль. – Поход на Кострому. – Неудачи Лисовского и Наумова. – Шереметев. – Поражение инородческих скопищ. – Поход Шереметева на Владимир. – Плачевное состояние народа

Как только весть о восстании восточных областей достигла Тушина, оттуда для усмирения отправился с отрядом князь Семен Вяземский, а суздальский воевода Плещеев получил приказание укрощать восстание в Переяславле. Сапега из-под Троицы отправил на то же дело Стравинского, потом Лисовского. С Лисовским было четыре роты поляков (в 180 человек каждая); к ним присоединились две тысячи запорожцев да тысяча человек ярославских и галицких де-

тей боярских, еще верных вору. Они пошли на Ярославль. Этот город не успел еще восстать. Его хотел было поднять солепромышленник Данило Эйлов, нидерландец по происхождению, но православной веры; он снарядил на свой счет отряд, вооружил луками, топорами и копьями, но посланный против него Лисовским отряд уничтожил это восстание в зародыше. Тысяча человек погибли в солеварне Эйлова. Несколько возмутившихся деревень были сожжены. Сам Эйлов спасся с тремя дочерьми в погребе и остался жив по ходатайству верного Димитрию иноземца Шмитта, заплативши за себя 600 талеров откупа[654].

Ополчения Галицкого уезда и галицких пригородов пошли против Лисовского, но, не доходя до Ярославля двух верст, дети боярские, галичане и костромичи, испугались, передались Лисовскому и начали отнимать галицкий «огненный наряд», чтобы перевезти его на сторону Лисовского, а посошные люди солигалицкие, галичане, галицких пригородов бежали назад, стараясь увезти наряд с собою. Лисовский, усилив свой отряд изменниками, погнался за ними до Костромы.

---

[654] Сноски: 654
Bussow, 89.

Здесь бегущие крестьяне, подкрепляемые костромскими силами, дали бой, но костромские дети боярские, которые вышли было к ним на помощь, изменили подобно своим товарищам под Ярославлем, и крестьяне разбежались вновь. 29 декабря Кострома сдалась. Тут к Лисовскому пристали и остальные костромские дети боярские, не хотевшие служить Шуйскому[655].

За Костромою был взят Галич; посад был сожжен. Люди разбежались в леса. Крестьяне из Галицкого уезда бежали к северу и строили засеки в лесах. Из Галича Лисовский послал Пулковского в Соль-Галицкую привести к вере Димитрию жителей и наложить на них окуп — 250 рублей, за то, чтобы не разорять их. Лисовский расчел, что, чем жечь и истреблять их имущества, гораздо лучше продать их им самим. В Соли-Галицкой, около посада, острога вовсе не было, а в городе стены сгнили; недоставало ни наряда, ни пороха. Поэтому защищаться не было никакой возможности. Одни из жителей убежали в засеки; другие же, получив предложение Лисовского, должны были, по выражению их самих, «с правежу животишки свои исценя, да те деньги собрав, в откуп

[655] Сноски: 655
А. И., II, 203–205.

дать, чтобы из Галича воры к ним войною не приходили и домов их не разоряли и не пожгли, и жен и детей не поругали»[656].

Трудно было пуститься зимою в далекий путь на север, когда жители готовы были встречать гостей недружелюбно. Лисовский, довольный тем, что задал острастку непокорным, воротился в Тушино, и восстание открылось с большею силою. Еще когда Лисовский усмирял Кострому и Галич, оно возникало в других городах. 15 декабря поднялось Пошехонье; там устроил дело вологжанин Ларион Монастырев; он привел ко крестному целованию детей боярских и волостных людей Пошехонского уезда на имя царя Василия. Восстали около того же времени уезды Кашинский, Бежецко-Верховский и Городецкий. На Устьрецком стану 21 декабря переловили поляков, собиравших побор; послали по волостям и погостам приводить жителей к крестному целованию царю Василию; отправили грамоты в Тверь и Торжок с увещаниями стоять против воров и изменников и против польских и литовских людей[657].

---

[656] Сноски: 656
А. И., II, 205.

[657] Сноски: 657
А. А. Э., II, 192.

На Устюжну пошло из Углича ополчение, составленное из черкас, немцев и русских воров. Против них пошли избранный в Устюжне воеводою прибывший из Москвы Андрей Петрович Ртищев да присланный из Белоозера на подмогу Фома Подщипаев; они были наголову разбиты у деревни Батеевки 5 января, и по следам их подошли неприятели к Устюжне; но тогда, говорят, был пономарю церкви Рождества Богородицы глас: «Не устрашайтеся, православные христиане, не отпадайте, не дам дома своего на разорение иноплеменным». Враги отошли от Устюжны и не взяли ее, хоть в ней почти не было укреплений. Устюжняне приписывали это событие заступничеству Богоматери. После того они принялись укреплять посад, прорыли ров, вколотили надолбы, набросали подметных каракуль (железных фигур для порчи ног у неприятельских лошадей), готовили пушки, пищали, ядра и дробь и послали в Новгород просить пороху; на их счастье, успели им доставить порох, а между тем на них шел другой — посильнее — отряд из Тушина под начальством поляков Петрицкого и Казановского. Не доходя до Устюжны, они послали в город грамоту, приглашая устюжнян покориться и повиниться. Но устюжняне не послушали. В рать

у них набилось много разных людей, но мало таких, которые были сведущи в ратном деле. Враги подступили в ночь с 2 на 3 февраля, постреляли по острогу, сожгли оставленную часть посада с двумя церквами, отошли на место, называемое Подсосенье, за версту от Устюжны, и 4 февраля перед рассветом двинулись оттуда со щитами и возами, нагруженными соломою с серой для сожжения стен. Но тогда священники вынесли икону Богоматери к воротам, посвященным имени св. Димитрия (вероятно, потому, что там стояла икона этого святого), куда направляли приступ. Рассказывали: когда священники пришли в церковь за этой иконою, она сама двинулась со своего места и стала посреди церкви. Когда икона появилась на стене, это так воодушевило устюжнян, что они начали дружно отбиваться, и воры отступили. Осажденные сделали вылазку, отняли у них медную пушку и взяли в плен пушкаря по имени Капуста, которого рассекли на части, и голову его воткнули на высокое дерево. 9 февраля усиленные новым отрядом враги снова пошли на приступ с разных сторон; граждане опять обратились к Богородице, и враги снова отступили. Тогда часть их, наскучив неудачами, ушла за реку Мологу, а другая, отступив в Подсосенье,

на другое утро опять сделала нападение. Враги с криком пускали в острог стрелы с зажженною соломою, лезли на стены острога, а горожане лили на них кипяток с калом. Горожане стали было терять дух, но священники вынесли снова образ Богоматери при колокольном звоне на стену, — набрались устюжняне мужества, отбивались дружно и отняли у врагов знамя. Враги отступили и уже не нападали на город. Устюжняне в память этого события установили празднество в честь Богородицы, февраля в 10-й день[658].

На другой стороне шуяне, разбитые Плещеевым, собрались в новое ополчение под начальством костромича Федора Боборыкина. К нему пришел на помощь из Юрьева со своею шайкою чарочник Федор Красный. Плещеев выступил против них. Они заперлись в селе Данилове. 11 февраля был бой; суздальский воевода был разбит и бежал в Суздаль. Боборыкин погнался за ним, но ему не удалось взять Суздаля[659]. Большая шайка воровских людей разбила черных людей в селе Даниловском, взяла острог приступом. Много народу пропало.

---

[658] Сноски: 658
Рук. Румянц. музея, № 378.

[659] Сноски: 659
А. И., II, 173.

Присмиревшие костромичи тотчас после ухода Лисовского, услышав, что к ним идет помощь из Вологды, поднялись в первых числах марта и начали мстить своим детям боярским, которые изменили общему делу. До двухсот человек замучили; не пощадили их жен и детей, обрезывали у младенцев руки и ноги и вкладывали матерям в рот, разрезывали беременных жен изменников, сдирали с живых кожи[660]. Оставленный Лисовским воровской воевода Вельяминов успел с ратными людьми запереться в Ипатьевском монастыре. Вслед за Костромою восстали снова Галич и Соль-Галицкая. Приговорили собрать по двадцати человек с сохи, готовились идти все своими головами. Галичане послали гонцов в северные города, извещали, что литовские люди и русские изменники воюют села, разоряют церкви, обдирают образа, бьют крестьян, бесчестят женщин[661].

Умоляли о помощи. Писали, что литовские люди и воры намереваются идти на Вологду и на Сухону воевать дальние места. По таким отпискам устюжане и сольвычегодцы собрали вновь по

---

[660] Сноски: 660
Никон, летоп., 111.

[661] Сноски: 661
А. А. Э., II, 202.

5 человек с малой сошки на «заставу» и послали в Вологду на соединение с ополчениями Вологды и Тотьмы. Кроме устюжан и сольвычегодцев, белозерцы, чарондцы, каргопольцы, жители берегов Ваги и Двины собирали ратных людей и отправляли в Вологду. Этот город сделался сборным средоточием восстания для всего Севера. Со времени открытия Беломорского торгового пути Вологда быстро возвышалась и богатела. Она была главным перевозочным местом между Белым морем и Москвою. Зимою съезжались туда подводы с товарами для отправки весною к морскому порту, а осенью скоплялись привезенные водою иностранные товары и с наступившим зимним путем развозились конно в Москву и по всему государству. Понятно, что при таком положении дел в Вологде образовались капиталы; купцы, как и везде зажиточные люди, держались Шуйского и только в крайнем случае, ради спасения своих имуществ, уступили было черни и присягнули вору. Но теперь, когда они стали увереннее, что дела Шуйского поправляются, что черный народ, испытав обманчивость надежд на Димитрия, не стоит больше за это имя, они стали помогать восстанию всеми силами. Торговцы давали деньгами. Большая потребность досчаников и подвод

привлекала туда много рабочего крестьянского народа. Образовалась привычка у народа скопляться в Вологде. От этого из Вологды удобнее, чем из другого места, было расходиться воззваниям и собирать в Вологде ратных людей. Сверх того, Вологда на Севере имела и религиозное значение. Там и в окрестностях ее было много святыни. Тогда распространили слух, что св. Димитрий Прилуцкий у своей гробницы явился некоему старцу, велел ему взять свой образ и привезти в город. Вологодский владыка, вологодский воевода Пушкин, все ратные люди, собравшиеся в Вологде, и много народу встретили этот образ на площади 4 января, поставили его в церкви Св. Спаса и дали обещание в воспоминание этого события построить на площади храм Св. Димитрия Прилуцкого[662].

Несмотря, однако, на всеобщую решимость восстать всем миром за Русскую землю, не обошлось без смут и ссор между городами. Тотьма не ладила с Вологдою. Воеводу Пушкина и дьяка Воронова за то, что они прежде приводили ко кресту на верность вору, обзывали изменниками. Один из воров, пойманный и присланный

[662] Сноски: 662
А. А. Э., II, 196.

в Тотьму, показывал на Пушкина, будто он тайно сносится с ворами и обещает сдать Вологду, когда будет послано туда воровское войско[663]. Устюжане, не присягавшие вовсе Димитрию, не могли простить вологодским начальным людям их временной шатости и посылали в Вологду отписки, обращаясь прямо к вологодцам и не упоминая вовсе о воеводе и дьяке, так что вологодцы в своей отписке к устюжанам должны были заметить и уверять, что воевода Пушкин и дьяк Воронов обо всем радеют единомышленно с вологодцами[664]. Сверх того была неисправность в поставке средств к содержанию рати. Сборные ратные люди получали жалованье помесячно из тех городов и уездов, откуда были высланы в Вологду на сбор; но усольские ратные люди жаловались, что им не присылают к сроку жалованья, и грозили разойтись по домам[665].

Вообще, на словах оказывалось рвения больше, чем на деле. Так, Пермь то и дело что присылала отписки с уверениями в непоколебимой

---

[663] Сноски: 663
А. А. Э., II, 203.

[664] Сноски: 664
А. А. Э., II, 195.

[665] Сноски: 665
А. А. Э., II, 197.

верности царю Василию, но ратных сил не присылала. Устюжане и сольвычегодцы не один раз выговаривали пермичам, что они только на словах показывают свою верность. Вообще, чем дальше лежали от Москвы области Московского государства, тем меньше были привязаны к его средоточию. Во-первых, громада сельского населения состояла там в большем размере из покоренных инородцев, которые, разумеется, не имели сердечной любви к Москве, для которых существование и крепость Московского государства не составляли важной потребности, которым было все равно: будут ли править ими русские или поляки, Димитрий или Василий, будут ли они, наконец, принадлежать Москве или другому какому-нибудь центру; во-вторых, самое русское население, еще редкое в то время, состояло в значительном количестве из таких переселенцев, которые выходили из места своей родины не с приятным воспоминанием о прежнем житье, напротив, по опыту находили, что чем дальше от средоточия московской жизни, тем живется привольнее и легче, и не связывались с ним путем тесных, добровольных сношений. От этого у них на первом плане стояли свои, местные выгоды и ценились ими выше государственных.

Таким образом, жители отдаленных городов во время всеобщего бедствия Московского государства не стеснялись извлекать себе выгоды из печального положения соотечественников. Так, верхотурские жилецкие люди доставляли служилым людям, шедшим на войну за веру и Русскую землю, хлеб с песком и камешками. Оттого и содействие северо-восточного края в деле восстания было слабо. Уже 17 марта устюжане жаловались, что из Пермской земли войска не прислано вовсе. Только и пришло, что несколько охочих людей. В конце марта из Кайгородка, Вымской земли и Соликамской пришло еще всего 96 человек[666].

Несмотря на все это, все-таки в марте собралось в Галиче ополчение: оно преимущественно состояло из поселян. Часть была на лыжах, часть на лошадях. Надежных воевод не было. Ополчение разделялось на десятки, состояло под начальством выбранных голов и было совсем не способно к битве с опытным, настоящим войском. Люди военные, дети боярские Галицкой земли и галицких пригородов объявились уже в измене: им не верили, хотя они и давали повинные за

[666] Сноски: 666
А. И., II, 209.

своими руками, — их засадили в тюрьму[667]. В апреле над этим ополчением выбран был воевода Давыд Жеребцов; оно двинулось к Костроме и 1 мая осадило Вельяминова в Ипатьевском монастыре.

Между тем с другой стороны продолжал дело восстания Нижний Новгород. По возвращении Лисовского из Галича, из Тушина в январе послан был князь Семен Вяземский с ополчением подымных (т. е. собранных по числу дымов, или домов) людей. Против него вышел Алябьев, вступил в бой и победил. Сам князь Вяземский попал в плен, и в Нижнем Новгороде его повесили, не сносясь даже с царем Василием. Победивши Вяземского, неутомимый Алябьев со своими нижегородцами пошел на Муром. Муромцы принесли повинную. Литовские люди и русские воры бежали оттуда во Владимир. Ободренные приближением нижегородцев, окрестные черные люди удвоили свою готовность к восстанию; новые шайки появлялись; прежние возрастали. Противная сторона не только не опомнилась, но еще больше раздражала народ наглостью и бесчинствами. Ярославский воевода князь Борятинский писал в

[667] Сноски: 667
А. И., II, 206.

Тушино к своему царику, что он живет в больших бедах. С одной стороны ему угрожают мужики, поднявшиеся против Димитрия за Шуйского, а с другой — литовские люди, казаки и свои сторонники русские бесчинствуют и раздражают народ; он просил прислать побольше польских и литовских людей для обережения, но в то же время просил вывести польских и литовских людей из сел, признающих власть Димитрия, и дозволить им опустошать села державшихся Шуйского владельцев (изменничьи)[668]. Точно так же суздальский воевода Плещеев и владимирский Вельяминов жаловались Сапеге на грабежи и убийства, чинимые в их уездах жителям от литовских и русских загонных людей. Напрасно просили Сапегу писать к ним с великою угрозою. Те же воеводы нуждались в ратных людях и просили о их присылке, а пришедшие ратные люди делали то же, что делали загонные[669].

Одни толпы поднимались за Шуйского и за Московское государство против иноземцев и своих, которых они называли изменниками; другие (из детей боярских и татары) поднимались за

[668] Сноски: 668
А. И., II, 179.

[669] Сноски: 669
Ibid., 192. — Сборн. Хилкова, 55, 56.

Димитрия, называли изменниками тех, которые служат Шуйскому. И те и другие вооружались под знаменем веры и правды; и те и другие обвиняли своих врагов, что они ругаются над Божьими церквами и образами[670]. Таково было состояние края в окрестностях Владимира и Суздаля, когда из Мурома в конце марта Алябьев послал отряд ко Владимиру и 700 человек стрельцов и казаков под главным начальством воеводы Микулина[671], присланного Шереметевым с Низу.

Владимирцы, которым уже трудно стало терпеть своевольства, грабежи и всякого рода насилия от воровских людей, взволновались, отложились от вора и целовали крест Василию. Воевода Вельяминов, по русским известиям, не успел счастливо уйти, как это удавалось его товарищам в иных городах. Его поймали, повели в соборную церковь и предложили ему *поновиться* (исповедь). Его духовный отец *поновил* его, потом вывели его на площадь и сказали владимирцам: «Вот враг Московского государства». Его убили каменьями. Немедля целовали крест царю Васи-

[670] Сноски: 670
А. И., II. 160.

[671] Сноски: 671
А. И., II, 226.

лию и отправили челобитную с повинной[672]. По польским известиям[673], Вельяминов сначала сдался рати Шуйского и вышел к ней с хлебом-солью, был оставлен на воеводстве, а потом, когда приступили к Владимиру сторонники Димитрия, стал с ними сговариваться, как сдать им город; они ему не поверили, подозревая, что он поставил засаду и хочет их заманить для того, чтобы, как они войдут в посад, на них со всех сторон ударить и стеснить. Но оба эти известия согласимы. Вельяминов, призвавши Шуйского, может быть, и в самом деле хотел заманить врагов и погубить и для этого с ними сносился, но народ, узнавши про это, счел его изменником и убил.

Вскоре после того отпал от вора Ярославль. Вот как было дело. Составленное в Вологде, как выше рассказано, ополчение пошло к Волге под начальством присланного к нему от Михайла Скопина-Шуйского воеводы Никиты Вышеславцева. Это ополчение достигло в марте города Романова. Дворяне и дети боярские этого уезда держались вора, черные люди — царя Василия; между двумя сторонами сделался бой; одолели

---

[672] Сноски: 672
А. И., II, 226. Ник., 114.

[673] Сноски: 673
Diar. Sapiehy.

черные люди[674] и пристали к Вышеславцеву. Город Романов был взят. Романовские татары, сторонники вора, бежали. Из Романова Вышеславцев разослал гонцов по окрестностям с грамотою, где уверял, что называющий себя Димитрием вор и богоотступник. «Сами видите, что деется, — писал он, — матерей ваших и жен на постелю емлют, и дома ваши разоряют, и вас побивают»[675]. Сторонник вора литвин Петр Головин вышел было против него с подымными людьми, согнанными насильно из сел и деревень, но эти воины, как увидали идущих против себя своих братий, перешли на их сторону. Головин едва ушел в Ярославль. Романовцы гнались за ним, но не догнали[676]. Ополчение двинулось из Романова к Ярославлю[677]. Тут стали приставать к нему дети боярские и казаки приволжских городов и ярославцы. Вышеславцев остановился близ Ярославля, в селе Егорьевском. Русские сто-

---

[674] Сноски: 674
А. И., II, 179.

[675] Сноски: 675
А. И., И, 176.

[676] Сноски: 676
А. И., II, 193.

[677] Сноски: 677
А. И., И, 216.

ронники тушинского царя с литовскими людьми и казаками 7 апреля под начальством Самуила Тышкевича подошли к стану Вышеславцева; но, когда началась битва и неопытные в ратном деле крестьяне, так называемые лесники, стали подаваться, ярославские дети боярские, стоявшие в задней части рати Тышкевича, ударили сзади на поляков и на своих воров, а спереди напер на них Вышеславцев с воеводами Овсеем Резановым и Федором Леверьевым: они были разбиты наголову[678]. В Ярославле сделалась тревога.

Этот торговый город, стоявший на перепутье торгового сообщения Москвы с Белым морем, был населен русскими купцами и иностранцами. Для сохранения своих товаров и капиталов они присягнули Димитрию, не видя впереди, чтобы Шуйский мог взять верх. В Ярославле было значительное число иностранных торговцев, приобретших там оседлость, немцев и англичан, для которых, разумеется, по отношению к Московскому государству не существовало нравственных убеждений. Скоро пошли на жителей тягости за тягостями. Они доставили в тушинский лагерь 30 тысяч рублей готовыми деньгами.

---

[678] Сноски: 678
Diar. Sapiehy.

На них наложили повинность снарядить на свой счет тысячу конных ратных людей; сверх того они должны были давать съестные припасы поставленным в городе ратным людям; наконец, паны-браты, как называет их немец, посоветовавшись, сочли не нужным платить ярославцам за товары, а стали у них брать без денег: что кому понравится, тот и берет себе в первой лавке. Чуть не по нраву русский поляку — поляк его бьет, а иногда и русский поляка отколотит. Кроме того, в этот город, который славился изобилием всякой роскоши, приезжали нарочно из тушинского обоза за припасами к царскому обиходу. Так, в ноябре 1608 года приезжал туда стряпчий Щепин собирать царику сахар в головах и разные пряности и лакомства. С ним были его холопи и донские казаки. Двое удалых посадских да двое монастырских слуг подобрали себе товарищей и зазвонили на всполох: набралось до тысячи человек, напали на двор, где остановился стряпчий, разбили ворота, разломали забор; сам стряпчий ушел, преследуемый ругательствами; одного из его слуг убили, другого ограбили; взяли и у стряпчего все, что он вез своему царю из Яро-

славля[679]. Такие вспышки повторялись и после; возмущения оканчивались грабежом; грабители спасались бегством, а поляки и русские сторонники «вора» после того сильнее утесняли остальных жителей, и день ото дня положение ярославцев было невыносимее. Это было поводом к тому, что все жители Ярославля заволновались, едва только подошел к городу Вышеславцев.

Воевода князь Федор Борятинский с дьяком Богданом Сутуповым напрасно хотели удержать город в повиновении Димитрию. Они связали двух приверженцев Шуйского, волновавших город; но потом сами, спасая собственную жизнь, убежали; за ними последовали сторонники вора. Литовских людей, которые там находились, побили; успел убежать их начальник Тышкевич[680]. Начальство в Ярославле приняли князь Петр Ахамашуков да Григорий Тушин[681]. 8 апреля ярославцы встретили Вышеславцева с образами, с хлебом-солью. Город, а за ним и уезд его целова-

---

[679] Сноски: 679
Челобит. в делах Арх. Ком.

[680] Сноски: 680
Рук. Имп. П. Библ.

[681] Сноски: 681
А. А. Э. II, 237.

ли крест Василию[682].

По примеру Ярославля отпали от вора Молога, Рыбная Слобода, города Бежецкий Верх, Кашин (уезды этих городов прежде отпали). Углич, уже раз отпадавший от вора, теперь опять находился во власти его, но, как только стало подходить к нему русское ополчение, посадские и дети боярские подвиглись идти навстречу землякам с хлебом-солью: тамошний воевода тушинского царика Ловчиков бежал без оглядки с двумястами разнородного сброда. Угличане пошли на Колязин монастырь; тамошний игумен держался вора, и самый монастырь был защищаем ратными силами из русских приверженцев вора. Угличане были отбиты.

Повсюду тяглые люди составляли шайки, избирали голов, целовали крест стоять единодушно против врагов веры и Московского государства, били литовских людей и русских изменников. Дворяне и дети боярские следовали за ними: кто волею, кто неволею. Вообще не они клали начало восстанию. Тягость поборов и произвола в обращении падала на тяглых, а потому-то они, обманутые в своих надеждах, ненавиде-

---

[682] Сноски: 682
А. И., II, 223. — А. Э., II, 220, 237, 241.

ли Димитрия. Роли перемешались. Димитрий переставал быть царем черни. Дворяне и дети боярские, уступивши черной толпе неволею, привыкали к новому царю, потому что при нем порядок оставался все тот же для их пользы; они получали поместья и от Димитрия, и от Сапеги, и очень многих это привязало к воровскому делу. Они бы держались за это дело дружнее, если бы в раздаче поместьев не происходило путаницы; но из них один под другим рыл яму, один выпрашивал себе поместье, данное уже другому, для этого описывал своего соперника изменником, и по таким челобитьям одно и то же поместье давалось нескольким лицам. Новый владелец выгонял прежнего силою и через несколько дней сам был выгоняем тем, кто получал грамоту после него на то же поместье, а иногда получивший поместье по грамоте Сапеги терял его оттого, что являлся с вооруженною силою другой дворянин или сын боярский с грамотою от царика. Таким образом, из сословия дворян и детей боярских быстро накоплялись недовольные правительством Димитрия, и они легко приставали к ополчению черных, поднявшихся против Димитрия. Также добровольно приставали к ним и те, которые сами были разорены или оскорблены

от своевольных жолнеров. Но большинство служилого сословия, признавши Димитрия, тогда еще неохотно отлагалось от него, потому что еще не видело, чтобы сила его падала, а противная возрастала, и готово было отстать от него только тогда, когда уверялось, что он не крепок, или когда накопившаяся сила черни брала верх.

Новые успехи восстания не могли остаться без противодействия с воровской стороны. Узнавши об отпадении Поволжья и Владимира с его соседними городами, Сапега отправил снова Лисовского, Стравинского и Будзила. Соединившись с суздальским воеводою Плещеевым, они подошли ко Владимиру 6 апреля, простояли под ним шесть дней и отошли. Город считался крепким, осыпь была велика, орудий много. У владимирцев был тот самый наряд, который находился прежде у Вельяминова, а у осаждавших не хватало силы. Притом владимирцы решились защищаться отчаянно. «Эти изменники сели на смерть», — доносил о них своему Димитрию Плещеев[683]. Лисовский отошел от Владимира и отправился к Ярославлю. Вперед него пошли туда Будзило и ростовский воровской воевода

---

[683] Сноски: 683
А. И., II, 226.

Иван Наумов. В ополчении, шедшем на Ярославль, было больше всего русских воров, а также немало черкас (малороссиян) и татар. Были дети боярские из восставших городов: Ярославля, Пошехонья, Вологды, но немного[684]. Ярославцы отрядили заранее на реку Пахну, верст за семь от города, заставу — охранять переправу через реку близ двора, принадлежавшего Спасскому монастырю. В то время, по причине весеннего разлива, неудобно было переправиться в ином месте. Четыре дня застава не пропускала литовских людей, но они тем временем высмотрели удобное место пониже, навели мост и оставили у прежней переправы ярославских и романовских татар и донских казаков отвлекать ярославцев, а сами 30 апреля перешли через построенный ими мост и ударили в тыл заставе, охранявшей переправу и занятой битвой с оставленными на переправе татарами и казаками. Застава была рассеяна. Ратные люди, вышедши из Ярославля, бились целый день до вечера и ушли в город. Будзило сжег Спасскую Слободу и подступил к большому (внешнему) острогу. На другой день, 1 мая, острог был взят. Изменил служка Спасского

[684] Сноски: 684
А. И., II, 268.

монастыря Григорий Каловский, отворил Семеновские ворота и пустил в острог врагов[685].

Они зажгли посад, входивший в окружность большого острога. Вышеславцев и с ним присланный от царя другой воевода, Сила Гагарин, засели в меньшем остроге, иначе в середнем, которым окружена была внутренность торгового посада, да в городе, иначе в кремле. Там, кроме московских и астраханских стрельцов, присланных Шереметевым, и владимирцев, было много поволжских поселян под начальством Беляка Нагавицына из Кинешмы и Семейки Свистова, Шуйского холопа[686]. Будзило делал сильные приступы в день по два и по три раза. Третьего или четвертого мая приступы длились целый день и ночь. Часов в 12 ночи с четвертого на пятое число мая, когда рать Будзила шла на приступ с огненными приметами и со смоляными бочками, чтобы зажечь средний острог, ярославцы дружно сами сделали вылазку, побили приступающих, отняли у них зажигательные снаряды и знамена

---

[685] Сноски: 685
А. А. Э., II, 229.

[686] Сноски: 686
А. И., II, 226.

и набрали пленных[687]. На другой день Будзило отошел. Ярославцы думали, что Бог избавил их, как вдруг, 8 мая, снова появились прежние враги и с ними Лисовский со своею пестрою шайкою в виду Ярославля. Несколько человек из его шайки перешли к осажденным и объяснили, что Будзило, отошедши от Ярославля, встретил на дороге Лисовского с прибыльными людьми, пришедшими из Ростова. Опять начались приступы по два и по три раза в день. Литовские люди не хотели уходить, пока не возьмут города; «...всем ворам Ярославль стал болен добре», — говорит в своей отписке воевода[688]. Ярославцы защищались отчаянно, хотя у них уже недоставало пороха. Они написали об этом в Вологду, в Усолье, просили также о прибавке ратных людей. Вологжане писали об этом в Соль-Вычегодскую и в поморские города. Но пока помощь могла быть доставлена в Ярославль из северных городов, город мог быть взят. Отбиваясь от беспрестанных приступов, ратные люди, сидевшие в осаде, теряли товарищей, а те, которые продолжали биться, жаловались еще на то, что им не платят

[687] Сноски: 687
Diar. Sapiehy.

[688] Сноски: 688
А. А. Э., II, 229.

жалованья; плата же эта должна была поступать из северных городов, откуда преимущественно набирались и присылались ратные люди. Пытались димитриевцы склонить ярославцев к сдаче мирным образом. Взялся за это ярославский торговец Иоганн Шмитт, за доброжелательство к Димитрию принужденный бежать из города и теперь находившийся с Лисовским. Этот обруселый немец подъехал к стенам Ярославля и держал такую речь: «Подумайте, братцы, не доводите себя до кровопролития. Царь Димитрий милостив и простит вас, и вперед вам уже не будет насильств от польских людей. Царь пришлет к вам важного господина, которого все будут слушаться». — «А подойди поближе к воротам», — закричали ему. Шмитт подошел; его схватили, увели в город, сварили в котле меда и выбросили на съедение собакам. Спасенный им недавно Данило Эйлов не только не заступился за него, но еще возбуждал русских к казни[689]. К счастью ярославцев, Лисовский, простояв до 22 мая у Ярославля, по просьбе воровского воеводы Вельяминова, сидевшего в осаде в Ипатьевском монастыре, отошел к Костроме, а Наумов ушел к Ростову набирать

[689] Сноски: 689
Bussow, 9.

новые силы[690].

Между тем по просьбе ярославцев прибыли к ним свежие силы из Вологды, Устюга, Вятки и других городов[691]. До половины мая Вологда и Устюг пять раз присылали свежие силы. За невозможностью скоро собрать ратных людей по сохам, делали займы, нанимали вольных охотников и посылали их в Ярославль. Не доходя до Костромы, Лисовский повернул к Кинешме: туда приступало новое ополчение, вероятно, на помощь Жеребцову, осаждавшему Вельяминова. Сила при нем состояла из поселян окрестного края (галичане и унжены, и кологривцы, и парфеньевцы, и судайцы — многие мужики) и служилых людей костромских и галицких детей боярских и стрельцов нижегородских и сибирских[692]. В Кинешме был жестокий бой, предводитель ополчения Федор Боборыкин был убит. Литовские люди взяли Кинешму, истребили ее и на городище отбивались десять дней от нового ополчения, которое прибыло от Юрьевца-

---

[690] Сноски: 690
А. И., II, 268, 281–282. — А. Э., II, 232.

[691] Сноски: 691
А. И., II, 252.

[692] Сноски: 692
А. И., II, 238.

Повольского. Наконец они пробились и пошли к Костроме; часть войска шла берегом на лошадях, а часть на судах по Волге; но за последними на судах гнались русские и бились с ними три дня и, должно быть, значительно вреда им нанесли, потому что, уходя на судах из-под Кинешмы, под Костромой Лисовский не имел судов для переправы. Тут с ним соединился снова Иван Наумов с свежими силами. Кострома занята была Жеребцовым; воры сидели в Ипатьевском монастыре. Жеребцов до этого времени приступал к монастырю несколько раз, и все напрасно; он решился осадить его и принудить к сдаче голодом. Он прокопал около монастыря ров от одного заворота реки Костромы до другого; потом прокопал подобный же ров еще теснее. Сидевшие в монастыре успели как-то дать знать своим под Ярославль. Пришедшие на помощь им Лисовский и Наумов стояли на противоположном берегу Волги, в селе Селище и долго не могли раздобыть судов. Пока они искали лодок и плотов, Жеребцов стрелял по ним через реку. Так прошло две недели. Наконец Наумов и Лисовский отошли от Костромы, когда услышали, что Шереметев посылает против них ополчение с Низу. Наумов и Лисовский думали удобнее переправиться через Волгу ниже. Они

двинулись к Юрьеву-Польскому, и, не доходя тридцати верст, ополчение, посланное Шереметевым, напало на них близ села Решмы, когда они стали было переправляться. Русские напали на них на судах и жестоко поразили Наумова, который думал было укрыться на острове; у него отняли и оружие, и все запасы, и лошадей, а те, которые остались живы, переплыли обратно, босые и голые[693]. Лисовский с Наумовым ушли назад, услыхавши, что за отрядом, разбившим Наумова, следовал с войском боярин Шереметев.

Боярин Федор Шереметев всю зиму с ратными людьми удерживал в повиновении Казанскую и Вятскую земли. Там главными сторонниками вора были инородцы, татары и черемисы: их поднимала вообще ненависть к русским, ненависть побежденных к завоевателям. Шереметев разбил черемису под Чебоксарами 22 декабря, а потом под Свияжском 1 января рассеял большое скопище черемис, татар, чуваш, мордвы и русских воров, ставших с инородцами заодно. Это скопище составилось из уездов Цивильского, Чебоксарского, Свияжского, Кокшайского, Алатырского и Арзамасского. Государевы люди их

---

[693] Сноски: 693
А. И., II, 282.

топтали и кололи как свиней и наложили трупов верст на семь, говорит современное известие[694]. В отдаленных краях Московского государства поляки и казаки не успели дать себя знать, поэтому тут упорнее держались вора, чем в краях ближе к Москве. В конце февраля (22-го числа), когда уже восстание охватило столько уездов и земель, из отдаленного Саратова прибыли посадские к царику с изъявлением покорности[695]. Оттуда доставил в Тушино князь Владимир Бахтеярович Ростовский с казаками двух самозванцев. Было их трое: один, Август, назвался сыном царя Ивана Васильевича; другой, Лавер или Ларка, — сыном царя Федора Ивановича; третий — Осиновик — сыном царевича Ивана Ивановича (убитого, как известно, родителем в припадке запальчивости). Осиновика казаки за что-то невзлюбили и повесили, будучи еще на Волге. Первые двое приведены были в Тушино. Неизвестно, поневоле ли привели их туда или они сами добровольно поехали к тому, кого должны были признавать за своего родственника. Тушинский вор показал тогда свой царский гнев за то, что люди низкого

---

[694] Сноски: 694
А. А. Э., II, 168. — А. И., II, 168.

[695] Сноски: 695
Diar. Sapiehy.

звания осмеливаются называться ложно царственными именами. Один из них на самом деле был боярский холоп, другой — пашенный крестьянин. Димитрий приказал их обоих повесить на дороге, ведущей из Тушина к Москве[696].

После победы Шереметева, в начале марта, пошло на Казань новое воровское ополчение, составленное из татар, чуваш, черемис и мордвы, и русских детей боярских, и стрельцов Алатыря, Ядринска, Арзамаса, Темникова, Касимова. Надобно заметить, что многие, считавшиеся в числе русских служилых в этом краю, были также инородцы по происхождению, но, принявши крещение, были верстаны в служилые и наделены поместьями.

Одиннадцатого марта в селе Бурундуке, на горной стороне, посланные от Шереметева головы разбили наголову это разнородное ополчение, взяли много пленных, побрали знамена и набаты. Эти неудачи разделили инородцев; одни шли за Димитрием, другие, видя, что счастье не везет тем, которые шли за Димитрия, приставали к Шереметеву. Таким образом, толпы черемис, чуваш, мордвы, вотяков, татар собирались шай-

[696] Сноски: 696

Ник. летоп., VIII, 117. — Хроногр., хранящ. в Археограф. Комиссии. — Иное сказ. о Самозв. Времен. М. О. И. и Др. XVI, 108.

ками, пытаясь идти на Шереметева, а Шереметев высылал бить их отряды, в которых были также черемисы, чуваши, мордва, татары[697]. Темниковские татары поддались Димитрию, а в марте писали, что на них идет татарская сила, жжет села и убивает людей за Шуйского.

Устроивши таким образом до некоторой степени понизовый край, Шереметев прибыл в Нижний и, услышав, что восстание распространилось, решился идти ему на помощь; он двинулся в Муром, а оттуда в Касимов. Касимовский царь держался Димитрия. Шереметев осадил Касимов и взял его после упорного сопротивления. Тогда освобождены были узники, содержавшиеся в этом городе из разных мест за приверженность к царю Василию[698]. Из-под Касимова Шереметев пришел во Владимир и стал в этом городе. Несколько сот молодцов поплыли из Владимира по Клязьме, чтобы пробраться до Москвы; но Сапега узнал об этом и послал отряд в пятьсот человек содержать караул по Клязьме, чтобы не пропустить их. Река Клязьма в то время была обычным путем между Нижним и Владими-

---

[697] Сноски: 697
А. А. Э., II, 217.

[698] Сноски: 698
Ник., 116.

ром, и, перехвативши путь, Сапега приказывал также ловить купцов, которые плыли из Нижнего во Владимир.

Все это время междоусобной войны сопровождалось разорениями и варварствами в восточном крае с обеих сторон. Разъяренный народ не щадил литовских людей и своих русских противников, сторонников Димитрия, считавшихся изменниками Русской земле. С остервенением кидали польских жолнеров под лед и кричали: «Вы, глаголи, пожрали наших коров и телят; ступайте теперь в Волгу, обжирайтесь там рыбы!»[699] Свирепствовали зверски воины Лисовского: непокорным всякого возраста, всякого звания привязывали на шею камни и бросали в воду, расстреливали их из самопалов, иным перебивали ноги; совершали самые невообразимые неистовства и над старыми, и над малыми. Так расправлялись с непокорными. Но там, где жители служили Димитрию, положение их было мало чем лучше. В войске тушинском было множество челяди — пахолков; они не слушали своих господ, убегали от них, составляли шайки и своевольничали. Сотнями таскались они по

[699] Сноски: 699
Bussow, 98.

Московской земле и сновали преимущественно там, где жители были еще покорны, т. е. в Суздальском и Ростовском уездах и по украинным местам. Напрасно требовали паны, чтоб они воротились. Пришлось посылать роты для их усмирения. Несколько старшин, избранных этими молодцами, были схвачены: их посадили на кол посреди тушинского обоза[700]. От того не легче было земле Русской: свои изменники терзали ее пуще иноземцев. Не раз случалось, что, когда у пришельцев возбуждалось чувство человеколюбия, Московского государства воры называли их за то бабами и щеголяли своею бесчувственностью и зверством. Кровавые сцены происходили беспрестанно на всей широкой земле Русской. Там людей сбрасывали с городовых башен или с крутого берега в воду, там жарили на огне малых детей перед глазами родителей, вырывали у матерей от груди младенцев, разбивали их об угол или втыкали на колья, с насмешками показывая их матерям. Хватали молодых и красивых девушек и молодок и насиловали их; иные тут же под тягостью насилия от срама и страданий кончали жизнь, другие, барахтаясь от

[700] Сноски: 700
Marchock., 48.

насильников, зарезывали сами себя ножами или, вырвавшись от врагов, бросались с берега в реку, потому что некуда было им укрыться. Иногда бежавшая мать в припадке бешеной тоски, не в силах будучи терпеть долее крика и плача голодного ребенка своего, сама задавливала его своими руками, зажимая ему рот, чтобы прекратить его крик, который могли услышать злодеи и нагнать ее. Немало погибло тогда молодцов за то, что не могли удержаться от негодования при виде осквернения родительниц своих от блудных беззаконников и растления сестер своих. Повсюду пожары и истребления. Казаки и русские воры не только грабили то, что им годилось, но уничтожали все что ни попадало без всякой нужды, ради одной злобной потехи: метали в воду и в грязь съестные припасы, рубили и жгли домашнюю утварь и всякое имущество. Лишенные крова, одежды и пищи, бедняки скрывались в непроходимых лесах, прятались там в ямах и доставались в жертву если не злодеям, то диким зверям или погибали медленною и мучительною смертью от голода[701]. «И пременились тогда, — говорит современник, — жилища человеческие в жили-

[701] Сноски: 701
Врем. М. О. Ист. и Др. XVII, 95–97, 110. Иное сказан. XIV, стр. 104–106.

ща диких зверей: медведи, волки и лисицы стали обитать на местах сел человеческих, и хищные птицы из дремучих лесов слетались над грудами человеческих трупов, и горы могил воздвигались на Руси»[702]. «Несколько сот тысяч москвитян погибло тогда, — говорит современный польский стихоплет[703], — кроме детей и младенцев. А сколько погибло, сколько осрамлено женщин и девиц! Сколько награблено народного достояния! Все это за негодного Шуйского». «Камень бы заплакал о тогдашних бедствиях земли Московской», — говорит очевидец, немец[704]. К пущей беде и разорению, в этот год крымцы набегали на южные пределы государства три раза, сжигали деревни, угоняли много скота, взяли в плен толпы молодежи. Они шли как будто помогать царю Василию, но делали Московскому государству не меньше вреда, как поляки и черкасы, служившие тушинскому царику.

---

[702] Сноски: 702
Палиц., 48.

[703] Сноски: 703
Pieśń o tyrańстwie Szujskiego.

[704] Сноски: 704
Bussow, 91.

X. Москва в осаде. – Мятеж против Шуйского. – Деятельность патриарха Гермогена. – Измены. – Дороговизна. – Состояние тушинского табора

Тогда как в восточной части Московского государства происходила тяжелая борьба и с иноземцами, и со своими ворами, в самой столице московский государь чуть-чуть держался на своем престоле. Распространилась уверенность, что царствование Шуйского не благословлено Небом, что бедствия Русской земли посылаются за грехи царя, так же как в царствование Бориса приписывали его грехам бедствия, постигавшие Московское государство. Москва держалась против тушинского царика только оттого, что страшилась его разнородного дикого войска, а вовсе не из привязанности к своему царю, не из сознания его права. Пока еще открыт был путь сообщения с Рязанскою областью, подвоз припасов был хоть и затруднителен, да кое-как производился через Коломну. Но из Тушина послан был в январе или в феврале ротмистр Млоцкий, он стал перед Коломною и прервал сообщение. То-

гда Москва, отрезанная от юга, начала терпеть сильную дороговизну и недостаток.

Цена ржи возвысилась в Москве — сырой до рубля, а сухой до 40 алтын, а воз сена стоил три рубля и выше[705].

Семнадцатого февраля сделалось против царя Василия восстание. Главными коноводами в этом деле были рязанец Григорий Сумбулов, князь Роман Гагарин и Тимофей Грязной; к ним пристали дворяне и дети боярские разных городов, находившиеся в Москве на службе. С толпою сообщников они вошли в Кремль, явились в Боярскую думу и сказали: «Надобно переменить царя Василия: он сел на престол самовольством, а не всею землею выбран!» Из бояр, сидевших тогда в думе, были братья Шуйского, его шурья и родственники — Ростовские. Понятно, что они с негодованием выслушали такое предложение. Сверх того, привержены были к Шуйскому думные дьяки Яков Карташов и Томило Луговской, заправлявшие тогда делами в Боярской думе. Другие бояре, князь Борис Лыков, князь Иван Куракин, братья Василий и Андрей Голицыны, Ко-

[705] Сноски: 705
А. И., II, 180.

лычевы, были нерасположены к Шуйскому[706], но не смели согласиться сразу на предприятие, за которым еще не видно было общего желания. Поспоривши с боярами, заговорщики пошли к патриарху и звали его на Лобное место. Патриарх не отказался, он надеялся отговорить толпу. Зазвонили в набат. Народ стекался толпами на Красную площадь. Послали опять звать бояр; но из бояр отважился ехать туда один Василий Васильевич Голицын: он сам метил на престол, надеялся на высоту своего рода и значение и потому не боялся гнева Шуйского в случае неудачи. Стали на площади кричать против Василия; одни говорили: «Он тайно убивает и в воду сажает братию нашу дворян и детей боярских, и жен их, и детей их убивает; уж их таким образом с две тысячи пропало! И теперь приказал он посадить в воду братью нашу! Мы за это и встали». Патриарх в своей грамоте, писанной впоследствии, извещал, что тогда он спрашивал их: «Кого же именно казнил Шуйский?» Они не назвали имен, а про тех, которых, как говорили, Шуйский приказал бросать в воду, сказали: «Мы послали их воротить; увидите сами, как приведут их». Пат-

---

[706] Сноски: 706
А. И., II, 250.

риарх уверяет, что это обвинение было ложное; но летописцы вообще согласно повествуют, что Шуйский допускал тайные казни и убийства.

Стали читать грамоту; объяснялось в ней, что царь Василий выбран на царство одной Москвою, а иные города того не ведают.

«Князь Василий Шуйский не люб нам на царстве! — кричала толпа служилых. — Из-за него кровь льется, и земля не умирится, пока он будет на царстве! Хотим выбрать иного царя».

Патриарх сказал: «Дотоле Москве не указывал ни Новгород, ни Псков, ни Астрахань, а указывала всем городам Москва. Царь Василий возлюблен и выбран и на царство поставлен Богом и всеми русскими властями: московскими боярами и дворянами и всех чинов людьми, да изо всех городов при его избрании и поставлении были в те поры многие люди и целовали ему крест всею землею, чтобы ему, государю, добра хотеть и лиха не мыслить. Вы, забыв свое крестное целование, восстали немногими людьми на царя и хотите его без вины с царства свесть; а мир того не хочет и про то не ведает! Вы прежде о той вражде к нам не прихаживали и к нам о том не присылали, и мы не пристаем к вашему совету. А что вы говорите, что через него кровь льется и земля не

умирится, так это делается по воле Божией, как Господь сам сказал: восстанут царство на царство и язык на язык, и будут глади, и пагубы, и труси; и теперь нашествие язык и междоусобная брань и пролитие крови совершаются по воле Божией, а не царя вашего хотением».

Убеждения патриарха остановили противников царя. Намек на то, что Москва указывает городам, должен был польстить самолюбию москвичей, и они не пристали к совету городовых служилых людей. Притом же если Шуйский избран был не всею землею, то все-таки не мог он быть низложен иначе как всею землею. С голоса патриарха в толпе начали кричать сторонники Шуйского, что смута против царя делается по наущению литовских людей, что изменники хотят сдать Москву Тушинскому вору. Когда столица была в опасности, надобно было держаться хоть кого-нибудь. Заговорщики, оставшись без поддержки, сами спаслись только бегством в Тушино. Тогда их уехало до 300 человек[707]. В числе бежавших были князь Федор Мещерский и Михайло Молчанов, убийца Федора Борисовича. Они рассказывали, что Шуйский, лежа на земле,

[707] Сноски: 707
Ник. лет., 111–112. — А. Э., II, 290.

едва умолил народ о пощаде и чуть-чуть было не прислали его москвичи к Димитрию в железных цепях[708]. Стрельцы, передавшиеся царику, говорили, будто Шуйский отпросился у народа на три недели сроком, пока придет Скопин со шведами, а Шереметев с татарами[709].

Переметчики тогда друг на друга доносили самозванцу и Сапеге: некоторые уверяли Сапегу, что предающиеся на сторону царя Димитрия делают это с хитростью, по наущению Шуйских.

Царь Василий не унывал и старался возбуждать области, писал и посылал грамоты за грамотами в разные города. За невозможностью пройти из Москвы с грамотами явно посланцы Шуйского вклеивали себе грамоты в лыжи возле лыжных ушей[710], как показывал в Путивле один перебежчик из Москвы. Такие грамоты возились в Галич, Ярославль, Кострому, Устюжну[711], Нижний, Вологду, Пермь и другие города. Всех царь

---

[708] Сноски: 708
Diar. Sapiehy.

[709] Сноски: 709
Ibidem.

[710] Сноски: 710
А. А. И., II, 180.

[711] Сноски: 711
А. А. Э., II, 188.

Василий убеждал составлять ополчение и воевать против иноземцев и русских изменников. Грамоты эти были рассылаемы им с ноября 1608 года. Царь не ограничивался одними воззваниями к благочестию и своенародному чувству русскому, но делал распоряжения, сам назначал над ратными голов (так делалось в Вологде[712]), объявлял всем прощение за прежнее, признавал, что если кто целовал крест вору, то это делалось неволею, и обещал за верность дать льготы на многие лета, пополнить разорения и миловать свыше прежнего[713].

Весною дороговизна и недостаток в Москве стали гораздо чувствительнее. До сих пор хотя с затруднениями, но проходили в Москву кое-какие припасы из Рязанской земли, где об этом деятельно и успешно хлопотал Прокопий Ляпунов. В начале апреля в Тушине узнали об этом и послали в Коломну новые силы с боярином Иваном Салтыковым, донским атаманом Беззубцевым и несколькими литовскими ротмистрами[714],

---

[712] Сноски: 712
А. А. Э., II, 208.

[713] Сноски: 713
А. А. Э. II. 224.

[714] Сноски: 714
Имп. Публ, Библ., рук. № 33.

чтоб не допускать до Москвы обозов с запасами. Ценность хлеба еще более поднималась. Опять сделалось волнение. Боярин Крюк-Колычев составил заговор убить Василия: избран был для этого день Вербного воскресенья. Но каким-то образом об этом заговоре в пору узнал Василий Бутурлин и донес царю. Боярин Иван Федорович Крюк-Колычев был подвергнут пытке. С ним схвачено несколько человек. Крюк-Колычев выдержал пытку, ни на кого не показал. Его казнили, а прочих только посадили в тюрьму. Заговор не был совершенно уничтожен, и враги Василия выбирали удобный случай извести его. Носились разные слухи: кто говорил, что царя изведут в вешний Николин день, кто говорил, что на Вознесенье его застрелят[715]. По известиям русских летописей, ценность хлеба доходила уже до семи рублей[716]. Эта цифра, быть может, преувеличена, но нет сомнения, что дороговизна была так велика, что вывела из терпения народ. Дети боярские, торговцы и черные люди толпою ворвались к государю и кричали: «До чего нам дожидаться? Хлеб дорогой, промыслов никаких нет, ничего

[715] Сноски: 715
А. И. II, 249. — Никон., 112.

[716] Сноски: 716
Ник., 112.

негде взять и нечем купить. До чего это дойдет? Уже нам голодною смертью помирать!» Царь обнадеживал их прибытием Михайла Скопина-Шуйского со шведскими людьми. «Дайте сроку до вешнего Николы! — говорил он. — Увидите, что Москва избавится. А вы, купцы, — говорил им царь, — продавайте жито в одну цену и не поднимайте цен; не прячьте, богачи, хлеба и не губите небогатых[717]».

В самом деле, по известию современника, дороговизны хлеба и усиления голода было причиною, между прочим, и то, что купцы, так же как и во время Бориса, пользовались всенародною бедою и припрятали хлебные запасы, чтобы сбыть их по возвышенным ценам, понемногу выпуская в продажу. На требование царя, чтоб они не возвышали цен и вывезли на продажу те запасы, которые у них собраны, купцы уверяли, что у них нет в запасе хлеба. Дело несколько поправил келарь Троицкого монастыря Авраамий Палицын, если верить его собственному рассказу. На монастырском подворье было много ржи, кстати ее приберегли. Когда цены чрезвычайно поднялись, вдруг келарь пустил свою рожь по

[717] Сноски: 717
Палиц., 213.

два рубля. Купцы рассчитывали, что в самом деле может скоро прийти Скопин, тогда дело оборотится иначе и Москва освободится от осады, а тут еще путь через Коломну станет свободен, и тогда хлеб упадет еще больше в цене и по этому расчету купцы должны будут понизить цену. Но такое понижение не могло длиться долго, и притом далеко не доходило до прежних правильных цен. В первой половине мая хлеб покупали: рожь от полутора до двух рублей, овес от одного рубля до сорока алтын, круп гречневых до трех рублей, горох и коноплю до трех рублей, воз сена стоил до четырех рублей, корова для убоя от 10 до 20 рублей, баран 40 алтын, полоть ветчины 2 руб. Это были по тогдашним средствам такие цены, что многие должны были умирать голодною смертью. Был притом в Москве большой недостаток дров, и москвичи стали жечь дворы опальных людей[718].

Тогда пособил Василию князь Роман Гагарин, бывший зачинщик заговора 17 февраля. Он воротился из Тушина, где искал спасения после неудавшегося заговора, и в Москве всенародно говорил: «Не прельщайтесь на дьявольскую пре-

[718] Сноски: 718
А. И., II, 250.

лесть; в Тушине истинный вор; и все это заговор литовского короля, с тем чтобы христианскую веру попрать[719]. Я сам был в Тушине и все видел. У них страх от Михайла Васильевича Скопина: они узнали, что в Новгород пришли немецкие свейские люди, и сами думают бежать».

Это было оповещено тогда, когда уже многие на Москве колебались и думали передать столицу Димитрию. Но тут узнали, что сам тушинский царик уже не крепок, и стали надеяться на пришествие Скопина. Поддерживался дух москвичей вестями о явлениях. Рассказывали, что было такое видение: святой Сергий въехал в Москву с двенадцатью возами, полными печеных хлебов[720]. Когда распространился об этом слух, собралась толпа; слуги Троицкого подворья спрашивали: «Что это за голка?» Народ отвечал: «Старец из дому св. живоначальныя Троицы пришел к нам, на двенадцати возах хлеба печеного привезено».

В тушинском лагере по-прежнему не было недостатка, там все кипело изобилием: скота, молока, сыру было такое множество, что бро-

---

[719] Сноски: 719
Ник., 113.

[720] Сноски: 720
Ник., 113. — Палиц., 220.

шенные головы, ноги и внутренности животных привлекали из окрестностей собак, и обитатели табора терпели невыносимый смрад; пива и вина было разливное море: из монастырей навозили туда напитков, пива было так много, что его разливали, а пили только лучшие меды[721].

Зато были там другого рода неудобства: войско было не в сборе; пахолки самовольно разбегались. Товарищи стояли ротами в разных соседних городах. Лисовский бродил по восточной части Московского государства. Полковник Чиж с запорожскими казаками ходил по Смоленской земле. Мархоцкий стоял на перепутье дорог к столице. Млоцкий с Бобовским пересекали путь из Москвы в Коломну. Значительная часть полчища была под Троицею, да и оттуда многие разошлись по Московской земле. В самом тушинском таборе чувствовался недостаток ратных сил, и притом господствовало неустройство и отсутствие дисциплины. Там по-прежнему бражничали, охотились, веселились с женщинами разгульного поведения. В феврале войско забунтовало, потребовало жалованья и грозило разойтись. Царик говорил: «Я бы и рад был вам заплатить,

---

[721] Сноски: 721
Bussow, 90.

да где же я найду. Вы все у меня из рук взяли, мне самому едва что-нибудь остается на пропитание». Тогда его до такой степени напугали, что он хотел убежать, но об этом намерении узнали и не допустили его исполнить. С тех пор он находился как будто под караулом. В таком положении дел услышали тушинцы, что на них идет боярин князь Михайло Васильевич Скопин-Шуйский со вспомогательными шведскими силами.

Глава третья
I. Приглашение шведов. – Прибытие Делагарди в Новгород. – Поражение Кернозицкого. – Покорение городков. – Упорство Пскова

Еще в конце 1608 года Скопин заключил предварительное условие с посланцем графа Манфельда, Монсом Мартинсоном, по которому нанимал пять тысяч шведского войска с платою им по 100 000 ефимков в месяц. Окончательно договор поручалось устроить высланным в Выборг Семену Васильевичу Головину[722] и дьяку Сыдавному. Этот договор и был заключен 28 февраля в Выборге с шведскими уполномоченными[723]. Шведы обязались поставить на вспоможение Московскому государству пять тысяч войска: три пешего и две конного, которым Московское государство

---

[722] Сноски: 722

Брату жены Михаила Скопина-Шуйского, Анастасии Васильевны.

[723] Сноски: 723

Провинциальным судьею Южной Финляндии Арвидом Антонием Вильдманом де Тьюстерби, провинциальным судьею Карелии и выборгским кастеляном Антонием Георгом де Хёгсгердом (Hogsgard), военным советником абовским губернатором Отто Мёрнером (Morner) и королевским советником Эриком Элофсоном. Videk., 51.

будет платить жалованье суммою в тридцать две тысячи рублей русским счетом да сверх того даст не в зачет пять тысяч рублей; а шведский король сверх наемного войска обещал безденежно прибавить вспомогательного войска сколько пожелается, с тем чтоб и московский государь отпустил безденежно шведскому королю войска в случае нужды, когда потребуется. Московское государство уступало Швеции навсегда свои прежние притязания на Ливонию. Шведы дорого продавали свои услуги: они потребовали уступки Корелы со всем уездом. Скопин дал полномочие согласиться и на это; настоятельна была нужда в иноземной помощи: она должна была поднять дух народа; для спасения целого государства можно было пожертвовать пограничным уголком. Зато Швеция вступила с Московским государством в оборонительный союз против Польши, так что ни та ни другая сторона не могла мириться одна без другой. Для облегчения пути Скопин обязывался давать пешим ратным людям до самой Москвы и обратно подводы, конным, у которых падут лошади, доставлять по существующим ценам других лошадей, поставлять запасы и конские кормы с платою по существующим ценам или зачитать в счет жалованья, подвергая

опале тех, которые осмелятся брать с наемных воинов лишнее против обычной цены, и дозволить ходить в Московском государстве в обращении шведской монете. Из требуемых вперед не в зачет пяти тысяч четыре тысячи восемьсот уплачены в Выборге.

Прежде чем договор был утвержден окончательно, шведское правительство уже выслало обещанные пять тысяч да сверх того охочих десять тысяч, из которых, однако, не все пришли к делу. Хотя Швеция и старалась как можно больше взять с Московского государства за свои услуги, но в самом деле ей самой необходимо было для собственного спасения подать помощь в тогдашних обстоятельствах; иначе если бы поляки овладели Московским государством, то Сигизмунд, законный шведский государь, обратил бы соединенные силы двух народов для возвращения короны, похищенной его дядею, принявшим королевское достоинство под именем Карла IX. По причине зимнего пути этому войску необходимо было совершить длинный путь, огибая Ботнический залив. Главным предводителем его был Яков Понтус Делагарди, сын французского выходца, реформата, знатного происхождения. В молодости он начал военное поприще против поляков,

был при осаде Вольмара взят в плен и пробыл в плену пять лет, по освобождении служил в Голландии у Морица Нассау-Оранского, приобрел там славу знатока военного искусства и теперь получил начальство над вспомогательным войском, отправленным на помощь Московскому государству. Под его главным начальством были опытные предводители наемного войска: Аксель Курк, Христиерн Зоме, Андрей Бойе и Эдуард Горн. Это войско вступило в русские пределы 16 марта. На границе его встретили высланный вперед Иванис Григорьевич Ододуров с тремястами ратных[724]. Тотчас показывалось, как ничтожны были собственные силы, какими тогда могло располагать Московское государство. Воины московские, по замечанию шведов, были такие, что годились более к сохе, чем к войне. Эти ратные принадлежали к отряду, высланному для взятия Копорья; две тысячи, кроме этих, стояло под этим городом. Делагарди послал свой отряд к тому же Копорью. Но потом, как увидали, что города нельзя взять посредством одних увещаний, то оставили намерение брать его вовсе. Между тем Скопин прислал просить самого Делагарди идти

[724] Сноски: 724
А. А. Э., II, 210, 219.

прямо к Новгороду.

Счастливее разделались с Орешком. Михайло Глебович Салтыков, услышав, что идет шведская помощь, убежал из Орешка в тушинский табор к своему царику. Орешек признал Шуйского.

Делагарди со своим войском приближался к Новгороду. Не доходя города верст семьдесят, прибыл к нему посланец князя Скопина-Шуйского и просил, чтоб он не вел всего войска в самый Новгород. Делагарди оставил войско свое в Тесове.

Знатные особы проводили самого предводителя в Новгород; 30 марта он туда приехал; палили из пушек и ружей при въезде дорогого гостя, Скопин приветствовал его в городе. В первом свидании двух вождей было много одобрительного для окружавших. Оба были молоды: Делагарди было двадцать семь лет, Скопину еще меньше — только двадцать три года. Оба уже успели прославиться. От их дружного согласия можно было надеяться великих дел. Иноземцы любовались русским вождем: при своей молодости он был необыкновенно красив, статен, приветлив; но более всего привлекал своим умом и тою силою души, которая высказывалась во всех его при-

емах[725].

«Его величество король шведский, — сказал Делагарди, — слышал о бедствиях Московской земли, которую по наущению поляков терзают обманщики, называясь членами царственного дома, и губят землю и народ. Чтобы не дать успевать злу далее, его величество король по просьбе вашего государя послал на помощь несколько тысяч ратных людей, а когда нужно будет, пришлет еще и более для Московского государства от страха ложных царей. Король желает, чтоб ваш государь и все Московское государство процветали вечно, а враги, взявшие теперь такой верх, получили бы достойное наказание на страх другим».

Скопин, по московскому обычаю, поклонился низко, прикоснувшись к земле пальцами, а в своей речи старался скрыть настоящее зло края и представить дела в лучшем виде, чтоб не дать союзникам права думать, что от них одних зависит все спасение земли Русской.

«Благодарим и вся земля Русская благодарит великого короля Карла, — сказал Скопин, — что он по христианскому милосердию оказывает

---

[725] Сноски: 725
Videk., 62.

нам помощь. Великий государь наш, слава Богу, находится в благополучии, и все подданные Московского государства ему прямят; только каких-нибудь тысяч восемь русских бездельников, по незнанию, пристало к четырем тысячам поляков да к двум тысячам казаков и к разным разбойникам; они заложили дороги к Москве, к Смоленску и Новгороду. Мы доселева против них не ходили большою силою, ожидая вашего прихода, потому что они выбегают, пустошат земли и тотчас же прячутся за валы в остроги; да и городские жители им не верят. Мы же здесь уже тридцать семь недель стоим: Новгородскую землю пустошили две тысячи литовских людей да тысячи четыре Московской земли воров, и наших городских людей побито сотни четыре; но только услышали воры, что вы приходите, тотчас и убежали от Новгорода: одни в воровской тушинский обоз, а другие в Старую Русу. Мы просим, чтобы ты своих людей прямо из Тесова вел на Старую Русу. Как только слух разойдется по Московской земле, что вы пришли, так многие, что теперь отложились, принесут прежнюю покорность».

Делагарди сказал ему, что прежде надобно утвердить договор, заключенный в Выборге, заплатить жалованье войску и дать ему отдых

после долгого пути[726].

Тогда Скопин подтвердил и 4 апреля скрепил своею подписью Выборгский договор и дал грамоту на отдачу Швеции Корелы с уездом через два месяца после вступления шведов во владения Московского государства[727].

Скопин взял на себя важное обязательство — отдать в чужие руки часть русской земли; а это, при тогдашней слабости царя, не могло бы, казалось, совершиться иначе как с согласия Земского собора. Стесненные обстоятельства не дозволяли медлить. Скопин выдал шведскому предводителю остальные двести рублей в счет пяти тысяч рублей деньгами, которые следовали не в зачет; сверх того три тысячи жалованья уплатил собольими мехами: звонкой монеты недоставало. Все это не составляло и пятой части месячного жалованья: платить было нечем. Скопин успокаивал союзников обещаниями, а между тем посылал грамоты в русские города и земли, умолял скорее собирать деньги на жалованье и присылать; вместе с тем он просил, чтобы ратные люди из городов собирались и приходили на соединение

---

[726] Сноски: 726
Videk., 64.

[727] Сноски: 727
А. И., II, 220.

с ним, чтобы всем заодно идти против врагов. Такие грамоты разосланы в северные города, менее других разоренные и потому более способные помочь общему земскому делу: в Вологду, в Соль Вычегодскую, в Устюг[728], а отсюда уже местные земские власти посылали с них списки в Пермскую землю[729]. Получивши грамоту и деньги, Делагарди уехал к своему войску. Скопин провожал его с честью за ворота Великого Новгорода. Вместе с Делагарди поехали Головин и дьяк Сыдавный с ратною силою, состоявшею из дворян, детей боярских и казаков, сидевших в осаде в Новгороде.

Ставши снова в Тесове, Делагарди расспросил о положении дел и нашел, что поход на Старую Русу, где стоял Кернозицкий, затруднителен: тогда был разлив, нужно было переходить через три реки. Удобным и полезным оказалось, пока совсем установится путь, заняться покорением отпавших городов: Ямы, Копорья, Пскова; а тем временем подойдет охочее войско из Швеции. Но Головин и Сыдавный по наказу Скопина, напротив, приглашали идти скорее на главные

---

[728] Сноски: 728
А. Э., II, 228.

[729] Сноски: 729
А. Э., II, 219.

силы. Самое дело состояло в том, чтоб освободить Москву и уничтожить Тушинского вора. Скопин рассчитывал, что когда в Москве и под Москвою дела поправятся в пользу Шуйского, то города Русской земли покорятся сами собой. Уже одна весть о пришествии шведской силы, казалось, располагала их к этому: русские указывали шведам на Ярославль, о котором тогда пришла утешительная весть, что он отложился от вора, как только услышал о приходе шведов. Если же заботиться о городах поодиночке, то может быть, что с потерею крови и сил хоть и удастся возвратить к повиновению один-другой город, но те же самые города тотчас отпадут, как скоро отойдет от них войско. Только Псков представлял тогда особенную важность. Скопин соглашался послать туда отряд вместе с шведским; брать же другие мелкие соседние города Скопин никак не решался, а убеждал Делагарди скорее отправить свои силы по прямому пути на Кернозицкого, к Старой Русе. По этому настоянию Делагарди отправил туда[730] передовой отряд в 200 человек конницы и 400 пехоты под начальством Эдуарда Горна.

К ним присоединил Скопин дворян, детей бо-

---

[730] Сноски: 730
А. Э., II, 219.

ярских и казаков под начальством Головина и Федора Чулкова[731]; всего по известию, сообщаемому Скопиным, было до четырех тысяч. Скопин готовился идти за ними вслед с самим Делагарди, а им велел выгнать Кернозицкого и отправлять по возможности подъезды к соседним городкам для приведения их на государево имя — к Пустой Ржеве, Лукам, Торопцу; самим же, прогнавши Кернозицкого, следовать по направлению к Тушину и ожидать остального войска с предводителями. Кернозицкий выслал подъезд из 300 человек проведать — что делается. Этот подъезд наткнулся на передовой отряд: его разбили в пух и набрали много пленных. Только шесть человек успели убежать.

Делагарди услышал об этом и послал к Горну еще свежих сил, по известию шведского историка — 470 конных и 200 пеших[732], а по русским известиям, у последнего было 180 человек[733].

Кернозицкий, как проведал, что на него идет значительная сила, сжег Старую Русу и поспеш-

---

[731] Сноски: 731
А. А. Э., II, 226.

[732] Сноски: 732
Videk., 68.

[733] Сноски: 733
А. Э., II, 227.

но удалился. Русско-шведское войско нагнало Кернозицкого 5 мая под селом Каменкою. Здесь шайка Кернозицкого была разбита наголову; взяли победители пять медных и пять железных пушек, десять бочек пороху, лошадей и много пленников, и в том числе толпу женщин, которых отдали тем, кому следовало отдать[734]. Шведский историк говорит, что шестьсот тел литовских и казацких валялись по полю, кроме тех, которые погибли в болотах, куда бежали. Разбитый Кернозицкий убежал в Тушино и принес грозную весть о том, что с севера идет сильное войско. Из Тушина отправили для защиты пути Зборовского с литовскими людьми, казаками и русскими приверженцами вора.

Скопин не ошибся в расчетах, потому что знал положение Русской земли. Как только разнесся слух о поражении тушинского войска, отправленного для удержания Новгородской земли, города, до сих пор признававшие вора, стали один за другим приносить повинную и отдаваться царю Василию. Чулков с Горном дошли до Торопца; тогда торопчане, дворяне, дети боярские и посадские всякие люди целовали крест

[734] Сноски: 734
Videk., 69.

Василию[735]. Чулков остался в этом городе. За Торопцем сдались Невель, Холм, Великие Луки, Ржев. Туда посылали подъезды привести их к послушанию царю.

В Порхове сидел в осаде стесненный воровскою шайкою воевода князь Иван Мещерский. Чулков, по приказанию Скопина, отправил туда Лазаря Осинина с отрядом дворян и детей боярских Новгородской земли и псковских беглецов того же звания, да Тимофея Шарова с казаками. 8 мая они разогнали шайку, осаждавшую Порхов, освободили Мещерского и вместе с ним и сидевшими в осаде ратными людьми двинулись на Псков. Делагарди отправил им на помощь еще отряд, под начальством Зоме[736]. Какой-то выходец, псковской посадской человек, уверил Скопина, что Псков немедленно передастся[737].

Но не так легко было умирить там враждебные партии. 18 мая подошли под город посланные ратные люди в такое время, когда городу, казалось, трудно было устоять: 15 мая он потерпел

---

[735] Сноски: 735
Ник., 118. — А. И., II, 274. — А. Э., II, 225.

[736] Сноски: 736
Videk., 71.

[737] Сноски: 737
А. А. Э., II, 227.

сильный пожар. Загорелось в Полонище, выгорел почти весь город, и вспыхнул порох, хранившийся в стенах, сделались взломы в стенах. Лучшие люди, бояре, дворяне и дети боярские и духовенство, знали, что из Новгорода идут к ним ратные, и хотели принести повинную царю Василию; но мелкие люди, стрельцы и казаки, а также поселяне стояли за пепелище Пскова. Им столько натрубили о милостях царя Димитрия, что они ожидали больших благ для себя в отдалении: все еще не терял своего обаятельного значения этот царь простых и мелких людей на Руси. Они засадили в палаты жен тех бояр, что ушли прежде из Пскова, а теперь приходили с Мещерским, Осининым и Шаровым; они переписали имущество всех вообще лучших людей, взяли у бояр насильно лошадей и роздали стрельцам — воевать, сидя на этих лошадях, против войска, если оно придет. Один «язык» пришел во Псков известить, что Скопиново войско недалеко и уже разгромило отправленную из Пскова сторожу. Бояре не допустили этому языку разгласить такую весть между мелкими людьми, воспользовались наступлением дня, когда принесут из Печерского монастыря икону Богородицы и весь Псков по обычаю пойдет за город встречать ее.

Действительно, в назначенный день псковичи вышли из своего сожженного города за Великую реку встречать икону, как вдруг позади них со стен раздались пушечные выстрелы. Это стреляли казаки — атаман Евфимий Корсаков — по новгородскому войску и по шведскому отряду, которые торопились войти в Великие ворота, нарочно оставленные растворенными по замыслу «лучших» людей. «Если б не казаки, — говорит летописец[738], — то никто и не услыхал бы, как во Псков вошли немцы» (шведы). Но сделанный выстрел заставил народ побежать назад в город. Ворота поспешно заперли, усилили выстрелы со стен и остановили вход. Тогда мелкие люди, рассвирепев, выбрали себе головою мужика, по имени Тимофея, прозвище ему было Кудекуша-Трепец. Ему дали полную власть творить расправу. Простые люди сходились на вече у Смердьих ворот по звону в один конец колокола. Там по приказанию своего диктатора они мучили, жгли, кости ломали боярам, священникам и вообще «лучшим» людям, которых подозревали в наклонности сдать Псков[739]. Войско стало на

[738] Сноски: 738
Пек., 326.

[739] Сноски: 739
Полн. собр. русск. лет., IV. Пек., 326.

Любатове и опустошало окрестные нивы. Но когда дошла весть до Скопина, что Псков не сдается, то он рассудил, что не годится тратить время и людей, и приказал Мещерскому и его товарищам отойти оттуда и соединиться с главным войском.

II. Поход русских и шведов. – Неудача тушинцев под Москвою. – Дела под Торжком и Тверью. – Волнение в наемном войске

10 мая выступил Скопин из Новгорода и шел медленно, во-первых, потому что к нему следовали на соединение разосланные отряды, во-вторых, потому что дожидался, пока прибудет к нему Делагарди. Шведский вождь вышел со всем своим войском из Тесова в тот же день, десятого мая. Из Торжка 16 мая прислали все сословия, духовные и светские, к Скопину повинную с выборными посадскими людьми и просили прощения. Скопин отправил отряд под начальством Кирилла Чоглокова занять Торжок и удерживать этот город с его уездом до своего прибытия. Чоглоков стал в Торжке. За Торжком Ржева-Володимерова, Старица, Осташково сда-

лись и прислали повинные; потом дворяне, дети боярские и посадские люди из Твери, Зубцова и Клина прислали ударить челом царю Василию Ивановичу[740].

Шведы все еще полагали, что будет хорошо, если они станут покорять город за городом. Может быть, тут были у них своекорыстные виды, чтобы продлить время и заслужить более жалованья; а может быть, при этом Делагарди уже соображал, что если его войско прослужит так много времени, что московскому царю невозможно будет выплатить всего жалованья, то он будет вправе захватить северные области, и теперь уже приготовлял себе путь к этому захвату. Но Скопин убеждал его через своих посланцев поспешить с ним на соединение, чтобы взаимными силами освободить Москву от осады, уничтожить враждебные царю Василию в столице партии и победою над тушинским лагерем расположить к отступлению от царика еще покорные ему края. Дожидаясь ответа от короля на свое донесение, Делагарди шел медленно и сошелся со Скопиным 6 июня[741].

---

[740] Сноски: 740
А. Э., II, 225.

[741] Сноски: 741
Videk., 71.

В тушинский лагерь весть о том, что Швеция прислала царю Василию помощь, доставил Сапега в начале мая, перехвативши письма Скопина, которые были посланы к царю Василию с восемью гонцами. Тогда и в Тушине, и под Троицею принялись собирать загоны, которые разошлись по государству, приказали, чтобы рыцарство собрало своих пахолков, бродивших там и сям, призывали из городов приставов, вообще велели войску быть в сборе, и решились послать навстречу идущему неприятелю отряд, состоящий из поляков, казаков и русских. Между тем, прежде чем успеет прийти Скопин на освобождение Москвы, еще раз попытались взять ее. Пятого июня вывели из обоза часть войска пешего и конного и хотели переправлять через узкую и крутобережную речку Ходынку. На другой стороне ее стояла уже московская рать, готовая встретить неприятеля. Это была конница, а ее прикрывали сзади гуляй-городки на колесах с пушками. Поляки не увидали гуляй-городков. Их четыре хоругви переправились через реку и ударили на московскую конную рать. Конница расступилась, а вслед за тем из гуляй-городков сделали выстрел. Поляки увлеклись тем, что сбили конницу, бросились было и на гуляй-городки,

стали отнимать у москвичей орудия и лошадей; но московская конница очутилась у них по бокам и стала нападать на них. Смущенные таким нежданным оборотом, поляки и казаки разбежались. Москвичи погнались за ними, вогнали их в Ходынку, побили, взяли в плен 197 человек. Поляки потеряли всю свою пехоту, которой насчитывает бывший тогда в битве современник 400 человек; перебили у них много челяди и лошадей. «Бог нас так покарал (говорит Мархоцкий, предводительствовавший в этом несчастном деле гусарскою хоругвиею), что если б Заруцкий с несколькими сотнями донцов не подоспел к нам на помощь и не дал москвичам отпора выстрелами, то москвичи ворвались бы в наш обоз»[742].

Эта победа произвела радость в Москве. Царь надеялся, что теперь уже проучили поляков и расположили их к уступкам. Он стал обращаться с польскими пленными очень ласково и человеколюбиво, приказал их хорошо содержать: тем, которых променяли на московских пленников и отпускали к своим, давал в подарок платья, а оставшимся в плену позволил отправить одного из своей среды с предложением к своим

---

[742] Сноски: 742
Мархоцк., 52. — А. Э., II, 238.

товарищам-полякам покинуть самозванца и помириться. С недавнею победою москвичей соединилась еще надежда на прибытие шведских вспомогательных сил. Все, таким образом, должно было склонять поляков к уступкам. Но попытка царя Василия не удалась. Напрасно пленник передавал им угрозы царя, что в случае отказа пленным будет худо. «Нам жаль наших братий, — сказали на это, — но мы не отстанем от вашего предприятия». Посланцу по имени Пачановский предложили или оставаться в обозе, или воротиться в плен. Он предпочел последнее, чтобы не подвергнуть товарищей преследованиям. Москвичи оценили это великодушие и держали его в плену с большим уважением.

Михайло Скопин-Шуйский стоял в Крестецком-Яме и там получил из Торжка от Чоглокова донесение, что на Торжок наступает Зборовский, и с ним князь Шаховской с русскими ворами. Было их три тысячи, две тысячи литовских людей и тысяча русских[743]. На дороге они напали на город Старицу, который только что отложился от тушинского царика. Ратных было там мало, и не могли они устоять против воровского войска.

---

[743] Сноски: 743
Videk., 73. — Petr., 222. — Piasecii, 262.

Осадные люди, убежавши в город, заперлись в церквах. Поляки не пощадили никого: перебили даже и малолетних; хотели они навести страх и показать, что будет со всеми, кто отпадет. Самый город Старицу сожгли дотла. Из Старицы Зборовский и Шаховской пришли к Торжку[744]. Скопин отрядил туда Головина, а Делагарди — Эдуарда Горна с 800 конных и 200 пеших. По известию шведского историка, всех с москвичами было две тысячи человек[745]. Эта рать подошла к Торжку, где едва держался Чоглоков. Зборовский и Шаховской вступили в битву. Исход этой битвы описывается разно. Поляки говорят, будто Зборовский так поразил шведов, что их легло шестьсот, достал пленников и, узнавши от них, что за отрядом Горна следует большое войско, сам ушел в Тверь[746]. Шведский историк, напротив, говорит, что шведы и московские люди разбили Зборовского и Шаховского, убили у них сто человек, остальных обратили в бегство, да еще редкий убежал без ран, а сами шведы потеряли

---

[744] Сноски: 744
Филар., 19.

[745] Сноски: 745
Videk., 73.

[746] Сноски: 746
Мархоцк., 49. — Piasecii, 262.

пятнадцать человек[747]. По русским известиям, бой был кровопролитный и с обеих сторон пало много людей; литовские люди наступали на немецких (на шведов) тремя разами: две роты были разбиты, а третья прорвалась сквозь шведские и русские полки; однако из города сделали вылазку и прогнали ее.

Но Зборовский ушел к Твери, вероятно, рассчитавши, что если он предпримет осаду Торжка, то подойдет большое войско со Скопиным и Делагарди[748] и он с ними не сладит. Зборовский, отходя к Твери, отправил гонца в Тушино просить подкрепления.

Действительно, Скопин и Делагарди спешили застать в Торжке Зборовского. Не заставши его, они остановились в Торжке. Тут силы их увеличились новыми ратными людьми: их привели к ним из Смоленской земли воеводы князь Яков Борятинский и Семен Ододуров. Эти воеводы, вышедши из Смоленска со смоленскою ратью, взяли Дорогобуж, 2 июня разбили отряд польско-литовско-казацкий под начальством Чижа и Запорского, 3 июня разгромили другую враж-

---

[747] Сноски: 747
Videk., 73.

[748] Сноски: 748
Филар., 20.

дебную шайку, взяли Вязьму[749], потом взяли Белую и пришли в Торжок с тремя тысячами человек. После такого подкрепления союзники выступили из Торжка к Твери, и на дороге явился посланец от Зборовского с письмом от этого пана к Делагарди. Он покушался отвлечь шведского военачальника от союза с Шуйским, извещал, что поляки защищают дело правое, стоят за законного государя московского Димитрия против похитителя, и убеждал Делагарди со своими шведами перейти на сторону Димитрия, уверяя, что шведы обмануты людьми лживыми и злыми. Делагарди отправил к нему ответ такого содержания: «Я пришел сюда в Московское государство решать не словами, а оружием вопрос: кто справедлив — поляки или москвитяне. Мое дело служить своему королю, устраивать воинские ряды, мечом рубить и из ружья стрелять. Впрочем, вы, служащие тому Димитрию, за которого вышла Марина, вдова прежнего Димитрия, не слыхали разве, что ваши соотечественники поляки отняли у шведов Пернову?» Он прибавил в письме своем несколько язвительных намеков насчет Димитрия и послал это письмо уже не с

[749] Сноски: 749
А. И., II, 274.

тем, кто его принес. Посыльного посадили на кол за то, что он, пользуясь своим приходом, стал возмущать наемных солдат[750].

Зборовский, получив этот ответ, не стал дожидаться врагов и решился выйти им навстречу. Завидели их поляки со стен тверского острога; вышло пестрое войско Зборовского, состоявшее из поляков, казаков и московских людей в панцирях; впереди были копейщики, вооруженные короткими копьями. Делагарди двинул наемников. На правом крыле были финны, на левом — конные французы и шведские и немецкие пехотинцы. Позади их стояло русское и шведское войско. Вдруг сделалась гроза, пошел проливной дождь; отсырел порох в пушках и ружьях. Пользуясь этим, конные копейщики бросились отнимать пушки, которые не могли уже давать отпора выстрелами. Французские конники оторопели, пустились бежать и наперли на московских людей; те, в свою очередь, смешались, побежали и наперли на шведов; потом и шведы, и финны пришли в беспорядок. Многие из финнов и немцев бросились грабить имущество в обозе шведов, когда последние стали было удержи-

[750] Сноски: 750
Videk., 75, 81.

вать неприятеля. Тогда и шведы, увидя, что их грабят, обратились назад в обоз. Делагарди напрасно старался удержать финнов. У них отняли знамена; много их легло под неприятельскими ударами. Сам Делагарди получил тогда три раны. Шведский историк говорит, что из тех, которые побежали, больше было побитых, чем из тех, которые оставались на месте и храбро решились отражать неприятеля: они остались целы, потому что неприятель пустился бить трусов и не трогал храбрых. Сражение прекратилось. Дождь лил целый день. Победители пошли в Тверь. На другой день была такая же дождливая погода. Ни те ни другие не выходили начинать сражение. Скопин, вероятно, рассчитал, что поляки после первого успеха станут самонадеянны, и тут-то их можно будет разбить. На третий день — 13 июля — за час до рассвета, когда поляки не ожидали, чтобы союзники затеяли приступ, и воображали, что пораженные недавно не сунутся снова на поражение, — тут-то русские и шведы напали на острог. Поляки выскочили в переполохе из острога, но их тотчас вогнали туда же, ворвались за ними по следам в острог, били их наповал, отняли у них знамена, пушки, барабаны. Зборовский и Кернозицкий ушли по дороге в Волоколамский

монастырь. Союзники преследовали разбитых и бегущих врагов на сорока верстах. Часть поляков засела в тверском кремле. Здесь показал Михайло Скопин-Шуйский свой истинный военный талант. На следующую ночь Делагарди повел свое войско на приступ. Засевшие в Твери отбивались стойко, и огненные ядра наносили вред осаждающим. Шведам хотелось во что бы то ни стало взять Тверь. Но московские люди, ударившись за бегущими врагами в погоню, почти им не содействовали. Быть может, у шведов было желание ограбить Тверь и вознаградить себя за те похищения, какие во время похода у них делали союзные москвичи и иноземцы их войска.

Скопин настаивал идти далее, с обыкновенным своим невниманием к маленьким городкам по дороге: он считал важнее всего достигнуть как можно скорее столицы и освободить ее от осады. Делагарди согласился с ним и оставил осаду Твери. Соединенное войско двинулось далее. Но едва сделало оно переход в несколько верст, как в наемном войске Делагарди поднялось возмущение. Оно началось сначала в финских конных и пеших ротах. Финны говорили: «Мы не знали, что нас поведут в глубину Московского государства. Не хотим идти на убой в чужую

землю! Нам обещали от короля жалованье и не дают. Дома у себя мы оставили жен и достояние; кто знает, что теперь с ними: начальство наше, как разбойники, обижает их. Да и как нам идти за московитян, когда московитянам ни в чем верить нельзя: мы за них сражаемся, а они крадут и расхищают наши пожитки в лагере!» Ропот перенесли к другим отделам войска: к французам, немцам и, наконец, шведам. Все стали требовать, чтоб Делагарди вел их назад и оставил дело Шуйского. Ближайшие офицеры не могли сладить с солдатами, последние схватили знамена и поворотили назад. Делагарди сначала думал было, что еще найдется довольно таких, что останутся с ним и пойдут вместе с московскими людьми к Москве; он хотел покинуть на произвол судьбы тех, которые бунтовали. «Попробуют, — говорил он, — идти по разоренной стране без вождя. Сами покаются и воротятся». Он приказал не обращать внимания на крики, а следовать по предпринятому пути. Но тотчас увидел он, что волнение охватило почти все его войско. Тогда, чтобы уговорить мятежных солдат, Делагарди послал трех начальников — Бойе, Горна и Зоме, который тогда воротился из-под Пскова. Они приманивали солдат обещаниями,

и стращали, и стыдили — ничего не помогло. «Посудите сами, — говорили начальники, — что же подумают о нас столько московских городов и людей, когда увидят, что мы пришли сюда будто союзники, а в самом деле не на помощь, лишь на разорение Московской земле?» «Нам не платят денег! — кричали солдаты. — За что же мы будем драться? Мы уже видим, что за обманщики, вероломцы и трусы этот народ московитяне; на них нельзя ни в чем положиться. Когда Делагарди заведет нас в их землю так, что уже трудно будет нам идти назад, то те из московских людей, что теперь идут с нами, перейдут в неприятельский обоз». Когда посланные офицеры ничего не сделали, сам Делагарди выехал к войску и уже не ограничился увещаниями и обещаниями, а сам выхватывал из рук мятежников знамена и отдавал их послушным; наконец, обнажив меч, приказал то же сделать всем начальникам и грозил смертною казнью за непослушание. Эта смелая выходка утишила несколько волнение. Дело солдат не было неправым — им не платили обещанного жалованья. Сам Делагарди должен был рассудить и согласиться, что нельзя же насильно вести воинов на смерть за чужое государство, когда оно не исполняет условий, на

которых приглашено иноземное войско. Притом же он расчел, что будет еще хуже, коли он теперь поведет их, кое-как уговоривши и прельстивши обещаниями, а они потом опять взбунтуются. Делагарди решился не возвращаться в отечество, чего желали особенно мятежные финны, но не следовать и за Скопиным, а стать под Тверью и требовать от московского правительства уплаты жалованья и отдачи Корелы по условию. Последнее предъявлено было преимущественно для того, чтобы придать своему отступлению вид, будто оно сделано не ради одного угождения войску. Делагарди хотел официально скрыть от московских людей, что его не слушаются подчиненные, и показывал вид, будто он сам не хочет идти к Москве, потому что Москва не исполняет условий. Он расположился лагерем под Тверью[751]. Но один из шведских военачальников, Христиерн Зоме, с отрядом в 250 человек конницы и 720 пехоты[752] пошел к Калязину и соединился со Скопиным. Там заключен был особый договор, по которому Зоме обязался служить русскому царю вместе с войсками царскими. Это

[751] Сноски: 751
Videk., 81–88.

[752] Сноски: 752
Ibid, 96.

было важно: по крайней мере, как для русских, так и для врагов не могло казаться, что между Скопиным и Делагарди сделалась совершенная размолвка. Делагарди отправил послов к своему королю за советом и с просьбою наделить скорее жалованьем войска, и к царю Шуйскому Жака Бурьена и Иоганна Франциска с изложением требования об уплате жалованья, а к Скопину он послал в то же время своего секретаря Олафсона для установления с ним согласия. Делагарди не отказывался в письме своем идти далее и показывал вид, будто остановился под Тверью только для того, чтобы дать отдых после упорных битв с поляками; вместе с тем он сваливал на своих подчиненных, что они ропщут за неплатеж жалованья, и просил царя поскорее послать к Скопину следуемые деньги[753]. Между тем наемное войско бунтовало, не хотело стоять под Тверью и вести осаду, настаивало на возвращении в отечество. Делагарди должен был снова уступить им и обратился по дороге к Новгороду, но шел медленно, дожидаясь, что дела поправятся, и стал под Торжком. Шведские солдаты обращались с русскими поселянами не лучше поляков и во-

[753] Сноски: 753
Ист. смутн. времен., 109.

ров; не только хижины и имущества, но жены и дочери бедных крестьян были в распоряжении солдатского произвола[754].

III. Дела под Москвою и под Троицею. – Победа Скопина под Калязином. – Средства удовлетворения войска

Дела тушинского царика шли меж тем все хуже и хуже. 25 июня сделали вновь нападение на Ходынку, и снова москвичи разогнали тушинцев, овладели знаменами и барабанами, нарядом, взяли в плен до двухсот литовских людей и русских воров. Много тушинцев потонуло в Москве-реке, куда загнали их, бегущих, победители[755]. На другой стороне Москвы, под Коломною, тоже проигралось их дело. Прокопий Ляпунов очистил рязанские города Переяславль, Пронск от воровских шаек, подступил под Коломну — и был отбит Млоцким. Но это не слишком помогло последнему. Млоцкий услышал, что с одной стороны идут шведы, а с другой, как носились слухи, наступали

---

[754] Сноски: 754
Breret, 37.

[755] Сноски: 755
А. Э., II, 238.

крымские орды, приглашенные царем Василием, и он 17 июля оставил Коломну и перешел в Серпухов. Воевода, сидевший в Коломне, Василий Федорович Мосальский, сделал вылазку и разбил запоздавших[756].

Не было воровскому делу удачи и под Троицею. Правда, вылазки из монастыря стали реже; к ручной обороне мало оставалось годных; народ в монастырских стенах умирал от цинги, но поддаваться осажденные не думали. Кто только заговорит о том, что надобно сдаться, то его тотчас убьют, говорил один перебежчик. Была у осажденных попытка зажечь лагерь Лисовского, это взял было на себя один монах. Он пошел туда и прикинулся, будто пришел из Москвы служить царю Димитрию. Но монах этот, однако, не сумел обмануть никого. Узнали его замысел и казнили его. Оставшись целым, стан Лисовского все-таки не мог ничего сделать монастырю. Люди Сапеги перехватывали гонцов, которых посылал Шуйский к Скопину и в восточные, и в северные города: то была тогда важнейшая услуга называвшему себя царем Димитрием. Зборовский после поражения под Тверью прибежал к Сапеге. Тогда

---

[756] Сноски: 756
А. Э., II, 243.

положили употребить все силы и во что бы то ни стало взять монастырь прежде, чем придется отражать шведов. Зборовский, не изведавши лично, что значат битвы с этим монастырем, смеялся над Сапегой и Лисовским и говорил: «Что это вы стоите без дела под лукошком? Что стоит его взять и ворон передавить! Это вы по нерадению делаете и хотите взять монастырь истомленною чернью; а вы чернь отошлите да сами идите на приступ, взявши разве только Лисовского казаков!» Попробовали сначала напугать осажденных. Михайло Глебович Салтыков, прибежавший сюда из Орешка, да дьяк Иван Грамотин выехали пред монастырь и говорили: «Москва уже покорилась; царь Василий с его боярами у нас в руках! Их пособники, что были с Федором Шереметевым, теперь здесь все: уже нет вам надежды на понизовую силу. А мы узнали истинного царя Димитрия и служим ему! Царь Димитрий послал нас перед собою вперед; если вы ему не покоритесь, то он придет с литовскими людьми; и князь Михайло Скопин и Федор Шереметев с ним заодно идут, и все русские люди; тогда уже он не примет вашего челобитья».

«Красно вы лжете, — отвечали им со стен монастыря, — да никто вам веры не имеет! Вот если

б вы сказали, что князь Михайло под Тверью берега поровнял телами вашими, а птицы и звери насыщаются мертвечиною вашею, так мы бы поверили; а теперь делайте то, зачем пришли; возьмем оружие и пронзим сердца друг другу: кого Бог оправдит, тот станет говорить правду и творить правду!» Ясно было, что осажденные не лишены были сообщения и знали, что делается вне стен их.

Тридцать первого июля ночью сделали приступ. Отчаянно бились измученные сидельцы; в эту ночь женщины показывали такую же отвагу, как и мужчины. Осаждающие отступили с потерею. «Что, — сказали тогда (по русскому известию) Сапега и Лисовский Зборовскому, — взял лукошко? Ты такой храбрый, что же не взял его?»[757]

Двенадцатого августа они оставили Троицу, и только часть войска берегла еще обоз и продолжала осаду, но так слабо, что осажденные могли уже иметь свободное обращение за пределами монастыря. После неудачных приступов к Троице Сапега и Лисовский решились лучше напасть на Скопина под Калязином. К Сапеге приходили

---

[757] Сноски: 757
Палиц., 182.

верные вести о Скопине, что у него было уже двадцать тысяч войска и с каждым днем приходят новые силы из разных мест Московского государства. Так, с ним соединились уже Вышеславцев и Жеребцов со своими ратьми. И Скопин, и царь рассылали повсюду грамоты и призывали все отдельные ополчения, составившиеся в разных местах, идти на соединение под Калязин, чтобы освобождать Москву. Пока еще эти войска не знали ратного дела, Христиерн Зоме занимался их обучением; он нашел, что они вооружены были хорошо, но московские люди не умели ни держаться строя, ни обращать оружия, ни копать валов, ни брать их, ни вбивать надолб, ни двигать машин[758]. Надобно было полководцам вора предупредить и напасть на неучей прежде, чем швед успеет дать им приличное образование. Сапега и Зборовский собрали двенадцать тысяч войска да сверх того неопределенное количество казаков. Тут было много и русских изменников. Они отправились под Калязин. 14 августа остановились они при Рябовой пустыни, в верстах около двадцати от Калязина. Но Скопин узнал об этом движении и тогда отправил за Волгу отряд

[758] Сноски: 758
Videk., 96.

под начальством князя Борятинского, Валуева и Жеребцова, а сам располагал двинуться им на помощь, когда и куда нужно будет.

Врагам приходилось переправляться через болотистую речку Жабню недалеко от Калязина. Здесь следовало вступить в бой. Скопин рассчитывал на удачу во время переправы неприятеля. Тушинцы выступили из-под Рябовой пустыни и ночью с 17 на 18 августа дошли до села Пирогова, лежавшего на Жабне недалеко от ее впадения в Волгу. Московские воеводы проведали, где неприятель, и тотчас дали знать Скопину. Утром тушинцы начали переправу. Только что передовая часть их войска стала переходить реку, как противники ударили на них и сбили в сторону в болото. Многих тогда побили, многих переранили. Остальные побежали в село Пирогово, где стояло остальное войско.

Прежде чем Сапега и Зборовский собрались, пришел сам Скопин с войском. С ним был и Зоме со шведами. Они переправились через Жабню и сами напали на тушинцев. И той и другой стороне хотелось не только удержать поле битвы, но покончить с врагами: от этого зависел дальнейший нравственный перевес. Тушинцы наконец столкнулись с тем Скопиным, который

так долго их пугал; победа над ним должна была рассеять обаяние, окружавшее его личность. Со своей стороны, Скопин знал, что от победы в этот раз над соединенными силами важнейших предводителей смуты зависят на будущее время его сила и значение. Бились целый день. Дым был так густ, что трудно было распознать, кто с кем бьется; а среди грома пищалей, треска ломаемых копий, воплей раненых раздавались беспрестанно крики русских: «Преподобный отче Макарие, моли Бога за нас! Помоги нам!» На солнечном закате услышал Бог молитвы рабов своих, говорит Палицын[759], тушинцы подались, потом стали отступать и, наконец, побежали. Русские гнали их чуть не до Рябовой пустыни и все продолжали призывать на помощь святого Макария калязинского. Немало значительных лиц попалось тогда в плен, и воротился князь Михайло Скопин в Калязин с победою и одолением.

Сапега остановился по-прежнему у Рябова, думал было поправиться и начать снова битву. Но войско его после неудачи не хотело биться. Тогда дошел до жолнеров слух, что польский король подступает к Смоленску и хочет завоевать для

---

[759] Сноски: 759
Палиц., 93.

Польши русские области. «Что ж это? — кричали поляки. — Мы разве трудимся для короля? Король отнимет у нас нашу корысть!» Сапега и Зборовский не могли их утишить и уговорить целых четыре дня. Двадцать третьего августа они снялись с лагеря и двинулись к Переяславлю. Зборовский отправился в Тушино. Сапега оставил в Переяславле гарнизон (250 стрельцов, две казацких роты и толпу детей боярских), а сам отправился опять к Троице, куда прибыл 3 сентября. Лисовский двинулся к Ростову и Борисоглебскому монастырю и стал срывать неудачу на беззащитных и еще покорных жителях.

Прежде чем Сапега воротился под Троицу, троицкие сидельцы узнали о победе Скопина от косого толмача Яна, который прямо из Сапегина табора под Рябовым с четырьмя пахолками и двумя русскими прибежал под Троицу и передался в монастырь. Это известие произвело неописанную радость: зазвонили колокола, начались благодарственные пения. Ободрились измученные, голодные. Осаждающие, чтоб их выманить, пустили в глазах монастыря стадо скота; рассчитывали, что голодные сидельцы не утерпят и покусятся получить свежую говядину: тут и побьют их. Вышло совсем не так, как ожида-

ли. Сидельцы сперва долго не трогались, а потом, когда их враги потеряли надежду выманить их, выскочили через Благовещенский овраг, напали внезапно на сторожей, побили их, захватили скот и погнали к городу, а тут им на помощь выскочили другие из Пивного двора, и таким образом в монастырь вогнали несколько штук скота для продовольствия[760].

Царь Василий по требованию Делагарди и Скопина послал из Москвы двенадцать тысяч ефимков для уплаты иноземцам. Более не мог он прислать. Остальное нужно было Скопину достать посредством сбора с городов. Пособил в этом случае Новгород: там собрали с гостей и торговых людей три тысячи рублей. Таким образом, Скопин 27 августа, по договору с секретарем Делагарди, дал на жалованье шведскому вспомогательному войску часть чистыми деньгами, а часть соболями; чистых денег он послал шесть тысяч рублей и соболей на пять тысяч[761]. За это Олафсон обязался от имени Делагарди идти всем войском на помощь Скопину под Калязин, а потом следовать вместе с русскими силами

---

[760] Сноски: 760
Палиц., 195.

[761] Сноски: 761
А. И., II, 305.

под Москву. Тем же договором обязался Скопин от имени царя отдать Корелу шведам: для этого послан был Федор Чулков с дьяком; вместе с ним должен был ехать Олафсон, и Корела должна быть отдана и принята в шведское ведомство без мешканья и прекословия по договору[762]. Со своей стороны, царь Василий писал к Делагарди, благодарил и просил далее содействовать Скопину и обнадеживал наградами.

Король шведский, получив известие о том, что произошло в Московском государстве, понуждал Делагарди продолжать начатое дело. Присланные деньги успокоили несколько мятежных наемников. Успокоился Делагарди также и насчет Корелы[763]. В лагерь Делагарди под Торжок приехали посланцы от Скопина (Федор Данилович Чулков и дьяк Телепнев) и объявили, что они прибыли с сотнею стрельцов для того, чтоб с назначенными от Делагарди шведами ехать в Корелу и сдать ее в шведские руки с уездом; но с условием, чтобы сам предводитель немедленно отправился на соединение со Скопиным под Калязин. Делагарди согласился и сделал

---

[762] Сноски: 762
А. И., II, 306.

[763] Сноски: 763
Videk., 102.

пересмотр своему войску. Одни из его ратных людей согласились идти далее, другие выходили в отставку: кто по болезни и за ранами, кто просто по нежеланию и недоверию. Делагарди первым роздал жалованье, последних отправил под начальством Андрея Бойе и товарищей[764] и дал командирам наказ не допускать делать насилий русским жителям на пути своем. Вместо выбывших из строя сделано распоряжение о наборе свежих войск, и для того отправлен был в Нарву и Выборг Эдуард Горно. Таким образом устроил свои дела Делагарди и двинулся из Торжка. Он прибыл в Калязин 26 сентября. Скопин был чрезвычайно рад и со всем войском русским принимал его почетно и радушно. Через четыре дня после того Скопин роздал на четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре рубля мехов прибывшему иноземному войску[765]. Между тем Скопин писал беспрестанно повсюду и просил присылать деньги на жалованье и ратных людей на вспоможенье. Монастыри особенно могли пособить

[764] Сноски: 764

Карл Олафсон и Иоганн Стижарт, последний отправился с французами, из которых также некоторые пошли в отставку, отзываясь слабостью здоровья и неспособностью.

[765] Сноски: 765

Videk., 102.

в этом деле: у них были деньги; и в самом деле, Соловецкий монастырь оказал тогда ревность. Он вместе с Печенгским прислал в два раза Скопину около пяти тысяч пятисот рублей[766]. Это не было только монастырское достояние; по царскому указу монастыри должны были отдавать и чужое то, что поверялось им на хранение (поклажей)[767]. По другим монастырям происходили складчины: например, в Спасо-Прилуцком монастыре собрали с братии, кроме монастырских денег, с чернецов, с кого рубль, с кого полтину, а с кого менее, например, по деньге, по три алтына и тому подобное, и это отправлено Скопину[768]. Устюжский и Архангельский монастыри, кроме того что прежде отправляли на свой счет ратных людей в ополчения, собираемые в Ярославле, Галиче и Костроме, послали Скопину два раза подмогу людьми; один раз по два человека с сохи, другой — по три человека, и дали им найму на

[766] Сноски: 766

Еще когда Скопин был в Новгороде, прислано было ему 2000 рублей, а в калязинский стан 3150 рублей, да Печенгский монастырь 398 руб. 25 алт., что поставлено было в Соловецком монастыре в виде поклонения, да ложка серебряная.

[767] Сноски: 767

А. Э., II, 259.

[768] Сноски: 768

А. Э., II, 273.

три месяца, да сверх того дали Скопину в запрос десять рублей. Это, по их просьбе, царем обращено было в зачет данных и оброчных денег[769]. В Пермскую землю Скопин в сентябре послал гонца с грамотою и требовал для покоя христианского, чтобы Московское государство вконец не разорилось, со всей Пермской земли дать на наем ратных людей денег и сукон, камок и тафты сколько кому можно, да, кроме того, собрать для заплаты немецким ратным людям по пятидесяти рублей с сохи. Пермичи разослали по своей земле памяти земским старостам, приглашали всех содействовать Скопину; но последствия были плохи. Пермичи все-таки отвечали Скопину, что у них таких товаров не сыскивается[770]. На пермичей в то время постоянно жаловались соседи сольвычегодцы, обвиняли их в нерадении и холодности к общему делу. Еще в январе 1609 года сольвычегодцы замечали устюжанам, что они писали три раза к пермичам о присылке ратных людей, но пермичи не присылали вовсе, а писали,

[769] Сноски: 769
А. Э., II, 271.

[770] Сноски: 770
А. Э., II, 256.

будто собрали[771]. В марте сольвычегодцы упрекали пермичей за нерадение[772]; в июне те же сольвычегодцы выставляли свои услуги на общее дело и говорили пермичам: «Вы Бога не боитесь и государя не слушаете, государевым ратным делом не радеете»[773]; в августе также укоряли пермичей устюжане, указывали, что с них за все время только и службы было, что восемьдесят человек в Ярославле, тогда как другие земли много раз высылали и деньги, и людей, и даже иноземцы помогают Русской земле и ее государю. В обличение пермичей устюжане припоминали им, что во времена царя Ивана Васильевича Пермская земля выставила по 1000 человек[774]. Точно так же нерадиво пермичи помогали вятчанам, когда последние просили содействия их к истреблению мятежнических шаек, овладевших временно Котельничем. Эта шайка была составлена из волжских казаков, стрельцов раз-

---

[771] Сноски: 771
А. IL. II, 166.

[772] Сноски: 772
А. Э., II, 214.

[773] Сноски: 773
А. Э., II, 228.

[774] Сноски: 774
А Э., II, 250.

ных восточных городов[775], луговой черемисы и сброда русских воров; разбойники, взявши этот городок, оскверняли и разоряли церкви, убивали и мучили людей, позорили женщин и девиц[776]. Но вятчанам пришлось самим освободить от них Котельнич, и после того они писали к пермичам в таких укорительных выражениях: «Вы подаете Вятскую землю в разорение, не присылаете ратных людей, не стоите с нами на воров, вы сами себе предатели и погибнете за вашу глупость, вы забыли крестное целование государю и радуетесь христианскому кровопролитию и разорению»[777]. Тем не менее, однако, пермичи так умели отговориться пред царем, что царь Василий, как будто в укор Михайлу Скопину, в декабре снял с них положенный на них Скопиным набор по 30 человек с сохи[778]. Эти противоречащие распоряжения царя и Скопина должны были мешать успешному ходу дел, подобно как

---

[775] Сноски: 775
Козьмодемьянских, Санчурских и Яренских.

[776] Сноски: 776
А. Э., II, 258.

[777] Сноски: 777
Ibid., 264.

[778] Сноски: 778
Ibid., 267.

стороне тушинской мешали противоречащие распоряжения царика и Сапеги: в то время, когда Скопин заправлял всем делом, выбирал средства для ведения войны, царь сам разрушал их. Зато в это время особенно усердны были вологжане и сольвычегодцы. В земле последних жили Строгановы; Петр Семенович с братьями несколько раз давали служилым людям на жалованье деньги и сверх того на свой счет снаряжали и отправляли ратных людей; их увещаниям приписывалось удержание в покорности городов поморских, казанских и пермских, и в следующем году царь в признательность дал Петру Семеновичу грамоту на беспошлинность торговли и на почетное преимущество писаться с «вичем»[779].

Трудно теперь определить, при отрывочности сведений, в какой степени были пермичи виновны; очевидно только, что Скопину стоило неимоверных усилий собрать жалованье наемным войскам, призванным спасать Московское государство; с большою надсадою последнее могло доставлять ему средства.

---

[779] Сноски: 779
Собр. госуд. гр., II, 387.

IV. Дальнейшие успехи Скопина. – Козни тушинцев. – Снятие Троицкой осады

Делагарди со своим войском двинулся в Переяславль 6 октября; шурин Скопина, Семен Головин, и Григорий Валуев, при содействии иноземного отряда Христиерна Зоме, уже прежде выгнали оттуда тушинцев. Отсюда Скопин разослал гонцов по соседним городам и просил воевод собирать деньги[780]. Распорядившись насчет укрепления Переяславля, союзники двинулись к Александровской слободе, выслали вперед Иоганна Мира и Христиерна Зоме с отрядом шведов; при них были московские люди. Этот отряд вступил в бой и победил: сто человек врагов потонули в воде, остальные бежали. Александровская слобода была взята, победители забрали знамена и барабаны разбитого отряда[781]. Вслед за тем оба военачальника вступили в Александровскую слободу, и за ними пришло туда все их войско.

---

[780] Сноски: 780
Ник., 122.

[781] Сноски: 781
Videk., 103.

Взятие этого города было очень важно, потому что он стоял на пути доставки провианта и запасов войску Сапеги. В войско московское с каждым днем прибывали отряды даточных людей. К сожалению Скопина, Делагарди должен был здесь отпустить полезного для московитян Христиерна Зоме в отечество: он получил рану под слободою и нуждался в отпуске для излечения. Зато 20 числа прибыли новые вспомогательные силы Швеции.

28 октября Сапега, Зборовский и сам Рожинский пошли на Александровскую слободу с четырьмя тысячами. Бой был жестокий и продолжался целый день, — поляки отступили с потерею: они утратили до 70 человек убитыми, много было у них захвачено в полон. Тогда у них между начальниками произошло несогласие: Сапега воротился к Троице, Рожинский — к Москве[782].

С тех пор Скопин и Делагарди составили план, чтобы строить засеки, стеснять пути для поляков и мало-помалу приближаться к Москве. Это средство было действительно несносно для противников, как они сами сознаются: Сапеге приходилось тяжело от засек, которые строил Скопин, шаг за шагом подходя к Троице. Уже

---

[782] Сноски: 782
Videk., 108.

Семен Головин стал за семь верст от Троицы. Нападать на московских людей было трудно: как только нападут на них, они укрепятся за свои засеки, и приходилось добывать каждую приступом; а как только тушинцы отойдут, русские шагают далее и строят новые засеки; главное же, такой образ войны отнимал у неприятеля подвоз припасов[783]. Войско Скопина усилилось приходом Шереметева, который из Владимира 11 ноября явился в Александровскую слободу со своим войском.

Тушинцы чувствовали, что решительная их минута близка, пытались и напрягали силы тем или другим способом одолеть Москву прежде прихода Скопина и опять на время успели было пресечь пути сообщения. Млоцкий, стоя в Серпухове, не пускал с юга подвозов; его отряд выбегал партиями на коломенскую дорогу: эти партии перехватывали ехавших с хлебом рязанских крестьян. Явилась ему в содействие шайка удалых из русского народа, атаманом у нее был хатунский мужик Салков. Эта шайка быстро сновала с коломенской дороги на владимирскую, с владимирской на коломенскую, и не

[783] Сноски: 783
Мархоцк., 64.

допускала пропуска продовольствия в столицу. И третья шайка тревожила Москву: это — князя Петра Урусова с юртовскими татарами; он сновал по слободской дороге[784]. От таких налетов в окрестностях не было в Москву проезда, быстро сделалась опять большая дороговизна: цена бочки ржи поднялась до четырех рублей[785]. Меж тем из Тушина подкупили Горохового, атамана над казаками, служившими царю Василию и стоявшими понедельно в Красном селе; он склонил на измену казаков, и казаки впустили тушинцев в Красное село. Но в Красном селе были не одни казаки — там были еще и конные сотни, состоявшие из прирожденных людей Московского государства. Казаки сговаривались с тушинцами, намереваясь побить стоявших с ними московских ратных людей; но те узнали о замысле казаков заранее, вышли из Красного села в Москву и сделали тревогу. Казаки, сдавши Красное село, не могли более ничем пособить тушинцам. Они только зажгли Красное село и сами ушли в Тушино. Потом тушинцы еще подкупили московских изменников, и те подрядились им

[784] Сноски: 784
Ник., 125–126.

[785] Сноски: 785
Videk., 107.

сжечь Деревянный город и дать возможность овладеть пространством до самой Белогородской стены. Но и это не удалось; они зажгли ночью Деревянный город[786], а москвичи потушили пожар: сгорело стены только саженей на сорок; москвичи потом дружно ее починили и заделали. Впрочем, Василию все-таки было небезопасно. Москвичи колебались; царь дрожал поминутно за свой венец. Как только Москве становилось тесно, поднимался ропот, собирался бунт, и Василий удерживал восстание беспрестанными обещаниями, что вот скоро придет Скопин со шведами. Перебежчики из Москвы в Тушино говорили, что Василий назначал москвичам сроки: таким образом первый раз он им назначил срок от Вознесенья до Петрова дня.

Все это делалось перед приходом Скопина в Александровскую слободу. Его удачная расправа с тушинцами поворотила быстро дела и в Москве. Млоцкий ушел из Серпухова в Тушино, потому что в Тушине почувствовалась необходимость не разделять сил. Салков был разбит князем Ди-

[786] Сноски: 786

Иначе — Земляной город, пространство между каменною стеною Белого города до стены, окаймлявшей строения за пределами Белого города и сделанной из двух бревенчатых половин, между которыми насыпана была земля. Эта стена шла по протяжению нынешней Садовой улицы.

митрием Пожарским на владимирской дороге, на реке Пехорке; с тридцатью удалыми, оставшимися от погрома, явился он в Москву к царю Василию и принес повинную. Как только южный путь стал свободнее, цена на хлеб упала быстро — до семидесяти денег за бочку. Тут и войско Скопина еще усилилось: из Москвы прорвался и соединился с ним отряд ратных людей под начальством князя Бориса Лыкова. Тогда уже в Москве не боялись уменьшать ратные силы, а надеялись на Скопина и хотели, чтоб и у него было побольше силы.

Скопин порывался было идти прямо на Москву, но Делагарди останавливал его, остерегал, что сзади, в Суздале, стоит Лисовский, города еще заняты войсками вора и нельзя решиться на смелое и решительное дело прежде, чем обеспечат тыл. Только к Троице, по просьбе монахов, послал Скопин Жеребцова с отрядом: у него было 600 ратных и 300 слуг. Сапега не ожидал этой решимости. Жеребцов мог войти в монастырь беспрепятственно, никем не замеченный. Это обстоятельство объясняет, почему монастырь так долго держался против осаждающих: очевидно, плохо велась осада, если могло пройти войско, уж тем скорее и прежде можно было

провозить в монастырь запасы. Сидельцы не раз выскакивали из монастыря за ограду: кто для того, чтоб нарубить дров, а кто для того, чтоб накопать кореньев и нарезать травы, а иные ради исцеления от колодезя, которому приписывали чудодейственное свойство. Они возвращались благополучно и приписывали свою безопасность чудотворному заступничеству Сергия за свою обитель. Когда Жеребцов вошел в монастырь, он запретил им выходы, рассчитывая, что это небезопасно: сидельцы выходили небольшими партиями, их легко враги могли захватывать и истреблять. Жеребцов видел в этих выходах бесполезную трату людей. Дело другое — настоящие ратные люди, они ратному делу изловчены, им можно делать вылазку, и потому сам Жеребцов сделал вылазку со своими ратными людьми. Но Жеребцов воротился с уроном. «Вот тебе и ратные, — говорили ему тогда сидельцы, — а мы простаки, да нас святой Сергий милует!» Жеребцову не посчастливилось оттого, что сапежинцы, после того как через их оплошность вошло в монастырь свежее войско, стали осмотрительнее и сосредоточили свои силы, тогда как до прихода Жеребцова они уже привыкли не обращать большого внимания — выходит ли какой-нибудь

десяток из монастыря. Простаков спасала именно незначительность их числа.

Тем не менее 4 января вслед за Жеребцовым успело пройти другое войско в монастырь, под начальством Григория Валуева: он привел с собой пятьсот сорок вооруженных ратных людей. Соединившись с Жеребцовым и со всеми сидельцами, они сделали вылазку. Это был последний бой под Троицею, и он происходил главным образом на Клементьевском поле, на Келареве пруде и на горе Волкуше; были стычки и на других пунктах осады. Сапега после этого боя почувствовал, что ему хуже, чем неприятелям его. Осада в то время уже до того дурно велась, что Валуев так же свободно и вышел из монастыря к Шуйскому, как и прошел туда.

Через несколько дней после того, именно 12 января, Сапега снял табор и ушел из-под Троицы к Дмитрову.

V. Приготовления Польши к войне с Москвою. – Поход польского короля Сигизмунда под Смоленск

Но в то время, когда Московское государство стряхивало с себя последнее обаяние Димитрия

и готовилось возвратиться к порядку, с запада на него поднялась Польша. До сих пор она косвенно, чрез частных удальцов, вредила Московскому государству; теперь сам король двинулся с войском и объявил себя против Шуйского. Перемирие с Москвою заключено было поневоле. Послы, его постановлявшие, сознавались, что заключали его притворно. Они, воротившись, рассказывали, что Шуйского не терпят в Москве, и если бояре держатся его, то потому только, что не хотят отдаться ведомому обманщику, самозванцу; но у них есть задушевное желание призвать на престол польского королевича и этим призванием чужеземной царственной крови положить конец смутам, которым иначе не видели предела. Они уверяли, что даже брат царя Василия, Димитрий, присоединил свой голос к другим в этом желании. Сигизмунду и панам была по сердцу такая весть. Она казалась правдоподобною после того, как еще при жизни царствовавшего под именем Димитрия Безобразов тайно извещал панов о таком желании бояр московских. Из сенаторов одни с жаром и удовольствием хватались за это и советовали Сигизмунду скорее пользоваться обстоятельствами; другие относились к такому известию похладнокровнее. Сигизмунд обратил-

ся за советом к гетману Станиславу Жолкевскому, через референдария коронного[787]. Жолкевский был тогда при войске на Украине. Референдарий объявил ему, что король желал бы начать это дело до собрания сейма, иначе можно упустить благоприятный случай. Жолкевский отвечал: «Желательно бы, чтобы это дело ведено было с согласия сейма; впрочем, что касается лично до меня, я, как воин и слуга короля, всегда готов исполнять королевскую волю. Но на это дело потребуется много издержек: есть ли на то в готовности средства?» Референдарий сказал, что у короля найдется несколько тысяч злотых. Король увидел, что Жолкевский не очень хватается за это дело, послал к нему Витовского, бывшего прежде послом в Москве, и тот рассказывал гетману, что московские бояре расположены отдаться королю, Жолкевский спровадил его с уверениями в своей готовности, но и с сомнениями. Тогда Сигизмунд рассудил, что нельзя без воли сейма начать войну, и разослал на предварительные сеймики проект войны с Московским государством. Так

[787] Сноски: 787

Референдарий (referendarz) — так в Польше назывался сановник, которого обязанность была принимать и докладывать королю подаваемые верховной особе прошения и разбирать жалобы по управлению королевскими имениями.

как последние события сильно вооружили поляков против московских людей, то на разных сеймиках послышались одобрительные отзывы в пользу предприятия. Но иное дело рассуждать, иное дело решиться и подать окончательно голос. Когда собрался сейм в Варшаве, король не заявил предложения о войне в посольской избе. Проведено было единственно распоряжение о том, что дозволяется отсрочивать явки на позывы к суду тем, которые будут находиться в военной службе. Этим король выигрывал только то, что мог надеяться привлечь в войско тех, которых преследовал закон. С сенаторами были совещания о войне прямо. Несколько сенаторов заявили себя против (три или четыре), остальные отзывались в вежливых выражениях, одобрительных для королевского желания. Из ревностнейших проводников предприятия был канцлер литовский Лев Сапега: он более других верил в возможность овладеть Московским государством, и его мнение значило много; независимо от того, что он был важное лицо по сану, ему могли доверять и потому, что он знал близко Московское государство: он несколько раз был послом в этом крае в прежние времена. Староста велижский Александр Гонсевский, сидя на границе, наблюдал за

делами в Московском государстве, писал к королю донесение и уверял, что дела идут как нельзя лучше для Польши, что Смоленск готов отдаться, как только король явится под этим городом. Гонсевскому очень хотелось войны: он москвичами был чувствительно оскорблен, и ему хотелось отомстить Шуйскому за свое заточение. Жолкевского еще раз спрашивали насчет Смоленска, и он не советовал идти на Смоленск, представлял, что это город крепкий, а надежды на то, что его сдадут без боя, еще не вполне достоверны. Если воевать, то, по его мнению, надлежит идти через Северскую землю, там города деревянные и легко взять их, притом и жители тамошние скорее могли пристать к польскому королю, чем смольняне. Уверения Гонсевского взяли, однако, верх. Если бы в самом деле Смоленск сдался легко, то действительно расчетливее было идти смоленскою дорогою, потому что этим путем можно было скорее дойти до Москвы; притом представлялась надежда, что поляки, помогающие Тушинскому вору, тотчас отстанут от него и пристанут к своему государю, как только он явится в пределах Московского государства.

Король приказал канцлеру Лубенскому составить манифест, где изложил причины, побудив-

шие его к войне, и послал ко двору немецкого императора и к римскому папе. Вопрос представлялся так, будто короли польские имеют древнее право на Русь, которое опиралось на то, что некогда польский король Болеслав посадил на Киевском столе князя Изяслава Ярославича, а впоследствии польские государи, Болеслав Кривоустый и Болеслав Кудрявый, укрощали оружием русских. Присоединения русских земель к Москве Иоанном III изображались несправедливым посягновением на достояние польских государей. Излагались насилия, оскорбления и убийства, причиненные от Шуйского полякам, бывшим в Москве, задержки послов, нарушение международного права; наконец, извещалось, что многие московские бояре, не терпя тирании похитителя Шуйского, через освобожденных польских послов просили Сигизмунда принять Московскую державу, которая должна перейти, после того как угас род ее великих князей, к Сигизмунду, по силе его преемничества короны и прав Ягеллонов. Король изъявил опасение, что московитяне в таком безвыходном положении, что, ненавидя Шуйского, могут отдаться обманщику, называющему себя Димитрием, или же подпасть туркам и татарам, или же призовут

к себе какого-нибудь принца из враждебного Речи Посполитой дома. Таким образом, для предупреждения опасности польский король должен взяться за оружие. Итак, цели его, как объявлялось в этом манифесте, были: во-первых, привести в силу свое будто бы древнее право на русские земли вообще; во-вторых, присоединить к Великому княжеству Литовскому приобретенные в последние времена области, а главное, не дать в огромной северной стране утвердиться какой-нибудь силе, враждебной Речи Посполитой и католической религии[788]. Поводом к скорейшему вмешательству выставлялся союз Шуйского с врагом Сигизмунда, королем шведским, и призвание из Швеции вспомогательного войска. О королевиче Владиславе не говорилось ни слова; напротив, Сигазмунд шел не приобретать сыну корону, а присоединить Московское государство ко владениям Польши и Великого княжества Литовского.

Король выступил в поход после Пасхи в 1609 году и приказал сделать то же обоим гетманам — и коронному Жолкевскому, и литовскому Ходкевичу. Жолкевский хотел избегнуть участия в войне,

---

[788] Сноски: 788
Lubieński, 157.

продолжал возражать против нее, представлял, что она начинается поздно по времени года, и указывал на неудобства, которые неизбежны будут в осеннее и зимнее время; по его мнению, и средства к ведению войны все-таки были недостаточны. Король не поддавался этим советам, и Жолкевский должен был повиноваться.

В Минске король свиделся с Жолкевским, и гетман опять показывал себя не на стороне предприятия. «Имеете ли, ваше величество, — говорил он, — подтверждение от бояр, что они действительно желают нашего прихода, и точно ли Смоленск хочет сдаться?» Король не мог ничего представить подобного. Но сторонники предприятия говорили: «Пока король далеко, боярам трудно отозваться; а когда услышат, что король перешел границу, тотчас заявят свое расположение». Тут для ободрения короля пришло новое письмо Гонсевского; он настаивал, чтоб поляки шли как можно скорее, дабы пользоваться обстоятельствами. Писал он: Скопин вывел из Смоленска войско; в Смоленске нет ратной силы, и Смоленск покорится[789]. Это укрепило короля в намерении, и он двинулся к Смоленску.

---

[789] Сноски: 789
Pism. Żołkiew., 26.

В сборах войска прошло лето. Староста велижский беспрестанно побуждал короля спешить и уверял, что Смоленск покорится, что боярин Шеин, начальствующий в городе, расположен к Сигизмунду, что он сдастся, и тогда путь к Москве будет чист. У Сигизмунда было до двенадцати тысяч сбродного войска, в том числе[790] Станислав Стадницкий, староста перемышльский, привел толпу венгров, своевольных людей развратного поведения; много дворовых команд паны приводили на собственный счет[791], да сверх того было немецкой пехоты 2000 и до трех тысяч польской пехоты; кроме того, неизвестное число татар литовских и тысяч до десяти запорожских казаков конных, вооруженных самопалами и луками, а некоторые имели длинные списы (копья)[792].

Но этим не ограничивались польские силы: были еще в войске охотники, приходившие и уходившие как ни попало; было много не принадлежавших к строю обозных слуг, годных к битве. Число осажденных в Смоленске одни из поляков

---

[790] Сноски: 790
Pamiętn. Maszk., 11.

[791] Сноски: 791
Pism. Żołk., 26.

[792] Сноски: 792
Rel. del. acquis., di Smol., 4.

простирают до 200 000, другие[793] довольствуются более скромным числом — 70 тысяч. Из них, говорят[794], тридцать тысяч было детей боярских и прочих служилых, а сорок тысяч — разного народа, собравшегося туда отовсюду. Пойманные московские люди показывали их с двадцать тысяч с лишком, и то большею частью простого народа. И это последнее, конечно, вернее, потому что негде было взять Московскому государству больших ратных сил.

Подошедши к московской границе, Сигизмунд послал к жителям Смоленска всех сословий грамоту. В ней король указывал, что со смертью Федора, последнего государя из царской крови московского дома, как сделались государями других родов люди, то на Московское государство Бог послал несчастия и междоусобия: идет брат на брата, один другого убивает, а немцы, то есть шведы, берут города и земли, с тем чтобы истребить православную веру; «и вот, — говорила грамота, — многие люди Московского государства, и большие, и средние, и малые, из многих городов и из самой столицы Москвы били нам че-

---

[793] Сноски: 793
Pamiętn. Maszk., 12. — Piaseci., 260.

[794] Сноски: 794
Piasecii, 260.

лом разными тайными присылками, чтобы мы, как государь христианский и ближайший приятель Русского государства, вспомнили родство и братство, в котором мы находились от прадедов наших с великими государями московскими, сжалились над разорением и истреблением веры христианской и церквей Божиих, жен и детей ваших не допустили до конечной гибели. Мы, великий государь христианский, сообразно челобитью многих русских людей, соболезнуя о таких бедствиях и непрестанных кровопролитиях, идем к вам своею особою с великим войском не для того, чтобы вас воевать и кровь вашу проливать, а для того, чтобы при помощи Божией, молитвами Пресвятой Богородицы и всех святых угодников Божиих охранить вас от всех ваших врагов, избавить от рабства и конечного погубления, остановить разлитие христианской крови, непорушимо утвердить православную русскую веру и даровать вам всем спокойствие и тишину. И вы бы, смольняне, были рады нашей королевской милости, и вышли бы к нам с хлебом-солью, и пожелали бы быть под высокою королевскою рукою нашею; а мы, принявши вас в охранение под свое царствование, будем содержать вас непорушимо в свободе и во всякой чести, не нарушая

русской веры вашей; и если захотите ударить челом нам с панами радою и целовать нам крест на всем этом, то мы утвердим все листом нашим с королевскою печатью и во всем поступим с вами так, как только вам будет достойно и наилучше. Если же вы пренебрежете настоящим Божиим милосердием и нашею королевскою милостью, то предадите жен ваших, детей и свои домы на опустошение войску нашему».

Говорилось ясно. Сигизмунд хотел царствовать на Руси. Тут не было речи о каком-нибудь Владиславе. Отец сам претендовал на власть над Московским государством. Шеин оставил без ответа эти приглашения. Посланцу приказали немедленно удалиться, и его грозили утопить, если он станет медлить и разговаривать. Поляки, бывшие с самозванцем, до такой степени раздражили против себя тогда русских, что мысль отдаться Сигизмунду соединялась с ужасным представлением о том, что придут поляки и будут своевольствовать, что уже делали во многих городах. Как только приближались поляки, поселяне бросали дома, забирали только скот и образа и прятались в лес. Поляк современник говорит[795],

[795] Сноски: 795
Pamiętn. Maszk., 16.

что польские жолнеры ходили партиями в леса и там отыскивали их и отымали у них скот. Поселяне, оставшись только с образами, ничего не могли придумать в своем горе, как в порыве отчаяния повесить образа на деревьях и причитывать: «Мы вам молимся, а вы нас от Литвы не оборонили!» Многие из служилого сословия Смоленской земли были тогда в войске Скопина, а их кровные находились в осаде в Смоленске; поэтому иные, если б и хотели сдаться, не смели, и притом в то время об успехах Скопина носились вести даже преувеличенные и поддерживали надежду на выручку.

Город Смоленск был тогда не из таких, которые легко брать. Он был очень велик. Окружность стены была, поляки полагают, до мили; Жолкевский считает ее в 8000 локтей; по стенам было 38 башен, из которых каждая была в длину саженей до девяти или до десяти; стены — из огромных квадратных природных камней, толщиною в подошве до четырех, а кверху до трех сажен, вышиною же в тридцать локтей. Иноземцы говорили, что они нигде не видали таких огромных стен[796]. Самое местоположение Смоленска было

[796] Сноски: 796
Rel. del. acquis. di Smol., 5.

выгодно для обороны: он стоял на холмах, перерезанных оврагами. На другом берегу был посад, обведенный деревянной стеною, называемый Деревянным городом[797].

Когда войско приблизилось, смольняне зажгли посад и ушли в Каменный город. Поляки несколько раз повторили предложение сдаться. 30 сентября Жолкевский отправил к смольнянам с убеждением какого-то монаха. Смольняне не только не отвечали, но и монах не воротился. Послан был какой-то русский с убеждениями; его повесили смольняне за то, что единоземец принял на себя такое поручение. Постреляв-ши несколько дней напрасно, 14 октября[798] отправили посланцев собственно к купцам смоленским. Купцы приняли посланца от канцлера литовского ласково, но приказывали ему говорить и слушать не иначе, как глядя в землю, чтоб он не мог рассмотреть крепости. Он объявил, что канцлер посылает к ним Богдана Величанина на переговоры. «Мы согласны слушать, что нам скажет Богдан», — отвечали смольняне. На другой

[797] Сноски: 797
Pism. Żołk., 28. — Pamiętn. Maszk., 13.

[798] Сноски: 798
Diar. oblęż. Smol. (Рук. Генер. штаба.) Русск. перевод, в Истор. библ., I, 461.

день Богдан Величанин явился с королевским словом и говорил: «Король удивляется вашей грубости и упорству, что вы встречаете его не с благодарностью; он, как государь христианский, жалея о кровопролитии, вознамерился прекратить его и, если вы окажетесь достойны такой Божией милости, принять вас в подданство по случаю прекращения вашего царского рода и такой частой перемены государей. Король хочет сохранить неприкосновенно ваши права, обычаи и русскую веру со всеми обрядами».

Смольняне отвечали:

«Мы восхваляем короля за то, что он хочет с нами поступать по-христиански, но мы боимся литовских людей: на них на всех нельзя положиться. Если б король и обещался за них, они не послушают короля. Что они делают под Москвою и по иным городам? Говорят, будто за нас воюют и будто они друзья нам, а сами разоряют нас, дочерей и жен бесчестят и позорят».

После убеждений Богдана смольняне просили дать им сроку подумать до другого дня. На другой день, 16 октября, Богдан подъехал к городу; из ворот вышли смольняне, угостили его водкою, а в заключение сказали: «У нас есть государь царь Василий Иванович Шуйский, мы ему крест

целовали; пусть король делает что хочет, а мы останемся верны своему государю».

— Этот грубый народ заставил нас потерять два дня, — говорили поляки.

Опять постреляли поляки. Королевское войско увеличилось пришедшими запорожцами под начальством Олевченка. Их было до 30 тысяч.

Другой отряд их, служивший тушинскому царику под начальством Наливайка, посланный Рожинским, взял Белую, а потом отложился от самозванца и пристал к королевскому войску[799]. Но мало утешительного предвиделось в осаде Смоленска. В конце месяца опять послали убеждать смольнян. Выбрали для этого пойманного с письмом смольнянина сына боярского, но не пустили его в город, а поставили в шанцах и приказали ему говорить: «Покоритесь, а то беды не минете, коли станете упрямиться». Смольняне отвечали: «Если б ты был с нами в городе, так бы ты думал, как мы думаем; а теперь ты говоришь так потому, что ты пленный». — «От Шуйского помощи не дождетесь! — продолжал им говорить пленник. — У короля людей много, они за ваше упрямство станут волости разорять: не губите

---

[799] Сноски: 799
Коберж., 102.

сами себя и жен и детей своих!» «Мы не хотим губить душ своих!» — отвечали ему.

Впрочем, по свидетельству одного современника[800], четыре москвитянина, называемые у него воеводами, явились к королю после его прихода, били челом и говорили: «Буди здрав, великий государь, мы служебники твоей милости будем, как и поляки, не вели бить нас по головам». Король обошелся с ними очень ласково.

В ноябре король послал депутатов к войску вора под Москву, с тем чтоб отвлечь поляков и присоединить их к своему войску (это были: Стадницкий, староста перемышльский, князь Збаражский, староста кременецкий, Людвиг Вейер, писарь литовский, Скумин Тышкевич и Домарацкий). Не доехавши до Тушина, в Дорогобуже повстречались они со своими соотечественниками, которые ехали депутатами от тушинского войска к королю. «С чем вы едете?» — допрашивали королевские послы цариковых. Последние не открыли им.

---

[800] Сноски: 800
Pieśń o tyrańстwie Szujskiego.

VI. Недоразумение польского короля с тушинцами. – Королевские комиссары в тушинском лагере. – Домогательства тушинцев. – Волнения в таборе. – Бегство вора и Марины из табора. – Сапега и Марина в Дмитрове. – Уничтожение тушинского табора

Весть о прибытии короля под Смоленск произвела волнение в тушинском войске. Если б шло дело только о Смоленске, тогда тушинцы могли бы войти в сделку и за своего царя отречься от Смоленска, с тем чтоб король помог ему владеть остальным на Руси. Но король объявил себя прямым соперником тушинского царика. Король домогался сам московской короны и власти над государством; он признавал царика обманщиком, а следовательно, не уважал прав и видов поляков, помогавших Димитрию. Рожинский собрал коло и говорил речь. Он доказывал, что иное дело быть верным своему законному государю, иное дело — служить другому за жалованье и выгоды; они поступили в службу Димитрию без нарушения верности королю и Речи Посполитой

и должны теперь сохранять прежнюю верность государю, но не терять, однако, плодов стольких усилий, предпринятых в пользу Димитрия для своих выгод, и не лишаться заслуженного жалованья. Такой смысл речи Рожинского показывал, что он ставил главным делом жалованье войску, а следовательно, по его мнению, полякам возможно было и предать своего царика, если бы от короля получить такие же выгоды, каких надеялись от воцарения Димитрия. Но следовало потеребить короля, вытребовать от него для себя, что нужно, и потому следовало показать вид, что они стоят за Димитрия и протестуют против посягновения короля на его права. И вот, по побуждению Рожинского, коло составило военную конфедерацию, которая должна была теснее их всех соединить. Они обязались не покидать Димитрия, пока он не достигнет престола, не переходить и в другое войско, хотя бы и королевское, под смертною казнью, прекратить всякие несогласия и взаимные недоразумения, с тем чтобы тот, кто сделает в войске смуту, лишился своего жалованья и имущества. То же наказание угрожало и тем, которые самовольно оставят службу, и даже тем, которые отправились уже прежде в отпуск, если не явятся к Пасхе и Пяти-

десятнице будущего года. Даже и по воцарении Димитрия не следовало покидать знамен, пока не заплатится все жалованье; если же кто, получа свою часть, выйдет из войска тогда, когда еще другие не получили, тот подвергается наказанию от своих товарищей, так что его имущество и имения, где бы они ни были, могли быть разоряемы; наконец, настаивали, что всяк, кто осмелится порицать эту конфедерацию словом или делом, подвергается преследованию как неприятель.

Строгий тон этой конфедерации показывает, что войско тогда было раздражено сильно против своего короля. Выбрали депутатами к Сигизмунду Мархоцкого с товарищами[801]; Сапега послал своим послом Вилямовского от войска, стоявшего под Троицею.

Король выслал навстречу депутатам хоругвь под начальством Струся и велел их почетно проводить в обоз. Они явились пред его лицом в шатре, и Мархоцкий говорил речь от лица всего рыцарства, служащего у Димитрия, жаловался, что вступление короля есть неприятельский поступок против Димитрия, что они через то теряют надежды на вознаграждение своих трудов,

[801] Сноски: 801
С Вржещем, Дудзинским, Рознятовским и Сладковским.

предпринятых на собственные издержки, что Шуйский давно старается о том, как бы оторвать бояр Московской земли от Димитрия; он до сих пор не успевал, а теперь король своим вступлением поможет ему. Между прочим, оратор выразился решительнее такими словами: «Рыцарство через нас извещает ваше королевское величество, что оно не замышляет ничего против отечества; но если кто пойдет против царя Димитрия и станет препятствовать нам получать свои выгоды в Московской земле, то мы уже не будем уважать в таком враге ни отечества, ни государя, ни брата»[802].

После аудиенции у короля послов пригласили к Жолкевскому. Перед ним они доказывали, что ничего не делали противного Речи Посполитой, умоляли заступиться за них и не мешать им возвести Димитрия на московский престол. Дерзкий тон в речи Мархоцкого вооружил сначала панов: они смеялись депутатам в глаза над Димитрием, говорили, что Марина вышла замуж за второго Димитрия; говорили о них самих с негодованием: что они за свою дерзость не достойны быть допущенными пред лицо короля. Наконец порешили

---

[802] Сноски: 802
Мархоцк., 150. — Коберж., 107.

между собою на том, что в сильных выражениях высказать депутатам замечания о неприличии их поступка, потом обойтись с ними ласково. На третий день после прихода их призвали снова в присутствие короля. Тогда подканцлер Феликс Криский сказал им: «В прежнее время королю были бы очень приятны эти изъявления верности и подданства, какие вы принесли от имени рыцарства вашего; но когда помыслить о словах ваших, то королю, сенату и, наконец, всем, которые слушали и читали ваше посольство, нельзя не удивляться тому, что вы, говоря о своей верности, осмелились обратиться к его величеству, вашему государю, с такими дерзкими выражениями. Вы перешли границы свободы. Кто не почитает государя, тот оскорбляет отечество, и кто не слушает властей, тот противится закону. Вы огорчили короля вашим посольством от войска, к которому король, по своему милосердию, уже отправил своих послов. Примите писаный ответ, достойный вашего посольства, и передайте вашим товарищам, чтоб они уважали его королевское величество, которому Бог поверил в управление своих людей, пусть они чувствуют, что он их король и государь».

После речи Криского Ян Куцборский, епископ

кульмский, подал им на письме ответ, где, после укоров за дерзкие выражения и заявления, упрекали помощников Лжедимитрия в нарушении прав и неуважении к властям. «Право обоих народов (польского и литовского, — сказано было там) запрещает вступать на службу в иностранные государства с хоругвями, чтоб не подать повода другим нападать на нас; право обоих народов запрещает частным лицам оружием отплачивать соседям за оскорбления, и даже самому королю не позволяется начинать войны, чтоб не навлечь опасности на свое государство; а вы без дозволения начальства раздразнили соседнего неприятеля! Теперь король принужден вступить войною в Московское государство, потому что Шуйский уже вооружил на Польшу и Литву с одной стороны татар, с другой шведов; а рассеявши войско Димитрия, составленное из поляков, он легко мог бы ворваться в пределы литовские. Подробнейшее изложение всех поводов вступления и намерений короля предоставлено тому посольству, которое отправлено в тушинский лагерь». Несмотря на эти суровые ответы, посланцев Димитриева войска угощали паны один за другим с радушием и честью.

Посланцы Сапеги из-под Троицы объяснились

гораздо покорнее и воздержнее и оказывали склонность повиноваться королю[803]. Посланцы поехали назад.

В тушинском таборе были уже королевские комиссары. Прежде торжественного, официального своего приезда они послали туда агентов, пана Добку с товарищами, которые скоро изведали, что войско вовсе не так ожесточено вступлением Сигизмунда, как кажется, и есть возможность поладить с ним. Говорили, будто Рожинский не терпит своего царика, которого именем распоряжался; толковали даже, будто он, поставивши Млоцкого у Коломны, чтоб не пропускать водою к Москве запасов, скоро потом удалил его оттуда, когда увидал, что Москва, лишенная продовольствия, в самом деле готова сдаться; говорили, будто Рожинский мстил Шуйскому, но находил невозможным возводить вместо Шуйского своего бродягу. Жар, с которым поляки составили конфедерацию, ослабел скоро. Рожинский был чересчур властолюбив: его не терпели те, которые считали себя равными ему. С Сапегою он был постоянно в разладе; с Александром Зборовским недоразумения у них дошли до того, что они

[803] Сноски: 803
Коберж., 125.

вышли на поединок, но ничего друг другу не повредили своими сабельными ударами, потому что у обоих были крепкие панцири. Такое несогласие главных вождей подавало много надежд на возможность расстроить службу царику в пользу короля. Казалось очень затруднительным удовлетворить войско жалованьем; но агенты доносили, что по войсковому приговору придется вознаградить каких-нибудь три тысячи; это им тайно сообщали офицеры. После такой проведки приехали комиссары в табор тушинский. На челе их был Станислав Стадницкий, каштелян перемышльский, родственник Мнишеков.

Когда послы-комиссары приближались к Тушину, то сделалось волнение: конфедерация требовала не принимать их, не входить с ними в переговоры, а вести вперед дело Димитрия всеми силами. Но в войске успели присланные агенты рассеять слух, что король привез с собой большую сумму для заплаты войску. Жолнерам нужно было как-нибудь получить жалованье за свои труды; от Димитрия они не могли получить обещанных благ иначе как после взятия столицы, она же что-то не давалась в руки. Естественно, что, несмотря на недавнюю взаимную клятву, первая возможность вознаграждения своих тру-

дов иным способом изменяла их прежний дух. Сапега прислал из-под Троицы посланцев известить, что он, со своей стороны, со всем войском своим покоряется королю; Сапега советовал не раздражать своего государя и допустить комиссаров. Рожинский и Зборовский, как главные предводители, не хотели было расставаться с властью, но, увидя, что войско склоняется к покорности королю, согласились принять послов.

Комиссары приехали 17 декабря. Их принимал за лагерем Зборовский с двухсотенным гусарским отрядом. Он проговорил им речь, состоявшую из комплиментов, и поехал с ними назад. Когда они приблизились к обозу, навстречу им выехал сам Рожинский в своей карете; с ним рядом сидел Станислав Мнишек, староста саноцкий. Рожинский извинялся нездоровьем, что не мог встретить их далее от обоза. Они поехали вместе, и при въезде в обоз навстречу стали перед ними посланцы царика, Иван Плещеев и Федор Унковский (Unikovius). Но королевские комиссары заметили им, что не к этому царю приехали. Они проехали мимо избы царика прямо к помещению Рожинского. Царик и Марина смотрели на них в окна и чуяли свое горе. Вступили комиссары к Рожинскому, там ожидал их стол: они пировали со

своими соотечественниками, прежде чем начали говорить о делах.

На другой день комиссары объяснили Рожинскому и панам, с ним бывшим, что должны объявить свое посольство от короля войску. Рожинский сказал на это: «У нас есть царь Димитрий; прежде ему следует представиться. Мы его войско, служим под его властью и под его знаменем. А потому мы спросим вас: имеете ли что-нибудь сообщить его величеству царю Димитрию?» Комиссары на это сказали: «Мы на ваш вопрос сделаем со своей стороны вопрос: тот ли этот Димитрий Иванович, которому вся земля присягнула, крест ему целовала и венец на него возложила? Нам его величество король приказал узнать в точности и осведомиться об этом у ваших милостей. Если он действительно тот самый, то нам поручено объявить ему, что государь наш не только не хочет ему препятствовать, но еще всеми силами станет ему помогать против изменников. Если же он ложный, то его величество не может посылать своих послов к обманщику, он не привык давать фальшивых титулов, да и вы сами, как верные слуги его королевской милости, можете рассудить: может ли король и вся Речь Посполитая, потакая выгодам частных

лиц, делать бесчестное дело и нарушать старинные права и обычаи?» На это был такой ответ: «Не хотим вас обманывать, господа королевские послы; он не тот, который царствовал прежде, и не тот, за кого себя выдает, но так дела требуют, и особенно так следует поступать ради Москвы, которая смотрит в оба глаза на ваше посольство. Если его явно отвергнуть и пренебречь, сделается смута. Предоставьте нам… для вида… мы лучше знаем свойства нашего Димитрия… Мы сумеем сохранить достоинство нашего государя». Рожинский сообщил об этом ротмистрам. Некоторые закричали наотрез: «Мы служим Димитрию и не должны принимать мимо него посольств». Но более умеренные говорили: «Комиссары приехали не к Димитрию, а к нам, полякам, людям вольным, от нашего короля и государя». После споров решили на том, чтобы объявить об этом Димитрию и попросить у него позволения вступить в разговоры с королевскими комиссарами. «Мы скажем ему, — говорили поляки, — пусть будет как будто по его воле; а он, разумеется, противиться не станет; знает, что и без него будет то же самое».

Так и случилось. Царик не смел противиться, расчел, что будет хуже, когда его не послушают.

Тогда собралось генеральное коло на просторном месте, образовало круг; в него вошли комиссары и сели в креслах. Каштелян перемышльский Стадницкий говорил речь, излагал причины, которые побудили короля взять оружие, припомнил убийство поляков в Москве, задержание польских послов, плен поляков. «Король и Речь Посполитая, — говорил он, — не могли терпеть долее, после того как Шуйский заключил союз с герцогом Зюдерманландским, врагом и похитителем наследственного престола его величества короля нашего, и призвал к себе на помощь его войска; кроме того, он подущает татар на земли Речи Посполитой; Московское государство в крайнем упадке и разорении; неверные турки радуются и конечно скоро воспользовались бы этим, чтобы завоевать его себе, так как уже случалось, что они находили на него с Дону и посылали для разорения татарские орды. Нам нельзя было спокойно дожидаться, тогда бы они вошли и в наши пределы; окончательное подпадение Московского государства турецкому владычеству было бы ударом для древней веры и гибелью христианства. Король не хотел потерпеть долее такого напрасного пролития христианской крови и погибели государства, с которым предки его

величества жили по-соседски, и с Божиею помощью желает верными средствами его успокоить, а вы не должны этим пренебрегать; напротив, король надеется и желает вашего содействия; теперь дело идет о вас самих, о правах, святой вере, о женах и детях, о собственности, о земле, которой вы принадлежите».

Выслушав речь, старый полковник по имени Витковский сказал на нее:

«Все войско объявляет благодарность его величеству королю нашему за честь, которую он оказал нам, прислав таких знатных и почетных людей: мы готовы принести жизнь нашу и достояние на службу короля и просим, чтобы нам уделили на письме повод к посольству, зачем вы приехали».

Комиссары на это согласились. Но тогда от имени войска попросили показать также инструкцию, данную им от короля. В этом отказали комиссары, и князь Збаражский сказал, что король поручил их благоусмотрению сделать войску уступки, какие найдутся нужными.

В инструкции, кроме явных пунктов, которые гласно объявил Стадницкий в своей речи, были еще скрытные поручения, которые обнародовать никак нельзя было. Там поручалось комиссарам

завести тайные сношения с каждым из панов особо, давать им различные надежды, располагать их смотря по их обстоятельствам, вообще соблазнять их обещаниями выгод и представить им, что не всегда может быть для них такой счастливый случай: надлежит воспользоваться этим. Между панами в таборе вора были такие, которые тайно от своих приятелей переписывались с другими приятелями в Польше, а те, по их просьбе, выставляли их перед королем, сенаторами и членами вольного сейма, людьми, которые стараются о том, чтобы обратить тушинский табор на верность королю и Речи Посполитой. Этим лицам комиссары должны были сказать, что король всегда будет помнить их заслуги, и так как они первые повели дело на пользу короля и Речи Посполитой, то при раздаче наград не будут последними. Одним следовало обещать староства, другим каштелянства, экономии и проч. Комиссары вообще должны были отвлекать поляков от вора и представить им, что пристать к королю для них выгоднее, чем оставаться с вором. Но это следовало делать также исподволь, высматривать и соображать, с какими требованиями вознаграждений отзовутся тушинские поляки, и уступать им тогда, когда иначе нельзя. В то же время ко-

миссары должны были склонять на свою сторону нареченного в Тушине патриархом митрополита Филарета, бояр и дворян, державшихся вора. «Если, — сказано в инструкции, — московские люди пожелают отдаться под власть короля и не пренебрегут его покровительством, то следует им объявить, что король их расположение примет с величайшею о них заботливостью, сохранит им веру, права, обычаи церковные и судебные, и не только оставит неприкосновенными их имения и имущества, но еще по своим королевским щедротам наделит новыми тех, которые к нему обратятся». Сигизмунд поручил также комиссарам тайно послать к Шуйскому, вступить с ним в переговоры и вручил королевскую грамоту к нему, которую следовало доставить по назначению, когда окажется надобность. Король оправдывал свое вступление в пределы Московского государства, приглашал прислать из Москвы уполномоченных для переговоров с послами, прибывшими в тушинское войско; так как Шуйский раз уже поступил коварно, задержав послов, то ему более нет веры, и потому переговоры должны происходить не в столице, а в поле; пусть он вышлет туда своих думных бояр. Но этот пункт следовало держать особенно

в тайне до времени, и когда придет пора, то надобно было объявить тушинским полякам, что король обращается к Шуйскому единственно с предложением прекратить кровопролитие и помирить его с тушинскими поляками на выгодных для них условиях. К Димитрию не было никаких грамот, король считал унизительным для своего достоинства писать к ведомому обманщику, но к нему писали сенаторы, просили допустить королевских послов к войску и давали ему титул светлейшего (Jaśnie Oświecony).

Понятно, что инструкции этой комиссары не могли объявить по требованию тушинских послов, да и сами те, которые этого домогались, знали, что комиссары не исполнят их желания. Это заявлено было нарочно, чтобы выдумать предлог и не допустить комиссаров до их дела. После этого требования начались споры, и некоторые в раздражении наговорили комиссарам колкостей. Тогда комиссары сказали: «После такого обращения с нами нам ничего больше не остается, как уезжать и сообщить его величеству и Речи Посполитой о том уважении, какое вы им в настоящее время оказываете». Но более умеренные стали успокаивать волнение, и наконец порешили на том, чтобы выбрать из всех

рот депутатов для переговоров с комиссарами от целого тушинского войска. Выбрали от каждой роты по ротмистру и сверх того по два товарища, а когда выборные отделились, то их оказалась большая толпа в двести человек. Стали толковать с комиссарами; стали выпытывать, чего желает король, какие поручения он дал комиссарам. Комиссары отговаривались только общими выражениями и говорили, что король ничего не желает, как только успокоить кровопролитие и обеспечить спокойствие границ королевства. «Но с таким большим числом людей нам нельзя столковаться, — сказали они наконец. — Выберите поменьше». Выборные стали было упрямиться; комиссары стояли на своем и твердили, что не находят удобным толковать с двухсотенною толпою. Наконец выборные уступили и выбрали из среды себя двадцать шесть человек. Переговоры назначены на другой день, 21 декабря. Тут были и посланцы от Сапеги. Сапега особенно побуждал Рожинского и Зборовского вступить в переговоры с королевскими комиссарами.

Комиссары сказали:

«Его величество, наш милостивый король, желает, чтобы храброе рыцарство свои труды, подвиги и жертвы принесло на пользу своему

государю и Речи Посполитой, своему отечеству, а не кому-нибудь иному. Отечество наградит вас, как верных сынов своих».

На это был такой ответ:

«Рыцарство желает всего доброго его королевской милости и отечеству и хочет служить королю как своему государю, но оно связано присягою на верность нынешнему государю московскому Димитрию Ивановичу для славы народа своего и не может поступить против совести. Мы можем только потребовать от царя Димитрия Ивановича, чтобы он согласился уступить Польше Северское княжество, а со стороны короля будет очень справедливо пособить ему завоевать столицу; мы же от его милости короля никаких наград не требуем и уступаем добровольно право своей ассекурации на получение жалованья».

Комиссары поняли дело так, что это выдумка недобрых людей. «Они думают, — сказали они шепотом друг другу, — что бросают нам лакомый кусок». На заявление выборных последовал от комиссаров ответ в таких выражениях:

«Его милость король не привык помогать таким лицам приобретать государство, у которых нет никаких прав на государство. Вот из этого видно, что вы не расположены к королю и Речи

Посполитой. Вы сами слуги и подданные его величества, а ведете его к такому бесчестному делу, чтобы он, монарх, помогал и служил какому-то бродяге; видно, что не любите вы отечества, когда вы не за него проливаете кровь, а за того, кто вам дает то, чего сам еще не имеет. У Речи Посполитой древнее и законнее право на то самое, что он дарит. Не то что Северской земли — ни одной деревушки не имеет он права раздавать».

Поднялся спор. После нескольких минут шума депутаты сказали: «Мы не можем осрамить чести польского народа и своей совести — нарушить свою присягу; оставить царя нам нельзя иначе как тогда, когда удовлетворят его. Мы привели его на это; он согласится на то, что мы захотим; но опасно: если мы отступим от него, то как бы не взбунтовались города и московитяне, которые при нем находятся! Мы взяли его под свое покровительство и ожидали от него наград, он в долгу у нас. Возьмется ли его величество король заплатить нам все, что следует нам получить с Димитрия?»

«Ваша присяга недействительна, — сказали комиссары, — потому что дана человеку, носящему фальшивое имя: вы в этом сами сознались по совести. По каким же правам можно обманщику

давать награды? Но, чтоб не произошли смятения, король согласен наградить и его. Полковники и ротмистры! Ступайте к нему и объявите, что вы служили ему долгое время, но по причине неудач его служить ему больше не будете. Припомните, на какой верх счастья вы его возвели; вы собрались во имя его, достояние свое для него тратили, кровь свою для него проливали. Пусть же он теперь отдастся на ваше благоусмотрение и вспомнит, что причиною его возвышения были вы. Пока люди думали, что он истинный Димитрий, к нему приставали, а теперь узнали, кто он такой, и стали отлагаться от него; чтоб ему не погибнуть, пусть прибегнет к его величеству королю, который ему обещает верную награду!»

Тогда они сказали: «Пусть король нам заплатит долг, который нам обязан выплатить Димитрий; выйдет всего на двадцать миллионов злотых; из них пять миллионов пусть нам уплатится теперь же от Речи Посполитой за нашу службу Димитрию, а пятнадцать мы получим с Московской земли, когда его величество овладеет ею. А если почему-нибудь не состоится предприятие, то все-таки пусть наша награда не пропадает. Мы проложили королю дорогу в Московское государство и дали к нему доступ».

Комиссары сказали:

«Вы, собравшись во имя Димитрия и зная, что он обманщик, служили ему и творили фальшивое дело. Московитяне думали, что он настоящий, и воевали за него с вами заодно с успехом, а как узнали, что он обманщик, то стали отпадать от него, особенно после ваших грабежей и потерь. Тверская земля совсем отпала. Города возмутились против вас прежде, чем король вступил в Московское государство; еще Северская земля за вас держится, страшась мести Шуйского, а вовсе не ради веры в вашего царя; частые сражения обессилили вас, счастье ваше упало; вам не только невозможно взять столицы, но еще вы должны будете отступить и показать свою слабость неприятелю. Было время, когда вы держали всю землю в руках вашего обманщика, и тогда вы не получили себе желанной награды; а теперь куда вам ее получить, когда вы ослабели, а силы ваших неприятелей возросли! Да если бы и вся земля досталась вашему обманщику, он все-таки вам не мог бы заплатить этих миллионов. Легко ему обещать и писать обещания — каково-то дать! Хоть бы и Москву вы взяли — наделили бы вас не равно; один взял бы много, другому не досталось бы ничего! Вы верите своему обманщику

больше, чем законному королю! Какие же вы друзья отечества, когда желаете, чтобы король без согласия чинов государства обязался таким огромным долгом? Впрочем, ведь вы и от вашего царя не надеялись получить такой награды иначе, как только тогда, когда Москву возьмете. Разве это может теперь статься? Король не покинет этой войны, не отойдет домой, не с тем он сюда пришел; если бы он ее оставил, то неприятель, оправившись, стал бы искать короля в его собственных пределах, сохрани Бог! Король лучше с жизнью расстанется, чем добрую славу утратит. Если король или мечом, или договором покорит Московское государство, то знайте, что вас за упрямство ожидает гибель. Не верьте, панове, что вам там недобрые люди рассказывают о Польше. Правда, есть у нас разбойники, негодяи, но Бог простирает руку свою над нашим отечеством, и теперь таково Его милосердие, что добрые люди не допустят сделаться ничему злому: найдутся такие, что жизнь свою положат за государя и вольность. Домашние недоразумения не заставят короля возвратиться. Что же, что вы служили? Вы проливали вашу кровь за обманщика, забывали своего законного государя; от тех, которые из вас пали в битве, не было никакой пользы отечеству,

и ваша служба начнется тогда, когда вы начнете служить ею великому королю и получите от него приповедные листы. Король своим приходом вам ничем не помешал: он пришел в ту сторону, где вас не было и где самая сильная сторона Московского государства. Король без вас обойдется, а вы без короля не обойдетесь. Слабость скоро уничтожит вас, а король хочет вас усилить. Король хочет, чтобы вы и награду себе, и славу получили. Теперь королю вам платить не за что; вы служили Димитрию, и если Димитрий что вам обещал, то обещал то, чего не имел, это была ложь, как и Димитрий ваш ложный, а король что обещает, то исполнит, только вы будьте умереннее. Есть два способа уплатить вам жалованье: первый щедрее, да не так верен, хотя и вероятен; второй скупее, зато вернее. Первый — заплатить вам из московской казны, когда мы овладеем Москвою; второй — дать вам ассекурацию в уплате жалованья по вашей службе королю. Если удастся овладеть Москвою или через договор, или мечом, мы предложим москвитянам, в числе условий, заплатить вам, хоть бы и больше той суммы, какую вы запросили, лишь бы у них казны достало; а если же они не захотят мирно покориться, то нужно будет войну вести с ними.

Ну, война требует издержек и времени! На это обратите внимание. То, что издержится на войну, нужно будет вознаградить с той же московской столицы. Предоставьте лучше его милости королю правильный расчет для ассекурации вам на жалованье, и мы обещаем вам в эту же зиму, если Бог поможет его милости королю овладеть Москвою, награду, только в размере справедливом. А то ведь у нас нет перуанских рудников».

Эти совещания не окончились успехом: тушинцы пошумели и разошлись толковать между собою. Прошло несколько дней. Это время употребили комиссары на то, чтобы обделать дело поодиночке. Они воздерживались от обещания удовлетворить все войско: это было невозможно; зато они были щедры на обещания начальникам и в короткое время всех склонили на свою сторону, в том числе и Зборовского, и самого Рожинского: их приманили обещаниями староств. Между тем жолнеры шумели, доходило у них до драк. Вор не смел и не в силах был вмешиваться. Он попробовал было спросить Рожинского: зачем приехали королевские комиссары? Рожинский, тогда подпивший, сказал ему в ответ: «А тебе, б…… сын, что за дело? Они ко мне, а не к тебе приехали. Черт тебя знает, кто ты таков! Довольно

мы служили тебе и проливали кровь, а награды не видим!» Князя Вишневецкого, которого вор любил, невзлюбил Рожинский и поднял на него руку в присутствии своего царика, а потом прикрикнул на самого вора так, что тот запрятался куда-то. Другой польский пан — Тышкевич — обругал царика вором и мошенником. С каждым днем положение его становилось опаснее. Но оно стало безвыходным, когда королевские комиссары сошлись потом с московскими людьми скорее, чем с подданными своего государя. Они пригласили на разговор знатнейших из московских людей: на челе их был Филарет Никитич, с ним были Михайло Глебович Салтыков, князь Трубецкой; с ним был и атаман Заруцкий.

Комиссары им говорили:

«Не страшитесь того, что король вошел в землю вашу с войском. Он не желает вам зла, а по христианскому милосердию и по соседству хочет утишить Московское государство, потрясенное смутою от бесстыдного вора, и освободить народ от мучителей, которые его утесняют. Если вы не пренебрежете его расположением и пожелаете, то король не только сохранит ваши обычаи, но будет оборонять ваши права, веру, вольности, жен и детей и ваши имущества. Вот к королю

пришли верные слухи, что поганые турки и татары, пользуясь вашим разделением, приступают к вашим границам с тем, чтобы, пробившись через наши земли, овладеть вашими. Тогда постигнет погибель вашу древнюю веру христианскую. Взирая на это, его величество король пришел на помощь государству Московскому, не желая, чтобы его собственные земли были окружены неверными. За ваше расположение к верным подданным и честному народу обоих государств его величество король окажет вам свою милость: вы узнаете ее не на словах, а на деле, из доброго окончания этого предприятия»[804].

Комиссары вручили им королевскую грамоту, Филарет и бояре заплакали от таких слов и сказали в ответ:

«Слава высочайшему Господу Богу, что вдохнул наилучшему королю желание положить конец долгим нашим бедам и страданиям! Мы об одном только просим, одного молим: чтоб он нашу православную веру сохранил ненарушимо и наши монастыри, и святыню».

Комиссары отвечали: «Именем короля мы клянемся вам, что все станется по вашему же-

---

[804] Сноски: 804
March., 159.

ланию».

Бояре порешили отречься от царика, отречься и от Шуйского, отдаться Сигизмунду и стараться привести ему в подданство все Московское государство.

Вор увидел, что уже ему нет надежды: поляки поодиночке склонялись на сторону комиссаров, московские бояре и дворяне были против него; он боялся, что его не сегодня завтра свяжут. Он решился бежать. Говорят, что он пришел к своей жене и сказал: «Либо мне, либо Рожинскому приходится пропасть! Он оскорбляет меня! Я недостоин буду видеть твоих очей, если не отомщу ему. Он заодно с королем своим, у них против меня злой умысел. Оставайся здесь ты, а я убегу»[805]. По другому известию[806], Димитрий утаил от Марины свой замысел. Как бы то ни было, он переоделся в крестьянское платье и вечером убежал из табора. С ним ушел шут его Кошелев. Он убежал в Калугу, куда уже прежде отослали его бояре свои семьи[807], и первым

---

[805] Сноски: 805
Bussow, 97.

[806] Сноски: 806
Кобержицкий, 152.

[807] Сноски: 807
Marchock., 62.

его делом было написать грамоту и разослать по городам, чтобы московские люди ловили и убивали поляков, а их имущества свозили в Калугу. В таборе несколько времени не знали, куда девался царик, и думали, что он убит[808]. Такая весть распространилась и в войске Скопина, и предводитель московского войска писал в своей грамоте за верное, что Тушинского вора убили польские и литовские люди.

В ту же ночь после бегства вора произошел страшнейший беспорядок в таборе. Пестрое войско, собранное во имя призрачного царя, узнавши, что его нет, металось во все стороны. Толпы напали на Рожинского, кричали: «Где царь? Куда ты его девал? Это ты его спровадил!» Рожинский уверял и клялся, что он невинен, не знает, куда убежал царик; но в то же время удачно действовал на подчиненных присутствием духа и уменьем сохранять повелительный тон. Московские люди не только не пожалели о воре, но пошли процессиею к ставке комиссаров: впереди шел Филарет. Они возвестили, что радуются и благодарят Бога за то, что избавил их от вора. Комиссары им сказали: «До сих пор мы

---

[808] Сноски: 808
Buss., 48.

явно не смели объявить вам наше к вам посольство, бояре, а теперь вручаем вам грамоту его милости короля и сами готовы положить за вас жизнь свою». Тут они вручили им королевское письмо. Утром волнение в таборе усилилось. Поляки побежали к ставке комиссаров. «Это вы его прогнали, — кричали они. — Изрубить гетмана! Перебить комиссаров!»

Те ротмистры, которые хотели укротить волнение, не могли ничего сделать; но так как бунтовавшие не верили в Димитрия, не были привязаны к нему, а всполошились оттого, что у них отняли знамя, под которым они все надеялись не потерять того, что заслужили, и получить золотые горы, то в конце концов они воспользовались тем, чем можно было: напали на царские избы, перетрясли все в них и захватили из них то, что было подороже: серебро, золото, что было там в сосудах и в деньгах, — все это вмиг разошлось по рукам. К вечеру волнение улеглось.

Но на другой или третий день какой-то Казимирский распространял по обозу весть, будто Димитрий прислал письмо к тушинцам. Табор взволновался снова. Несколько дней, говорят

комиссары в своем донесении[809], табор похож был на толпу бешеных или сумасшедших. Весть оказалась ложною, и Рожинский приказал повестить, что вперед кто будет распространять такие вещи, тот подвергнется наказанию. Волнение утишили более всего московские люди, гласно заявлявшие расположение к Сигизмунду. Они оказывали готовность не признавать отнюдь ни вора, ни Шуйского? и пригласить на Московское государство царем сына Сигизмундова, Владислава. Приверженцы вора, как поляки, так и русские, злобились на московских знатных людей, изъявивших это желание. Но поляки, видя, что их царика нет более налицо, а русские склоняются к польскому королю, поставлены были в такое положение, что невольно должны были согласиться с комиссарами. Невозможно было им, подданным короля, идти против него и держаться того, кто назывался московским царем, когда те, которые считались законными подданными этого царя, отверглись от него и обратились к польскому королю. Комиссары обещали им жалованье и побуждали послать депутацию к королю, ободряя надеждами, что посольство их будет успешно. И

[809] Сноски: 809
Bibl. Krasin., B. 1, 6.

они наконец, собравшись в коло, положили отправить депутатов к королю, с тем, однако, чтобы выторговать у него побольше для себя выгод. Но в то же время Януш Тышкевич поехал в Калугу к вору с посольством от рыцарства.

Московские люди заодно с поляками отправили из своей среды посольство к Сигизмунду.

Комиссары окончили свое дело. Собравшись ехать к королю, Стадницкий написал к Марине письмо. Он называл ее не царицею, даже не великою княгинею, а воеводянкою сандомирскою, и уговаривал оставить честолюбивые намерения. Марина отвечала ему: «Доброжелательство вашей милости для меня приятно, как от лица, связанного со мною родством. Я имею надежду, что Бог — мститель неправдам, охранитель невинности; он не дозволит моему врагу Шуйскому пользоваться плодами измены и злодеяний своих. Ваша милость должны помнить, что кого Бог раз осиял блеском царственного величия, тот не потеряет этого блеска никогда, так — как солнце не потеряет своего блеска от того, что иногда закроет его скоропроходящее облако». Она подписалась «царицею московскою». Вместе с тем она написала письмо к королю, подписанное числом 15 января. В этом письме Марина извещала, что,

узнавши о вступлении Сигизмунда, желает успеха его намерениям. Она говорила, что находилась до сих пор в заключении, которое мешало ей обратиться к королю. Марина выражалась так: «Если чем-нибудь на свете играла судьба, то, конечно, мною: из шляхетского звания она вознесла меня на высоту московского престола для того, чтоб бросить в ужасное заключение: только что лишь проглянула обманчивая свобода, как судьба ввергнула меня в неволю, по-видимому, лучшую, но в самом деле еще злополучнейшую, так что я не могу жить сообразно моему сану. Все отняла у меня судьба: остались только справедливость и право на московский престол, обеспеченное коронациею, утвержденное признанием в звании царицы и укрепленное двойною присягою всех сословий Московского государства. Я уверена, что ваше величество по мудрости своей вознаградите с королевскою щедростью и меня, и фамилию мою, которая достигала этой цели с потерею права и с большими издержками»[810]. Марина подписалась «московскою царицею».

Партия, склонная к переходу на сторону короля, опять составила коло и приговорила послать

---

[810] Сноски: 810
Коберж., 158. — Ист. См. вр., III, пр. № 2, с. 6.

к нему депутацию, которая должна была представить ему на письме пункты. Выбрали для этого восемь депутатов[811]. Послы от московских людей, находившихся в лагере, были: Михайло Глебович Салтыков и сын его Иван, князь Василий Рубец-Мосальский, Юрий Хворостинин, князь Федор Мещерский, дьяк Иван Грамотин и другие дворяне и дьяки, числом 42[812].

Прибытие московских послов было истинным праздником для национального польского самолюбия. Поляки радовались и думали, что завоевание Московии совершено без боя. Бояре прибыли в лагерь под Смоленск 27 января. Им дали отдохнуть и 31-го позвали на аудиенцию к королю. Король сидел в шатре, окруженный сенаторами. По дипломатическим обычаям, послы произносили перед королем речь таким образом, что один начинал и останавливался, продолжал другой с того места, где остановился первый, а другого сменял таким же образом третий. Сна-

---

[811] Сноски: 811

Хруслинского, Стоборовского, Яйковского, Войтковского, Дворжицкого, Павловского и Пепловского, от Сапеги — Стравинского (Рукоп. Генер. штаба). — Ср. русск. перев. в Ист. библ., I, 529–531.

[812] Сноски: 812

Между ними значатся: Лев Плещеев, Никита Вельяминов, Тимофей Грязной, Федор Андронов, Иван Чичерин, Степан Соловецкий, Евдоким Витовтов и др. (Собр. гос. грам., II, 451). — Карамзин, XII, 225.

чала приблизился к королю Михайло Глебович Салтыков, поцеловал руку и сказал приветствие: он поздравлял короля с прибытием в Московскую землю, благодарил за письмо, присланное королем, заявлял, что московский народ расположен к королю и желает отдаться ему в покровительство и поверить ему судьбу свою. Салтыков сказал, что нужно теперь войти в совещание об этом важном деле. Михайло Глебович остановился, его сменил сын его Иван. Он объявил от лица Филарета, которого назвал патриархом, от всего духовенства и от всего народа благодарность за то, что король пожаловал в Московскую землю как государь христианский и милосердый, соболезнуя о всеобщем смятении всех людей Московского государства, о повсеместном разорении и опустошении его областей, для того, наконец, чтобы своим влиянием при Божией милости водворить в разоренной стране мир и тишину. Иван Салтыков перечислил русских государей, начиная от Рюрика, которого производил от Августа Кесаря, дошел до Федора Ивановича, сказал об убийстве Димитрия и о том, что после того московскими государями явились незаконные государи, похитители престола. Ивана Салтыкова сменил князь Василий Мосальский и в пышных выражениях

сравнил Московскую землю с бурным морем, а потом и о короле сказал, что он с войском пришел по Божию указанию для того, чтоб спасти корабль государства, разбиваемый разъяренными волнами. За князем Мосальским держал речь дьяк Иван Грамотин: ему приходилось сказать самую суть дела. Он говорил: «Так как сам Бог поручил королю прекратить кровопролитие, междоусобие в Московской земле, то патриарх Филарет, духовенство, бояре, окольничьи, дворяне, думные дьяки, стольники, стряпчие и всякого звания московские люди бьют челом королю и объявляют, что они желают возвести на престол Московского государства королевича Владислава, с тем чтоб король сохранил неприкосновенно святую веру греческого закона, которую столько веков свято исповедовали московские люди». Тогда Михайло Салтыков стал говорить снова и также изъявил желание иметь в Московском государстве царем королевича Владислава, если только то согласно с королевскою волею. Речь Салтыкова на этот раз была коротка, — его заменил снова дьяк Грамотин и рисовал выгоды, какие могут последовать от соединения двух государств, Польши и России. «Мы просим, — сказал Салтыков, — чтобы немедленно были назначены паны сенаторы для

совещания с нами об этом важном деле, ибо мы имеем на то поручение от наших братий, как находящихся в Тушине, так и тех, что находятся в Москве».

По повелению короля им дал ответ по должности канцлера Лев Сапега: «Его величество король очень рад прибытию таких почтенных послов от чинов Московского государства и принимает под свое покровительство св. греческую веру и храмы сообразно благочестию христианского государя и вашему расположению к его величеству. По важности дела, с которым вы прибыли, король через несколько дней назначит панов сенаторов, которые будут с вами совещаться об этом».

После этого ответа послов провели в назначенные им ставки с большими почестями[813].

Через полчаса после отпуска московских послов допущены были в присутствие польского короля послы от поляков тушинского войска. Хруслинский на челе их проговорил речь, исполненную покорности и готовности служить королю. Но вслед за тем подано было на бумаге двенадцать пунктов такого содержания.

Они домогались, чтоб король, овладевши Моск-

---

[813] Сноски: 813
Коберж., 165. — Ист. См. вр., III, Прилож.

вою, исполнил все обещания, каких им надавал Димитрий, и чтобы придал к этому еще пошлины и общественные доходы. Но так как всякое счастье непостоянно, то пусть король обещает, в случае неудач, жалованье за две четверти, которое должно быть обеспечено королевскими старостами и имуществами. Сверх того они просили еще за одну четверть на покупку вооружения, лошадей и лагерного хозяйства. Независимо от этого, они просили, чтоб король засчитал им в службу время от праздника Рождества Христова 1609 года наравне с прочими своими войсками, на том основании, что они покинули Димитрия. Вдобавок они просили, чтобы король обеспечил Марину и отдал ей в надел те города и волости, которые царь Димитрий ей обещал пред бракосочетанием, а для самого Димитрия выговаривали одно из больших удельных княжений русских. Эти требования не показались приятными ни для короля, ни для сенаторов.

Переговоры с московскими людьми происходили в половине февраля. Место для совещаний назначено у коронного подканцлера Криского. Салтыков говорил длинную речь, где между прочим сказал: «У нас давно было желание, чтобы после прекращения дома наших старых госуда-

рей из рода Рюрикова принял скипетр Российской державы род польского короля Жигимонта». Он свидетельствовал о таком общем желании как член Боярской думы, которому известны были политические побуждения. «Нам, — продолжал он, — мешала злоба Годунова, убийцы последнего наследника; потом появился ложный Димитрий, низложил похитителя Бориса, захватил неправедно царство и достойно был наказан. Тогда в умах московских людей было желание, чтобы царствовал у нас Владислав; но Василий Шуйский похитил престол, достигши его убийством поляков. Не терпела Московская земля злодея, были смелые и бесстрашные люди, которые явно говорили, что он недостоин этого сана; распространилась в Москве книжечка, где показано предсказание царя Федора Ивановича, что одному роду короля польского придется успокоить царство Московское, избавить его от бед и привести в прежнюю славу. Тимофей явно обличал Шуйского за убийство поляков и доказывал очевидно, что через это он подал повод ко всем бедствиям и смутам. Тимофей жизнью заплатил за вольные речи; но бояре все-таки памятовали свой прежний совет, не хотели служить Шуйскому и пристали лучше к вору, хоть не считали

его дело справедливым, хоть и знали, что он права не имеет; из ненависти к Шуйскому к нему пристали, ожидая только случая и перемены к лучшему; а как услышали о прибытии короля, то стали сноситься с теми своими братьями, что были в столице, и положили на том, что и другие вместе отрекутся от Шуйского, как и от вора, и согласно всею душою и всеми силами обратятся к королю и станут просить, чтоб его род воцарился в Московском государстве. Когда же послы вашего короля прибыли в тушинский лагерь, то патриарх и все чины тем охотнее изъявили свои задушевные желания, чем долее должны были их таить. Теперь мы просим короля, чтобы позволил нам выбрать государя из его дома, потому что нельзя самому королю управлять Московским государством чрез наместников; пусть король соизволит нам дать королевича Владислава, а сам как может скорее изволит идти к столице нашей; тогда мы свергнем и казним ненавистного Шуйского, тогда и Смоленск, под которым тратите столько сил, и все города по примеру Москвы покорятся».

Сенаторы, назначенные для совещания, отвечали московским послам любезностями. У короля с сенаторами происходил после того совет, и тут

сенаторы стали говорить с недоверчивостью. «Ничего не может быть славнее, как призвать к этому великому назначению царственного отрока Владислава, надежду христианства; но только не надобно забывать, с каким народом имеем дело: у этого народа такие же суровые нравы, как сурово небо их земли; он негостеприимен, ненавидит иноземцев, вероломен, коварен; с ним надобно водиться с большою осторожностью. Надобно изведать, что у них на уме. Может быть, они только хотят избавиться от Шуйского и поневоле к вам обращаются. Царством этим легко овладеть, да удержать его будет много труда, Но все же не следует пренебрегать случаем, так как небо дает вам в руки это государство; надобно ласкать их, когда они теперь расположены лучше отдаться чужим государям, нежели своим, и когда нет в виду у них претендента, которому бы они приносили законное повиновение». Вообще, однако, сенаторы порешили на том, что такого важного дела окончательно решить нельзя без согласия всех чинов Польского королевства и не узнавши действительного расположения москвитян, а потому и невозможно постановить что-нибудь прочное. После этих разговоров дали ответ московским послам в таком смысле:

«Его величество король, будучи сильно оскорблен Шуйским, вошел в землю Московскую не ради мщения, а чтоб успокоить ее и прекратить кровопролитие. Но так как все чины Московского государства желают избрать государем королевича Владислава, то, если такова воля Божия, король не отказывает дать вам своего сына на престол московский, но тогда, когда весь народ московский пожелает этого, все успокоится и разойдутся тучи, висящие над Московским государством, — только тогда король согласится исполнить желание всего московского народа. Его величество ожидает, чтоб все поляки, которые держатся еще обманщика, соединились с королевскими войсками, тогда (если Бог дозволит) первым старанием короля будет идти к Москве и даровать ей спокойствие»[814].

После того между московскими послами и польскими сенаторами происходило несколько совещаний, которые на первых порах привели к недоразумениям. Московские послы предложили 18 пунктов предварительных условий, на которых они отдают Московское государство в волю короля. Важнейшим пунктом столкновения

---

[814] Сноски: 814
Коберж., 177.

было требование русских, чтоб будущий их царь Владислав отрекся от римской веры, принял православную веру греческого закона и венчался от московского патриарха и чтобы не дозволялось впускать католиков и лютеран в русские церкви. Поляки согласились на венчание от патриарха, но спорили сильно за прочее. Две недели прошло в этих спорах. Наконец сенаторы от имени короля дали такой ответ:

«Король не противится, чтоб не пускать иноверцев в русские церкви, но желает, чтоб для поляков и литвинов, когда они будут жить в Москве, построен был по крайней мере хотя один костел, и русский, если захочет войти туда, обязан вести себя прилично. Что же касается до обращения сына в греческую веру, то король ни сына своего, ни кого другого не станет насильно удерживать в римской вере или обращать в нее: к вере следует склонять убеждениями, а не насилием».

Тогда составлен был договор из восемнадцати пунктов, которые послужили на будущее время основанием при избрании Владислава всею землею Московскою. Однако тогда были поставлены некоторые правила, не вошедшие в последующий договор, а именно: чтобы учители римской и лютерской веры «не учинили разорвания в

церкви». Таким образом, видно, что московских людей смущал уже пример церковной унии в польских владениях; они хотели избавить себя от иезуитских козней. Дозволялось входить в русскую церковь католикам, но не в шапках, не сидеть в церкви во время богослужения, не водить с собою собак и вообще вести себя без высокомерия, со смирением; следовало сохранить денежные оброки, поместья и вотчины служилым людям, дозволять из Московского государства ездить учиться в христианские края, исключая бусурманских, также русским купцам ездить для торговли, как и польским позволять торговать в России. В этом видно, что Салтыков, без сомнения, главный заправщик этого договора, был один из советников первого Димитрия и так же, как он, хотел введения западной цивилизации в Россию. Бояре обеспечивали за собою власть над холопами. Постановлено было правило, впоследствии выброшенное, что государь не будет давать вольности холопам боярским[815].

Окончательное признание Владислава отложено до будущего времени, и послы, обнадеженные и обласканные, пировали у Сигизмунда, пиро-

[815] Сноски: 815
Сб. Мух., 178.

вали с панами и были пленены любезностью, с какой обращались с ними поляки. Как бы в подтверждение слов их, что москвитяне желают Владислава, явились воеводы из Ржевы-Володимеровой и Зубцова, били челом и отдавали управляемую ими землю Сигизмунду. Но Смоленск не думал им последовать. Салтыков напрасно заохочивал Шеина к сдаче и представлял, что через это успокоится вся земля Московская, что ей всего лучше быть в союзе с Польшею. Шеин, с совета архиепископа Сергия, не хотел слушать предложений и толковать об них[816].

Послы собирались возвращаться, как депутаты от войска, которые не получили удовлетворения от короля, обратились к ним с притязаниями, ссылались на то, что москвитяне в Тушине обещались делиться нераздельно с поляками, и теперь настаивали, чтоб они взяли на себя посредство и не отделяли своего дела от их дела. Король приказал призвать посланцев от своего войска и в присутствии своем дать ответ решительный. Канцлер вручил им этот ответ на письме, где объяснено было, что король не берет на себя того, чего он взять не может по правам польским без

[816] Сноски: 816
Коберж., 190.

согласия чинов Речи Посполитой, то есть налагать налогов и распоряжаться королевскими имениями; но король обещал им вознаграждение после того, как овладеет Московским государством, и определял Северскую и Рязанскую земли на сбор из тамошних доходов жалованья войску; сверх того он обещал им на поправку особую *донативу*, т. е. в подарок известную сумму. Что касается до Марины, то ей, как жене бывшего на престоле Димитрия, король изъявлял готовность сохранить, сообразно справедливости, часть Московского государства, уступленную боярами, и обещал говорить об этом при договоре с московским народом, хотя замечено было, что поступки Марины не приносят пользы ни королю, ни Речи Посполитой; о тогдашнем Димитрии сказано было, что этот человек, постыдно убежавши от рыцарства, без всякой причины бросался на людей его королевского величества, и королю известно, что он на них самих зломыслит; но если он не будет вперед мешать делу короля и Речи Посполитой и не станет отвлекать московского народа от короля, то и ему окажется внимание. Канцлер объявил послам, что они могут ехать к войску, а вслед за ними поедет воевода брацлавский Ян Потоцкий, уполномоченный подробнее

уладить с ними их дело.

Московские послы уехали 20 февраля, польские — 1 марта.

Между тем в обозе под Тушином происходило ужасное волнение. Посланный к Димитрию от рыцарства Януш Тышкевич приехал назад в Тушино и привез письмо от царика. Вор жаловался на коварство польского короля, называл его виновником своих неудач, обвинял в измене своих московских людей и в предательстве служивших ему польских панов, особенно Рожинского и Коморовского, убеждал рыцарство ехать к нему на службу в Калугу и привезти к нему его супругу; предлагал тотчас же им по 30 злот. на каждого конного, подтверждал прежние свои обещания, которые должны исполниться по завоевании Москвы; припоминал, что он прежде ничего не делал без совета со старшими в рыцарстве, и вперед будет советоваться с рыцарством во всем; только в делах, касающихся его собственной особы и его государства, он предоставляет себе право советоваться со своими Московского государства боярами. Царик требовал, чтобы рыцарство казнило Рожинского и других, кто окажется виновным против царя, а если их нельзя казнить, то по крайней мере не держать их в войске; пусть

они будут изгнаны из Московского государства навсегда, а вперед рыцарство пусть избирает себе гетмана не иначе как с царского соизволения. Виновных в измене бояр и дворян, людей Московского государства, царик требовал привезти к нему в Калугу на казнь. Со своей стороны царик обязывался освободить всех поляков, которых задержали в разных городах по его грамотам[817]. Это письмо произвело волнение. Сторонники вора и недоброжелатели короля воспользовались им. Марина бегала по ставкам, умоляла, заклинала рыцарство, обращалась к знаемым, являлась с распущенными волосами, со слезами на глазах; в ее голосе и речах было столько увлекательного, в ней была сильная воля, неустрашимость; она, говорит современник[818], не останавливалась ни пред какими средствами, хотя бы противными женской стыдливости, лишь бы расположить к себе сердца… в ее устах обещания выгод принимали особенную силу… ее агенты рассеивали по обозу вести от Димитрия. Речи их были таковы: «Неужели все унижения, все труды должны пропадать в угоду королю? Московское государство

[817] Сноски: 817
Рук. Имп. публ. библ. Hist. Pol., ГУ, № 33.

[818] Сноски: 818
Коберж., 202.

было почти в наших руках, а мы его упускаем. Будем держаться Димитрия, получим больше от него; завладеем Москвою, тогда-то заплатятся нам все наши лишения и труды». От имени Димитрия нечего было жалеть обещаний. Поджигали воинов против Стадницкого, Вайера: «Это они обошли нас!»

Предводители, которые были родом познатнее, не соблазнялись этим. Но Димитрий был необходим для тех поляков, которые вышли из отечества, где потеряли собственность или не имели ее, и хотели приобрести в завоеванной Московской земле, — равно и для тех, которые не думали вовсе о собственности, а хотели пожить весело и своевольно. И те и другие больше надеялись от Димитрия, чем от короля. Притом же, вступивши в королевское войско, нужно было подчиняться дисциплине, а в войске Тушинского вора ее не было; тут у самого того, кого называли царем, не просили милостей, а требовали дерзко, даже с ругательствами. Такое обращение делало для них привлекательным тушинский табор. Жаль было веселого, своевольного житья в нем. Более всего несогласны были служить королю донские казаки. Поляков могли привязывать к королю хотя отношения подданных, но донским

казакам Сигизмунд был совершенно чужой, как и Шуйский, как отчасти и сама Москва была им также чужою: им нужен был свой государь, царь своеволия. Их атаман Заруцкий, разделивший впоследствии свою участь с Мариною, тогда еще, должно быть, не сошелся с нею; он пристал было к стороне короля и хотел своих подчиненных вести под Смоленск. Но донские казаки выходили из табора и шли к Димитрию в Калугу. Заруцкий объявил об этом Рожинскому. Поляки говорили: «Может быть, они даже не к Димитрию пойдут, а в Москву к Шуйскому. Не следует выпускать их». Только что донцы вышли из табора, как Рожинский последовал за ними и начал стрелять по ним из пушек. Таким образом положили их, как говорят, тысячи две, другие успели уйти вперед и пошли к Калуге. Не посчастливилось одному отряду, который успел уйти от Рожинского: его разбил Млоцкий на дороге. Остальные достигли Калуги. В числе пришедших с казаками были князь Димитрий Тимофеевич Трубецкой и Засекин. Были и такие из донцов, что воротились и послушались Заруцкого[819]. Таких было вообще немного. Большинство донцов ни за что

[819] Сноски: 819
Мархоцк., 64.

не расположено было служить польскому королю; напротив, две тысячи их явились тотчас под Можайском воевать против поляков. Зато к Сигизмунду явились с предложением военных услуг семь тысяч запорожских казаков, и прибытию их были очень рады король и его паны, стоявшие под Смоленском[820].

Однако по уходе донских казаков польский обоз не успокоился. Те, которые были расположены к Димитрию, не могли поспеть на помощь казакам, за которыми погнался Рожинский. Марина приведена была вне себя поступком Рожинского; сделавшись открытым врагом донских казаков, он заявил себя и ее врагом. Марина решилась бежать и от 10 февраля 1610 года оставила у себя в помещении письмо такого содержания:

«Без родителей и кровных, без друзей и покровителей, в одиночестве с моим горем, мне остается спасать себя от последнего искушения, что готовят мне те, которые должны бы оказывать мне защиту и попечение. Горько моему сердцу! Меня держат как пленницу; негодные ругаются над моею честью, в своих пьяных беседах приравнивают меня к распутницам и строят

---

[820] Сноски: 820
Истор. библ., I, 543. Дневник похода короля Сигизмунда.

против меня измены и заговоры. За меня торгуются, замышляют отдать меня в руки того, кто не имеет никакого права ни на меня, ни на мое государство. Гонимая отовсюду, я свидетельствуюсь Богом, что вечно буду стоять за свою честь и достоинство. Раз бывши государыней стольких народов, царицею московскою, я не могу возвратиться в звание польской шляхтянки и никогда не захочу. Поручаю честь свою и охранение храброму рыцарству польскому; надеюсь, что это благородное рыцарство будет помнить свою присягу и те дары, которых от меня ожидает»[821].

Ночью со вторника на среду убежала Марина из лагеря, переодетая в мужское платье. Ее провожали девочка служанка и несколько казаков. Путь ее лежал в Калугу к мужу; но она сбилась с дороги и попала в Дмитров, где был отряд Сапеги[822]. По другим[823] известиям, она наперед условилась с Сапегою и убежала прямо под его защиту.

Когда не оставалось более в лагере ни цари-

---

[821] Сноски: 821

Коберж., 205. — Немцев., II, 282.

[822] Сноски: 822

Ист. См. Вр., III. пр. VII. — Ист. библ., I, 548. Дневник похода короля Сигизмунда.

[823] Сноски: 823

March., 62.

ка, ни жены его, нужно было или приставать к Сигизмунду, или убегать из-под Москвы. Негодование против Рожинского возрастало более и более с каждым днем. Буйные толпы жолнеров сходились и кричали: «Негодяй Рожинский! Ты своим высокомерием прогнал Димитрия, и бедная супруга его от тебя убегать должна была! Где наши выгоды? Под чье предводительство дойдем теперь? Где верность твоя, Рожинский? Зачем через тебя мы теряем наше жалованье и награды? Нет, ты нам более не гетман, Рожинский! Ты беглец, негодный изменник! Отдай нам царя нашего, и если ты задумал выдать его неприятельскому мечу, то знай, что сам прежде ляжешь под мечом!»[824]

Рожинский убеждал их иметь терпение, по крайней мере до тех пор, пока возвратятся отправленные к королю послы, а между тем писал к королю: «Войско волнуется; если на положенный срок оно не получит удовлетворения, то трудно будет удержать его от дальнейших беспорядков».

Московские люди, оставшиеся в лагере вместе с Филаретом, которого все-таки продолжали величать патриархом, также роптали, что не имеют

---

[824] Сноски: 824
Коберж., 207.

никаких сведений о расположении короля, и жаловались, что запорожские казаки, подданные Сигизмунда, бесчинствуют в Зубцовском уезде, несмотря на то что этот уезд весь передался Сигизмунду[825].

Наконец прибыли послы в лагерь и прочитали ответ короля, из которого увидали, что там — одни обещания. Многие тогда же оказали недоверие и волновались сильнее. Требовали немедленно денег. Рожинский скорее отправил к королю Коморовского и Оболковского. «Войско, — доносил он, — готово идти к Димитрию снова, уже и посланцев к нему назначает; если жалованье ему не будет как можно скорее заплачено, то оно уйдет. Если воевода брацлавский приедет без денег — его выгонят; а когда он окажет сопротивление, то и оружие на него поднимут». Млоцкий доносил, что Димитрий из Калуги обещает им жалованье, говорил, что у него есть 80 000 злотых; войско пойдет за ним, и тогда королю станет большая помеха. Присылка ста тысяч злотых действительно могла бы водворить порядок. Денег не дождались. Сам воевода брацлавский интриговал и медлил с умыслом; ему не хотелось оставлять Смоленска.

---

[825] Сноски: 825

Ист. См. вр., III, прилож. VII, письмо Рожинского.

Волнение дошло до высшей степени 10 марта (20 нов. ст.). Составилось коло. Собрались на него с тем, чтобы порешить, что делать. Место собрания выбрано было недалеко от ставки Рожинского. Те, которые сошлись действительно с целью совещания, пришли пешком с одними саблями. Но были такие, которые замыслили дурное: те явились на лошадях, с ружьями, в доспехах. Их было человек сто. Они стали поодаль. В коле стали разбирать такой вопрос: что делать им — идти ли за Димитрием или слушаться короля?

— Нужно снова поднять Димитрия, — говорили одни. — Если мы будем держаться Димитрия, то принесем против своей воли королю пользу, а нас за то благодарить не станут; Москва ненавидит Димитрия и тем более будет расположена отдаться королю.

— Будем вести переговоры с Шуйским! — откликнулись иные.

— Шуйский не такой себе простачок, чтобы стал у вас мир покупать, когда с королем ведет войну без нас! — отвечали им.

— Отойдем за Волгу, — говорили некоторые, — мы откроем бок королевский: пусть его стеснит неприятель!

На это возразили:

— И этим способом мы будем против воли приносить пользу королю, и король нам за то не будет обязан; Москва, увидя нас в земле своей, должна будет разделить свои силы.

— Пойдем, когда так, в Польшу! — крикнули иные.

— Нечего нам требовать от Польши! — возразили им. — Хоть бы мы и разъехались, король не оставит войны; мы же не обойдемся без службы: так много потерявши заслуженного, должны будем служить за новое жалованье.

Тут те, что сидели на лошадях, дали сигнал к смятению. Коноводом у них был тогда Тышкевич, лютый недруг Рожинского. Пристали к ним сторонники Димитрия. Обнажили оружие, разогнали коло, кричали, чтоб шли в другое коло, кто не хочет изменять Димитрию. Добрались до Рожинского и стали стрелять в него из ружей. Его сторонники успели увести его в шатер и дали несколько обратных выстрелов.

Прогнавши Рожинского, недовольные кричали: «Честные люди, за нами! За нами!»

К ним пристала толпа: собрались за табором. Тут сперва большинство решило за поход в Калугу к Димитрию; противники упорствовали. Тогда благоразумная партия возвысила такой голос:

«Если мы станем отсюда расходиться, то неприятель услышит о нашем намерении и нападет на нас, и одолеет нас. Лучше мы будем здесь пока в согласии, подождем, пока услышим от короля какие-нибудь условия. По крайней мере, если уходить, то станем за несколько миль от обоза, и оттуда пускай себе идет, кто куда хочет!»

На том порешили, и все дали друг другу в коле шляхетное слово не убегать из обоза[826].

Когда в тушинском обозе все разлагалось, Сапега в Дмитрове с Мариною выдержал напор Скопинова войска. Из-под Троицы Скопин отправил отряд под начальством князя Ив. Сем. Куракина; с ним были иноземцы, посланные Делагарди. Было их тысяч до четырех. Сапега сначала дал бой за городом. Оказалось, что Сапеге нельзя было противостать такому неприятелю. Поляки на конях и в тяжелых вооружениях не могли ловко поворачиваться, тогда как русские и шведы (уроженцы северных стран) быстро бегали по снегам и льдам на деревянных лыжах, загнутых внутрь, легких, длиною в пять, а шириною в один фут. Русские и шведы сразу побили многих сапежинцев. Сапега должен был

[826] Сноски: 826

Мархоцк., 67. — Большая часть подробностей о последних событиях в тушинском таборе взята из рукописей Библ. Красинских. В. 1, 6; В. 3.

запереться в городе. Всего войска с ним было тысяча пятьсот человек. Значительная часть его отряда разбрелась за Волгу. У него недоставало съестных и боевых запасов. Он отправил гонца к Рожинскому просить скорее подмоги. Но то было время сильной разладицы в обозе, и Рожинский, втайне недоброжелатель Сапеги, не слишком усердно принялся помогать своему сопернику. Мархоцкий рассказывает, что насилу упросили его послать двое саней с боевыми запасами; насилу нашлось двадцать человек, которые согласились везти их. В зимнюю ночь, пользуясь темнотою, они пробились в Дмитров, обманувши русских, которым показалось, что идет большая сила. Потом московские люди начали сильный приступ к Дмитрову, так что осажденные стали терять дух; тогда Марина взошла на стены в виду неприятеля и кричала воинам: «Смотрите и стыдитесь! Я женщина, а не теряю мужества!» Но московское войско не могло долго теснить Сапегу: у него самого не было под Дмитровом запасов. Сперва стали уходить под Троицу шведы, а потом и русские. Оставили под Дмитровом одних лыжников.

Марина решилась ехать в Калугу к своему Димитрию. Сначала Сапега ее удерживал советами.

«Не безопаснее ли вам, — говорил он, — воротиться в Польшу, к отцу и матери, а то вы попадете в руки Скопина и Делагарди». — «Я царица всея Руси, — отвечала Марина. — Лучше исчезну здесь, чем со срамом ворочусь к моим ближним в Польшу». Тогда Сапега хотел ее удержать против ее воли. Она сказала: «Никогда этого не будет, чтобы ты мною торговал. Если ты меня не пустишь, то я тебе дам битву. У меня есть триста пятьдесят казаков». Тогда Сапега не стал ее останавливать. Она надела польский мужской бархатный кафтан красного цвета, сапоги со шпорами, вооружилась саблею и пистолетом и отправилась в дорогу. До Калуги ехала она то верхом, то в санях[827].

Отряд охочих казаков провожал ее. Ее брат, староста саноцкий, не захотел долее разделять странническую судьбу сестры и уехал к королю[828]. Сапега, избегая нового нападения от Скопина, отошел к Волоку. Он рассчитывал, что на помощь полякам против Скопина должно прийти королевское войско, которое, как слышно было, Сигизмунд посылает под начальством Яна Потоцкого.

---

[827] Сноски: 827
Buss., 100. — March., 73.

[828] Сноски: 828
Videk., 192. — March., 71.

В это время в Тушине волнение не утихало, но дошло до крайних пределов. Рожинский рассудил, что при такой неурядице, если нападет на табор Скопин да еще к тому ударят из Москвы, то будет плохо. Рожинский объявил: кому куда угодно, туда пусть всякий и идет. 15 марта (25 н. с.) он зажег табор со всеми в нем строениями и ушел к Волоку. Часть казаков пошла в Калугу к Димитрию, другая, тысяч до трех, пошла за Рожинским. Стали под Иосифовым монастырем. Там войско опять взволновалось, и на Рожинского в шумной сходке подняли оружие. Его приверженцы стали защищать его и увели из толпы. В день этой суматохи он упал на каменную лестницу (монастыря) и повредил себе бок, где уже была старая рана от пули. Ушиб подействовал на нее зловредно при том раздражении, в каком Рожинский находился постоянно в последнее время. С ним сделалась горячка. Проболевши недолго, 4 апреля он умер. Его тело отвезли в королевский стан, а оттуда повезли на погребение в Киев.

После суматохи под монастырем Зборовский, Вилямовский, Ландскоронский, Мархоцкий, Русецкий, Вильковский, Млоцкий, Копыцинский, Бобовский со своими (у иных неполными) отрядами объявили, что служат одному королю.

Зборовский сам лично отправился к королю.

1 апреля прибыл под Смоленск Зборовский. С ним вместе приехал поклониться польскому королю касимовский царь. Их приняли отлично. Касимовский царь говорил Сигизмунду: «Я холоп твой; служить хочу твоему величеству, дай мне людей!» Сигизмунд, в знак уважения к его царскому титулу, посадил его на первом месте, между своими радными панами[829]. Зборовский от лица всего рыцарства, верного королю, стоявшего под Иосифовым монастырем, просил пособия для поправки недостатков и нужд в войске. Сто тысяч злотых просили заплатить войску за две четверти назад, кроме платы с настоящего времени, когда оно поступило на действительную службу короля, и сверх того требовали обещания заплатить ему то, что обещал называющий себя Димитрием. Просили, чтобы эти долги были обеспечены имениями королевскими. Подканцлер дал Зборовскому ответ, что король принимает его посольство милостиво, а о способах вознаграждения войску будет военное совещание, и о том, что постановится, сообщится войску. Зборовский уехал 12 апреля и стал в Липцах,

[829] Сноски: 829
Истор. библ. I. Дневник похода короля, 564.

недалеко от Иосифова монастыря. Того же числа послан был обещанный ответ войску. Король хвалил храбрость и доблести войска, указывал на возможность получения наград тогда, когда удастся приобрести Московское государство, но отказывал дать ассекурацию (обеспечение) долга королевскими имениями, потому что этого невозможно было сделать без воли сейма; обещал за то им сто тысяч на поправку[830], но денег в наличности прислано не было. Это не могло понравиться рыцарству, которое нуждалось не только в обещаниях, но и в наличных деньгах. Оттого многие ушли к вору под начальством Хруслинского и Янковского, а потом Каминского и Быховца[831] и стали в Прудках. Другие остались со Зборовским и его товарищами, потому что не рассчитывали, чтобы дело вора могло при тогдашних обстоятельствах быть выиграно. Через месяц рыцарство, оставшееся на стороне короля, опять отправило к нему посольство и опять вместо денег получило ответ, что король готов заплатить ему обещанное, что, кроме того, на сейме будет сделано об этом распоряжение, а

[830] Сноски: 830
Bibl. Kras., B. 3. — Рукоп. Имп. публ. библ. Pol. Hist. IV, 33.

[831] Сноски: 831
Рукоп. Имп. публ. библ. Pol. Hist. IV, 33.

если король овладеет Московским государством, то они прежде всех получат вознаграждение[832]. Съездил к королю Сапега и поклонился ему, а от него поехал служить вору. Говорят[833], что это сделал он с тайного согласия короля. Так как столица теперь освободилась от тушинского войска, то Шуйский мог сосредоточить все силы против одного королевского войска; напротив, царю будет труднее, когда, кроме короля, с другой стороны его станет беспокоить вор.

Рыцарство, служившее вору, избрало Сапегу гетманом. Быть может, и в самом деле Сапега, служа вору и желая сохранить хорошие отношения с королем, употребил перед последним такой благовидный предлог; но кажется, что на самом деле на уме у него было другое, и главное — ему хотелось быть первым и независимым, а этого не достиг бы он, служа королю. Войско, приставшее к королю, стояло под Иосифовым монастырем.

---

[832] Сноски: 832
Рукоп. Генер. штаба. Diar. oblężenia Smoleńska.

[833] Сноски: 833
Кобержицкий, 219.

VII. Прибытие в Москву Скопина. – Его смерть

Москва освободилась от тушинского войска, ее положение облегчилось. Хлеб, продававшийся недавно еще по 5 р. за четверть, упал в цене. Отовсюду повезли припасы к столице. Скопин с Делагарди отправились к Москве и 12 марта въехали в нее. Рядом с московским боярином Михайлом Васильевичем Скопиным-Шуйским ехал Делагарди. Толпа народа обоего пола ожидала их за воротами, бояре встретили их и поднесли хлеб-соль. Скопин слышал, как его величали освободителем земли, избавителем. Царь Василий со слезами благодарил, величал его, обнимал, целовал в присутствии бояр. После горьких лет тесноты и унижения Москва наконец отправляла невиданное празднество. Начались пиры. Царь Василий угощал шведов, дарил им лошадей, сосуды, ожерелья. Все москвичи наперерыв приглашали их к себе в дома и старались показать им расположение и признательность[834].

У Скопина был тогда план отдохнуть до просухи

---

[834] Сноски: 834
Videk, 133.

и потом, с весною, идти со всеми силами против Сигизмунда. На счастье Шуйского, Можайск, находившийся уже несколько месяцев в руках поляков, достался ему без боя. Тамошний воевода с польской стороны, Михайло Вильчек, сдал город и сам уехал в Москву, за что от царя Василия получил сто рублей[835].

Недолго пришлось Москве порадоваться. Народ величал Скопина, а с тем вместе возрастало в народе презрение к царю Василию и ближним его. Повсюду о том поговаривали, что было бы пристойнее избрать на царство всею землею боярина, который доказал уже перед целым светом свою способность и заслужил эту честь подвигами и трудами на пользу и избавление всей земле, чем оставлять на престоле Василия, который сел на этот престол неправильно и ничего не сделал для земли, кроме зла и бед. Еще когда Михайло Васильевич был в Слободе, Прокопий Ляпунов присылал к нему станицу от всей Рязанской земли, объявлял, что вся земля хочет, чтобы он был избран в цари, и признает, что никто, кроме него, не достоин сидеть на престоле. Михайло Васильевич не вошел об этом в рассуждение,

[835] Сноски: 835

Кобержицкий, 240. — Diar. oblęż. Sm., рукоп. Генер. штаба. — Ист. библ., I, 553–554.

удалил от себя искусительное посольство, но не казнил никого за него, не разбирал этого дела, да вдобавок и царя о нем не известил. Василий узнал обо всем не от него. Понятно стало Василию, что если Михайло Васильевич сам и не подыскивается под ним, а все-таки не прочь принять тот венец, который хотят отнять у Василия. Царю Василию Скопин невольно стоял костью в горле. Торжественные встречи, беспрерывные знаки народного расположения показывали Василию, что с каждым днем народ более и более хочет Михайла Васильевича Скопина-Шуйского выбрать царем, а это могло быть только с низвержением Василия. Василий решился объясниться с ним прямо и изъявил ему свои опасения. Князь Михайло Васильевич уверял его, что ему и в голову никогда не приходило ничего подобного. Василия этим нельзя было уверить: Василий помнил, что он сам когда-то в подобных случаях говорил Борису и Димитрию. Василий возненавидел Михайла Васильевича[836]. Он вспоминал, как гадатели пророчили ему, что после него сядет на престоле царь Михаил, и соображал, что это — Скопин, его

[836] Сноски: 836
Рукоп. Филар., 25. — Авраам. Палиц., 230.

соперник[837].

Но еще более злобился на Михайла брат царя, Димитрий Иванович Шуйский. Он не мог сдержать своей неприязни и среди всеобщих восторженных похвал, которыми осыпали князя Михайла Васильевича все московские люди, подал царю на Михайла Васильевича извет в том, что князь Михайло самовольно отдал шведскому королю Корелу с областью. Василий Иванович лучше умел себя сдерживать, чем его брат, и не только оправдал Скопина, но даже замахнулся палкою на брата, а к Скопину отнесся с уважением, хвалил его и благодарил за все его распоряжения. Делагарди, однако, советовал Михайлу Васильевичу поскорее выбираться из Москвы в поле и замечал, что ему грозит дурное. Везде говорили, что царь готовит Михайлу Васильевичу тайное зло, все на него смотрели как на соперника царского. Переметчики из Москвы и пленные сообщали даже полякам, что Скопин, будучи во вражде с царем, втайне доброжелательствует польскому королю, и если королевское войско поспешит к столице, оно найдет в нем союзника.

---

[837] Сноски: 837
Milton, 63.

23 апреля князя Михайла Васильевича позвали крестить к князю Ивану Воротынскому. Кумою была Екатерина, жена Димитрия Шуйского, дочь известного своими злодеяниями в царствование Грозного Малюты Скуратова. На этом пире ему сделалось дурно. Его отвезли домой. У него открылось кровотечение из носа. Делагарди прислал к нему медика: ничто не помогло. Михайло Васильевич скончался через несколько дней на руках своей матери и жены. Всеобщая молва тотчас же сказалась, что его отравила кума Екатерина Шуйская в чаше на перепиванье. Народ уже прежде боялся, чтобы тайное недоброжелательство Шуйских не сделало чего-нибудь дурного его избавителю, и теперь взволновался до того, что чуть не разорил всего двора Димитрия Шуйского. Насилу царь Василий охранил его военною силою от ярости толпы. Иностранцы-современники уверяют, что Скопин был отравлен по приказанию царя Василия[838]. В народе сохранилось полное убеждение, что он был отравлен, и так перешло

[838] Сноски: 838

Procul dubio jussu Suischii, cui ob excellentem virtutem invisus erat, clam veneno sublatus interiit (Videk., 139). В хронике Буссова говорится: Suiski demselben ein Gift beybringen und ihn damit ertodten Hess. Из русских источников Псковская летопись приписывает смерть Скопина положительно царю Василию.

это событие в народную поэзию[839].

Таково же было мнение Делагарди и вообще всех шведов. Когда тело Михайла Васильевича лежало приготовленное к погребению, приехал Делагарди; москвичи не хотели было дозволить ему прикоснуться к мертвецу, потому что Делагарди был не православный, но шведский военачальник сказал, что он имеет на это право, как его друг и товарищ. Делагарди взглянул на мертвого, прослезился и сказал: «Московские люди! Не только на вашей Руси, но и в королевских землях государя моего не видать мне такого человека!»[840]

Толпа народа провожала его останки. Гроб его несли его сослуживцы и пели надгробные песни; их окружала толпа женщин; тут были вдовы,

---

[839] Сноски: 839

По народной песне, Скопина позвали крестить у Воротынского:

«У того ли было князя Воротынского
Крестили младого княжевича,
А Скопин князь Михайло кумом был,
А кума была дочь Малютина,
Того Малюты Скуратова».

По общепринятому эпическому приему, так часто повторяемому в былинах киевского времени Владимирова цикла, на крестильном пире князья, бояре и званые гости, подпивши, начинают хвастать кто своей силой, кто богатством, а Скопин, который

«А и не пил он зелена вина,
Только одно пиво пил и сладкий мед,

Не с большого хмелю он похвастается:
“А вы глупый народ, неразумные,
А вы все похваляетесь безделицей!
Я Скопин Михайло Васильевич.
Могу, князь, похвалитися,
Что очистил царство Московское
И велико государство Российское;
Еще ли мне славу поют до веку
От старого до малого”».

Здесь народ влагает в уста князя то воззрение, какое сам составил о нем. Бояре прониклись к нему злою завистью и подстрекнули куму его поднести Скопину отравленное питье.

«А и тут боярам за беду стало…
Поддернули зелья лютого,
Подсыпали в стакан в меды сладкие,
Подавали куме его крестовые,
Малютиной дочери Скуратовой».
По другому варианту, самой куме
«То слово крестовой не показалося.
В та поры она дело сделала:
Наливала чару зелена вина,
Подсыпала в чару зелья лютого,
Подносила чару куму крестовому.
А князь от вина отказывался;
Он сам не пил, а куму почтил.

Думал князь – она выпила,
А она в рукав вылила.
Брала же она стакан меду сладкого,
Подсыпала в стакан зелья лютого,
Подносила куму крестовому.
От меду князь не отказывается,
Выпивает стакан меду сладкого.
Как его тут резвы ноженьки подломилися,
Его белые рученьки опустилися.
Уж как брали его тут слуги верные,
Подхватили под белы руки,
Увозили князя к себе домой».

С ужасом и скорбию встречает мать неожиданно привезенного сына:

«Дитя ты мое, чадо милое!
Сколько ты по пирам не езжал,
А таков еще пьян не бывал».

Сын отвечает:

«Ой ты гой еси, матушка моя родимая!
Сколько я по пирам не езжал,
А таков еще пьян не бывал,
Съела меня кума крестовая,
Дочь Малюты Скуратова!»

Он к вечеру, Скопин, и преставился.
(Запис. мною в Саратове, напеч. Лет. р. лит. Тихонр. Киреев. В. VII, 14–16, 110–111).

[840] Сноски: 840

Повесть о Мих. Скоп. — Шуйском в рук. Рум. музея.

сестры и дочери убитых в бою служилых, они поддерживали мать и жену усопшего, которые от тоски лишались памяти и чувства. Разливался слезами и вопил царь Василий, но ему не верили; все понимали, что он плачет над трупом того, который, может быть, через несколько дней заступил бы его место.

Михайлу Васильевичу не удалось быть на московском престоле, зато гроб его поставили между гробами царей и великих князей Московского государства в Архангельском соборе.

VIII. Волнение в Московском государстве. – Успехи поляков. – Победа русских под Иосифовым монастырем

Разнеслась весть по Русской земле, что не стало единого лучшего воеводы, спасителя Русской земли. Прокопий Ляпунов, почитатель Скопина, давний ненавистник царя Василия, думавший постоянно, как бы свести его с престола и посадить достойного Михайла Васильевича, разослал по городам грамоты, обвинял Василия и его брата и приглашал восстать единодушно, низложить недостойного царя, неправильно захватившего престол и так ужасно награждающего тех, ко-

торые трудятся для Русской земли. Он послал в Зарайск своего племянника Федора Ляпунова к воеводе Димитрию Михайловичу Пожарскому приглашать его на соумышление. Пожарский отверг предложение и дал знать царю, чтобы он присылал к нему скорее людей. Летописец говорит[841], что Ляпунов начинал даже ссылаться с вором, находившимся в Калуге; но подлинно не известно, с какою целью и каким способом. Быть может, Ляпунов начинал сношения собственно не с вором, а с окружавшими его русскими, чтобы соединить их на совместное дело против Шуйского. Он перенял помощь, присланную Шуйским под Шацк воеводе Василию Мосальскому, который осаждал воровского воеводу Димитрия Мамстрюковича Черкасского. Это-то и бросило на Ляпунова подозрение, что он благоприятствовал самому вору. Но в самой Москве нашелся у Ляпунова сильный сотрудник, Василий Васильевич Голицын. Хитрый и лукавый боярин, прежде пособник первого претендента на звание Димитрия, потом соучастник убийства его вместе с Василием Шуйским, он был тайным врагом и соперником последнего. Ему самому представ-

[841] Сноски: 841
Никон., 134.

лялся престол; он пристал к Ляпунову мстителем Скопина, но для своих целей. Ненависть к Шуйскому расходилась быстро[842]. Рязанская земля, по призыву Ляпунова, стала в открытую вражду с царем и не хотела более посылать в его войско ратных людей.

Между тем на Москву находили вновь тучи. Ей не угрожал более вор со своим сбродным полчищем, но он не потерял еще вовсе значения и мог опять быть опасным. Страшнее его были поляки. Когда сам король стоял под Смоленском и ничего не мог сделать с этим городом, отряды его успешно воевали в других местах, и люди Московского государства поневоле готовы были изъявлять желание, чтобы на престол был избран польский королевич Владислав. Еще в марте запорожцы

---

[842] Сноски: 842

В любопытной народной песне, сложенной во время, близкое к событию, изображается плач и отчаяние московских гостей, то есть торговых людей:

«Ино что у нас в Москве учинилося,
С полуночи у нас в колокол звонили.
А росплачутся гости москвичи:
“А тепере наши головы загибли,
Что не стало у нас воеводы,
Васильевича князя Михаила!”»
Но князья и бояре представляются со злорадством:
«А съезжалися князи-бояре супротиво к ним,
Мстиславской князь, Воротынской,

И меж собою они слово говорили,

А говорили слово, усмехнулися:

“Высоко сокол поднялся

И о сыру-матеру землю ушибся!”»

Зато шведы представляются плачущими о Скопине:

«А расплачутся свецкие немцы,

Что не стало у нас воеводы

Васильевича князя Михаила!»

Но у этих иноземцев на уме недоброе, то, что впоследствии случилось:

«Побежали немцы в Нов-город

И в Нове-городе заперлися,

И многой мир-народ погубили,
И в латынскую землю превратили».

К*иреевск*. Вып. VII, 113–114.

под начальством атамана Искорки взяли и сожгли Стародуб. Московские люди защищались геройски в этом городе и бросались в пламя, не сдаваясь польскому королю. Воевода их Андрей Хованский, взятый в плен, был представлен Сигизмунду с несколькими другими чиновными пленниками. Потом другой отряд запорожцев, под начальством служившего некогда первому Димитрию Запорского, взял Почеп. Здесь московские люди защищались так же упорно, как и стародубцы, с утра до вечера, пока казаки не успели зажечь стену. Деться было некуда. Двое воевод первые стали просить милости и выслали священника с готовностью покориться на имя королевича Владислава. Бой в Почепе был так жесток, что убитых московских людей было до четырех тысяч человек, как говорят. В конце марта киевский подкоморий Горностай взял Чернигов. И город, и посад были разграблены. Сигизмунд казался недоволен жестокостью своего войска при взятии городов и издал универсал, чтобы вперед в подобных случаях поступали кротко. В апреле Новгород-Северский был взят без кровопролития. Запорожские начальники Богушевский и Ганченко условились с новгород-северскими дворянами, детьми боярскими и посадскими людьми на том,

что последние признают государем королевича Владислава и пошлют королю посольство. Вслед за тем тамошний воевода Карпов поехал под Смоленск[843]. 13 апреля Александр Гонсевский взял голодом Белую. Уже более полугода запорожские казаки осаждали этот город. Ратные люди, сидевшие там, покорились Гонсевскому на имя королевича Владислава[844].

Потом сдался Рославль, принужденный к этому внезапным налетом королевских пахолков. 17 мая рославльский воевода приехал под Смоленск и целовал крест от всех жителей своего города[845]. Между тем поляки, служившие Тушинскому вору, овладели Волоком и Иосифовым монастырем.

По смерти Скопина Василий назначил главным воеводою своего брата и постарался поладить с Делагарди и его шведским войском. Было со шведской стороны много поводов к неудовольствию. Корела, вопреки договору, не была сдана; жители

---

[843] Сноски: 843
Ист. библ., I, 570–571. Дневн. похода короля.

[844] Сноски: 844
Истор. библ., I, 569.

[845] Сноски: 845
Diar. oblęż. Smol. Рукоп. Генер. штаба. — Истор. библ., I, 587. Дневн. похода короля.

не поддавались шведам и упорно отбивались от шведской рати. Жалованье не было выплачено, да и надежды на сбор его с Московского государства были плохи; когда распространилась весть об убийстве Скопина, везде исчезали последние остатки уважения и повиновения Василию. Вдобавок шведы, уверенные, что Скопин умерщвлен по тайному приказанию Василия, неохотно шли на новый бой за него. Они уважали Михайла Васильевича, но презирали Шуйских, особенно Димитрия, и притом считали его совершенно неспособным. Сам Делагарди питал к нему омерзение. Только выгоды Швеции заставляли его преодолевать свое чувство. Сигизмунд брал верх. Нужно было так или иначе, а действовать против поляков, подавать помощь Московскому государству. Куда бы ни привели запутанные обстоятельства, во всяком случае нужно было наблюдать, чтобы Швеция не вышла из этого союза без всякой для себя пользы. Василий подтвердил Выборгский договор, обещал сдать Корелу к Иванову дню (24 июня) и приказал перелить в монету, для уплаты иноземцам, серебро и золото, бывшие у него в сосудах, шейных цепях и других украшениях. Тогда Василий не побоялся навлечь на себя нерасположение Троицкого монастыря,

так высоко стоявшего во всеобщем уважении, и послал дьяка Семенка в монастырь требовать вспомоществования. Архимандрит Иосиф тотчас дал знать в Москву келарю Авраамию, чтобы он упросил царя не трогать монастырского достояния. Авраамий представлял царю, что обитель выдержала тяжелую осаду, теперь находится в скудости и нужно поправить пострадавшие от приступов стены; кельи и службы стояли без кровлей; мельницы, дворы, села, волости — все разграблено. Но царь не послушал келаря и велел насильно брать из монастыря драгоценности. Тогда, — говорит троицкий историк[846], — и у монахов, и у сидельцев (т. е. находившихся в осаде и там оставивших свое достояние) побрали все, до последнего платка, которым они могли бы утирать свои горькие слезы. Взяли тогда и вклады прежних царей и великих князей и бояр — золотые и серебряные сосуды; оставляли монастырю что похуже. Этим поступком, на который Василий был вынужден крайнею бедою всей земли, он умножил число врагов себе, когда их у него и без того было чересчур много.

Делагарди, презирая Димитрия Шуйского, дол-

---

[846] Сноски: 846
Авр. Палиц., 227.

жен был, однако, решиться идти вместе с ним еще и оттого, что, будучи знатнейшею после царя особою, Димитрий, находясь в войске, служил ему как бы заложником[847]. Положили идти против Сигизмунда, с тем чтобы принудить его оставить осаду Смоленска. Прежде чем Делагарди вышел против королевского войска, с другой стороны от Швеции оказана была новая помощь московскому делу.

Эдуард Горн, посланный в Швецию для набора свежих сил, воротился в Московское государство и привел около четырех тысяч сбродного войска: тут были англичане и шотландцы под начальством капитанов Кальвина и Коброна, французы под начальством Пьера де ля Билля, голландцы и немцы под начальством полковника Таубе. Этот сброд, прошедши через Финляндию, зимовал в Выборге, много перенес от непривычки к суровому климату и с раннею весною прибыл в русские края. Немилыми были эти новые гости для народа; везде, где они проходили, народ покидал дома свои и прятался в леса от их своеволия. Они выгнали польские шайки из Старой Русы, из Осташкова, побились с поляками под Ржевою,

[847] Сноски: 847
Videk., 142.

прогнали их, много поляков тогда утонуло в Волге. За это поляки, в виду прибылых пособников московского дела, зажгли за Волгою посад и варварски резали и мучили русских — и старых, и малых, не щадили и грудных младенцев. Простоявши недели две во Ржеве, Пьер де ля Билль занял Погорелое Городище, где перебили всех находившихся там поляков и умертвили самого начальника отряда, взятого в плен[848]. Поляки и здесь в виду пришельцев свирепствовали над русскими жителями. 24 апреля сам Горн взял Зубцов. Тамошний польский отряд в пятьсот человек окопался валом в трех верстах от Зубцова, но триста человек из него пали в битве, остальные бежали и взяты были в плен[849]. Отсюда Эдуард Горн послал французов с их командиром де ля Биллем на помощь Григорию Валуеву, который перед тем удачно отнял у поляков Волок и теперь приступал к Иосифову монастырю. В монастыре сидело тысяч до двух поляков тушинского войска под начальством Руцкого и отряд украинских казаков, да еще в их распоряжении был отряд донцов; но поляки не доверяли честности и пре-

[848] Сноски: 848
Breret, 43.

[849] Сноски: 849
Videk., 146.

данности казаков и не дозволяли им находиться вместе с собою, а поместили в особом деревянном остроге, недалеко от монастыря. У де ля Билля, по известию шведского историка, было до пятисот[850], а по известию поляка[851] — до девятисот человек, у Валуева же до двух тысяч. Монастырь защищала каменная ограда, да сверх того он был окружен внешним деревянным острогом. Русские и французы ночью притащили большую медную пушку к воротам деревянного острога, разбили их и ворвались в острог[852].

Поляки увидели себя запертыми со всех сторон в каменной ограде монастыря. Задние ворота, куда еще, казалось, можно было до поры до времени уйти, были завалены. Поляки делали вылазки, успели зажечь острожные стены, которые теперь, находясь в руках неприятеля, были им вредны, но это не помогало делу; русские и французы могли заморить их голодом. В таких стесненных обстоятельствах поляки попытались сойтись с французами и отвлечь их от московских людей.

---

[850] Сноски: 850
Videk., 147.

[851] Сноски: 851
Marchock., 73.

[852] Сноски: 852
Videk., 147.

Де ля Билль предложил размен пленных. Пользуясь этим, поляки написали де ля Биллю письмо и приглашали его — вместо того чтобы драться с ними, вступить в службу к польскому королю, у которого довольно всяких иноземцев на службе. «Не верьте Москве, — писали поляки, — у них такой обычай, что кого из иноземцев заманят к себе на службу, тех по окончании войны приневолят жить в земле своей; оттого в Московском государстве много всякого народа; они к себе после замирения с королем Стефаном пригласили три тысячи наших против татар, а потом и не выпустили их из своей земли». С таким посланием отправлен к французам монах, который думал именем католической веры склонить французов. Ответ принес им француз Жак Беренжье с двумя товарищами; французы просили поляков уволить их от таких предложений и изъявили желание толковать об одних пленниках. «Вы, французы (говорили поляки посланцам), люди одной с нами веры, и где в чужих землях наши братья поляки с вашими людьми встречались, всегда обращались по-приятельски между собою. Праведнее было бы вам заодно с нами воевать против Москвы». — «Мы люди военные, ищем славы (отвечали французы), а что бы это была за

слава нам, если бы мы стали воевать против московского народа, грубого, вместе с вами, народом самым доблестным, которому подобного нет в Подсолнечной? А вот бы нам была слава, когда бы мы с этим народом да ваш народ завоевали!» Казаки, бывшие вместе с поляками в осаде, услыхали об этих переговорах с французами и заволновались. «Это паны поляки, — кричали они, — себе хотят выговорить свободный выход, а нас оставить на убой!» Поляки должны были прекратить сношения с неприятелем. Еще несколько дней продержались они и послали гонца к Зборовскому просить помощи; но этому гонцу, вероятно, не удалось добраться до Зборовского. Недостаток съестного одолевал их. Прорваться было трудно. Валуев стоял на левой, французы на правой стороне у монастыря; между ними и своею ставкою Валуев наскоро состроил острог, где засело более тысячи человек. Казаки прежде поляков потеряли терпение, в день Вознесения отвалили колоды от задних ворот и отворили их. Тогда полякам ничего не оставалось, как уходить. На их счастье, осаждавшие не обратили было на них большого внимания: их путь лежал между острожком и французами. Но двое изменников — один из них назывался Забржицкий — побежа-

ли к Валуеву и дали знать, что поляки намерены уходить; Валуев немедленно отправил в засаду до пятисот пеших человек к плотине на болотистой реке Ламе, через которую надобно было беглецам переходить. Поляки стали выходить на закате солнца. Московские люди их нарочно пропустили, а когда уже смерклось, с криком ударили на их заднюю сторожу. Поляки остановились, готовые принять бой, — московские люди отступили. Поляки пошли далее; опять на них ударили и опять отступили, когда поляки хотели обороняться. Утром дошли поляки до реки Ламы, а тут выскочили на них засады спереди и сзади, ударили на них всеми силами и поразили их так, что, по известию Мархоцкого, бывшего тогда в деле, из полуторы тысяч едва в живых осталось и успело убежать триста человек; знамена, орудия, все возы достались победителям. «Если бы не донские казаки, — говорит Мархоцкий, — которые проводили поляков и везде по дороге перед крестьянами называли себя людьми Шуйского, то ни один бы не спасся, и трудно было бы узнать, что сталось с нашим войском». Тогда московские люди отгромили и своих земляков, которые держались прежде вора, а потом пристали к полякам; на челе их был ростовский

митрополит Филарет, его отвезли в Москву[853]. Беглецы достигли смоленского стана. Валуев шел по следам их и остановился под Царевым-Займищем, там он окопался и состроил острожек. Горн с двумя тысячами англичан и французов соединился с четырьмя тысячами московского войска под начальством князя Барятинского. Они пошли на Белую, где заперся Александр Гонсевский. По дороге к Белой крестьяне охотно подвозили продовольствие войску и не боялись иноземцев, как на севере, а из Белой русские уведомили тайно своих начальных людей, что жители города зажгут стены во время приступа, чтобы пособить землякам. Но перебежчики из французского отряда сообщили Гонсевскому об умысле жителей Белой, Гонсевский взял под стражу подозрительных людей и этим предупредил злой против него умысел. Горн и Барятинский подошли к Белой 26 мая; поляки вышли из города, побились с ними и опять ушли в город. Горн предлагал Гонсевскому выступить в открытый бой, а Гонсевский уговаривал Горна отступиться от Шуйского и перейти на службу к польскому королю. Горн отвечал, что он служит шведскому королю, своему государю.

---

[853] Сноски: 853
Videk., 149. — Marchocki, 84.

Переговоры эти прервались, когда разнесся слух, что на выручку Гонсевскому идет от Смоленска польское войско. Горн отступил к Зубцову[854].

IX. Битва под Царевым-Займищем. – Битва под Клушином. – Поражение московского войска. – Сдача Царева-Займища и Можайска

Давно уже в стане Сигизмунда шли толки о том, чтобы отправить отряд, присоединить к нему бывшее тушинское войско и идти на Шуйского. Это дело возлагал Сигизмунд на брацлавского воеводу Яна Потоцкого. Но этот пан хоть не отказывался от поручения, зато медлил и собирался долго. Он хотел избежать трудной обязанности умиротворить окончательно буйное тушинское войско. Это было слишком нелегко. Сигизмунд, продолжая ограничиваться обещаниями, не имел возможности хотя вполовину сдержать их и выплатить войску деньги, которых оно ожидало и вправе было ожидать. Кроме того, Потоцкий был соперником Жолкевского: ему было досадно, что без него возьмут Смоленск. Овладеть силь-

[854] Сноски: 854
Videk., 155.

ной крепостью считалось великим подвигом; он полагал, что это было возможно, и, напротив, мало верил в успех под Москвой, особенно когда надежды на склонение тушинского войска было немного. Сигизмунд предложил это поручение Жолкевскому, несмотря на то что это был человек, не одобрявший самой войны вначале. Жолкевский не стал противоречить и принял поручение. Он взял с собою две тысячи конницы и тысячу пехоты, да еще пристал к нему отряд вольных казаков в три тысячи под начальством полковников Пясковского и Ивашины. Жолкевский двинулся к Белой выручать Гонсевского, но услышал, что русские отошли оттуда, и поворотил к Цареву-Займищу[855].

Схваченные в плен московские люди пророчили Жолкевскому успех; они открыли ему, что народ не терпит царя Василия, что его считают убийцею Скопина, не хотят видеть его на престоле; уверяли, что русские хотят лучше покориться Сигизмунду и получить от него в цари

[855] Сноски: 855

Говорят, что часть иноземцев, находившихся под Белой, прислала из среды себя восемнадцать человек, но когда они были еще в дороге, роты Ляндскоронского и Млоцкого и две тысячи запорожских казаков напали на них. Они бросили оружие, просили пощады, кричали, что служат польскому королю; их не слушали и били; они спаслись только бегством.

сына Владислава. С такими добрыми сведениями Жолкевский дошел до Царева-Займища. Оттуда неподалеку стояли полки Зборовского и Казановского, остатки тушинского полчища; с ними хотел уладить дело Жолкевский, поехал к ним и вызывал на разговор Зборовского. Зборовский выехал, но первое его слово было, чтоб Жолкевский уехал прочь и прислал вместо себя переговорщика. Жолкевский послал к нему пана Гербурта. Зборовский и Казановский уверяли, что верны королю, но собрали военное коло, — а на нем поднялся такой крик: «Мы не хотим знать гетмана, не хотим быть у него под командою, пока нам не выплатят жалованья». Гербурт уверял их, что если им не успели до сих пор выплатить, то этому причиною дурные дороги. Но этим нельзя было обольстить буйную шайку. Она шумела. Она хорошо знала, что не та причина. «Давайте нам сто тысяч злотых, которые обещал король, — кричала шляхта, — тогда мы пойдем служить и покоримся ему, а не заплатят — будем стоять, сконфедеровавшись, до субботы, а если и тогда не дождемся обещанной донативы, так найдем себе другой путь». Жолкевский, когда донесли ему об упорстве жолнеров, рассудил, что не следует более настаивать и принуждать. «Мы накажем

их презрением, — говорил он, — и они скорее опомнятся[856]». Он двинулся к Цареву-Займищу.

Войско Шуйского тысяч в тридцать двигалось к Можайску под начальством Димитрия Шуйского; к нему шли Делагарди и Горн с их разноязычною ратью. Де ля Билль находился еще во Ржеве. Часть московского войска в шесть тысяч[857], а по другим в 10 000[858], под начальством князя Елецкого отправлена вперед к Валуеву в Царево-Займище. В Цареве-Займище была широкая плотина, устроенная царем Борисом. Она находилась впереди острожка, который недавно построил Валуев. Изведав, что Жолкевский должен будет переходить через эту плотину, московские военачальники устроили засаду; посадили несколько сот стрельцов в водомойные рвы, которые были по краям этой плотины и в густой заросли около нее, так что посаженные люди не могли быть видимы, когда сидели неподвижно. Подобный способ раз удался Валуеву под Иосифовым монастырем; думали, что тоже и в другой раз удастся здесь.

---

[856] Сноски: 856
Bibl. Krasinsk. B. 1,8.

[857] Сноски: 857
Videk., 157.

[858] Сноски: 858
Żołkiewski, 43

Но Жолкевский узнал об этой засаде в пору и 14 июня, дошедши до места засады, остановился, запретил приближаться к плотине и показывал неприятелю вид, что не думает переходить реки, а хочет с войском ночевать на месте. Московские люди ожидали, что им придется употребить в дело свою засаду только на другой день, и стали беспечны: те, которые сидели во рвах и кустах, от скуки стали перебегать одни к другим и вести разговоры, так что поляки это видели и говорили: «Они пренебрегают нами; думают, что мы хотя и видим их, а напасть на них не смеем». Жолкевский воспользовался тем, что вода, через которую лежала плотина, была спущена, и отрядил одну часть пехоты и спешенных казаков по обе стороны плотины, а другую часть пехоты двинул прямо на плотину; те, которые пошли по сторонам от плотины, вскочили на нее внезапно в то время, когда на московских людей напирали прямо по плотине, и стали их с трех сторон стрелять и рубить. Московские люди оробели и пустились врассыпную по кустам. Тут Валуев увидел, что поставленную им засаду гонят неприятели, вместо того чтобы этой засаде гнать неприятелей, и послал бегущим подкрепление из острожка, до трех тысяч. Польской и казацкой пехоте так-

же могло быть теперь плохо, потому что через болото нельзя было подать им помощи лошадьми. Валуев заранее приказал разобрать мостик на плотине, но Жолкевский велел как можно скорее наводить новый. Он был наведен вмиг. Жолкевский двинул через него конницу, и скоро до тысячи человек конницы очутилось на другой стороне. Завязалась битва. Московские ратные люди были отбиты и ушли — одни в острожок, а другие в страхе бежали мимо острожка. Жолкевский одержал победу, которая показывала его военный талант; ловким распоряжением он не только избежал приготовленных ему затруднений, но еще из того самого, что ему должно было вредить, устроил вред врагу своему. Победа, однако, стоила польскому войску начальника пехоты Мартина Вайера, убитого пулею. Это был военачальник опытный и даровитый[859].

После этой победы Жолкевский подступил к Цареву-Займищу, тогда Зборовский уговорил свое упрямое войско и пристал к Жолкевскому. Его рыцарское коло согласилось служить в предстоящей войне, только с условием, если через неделю будет выплачена обещанная донатива.

---

[859] Сноски: 859

Bibl. Kras., B. I, 8. — Pisma St. Żołkiewsk., 46. — Dz. pan. Zygm., III, II. Прилож. 2. — Vid., 157.

Добывать приступом Валуева и Елецкого было трудно. Жолкевский нашел, что удобнее будет осадить их и отрезать им подвоз продовольствия; с этой целью он построил вокруг острога, где сидело московское войско, небольшие острожки, окопал их рвами, поставил между ними, где нужно оказалось, надолбы и в каждом острожке поместил пехоту и казаков, сколько было достаточно, чтобы держать московское войско взаперти. Валуеву, однако, несмотря на это, удалось послать несколько гонцов одного за другим через лес, к Димитрию Шуйскому; он извещал, что его осадили, лишили продовольствия, и просил поспешить к нему на выручку.

Димитрий Шуйский и прибывший Делагарди стояли тогда на дороге между Москвою и Можайском. Иноземцы роптали. Срок платежа подходил. Жалованья не присылали. «Пусть, — кричали они, — нам дают скорее жалованье, а не то мы служить не станем». Делагарди их успокаивал, уговаривал. Они не слушали, но все более и более волновались. Выбившись с ними из сил, полководец написал к царю Василию: «Если будет прислано жалованье, которое могло бы удовлетворить солдат моих, то я надеюсь еще раз повести храброе войско под неприятельские мечи

и с Божиею помощью победить. Если нет — пусть тогда царь самому себе припишет несчастный исход войны, и на меня да не падет конечная гибель и разрушение Московского государства». Царь советовался с боярами. Поспешили написать к Делагарди, что жалованье будет выплачено тканями и мехами, как только войско дойдет до Можайска. Тогда Делагарди двинулся далее и написал Горну, ставшему под Зубцовым, чтоб он скорее сходился с ним. У Горна тогда смятение было хуже, чем у Делагарди. Двое ротмистров, Николай Пинарт и Кольвиль, были заводчиками смут. По их подущению убежало восемьдесят англичан в неприятельский стан; на другой день Горн казнил возмутителей и тем только остановил на время измену. По требованию Делагарди он повел свой отряд к Можайску и сошелся с Делагарди у деревни Масловой, верстах в двадцати пяти от Можайска. После этого соединения 21 июня прислано было из Москвы тканей и мехов для уплаты наемному войску, но когда дошло до раздачи, то поднялись недоразумения: Делагарди не хотел платить, как требовали начальники отрядов, по первоначальной росписи, потому что многие были убиты, другие выбыли, а считал справедливым разделить присланное жалованье

по числу наличных. По этому поводу нужно было несколько дней, чтобы делать счет наличному войску, а тут прибежали гонцы от Валуева, и Димитрий Шуйский умолял поскорее идти на выручку осажденным в Царевом-Займище. Успели раздать жалованье только новоприбывшим, остальных Делагарди понуждал идти на дело и обещал их удовлетворить после. С досадою и ропотом услышали воины эти слова своего военачальника. Конница кинкгольмская забунтовала было и поджигала других к неповиновению, но Делагарди схватил и предал войсковой казни зачинщика смуты: остальные покорились. Однако все были очень недовольны и шли вовсе без желания жертвовать жизнью за Московское государство, которое им худо платит за труды.

Димитрий Шуйский держал у себя военный совет; с ним были князья Андрей Голицын, Яков Барятинский, Данило Мышецкий, Василий Бутурлин. Они рассудили, что следует обойти неприятельский обоз и ударить на него сбоку. С этою целью они двинули войско на деревню Клушино.

Гетман Жолкевский тотчас же узнал от перебежчиков, что делается в неприятельском стане, что замышляется, куда войско направляется;

узнал он также и о том, что помогающие Московскому государству иноземцы жалуются на неуплату жалованья и готовы передаться туда, где им будут получше платить. Перебежчики говорили: «Если бы только к ним гетман написал, передалось бы к нему и больше!» Тогда Жолкевский вручил одному французу такого содержания воззвание на латинском языке к французам и шотландцам, находившимся в иноземном войске, помогавшем Московскому государству:

«Между нашими народами не было вражды. Короли наши жили и до сих пор живут в дружбе. Хорошо ли это, что вы, не будучи от нас ничем оскорблены, помогаете прирожденным нашим врагам московитянам? Хотите быть нашими друзьями или врагами? Выбирайте. Мы же и на то и на другое готовы. Прощайте». Француз, которому вручено это послание, попал в руки Горна и был повешен.

Отправивши это послание, 23 июня гетман собрал к себе военный совет и сообщил, что неприятель недалеко.

Иные были того мнения, что надо продолжать осаду и ожидать неприятеля, другие, напротив, советовали выйти ему навстречу и не допустить до Царева-Займища. Последних было меньше.

Против них поднимались голоса: «Разве вам жизнь надоела? Безрассудно с таким малым числом выходить самим в бой против многочисленного неприятеля; как только мы снимемся, те, что сидят в остроге, ударят на оставленную для осады малую часть войска».

«Нет, — говорили противники, — если мы неприятеля допустим близко сюда, то он начнет нас стеснять острожками и лишит нас продовольствия. Московитяне так уже делали с нашими у Троицы и у Дмитрова».

Гетман Жолкевский, по-видимому, не склонялся ни на ту ни на другую сторону и велел только всем быть готовыми к выступлению, когда прикажут, а той части войска, которая сидела в острожках, приказал, не двигаясь с места, оставаться в прежнем положении. Гетман заботился, чтоб не допустить русских заметить у себя какой-нибудь перемены. Жолкевский скрывал от всех, что он задумал и на что решился; он опасался, чтобы не сделалось у него того, что делалось у неприятелей, и перебежчики не принесли бы в неприятельский стан сведений. За два часа до вечера Жолкевский разослал полковникам письменные приказы немедленно выступать в поход, но не велел ни трубить в трубы, ни бить в

барабаны: осажденные ничего не должны были услышать такого, что бы могло их встревожить. Осаду под Царевым-Займищем Жолкевский поверил Бобовскому: у него была королевская пехота, семьсот конных и несколько сот казаков[860].

С наступлением сумерек войско было уже в дороге по направлению к Клушину, где, как сообщили гетману перебежчики, он должен был найти неприятельское войско. Ночь была светлая. Войско шло по болотистой почве, посреди зарослей, и дошло до Клушина еще до рассвета.

Русские и иноземцы стояли обозом в удобном месте: сзади них был лес, перед ними поле, по которому московские люди заплели плетень для обороны своего обоза. Впереди плетня стояли две деревушки. Русские спали. Накануне у предводителей был пир. Делагарди, вспоминая свои прежние военные дела, сказал:

«Я был в плену у Жолкевского, он мне подарил кунью шубу; теперь, когда я его возьму в плен, то подарю соболью».

Жолкевский подошел близко к стану так тихо,

---

[860] Сноски: 860

По известию Маскевича, оставлено было две роты Калиновского и Бобовского, в которых оказалось 700 всадников, 200 чел. пехоты и 4000 запорожцев. Число взятых гетманом с собою Маскевич уменьшает до 2500 конных и 200 пеших с 2 полевыми орудиями.

что никто в неприязненном стане не слышал. Гетман тотчас приказал зажечь деревушки, чтобы не дать московским людям засесть в них и стрелять оттуда, а вслед за тем приказал громко затрубить в трубы и ударить в барабаны. Пожар и военная музыка всполошили русский стан. С криком бросились все к оружию; поляк очевидец говорит с насмешкою об их беспорядке: «Это значит: седлай порты, надевай коня!»

Правую сторону польского войска занимал полк Александра Зборовского — прежние тушинцы; левую — полк Николая Струся, каменецкого старосты; по бокам и в резерве, на правой стороне — полки Мартина Казановского и Людовика Вайера, налево — гетманский полк под начальством князя Януша Корецкого. За левою стороною были кусты, в них рассеялось четыреста украинских казаков: они назывались погребыщане, потому что были из Погребыщанской волости, принадлежавшей князьям Збаражским. В противоположном войске левую сторону занимал Димитрий Шуйский с московскою конницею, которую сзади закрывала стоявшая в кустах пехота, готовая броситься в бой, когда конница раздвинется. Иноземцы стояли на правой стороне. По известию Жолкевского, московских людей в этом

войске считалось до сорока тысяч, а иноземцев десять тысяч, но в наличности последних было там не более восьми; по другим известиям, их было только пять тысяч.

Поляки начали битву нападением на плетень, который стоял впереди обоза. Делагарди выслал к нему иноземную пехоту, она храбро и стойко защищала его. Плетень не был сплошной, но кое-где прерывался и возобновлялся, — и сильный бой был на прогалинах. Но в то время, когда у плетня происходила битва с равными силами, на правой стороне Зборовский со своими бывшими тушинцами ударил на московскую конницу. Московские ратные люди были плохие воины: бывалые бойцы у них или были побиты в прежних боях, или лежали по домам раненые; в войске под Клушином были все новобранцы, в первый раз увидавшие бой и смерть, да вдобавок охоты у них у всех было мало охранять державу царя Василия, и предводитель Димитрий Шуйский не мог их всех привязать к себе своею личностью. От этих причин, как только Зборовский ударил со своим полком на московскую конницу, так она и пустилась бежать и смешала пехоту, которая должна была ей подавать помощь. Побежала и пехота. Димитрий Шуйский с пятью тысячами

заперся в сделанном наскоро остроге.

Несмотря на это бегство, иноземцы на левой стороне продолжали защищать плетень. «Часов пять бились мы, — говорит участник Маскевич, — каждому из нас по восьми и по десяти раз приходилось схватываться с неприятелем. Гетман стоял на возвышении, как Моисей, поднимал руки вверх и призывал небесную помощь». Но тут прибыла на место битвы гетманская хоругвь и привезла с собою два фальконета, единственные орудия, какие взял с собою Жолкевский в дело: они замедлились по причине дурной дороги. Ударили пушкари из фальконетов, прорвали и повалили плетень; пехота Струся бросилась по нему на иноземцев, — те подались и побежали в лес. Тут Делагарди двинул на них конницу. Битва опять возобновилась. Но случилось, что, когда передовой отряд, давши залп по полякам, оборотился назад, чтобы зарядить ружья, поляки воспользовались этим, ударили на него в тыл; этот отряд напер на другой, стоявший позади, тот поворотился назад и уперся на московское войско, стоявшее позади него, а московские люди пустились врассыпную. Поляки за ними вслед ворвались в неприятельский обоз. Димитрий Шуйский, стоявший в острожке, не подал им

помощи. Тогда немцы и французы стали передаваться полякам, сначала по одному и по два, кидали оружие и вступали в разговоры с неприятелем, а потом ротмистры Конрад Линк и Вильгельм Таубе с целыми своими отрядами послали просить у Жолкевского свободного пропуска на родину из Московской земли. Гетман послал к ним своего племянника Адама, человека ловкого и знавшего иноземные языки и обычаи. Они с ним условились о сдаче. Положили, что иноземцы, служившие Московскому государству, откажутся от этой службы и за то получат от поляков свободное право удалиться в отечество, а кто захочет, тот будет принят в польскую службу. О Линке шведский историк замечает, что этот немец перед тем только получил несколько тысяч рублей от Димитрия Шуйского. За немцами вслед и другие иноземцы стали сдаваться. Делагарди сначала вместе с Горном увлечен был общим движением и убежал в лес, а потом воротился и стал уговаривать свое разноязычное войско, чтобы оно не срамило военной чести, что дело еще не проиграно. Не помогали ни увещания, ни угрозы. Присылал к ним Димитрий Шуйский, сулил, как говорится, золотые горы; но обещаниям Шуйских не верили. Иноземцы, со своей стороны, стали

грозить Делагарди и принуждать его пристать к договору, заключенному с Адамом Жолкевским.

Делагарди с презрением отказывался. Рассерженные иноземцы бросились на него. Он убежал от них, а потом вместе с Горном и своими природными шведами поспешил отступить. Тогда иноземцы стали во множестве передаваться полякам и вместе с ними бросились грабить московский обоз. Начальники московского войска, Димитрий Шуйский, Голицын, Мезецкий, как увидали, что Делагарди ничего не делает с иноземцами и сам со своими шведами убегает с поля битвы, то покинули свой острожек и побежали в лес. Все московские люди по их примеру бежали. Каждый думал только о спасении одной жизни и все добро кидал нарочно, в надежде — авось преследующие враги наткнутся на брошенное, а тем временем можно уйти. Полякам достались: карета Шуйского, его шатер, сабля, булава, его княжеское знамя, вышитое золотом по адамашке, и на двадцать тысяч рублей собольих мехов: это он только что получил из Москвы и не успел раздать иноземцам. Теперь пришлось так, что иные из тех, кому следовало раздать, сами то взяли. Московские люди покинули так много вещей — серебра, одежд, а в особенности мехов, что ка-

залось, говорит польский историк Кобержицкий, как будто они их для продажи разложили. Стояли возы совсем запряженные. Полякам оставалось накладывать на них, что лежало на земле, и везти. «Мы, — говорит современник поляк, — как шли на неприятеля, так всех возов у нас было только что под пушечками да гетманская карета, а назад возвращались, так возов у нас было больше, чем нас самих». Пушки и знамена остались победителям. Часть польского войска еще долго гналась за беглецами по лесам. Князь Яков Барятинский был убит. Василия Бутурлина и дьяка Демидова, который из Москвы соболей привез, поймали. Сам Димитрий Шуйский бежал так, что загнал в болоте коня, принужден был спасаться пешком и оставил в трясине сапоги; потом уже достал деревенскую клячу и на ней благополучно добрался до Можайского монастыря. Там осыпали его вопросами, а он говорил: «Просите милости и милосердия у поляков!» Из Можайска вместе с Голицыным он уехал в Москву с постыдною вестью о своем роковом поражении[861].

---

[861] Сноски: 861

Pisma Żołkiewsk., 49–60, 198–204. — Bibl, Krasinsk., B. 1, 8. — Kobierz., 270–279. — Piasecii, 266. — Vid., 162–173. — Немцев. Dzieje panow., прил. к 3 т., 398–402. — Marchocki, Hist. Wojny Mosk., 83. — Pamiętn. Maszkiew., 4–29. — Дневник похода короля Сигизмунда. Истор. библ. I, 618–630.

По известиям польским, эта победа стоила полякам только 220 конных товарищей и пахолков, пехоты до 200 человек и множества лошадей, а противная им сторона потеряла иноземцев до 1200, по другим известиям — до 800; число же убитых московских людей неизвестно. Салтыковы и другие русские, приглашавшие Владислава в цари, находились в польском войске во время битвы с их единоземцами.

Жолкевский не оставил Делагарди и послал к нему Петра Борковского с одним из передавшихся французских ротмистров приглашать его приступить к договору, заключенному на поле сражения Линком. Делагарди отвечал: «Я не знаю договора Линка и знать его не хочу». Но оставшиеся с ним ротмистры стали советовать помириться с Жолкевским; силы их были малы, и нельзя было, да и не для чего было более биться, когда бежали те, за которых бились. Делагарди согласился повидаться лично с Жолкевским. Польский гетман приехал в лагерь Делагарди с небольшим отрядом конницы. Делагарди выехал к нему навстречу. «Я не только надеюсь, — сказал он, — но уверен, что вы, пан гетман, мой противник, по великодушию своему, согласитесь со мною и припишете мою неудачу не упадку и недо-

статку доблести и крепости, но неспособности русских и вероломству моих наемных воинов! В этом вы уверитесь, когда вспомните, что делали мы прежде в союзе с теми же русскими, когда ими начальствовал достойный Скопин; но его извели, и счастье москвитян изменилось. Мое войско, утомленное долгою службою, не получая в пору жалованья, дало вам достаточный образец изменчивости душ человеческих, когда для пользы неприятеля увеличило значительно силу неприятеля перебегом; теперь с остальными, которых я удержал в верности долгу, я надеюсь, что, сообразно народному праву, вы согласитесь заключить следующие условия: мы свободно уйдем в отечество с распущенными знаменами и со всеми военными орудиями и запасами; никто не будет принуждаем к насильному поступлению в польскую службу, если сам не захочет, и, наконец, мне не будет препятствия, пока мы не выйдем из пределов Московского государства, собрать должное жалованье, сколько можно и угодно будет».

Жолкевский согласился, но прибавил к этому, чтобы Делагарди дал обещание не помогать более Василию Шуйскому. Польский гетман похвалил храбрость и мужество Делагарди и его шведов.

Делагарди не сразу поддался на требование Жолкевского, но так как гетман был настойчив, а силы шведского полководца до того умалились, что не было возможности решиться на сопротивление, то он наконец согласился. Составили и подписали с обеих сторон договор в таком смысле, как требовал Жолкевский.

Заключивши этот договор, Делагарди воротился в свой лагерь и застал в нем большую перемену: взбунтовались девятнадцать конных и двенадцать пеших хоругвей; они собрались переходить в польский лагерь. Напрасно Делагарди уверял их, что они еще могут получить жалованье, и если им не дадут добровольно, то можно самим собрать по дороге, как это и дозволялось по договору, заключенному с Жолкевским. Ратных поджигал Линк. Они зашумели, стали бранить полководца, порывались грабить весь обоз. Делагарди и Горн хотели было стрелять в мятежников, но другие отговорили и советовали оставить им волю. Ратные ограбили лагерь и ушли, с предводителями осталось человек четыреста шведов и финнов. С ними Делагарди и Горн ушли к Погорелому Городищу, где стоял Пьер де ля Билль с двумя отрядами конницы.

Полководцы пришли туда вечером, и ночью

распространилась весть о их приходе между остававшимися там французами. Утром они стали требовать жалованья, им отказали; они бросились грабить обоз, ограбили самих предводителей и ушли. Делагарди с Горном и де ля Биллем двинулись в Торжок[862].

После своей победы Жолкевский подошел к Цареву-Займищу. Елецкий и Валуев не видели более возможности защищаться, рассудили, что дело Василия Шуйского проиграно, царство его миновалось. Они послали к Жолкевскому сказать, что желают целовать крест королевичу Владиславу на том целовании, какое уже произнесли тушинские бояре. Со своей стороны Жолкевский дал им целовальную запись (о ней впоследствии он говорил, что не знает сам и не помнит, что в ней было). Он тогда обещал за себя и за все войско, излагал условия, на которых Владислав будет государем: охранять веру, не строить костелов, не посылать на воеводства польских и литовских людей, не отдавать в староства городов, не лишать московских служилых людей их жалованья, не отнимать имуществ, взятых с боя у литовских людей в прежнее время; не высылать

[862] Сноски: 862
Videk., 174.

в Польшу и Литву пленных и выпустить всех, какие теперь найдутся, назад с женами и детьми; идти польским войскам против вора и очищать от него города, а королю отступить от Смоленска и оставить этот город по-прежнему при Московском государстве, наравне с другими городами, как скоро смольняне поцелуют крест королевичу Владиславу. После этого Елецкий и Валуев вышли из острога и присоединились к польскому войску со своим отрядом, где было тысяч пять. Гетман отправил Елецкого, как старейшего, к Сигизмунду под Смоленск, а Валуева, которого считал умнее, оставил при себе и 25 июня двинулся к Можайску. Этот город сдался ему без сопротивления. За ним вслед покорились сами собою Волок, Ржев, Погорелое Городище, Иосифов монастырь[863].

X. Козни Жолкевского. – Приход вора к Москве. – Заговор. – Низложение и пострижение царя Василия

Гетману после этого оставалось идти прямо на Москву: она была беззащитна, и невозможно было Василию устоять против поляков, но

---

[863] Сноски: 863
Сборн. Мух., 179.

Жолкевский расчел, что можно взять ее вовсе без боя. Так советовали ему Валуев и другие русские, на челе которых был Михайло Глебович Салтыков. По их совету Жолкевский послал из передавшихся русских в Москву агентов, чтобы расположить московских жителей свергнуть Шуйского и избрать Владислава. В числе таких был Федор Суселин с товарищами. Он отправился к находившимся тогда на службе в столице смольнянам и брянчанам, дворянам и детям боярским склонять их на сторону королевича[864]. Другие[865] повезли письма к разным лицам. Жолкевский писал, что Московское государство страдает под правлением Шуйского, дела идут дурно, кровь беспрестанно льется, и обещал тишину и благоденствие под правлением Владислава, если Москва примет его к себе в цари. Такие возбудительные грамоты переписывались, ходили по рукам и разбрасывались по улицам. Царь Василий не в силах был останавливать волнения. Никто уже не боялся его. Смоленские дворяне беспрепятственно собрали свою братью дворян и детей боярских разных городов на сход-

[864] Сноски: 864
Сборн. Мух., 179–180.

[865] Сноски: 865
Pism. Żołkiew., 69.

ку. Там открыто читалась грамота Жолкевского и толковалось о принятии в цари королевича Владислава. Все на сходке сказали, что это дело хорошее, но в записи не написано, что Владислав крестится в православную веру. Выбрали одиннадцать человек, из которых десять было смольнян, и отправили к Жолкевскому. Это число смольнян показывает, что дело это велось одною партиею, настроенною поляками; смольняне хлопотали о воцарении Владислава потому, что думали этим освободить свой город от осады и свой край от военного разорения. Посольство это прибыло в Можайск 5 июля, и на другой день Жолкевский послал в Москву двух смольнян с новою грамотою ко всем московским служилым людям, которые захотят служить Владиславу, величал их приятелями, но о важном вопросе крещения будущего царя отделался такою уверткою: «Крещение есть дело духовное; вольно патриарху со всем Освященным собором совещаться с наияснейшим королем». Московские жители подумали, что действительно теперь об этом спорить много нечего, дело состоится впоследствии, и притом Жолкевский не подавал им опасения, чтобы оно не состоялось; а между тем новые несчастные для царя Василия обстоятельства располагали их

к скорейшей уступке польскому военачальнику.

Весть о поражении под Клушином дошла до Калуги, и там нашли, что будет кстати двинуться к Москве; таким образом, Москва с двух сторон увидит подле себя неприятелей, и Шуйский, как рассчитывали, не в состоянии будет удержаться и полетит с престола. Делами царика руководил Сапега, и ему стала входить мысль самому сделаться царем во всеобщей суматохе. Полчище калужское двинулось к Серпухову.

На царя Василия отовсюду находили беды, а помощи не было ниоткуда. Ратные люди, бывшие с Димитрием Шуйским, разъехались самовольно по домам. Если кое-какое войско и оставалось в Москве, то было ненадежно. Клушинская битва отнимала возможность биться с поляками; притом нужно было разделить рать: одну половину посылать на поляков, другую — на калужского вора. Делагарди из Торжка писал к Димитрию Шуйскому письмо: обвинял московских людей, что они были причиною клушинского поражения, но вместе утешал, уверял, что дело поправимо, и обещал свежие силы из Швеции, если только будет немедленно отдана Корела с уездом. В ответ на это письмо Шуйский послал к нему гонца с переводчиком и умолял поспешить

на выручку Москвы от калужского вора; но гонец не застал его в Торжке. Делагарди считал опасным долго оставаться так близко к Жолкевскому, которому дал обещание не помогать Шуйскому. Он двинулся к Новгороду. Новгородцы, так недавно принимавшие его, как будто он к ним с неба спал, по выражению современного шведского историка, теперь затворили перед ним ворота и отказали ему в продовольствии. Тут-то ему привезли грамоту от Шуйского, но в то же время, как говорят, Шуйский писал в Новгород и ко всем пограничным воеводам, чтобы они не сдавали городов Делагарди. Впрочем, Делагарди, если бы и хотел, не в состоянии был помочь делу Шуйского; царь Василий никак не мог удержаться на престоле.

Все еще собирая последние силы, царь Василий, однако, отправил из Москвы войско; начальниками были царский свояк Иван Михайлович Воротынский, князь Борис Михайлович Лыков и окольничий Артемий Васильевич Измайлов. Они сошлись с крымцами, которые стояли в Серпуховском уезде: хан прислал их по просьбе московского государя на помощь. Но московские воеводы, вместо того чтоб идти против вора, сами остались в Серпуховском уезде, а выслали

на войну союзных крымцев. Последние побились немного с калужским войском, воротились и перешли Оку назад. «Нельзя больше биться, нас голод одолевает», — говорили они. После этого высланные воеводы отправились себе в Москву[866].

Вор напал по следам их на монастырь Пафнутия Боровского. Там укрепления были хороши; но двое воевод, Яков Змеев и Афанасий Челищев, изменили царю Василию и впустили врагов. Третий воевода, Михайло Волконский, не был с ними в совете. Воры нежданно вошли в отворенные для них ворота, начали бить людей, столпившихся в осаде, погнались за ними в церковь. Волконский оборонял церковные двери, был ранен, в изнеможении побежал к клиросу, и там изрубили его воры. Кровь его брызнула на камень, и после сколько ни скребли, сколько ни смывали эту кровь, не могли уничтожить кровавых пятен на камне. Воры ограбили монастырь и пошли далее к Москве. Об этом событии осталось такое предание: когда тела убитых сложили в могилу и стали петь над ними панихиду, из могилы наверх выступила кровь, и потом долго, сколько

---

[866] Сноски: 866
Ник., 136.

раз ни служили над могилою панихиды, только что запоют «Вечную память», кровь и выступит на могиле[867].

Воровское войско дошло до монастыря Николы на Угреше. Города сдавались ему. Коломна прельстилась и целовала Димитрию крест: не послушали коломенцы своего владыки Иосифа, который их останавливал, а еще послали в Каширу и Зарайск грамоты с убеждением целовать крест царю Димитрию Ивановичу. Кашира повиновалась. Тамошний воевода, князь Григорий Петрович Ромодановский, сначала уговаривал жителей не делать этого, но его чуть не убили, и он покорился общей воле. В Зарайске воевода князь Димитрий Михайлович Пожарский не поддался целому посаду; его хотели убить; он заперся в каменном городе с немногими людьми, которые, как и он, не хотели сотворить худого дела; протопоп зарайский Димитрий благословил и укрепил его стоять и умирать за правду. В городе с Пожарским были имущества тех, которые отложились от царя Василия и хотели принудить Пожарского признать Димитрия; они поэтому поневоле должны были предложить мировую.

---

[867] Сноски: 867
Ник., 137.

Согласились целовать крест тому, кто на Москве будет царем: будет Москва верна Василию — ему служить, а поставят в Москве иного — и тот будет всем царем. По примеру Зарайска, Коломна отложилась от вора, так недавно ею признанного, и постановила целовать крест тому, кого Москва царем признает[868].

Вор оставил жену свою в монастыре Николы на Угреше, а сам с войском стал 11 июля под Москвою в селе Коломенском. Москва всполошилась. Москве памятно было ее положение, когда под тем же знаменем полчище стояло в Тушине. Тогда с большим трудом избавились от него, и то с помощью иноземцев, да тогда Скопин был у Московского государства. Теперь в Москве могло быть хуже. Тут вор наступает, а там поляки. Трудно защищаться против двух; было опасение, как бы оба заодно не стали. Одно средство оставалось — свести Шуйского и поладить с какою-нибудь стороною.

В это время Прокопий Ляпунов от имени покорной ему Рязанской земли послал Алексея Пешкова в Москву к брату своему Захару и также написал к боярину Василию Васильевичу

---

[868] Сноски: 868
Никон., 138.

Голицыну о необходимости скорее свести Шуйского. При его содействии Захар Ляпунов 17 июля собрал дворян и детей боярских за Арбатскими воротами на совещание. Там говорилось:

«Московское государство доходит до конечного разорения и расхищения. Тут пришли на него поляки и литва, а там калужский вор: с обеих сторон стало тесно. Украинских городов люди не любят давно царя Василия и не служат ему; льется христианская кровь; отец восстал на сына, сын на отца. Василий Иванович не по правде сел на царство и несчастен на царстве. Будем бить ему челом, чтоб оставил престол, и к калужским людям пошлем: пусть они своего вора оставят, и мы сообща выберем всею землею нового царя и станем тогда единомысленно на всякого врага».

Послали в Коломенское, к русским, находившимся при воре. «Сведите Шуйского, — сказали калужане, — а мы своего Димитрия тотчас свяжем и приведем в Москву».

После такого ответа толпа дворян и детей боярских отправилась в Кремль просить царя Василия, чтоб он оставил престол. Выступил вперед Захар Ляпунов, дюжий, плечистый детина, и стал говорить царю Василию:

— Долго ли за тебя кровь христианская литься

будет? Ничего доброго в царстве твоем не делается. Земля наша через тебя разделилась, разорена и опустошена; ты воцарился не по выбору всей земли, ты погубил многих невинных; братья твои государя нашего, оборонителя и заступника, окормили отравою. Сжалься над умалением нашим. Положи посох свой! Сойди с царства, а мы посоветуем о себе иными мерами.

Василий вышел из себя, выхватил большой нож, который по тогдашнему обычаю носил при себе, бросился на Ляпунова и закричал: «Как ты (тут он ввернул крепкое московское слово) смеешь мне это говорить, когда бояре мне этого не говорят!»

Ляпунов погрозил ему своею мускулистою рукою и сказал:

— Василий Иванович! Не бросайся на меня, а не то — я как возьму тебя в руки, так вот тут и изотру!

— Пойдем, пойдем, — сказали бывшие в толпе Иван Никитич Салтыков и дворянин Хомутов, — объявим народу!

Они вышли из Кремля на Красную площадь. Ударили в колокола. Захар Ляпунов с Салтыковым и Хомутовым взошли на высокое Лобное место и стали приглашать бояр, патриарха, духов-

ных, дворян, детей боярских и весь православный народ на всенародное собрание за Серпуховскими воротами. Хоть Красная площадь была не мала, но полагали, что народа будет так много, что он на ней не поместится; хотели, чтобы как можно поболее русского народа приняло участие в этом важном деле, и потому выбрали место для народного сборища за городом в поле.

Народ отовсюду повалил за Серпуховские ворота. Съехались туда бояре. Прибыл и патриарх. Там говорили:

«Наше Московское государство дошло до конечного разорения. Мы — словно овчарня, когда на нее волки нападут! Бедных православных христиан душат без милости, и никто не обороняет нас, никто не хочет помочь нам! Вот три года четвертый на царстве сидит Василий Шуйский; неправдой он на царство сел, не по выбору всей земли, и оттого нет на нем Божия благословения, нет счастья на земле. Сотни тысяч душ погибло напрасно! Как только братья его пойдут на войну, так и понесут поражение; сами прячутся в осаде, а ратные люди разбегаются. Православные христиане! Те наши земляки, что в Коломенском с вором, согласны своего вора оставить и быть с нами в соединении, если мы Шуйского отста-

вим. Собирайтесь на совет, как бы нам Шуйского отставить, а вместо него выбрать всею землею государем того, кого Бог нам укажет!»

Тогда было так мало охотников стоять за Шуйского, что в собрании не произошло смятения и большого разногласия. Об избрании Владислава, кажется, в то время и не заикнулись, во-первых, потому, что простой народ боялся поляков; во-вторых, потому, что тогда еще, уничтоживши вора, можно будет соединить Русскую землю и дать полякам отпор. Потачка польским замыслам только тогда стала неизбежна, когда со сторонниками вора сойтись было нельзя. Патриарх, вообще не любивший Шуйского, удерживал несколько толпу: его призвание, как первопрестольника Русской церкви, побуждало его сохранять существующую власть, но и он не слишком настаивал. Порешили идти к царю и бить ему челом от всего мира, чтобы оставил царство. Патриарх уехал из собрания. Бояре отправились к царю. Вперед выступил свояк царя Василия, Иван Воротынский, и говорил:

«Вся земля бьет тебе челом, царь Василий Иванович, оставь свое государство ради междоусобной брани, чтобы те, которые тебя, государь, не любят и служить тебе не хотят и боятся твоей

опалы, не отстали от Московского государства, а были бы с нами в соединении и стояли бы за православную веру все заодно».

Царю Василию теперь ничего не оставалось, как повиноваться. Та же сила, которая его возвела на царство, теперь объявляет ему, что не хочет видеть его на царстве. Он положил свой посох и переехал из царских палат в свой княжеский дом. Венец, бармы, скипетр, все принадлежности царского чина взяли в казну. Временное правительство поручено, по обычному порядку, Боярской думе, где председательствовал князь Федор Иванович Мстиславский, старший по роду между боярами[869].

На другой день, 18 июля утром, москвичи толпою вышли к Данилову монастырю и отправили

---

[869] Сноски: 869

В народной поэзии память о низложении Василия Шуйского с престола выразилась так в песне, записанной в Зарайском уезде:

«Как не из-за лесов-то дремучих стая воронов слеталася,
Сходился весь московский народ на площадь Красную,
На тою ли площадь Красную на Ивановскую.
Уж на той ли на высокой колокольне
Во большой колокол звонили,
Ох и, братцы, что-то у нас делается,
Уж не чудо ли какое совершается?
Во дворце что-то все взволновалися,
Все лакеи, все прислужнички взсуетилися.

Уж не бояре ли взбунтовалися,
Уж не злые ли собаки повзбесилися.
Уж и жив ли наш православный царь,
Православный царь Василий Иванович?
Уж и что, братцы, во дворце его не видно,
Что косящеты окошечки все завешаны?
Как и взговорит в народе удалой молодец:
“Ох вы, братцы, вы не знаете беды-горести,
Что царя нашего Василья злы бояре погубили,
Злы собаки погубили, во Сибирь его послали…”»

Киреевск. Песни. Вып. VII, 17.

Посылка Шуйского в Сибирь — анахронизм, происшедший от привычки народа представлять себе конец падшего величия знатных лиц в виде ссылки в Сибирь по частым примерам, бывшим впоследствии.

посольство в коломенский стан. «Мы своего Шуйского свели с престола, — говорили послы, — мы клятвенное слово свое совершили; теперь ведите к нам в Москву своего вора».

Русские сторонники вора расхохотались и сказали: «Дурно, что вы не помните крестного целования вашему государю, а мы за своего помереть рады».

Москва заволновалась, когда принесли туда такой ответ. Москвичам стало стыдно, что их так одурачили и посрамили. Многие стали жалеть о Шуйском. Прежде надеялись, что если его не будет, то и вора не будет, а теперь вышло, что царя в Москве нет, а вор продолжает с прежними силами стоять под столицею. Дошло это до сверженного царя. Он тотчас послал денег раздавать стрельцам, которых в Москве было тысяч до восьми, чтобы с их помощью захватить престол.

Тогда ясно показалось, что, за невозможностью уничтожить вора, приходится склониться к полякам; а чтоб Шуйский не мешал и не творил смуты, надобно было с ним разделаться.

19 июля Захар Ляпунов подобрал себе товарищей; в числе их были Иван Никитич Салтыков, Петр Засекин, князь Туренин, князь Василий Тюфякин, князь Федор Мерин-Волконский; под-

говорили иеромонахов из Чудова монастыря, пришли в дом Шуйского, разлучили его с женой, ее увезли в Вознесенский монастырь, а ему объявили, что следует постричься. «Люди московские! — говорил он. — Что я вам такое сделал, какую обиду учинил? Разве за то, что воздал месть тем, которые содеявали возмущение на святую нашу православную веру и тщились разорить дом Божий, разве за то, что мы не покорились Гришке-расстриге и его богомерзким советникам?» Речь его не разжалобила никого. Ему повторили, что он должен постричься. Василий наотрез сказал, что не хочет. Тогда приказано было иеромонахам совершать обряд пострижения. Когда по обряду спрашивали постригаемого, желает ли он, Василий громко кричал, что не хочет, а стоявший близ него боярин (по одним известиям, князь Тюфякин, а по другим — князь Туренин) произносил за него обещание, Ляпунов же крепко держал Василия Шуйского за руки, чтоб он не отмахивался. Его насильно одели в иноческое платье и отвезли в Чудов монастырь в закрытом каптане. В то же время в Вознесенском монастыре постригли супругу его, царицу Марью Петровну.

Патриарх не признавал Василия в иноческом

звании: он говорил, что теперь иноком стал тот, кто за царя Василия отрекался от мира и изъявил желание принять иночество.

Так окончилось царствование Василия[870].

Тогда вспомнили московские люди о видении, которое несколько месяцев назад было, как говорили, в Архангельском соборе. В полночь с четверга на пятницу, в той церкви, где покоились московские князья и цари, слышан был плач великий, слышалось чтение 118-го псалма и пение вечной памяти. Плачем началось, с плачем затихло. Этот плач в царской усыпальнице предвещал низвержение Шуйского и грядущие затем бедствия, постигшие Русскую землю в эпоху, которую русский народ удачно прозвал «московским разорением».

---

[870] Сноски: 870

Pisma Żołkiewsk., 65–68. — Хроногр. Арх. Ком. рук. — Рукоп. Имп. публ. библ. Hist. Pol. № 31. — Diar. oblęż. Smol. Рук. Ген. шт. — Diar. Sapiehy. Рук. — Никон, лет., 138. — Врем. XVI, 112. Повеств. о Рос. Арцыб., 242. — Buss., 133. — Bibl. Kras. B. 6.

Часть третья. Московское разорение

Глава первая
I. Грамота временного правительства. – Партии. – Прибытие Жолкевского под Москву. – Совещания. – Договор об избрании Владислава на царство. – Царя Василия Шуйского низвели с престола

От временного правительства, во главе которого был Федор Иванович Мстиславский, издана была окружная грамота именем всех сословий Московского государства. В ней извещали о перемене правления. Сказано было, что Шуйского не любят жители украинных городов, не обращаются к нему и не хотят служить ему; из-за него в Русской земле междоусобия, христианская кровь льется, восстал отец на сына, сын на отца, брат на брата; враги иноземные терзают государство; король стоит под Смоленском, вор под Москвою в Коломенском. Русские люди приглашались целовать взаимно друг с другом крест на том, чтобы защищать свою землю; из городов следовало прислать в Москву выборных людей, по человеку от каждого чина, для совета. Что касается до буду-

щего постоянного правительства, то указывалось выбрать в государи всей земли того, кого Бог даст, без определения заранее лица[871].

Нельзя уже было основываться на праве наследственном: оно было попрано в лице Шуйского. Оставалось право избрания. Имели в виду Владислава, но не смели еще назвать его, пока не сойдутся с поляками.

Между тем с Жолкевским велись тайно сношения. Тотчас после взятия Царева-Займища он отправил в Москву смольнянина Федора Сушелина со товарищи с договором, заключенным в Цареве-Займище, и с королевским письмом. Это было еще до низвержения Шуйского. В письме своем польский гетман старался очернить царя Василия Шуйского и указывал на его неспособность. Мстиславский, посоветовавшись с боярами и дворянами, послал к Жолкевскому одиннадцать дворян Смоленской земли с грамотой. В ней бояре замечали, что в королевском письме не давалось обещания, чтобы Владислав крестился в православную веру. Изворотливый Жолкевский тотчас же написал им такой ответ: «Ведь вы видели в письме господаря его милости

---

[871] Сноски: 871
Собр. госуд. грам., II, 389.

короля, с приложением его руки и печати, что господарь его милость король и господарь его милость королевич Владислав не нарушат вашей православной веры греческого закона и желают сохранять московские обычаи ненарушимо, а крещение королевича Владислава в русскую веру — дело духовное, патриаршее». Впрочем, не ставя избрание Владислава главным делом, Жолкевский писал, что идет защищать Москву от вора, что король, по своему христианскому состраданию, хочет только укротить междоусобие и остановить кровопролитие в соседней стране.

На такое заявление ему написали, что в Москве не требуют помощи, и просили не приближаться к столице. Жолкевский не обратил внимания на это, шел далее воинственным образом и явно давал понять, что если Москва не принесет покорности благовидным образом, прося защиты и помощи от польского войска, то он станет поступать с нею по-неприятельски. Сопротивление Жолкевскому могло только дать временный перевес вору. Его партия, по-видимому, убитая, легко могла восстать и усилиться именно теперь, когда царя не было, когда правили бояре и все ожидали поляков. Бояре и знатные люди видели свою беду, если бы вор взял верх, хотя бы нена-

долго. С этим царем черни, голытьбы — боярам, окольничьим, дворянам, гостям, всему, что стояло выше других и по породе, и по богатству, и по управлению, пришлось бы худо. Конечно, при такой беде оставалось боярам лучше отдаться полякам; по крайней мере, быть под властью иноземного принца все же лучше, чем под властью обманщика, и, еще хуже, сделаться жертвою черни. Притом же от поляков все-таки не было бы избавления. Опираясь на то, что московские люди так или иначе, а уже изъявили, волею и неволею, желание посадить на царство Владислава, поляки не пропустили бы случая овладеть Московским краем, Московское государство продолжало бы обливаться кровью. Калужский вор мог иметь временный успех, пагубный для знатных людей, но он не мог долго держаться; все-таки в конце концов Польша покорила бы Московское государство. Некоторые, по старой злобе на поляков, предлагали обратиться к шведам и избрать на московский престол шведского королевича; но эта партия не могла быть в Русской земле сильною: шведы были лютеране; в глазах многих они были еще ненавистнее для православия, чем католики; шведы недавно под Клушином дурно оправдали надежду на союз с

ними и на помощь от них; наконец, что важнее, шведы были далеко, а поляки и калужский вор стоят близко от Москвы, и шведы не могли бы спасти столицу. Другие говорили об избрании царя из русских родов; иные указывали на князя Голицына, иные на Романова. Мстиславский, казалось, более других имел права, но он мало того что отказывался от престола сам, да еще порицал вообще избрание царя из русских; он был из таких, которые боялись, чтобы внезапное возвышение одного рода над другими не возбудило междоусобия и зависти между родами; лучше казалось ему выбрать государя из иностранных царствующих родов. Невелико было число таких, что готовы были возвратить престол Шуйскому, но на это соглашался, однако, по отвращению к иноземщине, сам патриарх Гермоген; это показывают писанные им уже после того грамоты, где он увещевал признать снова царем сверженного Василия, а если уже нельзя было возвратить венец Шуйскому, патриарх все-таки был за то, чтобы его отдать не иноземцу, а своему православному, и склонялся более всего к избранию в таком случае Василия Голицына. Но против мысли об избрании царя из туземных родов сильно говорили обстоятельства: прежде чем успеют в

Москве собраться на дело избрания, Жолкевский будет под столицею. Москве, как говорит пословица, было — куда ни кинь, все клин. Неизбежно приходилось избирать польского королевича.

В таких обстоятельствах Мстиславский собрал бояр и дворян за город и начал представлять необходимость вручить корону Владиславу, но с тем, чтобы он принял греческую веру, а потому — послать к Жолкевскому и просить его скорее пособить против вора. Одни из угрожавших Москве врагов делались ей союзниками и могли избавить ее от других врагов: а это уже была выгода. Жолкевский подходил.

За милю от Москвы, на Сетуни, 23 июля утром, остановилось польское войско: передовой отряд приблизился к окраине города. Русские думали было, что это отряд из войска «вора» пробирается на другую сторону города, и начали стрелять, но скоро убедились, что это не те поляки, что служат вору, а другие, которых звала сторона Мстиславского. Тогда из польского отряда вышли вперед русские, их сейчас узнали соотечественники по одеждам; то были Иван Салтыков, Валуев, сдавшийся в Цареве-Займище, Мосальский и другие. Когда они подошли к московским людям и начали по русскому обычаю целоваться, то

поляки заметили, что они плакали. Но их нежные излияния прервала тревога в Москве: с той стороны, где стоял вор, поднялся пожарный дым — загорелся кирпичный завод, его зажгли сапежинцы; пожар распространился по предместью, и под такую суматоху воровское войско шло на приступ к столице. Мстиславский обратил силы против этого нападения, которое, казалось, было сделано с расчетом на то, что Жолкевский хотя и не для одних целей, а будет невольно оказывать помощь названому Димитрию, и хотя и во имя Владислава, а все-таки нападет на ту же Москву, на которую нападет вор. Сам Мстиславский пришел в недоумение и послал к Жолкевскому сына боярского Федора Телушкина выведать: чем гетман пришел для Москвы — другом или врагом?

— Князь, — говорил Телушкин, — готов согласиться с тобою, пан гетман, но вот воровы люди подступили под Москву; если ты пришел с добрым делом, то помоги против вора или пошли сказать пану Сапеге, чтобы он перестал наезжать на Москву и жечь ее; по крайности, когда мы станем отбиваться от воров, королевское войско пусть не делает нам помехи.

Жолкевский отвечал: «Я пошлю сейчас к Сапеге приказ, чтобы он не нападал на Москву, но

помощи не дам, пока не окончится доброе дело в пользу моего короля, а после того я со всем моим войском буду оберегать Москву и от вора, и от всякого другого неприятеля».

Салтыков, находившийся при гетмане, с его дозволения отправился со своими московскими людьми оборонять столицу против вора[872].

Через несколько часов после отъезда Телушкина прибыли к гетману посланцы от названого Димитрия, некто Янишевский со товарищи; они привезли письмо к гетману от Сапеги. Просили не мешать им, Димитриевым людям, и запретить своему войску зачинать несогласия с ним.

— Я, — сказал гетман, — прикажу своим стоять спокойно и не подавать повода к ссорам.

Послы объявили, что Димитрий посылает их к королю, и просили у гетмана про́пуска. Они показали ему запись, которую давал Димитрий королю, где предлагал разные выгоды Речи Посполитой и уступал Северскую землю, но выражался об этом двусмысленно.

— Это ко мне не относится, — сказал гетман, — но я думаю, что о Северской земле написано не так, как следовало бы.

---

[872] Сноски: 872
Рук. И. П. Б. Hist. Pol, 31.

— Димитрий, — сказали послы, — хочет прислать вашей милости поминки.

— Я, — сказал гетман, — не имею на то поручения от его величества, не могу ни принять его поминков, ни слушать его посольства, а с Сапегою рад сноситься[873].

Жолкевский понял, что названый Димитрий не нужен Польше, но ему хотелось, чтобы между королевским войском и поляками, служившими у вора, не дошло до открытой вражды на глазах московских людей. Поэтому он писал к королю и просил обойтись милостиво с посланцами Димитрия и польского войска.

На другой день явился опять от Мстиславского посланец с письмом. Жолкевский сообразил, что время дорого и надо действовать решительно. Он отвечал:

— Сноситься письмами не время; пойдет письмо за письмом, на письма ответы, на ответы опять письма, — и конца этому не будет; пусть лучше съезжаются с нами бояре на переговоры.

После этого снова приехал посланец из Москвы, сын боярский Богдан Глебов, с известием, что бояре желают сойтись с гетманом и вступить

---

[873] Сноски: 873
Bibl. Krasin., B. 1, 6.

в переговоры; они просят назначить час. Жолкевский назначил для взаимных переговоров третий час после солнечного восхода, 25 июля, на большой дороге против Девичьего монастыря. Мстиславский, получив это известие, прислал вечером гетману на гостинец вишен и превосходных арбузов[874].

В назначенный час было первое совещание в разбитом для того нарочно, по московскому обычаю, шатре. С московской стороны избраны: князь Иван Троекуров с тремя товарищами, а с польской — двое панов, Балабан и Домарацкиий, львовский подстолий, и двое московских людей, передавшихся прежде полякам: Иван Салтыков, князь Юрий Хворостинин, уже пожалованный Сигизмундом в воеводы рославские, и Валуев. После обычных приветствий Домарацкий сказал так:

«Московское государство просило его величество короля оказать ему в бедах помощь, теперь настало время исполнить ваше желание; нетрудно вам получить милость его величества, о которой вы умоляли».

Домарацкий ни слова не говорил о Владисла-

---

[874] Сноски: 874
Bibl. Krasin., B. 1, 6.

ве.

Московские уполномоченные говорили: «Все Московское государство только и желает, чтобы иметь государем королевича Владислава, и надеется, что под его правлением снова наступит золотое время для Московского края… но с тем, чтобы он принял православную веру греческого закона».

Поляки слишком считали себя победителями и завоевателями, а потому недружелюбно принимали вообще предложения условий. Домарацкий заметил, что это надобно предоставить самому королевичу, — невозможно насилием заставить его отрекаться от римско-католической веры!

Бояре решительно повторили, что королевич не может быть царем, если не примет греческой веры.

Домарацкий, чтобы не довести до ссоры на первый же раз, сказал, что об этом надобно поговорить главным боярам с самим гетманом. Балабан был сам греческой веры и уверял их, что святая вера не будет нарушена. Его голос тогда успокаивал московских людей и располагал к согласию[875].

---

[875] Сноски: 875
Bibl. Kr., B. 1, 6.

Во время переговоров издали стояла большая толпа московских дворян. Когда совещатели стали расходиться, подошли они и объявили громогласно: «Мы все желаем, чтобы царем нашим был Владислав, и надеемся, что в Московском государстве водворится тишина и благоденственное житие. Но только наш новый царь непременно должен быть греческой восточной веры».

5 августа был съезд у Мстиславского и его товарищей с Жолкевским. Дьяк Василий Телепнев принес изготовленный договор, свитый в трубку, и стал читать. Гетман и паны возражали на некоторые статьи, говорили, что не имеют на то королевского приказа. Потом съезжались в следующие дни, но на этих съездах не могли столковаться. Русские настаивали, что Владислав должен принять греческую веру. Поляки указывали на договор, заключенный Салтыковым еще прежде с королем Сигизмундом: там того не было; но этот договор не мог иметь теперь силы, когда его заключали люди, никем не уполномоченные и не имевшие той верховной власти, с какой выступали теперь бояре. Патриарх Гермоген, с которым бояре советовались, говорил так: «Пусть будет королевич царем, если оставит латинскую

ересь и примет христианскую истинную веру греческого закона, а если не так, то мы не только не благословляем вас, а еще наложим на вас клятву». Сообразно этому поучению архипастыря, бояре говорили Жолкевскому одно и то же и три недели не могли с ним сладить. Жолкевский не соглашался поставить это обстоятельство непременным условием избрания Владислава. «Если королевич будет царем и по совести будет иметь желание, и польза государства того потребует, то он может тогда переменить веру, иначе нельзя насиловать совесть!» Так говорил Жолкевский. Бояре же, заботясь о целости веры, хотели, сверх того, поставить условием, чтобы, принявши греческую веру, Владислав женился на русской, не сносился с папою о вере и установил смертную казнь всякому, кто перейдет из православия в латинство: последнее было предупреждением иезуитской пропаганды, которая неизбежно ворвалась бы в Московскую землю. С этою целью русские хотели еще, чтобы Владислав, приехавши в Россию, не допускал к себе поляков и чтобы при нем не было более трехсот человек приезжей свиты. С терпением и хладнокровием переносил все Жолкевский, не сердился, не выходил из себя, когда москвичи являлись на совещания с каки-

ми-нибудь отменами или добавками против того, на чем сходились с поляками на предшествовавшем совещании. Жолкевский только не уступал им и в письмах своих к королю жаловался, как тяжело вести дела с таким упрямым и хитрым народом. «Из всего видно, — писал король Жолкевскому, — что этот народ хочет нас надуть; он ведет себя не так, как то прилично в его положении, не так, как народ, утесненный несчастиями, а как будто совершенно свободный народ, предлагает нам такие условия, какие считает для себя выгоднейшими. Это совсем не то, что было под Смоленском условлено. Нам важно дозволение строить костелы в их государстве, и это мы уже выговорили прежде. Будьте осторожны, не дайте провести себя; и если ничего не сделаете убеждением с теми, которые себе самим или другим, мимо нас, желают государствования, то придется действовать силою и быстротою». Кроме вопроса религиозного спор долго шел по вопросу о власти в пограничных городах. Жолкевский настаивал, чтобы там были польские начальники и гарнизоны. Это казалось нужным, чтобы поляки могли владеть Московским государством. Но москвичи упорствовали. Причиною упорства в этом случае был также и страх за вотчины и поместья, кото-

рые были в уездах, подчиненных тем городам, где должны быть поляки, и, кроме того, боялись, что таким образом иноземцам будут доставаться выгодные места в ущерб московским служилым людям, которые бы могли с этих мест кормиться. Несколько раз писали и переправляли статью об этом предмете. То гетман составит — Москва не принимает, то Москва предложит свое — гетман не хочет. Гетман писал об этом королю и просил обсудить, можно ли сделать москвичам в этом уступку. После нескольких дней споров об этом вопросе 10 августа явилось к Жолкевскому человек пятьсот; впереди был князь Черкасский, и он держал речь к гетману: «Под Смоленском король обещал нам, что вотчины и поместья наши будут за нами свободны. Как же они будут свободны, когда чужой в городе будет?» Тут прибыл к гетману с письмами от короля и подканцлера Андронов; из этих писем гетман увидал, что королевское правительство расположено к уступке, соображая, что иначе пришлось бы действовать оружием, а войска недостаточно и Смоленск еще не взят. Тогда гетман сказал москвичам:

— Хорошо, будет по-вашему, только уже больше отнюдь ничего не изменяйте и не прибавляйте!

Так в этот день, по-видимому, все было по-

кончено, но, когда князь Черкасский со своими товарищами воротился в Москву и сказал обо всем патриарху, Гермоген и за ним духовные стали упорно требовать крещения Владислава. Тогда произошла такая сумятица, что, как рассказывали потом Жолкевскому москвичи, патриарха обругали, а его попов чуть не прибили, тем только они и спаслись, что ушли в церковь. Настойчивость Гермогена, однако, продлила переговоры. 13 августа явился к Жолкевскому дьяк Телепнев, стал требовать крещения Владислава и отступления польских военных сил от Смоленска. Жолкевский уперся и объявил, что более не дозволит ни малейшей перемены, ни добавки, и не станет входить в переговоры, потому что все уже покончено[876]. Прошло еще дня три. Москвичи, побуждаемые Гермогеном, все еще домогались своего; гетман был нем и глух к их домогательствам, но дал заметить, что если они не согласятся и станут протягивать время напрасно, то польский военачальник должен будет прибегнуть к силе, чтобы покончить дело. Упорствовать далее нельзя было, меряться силою с Жолкевским Москва не могла, особенно когда

[876] Сноски: 876
Bibl. Kr., B. 1, 6.

на другой стороне стояло полчище вора, которое очень легко могло действовать вместе с войском Жолкевского. Но и Жолкевский нуждался в скорейшем окончании дела. Уже оставалось только пять недель до истечения четверти жалованья войску. Гетман созвал к себе ротмистров и спросил: будут ли они служить, если бы последовали на некоторое время задержки в уплате следующих денег? Ротмистры, посоветовавшись с товарищами в собранном коло, известили гетмана, что не намерены служить без жалованья. Тогда Жолкевский увидел, что хоть москвичи и в стесненном положении и должны так или иначе уступить польскому военачальнику, но и польский военачальник, со своей стороны, должен немного быть уступчивым, чтобы скорее покончить дело[877].

Между польским лагерем и Москвою образовалось торжище. Московские посадские расставили лавки и стольцы, продавали полякам товары всякого рода; иные поляки даже ходили в город. Забияки из пестрой шайки калужского вора пытались прервать это сообщение и много раз задирались с поляками Жолкевского; доходило

[877] Сноски: 877
Pisma Żołk., 76.

даже до убийства. В самой столице чернь волновалась со дня на день все больше и больше: беспрестанно разносились по Москве зловещие угрозы, что царик нападет завтра, ударят в колокола по всем церквам, отворятся ворота царику. Только с помощью Жолкевского можно было избавиться от таких врагов. Но Жолкевский изъявлял готовность помочь Москве только тогда, когда Владислав будет признан окончательно и утвердительно царем московским.

При таких обстоятельствах наконец 17 августа съехались на Девичьем поле трое главнейших бояр: князь Федор Иванович Мстиславский, кн. Вас. Вас. Голицын, кн. Данило Иванович Мезецкий и двое думных дьяков: Василий Телепнев и Томило Луговской. Эти-то люди и приняли на себя обязанность решить судьбу отечества. Они заявляли себя уполномоченными от всей земли, от патриарха и всего духовенства (митрополитов, архиепископов и епископов, архимандритов, игуменов и всего Освященного собора), бояр и всех светских сословий, как служилых, так и жилецких (по приговору всех бояр, и окольничих, и стольников, и дворян, и стряпчих, и жильцов, и дворян из городов, и голов стрелецких, и всяких приказных людей и детей боярских, и гостей,

и торговых людей, и стрельцов, и казаков, и пушкарей, и всех чинов служилых и жилецких людей). По правде сказать, участие всей земли, заявленное ими, было на словах, а не на деле: выборные от всей земли не съезжались и не могли съехаться в Москву.

Самозванно-уполномоченные заключили с Жолкевским договор на таких условиях: русская земля (то есть патриарх со всем духовенством и все светские чины) должна послать к Сигизмунду посольство с просьбою дать на московский престол сына своего Владислава в цари. Новый царь обязывался венчаться на царство от московского патриарха; царствуя над Московским государством, почитать, украшать и охранять церкви, не отнимать от церквей и монастырей имуществ, не прекращать даваемые прежде в монастыри и церкви царские жалованья, руги и оброки; поклоняться иконам и мощам; оставлять в прежнем виде духовенство греческой веры; не ставить в Московском государстве римских костелов и других вер молельных храмов; не дозволять насилием и другими какими бы то ни было мерами отводить русских православных в латинскую или в другую веру и не вмешиваться в духовные дела.

Поляки не могли выговорить даже одного костела для приезжих в Москве; в договоре сказано было по этому поводу, что о том у государя будет совет с патриархом, с духовенством, с боярами и думными людьми. Вместе со страхом католичества был у русских страх жидовства; в договоре постановлено: жидов отнюдь не допускать в Московское государство. Здесь, кроме набожной ненависти, отчасти сказывалась и боязнь торговцев, чтобы евреи не сделались их соперниками. Всем боярам, окольничим, дворянам, думным дьякам, придворным чинам, чашникам, стольникам, стряпчим, также дьякам и приказным людям по всему государству быть следует непременно русскими; полякам и литовцам не давать вовсе никаких правительственных должностей, ни старост по польским обычаям; но дозволялось, однако, тех из поляков и литовцев, которые будут при особе Владислава, жаловать денежным жалованьем и поместьями в Московском государстве, потому что и прежде было в обычае принимать иноземцев в царскую службу и давать им поместья на праве детей боярских. Не следовало допускать перехода целых поселений в Московское государство из Польши и из Литвы, а также не посылать туда на поселение русских

самовольно. Владислав не имел права изменять московских обычаев, чинов и сословий, а должен оставить их в таком виде, в каком застал; поэтому он не мог отнимать вотчин, поместьев и жалованья или убавлять; также должен был оставить суд по Судебнику и по прежним обычаям; не должен был отнимать дворов и имуществ, не разводить никого с семьями, без суда никого не казнить, не посылать в заточение и не отнимать чести. Почти во всех делах власть его была ограничена: по управлению — боярами и думными, по законодательству, кроме того, думою всей земли. Так, дела, касающиеся имений, раздачи жалованья, наказаний, отнятия поместий, вотчин и жалованья, а также прибавки налогов и положения казаков на Дону, на Волге, на Яике и Тереке, — все такие дела вершить должно было с приговором бояр и думных людей, а если нужно окажется изменить что-нибудь в законах или судопроизводстве, то не иначе как думою бояр и всея земли. Бояре, заправлявшие тогда всем делом, старались удержать свою власть над земледельцами, жившими на их землях, и потому поставили в договоре условие, чтобы крестьяне не выходили в Литву, ни промеж себя в Московском государстве не переходили от одного владельца к другому,

и вообще бояре, дворяне и люди всяких чинов, державшие крепостных людей, сохраняли бы свое право по-прежнему. По отношению к Польше и Литве постановлено, чтобы между этими государствами и Московским государством был сохраняем с обеих сторон нерушимый мир, и обе стороны обязаны стоять против взаимных недругов, а против татар держать на границах войска обеих союзных держав. Было постановлено полное прекращение всех споров и счетов по поводу убийств русских поляками и поляков русскими в протекшие смуты, начиная с «расстриги», и все пленные с обеих сторон должны быть отпущены без выкупа. Поляки вместе с московскими людьми должны взаимно стараться уничтожить вора, который называл себя Димитрием, и Жолкевский обязан был действовать против него вооруженными силами, а после уничтожения его шаек выйти из Москвы, отойти с войском к Можайску или в другое место, по договору с боярами, и там ожидать возвращения послов, отправленных к Сигизмунду с просьбою о присылке сына на царство; в продолжение того же времени, когда войско польское будет нужно для Москвы, не впускать никого в город без боярского позволения иначе, как для покупок с проезжими листами,

и то человек по двадцати с небольшим. С другой стороны, Жолкевский должен был упросить Сигизмунда, чтобы он перестал делать тесноту Смоленску и снял осаду. С принятием Владиславом царства Марина Мнишек должна потерять звание царицы, а польское правительство должно было отвезти ее из Московского государства в Польшу. И в этот раз было домогательство о крещении Владислава, и опять Жолкевский не отрицал совершенно возможности такого крещения, но отговаривался тем, что ему не дали о том указания, а он со своей стороны будет об этом просить короля[878].

Но недосказанный вопрос составлял все главное для народа. Бояре, возвратившись в Москву, утешали себя тем, что все-таки упомянули о крещении Владислава в греческую веру в договорной записи, но худо было, что они только упомянули, надо было решить: без этого договор не мог иметь важности.

Нельзя не видеть, что этот договор составлен в духе боярском и под польским влиянием. Ограничение верховной власти, выраженное в формах, напоминающих строй Речи Посполитой, обли-

---

[878] Сноски: 878
Собр. г. гр., II, 391.

чает это влияние. Поляки не требовали, чтобы Владислав был самодержавен; они отнюдь не спорили за полноту его власти, тогда как упорно охраняли его католичество. Если бы русские не показали охоты предписать своему избираемому царю условий, то сами поляки не допустили бы принцу из своего королевского дома получить неограниченную власть в соседней стране, при своей всегдашней боязни монархической власти, опасаясь, чтобы это не имело пагубных последствий для них самих. Здесь влияние польского духа сходилось со стремлениями и тех русских, которые заключали договор. Как ни самодержавно было Московское государство, но в нем были, правда, слабые, признаки нерасположения к самодержавной власти, хотя уже давно сдавленные силою, опиравшеюся на большинство народа. Отчасти эти признаки поддерживались преданиями старины, отчасти выказывались возникавшей потребностью введения иных порядков в Московское государство; нельзя сказать, чтобы существовала пропитанная таким духом партия в точном смысле этого слова; тогда не могло образоваться у людей стройных политических убеждений: люди изменялись сообразно обстоятельствам; понятия не слагались так по-

следовательно, чтобы один, разделяя с другим известную мысль, разделял с ним и другую, с нею сродную. Но жизнь русская, как ни крепко срослась с самодержавием в форме Московского государства, не рассталась вполне с воспоминаниями древнего строя. Потомки удельных князей знали о своих предках, что они были независимыми владетелями; невольная тяжесть должна была закрадываться им в душу, когда они размышляли, что сами они стали не более как холопи московских государей: если независимость уделов была уже для них невозвратима, то все-таки в общем слитии русских земель им хотелось бы занимать свободное и властительное место; также и боярам должно было еще приходить на память, что их предки и вообще те, которые носили одинаковое с ними название, составляли свободное сословие земледержателей и были вольными людьми, что князья не властны были произвольно распоряжаться их вотчинами и держать их против воли у себя на службе. Правда, единодержавие, вековым обычаем заглушая живость этих воспоминаний, достигло, по-видимому, самого полного господства при Грозном, но именно в эпоху этого же государя обстоятельства оживили признаки потухшей старой жизни. Во

время младенчества этого государя неизбежно, по ходу обстоятельств, возникло временно боярское правление, и те, которые уже из потомков вольных отцов сделались холопями, вдруг почувствовали в себе больше свободы и значения. Когда царь взрос, тотчас же показал самодержавные наклонности, но потом скоро, по поводу народных бедствий, оставивших на него впечатление, подчинился влиянию кружка лиц, руководивших им и ограничивавших его произвол. То был период славных дел Ивана, время завоевания Казани, Астрахани, побед над Крымом и Ливониею, издания Стоглава, Судебника, грамот, установлявших самосуд и самоуправление. Сам Иван в письме своем к Курбскому жаловался, что в это время он был под влиянием других и не чувствовал себя самодержавным; а Курбский, одно из лиц, в то время правивших поступками царя, оправдывал такое положение дел и высказывал понятие, что царь и должен управлять не иначе как по совету думных. Скоро Иван сверг эту опеку; он захотел не только сам быть самодержавным, но и утвердить единодержавие на будущие времена твердо и непоколебимо. Он начал ломать все, что только казалось противным единодержавию, все, в чем даже только подозревал независимость. Он

жег, казнил и мучил, свирепо истреблял целые семьи, осудил на бойню Новгород за то, что с его именем соединялось много неприятных для единодержавия воспоминаний; он ставил свой произвол выше всего, заставлял самую церковь позволять ему то, чего дозволять она никому другому не должна была, и создавал себе новых слуг единодержавия, обязанных возвышением ему, а не породе, и в деле службы единственно по его воле действующих. Все казни сходили ему с рук, потому что меньшинство хотело ограничения самодержавия, а за самодержавие была вся громада народа, для которой противно было всякое разделение власти, чужда всякая сложность, взаимозависимость, — громада, которая нуждалась прежде всего во внешней безопасности и испытала веками, что только при власти единого можно сколько-нибудь ее достигнуть, покорялась этому единому безропотно, без размышления, поверяла его воле вечного промысла, для этого единого, избранного небом, хотела жить, ему принадлежать. Борис, правивший Московским государством при Федоре в качестве правителя, потом в звании царя, как воспитанник той эпохи, когда Иван укрепил единодержавие, продолжал его дело. Естественно было за полвека образоваться по-

колению, которое соображало свои поступки не по святости преданий, не по совести или по чувству долга, а по страху или ближайшим видам собственной выгоды; то было поколение холопей, показавших свое нравственное состояние больше всего добровольною службою ве́домому обманщику. Но вот Московская держава окончательно расшаталась. Пришлось решать участь земли своей. Естественно было склоняться в ту сторону, где было более пугающей силы и надежд на выгоды. Такою стороною была тогда сторона польская. Первое сближение с нею тотчас пробуждало уснувшие противосамодержавные побуждения. У бояр, которые теперь стояли на челе правительства, были опасные для самодержавия, горькие семейные воспоминания. Почти у всех покойные цари замучили родителей или ближних родственников. Сам Мстиславский помнил отца своего, насильно постриженного и замученного Борисом, помнил сестру свою, насильно постриженную в монастыре во цвете лет, и зятя царя Симеона, как говорили, ослепленного Борисом. Князь Воротынский, сидевший по воле Бориса долго в тюрьме, и князь Ив. Ник. Одоевский не забыли, конечно, ни своих собственных несчастий, ни своих знаменитых доблестями

отцов, вместе изжаренных Иваном Грозным. Салтыковы считали в своем роде Льва Андреевича с сыновьями, Никиту (отца жившего тогда Ив. Никитича) и Федора; Борис Мих. Лыков был сын почтенного доблестями и умом боярина Михайла Матвеевича, умерщвленного по приказанию Ивана Грозного; Шереметевы помнили дядей своих Ивана и Никиту; Куракины, Бутурлины, Головины считали в числе замученных Иваном своих ближних родных; Романовы и Нагие помнили страдания своего рода от Бориса. Очень естественно было пожелать им всем охранить себя и свои роды от подобного произвола на будущие времена. Естественно было воскреснуть прежним побуждениям отцов и дедов их. Обстоятельства располагали к этому; Московское государство входило в союз с Польшею, где ограничение монархической власти и свобода аристократического сословия были главнейшими признаками общественного строя.

Польша была московским думным людям достаточно знакома; некоторые бывали в этой стране и пригляделись к свободе тамошних панов, другие знали ее по рассказам. Как ни удалялись по наружности московские люди от Запада, но в то же время усиливалась потребность

сближения с ним и усвоения приемов западного просвещения. Иностранцы, говоря вообще дурно о нравственных качествах московских людей, отдают, однако, честь их дарованиям и любознательности некоторых. Несмотря на отсутствие средств к образованию, несмотря на то, что благочестие почитало образованность еретичеством, были люди широко образованные по тогдашнему времени. Князь Курбский, упоминая о жертвах Ивановых мучительств, насчитывает между ними нескольких знатных лиц, приобретших европейскую образованность; любопытен рассказ Маскевича, поляка, бывшего в это время в Москве и познакомившегося с окольничим Федором Головиным, который рассказывал, что брат его желал учиться иностранным языкам и нашел себе двух иноземцев — одного немца, для немецкого, другого поляка — для латинского языка. Эти учители должны были ходить к нему в русском платье, и он оставил после себя много книг и переводов. Таких примеров, конечно, был не один. О Филарете Никитиче говорит англичанин Горсей, что он составил для него учебную книгу латинского языка. Тогда учиться иноземным языкам и наукам, которые считались также мудростью иноземною, было опасно: сейчас со-

чтут еретиком, чернокнижником, отщепенцем от веры, а потому если кто, сообразно природным стремлениям к умственному труду и знаниям, хотел учиться, то должен был делать это тайно.

Когда царствовал именовавший себя Димитрием, его окружили и поддерживали люди, расположенные к западному просвещению: один из них, Иван Хворостинин, уже впоследствии, при Михаиле Федоровиче, пострадал за это предпочтение иноземщины и недовольство русскою стариною — за то, за что заслужил расположение Димитрия. Когда благочестивые хранители старины вопияли против всякой попытки изменить известный порядок, всякое знание считали грехом, всякого иноверца — хуже собаки, находились многие, которые хотели вырваться из этих нравственных уз. Замечательно, что Буссов, описывая дурные качества московского общества, укоряет его в пристрастии к иноземным обычаям. Московское государство в начале XVII века носило уже в недре своем Россию XVIII века — две противоположности, две крайности: неподвижность старинной буквальности раскола и легкое, раболепное увлечение западною иноземщиною высших классов. Все, что чувствовало тягость старины, искало освежения в западной циви-

лизации; оно готово было броситься в объятия полякам, и таких могло быть тогда немало, пока поляки не заставили их одуматься и повернуть назад.

II. Недовольство патриарха. – Присяга Владиславу. – Посольство польских приверженцев вора к королю. – Свидание Жолкевского с Яном Сапегою. – Бегство вора из-под Москвы. – Снаряжение московского посольства к королю

Заключенный договор бояре отправили на благословение патриарха; с ним пошли и те, которые были в тушинском лагере и первые подали Сигизмунду просьбу о Владиславе. То были: Михайло Салтыков и сын его Иван, князья Василий Мосальский и Федор Мещерский, Михайло Молчанов, Григорий Кологривов, Василий Юрьев; они подошли к патриарху просить благословения. Патриарх, нахмурившись, сказал: «Если в намерении вашем нет лукавства и вы не помышляете нарушить православную веру и привести в разорение Московское государство, то пребудет на вас благословение всего собора

четырех патриархов и нашего смирения, а иначе — пусть ляжет на вас клятва от всех четырех православных патриархов и от нашего смирения, и вы будете лишены милости Бога и Пресвятыя Богородицы и приимете месть от Бога наравне с еретиками и богоотступниками». Михайло Салтыков начал плакать и уверять, что в нем нет лукавства, что он жизнь готов положить за православную веру. Патриарх наконец благословил всех, кроме Михайла Молчанова, убийцы Борисова сына, игравшего недолго роль второго Димитрия. Патриарх всенародно крикнул на него в церкви: «Окаянный еретик! Ты недостоин войти в церковь Божию! Прочь отсюда!»

После договора началась присяга. Она происходила на Девичьем поле. Там были раскинуты шатры, обе стороны старались как можно роскошнее и праздничнее устроить это важное дело. Перед убранным налоем присягнули в соблюдении договора гетман, а потом польские военачальники за короля, королевича, за всю Речь Посполитую и за ее войско. Потом двое архиереев приводили к присяге русских бояр; за ними присягали служилые люди, гости, а потом уже множество всякого народа. Присяга не окончилась одним днем; на другое утро

большой кремлевский колокол созывал народ в собор, потом несколько дней повторялось то же; приводили к ней московских людей бояре и дворяне в присутствии отряженных для того Жолкевским поляков. Сверх того в разные города разосланы были дворяне и дети боярские для приведения к присяге городов с их землями. В окружной грамоте, разосланной Мстиславским по городам, объяснялось, что после низведения Шуйского был вызов выборных людей под Москву, но до сих пор никто из них не явился, а между тем гетман Жолкевский стоял под Москвою, и при нем русские люди с Салтыковым, — поэтому все духовные и мирские люди всего Московского государства присудили просить на царство Владислава, королевича польского, но с тем, чтобы он принял греческую веру. Везде присягал обманутый таким образом народ, и присягал в уверенности, что Владислав примет греческую веру. Присягать на верность царю католического вероисповедания никто не был расположен на Руси, кроме таких, для которых важнее и дороже всего на свете были их личные выгоды. Но как ни много было тогда склонных ко всякого рода обманам, вынуждаемым страхом или выгодами, вера и для них была такая святыня, за которую и

они преображались в доблестных героев.

В продолжение переговоров вор и его шайка не делали нападения на Москву. Дожидались, чем окончится посольство к королю. Гетман очень дорожил добрым согласием с Сапегою и своими соотечественниками воровского табора. Когда они жаловались, что тотчас по приходе гетмана царское войско сделало нападение на Москву, а Салтыков был в ней посланным от гетмана, Жолкевский не только запирался и уверял, что Салтыков ходил без его дозволения, но еще соглашался, что Салтыков за это достоин наказания, и только по настоящим обстоятельствам следует ему простить. Гетман просил ждать, что привезут от короля посланцы; уверял, что не приступит ни в каком случае к решительному делу с Москвою без совета с паном Сапегою, а о воре отзывался в ответе своем с уважением и титуловал его царским величеством[879].

Это посольство воровского табора держало под Смоленском переговоры в первых числах августа. Вор прислал королю письмо и просил не мешать ему покорить Москву и за это делал лестные обещания: «Мы, — писал он, — прини-

---

[879] Сноски: 879
Рук. И. П. Б., 31.

маем на себя и ручаемся нашим царским словом, как только овладеем столицею, тотчас заплатить в казну Речи Посполитой триста тысяч, потом в течение десяти лет будем платить каждый год по триста тысяч зл[отых], сверх того должны будем в течение этого времени платить королевичу каждый год по сто тысяч зл., обещаем на наш собственный счет возвратить Короне Польской Ливонию, обещаем помогать казною нашею польскому королю в приобретении шведской короны, и пока будет продолжаться эта экспедиция, доставлять ему способных к битве из нашего народа до пятнадцати тысяч, и, кроме того, обязуемся помогать против каждого неприятеля. Относительно недоразумения, которое возникло между нами и королем польским по поводу Северской земли, мы не отрекаемся от того, чтобы, севши с Божией помощью на престоле предков наших, уговориться об этом через своих великих послов, дабы показалось, что кому принадлежит по справедливости». Паны в королевском совете рассудили, что странно было бы оказать помощь вору в овладении Москвою, когда та же Москва готова отдаться Польше; притом нашли, что бесчестно будет для короля помогать человеку неизвестного рода, не царской крови, да притом

не видно, чтоб в Московском государстве была у него большая сторона. Призвали послов, сообщили им это и заметили, что неприлично им являться от обманщика к королю.

— Мы не запираемся, — сказали послы, — что человек, который себя называет Димитрием, неизвестно кто таков, но вы знаете много примеров, когда Бог возвышал людей из низкого звания, как, например, Саула и Давида. Что спрашивать: кто он и откуда он? Мы отвечаем: орудие Божие он! Счастлив, кто не противится воле Божией.

— Что вы сравниваете вашего вора с Давидом! — сказали паны. — Это мерзко и гнусно. Вор обещает то, чего отдать не может. Что нам с ним толковать, когда Москва присоединяется к нам посредством избрания Владислава и присягает ему добровольно! Вы оставьте ваше дело, служите королю своему, а не вору, а иначе вам придется вести войну и с нашим, и с московским войском.

— Бояре, — сказали послы, — хоть и сносятся с гетманом об избрании Владислава, а попробуйте заикнуться им насчет уступки московских провинций Польше. Увидите, что они скажут! Более будет вам славы, если посадите на престол человека неизвестного, просящего о спасении. Весь свет этому изумится. Князь московский будет

данник Польши, чего не было ни слыхано, ни видано. Разве мало пользы — такое царство держать в неволе? Надобно эту птичку подщипать! Наш теперь не может явно уступать земель, пока не сядет на престоле, а то Москва от него отойдет. Но ведь Рязанская и Северская земли уже нам отданы с позволения бояр, находящихся при Димитрии; следовательно, эти земли теперь уже в руках у поляков и не могут быть отняты. Москва крепче будет во власти Польши с Димитрием, чем с Владиславом. Московский народ привык жить под рабством. Ему нужно именно такого царя, как наш, а не Владислава; он все сделает, что наш ему велит, он привык повиноваться одному. Владислава принимают на царство с условиями и держать будут на царстве с условиями, а Димитрия мы посадим на престол без всяких условий, и он все будет делать для Польши.

— Правда, — сказали паны, — народ московский любит рабство и не терпит свободы, готов переносить всякое тиранство, но только от своих природных государей, а не от воров. Пример мы видали на первом воре. Если возвести вашего нового вора, то надобно вести войну; а не думайте, чтобы можно было легко усмирить и покорить такое пространное государство. А Владиславу оно

добровольно отдается.

После таких рассуждений послы объявили, что поляки, служащие у названого Димитрия, отойдут от него, только пусть им дадут ассекурацию на сумму, составляющую двадцать четвертей, с удержанием в залоге Северской и Рязанской земли: эта сумма должна им выплатиться по занятии Москвы поляками, а если не случится Польше удержать за собою Московское государство, то пусть им заплатят из коронных доходов по 30 злотых на конного воина, считая войско вышедшим в числе девяти тысяч, а на будущее время по состоящему в наличности числу 6200; сверх того единовременно по 10 зл. на конного; пусть король простит им все инфамии, к которым многие были присуждены прежде за разные преступления в отечестве; пусть король примет в милость также донских казаков и наделит их жалованьем из московских доходов.

Им отвечали: «Невозможно платить вам из коронных доходов за то, что вы, без воли Речи Посполитой, нарушая народные права, вторгнулись в чужое государство и служили у обманщика. Условия могли бы предложить вы, если бы за вами была какая-нибудь сила, а у вас ее нет, и вы ничего не сделали, не завоевали Москвы, да и

Рязанской и Северской земли еще не заняли, хоть и хотите взять в залог».

Послы воротились неудовлетворенными. Но 13 августа Жолкевский, вообще не желавший раздражать соотечественников, послал им ассекурацию, в которой обещал служившим у Димитрия уплату за прежнюю службу наравне с теми из их братии, которые прежде перешли в королевское войско и сражались под Клушином, если и они, как те, теперь же примкнут к королевскому войску[880].

Эта ассекурация не успокоила поляков воровского табора. Они снова затевали напасть на столицу. Их располагало к этому то, что они слышали: черный московский народ склонялся лучше покориться тому, кто носил имя их природного царя, чем полякам. Странно покажется, каким образом тушинский царик мог снова иметь много сторонников и внушать страх после того, как вся Русь так крепко восстала против него за поблажку полякам и дружно содействовала Михайлу Скопину-Шуйскому. Между тем теперь не только московская чернь, но и города стали склоняться к обманщику. Девятнадцатого авгу-

[880] Сноски: 880
Bibl. Kras., B. 23.

ста приезжали в его обоз с повинною от Суздаля, Владимира, Галича, Ростова. Сам вор вовсе не был, как прежде, предприимчив и самоуверен; он помнил Тушино. Теперь в его стане московские люди против него волновались, видимо, хотели предать его, и в тот самый день, когда к нему пришли с поклоном от нескольких городов, он убежал из обоза в Симонов монастырь, оттуда хотел бежать подальше, но Сапега послал к нему маршала и уговорил не терять мужества; названому Димитрию Сапега обещал свое содействие, уверял, что поляки ни за что не покинут его, и если он не верит своим москвитянам, то пусть окружит себя одними поляками.

Бояре узнали о замыслах в воровском таборе и упрашивали Жолкевского, чтобы он отвел поляков от вора и расправился с ним окончательно оружием заодно с москвичами. Гетман послал на письме такой совет Сапеге. Последний собрал в коло своих полковников и ротмистров; прислал к ним и вор своих двух — Ивана Грекова и Нехорошего. Рыцари дали Жолкевскому ответ, в котором повторяли уже много раз сказанное ими, что их привела в Московскую землю любовь к славе, а об избрании королевича Владислава выразились так: «Мы радуемся, что королевичу его милости

отдалась столица, только не знаем, будет ли какая-нибудь польза от этого отечеству; а мы, вошедши в эту землю защищать справедливые права их величеств царя и царицы и сделавши для них много хорошего, не посрамим славы своего народа, не отступим от царя, и ни на что вы нас не согласите без его воли».

После такого ответа гетману ничего не оставалось, как идти с оружием против своих. Когда увещания не брали, он двинул 25 августа войско свое, обогнувши Москву. Мстиславский вывел к нему пятнадцать тысяч на помощь. И Сапега со своей стороны вывел против них свое войско. Готово было, в виду побежденных москвичей, вспыхнуть междоусобие у победителей. Жолкевский, чтобы не допустить до такого соблазна, хоть и принял воинственный вид, но послал еще раз к Сапеге и приглашал его на свидание с собою. «Я ничего такого не сделал, — говорил Жолкевский, — что бы послужило во вред приобретенным кровью правам пана Сапеги и его рыцарства».

Двадцать шестого августа Сапега выехал, и Жолкевский к нему выехал. Оба войска стояли друг против друга, ожидая, чем кончатся переговоры вождей.

Сапега сказал Жолкевскому: «Я было хотел составить генеральное коло, чтобы соединить оба войска, польское и царское, и привести к согласию, но помешали этому ваша милость, пане гетмане, выступивши со своим войском против своей братии».

Гетман хотел убеждать Сапегу и доказать ему несправедливость стороны, которой он держится, но Сапега перебил его и сказал: «Я не могу входить в разговоры с вами, прежде извольте приказать вашему войску отступить, а то, видите, уже начинаются герцы между нашими и вашими».

Жолкевский дал знак — войско отодвинулось; то же сделал и Сапега. Жолкевский и Сапега разговаривали, сидя на конях, в поле, вдали от войска; около них разъезжали полковники. Сперва было вожди не поладили и уже стали разъезжаться, но потом съехались снова, поговорили и порешили: Сапега не станет мешать Жолкевскому и, следовательно, своему королю; Жолкевский, со своей стороны, постарается, чтобы царик был обеспечен и удовлетворен, но, главное, Жолкевский обещал удовлетворить рыцарство.

Вожди разъехались. Вечером в тот же день Жолкевский прислал Сапеге на письме условие о царике. Именем короля своего коронный гетман

обещал называющему себя Димитрием Самбор или Гродно с дозволения Речи Посполитой, если Димитрий окажет желание быть довольным этим. Рыцарство Сапеги собралось 26 августа, и генеральное коло порешило, что оно согласится поладить с коронным гетманом и оставить Димитрия, если только вознаградит король войско за ту службу, — которую оно прослужило Димитрию.

Послали от генерального кола к названому Димитрию двух — Быховца и Побединского, которые так ему говорили: «Король вашей милости дает Самбор или Гродно, что сами выберете; соглашайтесь, ваша милость, приступить на договор с гетманом, а то, видите, уже столица отдалась королевичу; трудно завладеть столицей».

Чрезвычайно оскорбительно должно было показаться вору это предложение, особенно после того, как он сам недавно хотел бежать, а его останавливали поляки и обещали стоять за его права. Говорят, в порыве первой досады он сказал: «Да лучше я буду служить у мужика и кусок хлеба добывать трудом, чем смотреть из рук его величества!» Жена его в раздражении сказала тогда этим депутатам: «Пусть король Сигизмунд отдаст царю Краков, а царь ему из милости усту-

пит Варшаву».

Боярское правительство тотчас вошло в приязненные отношения с Сапегою, послало к нему боярина Нагого и просило привести русских людей, находившихся у него в ополчении, к присяге Владиславу.

Царик думал было еще держаться подле Москвы и заперся в Угрешском монастыре[881].

Тогда гетман выпросил позволение у бояр пройти с войском через Москву: он хотел захватить вора в монастыре. Но вор не попал впросак: какой-то изменник москвич предупредил его, и он убежал вместе с женою, женскою прислугою и с казацким атаманом Заруцким, в сопровождении отряда донцов, в Серпухов, а потом в Калугу; не успели почти ничего увезти с собою. Жолкевский воротился назад на Девичье поле. Этот проход через Москву внушил тогда доверие к полякам. Войско, вошедши в столицу, не воспользовалось входом и не захватило ее. Бояре, бывшие при названом Димитрии, прибыли в Москву и присягали Владиславу. То были Михайло Туренин, князь Федор Долгорукий, князь Алексей Сицкий, князь Федор Засекин, Александр Нагой, Григорий

---

[881] Сноски: 881
Zycie Sap., II, 223.

Сумбулов, Федор Плещеев, дьяк Петр Третьяков и другие.

Пиры сопровождали изгнание вора. Двадцать девятого августа Жолкевский у себя в лагере угощал роскошным обедом бояр и дворян, а в заключение, по обычаю века, всех от мала до велика наделил подарками — кому коня, кому саблю, кому чашу подарил; за недостатком своего он брал у ротмистров и дарил москвичей. Через несколько дней, 2 сентября, князь Мстиславский угощал у себя в столице гетмана и многих польских военачальников. Обед этот, по свидетельству очевидца, происходил в трех комнатах собственного дома Мстиславского, и тут-то русские перед поляками щеголяли своими медами, которых поставили множество сортов, и своими соболями, которыми, по обычаю, дарили гостей. С Сапегою последовало, по-видимому, согласие; на коле генеральном, 31 августа, сапежинцы положили оставить вора, сойтись с Жолкевским, но с тем условием, чтобы он дал им от имени короля ассекурацию в уплате жалованья и вместе с тем обязался защищать их как равных себе, если бы король не признал гетманской ассекурации. Положили ждать уплаты до Михайлова дня в сентябре. Наконец, по освобождении Москвы от

воровского полчища, Жолкевский потребовал от бояр, чтобы русские отправили к Сигизмунду посольство, как было постановлено вначале. Это посольство должно было состоять из выборных всей земли, от всех чинов народа. Заправлял всем польский гетман. К нему тогда подделался было Василий Голицын, человек хитрый, двоедушный, умевший обмануть. Он прикинулся ревностнейшим сторонником польского господства, разливался слезами и говорил: «Мы будем просить королевича, чтобы он принял греческую веру, но хоть он не примет, мы все-таки будем ему прямить. Мы ему крест целовали. Он наш государь». Это понравилось гетману, и он писал королю, что Голицын добрый и надежный человек. Гетман поручил ему набрать товарищей, и Голицын подобрал себе таких, что хотя они казались представителями земли русской, но в сущности приняли свои обязанности по воле Голицына. Гетман настоял, чтобы ехал в числе послов митрополит Филарет. Ему хотелось удалить из Москвы этого опасного человека и иметь в руках своих. Гетман слышал, как тогда уже поговаривали, не выбрать ли в цари Филаретова молодого сына, Михаила. Желание гетмана в этом случае было, однако, согласно и с желанием

патриарха. Бояре собрались на совет в Кремле и, сообразуясь с волею гетмана, назначили послами: из духовенства — митрополита Филарета, из бояр — князя Василия Васильевича Голицына, из окольничих — князя Данила Ивановича Мезецкого, из думных дворян — Василия Борисовича Сукина, из думных — дьяков двух: Томилу Луговского и Сыдавного Васильева, бывшего в прошлый год в Швеции, десять человек стольников и думных дворян, 41 человек дворян из городов, по большей части по одному из города и из немногих, именно из тех, которые были на театре войны с Польшей, по два из Смоленска, Вязьмы, Дорогобужа, Брянска да по два из двух новгородских пятин; сверх того назначен был один стрелецкий голова, девять подьячих, один от гостей, пять торговых людей и семь человек стрельцов; с ними была свита провожатых и людей посольских 293 человека, как будто бы представлявших другие сословия. Это посольство получило наказ, в котором возобновлялись требования, отклоненные временно Жолкевским, чтобы Владислав непременно крестился в греческую веру, и при этом указывалось, у кого ему принимать крещение, именно у митрополита Филарета, притом прежде своего прихода в Моск-

ву, чтобы его можно было встретить патриарху и всему духовенству со крестами и чудотворными иконами; требовали, чтобы, царствуя в Москве, новый царь женился на православной, чтобы не ссылался с папою о вере, не принимал от него благословений и чтобы в свое царствование не допускал в Московское государство учителей римской веры. За отступление от веры в католичество русских, какого бы звания они ни были, следовало казнить смертью, а их имения и имущества брать на государя; требовалось также, чтобы новый царь не приводил с собою много поляков. Относительно веры послам не дозволялось входить в состязание с духовными по религиозным вопросам, а велено настаивать на том, что все прежние государи были греческой веры, и указывать на пример самого Сигизмунда, который, быв прежде протестантом, восходя на престол польской католической страны, принял, однако, римскую веру; послам внушалось не только не поддаваться ни на какие отговорки поляков, но не соглашаться даже на то, чтобы Владиславу креститься в Москве; они должны были настаивать, чтобы он непременно принял греческую веру в Смоленске и вступил на царство уже православным; в конце концов, в

случае решительного несогласия поляков послам предоставлялось предложить самому Сигизмунду и сыну его писать об этом самому патриарху с собором, к боярам и ко всей земле; от себя же в таком случае внушалось им сказать, что они, как послы, не получили от собора и от всей земли на то приказа. Точно так же надлежало поступать и в остальных статьях, кроме статьи о женитьбе, которая была смягчена тем, что предоставляли Владиславу об этом деле впоследствии советоваться с патриархом и с боярами, но ни в каком случае не допускали его жениться самовольно без совета с ними. Вообще же послы должны были стараться, чтобы Владислав скорее приехал в Москву; при этом бралось в расчет то, что как скоро королевич будет в Москве, то невольно станет для русских залогом против польских покушений.

Послы отправились, а Жолкевский между тем уже получил от Сигизмунда тайное приказание, привезенное изменником русским, Федором Андроновым, склонять Москву и Московское государство к присяге на имя Сигизмунда, а не на имя Владислава.

III. Совещание в королевском стане под Смоленском. – Консидерации, привезенные Андроновым. – Занятие Москвы польским войском. – Отъезд Жолкевского

В то время как Жолкевский бился изо всех сил, чтобы склонить москвичей к договору и приобрести себе славу, король под Смоленском слушал речи соперника гетмана, брацлавского воеводы Яна Потоцкого и его брата, королевского покоевого Стефана. Они особенно представляли королю, что договор, заключенный Жолкевским, не должен иметь силы. Много действовала здесь и зависть; брацлавскому воеводе было досадно, что сам он не мог взять Смоленска, тогда как Жолкевский может теперь хвалиться, что взял столицу и с нею все царство Московское. Потоцкий желал повернуть дело так, чтобы не вышло по договору гетмана. Он представлял: «Опасно отдать Владислава варварскому народу, с малым отрядом поляков и литовцев, как этого москвичи требуют, да еще и войско вывести из Московии. Они нарочно того хотят в тех видах, чтобы юно-

ша, оставшись без всякой защиты, был отдан на волю их варварству. Жизнь королевича будет всегда под страхом: словно меч будет висеть над ним на волоске. Пусть лучше король до конца оружием поработит москвитян, теперь уже разоренных и потерявших силу от междоусобий; пусть теперь победитель сам наденет корону и даст побежденным закон; больше чести королевичу получить эту корону от рук отца, чем от плутов москвитян».

Другие паны прибавляли: «Король не может без нарушения присяги Речи Посполитой делать уступок москвитянам. Король явно, с согласия сейма, сначала польского в Люблине, а потом литовского в Вильне, отправился в московский поход, и теперь он должен служить общественному благу, а не делу своего семейного возвышения; поэтому, что бы он ни приобрел оружием, — все это он должен отдать государству, а не одним своим детям. Так король уже обещал, и его воля сообщена провинциальным сеймикам, и письма от него посланы к сенату и послам. Если теперь Владислава отправить на московский престол, то это подаст сейчас предлог к беспокойствам в Польше и Литве; вспыхнут еще не совсем потухшие искры междоусобной войны, возникнут

подозрения, станут толковать, что король хочет присвоить самодержавную власть и для этого-то приобретает для сына чужое сильное царство, чтобы, утвердившись таким могуществом, привести в действие свои намерения. Прежде надо было спросить сейм: дозволит ли он отправить Владислава, польского принца, на московский престол?» Этими внушениями паны принудили короля освоиться с мыслью, что Жолкевский поступил неправильно, заключив договор; что на Московскую землю следует смотреть как на край, завоеванный польским оружием, а вовсе не так, как на свободное государство, выбирающее на свой престол польского королевича.

Противники Потоцкого доказывали, напротив, что Владислава нужно послать в Москву, потому что это успокоит землю, иначе она станет волноваться; но и они не соглашались с теми требованиями русских, которые Жолкевский сам не мог принять и отослал на решение короля; они советовали отправить московских послов на сейм; таким образом, по крайней мере, король сложит с себя ответственность в таком важном деле. Были такие, что думали согласить противоположности, сделать так, чтобы и Владислав был-таки московским государем, а Московское

государство находилось под властью у поляков. «Пусть Владислава отправляют в Москву, — говорили они, — но пусть он будет там такой государь, как господарь волошский, зависимый от Польши». Некоторые рассуждали так: «Неужели это избрание кто-нибудь из москвитян может назвать добровольным, когда оно произнесено с поднятою над их горлом саблею? Если бы им королевич в самом деле полюбился, так они выбрали бы его тогда, когда были сильны; а то — за Шуйского шли умирать против гетмана, а как он их разбил, тогда они видят, что мы их завоюем, — пустились на хитрости и выдумали выбирать королевича. Что же, они нас провести хотят? Зачем же, избирая нашего королевича, вступая с нами в дружбу, требуют непременно, чтобы королевич крестился в греческую веру и чтобы поляков не вводить, не принимать на службу и не помещать их на границе? Креститься велят христианину; следовательно, нас не считают христианами: хорошо же расположение к нехристям! И хорошо они думают о будущем царе, если полагают, что за кусок хлеба он согласится быть ренегатом и потерпеть поругание у всех народов, даже у них самих! И зачем же бояться поляков, не пускать их, когда с ними входят в любовь?

Как же это? Польского королевича берут себе в цари, а поляков боятся!» Друзья Жолкевского, как и он сам, двоили: говорили, что договор, постановленный им, нужно соблюдать, но в то же время опровергали этот договор по частям и не располагали совершить избрание Владислава так, как желали московские люди[882].

Канцлер Лев Сапега, сторонник Жолкевского, в общих словах говорил, что нужно держать слово, данное москвитянам, но в то же время старался угодить королю и соглашался с его взглядами.

Доводы Потоцких сходились с собственными убеждениями Сигизмунда. Находясь под влиянием иезуитов, этот король ясно понимал недельность воцарения сына на московском престоле. Он предвидел, что Владислав, избираемый поневоле, не усидит на нем и его воцарение ничего не произвело бы, кроме новых кровопролитий. Гораздо благоразумнее казалось воспользоваться теперь же расстроенным состоянием Московского государства, овладеть им, присоединить ко всей Речи Посполитой, порешить вековой спор между двумя соперничествующими державами и отвратить от Речи Посполитой опасность

[882] Сноски: 882
Kobierz., 338 — Bibl. Kr., B. 16.

в будущем, которую тогда уже многие зрелые умы, подобно Сигизмунду, предвидели, понимая, что история так поставила отношения между Польшею и Московским государством, что если первая не уничтожит последнее, так последнее уничтожит первую. Даже в династическом отношении Сигизмунд должен был предпочесть этот путь. Если ему, как отцу, хотелось, чтобы сын его царствовал, то он мог более надеяться, что поляки, в благодарность за его бескорыстие и великий подвиг расширения пределов Речи Посполитой, изберут на престол того же Владислава, и он будет владеть не только Москвою, но и Польшею. И вот, после совещания, происходившего 12 августа, король послал Андронова к гетману с письмом и *консидерациями*, где излагались те основания, какие представляли Потоцкие, и между прочим было сказано: «Мы обещали уже, что в этом деле не ищем своих частных выгод, а ведем дело для пользы Речи Посполитой. Если теперь без согласия чинов сделать решительный шаг к воцарению Владислава, это значит возбудить новое смятение; значит чужое государство успокаивать, а свое подвергать беспорядкам. Притом королевич слишком молод, и для устроения такого обширного государства нужно более

опытности и знания. Отдать королевича этому народу, вероломному по причине религии, грубых обычаев, упрямого сердца, развратных нравов, у которого суровость заменяет право, рабство стало природою, — значит испортить молодую натуру королевича, лишить его воспитания и самую жизнь его подвергать опасности. Если они избирают королевича на престол, то почему же и королю не идти к столице, почему им не хотеть бы управляться королем? Пусть пан гетман обратит на это внимание и переговорит с Салтыковыми и с другими, ведающими это дело. Впрочем, если такова Божия воля, если королевич, по согласию всех, вступит в совершенно успокоенное государство, король от этого не прочь, но не иначе как сдержавши свое слово перед Речью Посполитой, то есть по воле всех чинов государства, и притом тогда, когда королевич достигнет зрелого возраста и Московское государство совершенно будет вне опасности».

Андронов прибыл с этим наказом уже поздно, 20 августа, по заключении договора. Жолкевскому, как поляку, быть может, и самому было бы приятно, если бы Московское государство, вместо избрания польского королевича в цари, могло быть присоединено к его отечеству; но с его си-

лами это совершить было трудно; дело было уже сделано, и он понимал, что тут, между прочим, действует зависть его соперников, которые нарочно допустили его заключить договор, чтобы потом сделать его недействительным и умалить заслуги гетмана. Объявлять об этом было невозможно. Еще прежде Салтыков говорил ему, что возвести на престол Владислава было нелегко, а если народ узнает, что Сигизмунд хочет быть сам царем, то начнется большое кровопролитие. Польскому военачальнику ничего не оставалось, как скрыть послание своего короля Сигизмунда, показывать вид, что на московском престоле будет сидеть избранный в цари королевич, а между тем оставить и упрочить в столице военную силу. Обстоятельства могли по наружности оправдывать в глазах московского народа такую меру. Бегство «вора» не покончило дела с ним. Вор все еще оставался знаменем для недовольных, и их было много. Московская чернь продолжала роптать, не доверяла полякам и не показывала желания признавать царем польского королевича. Лица, которые перешли от вора, не увидели ласкового и дружелюбного приема со стороны своих собратий. Не хотели допустить их в совет, не хотели признавать званий, в которые их

пожаловал названый Димитрий. Жолкевский, напротив, принимал их с особенною ласкою, упрашивал думных людей помириться с ними и забыть прошлое. «Это, — представлял он, — будет заохочивать и других отставать от вора; напротив, если вы с ними станете обходиться сурово, то и те, что теперь отстали от вора, опять туда же убегут». Но думные люди на это говорили, что достаточно, если их не наказывают, а они их равными себе ни за что не считают и в совет не примут[883].

От этого из передавшихся от вора некоторые нарушили данную присягу и обратились к нему снова. Так поступил Федор Плещеев и за то сделан был от имени царя Димитрия воеводою в Серпухове. Были и такие, которые не отдавались вору и не хотели, однако, повиноваться королевичу; всего больше было таких, что хоть и покорились наружно обстоятельствам, но отнюдь не чаяли добра от выбора иноземца на престол, да еще из Польши. Федор Андронов в сентябре, в письме своем к канцлеру Сапеге, говорит, что редкий тогда не был бунтовщиком. Дело избрания Владислава скроилось наскоро и по принуждению.

---

[883] Сноски: 883
Pism. Żołk., 82.

Как только войско польское удалилось бы — противные побуждения непременно взяли бы верх. Те, которые искренно желали Владислава, составляли меньшинство. Кроме носившего имя Димитрия, у низложенного и постриженного Шуйского была также своя сторона, и та могла возрастать по мере того, как возрастало у русских отвращение от поляков.

В таких обстоятельствах естественно возникла мысль — оставить в Москве польское войско. Бояре сами первые изъявили Жолкевскому эту мысль. «Как только польское войско отдалится, — говорили они, — чернь взволнуется; вор из Калуги опять подойдет к Москве, и его впустят в столицу». Были перехвачены письма, из которых увидали, что благоприятели вора только того и ожидали, чтобы войско польское удалилось, и тогда можно будет сдать Москву названому царю Димитрию.

Поляки в лагере сперва с радостью, единодушно приняли предложение бояр занять город. 16 сентября референдарий литовский Александр Гонсевский был послан из польского стана в Москву, чтобы вместе с уполномоченными от боярского правительства расписать полякам помещение. Вдруг один монах ударил в колокол;

народ всполошился, начали кричать, что поляки по-неприятельски входят в столицу. Тогда бояре испугались народного движения и стали просить польских военачальников пообождать дня три. Оказалось, что народ возбуждали люди партии Шуйского. По этому поводу ожесточение бояр против Шуйского до того дошло, что они уже поговаривали, не перебить ли весь род их. Защитником Шуйских стал тогда гетман. Он объявил боярам, что король Сигизмунд как только узнал о низложении Василия, то приказал Жолкевскому беречь его и не допускать над ним и над его родом насилий. Патриарх тайно благоприятствовал Шуйскому и предлагал сослать его в Соловки; он надеялся, что в этой отдаленной стороне Шуйский будет безопасен до поры до времени, а потом с помощью своих сторонников опять станет царем. Но не так сделали бояре, как хотелось патриарху. По просьбе Жолкевского они отдали ему в распоряжение ненавистную семью. Гетман тотчас приказал взять из Чудова монастыря братьев Ивана и Димитрия с женою и отослал их с поляком Неведомским в Белую, чтобы препроводить потом в Польшу; сверженного царя послал в Иосифов монастырь, а его супругу — в суздальский Покровский монастырь.

Гетман, сначала охотно согласившись на впуск войска в столицу, потом впал в раздумье. Приходилось решить так или иначе: или совсем отходить от Москвы, или занимать ее; в поле долее оставаться нельзя было, становилось холодно. Жолкевский находил, что неудобно ставить войско в Москве, большом городе, где в тесноте во время возмущения, которого всегда можно было ожидать, московские люди врасплох могут истребить поляков. Но уходить с войском вовсе от Москвы — значило оставить на произвол судьбы так ловко поведенное дело и дать возможность собраться и усилиться противодействию, которое неизбежно должно было вспыхнуть. Жолкевский был уверен, что как только сделается известным, что Сигизмунд для себя, а не для сына упрочивает Московскую землю, то весь московский народ вооружится. Жолкевский выбрал средину. Уже войску расписаны были помещения в Кремле, Китай-городе и Белом городе, как вдруг гетман собрал военный совет и стал говорить в таком тоне: «Правда, я сам прежде был такого мнения, чтоб поставить войско в городе, но теперь, осмотревшись, нахожу, что нужно другое; я не могу при таком стечении людей открыть причины, которые меня к этому побуждают, а вы отрядите

ко мне депутацию из двух человек от каждого полка, и я им все объясню».

Так и сделалось. В гетманском шатре было по двое депутатов от каждого полка, и Жолкевский говорил им так: «Москва город огромный. Государство Московское все свои суды отправляет в замке, и там управляются провинции своими приказами. Мне назначают помещение в замке, по-ихнему в Кремле, другим в Китай-городе, иным в Белом городе. Пропасть народа сходится в Кремле по делам; иной раз тысяч тридцать или двадцать. Выбравши удобное время, они под таким предлогом войдут в замок, возьмут его и меня погубят, и вы также не уцелеете; к тому же у меня пехоты нет; все люди неспособные к пешему бою, а у них во власти и стены, и ворота. Вспомните, что было при Димитрии; сколько наших тогда пропало! То же грозит нам и теперь. А мне кажется, лучше будет, если войско расположится по слободам, около столицы. Тогда столица будет у нас как бы в осаде, посмотрят вокруг себя и не посмеют подняться». Те, которые недавно пришли из Польши, соглашались с советом гетмана и находили, со своей стороны, действительно опасным расположиться в столице; но не понравилось это полку Александра

Зборовского, который прежде находился при воре и три года старался добыть столицу. Теперь занять столицу казалось ему исполнением давних стремлений. Депутат от этого полка, Мархоцкий, возражал: «Ваша милость, милостивый пан, напрасно думаете, что Москва теперь так же сильна, как при Димитрии, а мы так слабы, как те поляки, что приезжали тогда на царскую свадьбу. Спросите москвичей: они скажут, что со времени прихода Рожинского до настоящего времени у них погибло одних детей боярских до трехсот тысяч. Если ваша милость сомневаетесь и боитесь поставить целое войско в столице, поставьте там по крайней мере наш полк: мы уже решились на то, чтобы или смерть, или награду за службу нашу получить в Москве. А что ваша милость думаете расставить в слободах войско, то это значит ввести его в большую опасность, чем если бы оно было в самом городе. Мы только что подружились с Москвою и уже так ей доверились, что большая часть наших ходит в Москву и в Кремль когда захочет; и в Кракове больше наблюдается осторожности! Теперь вообразите, что будет, когда поставите войско в слободах; наши станут ходить в город, да еще без оружия; москвичи коварны, выберут такое время, когда

большая часть нашего войска будет в городе, запрут ворота, возьмут в плен тех из наших, которые заберутся в город, а остальных отобьют от своих стен и прогонят. Нет, уж лучше и безопаснее ваша милость сделаете, если как можно далее уведете войско от столицы».

Жолкевскому не понравился тон, с каким говорил Мархоцкий. Он закричал на него: «Я не вижу того, что видите вы; не угодно ли вашей милости быть гетманом; я вам уступлю свое начальство».

«Я не хочу начальства, которое принадлежит вашей милости, пан, — сказал Мархоцкий, — не стану надоедать вам более своими убеждениями, но уверяю вас, если только ваша милость не поставите войска в столице, то и трех недель не пройдет, как Москва изменится. Я же от всего полка моего могу вашу милость уверить, что мы не будем ждать еще трех лет под столицею и добывать ее».

Спор тут решен был боярами. Четыре человека заправляли у них всем этим делом и настаивали ввести королевские войска в столицу. Патриарх сильно противился, посылал к боярам умолять их не пускать латинян в город и приглашал бояр к себе на совет. Бояре знали, что патриарх будет упорно стоять против их намерения, а между тем

сам имеет власть и влияние, и потому хотели отделаться от него и покончить свое дело без него; но патриарх отправил к ним сказать, что если они к нему не придут, то он сам к ним придет со всем духовенством. Если б это так случилось и народ узнал бы об этом, то всякий понял бы дело так, что церковь не хочет того, что делают бояре; тогда народ поднялся бы окончательно. Бояре не допустили торжественного шествия к себе духовенства, а сами отправились к патриарху и застали у него лиц из дворян и служилых людей, не разделявших, как и он, намерения пустить поляков в столицу. Сыпались разные упреки и подозрения; одни говорили: «Гетман объявил, что пришел с войском защищать нас от вора; зачем же не ведет против него свои войска? Зачем же хочет в Москве поселиться? Значит, нас отсюда высылают на войну, а жены и дети наши останутся на произвол у поляков в Москве!» Другие же говорили: «Что же это за защитники? Царем у нас хочет быть гетман, что ли?» На Жолкевского были явные причины роптать. О примирении его с Сапегою толковали так, что Жолкевский не хотел идти на своих и, будучи сам поляком, примирился со своим земляком насчет русской земли. От Жолкевского требовали, чтобы он

сам лично шел на вора в Калугу, а Жолкевский, прогнавши вора от Москвы, не только не преследовал его далее, не старался уничтожить, но еще послал к нему одного из своих панов, Валевского, уговорить и обещать ему от Сигизмунда удел и содержание, приличное тому сану, который он носил, и только в крайнем случае совершенного непокорства королевской воле грозил усмирить его оружием. Многим такое обращение с вором казалось оскорблением для Московского государства, которое так доверчиво положилось на польского военачальника. Поднимались голоса вообще против присяги Владиславу; доказывали, что все это обман, что поляки не друзья, а враги, хотят вконец разорить Московскую землю. Мстиславский как умел опровергал их и доказывал, что именно для защиты от вора и нужно впустить польское войско в Москву. Тут приехал к нему князь Василий Черкасский и известил, что от гетмана прибыл Александр Гонсевский — просить, чтоб Мстиславский с боярами вышел из собрания повидаться с ним. Последний сказал: «Гетман готов идти против вора, но остановка за русскими. Пусть только московское войско будет готово и выйдет в поле; польское сейчас же присоединится!» Мстиславский попросил с

собою Гонсевского идти в собрание, где он повторил то же, что сказал Мстиславскому. «Видите ли, — говорил Мстиславский, — поляки если и будут в Москве, то не в большом числе; а всего будет их столько, сколько потребно для зашиты города от вора, остальные с нашими пойдут на войну. А нам нельзя нарушить крестного целования, и мы должны умереть за того, кого царем себе выбрали. Мы отправили послов к королю. Так надобно ждать, а не изменять». Несмотря на все представления, патриарх все-таки говорил против введения войска; тогда кто-то из бояр заметил ему: «Дело твое, святейший, смотреть за церковными делами, а в мирские не следует тебе вмешиваться. Исстари так ведется, что не попы управляют государством». В заключение каких-то четырех лиц, особенно кричавших против впущения польских войск, Мстиславский приказал схватить и посадить в тюрьму.

На другой день те, что вместе с патриархом вооружались против впущения войск, сошлись с боярами и отправились к гетману. Жолкевский жаловался, что на него взводят разные клеветы, оправдывался, изъявлял готовность идти против вора и не показывал охоты вводить войско в столицу. Сами бояре уговаривали его исполнить это

и представляли крайнюю необходимость ввода. «Как только войско отойдет, — говорили они, — то черные люди призовут вора, столица попадет в его руки; тогда прольется много крови и нас всех перебьют, такому делу был не один пример. Так и недавно сталось с Шереметевым: его при Шуйском убил народ во Пскове, где он был воеводою». Против собственного желания, Жолкевский, уступая только желанию временного правительства, решился ввести войско в Москву. Салтыков, Шереметев, Голицын и дьяк Грамотин ездили посреди народа и уговаривали не тревожиться. Взволнованная толпа немного укротилась. Гетман начал вводить войско. В Белом городе поставлен был полк Зборовского, бывший, как сказано, с вором в Тушине и более других хотевший засесть в Москве. В Китай-городе поставили полк Казановского. Дворы Шуйских были отданы полякам под постой. Расставлены были в Москве немцы, передавшиеся полякам под Клушином после поражения Димитрия Шуйского, и должны были содержаться на счет царской казны[884]. В Кремле поместился сам гетман. Потом вошел в

[884] Сноски: 884

По отчетам о расходах царской казны во все продолжение безгосударного времени, на немцев, служивших при польском гетмане, истрачено 41 692 рубля 3 алтына 2 деньги (Истор. библ. II, 247).

столицу полк Александра Гонсевского, и часть этого полка в числе четырех рот поставлена была в Девичьем монастыре, не входившем тогда в город. Поляки вступали в первопрестольный город тихо, свернувши хоругви, для того чтобы русские не заметили и не узнали, как велико вошедшее войско. Чтобы сохранить постоянное сообщение войск, поставленных в Москве, с Литвою, в Можайске, Борисове и Верее помещены были полк Струся и Корыцкого и полк самого гетмана. Для продовольствия войска, кроме кормовых из царской казны[885], бояре назначили каждой роте для кормления какие-нибудь города с волостями. Так, ротмистр Маскевич, оставивший важный и любопытный дневник этих происшествий, говорит, что на его роту достались Суздаль и Кострома. Это расписание удерживало во власти Москвы города и предавало в руки поляков государство. Пути от Вологды и Ярославля и от Коломны были в их руках; по первому пути доставляли им разные привозные припасы, а по коломенскому — хлеб. Из войска отправлялись товарищи с пахолками для собирания запасов. Надобно было полякам

[885] Сноски: 885

По вышесказанным отчетам значится: «и всего литовским людем на корм дано деньгами и рухлядью 64 968 рублев 30 алтын, 3 деньги» (Ист, библ. II, 224).

избавиться от русской военной силы, чтобы дать себе возможность остаться в городе полными господами. С этою целью часть московских сил, находившаяся тогда в столице, отправлена была как будто на помощь к Струсю; предлог был благовидный — беречь Москву от нападения вора. Ключи от всех ворот Белого города были у поляков; по всей стене Белого города стояли поляки на страже. Гетман распоряжался по произволу московскою казною и сокровищами царей московских и государства Московского. Таким образом, он посредством московской сокровищницы избавился от Сапеги. После примирения с гетманом этот вождь со своими удальцами стоял под Москвою — уже, по-видимому, верным слугою короля. Седьмого сентября донские казаки, служившие вору, перед покоями, где жил Сапега, принесли крестное целование на имя королевича Владислава[886]. Но, узнавши о вводе войск, Сапега начал и себе домогаться права вступить в Москву. «Мы, — говорили от него посланцы гетману, — одинаково служили с полком пана Зборовского; если ему дозволили в Москве стать, то и нам следует». Гетман говорил им, что он

[886] Сноски: 886
Diar. Sapiehy.

готов другим образом вознаградить их. Тогда Сапега требовал, чтобы его пустили в Рязанскую землю. Но этого Жолкевский не позволил. Он знал, как сапежинцы стали бы там обращаться; пребывание в Рязанской земле возбудило бы жителей против поляков вообще, а между тем Рязанская земля присягнула Владиславу без сопротивления. Он дозволял им идти в Северскую землю, потому что эта земля не признавала Владислава и держалась еще вора. «Эта служба будет лучше для Речи Посполитой, — доказывал гетман, — вы приведете Северскую землю в повиновение». Сапежинцы этим не удовлетворялись, потому что Северская земля уже была разорена и не представляла надежд на поживу. Жолкевский обещал им дать из московской казны 10 000 рублей[887]; собранные прежде сокровища царские в первый раз должны были тратиться на вознаграждение тем, которые столько лет разоряли Московскую землю. Новое оскорбление нации со стороны Жолкевского! 12 сентября Сапега прие-

[887] Сноски: 887

По отчетам расходов царской казны в безгосударное время, Сапеге, когда он стоял под Москвою при гетмане коронном, дано было рухлядью и червонцами 4000 рублей. Кроме того, на войско Сапеги, депутатам, за недостатком наличных, выдано вещами, по оценке московских гостей и торговых людей, на 15 824 руб. 11 алтын с деньгою, кроме того, что дано им из разных приказов опальных (т. е. конфискованных) рухлядей (Ист. библ. II, 230).

хал в Москву к коронному гетману проститься с ним. Здесь он увидал братьев Шуйских, Ивана и Димитрия; бояре, прежние их товарищи, отдали их гетману, говоря, что боятся крамол, которые этот род постоянно устраивал. Получив обещанные деньги, Сапега ушел в Северскую землю, и едва выступил из-под Москвы за 12 верст, гонец от гетмана привез ему еще тысячу московских рублей на вылечку раненых и больных.

На первых порах Жолкевский держал поляков в дисциплине. Чтобы привязать к себе москвичей и уверить их в своей справедливости, он устроил суд, смешанный из поляков и москвичей; судьи должны разбирать тяжбы и недоразумения, возникавшие между жителями города и поставленными в нем польскими войсками. Тогда Жолкевский изъявил опасение, что наемное немецкое войско, вошедшее в Москву, может при случае изменить польскому, как оно уже изменило московскому под Клушином. Сами бояре боялись, что в случае народного мятежа немцы могут пристать к толпе, как только увидят, что перевес потянул на сторону черни, и тогда выдадут бояр на убой. Они подавали Жолкевскому совет выслать их. В этих видах, из двух тысяч с половиною немцев Жолкевский оставил только

восемьсот пеших, а прочих выслал, заплатив им за службу из той же царской казны, из которой заплатил уже Сапеге. Вот еще раз эта казна расточалась на вознаграждение предателям Московской земли, как перед тем из нее вознаградили ее разорителей.

Оставалось в городе тысяч восемнадцать стрельцов, сила эта была опасна в случае восстания. Главным над ними был уже назначен от короля Иван Салтыков; но бояре и их боялись, и Жолкевский по совету бояр отправил одну часть стрельцов с Салтыковым в Новгород, а другая часть поступила под начальство Гонсевского. Это был шаг очень смелый. До того не было примера, чтобы над царским войском главноначальствовал иноземец по происхождению; однако Жолкевский предотвратил ропот по этому случаю подарками и попойками: у него были в распоряжении готовые московские деньги, и с ними он мог успевать для польских видов, разумеется, на короткое время. Чтобы соблюсти наружную правду, Сигизмунд прислал Гонсевскому грамоту на боярство и назначил его боярином в Стрелецком приказе: дело повернулось, как будто Гонсевский начальствовал не как иноземец, а в качестве московского боярина; но это отнюдь

не согласовалось с договором, где не было дано права жаловать в боярство чужеземцев даже царю, тем более отцу его, королю польскому, не облеченному никаким правом вмешиваться в московское управление. Наконец, Жолкевский поладил наружно с самим патриархом. Когда введено было в Москву войско, патриарх был к нему враждебен. Гетман не решился тотчас навестить его, но посылал к нему письма очень вежливые и почтительные, обещал в них справедливость и, главное, уважение к греческой вере, а потом отправился к нему лично и затем еще несколько раз бывал у него. Патриарх мало-помалу стал глядеть на него веселее и обращался с ним дружелюбно, хотя не вполне доверчиво. Не таков был Гермоген, чтоб его могли совсем обольстить поляки, чтоб он мог по душе сойтись с каким бы то ни было латинником.

Уверяя москвичей, что Владислав приедет, гетман знал хорошо, что Владислава не будет, что Москве со всей Московской землей готовится не воцарение польского королевича, а порабощение Польше. Андронов писал в сентябре к канцлеру Сапеге: «Пану гетману показалось лучше всего обойтись с москвичами сообразно их собственным *штукам*, а как приберут их к рукам, так эти

штуки мало помогут им, и мы надеемся на Бога, что со временем разрушим их штуки и поворотим их умысел на иную, правдивую сторону»[888].

Жолкевскому хотелось только обмануть москвичей именем Владислава и успокоить Московскую землю на короткое время, а самому убраться отсюда, чтобы, когда откроется обман, никто уже не имел случая смотреть ему в глаза. Принявши от московских людей присягу на имя Владислава, уверявши так долго и так горячо, что Владислав приедет царствовать в Московском государстве, Жолкевский хотел избежать необходимости сказать московским людям: «Нет, не Владиславу, вашему царю, а польскому королю служить вы будете». Жолкевский предоставлял лучше другим доделать и переделать то, что он начал и половину сделал и что ни в каком случае не могло оставаться в первоначальном виде.

Между тем польское войско в Москве требовало платы от правительства. Жолкевский взял еще из царской казны десять тысяч червонцев и роздал больным, раненым и наиболее бедным, но этого было не довольно, нужно было еще истощить царскую казну, а через то еще более накоплялось

---

[888] Сноски: 888
А. И., II, 356.

недоверие и нерасположение московских людей к полякам. Жолкевский, предвидя, что гроза близка, благоразумно укрывал от нее свою особу и объявил, что помещенный в столице польский гарнизон остается под начальством Гонсевского, а сам он отправляется к королю домогаться скорейшего окончания дела и присылки Владислава.

Тогда Мстиславский явился к нему в сопровождении ста дворян и стал убеждать оставаться. «Только ты, пане гетмане, — говорил он, — можешь успокаивать народ; только при тебе не дойдет до ссоры между польским войском и московским народом. Поляки задорны, их некому будет держать в руках, а наши москвичи не любят иноземцев, и как раз начнется смута».

«Не ради моего, а ради вашего дела должен я ехать, — отвечал Жолкевский. — Я затем и отлучаюсь, чтобы как можно скорее привести к концу дело и успокоить Московскую землю. Я буду просить его величество, чтобы он поскорее присылал Владислава на царство, которого все желают и ждут; поэтому, когда я ворочусь, то вы примете меня с такою же радостью, как теперь хотели бы не пустить от себя и удержать. Пусть только москвичи будут тверды в крестном цело-

вании своему государю, а бояться своевольства польских воинов нечего; я все так устрою, чтобы над ними оставалась та же строгость без меня, как при мне».

Мстиславский должен был согласиться и говорил: «Для твердости дела нужно, чтобы король без отлагательства созвал сейм и привез туда наших московских послов; там бы дело наших государств было покончено и получило крепость и силу согласием короля и всех чинов Речи Посполитой. Мы знаем, что у вас, поляков, ничего просто не делается без сеймового приговора, и как сейм окончится, тогда пусть немедля жалует к нам великий государь наш Владислав; мы просим, пане гетмане, передать наше желание его величеству».

В последний раз собрал гетман свое войско, осмотрел его, назначил над ним вместо себя Гонсевского и говорил такое наставление: «Мужеством и доблестями вашими мы овладели Московским государством и довели до того, что Московское государство, приговором всей земли, просило государем своим и всей Руси королевича Владислава. Верьте мне, что теперь дело наше сохранит уже не храбрость ваша, не оружие, а военная дисциплина, скромность и безобидное

обхождение с москвичами. Вот верная стража, вот непреодолимая ограда власти Владислава. Видите ли, как москвитяне, памятуя ваши прежние своевольства и нахальства, да к тому же и грабежи, беспрестанные задоры и оскорбления, с трудом хотели отпустить меня от вас! Я старался рассеять подозрение и поручился за вас верою моею Мстиславскому и другим боярам, — пусть же не напрасна будет моя надежда на избранных воинов; думаю, что вы не забываете своего достоинства, дорожите своею честью. Если моя честь для вас не важна, то вас связывает присяга, данная Владиславу, которого скипетр и корона вам поручены. Как только москвитяне почувствуют ваше господство над собой, тотчас станут к вам дышать враждою, и как нарушится с вами согласие, так нарушится их покорность, которую так недавно они принесли с охотою. Смотрите же, чтоб не пропали даром наши военные труды и, по причине чьего-нибудь своевольства, Владислав не упустил бы того, что приобрела ему доблесть подданных. Не пройдет вам даром ни малейшее преступление, накажется оно так скоро, что прежде москвитяне услышат о наказании виновных, чем их жалобы дойдут до начальства. Наконец, помните вашего предводителя, пусть

он остается в душе у вас. Я еду к королю затем, чтобы представить ему о вашей верной службе, трудах, кровавых страданиях и просить щедрого и милостивого вам награждения».

Привезли снова в Москву бывшего царя Василия. Он должен был следовать с Жолкевским в изгнание. В день выезда на улицах собралось множество народа провожать гетмана. С домовых кровель и из окон посылали Жолкевскому желание счастливой дороги и скорого возвращения. Бояре и дворяне ехали с ним верхом и расстались верст за семь от столицы. Впереди везли в коляске сверженного Шуйского, никто не осмелился оказать ему знаков сочувствия.

IV. Отношение польского войска к жителям столицы. – Состояние областей. – Награды от Сигизмунда московским людям

Гонсевский остался предводителем войска, которого в Москве, кроме наемных немцев, было четыре тысячи четыреста человек. Гонсевский, деятельный и строгий, казался человеком с качествами, нужными для начальника в такое время.

Он знал Московскую землю, бывал в ней прежде, говорил хорошо по-русски, освоился с обычаями и нравами края. Несколько недель, еще до отъезда Жолкевского, поляки с русскими пребывали видимо ладно, по крайней мере, насколько это было возможно между ними. «Жили мы с дружбою на словах и с камнем за пазухой», — говорит современник; доверия, разумеется, не было ни на волос с обеих сторон. Польская стража стояла день и ночь на стенах города, вооруженные отряды беспрестанно разъезжали по столице; народ глядел на поляков исподлобья; но, несмотря на это, одинаковость происхождения и сходство в характере иногда сводили поляков с московскими людьми. Обыкновенно русский дичился сначала поляка, но когда по какому-нибудь случаю сходился с ним и последний умел его обойти и показаться ему добрым человеком, то знакомство между ними легко завязывалось. Маскевич в своем любопытном дневнике рассказывает, как он сошелся с окольничим Федором Головиным: «Сначала, — говорит он, — не хотели меня пускать во двор»; ворота вечно были заперты у московского домохозяина, но потом поляк сыскал предлог втереться к нему: он сказался давним знакомым его брата и жены его, которые убежали

в Литву при царе Грозном. Так он говорил Головину, но в самом деле Маскевич никогда не знал и не видал этих лиц. Головин не только подружился с ним, но и называл его родным, кумом. Маскевич ввел с собой и других поляков, своих товарищей, в дом Головина. Русский хозяин радушно принимал всякого, кого к нему приводил названый кум. Подобным же образом и другие поляки втирались в дома. Стали даже поляков приглашать на свадьбы и на пиры, забавляя их проделками шутов, которые, живя в доме знатного человека, были всегда наготове по приказанию господина плясать, вертеться на канате, кривляться и петь песни; выводили к ним из женских половин дворянок (челядниц) и заставляли их потешать поляков хороводными песнями и пляскою, которая гостям, привыкшим к польским танцам, казалась простым ноготопаньем и рукомаханьем. Многое в обычаях Московской земли приводило в изумление поляков: и целование с разрумяненными женщинами, выходившими за обедом к гостям, и горький правеж неоплатных должников у дверей приказа, и трезвость почтенных особ московского общества, противоположная разгульной жизни поляков.

Но нигде так не являлось противоречие между

московским человеком и поляком той эпохи, как в гражданских и государственных понятиях обоих народов. Обласканные москвичами поляки стали было восхвалять свою золотую вольность: «Вот вы не знаете, что такое вольность, ее у вас не было, — а как с нами соединитесь, так и вы получите вольность!» Москвичи им на это давали такой ответ: «Вам дорога ваша вольность, а нам дорога наша неволя. У вас не вольность, а своевольство. Вы думаете, что мы не знаем, как у вас сильный давит слабого, может у него отнять имение, самого убить! А как по вашему праву начать на нем иск, так протянутся десятки лет, пока приговор выйдет, — а другой и никогда не дождется его! У нас же самый богатый боярин ничего не может сделать самому последнему человеку, потому что по первой жалобе защитит от него царь. А если сам царь со мною поступит несправедливо, то ему все вольно делать, как Богу: он и карает, и милует. Тяжело от своего брата терпеть, а когда меня сам царь накажет, то ведь он на то государь, над которым нет большего на земле; он солнце праведное, светило русское»[889].

Поляки из этих речей увидали, что московские

---

[889] Сноски: 889
Pamiętn. Maszk., 43.

люди как ни мало знакомы с науками, которые уважала Польша, но знают о недостатках польской жизни, прикрытых блестящим свободословием.

После ухода Жолкевского жолнерство стало своевольствовать. Трудно было какими-нибудь убеждениями усмирить его, когда в те времена вообще было такое убеждение, что кто только вступил в военную службу, то ему дозволяется то, что недозволительно другому: и делать насилия невоенным людям, и похищать чужое, в особенности когда воин находится в чужой земле. «Мы нагрешим да исповедуемся, — говорили жолнеры католики, — а у отцов францисканов такое есть из Рима отпущение, что хотя бы кто черта съел, так и тому грех простится!» На первых порах Гонсевский строго преследовал удалые выходки. Блонский, арианин, стоял настороже у Никольских ворот и, подгулявши, для забавы, выстрелил несколько раз в изображение Богородицы, находившееся, по московскому обычаю, на воротах. Дело было не шуточное. Оно одно могло возмутить весь город. Как только бояре пожаловались предводителю, он приказал судить преступника, и ему всенародно отрубили обе руки и ноги и прибили на воротах, где он стрелял, а туловище,

еще живое, сожгли на костре перед этими самыми воротами. Но оскорбить чужую святыню было тогда молодечеством. По примеру Блонского кто-то потом выстрелил в церковный купол: и с ним было бы то же, что с Блонским, да не отыскали виновного. Затевали жолнеры поживляться женским полом, и это не удавалось. Шел московский человек с женою и дочерью из бани. Какой-то пахолок схватил дочь и увел; некого было позвать на помощь, и не знал отец, на кого приносить жалобу. Гонсевский приказал непременно отыскать виновного. Две недели шел розыск; наконец нашли девушку, привели в родительский дом, а жолнера судили и приговорили было к смерти, но один из судей, Бобовский, предложил наказать его не по польским, а по московским обычаям: его высекли кнутом всенародно. Московским людям это понравилось, да и преступник, по замечанию Маскевича, не остался недоволен. Хоть спину исписали, да голову оставили. С одним поступлено было через меру строго. Войсковой товарищ Тарновецкий пьянствовал вместе с попом и, поссорившись с ним, ударил его по лицу до крови. За это Гонсевский велел ему отрубить руку против Фроловских ворот, в Китай-городе. Не только бояре, сам патриарх говорил, что за такую вину

не следовало казнить так жестоко. В тогдашних нравах драка было явление чересчур обыденное. Однако Гонсевский хотел показать своим подчиненным пример строгости на будущее время. Но трудно было присмотреть за всем, притом же не все жолнеры были вместе в Москве. Из каждой роты товарищи с пожитками отправлялись в отпускаемые на ее прокормление города сбирать продовольствие, и там-то была им своя воля. «Наши, — говорит тот же дневник, — ни в чем не знали меры; они не довольствовались тем, что с ними обходились ласково, но что кому нравилось, то и брали, хоть бы у помещика жену или дочь». Начало повторяться в Московской земле то, что было при тушинском воре. Тогда бояре, чтобы не допустить до восстания, сговорились с Гонсевским не посылать жолнеров за продовольствием, а жители в городах должны были сами собирать деньги, по 50 злотых на конного, и эти деньги привозить в Москву, а там уже их надлежало раздавать гарнизону.

Пример Москвы подействовал сначала на города в пользу Владислава. В присланных грамотах обнадеживали народ, что Владислав примет православную веру, что с ними не будет поляков: поэтому не было повода к сопротивлению. Влади-

мир, Ярославль, Нижний, Ростов, Устюг, Вологда, Белоозеро присягнули Владиславу. Великий Новгород несколько упорствовал и не хотел было впустить Ивана Михайловича Салтыкова, но потом согласился и присягнул, с условием, чтобы Салтыков не вводил в город поляков и литовцев. Присягнули Владиславу Коломна, Серпухов, Тула. Прокопий Петрович Ляпунов, рязанский воевода, державший, как и прежде, всю Рязанскую землю под своим влиянием, без противоречия одобрил избрание Владислава и послал к гетману в Москву сына своего Владимира. Гонсевский обласкал его, одарил и отправил с честью назад к отцу. Прокопий Петрович старался доставлять водою съестные припасы в Москву для поляков и был тогда самым ревностным доброжелателем их. Псков держался Димитрия. Его земли наводнили бродячие шайки Лисовского и Просовецкого, они требовали верности Димитрию. Сначала друзья, эти два предводителя своевольных шаек, рассорились между собою и подрались до того, что с обеих сторон у них на бою пало до тысячи человек. Города Великие Луки, Торопец, Иван-город, новгородские пригороды Яма, Копорье, Орешек не слушались Новгорода и признавали Димитрия. Тверь, Торжок и прилежащие города были во

власти поляков, которые своевольничали там самым непозволительным образом и уже внушили омерзение как к полякам вообще, так и к воцарению их королевича в Московском государстве. На Волоке и в окрестностях его Руцкий с шайкою, составленною из поляков и черкас, бил, грабил людей, опустошал землю. Поляки, литовцы и южнорусские удальцы (черкасы), валентари, как их называли тогда, величая себя королевским войском, под предлогом сбора продовольствия и конского корма сновали из уезда в уезд, нападали на поместья дворян и детей боярских, разоряли и убивали владельцев и крестьян, сожигали дворы и вообще отличались особенным варварством и жестокостью. Старая Руса, с ее уездом, была во власти атамана Лаврина Рудницкого, начальника двухтысячного запорожского казацкого отряда, который там неистовствовал диким образом. Казань, Вятка, Пермь, Астрахань не хотели присягать Владиславу и склонялись к Димитрию; чего не хотели сделать тогда, когда еще он был силен и когда ему другие давали присягу из страха. Теперь, когда они услышали, что Москва признает польского королевича, и поняли дело так, как оно действительно было, то есть что поляки покоряют Московское государство и на-

добно будет повиноваться полякам, они готовы были ухватиться за какое-нибудь царственное имя; оставаться без царя было непонятно: еще не было такого примера. В восточных краях стало полное нестроение: шайки русских удальцов, казаков с Дона, казаков с Запорожья, грабили и разоряли края; взбунтовались черемисы и также ходили шайками и нападали на русских.

Земля Северская признавала Димитрия. Сапега взялся приводить ее на верность королю. Его необузданное войско славилось неистовствами. Сапежинцы расположились в уездах Мещовском, Воротынском, Перемышльском, разоряли и убивали жителей, брали в плен мальчиков[890].

Иван Михайлович Салтыков в донесении своем королю объявляет, что неистовства и бесчинства, производимые тогда по разным местам поляками, литовцами и черкасами, были причиною того, что те города и земли, которые еще не присягнули королевичу, боялись на это решаться; они указывали с укором, что в тех местах, где жители уже дали присягу, королевские войска или бродяги, выдающие себя за принадлежащих к королевскому войску, свирепствовали и оби-

[890] Сноски: 890
А. И., II, 375.

рали жителей. Из этого замечали, что присяга Владиславу не спасает их от разорения, и через то многие из присягнувших стали отпадать и склоняли народ к отпадению. Дворяне и дети боярские повсеместно не сознавали, куда им по справедливости пристать, потому что не чувствовали ни на какой стороне правды; равно беззаконным казалось им насильное навязывание земле в цари польского королевича, как и домогательства обманщика, и они искали только близких своих выгод или безопасности и получали себе поместья, кто бы ими их ни жаловал: давал поместья вор калужский, давали на Руси поместья король Сигизмунд, гетман Жолкевский, Гонсевский, литовский канцлер, давали в Москве поместья Мстиславский, Салтыков, — всякий, кто на тот час был силен, тот и давал поместья; никто права не имел давать их. Были такие, что присягнули Владиславу, и даже королю, и получали поместья, а потом разоряли их поляки; тогда они составляли шайки и шли в свою очередь разорять свою братию. Таково было положение Русской земли в последние месяцы 1610 года.

Не прошло месяца, как Гонсевский, так строго наказывавший жолнеров за своеволие, сам поместившись в Москве, начал обращаться свое-

вольнее с государством, чем его подчиненные с москвичами; он не обращал внимания, чего хотят или не хотят бояре, сам судил-рядил, тратил казенные сборы и возбудил недовольство в самых преданных польскому делу боярах. Михайло Салтыков жаловался[891] канцлеру Сапеге, что польский предводитель не слушает ни его приговора, ни других подобных, взял все дела на себя, вопреки московским обычаям, отстранил от дел и Мстиславского, и других бояр; одним по его воле раздаются поместья и жалованье, у других отнимаются дворы, поместья и вотчины; оставлены в нищете их семьи, казнят без суда и без обвинения, прямо вопреки договору с Жолкевским, где даже новоизбранному царю не дозволялось смещать властей и казнить без боярского приговора. Салтыкова и других его единомышленников сильно оскорбляло то, что Гонсевский более всех доверял Андронову, человеку низкого происхождения, который вошел в силу и в значение и от Сигизмунда получил в управление казенный дворец, а потом находился у приема челобитных. Отец его, говорил Салтыков, торговал лаптями в Погорелом Городище. Борис Годунов взял его в Москву

[891] Сноски: 891
А. И., II, 360.

для ведовства и еретичества, и был он на Москве торговый мужик. Теперь этот сын лапотника ворочал делами государства и был важнее всех бояр. Андронов со своими советчиками составлял список людей, занимавших места думных людей и дьяков, отмечал тех, которых считал недоброжелателями короля, обвинял иных в шептании и в еретичестве[892].

Дворяне и дети боярские и всякого звания люди, бежав из Москвы, разносили по городам вести о насилиях поляков и возбуждали к отпадению от короля на сторону вора. Многие присягнули королевичу, обнадеженные тем, что королевич скоро прибудет; но прошли октябрь, ноябрь, декабрь, а королевич не ехал. Земля приходила в большое нетерпение.

Сигизмунд, как истинный государь московский, уже не от имени сына, а от собственного своего жаловал в бояре, в окольничьи, назначал воевод и дьяков, даже Мстиславского, которому недавно самому предлагали корону, пожаловал

---

[892] Сноски: 892

А. И., II, 366. — Тогда заправляли делами: дьяк Соловецкий, правивший новгородскою четью, Евдоким Витовтов, дьяк в разряде, Иван Грамотин в посольском приказе, князь Мещерский в большом приказе, князь Ю. Дим. Хворостинин в пушкарском; в панском приказе посажен Михайло Молчанов, а в Казанском дворце — Иван Салтыков, думный дьяк Чичерин. С такими думцами, писал Салтыков, не быть к Москве ни одному городу.

конюшим, взял на себя раздачу поместьев, и уже московские служилые люди стали подписываться холопями не Владислава, а Сигизмунда. Многие дворяне и дети боярские, воспитанные безурядицею, для которых, как говорится, что ни поп, то батька, выпрашивали от Сигизмунда грамоты на поместья. Сигизмунд был очень рад случаю и раздавал такие грамоты очень щедро от своего имени, а не от имени сына, следовательно, тем самым заявлял, что он самого себя считает господином Московской земли. Челобитные русских служилых людей о наделении их землями в Московском государстве подавали Сигизмунду благовидный предлог указывать, что русские люди желают его иметь государем. Впоследствии он мог утверждать, что уже на самом деле владел Московским государством, когда делал то, чего не вправе был делать никто, кроме облеченного верховною властью. Важных родов бояре били челом Сигизмунду о своих вотчинах и поместьях. Так, Федор Иванович Шереметев умиленно просил Льва Сапегу походатайствовать у короля за его вотчину и деревнишки[893]. Знатные бояре поручали вниманию канцлера своих благопри-

[893] Сноски: 893
А. И., II, 355.

ятелей[894]. Так, Федор Мстиславский просил за Ивана Васильевича Головина; Андронов — за дьяка Соловецкого, управлявшего новгородскою четью; дьяк Грамотин — за Никифора Спиридоновича[895].

Был щедро награжден от Сигизмунда Григорий Валуев со своим родом за то, что из первых сдался Жолкевскому и признал Владислава. Этот человек, убийца первого называвшегося Димитрием, умел выиграть при Шуйском и теперь выигрывал от новой власти. При названом царе Димитрии был он простым сыном боярским; теперь стал уже думным дворянином. Никто не осыпан был такими милостями, как Салтыковы: Михайло Глебович, кроме прежних своих имений, получил имение в Костромском уезде и волости — Чаронду и Тотьму, взятые у Шуйских, отнявших их у Годуновых. Сын его Иван, кроме многих поместьев в разных уездах, получил волость Вагу, знаменитую по своим доходам, которые некогда обогатили и возвысили Бориса Годунова. Награждены были и другие Салтыковы, и в том числе Иван Никитич волостью Глинских в Яро-

[894] Сноски: 894
А. И., II, 352.

[895] Сноски: 895
А. И., II, 357.

славском уезде. Друзья и сторонники Шуйских подвергались разорениям и преследованиям. От имени польского короля дана была грамота московским боярам, чтобы они сделали розыск[896] и все села и деревни, дворцовые, подклетные и черные волости, розданные Василием Шуйским своим племянникам и заушникам, отобрали снова в казну и чтобы отыскали даже пожалованные царем Василием деньги, золотые кресты и всякого рода драгоценности. Можно вообразить, какую дорогу произволу открывало такое распоряжение! Бывшие в опале от Шуйского приняты в милость и наделены поместьями и жалованьем. Тогда являются в милости и прежние любимцы названого царя Димитрия. Князь Василий Мосальский сел на Боярской думе; Юрия Хворостинина посадили начальствовать пушкарским приказом; старику Василию Яковлевичу Щелкалову дали поместье и вотчину; Афанасию Власьеву не видно особых милостей: он только получил обратно отнятый у него в Москве двор. Тогда в числе челобитчиков на прежнего царя Василия явилась и царица инокиня Марфа, мать Димитрия; она жаловалась, что Шуйский ограбил

[896] Сноски: 896
А. З. Р., IV, 366.

ее, взял у нее все, чем когда-то пожаловал ее царь Иван Васильевич, да еще кормил ее скудно, а людям, которые ей служили, не давал жалованья денежного и хлебного. Ей не дали ни поместьев, ни денег. Вся милость короля Сигизмунда к несчастной матери Димитрия ограничилась тем, что приказано было содержать ее получше, как обыкновенно содержат в Москве «господарских жен, что в черницы постригаются».

V. Переговоры московских послов с панами под Смоленском

Послы московские прибыли под Смоленск 27 сентября и, по известию поляков, были приняты с большими почестями. Каменецкий староста Христофор Зборовский встречал их с значительным числом дворян. Их допустили к королю, перед которым они говорили речь, излагали причину своего посольства, а канцлер Сапега отвечал им любезно и ласково и объявил, что им назначены будут переговоры[897]. Но, по русским известиям, их приняли дурно, надменно, даже содержанием своим они были недовольны, а речь Сапеги пока-

[897] Сноски: 897
Kobierz., 333.

залась им высокомерною. Неприятно отозвалось в их ушах то, что Сапега восхвалял благодеяния короля, который хочет прекратить кровопролитие в Московском государстве и успокоить его, и ни слова не сказал о королевиче и его избрании, как будто бы это был совсем посторонний предмет[898].

До прибытия Жолкевского из-под Москвы московские послы имели три съезда с панами; главным из этих панов был Лев Сапега, канцлер. Паны старательно уклонялись от вопроса о скорейшей присылке в Москву Владислава, которого посылать на Московское царство королю не хотелось вовсе никогда. Они требовали, напротив, чтобы московские послы приказали Смоленску сдаться и присягнуть не королевичу, а королю. Напрасно послы ссылались на договор с Жолкевским; напрасно представляли, что как только Владислав будет царем, то и Смоленск его будет; напрасно и смольняне со своей стороны изъявили готовность присягнуть Владиславу, а никак не Сигизмунду. Паны уверяли, будто король хочет сдачи Смоленска и присяги на его имя со всею Смоленскою землею только для чести, а

[898] Сноски: 898
Дополн. к деяниям Петра Великого, II, 37–52.

после отдаст Смоленщину своему сыну. Послы поняли, что это одни увертки, не соглашались и отговаривались тем, что у них нет на то полномочия. Но паны решительно объявили, что король не уйдет, не покончивши с Смоленском, и будет добывать этот упорный город приступом, да и, взявши Смоленск, не намерен сейчас же посылать сына в Москву; прежде он сам пойдет в Московское государство с войском, уничтожит скопище калужского вора, успокоит страну, волнуемую партиями, а потом вместе с послами отправится на сейм и там будет рассуждаться об отсылке Владислава в Москву. Все это явно показывало послам, что король хочет присоединить к Польше Московское государство, как завоеванное оружием, и этому государству предстоит судьба сделаться провинциею Речи Посполитой. Правда, паны не отреклись от того, что королевич будет царем, но говорили об этом как-то вскользь. Сколько раз послы ни касались важнейшего вопроса — крещения королевича в православную веру, им отвечали гадательно, что в этом деле волен Бог да сам королевич; а когда митрополит, недовольный такими двусмысленностями, стал приставать к Сапеге с этим вопросом, то Сапега положительно отвечал, что королевич уже

крещен и другого крещения нигде не написано. Откладывали присылку королевича на неопределенное время; не исполняли ни одного желания московского народа и в то же время требовали, чтобы московские послы учинили с панами постановление об уплате Московским государством издержек королю и жалованья польско-литовскому войску. Они ссылались в этом случае на договорную грамоту с Жолкевским и, однако, не хотели считать ее обязательною для самих себя, когда послы, ссылаясь на нее, требовали скорейшей присылки будущего царя и вывода польских войск из государства. Паны объяснили, что эта статья относится не к ним, а к тем *послам*, которые будут посланы за этим делом уже от Владислава, когда он будет на престоле.

Приехал Жолкевский. С торжеством он был принят и в присутствии сената привел к ногам Сигизмунда пленного Василия Шуйского вместе с его братьями. По известиям русским, несчастный царь показал твердость духа, которую он и прежде показывал: и тогда, когда клал голову на плаху за оскорбление названого царя Димитрия, и тогда, когда, будучи уже царем, предстал перед разъяренною против него толпой. Его принуждали стать на колени перед Сигизмундом. Он

отвечал: «Не достоит московскому царю кланяться королю, как рабу; так судьбами Божиими сотворилось, что я взят в плен, но не вашими руками, а мои рабы-изменники отдали меня вам»[899].

Нельзя было победителю, приводившему пленного царя покоренной державы, не оказывать ему публично знаков внимания, но король был недоволен Жолкевским за договор, порицал его за то, что он согласился отдать Владислава в цари Московскому государству, когда гораздо было бы полезнее для Речи Посполитой домогаться прямо присоединения Московского государства к Польше. Король замечал гетману, что у него не было инструкции так поступать, как он поступил. Жолкевский в свое оправдание указывал на договор, прежде заключенный самим королем с Салтыковым и боярами его партии, и убеждал Сигизмунда к исполнению договора на таких же основаниях, на каких соперник его Ян Потоцкий советовал его нарушить. Гетман указывал Сигизмунду, что власть его не крепка. Еще много осталось недовольных от прошедшего рокоша, и свежая злоба много может сделать в людских умах; нет

[899] Сноски: 899
Ник. летоп., 148.

ручательства, что сын его будет царствовать в Польше, а между тем это было бы желательно не только для королевского дома, но и для целого отечества, потому что в предшествовавшие три междуцарствия в Польше происходили неурядицы; последнее междуцарствие было хуже всех: уже кровь лилась, и пришли бы еще к худшему, если бы не чудотворная Божия милость. Король, помня о смертном часе, должен заботиться о Речи Посполитой, и можно было бы избежать междоусобия, если бы Владислав заранее всеми согласно был признаваем наследником. А это может быть тогда, если он будет уже московским государем. Тогда его непременно выберут; выгоды, какие проистекут от соединения Литвы с Московским государством, устранят всякого другого кандидата. Жолкевский имел ту же конечную цель, как и все вообще поляки, т. е. присоединение Московского государства к Польше и уничтожение его самобытности, но считал избрание Владислава самым удобным средством достигнуть этой цели. «Все имеет, — говорил он, — свое начало и возрастание; из дитяти делается человек, а из маленького прутика вырастает дерево. Сто шестьдесят лет прокатилось от Ягелла до той поры, как Великое княжество Литовское слилось

с Польшею. Так будет со временем и с Московским государством. Напротив, если король не захочет довольствоваться тем, что теперь есть, то, кроме других неудобств, придется затянуться в продолжительную войну, — кто знает, какой конец этому будет. Нужно будет держать войско и платить ему, а если дурно будут платить, солдаты начнут бунтовать и ворвутся в области Речи Посполитой добывать сами себе то жалованье, которое следует дать им из московской казны». Несмотря на все красноречие Жолкевского, уши короля, как он говорил сам, были закрыты для гетманских увещаний[900].

Но Жолкевский не защищал так прямодушно московское дело перед панами в присутствии послов. Послы прежде только его и дожидались. «Вот, — говорили они, — Станислав Станиславович приедет. При нем пойдет успешнее государево дело; он за великого короля и за все Польское и Московское государство крест целовал Московскому государству, и все люди тогда поверили гетманскому слову. Теперь Станислав Станиславович будет, по своему крестному целованию, за нас».

---

[900] Сноски: 900
Pisma Żołkiew., 103–106.

И 2 ноября сошлись снова русские послы с радными панами; был с последними и Станислав Станиславович. Послы с видом доверчивости обратились к нему как свидетелю, который мог подтвердить правду слов их. Со своей стороны, Лев Сапега объяснил Жолкевскому дело по-своему. «Мы, — сказал канцлер послам в присутствии гетмана, — много раз с вами съезжаемся, да ничего доброго не сделаем; беспрестанно твердим вам, чтоб вы королю учинили честь, велели смольнянам целовать крест королю и королевичу, а вы отговариваетесь недельно, будто без московских бояр учинить этого и не можете».

Послы прочитали пред поляками статьи записки и сказали:

«Чтоб Смоленск отдать королю и крест целовать ему, того не только в статьях нет, да и в помине ни от кого не бывало. Видел ты сам в Москве, — говорили они, обратясь к гетману, — как патриарх, бояре и весь народ советовали об избирательных статьях государя королевича, не только о главных, но и о малых со всеми людьми, не по-одново им все статьи читали; а что им было противно, так приводили их к тому, уговаривая; а о новых статьях к тебе посылали, и ты по их челобитью делал; стало быть, патриарх

не с одними боярами советовал и приговаривал, а со всякого чина людьми. Как же можно нам что-нибудь из утвержденных статей переменить без совета всего государства? Пан гетман не один раз уверял нас всех, что, как только мы к его величеству приедем и побьем челом, тотчас же его величество отступит от Смоленска со всем войском в Польшу».

Жолкевский переглянулся с панами, сказал им кое-что по-латыни, выслушал от них также кое-что на этом непонятном для московских людей языке учености, потом, обратившись к москвичам, сказал:

«Я сам никогда не говорил, что король отойдет от Смоленска; я советовал вам бить челом королю об этом, а мне своему государю как приказывать!» Тут Жолкевский припомнил, что в договоре с боярами у него прежде постановлено было, чтоб ему идти на вора с войском, а потом сами бояре изменили это и пригласили его войти в столицу. «И потому, — сказал он, — у меня с боярами многие статьи уже переменены против договора; что это правда, спросите приехавших со мною к его величеству бить челом о поместьях московских дворян, стольников Ивана Измайлова со товарищи. Вот и вы по их примеру с их милостями

панами поступите. Их милости от вас, послов, справедливо требуют, чтоб его величеству было не стыдно, чтоб смольняне отца с сыном не разделяли и крест целовали бы отцу и сыну. Вам следует так поступить для чести королевской, а если вы этого не прикажете смольнянам, то вот паны сенаторы говорят, что король за честь свою станет мстить, да и мы за честь государя своего помереть готовы, а потому Смоленску будет худо! Вы, послы, не упрямьтесь, исполните волю королевскую, а потом, как Смоленск сдастся, тогда король отойдет, а мы договор учиним».

«Гетман Станислав Станиславович, — возопили послы, пораженные такими нежданными речами гетмана, — попомни Бога и душу свою, ведь ты ею клялся перед честным крестом не однажды; в записи, на которой ты присягал, именно написано, что как скоро смольняне крест королевичу поцелуют, то король отойдет от Смоленска со всеми людьми, порухи и насильства городу не сделает и всем порубежным городам быть к Московскому государству по-прежнему. Как же ты теперь говоришь, чтоб смольняне крест целовали королю и королевичу? Мы чаяли от тебя помощи, что ты станешь за свое крестное целованье и учнешь бить челом его королевскому величе-

ству и своей братии сенаторам за Московское государство. Его королевское величество обещал, что он пришел в Московское государство не для овладения или взятия городов, а для успокоения государства и для унятия крови христианской, а это нешто унятие крови, чтоб Смоленск за крестным целованьем взять и, вопреки договору и утвержденью, на свое государство смольнян ко крестному целованию приводить? Надобно всякому человеку Бога бояться, всякую неправду Бог зрит».

Послы доказывали, что король больше приобрел бы себе вечной славы, если б поступил по договору и немедля прислал Владислава в Московское государство. «А если б, — прибавили они, — его королевскому величеству для своей королевской чести похотелось потом что-нибудь у сына своего, нашего государя, взяти, то государь наш, как будет на своем царском престоле, поговоря с патриархом и со всеми людьми Московского государства, отцу своему королю Жигимонту ни за что не постоит, что будет пригоже; и то его королевскому величеству будет прочнее, от Бога не грех, от всех великих государей похвала, а его государствам к прибавлению и расширению».

Таким образом, послы хотели польстить панам

возможностью получить приобретения на счет Московского государства впоследствии, лишь бы теперь избавиться от уступок.

«А что ты говоришь, — продолжали они, — будто у нас с боярами договор во многом переменился, так мы от бояр о том не слыхали; а что ты на дворян, на Ив. Измайлова со товарищи ссылаешься, чтоб мы их спросили, так мы таких людей, что приезжают к королю с просьбами своими, и спрашивать не хотим. Надобно нам от бояр письмо, а словам таких людей, что приезжают за тем, чтоб от короля поместья получить, верить нельзя. Они для своей пользы и затеять могут».

Потом послы обратились к канцлеру и сказали:

«Лев Иванович, в утверждении написано: чтобы при государе нашем, королевиче, польским и литовским людям у всяких земских дел в приказах не быть и землями не владеть, а вот и до государя нашего прихода поместья и вотчины раздают».

«Что же такое, — сказал Сапега, — государь король милостив, не отгоняет московских людей, что у него милости ищут. Кому ж их до прихода королевича жаловать, как не его королевской милости? Вот, князя Федора Ивановича Мсти-

славского король пожаловал, и князя Юрия Трубецкого боярством пожаловал, и за то все благодарят его величество».

Послы опять принялись доказывать, что по московской записи не следует, чтоб Смоленск целовал крест королю, но Лев Сапега крикнул на них и сказал:

«Мы вам в последний раз говорим о Смоленске. Если не сделаете так, чтоб смольняне целовали крест королю вместе с королевичем, то утверждение с гетмана сошло и мы Смоленску не станем терпеть; не останется камня на камне, и будет с ним то же, что было когда-то с Иерусалимом».

«Ты, Лев Иванович, — сказали послы, — сам бывал в послах; мог ли ты сверх данного тебе наказу что делать? И ты был послом от государя и государства, и мы посланы от всей земли, как же мы смеем без совета всей земли сделать то, чего в наказе у нас нет?»

Потом послы объяснились с гетманом насчет Шуйского.

Митрополит Филарет заметил: «В записи утверждено, чтоб ни единого человека из русских людей не вывозить в Польшу и Литву. Ты на том крест целовал, и то сделалось от вас мимо договору: надобно бояться Бога, а расстригать Василия и

жены его не пригоже, чтоб нашей православной вере порухи не было».

«Я это сделал не по своей воле, — сказал Жолкевский, — а по просьбе бояр, чтобы отстранить на будущее время смятение в народе. А что я привез его в мирском платье, так он сам не хочет быть монахом; его постригли насильно, а насильное пострижение противно и вашим, и нашим церковным уставам. Это и патриарх ваш утверждает; притом же Василий в Иосифовом монастыре чуть с голоду не умирал».

«Бояре желали, — отвечали послы, — чтоб его послать в дальний монастырь, а в Иосифов отослан был он по твоему желанию; и коли его в Иосифовом монастыре не кормили, то в том не правы ваши приставы, что его не кормили, а бояре отдали его на ваши руки».

На другой день послы отправились к Жолкевскому переговорить с ним один на один. Гетман начал речь, сначала показывая желание уступить, чтоб потом свести на свое:

«Это было бы хорошо, как вы желаете, чтоб Смоленск целовал крест одному только королевичу, чтоб иным городам не было сомнения. Государь наш король поехал бы себе в Польшу и Литву, людей своих послал бы на вора под Ка-

лугу, а других оставил бы в Смоленске; но это я говорю сам только от себя, а королевская воля иная: он государь, в том волен. А о Смоленске я вам скажу: точно, нельзя не быть там польским и литовским людям, да и в договоре написано, чтобы в пограничных городах до достаточного успокоения Российского государства были люди польские и литовские».

Гетман давал превратное значение словам договора, где сказано, что, в случае необходимости, государь московский учинит с думными боярами в свое время приговор, чтобы обоих государств думою были в порубежных городах и польские, и литовские люди в приказах; следовательно, это относилось к тому времени, когда уже Владислав сделается царем. Жолкевский же толковал теперь эту статью так, как будто бы смысл ее относился к настоящему времени, до приезда Владислава на царство.

Напрасно послы твердили: в договоре написано, чтоб ни в один город не вводить польских и литовских людей.

«Вы упрямитесь, — говорил гетман, — в договоре написано было, что в Москву польских и литовских людей не впускать, а потом бояре московские, узнавши, что между московскими

людьми есть измена, сами в Москву пустили польских и литовских людей, и теперь они живут в Москве в доброй згоде. Что же такое, что вам не наказано? Можно сделать это и мимо наказа, можно пустить в Смоленск польских и литовских людей, как пустили их в Москву. Смоленск — место порубежное; Михайлу Шеину и смоленским сидельцам король не верит, затем что многие выходцы говорили нам, что Михайло Шеин и смоленские сидельцы сносятся с вором. Ныне предстоит великое дело: вор стоит в Калуге. Если наш государь пойдет в Литву, а люди королевские будут в Москве и под Калугою, Смоленск будет у них позади, и дорога нашим людям через Смоленск, и, если нужно будет королю послать людей своих через Смоленск к Москве или в иные города, как же нашим людям ходить мимо Смоленска, когда в Смоленске не будет королевских людей?»

«Смоленск может быть без польских и литовских людей, — отвечали послы. — Смоленск во все смутные годы не отступал от Московского государства и не бывал в смутах, не приставал к ворам, и теперь как поцелует крест королевичу Владиславу Жигимонтовичу, так и будет ему служить и прямить».

«И для иных многих дел, — сказал гетман, —

нельзя оставаться Смоленску без польских и литовских людей. Если велите в Смоленск пустить наших людей, как пустили уже в Москву, так у нас и доброе дело сделается; а не пустите, так доброго дела не будет, крестное целование долой, и станется кровопролитие не от меня, а от вас, послов, оттого, что договора вы не исполняете».

На другой день послы опять прибыли к гетману и просили, чтоб им дозволил послать в Москву гонца снестись об этом, а до того времени не приступать к Смоленску.

Гетман сказал: «И без обсылок с Москвою можете пустить в Смоленск польских и литовских людей. На обсылку пойдет много времени, королю будет очень убыточно стоять здесь и платить разным людям, а тут еще случится — гонца вашего воры поймают или убьют; вот дело пойдет в протяжку, и доброго ничего не будет».

Послы на это сказали: «Без совета со святейшим патриархом всея Руси и без совета с боярами и со всеми людьми нам нельзя пустить в Смоленск польских и литовских людей ни одного человека. Передай наше челобитье его величеству королю, чтоб нам позволено было послать гонца в Москву». Совещание это окончилось тем, что гетман обещал представить королю их просьбу о

позволении отправить гонца в Москву.

На другой день Жолкевский прислал своего племянника, Адама Жолкевского, известить послов, что король дозволяет им послать гонца в Москву и сам пошлет с этим гонцом своего гонца Гридича, а послам поручил написать со своей стороны в Москву, что следует в Смоленск пустить королевских людей. Когда в Смоленск войдут польские и литовские люди, так король пойдет в Польшу и Литву на сейм, а на вора пошлет свое войско. Пусть Смоленск будет приведен к крестному целованию на имя королевское.

Послы отправились к Жолкевскому спросить, сколько людей оставит король в Смоленске? «Нам нужно, — говорили они, — об этом написать в Москву именно». Гетман на это отвечал: «Когда к вам отпишут патриарх и бояре по совету всей земли, что в Смоленск велено впустить королевских людей, тогда мы и скажем вам про то, сколько людям нужно быть в Смоленске, тогда и Смоленск приведем к крестному целованию на имя королевича». Ясно было, что гетман рассчитывал так: нужно только, чтоб Смоленск отворил ворота, а там он будет уже в полном распоряжении у поляков.

Послам дозволено отправить гонца, но когда

его приходилось послать, то нужно было для его проезда испросить у панов опасную грамоту; и они ждали ее с 7 до 18 ноября. В этот день их пригласили снова к Жолкевскому. Митрополита с ними не было. У Жолкевского в шатре находились: его соперник Ян Потоцкий, Лев Сапега, коронный подканцлер Сченсный-Криский и писарь литовский Ян Скумин. Вместо дозволения отправить гонца паны начали говорить таким образом: «Секира лежит при корени дерева; если вы не сделаете по воле королевской и не впустите людей королевских в Смоленск, то сами увидите, что будет над Смоленском». Они обвиняли смольнян, будто те сносятся с вором. «Подъезжал (говорили они) под Смоленск вор гость Григорий Шорин с людьми и разговаривал со смольнянами. Михайло Шеин спрашивал у них: где вор теперь и много ли с ним людей. Из этого видно, что у него с ворами ссылка».

— Паны сенаторы, — сказал Голицын, — вам на смольнян сказывали ложно. Григорию Шорину и другим ворам нечего верить. Пусть бы кто-нибудь из нас поехал к смольнянам, и мы бы им сказали совет патриарха и бояр и всей земли, и привели бы их ко крестному целованию на имя королевича, как и в Москве все люди крест

королевичу целовали.

Паны отвечали: «Смольняне и без вас о том же просят, чтоб им крест целовать королевичу, да речь не о том: надобно, чтоб они королевских людей в город пустили, а без того их крестное целование нам не надобно. Завтра вы увидите, что станется со Смоленском».

— Дайте нам срок, — сказал Голицын, — посоветоваться с митрополитом Филаретом, он у нас начальный человек.

Голицын пересказал весь разговор Филарету. Митрополит объявил: «Нельзя никакими мерами впустить королевских людей в Смоленск. Если мы впустим их хоть немного, то уже нам Смоленска не видать более. Пусть, коли так, лучше король возьмет Смоленск взятьем, мимо договора и своего крестного целования, на то судьба Божия, лишь бы нам слабостью своею не отдать Смоленска».

Собрали посольских дворян, составился совет. Бывшие на нем имели значение выборных людей, хотя и не совсем правильно. Между призванными на совет не было ни малейшего разногласия. Все как бы в один голос говорили: «Не пускать в Смоленск ни одного человека, для того, если пустить одного, то за одним войдут

многие. Нам на том стоять, чтобы не потерять своею слабостью Смоленска. А если, по грехам, что-нибудь над Смоленском сделается, то уже будет не от нас». Приглашенные на совет дворяне и дети боярские Смоленской земли сказали: «Хоть наши матери, жены и дети в Смоленске, пусть они погибнут, а в Смоленск не пускать ни одного человека. Хоть бы и вы позволили, так смоленские сидельцы не послушают вас ни за что. Уже не раз от короля приезжали в Смоленск королевские люди; и у гетмана, и у разных панов были недавно смоленские дворяне и посадские Иван Бестужев со товарищи: они отказали панам, что хоть бы им всем помереть, а в Смоленск они не впустят королевских людей».

На другой день, 19 ноября, гетман пригласил к себе послов: был тут сам митрополит Филарет и товарищи его; с гетманом были паны, те же самые, что были с ним и на прежнем совещании с послами. Филарет объявил, на чем они постановили со всеми сущими от земли Русской в посольстве, и сказал: «Пожалуйте, панове, донесите наше челобитье к великому государю, королю Жикгимонту, чтоб нам позволил обослаться с Москвою; к вам будет указ из Москвы скоро, а до той поры пусть великий государь

велит промышлять над вором, а городу не делать никакой тесноты».

По этой просьбе паны ходили в другую избу; московские послы долго их ждали; наконец они возвратились и сказали:

«Государь король Жигимонт позволяет вам писать в Москву об указе и послать с вашим гонцом; только вы должны писать вот что: король дает сына своего королевича на Московское государство, но отпустит его с сейма в Московское государство тогда уже, когда оно успокоится, чтоб ему приехать на радость и потеху, а не на кручину. Когда будет в Смоленске королевская рать, тогда мы с вами поговорим о королевском походе; тогда посоветуемся, куда королю учинить поход: в Польшу ли или на вора, и как промышлять над вором; а пока королевская рать не будет в Смоленске, то нашему государю не отходить от Смоленска, и будет он промышлять над Смоленском скоро. Что нашему государю дожидаться вашего указа из Москвы? Не Москва нашему государю указывает, а наш государь Москве, и если кровь прольется, так на вас ее Бог взыщет. Что вы говорите, будто вам нельзя мимо наказу впустить войск в Смоленск? Можно. Если б на вас в Москве стали пенять за это, вы бы сказали:

„Мы так, смотря на Москву, поступили; в Москву впустили польских и литовских людей: и мы также в Смоленск впустили“. Больше нечего нам съезжаться и толковать! Пишите себе об указе в Москву, а государь наш немедля будет промышлять над Смоленском. Из Москвы не дождешься указа по вашему письму, да и ждать московского указа государь не хочет. И так уже по челобитью гетмана король ждал долго, а на жалованье ратным людям напрасно казна идет; в день выходит до двадцати тысяч. Не станет король спускать смольнянам больше».

— Помилуйте, панове рада, — говорили послы, — бейте челом великому государю королю, порадейте у него, чтоб государь король помиловал, не велел промышлять над Смоленском, пока к нам указ пришлется.

Все было напрасно. Паны высокомерно объявили, что король будет немедленно промышлять над Смоленском.

И действительно, через сутки после того, 21 ноября, начали приступ. Посольский стан в то время окружили войском. Послы были печальными свидетелями, как поляки, немцы, черкасы подступали к городским стенам. Слух их был потрясен взрывом Грановитой башни, куда на-

правился сделанный заранее подкоп; распалась башня, вырвало при ней сажен десять городовой стены; но осажденные неутомимо починяли и заделывали взорванное место, дружно отбивали приступ и отбили; королевское войско должно было и на этот раз отступить, как уже отступало не раз прежде, ничего не сделавши над упорным городом.

Обо всем этом послы написали в своей грамоте и послали гонца, а король послал также в Москву свою грамоту, писанную в то самое время, когда его войско шло на приступ Смоленска. В ней он теперь прибавил, что для спокойствия Московского государства необходимо ему оставаться в нем и он не может уходить в Польшу или Литву. «Нельзя оставить, — писал он, — вора в государстве Московском; за него еще многие города стоят и много людей убегает к нему из разных городов. Как только мы выйдем, так вор укрепится; из людей вашего народа много таких, которые благоприятствуют ему, кто ради его, а другие ради своих лихих замыслов. Он посылает за неверными татарами и с другими иноземцами входит в союз; да сверх того и польские, и литовские люди, которые при нем были, готовы разорять и опустошать Московское государство. Вот и князь

Василий Иванович Шуйский, бывший на государстве, навел шведов, и они теперь воюют около Иван-города и Корелы. Если мы только отойдем — все обратятся к вору, сделается большая смута в Московском государстве и ваши нынешние добрые дела будут брошены. Прежде надобно истребить калужского вора, разогнать и казнить людей, которые пристанут к нему, очистить все города и основательно успокоить Московское государство, а потом уже идти нам в Польшу и Литву и там на большом сейме с вашими послами привести дело к концу». В письме не видно было, чтоб Сигизмунд хотел давать сына на престол; он отклонял даже речь о нем. Он твердил, что в Смоленск надобно непременно впустить королевское войско, потому что смольняне сносятся с вором, держат его сторону и с умыслом напрасно задерживают его, короля, под своими стенами. Наконец, король требовал, чтоб московское правительство распорядилось о заплате польским и литовским ратным людям, чтоб таким образом можно было отпустить из войска тех, которые окажутся ненужными. Москвичей обязывали еще раз платить деньги своим врагам и разорителям и против воли притворяться, будто считают их своими союзниками и избавителями.

Последнее решение об отправке гонца паны сообщили послам уже 4 декабря. Между тем они пытались произвести раздор в посольском сонме. Пригласили нескольких дворян, в которых подмечали способность поколебаться, обласкали их, вручили им грамоты на пожалованные королем поместья и предложили отстать от посольства, ехать в Москву и приводить там народ к присяге королю. Набралось охотников отстать таким образом от посольства двадцать семь человек, и в числе их значительные лица: думный дьяк Сыдавной-Васильев и дворянин Василий Сукин; с ними сошлись также спасский архимандрит и троицкий келарь Авраамий Палицын. Поляки хотели еще, чтоб некоторые люди посольские взялись склонить смольнян ко впущению польского гарнизона. Поляки рассчитывали: авось смольняне, услышавши, что люди из посольства советуют им так поступить, не догадаются и подумают, что так все в посольстве решили. С этою целью Лев Сапега пригласил к себе дьяка Томилу Луговского и, оставшись с ним наедине, говорил: «Я тебе желаю всякого добра и останусь тебе всегда другом, только ты меня послушай и государю послужи прямым сердцем, а его величество наградит тебя всем, чего пожелаешь; я на

тебя надеюсь; я уже уверил государя, что ты меня послушаешь!»

— Всяк себе добра желает, — сказал дьяк Луговской, — великою честью себе почитаю такую милость и готов учинить все, что возможно.

Сапега продолжал: «Вот из города кликали, чтоб к ним прислали от вас послов кого-нибудь сказать, что им делать, и они вас послушают и учинят королевскую волю. Василий Сукин уже готов, ожидает тебя; вам бы ехать под Смоленск вместе и говорить смольнянам, чтоб они целовали крест королю и королевичу разом и впустили бы государских людей в Смоленск. Если так сделаешь, то государь тебя всем пожалует, чего захочешь, а хоть бы вас смольняне не послушали, то это будет не от вас, а вы все-таки свое прямое сердце покажете тем, что под город подведете; а я тебе обещаюсь Богом, что наш государь король тебя пожалует».

— Мне этого нельзя учинить никакими мерами, — сказал Луговской, — присланы от патриарха, от бояр и от всех людей Московского государства митрополит Филарет и боярин князь Василий Васильевич Голицын со товарищи; мне без их совета не токмо что делать — и помыслить ничего нельзя. Как мне, Лев Иванович,

такое учинить, чтоб на себя вовеки клятву навести? Не токмо Господь Бог, и люди Московского государства мне не потерпят, и земля меня не понесет. Я прислан от Московского государства в челобитчиках, да мне же первому соблазн в люди положить? Да лучше по Христову слову навязать на себя камень и кинуться в море, чем такой соблазн учинить! Да и государеву делу в том прибыли не будет никакой, Лев Иванович. Ведомо подлинно: под Смоленск и лучше меня подъезжали и королевскую милость сказывали, — смольняне и тех не послушали; а только мы поедем и объявимся ложью, то они вперед крепче будут и никого уже слушать не учнут. Надобно, чтоб, по королевскому жалованью, мы с ними повольно съезжались, а не под стеною за приставом говорили. Это они все уже знают.

— Ты, — сказал Сапега, — только поезжай и объяви им себя; говорить с ними будет Василий Сукин, он ждет тебя; не упрямься, поезжай, послужи государю нашему: королевское жалованье себе заслужишь.

— Я государскому жалованью рад и служить государю готов, — сказал Луговской, — что можно, то сделаю; чего нельзя, за то пусть на меня королевское величество не положит опалы; мне

никакими мерами нельзя без митрополита и без князя Василия Васильевича со товарищи ехать под город. Да и Василию Сукину не пригоже так делать, и Бог ему не простит; а буде захочет ехать, его в том воля.

Луговской пересказал разговор свой послам. Они пригласили к себе Сукина, Сыдавного и спасского архимандрита. Палицына также звали, но он сказался больным и уехал поспешно из лагеря, намереваясь быть в числе отправляемых Сигизмундом в Москву.

— Мы, — говорил им Филарет, — отпущенные люди из соборной церкви Богородицы от чудотворного Ее образа; благословили нас патриарх и весь Освященный собор, и посылали нас бояре и все люди Московского государства. Попомните это: побойтесь Бога и Его праведного суда, не метайте государского и земского дела; видите, каково дело настоит: такого в Московском государстве никогда не бывало; Московское государство разоряется, кровь христианская льется беспрестанно, и неведомо, когда и как ей уняться; а вы, то видя, кидаете такое великое дело и едете в Москву; а у нас не токмо дело не вершится, а еще не почалось.

Те отвечали: «Нас посылает король со своими

листами в Москву для государского дела, как нам не ехать!»

Их не уговорили, и они уехали. За ними 27 человек дворян уехало. По примеру спасского архимандрита и келаря Авраамия Палицына, оставили митрополита протопоп Кирилл и с ним попы и дьяконы. Из отставших таким образом от послов не поехал в Москву, но остался в польском лагере Захар Ляпунов. Говорят, что, пируя с панами, он насмехался над послами московскими. Видно, что поступок всех отставших сильно оскорблял чувство оставшихся. Но, разбирая дело беспристрастно, едва ли можно ставить в вину это оставление посольства, и об Авраамии Палицыне положительно можно сказать, что он сделал это не по дурному побуждению; он понял, что из этого посольства не будет ничего доброго, и ожидал, что оно окончится пленом; поэтому ему казалось благоразумным убраться заранее, чтоб иметь возможность служить родной земле. Авраамий сделал ей гораздо больше пользы, поступив так, как поступил, чем сделал бы тогда, когда бы остался при послах и пошел бы за ними в многолетний плен[901].

---

[901] Сноски: 901

Голиков. Дополнен. к «Деяниям Петра Великого», II, 104–146.

VI. Ропот в Московском государстве. – Заявление Ляпунова. – Мужество патриарха Гермогена. – Боярская грамота к Сигизмунду

Известия о том, что делали поляки с послами, достигли до Москвы, и из нее пошли вести по городам, разумеется, как всегда бывает, в различных видах, более или менее возбуждая и ужас, и негодование. Все прежде думали видеть Владислава сыном православной церкви. Теперь же увертки короля показывали чересчур явно всем и каждому, что он желает только, воспользовавшись расстроенным состоянием Московской земли, лишить ее независимости, а вслед за тем отеческой веры и ввести латинство. Преданные делу Сигизмунда московские люди прежде говорили боязливо и двусмысленно, оставаясь как бы посредине между отцом и сыном; но мало-помалу они начали решительнее проповедовать, что надо Московскому государству присягать не одному Владиславу, но и королю, его отцу. Прочие московские люди стали роптать, что в Москве Гонсевский владеет, как правитель, на-

чальствует стрельцами, будучи сам иноземец. Поляки самовольно сняли со стен Белого города и Деревянного города весь наряд и перевезли в Китай-город и Кремль. Это было сделано для того, чтобы обезоружить москвичей, если они, узнавши, что их хотят принуждать к присяге польскому королю, поднимутся на поляков: они бы не нашли под рукою орудий, чем выжить иноземцев из столицы, а поляки, напротив, тогда будут иметь у себя средства угрожать москвичам и потушить их восстание.

Ожидая тревоги, Гонсевский дал приказание, чтоб русские рано поутру и по вечерам не ходили по городу; на стенах расставлена была польская стража; по улицам ездили денно и нощно вооруженные верховые отряды и надсматривали за жителями. Остальных стрельцов и ратных людей выслали из Москвы под разными предлогами в города. Говорили, что бывали убийства; на Неглинной нашли восемь убитых стрельцов, и подозрение падало на литовских людей. Все боялись иноземцев. Никто не смел роптать громко, чтобы не попасть в список, в котором записывал Андронов нерасположенных к Сигизмунду людей. Но в городах не молчали, как только услышали, что делается под Смоленском. Первый, поднявший

голос на всю Русь за оскорбление святыни народной, был Прокопий Ляпунов, до сих пор столь преданный делу Владислава. Он действительно рад был королевичу, надеялся, что вот наконец Русь успокоится от своих смут, не будет ходить вслед за цариками. Деятельно и скоро он привел Рязанскую землю к присяге королевичу. Когда ему сказали, что поляки заняли Москву, Ляпунов и этим не возмутился; он сказал, что польское войско вошло в столицу на короткое время, пока приедет новый царь, чтобы не дать подняться стороне вора, а потому и приказывал доставлять из Рязанской земли припасы для поставленного в Москве войска. Но месяцы проходили, желанный царь не являлся. Сигизмунд раздавал должности и поместья. Польские ядра летали на русский город Смоленск. От русских требовали присяги чужому королю. Эти обстоятельства взволновали Прокопия Ляпунова. Он понял, что со стороны поляков все обман, что эти друзья и благодетели готовят Московскому государству совершенное уничтожение. Он написал в Москву письмо к боярам с легким укором и с вопросом: будет или не будет королевич, которому все уже целовали крест, и почему не исполняется договор, постановленный с Жолкевским? Письмо это было, по

известию записок Жолкевского[902], испещрено словами Св. Писания. Бояре отослали его под Смоленск королю и сообщили его содержание Гонсевскому. Предводитель понимал, что с такой натурою, как у Ляпунова, шутить нельзя, объявил им, что запретить этому человеку должен патриарх, а вместе с тем указывал на необходимость отдаться безусловно на королевскую волю. Бояре поддавались его внушениям; воспротивился только Андрей Голицын и говорил так: «Господа поляки! От вас нам делается большая несправедливость. Мы присягнули государю королевичу, вы нам его не даете; пишут к нам грамоты не его именем, и людей низкого происхождения равняют с нами, большими людьми. Пусть этого не делается, иначе освободите нас от крестного целования нашего, а мы будем сами о себе промышлять»[903].

Гонсевский запомнил эти слова и с этого часа возненавидел Голицына, но еще более злобился на него Андронов: Голицын намекал на него, когда говорил о людях низкого происхождения. В это время прибыл гонец из-под Смоленска с

---

[902] Сноски: 902
Pisma Żołkiew., 112.

[903] Сноски: 903
Мархоцкий, 112.

посольскою отпискою, где послы испрашивали указа: что им делать с королевскими требованиями? Михайло Глебович Салтыков и Федор Андронов явились к Гермогену и стали говорить, что надобно послать к королю грамоту: в ней просить снова у него сына, но вместе объявить, что предаются вполне на королевскую волю; да надобно тоже написать Филарету, чтоб он со своей стороны объявил королю, что послы во всем покладаются на королевскую волю и будут так поступать, как ему угодно. Гермоген увидел, что бояре ведут дело в угоду Сигизмунду: не Владислава хотят посадить на престол, а Московское государство затеяли отдать польскому королю, во власть чужеземную. И стал он противоречить им. Они ушли от него с досадою.

На другой день (это было 5 декабря) пришли к патриарху бояре снова, и в числе их Мстиславский. Они требовали того же, о чем говорили вчера Салтыков и Андронов. Грамота была уже боярами подписана: ее подавали подписать патриарху. Бояре вместе с тем указывали на сопротивление Ляпунова, хотели, чтоб патриарх усмирил его духовною властью своею. Патриарх отвечал: «Пусть король даст своего сына на Московское государство и выведет всех своих людей

из Москвы; пусть королевич примет греческую веру. Если вы напишете такое письмо, то я к нему руку приложу и вас благословлю на то же. А чтобы так писать — что нам всем положиться на королевскую волю и чтобы послам велеть отдаться на королевскую волю, — я и сам того не сделаю, и другим повелеваю не делать, и если меня не послушаете, то наложу на вас клятву. Явное дело, что после такого письма придется нам целовать крест королю. Скажу вам, я буду писать к городам: если королевич примет греческую веру и воцарится над нами, я им подам благословение, а если и воцарится, да веры единой с нами не примет и людей королевских не выведут из города, то я всех тех, которые уже крест ему целовали, благословлю идти на Москву и страдать до смерти». Бояре стали спорить с патриархом, слово за слово, — рассказывают, будто Михайло Салтыков вышел из себя, стал бранить патриарха и замахнулся на него ножом.

«Я не боюсь твоего ножа, — сказал патриарх, — я вооружусь против твоего ножа силою Креста святого: ты же будь проклят от нашего смирения в сем веке и в будущем». Потом он обратился к Мстиславскому и сказал: «Это твое начало, господин, ты больше всех честию, тебе следует

подвизаться за православную веру; а если и ты прельстишься, как и другие, то Бог скоро прекратит жизнь твою, и род твой возьмет от земли живых, и не останется никого из рода твоего».

Бояре вышли.

На другой день патриарх собирал народ в соборной церкви, но поляки не допустили сборища и окружили церковь; некоторые, однако, успели войти туда и слышали смелую проповедь. Гермоген уговаривал стоять за православную веру, сообщать о том же в города и обличал изменников. После этого события поляки окружили патриарха стражею и не допустили к нему даже дворовых людей, чтобы он через них не посылал в города воззваний и не сообщал, что делается в Москве, что затевают бояре с Гонсевским. Но в разных краях Московского государства узнали, как патриарх твердо выступил против покушений поработить веру и государство. «А если бы, — говорит одна из современных грамот (из Ярославля в Казань), — Гермоген патриарх такого досточудного дела не учинил, то, из боязни польских и литовских людей, никто не смел бы молвить ни одного слова, хотя бы шло не только о том, чтоб веру попрать, но даже о том, чтоб всех заставить носить хохлы».

Бояре, написав грамоту, употребили в ней имя патриарха без его подписи и отправили к послам. В ней приказывалось послам впустить поляков в Смоленск, велеть смольнянам присягнуть не только на имя королевича, но и короля, и самим послам во всем положиться на королевскую волю. Но пока по этой грамоте возник новый спор, как весть об оскорблении патриарха дошла до Ляпунова, и он прислал в Москву другую грамоту[904].

В ней он жаловался на стеснения патриарху и на оскорбления народу от поляков, чинимые в Москве. «Вы, бояре, — писал он, — прельстились на славу века сего, отступили от Бога и приложились к западным и жестокосердным, обратились на своих овец. Король ничего не совершил по крестному целованию, как состоялся договор с коронным гетманом Жолкевским. Знайте же, что я сослался и с калужанами, и с тулянами, и с михайловцами, и с северскими, и украинными городами: целуем крест на том, чтобы нам со всею землею стоять за Московское государство и биться насмерть с поляками и литовцами»[905].

---

[904] Сноски: 904
Pisma Źołkiew., 112. — Никон, лет., VII, 152.

[905] Сноски: 905
Соб. госуд гр., II, 498. — Pisma Żołk., 112–115.

Бояре испугались этих угроз и, чтобы не раздражить народа, уговорили Гонсевского не держать патриарха под стражею и отдали ему часть дворовых людей.

Вести о том, что с поляками дело не ладится, дошли в Калугу до вора, и он послал одного попа, по имени Харитон, к одному из бояр, заседавших в думе, Воротынскому. Этот поп попался под пытку. Он наговорил на Воротынского и на Андрея Голицына, брата Василия, бывшего в числе послов. Гонсевский был уже недоволен этими боярами и, по наговору попа, посадил их под стражу. Попа казнили. Заточение двух важных в государстве особ еще более должно было увеличивать раздражение. Но самому вору не довелось уже более ловить в мутной воде рыбу.

VII. Гибель калужского вора

В числе сторонников вора был касимовский царь. Он пристал к нему еще во время стоянки его под Тушином. Когда вор должен был бежать из-под Москвы, касимовский царь отъехал от него, приехал к Жолкевскому и вместе с гетманом отправился под Смоленск. Сын его с матерью и с бабкою оставался с вором и уехал с ним в Калугу.

Прожив несколько недель под Смоленском, царь стосковался по семье и отправился в Калугу с намерением отвлечь сына от вора. Ему самому понравился прием у поляков. Приехавши в Калугу, отец притворялся перед вором и показывал вид, будто предан ему по-прежнему; но сын подружился с вором искренно и передал ему, что отец обманывает его и в самом деле приехал единственно затем, чтобы взять свою семью, а потом опять ехать к полякам. Вор пригласил старика ехать с собою на псовую охоту. Назначили день. Вор выехал вперед за реку Оку и послал просить касимовского царя выехать к нему. Царь выехал с двумя татарами. Вор обошелся с ним дружелюбно, потом оставил своих псарей вдали, взял с собою двух приятелей, Михайла Бутурлина и Игнатия Михнева, и поехал по берегу Оки. Касимовский царь ехал с ним рядом; вдруг все трое нападают на него, и вор убивает его собственноручно. Тело бросили в Оку. Потом вор в тревоге скачет к прочим своим людям и кричит: «Касимовский царь Урмамет хотел убить меня, чуть-чуть ушел я от него. Он сейчас убежал к Москве. Догоните его и поймайте». Люди пустились в погоню и, разумеется, никого догнать не могли. С тех пор вор подавал делу такой вид,

будто Урмамет пропал куда-то и неизвестно где находится; но проговорились ли те, которые с ним вместе спровадили старика в Оку, или же люди стали догадываться сами собою, — только друг Урмамета, крещеный татарин Петр Урусов упрекнул вора в глаза убийством касимовского царя. Вор посадил его в тюрьму и держал там шесть недель. В начале декабря случилось, что его татары имели стычку с отрядом, бывшим под начальством Чаплицкого, одолели и привели в Калугу пленных. Это обрадовало вора. Татары очень любили Урусова. Надобно было сделать им что-нибудь угодное в благодарность. Марина и бояре упросили выпустить Урусова. Этот человек прежде был ему полезен. Вор помирился с ним и обласкал его.

10 декабря поехал вор за Оку-реку на прогулку с небольшою дружиною русских и татар. Урусов был с ним. Такие прогулки вор делал часто: они были шумны и веселы. Трезвый когда-то, он теперь изменил образ жизни: любил пиры и гулянки, пил вино большими раструханами. Шум, песни, крики пьяных слышались часто. Вор ехал на санях, не раз останавливался, кричал, чтоб ему подавали вино, пил за здоровье татар. Его провожатые ехали верхом. Вдруг Урусов,

ехавший также верхом за вором, напирает на его сани своим конем, а потом поражает его саблею; с другой стороны саней меньшой брат Урусова в то же мгновение отсек вору голову. Бояре подняли тревогу, татары обнажили на них сабли. Бояр было меньше, они испугались и кричали: помилуйте, помилуйте! По одним известиям, татары побили некоторых из русских, провожавших своего царика; по другим, напротив, Урусов не велел их трогать. Татары раздели тело вора и покинули его на снегу, а сами убежали с Урусовым. Воротившись в Калугу, бояре известили горожан о происшествии. Тогда уже вечерело.

Весь город возмутился. «Бить всех татар!» — кричали калужане. Марина, ходившая последние дни беременности, выскочила из города, села с боярами на сани, подняла в поле обезглавленное тело мужа, привезла в город. Ночью, схватив факел, Марина бегала с обнаженной грудью посреди толпы, вопила, рвала на себе одежду, волосы, и, заметив, что калужане не слишком чувствительно принимают ее горе, обратилась к донским казакам, умоляя их о мщении. Начальствовал ими Заруцкий, неравнодушный к Марине. Он воодушевил своих казаков, они напали на татар, каких встретили в Калуге, и до двухсот человек

убили[906].

Через несколько дней родила Марина сына, которого назвали Иваном. Она требовала ему присяги, как законному наследнику. Тогда Ян Сапега, узнавши, что носивший имя Димитрия убит, подошел к Калуге в первый день Рождества и требовал сдачи на имя короля. Три дня шли переговоры, и на четвертый день, когда Сапега еще раз выслал своих на переговоры, калужане сделали вылазку. Бой с Сапегою длился до вечера. Сапега стоял под Калугою до 31 декабря. Калужане ни за что не хотели сдаться.

Марине приходилось плохо. Только донцы с Заруцким были за нее. Калужане ее ненавидели, и она стала чувствовать себя в неволе. Она написала к Сапеге письмо такого содержания:

«Ради Бога, избавьте меня; мне две недели не доведется жить на свете. Вы сильны; избавьте меня, избавьте, избавьте: Бог вам заплатит!»

Ответ калужан Сапеге был таков, что ему и без того ничего не осталось делать под Калугою: калужане обещали целовать крест тому, кто на Москве царем будет, а в Москве признавали Владислава. И Сапега удалился от Калуги к Пере-

---

[906] Сноски: 906

Никон., 149, — Buss., 115–117 — Petr., 239. — Kobierz., 317–321. — Niemc, 336.

мышлю. Перемышль ему сдался. За ним сдался Одоев, и присланные оттуда выборные целовали перед Сапегою крест Владиславу.

Смерть вора сделала перелом в смутной эпохе и была событием, неблагоприятным для Сигизмунда, вместо того чтоб быть ему полезным. Возраставшее недовольство против короля до того времени двоилось: одни держались готового его соперника, кем бы он ни был; другие, не желая повиноваться обманщику, думали отыскать или создать иную точку опоры против польских притязаний. Если б тот, кого еще многие звали Димитрием, был жив, то против поляков стояли бы долго два лагеря, враждебные в то же время один другому. Теперь не стало этого соперника у Сигизмунда, и все недовольные Сигизмундом могли согласно и дружно соединиться воедино, воодушевленные одною мыслью — освободить русскую землю от иноземцев.

Весть о смерти названого Димитрия не так скоро разошлась по отдаленным странам России: в Казани еще в январе 1611 года вооружались его именем против поляков. За Казанью следовала Вятка. И там не хотели повиноваться полякам. И там имя Димитрия все еще служило предлогом, тогда как другие города уже поднимались под

иным знаменем. Но как только в Казани и Вятке узнали, что Димитрия нет на свете, то и там стали заодно с другими городами. В Москве известие о смерти вора произвело радость. Противники поляков перестали бояться Калуги, из которой ожидали помехи успехам усилий против поляков; сторонники Димитрия лишились надежды на Калугу и увидели необходимость искать ее в Москве. Народ вдруг стал вырастать, почувствовал силу свою; казались не страшными ни поляки, разъезжавшие победителями по московским улицам, ни бояре изменники, которые подсматривали и подслушивали, где кроется вражда к королю. Начали собираться в домах, толковали, что король обманывает москвичей, — остается всей Московской земле стать заодно против польских и литовских людей и крепиться в том, чтоб из Московской земли польские и литовские люди вышли все прочь.

Бояре, преданные Сигизмунду, зная нерасположение патриарха к польскому делу, хоть и освободили его от стражи, но советовали Гонсевскому смотреть за ним и предупреждали, что в Москве неспокойно. Настали зимние Святки, шумное время в Москве. Тогда в Москву, как некогда в Иерусалим из Палестины, из русских земель

стекался народ на праздник. У многих жителей городов была в столице родня, и они ездили навестить ее в праздничные дни; иные съезжались к концу праздников поглядеть на обряд богоявленского водосвятия. Это был день, когда русские иногородцы имели случай посмотреть на царя, на патриарха, увидеть весь двор в его праздничном великолепии. Так вошло в обычай съезжаться в эти дни отовсюду в столицу, но на этот раз не было ни царя, ни царского двора, а по привычке, народу все-таки стало стекаться много. Поляки стали бояться такого многолюдства: им мерещилось, что внезапно ударят в набат, как было во время гибели «расстриги», и бросятся московские люди, и старые, и юные, и большие, и малые, бить их. По стенам и на башнях неисходно стояла стража; на зимнем холоде невесело было исполнять эти обязанности, особенно в такие дни, когда из детства привыкли гулять и пировать. Но идет дело уже не о ремне, говорили поляки, а о целой шкуре. Чуть только соберется какое-нибудь сходбище или начнет приливать свежий народ в город, поляки сейчас всполошатся, бьют тревогу, толпами бегут то в ту, то в другую сторону. К патриарху приходили из разных краев русские люди. Патриарх всех благословлял стать за веру и

за Русскую землю, всем говорил: «Вы королевичу присягнули только на том, чтоб ему креститься в русскую веру, а если он не крестится и литовские люди не выйдут из Московского государства, то королевич не государь нам». Эти же речи он писал в своих грамотах и рассылал их[907].

Одну такую грамоту, говорит современник, перехватил какой-то поляк Ващинский, отправленный с семьюстами всадников для проведывания, что делается на Руси. После того поляки дали приказание, чтоб никто из московских жителей не держал у себя оружия, и у кого оно было, те должны были сносить его в царскую казну. Поймали извозчиков, которые везли зерновой хлеб, но под зерном оказались длинные ружья; вероятно, некоторые из московских жителей вместо того, чтоб доставить оружие, какое у них сохранилось, полякам, рассудили за лучшее выпроводить его в иное место, где оно могло для русских послужить против поляков. Гонсевский приказал посадить под лед этих извозчиков. Тогда патриарха стали снова стеснять, увели у него дьяков и подьячих, отняли бумагу, чтоб не дать ему писать грамот, взяли и дворовых людей, чтоб не было кого посы-

[907] Сноски: 907
Pamiętn. Maszk., 36.

лать с грамотами, но не усмотрели за ним; писать он не мог, а говорить еще мог с русскими людьми. Явились к нему под благословение нижегородцы, сын боярский Роман Пахомов да посадской человек Родион Мокеев. Он им передал на словах: «Писать мне нельзя: все побрали поляки и двор у меня пограбили; а вы, памятуя Бога и Пречистую Богородицу и московских чудотворцев, стойте все заодно против наших врагов». Когда это известие принесли посланцы в Нижний Новгород, там составился совет; пригласили балахонцев, а вместе с ними нижегородцы присягнули на кресте стоять за Москву и идти ополчением против поляков и литовских людей. Это решение послано к Ляпунову.

VIII. Твердость московских послов под Смоленском

Между тем к послам под Смоленск пришла боярская грамота из Москвы, где приказывалось поступить по воле короля.

Филарет, прочитавши эту грамоту, сказал: «По совести, нельзя слушать таких грамот: они писаны без воли патриарха и всего Освященного собора и всей земли».

Голицын созвал совет из дворян, еще оставшихся в качестве выборных земли. Они согласно все дали такое решение:

«Этих грамот слушать нельзя: они без подписи патриарха и собора и без согласия всей земли. Никогда грамоты о государственных делах не писались без патриаршего совета. Избирать государя может только вся земля, а не одни бояре; мы не хотим знать этих грамот, и вам, послам, не следует поступать иначе, а то вы останетесь в проклятии от патриарха и в омерзении от всей земли Русской».

Двадцать седьмого декабря призвали паны послов. Филарета в этот день почему-то не было. Паны начали разговор с объявления, что вора нет более. Послы поблагодарили за приятную новость. Один вопрос, который долго хотели отклонить послы, — поход королевский на вора в глубину Московской земли, сам собою был разрешен. Паны с насмешкою сказали: «А что вы теперь скажете, получивши боярскую грамоту?»

На это Голицын отвечал: «Мы посланы не от одних бояр, но от патриарха и всего Освященного собора и от всех чинов всей земли, так и отвечать должны перед патриархом и властями, и боярами, и всею землею. Нынешняя же грамо-

та прислана от одних бояр, и то не от всех, а от патриарха и от властей и от всей земли никакой грамоты к нам нет. О целовании креста его величество король уже решил, чтоб смольняне целовали крест одному королевичу. Все дело теперь о впуске королевских войск: как определится от патриарха и от властей, и от всех бояр, и от всей земли, так мы поступим».

Паны поговорили между собою в особом покое, потом вышли к послам и сказали: «Вы все отговариваетесь, что нет у вас из Москвы указа о Смоленске; вот, теперь и указ получили: вам приказывается повиноваться королевской воле, а вы еще противоречите. Что вы говорите это, будто у нас с вами положено оставить крестное целование на имя короля, когда у нас этого и в мысли не было; вы затеяли это сами!»

Тогда Голицын обратился к гетману и сказал: «Не ты ли, пан гетман, не раз уверял, что его величество нас помиловал и позволил крест целовать одному королевичу? Не ты ли присылал с этим к нам племянника своего, Адама Жолкевского? Не ты ли уверял в том и дворян, которых мы присылали благодарить тебя?»

— Этого не бывало, — отвечал Жолкевский, — а вы должны исполнить так, как вам московская

грамота указывает.

Тогда Лев Сапега сказал: «Видите, это мы вам на съездах говорили; те же слова Дух Святый вложил всем вашим боярам: они теми же словами вам указывают, какими мы от вас того же требовали; конечно, сам Бог открыл им все это, и вам тем паче должно повиноваться воле его величества короля».

— Нас отпускали, — говорил Голицын, — от патриарха, властей, бояр и всей земли; от одних бояр я бы и не поехал.

Вместе с тем Голицын роптал, что бояре дали за-приставы брата его Андрея, за то, будто он с вором ссылался; он обещал бить челом на бояр в бесчестии будущему государю и окончил свою речь просьбой донести королю его челобитье.

— Патриарх, — говорили паны, — духовная особа, ему не до земского дела.

— У нас, — сказал Голицын, — издавна велось при прежних государях: которые государственные или земские дела начнутся, то великие государи наши призывали на совет патриарха и митрополитов и архиепископов и без их совета ничего не приговаривали; наши государи почитали патриарха великою честью и встречали и провожали, и место ему учинено с великим госу-

дарем наряду; таковы у нас патриархи, а прежде были митрополиты; ныне, по грехам нашим, мы стали без государя, а патриарх у нас человек начальный, и без патриарха ныне о таком деле советовать не пригоже; как патриарховы грамоты без боярских, так и боярские без патриарховых не годятся. Надобно делать по общему совету всех людей, а не одних бояр. Государь всем надобен; дело нынешнее общее всех людей, и такого дела у нас на Москве не бывало.

Затем послы спросили: «Что отвечали смольняне на боярскую грамоту?» Паны ответили: «Смольняне в упорстве своем закоснели, не слушают боярских грамот, просят с вами, послами, видеться и говорят: что наши послы прикажут, то мы и учиним!»

— Сами вы, паны, люди мудрые, — возразили послы, — можете рассудить: как же нас смольняне послушают, когда боярских грамот не послушали? Можете разуметь, что не делом писали в Москве; если б писал патриарх и бояре и все люди Московского государства по общему совету, а не одни бояре, то смольнянам бы и отговариваться было нельзя. Мы просим у короля и у ваших милостей по прежнему слову своему: велите целовать крест одному королевичу, а нам

нельзя переменить и велеть смольнянам целовать крест королю.

Паны с гневом сказали: «Вы хотите, чтоб пролилась христианская кровь; на вас ее Бог взыщет».

— Волен в том Бог да государь, — сказали послы, — а что было, того переменить нельзя; мы сами не знаем, как делать; осталась нас здесь половина, а другая половина не делом к Москве отпущена. Начальный с нами человек митрополит; он без патриаршей грамоты не токмо что делать — и говорить не хочет, и нам без него ничего нельзя делать.

На другой день к гетману позвали послов, с ними был и митрополит. Они дожидались Жолкевского целых три часа. Явился гетман и с ним радные паны. Филарет сразу сказал твердо и решительно: «Вчерашние ваши речи я слышал от князя Василия Васильевича; он говорил вам, панове, то же, что и я бы вам сказал».

Паны упрекали его в упрямстве, требуя, чтоб сообразно с боярским указом он побудил смольнян целовать крест не только королевичу, но и королю.

Митрополит сказал: «Крестное целованье дело духовное, от патриарха к нам о том грамота не прислана; я, митрополит, не смею дерзнуть на

такое дело без патриаршей грамоты». Голицын прибавил: «А нам без митрополита одним нельзя делать такого великого дела».

Послов отпустили; паны были на них чрезвычайно сердиты, и когда послы выходили, то кто-то из панов не утерпел, чтоб не сказать вслед им: «Это не послы, а воры».

Тогда паны задумали еще отрознить от них дворян; на другой день после этого свидания с послами они призвали посольских дворян и стали им говорить: «Нам известно стало, что послы от вашей братии дворян скрывают боярские грамоты и не советуются с вами».

Дворяне дали такой ответ: «Кто вам, панам, это сказал, тот бездельник и вор, хочет поссорить нас с послами клеветою; поставьте клеветника нам глаз на глаз. Послы от нас ничего не таят: последнюю боярскую грамоту нам читали и спрашивали у нас совета; и мы, дворяне, сказали нашу думу послам, что по этой грамоте поступать не должно, потому что она писана без патриарха и без совета всей земли».

Клеветники, которых требовали дворяне поставить с ними на очную ставку, оказались Захар Ляпунов и Кирило Сазонов. С этих пор послов не

звали целый месяц[908].

[908] Сноски: 908
Голиков, Дополн., II, 160–175.

Глава вторая
I. Грамота из-под Смоленска. – Грамота московская. – Ляпунов. – Заруцкий. – Сапега. – Воззвание Ляпунова. – Восстание разных городов

Между тем как польские паны в лагере под Смоленском употребляли напрасные усилия к тому, чтобы склонить московских послов и дворян разных городов в свою пользу, эти последние написали, вероятно, с ведома самих послов, и отправили в Москву грамоту, списки с которой должны были разослаться по Московскому государству. Очень может быть, что ушедшие еще прежде от посольства в Москву и сложили ее, но уже, конечно, она явилась в Москве затем, чтобы списки ее были разосланы по Московскому государству. Грамота обращалась к москвичам. «Мы пришли (говорилось в ней) из своих разоренных городов и уездов к королю в обоз, под Смоленск, и живем тут более года, чуть не другой год, чтобы выкупить нам из плена, из латинства, от горькой, смертной работы бедных своих матерей, жен и детей. Никто не жалеет о нас, никто не

пощадит нас. Иные из наших в Литву и в Польшу ходили за своими матерями, женами и детьми и потеряли там головы. Собран был Христовым именем окуп — все разграбили; ни одна душа из литовских людей не смилуется над бедными пленными, православными христианами и беззлобивыми младенцами». Все они, будучи пришельцами из различных городов и волостей Московского государства, свидетельствовали о том, как поработители повсюду поругались над святынею, жизнью и достоянием русского народа. «Во всех городах и уездах, — было сказано в том же послании, — где завладели литовские люди, не поругана ли там православная вера и не разорены ли Божии церкви? Не сокрушены ли, не поруганы ли злым поруганием божественные законы и Божии образы? Все это зрят очи наши. Где наши головы, где жены и дети, и братья, и сродники, и друзья? Не остались ли из тысячи десятый, из сотни один, и то с одной душой и телом…» Им было известно, что затевают поляки: «Мы здесь немалое время живем и подлинно знаем то, про что пишем». Они сообщали москвичам, как в своих письмах к польским панам предатели Салтыков и Андронов советовали королю скорее идти с войском в Москву, вывести из нее лучших

людей и завладеть столицею. «Не думайте и не помышляйте, — писали они, — чтобы королевич был государем в Москве. Все люди в Польше и Литве никак не допустят этого. У них в Литве на сеймище было много думы со всею землею, и у них на том положено, чтоб вывести лучших людей и опустошить всю землю и владеть всею Московскою землею. Ради Бога, положите крепкий совет между собою. Пошлите списки с нашей грамоты в Новгород и в Вологду, и в Нижний, и свой совет туда отпишите, чтобы всем про то было ведомо, чтобы всею землею обще стать нам за православную христианскую веру, покамест еще мы свободны и не в рабстве, и не разведены в плен»[909].

В Москве эта грамота была переписана во многих списках и разослана по городам, а к ней приложили и послали вместе еще свою, московскую, писанную с благословения Гермогена. Москва напоминала о своем первенстве, называла себя корнем древа и указывала на важность своей местной святыни: «Здесь образ Божией Матери, Богородицы заступницы крестьянской, ее же евангелист Лука написал. Здесь великие

[909] Сноски: 909
А. Э., II, 300.

светильники и хранители Петр, Алексий и Иона чудотворцы; или это для вас, православных крестьян, ничего не значит? Так говорить и писать страшно. Не верьте глупому и льстивому слову, чтоб вам быть пощаженным, если не будете с нами обще страдать, сколько силы станет и сколько милосердый Бог поможет. Поверьте этому нашему письму. Не многие идут вслед за предателями христианскими Михайлом Салтыковым и за Федором Андроновым и их советниками. У нас первопрестольной апостольской церкви святой патриарх Гермоген прям яко сам пастырь, душу свою за веру христианскую полагает несомненно, и ему все христиане православные последствуют, только неявственно стоят»[910]. Москва призывала города освободить ее из беды, а города и земли нуждались в средоточии, куда должны были обращаться их взаимные действия.

Когда эти воззвания из-под Смоленска и из Москвы дошли до Рязани, там Прокопий Ляпунов приказал переписать с них списки и разослал с нарочными по ближним городам да приложил еще от себя воззвание. Рязанская земля давно уже привыкла повиноваться голосу Прокопия

---

[910] Сноски: 910
А. Э., II, 299.

Ляпунова. Знали этот голос во всей московской украине. Ляпунов назначил сбор ратной силы под Шацком. Туда, по зову его, пришло ополчение михайловских детей боярских. Потом пристали к ним темниковцы и алатырцы, пришли отряды инородцев — мордвы, чувашей и черемис[911], и пестрая шайка под начальством Кернозицкого. В Коломне воевода Василий Сукин держался поляков, но коломенские черные люди, дворяне и дети боярские снеслись с Ляпуновым и объявляли, что готовы идти заодно с рязанцами. Пристал к Ляпунову Заруцкий со своими донцами. Этот, как мы видели, ранний пособник вора, после бегства последнего из Тушина пристал было к Жолкевскому. Вместе с поляками побивал он войска Шуйского под Клушином, вместе с ними подошел к Москве. Самолюбивый и задорный, хотел он играть первую роль, но как увидал, что Салтыков и Андронов стоят выше его, не захотел служить делу Владислава, ушел снова к калужскому вору. После его убийства Заруцкий вызвался быть защитником Марины, с которой, кажется, был в связи. Не прошло после того и двух месяцев, Заруцкий сошелся с Ляпуновым,

[911] Сноски: 911
А. Э., 11, 312.

приехал в Рязань, обязался служить против поляков за русский народ, которому до сих пор делал одно зло. Его послал Ляпунов в Тулу. Там с ним была Марина. Туда стекались к нему донцы. Стали под его начальство тульские дети боярские. Заруцкий должен был идти на Москву из Тулы, когда рязанцы пойдут на нее из-под Шацка. Московские бояре, узнавши, что Заруцкий собирает ополчение в Туле, отправили к тулякам грамоту, увещевали не приставать к Ляпунову и давали знать, что на Ляпунова посылается сильная польская рать под начальством Сапеги и Струся. Но туляки не приняли увещаний и отослали боярскую грамоту к Ляпунову. Верный видам Марины, Заруцкий думал: авось удастся провозгласить царем ее новорожденного сына, но покамест скрывал это намерение; надо было подвизаться против одного общего врага — поляков[912]. Соединились с Ляпуновым и калужане. Царика у них не стало; им ничего не оставалось, как стать заодно с прочими русскими против поляков. Знатнейшим лицом в Калуге над калужанами был боярин Димитрий Тимофеевич Трубецкой, прежний слуга вора, человек высокого рода, по-

[912] Сноски: 912
Коберж., 371.

томок Гедимина. Калужане дали обещание идти из-под Калуги к Москве разом с другими, которые пойдут из Рязани и из Тулы, и вместе с ними сойтись под Москвою в один день. К Ляпунову пристала и Кашира. Тамошний воевода Михайло Александрович Нагой, также из прежних сторонников вора, 10 февраля написал Ляпунову, что каширяне, служилые и неслужилые люди, будут стоять за православную веру заодно с Ляпуновым, против богохульных еретиков, польских и литовских людей[913].

Тогда в ополчение Русской земли готовился войти Ян Сапега. Стоя под Мещевском, он услыхал, что собираются московские люди идти на поляков. На ту пору он со своими сапежинцами был недоволен королем. Не хотели им заплатить жалованье за те годы, которые они провели на службе вору. Рассерженный на короля и на панов, Сапега писал в Калугу и предлагал свои услуги русскому делу. «Мы хотим, — выражался он, — за православную веру и за свою славу отважиться на смерть, и вам было бы с нами советоваться; сами знаете, что мы люди вольные, королю и королевичу не служим, стоим при своих заслугах;

[913] Сноски: 913
А. Э., II, 312.

мы не мыслим на вас никакого лиха, не просим от вас никакой платы, а кто будет на Московском государстве царем, тот нам и заплатит». Калужские бояре не кинулись сразу доверчиво в объятия бывшего врага Московского государства; не раз он принужден был писать к ним о том же, предлагал заклад, извещал, что бояре, сидевшие в Москве, приглашают его идти на Ляпунова за королевское дело, но он не хочет, и просил по крайней мере сообщить о его желании Прокопию Ляпунову. Калужане, наконец, послали к нему боярина Димитрия Мамстрюковича Черкасского и дворянина Игнатия Ермолаевича Микулина. Переговоры их с Сапегою не повели к согласию. Посланные не могли не припомнить, что сапежинцы оскорбляли православную веру, разоряли церкви, ставили в них лошадей. «Это неправда, — возражал на это Сапега в новом письме своем к калужанам, — у нас в рыцарстве половина русских людей, мы запрещаем им бесчинство; мы смотрим накрепко, чтобы не было никакого разорения церквей Божиих, но от воров везде не убережешься: иное сделают в отъезде»[914] (то есть когда выедут из воинского стана). Как

[914] Сноски: 914
А. Э., II, 311.

ни старался Сапега прильнуть к русским, ему не поверили калужане, и он обратился к Ляпунову прямо. Ляпунов велел передать ему, чтобы он шел, если хочет, сразиться за православную веру, только не в одном полку с русскими, а особно, сам по себе, на Можайск и старался бы не допускать помощи от короля в Москву полякам. Но Ляпунов не иначе приглашал этого союзника, как потребовавши лучших людей в заложники. «Надобно, — писал Ляпунов, — чтобы такая многочисленная рать во время похода к Москве не шла бы у нас за хребтом и не чинила бы ничего дурного над городами»[915]. В то же время к Сапеге обращался Гонсевский[916] и приглашал его с войском на помощь к Москве против угрожающего восстания. Сапега отвечал, что рыцарство не имеет ничего твердого и ручательного от короля и не хочет идти, а пойдет тогда, когда от короля увидит себе какую-нибудь верную пользу.

В Нижнем, как мы видели, еще прежде сношения с Ляпуновым сделалось восстание. Нижегородцы сообщили Ляпунову свою крестоцеловальную запись, заключенную вместе

---

[915] Сноски: 915
А. Э., II, 312.

[916] Сноски: 916
Zycie Sapieh., II, 283.

с балахонцами. Ляпунов в ответ на это 27 января 1611 года отправил в Нижний, со стряпчим Ив. Биркиным и дьяком Степаном Пустошкиным, списки с грамот смоленской и московской и собственное послание в «преименитый» Нижний Новгород, извещал, что уже украинные города поднимаются, и приглашал нижегородцев идти вместе с собою да разом отправить в поморские и понизовые города списки с посланных грамот, чтобы везде знали, что делают поляки, чтобы везде собирались отстаивать Русскую землю и отовсюду шли бы разом на Москву. Нижегородцы должны были идти к Москве на Владимир, когда рязанцы пойдут к ней через Коломну. В другой грамоте, 8 февраля, Ляпунов прибавил, что нужно взять с собою боевой и продовольственный запас, потому что у него мало, а в Москве поляки отняли оружие у жителей и трудно достать пороху. Нижний Новгород от лица архимандритов, игуменов, протопопов, попов, воевод, дьяков, дворян, детей боярских, немцев, литвы, стрелецких, казачьих голов, земских старост, всех посадских людей, пушкарей, стрельцов, казаков разных городов послал в разные города списки грамот, подклеивши их под свою собственную. Так, в грамоте, отправленной 1 февраля в Вологду, ска-

зано: «Вам бы, господа, пожаловать однолично на Вологде и во всем уезде собраться со всякими ратными людьми, на конях и с лыжами, идти со всею службою к нам на сход тотчас же к Москве, чтоб дать помочь государству Московскому, пока Литва не овладела окрестными городами, пока не прельстились многие люди и не отступили еще от христианской веры»[917]. В тот же день с подобными грамотами поехали из Нижнего гонцы в Кострому[918], в Ярославль[919], Муром[920], Владимир[921]. Нижегородцы приглашали всяких чинов людей главных городов собрать народ из окольных меньших городов на совет и постановить, как идти всею силою земли под Москву. Нижегородские и рязанские воззвания встретили уже готовые восстания. В Ярославле народ уже вышел из терпения; туда из Москвы приезжали поляки за сбором и брали более, сколько было

---

[917] Сноски: 917
С. г. гр., II, 500.

[918] Сноски: 918
А. Э., II, 303.

[919] Сноски: 919
А. Э., II, 305.

[920] Сноски: 920
А. Э., II, 302.

[921] Сноски: 921
А. Э., II, 300.

нужно, да еще бесчинствовали. Ярославцы сначала повиновались, сохраняли верность крестному целованию. Но чем русские были кротче, тем поляки наглее. Тогда ярославцы, собравшись, постановили, что более не станут давать кормов полякам, и целовали крест на том, чтобы ни в Москве, ни в окрестных городах полякам не быть, и готовились идти хотя бы на смерть по крестному целованию. В такие-то минуты пришли к ним грамоты от нижегородцев[922]. Ярославцы составили с этих грамот списки, приложили от себя увещательную грамоту и рассылали в Углич, Бежецк, Кашин, Романов; в этих городах жители, как прочитали присланные из Ярославля грамоты, тотчас целовали крест — стоять за православную веру против польских и литовских людей[923]. Между тем в самом Ярославле с воеводою Иваном Волынским собрались все дети боярские Ярославского уезда да триста старых казаков, да к ним еще пристали астраханские стрельцы и стрельцы приказа Шарова, которые возвращались из Новгорода. Сверх того, пятьсот человек стрельцов, выправленных из Москвы в

[922] Сноски: 922
А. Э., II, 306.

[923] Сноски: 923
А. Э., II, 313.

Вологду в предупреждение мятежа в Москве, не пошли далее и пристали к Ярославскому ополчению[924]. Шестнадцатого февраля, для большей крепости дела, в другой раз ярославцы целовали крест на соединение с рязанскими, украинскими и понизовыми городами Московского государства.

Пришли нижегородские грамоты во Владимир, и там[925] собрались все люди и целовали крест на том, что стоять им, володимирцам, со всеми городами заодно против польских и литовских людей за королевскую неправду.

Сделали списки с нижегородских грамот, приложили свою и отправили гонцов в Суздаль, в Переяславль-Залесский, в Ростов; и эти города пристали к общему делу[926]. В Суздале, сверх грамот нижегородских, ярославских и володимирских, явился Андрей Просовецкий, прежде сподвижник Тушинского вора, разорявший северные русские области; теперь, с толпою своих необузданных казаков, он вызывался служить

---

[924] Сноски: 924
А. Э., II, 322.

[925] Сноски: 925
А. Э., II, 306.

[926] Сноски: 926
А. Э., II, 322.

общему делу Русской земли. Из Суздаля он писал во Владимир, в Ярославль, в Кострому и в другие города, а тамошним жителям поручал писать от себя к соседям. В Муроме, под предводительством воеводы князя Мосальского, тоже собирались и ополчались ратные люди, как только получена была нижегородская грамота. Кострома получила грамоты из Нижнего Новгорода 7 февраля, и тотчас же костромичи целовали крест стоять за дом Пречистой Богородицы и за чудотворные мощи, за святые Божии церкви и за православную христианскую веру и послали за себя грамоту со списками присланных к ним грамот в Галич и другие города. Галич, получивши из Костромы списки грамот, тотчас со всею волостью и с пригородами, постановил взять с черносошных людей по десяти человек с каждой сохи. Из Галича посланы были грамоты в Соль-Галицкую, а из Соли-Галицкой — в Тотьму, из Тотьмы — в Устюг. В Устюге, получив из Тотьмы списки с грамот смоленских, московских и нижегородских, вместе с тотемскою грамотою, отослали с них списки в Пермь, в Холмогоры, на Вычегду, в Соль-Вычегодскую, на Вагу, на Вымь, а пермичей просили, списав эти списки, разослать их в Верхотурье и в Сибирь, чтобы из отдаленных земель

и волостей собирались люди и шли на сход к Москве избавлять Московское государство[927]. В Вологду прислано разом несколько посланий из разных городов. Нижегородцы поручили вологодцам собрать с Вологды, вологодских пригородов и изо всех уездов ратных людей, приставить к ним голов, идти на сход во Владимир к воеводе Репнину[928], а костромичи просили, чтобы они шли через Кострому и пристали к Костромскому ополчению. Вологда, со своей стороны, рассылала гонцов в те поморские города, в которые грамоты доходили также из Галича. Устюг, Тотьма и пригороды их, получив разными путями грамоты, все порешили стоять заодно с другими землями, собирать людей и посылать под Москву. Север весь становился против польской власти. От 12 марта соловецкий игумен писал к шведскому королю Карлу IX, что в соловецком и сумском остроге и во всей поморской области было известно, что патриарх благословил все русские земли идти против поляков; все собираются на рать, все единомысленно порешили: не хотим на Московское государство царей иноверных,

[927] Сноски: 927
А. Э., II, 295.

[928] Сноски: 928
А. Э., II, 303.

кроме своих прирожденных бояр Московского государства![929]

Впрочем, Пермь, как и при Скопине-Шуйском, вначале ленивее других земель помогала общему делу и на первый раз немного людей послала; это видно из наказа пермским целовальникам, которым поручили вести под Москву пятьдесят человек на помощь[930]. Казань и все Нижнее Поволжье не только слабее участвовали в общем ополчении против поляков, чем костромичи, нижегородцы и ярославцы, но не пристали к нему тотчас вместе с другими. Когда в Казань пришло известие о том, что Русь признала Владислава и поляки вошли в Москву, — воеводы Морозов и Богдан Бельский да дьяк Никанор Шульгин и большая часть казанцев не хотели присягать и держались Димитрия, а в январе Богдан Бельский стал уговаривать казанцев покориться общему приговору земли, но против него повел интригу дьяк Шульгин и возмутил казанцев: во имя Димитрия схватили Бельского, взвели на башню и сбросили вниз. Так окончил свой век этот замечательный человек, по-види-

---

[929] Сноски: 929
А. А., II, 308.

[930] Сноски: 930
А. А., II, 309.

мому, один из важнейших зачинщиков смут[931]. Проезжали казанцы через Ярославль, видели собрание ратных людей и молились вместе с ними местной святыне ярославской; им вручили ярославцы грамоты, чтобы они везли их в Казанское государство, и убеждали казанцев помогать другим землям; и это не подействовало. Казанцы и вятчане держались еще упорно Димитрия, не зная или не веря, что того, кто назывался этим именем, нет на свете. В этих землях была своеместная неурядица: взбунтовались черемисы, к ним пристали и русские разбойники. Земли должны были отбиваться от внутренних врагов. Ненавидя поляков, в этих землях не доверяли Ляпунову.

Охотнее откликнулся на присланные из Ярославля грамоты Великий Новгород. Как только там узнали, что уже из разных городов пошли ратные люди под Москву, то сделалось волнение. Люди новгородские собрались и просили благословения своего владыки Исидора на ратное дело. Исидор благословил их. Все целовали крест на том, чтобы стоять против польских и литовских людей и послать воевод с ратным ополчением.

---

[931] Сноски: 931
Голик. Доп., II, 160.

Заключили в тюрьму воеводу Ивана Салтыкова и Кирилла Чоглокова — предателей, сторонников польских. В города Новгородской и Псковской земли и в другие окрестные, во Псков, в Иван-город, в Великие Луки, в Порхов, Невель, в Торопец, в Яму, в Заволочье, в Копорье, в Орешек, Ладогу, Устюжну, в Тверь, в Торжок были посланы из Новгорода списки грамот вместе с увещательною грамотою от самого Великого Новгорода; посланы также отписки о готовности новгородцев в Ярославль, Углич, Кострому[932]. Псков и прежде ни за что не хотел целовать крест Владиславу и не целовал вовсе. Но там продолжались смятения, не допускавшие народ стать воедино и воодушевиться общею доблестью. Бывшее с 1609 по 1610 год господство черни прекратилось, но, в свою очередь, бояре, гости и лучшие люди захватили власть и стали делать насилия. Тогда опять поднялась чернь на Запсковье и на Полонище и выгнала лучших людей, а весною 1611 года, когда другие города шли к Москве, на Псковскую землю напали литовцы: Ходкевич, литовский гетман, стоял под Печорами, а Лисовский со своею шайкою опустошал пределы Псковской

[932] Сноски: 932
А. Э., II., 314.

земли, и псковичи, приставши сначала к делу общего ополчения, потом извещали, что не могут помогать ему[933].

Повсюду бегали из города в город гонцы, иногда по два и по три, иногда по нескольку человек. То были дети боярские и посадские; они возили грамоты, через них город извещал другой город, что он со своею землею стоит за православную веру и идет на польских и литовских людей за Московское государство. Из городов бегали посыльщики по селам, сзывали помещиков, собирали даточных людей с монастырских и архиерейских сел; везде по приходе таких посыльщиков звонили в колокола, собирались люди на сходки, делали приговор, вооружались чем ни попало и спешили в свой город кто верхом, кто пешком, а в город везли порох, свинец, сухари, толокно, разные снасти. Перед соборным духовенством происходило крестное целование всего уезда[934]. Тут русский человек присягал и обещался перед Богом стоять за православную веру и Московское государство, не отставать от Московского государства, не целовать креста польскому королю, не служить ему

[933] Сноски: 933
Псковск. П. С. Р. Л., IV, 329.

[934] Сноски: 934
А. Э., II. 307.

и не прямить ни в чем, не ссылаться письмом и словом ни с ним, ни с поляками и Литвою, ни с московскими людьми, которые королю прямят, а биться против них за Московское государство и за все российские царствия и очищать Московское государство от польских и литовских людей; во все время войны быть в согласии, не произносить смутных слов между собою, не делать скопов и заговоров друг на друга, не грабить и не убивать, и вообще не делать ничего дурного русским, а стоять единомысленно за тех русских, которых пошлют куда-нибудь в заточение или предадут какому-нибудь наказанию московские бояре. Вместе с тем обещались заранее — служить и прямить тому, кого Бог даст царем на Московское государство и на все государства русского царствия. Ополчаясь против короля, не желая и королевича с поляками, русские в своей крестоцеловальной записи, однако, не исключали возможности признать царем и королевича согласно данному прежде крестному целованию; но сомневались, чтоб это случилось, ибо не приняли бы его русские иначе как свободно, с такими условиями, каких сами захотят, на которые поляки не согласились бы ни за что. В этой записи говорится: «А буде король не даст нам сына своего

на Московское государство, и польских и литовских людей с Москвы и из всех московских и из украинских городов не выведет, и из-под Смоленска не отступит, и воинских людей не отведет, и нам биться до смерти».

II. Противодействие поляков. – Движение русских ополчений. – Тревога в столице. – Стеснение патриарха

Поляки не ждали такого единодушия. Поляки видели, как бояре и дворяне раболепно выпрашивали у Сигизмунда имений и почестей, как русские люди продавали свое отечество чужеземцам за личные выгоды. Поляки думали, что, как только бояре склонятся на их сторону, как только они одних купят, других обманут, то можно совладать с громадою простого народа, не знающею политических прав, — с этим стадом рабов, привыкших повиноваться тяготеющим над ними верхним силам. Они ошиблись. Они не рассчитали, что, мимо политических прав, которыми Польша так гордилась и которых Русь не знала, была на Руси животворная сила, способная привести в движение неповоротливую громаду, — это была православная вера! Она-то

соединила русский народ, она для него творила и государственную связь, и заменила политические права. Знаменем восстания была тогда единственно вера: во всех грамотах выставлялось на первом плане побуждение религиозное, необходимость защищать церкви, образа и мощи, которым творили поругание польские и литовские люди. Эти-то драгоценные для сердца и воображения предметы подняли тогда русских всех земель. Они же, между прочим, привязывали области и к Москве, где было много и церквей, и образов, и мощей.

Ни тогдашнее московское правительство, ни поляки не употребляли энергических мер, чтобы это восстание подавить в начале. В январе, узнав о волнении рязанской земли, московские бояре известили Сигизмунда, что Ляпунов, в Рязанской земле, не хочет видеть в Московском государстве успокоения, не велит слушать повелений королевских, посылает воевод и голов по городам, прельщает дворян и детей боярских, устрашивает простых людей и сбирает себе денежные и хлебные запасы, следуемые в царскую казну[935]. Указывали на брата его Захара, бывшего тогда

[935] Сноски: 935
Собр. гос. гр., II, 489.

в королевском обозе под Смоленском, как на тайного пособника Прокопию. В то же время московские бояре послали черкас воевать рязанские места, послушные Ляпунову. Неизвестно, откуда пришли эти черкасы: были ли это бродячие казацкие отряды, или, всего вероятнее, то были малорусы, поселенные в Рязанской земле, ибо впоследствии там оказываются на жительстве малорусы. Но как бы то ни было, только к этим черкасам пристали русские изменники, Исай Сумбулов со товарищи. Ляпунов пошел на них с детьми боярскими, рязанскими и коломенскими, выгнал их из Пронска и занял этот город. Тут подоспели к черкасам на помощь еще новые силы и осадили в Пронске Ляпунова. На счастье ему, вышел из Зарайска тамошний воевода, князь Димитрий Михайлович Пожарский, и пошел на выручку Ляпунова. Черкасы отошли от Пронска к Михайлову (где, вероятно, пребывали постоянно). Воеводы разошлись: Ляпунов отправился в Переяславль-Рязанский продолжать свое дело, а Пожарский — в свой Зарайск. Тогда черкасы ударили на Зарайск, взяли острог, осадили в городе воеводу. Но Пожарский сделал вылазку, выгнал их из острога и прогнал далеко. Сумбулов оставил

черкас и убежал в Москву[936]. Современники приписали эту удачу чудотворной силе Николы Зарайского.

В феврале князь Иван Куракин, сторонник поляков, воевода в Юрьеве-Польском, вместе с князем Иваном Борисовичем Черкасским услышали, что во Владимире происходит сбор восстания, пошли туда с войском; но весть об их походе впору дошла в Суздаль до Просовецкого, и он послал на помощь владимирцам своих ратных людей — казаков. 11 февраля под Владимиром произошла битва: Куракин был разбит, Черкасского взяли в плен, остальные разбежались[937]. Неудачно пошло дело королевской стороны и в Новгороде: в первых числах марта польский отряд, который пришел из Великих Лук в Старорусский уезд, узнав, что в Новгороде волнение, спешил на выручку Салтыкова, но новгородцы вышли против него и разбили[938]. Таким образом, первые столкновения русского восстания с врагами могли только ободрить русских.

---

[936] Сноски: 936
Ник. л., 154.

[937] Сноски: 937
А. Э., II, 307.

[938] Сноски: 938
А. Э., II, 314.

Восточные ополчения выходили из своих земель к назначенным местам скоро. Еще 8 февраля нижегородцы отправили передовой отряд во Владимир. Он состоял из нижегородских дворян, детей боярских, поселенных в нижегородской земле литвы и немцев, и стрельцов. Затем, 17 февраля, двинулось и все большое нижегородское ополчение вместе с ополчениями окольных городов, тянувших к Нижнему. С ними сошлось воедино муромское ополчение под начальством князя Василия Федоровича Мосальского; в нем кроме муромцев были дворяне, дети боярские, стрельцы и казаки других соседних городов[939]. Они пришли во Владимир 1 марта, а из Владимира, вместе с владимирским ополчением, двинулись к Москве 10 марта[940]. К ним пристали суздальцы под начальством Артемия Измайлова и пестрая толпа казаков и черкас Просовецкого.

Костромичи вышли 24 февраля под начальством князя Федора Волконского. Они прибыли к Ярославлю; там пристало к ним ополчение ярославское и вышло с ними к Москве в начале марта, под начальством Ивана Ивановича Во-

[939] Сноски: 939
А. Э., II, 302.

[940] Сноски: 940
А. Э., II, 325.

лынского, оставив в городе другого Волынского со старыми дворянами. В Романове к ним пристало и романовское ополчение под начальством князя Василия Пронского. Они все вместе прибыли в Ростов, и тут соединилось с ними ростовское ополчение под начальством Федора Волконского. Из Ростова пошли на Переяславль.

Переяславцы приняли их с образами и примкнули к ним. Отсюда с новоприбывшими они шли на Александровскую слободу, на соединение с владимирцами и нижегородцами. Тут напал на них отряд, посланный из Киржача, где стоял князь Куракин. Они разбили его и наловили пленников[941].

К Ляпунову в Рязанскую землю весь февраль стягивались ополчения украинских городов, войско его было очень велико. Но главная сила украинского восстания заключалась в казачестве. Заруцкий в наборе войска действовал с тою же казацкою широтою, с тем же взломом общественного строя, как некогда Болотников. В грамоте, написанной от имени князя Трубецкого, которым руководил Заруцкий, призывались люди боярские крепостные и старинные, всем обеща-

[941] Сноски: 941
А. Э., II, 324.

лась воля и жалованье, как и другим вольным казакам[942]. Таких-то пособников не страшился набирать Ляпунов[943]. В начале марта Ляпунов двинулся в Коломну.

В продолжение этих двух месяцев, когда происходил сбор всего русского народа и поход под Москву, в самой Москве одушевление, оживлявшее всю Русскую землю, стало выражаться смелыми поступками. К Гонсевскому явились дворяне и обыватели московские[944].

«Мы терпели притеснения от твоих людей, — говорили они, — они ругаются над святынею, не уважают службы Божией, в образа стреляют, наших людей бьют, в дома наши насильно врываются; казна царская тратится, земля наша истощается, каждый месяц большие деньги пла-

---

[942] Сноски: 942

Солов., VIII, 396.

[943] Сноски: 943

В рукописях Имп. публ. библ. (Польск. Ист. кварт. № 30) есть послание или грамота Ляпунова в Нижний, переделанная на польско-русскую речь, вероятно, для распространения между казаками, нахлынувшими громадами на Московское государство. Вот она:

«В высоко збовенный в замок Нижний воеводом, и дворяном, и детем боярским, и головом, и всих чинов приказным людем, и стрельцом, и казаком, и пушкаром, и затинщиком, и всем служилым, и купцом розным людем и во всяких кондыцыях, — аж до остатнего стопня, всем в Хрыстусе православному народови здорово будучы в пану весельтесе. Прокофей Ляпунов, и дворяне, и дети боярские, и всих станов всякие люди резанскаго повета чолом биют. Для грехов нашых отнесется на нас правдивый гнев Божий, и довгий час не престает аж

до нынешнего часу водле Христова слова: повстанет много фальшывых хрыстов, в которых зраде змешалася вся земля, и есть опустошение ей велми брыдкое и пустое, злым хитрым каранем завсегды злого дьявола неприятеля и противника народу человеческого вечную згубу прыносит, жебы мог з своими угодниками богоотступцами, геретыки гадними вовками, усе Христа названное стадо узогнат, укрыт и погубит. Сами ведаете: в теперешние войны полский король Жикгимонт прислал гетмана своего пана Жолкевскаго до королюючаго места Москвы, хотечы дать на Московское Государство сына своего королевича Владислава Жикгимонтовича, окрестывши его водлуг правил светых апостолов и богоносных святых Отцов семи соборов, по греческому закону, и на том (с) предними людми се земли гетман Жолкевский крест целовал Господний, же быть королевичу Владиславу Жигмонтовичу на московском государстве государем царем и великим князем всея Руси (в) правдивой православной вере греческого закона в высоко поставленую светых божиих церквей светечы (?) веру Иисуса Христа яко при прежних высокозацных государех московских царех, никаким способом обычаем земли нашое неотменяючы и польским людем в Московском государстве не быть, а теперь по своей обетницы указалсе ложь; лечь отмовили слова покорнего в зраде, яко нам барзо лагодно мовили, а гнев зрады потаемно мыслили, змовившысе з собою умыслили всих высокозацных московское монархие христиан без вести отторгнувши згасит насенне веры у верных, и з собою у згубу укинут, а нам кручинитсе и болет душою и телом приходит. Сами головнетые люди московское земли славою света сего уведени и темностю солодких роскошен затмившысе одное правдивое веры светое всходнее церкви и преосвященного патриархи зо всим светым собором, пастырей наших и научителей повшехных отступили, к заходним приложывшысе, так еще ложжу лицемерности свое, яко овечою скуркою, закрываючы у собе нутреного вовка, яко хрыстопродавца Юдаш з жиды указуютца, упокараючысе царству света сего, переменяючысе в постат овчую, на свои овца обернулысе, хотечы их погубит. Штож

речем и што больш мовит будем? Нездолеет час слепоты и зрады их объявит; о таких то пророк Давид мовит: мовили прожности и зрады и весь день сей учыли, и вси замыслы на лихо засадили, слова их яко олей, а то суть стрелы, яко змеин яд и аспидов под устами их. Про то просим вас, именем Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа, всих высокозацных (в) вере жывущых одное правдивое веры з сторожем светое всходнее церкви и правдивое матки сынов в вашей власти сполжывущых и по всих странах господства московского, же бы нам быт всим в правой вере стоячым моцно узмагатсе о Господу в силе и крепкости его одевшысе и оборону правды прынавшы, всиоружыя господне пришовшы, станем против таковых, противных спасеня нашого, недругов божых, геретыков, стоячых на то всею моцю, абы нас отлучыли от светое соборное всходнее церкви, для которое отцы наши от початя сына Божего Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа, аж до нынешнего дня, каждый в свой час чыстым жытем и верою Исуса Христа осветивши нас, вечне с Хрыстом царствуют, нам зоставившы светые свои мощы ненарушные, велми пахнучые великою вонею, правдивые чуды и православные чынячы у добром здорове, слепым вид, хромым ход, чортов одогнане и всякую всяким прыходючым к ным з верою корост водле чоломбите их деют, а тепер, о правдивые и верные в Хрысте, закрычыте овцы до Крыста, научывшысе не слухат чужого голоса. Як слухат почнем вовчого всетеряющого голосу, и як отпадем от таковое ласки и от таковых даров, яких чуд отнесем, если нам вынищон будет крест Хрыстов и высокая краса дому Божого и место вселенное славы его, будет обрыдливость и вынищенне, и ласка обернетсе в неласку. Чи не лепеш померет кажному правоверному, нижли чуть таковую згубу, а укрый же Боже видет? Але узнаймысе вси однако, вся Русь церковная, узнаймысе быт сынми царства и наследовцами живота вечного, поднесем сердца нашы, очы ку скруше и розумы нашы обернимо ку Вышнему, сполне заволаймо одногласно со слезами, так глаголючы: соблюди нас, Господи, со небес и смотры, наведи Винницу тую, которую насадил еси десницою твоею, не вы-

давай нас, раб своих, зверятом, хотечым пожирать нас кожного дня! Так молечысе в горкоста душы, станем крепко за землю нашу, пойдем против тых, которые пустошат правдивую веру возмем вси оружя Божыи и щыт веры, а в лаще госдне порушымсе добрым порушенем за светые церкви, за правдивую веру, за светые монастыри, за веру душы нашы кладучы, подвинемсе всею землею до царствуючого града Москвы, з своеми странами всеми православными христианы всею землею Московского Государства, раду зделаем, кому быт на Московском Государстве государем; а есъли здержыт слово польской король, што даст сына своего королевича Владислава Жыкгимонтовича на Московское Государство, окрыстывше его по греческому закону, а не по богоотступному рымского папы, литовских людей з земли выведет, водле своее обетницы начом его душою Жолковскый крест целовал, и вси городы московские очыстыт, и сам от Смоленска отступит, и мы ему, государу, всею землею рады, и крест ему, государу, целуем правыми душами, и будем ему, государу, холопы, яко и прежним своим государем московского государства. А всхочет ли нас моцю поконат без правды, зменяючы свое хрестное целоване и веру загубывшы, и нам всим православным христианом стать за веру за светые церкви божыи и за вси православности и за вси страны российские земли, помнечы што глаголал и Спас наш, проповедаючы нам навалности великих клопотов и бед, коли се будет прыближат антыхрыстово царство; а нас ужо час минает, яко нам есть час повстат и ку целемудрости прыклонитесе, ничого не смотречы на теперешние мимотекучые и псуючысе дела, помнечы толко на тое кажен з нас, же бессмертную душу маем, над которую ничого дорогшаго не маш, и хотя бы хто посел вес свет, ничого псуючыхсе богацтв з собою не берет; наги родимее и наги ворочаемсе з сего света, и для того печалмысе смертью вечного живота набыват, смотречы на нескончоное бостьо, а и подавцу веры Исуса Христа, за которым бы нам набыт вечных добр, а цару славы одному премудрому Богу честь и слава навеки веков амин. И вам бы, панове, писать о том не от себе, во вси городы околичные, якая будет во

всих городех околичных дума: усхочут ли стоят за свою православную веру хрестьянскую, або ли подадутсе богоотступным геретыком. А наша всих дума такая: альбо веру православную очыстыт, альбо за веру по одному померет, и вам бы о том до нас вскоре отписат, же бы нам было видимо и надежно». Заглавие этого акта означено в рукописи по-польски: «Universał Lepunowa Rezańskiey prowincyi pobudzaiacy do woyny przeciwko Króla J. Mości. 11 Lut. 1611 года» (Универсал Ляпунова Рязанской провинции, возбуждавший к войне против его величества короля, 11 февраля 1611 года).

[944] Сноски: 944

Буссов показывает, что это происходило 25 января, но числа в этой хронике неверны.

тятся, чтоб содержать шесть тысяч ваших людей, а выбранный нами царь не приезжает; народ скорбит, думает, что король хочет разорить, а не устроить нашу землю, говорит, что король, по своему крестному целованию, нам сына своего не пришлет».

Гонсевский отвечал им: «Вы сами смотрите, чтоб не подать повода к несчастию, а о нас ничего дурного не думайте; у короля есть свои дела в королевстве, а как он их окончит, то и пришлет сына своего, так, чтобы сохранить честь и славу как польского, так и русского государства. Надобно прежде, чтобы Смоленск сдался, чтобы потом ему, королю, не иметь спора с сыном своим. А я со своей стороны буду просить, чтобы молодой царь прибыл как можно скорее; а кто из наших людей станет вам делать обиды, то я таких накажу беспощадно».

— Пусть скорее едет царь, — подтверждали москвичи, — а то народ станет искать другого государя; для такой невесты, как наша Русь, жених найдется.

Польские лазутчики рыскали всюду и приносили злые вести; с каждым днем слух о восстании по русским краям становился для поляков грознее и грознее. Поляки смотрели осторожнее и подозри-

тельнее, а москвичам, по мере больших надежд, труднее было сдерживать свою злобу. Еще было свежо у поляков воспоминание о страшной ночи, погубившей первого Димитрия. «Москвичи народ вероломный, — говорили они, — могут внезапно напасть на нас». Строже стали караулы; все возы, въезжавшие в город, подвергались старательному осмотру, чтобы русские не ввезли в город оружия. Жолнеры присматривались ко всяким сборищам, входили без запинки в дома, где являлось подозрение. «Что же это такое? — говорили им русские. — Разве мы враги ваши?» «Не мешает быть осторожными с вами, — отвечали им поляки, — нас немного, а вас тысячи. Мы знаем, что вы, москвичи, нас не любите. Мы дурного не затеваем и не будем ссориться с вами: государь нам того не приказывает; вы только сидите спокойно и не учиняйте буйств, а нас бояться вам нечего». Прислушиваясь к толкам, поляки услыхали, что москвичи так поговаривали между собою: «Теперь еще пока их немного, а что как прибавится у нас этих лысых голов? Разве не видно, что у них на уме? Они хотят нас под собою держать и овладеть нами со временем. Мы выбрали польского королевича не на тот конец, чтобы всякий безмозглый поляк помыкал нами…

а нам, московским людям, пропадать пришлось! Король, старая собака, целый год не будет пускать к нам своего щенка. Если он к нам теперь не хочет приходить, пусть навеки себе в своей земле остается. Не хотим, чтобы он был у нас государем; если эти шесть тысяч глаголей добром отсюда не уберутся, то перебьют их, как собак, даром что они так здесь уселись. На них наших семьсот тысяч найдется… стоит только взяться дружно за дело… много можно сделать!» Когда услышали, наконец, москвичи, что восстание охватило почти все города и земли, некоторые до того стали отважны, что собирались толпами, подсмеивались над поляками и задевали жолнеров, когда они проходили отрядами на караул или когда являлись для покупок на рынке. «Эй вы, хари! — кричали им москвичи. — Не долго вам тут сидеть! Скоро собаки потащат вас за хохлы, если добром не выйдете из нашего города». «Смейтесь себе, — отвечали им поляки, — сколько хотите ругайтесь; мы будем терпеть и без большой нужды не начнем кровопролития; а вот вы попробуйте что-нибудь затеять, тогда посмотрите, как мы вас заставим каяться!» Когда поляки что-нибудь покупали, с них брали вдвое. Однажды, по сказа-

нию Буссова[945], 13 февраля, польские шляхтичи послали своих пахолков покупать овса на хлебном базаре, который был тогда за Москвою-рекою на берегу; пахолки присмотрелись, что москвичи покупают овес и платят за бочку талер, и сами то же хотели заплатить. Москвич-торгаш потребовал с поляка вдвойне. Поляк вышел из терпения, начал ругаться: «Как смеешь грабить нас? Разве мы не одному царю служим?» — «Коли не хочешь столько дать, так убирайся; полякам не покупать его дешевле». Поляк выхватил саблю. Москвич пустился с жалобным криком бежать; вдруг бросились на поляка москвичей человек сорок или пятьдесят, с дубьем. Поляк в свою очередь закричал и пустился бежать; на его крик поспешили пахолки; за ними также погнались москвичи. Поляки кричали, будто москвичи убили из них троих за то, что те хотели платить, сколько другие платят. Тогда двенадцать жолнеров, что сидели на рынке, бросились к своим на помощь; произошла свалка, убито было до тринадцати человек. В Москве с обеих сторон поднялась тревога; бежали москвичи, кричали, что поляки бьют их; поляки кричали, что москвичи бунтуют, и готова

[945] Сноски: 945
Стр. 122.

была разыграться полная битва, но тут прибежал сам Гонсевский с офицерами; разогнали драку, и Гонсевский, в качестве правителя столицы и наместника королевского, говорил такую речь:

«Вы, москвитяне, считаете себя самыми истинными христианами. Зачем же вы не боитесь Бога, хотите кровь проливать, быть вероломными? Вы думаете, Бог вас за это не накажет? Вы уже убили столько своих государей, нашего короля сына выбрали себе государем, дали ему крестное целование, и за то, что он не может так скоро приехать, как бы вам хотелось, вы поносите его и отца его: его самого щенком, а короля, отца его, старой собакой называете! Бог своими наместниками поставил их, а вы их своими свиными пастухами считаете! Вы не хотите быть тверды на вашем крестном целовании: ведь вы сами же государем выбрали его, и короля просили, чтоб он изволил вам дать сына на царство, и нас поэтому приняли в Кремль! А теперь вы его людей бьете! Не помните, что мы вас избавили от вашего врага, Димитрия! Что вы делаете нашему государю Владиславу, то вы не человеку делаете, а самому Богу; он не дозволит ругаться над собою; не полагайтесь, милые друзья, на ваше множество; нас только шесть тысяч, а вас

будет тысяч семьсот, но победа не от множества, а Бог дает помощь и малому числу: вы сами на себе это не раз испытали. Многие тысячи ваших бегали от малых отрядов наших с поля. Зачем вы бунтуете? Мы служим тому же, чьи и вы слуги и подданные; ваш государь — и наш государь. Если вы начнете убийства и кровопролития, то не вам Бог даст счастье, а нам; наше дело право, мы за своего государя сражаемся».

Тут некоторые смельчаки из черного народа сказали: «Вы всем нам — плёвое дело; мы без оружия и без дубин вас шапками забросаем!»

Гонсевский отвечал: «Э, любезные, вашими войлочными шапками вы не управитесь с шестью тысячами девок: и те вас утомят; а куда вам с такими военными людьми, вооруженными богатырями, как мы! Я прошу вас и умоляю — не начинайте кровопролития!»

На это сказали ему: «Так уходите отсюда и очистите наш Кремль и город!»

Гонсевский на это возразил: «Этого не дозволяет присяга наша. Наш государь не на то нас здесь поставил, чтобы мы бежали отсюда, когда нам захочется или когда вы потребуете. Нам должно здесь оставаться, пока царь сам сюда приедет».

— Ну, так недолго вам быть! — крикнул кто-то

из толпы.

— Это, — сказал Гонсевский, — в Божьей воле, а не в вашей. Если вы что-нибудь начнете, то пусть Бог сжалится над вами и над братьями вашими. Я вас довольно уговаривал. Сами подумайте: Бог с нами, и вы ничего не выиграете!

Он удалился в Кремль, и горожане разошлись.

Такое объяснение польского военачальника с собравшеюся у Кремля толпою народа передает современник, бывший тогда в Москве иноземец[946].

Еще прошло время. Уже был месяц март. Наступила распутица. Польские лазутчики принесли известие, что сила восставшего русского народа приближается к Москве тремя дорогами. Поляки узнали, что патриарх писал возбудительные грамоты: подозревали и дворян, и даже бояр. Гонсевский созвал их и говорил:

«Мне известно вероломство, измена крестному целованию. Покажите, что вы против намерений изменников; подавите дерзость заговорщиков и ничего не бойтесь от войска, которое поставлено на защиту, а не на погибель народу. А если изменники будут упрямиться, знайте, что мне

---

[946] Сноски: 946

Bussow. Relatio. Scriptores rerum rossicarum. Сказания иностр. о Росс., I, 121–123.

приказано охранять дело государя своего и выбранного царя вашего, как надлежит храбрым воинам, и не давать себя в обиду, хоть бы пришлось проливать народную кровь и наказать город огнем и мечом».

По его приказанию бояре приступили к патриарху. Михаил Салтыков на челе их говорил Гермогену: «Ты писал по городам, велел им собираться да идти под Москву; теперь отпиши им, чтоб не ходили!» Он прикрепил свое требование бранью.

Патриарх отвечал: «Коли ты и все изменники, что с тобою, а с вами и королевские люди, коли все вы выйдете из Москвы вон, я отпишу к ним, чтобы воротились назад. Ты клевещешь на меня, будто я писал к ним; я не писал, а буду писать, когда вы не выйдете. Я, смиренный, благословляю их, чтоб они совершили начатое непременно, не уставали бы, пока увидят желаемое: уже я вижу, что истинная вера попирается от еретиков и от вас, изменников, и приходит Москве конечное разорение и запустение св. Божиих церквей; не могу слышать латинского пения, а латины костел устроили на дворе Бориса».

После крупных разговоров бояре постановили около патриарха поставить стражу. Гонсев-

ский, по свидетельству Кобержицкого[947], сам обращался к патриарху и говорил ему: «Ты, Гермоген, первый зачинщик измены, ты заводчик всего возмущения; не пройдет тебе это даром, дождешься ты достойной кары; не думай, что охранит тебя твое достоинство; не благочестием ты отличаешься, а оскверняешь свой сан гнусною изменой». Патриарх отвечал Гонсевскому, что он не писал грамот; но Гонсевскому было ясно, что все от него идет; казалось ему при этом, что все делается не без согласия кое-каких бояр, которые ему в глаза казались верными видам польского короля[948].

Разнеслась по Москве весть, что патриарху учинили оскорбления. Народ заволновался. Тут еще раздражило народ и то, что поляки потребовали от москвичей съестных припасов для себя. «Ничего им нет, кроме пороху и свинца, — говорили москвичи, — пусть идут к своему государю за жалованьем!» Неистово ненавидел народ бояр, особенно Салтыкова, Андронова и дьяка Грамотина. До трех тысяч молодцов бросились к Кремлю, кричали, ругали бояр, требовали их выдачи. Но

---

[947] Сноски: 947
Hist. Vlad., 372. Повесть о России. Арцыб., III, 275.

[948] Сноски: 948
Коберж., 373.

полковник немецкого отряда Борчковский ударил в барабаны, мушкетеры взялись за оружие. Толпа разбежалась.

Бояре сильно стали трусить после этих попыток. Они знали, что как только народ поднимется, их ожидает беда. Приближалось Вербное воскресенье. Тогда, по обычаю, стеклось в Москву множество всякого народу смотреть на торжество, как патриарх ездит на осляти. День этот казался страшен боярам. Было подозрение, что тогда, под предлогом стечения народа к празднику, нахлынет в Москву толпа мятежников и весь народ поднимется. Бояре и Гонсевский решили было не делать праздника и не пускать в город никого; но как только в народе разошлась весть, что праздника не будет, поднялся крик и ропот. Это казалось явным поруганием святыни, и Гонсевский рассудил, что так будет хуже: москвичи еще скорее разъярятся и поднимутся. Он приказал освободить патриарха из-под стражи и велел ему совершить обряд. В обычное время, когда патриарх ехал на осляти, сам царь вел его осла за узду. В этот раз такую должность царя исполнял боярин Гундуров. По известию бывшего в

Москве поляка, народу было много[949]; а русский летописец говорит, что москвичи не пошли на праздник; они подозревали, что, по наущению бояр, поляки в этот день замыслили дурное против московских жителей[950].

Тут, где-то в отдаленных местах города, произошла свалка между поляками и русскими; несколько поляков было убито, других поколотили. После окончания обряда пришла об этом весть в Кремль, но польские начальники не решились приступить к чему-нибудь решительному против всего народа. Тогда Салтыков сказал Гонсевскому: «Вот вам! Москва сама дала повод, — вы их не били; смотрите же: они вас станут бить во вторник! А я не буду ждать, возьму жену и убегу к королю»[951].

---

[949] Сноски: 949
Маск., 204.

[950] Сноски: 950
Никоновск. лет., VIII, 136.

[951] Сноски: 951
Мархоцкий, 103.

III. Приближение русских ополчений. – Резня над москвичами. – Сожжение столицы

В понедельник лазутчики дали Гонсевскому знать, что русские ополчения уже недалеко от Москвы. Надобно было думать, что Москва вся поднимется, как только завидит ратную русскую силу. Велено было всем жолнерам уходить в Китай-город и Кремль. Тогда столпилось по улицам множество извозчиков, которые всегда стояли в Москве, зимою с санями, летом с возами, и нанимались возить, кому куда нужно[952]; подозревали, что это делается для того, чтобы в то время, как явится ополчение, загородить улицы и не допустить полякам развернуться.

Наступил вторник. Как будто ничего не ожидая, московские торговцы отворили свои лавки; народ спокойно сходился на рынок для дел своих. На улицах и площадях опять, как вчера, стали съезжаться извозчики. Один из польских начальников, Николай Коссаковский, начал принуждать этих извозчиков встаскивать на стены Кремля и

---

[952] Сноски: 952
Мархоцкий, 114.

Китай-города пушки. Поляки хотели громить ими Москву, когда горожане поднимутся, увидавши русскую рать. Коссаковский предлагал извозчикам деньги; извозчики не брали денег и ни за что не хотели встаскивать пушек. Понятно стало, что эти извозчики толпились не с добрыми для поляков замыслами. Поляки стали их бить, а те стали давать сдачи; за них заступились свои. Поляки, уже раздосадованные прежними поступками москвичей, ожидая притом в тот самый день, что вся Москва на них поднимется, начали русских рубить саблями. В это время другие извозчики, вместо того чтоб, как хотели поляки, поднимать пушки на стены, стаскивали со стен Китай-города те пушки, которые там прежде стояли. К Сретенским воротам Белого города подходил уже отряд князя Димитрия Пожарского. Гонсевский, когда дали ему знать, что в Китай-городе драка, поспешил туда, думал разнять ее, но, узнавши, что к городу приступает ополчение, понял дело так, что, верно, москвичи, по условию со своими, напали в назначенное время на поляков и хотят занять Китай-город, прежде чем их братья успеют ворваться в Белый город. Он не только не мешал полякам разделываться с русскими, а еще приказал сам бить их, чтобы вытеснить из

Китай-города. Тогда поляки и немцы бросились в ряды москвичей и начали рубить, резать и убивать без разбору — и старых, и малых, и женщин, и детей. Тут был убит боярин Андрей Васильевич Голицын. По известиям очевидцев, в короткое время погибло от шести до семи тысяч народу. Остальные покинули свои дома, лавки, занятия и пустились в Белый город. Поляки высыпали в погоню за ними. Тут в Белом городе москвичи загородили улицы извозчичьими возами, столами, скамьями, кострами дров; поляки бросились на них; русские за своими загородками отбивались. Поляки отступили, чтобы броситься на другие улицы; тогда русские кидались за ними сами, били их столами и скамьями, метали на них поленья и каменья; иные стреляли из ружей, у кого ружья были. В других улицах тоже все было загорожено; как только поляки верхом на конях бросятся вперед с копьями, русские отстреливаются и отбиваются от них, заслонившись; а как только поляки отступят, чтобы идти на другую улицу, русские поражают их в тыл; с кровель, с заборов, из окон стреляли в поляков, били их каменьями и дубьем. Москвичам помогало то, что улицы в Москве были со множеством переулков и тупиков: тут-то и допекали поляков перекрест-

ными ударами. В это время по всем московским церквам раздавался отрывистый набатный звон, призывавший русских к восстанию.

Самая важная схватка была на Никитской улице. Тут поляки и немцы несколько раз силились пробиться сквозь поставленные на улице загороды, но каждый раз пятились назад. Вдруг дают знать, что русские ополчения вступают в Белый город, заняли Тверские ворота, а князь Димитрий Михайлович Пожарский уже на Сретенке. Поляки бросились на Тверскую, но оттуда отбили их стрельцы; поляки ударились на Сретенку — Пожарский выпалил по ним из пушек. Поляки отступили, а Пожарский, захвативши часть Сретенки, приказал наскоро сделать острог около церкви Введения Пресвятыя Богородицы (на Лубянке) и стал в нем со своим отрядом и пушкарями. Там поляки оставили его: они услышали, что к Яузе приближается еще один русский отряд, бросились туда через Кулишки; но и там москвичи загородили тесные улицы и бились отчаянно, напирая со всех сторон. Поляки увидели, что им приходится плохо; русские ополчения уже ворвались в Белый город. Вся Москва поднялась как один человек; с таким числом воинов, какое было у польского военачальника, нельзя было

прорваться и дать бой вне города; оставалось вести оборонительную войну и запереться в Кремле и Китай-городе. Но если оставить в целости Белый город, то это значило дать пришедшим безопасное убежище и средства к пропитанию, допустить беспрепятственно москвичей, со всеми выгодами жилья и имущества, действовать против поляков. Кто-то закричал в толпе: «Огня, огня — жечь дома!» Военачальники тотчас поняли, что это мысль удачная. Огонь и дым заставят русских отступить из своих засад; сами поляки займут тогда пепелище, им будет свободно развернуться. Гонсевский дал приказание жечь Москву. Русская летопись говорит, что этот совет подал ему Салтыков в ревности к королю и еще больше — для собственного спасения. Он сам первый подложил огонь в своем доме. Пожар принимался не скоро, вероятно, по причине сырой погоды. Под иной дом раза четыре подложат огонь: не горит. «Дом заколдован!» — говорят поляки и с большим трудом успевают зажечь его. В разные стороны бегали толпами жолнеры с насмоленною лучиною, прядевом, хлопьями и усердно работали; наконец пожар принялся разом во многих местах. На счастье полякам, ветер подул на москвичей; пламя разливалось

им в лицо, они отступили, а поляки за ветром стреляли по москвичам.

Пожар усиливался. У поляков были квартиры в Белом городе; там у них пропадало все имущество; у иных были там лошади, которых они должны были побросать, когда москвичи прижали их в тесных улицах. Все пропадало. Надобно было запереться в Китай-городе. Вечером, случайно, огонь занесся было и туда; но сколько полякам хотелось зажечь Белый город, столько же хотели они сохранить от пожара Китай-город, где было у них пристанище. Те, что занимали Белый город, бегут поспешно в Китай-город. «Сам Бог нам помог, что Москва тогда не бросилась за нашими по следам в ворота», — говорит поляк-очевидец[953]. Принялись тушить. Ксендзы обошли занявшиеся дворы со Св. Дарами. Этой процессии поляки приписывали скорое погашение пожара в Китай-городе.

Наступила ночь. От пожара в Белом городе было светло так, что можно было рассмотреть иголку. Москвичи усердно тушили огонь; раздавались в Белом городе их громкие крики и набатный звон колоколов.

---

[953] Сноски: 953
Мархоцкий, 116.

Гонсевский с предводителями держал совет; все в один голос решили, что надобно добиться — сжечь всю Москву. Бояре налегали особенно, чтобы сжечь Замоскворечье. «Хоть весь Белый город выжгите, — говорили они, — не пустят вас стены, а надобно зажечь заречный город: там деревянные укрепления; тогда будете иметь свободный выход и помощь может прийти от короля»[954].

Поляки решили разом жечь и Белый город, и Замоскворечье. В среду, еще до рассвета, вышли из города на лед Москвы-реки две тысячи немцев под начальством Якова Маржерета[955] да отряд польских пеших гусар, да две конные хоругви с зажигательными снарядами. Они увидали, что русские с двух сторон силятся охранить свою столицу. К Чертольским воротам подошел с Коломенским ополчением Плещеев, занял эти ворота, захватил угол Белой стены, доходившей до реки, на стене поставил стрельцов и затинщиков; москвичи стали загораживать улицы, чтобы не давать жечь города. На другой стороне,

---

[954] Сноски: 954

Мархоцкий, 116.

[955] Сноски: 955

После смерти первого названого Димитрия Маржерет удалился из Руси и теперь вернулся в знакомую ему Москву ее врагом.

на Замоскворечье, явилось ополчение Ивана Колтовского, и уже на берегу поставлены были пушки. Вышедший на лед польский отряд отправился по льду к Чертольским воротам, а за ним вслед вышли из Кремля другие жолнеры и стали в боевой порядок на льду. Московские ратные люди оплошали: оставили отворенными Водяные ворота под Пятиглавою башнею, на мосту, построенном для сообщения с другим берегом; этим воспользовались высланные поляки, ворвались через эти ворота в Белый город. Плещеев бежал. Его воины побросали даже свои щиты. Поляки и немцы зажгли церковь Св. Илии, Зачатьевский монастырь и близкие к ним дворы. В это время поставленная на Ивановской колокольне польская стража закричала: «Из Можайска Струсь идет! Москвичи не пускают его под деревянною стеною на Замоскворечье». Гонцы поскакали по льду и приказали тем, которые прогнали Плещеева, идти на другой берег — жечь Замоскворечье и помогать Струсю. К ним послали еще других немцев. Пожар на Замоскворечье принялся очень скоро; жолнеры добрались до деревянной стены и зажгли ее. Стена распадалась. Струсь со своими удальцами бросился в прогалину, кричал: «За мной!», — и его жолнеры перескочили за ним

вслед через развалины горящей стены. «Не мы ему помогали, а он, герой сердцем и душой, помог нам», — говорит польский дневник. Ополчение Ивана Колтовского, защищавшее Замоскворечье, разбежалось. Струсь благополучно вошел в Кремль. Замоскворечье запылало на всех концах. После того поляки стали жечь Белый город по направлению к Лубянке. Пожарский со своим отрядом вышел из острожка своего и не давал столицу на сожжение. Битва в улицах была упорная, но огонь заставил русских отступить. Сам Пожарский был ранен и, упавши на землю, горько плакал о разрушении царствующего града, о крайнем бедствии Русской земли. Окровавленный, вопил он: «О, хоть бы мне умереть, только бы не видать того, что довелось увидеть!» Ратные люди подняли предводителя, положили в повозку и повезли из пылающей столицы по Троицкой дороге. Весь его отряд отправился туда же. Это был последний отпор. После того русские не отстаивали столицы. Жители ее, как увидали, что пришедшие к ним на помощь не в силах спасти города, впали в отчаяние и бежали без оглядки, толкая друг друга и падая на снег. Много их пошло вслед за Пожарским к Троице, иные толпились в Симоновом монастыре, иные прята-

лись в слободах, которые еще не были сожжены. Но много было таких, что не успевали убегать и погибали в пламени; иных поляки догоняли и убивали. После того зажигатели доканчивали истребление Москвы беспрепятственно и поздно вечером вернулись в Кремль и Китай-город с полным успехом.

Следующая ночь была светлее прошлой: горел Белый город на всех концах, горело все Замоскворечье; нестерпимый дым душил поляков в Китай-городе, вместе со зловонием от трупов, которые лежали, еще не погребенные, грудами выше человеческого роста, около опустелых рядов.

В четверг поляки дожигали то, что еще не успело сгореть в среду. Бояре, державшие сторону поляков, и теперь сильно настаивали, чтобы не оставить в столице бревна на бревне, чтобы не дать никаким образом оправиться неприятелю короля польского. Оставшиеся москвичи кланялись в ноги полякам и просили пощады. Гонсевский приказал протрубить приказ не убивать никого из тех, которые поддаются. Он велел раздавать москвичам белые полотенца и подпоясываться ими: это был знак покорности, по ним поляки могли отличать покорных от непо-

корных; заставили москвичей снова произнести присягу Владиславу. Трупы из Китай-города свалили в Москву-реку.

В продолжение трех дней Москва сгорела. Стены Белого города с башнями и множество почерневших от дыма, лишенных стекол церквей, печи уничтоженных домов, каменные подклети и погреба торчали посреди щебня и угольев. Много набрали поляки богатых одежд и утвари в погребах и подклетях. Иной вошел в Белый город в дырявом запачканном кунтуше, а ворочался в шитом золотом и саженном жемчугами кафтане. Оставленные церкви наделили их золотом и серебром. Жемчугу поляки набрали столько, что ради потехи заряжали им ружья и стреляли в москвичей. Добрались жолнеры и до боярских бочек с вином и медами и перепивались на радости. Шел пир на славу после трудов: растлевали девиц, насиловали красивых женщин, проигрывали в карты московских детей для забавы! Но семьсот человек отвлечены были от общего пира и отправились, со Струсем и Зборовским, против Просовецкого, который со своими казаками подходил к Москве. В Великую пятницу[956]

[956] Сноски: 956
Diar. Sapiehy.

они встретились с ним верстах в 25 от столицы. Просовецкий шел под защитою «гуляй-города», то есть за круговым рядом саней с воротами на колесах, а в воротах сделаны были отверстия для стрельбы. За такой подвижной оградой шло казацкое войско. Каждые сани двигали десять стрельцов, и в то же время стреляли из отверстий в воротах, которые укрывали их от неприятеля[957]. Струсь приказал спешиться, ударил на них, прорвал их «гуляй-город». «Никого не берите в плен, всех бейте и колите!» — приказывал сам Струсь. Просовецкий повернул назад, полякам это и нужно было. Струсь не стал его преследовать; довольно было, что отбил его от столицы.

IV. Осада поляков в Москве русскими. – Битвы. – Усиление восстания

Во вторник на Святой неделе приблизился Ляпунов к Симонову монастырю, занял монастырь, заложил свой обоз и окружил его плотным «гуляй-городом». В среду, на другой день, пришел Заруцкий с туляками и казаками и стал о бок Ляпунова по берегу Москвы-реки. Стягивались к

[957] Сноски: 957
Pamiętn. Maszk., 52.

столице и другие ополчения, Ляпунов из Симонова монастыря подвинулся к Яузе и Коломенской башне (Деревянного, или Земляного, города[958]). Пришли калужане под предводительством Димитрия Тимофеевича Трубецкого и стали против Воронцова поля; пришли ополчения Владимирское, Костромское, Ярославское, Романовское и стали у Петровских ворот. У Сретенских ворот стал Артемий Васильевич Измайлов, а у Тверских — князь Василий Федорович Мосальский: с ними стали двести стрельцов и троицкие слуги, присланные из Троицко-Сергиевского монастыря под начальством Андрея Федоровича Палицына. Последний привез известительные грамоты от архимандрита Дионисия и келаря Авраамия к боярам и воеводам и всем служилым людям: именем веры и сострадания к разоренной земле русской возбуждали их трудиться на изгнание чужеземных врагов и русских изменников. По известиям поляков[959], у русских воевод и казаков Просовецкого было тогда тридцать тысяч. Земляной город весь был у них в руках.

Городские стены были распределены у поляков

---

[958] Сноски: 958
Krajewski. Chronologia.

[959] Сноски: 959
Krajewski. Chronologia.

таким образом: в Кремле стояли полки Казановского, Гонсевского, как и прежде были там конные сотенные роты Фирлея, Казановского, Голятиновского, Роговского, Гречанина, Абраима и двухсотенная рота Гонсевского, да еще иные роты, и сверх того 1500 немцев. В Китай-городе стоял Зборовский со своим полком, в четырех его ротах было 1200 человек конных. У Неглинной держали стражу ротмистры Соколовский и Струсь; Мархоцкий стоял на Глухой башне, а Млоцкий на следующей за нею башне; у реки Яузы, где стена Китай-города сходилась с Белогородскою, на башне стоял Бобовский; под низом тех двух башен, где стояли Бобовский и Млоцкий, были блогкаузы с орудиями на них. По стене Китай-города, на одной стороне вплоть до Кремля, а на другой до Водяных ворот на мосту, находилась польская пехота. Чертольские ворота и две соседние с ними башни держали немцы пополам с польскою пехотою.

У русских воевод было намерение захватить скорее все белогородские ворота и войти в Белый город. Большое пространство, при малочисленности наличных сил, не давало полякам возможности укрепить все ворота в Белом городе, чтобы не пропустить туда русских.

Шестого апреля поляки вывели войска свои, с тем чтобы дать сражение и выбить русских из занятых ими подгородных слобод. Почти все войско вышло из города, оставили только сторожи по стенам и башням. Русские ударили на поляков с двух боков, поляки побежали к городу, русские погнались за ними. Поляки остановились. Тогда русские побежали сами, чтобы заманить за собою поляков и отрезать от города. Поляки не пошли на уловку и сейчас, как русские побежали, пошли назад к городу. Тогда русские пустились опять за ними в погоню. Поляки остановились. Русские тотчас же, как это увидели, пустились снова бежать, думая хоть на этот раз заманить поляков, но поляки опять не пошли за ними и поворотили к городу[960]. Тем битва и кончилась.

Русские успели захватить в Белом городе ворота Яузские, Покровские, Сретенские, Петровские, Тверские. У Яузских ворот стал Ляпунов, обок его, между Яузскими и Покровскими воротами, расположился князь Трубецкой[961].

У поляков оставались Никитские, Арбатские,

[960] Сноски: 960

Мархоцкий, 119.

[961] Сноски: 961

Рукопись Филар., 54. По рукописи Филарета, у Покровских стоял Заруцкий, у Сретенских — Иван Волынский.

Чертольские, да сверх того Водяные к Москве-реке и Пятиглавая башня у моста. Они поставили в воротных башнях пешую сторожу, но не в большом количестве.

Несколько времени враги ограничивались небольшими драками. Без битвы не проходило дня. Поляки делали вылазки, чтобы достать корму для лошадей, дров для топлива и соли для себя. В Белом городе был соляной буян; кругом него все выгорело, а соль уцелела; поляки ходили туда, и русские тоже; там и в других местах враги сталкивались между собою. Случалось, что жолнер залезет в каменный погреб и встретит там русского: оба бросаются один на другого и дерутся до смерти. Толпа русских или поляков заседала где-нибудь в церкви и выжидала толпу противников, чтобы стрелять в нее из окон; иногда за печь сгоревшего дома присядет русский в надежде выстрелить в поляка, который пройдет мимо; за другую печь садился поляк и ожидает также прохожего русского; увидевши друг друга, враги перестреливались из-за печей, бросали одни в других кирпичами. Трупов не хоронили, и по развалинам Москвы была нестерпимая вонь, особенно когда стало тепло. Стаи собак прибегали отовсюду, привлекаемые падалью; слышался по

ночам страшный вой их, прерываемый криком караульных с обеих сторон.

Уже в апреле поляки стали нуждаться, писали к Потоцкому и жаловались, что им недостаток в еде и питье. После сожжения Москвы в их руки попадалось столько припасов, что стало бы им на продолжительное время; но поляки бросались только на шелковые ткани да на золотые и серебряные вещи, пили дорогие вина и тешились, что достают даром то, за что обыкновенно платили большие деньги; сберечь мяса, муки, рыбы, солоду никто не думал; даже пиво и горелку проливали с пренебрежением, когда всякий мог пить дорогие вина. В необгоревших погребах было много съестного, и поляки не думали перевезти этого в Кремль и Китай-город; а когда русские завладели Белым городом, все это попалось на продовольствие русскому ополчению. Кроме того, русские получали припасы из разных мест своего отечества, а полякам неоткуда было достать их. Итак, в какой-нибудь месяц после первых дней роскоши они начали уже платить за кружку пива ползлотый, за свиной окорок — 12 злотых, за корову — по 50 злотых[962], а злотый

[962] Сноски: 962
Buss., 129.

в то время был в шесть или семь раз дороже нынешнего. Очевидно, что с этой стороны перевес клонился явно на сторону русских; вдобавок русские войска беспрестанно прибывали, а поляки оставались в одном и том же количестве.

Бояре и Гонсевский опять принялись за патриарха. Салтыков говорил ему: «Если ты не напишешь к Ляпунову и товарищам его, чтобы они отошли прочь, сам умрешь злою смертью». Патриарх отвечал: «Вы мне обещаете злую смерть, а я надеюсь через нее получить венец и давно желаю пострадать за правду. Не буду писать к полкам, стоящим под Москвою, — уж я говорил вам, и ничего другого от меня не услышите!»[963]

Тогда его посадили в заточение в Чудовом монастыре, приставили стражу и отдали под надзор Мархоцкому. Никто без ведома последнего не смел говорить с патриархом, а самому архипастырю не позволяли переступить через порог своей комнаты. Содержали его дурно, обходились с ним неуважительно и не считали более патриархом. Вместо него вывели из Чудова монастыря заточенного Василием Шуйским Игнатия и признали снова в патриаршем звании.

---

[963] Сноски: 963
Ник. летоп., VIII, 135.

Четвертого июня прибыл к Москве Сапега. Вызывавшись много раз служить православной вере и Русской земле, он в то же время посылал к королю просить уплаты жалованья за те годы, которые провел со своим войском на службе у вора, а потом, по приговору генерального коло, сам лично отправился к королю, оставил свое войско под Козельском 17 марта, но вместо того, чтоб ехать под Смоленск, где был король, поехал в свое староство Усвят и там засел. Король приглашал его, Сапега медлил: раздумье его брало; наконец 8 мая он поехал к королю. Сигизмунд принял его ласково, надавал ему обещаний и послал московским боярам указ выдать Сапеге три тысячи рублей из московской казны. С этим поехал Сапега к своему войску, но все еще в раздумье и с намерением пристать туда, где выгоднее, готовый воевать и против короля, если русские посулят ему больше. Между тем его войско получило без него от короля ассекурацию или письменное обещание заплатить жалованье[964], когда король овладеет Москвою окончательно, с правом самим добыть его в Северской земле, если бы обещание не было исполнено. Король пригла-

[964] Сноски: 964
По 30 зл. гусару, 20 зл. пятигорцу и 20 казаку.

шал его идти скорее к Москве. Сапежинцы хоть не очень были довольны, но пошли к Москве, стали у Можайска и там дождались своего предводителя. Он двинулся с ними к столице и, не доходя семи верст, остановился и послал Гонсевскому сказать, что его войско не идет иначе как только тогда, когда ему будет уплачено за две четверти, сообразно с королевским словом. На это Гонсевский и бояре отвечали, что в казне денег нет, но обещали дать вещами на 4000 злотых. Тогда у Сапеги зародилась мысль: не выберут ли царем его; он придвинулся к Москве и решался открыто идти против своих, если русские выскажутся яснее, сообразно с его задушевными мыслями. Он стоял на Поклонной горе в виду Девичьего монастыря, который тогда находился еще во власти поляков. В это время, 16 июля, пришли к Сапеге послы от Ляпунова: Плещеев со товарищи (Лопухин, Сильвестр Толстой, Нехороший) обещали заплатить ему, сколько он требовал, лишь бы он стал с ними заодно. Ляпунов писал, что Московское государство не хочет более королевича и желает избрать другого государя. В сношениях с Плещеевым и его товарищами Сапега до того показывал себя расположенным к русскому делу, что в русском ополчении распро-

странилась уверенность, что он со своим отрядом пришел как ихний человек. «Вот, ляхи, идет к нам Сапега!» — кричали русские из Белого города, перебраниваясь с поляками, ходившими по стенам, и поляки стали побаиваться. Несколько дней стояло войско сапежинцев; никто из них не приходил к Гонсевскому. Сапега не давал ему знать о своем прибытии, а между тем из войска Ляпунова ездили к нему посланцы; и поляки, сидевшие в Москве, это знали. Поляки решились испытать, чем, наконец, в самом деле будет для них теперь смелый богатырь. Они начали битву с русскими, а Сапеге послали известие об этом. Сапега отправил к ним гонца сказать, чтобы они сошли с поля. Поляки продолжали биться. Прискакал другой гонец от Сапеги и говорил им: «Сапега приказал сказать, что если вы не пойдете с поля, то он на вас ударит сзади». Польские предводители сочли благоразумным поворотить назад и уйти, иначе этот день решил бы положение Сапеги: он сделался бы врагом своих.

Сапега увидел скоро, что русские не ценят его настолько, чтобы могли ему чересчур много обещать, и не верят настолько, чтобы могли на него слишком положиться. О царском венце, которого желал Сапега, русские не заикнулись. Поэтому

Сапега рассчитал, что с русскими нечего ему возиться и надобно сойтись со своими. Но сначала, не делаясь прямо из союзника открытым врагом русских, Сапега попробовал было играть роль посредника и послал к Ляпунову предложение заплатить ему за четверть, дать продовольствие на войско, признать королевича и разойтись. Ему, разумеется, отказали, потому что не за что было платить Сапеге за такого рода пособие. «Грубый москвитин ни на что не поддавался», — говорит современник. Тогда Сапега послал к Гонсевскому и объявил, что будет служить королю, однако все еще не присоединялся к своим, продолжал стоять особым станом на Поклонной горе и не нападал на русских. Но вот 23 июня Струсь с конницею сделал вылазку на Замоскворечье, где у Лужников русские поставили острог, чтобы прерывать сообщение Москвы с смоленскою стороною. Русские сбили его и погнали; тут Сапега в первый раз ударил на них из своего стана и дал возможность Струсю благополучно вернуться в Кремль. Этим Сапега наконец показал своим соотечественникам, что готов действовать с ними заодно. Гонсевский послал Сапеге такое предложение: в войске большой недостаток запасов; невозможно посылать малых отрядов, а сапе-

жинцы стоят не в осаде; было бы хорошо, если б Сапега отправился со своим войском разорять окрестности и собирать запасы. Первое — войско получило бы от этого прокормление, а второе — русские должны были бы разделить свои силы и отрядить часть ополчения против Сапеги. Сапега согласился: ему и скучно было стоять на одном месте. Со своей стороны, Сапега дал совет Гонсевскому: «Сойдитесь с Заруцким, склоните его на нашу сторону, это возможно; тем раздвоите неприятельские силы».

После этих переговоров Сапега (по дневнику 2 июля ст. ст., а по Краевскому — 29 июня) снялся с Поклонной горы, перешел Москву-реку, потом двинулся к Тверским воротам, побился там немного с русскими, а 4 июля отправился с войском из пяти тысяч к Переяславлю. Гонсевский отправил с ним своих 1500 под начальством Руцкого-Шиша, а от бояр отправился с ними боярин Григорий Петрович Ромодановский. Пошла и челядь. Это действительно заставило ополчение развлечь свои силы. Сапегу пустились преследовать Просовецкий да князь Петр Владимирович Бахтеяров.

Дожидаясь, пока Сапега достанет им продовольствие, поляки каждый день то в одном, то в

другом месте вступали в драку с русскими, но не могли похвалиться успехами. Так, по приказанию Гонсевского капитан Борковский отправился строить городок у Тверских ворот, но русские напали на него, разбили и перебили весь отряд из двухсот человек, а сам капитан едва-едва спасся с немногими. Через три дня после ухода Сапеги русские сделали покушение на Китай-город, но им не удалось ночью, незаметно для поляков, взойти по лестницам на стены: поляки открыли их замысел и отбили их. В то время, когда на этой стороне поляки взяли верх, русские ударили на Никитские ворота, которые находились еще во власти поляков с прочими воротами налево от Никитских. В башне Никитской было до трехсот немцев. Эти немцы скоро исстреляли свой порох; дошло до рукопашки; не в силах обороняться от напиравшей на них большой силы, немцы сдались на веру. Русские дали слово выпустить их живыми, а когда взяли, то перебили. Только двадцать из них убежали в Девичий монастырь[965]. Другое русское полчище ударило на Арбатские и на Чертольские ворота; обои были взяты. В них было сторожей очень мало, человек по сорока,

[965] Сноски: 965
Krajewski, Chronologia.

не более. Все достались в руки русским. Упорнее защищалась последняя башня, стоявшая над Москвой-рекою. В ней было человек до трехсот пехоты. Она была высока; с верхних поясов трудно было достать поляков; но какой-то добыш, передавшись русским, объявил, что в нижнем поясе лежат гранаты и разные зажигательные снаряды. Туда было отверстие, в это отверстие, по совету перебежчика, русские пустили зажженную стрелу. Занялось в середине; вслед за тем загорелись деревянные стены башни; поляки из четвертого пояса стали спускаться через окна к Москве-реке, но русские окружили башню, хватали спустившихся и убивали. Другие, побоявшись спуститься вниз на явную смерть, сгорели, когда дошел до них пожар. Остались в живых поручик Пеньонжек и его хорунжий. Они так неустрашимо оборонялись, что когда их наконец взяли московские люди, то из уважения к их мужеству отпустили, даже не выменявши на своих пленников, да еще и ставили их своим в пример[966]. После этой башни вся белогородская стена была у русских во владении, а поляки очутились запертыми в Кремле и Китай-городе. На

[966] Сноски: 966
Ibid.

Замоскворечье русские устроили два острожка, оба прямо против Кремля, и прокопали от одного к другому глубокий ров. Из острожков беспрестанно палили[967].

Гонсевский, однако, успел дать знать о своем положении. Несколько удальцов прорвались и убежали, чтобы сообщить королю о том, что сделалось в Москве.

Стены Белого города были чрезмерно толсты (три или три с половиною сажени), сделаны из крепкого кирпича и изнутри подбиты широким земляным валом. Полякам, которые пришли бы на помощь своим, следовало взять эти стены, прежде чем высвободить запертых в Кремле и Китай-городе земляков. Полякам было трудно; чтобы скрыть свое положение, они распустили слух, что ожидают литовского гетмана, начали звонить в колокола, стрелять из пушек. Но русских не провели этим: те лучше их знали, что литовский гетман далеко. Русские подсмеивались над поляками, когда те выходили на стены. «К вам литовский гетман идет, великую силу, пятьсот человек, с собою ведет», — кричали они. В другой раз русские кричали: «Конец польский

---

[967] Сноски: 967
Мархоцкий, 130.

идет (т. е. конец полякам приходит), живность вам везет, только одну кишку». Они делали намек на ротмистра по фамилии Кишка.

Тогда как поляки слабели, русское восстание возрастало. Воззвания из подмосковского войска возбуждали народ в отдаленных землях. Казань, получив в начале мая увещание из-под Москвы, целовала крест быть со всею землею своею в соединении и любви против врагов, разорителей христианской веры, польских и литовских людей, и идти под Москву на сход очищать Московское государство. По отпискам из Казани поднялись поволжские города Свияжск и Чебоксары со своими уездами. Денежные средства Казанской земли были скудны. Казанцы жаловались, что в продолжение трех годов не собрано ни одной деньги с чувашей и черемисов, а сверху и снизу не ходят по Волге суда с солью и с другими товарами и не с чего сбирать пошлин; поэтому Казань обращалась с просьбой о денежном пособии к Перми. Получив из Казани грамоту, Пермь отправила списки с нее в Солькамскую, Кай-городок, Верхотурье, Вычегду. Везде на сходках читались грамоты, везде посадские и уездные люди целовали крест быть в любви и соединении и идти на

сход к Москве[968]. Воеводы из-под Москвы писали от себя в северо-восточные города и в отдаленную Сибирь, сообщая тамошнему русскому населению о беде, постигшей Московское государство, просили целовать крест на общее дело и приводить к шерти татар, остяков и вообще тамошних инородцев[969]. Если на особенную помощь от этих далеких земель мало было надежды, то все-таки важно было то, что они удерживались в единстве с остальными русскими землями.

В это время раздался голос троицкого архимандрита Дионисия на всю Русь. То была крепкая, высокая душа, способная уговорить и ободрить народ, падающий под невыносимым бременем бед. Родом он был из Ржева, в мирском звании назывался Давид, был священником, овдовел, поступил в Старицкий Богородицкий монастырь и в начале Смутного времени сделался архимандритом. При царе Василии он полюбился патриарху Гермогену. Когда народ требовал низложения Шуйского, Дионисий, случившийся тогда в Москве, останавливал мятежную толпу. Гермоген ставил его в пример добродетелей духовенству.

---

[968] Сноски: 968
А. Э., II, 325, 329, 330.

[969] Сноски: 969
Собр. гос. грам., 548.

После освобождения Троицко-Сергиевского монастыря от полчищ Сапеги и Лисовского его выбрали архимандритом этой обители. Этот доблестный архимандрит начал свое новое поприще делами любви. Летом 1611 года, когда Москва была опустошена, сапежинцы разошлись по окрестностям, Дионисий устроил у себя в монастыре приют для несчастных, избежавших жолнерского и казацкого зверства. Дионисий предложил кормить их, наделять одеждою; устроил странноприимницы и больницы, особые для мужчин и женщин. Келарь и братия сначала представляли ему, что на это не станет средств. Дионисий говорил им: «Вот, государи мои, был нам великий искус. От большой беды избавил нас Господь молитвами Богородицы и св. угодников Сергия и Никона; а теперь, за леность и скупость, может без осады нас смирить и оскорбить. У нас есть монастырская казна, да еще и после умерших осадных людей-вкладчиков, которые по душам своим в святую обитель покладали свои именья, кое-что осталось: будем из этого давать бедным корм, одежду, обувь и на лечбу, и платить работникам, которые возьмутся стряпать, служить и лечить больных, собирать мертвых; за головы свои и за жизнь не постоим». Слова его убедили

братию. Не только в монастыре, но и в монастырских слободах, Служней, Клементьевой, а также в женском Пятницком монастыре монахи и служки день и ночь трудились: одни ухаживали за больными, другие готовили им есть, третьи обшивали их, четвертые разъезжали по окрестностям, отыскивали бесприютных, раненых, мученых и привозили в монастырь; возили также трупы убитых для христианского погребения. Ужасно было смотреть на страдальцев, наполнявших двор Троицкого монастыря: одни были испечены, у других содраны со спины ремни кожи, у тех вырваны волосы, у других выпечены глаза. Те, которые не могли оправиться, сподоблялись по крайней мере напутственного причащения Св. Тайн. Архимандрит этими делами милосердия не ограничился. Вместе с келарем Авраамием Палицыным он составлял воззвания, давал их переписывать борзописцам, из которых один, по имени Алексей Тихонов, приобрел известность. Гонцы развозили их повсюду. Воззвания его проникнуты столько же благочестивым чувством христианина, сколько и практическим смыслом гражданина. «Помогайте, смилуйтесь над явною общею погибелью, — писал он казанцам, — пока вас самих не постигла лютая смерть; пусть слу-

жилые люди без мешканья поспешают к Москве на сход ко всем боярам и воеводам и ко всему множеству всего православного христианства. Сами знаете, что всякому делу свое время, и несвоевременное начинание всякого дела бывает суетно. Если между вами есть какие недоволы, все отложите на время для Бога, чтоб всем нам с вами положить единый подвиг — страдать для избавления православной христианской веры, покамест к нам долгим временем какая помощь не пришла!»[970]

Такой голос возвышался на Руси вместо Гермогена, которому более невозможно было говорить во всеуслышание православного народа.

V. Раздоры под Москвою в русском стане. – Гибель Ляпунова

Но под Москвою, куда должна была собираться земля русская, возникали раздоры, которые дали возможность полякам спасти себя и приостановить дело русское. Русские военачальники составляли триумвират, правивший не только войском, но и всею Русскою землею, а дворяне

---

[970] Сноски: 970
Житие препод. Дионисия. — А. А. Э., II, 328.

и дети боярские составляли около них Земскую думу. Таким образом, подмосковное войско изображало собою всю русскую нацию, все ее управление. Был приговор, не дошедший до нас, по которому трое предводителей признаны правителями. Это были князь Трубецкой, Ляпунов и Заруцкий. К ним обращались с челобитными, и грамоты во все русские земли писались от имени трех; они предписывали городам высылать ополчения, собирать, доставлять и употреблять на месте указанным способом денежные сборы, раздавали и отбирали поместья. Ими постановлено, что те дворяне и дети боярские, которые не явятся к 29 мая на службу, потеряют свои поместья. Московской земли служилые люди так же легко обращались к ним за справою поместий, как и к Сигизмунду, по пословице: что ни поп, то батька, кто бы ни дал, лишь бы дал! Прежде в одно и то же время давали поместья и вотчины и царь Шуйский, и тушинский самозванец, и Сигизмунд, и местные воеводы — в разных землях; теперь стали давать предводители войск, будто бы по совету всей земли, и так как между ними не было согласия, то эта раздача усиливала беспорядки. Боярин князь Димитрий Михайлович Трубецкой, человек небольшого ума, без душевной силы,

по имени занимал первое место, потому что по рождению был выше двух других, но первенство его тем только и сказывалось, что в челобитных и грамотах имя его ставилось прежде других. Ляпунов считался у дворян и детей боярских заправщиком. Он всем распоряжался: первый в битве, первый в совете. Во всей Русской земле его знали за первого человека. И к потомству перешла с таким значением память о его личности[971].

Это был человек земского начала; дума у него была — выгнать иноземцев, прекратить на Руси своевольство, выбрать царя всею землею и восстановить прежний порядок в потрясенном Московском государстве. Нравом он был очень крут и настойчив; его не останавливала боязнь

---

[971] Сноски: 971

В народной песне о нем говорится:

«Многи русские бояре нечестивцу отдались,
Нечестивцу отдались, от Христовой веры отреклись,
Уж один-то боярин думный воеводушко крепко веру защищал,
Крепко веру защищал, изменников отгонял:
Уж как думный воевода был Прокофий Ляпунов,
Как Прокофий-то Петрович рассылал своих гонцов,
Как Прокофий Ляпунов роздал письмы своим гонцам,
Роздал письмы гонцам и приказ им приказал:
“Поезжайте вы, гонцы, на все русские концы,

На все русские концы, во большие города,
Вы просите воевод идти с войском сюда,
Свободить город Москву, защищать веру Христа”».

Киреевск. Песни. Вып. VII, 18.

оскорбить чужое самолюбие; он не разбирал лиц родовитых и неродовитых, богатых и небогатых, со всеми хотел обращаться с властью и решительно. Это стало многим не по нраву; иные обращались к нему за своими делами: их принуждали дожидаться очереди, стоя у избы военачальника, а он занимался другими делами и, пока не кончал их, не выходил, хоть бы к самому знатному лицу. Строго преследовал он неповиновение и своевольство; он знал, что пока русские не отвыкнут от разнузданности, к которой приучились за несколько смутных лет, то великое дело — спасение земли — не пойдет успешно. Многие знатные терпели от него брань и укоризны и соблазнялись тем, что он ниже их происхождением, но выше властью; а он не сдерживал себя, чтобы иной раз не помянуть о Тушине и о Калуге тем, которые служили ве́домому вору и признавали его царем. За это-то его особенно не любили, роптали и говорили о нем: «Не по своей мере он поднялся и загордился!» Всего неприязненнее он сталкивался с казаками, с полчищем Заруцкого, которое явилось к Москве не для того, чтобы спасать отечество, которого для него собственно и не было, а для грабежей и своевольства. Казацкие шайки скитались по

окрестностям и делали бесчинства не хуже сапежинских шаек. Ляпунов хотел их взять, как говорится, в ежовые рукавицы, обращался с ними сурово, наказывал жестоко. Заруцкий увидал, что не только невозможно склонить Ляпунова к содействию его замыслам доставить престол сыну Марины, но даже и заикнуться об этом было опасно. Заруцкий был душа казачества, как Ляпунов — душа земщины. Заруцкий с казаками, Ляпунов с земскими, один против другого — и тот и другой наперекор друг другу давали распоряжения. Те приходили просить поместий к Ляпунову, те — к Заруцкому. Заруцкий раздавал их казакам и людям своей партии, самовольно принимал деньги, присылаемые из разных сторон Русской земли, и наделял ими одних казаков, а Ляпунов ласкал и жаловал одних земских ратных людей. Случалось, одни и те же поместья и вотчины давал Ляпунов своим, а Заруцкий своим. Ляпунов отнимал у тех, которым давал Заруцкий, и отдавал тем, которые не были прежде в стане вора, а оставались верны Шуйскому. Раздор, естественно, распространился между подчиненными в лагере: получавшие от Ляпунова были врагами получавших от Заруцкого, и наоборот; по этому поводу происходили беспрестанно драки,

убийства и буйства всякого рода. И тогда, когда искатели поместий и вотчин вырывали друг у друга такого рода добычу, бедняки умирали с голоду, потому что от неустроения и неурядицы раздавалось жалованье самым несправедливейшим образом: одни получали много, другим не давали ничего. Тогда дворяне и дети боярские, пришедшие с ополчениями, собрались на совет и написали челобитную к трем предводителям, чтобы они созвали думу и установили между собою жить в любви и совете, дело всякое делали бы сообща; те, которые не служили в Тушине, не попрекали бы служивших там; жаловали бы ратных людей по числу и достоинству, а не так, что одни получали через меру, а другим не доставалось ничего; предлагали взять именья тех бояр, которые сидели в Москве вместе с поляками, чтобы каждый из предводителей взял себе имение одного из таких бояр, а имения прочих бояр и дворян, которые там находились, взять в казну; предлагали устроить управление над дворцовыми и черными волостями и из их доходов содержать ратных людей; равным образом сделать приговор о служащих в казаках боярских людях тех бояр, которые находятся в Москве. Не люба Заруцкому была эта челобитная, но он дол-

жен был согласиться на созвание думы. Казаки надеялись, что их голос на думе может повернуть дело в их пользу, а потому вместе с дворянами и детьми боярскими подписали челобитную и казацкие старшины.

Дума собралась 30 июня. Она хоть и казалась собранием чинов всей земли, но не была тем на самом деле, потому что в ней не видно было духовных. На этой думе постановили правила для восстановления порядка. Видно было, что челобитная о конфискации имений была написана под влиянием страсти. Этого не приняли и не внесли в приговор. Восстановлены были приказы — Большой, или Разрядный, Поместный, Разбойный и Земский. В Большом должны были ведаться ратные дела; этот приказ должен был наблюдать за тем, чтобы заслуги убитых и изувеченных не были забыты. Поместный приказ должен был восстановить порядок в запутанном деле раздачи поместий и вотчин по правилам, которые тогда были начертаны. Положено было не отбирать имений ни у тех, которые были в Москве с поляками, ни у тех, что служили царику в Тушине, а отобрать у них все дворцовые и черные волости, которые они получили в последнее время не по своей мере,

и оставить за ними только то, что прежде было получено законным порядком. Таким образом, земский приговор уничтожал действительность грамот короля Сигизмунда, который раздавал множество поместий и вотчин без всякого порядка, по челобитным, лишь бы увеличить запас своих приверженцев. Уничтожены также всякие присвоения поместий, учиненные каким бы то ни было образом, если это было без земского приговора. Но те, у которых больше не было никаких поместий, кроме данных королем, удерживали их в своей собственности. Равным образом положено — не отнимать никаким способом поместий у тех, которые были отправлены при посольстве под Смоленск, и у тех, которые сидели в Смоленске, а также у жен и детей их, если они убиты. Каким бы способом ни были приобретены их имения, они оставались неприкосновенными — за явные заслуги земле Русской. Это правило простиралось и на сподвижников Михайла Васильевича Скопина. Учрежденный Поместный приказ должен был испоместить всех дворян и детей боярских, разоренных и обедневших, в том числе тех, которые владели поместьями в порубежных местах и пострадали от литвы и крымцев; им следовало давать поместья во внут-

ренних замосковных краях. Всех дворян и детей боярских, которые находились в городах на воеводствах или отправлены были на посылки, если они молоды и здоровы, следовало возвратить к военной службе, а на их место отправлять старых или нездоровых, негодных к службе. Прежде был издан приговор, что те, которые не явятся к 29 мая, лишаются поместий, но так как возникли жалобы, что многие не могли сделать этого по бедности, то дума постановила, чтобы такая строгость не простиралась на тех, которые докажут по обыску, что они замедлили по бедности; равным образом следовало возвращать отобранные поместья и тем, которые в это время хоть и находились в Москве, но поневоле, или же которых поместья были отняты и розданы по ложному челобитью. Последняя статья подрывала произвольную раздачу, сделанную Заруцким в пользу своих приверженцев, которым он раздавал имения, отнимая у других, без обыска, единственно по одной поданной ему челобитной. Постановлено было: крестьян и людей, беглых и выведенных насильно помещиками и вотчинниками в Смутное время, возвращать прежним владельцам. Это было также противно казацкому духу, в каком действовал Заруцкий, объявляя всем свободу. Раз-

бойный и земский приказы должны были ловить и судить разбойников и своевольников; чтобы предупредить на будущее время своевольства, совершаемые преимущественно казаками, постановлено: не посылать казацких атаманов одних с казаками по волостям и по городам за кормами, а посылать дворян и детей боярских со стрельцами и с казаками. Это последнее постановление явно было направлено против Заруцкого, в угодность партии Ляпунова. Никто не мог никого казнить смертью без земского приговора, и всякое буйство строго должно было наказываться. Главными правителями оставались три военачальника: Трубецкой, Ляпунов и Заруцкий. Им поручалась печать, их подпись значила утверждение верховной властью; но эти три боярина не могли править самовольно, без земской думы, не могли никого казнить смертью, не поговоря с землею, ни ссылать в ссылку. Если о них о всех или о ком-нибудь из них окажется, что они не радят о земских делах и не чинят правды, или не станут их слушать, и через них вообще земские дела приостановятся, то вольно всею землею их сложить и вместо них выбрать других, признанных более годными и способными. Этот приговор был подписан дворянами и детьми боярскими от два-

дцати пяти городов, которых они являлись как бы представителями в этой походной думе (Кашина, Лихвина, Дмитрова, Смоленска, Ростова, Ярославля, Можайска, Калуги, Мурома, Владимира, Юрьева, Нижнего Новгорода, Пошехонья, Брянска, Романова, Вологды, Галича, Мещерска, Архангельска, Переяславля, Костромы, Воротынска, Юрьева-Польского, Волхова, Звенигорода).

Приговор этой думы постановил, чтобы полководцы прекратили свои ссоры. Но после того взаимная ненависть разгорелась еще сильнее. Казаки злились на Ляпунова и на людей его партии; люди порядка думали, что теперь смирили казачество и можно преследовать казацкие своевольства всякими способами; были и из важных особ такие, что из зависти не хотели добра Ляпунову: таким был Иван Шереметев, возбуждавший против него умы.

Дворянин Матвей Плещеев поймал у Николы на Угреше двадцать восемь своевольных казаков и посадил их в воду: неизвестно, самовольно ли это он сделал или по приказанию Ляпунова. Казаки вытащили тела товарищей из воды и принесли в круг. Поднялся шум. Казнь казаков была противна смыслу только что составленного приговора: там было сказано, что нельзя казнить

смертью без земской думы. Все полчище поднялось на Ляпунова, давно ненавидимого казаками; кричали: «Тащить его сюда и убить!» Волнение так неожиданно и внезапно охватило все казачество, бывшее под Москвою, что Ляпунов пустился бежать к Рязани; за ним бросились в погоню, вероятно, уже свои и уговаривали его вернуться. Догнали его под Симоновым монастырем, вечером. Он воротился, ночевал в Никитском острожке. На другой день рать его приверженцев узнала про казацкий замысел и пришла к Ляпунову большим сбором. Он подумал, что теперь может быть безопасен и, по просьбе подчиненных, воротился на прежнее место. Но тут было только начало зла. Заруцкий распалял против него казаков, Иван Шереметев тоже. Узнали поляки, что делается в русском лагере. Они понимали, что всему душа — Ляпунов, что все восстание держится на нем. Избавиться от него значило — свалить с себя половину беды; избавиться от него казалось легко, после того как казаки были против него. И вот представился случай погубить Ляпунова.

Поляки нашли возможность подделаться под почерк его руки. Это было тем легче, что воззваний, им писанных или подписанных,

расходилось везде множество. Написали, как будто от Ляпунова, письма или послания в города. Попался полякам в плен какой-то казак; товарищ его, атаман Сидор Заварзин, просил об обмене этого пленника. Гонсевский велел отпустить пленного казака и вместе с ним послал письмо, подписанное под руку Ляпунова. В нем говорилось, что казаки — враги и разорители Московского государства, что их следует брать и топить, куда только они придут. «Когда, Бог даст, Московское государство успокоится, тогда мы истребим этот злой народ» — было там сказано. Сам казак, освобожденный из плена, говорил Заварзину: «Вот, брат, видишь, какую гибель готовит нам, казакам, Ляпунов; вот письмо, которое перехватила литва. Он рассылал такие письма по разным городам». «Теперь мы его, б..... сына, убьем!» — сказал Сидор, по известию одного из поляков, которым, вероятно, сообщали о ходе устроенной козни[972].

Сидор принес это письмо в круг; оно казалось как нельзя правдоподобнее не только по руке Ляпунова, но и по содержанию, после того как сторонник Ляпунова, Плещеев, утопил самовольно

---

[972] Сноски: 972
Мархоцкий, 124.

двадцать восемь человек. Двадцать пятого июля казацкий круг потребовал Ляпунова к ответу, за ним пошли. «Я не пойду, — сказал Ляпунов, — пускай присылают разрядных людей». За ним в другой раз пошли. Он опять не пошел. В третий раз пришли за ним люди более степенные: Сильвестр Толстой и Юрий Потемкин. Они говорили: «Мы соблюдем тебя, не будет тебе никакого зла». Ляпунов пришел в круг. «Ты писал?» — спрашивал атаман Карамышев. «Нет, не я, — отвечал Ляпунов, — рука похожа на мою, но это враги сделали; я не писывал». Казаки слишком разъярены были прежде против него, не слушали его оправданий и бросились на него с саблями. Тогда Иван Ржевский, прежде бывший ему врагом, увидел, что казаки поступают лицеприятно, и понял, что тут обман, стал заступаться за Ляпунова и кричал: «Прокопий не виноват!» Казаки изрубили Ляпунова, потом и Ржевского. В эти минуты ни Заруцкого, ни Трубецкого не было в собрании. Заруцкий нарочно устранил себя от этого дела, чтобы не принять на себя ответственности за смерть человека, любимого всею русскою землею, и не лишиться через то власти. Трубецкой

поступал по наущению Заруцкого[973]. Останки славного народного вождя были преданы земле в церкви Благовещения на Воронцовом Поле[974].

И вот таким образом полякам удалось избавиться от опасного врага и разъединить силы русского народного ополчения под стенами разоренной Москвы[975].

VI. Последнее совещание с послами. – Отправление их в Польшу. – Приступ и взятие Смоленска

В январе, как было сказано, послов долго не звали к переговорам; между тем Смоленск с часу на час приходил в стесненное положение; поляки постоянно похвалялись, что пойдут на приступ.

---

[973] Сноски: 973

Лет. о мят., 236. — Ник., VIII, 167. — Рук. Филар., 53, — Врем., XVI, 120. — Пов. о Рос. Ар., III, 291, 296. — Рук. Хроногр. Имп. публ. библ. — Videk., 289. — Солов., VIII, 419, 425.

[974] Сноски: 974

Рукоп. Филар., 53.

[975] Сноски: 975

В народной песне убийство Ляпунова приписывается попущению от поляков по повелению их короля Сигизмунда:

«Как узнал то Гжмунд от своих изменников бояр,
Что разослал-то Ляпунов гонцов в города,
Гонцов в города просить воевод с войском сюда, —

Рассердился, распалился нечестивый Гжмунд,
Распалившись, велел воеводушку убить,
Того ли воеводу Прокофья Ляпунова.
И убили злы изменники воеводушку».

Киреевск., Песни. Вып. VII, 18.

Тогда Василий Голицын для спасения Смоленска дал мысль — сделать уступку, предложить полякам впустить в Смоленск, для королевской чести, немного королевских людей, например человек сто, с тем чтобы король не принуждал Смоленска целовать себе крест и отошел от города. Митрополит и дворянство не соглашались; с трудом их уговорил Голицын. Но когда по этому поводу начались с панами переговоры, то поляки давали согласие не принуждать смольнян присягать королю разом с королевичем, но требовали впустить в Смоленск восемьсот человек. Послы представляли, что такое большое число будет тяжестью для жителей, и соглашались сначала только на пятьдесят, потом на шестьдесят человек, а наконец — на сто. Не сторговались и разошлись. Вслед за тем запрещено было послам сноситься с смольнянами. Подозревали Голицына, что он тайно подущает смольнян не сдаваться и не слушаться боярского указа. В конце января Иван Салтыков и Иван Безобразов привезли новую боярскую грамоту из Москвы, где, как и в прежней, приказывалось сдать Смоленск и присягать на имя короля вместе с сыном. 30 января призвали послов, прочитали грамоту. Послы сказали: «И эта грамота писана без патриаршего

согласия; притом его величество король уже объявил нам через вас, панов, что не велит присягать смольнянам на королевское имя».

«Вы врете, — закричали паны, — мы никогда не оставляли крестного целования на королевское имя».

«Нам, — возразили смольняне, — на последнем съезде объявлено от маршала и канцлера, что его величество крестное целование свое оставил и не неволит, а велел только говорить о людях, сколько мы впустим в Смоленск».

«Вы врете!» — закричали на них снова паны.

Тогда Филарет сказал: «Если у нас объявилась неправда, то, пожалуйте, побейте челом о нас его величеству, чтобы нас отпустил к Москве, а в наше место велел выбрать и прислать иных послов. Мы никогда ни в чем не лгали, а что от вас слышали, то все помним; и таково посольское дело изначала ведется: что говорят, того после не переговаривают, и бывают слова их крепки; а если от своих слов отпираться, то чему же вперед верить? Итак, ничего нельзя более делать, коли в нас неправда показалась».

Сидевший тут же Иван Салтыков, подслуживаясь полякам, возвысил голос и начал говорить с жаром: «Вы, послы, должны верить их милостям

панам радным: они не солгут; а вы их огорчаете и великого государя короля приводите на гнев. Вы, послы, должны беспрекословно исполнять королевскую волю по боярскому указу; вмешиваться в государственные дела — не патриаршая должность; знать патриарху — только свои поповские дела. Его величеству, простояв два года под таким лукошком, отойти стыдно, а вы, послы, должны вступиться за честь королевскую и велеть смольнянам целовать крест королю».

Послы на это сказали: «Ты опомнись, с кем говоришь! Не твое дело вмешиваться в рассуждения послов, избранных всем государством, а еще непристойнее оскорблять их непристойными словами». — «Паны радные! — сказал митрополит, обратясь к польским панам. — Если у вас есть к нам дело, то и говорите с нами вы, а не другие, которым до нас нет дела: мы с ними не хотим слов терять, а если и вам нет дела до нас, то просим: отпустите нас; я вам обещаюсь Богом: хотя бы мне смерть принять, я без патриаршей грамоты о крестном целовании на королевское имя никакими мерами ничего не буду делать! Святейший патриарх — духовному чину отец, и мы под его благословением; ему, по благодати Св. Духа, дано вязать и прощать, и кого он свяжет словом, того

не токмо царь, но и Бог не разрешит!»

Тогда паны сказали: «Когда вы по боярской грамоте не делаете, то ехать вам в Вильну к королевичу».

Через несколько дней, в феврале месяце, снова позвали послов, убеждали их побудить смольнян присягнуть на королевское имя и, получивши от них прежний ответ, сказали: «Когда так, то вам до нас более нет дела: собирайтесь ехать в Вильну».

Тогда митрополит сказал: «Буде королевское величество велит нас везти в Литву и Польшу неволею, в том его государская воля, а нам и подняться нечем и не в чем: что было, то все проели. Более полугода живем под Смоленском без королевского жалованья и без подмоги; платье свое и рухлядь распродали, и лошади от бескормицы вымерли; товарищи наши и духовный чин отпущены к Москве, и нам делать нечего».

«Вам велят ехать, — гневно закричали на них паны, — собирайтесь в Вильну!»

Паны написали к московским боярам грамоту от имени Сигизмунда. Король уверял бояр, что слухи, распространенные его врагами, будто он не хочет прислать сына на Московское государство и думает разорить греческую веру в Московском государстве, неосновательны; король жаловался

на упорство смоленских сидельцев и на послов, в особенности на Голицына. Паны еще несколько раз, в феврале, пытались склонить послов повиноваться королевской воле. Паны снова отрекались от крестного целования на королевское имя, но требовали, чтобы впущено было восемьсот человек в Смоленск. Послы соглашались только на двести. Им позволили еще раз снестись со смольнянами, и послы потом говорили, что они насилу убедили смольнян принять двести человек. Напротив, поляки приписывали упорство смольнян и теперь, как прежде, наущению Голицына. Поляки требовали, чтобы, впустивши королевских людей, оставить одни ключи у городского начальника, другие — у польского; чтобы смольняне, как виновные в упрямстве, заплатили все убытки, понесенные королевскими войсками, и чтобы те, которые прежде из них покорились королю, находились под судом и ведением польского, а не русского начальства. Король обещал снять осаду только тогда, когда смольняне исполнят его требования. Но как исполнить их было нельзя, особенно заплатить издержки в то время, то ясно видно было, что король после этого договора останется с войском и только воспользуется введением своих людей

для удобного взятия города. И послы, и смольняне отказали; переговоры снова прервались.

Сильно были раздражены паны против послов. Они упорствовали, а между тем Русская земля ополчалась; вести приходили все грознее. Возникло подозрение, что послы сносятся с Ляпуновым, что они тайно помогают русским в восстании. Голицына обвиняли также в прежних сношениях с Тушинским вором, когда он еще был жив, и с Делагарди. Перехвачено было письмо к нему от шведского генерала, где последний уговаривал отстать от поляков и признать царем шведского королевича, который крестится в греческую веру. Наконец пришла весть, что ополчения восставшего народа подходят с разных сторон к Москве. Уже решили арестовать послов, пресечь их сообщения с московскою землею. 26 марта их позвали, и Лев Сапега сказал им:

«Мы знаем ваши коварства и хитрости, неприличные послам; вы нарушили народное право, преступили границы ваших посольских обязанностей, пренебрегали указами бояр московских, от которых посланы; народ тайно поджигали к неповиновению и мятежу, возбуждали ненависть к королю и королевичу Владиславу, давали советы мятежникам, отклоняли Шеина от сдачи

Смоленска, обнадеживая его скорою помощью от Ляпунова, дожидались, пока измена и мятеж созреют. Вы должны отправляться в Польшу»[976].

«Позвольте, — сказали послы, — взять наше имущество».

«Этого вам не будет позволено», — был ответ. Тотчас явились триста жолнеров, окружили их и повели во двор. Филарета посадили в одной избе, Голицына, Луговского и Мезецкого — в другой. Арестовано несколько дворян; вокруг посольского стана, где оставались другие дворяне, поставили стражу[977].

Наступила Святая неделя. Послы написали челобитную королю. Сигизмунд прислал им разговеться (стан говядины, старую баранью тушу, двух молодых барашков, одного козленка, четырех зайцев, четырех поросят, одного тетерева, четырех гусей и семь куриц; все это было битое). Послы удержали себе одну половину, а другую, с позволения пристава, отправили дворянам разговеться.

Из Москвы прибыли с новою грамотою Иван Никитич Салтыков и Безобразов. Паны послали

---

[976] Сноски: 976
Kobierzycki.

[977] Сноски: 977
Голиков, Дополн., II, 224–227.

Салтыкова уговаривать послов — уступить королевской воле — и в то же время приказали через приставов сказать послам, что если они и теперь станут противиться, то их повезут в Польшу.

На увещания Салтыкова послы отвечали так: «Тебе, Иван Никитич, надобно попомнить Бога и нашу православную веру, и свое отечество, и за Московское государство стоять, а на разорение государства не посягать. Сами видите, что над нами деется». Они показывали ему статейный список и доказали, что исполнить требования, противные первоначальному наказу, невозможно. Их слова, а еще более их пример проникли в сердце Ивану Салтыкову: он раскаялся, что служил врагам, и решился служить отечеству.

Весть о том, что ополчение уже находится под Москвою, устрашила панов. Они побаивались, как бы с их войском в Москве не сделалось чего-нибудь худого. При огромности восстания рассчитывали, что если теперь уладится дело о Смоленске, то это произведет впечатление, которое обессилит восстание Московской земли. Они предложили послам уступку, отрекались от того, чтобы Смоленску с его землею, как прежде требовалось, платить военные издержки, и соглашались только на двести пятьдесят чело-

век гарнизона. Уже составили условия[978], как вдруг пришло известие, что посольский гарнизон в Москве предал огню столицу и произвел повальное кровопролитие. Призвали послов. Паны говорили им, что виною всей беде московские люди. Послы говорили, что виною всему король: зачем не утвердил договора, не отошел от Смоленска.

«Нашим людям нельзя было не жечь Москвы, — сказал Лев Сапега, — иначе их всех самих побили бы; что сталось, тому так и быть. Король и мы хотим знать, а вы нам скажите, как злу помочь и кровопролитие унять?» «Мы сами не знаем, что теперь делать, — отвечали послы. — Нас отправила вся земля, а во-первых, патриарх. Теперь же патриарх, наш начальный человек, под стражею. Московского государства бояре и всякие люди пришли под Москву и бьются с королевскими людьми. Мы не знаем, за кого себя признавать, и о Смоленске не знаем, что делать: как смольняне узнают, что королевские люди, которых москвичи впустили к себе, сожгли Москву, то побоятся, чтобы и с ними того же не сделали, если впустят к себе королевских людей».

---

[978] Сноски: 978
С. г. гр., II, 530–534.

Впрочем, послы предлагали одно последнее средство поправить сколько-нибудь дело: отойти от Смоленска и утвердить все статьи договора, с которым они приехали. В таком случае сами послы вызывались писать к подмосковному войску и требовать, чтобы оно разошлось.

Стал король советоваться с панами. Хотели во что бы то ни стало оставить гарнизон в Смоленске в знак победы: иначе казалось постыдным возвращаться, ничего не сделавши и так долго добивавшись Смоленска. В Польше сочли бы это бесчестием для нации: поднялся бы ропот на бесполезную трату силы и казны; проснулись бы вновь едва уснувшие враждебные побуждения против короля; русские же не примирились бы от этого с поляками; московский пожар и кровопролитие не такие были события, чтобы могли изгладиться отступлением короля от Смоленска.

Самое это отступление объяснили бы невольною уступкою и еще сильнее вошли бы в задор против поляков.

Думный дьяк Луговской принес Сапеге черновые отпуски грамот, которые обещали послы отправить к патриарху и к начальникам подмосковного ополчения, если король согласится отойти от Смоленска. Сапега прочел отпуски и

спросил:

«Хотите ли вы впустить в Смоленск королевских людей?»

Луговской отказал, а Сапега прибавил: «Ну, так вас пошлют всех в Вильну!»

«Надобно прежде кровь христианскую унять, а Польшей нас стращать нечего, Польшу мы знаем!» — отвечал дьяк.

Тут случилось событие, раздражившее еще более панов против русских. Появилось в Дорогобуже ополчение, которое готовилось идти на помощь Ляпунову. Поляки послали против него Ивана Никитича Салтыкова. Тронутый убеждениями и примером послов, раздраженный поступками поляков в Москве, этот преданный до сих пор Сигизмунду человек, прибывши к Дорогобужу, объявил себя сторонником восстания и написал в Смоленск грамоту, где уговаривал смольнян не сдаваться. Поляки приписывали эту перемену влиянию послов. Поляки говорили, что тогда открылось ясно, что послы сносились с Ляпуновым. Вероятно, тогда узнали они о том воззвании, которое написано было от смоленских дворян и первое возбудило людей Московского государства к восстанию; обвиняли послов еще в том, будто они прямо сносились с смольнянами

и убеждали их не сдаваться.

Последний раз Сапега потребовал угрожающим тоном от митрополита Филарета, чтобы он написал к подмосковным начальникам об отходе от столицы, а к Шеину в Смоленск, чтобы тот сдал город. Филарет отвечал: «Я все согласен перетерпеть, а этого не сделаю, пока не утвердите всего, от нас поданного в договоре».

После этого ответа 12 апреля послам объявили:

— Вы завтра поедете в Польшу.

— У нас нет указа из Москвы, — отвечали послы, — чтобы ехать в Польшу, и нечем нам подняться.

— Вы поедете безотговорочно на одном судне, — сказали им. — Так велит его величество король.

На другой день, 13 апреля, ко двору, где содержались послы, подвезли судно и приказали им садиться. Когда слуги посольские стали собираться, приставы Самуил Тышкевич и Кохановский велели выбросить из судна их пожитки, лучшее взяли себе, а слуг перебили: холопская кровь не стоила большого внимания! Пленников окружили жолнеры с заряженными ружьями, и судно поплыло вниз по Днепру. За ними, в двух негодных суденышках, повезли посольских дво-

рян[979].

Поступок с московскими послами показывал, что король польский смотрит на Московское государство как на страну не только покоренную, но порабощенную; поляки уже не считали себя обязанными признавать посольской чести за теми, которые были представителями этой страны перед польским правительством. Только Жолкевский, когда послов везли мимо его имения, выслал к ним спросить о здоровье.

Сенаторы много раз советовали королю оставить осаду Смоленска и идти прямо в Москву; по их мнению, он там появлением своим мог бы изменить дела и усмирить восстание. Этого домогались и поляки, осажденные в Москве, и русские бояре, королевские приверженцы. Но Сигизмунд говорил, что не взять Смоленска — оскорбительно для его чести. Находились у него приближенные, которые поддерживали это мнение, желая польстить ему.

Время проходило. Все ждали, что смольняне доведутся до крайности, не станут более терпеть и сдадутся. Но смольняне не сдавались. Уже послы отвезены были в Польшу — смольняне все

[979] Сноски: 979

Голик. Дополн., II, 227–236. — Pisma Żołkiew., 117. — Никон. лет., VIII, 160.

упорствовали. Между тем соперник Жолкевского, Ян Потоцкий, умер. Тогда послан был гонец к Жолкевскому, уехавшему в Оршу, с приказом остановиться; потом другой гонец побежал к гетману и привез ему королевское приглашение воротиться к войску и принять над ним начальство. Король даже прислал за особою гетмана три цуга лошадей. Жолкевский прежде был оскорблен: во-первых, король отдавал предпочтение его сопернику, во-вторых — не слушал его советов. Жолкевский видел и не раз представлял королю, что дело, счастливо им устроенное, пропадет оттого, что король не присылает сына в Москву, а сам стоит под Смоленском, раздражает московский народ и вместе с тем дает ему время собраться для восстания. Жолкевский и теперь не надеялся, чтобы король стал поступать так, как гетману казалось лучшим. Он уклонился и отвечал, что уже услал лошадей вперед в Могилев. Через несколько дней после того король переменил свое намерение. Он ясно увидел, что Жолкевский не хочет более вести московского дела, сообразил, что с Жолкевским нельзя ему сойтись в планах, и назначил предводителем войска под Смоленском Якова Потоцкого, брата умершего Яна, а к Жолкевскому послал еще раз

гонца с приказанием не ворочаться и продолжать свой путь в Русь[980].

Решено было: не двигаться с войском к Москве, а оставаться под Смоленском, пока не возьмут этого города.

Еще несколько недель прошло. Король все ждал, что смольняне сдадутся. Поляки примечали, что ряды годных к оружию на смоленских стенах все редели и редели, но смольняне не думали сдаваться. Шеин недаром удерживал их и ободрял. «Шеин, — говорили поляки, — помнит геройскую смерть отца своего, павшего при взятии Сокола во время войны с Баторием»[981].

Проходил май. Смоленск не сдавался. Между тем в последние дни сентября назначен был в Польше сейм. Королю к этому времени следовало воротиться в отечество. Король хотел и должен был явиться перед лицом своего народа победителем; надобно было во что бы то ни стало взять Смоленск, иначе пришлось бы ему терпеть насмешки. И вот в первых числах июня назначен был генеральный приступ. Приготовлены были для забросания рва мешки с землею и со всякою

---

[980] Сноски: 980
Pism Żołkiew., 118.

[981] Сноски: 981
Pism. Żołkiew., 122.

тяжестью весом по 20 центнеров[982]. Войско польское поставлено было на всех четырех сторонах осажденного города. На восточной стороне, где стояли казаки, занявши Духов монастырь, почти против Аврамиевских ворот, находился сам главный предводитель польского войска, староста каменецкий Яков Потоцкий; на северной стороне, где протекал Днепр, против Крылосовских ворот, стояли литовский маршал Христофор Дорогостайский и Бартоломей Новодворский; на западе — брат Якова Потоцкого, Стефан Потоцкий, староста фелинский; здесь же стояла батарея и был пролом, сделанный польскими орудиями; но за проломанной стеной был насыпан высокий вал, защищавший город и окопанный пространным глубоким рвом. Между южной и западной стороной стояла немецкая пехота под начальством Яна Вейгера. Недалеко от Крылосовских ворот, против которых стоял литовский маршал, была яма для стока нечистот. Какой-то москвич-перебежчик явился к Новодворскому и известил его, что туда можно положить порох и таким образом взорвать стену. Новодворский осмотрел яму, затем поляки всыпали туда пороху.

---

[982] Сноски: 982
Relazione, 4.

В полночь с 2 на 3 июня, когда уже занималась летняя северная заря, поляки пошли на приступ. Первый полез на стену Стефан Потоцкий; по его приказанию жолнеры быстро бросились приставлять к стенам лестницы; сам предводитель показывал им пример и нес собственноручно лестницу. Этот приступ был сделан внезапно и стремительно: осажденные никак его не ожидали. В то же время немцы пехоты Вейгера с другой стороны приставили так же быстро лестницы к стенам и полезли по ним вверх. Русские подняли тревогу, скликали друг друга к оружию, звонили в колокола и бросились на стены. В Смоленске стены были тридцать локтей в ширину; на них было где разойтись и померяться. Завязался кровавый рукопашный бой на стенах. Русские работали усердно и кричали для собственного ободрения. Поляки подались, принуждены были сходить со стен. Их дело казалось тут проигранным и поправилось неожиданно. Когда русские, стоявшие на стенах, дружно и удачно сгоняли врагов со своих стен, вдруг вспыхнул порох, подложенный поляками в подстенную канаву. По одним известиям, его зажег своеручно Новодворский, бросив в яму, недалеко от входа канавы в Днепр, петарду; другие говорили, что осталось

неизвестным, кто зажег его — поляки или московские люди[983]. Взорвало стены на тридцать локтей в длину и на двенадцать в ширину[984]. Пораженные неожиданным взрывом стены, русские пришли в панический страх, оставили стены и валы и метались в беспорядке. Они никак не думали, что с этой стороны можно было подложить мины и сделать взрыв. Вслед за тем Дорогостайский и Новодворский бросились во вновь сделанный пролом, но увидели, что через него нельзя пробраться за грудами разметанной стены и вала, и повернули на Княжеские ворота. Жолнеры разбили разметанные кучи земли и бревна, которые загораживали дорогу к воротам, пробили ворота и вломились в город. В это время сам главный предводитель Потоцкий, стоявший на западной стороне против того места, где прежде была проломана стена, бросился в глубокий ров; жолнеры его быстро перелезли этот ров, с великим трудом взлезли на высокий вал и, не встречая отпора, очутились в городе. Вдруг загорелась башня, стоявшая близ Княжеских ворот;

[983] Сноски: 983

Коберж., 403, — Pisma Źołkiew., 124, — Relaz., 5.

[984] Сноски: 984

Коберж., 407. — По другому известию — в длину на 10 саж., а в ширину на 4 саж. (Relaz.).

в башне был порох, огонь скоро дошел до пороха: башню взорвало, и тотчас же загорелись близстоявшие дома. Пожар распространился по городу с чрезвычайною быстротою. Загорелись другие три башни из семи, стоявших по стене, примыкавшей к реке, на северной стороне крепости; с грохотом падали стропила и кровли. Дорогостайский приказывал тушить пожар, обещал награду, но это было невозможно. Русские сами зажигали дома, чтоб не доставалось имущество победителям. К тому же поднялся сильный ветер — пламя достигло до архиерейских палат; там были сложены и деньги, и имущество жителей и служилых и уездных людей; там было много узорочья, и золота, и одежд… и в погребе 150 пудов пороха. Толпы народа бежали в соборную церковь. Владыка смоленский Сергий во всем облачении стоял перед престолом и гласно молился за души погибших и готовых погибать. Тогда русские, видя, что все уже пропадает, зажгли пороховой склад под домом владыки. Владычние палаты с громом полетели на воздух, треснула и отвалилась одна стена в соборе; кое-какие поляки, гнавшиеся за русскими, были ранены, иные погибли; жолнеры ворвались в полуразрушенные стены собора; там, среди развалин и дыма, лежала, склонив головы,

толпа народу, женщин и детей; над ними стоял в царских дверях в блестящем облачении владыка. Враги были поражены его видом; он был прекрасен, с белокурыми волосами, с окладистою бородой. Первая ярость прошла, поляки не стали более умерщвлять никого; но сами русские, предводимые священниками и монахами, бросались в огонь, решаясь лучше погибать, чем терпеть поругание и унижение от победителей. «Где Шеин?» — кричали поляки. Им указали на одну башню. Там заперся Шеин с женою, с сыном-дитятею, с товарищем своим, князем Горчаковым, и с несколькими дворянами. Толпа немцев бросилась на эту башню, русские побили их. Тогда сам Стефан Потоцкий приблизился к башне и звал Шеина на объяснение. Шеин показался наружу с сыном. Потоцкий уговаривал, чтоб он пощадил свою жизнь. Не столько сам Шеин, как другие, с ним бывшие, решились сдаться. Шеин сошел и отдал свое оружие, за ним то же сделали и другие.

Четырнадцатого июня были представлены пленные торжествующему королю[985]. Вместе с тем Дорогостайский представлял королю от-

[985] Сноски: 985
Relaz., 6 — Pisma Żołkiewsk., 125.

личившихся при взятии крепости. Кроме таких, которые беспрестанно досаждали королю требованием жалованья, были также служившие без жалованья, которые, в надежде получить староства и каштелянства, прибыли служить бесплатно для славы Речи Посполитой и распространения католической веры; между ними обратил тогда на себя внимание один мальтийский кавалер; когда его представили Сигизмунду, он сказал, что не хочет никаких наград, кроме королевской милости к ордену, к которому он принадлежит. Шеина приняли сурово, и ему, как преступнику, дали вопросные пункты. Преимущественно хотели узнать — с кем он был в умышлении, в сношениях, в совете. Шеин ничего не говорил. Архиепископ Сергий и товарищ Шеина, Горчаков, как видно, выгораживали себя перед победителями и говорили, что они советовали ему сдаться; Шеин показал, что от Горчакова он ничего не слыхал, а Сергий хоть и сказал ему как-то раз, что уж не сдаться ли им, но на это не было обращено внимания, и после того архиепископ ничего не говорил подобного. На вопрос: что бы он делал, если бы отсиделся в Смоленске, Шеин отвечал: «Я всем сердцем был предан королевичу, а если бы король сына на царство не

дал, то, так как земля без государя быть не может, поддался бы к тому, кто был бы царем на Москве». Между тем Сигизмунд не оценил прямоты его: допрос сопровождался пыткою. Поляки думали, что в Смоленске остались сокровища, и хотели от него дознаться, но ничего не добились. После пытки его отправили в Литву в оковах, разлучили с семьею; сына взял себе король, а жену и дочь — Сапега[986]. Впрочем, впоследствии судьба его улучшилась. Он сошелся с Новодворским, главным виновником взятия Смоленска: оба оценили друг друга и сделались друзьями.

Несмотря на то что город был весь поврежден взрывом, поляки, однако, нашли в нем значительные запасы съестного: овса, ржи, гусей, кур, павлинов, поросят и, к удивлению победителей, только одну корову для молока к столу архиепископа. Взято до 200 орудий, кроме потерпевших от взрыва. Это сохранилось в тех башнях, которые уцелели от взрыва; там найдено несколько пороху, а ядер было так много, что их, как говорят современники-поляки, достаточно было бы на несколько крепостей. Во время взрыва засыпало развалинами парня с девушкой так, что над ними

[986] Сноски: 986

Так сообщают русские известия. Никон, лет., VIII, 163. — Арцыбыш., Пов. о Росс., III, 290.

образовалось просторное место и они могли дышать. На шестнадцатый день после того гайдуки, перебирая щебень с целью отыскать что-нибудь, услышали стоны и откопали их. Девушка испустила дыхание, как только ее коснулся свежий воздух и свет, а парень имел еще силы попросить водки и бани. Поляки привезли его в свой обоз, и он, как только отведал водки, тотчас умер[987].

Так пал Смоленск, долгое время не поддававшийся воле короля; давнее желание короля исполнилось! До сих пор он давал себе предлог — честь его страдает оттого, что Смоленск не сдается; теперь честь его удовлетворилась. Оставалось кончить начатое. Некоторые сенаторы и военачальники советовали теперь не медлить и идти с войском прямо под Москву, освободить осажденных в стенах Кремля поляков, упрочить власть над Московским государством, приласкать бояр; можно, думали они, кротостью и раздачею жалованья склонить на свою сторону многих из тех, которые были против короля. Жалованье войску могло быть заплачено из царской казны, и войско было бы спокойно. Сенат и сейм не только не поставили бы ему в вину

[987] Сноски: 987
Коберж., 416. — Pisma Żołkiew., 126.

этого похода, а еще были бы довольны, что уплата войску производится не из народных сумм, а на счет чужого государства. Против этого возражали, что сейм соберется в сентябре и король должен находиться на сейме; если же он пойдет к московской столице, то принужден будет войти в продолжительную войну с московским полчищем, осадившим столицу, а платеж войску должно будет производить польское государство, потому что не станет московской казны; произойдет задержка жалованья: войско начнет роптать; между тем сейм, собравшись без короля, не будет слишком довольствоваться тем, что Сигизмунд хочет завоевать чужую землю для своей фамилии. Представляли, что, прежде чем король решится на окончательное дело с Москвою, надобно испросить мнения Речи Посполитой. Договор, который заключил с Московским государством Жолкевский, еще не был подвергнут обсуждению и одобрению сейма, а это было необходимо в стране, где верховная власть истекала от воли народа. Король пристал к последнему мнению. Ему, между прочим, хотелось вступить победителем в свою столицу; его пленяло ожидание торжества и народного ликования. Тогда, надеялся он, сейм будет более расположен к его видам. Поправить

дело в Москве, подвести осажденным живность и отбить москвитян от города можно, казалось, и без присутствия короля. Сигизмунд поручал это дело литовскому гетману Ходкевичу, стоявшему тогда в Ливонии. В Смоленске был оставлен воевода брацлавский Якуб Потоцкий; ему поручал король устроить все, что нужно для охранения и укрепления Смоленска и для приведения в покорность новозавоеванной земли.

VII. Торжество Польши и Рима. – Приведение пленного царя Василия в Варшаву. – Юрий Мнишек

Вся Польша торжествовала. Повсюду совершались празднества, молебствия, процессии, пирушки, всевозможнейшие увеселения. В Кракове три дня и три ночи с 30 июня не умолкала музыка… Выстрелы, потешные огни, представления, изображавшие взятие Смоленска, апофеозы языческих божеств, поражающих Московское государство. Радость была чрезвычайная в Риме, когда дошла туда весть о побиении схизматиков — о событии, столь утешительном для католичества. Седьмого августа св. отец провозгласил отпущение грехов всем, которые посетят церковь

Св. Станислава, патрона Польши, находившуюся в Кампидолио, подле самого иезуитского дома. Там целый день отправлялось богослужение и воспевались хвалебные песни. В особенности красовались при этом иезуиты, и в присутствии их генерала Аквавивы поляк-иезуит Рахоцкий произнес высокопарную речь. Посреди множества потешных огней народ с любопытством смотрел, как выпущено было два изображения орла: один, белый, изображал верную Польшу; другой, черный, означал неверную Московию; белый пустил огонь на черного, черный треснул и рассыпался искрами. И народ восклицал на голоса иезуитов: «О, даруй, Боже, яснейшему королю польскому для блага христианской церкви уничтожить коварных врагов москвитян»[988].

Со всем двором король приехал в Вильно. Здесь ему воздвигли триумфальные ворота; город, недавно, впрочем, пострадавший от пожара, был освещен потешными огнями. Там встретила его супруга — королева Констанция, сын Владислав — нареченный московский царь; веселая музыка провожала его от триумфальной арки до дворца; толпа народа громкими криками восхваляла

[988] Сноски: 988
Narratio brevis Chlebowsk.

геройские подвиги своего короля.

Из Вильно Сигизмунд отправил в Москву Адама Жолкевского — известить бояр, что он должен быть на сейме и потому-то не может сам идти к Москве, а послал литовского гетмана Ходкевича; король обвинил послов Голицына и митрополита ростовского в измене под Смоленском и требовал, чтобы бояре от всех чинов Московского государства прислали других послов на сейм для совещания о добрых делах[989].

В Варшаве короля ожидало еще большее торжество. Сенат и сейм поздравляли его. Явился Жолкевский со всеми своими полковниками, ротмистрами. Королю устроили торжественный въезд. Воображению поляков рисовались древние торжества римских полководцев. Подобно Павлу Эмилию, Жолкевский вез с собою пленного царя. Сослуживцы Жолкевского выказали весь блеск своих одежд и вооружений, все достоинство и убранство своих боевых коней. Сам коронный гетман ехал в открытой, богато убранной коляске, которую везли шесть белых турецких лошадей. Непосредственно за ним везли Шуйского в королевской карете: она была открыта, чтобы все

[989] Сноски: 989
Собр. г. гр., II, 571.

могли видеть знатных пленников. Бывший царь сидел посреди двоих братьев; на нем был длинный белый, вышитый золотом кафтан, на голове горлатная шапка из черной лисицы. Поляки с любопытством присматривались к его сухощавому лицу, окаймленному маленькою кругловатою бородою, и ловили мрачные, суровые взгляды в его красноватых больных глазах. За ним везли пленного Шеина со смольнянами, а потом Голицына и Филарета со свитою. За пленниками пехота и гетманские казаки оканчивали поезд. Это было 29 октября. Пленных повезли чрез краковское предместье в замок. Там, в сенаторской избе, где собран был весь двор, весь сенат, паны Речи Посполитой, сидел на троне король Сигизмунд с королевой, а близ них была вся королевская семья его. Ввели туда пленных. Впереди поставили московского царя с братьями. Василий с беспокойством оглядывался во все стороны и повсюду встречал взоры сострадания и участия. Поляки с чувством величия торжествующей нации смотрели на него дружелюбно. Но в ряду сенаторов Речи Посполитой глаза Василия сошлись с грозными глазами Юрия Мнишека. Жолкевский выступил перед троном и во всеуслышание с жаром говорил речь. Сначала он восхвалял добродете-

ли, доблести и всякие достоинства Сигизмунда; прославлял его подвиг завоевания Смоленска; потом, перешедши к завоеванию Москвы, немного повернулся, указал на пленного царя и сказал: «Вот он, великий царь московский, наследник московских царей, которые столько времени своим могуществом были страшными и грозными короне польской и королям ее, турецкому императору и всем соседним государствам. Вот брат его, Димитрий, предводительствовавший шестидесятитысячным войском, мужественным, крепким и сильным. Недавно еще они повелевали царствами, княжествами, областями, множеством подданных, городами, замками, неисчислимыми сокровищами и доходами, и по воле и благословению Господа Бога, дарованному вашему величеству, мужеством и доблестью нашего войска, ныне они стоят здесь жалкими пленниками, всего лишенные, обнищалые, поверженные к стопам вашего величества, и, падая на землю, молят пощады и милосердия». При этих словах гетмана низложенный царь, держа в одной руке шапку, поклонился, прикоснулся пальцами другой руки до земли и потом поднес их к губам; Димитрий поклонился до земли головою один раз; Иван Шуйский, по обычаю мос-

ковских холопей, отвесил три земных поклона; Иван при этом плакал. Гетман продолжал свою речь и сказал: «Ваше величество! Примите их не как пленных; я умоляю за них ваше величество; окажите им свое милосердие и милость; помните, что счастье непостоянно, и никто из монархов не может быть назван счастливым, прежде чем не окончит своего земного поприща». Речь его была украшена всем блеском риторики, при этом гетман не упустил случая вспомнить о разных римских героях. По окончании речи пленники один за другим, начиная с царя Василия, были допущены к руке королевской. Потом канцлер от лица короля говорил во всеуслышание благодарственную речь. «Чего (прибавил он в этой речи) прежние наши короли не могли надеяться, о чем не смели советовать мужественные полководцы, чего не думали рачительные сенаторы дождаться, то совершила смелость вашего величества и мужество его милости пана гетмана польскою рукою».

За канцлером встал маршал посольской избы и изъявил от имени всей Речи Посполитой признательность гетману и всему войску, которое участвовало в московской войне и доставило своими победами великую славу и честь всей

польской нации.

Когда окончилась эта речь, встал со своего места Мнишек и громогласно потребовал правосудия. Он вспоминал о коварном убийстве Димитрия, царя коронованного и всеми признанного; об оскорблении своей дочери царицы Марины; припоминал, как он сам терпел от Шуйского поругания, неволю, заточение, как он его ограбил, морил голодом и нищетою; доказывал притом, что Шуйский, будучи царем, наносил тяжелые оскорбления королю и всей Речи Посполитой, изменнически перебил гостей, приехавших на свадьбу, задержал послов в противность всем правам. Но не те были уже времена, чтобы Мнишек мог возбудить всеобщее сочувствие. Поведение Марины, которая в то время стояла во враждебном положении к королю и Речи Посполитой, не могло располагать никого к участию в том, что соединялось с делом самозванцев. На Мнишека смотрели как на честолюбца, который не разбирал средств к возвышению семьи своей. Никто не верил в его *Димитриев*, никто не верил в невинность Мнишека в этих делах. Мало было таких, которые находили бы справедливым мстить пленному царю за Мнишеков; напротив, большинство наклонялось к несчастному

узнику. Мнишек проговорил свои обвинения. Василий стоял молча. Но и все собрание панов Речи Посполитой молчало, и этим безмолвием все показали, что не хотят в угоду Мнишеку огорчать и без того горькую судьбу низложенного царя. Король отпустил от себя пленников милостиво. Царя с братьями отправили в Гостынский замок, недалеко от Варшавы, и там назначили им пребывание под стражею. Впрочем, их содержали нескудно, как видно из описи вещей и одежд, после Василия оставшихся, большею частью подаренных Сигизмундом[990]. Неволя и тоска свели царя через год в могилу. В том же замке скончались после него Димитрий, брат его, и жена Димитрия, подозреваемая в отравлении Скопина. Много лет спустя костям невольников суждено было перейти в родную землю.

Мнишек еще до представления пленного царя выдержал нападение. Кто-то из важных панов подал жалобу на сандомирского воеводу и требовал предать его суду сената за проступки, которыми он наложил пятно на Речь Посполитую. Ему поставлено было несколько обвинительных пунктов: из них, кроме утайки королевских

[990] Сноски: 990
А. И., II, 405.

доходов с Самборской экономии, все относились до поведения воеводы в московском деле. «Зачем, — гласили эти пункты, — пан воевода признал царем обманщика Отрепьева, проводил его на царство; обманщик впоследствии, как было доказано, злоумышлял на короля, сносился с его врагами, хотел овладеть короною польскою, пользуясь начавшимися в Польше смутами, а Мнишек повез ему дочь, конечно, в надежде, что он достигнет польской короны. Мнишек был в соумышлении со своим зятем: это видно из того, что Мнишек дружился с врагами короля и принимал к себе в дом Стадницкого. Сверх того, Мнишек, возвращаясь из плена, пристал ко второму обманщику, признал его истинным Димитрием, оставил у него дочь, а сам приехал в отечество и тут действовал на сеймиках во вред королю». Мнишек говорил пред сенатом оправдательный ответ: прежде всего он оскорбился, что его бывшего зятя без церемонии называли Отрепьевым с голоса москвитян, уверял, что зять его был не Отрепьев, а истинный Димитрий. «Ваше величество (сказал Мнишек) и многие паны сенаторы и жители короны польской признавали его, как и я, Димитрием. И акты послов ваших, и письма вашего величества о том сви-

детельствуют. Чем же я виноват? Я проводил на царство не обманщика, а истинного Димитрия; и Москва его признала, и города ему сдавались, его посадили на трон и короновали. Впрочем, я о нем вначале объявлял покойному гетману; ему хотя это и не понравилось, но он мне не запретил решительно помогать Димитрию». Легко было Мнишеку ссылаться на умершего Замойского. Обвинение в соумышлениях с Димитрием во вред своему королю он отрицал, ссылался на неимение доказательств на то: «Ни о чем подобном я не говорил со своим зятем, да и некогда было, и все сношения мои с ним клонились к пользе Речи Посполитой: на это указывают его письма и привилегии. Да, я принимал Стадницкого, но что же? Это был долг гостеприимства и родства; а пусть покажут письма, которые я писал к нему. Я приводил его к покорности». Что касалось до второго самозванца, Мнишек уверял, что его, Мнишека, насильно затащили в тушинский табор поляки. «Мы кричали, — говорил он, — для чего нас останавливаете, зачем заворачиваете? А они не слушали, и пан Сапега не мог нас оборонить, хоть и хотел. Потом я думал уехать в Дубровну, но москвитяне-приставы так говорили пану радомскому (Олесницкому): “Жаль вас нам:

человек, который называется теперь Димитрием, не прежний; но вы сделайте так, как они хотят. Мы приведем это дело к тому, чтобы король или королевич сделался нашим государем". И они ушли в Москву, предпринимая уничтожить тамошнего; не знаю, толковали ли они о том в Москве; только пан радомский доверил дело некоторым надежным особам, но потом, видя непостоянство, уехал; его, догнавши, убили бы, если б знали, что он вашему величеству эти дела порицал. Меня потом пригласили на разговор. Я выехал с позволения князя Рожинского. Они спрашивали: тот ли это Димитрий, что прежде был? Я отвечал по правде — не тот. Они на это сказали: "Смотрите, чтоб вам самим не пропасть"». Мнишек и в этом обстоятельстве сослался на мертвого — на убитого в Москве князя Андрея Голицына, но прибавил, что, вероятно, это известно и тому Голицыну, который находится теперь в плену. «Я, — продолжал Мнишек, — уезжая из табора, хотел взять с собою и дочь свою, но фальшивый Димитрий соображал верный успех, и себе, а не мне хотел угодить, ибо уже города начали сдаваться. Супружество было не невольное. Я говорил своей дочери: этот человек не удержится; да хоть бы какие сокровища ты

имела и царицею московскою стала — лучше тебе выпросить у короля и у Речи Посполитой какой-нибудь уголок; что же делать, когда неугодно было ее милости стараться об этом! А что писал я к дочери, так разве отец не мог писать к дочери и к тому, который звал меня отцом, а я его — сыном? Пусть покажут мои письма: в них видна моя верность и непорочность!» Так отделывался, так изворачивался тогда Мнишек, и не только остался без преследования, но еще сам возвысил голос против короля. Он еще разыгрывал роль охранителя шляхетской свободы против тех сенаторов, которые слишком превозносили подвиги короля, и заявил, что, если б король приобретал новые провинции для польского королевства, и тогда нельзя ободрить его, коль скоро он действовал без согласия сейма, потому что такие поступки ведут к абсолютному господству. Подобные фразы в устах человека, которого поступки возбуждали уже презрение честных людей, побудили подканцлера Криского воскликнуть: «Матерь Божия, на каких низких условиях хотят держать короля! Какое тут абсолютное господство? В кармане оно у кого-нибудь было! Узнать следовало бы получше об Отрепьеве, что об его титуле был спор! Вишь ты: польскому шляхтичу можно назвать

обманщика царем, приголубить его в своем доме и своими средствами проводить на царство, а королю нельзя оборонять своими средствами границ Речи Посполитой!»

Вообще, на последовавшем затем сейме не оправдывали принципа, чтобы король мог вести войну без согласия государственных чинов, но извиняли короля Сигизмунда во внимание к его успехам. Сторонники его оправдывали его тем, что он, вступая на престол, дал присягу — распространять пределы королевства. В пропозиции, посланной перед сеймом на поветовые сеймики, а также и в речи, которою, по обычаю, открывал сейм от имени короля канцлер, король объявил польской нации, что отнюдь не хочет приобретать Московского государства ни для себя, ни для своего потомства, а желает его присоединить к польской короне. Это очень понравилось полякам. Со стороны короля представлялась необходимость окончить войну, воспользоваться случаем и покорить «грубый московский народ, который иначе может быть очень опасен для Речи Посполитой, если усилится». «Давно ли, — было замечено, — обманщик Гришка Отрепьев замышлял овладеть короною польскою? Живы те, которые знают о его проделках: вот и Димитрий

Шуйский говорит, как он хотел воспользоваться несчастным смятением у нас и собирался двинуть сорок тысяч к Смоленску. Пусть спросят его те, которые тогда приглашали Отрепьева на польский престол. Даже и второй обманщик — и тот мечтал о польской короне, надеясь овладеть прежде московскими сокровищами». Поставлен был вопрос: что делать с послами и продолжать ли начатые переговоры о воцарении Владислава? Тогда подканцлер Криский, всегда говоривший согласно с королем, сказал: «С кем вести переговоры? От кого эти послы? Какие тут переговоры, когда и столица, и государство Московское у нас в руках? Должны они принять такое правление, какое даст им победитель. Рабский дух только страхом может обуздываться. Куда хочешь поведи москвитина, — он переменит страну, а души своей не изменит! В рабстве он родился, к рабству привык. Оружием следует кончать с ним дела, как начали. Нельзя отдавать королевича на растерзание. Этот народ со времен царя Ивана своих государей отравлял и убивал. Если мы станем с ним толковать, то он подумает, что мы его боимся». И все согласились, что следует кончить войну; но когда дошло дело до поборов, которыми должны покрыться издержки войны,

то сейм назначил очень мало. Положили: заплатить сто тысяч злотых тем, которые воротились из похода, а войску, которое оставалось в Московской земле, представляли уплату из тамошних доходов. Тогда думали и говорили, что Московская земля уже покорена, москвитяне бессильны и не нужно больших издержек со стороны Речи Посполитой, чтобы привести в повиновение какие-нибудь ничтожные остатки непокорных. На все это достанет тамошних средств. О посылке Владислава не могло быть более речей. Поляки считали Московское государство уже принадлежащим Польше и вековой спор с Русью поконченным[991].

VIII. Взятие Новгорода шведами

Тем временем Север русского мира подпал под иное, чужое владычество. После свержения Василия и признания Владислава Швеция неминуемо должна была из союзницы сделаться враждебною Московскому государству. Кровная вражда шведского короля Карла к Сигизмунду, который оспаривал у него право на престол, — вражда,

[991] Сноски: 991
Дела сейма 1612 года в рукописях библиотеки Красинских.

соединенная с религиозною рознью, не могла терпеть усиления соперника. Политика Швеции, в видах самосохранения, должна была противодействовать возрастанию соседней Польши. Притом же для шведов, естественно, была заманчива возможность воспользоваться печальным состоянием соседнего государства, чтобы отхватить от него что-нибудь для себя, когда многое уже из него достается в добычу другим. Как только услышал Делагарди о выборе Владислава, тотчас из Торжка, где остановился после клушинского дела, написал Боярской думе такое дружеское замечание: «Вы берете государя слишком молодого в такое Смутное время, когда нужна сильная власть, чтобы водворить порядок. Поляки во всем разнятся от русских и не любят вас; известна их наглость, высокомерие. Они воспользуются положением Московии, измученной мятежами, обессиленной поражениями, утомленной войнами, раздираемой самозванцами; под предлогом установления спокойствия подчинят вас своему королю и себе, а Владислав, данный вам по милости поляков, будет их подручником, как воевода волошский». Мало проку надеясь от этого замечания, Делагарди двинулся из Торжка к границам, чтобы поскорее захватить Корелу, уступленную

по Выборгскому трактату. Король Карл, с согласия шведского сейма, хотел, чтобы Делагарди шел с войском в средине Московской земли и во что бы то ни стало препятствовал воцарению польского королевича. Но Делагарди отсоветовал и рассчитал, что лучше захватить поскорее северные области, чтобы, когда Владислав сделается царем, Швеция уже овладела частью русской земли и получила в ней опору для себя. Таким образом, Делагарди оставался в Выборге и послал отряды для взятия Иван-города, Ладоги, Орешка и Корелы. Осада Иван-города пошла неудачно. Наемное войско, состоявшее из иноземцев — французов и шотландцев, взбунтовалось, ограбило кассу, находившуюся в руках шведов, и разошлось, так что шведы должны были обращаться с ним как с неприятелем. Не удалось шведам овладеть и Ладогою. Пьер де ля Валль захватил было крепкий город, обведенный водою, но остался там небольшим гарнизоном. Пошел на отбой Ладоги с новгородцами Иван Салтыков, не допустил подвоза к ней припасов, а потом голодом принудил сдаться. Восьмого января 1611 года де ля Валль оставил Ладогу, выговорив себе условие свободного выхода со своим гарнизоном и со всем имуществом. Орешек отбивался от шведов упор-

но. Они над ним употребляли огромные усилия, думали разбить его стены машинами и ядрами и, наконец, должны были отступить. Корела, осаждаемая Лаврентием Андрю, держалась всю зиму до марта, наконец предложила переговорить с выборгским комендантом Арвидом Вильдманом о сдаче. Шведы думали, что корельцы сдаются оттого, что дошли до крайности, и предложили тяжелые условия: оставляли жителям только жизнь и соглашались выпустить их с тем, чтобы они покинули свое имущество. Корельцы отвечали, что еще не дошли до последней беды, как себе воображают шведы; у них еще есть тысяча бочек хлебного зерна, изобильно сала; они готовы защищаться до последнего: если терять последние животы, то лучше уж потерять и жизнь; они сами взорвут свой город и погибнут все. «Вот видите, — говорили корельцы, — ивангородцы отдавались вашим так же, как мы теперь; ваши не согласились и не взяли Иван-города». Шведы рассудили, что в Кореле есть несколько шведов-пленников, в том числе двое братьев Бойе, знатного рода, взятые под Иван-городом; для спасения своих они согласились на более мягкие условия, оставляли корельцам имущества и требовали в свою пользу имущества умерших. Нельзя было более

упрямиться корельцам: из трех тысяч человек, бывших в городе, у них осталась только какая-нибудь сотня; прочие погибли от войны и от скорбута, свирепствовавшего в городе. Корела сдалась.

По взятии Корелы Делагарди написал к королю, что теперь идет на Новгород, и собирал войско. Наступала весенняя распутица; за нею должен был последовать разлив Волхова, который в это время мешает подступить к городу. Поэтому Делагарди должен был двигаться с войском медленно и вперед послал в Новгород с мирными предложениями капитана Коброна[992].

Новгород тогда был сильно вооружен против польской власти, и новгородцы пристали к ляпуновскому ополчению. Освободитель Ладоги Салтыков, видя, что в Новгороде заговор против польской партии, хотел было уйти в Москву; новгородцы его поймали и посадили в тюрьму. Через несколько времени, когда ненависть к полякам, возбужденная вестями о сожжении Москвы, о насильствах сапежинцев, о несправедливостях Сигизмунда, дошла до высших пределов, его вывели из тюрьмы, пытали и приговорили к

---

[992] Сноски: 992
Videk., 191–193; 205–209; 216–221.

смерти. Молодой Салтыков хотел спасти жизнь увериями, что будет служить делу русской земли. «Пусть, — говорил он, — мой отец придет с литовскими людьми, — так и против отца я пойду биться с вами!» Ему не поверили, его посадили на кол[993].

Вместо него прибыли воеводы Бутурлин и Одоевский. Первый был заклятый ненавистник поляков и их власти. К ним обратился капитан Коброн, он от имени Делагарди предложил только дружбу и размен пленных. Новгород отпустил шведского посланца в сопровождении двух знатных русских, которые обещали выпустить всех шведских пленников, сидевших в Новгороде и в Орешке, согласились прекратить всякие неприятельские действия и заключить окончательный мир до избрания нового государя всею землею. Делагарди подал им письмо, присланное к нему королем его. В нем король дружелюбным тоном уговаривал новгородцев не отдаваться полякам, которые думают ввести иезуитов в Россию и действуют заодно с испанцами, а последние хотят послать несколько тысяч своего войска в гавань Св. Николая. Делагарди собственно от себя просил

---

[993] Сноски: 993
Никон, лет., 161–162.

только скорейшего выпуска пленных и, кроме того, уплаты жалованья войску по Выборгскому договору со Скопиным. Между тем он послал к Орешку, приказывал вести скорее к Ладоге шведские суда, державшие в блокаде Орешек. Было соображение — оставить этот город, потому что есть возможность захватить главный город края.

Проходил апрель. Волхов разлился. Делагарди все ближе и ближе подвигался к Новгороду, расположился станом верст за сто двадцать от Новгорода, на берегу Волхова, продолжал дружеские сношения и уверял в своем расположении к русским, скрывая от них свои намерения покорить Новгород с его землею; уже у него была составлена и карта берегов и окрестностей Ладожского озера: он отослал ее к королю с замечаниями о важности разных пунктов.

В конце апреля прибыли из Новгорода к шведскому военачальнику посланцы, принесли письмо от воевод Бутурлина и Одоевского и, вместе, запись в постоянной выплате денег. Они просили, чтоб Делагарди отошел от новгородских пределов, обратился бы против поляков и помогал бы русским очищать их землю по-прежнему от этих врагов.

«Я, — отвечал Делагарди, — больше всего же-

лаю идти против наших общих врагов, но должен обождать, пока придет ко мне королевское повеление».

Обмен пленных был сделан. Новгородцы выпустили содержавшихся в своем городе и послали приказание то же сделать и в Орешке, а Делагарди выпустил на свободу русских, содержавшихся в Выборге.

Наступил май. Волхов стал входить в берега. Делагарди двинулся далее, но медленно, потому что к нему подходили свежие силы. 2 июня он прибыл к Хутыню, там стал он лагерем. К нему выехал воевода Бутурлин и просил назначить переговоры. Они состоялись 4 июня. Со стороны русских был сам Бутурлин, выехавший в сопровождении нескольких князей, воевод и старост от концов новгородских.

«Мы уполномочены, — сказал Бутурлин, — от всего Московского государства заключить дружественный союз с главным начальником шведского войска Яковом Понтусовичем Делагарди. Мы просим и молим прекратить всякие ссоры и нелюбовь, какая была до сих пор между шведами и русскими, отложить конечное рассуждение до того времени, когда выберется всею землею новый государь, а Яков Понтусович Дела-

гарди пусть поможет нам освободить Москву от поляков, которые ее заняли. Надеемся, что и король Карл того желает, особенно когда польский король, взявши Смоленск, пойдет всеми силами на город Москву».

«Желание это исполнится, — отвечал Делагарди, — если новгородцы примут на себя часть уплаты жалованья войску и заложат Швеции пограничные города. С каким кровопролитием, с какою тратою казны освобождена ваша столица от обманщика, а еще до сих пор не выплачено жалованье за такие утомительные труды! Корелу должны были бы отдать по Выборгскому договору, а мы ее взяли осадою и войною, потратили казну, кров, труды, — надобно же вознаграждение за взятый город, который следовало получить без войны».

Русские сказали: «Мы все это запечатлеем в памяти, и все будет вознаграждено, когда воцарится новый государь. Мы за прежние ваши услуги благодарим от всей московской земли».

«Мы просим, — прибавил Бутурлин, — указать нам, какие именно города вы желаете получить?»

Делагарди дал ему два письма от короля: одно к новгородцам, другое к московским боярам и

жителям. Не читая письма, Бутурлин с таинственным видом сказал Делагарди:

«Есть у меня передать тебе тайну, Яков, от Великого Новгорода».

Делагарди увел в сторону Бутурлина, и Бутурлин сказал ему:

«Великий Новгород желает иметь государем которого-нибудь сына его шведского величества. Мы не сомневаемся, что Москва на то согласится, если нам только будет предоставлена свобода нашей православной греческой веры. Мы уже научились из примера царя Василия, что значит выбирать царей из своих: только зависть боярская от этого!»

«Я напишу об этом королю и надеюсь, что он согласится», — сказал Делагарди.

Тем временем письмо короля было прочитано новгородцами в городе. На третий день после первых переговоров сошлись на другие.

«Из письма его величества, — сказали русские, — мы увидели имена городов, которых вы желаете, именно: Орешка, Ладоги, Ямы, Копорья, Иван-города и Гдова. Это показалось всем нам тяжело, и можем сказать, что это будет нам не помощь, а разорение; мы уповаем, что король согласится на уступки посходнее для нас, когда

все это еще не находится в его власти».

«Не удивляйтесь, добрые москвитяне, — сказал им Делагарди, — что король пожелал этих городов от вас, когда многие из них уже и без того обещаны бывшим вашим государем Василием Шуйским. Сверх того, чины Московского государства дали нам сами свободу выбирать по нашему желанию. Король наш вовсе не жаден; по вашему желанию он послал свое войско через моря и земли, содержал его на свой счет; оно перенесло столько битв, завоевало столько городов, столько бед приняло от болезней и мятежей, терпело столько от вашей вины; и теперь мы готовы идти в отдаленные страны, лишь бы довести дело до славного конца. Нет тут ничего необыкновенного и странного; некоторые из этих городов были строены королем шведским Ладулеем, находились в шведской власти некогда и были еще потом отняты на войне королем шведским Иоанном у царя вашего Василия Васильевича. Совершенно справедливо, если наш дружелюбный вам король потребовал их себе за то, что освободит вашу землю от хищных врагов, которые ее завоевали оружием и овладели ею. До сих пор вы не исполнили ничего по договору с нами: не обошлось без вероломства! Если вы хотите

с нами по правде, а не по хитрости поступать, то отдайте эти города в знак вашей верности: король поступает с вами по сущей справедливости и не требует от вас ничего выше ваших сил, больше того, что может снести целость обоих государств. Этим вы дадите бессмертную славу королю, и обоим народам будет от того большая выгода, если Швеция с Московиею соединится в один дружеский союз, в одной будет управлять отец, в другой сын; и когда таким святым союзом соединятся два государства — никакой враг нам не страшен; чего будет недоставать им для величайшего могущества?!»

Русские сказали: «Если суждено Московскому государству терпеть разорение и насильства от поляков и в последней мере им же отдаться, так нам не остается другого спасения, как отдаться в защиту шведскому королю, потому что мы узнали его доброту: он помощь нам оказал».

«В знак вашего постоянства и правды ваших слов отдайте нам теперь два города на двух концах Ладожского озера, Ладогу и Орешек, — сказал Делагарди. — Тогда вам будет помощь от шведского короля».

«Мы поговорим об этом со своими братьями в Москве, — отвечали новгородцы, — дайте нам

четырнадцать дней срока, а мы будем стараться, чтобы они скорее назначили отдать эти города, и мы, со своей стороны, пошлем послов в Москву».

Делагарди согласился. Между тем условлено было, чтобы по Волхову невозбранно ходили суда с запасами для шведского войска, чтобы позволено было новгородцам и жителям новгородских сел продавать шведам средства к содержанию.

Так проходило время. Делагарди ожидал возвращения посла своего из московского лагеря, а своего товарища, Эдуарда Горна, из Выборга — с боевыми запасами. У Делагарди не было еще достаточно стенобитных орудий и огненных снарядов, он ожидал их от Горна; он рассчитывал, что так ли, иначе ли, а придется побудить русских страхом к скорейшему соглашению. В Новгороде, однако, не все, как Бутурлин, были расположены отдаться шведам. Другие не хотели добровольно признавать иноземца, кто бы он ни был. Товарищ Бутурлина, Одоевский, был против дружбы со шведами и видел с их стороны одно коварство. Стрельцы изъявили охоту лучше биться со шведами, чем кланяться им. Столкновения с ними русских начались прежде, чем получено было решительное посольство от Ляпунова. Какой-то крестьянин явился в шведский лагерь

посланцем от новгородцев, жаловался, что шведы против договора захватили принадлежащие Московскому государству земли и города, и просил удалиться от окрестностей Новгорода. «Это значит, — говорили тогда шведы, — что русские хотят с нами войны и пренебрегают нашею дружбою и союзом». Они приписывали эту выходку счастливому для русских обороту обстоятельств. До них доходили известия, что поляки стеснены в Кремле и Китай-городе и пропадают от голода. «Русские (как делали свои догадки шведы) готовы признать нашу власть, когда им угрожают поляки, а как только они понадеются избавиться от поляков, то будут стараться и от нас отделаться…» Новгородцы стали поступать с пришельцами по-неприятельски: шведы пасли лошадей — на них нападали и прогоняли их, жалуясь, что они травят поля; некоторые из них были схвачены и убиты, а других увели в город. Когда подходили шведы к городу, по ним стреляли со стен.

Посланники от Ляпунова воротились и привезли ответ, по-видимому, удовлетворительный. Бояре соглашались избрать сына шведского короля на престол Московского государства и отдать в залог города Ладогу и Орешек, предоставляли подробнейшие условия воеводе Бутурлину, но

умоляли шведов поспешить на помощь под Москву, пока Сапега еще не воротился и не привез осажденным полякам продовольствия. В письме к Бутурлину, которое впоследствии нашли шведы, Ляпунов сообщал, что главные бояре в войске, стоявшем под Москвою, действительно собирали думу, где порешили: избирать в цари сына короля Карла IX. Соглашались на сдачу Ладоги и Орешка, с тем, однако, чтобы содержание для шведского гарнизона собирали сами русские, а не шведы. Ляпунов предупредил Бутурлина со товарищи ни в каком случае не отдавать Кольского острога и крепостей на Севере, чтобы оставить свободными торговые пути по Северному морю.

Бутурлин сообщил шведскому военачальнику, что Ляпунов не велит отдавать шведам Орешка с округом иначе как только с тем, чтоб гарнизон в нем состоял наполовину из шведов и из русских и чтобы Делагарди немедленно двинулся в Московскую землю против поляков. Делагарди отвечал: «Дайте заложников и введите сто человек моих солдат в Орешек, тогда я пойду; и когда я дойду до Торжка, до границы между новгородскими и московскими землями, тогда вы должны вывести своих людей из Орешка и совсем передать его нашим людям, а мне заплатить

1500 рублей вперед». «У нас нет столько денег в наличности, — отвечали новгородцы, — а в город не пустим шведов больше двадцати человек». Делагарди рассердился.

По единогласному сказанию и шведских, и русских современных известий, Бутурлин хотел не только признать шведского королевича кандидатом на русский престол, но и отдать Новгород в руки шведов, надеясь, что шведы после того пойдут далее на помощь Московскому государству. Он обещал подробнее об этом изложить в посольстве, которое готовились снарядить к королю Карлу IX. Но с Одоевским нельзя было ему сойтись. Одоевский упорно твердил, что все равно — поляки или шведы — одинакие враги русской земли. Шведский современник Видекинд говорит, что Бутурлин стал тогда переговариваться с Делагарди тайком от своего товарища и сказал шведскому военачальнику так: «Надобно вам отойти хоть несколько верст по ямской и по копорьинской дороге и показать вид, будто вы идете затем, чтобы эти мятежные города покорить Московскому государству; тогда народ успокоится и большую часть его можно будет послать на помощь под Москву Ляпунову, а вы воротитесь. В городе тогда людей будет меньше, и я вам сдам

тогда Новгород». Предложение Бутурлина не прельстило Делагарди; напротив, он заподозрил [не]искренность советчика. В совете начальных шведских людей рассуждали об этом так: «Как можно верить дружелюбию предателя! Вернее брать город силою, чем полагаться на измену. Прежде чем русские не исполнят требований и не заплатят жалованья, у нас с ними не может быть взаимной дружбы и союза». Войско, услышавши, что русские хотят спровадить шведов к Яму и Копорью, подняло ропот и кричало, что если так, то лучше пусть начальники откроют битву. Вспоминали, как новгородцы убивали шведов, которые пасли лошадей; вопили, что пролитая кровь товарищей требует возмездия. Было решено — не поддаваться увещаниям русских, не ходить никуда от Новгорода, а прежде всего взять самый Новгород.

Восьмого июля Делагарди перешел через Волхов на Софийскую сторону, стал под Колмовским монастырем и отправил Рехенберга с отрядом на лодках по Волхову, на юго-восточную часть Торговой стороны, чтобы сделать оттуда нападение на город, окопанный с этой стороны валом. Новгородцы, как только увидали, что на город направляются шведы, зажгли посады и

монастыри сперва на Торговой стороне, потом на Софийской; жители перебрались из них в осаду в город. Это было сделано для того, чтобы не допустить иноземцев расположиться близко к городу, в жилищах. С Волховца начали стрелять по Торговой стороне. Делагарди повел приступ на Софийскую от Колмовского монастыря. Спешил к нему Даниил Свезен со стенобитными орудиями. Поплер и Коброн заходили с правой стороны копорьинской дороги, к ним присоединился с тысячью конницы и пехоты Эдуард Горн. Бой был сильный. Одни из новгородцев выскакивали на поле за вал и там бились со шведами, другие стояли на валах и стреляли в неприятеля из пушек и ружей. Женщины и дети вопили, бегая по Новгороду. В этот день новгородцы отбили приступ.

На другой день митрополит Исидор совершил крестный ход к церкви Знамения; взяли оттуда чудотворную Знаменскую икону, некогда заступницу древнего Великого Новгорода, понесли ее по забралу. Целый день до вечера молился народ, в виду неприятеля, о спасении Новгорода. После того шведы не начинали приступа и стояли тихо под городом семь дней. Бутурлин продолжал сноситься с Делагарди, думал быть большим политиком, но играл жалчайшую роль. Русские

подозревали его в предательстве, Делагарди не доверял ему. В сущности, Бутурлин действовал сообразно с волею Ляпунова. Ляпунов сильно ухватился за мысль, об избрании королевича Филиппа и вслед за письмом своим к Бутурлину отправил в Новгород послов князя Ивана Федоровича Троекурова, Бориса Степановича Собакина и дьяка Сыдавного-Васильева[994] с изъявлением согласия иметь Филиппа царем, лишь бы он принял греческую веру и лишь бы это избрание совершилось с честью для русской земли. Ляпунов только по-прежнему условием ставил, чтоб Делагарди немедленно шел с войском на помощь к русским[995].

Заруцкий и его казацкая партия были сильно против этого; Заруцкий видел в этом препятствие своим замыслам — возвести на престол сына Марины, и это, быть может, ускорило трагический конец Ляпунова; но тогда еще могуч был Ляпунов и повелевал силами, изображавшими русскую землю под разоренною Москвою. Бутурлин, видя, что там, где тогда было средоточие власти, хотят дружбы со шведами, сам старался дружелюбно

---

[994] Сноски: 994
Никоновск. лет., VIII, 165.

[995] Сноски: 995
Собр. гос. гр., II. 552.

уладить споры с Делагарди и отправил присланных от Ляпунова с согласием избрать шведского королевича к нему самому. Но Делагарди не прельщался обещаниями, не склонялся ни на какие просьбы и требовал сдачи Новгорода. 15 июня Бутурлин послал к шведскому военачальнику сказать, чтоб он уходил от города, иначе придут войска и прогонят его. «Бутурлин меня обманывает, Бутурлин смеет мне угрожать! Пусть же он знает, что я непременно буду в Новгороде». Так сказал Делагарди присланному дьяку Голенищеву.

Семь дней молчания после неудачного приступа возгордили новгородцев. Они считали себя победителями и на радостях пьянствовали. «Не бойтесь, братцы, немецких нашествий! — кричали по новгородским улицам гуляки-забияки. — Не взять им нашего города, у нас много людей!» В упоении от собственной силы они взбегали на валы и с хвастливым видом отпускали шведскому войску насмешки, приправленные бесстыдною бранью по домашнему обычаю. Люди степенные не одобряли таких выходок, напротив, наложили на себя пост и надеялись на чудотворную икону Знаменской Богородицы. Делагарди нарочно не велел задирать русских и вступать с ними в

перебранки и пересмешки, чтобы они сделались еще самонадеяннее и оплошнее. Он замышлял внезапное нападение.

Попался к нему в плен Иванко Шваль, русский родом, человек Ивана Лутохина, который рассудил, что это приключение ему в пользу. Он знал входы и выходы в новгородских стенах и вызвался провести ночью шведов в город. Выбрана была ночь с 16 на 17 июля. Стража на валах была очень плоха и ни за чем не следила. Шваль провел иноземцев в город через Чудинцовы ворота. Потом шведы петардами пробили соседние с Чудинцовыми Прусские ворота, туда посыпали шведские солдаты и начали убивать жителей. Воевода Бутурлин, который перед тем ограбил с ратными людьми лавки с товарами и богатые дворы на Торговой стороне (вероятно, на жалованье войску), убежал из города к Бронницам, не успевши захватить ни своего, ни награбленного. Всполошенный народ бегал туда и сюда с плачем и криком. Многие, не понимая, что случилось и чего кричат другие, бежали из города, сами не зная куда; иные таким образом в беспамятстве попадали в воду. Явление шведов было тем неожиданнее и поразительнее, что оно произошло на таких местах городских

укреплений, которые считались особенно неприступными. Небольшая толпа молодцов стала было давать отпор; тут были стрелецкий голова Василий Голютин, дьяк Анфиноген Голенищев, Василий Орлов да казачий атаман Тимофей Шаров с сорока казаками. «Сдайтесь! Вам ничего не будет», — кричали им шведы. «Не сдадимся, умрем за православную веру», — кричали молодцы. Все погибли в сече. Не уступил им в мужестве софийский протопоп Аммос: заперся он во дворе у себя с ближними своими и стал отстреливаться с забора против иноземцев. Делагарди приказал не делать убийств; шведы кричали ему, чтобы он не бился и сдался, но протопоп Аммос решился лучше умереть за веру и продолжал со своими советниками стрелять в чужеземцев. Он был за что-то в запрещении у митрополита. Отстреливаясь от шведов, увидел он на стене Детинца митрополита Исидора: владыка пел молебен с софийским причтом; Аммос, находясь под запрещением, не мог быть вместе с ним на молитве и заменял церковный подвиг воинским. Их глаза встретились. Митрополит издали обратил благословляющие руки на двор Аммоса и тем разрешил его. В то время шведы, чтобы не тратить времени и крови на драку с упорным протопопом, подло-

жили огонь к его двору. Протопоп Аммос сгорел вместе со своими товарищами: живой никто из них не достался победителям. Солдаты бросились по дворам на Софийской стороне, грабили, насиловали, убивали; вспыхнул пожар. На Торговой тогда еще не было ни одного шведа, но там русские ратные люди, по примеру своего воеводы Бутурлина, не хуже неприятеля грабили имущества, дворы и лавки своих соотечественников и убегали из Новгорода по московской дороге. В Детинец набежало множество народа и с Торговой, и с Софийской стороны. В Детинце было мало военных людей: только и слышны были вопли да бессильные молитвы. Делагарди скоро остановил бесчинства своего войска, приказал протрубить сбор и повел войско на осаду Детинца. С востока, близ Волхова, стал Поплер; с запада, от Прусской улицы — Жак Бусе; сам Делагарди установился между ними и приказал бить в ворота.

Одоевский с Исидором собрал в Детинце почетнейших духовных и светских на совет — что делать? Защищаться невозможно — решили все; остается нам просить милости: пусть не до конца погибнет город. «Мы отдадимся шведскому королю, пусть присылает нам своего сына, как было говорено». После этого совета Одоевский послал к

Делагарди сказать, что Великий Новгород со всею землею желает отдаться шведскому королю с тем, чтобы прислан был на правление Новгородского государства королевич Филипп, и соглашался передать в руки Делагарди как Детинец, так и весь город. Делагарди был рад этому предложению, потому что нелегко было ему взять Детинец с его толстыми стенами, воротами, засыпанными землею, и глубоким рвом. Он отвечал, что согласен на все, и тотчас приказал своему войску прекратить битву. Из Детинца выехали переговорщики. Стали совещаться. Хотели было опереться на желание, объявленное Ляпуновым, но победитель сразу дал им почувствовать, что теперь иначе уже нельзя договариваться, как по воле той стороны, которая взяла верх в битве. Таким образом, написан был договор с одной стороны — по повелению короля шведского от имени Делагарди, барона Экгольмского, владетеля в Колке и Рунзёё, слуги короля Карла IX, с другой — по благословению митрополита Исидора, от духовенства, от воеводы князя Одоевского и от людей всех сословий великого Новгородского государства, как настоящих, так и их потомков. Сказано и написано было, что договор этот за-

ключается непринужденно и добровольно[996].

Новгородцы отдавались под покровительство шведского короля и шведского королевича, обязывались не принимать короля польского и его наследников мужского пола, и вообще поляков и литовцев, и лишались права заключать мир или союз без ведома шведского короля. Новгородцы избирали одного из сыновей короля Карла IX, какого отец пожелает им дать, либо Густава-Адольфа, либо Карла-Филиппа, русским наследственным государем в мужеском колене, надеясь, что и государства Московское и Владимирское последуют примеру Новгородского государства; обещали послать просьбу об этом в Стокгольм. Ничего не сказано было, что делать тогда, когда не состоялась бы надежда на согласие остальных земель — поступить подобно Новгороду; и это молчание показывало, что шведы считали себя вправе смотреть на Новгородскую землю как на отрезанную от Руси, преданную иной судьбе, независимо от того, как устроится прочая Русь.

Признавши, таким образом, своим государем шведского принца, Новгородская земля

---

[996] Сноски: 996
Videk., 252.

сообразно заключавшемуся договору не будет присоединена к шведскому королевству, а будет особым государством с такими же границами, в каких находилась прежде, исключая города Корелы, или Кексгольма, с его уездом, который должен отойти от Новгородской земли к Швеции за издержки, употребленные на защиту русского государства при царе Василии Шуйском. Делагарди обещал, именем своего государя, не нарушать православного исповедания, не разрушать храмов, уважать духовенство, не трогать церковных и монастырских имений и доходов, не вывозить в Швецию товаров иначе как по взаимному соглашению двух государств, сохранять все права и обычаи, наблюдаемые русскими издревле, все древнее законодательство, а для дел, возникающих между шведами и русскими, устроить смесный суд, в котором должно быть одинаковое количество как русских, так и шведских судей. Обеспечивалась неприкосновенность частных имений в Новгородской земле, но, с согласия русских бояр, следовало давать шведам за их заслуги поместья в русской земле. Вообще в отношениях между двумя народностями положено равенство, однако такое равенство явно потянуло бы к перевесу шведской народности: шведы,

получив позволение внедряться в русской земле и владеть там имениями, конечно, очень скоро захватили бы господство. Обещались не делать никакого насилия переводом жителей куда бы то ни было. До прибытия королевича Делагарди принимал на себя верховное управление Новгорода и Новгородской земли, а митрополит, воевода князь Одоевский и другие власти должны были сообщать ему все, не скрывать ничего, заблаговременно уведомлять обо всем, что услышат из Москвы и из других русских земель, не предпринимать ничего без его ведома, объявлять ему о всех доходах Новгородской земли, обо всех съестных и военных запасах, о денежной казне, доставлять его войску все нужное, привести в повиновение города Орешек, Ладогу и другие; все жители обязаны были доставлять деньги и припасы для войска, а за это Делагарди не позволит помещаться шведскому гарнизону в городских концах[997].

Итак, северная часть русской державы была силою отрезана от обшей нации. Русские должны были убедиться, что искать царя между чужими принцами и просить помощи у чужих народов

---

[997] Сноски: 997

О взятии Новгорода см. 3-ю Новгор. лет. Полн. собр. русск. лет., т. III, 264–266. — Ник. лет., VIII, 168–170.

не следует. От всех будет то же, что от поляков. Соседи станут порицать поступки поляков, соболезновать об участи русской державы, а когда им русские люди доверятся, то они будут с ними делать то же, что поляки. Пришла пора окончательно убедиться, что негде искать Руси выхода и избавления, кроме самой себя.

IX. Новый вор

После того как Новгородская земля подпала под власть шведов, в Псковской земле опять завелось воровское гнездо, и Псков стал, так же как и Новгород, бесполезен для дела освобождения Руси от поляков. Еще весною, когда Делагарди только покушался на Новгород, в Иван-городе появился новый Димитрий — вор Сидорка, как его называют русские летописи; по другому известию[998], это был московский дьякон из церкви за Яузою, по имени Матвей. Он прибежал из Москвы сначала в Новгород; там он не мог прельстить никого, на рынке узнали, кто он. Из Новгорода он убежал в Иван-город и там 23 марта объявил, что он — спасенный Димитрий. Три дня

---

[998] Сноски: 998
Новый Лет. Времен. О. И. и др., XVII, 142.

поэтому звонили в колокола и палили из пушек в знак радости, а он рассказывал вымышленную историю своего спасения и свои чудесные похождения. Что было в соседстве и в Псковской земле казацкого — все это обрадовалось возрождению Димитрия и спешило к нему. Вор завел переговоры со шведским комендантом Нарвы — Филиппом Шедингом. Король, когда ему донес об этом нарвский комендант, послал Петрея, знавшего лично первого Димитрия, узнать, что это за личность. Петрей удостоверился, что этот новый пройдоха не похож на прежних. Тогда по приказанию короля Делагарди запретил Шедингу сноситься с ним[999].

Казачество, сбежавшись к вору в Иван-город, собиралось везти его во Псков. Тогда Псков со своей землей страдал от нападений Литвы. Шесть недель, в марте и апреле, стоял под Печорами Ходкевич; отряды его разоряли земли. После семи приступов Ходкевич отошел, чтобы везти припасы осажденным в Москве соотечественникам. Но только что из Псковской земли ушло войско Ходкевича, как пришла туда шайка Лисовского и стала опустошать вконец и без того уже разорен-

---

[999] Сноски: 999
Videk., 232.

ные окрестности Пскова и Изборска. Псковскою областью правил дьяк Луговский с посадскими, воевод не было. Угрожаемые и от Литвы, и от шведов, и от своих русских своевольных людей под именем казаков, хотевших ввести в город нового Димитрия, в апреле псковичи послали просить помощи и совета под Москву, к воеводам Русской земли. Челобитчики возвратились в июле (4-го числа) с грамотами, которых содержание вполне неизвестно; но из них было видно, что Москва не могла помочь отдаленной земле, когда сама нуждалась более в ее помощи, наравне с помощью от всех других земель. Восьмого июля явился под Псковом вор со своею шайкою и начал забирать скот близ города. Собирались к нему новые охотники и целовали крест. Псковичи еще раз послали к главным воеводам челобитье с Никитою Вельяминовым, но вор также послал под Москву атамана Герасима Попова и надеялся найти себе подмогу в казаках, готовых признать всякого обманщика под именем Димитрия. Вор стоял под Псковом до 23 августа[1000]. Тут напали на Псков шведы с покоренными уже ими новгородцами. Завладевши Новгородом, они объявляли при-

[1000] Сноски: 1000
Псковск. лет., II. С. Р. Л., IV, 329.

тязание и на псковскую область, по прежней ее связи с Новгородскою землею; притом во Пскове была партия, приглашавшая шведов освободить их от вора[1001].

Испугавшись приближения шведов, вор заранее ушел со своею казацкою шайкою в Гдов. Псковичи, освободившись от него, должны были защищаться теперь против новых врагов, появившихся 31 августа вместе с детьми боярскими новгородскими и псковскими. Предводителем шведского отряда в 4500 человек[1002] был Эдуард Горн вместо Делагарди, который тогда поехал к своему королю. Он предложил Пскову сдаться и принять шведский гарнизон. Охотников покориться чужеземцам во Пскове оказалось тогда мало. Псков отверг предложение. Горн начал приступ к Взвозной башне, стоявшей там, где река Пскова входит в город. Поставили петарды, начали сперва удачно, вышибли Взвозные ворота; но потом француз, зажигавший петарду, закричал окружавшим: «Отступите!» (Retirez-vous!). Это приняли за тревогу; воины, не понимавшие французской команды, пустились бежать. Страх

[1001] Сноски: 1001
Видекинд, 280.

[1002] Сноски: 1002
Видекинд, 300.

сообщился целому войску, все пришло в беспорядок. Горн впоследствии жаловался, что офицеры дурно исполняли его распоряжения и вообще мало показывали храбрости и заботливости. Наступили осенние дожди, дорога до Новгорода испортилась, а нарвский комендант Филипп Шединг от зависти не оказывал Горну надлежащего пособия. Это заставило Горна отступить прочь. Отошедши от Пскова, он пошел на вора и осадил его в Гдове. Сначала он писал к нему мирное предложение, напоминал ему, что не считает его настоящим царем, а так как его признают уже многие, то шведский король дает ему удел; он же пусть откажется от своих притязаний в пользу шведского принца, которого русские желают в цари. Вор, разыгрывая законного царя, с презрением отверг такую унизительную для его царского достоинства сделку.

Казаки сделали вылазку из Гдова, были отбиты и чуть-чуть прорвались сквозь неприятеля назад со своим цариком, а потом бежали из Гдова в Иван-город. Вор был ранен. Тут бы мог быть и конец его поприщу, но дела его поправил посланный под Москву Герасим Попов. Там множество казаков провозгласило его царем, и двое из них отправлены были во Псков: то были Иван Лазун

Плещеев и Казарин Бегичев с казацким отрядом. Между тем Псковской земле не было легче после ухода шведов: Лисовский со своею шайкою опустошал Псковскую землю и доходил до Заволичья. Тогда псковичи готовы были уцепиться хоть за что-нибудь. Во Пскове образовалась сторона за вора; некоторые поверили в тождество его с первым, потому что первого никогда не видали; но большая часть пристала к нему оттого, что псковичам чересчур мерзким казалось чужое господство, хоть польское, хоть шведское, и они готовы были на время признать лучше ве́домого вора, лишь бы не какого-нибудь иноземного королевича. Такое настроение всего понятнее во Пскове, где, по вековому преданию, не терпели вообще всех тех, кого называли общим именем немцев. Дали знать вору в Иван-город; он с небольшим отрядом проскользнул, не попавшись в руки шведов, 4 декабря явился во Псков и был признан царем[1003].

[1003] Сноски: 1003
Псковск. лет., там же, 330.

X. Месть казачества над земщиною. – Странствование Сапеги за припасами. – Прибытие его к Москве. – Отнятие Водяных ворот у русских. – Смерть Сапеги. – Посольство к королю. – Положение польского войска

Смерть Ляпунова отразилась победою стороны казацкой и поражением земской. Заруцкий сделался главным деятелем, отклонивши себя от явного участия в гибели Ляпунова. Он хотел поставить себя так, как будто кровь Ляпунова не ложится на нем; он был прежде начальником выбранным и остался им — не за что было сменять его. Слабый Трубецкой делал, думал и говорил то, чему его научал Заруцкий, а впоследствии оправдывал свои поступки тем, что он все делал неволею, и то была правда: его неволя была в слабости его собственной воли и ума.

Началось гонение на дворян и детей боярских; Заруцкий отрешал их от начальств в ополчении, ставил на их место своих угодников — атаманов казацких, жаловал последним целые города и волости и не сдерживал никакого своевольства,

лишь бы мирволить казацкой толпе и иметь ее за собою. Но, избавивши поляков от Ляпунова, ни Заруцкий, ни его казаки не пристали через то к полякам. Если казакам не хотелось порядка, какой желала водворить земщина, то не менее было им ненавистно панское могущество польского строя, который поляки и их русские пособники хотели водворить в Московском государстве. Гонсевский, узнав, что проделка с Ляпуновым так счастливо удалась для него, думал было сначала, что теперь-то на его сторону перейдет часть казаков и отделится от ополчения, надеялся, что найдутся изменники: он воспользуется этим. Его подручники-поляки рассыпались и в казацком ополчении, и подговаривали казаков, чтобы они, как будут занимать башни Белого города, покинули их в то самое время, когда поляки сделают вылазку, и таким образом Белый город достался бы снова во власть поляков. Гонсевский рассчитывал и на раздор, который непременно должен произойти в русском ополчении, и ему удастся в суматохе выгнать русских из обоза. Но случилось, что один из служивших в польском войске чужеземцев, которым вообще все равно — что поляки, что москвитяне, ушел к казакам и рассказал их атаманам, что делается у них в

войске. Лазутчиков, посланных для возмущения казаков, схватили, пытали и, вынудив признание, посадили на кол[1004].

Заруцкий был казак душою; ненавидя все польское, как и все земское московское, он ревностно продолжал начатое, как будто хотел доказать всей Руси, что со смертью Ляпунова дело народное не проиграло ничего, а, напротив, еще выиграло. Несколько дней спустя после убийства Ляпунова принесли из Казани список со славной чудотворениями казанской иконы Богородицы. Земские служилые люди пошли встречать ее пешком, казаки верхом. Тут казаки стали поносить земских людей, дворян и детей боярских; и все, говорит летопись[1005], ожидали тогда на себя убийства, какое постигло Ляпунова. Но на другой день Заруцкий приказал бить тревогу — не на беду земским людям, как они ждали, а на приступ к Девичьему монастырю, который оставался еще во власти поляков. Там было двести немцев и четыреста казаков, служивших в польском войске. Заруцкий двинул туда сначала понизовую силу, только что пришедшую из Нижнего Новго-

---

[1004] Сноски: 1004
Мархоцкий, 225.

[1005] Сноски: 1005
Ник. л., VIII, 168.

рода, из Казани и из стран Нижнего Поволжья. Бились день и ночь. Немцы оборонялись храбро, выдержали восемь приступов. Заруцкий двинул туда еще новые силы. У осажденных в монастыре не стало пороха. Гонсевский успел прислать туда двадцать казаков; у каждого из них было по мешку пороха, но его скоро исстреляли. Немцы послали Заруцкому предложение выпустить их живыми. Заруцкий обещал. Но как только они вышли, казаки Заруцкого, не уважавшие вообще никаких договоров, бросились на них и начали убивать. Не всех, однако, перебили. Верно, предводителю удалось-таки остановить их своевольство. Оставшихся в живых разослали по тюрьмам в города, а некоторых Заруцкий оставил у себя в таборе[1006] на случай, когда можно будет обменять их на русских пленников. Всех черниц из Девичьего монастыря отослали во Владимир. Многих из них прежде отсылки изнасиловали и всех ободрали[1007]. В числе черниц были две царского рода: королева ливонская, вдова Магнуса, дочь Владимира Андреевича, и дочь Бориса Годунова, Ксения, в монашестве

[1006] Сноски: 1006
Krajewski, Chronologia.

[1007] Сноски: 1007
Diar. Sapiehy. — Hist. Dm. falsz. Рук. И. П. Б., № 33. Польск.

Ольга. «Казаки, — говорит одна современная грамота, — ободрали их донага, хотя прежде на них и смотреть не посмели бы»[1008].

Продолжалась месть казачества над побежденною земщиною. Тогда, по сказанию русских летописцев[1009], дворяне, стольники, дети боярские и все вообще, которые могли, по происхождению и по прежнему своему положению, быть названы людьми *честными*, терпели такие насилия и поругания от казаков, что сами себе искали смерти. Заруцкий не давал земским людям ни жалованья, ни корму; все доходы, присылаемые из городов, обращались на одних казаков. Земские люди должны были содержать себя на свой счет, но Заруцкий лишал их и таких средств: отбирал у них поместья и отдавал атаманам. Так, в Ярополче (Вязниках) помещены были дети боярские, которые пришли из Вяземского и Дорогобужского уездов, выгнанные оттуда поляками. Заруцкий приказал взять у них поместья, изгнать оттуда их семьи на голодную смерть, а земли их

[1008] Сноски: 1008
С. гос. гр., II, 585.

[1009] Сноски: 1009
Нов. Лет. Врем., XVII, 140.

роздал своим[1010].

От таких обид дворяне и дети боярские и вообще люди, принадлежавшие к земской стороне, которой представителем был Ляпунов, бежали из табора и разносили по Руси ненависть и озлобление против казаков.

Четырнадцатого августа возвратился к Москве Сапега со своею шайкою. Он странствовал с нею месяц. Вышедши из столицы 14 июля, сапежинцы в эту же ночь напали на Братошинский острожек, взяли его и перебили всех русских, кого только там нашли. Самый острожек был обращен в пепел. 16 июля сапежинцы напали на Александровскую слободу; там сидел со своею шайкою Просовецкий; завидевши Сапегу, этот предводитель такой же своевольной шайки, какими были его тогдашние неприятели, ушел скоро к Переяславлю; он боялся, говорит дневник сапежинцев, чтобы Сапега не предупредил его и не занял Переяславля[1011].

В Александровской слободе было мало людей, способных к битве. Ее взяли. Толпа женщин и детей убежала на колокольницу, но сапежинцы

[1010] Сноски: 1010
Никон. лет., VIII, 168. — Нов. Лет. Врем., XVII, 140.

[1011] Сноски: 1011
Польск. рук. Имп. публ. библ., IV, № 33.

стали громоздить бревна до окон и подложили огонь; сидевшие в башне сдались. Одна девушка не хотела им сдаться: в виду всех она перекрестилась, бросилась вниз и убилась до смерти.

Из Александровской слободы сапежинцы 18 июля пошли до Переяславля. Просовецкий заперся в остроге. Переяславль не так легко можно было взять, как Александровскую слободу. Правда, сначала объявилось в нем много таких нехрабрых, что поскорее сели в лодки и дали тягу по озеру. Но Просовецкий с казаками стойко отбил первое нападение. Сапежинцы заложили стан под городом, бродили отрядами по околице, а в начале августа снялись и двинулись обратно в Москву. Дело, за которым ходил Сапега, было сделано: удальцы набрали запасов. В эти дни, думая навести страх и расположить к повиновению русский народ, они мучили и старых, и малых, женщин и детей, отрезывали носы, уши, отрубливали руки и ноги, жарили людей на угольях, обсыпали порохом и зажигали жилища, куда приходили. Толпы измученных приходили нагишом и приползали в Троицкий монастырь умирать, оставляя братьям русским завет мщения и ненависти к польским и литовским людям, мучителям русской земли.

Сапежинцы приблизились к Москве в такую

пору, когда в таборе, после убийства Ляпунова, было торжество казаччины, а земские люди терпели поругания от казаков и бежали из стана. Сапежинцы напали на передовые отряды, находившиеся за станом, и начали гнать их в табор. По крикам и стрельбе польское войско, сидевшее в осаде в столице, догадалось, что пришел Сапега, и обрадовалось; но теперь предстояла сапежинцам трудность пробиться через неприятельский стан и провезти осажденным в Китай-город и Кремль возы с запасами. Для этого нужно было, чтобы сидевшие в Москве поляки сделали со своей стороны вылазку и напали на русских в то время, как Сапега с противоположной стороны будет напирать на них и пробиваться с запасами.

Наступал праздник Успения, торжествуемый поляками с особенною честью. Шестнадцати хоругвям было назначено в этот день сделать вылазку из Китай-города. Надеялись, что в то же время сапежинцы будут поддерживать нападение с поля. Два бернардина служили обедню, один в Кремле, другой в Китай-городе: оба говорили жолнерам утешительные речи и предрекали, что Божия Матерь ознаменует день своего перехода из мира в небесные жилища оказанием помощи католикам против отщепенцев.

Еще не кончилось богослужение, как стражи заметили, что Сапега удаляется со своего места, где стоял, против Тверских ворот, и двигается к Девичьему монастырю. Так как знали, что Сапега сегодня может поступить наперекор тому, что делал вчера, то поляки сначала побаивались, не хочет ли он оставить своих и удалиться прочь, но, к их утешению, оказалось не то: Сапега, оставив часть своего отряда в 500 человек, с остальною в 3000 человек послал Руцкого мимо Девичьего монастыря. Они ударили на одни ворота Белого города — не удалось; перешли к другим — и там отбили их русские. Тогда сапежинцы на пространстве между Девичьим монастырем и городом бросились вплавь через Москву-реку, проскочили на другой стороне между острожками, которые на Замоскворечье наделали себе русские; ратных русских людей там было мало, и те не ждали нападения: из первого острожка они разбежались. Сапежинцы не стали удерживать за собою острожка, бросились ко рву, забросали его щебнем, хворостом, деревом, перешли через него на лошадях, а потом кинулись опять вплавь через реку на прежнюю сторону. Они хотели прорваться в Кремль. В Кремле и Китай-городе ударили в колокола на тревогу. Поляки высыпали

оттуда в Белый город и напали на Водяные ворота изнутри города, в то время как из войска Сапеги Борковский с восемьюдесятью немцами и пахолками напал на те же ворота извне. Стесненные с двух сторон, русские, державшие там сторожу, убежали к башне с пятью верхами, но и там не устояли. Поляки, овладевши Водяными воротами и пятиугольною башнею, повернули на Чертольские ворота, сбили русских со стен, вломились в Чертольские ворота. Потом ободренные поляки из Кремля усилили вылазку, напали на Арбатские ворота. Здесь не так легко им посчастливилось, как у Чертольских. Часть караула убежала, но зато восемьдесят молодцов засели в башне и поражали оттуда нападавших; потеряв несколько товарищей, поляки оставили Арбатские ворота и бросились на Никитские. Их взяли сначала легко. Но потом русские нахлынули, отбили ворота; драка была сильная. Перед солнечным закатом поляки таки завладели Никитскими воротами. Наступила ночь. Не дождавшись от Гонсевского на смену другого караула ко взятым воротам, поляки разложили на башне и около стены огни, чтобы русским показывалось, что ворота заняты, а сами все ушли. Эта хитрость удалась. Русские не пытались больше отнять у поляков Никитские

ворота; зато и русские таким же образом провели поляков, оставивши у Тверских ворот только двадцать человек, и поляки не смели напасть на них, думая, что там людей много.

Отнятие ворот дозволило Сапеге ввезти в Кремль возы, нагруженные запасами. Тогда самолюбивый полководец достиг самой высокой чести. Его последний подвиг считался героическим делом, которое, думали, увековечит его имя в истории, но тем самым он делался высокомернее, а его войско своевольнее и требовательнее. Сапежинцы заволновались, домогались уплаты, а так как ее дать было невозможно, то составили ко́ло и постановили ждать только до 15 сентября, а потом идти в Польшу. Сапега стоял обозом под Девичьим монастырем; хоть он и действовал заодно с Гонсевским, но не только ему — никому в свете не хотел повиноваться, никого не считал выше себя, ничем не хотел быть связанным, никакого долга не признавал, хотел быть вполне вольным человеком, сам по себе. Поляки должны были благодарить его, превозносить, а в то же время и побаивались: он мог легко очутиться и союзником Заруцкого. При посредстве Валавского (вероятно, того, что был когда-то канцлером Тушинского вора) у Сапеги завязывались было

переговоры с Заруцким. Сам Сапега выезжал к нему на разговор. Казаки предлагали какие-то статьи, которых Сапега не принял; тем переговоры и кончились[1012]. В конце августа он заболел, и это заставило его приехать в Кремль для спокойствия и удобства. Болезнь оказалась непустою. С 14 на 15 сентября в 4 часа утра скончался храбрый вождь, поручив перед смертью свое войско пану Будзилу. О смерти его на Руси осталось такое предание: во время осады Троицы Сапега, делая походы по окрестностям, приехал с отрядом в Борисоглебский монастырь на реке Устье, где спасался тогда преподобный Иринарх, отшельник, который даже при жизни славился святостью и даром прорицания. Говорили, что в начале царствования Шуйского он предрек беду, постигшую после него Русскую землю. Сапега вошел к нему, сказал: «Благослови, батько!» Святой принял его ласково, благословил и дал ему совет тотчас оставить воровские дела и удалиться в отечество; если же он будет оставаться и держать сторону врагов Руси, то смерть его внезапно настигнет прежде окончания дела и он не увидит своей родины. Так теперь и сталось.

[1012] Сноски: 1012
Życ. Sapieh., II, 193.

Со смертью Сапеги его войско, сдерживаемое прежде хоть сколько-нибудь волею полководца, должно было сделаться необузданнее. Была у поляков надежда на прибытие гетмана Ходкевича, о котором писал король в Москву еще 26 августа[1013], но Ходкевич медлил долго в Шклове[1014], ожидая сбора полков, и потом шел медленно. У него было только тысячи три, и не прежде как под Белой пристал к нему Станислав Конецпольский с 1300 конных из того войска, что осаждало Смоленск; тем временем его сторонники между сидевшими в кремлевской осаде возбуждали войско против Гонсевского и твердили: «Не надобно совершать ничего важного. Зачем давать славу Гонсевскому и отнимать ее у гетмана!» И таким образом распространилось непослушание к Гонсевскому.

Между тем припасов, привезенных Сапегою, недостало бы на долгое время. Жолнерам не платили жалованья, а только обещали; король не присылал сына и как будто забыл о подданных, которые берегли для него столицу завоеванного государства. Отовсюду доходили до поляков,

---

[1013] Сноски: 1013
С. гос. гр., II, 571.

[1014] Сноски: 1014
Hist. Jana-Kar. Chodk., I, 291.

сидящих в Кремле, слухи, что московский народ ожесточен до крайности и решился, так или иначе, устроить свою судьбу, но полякам не поддаться. Даже те русские, что сидели с поляками в осаде, не сдерживали своего ропота. Когда под Смоленском посол от сидевшего в Москве польского гарнизона просил у короля Сигизмунда уплаты жалованья, король дал ответ, что предоставляет в уплату этому войску казну русских царей, пока ее станет. Но русская казна, уже без того обобранная, не могла своими остатками на долгое время поддерживать гарнизон. В последнее перед тем время денег уже недоставало; бояре выдавали полякам меха из царских кладовых; на них трудно было полякам купить хлеба, а щеголять в соболях голодному было не под стать. Притом же неладно шел дележ этого жалованья у жолнеров. Выбраны были депутаты, которые должны были оценивать меха и раздавать их так, чтобы приходилось суммою в 30 злотых на каждого конного товарища. Эти депутаты плутовали, обрезывали хвостики и удерживали их себе или продавали боярам, а меха без хвостиков ценили как бы с хвостиками, когда последние

считались ценнее самых спинок[1015]. Кроме мехов — так называемой мягкой рухляди, депутаты брали на «рыцарство» золото в образных окладах, в посуде, в запонах на платьях, в цепях, пуговицах и всяких украшениях, как мужских, так и женских. Для этого призывались оценщики из московских торговых людей, которые ценили золото по дешевой тогдашней цене по 85 рублей за гривенку, но депутаты взяли его по своей цене — по 21 рублю 20 алтын за гривенку веса. Тогда всего взятого вещами на содержание войска из царской казны было на 160 159 рублей 2 деньги, а по цене, назначенной самими депутатами, на 120 050 рублей 30 алтын 5 денег[1016].

В таком положении войско отправило послов на сейм — требовать уплаты жалованья и скорей-

---

[1015] Сноски: 1015

Pamiętn. Maszkiew., 64.

[1016] Сноски: 1016

В отчетах о расходах царской казны за безгосударное время значится: «И всего отдано депутатам на рыцарство золота в Спасове образе и в судах, и крестов, и запон, и каменья, и жемчугу, и всякого платья, и соболей, и шуб собольих, и камок, и бархатов, и атласов, и судов серебреных, и конских нарядов, и полотен, и всякие рухледи, по цене московских гостей и торговых людей, и с тем, что взято из продажи на 160 159 руб. и на 2 деньги, а депутаты взяли на рыцарство по своей цене за 120 050 рублей, и за 30 алтын 5 денег». (Истор. библ. II, 229). В тех же отчетах значится, что с 4 по 16 июня 1611 года таким способом отдано по дешевой оценке московских гостей и торговых людей на 95 685 рублей 7 алтын 5 денег, а депутаты оценили в 79 425 рублей 2 алтына 2 деньги, а с июня 16-го по 22-е число на 10 380 рублей 15 алтын

½ деньги по оценке московских людей, а по оценке депутатов за 3821 рубль 8 алтын. Всего со взятыми еще 6000 наличными в этом месяце значится по дешевой оценке московских торговых людей на 118 429 рублей 15 алтын ½ деньги, а депутатами взято по цене — 92 563 руб. 21 алтын ½ деньги (ibid., 242).

шего окончания дела. Оно заявило, что намерено терпеть только до 6 января, а потом пусть себе король Сигизмунд приготовляет другие военные силы для удержания покоренной столицы. Отправили особо с ними послов к королю и сапежинцы, просили себе в назначенный срок уплаты четырех старых и двух новых четвертей, просили еще о покровительстве семейству умершего своего предводителя.

Послам от войска, сидевшего в Кремле, дали поручение разослать по всем землям Речи Посполитой протестации, где описывалось печальное положение войска, державшего Москву: неуплата жалованья, невозможность противостоять многочисленному неприятелю; заявлялось перед польской нацией, что бесчестие не должно падать на войско, в случае если ему придется самовольно уйти из столицы. Требования сапежинцев для многих показалось до крайности несправедливыми. Сапежинцы служили прежде не королю, как сидевшие в осаде, а вору и себе самим; притом же в Польше знали, что у Сапеги было сношение с московским ополчением не в пользу польского короля. Сапежинцы оправдывались и объясняли, что это сношение вели не они, а их покойный предводитель, который их

уверял, будто ему дал на то право сам король. Сверх того, они лгали, уверяя, будто не получали никакого жалованья, когда за несколько недель под Москвою уже взяли одиннадцать четвертей.

Разом с этим посольством отправились новые послы к королю и от московских бояр. Это было сделано по приказанию короля, не признавшего послами прежних. Но когда они с послами польского гарнизона доехали до Вязьмы, то встретили Ходкевича. Гетман хотел воротить назад это посольство как от поляков, так и от московских бояр; он находил, что смысл этого посольства был неуместен и не приходился к воле короля. Польские послы не послушались его, во-первых, оттого, что они были поляки, а он гетман литовский; во-вторых, еще и оттого, что поляки всегда считали себя вправе относиться к высшему правительству мимо их непосредственного начальства. Московские люди, напротив, привыкшие к повиновению, почувствовали себя на этот раз в необходимости послушаться вельможного пана, когда он на них прикрикнул, и вернулись в Москву; но бояре в Москве решили, что посольство снаряжено по воле короля, что нечего слушаться литовского гетмана, и опять

отправили их[1017].

Отправленному в это посольство Салтыкову с братиею было кстати избежать неминуемой беды, которая постигла бы его в Москве, если бы русские выгнали оттуда поляков. В грамотах, которые это посольство повезло к королю, к Владиславу и сенаторам Речи Посполитой, не посмели, как прежде, написать имени патриарха против его ясной воли, хоть и поставили имя всего Освященного собора; первым членом собора назвали Арсения, архангельского епископа; это был захожий грек, некогда славный заведением школ в Южной Руси. Он назван в грамотах архангельским оттого, что отправлял богослужение в Архангельском соборе. Давали вид, будто грамоты посылаются по совету всех думных и всяких чинов людей Московского государства. Бояре не разделяли уже короля от его сына в деле царского избрания. В грамотах к королю был такой смысл, что они дали уполномочие послам бить челом от государства не одному Владиславу, но его

[1017] Сноски: 1017

Эти вторичные послы, снаряженные на сейм, были: Михайло Глебович Салтыков, князь Юрий Никитич Трубецкой и думный дьяк Яков со товарищи. В отчетах расходов царской казны значится, что при скудости наличных денег этому посольству на подмогу дали драгоценных каменьев и жемчугу по первой оценке московских гостей и торговых людей на 3871 рубль с полтиною, а для ради их подъему и для бедности изнова переценено и дано за 3196 рублей с полтиною (Истор. библ., II, 230).

королевской милости и сыну его, а в грамотах сенаторам просили, чтобы король вместе с сыном и сам прибыл в Московское государство. Ясно показывалось, что бояре должны были писать и говорить то, что им поляки приказывали. Это посольство опоздало на сейм.

XI. Шиши. – Казанское воззвание. – Ходкевич под Москвою. – Стычки. – Отступление Ходкевича. – Конфедераты. – Битва с шишами. – Бедствие Руси. – Лихолетье

После того как поляки отняли у русских часть Белого города, несколько времени с русской стороны не было покушений. Неурядица сильнее терзала русское войско: табор редел; недовольные казацким управлением земские люди уходили толпами. Но как ни велико было у русских расстройство, переходов на польскую сторону не было. Беглецы из табора составляли шайки и нападали не на своих недругов русских, а на поляков, шатавшихся по околицам, наскакивали на них из лесов и оврагов. Весть о том, что скоро придет новая сила на помощь к осажденным в

Москве, вызывала такой образ войны: нужно было не допустить к столице и свежих сил, и продовольствия. Такие шайки получили в то время название шишей — конечно, насмешливое прозвище, но оно скоро стало повсеместным и честным. Люди всякого звания, дворяне, дети боярские, не находившие себе места в таборе под Москвою, посадские крестьяне, лишенные крова, шли в эти шайки и скитались по лесам, претерпевая всяческие лишения и выжидая неприятеля.

Между тем по близким и далеким краям русского мира пронеслось известие о плачевной смерти Ляпунова, опечалило всю земщину, вооружило многих против казаков, но не привело в отчаяние. В Нижнем Новгороде, в Казани, на Поволжье укреплялись крестным целованием на единодушную борьбу против поляков. Из Казани писали в Пермь, что, услышав, как казаки убили промышленника и поборателя по Христовой вере, Прокопия Петровича Ляпунова, митрополит и все люди Казанского государства с татарами, чувашами, черемисами, вотяками, в согласии с Нижним Новгородом, с поволжскими городами, постановили: стоять за Московское и Казанское государства, друг друга не грабить, не переменять воевод, дьяков и приказных людей, не принимать

новых, если им назначат, не впускать к себе казаков, выбирать государя всею землею Российской державы и не признавать государем того, кого выберут одни казаки. Таким образом казачество, хоть и уничтожило главного своего противника, но не в силах было захватить господства на Руси; против него тотчас же становилась грудью вся сила русской земщины[1018].

Само казачество, как ни было враждебно к земщине, не переставало давать чувствовать свою вражду полякам. После того как поляки отправили посольство к королю 23 сентября, казаки в восточной стороне Белого города пустили в Китай-город гранаты; при сильном ветре сделался пожар и распространился с такой быстротой, что не было возможности тушить его. Поляки поспешили перебраться в Кремль. Многое из их пожитков не могло быть спасено и перевезено и сгорело, а между тем друг у друга они похищали добро. Этот пожар если не передал Китай-города русским, все-таки сильно стеснил их врагов. Они не могли жить в Китай-городе, хоть и владели пространством его; но кроме каменных стен да лавок, да церквей — все там превратилось

[1018] Сноски: 1018
Собр. гос. гр., II, 562.

в пепел. В Кремле пришлось полякам жить в большей тесноте; вдобавок их обеспокоило такое происшествие: когда они разместились в Кремле за недостатком жилищ, некоторые думали жить в погребах, и человек восемнадцать заняли какой-то погреб, а в нем прежде был порох, и никто его не выметал с тех пор. Ротмистр Рудницкий стал осматривать свое новое жилище, а слуга нес свечу: искра упала, погреб подняло на воздух, и люди пропали. После того никто не осмеливался жить в погребах и разводить там огонь.

В начале октября Ходкевич, приближаясь к Москве, отправил вперед Вонсовича с 50 казаками известить Гонсевского. Но все окрестности столицы, кругом верст на 50, были наполнены бродячими шайками шишей. Они напали на отряд Вонсовича, рассеяли его, многих побили. Сам Вонсович чуть спасся. Однако он известил осажденных земляков, что к ним идет на выручку литовский гетман. Навстречу ему послали ротмистра Маскевича с отрядом. Шиши напали на него среди бела дня и разграбили. Маскевич рассказывает, что, оберегая свои драгоценности, доставшиеся ему по дележу из московской казны, он сложил богатые персидские ткани, собольи и лисьи меха, серебро, платье в кошель для овса

и привязал его на спину коня, на котором сидел его пахолок и неотступно следовал за своим паном. Шиши отняли этот кошель да еще вдобавок увели у Маскевича четырнадцать лошадей; из них одни были строевые, а другие запрягались в возы; за каждым шляхтичем в походе всегда шло несколько возов с его пожитками, которые прибавлялись грабежом. «Все досталось шишам, и остался я, — говорит Маскевич, — с рыжею кобылою да с чалым мерином». В Кремле, куда он воротился, его ожидало новое горе. Его пахолок украл у него ларец, где сложена была другая половина его драгоценностей, и ушел служить русским. Так-то легко улетало от поляков добытое в опустошенной Московской земле.

Ходкевич подошел к Москве 4 октября[1019] и стал у Андроньева монастыря станом. Радость, которую предощущал гарнизон, думавший видеть сильную помощь, внезапно пропала, когда поляки узнали, с какими малыми силами пришел литовский гетман. Возникли важные неудовольствия. Ходкевич, как славный полководец, посланный королем, стал наказывать за проступки, учиненные военными людьми. Он объявил,

[1019] Сноски: 1019
Krajewski, Chronologia.

что не хочет держать под своей булавой разных негодяев, и прогонял их из обоза. Это были преимущественно ливонские немцы. В отмщение они подстрекали против гетмана товарищей под самым чувствительным предлогом: «Ходкевич, прежде чем взыскивать и наказывать, — кричали они, — должен был бы привезти нам всем жалованье и запасы!» Вдобавок полковник Струсь, родственник Якуба Потоцкого, соперника Ходкевича, доказывал, что Ходкевич — литовский гетман, а в Москве войско коронное, и потому он над ним не имеет права распоряжаться. От таких подущений все войско заволновалось. Стали составлять конфедерацию. Ходкевич, чтобы занять войско, объявил, что идет на неприятеля. У поляков случалось, что между собой они не ладят, а как нужда явится идти на неприятеля, то оставляют свои недоразумения и идут на общего всем им врага. И теперь они повиновались. 10 октября Ходкевич поручил левое крыло Радзивиллу, а правое Станиславу Конецпольскому, сам принял начальство над срединою и двинулся на неприятеля. В задней стороне у него были сапежинцы. Русские вышли против него, но, побившись немного, ушли за развалины печей домов и оттуда стали стрелять в неприятеля. У

Ходкевича войско было конное, негде было развернуться лошадям; когда оно бросилось было на русских, те выскакивали из-за печей, поражали поляков и литовцев выстрелами, а сами тотчас опять укрывались за развалинами[1020]. Ходкевич отступил. Русские считали за собой победу. Гетман стал обозом там, где стояли сапежинцы, на западной стороне, между городом и Девичьим монастырем.

Было еще несколько незначительных стычек, неудачных для поляков. Наконец перестали сходиться. Казаки в своих таборах не тревожили Ходкевича, а Ходкевич не трогал казаков. Так прошел почти месяц. Гетман стоял с войском своим лагерем у Красного села. У него шли переговоры с гарнизоном. Показавши сначала начальническую строгость, Ходкевич должен был сделаться мягче. Жолнеры начали требовать, чтобы их переменили. «Вот пришло новое войско, — представляли они, — пусть же оно займет столицу, а нас следует выпустить. Мы уже и так стоим в чужой земле больше года, теряем жизнь и здоровье, терпим голод. Мешок ржи стоит дороже мешка перцу; голодные лошади прогрызают

[1020] Сноски: 1020
Krajewski, Chronologia.

дерево, а искать травы для них приходится за неприятельским обозом, да притом теперь осень и травы нигде не найдешь! Москва хватает у нас беспрестанно челядь; а главное — не платят нам жалованья, мы служим даром. Возьми, пан гетман, Москву на себя, а нас отпусти». Ходкевич доказывал им, что честь воина, долг верности своему государю и слава требуют, чтобы те, которые начали дело, довели его до конца. «Подождите, пока сейм в Польше окончится, — говорил он, — король с королевичем скоро к вам прибудут». Жолнеры этим не успокаивались. Много дней прошло в спорах. Гетман наконец порешил так: те, которые не захотят оставаться в стенах Москвы, за недостатком припасов для многолюдного гарнизона, пусть выступают из столицы вместе с ним собирать запасы по Московскому государству, а те, которые пожелают остаться в Москве, получат за это сверх жалованья обыкновенного еще прибавочное за стенную службу, товарищам по 20 злотых, а пахолкам по 15 в месяц. Но это было только на словах: на самом деле выплатить жалованье было нелегко; для этого нужно было, по определению сейма, собрать в польском государстве деньги; а польское королевство не считало тогда законным принимать на себя издержки по

московскому делу. В Польше было тогда такое общее мнение, что издержки для войска, занявшего Москву, должны выплачиваться из московской казны, а не из польской; но из московской казны уже нельзя было вытянуть наличных денег. Жолнерам ждать надоело, и они указывали на последнее средство — на сокровища царские. «У бояр в царской казне, — говорили поляки, — много богатых одежд, золотой и серебряной посуды, дорогие столы и стулья, золотые обои, вышитые ковры, кучи жемчугу». Их соблазняли и дорогие ковчеги с мощами. «Они, — говорит один из них[1021], — хранятся под сводом, длиною сажен в пять, и сложены в шкафы, занимающие три стены от пола до потолка, с золотыми ящиками, а на концах под ними надписи: какие мощи положены, да еще есть особо таких же два шкафа с золотыми ящиками». Этого добивались поляки. Но бояре упорно стояли не только за ящики со святынею, не хотели даже отдавать царских одежд и утвари, говорили, что они не смеют этого тронуть до приезда королевича, что эти вещи необходимы для торжества царского венчания. Бояре согласились дать им кое-что в залог с обе-

[1021] Сноски: 1021
Hist. J. — Kar. Chodkiew. VI, 7–9.

щанием в скором времени выкупить, выплатив деньгами, но и то определили на это такие вещи, которые принадлежали царям, не оставившим воспоминания о своей законности; то были две царские короны — одна Годунова, другая названого Димитрия; богатое, осыпанное дорогими каменьями гусарское седло последнего, царский посох из единорога, осыпанный бриллиантами, да еще два или три единорога. Это несколько успокоило на время жолнеров. Тысячи три их осталось в городе с Гонсевским. Лошадей своих они передали товарищам, которые предпочли ходить за продовольствием по московской земле. Приманкою для тех, которые решились еще терпеть тяжелую службу в Москве, была надежда — в крайности расхватать царские сокровища. Кроме товарищей оставлено было в городе челяди гораздо более, чем самых товарищей; да и те, которые пошли на поиски, оставили слуг в Кремле с имуществами, а сами отправились налегке, надеясь скоро вернуться. В заключение все объявили гетману, что они соглашаются служить только до 6 января 1612 года и, если король не переменит их свежим войском, они будут считать себя уволенными и вправе уйти в отечество.

28 октября гетман попрощался с оставшимися

и двинулся к Рогачеву. Путь его был нелегок; сделался падеж на лошадей, осталось у него не более 1500 конных, которые терпели от грязи, осенней мокроты, недостатка в пище, в одежде. Случалось, что обозовые должны были на грязной дороге покидать возы с имуществом, потому что нечем было вытаскивать их из грязи. Если бы, говорили современники, неприятель догадался и напал на них, то не только разбил — живьем бы всех забрал[1022].

Где было сто лошадей, там остался какой-нибудь десяток. Сапежинцы особо пошли к Волге — собирать запасы и доставлять гетману, а тот должен был отправлять их в Москву. Польский современник рассказывает, что когда поляки подошли к Волге, то русские бросали в Волгу восковые свечи, чтобы река не замерзла; но поляки накидали соломы и полили водою: она затвердела, и они переправились. Теперь уже нельзя было полякам разгуливать по Руси, как прежде. Толпы шишей везде провожали их и встречали, отнимали награбленное и не допускали до грабежа. Так, 19 декабря из отряда пошедших к Волге Каминский хотел было напасть на Суздаль:

[1022] Сноски: 1022
Krajewski, Chronol.

шиши отбили его. Другой отряд под начальством Зезулинского 22 ноября был разбит наголову под Ростовом; сам предводитель попал в плен[1023]. От этого сбор запасов не мог идти скоро, а в Кремле между тем стала уже большая дороговизна: кусок конины в четверть лошади, чем должны были по необходимости кормиться, стоил месячного жалованья товарищей — 20 злотых, полть солонины 30 злотых, четверть ржи 50 злотых, кварта плохой водки 12 злотых. По 15 грошей продавали сороку или ворону, а по 10 грошей воробья. Уже были примеры, что жолнеры падаль ели[1024]. Гетман не мог отправить им запасов ранее 18 декабря. Отряду в семьсот человек, который повез в Москву эти запасы, на каждом шагу приходилось отбиваться от шишей, которые отнимали возы. Маскевич, бывший в этом отряде, говорит, что он один потерял пять возов. Вдобавок настали жестокие морозы. До 300 человек, а по другому известию — до 500[1025], замерзли в дороге. Из них были поляки и русские, служившие поля-

[1023] Сноски: 1023
Histor. Dmytra fatszyw. Ист. библ., I, 282.

[1024] Сноски: 1024
Истор. библ., I, 283.

[1025] Сноски: 1025
Krajewski, Chronol.

кам; многие отморозили себе руки и ноги. Сам предводитель приморозил себе пальцы на руках и на ногах. «Бумаги не стало бы, — говорит современный дневник польский, — если бы начать описывать бедствия, какие мы тогда перетерпели. Нельзя было разводить огня, нельзя было на минуту остановиться — тотчас откуда ни возьмутся шиши; как только роща, так и осыпят нас они. Сильный мороз не давал брать в руки оружия. Шиши отнимали запасы и быстро исчезали. И вышло то, что, награбивши много, поляки привезли в столицу очень мало».

Наступил срок, по который они обещались служить. Со стороны короля не видно было сильных мер к окончанию дела. Жолнеры под Рогачевом стали составлять конфедерацию. В военных нравах того времени это были узаконенные общим мнением заговоры против правительства; недовольные неуплатой жалованья отрекались от повиновения установленному начальству, сами выбирали других начальников, сами произвольно приискивали средства вознаградить себя, нападали на королевские имения и сбирали с них доходы, при этом дозволяли себе насилия над жителями и вообще становились вооруженною силою против закона и государственного порядка.

Под начальством выбранных по своему желанию предводителей мятежные жолнеры самовольно двинулись к Москве для соединения и совещания с теми, которые сидели в осаде. На пути то и дело что беспокоили их шиши. Ходкевич шел за ними вслед. Они дошли до столицы. Здесь 14 января, в согласии с сидевшими в Кремле, составилось генеральное коло. Образовалась окончательно конфедерация. Выбрали маршалом ее Иосифа Цеклинского. Стали сдавать покоренную столицу Ходкевичу. Литовский гетман отрекался и доказывал, что у него недостаточно войска для того, чтобы удержать Москву. Он не надеялся на скорую помощь от короля, хотя и манил ею других. Он рассчитывал, что неблагоразумно принимать на свою шею чужие ошибки. У поляков зачастую так делалось: заупрямятся, нашумят, наделают предположений, а потом поддадутся убеждениям и покорятся сильной воле. Так и теперь случилось. Ходкевич уговорил их подождать до 14, по другим[1026] — до 19 марта; к этому времени он обещал непременно переменить их. Тем, которые согласились остаться в столице, Ходкевич обещал по 30 злотых. В это время сапежинцы подвезли

[1026] Сноски: 1026
Krajewski, Chronol. — Hist. J. — K. Chodkiewicza Ks., VI, 13.

запасов кремлевскому гарнизону. Это содействовало успокоению. Часть войска осталась в Кремле и Китай-городе; к ней пристал отряд сапежинцев под начальством Стравинского и Будзила; другая пошла сбирать запасы по Московской земле. Струсь и князь Корецкий ушли в отечество.

Конфедерация не распустилась. Конфедераты в своем новосоставленном порядке пошли разом с Ходкевичем сбирать запасы, но отдельно от него. Гетман, оставивши столицу 31 января[1027], стал в селе Федоровском, недалеко от Волока Ламского. Конфедераты стали от него верстах в пятидесяти, между Старицею, Погорелым Городищем и Волоком: все эти города находились во власти у русских. Поляки за продовольствием выходили из своих станов отрядами и нападали на русские селения, но снега в тот год были так велики, что люди с лошадьми проваливались; полякам приходилось, идя конницею, впереди себя приказывать расчищать дорогу, а шиши то и дело нападали на них со всех сторон, отнимали возы и людям наносили удары, быстро исчезали, потом, когда нужно, опять появлялись. В деревне Родне, говорит Маскевич, очевидец и участник

[1027] Сноски: 1027
Истор. библ., I, 286.

событий, нашли поляки у крестьян белую, очень вкусную капусту, квашенную с анисом и кишнецом. Эта деревня была дворцовая и обязана была доставлять ко двору капусту. Поляки принялись есть капусту и забыли поставить сторожу: вдруг набежали на деревню шиши — одни верхом, другие на лыжах. Поляки не успели ни оседлать лошадей, ни взять оружия, которое развесили по избам, и не только не удалось им полакомиться вдоволь капустою, но они покинули лошадей, оружие и все свое имущество и разбежались во все стороны, спотыкаясь по сугробам. «Я, — говорит Маскевич, — тогда потерял все свои сундуки и лошадей и сам едва успел убежать на кляче»[1028]. Другой раз вел ротмистр Бобовский в стан к гетману отряд и уже был недалеко от стана; вдруг окружили его шиши. Успели было дать знать Ходкевичу, но гетман не мог скоро подать им помощи за снегами: весь почти отряд Бобовского пропал, и сам предводитель чуть улепетнул.

Так проводили поляки конец зимы. Наступало 14 марта, Ходкевич получил письмо от короля. Сигизмунд извещал, что скоро прибудет с сыном. Сообщили гетману, что на помощь его изну-

---

[1028] Сноски: 1028
Маскевич, Сказ. соврем., V, 115.

ренному войску прибыл в Смоленск тысячный отряд. Гетман передал эти утешительные вести конфедератам[1029]. Но они не удовлетворили конфедератов, которые все более и более терпели от шишей. Цеклинский послал съестных припасов в Москву под начальством Косцюшкевича. Путь их лежал мимо стана гетманского. Послали к гетману депутацию с требованием, чтобы гетман, сообразно своему обещанию, в назначенный срок переменил московский гарнизон, а им дал людей до Москвы. Гетман просил обождать до тех пор, пока не воротится челядь из-за Волги и не прибудет из Смоленска отряд, который должен переменить стоящих в Москве. Конфедераты на это не согласились и решились продолжать свой путь. Но только что они двинулись далее, на них со всех сторон посыпались шиши; с поляками были русские, они тотчас передались своим землякам-шишам и загородили полякам путь их же повозками, которые везли. Дорога была узкая, снега глубокие. Кто только решался поворотить в сторону, тот с конем — в снег. Шиши разорвали отряд конфедератов: из последних некоторые воротились и пристали к гетману, другие броси-

[1029] Сноски: 1029
Hist J. — Kar. Chodk., VI, 14. — Письма Ходк., Рук. И. П. Б. Автогр. № 281.

лись к Можайску, третьи поворотили лошадей не к русской столице, а к литовским пределам. Одна бежавшая толпа, страшась заблудиться, наняла в проводники русского крестьянина: тот нарочно повел поляков на Волок, чтобы отдать в руки землякам, которые сидели в этом городе. На счастье полякам, встретился с ними ротмистр Руцкий, проезжавший к гетману от московского гарнизона. Он разъяснил им ошибку, и крестьянину отрубили голову[1030].

Те жолнеры, которые воротились в отечество, вознаграждали свои потери, понесенные от московских шишей, грабежом королевских и духовных имений и оправдывали свои поступки тем, что они этим способом получали следуемое им жалованье.

Гетман, простояв зиму в селе Федоровском, весною перешел к Можайску. Его войско должно было усилиться отрядом Струся, который снова возвращался на войну в Московское государство, побуждаемый своим родственником Якубом Потоцким, с надеждою приобрести главное начальство над войском. Струсь прибыл в Смоленск и стал выходить из него по дороге к Москве, как

[1030] Сноски: 1030
Маскевич, Сказ. соврем., V. 118.

на Днепре со всех сторон посыпали на него шиши, отняли багаж, много жолнеров перебили и с самого Струся сорвали ферезию. Он воротился в Смоленск и там оставался до времени. Эти события показывают, как сильно возбужден был народ.

Московское государство между тем, по-видимому, все более и более разлагалось. На севере, вслед за Новгородом, сдались шведам новгородские пригороды: Яма, Копорье, Ладога, Тихвин, Руса, Порхов. Торопец прислал к Делагарди дворян и купцов с изъявлением подданства от города и уезда. Устюг с уездом отвечал на окружное послание Делагарди, что ожидает прибытия обещанного шведского королевича и признает его царем, когда он приедет. Противодействие шведской власти прорывалось в северных землях, но от разбойничьих казацких шаек, а не от земщины. Запорожские казаки с туземными сорвиголовами под предводительством какого-то Алексея Михайловича под Старою Русою рассеяли шведский отряд и взяли его в плен. На них отправился Эдуард Горн с большою силою и сначала разбил казацкий отряд Андрея Наливайка, потом напал на Алексея Михайловича и после кровопролитной схватки взял в плен его само-

го. Это поражение заставило казаков покинуть Новгородскую землю, покоренную шведами. В Пскове засел вор, назвавший себя Димитрием; сторона его возрастала. Казацкий гетман Герасим Попов, посланный из Пскова под Москву, сделал там свое дело: казаки, стоявшие под столицею, признали Димитрием псковского вора. Дворяне и дети боярские противились, дошло до кровавой свалки; дворяне и дети боярские, разбитые, бежали. Подмосковный стан еще более прежнего обезлюдел. Сам Заруцкий пристал к воле казаков и вместе с ними провозгласил нового Димитрия царем. И князь Димитрий Тимофеевич, угождая казакам, также признал его из желания удержать влияние на дело, в надежде скорого поворота. Так неожиданно и сильно возрастало дело псковского Димитрия; но в то же время ему явился соперником еще другой Димитрий, провозглашенный в Астрахани, и к нему склонялось Нижнее Поволжье. Вообще украинные города и Северская земля повиновались Заруцкому, и в его ополчение прибывали из Каширы, Тулы, Калуги и других городов; северское ополчение было под начальством Беззубцова и также осенью шло на помощь к Заруцкому. Но в этих странах шатались шайки всякого сброда и дрались между собою. В

крае, прилежащем к столице, бродили польские шайки; особенно свирепствовали сапежинцы. Злодейства их были ужаснее зимою, чем летом. Толпы народа из сожженных жолнерами сел и деревень замерзали по полям. Троицкие монастырские приставы ездили по окрестностям, подбирали мертвецов и везли их в обитель. Там неутомимый Дионисий приказывал их одевать и хоронить прилично. «Мы сами, — говорит очевидец, составитель Дионисиева жития, — с братом Симоном погребли четыре тысячи мертвецов; кроме того, по Дионисиеву велению мы бродили по селениям и деревням и погребли по смете более трех тысяч в продолжение тридцати недель; а в монастыре весною не было ни одного дня, чтобы погребли одного, а всегда пять, шесть, а иногда и по десять тел сваливали в одну могилу».

К довершению бедствий тогда был неурожай, а за ним голод. «И было тогда, — говорит современное сказание[1031], — такое лютое время Божия гнева, что люди не чаяли впредь спасения себе; чуть не вся земля Русская опустела; и прозвали старики наши это лютое время — *лихолетье*, потому что тогда была на Русскую землю такая

[1031] Сноски: 1031
Рукоп., доставленная г. Рыбниковым.

беда, какой не бывало от начала мира: великий гнев Божий на людях, глады, трусы, моры, зябели на всякий плод земной; звери поедали живых людей, и люди людей ели; и пленение было великое людям! Жигимонт, польский король, велел все Московское государство предать огню и мечу и ниспровергнуть всю красоту благолепия земли русской за то, что мы не хотели признать царем на Москве некрещеного сына его Владислава… Но Господь, — говорит то же сказание, — услышал молитву людей своих, возопивших к Нему великим гласом о еже избавитися им от лютых скорбей, и послал к ним ангела своего, да умирит всю землю и соймет тягость со всех людей своих…»

Глава третья

Когда начнет бледнеть и смелый в брани,
И роковой пробьет отчизне час –
Возьмешь мою ты орифламму в длани
И мощь врагов сорвешь, как жница клас;
Поставишь их надменной власти грани,
Преобратишь во плач победный глас,
Дашь ратным честь, дашь блеск и силу трону,
И Карла в Реймс введешь принять корону.
Орл. дева (Полн. собр. соч. Жук. 3, с. 97).

I. Видения. – Пост. – Троицкая грамота в Нижнем. – Козьма Захарыч Минин-Сухорук. – Избрание Пожарского в предводители. – Образование ополчения и поход в Ярославль. – Грамота о присылке выборных для выбора царя

Поднятая Гермогеном и Ляпуновым народная сила во имя веры не истощалась от неудач и неурядицы. Надежда на высшее содействие не покидала Русской земли. В московском ополчении стал ходить по рукам свиток; о нем говорили, что он неизвестно откуда взялся, подобно тем древним свиткам, которые — как гласили предания — спадали с неба. В этом свитке было написано: «В Нижнем Новгороде мужу, по имени Григорию, было видение в нощи: снялся верх избы его, в полунощи просиял на него свет чудесный, и в свете том явилось два мужа: один сел у груди Григория, другой стал у него в головах. И тот, который стоял, сказал сидящему: «Господи, что сидишь и не поведаешь ему?» Тогда сидящий сказал: «Если люди по всей Русской земле покаются и станут поститься три дня и три нощи,

не только старые и молодые, но и младенцы, тогда Московское государство очистится». На это стоящий сказал: «Господи, если очистится Московское государство, как им дать царя?» Сидящий отвечал: «Пусть поставят новый храм Троицы-на-Рву и положат харатью на престоле, а в той харатье будет написано, кому быть царем у них». Стоящий спросил: «Господи, а если не покаются, что над ними будет?» Сидящий отвечал: «Если не покаются и не станут поститься, то все погибнут и царство разорится». Потом видение исчезло, верх избы покрылся снова. Легенда эта возникла не в Нижнем; напротив, там долго не знали о ней, когда она ходила по Русской земле; а когда узнали нижегородцы, то никак не могли отыскать, кто бы мог быть этот Григорий; и все удивлялись, откуда взялись такие слухи. Меж тем рассказ о Григорьевом видении пошел из города в город, из области в область; один город писал об этом в другой, всенародно читались грамоты об этом видении; стали являться в разных местах другие подобные видения. Так, носился слух, что было какое-то важное видение во Владимире 24 августа.

Духовные поддерживали эти рассказы. К концу года, осенью 1611 года, после взаимных отписок, в

разных средних и поволжских городах по приговору всей земли Русской определили: поститься три дня в неделю — в понедельник, вторник и среду ничего не есть, не пить, а в четверг и пятницу сухо есть. Этот обряд, совершаемый повсюду с единою для всех целью, укреплял общие побуждения русского народа. Только в Нижнем Новгороде, где меньше, чем в других местах, верили этому откровению, всенародного сокрушения не было, а между тем из этого-то Нижнего Новгорода исходило действительное спасение Русской земли.

Гермоген не мог уже писать свободным словом к русскому народу. Зато свободнее и горячее произносили свою проповедь к Руси троицкий архимандрит и его келарь Авраамий Палицын. Недаром последний хитро выбрался от поляков: теперь он пригодился для русского дела и был гораздо полезнее в Русской земле, чем мог быть в плену. Они сносились со всеми областями и через проходивших к Троице людей отправляли свои воззвания.

В октябре 1611 года такая грамота троицких властей прибыла в Нижний. Тотчас собрались нижегородские власти на воеводский двор. Тут были оба нижегородских воеводы Алябьев и

Репнин, дьяк Семейка с приказными людьми, печерский архимандрит Феодосий, Спасского собора протопоп Савва с клиром, стряпчие Биркин и Юдин, дворяне и дети боярские, головы и старосты. В числе старост был Козьма Захарыч Минин-Сухорук; ремеслом он был «говядарь» (быть может, мясник или, скорее, — торговец скотиною), но ратное дело ему было не чуждо: прежде он служил в ополчении Алябьева и Репнина.

Минин сказал: «Прикажите прочитать грамоту властей животворящей Троицы в соборе, а там как Бог даст! Мне было видение: явился св. Сергий во сне и повелел разбудить спящих».

Тут стряпчий Биркин, недоброхот Минину, сказал: «Ну не было тебе никакого видения!»

Этот Биркин был человек двусмысленного поведения и служил прежде Тушинскому вору. За ним водились грехи; Минин знал про них, мог обличить его и сказал ему теперь тихо: «Молчи, а не то я тебя выявлю перед православными!» Биркин принужден был прикусить язык. Видение Минина пошло за правду. Тогда была пора видений: доведенный до отчаяния народ только в них и искал надежды и утешения.

На другой день у Св. Спаса зазвонили в боль-

шой колокол. Был день будний. Народ понял, что звонят затем, чтобы сообщить что-нибудь новое. Идучи к церкви, одни говорили: «Авось, наши не посилили ли польских людей, не думают ли служить ради того благодарного молебна». Другие говорили: «Нет, нам уже не будет избавления: чаять нам большей гибели!» Сошлись толпы у Св. Спаса. Там отслужили обедню. Протопоп Савва сказал всенародно:

— Православные христиане! Господа братия! Горе нам! Пришли дни конечной гибели нашей. Погибает наше Московское государство, — гибнет и православная вера. Горе нам, горе великое, лютое обстояние! Польские и литовские люди в нечестивом совете своем умыслили Московское государство разорить и обратить истинную веру Христову в латинскую многопрелестную ересь. Кто не восплачется, кто не испустит источники слез! Ради грехов наших Господь попустил врагам нашим возноситься! Горе нашим женам и детям! Еретики разорили до основания богохранимый град Москву и предали всеядному мечу детей ее. Что нам творить? Не утвердиться ли нам на единении и не постоять ли за чистую и непорочную Христову веру и за св. соборную церковь Богородицы ее честного Успения, и за

многоцелебные мощи московских чудотворцев! А се грамота властей Живоначальные Троицы монастыря Сергеева…

Грамота была прочитана. В ней таким образом возбуждались чувства русского народа:

«Вы сами видите близкую конечную гибель всех христиан: где завладели литовские люди, какое там разорение Московскому государству! Где святые церкви? Где Божии образа? Где иноки, цветущие многолетними сединами, инокини, украшенные добродетелями? Не все ли до конца разорено и обругано злым поруганием? Где бесчисленное множество христианских чад в городах и селах? Не все ли лютыми и горькими смертьми скончались, без милости пострадали и в плен разведены? Не пощадили престарелых возрастом, не сжалились над незлобивыми сосущими млеко младенцами. Не все ли испили чашу ярости и гнева Божья? Помяните и смилуйтесь над видимою нашею смертною погибелью, чтоб и вас самих не постигла та же лютая смерть. Бога ради, положите подвиг своего страдания, чтобы вам, всему общему народу, молить служилых людей, чтобы всем православным христианам быть в соединении, и служилые люди однолично, без всякого мешкания, поспешили бы к Москве

на сход ко всем боярам и воеводам и ко всему множеству народа всего православного христианства. Сами знаете, что ко всякому делу едино время належит; безвременное же начинание всему делу суетно и бездельно бывает. Хоть и будут и есть близко в ваших пределах какие недоволы, Бога ради, отложите то на время, чтобы вам всем с нами о едином положити подвиг свой и страдать для избавления православной христианской веры».

Народ пришел в умиление. Слышались голоса: «Горе нам! Погиб царствующий град! Гибнет и все Московское государство!»

Много народу столпилось около собора. Тут Козьма Минин вышел из храма и сказал громким голосом: «Православные люди! Если нам похотеть помочь Московскому государству, не пожалеем животов наших, да не токма животов… дворы свои продадим, жен и детей заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь вступился за истинную православную веру и был бы у нас начальником. Дело великое! Мы совершим его, если Бог поможет. И какая хвала будет нам от всей земли, что от такого малого города произойдет такое великое дело. Я знаю: только мы на это поднимемся, многие города к нам пристанут, и

мы избавимся от чужеземцев». Любы нижегородцам показались такие слова. У многих слезу прошибло.

И еще после того сходились нижегородцы; Минин еще говорил им возбудительные речи, и мир обратился к Минину. Ему говорили: «Ты будь нам старший человек; отдаем себя во всем на твою волю!»

Стали думать: кого бы из бояр выбрать себе в предводители такого, чтобы в ратном деле был искусен и в измене не объявился. Все остановились на князе Димитрии Михайловиче Пожарском: за прежние времена не лежало на нем неправды; в смутные годы он не был в воровских таборах и у польского короля милостей не просил. Он уже с Ляпуновым подвизался против врагов и теперь едва оправился от ран, что ему нанесли поляки

под Введением-на-Лубянке[1032].

Пожарский был в это время за сто двадцать верст от Нижнего, в своей вотчине Линдехе. Туда к нему прибыли посланный от нижегородцев печерский архимандрит Феодосий да дворянин Ждан Болтин, а с ними нижегородские посадские люди, и поведали ему желание своей братии нижегородцев. Князь отвечал: «Скажите пославшим вас, что я рад за православную веру страдать до смерти, а вы изберите из посадских людей такого человека, чтобы мог быть со мною у великого дела, ведал бы казну на жалованье ратным людям».

Выборные стали было думать, кто бы на это дело годился, но Пожарский не дал им долго ломать головы и сказал: «Есть у вас в городе человек

[1032] Сноски: 1032

В народной песне, записанной от семидесятилетней старухи около сороковых годов текущего столетия в Боровском уезде, в селе Слободе, в таком поэтическом образе представляется это великое событие:

«Как во старом-то было городе,
Во славном и богатом Нижнием,
Как уж жил тут поживал богатый мещанин,
Богатый мещанин Козьма Сухорукий сын.
Он собрал-то себе войско из удалых молодцов,
Из удалых молодцов нижегородских купцов,
Собравши их, он речь им говорил:
“Ой, вы, гой еси, товарищи, нижегородские купцы,
Оставляйте вы свои домы,

Покидайте ваших жен, детей,
Вы продайте все ваше злато-серебро,
Накупите себе вострыих копиев,
Вострыих копиев, булатных ножей,
Выбирайте себе из князей и бояр удалова молодца,
Удалова молодца воеводушку;
Пойдем-ко мы сражатися
За матушку за родну землю,
За родну землю, за славный город Москву.
Уж заполонили-то Москву проклятые народы, поляки злы!
Разобьем их, много перевешаем,
Самого-то Сузмунда короля их в полон возьмем.
Освободим мы матушку Москву от нечестивых жидов,
Нечестивых жидов, поляков злых".
Уж как выбрали себе солдатушки, молодые ратнички,
Молодые ратнички нижегородские купцы,
Выбрали себе удалова молодца,
Удалова молодца воеводушку
Из славного княжеского роду —
Князя Димитрия по прозванию Пожарского».

Киреевск. Песни. Вып. VII, 22–23.

— Козьма Минин-Сухорук; он бывалый человек, ему такое дело за обычай».

Посланцы, возвратившись в Нижний, сказали об этом всему миру. Нижегородцы обратились к Козьме. Этот человек был осторожен. Чтобы себе вытребовать власть полную, необходимую для успеха самого дела, он стал отказываться; но чем он упрямее отказывался, тем настойчивее его просили. Наконец он, как будто нехотя, лишь бы исполнить мирскую волю, принял предлагаемую должность и сказал:

— Когда так, я прошу: поставьте приговор, приложите руки на том, чтобы слушаться меня и князя Димитрия Михайловича Пожарского, ни в чем не противиться, давать деньги, нужные на жалованье ратным людям, а если денег не будет, то силою брать у вас животы, даже жен и детей в кабалу отдавать, чтобы ратным людям скудости не было.

Приговор был составлен; если кто и не хотел бы прикладывать к нему руки, то должен был: нельзя было отказываться. Написанный приговор был отдан в руки Козьме, а Козьма нарочно послал этот приговор из Нижнего поскорее, чтобы нижегородцы не одумались и не сделали перемены, когда им станет трудно. В самом деле,

им было нелегко. Минин учредил оценщиков всех имуществ и с цены их брал пятую деньгу, то есть пятую часть всей цены на земское дело; не допускалось ни льгот, ни отсрочек. Были такие, что давали охотно и больше. Осталась в хронографах память об одной вдове, которая принесла к сборщикам десять тысяч и сказала: «Я осталась после господина своего бесчадна; было у меня двенадцать тысяч, отдаю десять, а себе оставляю две»[1033]. Этим, говорит сказание, она многих людей в страх вложила. Кто скупился, у тех отнимали силою, а неимущих отдавали в кабалу тем, кто за них платил; не спускали ни попам, ни монастырям[1034]. Все денежные неокладные доходы, получаемые в Нижегородском уезде (с судных пошлин, с кабаков, с продаж и отдачей в наем пустошей, с откупа на некоторые предметы торговли и промыслы и т. п.), положили обратить на жалованье ратным, которые пойдут на очищение Московского государства. Покамест эти денежные сборы будут собраны, взято было более пяти тысяч рублей заимообразно у некоторых

[1033] Сноски: 1033

Арх. Калач., VI, 3, 36.

[1034] Сноски: 1034

Подробности — из Хронографа, напечатанного г. Мельниковым в «Отеч. зап.» 1850 г.

богатых торговых домов, между которыми самое первое видное место занимали Строгановы[1035].

Еще не успел прибыть в Нижний избранный воевода, а уж ополчение собиралось. Пришли в Нижний смольняне из Арзамаса. Это были прежние помещики Смоленской земли; выгнанные врагами, они пришли под Москву и просили у начальников подмосковного ополчения крова и хлеба. Их отправили в Арзамас поселиться в тамошних дворцовых волостях. Но когда они пришли в Арзамас и стали во Въездной слободе, дворцовые люди не хотели слушать грамот Заруцкого и Трубецкого и служить новоприбывшим дворянам. С ними заодно стали арзамасские стрельцы и не давали пришлым дворянам делить между собою мужиков. Происходили драки. Наконец дворяне увидали, что не осилят мужиков, и ушли в Нижний Новгород. Нижегородцы приняли скитальцев, они составляли первое ядро будущей рати. Из них люди отправились к Пожарскому и просили, чтобы он прибыл скорее.

[1035] Сноски: 1035

У Никитиных да Максимовых людей Строгановых, у Юшки да у Митюшки Петровых взято 3116 р. У Максимовых людей Строганова у Матвея Петрова 1000 р. У Григорья Микиткинова, что был у Федора Родяева, — 500 р. У Ярославцева у Василья да у Степана Лыткиных — 350 р. У Ярославна у Второго Чистово — 100 р. У Сергея Патрулина — 100 р. У москвича у Оникея Порывкина да у Филиппа Дощаникова — 40 р. (Врем. XVII. Смесь. Выписка из приходо-расх. кн. Нижегор. уезда, 2).

Пожарский, выступивши из своей вотчины, на дороге встретил дорогобужан и вязьмичей — детей боярских. Подмосковные военачальники отправили их селиться в Ерополчем (нынешние Вязники), но там, как выше мы заметили, им не давали поместьев, и они шли к Нижнему. Они пристали к Пожарскому. Когда прибыл Пожарский в Нижний, тогда послали стряпчего Ивана Биркина в Казань к тамошним властям спросить совета о Московском государстве. Вслед за тем во все стороны покатили из Нижнего гонцы с возбудительными грамотами, написанными от имени главного предводителя Пожарского, дворян, детей боярских, служилых и посадских людей Нижнего Новгорода и от всех пришедших к ратному делу в Нижний — дорогобужан, вязьмичей и смольнян. В этих грамотах описывалось несчастное положение Московского государства; извещалось, что ратные люди, дворяне и дети боярские, стоявшие под Москвою в ополчении, разъехались для временной сладости, грабежей и хищничества, казаки покушаются посадить на престол Марину с ее законопреступным сыном; литовские люди грабят замосковные города, чтобы набрать и привезти в Москву своим людям запасы. Верховые города просят прислать к

ним ратных людей для обороны. Нижегородцы извещали, что они порешили общим советом, собравшись с ратными людьми, идти всеми своими головами на помощь Московскому государству: приговорили разделить животы свои и домы и дать жалованье ратным людям; приглашали города, куда посылались грамоты, собирать ратных людей и быть с ними в одном совете: «Как мы будем с вами в сходе (говорилось в грамотах)[1036], то учнем над польскими и литовскими людьми промышлять вместе за один, сколько милосердый Бог помощи подаст; о всяком земском деле учиним крепкий совет, не дадим учинить никакого дурна людям, которые под Москвою или в иных городах похотят Маринкою и ее сыном новую кровь всчинать; а мы, всякие люди Нижнего Новгорода, утвердились на том и к Москве, и к боярам, и ко всей земле писали, что Маринку с сыном и того вора, который стоит под Псковом, до смерти своей в государи на Московское государство не хотеть, так же что и литовского короля».

Эта грамота повсюду читалась на всенародных собраниях в городах, куда сзывались для того лучшие люди, постановлялись приговоры, со-

[1036] Сноски: 1036
А. Э., II, 248–251.

бирались деньги на жалованье ратным людям и отсылались нижегородцам, а потом отправлялись к Нижнему и ополчения. Город городу весть давал, один город убеждал другого спешить на выручку православной веры и Московского государства. Пришло в Нижний ополчение из Рязани; пришли коломенцы, изгнанники из родного города, бывшего тогда в руках Марины. Из Казани, из Свияжска, из Чебоксар и других понизовых городов писали, что все идут своими головами[1037]. Нижний стал наполняться воинами. Минин распоряжался казною, раздавал денежное жалованье и кормы; Пожарский от себя учреждал для них кормы.

В Москве, откуда в январе 1612 года бояре писали в Кострому и Ярославль похвальную грамоту за верность Владиславу, узнали о восстании в Нижнем в феврале того же года. Гонсевский приступил к заключенному Гермогену и требовал, чтобы он написал к нижегородцам увещание распустить ополчение и оставаться в верности Владиславу. Патриарх, доведенный до крайнего

[1037] Сноски: 1037

По приговору всего Нижнего города, на содержание ратных, долженствовавших прийти из Казанского края, положили с дворцовых бортных и мордовских сел и деревень с выти по 2 чети овса и по рублю за сено. Оказалось собранными с 279 ½ вытей 539 четей овса, денег с 181 чети — 180 р. 32 алт. ½ д. (Времен., XVII. Смесь, 2).

огорчения, резко и твердо отвечал: «Да будет над ними милость от Бога и от нашего смирения благословение, а на изменников да излиется от Бога гнев, а от нашего смирения да будут прокляты в сем веке и в будущем». За эти слова его еще теснее заперли в Чудовом монастыре, стали морить голодом, и он умер февраля 17-го, как говорили современники, голодною смертью. Его погребли в Чудовом монастыре[1038].

Услышал о нижегородском восстании и Заруцкий и понял, что это на него собирается новая земская туча. Он послал от имени Марины посла в Персию, чтобы найти себе там союз; но письмо перехвачено было в Казани. С другой стороны, Заруцкий заботился, чтобы нижегородское ополчение не захватило верховых городов Поволжья, и отправил в Ярославль Андрея Просовецкого мешать ярославцам соединиться с нижегородским ополчением. Но ярославцы проведали об этом заранее и дали знать Пожарскому. Предводитель ополчения немедленно послал передовой отряд под начальством князя Димитрия Петровича Пожарского-Лопаты и дьяка Самсонова занять Ярославль. Они вошли в этот город прежде, чем

[1038] Сноски: 1038
Никон. лет., VIII, 177. — Арцыб. Повеств. о России, III, 305, прим. 1603.

дошел до него Просовецкий, и посадили в тюрьму присланных Просовецким казаков. Просовецкий, узнавши, что Ярославль перехвачен, не пошел туда.

Ярославцы ожидали нижегородцев, но ополчение медлило выходом из Нижнего оттого, что ждало помощи из Казани. Посланный туда стряпчий Биркин стакнулся с тамошним дьяком Никифором Шульгиным. Они соображали, что успех ополчения сомнителен и государству Московскому суждено разложиться: не лучше ли им воспользоваться случаем и утвердить за собой власть в отдаленной Казани? Они по этой причине медлили выслать ополчение к Нижнему. Князь Пожарский и Минин, подождавши казанцев, догадались, что в Казани происходит что-то недоброе, и решились не ожидать оттуда помощи; «…положили, — говорит летописец, — упование на Бога и утешали себя воспоминаниями, как издревле Бог поражал малыми людьми множество сильных».

Они выступили из Нижнего и достигли Балахны; там к ним пристали балахонцы и толпа дворян и детей боярских, разогнанных из-под Москвы, под начальством Матвея Плещеева. В Балахне дали ополчению казны в подмогу.

Из Балахны усиленное свежими силами ополчение выступило в Юрьевец. И здесь дали им казны в подмогу. К ополчению пристали юрьевские татары, им дали жалованье.

Из Юрьевца ополчение перешло в Решму. Здесь их встретили посланцы из Владимира, от воеводы Артемия Измайлова. Он был давний друг Димитрию Михайловичу Пожарскому; теперь он извещал, что Заруцкий и Трубецкой с казачьим полчищем, стоящим под Москвою, целовали крест вору, который во Пскове назвался царем Димитрием. Вслед за ними явились[1039] посланцы от самых подмосковных предводителей, Трубецкого и Заруцкого. «Мы прельстились, — писали предводители, — мы целовали крест вору, что явился во Пскове, но потом узнали вражью прелесть и целовали крест на том, чтобы всем православным христианам быть в единогласии. Идите под Москву, не опасайтесь». Эту грамоту Пожарский велел прочитать всему своему ополчению, и посланным был дан такой ответ: «Мы никакого развращения и опасения не имеем; идем под Москву вам в помощь на очищение Московского государства».

[1039] Сноски: 1039
Новый Летоп., 147.

Из Решмы ополчение пришло в Кинешму, — и там приняли его с радостью и дали казны в подмогу.

Из Кинешмы дошли они до Костромы. Здесь их ожидал иной прием. Там был воеводою Иван Шереметьев. Его считали одним из виновников гибели Ляпунова. Теперь он был поставлен на воеводство московскими боярами, хотел следовать увещательным боярским грамотам, убеждавшим оставаться в повиновении Владиславу, не пускал к городу ополчения и намеревался отбиваться от него силою. Но у костромичей мало было охоты стоять за польское дело. В противность воеводе многие вышли навстречу к Пожарскому и Минину, просили прибыть в город и обещали стать с ними заодно. Пожарский подвинул свое войско к костромским посадам. Тогда костромичи, что оставались в городе, разделились: одни держались приказаний своего воеводы, другие кричали, что он изменник, и переходили к Пожарскому. Последних стало больше. Они бросились на воеводский двор, низложили Шереметьева и чуть не убили его. Князь Пожарский и Минин вошли в Кострому, взяли с костромичей казны в подмогу и назначили им иного воеводу вместо Шереметьева — князя Романа Гагарина

с дьяком Андреем Подлесовым. Тут пришли к Пожарскому посланцы от суздальцев; просили суздальцы уделить им ратных людей на помощь, затем что около их города бродил Просовецкий со своею шайкою.

Пожарский разрознил свое войско и отрядил к Суздалю своего родственника князя Романа Петровича Пожарского с нижегородскими и балахонскими стрельцами: они и отогнали Просовецкого от Суздаля. Сам Пожарский повел ополчение в Ярославль. Ярославцы вышли к нему навстречу с образами и предложили в его распоряжение все имущество, какое у них есть. Сверх того, в знак радости и благодарности, они подносили Пожарскому и Минину подарки, но те не приняли ничего.

Это было в начале апреля. Необходимым показалось подождать, пока соберутся ополчения из тех городов, куда отправлены воззвания. Притом Пожарский и Минин соображали, что им придется биться, может быть, разом и с поляками, и с казаками; нужно было осмотреться, насколько появление нового Димитрия соблазнило московских людей; нужно было проведать, какие силы может употребить Польша против нового восстания, обозначить отношения, в каких придется

стать к шведам; наконец, нужно было собрать денег для войны. За этим пособием обращались в северные города, меньше других пострадавшие от смут. Так, в Соль Вычегодскую писалось: «Присылайте к нам в Ярославль денежную казну, что есть у вас в Соли Вычегодской в сборе, ратным людям на жалованье. Поревновать бы вам, гостям и посадским людям, чтоб вам промеж себя обложить — что кому с себя дать подмогу ратным людям. Тем бы вам ко всей земле совершенную правду и радение показать и, собрав с себя те деньги, прислать к нам в Ярославль тотчас»[1040].

Тогда уяснилась необходимость, чтобы предводители, идущие на Москву, имели законное значение, освященное волею всей земли, и могли бы смело говорить, что подняли не произвольный мятеж, а идут по совету всего народа Московского государства. Уже теперь по отношению к польской стороне было не то, что при Ляпунове, когда считали возможным поладить с Сигизмундом, лишь бы он прислал Владислава на царство. Теперь о Владиславе не могло быть речи. Его уж никак не приняло бы Московское государство.

Были посланы грамоты в разные города. В этих

[1040] Сноски: 1040
А. Э., II, 253–257.

грамотах излагались прошлые и настоящие бедствия Московской земли и ее народа и приглашались выборные на общий совет. «Вам бы, господа (было написано в этих грамотах), пожаловать, помня Бога и свою православную христианскую веру, советовать со всякими людьми общим советом, как бы нам в нынешнее конечное разоренье быть не безгосударным, чтобы нам по совету всего государства выбрать общим советом государя, кого нам милосердный Бог, по праведному своему человеколюбию, даст, чтобы во многое время от таких находящих бед Московское государство вконец бы не разорилося. Сами, господа, ведаете, как нам стоять без государя против общих врагов, польских и литовских, и немецких людей, и русских воров, которые новую кровь всчинают. Как нам без государя о великих государственных и земских делах с окрестными государствами ссылаться. И по всемирному совету пожаловать бы вам — прислать к нам в Ярославль из всяких чинов людей человек по два и с ними совет свой отписать за своими руками»[1041].

Таким образом, Пожарский хотел окружить себя земским собором, правильно выбранным,

---

[1041] Сноски: 1041
А. Э., II, 256.

который бы имел право решать судьбу всей земли.

Грамоты были разосланы, а в Ярославль один за другим приезжали стольники, стряпчие, дворяне, дети боярские и люди всяких чинов и вступали в ополчение. Уже 7-го апреля, как видно из надписей на грамоте, были в Ярославле бояре: Василий Петрович Морозов, Владимир Тимофеевич Долгорукий, окольничий Семен Головин, князья Иван Никитич Одоевский, Петр Пронский, Петр Барятинский и другие. Минин значился между ними выборным человеком всей земли; за его безграмотством подписывался Пожарский.

В Казани Биркин с Шульгиным не успели произвести того, чтобы Казань не послала вовсе людей: казанцы хотели идти, и Биркин сам повел их, но в дороге настраивал их против Пожарского и Минина. Шедший с ним татарский голова Лукьян Мясной не потакал Биркину, и оба они были во взаимной вражде. Казанцы пришли в Ярославль. Биркин, как начальник одного из собравшихся в Ярославле ополчений, стал добиваться участия в совете, а Минин, как личный его враг, вооружал против него бояр и дворян, — и Биркина не допускали в совет. Тогда Биркин ушел назад, за ним пошли казанцы; остался только Лукьян Мясной

и с ним немного людей.

II. Деятельность троицких властей. – Медленность Пожарского. – Сношения с Новгородом. – Беспорядки в ополчении. – Скудость средств. – Гибель псковского вора. – Покушение на жизнь Пожарского. – Бегство из-под Москвы Заруцкого. – Поход Пожарского из Ярославля. – Пожарский у Троицы

Троицкие власти беспрестанно сносились с Пожарским, сообщали ему известия о том, что делается на Руси, оживляли добрыми вестями, извещали, что города Серпухов, Калуга, Тула, Рязань, Торжок, Старица, Ржев, Погорелое Городище и Тверь не захотели признавать нового вора. Их желание было соединить Трубецкого с Пожарским, и они в своих грамотах к Пожарскому уверяли, что Трубецкой целовал вору крест только неволею, а теперь готов соединиться и вместе промышлять над врагами. Но желания троицких властей были против намерения собрать из городов выборных, которые прежде всего избрали бы нового царя. Они находили, что

прежде всего лучше освободить Москву, прогнать чужеземцев, искоренить внутренних врагов, а потом уже избирать государя. Они убеждали не медлить, идти скорее под Москву, пока поляки не привели туда новых сил.

Но Пожарский, по выражению летописца[1042], многомолебное писание от обители в презрение положил; он не считал возможным отважиться идти под Москву с малыми силами, оставался в Ярославле, ждал денег, ждал ратных и выборных людей, а между тем отправлял отряды в окрестные города против казацких шаек, которые там бесчинствовали. Один отряд прогнал их из-под Антоньева-Бежицкого монастыря, другой — из Пошехонья. Очистили от казаков Углич и Переяславль[1043].

В то же время Пожарский сносился с Великим Новгородом, и так как этот город со всею землею, как бы то ни было, составлял часть русской державы, то Пожарский в начале мая послал туда Степана Лазаревича Татищева пригласить и оттуда выборных, как из прочих земель; он просил сообщить ему обстоятельно: на чем состоялся

[1042] Сноски: 1042
Ин. ск. о Самозв., Времен., XVI, 123.

[1043] Сноски: 1043
Никон, лет., VIII, 183–184.

договор со шведами? Новгородский владыка прислал ему список с договорной грамоты. Пожарский велел этот список переписать и разослал по городам для земского обсуждения. В июле Новгород отправил не выборными для совета, а послами — важищенского игумена Геннадия и князя Федора Оболенского. Они извещали, что шведский король Карл умер и завещал шведское королевство Густаву-Адольфу, а новгородское — королевичу Филиппу, который скоро прибудет в Выборг. Они приглашали Пожарского быть с Новгородом в общей любви и совете, а также похотеть на все государства Российского царствия королевича Филиппа.

— При прежних великих государях, — отвечал Пожарский, — приходили послы от других государств; ныне пришли вы, послы от Великого Новагорода; а Великий Новгород искони, как начались государи на Российском государстве, от Российского государства отлучен не был; и теперь надобно, чтобы Новгород был по-прежнему с Российским государством. Мы уже искусились: не учинилось бы снова так, как с польским и литовским королем. Польский король Жигимонт хотел дать на Российское государство сына своего королевича и не дал; а чего наделали польские

и литовские люди — вам самим известно! И шведский король Карлус хоть и хотел отпустить на Новгородское государство сына, однако вот уж близко года прошло, а королевич в Новгород не бывал.

Федор Оболенский уверял, что «шведский королевич Карло-Филипп Карлович отпущен в Новгород из Свеи вскоре после договора с новгородскими людьми, но ему в дороге учинилась весть, что короля, его отца, не стало, так он воротился с дороги и мешкал по своей вере для погребения; а тут, когда учинился королем брат его Густав-Адольф, так датский король войну всчал, и королевич Карло-Филипп затем позамешкал, что вместе с братом своим Густавом промышлял против датского короля, и многих людей датских побил, а теперь, как они учинились с датским королем в миру, так королева свейская мать и король Густав-Адольф отпустили королевича Карла Филиппа, и он наверно пришел на Иванов день в Выборг и уж наверное на Петров день там будет. От свейского королевства не чаем того, что учинил над Московским государством литовский король».

Пожарский сказал: «Мы все у милосердого Бога милости просим и хотим, чтобы нам всем, людям

Московского государства, быть в соединении и брать на Московское государство в цари государского сына, только бы он был в греческой православной вере, а не в иной какой-нибудь, которая вера с нашею православною не состоится. Когда шведский королевич будет в нашей православной вере, тогда мы тотчас выберем от всего Российского государства честных людей, которые будут годны к такому великому делу, и дадим им полный наказ о государственных и о земских добрых делах говорить и становить, как государствам быть в соединеньи, а теперь послов в Свею об этом посылать нам нельзя; были посланы какие люди к польскому королю, боярин, князь Василий Васильич Голицын со товарищи: вот держат их в неволе, и они погибают в чужой земле от нужи и бесчестья!»

Новгородские послы сказали: «А что же себе за пользу тем учинил польский король? Вы разве не стоите против него в собраньи?»

Пожарский сказал: «Был бы у нас такой столп, как Василий Васильевич Голицын, — все бы его держались; а я к такому великому делу мимо его не принялся: меня ныне к этому делу сильно приневолили бояре и вся земля. Видя, что учинилось с литовской стороны, нам не посы-

лать послов в Свею, и мы не захотим на наше государство государя не нашей православной веры греческого закона». «И мы, — отвечали новгородцы, — не отпали от истинной веры; если королевич не захочет быть в православной вере греческого закона, то мы с вами хотим помереть за нашу истинную веру и не примем ни за что государя не нашей веры; и не токмо с вами, бояре и воеводы, и со всем Московским государством вместе, — хоть вы нас подадите, так мы одни за нашу истинную православную христианскую веру хотим помереть»[1044].

Так покончились сношения с Новгородом. Пожарский еще раз отправил гонца с уверениями, что изберут на царство королевича, если он примет греческую веру; но это делалось только для того, говорит летопись[1045], чтобы шведы не помешали ополчению идти под Москву.

Сносясь с Новгородом, Пожарский в Ярославле случайно завел сношения с послом немецкого императора Юзефом, возвращавшимся из Персии через Московское государство. Посол заметил, что было бы недурно московским людям просить

[1044] Сноски: 1044
А. Э., II, 269–270.

[1045] Сноски: 1045
Дипл. сношн., II, с. 1405–1431.

себе царя из цесарского дома. Пожарский знал, что этого нельзя, что надобно будет во всяком случае выбирать царя из своих, а не из чужих, но изъявил послу одобрение такой мысли, потому что считал императора сильным монархом и полагал, что его доброе расположение к Московскому государству может быть полезно.

С этою целью он отправил к императору гонцом Иеремию Ватермана; в своей грамоте просил он императора оказать Московскому государству денежную помощь и запретить польскому королю проливать кровь христианскую. Впоследствии на Пожарского брошена была тень подозрения, будто он хотел государя из австрийского дома, но Пожарский был виноват только за свое простодушие, с которым в крайней нужде обратился к сильному государю, думая найти в нем заступничество, и не остерегался корыстных видов, без которых, разумеется, никто бы и не подал помощи Московскому государству.

Время проходило. В июне у Троицы узнали, что Ходкевич двинулся от Можайска к Москве. Медленность воевод в Ярославле возбуждала негодование троицких властей. Они послали в Ярославль соборного старца Серапиона Воейкова с другим старцем, Афанасием Ошериным. Эти

старцы повезли увещание, украшенное приличными выражениями, выписками из св. книг и благочестивым мудрословием. Смысл его был таков: «Вы начали доброе дело и теперь о нем не радеете; знайте, что если Ходкевич придет с большим войском и с запасами под Москву, то ваш труд будет всуе и собрание ваше напрасно»[1046]. Но Пожарский, говорит летописец, и после этого послания промышлял о шествии косно и медленно.

Пожарский ожидал ратных, ожидал выборных, ждал денег и между тем держал у себя в руках управление, называясь: «по избранию всех чинов людей Московского государства, многочисленного войска у ратных и земских дел»[1047]; он давал именем своим суд всей земле Русской, раздавал поместья, распоряжался постройкою городов, требовал денежных пособий, подтверждал монастырям тарханы, назначал обычные наказания и вообще совмещал в себе верховную власть над Русскою землею. Но Пожарский не имел таких качеств, которые внушали бы к нему всеобщее повиновение; он сам чувствовал, что

[1046] Сноски: 1046
Ин. сказ, о Самозв., Времен… XVI, 123.

[1047] Сноски: 1047
А. Э., II, 362.

поставлен на свое место более за безупречное поведение, чем за способности, — боялся приступить к чему-нибудь решительному, боялся сделать что-нибудь такое, что после оказалось бы неугодным народу, поверившему ему власть. Его мало слушались: в Ярославском ополчении то и дело что было соревнование, козни, драки, полная рознь. Это тем более удерживало Пожарского идти далее и принуждало стоять в Ярославле. Сам он никак не в силах был установить лад в своем ополчении и пригласил жившего у Троицы на покое бывшего ростовского митрополита Кирилла. Тот послушался, прибыл в Ярославль и стал там как бы в качестве третейского судьи. Когда начинались споры, к нему должны были обращаться враждующие стороны. Но мало оказал благотворного влияния этот примиритель. Дни проходили. Троицкие власти теряли терпение. Поехал в Ярославль, наконец, келарь Авраамий Палицын и увидел там, — как он сам выражается, — мятежников, ласкателей и трапезолюбцев, воздвизавших гнев и свары между воеводами и во всем воинстве. Он требовал одного, чтобы ополчение не теряло напрасно времени, чтобы шло под Москву, пока еще не пришли новые польские силы. Но воеводы медлили. Важней-

шею причиною медленности был, без сомнения, недостаток денег. Еще в апрельской грамоте в Соль Вычегодскую было писано, что все деньги, какие собраны были в Нижнем, розданы дворянам, детям боярским и всяким ратным людям, что беспрестанно приезжают стряпчие, стольники, дворяне, дети боярские и всяких чинов люди на службу, бьют челом о денежном жалованье, а давать им нечего[1048].

Средина государства была разорена; приостановилась всякая производительность, народ обнищал. Другие города, напр. украинные, еще держались Димитрия, и нужно было писать к ним грамоты и уговаривать: так, напр., была послана грамота в Путивль, где уговаривали путивлян отстать от вора и наравне с верными городами прислать выборных в Ярославль. Но пока эти грамоты могли произвести свое действие, помощи из украинных мест, сильно истощенных и разоренных, ожидать нельзя было. Новгород с его землею был в иноземных руках. Оставалась надежда на северо-восточные края, куда и прежде обращались преимущественно за пособиями и Скопин, и Ляпунов. Пожарский писал

[1048] Сноски: 1048
А. Э., II, 536.

грамоты в Пермь, Верхотурье, Устюг, Тобольск и проч. и требовал оттуда доставки денежных и хлебных запасов; оттуда везли в Ярославль, кроме сборных денег, муку, овес, толокно, сухари, крупу, полти свиного мяса; но все это, конечно, не могло доставиться скоро: нужно было время, нужно было ждать. Притом же отдаленные края, не испытавшие от поляков того горя, какое постигло середину государства, были по-прежнему недостаточно усердны. В грамоте в Верхотурье, 26 мая, приказывалось хватать торговых людей, едущих с товарами из тех городов, которые ленились взносить деньги и запасы, и отнимать у них товары силою[1049]. Очевидно, скудость побуждала прибегать к таким суровым мерам. Отсюда-то и несогласия, и ссоры, и неурядица в Ярославле.

Трубецкой совсем отпал от казацкого атамана и ждал Пожарского, чтобы с ним быть заодно. Псковского самозванца уже не стало. Тот самый Плещеев, который осенью первый в московском стане провозгласил его имя, весною отправился в Псков и стал уверять псковичей, что он не царь, а вор, обманщик. Неизвестно, заговорила ли в Плещееве совесть или он не поладил с вором и по

[1049] Сноски: 1049
Собр. гос. грам., II, 593.

личной вражде захотел его погубить. Псковичам и без того уже опротивел этот царик: как только он добрался до власти, тотчас стал делать тяжелые поборы и вел себя распутно. Вор смекнул, что ему может быть худо, и 18 мая бежал из города ночью, не успевши оседлать коня и даже надеть шапки. За ним бросились в погоню, поймали и 20 мая привезли, приковавши цепями к лошади. Во Пскове его посадили в тюрьму за стражею, и там он просидел до июля. Первого числа этого месяца вора повезли к Москве[1050]. На дороге напал на провожавший его отряд Лисовский, и тут пришел конец вору. Лисовский, хотевший освободить его, одолевал; казаки, провожавшие царика, бежали и тащили за собою связанного вора на коне; вдруг он упал с лошади; тогда кто-то из казаков проколол его копьем; потом ему накинули на шею веревку и привязали к лошади. Так рассказывает шведский историк[1051]. По русским известиям, его успели провезти к Москве и там казнили. Шведское известие, кажется, вероятнее, иначе появление его под Москвою не обошлось бы без волнений. Как бы то ни было, когда Пожарский

[1050] Сноски: 1050
Псковск. лет., П. С. Р. Л., IV, 330.

[1051] Сноски: 1051
Videk, 353.

шел к Москве, соперника этого уже не было.

Заруцкий стоял только за сына Марины. Но этим именем нельзя было соединять всех. Было опасение, что, как только Пожарский явится, многие казаки пристанут к нему. Заруцкий решил избавиться от Пожарского и подослал к нему двух убийц — казаков Обрезку и Стеньку. Затесавшись в ополчение, они успели приобрести сообщников между людьми, близкими к предводителю. Вошли с ними в заговор человек семь, из них один жил во дворе князя, Пожарский кормил его и одевал. Стали они выбирать случай убить князя. И вот один раз Пожарский был в съезжей избе, вышел, стал у разрядных дверей и рассматривал пушки, какие из них взять с собою под Москву, какие покинуть. Около него была большая теснота. Какой-то казак Роман схватил князя за руку: должно думать, он был соучастник убийц и хотел попридержать убиваемого. Тогда из толпы, расталкивая людей, бросился на Димитрия Михайловича Стенька, направил свой нож в живот князю, но промахнулся и перерезал ногу казаку Роману. Казак упал и вопил от боли; князь Пожарский сначала было думал, что казака нечаянно ранили в толпе, но тут народ закричал: «Тебя хотят убить, господин!» Ратные и

посадские схватили Стеньку и стали мучить. Он во всем сознался, указал и на сообщников. Народ хотел всех перемучить, но князь Пожарский не велел этого делать: одних послал в темницы по городам, других приказал везти под Москву для обличения Заруцкого. Между тем Заруцкий, подсылая тайно убийц, явно вместе с Трубецким отправил к Пожарскому посланцев с известием, что Ходкевич приближается на помощь своим и надобно Пожарскому с ополчением спешить к Москве[1052].

И после этого приглашения Пожарский оставался несколько времени в Ярославле, пока не пришли к нему новые посланцы из-под Москвы. Они были от ополчения украинных городов; там, как только узнали, что на Волге собирались новые ратные силы и получили призывные грамоты от Пожарского, тотчас выступили в поход, пришли под Москву и стали у Никитских ворот отдельно от казаков, которые за это начали делать им пакости. Эти новопришлые послали к Пожарскому от себя Ивана Кондырева и Ивана Бегичева: они рассказывали с плачем об оскорблениях, какие делают им казаки, говорили, что им не дают

[1052] Сноски: 1052
Никон, лет., VIII, 185.

жалованья, и просили, чтобы Пожарский шел скорее. Пожарский дал им жалованье деньгами и сукнами, отпустил под Москву и велел сказать всем ратным людям, что он с ополчением выходит тотчас и прибудет скоро[1053].

Вслед за этим Пожарский выступил из Ярославля.

Отошедши семь верст, Пожарский поручил свое войско князю Ивану Андреевичу Хованскому и Козьме Минину и приказал вести его в Ростов, а между тем в соседние города побежали гонцы, понуждая людей этих городов и уездов спешить в Ростов на сход. Сам Пожарский отправился поклониться гробам своих прародителей в Спасский Суздальский монастырь, где впоследствии довелось лежать и ему самому. То был благочестивый обычай, наблюдаемый в княжеских родах пред начатием важных дел. В то же время Пожарский отправил воеводою Григория Образцова на Белоозеро — беречь тамошний край от шведов, на случай если бы от них последовало нападение, а Михайла Самсоновича Дмитриева с отрядом отправил под Москву и велел стать у Петровских ворот, но отдельно от казаков и не

[1053] Сноски: 1053
Никон, лет., VIII, 187.

входить в их таборы. Окончив свой благочестивый подвиг, Пожарский прибыл к ополчению в Ростов, посетил в Борисоглебском монастыре на Устье затворника Иринарха, предсказавшего смерть Сапеге. Прозорливый на этот раз предсказал Пожарскому успех и тем, конечно, ободрил его дух. Когда Пожарский готовился выступать из Ростова, явился к нему новый посланец от подмосковного войска, атаман Кручина Внуков. Трубецкой через него извещал, что Заруцкого уже нет под Москвою.

Вот как это случилось.

Когда Кондырев и Бегичев воротились в подмосковный табор и стали склонять казаков на сторону Пожарского, Заруцкий велел их убить; но они спаслись в стане Михайла Самсоновича Дмитриева, присланного недавно Пожарским. Земское ополчение по частям начало прибывать; в казацком таборе возникла рознь: многие стали отпадать от Заруцкого. На Трубецкого не было уже надежды: он готов был тотчас перейти к Пожарскому, как только последний явится. Не дожидаясь прибытия этого опасного соперника, Заруцкий 17 июля ушел ночью в Коломну; за ним последовала часть табора, остальные казаки остались под начальством Трубецкого. Поляки

поясняют это дело так: Ходкевич рассчитал, что Заруцкого можно склонить куда угодно, и подослал к нему какого-то товарища Бориславского. Тот прибежал в подмосковный лагерь, объявил, что недоволен гетманом и хочет служить русскому делу. Его приняли казаки. Тогда он вручил тайно Заруцкому письмо Ходкевича. В войске казацком было несколько поляков: они были в соумышлении с Бориславским. Но один из них, Хмелевский, донес об этом Трубецкому. Поляков перехватали, пытали и замучили. Бориславского сожгли живьем. Заруцкому нельзя было оставаться, и он убежал[1054]. Заруцкий недолго был в Коломне, где жила Марина, ограбил город и убежал вместе с Мариною и ее ребенком в Михайлов[1055].

Вслед за бегством Заруцкого пришел под Москву еще один отряд, князя Пожарского-Лопаты, и стал особым станом между Тверскими и Никитскими воротами. Между тем главное ополчение из Ростова прибыло в Переяславль-Залесский. Все годные к битве переяславцы пристали к нему.

[1054] Сноски: 1054

Hist. Chodk. Rs. VI, 25 (здесь подосланный к Заруцкому назван Корнило). — Niemc., III, 22. — Krajewski, 44, 49.

[1055] Сноски: 1055

Никон, лет., VIII, 188.

Оттуда Пожарский шел к Троице принять благословение от чудотворца Сергия, считавшегося издревле хранителем Русской земли от иноплеменных. 14 августа ополчение стояло между монастырем и Клементьевскою слободою. Тут к нему пришли дворяне и казаки из-под Москвы и просили идти скорее, затем что Ходкевич приближается к столице. Пожарский немедленно отправил под Москву еще один отряд, под начальством князя Василия Туренина, и велел ему стать у Чертольских ворот[1056]. Другой отряд отправили тогда же в отдаленный Архангельск[1057], чтобы оттуда морем не сделано было нападений от каких бы то ни было иноземцев. Тогда уже русские поняли, что надобно спасать свою землю исключительно своими собственными силами, а всякая иноземная помощь скорее может приносить вред, чем пособие. Отряд иноземных воинов — сброд из разных стран — хотел вступить в службу Московского государства (Андриан Фрейгер, Артур Эстон, Яков Гиль) и биться вместе с русскими против польских и литовских людей. Известили Пожарского, что они прибудут осенью

[1056] Сноски: 1056
Никон, лет., VIII, 189.

[1057] Сноски: 1057
Соб. г. гр., II, 606.

в Архангельск, и просили заключить с ними договор. Пожарский отвечал, что «бояре и воеводы великих государств Российского царствия благодарят их и похваляют за желание, но теперь наемные люди не надобны Московскому государству; были польские и литовские люди сильны Московскому государству до тех пор, пока само Московское государство было в розни, а теперь московские люди стали заодно; те, которые были в воровстве, отстали от воровства; из доходов, какие собираются, дается жалованье ратным людям, стрельцам и казакам, а бояре, окольничьи, стольники, дворяне и дети боярские служат и бьются за веру и за свое отечество без жалованья». При этом Пожарский заметил, что русским людям удивительно то, что иноземцы, хотевшие вступить на службу Московскому государству, — в совете с французом Яковом Маржеретом. «Мы его знаем достаточно, — писал Пожарский, — он при Борисе выехал из цесарской земли с дьяком Власьевым, был пожалован поместьем и жалованьем; при Шуйском отправился во французскую землю, а потом снова пришел в Московское государство, пристал под Москвою к вору, который назвался вновь Димитрием Углицким, проливал христианскую кровь, потом пристал

к полякам, приходил с Жолкевским под Москву, остался с Гонсевским в Москве, и когда поляки жгли Москву и рубили людей, он проливал христианскую кровь злее польских людей и потом ушел вместе с изменником Михайлом Салтыковым, награбивши московской казны. И теперь ему бы нам против польских людей помогать? Мы удивляемся этому. Нам кажется, Яков хочет войти в Московское государство по умышлению польского короля и польских и литовских людей, чтобы учинить Московскому государству какое-нибудь зло».

Стоя близ Троицы, Пожарский принимал от Дионисия благословение войску. Ополчение было поставлено в порядке на горе Волкуше. Со звоном вынесли из монастыря икону Живоначальной Троицы, иконы местных чудотворцев Сергия и Никона. Дионисий совершил водоосвящение и окропил им войско. Рассказывают, будто в то время сильный ветер дул прямо в лицо войску, обращенному на путь к Москве. Но как только совершилось водоосвящение, ветер стал дуть ополчению в тыл. Это сочтено добрым предзнаменованием. Московские люди утешались мыслью, что Бог поборает по них и благословляет их на

благое начинание[1058].

III. Струсь заменяет Гонсевского в Кремле. – Движение Ходкевича. – Прибытие Пожарского к Москве. – Битва на Девичьем поле. – Битва на Замоскворечье. – Отбитие возов с запасами. – Потери Ходкевича. – Его отступление от Москвы

В течение трех с половиною месяцев, когда Пожарский стоял в Ярославле, положение поляков в Кремле было таково, что их выжить оттуда было легче, чем после; оттого-то власти троицкие так торопили Пожарского. Ходкевич стоял в Можайске и ожидал свежих сил. Смоленский воевода Якуб Потоцкий известил его, наконец, что высылает племянника своего Николая Струся с тремя тысячами на смену тем, которые сидели в Кремле. Но Потоцкий, соперник Ходкевича, хотел вместе с тем удалить литовского гетмана от участия и настроил своего племянника в таком же духе. Ходкевич выступил из Можайска и стал

[1058] Сноски: 1058
Нов. Лет., Времен., XVII, 155.

за пятьдесят верст от Москвы. Здесь он ожидал Струся целых четыре недели. Из его стана доставили кремлевскому гарнизону продовольствие, свободно проходили в Кремль запасы. Жолнеры требовали жалованья, а Ходкевич успокаивал их письменным ручательством, уверял, что король приедет ко дню св. Матвея, 12 сентября, и уговаривал подождать до этого времени. Со своей стороны он писал к королю, упрашивал его идти поскорее под Москву с Владиславом и собрать плату для войска. После четырех недель стоянки Ходкевич двинулся к Москве. Струсь шел вслед за ним. В первых числах июня Ходкевич перешел Москву-реку и стал на Девичьем поле; и Струсь пришел под Москву и стал особым обозом. Тут начались переговоры и споры. Струсь требовал, чтобы Гонсевский сложил с себя звание начальника Москвы и уступил ему. Ходкевич стал защищать Гонсевского и считал требование Струся оскорблением заслугам Гонсевского. Но сам Гонсевский рассудил, что честь невелика оставаться в столице и благоразумнее будет уступить ее сопернику, который безрассудно домогался этой чести. Он мало надеялся успеха при медленности Сигизмунда, при всеобщем ожесточении русских против польской власти,

при деморализации войска. Он видел впереди плачевный исход всего московского дела — и охотно сложил с себя начальство. Струсь со своим отрядом вошел в Кремль. Тогда сторонники Гонсевского нашли в этом предлог оставить Москву. Они раздражались тем, что любимый полководец оставил свое место, и сами не хотели повиноваться его сопернику. Таким образом, Струсь своим приходом скорее ослабил польскую власть в Московской земле, чем усилил. Из прежних воинов, занимавших Кремль, со Струсем осталась только часть сапежинцев под командою Будзила[1059]. Остальные примкнули к войску Ходкевича, потребовали уплаты за те вещи, которые им были заложены. Заплатить им было нечем. Тогда четыре тысячи сапежинцев составили новую конфедерацию и ушли со своими залогами в Польшу — взыскивать самовольно следуемое им за службу жалованье с королевских имений[1060]. Ходкевич рассчитал, что ему незачем стоять под столицею, и опять отправился сбирать продовольствие кремлевскому гарнизону. Сам он стал

[1059] Сноски: 1059

Над его пехотою поставлен был Харлинский, над конницею — Хоцимирский (Hist. Chodkiew., VI, 23).

[1060] Сноски: 1060

Pamiętn. Maszk., 64.

под Крайцарёвым[1061], а его жолнеры ходили отрядами собирать запасы, и так как вблизи повсюду край был ограблен, то они пустились в глубину Новгородской земли и там были разбиты шведами[1062]. Вся забота Ходкевича была та, чтобы как-нибудь продовольствовать гарнизон до зимы, когда надеялся прибытия короля до окончания сейма. Тут-то самое удобное время было ярославскому ополчению явиться под Москвою. Но Ходкевичу, вероятно, было известно, как не ладилось в русском ополчении, и оттого-то он сам не спешил. Уже в августе поймали русского пленника, и тот сказал, что Пожарский наконец идет к Москве. Тогда Ходкевич двинулся к столице, поспешая прийти туда раньше Пожарского.

Пожарский предупредил Ходкевича и 20 августа подходил к разоренной столице. Прежде всего он отправил передовой отряд высмотреть удобное место для стана. Посланные нашли такое место против Арбатских ворот.

Тут пришли и допущены были к Пожарскому и Минину посланцы от Трубецкого. Они приглашали их с ополчением стать в одном таборе

[1061] Сноски: 1061
Рук. Имп. П. Б., 221.

[1062] Сноски: 1062
Videk., 362.

с казаками, но у земских людей были живы воспоминания времен Ляпунова и оставалась сердечная неприязнь к казачеству. Пожарский и Минин отвечали: «Мы не можем стоять в одном таборе с казаками: они начнут враждовать с нашими людьми».

Отпустивши посланцев, предводитель двинул ополчение к Москве, и, когда оно приближалось к ее обширным развалинам, Трубецкой сам выехал навстречу Пожарскому. Трубецкой был боярин, пожалованный в это звание тушинским «вором». Пожарский — только стольник. Трубецкой тогда на время ставил ни во что свое боярство и оказывал честь народному ополчению. Он просил стать вместе, но Пожарский и Минин отвечали, что не будут стоять с казаками. Трубецкой воротился огорченный.

Земское ополчение стало станом, обогнувши (считая пришедшие прежде отряды) часть Белогородской стены от Петровских ворот до Алексеевской башни на Москве-реке. Главное ядро его было у Арбатских ворот, там стояли Пожарский и Минин. Ратные люди, заложивши стан, стали копать около него ров и спешили работать, потому что беспрестанно выглядывали Ходкевича. Казаки занимали восточную сторону

Белого города и Замоскворечье. В последнем месте им приходилось выдержать первый натиск неприятеля. Все Замоскворечье было хорошо укреплено: порыты были рвы, во рвах должна была сидеть казацкая пехота.

Через день после прибытия Пожарского увидали ратные люди на западе идущее войско. С Ходкевичем, кроме старого войска, были новые силы[1063]. За ними ехали огромные ряды в несколько сот возов с набранными запасами. Ему нужно было провезти их в Кремль и в Китай-город — осажденным. В этом состояла вся задача его прибытия. Ходкевич стал табором у Донского монастыря и намеревался переходить Москву-реку у Девичьего поля. Трубецкой с главною силою стоял у Крымского двора, в тылу переправы. Он послал к Пожарскому просить несколько сотен в подкрепление, Пожарский послал ему.

Часть литовского войска успела переправиться через реку и сбила московскую конницу, которая не допускала переправляться. Московские

[1063] Сноски: 1063

Отряд литовцев, пятнадцать хоругвей, присланных вновь из Польши; несколько сот конных и сто пеших привел к нему князь Корецкий из Смоленска; полковник Невяровский пришел к нему с восемью стами пехоты; отряды Граевского (в 400 человек) и Млоцкого (в 200), восемь тысяч украинских казаков и неопределенное число вольных охотников под начальством ротмистра Величинского.

люди покинули лошадей, стали биться пешие, поляки погнали их с поля. В это время выскочили осажденные из Кремля к Чертольским воротам: у Ходкевича было намерение через эти ворота провезти запасы до Кремля. Московские стрельцы отбили польский гарнизон с уроном. «Хорошо было, — говорит участник дела, — Москве биться с нами, наевшись хлеба, а наши с мая месяца терпели недостаток; прежде, когда хлеба вдоволь было, и Москва нам страшна не была; а теперь не то что руки, и ноги не слушали, чтоб бегать»[1064]. Ходкевичевы воины погнали московских людей до Тверских ворот; но из-за печей и церквей разрушенного Земляного города начали их сильно поражать московские люди выстрелами со всех сторон. Поляки отступили и перешли назад в Замоскворечье.

Трубецкой, находясь на Замоскворечье у Крымского двора, долго только смотрел на битву. Казаки не хотели помогать земским людям и еще подсмеивались над ними: «Богаты пришли из Ярославля! Отсидятся от гетмана сами!» Только те сотни, что были присланы Пожарским, побежали в бой, а за ними пошли четыре казацких атамана

[1064] Сноски: 1064
Рукоп. Имп. публ. библ. Hist. Pol., IV, 33.

со своими отрядами самовольно и кричали в уши своему предводителю: «От ваших ссор только гибель чинится Московскому государству»[1065].

В следующую ночь московский изменник Григорий Орлов провел шесть сот гайдуков вдоль Москвы-реки. Они напали на московский острожек у церкви Егория на Яндове и овладели им.

Сам Орлов вошел в город и дал знать осажденным о положении и намерениях Ходкевича[1066].

Следующий день, 23 августа, прошел без боя.

24 августа, на рассвете, Ходкевич собрал все войско, решился идти напролом во что бы то ни стало и доставить осажденным запасы. Пожарский стал у Ильи Обыденного, Трубецкой у Лужников. Гетман двинулся со своими силами и с возами, нагруженными запасами для продовольствия осажденных в Кремле; левою стороною командовал сам гетман, в средине шли — с конницею Зборовский, а с пехотою Невяровский и Граевский; направо был Конецпольский и четыре тысячи украинских казаков под начальством атамана Ширая.

Посланные против них стрельцы были сбиты.

[1065] Сноски: 1065
Новая Летоп., Времен., XVII, 155.

[1066] Сноски: 1066
Нов. Летоп., Времен., XVII, 155. — Hist. J. K. Chodkiew., VI, 26.

Поляки пошли по Замоскворечью; конные спешились: невозможно было ехать верхом через груды развалин; только на возах медленно везли запасы, расчищая путь. Казаки Ходкевича выбили казаков московской стороны, засевших во рвах. Таким образом, воины Ходкевича достигли до Пятницкой улицы и напали на русский острожек, поставленный близ церкви Св. Климента Папы Римского. Казаки, защищавшие острожек, не выдержали. Литовцы захватили острожек, ввезли туда часть запасов и поставили свое знамя на стенах острожка в знак победы. Но казаки тотчас же поправились; к ним подоспели их братья, бросились снова на острожек так внезапно, что литовцы не ожидали этого. Острожек достался казакам со ввезенными туда запасами. Но тут распространился между казаками ропот. Они кричали: «Что ж это? Дворяне только стоят да смотрят, а нам не помогают. Они богатятся имениями, а мы босы, наги и голодны: не станем биться за них!»

Об этом волнении донесли Пожарскому. Тогда, по известию, переданному келарем Авраамием Палицыным, Пожарский обратился к нему; Авраамий в то время совершал богослужение у Ильи Обыденного. Келарь взял с собою нескольких дво-

рян, перешел на Замоскворечье, достиг острожка и, увидев толпу казаков, которая стояла над трупами литовцев, стал расточать им похвалы… «От вас, казаки, — говорил он, — началось доброе дело; вам слава и честь; вы первые восстали за христианскую веру, претерпели и раны, и голод, и наготу; слава о вашей храбрости и мужестве гремит в отдаленных государствах; на вас вся надежда; неужели же, братия милая, вы погубите все дело?» «Хотим, — кричали казаки, — умереть за православную веру; иди, отче, к нашим братиям-казакам в станы, умоли их идти на неверных; мы пойдем и не воротимся назад, пока не истребим вконец врагов наших!»

Палицын поворотил к Москве-реке и против церкви Св. Никиты увидал толпу казаков, которые после боя ворочались в свой стан. И этим произнес он горячее слово. И этих он тронул своим словом. «Кричите, — говорил он, — ясак: Сергиев! Сергиев! Чудотворец поможет, вы узрите славу Божию!» Они отозвались все одним восторженным восклицанием: «Спешим пострадать за имя Божие! Сергиев! Сергиев!» Они поворотили к острожку на бой.

Палицын достиг казацкого табора и увидал толпу упрямых, они пьянствовали и играли в

карты. И этим Палицын произнес увещательное слово и вместе с тем обещал казну Троицкого монастыря, если они пойдут все отнимать острожек у Св. Климента. Казаки покинули свои забавы, схватились за оружие; все за Палицыным закричали: «Сергиев! Сергиев!» и пустились в бой. Так, если только доверять сказанию, которое передается самим тем, кто здесь играет столь блестящую роль, один человек нравственною силою своей личности и своего слова спас тогда русское дело. Босые, оборванные, с оружием в руках, летели казаки и призывали имя св. Сергия. Темное облако дыма покрыло борцов, восторженные крики были слышнее ружейных выстрелов. Тогда Минин сказал Пожарскому: «Князь, дай мне войска, я пойду». «Бери, коли хочешь», — сказал предводитель. Минин, человек малоискусный в ратном деле в сравнении с опытными воинами, взял с собою передавшегося поляка Яна Хмелевского да три сотни дворян, перешел реку, ударил на две роты, которые стояли у Крымского двора. Одна была пешая, другая конная; побежали обе; конная смяла пешую. В этой схватке перед глазами Минина был убит племянник его, бывший с ним в ополчении. По почину Минина московские люди бросались на Замоскворечье. «Бой

разыгрался, — по выражению летописца, — зело великий и преужасный». В полдень казаки достигли литовского обоза, отрезали и захватили четыреста возов с запасами[1067].

Тогда Ходкевич понял, что все пропало; цель, для которой он пришел, не достигнута; он приказал спасать остаток возов и уходить.

Литовцы с наступлением ночи удалились к Воробьевым горам. Ратные люди и казаки хотели их преследовать, но воеводы закричали: «Довольно! Двух радостей в один день не бывает: как бы после радостей горя не отведать!» Успех был полный. Русским достались запасы, которые вез Ходкевич осажденным. Поражение литовского гетмана до того было пагубно, что у него оставалось не более четырехсот конных. Несмотря на то, что осажденные были заперты, Ходкевич нашел, однако, способ сообщить им, что он должен удалиться, набрать новых запасов, и обещал явиться в продолжение трех недель со свежим войском и продовольствием[1068].

Двадцать восьмого августа Ходкевич со сво-

[1067] Сноски: 1067

Piasecii, 278. — Kobierz, 443. — Нов. Лет., Времен., XVII, 156–157. — Палиц., 274–276.

[1068] Сноски: 1068

Истор. библ., I, 325.

им войском ушел совсем от столицы. «О, как нам горько было, — говорит один из осажденных, — смотреть, как литовский гетман отходит, оставляя нас на голодную нужду!»[1069]

На дороге ушли от него южнорусские казаки, они отправились на северо-восток и разорили Вологду[1070]. Литовский гетман ушел к Вязьме и решился оставить осажденных на произвол судьбы. Он писал королю, что беда происходила от медленности его величества.

IV. Осада Кремля и Китай-города русскими. – Письма Пожарского к полякам. – Гордый ответ поляков. – Голод и людоедство между поляками. – Взятие русскими Китай-города. – Поляки кладут оружие. – Освобождение Москвы. – Судьба польских пленников

Число осажденных в Кремле увеличилось. Во время суматохи успел прорваться в город полковник Невяровский с тремя стами пехоты, но

[1069] Сноски: 1069
Рукоп. И. П. Б. Польск. f., № 33.

[1070] Сноски: 1070
Нов. Летоп., Времен., XVII, 157.

при недостатке продовольствия это умножение военных сил могло послужить к большей тягости и затруднениям. Русские заперли Кремль и Китай-город со всех сторон. На Замоскворечье, в черте Деревянного города, стояли казаки; на другой стороне русские выкопали глубокий ров; он шел, начиная от одного пункта на берегу Москвы-реки, огибая Каменный город (т. е. Кремль и Китай-город) и упираясь затем в другом месте о берег Москвы-реки[1071]. Заплели высокий плетень в два ряда и насыпали земли между его стенами. В трех местах были построены туры, с которых палили в город: первые около Пушечного двора на северо-западной стороне, вторые в Георгиевском девичьем монастыре, а третьи на Кулишках у Всех Святых[1072]. Простояли таким образом недели две.

Победа над Ходкевичем примирила Пожарского с Трубецким. До сих пор у них разряды были разные и Пожарский не хотел ни за что соединиться с казаками; но после того, как казаки хорошо показали себя в общем деле, оба предводителя съехались, помирились и положили

[1071] Сноски: 1071
Нов. Лет., Врем., XVII, 157.

[1072] Сноски: 1072
Грамота подмосковных военачальников. Моск. В. 1832. № 24.

постоянно съезжаться на Неглинной-на-Трубе: там устроили общий разряд, управлявший всею осадою[1073]. В грамотах, разосланных об этом, приказывалось слушаться только таких указов, которые будут посылаться разом от двух военачальников — Трубецкого и Пожарского; то же, что указывалось по грамоте, посланной одним только из них, заранее объявлялось ни для кого не обязательным. Но казаки скоро опять стали враждебно против земства. Их возбуждали враги Пожарского, прибывшие в стан 5 сентября. Главные из них были Иван Шереметьев и князь Григорий Шаховской, известный старый заводчик смут. С ними заодно был брат Ивана Шереметьева, Василий, князь Иван Засекин и Иван Плещеев, погубивший псковского самозванца. Они восстановляли казацких атаманов, а через них всю казацкую громаду на земство. «Нам не платят за службу, — кричали казаки, — дворяне обогащаются, получают поместья в Русской земле, а мы наги, босы и голодны». Одни намеревались уйти на Украину, другие грозили напасть на дворян, ограбить их достояние и самих убить. Среди неурядиц и волнения келарь, уже преж-

[1073] Сноски: 1073
Грамота подмосковных военачальников. Моск. В. 1832 г. № 24.

де посуливший казакам казну монастырскую, отправился к Троице, и там архимандрит держал совет со старцами, как делу помочь. Денег в обители не было, но оставались нетронутыми церковные облачения, вышитые золотом и саженные жемчугами. Троицкие власти отправили их в залог казакам на тысячу рублей и обещали выкупить в скором времени. Вместе с тем они послали казакам убедительное воззвание и в нем расхваливали их мужество и доблести. Когда троицкая грамота была прочитана в казацком кругу, казаки до того были тронуты, что решили отправить назад присланные в залог вещи. «Мы все сделаем по прошению троицких властей, — сказали они, — какие бы скорби и беды ни пришлось нам терпеть, все выстрадаем, а отсюда не отойдем, не взявши Москвы и не отомстивши врагам пролития христианской крови». С таким ответом поехали к Троице двое атаманов[1074].

Пятнадцатого сентября Пожарский послал в город к осажденным полякам письмо, обращенное к полковникам Страбинскому и Будзилу, к ротмистрам, черкасам и гайдукам, минуя Струся. Он писал:

[1074] Сноски: 1074
Иное сказ. о Самозв. Врем., XVI, 129. — Палиц., 280.

«Нам ведомо, что вы, будучи в Кремле в осаде, терпите немерный голод и великую нужду и ожидаете день со дня своей погибели, а крепитесь потому, что Николай Струсь и московские изменники Федька Андронов со товарищи упрашивают вас, ради живота своего. Хотя Струсь учинился у вас гетманом, но он не может вас спасти. Сами видели, как гетман приходил и как от вас ушел со срамом и со страхом, а мы еще были тогда не со всеми силами. Объявляем вам, что черкасы, которые были с паном гетманом, ушли от него разными дорогами; дворяне и дети боярские, ржевичи, старичане и прочих ближних городов взяли в плен живьем пятьсот человек, а сам гетман со своим полком, с пехотою и с служилыми людьми ушел в Смоленск 13 сентября. В Смоленске нет ни души: все воротились с Потоцким на помощь гетману Жолкевскому, которого турки разбили. Королю Жигимонту приходится теперь о себе самом помышлять, кто бы его от турок избавил. Жолнеры Сапеги и Зборовского в Польше разорения чинят. Так вы не надейтесь, чтобы к вам кто-нибудь пришел на помощь. Все горе стало от неправды короля вашего Жигимонта и польских и литовских людей, нарушивших крестное целование. Вам бы в той неправде душ своих не

губить и нужды такой и голоду за них не терпеть. Присылайте к нам, не мешкайте; сохраните свои головы, а я беру вас на свою душу и всех ратных людей своих упрошу: кто из вас захочет в свою землю идти, тех отпустим без всякой зацепки, а которые сами похотят Московскому государству служить, тех пожалуем по достоинству; а кому из ваших людей не на чем будет ехать или идти не в силах будет от голода, то, как вы из города выйдете, мы прикажем навстречу таким выслать подводы».

На это великодушное предложение польские предводители написали гордый ответ, превозносили верность долгу и мужество поляков, с омерзением отвергали предложение сдаться как измену, укоряли московских людей в вероломстве своим государям. «Не новость, — писали они, — для вас лгать в своих писаниях: у вас нет стыда в глазах; присмотрелись мы на храбрость и мужество ваше! Московский народ самый *подлейший* в свете и по храбрости подобен ослам или суркам, которые только тем и обороняют себя, что в ямы прячутся. Видели мы своими глазами, как литовский гетман дал вам себя знать с малыми силами. Мы, ожидая счастливого прибытия государя нашего короля с сыном Владиславом, не

умрем с голоду, а дождемся его и возложим царю Владиславу на главу венец вместе с верными его подданными, сохранившими данную ему присягу; а вам Господь Бог за кровопролитие и разорение Московского государства возложит на голову кару, и каждый старший из вас пусть ожидает великой кары Божьей над собою. Не пишите к нам ваших московских глупостей: не удастся вам ничего от нас вылгать; мы вам стен не закрываем, добывайте их, если они вам нужны, а царской земли шишами и блинниками не опустошайте: пусть хлоп идет к сохе, поп — к церкви, купец — на свой торг: здоровее будет царству. Не пиши нам сказок, Пожарский; мы лучше тебя знаем, что польский король усоветовал с сенатом, как довести до конца московское дело и укротить тебя, архимятежника. Не был нам турок страшен и не будет; и не только со своими негодяями и шишами, что у тебя теперь, но если бы к тебе пристало гораздо больше бунтовщиков таких, как ты, то и тогда не одолеешь ты нас при помощи Божьей»[1075].

Осажденные надеялись, что вернется гетман. Проходили недели, гетмана не было. Русские

[1075] Сноски: 1075
Рукоп. Истор. библ., I, 326–339.

палили на них со своих туров, направляя выстрелы больше всего на башни; крепким стенам ничего нельзя было сделать, в средину опасно было пускать ядра, чтобы не повредить церквей. На Замоскворечье по всей линии стояли казаки. Несмотря на то, что гарнизон был таким образом окружен русскими, оставалась возможность сношений. Шестого октября жолнеры могли еще выслать двух товарищей с известием гетману, что они не могут ждать более недели и должны будут помереть от голода. Ответа не было. Некому было дать его. Гетман был далеко. Осажденные оставлены были на погибель.

Недостаток съестного усиливался с каждым днем. Около 1 октября в Москве цена ржи доходила до 100 злотых за четверть, продавали хлебы печеные из лебеды по три злотых, четверть конского мяса стоила 120 злотых.

Через неделю после того голод достиг ужасающих размеров. «В истории нет подобного примера, — говорит современный дневник, — писать трудно, что делалось. Осажденные переели лошадей, собак, кошек, мышей; грызли разваренную кожу с обуви, с гужей, подпруг, ножен, поясов, с пергаментных переплетов книг, — и этого не стало; грызли землю, в бешенстве объ-

едали себе руки, выкапывали из могил гниющие трупы, и съедено было, таким образом, до восьмисот трупов, и от такого рода пищи и от голода смертность увеличивалась»[1076]. При съедении умерших соблюдался строевой порядок. За следуемого ко съедению товарища велись процессы, шло разбирательство, кто имеет право его съесть. В одной шеренге гайдуки съели умершего товарища; тогда родственники умершего жаловались ротмистру, что они по праву родства имели право его съесть, а гайдуки доказывали, что товарищи по службе имеют на это более права, находясь с ним в одном десятке. Ротмистр не знал, как рассудить их, и, опасаясь, чтобы раздраженные декретом не съели судью, бежал от них. Стали и живые бросаться на живых, сначала на русских, потом уже не разбирая, пожирали друг друга. «Пан не мог довериться слуге, слуга пану», — говорит в письме своем Будзило. Сильный зарезывал и съедал слабого; один съел сына, другой слугу, третий мать; человечье мясо солили в кадках и продавали: голова стоила три злотых, за ноги по костки заплачено было одному гайдуку два злотых. По сказанию очевидца купца, бывшего

[1076] Сноски: 1076
Lubieniecki, Poloneutychia, 195.

в осаде, съедено было более двухсот человек из пехоты и товарищества. Иные перескакивали через кремлевские стены и убивались или счастливо спускались и отдавались русским. Добродушные кормили их и потом посылали к стенам уговаривать товарищей сдаться. Казаки таких перебежчиков не миловали, мучили их, ругались над ними и изрубливали в куски[1077].

Русские, скучая осадой, хотели кончить скорее и стали рыть подкоп по направлению под Китай-город, но неискусно. Как ни истощены были поляки, но умели найти и уничтожить его, залили водою и поймали подкопщика.

Это не помогло полякам удержать Китай-город. Двадцать второго октября Трубецкой, стоявший станом на восточной стороне Китай-города, ударил на приступ. Голодные не могли защищаться и ушли в Кремль. Русские вошли в Китай-город, и первое, что они там увидели, были чаны, наполненные человечиною.

В Китай-город внесли с торжеством икону Казанской Богородицы, и во имя ее русские дали обет построить церковь, которая и была впоследствии построена: до сих пор она служит памятником

[1077] Сноски: 1077

Рук. Имп. публ. библ. польск., f. № 31. — Записки киевского мещанина Божка Балыки. «Киевск. старина», год 1882, июль, с. 104.

вступления в Китай-город победоносного русского войска, носит название Казанской и находится на Кремлевской площади, против кремлевских Никольских ворот. Тогда, чтобы избавить себя от многолюдства, поляки выпустили из Кремля женщин и детей: то были жены и дети боярские; их мужья и отцы боялись казаков и обратились к Пожарскому с просьбою о защите. Пожарский выехал их встречать. Казаки зашумели и кричали, что следует ограбить боярынь, которые выходили из осады с имуществами. Пожарский, Минин и земские люди выехали вооруженные вперед — встречать боярынь, и приняли их благополучно в свой стан. Казаки разъярились за то, что им не дали ограбить боярынь, и похвалялись убить самого Пожарского.

Между тем, выпустивши женщин, голодные стали советоваться между собою, что далее делать. Федор Андронов и другие, подобные ему, противились сдаче; им лучше было помереть с голоду; они знали и надеялись, что с ними хуже голодной смерти будет, когда свои братья заберут их в руки. Но весь гарнизон зашумел и порывался отворять ворота, хотя бы на смерть. Сам Струсь, муж великой храбрости и многого рассуждения,

как называет его русское сказание[1078], перестал уже храбриться. Послали к русским предводителям послов. Просили пощады, объявили себя военнопленными, выговорили себе одно только условие, чтобы сдавшимся оставили жизнь. Предводители сперва посоветовались между собою, потом дали обещание, что ни один пленник не погибнет от меча. Поляки, знавшие свирепство казаков, уговаривались, чтобы начальствующие лица сдались только Пожарскому, а не хотели ни за что сдаться Трубецкому, но этого нельзя было сделать. Трубецкой уверял, что он употребит все влияние, чтобы казаки не обижали пленных.

Двадцать четвертого октября поляки отворили ворота на Неглинную (Троицкие) и стали выпускать бояр и русских людей. Вперед всех вышел Мстиславский, за ним бояре, составлявшие совет, дворяне и купцы, сидевшие в осаде. Их вид возбуждал сострадание. Пожарский и Минин выехали встречать их со своим войском. Казаки опять поднялись и кричали: «Надобно побить этих изменников, а их животы поделить в войске». Земское ополчение стало в боевой порядок. Русские вышли из ворот, стали на Каменном

[1078] Сноски: 1078
Рукоп. Филар., 62.

мосту в нерешительности и ожидали, как их соотечественники начнут за них бой между собою. Казаки показывали намерение броситься на земское войско. Но до этого не дошло. Казаки покричали, пошумели и ушли в свои таборы. Пожарский и Минин с честью проводили своих в свой земский стан.

На другой день, 25 октября, отворились все ворота Кремля. Русские хотели ознаменовать вступление в свою столицу религиозною торжественностью. Земское войско собралось близ Иоанна Милостивого на Арбате, войско Трубецкого — за Покровскими воротами. И оттуда, и отсюда пошли архимандриты, игумены, священники в облачении, с крестами и иконами, в Китай-город; за ними двигалось войско. Оба шествия сошлись в Китай-городе на Лобном месте. Здесь запели молебен. На челе духовенства стоял тогда доблестный Дионисий, нарочно прибывший из своей обители. Тогда из Фроловских (Спасских) ворот вышли к ним навстречу архиепископ галасунский Арсений с кремлевским духовенством. Сам Арсений держал в руках Владимирскую икону Богородицы. Показавши себя сторонником Владислава, этот духовный чужеземец старался перед русскими загладить свое

уклонение. Он рассказывал, что перед тем как русские овладели Китай-городом, ему являлся св. Сергий и предрек победу своих соотечественников. Соединившись, духовенство вошло в Кремль к Успенскому собору и там совершило литургию и благодарственный молебен.

И в Кремле, как в Китай-городе, русские увидели чаны с человечьим мясом, слышали стоны и проклятия умиравших в муках голода. Горько тронуло русских опустошение церковных и царских сокровищ. Поляки побросали оружие и ожидали своей судьбы. Их погнали в таборы. Струся заперли в Чудовом монастыре, остаток его полка отдали казакам. Будзила взял Пожарский к себе с остатками его сапежинцев. Все имущество пленных было сдано в казну; Минин распоряжался отбором, и все это отдали казакам в награду.

Те пленники, которые достались Пожарскому и земским людям, уцелели; их отправили в разные города. Но казаки не вытерпели и, в противность крестному целованию, перебили чуть не всех. Из пехоты не осталось ни одного в живых. По русским городам народ был ожесточен за разорение Москвы и опустошение Московского государства; в Нижнем Новгороде, куда послан был Будзило с товарищами, пленных чуть не разорвали; народ

озлобился даже на воевод, которые их стали оборонять, и едва-едва мать Пожарского спасла их от позорной смерти.

Пленных позапирали в темных и сырых тюрьмах. Другие сосланы были в Ярославль, в Галич, на Белоозеро, в Вологду. Будзило из тюрьмы писал к королю, описывал крайность, которая заставила их сдаться, умолял обратить на пленных внимание и избавить их от тяжелой неволи. Впоследствии, однако, новоизбранный русский государь приказал их содержать не как узников, а, по выражению посла, дававшего о них объяснения немецкому императору[1079], как «учтивых» людей; велел давать им кормы довольные и на платья. Через посредство Струся, пересылавшего нужное жене своей в Польшу, царь отправлял своему пленному отцу деньги. Вообще уже при Михаиле Феодоровиче, до размена пленных, с ними обходились так хорошо, что они позволяли себе даже буянить.

[1079] Сноски: 1079
Пам. дипл. сношн., II, 1221.

V. Прибытие короля Сигизмунда с Владиславом в Московское государство. – Стан под Волоком Ламским. – Неудачное посольство в Москву. – Сигизмунд уходит домой. – Избрание в цари Михаила Феодоровича Романова

Освобождение Москвы не избавило еще русских от новых опасностей. Когда кремлевский гарнизон доведен был голодом до сдачи, король Сигизмунд был уже в Московском государстве. Долго до того времени Жолкевский, Ходкевич и другие паны уговаривали его выступить с сыном, чтобы спасти свое дело: все было напрасно. Король медлил. Наконец, только летом 1612 года, он прибыл в Вильну с королевою, с сыном Владиславом и целым двором. Были разосланы универсалы к войску, которое расположилось в южных провинциях и бесчинствовало. Оно не послушалось короля, не двигалось с места, не надеялось на уплату жалованья и предпочитало пользоваться грабежом в своем отечестве, чем идти искать счастья в чужой земле. Только пришли в Вильну, в конце августа, два пеших полка

под начальством Теодора Денгофа и Урзенберга. С ними отправился король в Оршу, а между тем 25 сентября послал в Москву Ивана Салтыкова с грамотою, где извинялся перед боярами тем, будто Владислав был нездоров и это помешало его прибытию на царство в надлежащее время[1080].

Только теперь король убедился, что с Москвою иначе сладить нельзя, как показать ей Владислава. Прождавши в Орше напрасно несколько времени новых сил, король в октябре двинулся далее и прибыл в Смоленск. Здесь стояла на квартирах еще часть войска, но оно не хотело следовать за Сигизмундом; не склонили рыцарства его просьбы и обещания; только тысяча двести конных, уговоренные королем, решились идти за ним. С этими ничтожными силами король выехал из Смоленска, с ним ехал Владислав. Отец вез его теперь напоказ московским людям как избранного ими царя. Дурное предзнаменование огорчило его, когда он с сыном выезжал из ворот, называемых Княжими. Оборвалась цепь, на которой висел опускной воротный щит; король и Владислав должны были повернуть назад и выехать из Смоленска другими воротами. «Не

[1080] Сноски: 1080
С. гос. гр., II, 607.

будет успеха предприятию!» — говорили после этого. Король прибыл в Вязьму. Туда примкнул и Ходкевич со своим отбитым от столицы войском. Еще не знали ни король, ни Ходкевич о том, что сделалось с московским гарнизоном; они спешили его выручать. Выступивши из Вязьмы, король прибыл в село Федоровское; тут принесли ему весть, что поляки в Кремле погибли от голода, остальные сдались и столица в руках Пожарского. Никто не приходил на поклон ни к Сигизмунду, ни к Владиславу. Кругом бродили шиши, хватали и замучивали польских воинов, когда они отправлялись за продовольствием.

Но под Москвою весть о приезде короля наделала всполоху. Воеводы, покончивши поляков, стали было по-прежнему ссориться между собою, и казаки по-прежнему завраждовали с земскими, как вдруг от пойманного посланного в Москву гонцом сына боярского Енгильдеева узнали, что Сигизмунд с Владиславом в Вязьме. Весть эта принесена была неточно. Енгильдеева пытали, но он не сказал, сколько у короля войска; московские люди могли ожидать больших сил, а еще более опасным, чем всякое войско, казалось появление Владислава. Боялись, что русские, как только узнают, что Владислав, давно ожидаемый

царь, наконец приехал, вспомнят свою присягу, скажут, что, стало быть, Сигизмунд их не обманывал, и примут Владислава на царство. Тогда стоявшим под Москвою и выгнавшим польский гарнизон было бы худо. Прибытие Владислава замедлило выбор нового государя, который иначе должен был начаться тотчас по изгнании поляков из Кремля. Король из Федоровского шел на Погорелое Городище. Сидевший там воеводою князь Шаховской стал обороняться, но в то же время послал к Сигизмунду сказать так: «Иди, король, под Москву; будет Москва за тобой, и мы все будем».

Король нашел этот ответ справедливым, оставил Городище и подошел под Волок Ламский. Время текло. Кончался ноябрь, начиналась зимняя стужа. Король заложил стан под Волоком и отправил в Москву двух бывших в посольстве с Филаретом князя Данила Мезецкого и дьяка Грамотина уговаривать московское войско признать Владислава; с ними поехали Самуил Зборовский и Андрей Млоцкий с отрядом в тысячу человек. Воеводы, узнавши о таких гостях, не только решились не входить с ними ни в какие переговоры и толки о Владиславе, а еще выслали против них рать, чтобы прогнать от города и не допустить

их, ставши вблизи под предлогом переговоров, рассеивать смуту в русском таборе.

Поляки взяли в плен одного смольнянина по имени Ивана Философова и стали допытываться у него, много ли под Москвою войска, есть ли запасы и есть ли желающие видеть королевича на царстве. Философов отвечал: «Москва людна и хлебна; все обещались не брать королевича на царство и умирать за православную веру!» С этим ответом поляки и Грамотин воротились под Волок. Князь Мезецкий с обратного пути убежал к своим под Москву. Между тем самый Волок не думал отдаваться Сигизмунду. Засевшие там казаки отбивали приступы. Сигизмунд видел образчик, как будут встречать московские люди царя, которого теперь не впору им навязывали[1081]. Морозы становились все суровее. Продовольствие истощалось. Подвоз из Смоленска был затруднителен, а собирать запасы в Московском государстве

[1081] Сноски: 1081

В народной песне об этом событии король требует от воеводы сдачи Волока. Воевода отвечает:

«Ты, б… н сын, король и с королевою!
Не дошедши Москвы, ты похваляться стал.
Я силу твою конем потопчу,
Кольчужников и латников всех в полон возьму!»

Киреевск. Вып. VI, 188; вып. VII, 122.

мешали бродившие по пути шайки шишей[1082].

Кругом край был опустошен, а посылать подальше собирать запасы нельзя было: сил было мало. Ничего не оставалось Сигизмунду с Владиславом, как уйти назад, и он ушел со срамом в Смоленск, а из Смоленска — в Польшу[1083].

Московские воеводы оповестили грамотою от 21 декабря по всей земле об избавлении Москвы и приказали повсюду петь молебны, звонить в колокола на радости, что Москва освободилась от польских и литовских людей. Тогда оставалось выбрать царя. Еще из Ярославля Пожарский писал во все города, чтобы отовсюду присылали выборных людей для этого важного дела. Но, вероятно, число присланных оказалось недостаточным или, быть может, несостоятельным,

---

[1082] Сноски: 1082

В одной из грамот царя Михаила Федоровича 1619 года говорится о крестьянине Иване Сусанине, которого польские и литовские люди, пришедши в Костромской уезд около этого времени, пытали немерными муками и допрашивали: где находился тогда Михаил; но Сусанин, зная, где он находился, не сказал им, и они его замучили до смерти. В статье «Иван Сусанин», напечатанной в первом томе «Исторических монографий и исследований», показана несостоятельность позднейших подробностей об этой личности, и именно несообразность с обстоятельствами известия о приходе польских и литовских людей в Костромской уезд, а равно и невозможность, если бы они в самом деле туда приходили, ограничиться спросом и пытками одного только лица. Правдоподобно будет допустить, что такое происшествие могло случиться не в Костромском уезде, а где-нибудь поближе к Волоку, где стояли тогда польские и литовские люди. Последние должны были знать о желании русского народа избрать Романова, и очень

›››

естественно было дать какому-нибудь разъезду, который отправлялся за продовольствием, поручение разведать, где находился Михаил Романов. Отправленные в разъезд могли схватить крестьянина из вотчины Михаила и допрашивать его, а других русских, которые могли быть при этом, не трогать, если те были из других местностей, не принадлежали Романовым и, следовательно, не возбуждали подозрения, что они знают о местопребывании Михаила. Эти последние и могли принести об этом событии весть в Кострому. Зять Сусанина, просивший через семь лет себе вознаграждения за смерть тестя, мог не знать в точности, где убийство совершилось, а подьячие, не всегда наблюдая точность выражений в грамотах, могли поставить известие о приходе польских и литовских людей в Костромской уезд в том смысле, что они шли, направляясь в Костромской уезд.

[1083] Сноски: 1083

В народной песне это отступление так описывается:

«За досаду королю показалось,
Взволновался король, сам боем пошел,
Да насилу король сам-третей ушел.
Бегучи, король заклинал сам себя:
“Не дай, Боже, ходить на Святую Русь
Ни мне, королю, ни брату мому!”
И еще этим король обесчестил сам себя».

Киреевск. Вып. VII, 122.

притом же бояре и вообще сановники, бывшие прежде с поляками в Кремле, избегая народного мщения, разъехались из Москвы. Нужно было их собрать. На совете, который воеводы держали с людьми всяких чинов, бывшими тогда в столице, порешили послать и послали еще новую грамоту во все города, чтобы везде выбирали лучших и разумных людей для избрания государя на государства Владимирское, Московское, Новгородское, и на царства Казанское, Астраханское и Сибирское, и на все русские государства, кого Бог даст[1084]. «Пусть, — говорили тогда, — избрание сие совершится от Бога, а не от человек»[1085].

Но пока состоялось желанное избрание, стан под Москвою представлял величайшую неурядицу. Знатные воеводы и бояре ссорились между собою; у многих были подобранные партии: люди служилые, подделавшись к тому или другому из бояр, соблазняли их тем, что обещали для них из себя готовую силу против соперников. Некоторые из бояр думали получить царский венец, но кто именно этого тогда домогался — не сохранилось известий. Между тем у казаков с земскими

[1084] Сноски: 1084
Kobierz. Hist. Viad., VII, 451–455.

[1085] Сноски: 1085
С. гос. гр., III, 2.

продолжались раздоры. Казаки страшно бесчинствовали. Их отряды бегали из-под Москвы по разным краям, грабили и мучили жителей. По известиям хронографов, в первые месяцы после изгнания поляков из Москвы казаки так дурно вели себя, что русская земля страдала от них тогда еще хуже, чем прежде. Все, что успевали казаки награбить по окрестностям, под Москвою пропивалось и проигрывалось в карты и кости. Бешеное военное разгулье кипело в казацком таборе, состоявшем в значительном числе из малорусов: день и ночь гремели бандуры, сурмы, цимбалы, кобзы, гусли; разливались веселые песни, пилось вино, плясали веселые женщины, ломались со своими непристойными действами скоморохи. Благочестивые люди страшились, чтобы Господь не навел опять какого-нибудь горя на землю русскую, уж и так запустевшую «от беззаконных люторов и мерзких отступников латин, варваров татар и разбойников черкас»; и троицкие власти написали велеречивое послание, убеждали воевод прекратить ссоры, напоминали им о любви Христовой, а наипаче убеждали воздерживаться от разгула: «Облекитесь в Господа Иисуса Христа и не творите в похотях попечения плоти; вы, сущие во власти, ныне беззаконно и богопротив-

но пируете с гуслями, сурмами и цимбалами и всяческими смехотворениями, обливаючи себя сквернословием и буесловием»[1086].

Но при попойках и забавах все-таки шли и работы: обновляли церкви, строили жилье. Москва начинала принимать вид города.

Из одного письма Гонсевского[1087] видно, что выборные для избрания царя съезжались в Москву два раза. Гонсевский в то время, когда король предпринял свой поход, ходил с отрядом под Осташков и, ничего над ним не сделавши, воротился; тогда он поймал торопецких выборных людей, которые, по их показанию, ездили в столицу для избрания царя, но не сошлись и уезжали назад. Пойманные дети боярские говорили, что избрание последует на новом съезде 23 марта. По всем соображениям, первый съезд происходил в декабре 1612 года. Мы, к несчастию, не знаем никаких подробностей об этом важном событии. Второй съезд начался ранее того срока,

---

[1086] Сноски: 1086

А. А. Э., II, 373.

[1087] Сноски: 1087

Хранится в рукописях Радзивилловского архива в Несвиже; там говорится: Ztamtąd (от Осташкова) do swego kosza wracaiąc się natrafil na poslow toropeckich ktòrzy do stolicy na obieranie cara posyłani byli, ale sie nań nie zgodziwszy nazad nię z czym odjachali, stych kilkanastu synow boiarskich żywccem poimano: powiadaią ze clectia znown miala być pro 23 Marza и проч.

какой показывали Гонсевскому наши пленные. Съехались в феврале.

Когда съехалось в Москву достаточное число выборных людей, определили тридневный строжайший пост: мужчины, женщины и малые дети не должны были ничего отведывать в эти дни. Меж тем служили молебны, просили Бога вразумить выборных и руководить их важным делом. Хотели, чтобы избрание было указано свыше, чтобы совесть избирателей была спокойна, чтобы народ потом знал и верил, что он повинуется Божьему персту, а не человеческому измышлению.

По совершении поста начался выбор. Прежде всего единодушно все объявили, что отнюдь не выбирать никакого иноземца, ни законопреступного сына Марины. Из Новгорода прибыл на собор Богдан Дубровский, в качестве посланника от Делагарди, и объявил, что королевич уже идет в Новгород, напоминая, что из Ярославля ссылались об этом. Ему велели передать Делагарди такой ответ воевод и выборных людей: «У нас и на уме того нет, чтоб нам взять иноземца на Московское государство; а что мы с вами ссылались из Ярославля, так это мы делали для того, чтобы вы нам в те поры не помешали и не пошли на наши морские города; теперь же Бог Московское

государство очистил, и мы ради с помощью Божьею идти биться за очищение и Новгородского государства». Никто, если б внутренне и хотел, не посмел тогда заикнуться об избрании какого бы то ни было иноземца. Все согласились на то, чтоб выбрать достойного царя из своих.

Казалось, нечего было даже рассуждать. Заранее можно было предвидеть, что выбор падет на Михаила, сына Филаретова. Еще в 1610 году Жолкевский видел, что те из московских людей, которые не желают иметь царем иноземца, желают — одни Голицына, другие Михаила Романова. Теперь Голицына не было. Михаилу никто не мешал. Никакой другой род в Московском государстве не пользовался такою любовью, и никто не заслужил ее более, как род Романовых. В народном чувстве не изглаживалась память добродетельной Анастасии; помнили любимого в свое время народом Никиту Романовича: не только никто на него не мог сказать, чтобы он был причастен к мучительствам царя Ивана Грозного, но о нем сохранились предания, что он постоянно заступался за мучеников, хоть и самому ему за то грозил гнев царский. Свежи были в народном воспоминании страдания его детей при Борисе, печальная смерть трех братьев в из-

гнании, заточение Феодора и его супруги. Народ в то время ужасно выстрадал; у него и сочувствие обращалось к такому роду, который также выпил горькую чашу, да еще безвинно. У русского народа с Романовыми поэтому стала сердечная, крепкая связь взаимных страданий. Наконец, последний подвиг Филарета, его твердость в деле посольства, его плен во вражеской земле — все давало ему в народном воображении значение мученика за святую веру, за Русскую землю, за правое дело. Все это должно было склонять все сердца, усиливать все побуждения в пользу Михаила. Не обошлось, однако, без волнений и козней, пока еще не съехались все на собор и не приступили к решительному выбору. Домогались некоторые из бояр получить венец, подкупали голоса, подсылали своих пособников к выборным: это производило волнение. Есть известие, что были голоса в пользу Василия Голицына, который находился в Польше в плену; но его положение не давало хода таким заявлениям; тоже некстати вспоминали о возвращении короны Шуйскому; было мнение в пользу Воротынского, но против этого возразили тотчас, что он уже стар. Федор Шереметев, родственник Романовых, склонял думных людей в пользу Михаила Федоровича и

указывал, что народ весь его одного хочет[1088].

Начались письменные извещения дворян, что они желают царем Романова, а потом последовало такое же заявление и от казаков о том, что ближе всех к прежнему царскому роду — Романовы. Толпа из дворян, детей боярских и казацких атаманов пришла к Авраамию Палицыну, который жил тогда в Богоявленском монастыре на Троицком подворье. Принесли ему челобитную, подписанную многими об избрании Романова, кланялись и просили, чтоб Авраамий представил эту челобитную Освященному собору, боярам и всем земским людям. Палицын похвалил их за то и представил это мнение. В это время прибыл из Калуги гость Смирной с челобитной от Калуги и от всех северских городов: и в ней было пока-

[1088] Сноски: 1088

Известный наш даровитый писатель П. И. Мельников, занимавшийся сам некогда смутною эпохою, много видевший в разных местах старых актов, относящихся к этим временам, сообщил мне, что знает о существовании письма Федора Шереметева к Голицыну, находившемуся тогда в плену, где было сказано: «Выберем Мишу Романова, он молод и еще глуп». Смысл этого письма таков, что бояре склонились к выбору Романова, между прочим, потому, что, при его молодости и неопытности, думали править сами и поступать по своей воле. После выхода в свет первого издания этого сочинения г. Мельников в письме к ныне живущему потомку Шереметева заявлял, будто переданное им выражено мною неточно. Я сам никогда не видал письма Федора Шереметева и за подлинность его не ручаюсь, но утверждаю, что передал именно то, что слышал от Д. И. Мельникова.

зано, что во всех городах не хотят никого видеть царем, кроме Михаила Федоровича Романова. Время дотянули до 21 февраля, когда была первая неделя Великого поста. Не было в Москве еще боярина князя Мстиславского, не было и некоторых выборных. Между тем казаки, составлявшие главную военную силу, громко кричали, что не допустят иного царя, кроме Михаила Федоровича. В этом желании и у земских, и у казаков не было розни. Прибыл наконец Мстиславский, собрались все выборные. Тянуть дела нельзя было долее.

В неделю православия собрали всех выборных на Красную площадь. Набралась туда громада всякого звания народа обоего пола и вооруженные толпы казаков, готовые поднять оружие, если б не сделалось по их воле. Рязанский архиепископ Феодорит, Авраамий Палицын, архимандрит Новоспасского монастыря Иосиф, боярин Василий Петрович Морозов — все сторонники Михаила — взошли на Лобное место. Но им не пришлось ни говорить, ни спрашивать. Прежде чем один из них успел сказать слово, все сборище в один голос закричало: «Михаил Федорович Романов будет царь-государь Московскому государству и всей Русской державе!» «Се бысть по усмотрению всесильного Бога», — сказал Авраамий. После это-

го единодушного избрания не оставалось места боярским козням. Надобно было повиноваться голосу народа. Нам, к сожалению, неизвестны те пружины, которые употребляли в дело противники Михаила, но ясно, что, между прочим, скорому, беспрепятственному избранию Михаила помогло то, что казацкая громада, вместо того чтоб противодействовать земщине, как это делалось во многих случаях прежде, провозгласила его царем разом с земскими людьми. Это подало повод полякам говорить, что Михаила выбрали не бояре, а взбунтованное казачество. После избрания в Успенском соборе пели молебны с колокольным звоном и на эктении провозгласили новонареченного царя Михаила Федоровича. Молились Богу о том, чтобы греческая вера в Российском государстве сияла на всю вселенную, а пресветлое царское имя перед всеми великими государями было славно и страшно, к очищению, расширению и к прибавлению великих государств[1089]. Вслед за тем совершилась присяга новому царю по чинам, начиная от бояр до казаков и стрельцов.

В следующие затем дни земский собор снаря-

[1089] Сноски: 1089
Дворц. разр., I, 16.

дил посольство для приглашения нового царя. Выбраны были от Освященного собора, то есть от духовенства, те же, что в неделю православия выходили спрашивать народ: архиепископ рязанский Феодорит, троицко-сергиевский келарь Авраамий Палицын, два архимандрита, новоспасский и симоновский, и протопопы из соборов. От светских чинов должны были ехать двое бояр: Федор Иванович Шереметев и князь Владимир Иванович Бахтеяров-Ростовский, окольничий Федор Васильевич Головин, дьяк Иван Болотников, а с ними служилые люди из разных чинов по спискам, стольники, стряпчие, дворяне московские, дьяки, жильцы, дворяне и дети боярские из городов, головы стрелецкие, гости, атаманы, казаки, стрельцы и других чинов люди; посланным дали письменный наказ, по которому они должны были пригласить новонареченного государя. Отправивши это посольство, Земский собор послал гонцов в разные города с грамотами. Собор выбранных людей извещал всю Русскую землю, их пославшую, об избрании нового царя. Приглашались города петь молебны со звоном, благодарить Бога с молитвою о царском здоровье, о тишине и успокоении государства и пребывать под одним кровом и державою, под

высокою рукою христианского государя[1090].

Собор потом отправил грамоту к польскому королю, исчислил в ней все неправды, коварства и насилия поляков, не говорил об избрании Михаила, но извещал, что Московское государство никоими мерами не желает более иметь Владислава царем, изъявлял желание заключить с Польшей мир, просил возвратить задержанных послов и всех взятых в плен, со своей стороны был готов отпустить Струся и всех взятых в Кремле поляков; в грамоте было замечено, что пленные содержатся не в нужде, а в довольстве[1091].

VI. Посольство к Михаилу в Кострому. – Его прибытие в Москву и вступление на царство

Молодой, нареченный собором царь проживал тогда в костромском Ипатьевском монастыре, лежащем близ самой Костромы на углу, образуемом реками Волгою и Костромою и укрепленном твердыми каменными стенами. Был он построен

[1090] Сноски: 1090
Дворц. разр., I, 52.

[1091] Сноски: 1091
Собр. государ. грамот и догов., III, 22–31.

в XIV веке мурзою Четом, предком Годуновых, и, кажется, составлял их родовой монастырь. Борис Годунов в свое царствование украшал его и наделял вкладами. Вероятно, Димитрий подарил его Романовым как бы в вознаграждение за те страдания, которые потерпел этот род от рода Годуновых. Туда уехала старица Марфа, бывшая Ксения Ивановна Романова, с шестнадцатилетним сыном, после того как ей, вместе с боярами, пришлось освободиться из кремлевской осады. Посольство явилось в Ипатьевском монастыре 13 марта, во время вечерни; Марфа назначила ему приехать на другой день. Послы, для большей важности, пригласили костромских воевод, всех служилых и толпу жилецких людей обоего пола из костромского посада и окольных сел; матери несли и вели маленьких детей. Четырнадцатого марта, после обедни, двинулось из Костромы народное шествие при колокольном звоне: несли хоругви и иконы, в том числе иконы московских чудотворцев, заступников царственного града, и чудотворную Федоровскую икону Богородицы. Предание гласило об этой иконе, что в древности она была в Городце, а после разорения этого города татарами св. икона была перенесена в Кострому св. Федором Стратилатом и была най-

дена внуком Александра Невского, костромским князем Василием. О многих чудесах, совершившихся от этой иконы, рассказывалось в народе. Марфа с сыном вышли навстречу за ворота монастыря, приложились к иконам и показали нежелание принимать того, что им приехали предлагать; они не хотели идти за образами в соборную церковь. Едва упросили их, чтоб они пошли. После молебна в соборной церкви послы вручили Михаилу грамоту, прочитали по наказу длинную речь, извещали об избрании на царство, совершившемся в Москве, и просили ехать в царствующий град.

Последовал отказ. Михаил и мать его отговаривались тем, что избранный еще в несовершенных летах; Московского государства всяких чинов люди измалодушествовались, не прямили прежним государям своим; вспомянута была измена Федору Борисовичу и его убийство; вспоминали, как многие не стыдились служить тушинскому «вору», вспоминали низложение и насильное пострижение Шуйского. Говорили: «Московское государство от польских и литовских людей и через непостоянство русских людей разорено до конца; литовские люди вывезли царские сокровища: дворцовые села и черные волости, и

пригородки, и посады розданы в поместья дворянам и детям боярским и запустошены; всякие служилые люди бедны; чем миловать их, чем полнить государевы обиходы? Чем стоять против недруга польского и литовского короля и иных пограничных государств? Мне, — прибавила Марфа, — благословить сына на государство разве на одно погубление, для того, что отец его, Филарет митрополит, у короля в Литве в великом утеснении; сведает король, что по прошению и по челобитью всего Московского государства сын учинится царем, велит над отцом его, Филаретом, какое-нибудь зло сделать». На это послы объяснили, что с Годуновыми так сталось оттого, что Бог мстил за кровь праведного и беспорочного Димитрия, а Василия Шуйского выбрали немногие люди и по воле Божьей городá не хотели ему служить, и была в Московском государстве рознь и междоусобие; а теперь уже все люди в Московском государстве пришли в соединение, Михаила Федоровича выбрали всею землею и крест ему целовали, служить и прямить хотят и головы за него класть, и кровь свою лить до смерти. А чтобы король не учинил какого-нибудь зла отцу государеву, то из Москвы послали уже посланников и дают королю в обмен за государе-

ва отца многих польских людей. Старица Марфа и сын ее несколько времени отказывались: оно, во всяком случае, так следовало бы и из приличия; но для Михаила и на самом деле было мало привлекательного принимать царство в такое время. Употреблен был такой же оборот, как при избрании Бориса: объявлено, что если мать и сын откажутся, то Московское государство будет в конечном разорении, святые церкви и иконы и многоцелебные мощи будут в поругании, а все это взыщется на инокине Марфе и ее сыне. После этого, как бы испугавшись Божья гнева, Марфа Ивановна объявила, что благословляет сына на Владимирское и Московское государства и на все государства Российского царствия; а Михаил Федорович объявил, что, по многому моленью и челобитью, учиняется на царском наречении, и принял из рук Феодорита привезенный им царский посох как знак власти. Прежний посох, с которым он ходил (сообразно обычаю времени, по которому все знатные люди ходили всегда с посохом), он оставил в монастыре на память грядущим векам. Запели многолетие новому царю, потом все прибывшие подходили к царской руке.

После того новый царь с матерью и в сопровож-

дении всего посольства отправился в Ярославль и, прибыв туда 21 марта, поместился в Спасском монастыре. Он не решался ехать в Москву, которая еще была в развалинах; в самых царских покоях не было ни окон, ни кровли. Тут молодой царь скоро испытал, как тяжело бремя, которое на него возложила земля русская в такое ужасное время. Как узнали служилые люди, что наконец есть на Руси царь, так и обступили его в Ярославле и закидали челобитьями о поместьях.

В прошлые смутные годы многие, как мы видели, присваивали себе право давать поместья; на иное поместье было по нескольку грамот от разных лиц разным помещикам: те владели, получивши грамоту от Ляпунова, другие от Сигизмунда; в последнее время верстали вновь служилых людей Трубецкой и Пожарский. Теперь являлись челобитчики к царю с жалобами на воевод, обвиняли их, что они раздают и отнимают поместья без сыску; жаловались стольники, дворяне и дети боярские, что воеводы отнимают у них дворцовые села, которые до того времени были за ними. Явились к царю с челобитными казаки и стрельцы и просили денежного и хлебного жалованья, трогательно писали, что им есть нечего, что мерзнут без одежды, умирают без

помощи от ран.

К царю неслись отовсюду печальные вести, что везде на Руси казаки и разные воры ходят шайками, грабят и мучат людей. Царь не в силах был отвечать на все это, не только показать свою управу. Он написал о том в Москву Земскому собору, а сам остался в Ярославле. Земский собор просил царя идти скорее в Москву, но извещал его, что во дворце нет запасов; за сборами их отправились сборщики; денег нет ни в одном приказе; все Московское государство разорено вконец; иные уезды и города запустели. В украинных городах и Северской земле шла борьба с литовскими людьми и черкасами, в Рязанской земле — с Заруцким; на Псков покушались овладевшие Новгородом шведы. Некоторые из восточных русских земель тотчас же крест целовали новому царю, в том числе Нижний Новгород и другие; но юго-восточный край терпел от набегов ногайцев, а в Казани и понизовых городах мутил Никанор Шульгин и поджигал людей не целовать крест Михаилу; во многих городах и деревнях служилые люди, дворяне и дети боярские не слушали указов земского собора и не выходили на службу в Москву; откуда разъехались на житье; ужаснее всего было то, что, казалось, не унималась распущенность без-

государного времени. Михаил Федорович был в тревоге и медлил; и не ранее 13 апреля переехал из Ярославля в Ростов.

Отсюда он отписал в Москву, что должен идти мешкотно: подвод нет; провожавшие его служилые люди должны были идти пешком. Видно было, что для царя что ни шаг, то новая тревога, новое раздумье. Были, правда, вести и ободрительные: пришло известие, что Казань покорилась и строптивый Никанор Шульгин целовал крест избранному всею землею царю. Заруцкий не думал покоряться, разбойничьи шайки не уменьшались.

Из Ростова прибыл царь к Троице. 23 апреля на дороге, на стану́ в селе Сваткове, явились к государю на глаза израненные и донага ограбленные дворяне и дети боярские; они извещали, что недалеко от Москвы, в Мытищах и на Клязьме, на них напали казаки, изранили, держали у себя под стражею на станах и хотели перебить, но они развязались и ушли; сверх того, пришло известие, что воры-казаки напали на город Дмитров, совершили там бесчинства, и дмитровцы разбегаются; по селам и деревням везде происходили убийства и мучительства. Эти происшествия очень поразили молодого царя и мать его: 26 апреля

она говорили митрополиту казанскому Ефрему и бывшим с ним особам, духовным и светским, что когда царю били челом о царстве, тогда уверяли, что все Московское государство в единомыслии и воровства нет, а теперь оказывается, что это была ложь, и царь не хочет идти в Москву на свой царский престол. Насилу упросили его, и Михаил отослал в Москву грамоту к митрополиту ростовскому Кириллу, бывшему главным в Освященном соборе за неимением патриарха, и ко всему земскому совету Москвы, где понуждал, чтоб употреблены были меры к прекращению разбоев, тем более что в Москве нет никакой торговли и жители, которые в московское разоренье разбежались, не могут теперь возвратиться и заселить столицу. Земский собор, получив эту грамоту, велел прочитать ее в Успенском соборе перед казацкими атаманами и казаками, а те сказали, что они души свои на том дают и крест целуют, хотят великого государя слушать, будут сыскивать воров и класть им наказание. Тогда по всей Москве и в подгородных слободах устроили объезжих голов, которые должны были наблюдать, чтобы не было бесчинств, и атаманы обязывались устроить между собою так, чтобы через день двое атаманов у третьего осматривали

его станицу в подмосковных таборах и, как только проведают про какое-нибудь воровство, не потаят его, а выдадут преступников. По близким околицам разосланы были отряды для преследования воров и доставки их в Москву; но это было возможно только близ Москвы: вдаль посылать нельзя было отрядов; притом дворяне и дети боярские самовольно разъехались. С отпискою такого содержания земский совет послал к царю суздальского архиепископа Гермогена и князя Ивана Воротынского, Василия Петровича Морозова и окольничего князя Данила Ивановича Мезецкого с людьми всяких чинов. Они уверяли, что земский совет учинит заказ крепкий, чтобы воровства не было, и просили умилосердиться над православными христианами, идти, не мешкая, к Москве, чтобы учинить радостными всех людей Московского государства.

Было еще и другое недоумение. Царь приказывал устроить и изготовить себе к своему приходу Золотую палату, которая служила некогда для царицы Ирины, с проходными сенями, и палату Мастерскую с сенями — все до церкви Рождества Богородицы, а для своей матери деревянные хоромы царицы, жены царя Ивана Васильевича. Земский совет отписал, что изготовят ему палату

Золотую, что от Благовещенья к Красному крыльцу с сеньми, переднюю палату и две комнаты, где жил царь Иван, которые назывались: чердак царицы Анастасии Романовны, да Грановитую палату, да мыльню, а для матери — те хоромы в Вознесенском монастыре, где жила царица Марфа Федоровна; но царь не считал годными для матери хоромы в Вознесенском монастыре, может быть, по неприятным воспоминаниям о судьбе Марфы Федоровны, уже тогда умершей, и требовал для матери непременно тех хором, на которые указал прежде. Теперь новые послы объявили, что нет возможности скоро сделать поправок: палаты все худы, не покрыты, полов нет, ни лавок, ни окончин, ни дверей, и хоть бояре велели их делать, но скоро нельзя… Вместе с тем последовала челобитная от *Митьки* Трубецкого и *Митьки* Пожарского, чтобы царь дозволил видеть свои ясные очи на встрече дворянам, детям боярским, приказным людям, жильцам, атаманам, казакам и всем служилым людям, которые под Москвою терпели голод и великую нужу, не щадя голов своих бились с разорителями христианской веры и приводили других не уходить

из-под Москвы, не увидя милости Божьей[1092].

Новые послы застали царя и мать в Братошине 1 мая, в субботу. На их просьбы и уверения царь и мать его сказали, что, услышав, как в Москве и по дорогам совершаются беды, грабежи и кровопролития, они не хотели было идти в Москву, но по прошению Ефрема, митрополита казанского, Феодорита, архиепископа рязанского, и по челобитью дворян и всяких чинов Московского государства пожаловали их, идут в Москву и будут в тот же день в Тайнинском, а на другой день, в воскресенье 2 мая, прибудут в столицу. Вечером прибыл царь в Тайнинское, где был ему последний стан и где изготовлено было восемь шатров и палаток. На другой день утром, в Неделю жен-мироносиц, новый царь въехал в возрождающуюся из пепла столицу. Духовенство с иконами, всяких званий люди от мала до велика встречали его. Царь с матерью прибыл прежде в Благовещенский собор; там отслужили молебен; царь принял благословение от духовных, а потом стали подходить к руке его всех чинов люди и здравствовали его на великих государствах Российского царствия. «Дай Бог, — говорили

[1092] Сноски: 1092
Дворц. разр., I, 1207–1208.

царю, — чтобы ты многолетен и счастлив был в неисчетные лета; целуем тебе все крест служить и прямить до конца живота своего!»

11 июля Михаил Федорович венчался на царство. Дмитрий Михайлович Пожарский был пожалован боярином; Минин получил звание думного дворянина. Но более их и более всех был награжден Димитрий Тимофеевич Трубецкой, боярин Тушинского вора, сподвижник Заруцкого. Он не только остался при законном царе с саном, пожалованным ему вором, но еще получил во время безгосударное от великого Земского собора вотчину Вагу, богатую область, которая была некогда у Годунова и Шуйских. И государь, еще не твердый в своей власти, утвердил ее за ним в награду за его великие подвиги и пользу, оказанную земле Русской[1093].

[1093] Сноски: 1093

А. Ф. Бычков сообщил нам в разговоре, что он видел приписку к одной рукописи, из которой видно, что Трубецкого даже избирали в цари на Земском соборе, перед избранием Михаила.

VII. Судьба Заруцкого и Марины с ее сыном, нареченным Иваном Димитриевичем. – Конец Смутного времени и значение этой эпохи в русской истории

Когда Москва праздновала возвращение к порядку и после ряда похитителей увидела наконец на престоле царя, действительно избранного землею и, следовательно, вполне законного, на юге государства подымалась опять воровская смута. Заруцкий и Марина провозглашали наследником престола трехлетнего Ивана Димитриевича и накликали к себе вольницу. Казаки великорусские в большинстве уже обращались к новоизбранному царю, надеясь, что этот царь, избранный с их участием, будет царем желанным и для них; но по Московской Руси бродило множество черкас (малорусов); они были чужие Московскому государству и по сердцу, и по преданиям, и готовились терзать его. Они стеклись к Заруцкому. Еще с дороги в Москву царь назначил против Заруцкого главным воеводой князя Ивана Никитича Одоевского. Велено ему помогать воеводам

украинных городов Михайлова, Зарайска, Ельца, Брянска, а также Суздаля и Владимира. Послали сборщиков собирать нетчиков, детей боярских, в Рязань, Тарусу, Алексин, Тулу и другие города. В исходе апреля 1613 года Одоевский с собранными силами двинулся к Лебедяни, где был Заруцкий со своими черкасами. Он ушел к Воронежу. Одоевский погнался за ним, и под Воронежем в конце мая произошел между ними упорный бой. Бились целых два дня. Заруцкий был разбит. Взяли у него обоз, коши, знамена. Заруцкий убежал за Дон, к Медведице[1094]. Одоевский воротился в Тулу. По-видимому, дело было покончено с ним. Кажется, после того на Заруцкого мало обращали внимания до весны следующего года. Но Заруцкий очутился в Астрахани и там себе нашел притон. Осенью он утвердился в этом городе[1095].

У Заруцкого были тогда широкие затеи; он за-

[1094] Сноски: 1094

Дворц. разр., I, 94.

[1095] Сноски: 1095

Есть подозрение, что он называл себя царем Димитрием. По-видимому, ему под этим именем писались и подавались челобитные, хотя, конечно, все должны были бы знать, что он, Заруцкий, лицо чересчур известное по всей Руси. Челобитные эти (А. И., II, 430) писались не на одно его имя, но рядом с ним обращались к государыне царице и великой княгине Марине Юрьевне, и государю царевичу и великому князю Ивану Дмитриевичу. Но, быть может, эти челобитные писаны еще прежде, к тому вору, который прежде прибытия в Астрахань Заруцкого назывался Димитрием и которого судьба неизвестна.

думал накликать на Русь силы персидского шаха Аббаса, втянуть в дело и Турцию, поднять юртовских татар, ногаев, волжских казаков, стянуть к себе все бродячие шайки черкас и воров Московского государства и со всеми идти вверх по Волге, покорять своей власти города. Дело его, казалось, могло пойти успешно — при крайнем недостатке средств, необходимых для защиты, при общем обнищании государства. Заруцкий захватил рыбные учуги и ловли и обратил их доходы в свою пользу, лишив, таким образом, Московское государство этого источника. Астраханский воевода Иван Хворостинин воспротивился было заводимой смуте. Заруцкий убил его, перебил с ним вместе многих лучших людей. Овладевши Астраханью, он освободил содержавшегося в тюрьме ногайского князя Джан-Арслана, врага начальствовавшего над юртовскими татарами Иштерека. Последний признал уже избранного Русью царя и отправил своего мурзу бить ему челом, как вдруг Заруцкий послал против него татар джанарслановых и воров своих, и они сказали ему: «Весь христианский мир провозгласил государем сына царя Димитрия. Служи и ты, дай подписку, дай сына своего аманатом, да смотри не хитри, не веди с нами пестрых речей, не то мы

подвинем на тебя Джан-Арслана с семиродцами, твоими врагами, и пойдем сами на тебя». Перед татарами Заруцкий не называл себя Димитрием, как его называли в астраханских челобитных. Иштерек должен был исполнить требование; его татары волновались; он не знал, кто в самом деле крепче: тот ли царь, которого выбрали в Москве, или тот, которого признавали в Астрахани. Заруцкий взял у него вместо одного сына двух, обманом — как выражался отец в своем письме[1096]. Иштерек со своими мурзами шертовал Заруцкому на том, что весною поможет идти вверх по Волге под Самару и под Казань. Подобно Иштереку шертовали Заруцкому другие татарские князья — Тильмамет и Каракелмамет: один дал ему в аманаты сына, другой — брата[1097]. Заруцкий надеялся на татар и ласкал их; они с утра до вечера ели и пили у него; иногда он с мурзами и сыновьями Иштерека ездил гулять верст за пять и за шесть от Астрахани; отряд татар, человек в пятьсот или шестьсот, провожал его при

[1096] Сноски: 1096
А. И., III, 444.

[1097] Сноски: 1097
А. И., III, 421.

этом[1098]. Из них он посылал в темниковские и алатырские места[1099] подъезды — проведывать калмыков. Татары более всего удерживали его власть в Астрахани[1100]. Собственно астраханцев было тысячи три, и они были мало расположены к нему; но у Заруцкого было до тысячи воровских казаков, кроме татар, стоявших под городом ордою; с этими силами он принуждал повиноваться астраханцев. Перед зимним Николиным днем Заруцкий, постоянно находившийся в Каменном городе, послал на посад казака Тимофея Чулкова с грамотою и велел всяких чинов людям прикладывать руки, но никому не дозволил посмотреть в грамоту; астраханские попы и дьяконы подписывались, а за ними прикладывали руки безграмотные миряне, и никто не знал, к чему пристают они все. Тех, которые противились или после показывали свое нерасположение к Заруцкому, хватали ночью, мучили огнем и бросали в воду. Каждый день кого-нибудь казнили; кровь лилась. Зато каждый день Марина думала

[1098] Сноски: 1098
А. И., III, 412.

[1099] Сноски: 1099
А. И., III, 424.

[1100] Сноски: 1100
А. И., III, 412.

о возможности внезапного восстания. Она не велела звонить рано к заутрени, как будто для того, что ее сын полошится от звона. Это у ней делалось оттого, как пояснил один из убежавших астраханцев, что она боялась «приходу»[1101]. Заруцкий отправил посольство к шаху[1102] и отдавал Персии в подданство Астрахань: этим он думал втянуть Персию с Московским государством в войну. Посланы были «прелестные» письма к волжским казакам и к донским. Донские решились оставаться в верности избранному по желанию казаков наравне с земскими людьми московскому царю, но между волжскими, состоявшими из сброда разных беглецов, живших станицами по берегам Волги, ниже истребленного тогда Саратова, и по волжским притокам, произошло разделение: люди молодые увлеклись «прелестию» и готовились весною идти вверх по Волге до Самары. «Нам, — говорили они, — куда ни идти, лишь бы зипуны наживать». Двое волжских атаманов, Неупокой-Карга и Караулко, находились в Астрахани у Заруцкого и оттуда волновали своих собратий на Волге. Были из

[1101] Сноски: 1101
Ibid.

[1102] Сноски: 1102
Посланы: Иван Хохлов, Яков Гладков, Богдан Некрачеев-Караган. Ibid.

волжских атаманов и такие, что не хотели идти с Заруцким, но обманывали его: надеялись выманить у вора жалованье и дожидались прихода персидских судов, которые должны были, как распространяли пособники Заруцкого, прийти на помощь для принятия Астрахани под руку персидского шаха. Они надеялись их ограбить[1103]. Всю зиму Заруцкий закупал татарских лошадей, часть лошадей держал в городе, в стойлах, гораздо бóльшую отправлял кормиться на отары к татарам, изготавливал струги и перетаскивал на другой берег[1104], готовился к весеннему походу, рассылал казаков по Руси собирать охотников до воровства[1105] и больше всего обнадеживал своих воров скорым приходом помощи из Персии. Носились в Астрахани слухи, будто шах писал в Астрахань: «Что вам надобно, пишите ко мне и будьте надежны». Но бывший в Астрахани персидский купец, по имени Муртаза, говорил добрым людям в Астрахани: «Шах Астрахани не возьмет и людей волжским ворам в Астрахань

[1103] Сноски: 1103
А. И., III, 424.

[1104] Сноски: 1104
А. И., III, 412.

[1105] Сноски: 1105
А. И., III, 413.

не пришлет, и казны им не даст, и не захочет ссориться с Московским государством»[1106]. Надежда Заруцкого на татар также не могла быть очень прочною. Они отстали бы от него, как только придет московское войско и им станет очевидно, что Московское государство в силах одолеть и уничтожить астраханское воровство. Заруцкий беспрестанно открывал между астраханцами себе врагов, беспрестанно казнил их и мучил, и беспрестанно убегали из Астрахани его противники, спасая жизнь.

Зима приходила к концу. В Московском государстве принимались меры к подавлению воровства. Царь поручил очищение Астрахани боярину князю Ивану Никитичу Одоевскому; товарищем ему дан был окольничий Семен Васильевич Головин, некогда шурин и сподвижник Скопина; дьяком у них был Юдин. В марте они отправились в Казань собирать войско.

В то же время посланы были к Заруцкому грамоты от царя и от Освященного собора духовенства. В царской грамоте было, между прочим, сказано к Заруцкому: «Чтоб ты, вспомня Бога и душу свою и нашу православную крестьянскую

[1106] Сноски: 1106
А. И., III, 412.

веру и видя на нас, великом государе, и на всем нашем великом государстве Божью милость, и над врагами нашими победу и одоление, от таких непригожих дел отстал и снова кроворазлития в наших государствах не всчинал, тем души своей и тела не губил; во всем великому государю добил челом и вину свою принес, а мы, великий государь, по своему царскому милостивому нраву тебя пожалуем: вины твои тебе отдадим и поправим вины твои нашим царским милосердием, и впредь те твои вины воспомяновены не будут, а се тебе наша царская грамота опасная»[1107]. Освященный собор в своей грамоте подробнее исчислил вины Заруцкого и извещал, что, по преданию св. отец, поведено духовным о заблудших овцах пещись и приводить на истину, и потому они уговаривают Заруцкого принести повинную государю и обнадеживают его царскою милостью, а сами ручаются за истину царского слова. «И ты бы, — писано было, — той царской грамоте верил: инако государево слово не будет». За непослушание грозили Заруцкому царским гневом и Божьим взысканием в день Страшного суда. Таким образом, власть употребила прежде

[1107] Сноски: 1107
А. А. Э., III, 64–65.

все кроткие меры, чтобы дать возможность этим остаткам смутной эпохи получить прощение и забвение наравне со всем, что в прошедшие годы наносило Русской земле тягости и разорения, чтобы потом, когда никаких увещаний не послушают, можно было достойно и праведно наказать их. Были, без сомнения, уверены, что увещания не послужат к пользе, и в одно и то же время, когда писали Заруцкому, обращались грамотами к жителям Астрахани и увещевали их отстать от Заруцкого и Маринкина злого душепагубного заводу и умышленья и принести вины свои государю, а государь обещал всем прощение и забвение прошлого. Писаны были тогда в одно и то же время от царя, Освященного собора и от бояр грамоты к донским и волжским казакам; извещали их, что с князем Одоевским отправлено к ним жалованье — деньги, сукна, селитра, вино. Побуждали их не верить ни в чем злодейской прелести Ивашка Заруцкого и Сандомирского дочери, быть в соединении неотступаемом со всем великим Российским государством и идти на государеву службу наспех за православную веру и за разоренье великих Российских государств, и за свою христианскую природу и за отечество. В этих грамотах исчислялись подробно от на-

чала совершенные злодеяния и вины против Московского государства Ивашка Заруцкого и некрещеной еретицы польки Маринки, которая, по ссылке с Жигимонтом королем и папою римским, хотела в Российском государстве попрать истинную православную христианскую веру и учинить римскую и люторскую и иные от святых отец проклятые и богомерзкие веры.

Одоевский со товарищи, прибывши в Казань, отправил гонцов по соседним городам с грамотами, где требовалось доставить на плавную службу под Астрахань указанное в грамотах для каждого города число ратных людей с оружием: из иных городов с пищалями и рогатинами, на которых должны быть непременно прапоры; из других — только с лучным боем и с рогатинами[1108].

[1108] Сноски: 1108

Вятка должна была поставить триста человек, Нижний — шестьсот, Алатырь — сто, Арзамас — сто, Свияжск — двадцать три, Ядринск — семьдесят пять, Малмыж — двадцать пять, Кузьмодемьянск — сто двадцать; из Чебоксар следовало прислать двадцать пять, из Курмыша — сто пятьдесят, из Царевосанчурска — сто, из Балахны — пятьдесят, из Лаишева — семьдесят, из Яренска — сто человек. Нижний был исправнее всех. Во многих из прочих городов возникало замедление. В Вятке, Курмыше, Кузьмодемьянске, Ядринске не могли найти стругов. В Ядринске даже брали их насильно у жителей. В Чебоксарах, Курмыше, Ядринске и отчасти в других не могли собрать детей боярских, а в Лаишеве — «бусурман». Воевода должен был уже в мае посылать нарочных на счет неисправных городов. В Царевосанчурске не было никакого оружия, в других городах оказывалась также скудость оружия. Это показывает истощение сил того края, когда и такое малое число людей трудно было доставить в надлежащем виде и в свое время.

Между тем в апреле с севера, из-за Онеги, из-за Белоозера стали стягиваться и подвигаться к югу шайки черкас и с ними разных воров. Они зимовали на северных пределах Московского государства, вероятно, зашедши туда с целью грабить края, менее опустошенные и более укрытые от ужасов Смутного времени, чем срединные области государства. До них дошли призывы Заруцкого; они почуяли, что снова поднимается воровство, и поспешали на помощь к зачинщику воровства. Их шайки появились в Пошехонском уезде, где, по своему обычаю, начали мучить и жечь огнем крестьян: последние бежали и принесли вести о движении воров. Другие воры шли через Вологодский уезд на соединение со своею братиею в Пошехонье. В Городецком уезде, при селе Белых, угличане разбили наголову их отряд. Сзади тех, которые были в Пошехонье, собирались еще шайки в Череповце. Воры делали себе струги, хотели опуститься по Шексне, потом плыть вниз по Волге до Астрахани; между тем отдельными шайками делали на окрестности набеги. Девятого мая напали на Любим[1109]; другие шайки около того же времени опустошили уезды Рома-

[1109] Сноски: 1109
А. И., III, 14–15.

новский и Ярославский. Дошли об этом вести до Одоевского, и он сделал распоряжение отрядить и поставить на разных местах по берегу Волги караулы, чтобы не пропускать воровских шаек. Эти караулы из отрядов стрельцов по нескольку сот доставлены были на Ирыховом острове, за десять верст от Свияжска на устье Казанки, на Услоне, в Тетюшах и на реке Усе. Эти караулы прекратили всякое торговое и промышленное сообщение, и по письмам самарского воеводы Димитрия Петровича Пожарского к Одоевскому выходило, что прежде, чем явятся те воры, которых боятся, самарские жители, получавшие съестное сверху, могли помереть с голоду[1110]. В половине мая сам Одоевский спустился и стал в Самаре. К счастью, все эти предосторожности оказались лишними против Заруцкого.

На Вербной неделе к Заруцкому в Астрахань пришли на помощь пятьсот шестьдесят воровских волжских казаков из станиц. Тогда между астраханцами распространился слух, будто Заруцкий, в совете с новыми и прежними своими соумышленниками, хочет семьсот астраханцев послать на море как будто для охранения пер-

[1110] Сноски: 1110

А. И., III, 421–426, 429. — Ненапечатанные акты о Заруцком, хранящиеся в Арх. Комиссии.

сидских бус, а триста человек в Карабузу и затем всех остальных астраханцев побить во время заутрени Светлого воскресенья, чтобы овладеть их имуществами. Неприязненные отношения, возникшие уже давно перед тем между Заруцким и астраханцами, придавали этому вероятие. В среду на Страстной неделе астраханцы, предупреждая ожидаемую опасность, поднялись сами на Заруцкого; началась драка. Заруцкий с пришедшими казаками и прежними товарищами заперся в Каменном городе, сообщников с ним было до восьмисот. Астраханцы укрепились в остроге, их было тысяч до трех[1111].

Юртовские татары, как только узнали, что астраханцы отпали от воровства, да к тому же услыхали, что сверху под Астрахань идет царская рать, сами отпали от Заруцкого и изрубили присланных им трех человек. Из Астрахани в первый день усобицы убежал стрелец Никита Коробин с восемнадцатью товарищами в Самару и дал знать Одоевскому. Воевода тотчас отправил под Астрахань на судах отряд стрельцов, приказав им идти днем и ночью, а сам намеревался выступить

[1111] Сноски: 1111
А. И., III, 436.

за ними[1112]. Пока они поспели, узнали в Терке о том, что происходит в Астрахани. Терк пристал было к ворам; но когда Заруцкий потребовал к себе тамошнего воеводу Петра Головина, вероятно, не хотевшего пристать к ворам, жители Терка не дали его и отвечали: «Разве с Головиным хотите сделать то, что уже сделали с Хворостининым? Не быть нам с вами в воровском совете. Не отстать нам от московских чудотворцев!»[1113] Головин, вслед за тем услышавши о восстании в Астрахани и о сборе против Заруцкого московской рати сверху, отправил на помощь астраханцам отряд стрельцов под начальством Василия Хохлова. Заруцкий, узнав об этом, сообразил, что он неизбежно пропал, если со всех сторон на него придет рать, и, собравши своих воров, прежде прибытия Хохлова, 12 мая, в ночь с четверга на пятницу, прорвался из Каменного города, сел на струги и убежал вверх из Астрахани на Балду; вниз бежать ему было трудно, чтобы не встретиться с Хохловым. На другой день, 13 числа, Хохлов прибыл в Астрахань. Тотчас в соборной церкви отслужили благодарственное молебствие, звони-

[1112] Сноски: 1112
А. И., III, 431, 433.

[1113] Сноски: 1113
А. И., III, 424.

ли на радости в колокола, целовали крест царю Михаилу. Заруцкий рано в субботу вознамерился проскользнуть на стругах мимо Астрахани и убежать на море, но астраханцы увидали; Хохлов со своими стрельцами и астраханцами сели на струги, и против Астрахани на Волге началась битва. Многие из воровских казаков причаливали к берегу, разбегались или прятались в камышах, многие второпях попадали в воду и топились. Взяли в плен несколько атаманов и казаков, взяли также польку Варвару Казановскую, подругу Марины[1114]. Но Заруцкого и Марины не успели схватить. Они с немногими стругами убежали вперед[1115]. Вероятно, они воспользовались извилистыми руслами Волги, и стрельцы не могли скоро отгадать, куда они уехали, а разбиваться на мелкие отряды было опасно.

Двадцать седьмого мая прибыли в Астрахань посланные Одоевским стрельцы; за медленность они получили выговор: вместо того чтобы спешить, они на Саратовском городище искали

[1114] Сноски: 1114
А. И., III, 445.

[1115] Сноски: 1115
А. И., III, 18.

каких-то поклаж[1116].

Вскоре прибыл 1 июня в Астрахань и Одоевский со своими товарищами. Хохлов по его приказанию приготовил ему церемониальную встречу. Часть служилых людей встречала его верст за двадцать от Астрахани, другие должны были стоять с оружием на берегу Волги. Одоевский въехал в город с иконою Казанской Богородицы. Духовенство должно было в облачении встретить его у соборной церкви, и весь астраханский народ, мужчины и женщины, даже с сосущими младенцами, должны были встречать его. Хохлов очистил для него с товарищами дворы. Одоевский вступил как победитель, хотя не он прогнал Заруцкого; впрочем, без сомнения, страх его прибытия понудил Заруцкого к скорейшему бегству[1117].

Долго не знали, где Заруцкий и что с ним. Но 29 мая, еще до прихода Одоевского, явился к Хохлову стрелец Григорий Елизарьев с рыбного учуга Колуберей. Он рассказал: «Переезжал я через притоку Теребердееву, и мой весельщик увидал: плывут лодки; я стал в камышах и вижу: гребут

[1116] Сноски: 1116
А. И., III. 441.

[1117] Сноски: 1117
А. И., III, 16, 20, 446.

два струга, а меня не видят. Я стал спускаться вниз, для того что вверх нельзя было плыть, чтобы на них не наткнуться, и слышу большой шум, и увидел я из камышей: плывет Ивашка Заруцкий с Мариною и с ними воры-казаки и дворяне, и поплыли по притоку Арчану»[1118]. По этим вестям Хохлов отправил погоню для розыска следов Заруцкого и Марины. Думая, что воры ушли на открытое море, их стерегли на Тереке, но они на море не объявились, и об этом известил Одоевский, отправивши Хохлова с вестью в Москву. Узнали или догадались, что Заруцкий и Марина отправились на Яик. 7 июня Одоевский выслал отряд под начальством стрелецких голов Гордея Пальчикова и Севастьяна Онучина на Яик рассматривать станы и сакмы, куда пошли воры и где их найдут — промышлять над ними[1119]. Пальчиков и Онучин прибыли на Яик 11 июня и напали на следы места, где стояли воры[1120]. Плывя вверх через два дня, 13 июня, они напали на другой след на Баксаковом

[1118] Сноски: 1118
А. И., III, 15, 447.

[1119] Сноски: 1119
А. И., III, 448.

[1120] Сноски: 1120
А. И., III, 32.

верховье; было видно, где воры останавливались, разводили огни, ловили рыбу, стреляли зверя. На другой день снова напали на стан и нашли там драное воровское письмо[1121]. По этим приметам отряд подымался все выше и выше по Яику, мало тогда известному русским, кроме казаков. Их вели вожи. Так они плыли между лесистыми берегами Яика до 24 июня и в этот день нашли воровской табор на Медвежьем острове. Воры сделали острог. Пойманные около Астрахани ногайцы объяснили, что казаки стали на Медвежьем острове с тем, чтобы оттуда, промысливши лошадей, переволочься на Самару. Было воров человек до шестисот, многие из них были ранены. Всем заправлял атаман Треня (Третьяк) Ус с товарищами. Заруцкому и Марине ни в чем не было воли[1122]. Даже сына Марины держал у себя Ус. По этим вестям Одоевский отправил на подмогу на Яик еще один отряд в шестьсот человек со стрелецким головою Баимом Голчиным[1123].

Стрельцы осадили воров; казаки никак не ожи-

[1121] Сноски: 1121
А. И., III, 23.

[1122] Сноски: 1122
А. И., III, 24–26.

[1123] Сноски: 1123
А. И., III, 23.

дали гостей, не приготовились их встретить и, увидя себе тесноту, на другой же день связали Заруцкого и Маринку с сыном и каким-то чернецом Николаем, отдали их стрелецким головам, а сами объявили, что бьют челом и целуют крест царю Михаилу Федоровичу[1124]. Взяли также захваченных Заруцким и находившихся у него в аманатах детей ногайского князя Иштерека и мурзу Джан-Арслана. Только атаманы Тренка Ус да Верзига ушли как-то и несколько времени занимались разбоями, но уже не во имя воровских властей.

Шестого июля пленников привезли в Астрахань. Казаки, бывшие в воровском деле, целовали крест царю Михаилу. Держать Заруцкого и Марину оказалось опасным в Астрахани, чтобы не произошло смуты. Тринадцатого июля Одоевский отправил их в Казань. Заруцкого провожал стрелецкий голова Баим Голчин. С ним для сбереженья было сто тридцать стрельцов и сто астраханцев. Маринку с сыном провожал другой стрелецкий голова, Михайло Соловцов; с ним было пятьсот человек стрельцов самарских. В наказе, данном им, было сказано так:

«Михайлу и Баиму везти Марину с сыном и

[1124] Сноски: 1124
А. И., III, 32.

Ивашка Заруцкого с великим сбереженьем, скованных, и станом ставиться осторожливо, чтобы на них воровские люди безвестно не пришли. А буде на них придут откуда воровские люди, а им будут они в силу, и Михайлу и Баиму — Марину с в..... и Ивашка Заруцкого побити до смерти, чтоб их воры живых не отбили»[1125].

В таком виде их привезли в Казань, а оттуда, по царскому указу, в таком, конечно, виде, прибыла Марина в ту самую Москву, куда с таким великолепием въезжала когда-то в первый раз в жизни, надеясь там царствовать и принимать поклонения.

Скоро после того за Серпуховскими воротами народ видел последнюю сцену своей многолетней трагедии.

Заруцкого посадили на кол.

Четырехлетнего сына Марины повесили.

Разом в то же время повесили и Федьку Андронова. Неизвестно, зачем так долго держали его в живых.

О судьбе Марины говорят различно. Польские историки утверждают, что ее умертвили. Русские, напротив, сообщали полякам при размене

[1125] Сноски: 1125
А. И., III, 31.

пленных, что Маринка умерла в Москве в тюрьме от болезни и с тоски по своей воле. «Нам и надобно было, чтоб она была жива, для обличения неправд ваших», — говорил полякам в конце 1614 года Желябужский.

После расправы с Заруцким еще несколько времени продолжали свирепствовать черкасы по разным концам государства. В числе их атаманов был некто Захар Заруцкий, может быть, брат или родственник Ивана[1126]. Его разбил и уничтожил боярин Лыков под Балахною, 4 января 1615 года[1127]. Черкасы, по известию царской грамоты[1128], церкви Божии обдирали и православных мучили разными муками, «каких по ся место во всех землях не бывало мук». Они, говорит летопись[1129], людей кололи на дрова, в рот насыпали пороху и зажигали, женщинам прорезывали груди, продевали веревки и вешали, иным насыпали снизу пороху и зажигали. Из

[1126] Сноски: 1126
А. И., III, 93.

[1127] Сноски: 1127
Арх. Мин. ин. дел. Дела Польск., № 30.

[1128] Сноски: 1128
Ibid., 25.

[1129] Сноски: 1129
Ник., 214.

атаманов прославился против других зверством какой-то, по прозвищу Баловень. Долго возились с ним, а равно и с Лисовским, который совался по всей Московской Руси, преследуемый воеводами, пока наконец в Северской земле не сломал себе головы в день, посвященный памяти св. Сергия, в знамение кары за троицкую осаду, говорили современники.

Неурядицы продолжались и после, в царствование Михаила Феодоровича, как последствие Смутного времени; но эти неурядицы уже не имели тех определенных стремлений — ниспровергнуть порядок государства и поднять с этою целью знамя каких-нибудь воровских царей; а таков именно был в начале XVII века характер самой эпохи Смутного времени, не представляющей ничего себе подобного в таких же эпохах, какие случались и в других европейских государствах. Чаще всего за потрясениями этого рода следовали важные изменения в политическом, общественном и нравственном строе той страны, которая их испытала; наша смутная эпоха ничего не изменила, ничего не внесла нового в государственный механизм, в строй понятий, в быт общественной жизни, в нравы и стремления; ничего такого, что, истекая из ее явлений,

двинуло бы течение русской жизни на новый путь, в благоприятном или неблагоприятном для нее смысле. Страшная встряска перебурлила все вверх дном, нанесла народу несчетные бедствия; не так скоро можно было поправиться после того Руси, — и до сих пор, после четверти тысячелетия, не читающий своих летописей народ говорит, что «давно-де было литейное разоренье — Литва находила на Русь, и такая беда была наслана, что малость людей в живых осталась, и то оттого, что Господь на Литву слепоту наводил». Но в строе жизни нашей нет следов этой страшной кары Божьей. Если в Руси XVII века во время, последующее за смутной эпохой, мы замечаем различия от Руси XVI века, то эти различия произошли не из событий этой эпохи, а явились вследствие причин, существовавших до нее или возникших после нее. Русская история вообще идет чрезвычайно последовательно, но ее разумный ход как будто перескакивает через Смутное время и далее продолжает свое течение тем же путем, тем же способом, с теми же приемами, как прежде. В тяжелый период Смуты были явления новые и чуждые порядку вещей, господствовавшему в предшествовавшем периоде: однако они не повторялись впоследствии, и то, что, казалось,

в это время сеялось, не возрастало после. Так, например, мы видим два избрания государей с условиями, ограничивающими самодержавную власть, — избрание В. Шуйского и Владислава; но после Смутного времени не было ничего подобного, и самодержавие стало столь же крепко, как прежде. Сам Михаил Феодорович выбран был без всяких ограничений власти; противное свидетельство русского эмигранта XVII века, Катошихина, не подтверждается еще ничем положительным; да если б было что-нибудь в этом роде для нас неизвестное, все-таки впоследствии мы видим полное самодержавие в России на тех же началах, которые стали развиваться гораздо ранее смутной эпохи.

Некоторые признаки участия выборных, как будто признаваемого нужным для государственных и земских дел, в первые годы царствования Михаила были следствиями еще не установившегося порядка, молодости и неопытности государя, а никак не признаком сознательного права. С возвращением Филарета все уже пошло неуклонно полным самодержавным путем. В Смутное время обстоятельства выдвинули на историческую сцену Земский собор; это собрание возымело тогда значение верховной власти: оно управляло

делами всей Руси, налагало поборы, жаловало землями, назначало начальников, вооружало страну, считало себя вправе вести войну, заключать союзы и избирать царя. И после Смутного времени мы встречаем несколько соборов; но их нельзя считать последствием тех, какие были в Смутное время. Такие собрания существовали и в XVI веке, до смут; и тогда, как в XVII веке при Романовых, они отнюдь не имели верховной власти, собирались по воле царей не в определенное время, а когда царям было угодно или в междуцарствие (как то было пред избранием Бориса); их легко было не собирать и вычеркнуть из русской жизни, как и сделалось, когда самодержавие не признало их уместными; тогда мы не встречаем никакого заявления со стороны народа о их необходимости; следовательно, в народе после Смутного времени отнюдь не образовалось понятия о том, чтоб царская власть была разделена или с волею Земского собора, или с волею бояр: примеры Смутного времени прошли бесследно. В Смутное время показывается стремление князей и бояр возвратить свое родовое независимое положение, подчиненное служебному московскому началу; но после Смутного времени еще более чем прежде они были слугами единовластия, и

родовые их преимущества больше, чем прежде, зависели от службы. Федор и Петр Алексеевичи вели дело Иванов Васильевичей, а не Смутного времени. В Смутное время народная громада искала освобождения от тягла, закрепощения и вообще от всякой неволи; но по миновании бурь она не только не приобрела никаких льгот, а подверглась вообще бóльшим тягостям, прогрессивно по отношению к прежним временам. Народная громада завершила дело спасения Руси; когда сильные земли Русской склонились пред внешнею силою, искали у нее милостей или упадали духом и смирялись, народная громада, почуявши и уверившись, что ей будет худо под иноземцами, одушевленная именем угрожаемой веры, не покорилась судьбе и показала истории, что в ней-то именно и хранится живущая сила Руси, что в этой Руси есть душа, народное сердце, народный смысл. Но и эта громада после того погрузилась в безгласие и ничтожество глубже, чем была до переворота. Только казачество после того развилось и усилилось; но скоро, оттесненное к окраинам государства, где оно существовало и до смут, казачество продолжало по-прежнему впитывать в себя все, что было недовольного текущим порядком государственной жизни, и

заявляло свое противоборство не стремлением к достижению каких-нибудь прав народу, не сознательными требованиями положительных изменений в общественном строе, а неопределенною и неосмысленною враждою ко всему, что могло тяготеть над русским человеком во имя государственного долга и обязанностей; а потому казачество не развило в себе никакого идеала гражданского общества, ограничиваясь чересчур общим, первоначальным и неясным чутьем равности и свободы; казачество Стеньки Разина, хотевшего, чтоб на Руси не было ни бояр, ни воевод, ни приказных людей, ни делопроизводства и чтоб всяк всякому был равен, не подвинулось в своих понятиях далеко от времен Болотникова. Шумны и кровавы были его вспышки, тряски, удары, которые оно наносило иногда государству; но в заключение оно всегда, по причинам собственного нравственного бессилия, отдавалось на произвол государственной власти. До известной степени важное в значении оплота окраин казачество, при всяком своем самодеятельном движении к государству, оказывалось неразумно и потому мешало успеху развития русской общественной жизни; а в той степени, в какой развило его Смутное время, и казачество прошло

бесследно для будущего. Заметим, наконец, что в Смутное время Русь более, чем когда-нибудь прежде, столкнулась с Западною Европою, по близким соотношениям с поляками и шведами; но тут также не последовало для нее в будущем ничего важного. После Смутного времени сношения с иноземцами шли таким же путем, как и прежде, подвергаясь изменениям, зависевшим от иных обстоятельств, а не от посещения Руси поляками и шведами. Русские от разноплеменных ратей Рожинского, Жолкевского и Делагарди ничего не переняли, не усвоили, да и не развратились от их влияния на грядущие времена. Эпоха Петра Великого не имеет источника в разорениях, нанесенных Русской земле этими врагами, и, уж конечно, преобразователь России в своих предприятиях не брал себе за образец попыток Димитрия, как бы с первого взгляда ни представлялись наружно схожими виды того и другого. Западное влияние подготовляло Россию к будущему перевороту исподволь, путем дипломатических сношений, торговли, призыва иностранцев на службу; эпоха смут, когда западные иноземцы выказали себя столь враждебно к русским, менее всего была благоприятным временем для плодотворности этого влияния. Таким

образом, рассмотрев разные стороны русской жизни, мы приходим к заключению, что смутная эпоха не произвела коренного переворота во внутреннем мире исторической жизни русского народа и Русской земли. Кроме вре́менных ран, конечно, очень чувствительных, но все-таки временных, она не нанесла Московскому государству и такого рокового удара, который повел бы его к упадку. Опрокинутая внезапным толчком, Московская Русь встала и пошла по прежней дороге. Многознаменательные явления, ожидавшие ее впереди, расширение ее пределов, дальнейшее внутреннее сплочение, и самое важнейшее — ее умственное, общественное и политическое движение по европейскому пути, — все это не истекает из Смутного времени: да и успехи России в этих отношениях замедлило оно мало и не надолго. Территориальные потери, которые понесло Московское государство, едва ли много значат для ее внутренней истории; отнятое поляками было возвращено через полвека, и опять по другим причинам, не вытекавшим непосредственно из Смутного времени; отнятие шведами Балтийского прибережья по Столбовскому договору произвело, по-видимому, впоследствии Северную войну; но, присмотрев-

шись поближе, мы найдем, что собственно для внутренней русской жизни эта потеря не была очень важна; торговля русская уже и прежде избрала путь через Архангельск, а выгодами, какие представляло Балтийское море для заведения флота и сношения с Европой, русские, и владея этим краем, пользовались мало; самая Северная война едва ли была бы избегнута, если б даже место нынешнего Петербурга оставалось при Петре в русских руках; все равно движение России к Европе через этот путь непременно встретило бы сопротивление со стороны Швеции и возникли бы недоумения, как они много раз уже возникали и прежде. Таким образом, и по отношению к Северной войне то, что было непосредственным последствием Смутного времени для этой войны, послужило более ближайшим поводом, чем действительною причиною.

Такая бесследность Смутной эпохи для внутреннего строя Московской Руси в последующие времена зависит от того, что причин появления этого переворота следует искать не внутри, а вне России. Едва ли без натяжки можно указать на что-нибудь такое, что бы условливало неизбежность смут и потрясений в начале XVII века в самом Московском государстве: мы можем

только указать на то, что способствовало в нем удобству нанесения внешних ударов и их тягости, но не видим причин, чтобы в нем должна была произойти смута во всяком случае, так или иначе повернулись бы обстоятельства. Источник этого потрясения — на Западе, а не в Москве. Источник этот восходит к очень отдаленным временам; он прежде всего в папской власти, которая с самого разделения церквей много веков стремилась подчинить отделившуюся Восточную церковь римско-католическому единству и по этому пути шла неуклонно. Как на папском престоле ни менялись лица, а главная задача не изменялась: она была все одна и та же; одно и то же стремление то усиливалось, то ослабевало, смотря по обстоятельствам, но не прекращалось никогда. Зато никогда обстоятельства не располагали римский первосвященнический престол обратить деятельность свою на Восточную церковь в России, как в это время, когда в его распоряжении было превосходное войско иезуитов, производивших чудесные успехи в Польше, — когда только что перед тем русская церковь в землях Речи Посполитой в лице своих иерархов уже признала главенство папы и единство с римскою церковью. Половина работы над русскою

церковью казалась уже совершенною; как не желать, как не стремиться докончить ее! Было бы совершенно невозможно представить, чтоб в это именно время не было сильных попыток присоединить и церковь Московского государства к папе. От этого-то, как мы видели, римский двор так пристально следил за московскими делами, и римско-католическая пропаганда только и высматривала лазейку, чтобы войти туда. Какой бы путь ни представился — сколько-нибудь удобный, — покушение делалось неизбежным и иначе не могло совершиться, как чрез посредство польской Речи Посполитой, потому что это была самая ближайшая к Московскому государству католическая страна, где были готовые деятели и удобное место отправления для действия и где, притом, уже положено начало делу с русскою церковью. Самое желанное, самое надежное для католичества положение дел было бы тогда, когда бы возможно было Польше покорить Московское государство вовсе. Во-вторых, в самой Польше, как уже о том говорено, была историческая необходимость двигаться и распространяться на счет Руси и подчинять русскую стихию польской, — призвание, усвоенное ею со времени соединения с Литвою. Мы знаем, как поляки

перед тем несколько раз пытались возложить венец польский на русского государя. Пример Литвы должен был ободрять их надеждою, что в таком союзе господство останется опять за польскою национальностью и католическою верою. Попытка идти этим путем не удавалась; представилось соображение иного рода — посадить на московском престоле такого государя, который был бы подручником Польше, или, что еще лучше, просто присоединить Московское государство к Речи Посполитой — что удастся! Виды Польши и стремления, освященные преданиями, как нельзя лучше сходились с видами Рима. Вступивши уже на путь исключительного католичества, Польша могла надеяться удержать за собой русские земли прочно только с распространением в них римско-католической веры: таково и было тогда господствовавшее понятие. Ясно, что с усилением католической ревности к обращению схизматиков в лоно Римско-католической церкви у Сигизмунда и окружающей его партии сделалась ходячею мысль о наложении рук на Московию. В это-то время, когда и в Риме, и в Польше крепко думали о Московии, явился названый Димитрий.

До сих пор история не может решить, кто был

этот загадочный человек. Есть в нем черты, которые и теперь располагают исследователя склоняться к признанию его действительным сыном Ивана Грозного: его постоянная смелая уверенность, с которою он высказывался, нигде не изменяя себе, с самого начала своего поприща до трагического конца; потом — признание матерью, прощение Шуйского, характер, чуждый подозрительности и до крайности доверчивый, несовместимый со званием сознательного обманщика. Но, с другой стороны, допустив даже, что все сказания об углицком убийстве, противоречащие его спасению, лживы, останется много такого, что мешает исторической критике окончательно признать это. В своей грамоте, в которой он извещает о себе, он ограничивается общими словами; не описываются подробности о его спасении: это внушает сильное подозрение. Если мы и здесь допустим, что в этой грамоте, писанной еще при жизни Годуновых, он мог скрывать имена тех, которых враги его могли погубить прежде, чем он достигнет престола; если мы предположим, что могли существовать другие документы, где описывались эти подробности, но они были истреблены его врагами, — останется все-таки очень странным и сомнительным,

чтобы те, которые спасли маленького Димитрия, оставили его воспитываться у какого-то сына боярского (который даже не назван), скитаться по монастырям и потом уйти в Польшу и искать службы и хлеба по панским дворам. Тем, которые, таким образом, сохранили бы жизнь царственного отрока, прямая выгода была отвезти его в какую угодно соседнюю землю, а ближе всего в ту же Польшу, где Димитрий потом объявил о себе, и отдать на воспитание самому Сигизмунду, который, имея в своих руках такой важный залог, конечно, наградил бы достойно спасителей. Наконец, если бы допустить, что их от этого поступка удерживал страх и опасение, чтоб Сигизмунд по просьбе от имени Федора не выдал его, почему же не объявили о нем тогда, когда избирали Бориса и несколько недель продолжалось междуцарствие? Тогда стоило только заявить о Димитрии, и Борису, конечно, не видать бы венца. Несообразность характера названого Димитрия с званием обманщика побудила С. М. Соловьева прибегнуть к предположению, что, не будучи Димитрием, он был обманут, а обманутый, и сам верил в свое царственное происхождение, в котором уверили его подготовившие его бояре — враги Годуновых. Это предположение имело бы за собою большое

вероятие, если бы названому Димитрию внушили, что его спасли в таких нежных летах, когда он сам себя еще не помнил. Но из современных свидетельств и, между прочим, из писем самого Сигизмунда видно, что он рассказывал, будто его спасли в Угличе тогда, когда пришли убийцы его умертвить, — тогда, когда Димитрию было уже восемь лет; каждый из нас мог бы ясно помнить себя в таком возрасте при таком событии. Едва ли возможно кого-нибудь уверить, что он в восемь лет был обставлен такими обстоятельствами и лицами, каких он не помнит, и вместе с тем выбить из его памяти впечатления, которые у него остаются от детских лет. Если названый Димитрий не был действительным Димитрием и рассказывал то, чего с ним не было, то, следовательно, хорошо сознавал, что он не Димитрий.

Он никак не был монах Гришка Отрепьев — личность, за которую ухватились с первого раза, когда необходимо было как можно скорее уверить народ, что назвавший себя в Польше Димитрием — не тот, за кого себя выдает. Мы представили уже доводы, обличающие несостоятельность признания Гришкою Отрепьевым лица, царствовавшего под именем Димитрия. Едва ли не самый вернейший довод есть то, что

названый царь Димитрий по своему характеру, понятиям, воспитанию и приемам не представляет ничего такого, что бы побуждало увидеть в нем прежнего дьякона Чудова монастыря. После его смерти, для удержания себя на престоле, Шуйскому необходимо было, чтобы низверженный им царь объявлен был пред народом не Димитрием, а каким-нибудь иным лицом. В неизвестности оставить его личности нельзя было. И, таким образом, признание названого Димитрия Гришкою Отрепьевым переходило из поколения в поколение и усвоялось за пределами Московского государства. Но уже в то время, когда правительство старалось распространять в народе, что он был Гришка, ходили толки о том, что хотя низверженный царь и не был настоящий Димитрий, однако не был и Отрепьев; да и, наконец, существование личности Григория Отрепьева, отличной от личности названого Димитрия, подтверждается, как мы показали, многими современными свидетельствами. Многие знатные поляки (сообщается в хронике Буссова) говорили, что он должен быть побочный сын Стефана Батория. У нас нет никаких данных проверить это известие. Некоторые заявляли мысль, что этот человек был заранее подготовлен

иезуитами. Но в пользу этого предположения нет никаких данных, кроме обычно признаваемого за иезуитами коварства, побуждающего считать их способными на подобную проделку; черты же личности, о которой идет дело, вовсе не говорят в пользу такого предположения; что иезуиты были очень довольны его появлением и спешили им воспользоваться, это верно, но это не дает повода признавать, что они же его и произвели. Так же точно нет никаких данных в пользу того предположения, чтобы он был подготовлен в Москве противными Борису боярами. Нам кажется, если б так было, это не утаилось бы; проделка хотя бы удалась, а все-таки она не укрылась бы впоследствии от истории: бояре московские не жили между собою так согласно, душа в душу, чтоб, устроив подобную затейливую крамолу, не выдать ее. Для появления тогда Димитрия нет нужды подозревать заранее устроенную интригу. Слух, расходившийся при Борисе по Московскому государству о том, что Димитрий жив, мог быть вовсе не пущен с расчетом, мог возникнуть так, как и в наше время появлялись подобные слухи, напр. о том, что жив император Павел или великий князь Константин; такие слухи на нашей памяти ходили в народе, а за ними появлялись и

самозванцы, только они исчезли бесследно для истории, потому что дальнейшему их успеху не было благоприятствующих обстоятельств. Но во времена Бориса царь своими преследованиями и стараниями открыть виновников этого слуха вооружил против себя народ и тем способствовал успеху того, кому суждено было оправдать этот слух. Мы уже говорили, что этот слух не мог не проникнуть на Украину, где вольница привыкла собираться под знаменами самозванцев; он должен был проникнуть и в Польшу, и в Рим, где следили за всем, что делается в Москве, и готовы были ухватиться за все, что только могло дать повод покуситься на независимость церкви и державы Московского государства. Прежде чем названый Димитрий явился, там уже должны были желать, чтобы случилось что-нибудь в таком роде. Всего правдоподобнее предположить, что тот, кто назвался именем Димитрия, был по происхождению из сыновей одного из тех дворян и детей боярских, которые в значительном количестве убегали в царствование Ивана Грозного во владения Речи Посполитой и получали там поместья. На это предположение наводит характер его и приемы, которые он оказывал. Он хорошо говорил по-русски, и вообще его не признавали

нерусским, а между тем на нем были глубокие признаки нерусского воспитания и польских приемов жизни, усвоенных с детства и, так сказать, приросших к его естеству в такой степени, в какой трудно было усвоить их перебежчику из Московского государства. Когда он приехал в Москву и прикладывался к иконам, благочестивые люди тогда уже заметили, что он делал это и знаменовался неистовно, не так, как следовало бы. Русский того времени не мог сделать такой ошибки; народные приемы благочестия до того сроднились с его существом, что скорее выдали бы его, если б он вздумал утаить их, чем он изменил бы им. В поступках названого Димитрия в Москве видно недостаточное знакомство с тем кругом, где он находился. А между тем никто — и враги его, и друзья — не считали его поэтому за нерусского; таким только и мог быть человек, русский по происхождению, научившийся по-русски с детства от русских, но живя в чужой земле. Судя по его веселому и отважному нраву, самое принятие на себя имени Димитрия могло быть скорее делом минутного увлечения, чем обдуманного плана. Пылкое юношеское воображение раздражено было носившимися слухами и толками и при удобном случае увлекло его за

границы благоразумия, а стоило только произвести слово — и возврата уже не было. Полякам Димитрия нужно было. Сказание хроники Буссова о том, каким образом этот молодой человек впервые назвался Димитрием, правдоподобнее всех других. Человек нрава чрезвычайно живого и вспыльчивого, получив оскорбление от Вишневецкого, в порыве негодования и мести мог сказать, что он Димитрий; он тотчас же был отомщен, когда легковерный князь, наделивший его пощечиною, стал просить у него прощения и оказывать ему почести, подобающие царственной особе. Раз назвавшись Димитрием, отступать было невозможно: сознаться в обмане опасно; притом было заманчиво и соблазнительно стать царевичем, и он должен был играть принятую роль; таким путем может объясниться, каким образом человек с открытым, прямым, доверчивым, добродушным характером мог быть сознательным обманщиком. Впоследствии князь Адам Вишневецкий, чтоб скрыть оскорбление, нанесенное им царевичу, мог выдумать и сообщить королю и другим историю о его болезни и признании перед священником. Заметим здесь только вот что: известные нам отношения, в каких находились Мнишек и Адам Вишневецкий

впоследствии ко второму названому Димитрию, слишком ясно показывают, что это были за люди, и вообще каков был нравственный уровень того кружка, в котором появляется Димитрий. Им очень хорошо известно, что второй названый Димитрий не был одним и тем же лицом, которое под этим именем взошло на московский престол и было с него свержено; и, однако, они его перед людьми признавали за такого. От этого более чем вероятно, что и первого названого Димитрия они никогда не признавали по совести за настоящего, и все сообщения о появлении его, которые эти лица передавали другим и между прочим королю Сигизмунду, не могут приниматься за фактически верные. Из разных известий, касающихся первоначального явления названого Димитрия, могут нам некоторые казаться более правдоподобными, чем другие, но ни за одним нет несомнительных доводов, и вопрос о личности названого Димитрия остается до сих пор (а может быть, навсегда останется) неразрешимым; наличные данные недостаточны, и только какой-нибудь случай, счастливая находка нового свидетельства, неизвестного нам, могут пролить неожиданно свет на то, что должно пока представляться нам тайной. Замечательно одно, что

уже в эпоху Смутного времени в Польше, в сенате на сейме 1611 года, говорили, что «источник этого дела, из которого потекли последующие ручьи, по правде, заключается *в тайных умышлениях*, старательно скрываемых, и *не следует делать известным* того, что может на будущее время предостеречь неприятеля»[1130]. В Польше, следовательно, знали *что-то*, но держали в тайне; мы можем заключить из этого одно, что именно в польских источниках может когда-нибудь открыться что-либо неожиданное для объяснения тайны всего этого дела.

Остается несомненным только то, что, сделавшись царем Московского государства, Димитрий открыл для этого государства дорогу к потрясениям и переворотам. Если бы легкомысленное обращение со своею безопасностью и не погубило его так рано, — его смелые предприятия и затеи, с которыми он разом вооружил против себя и Турцию с Крымом, и Швецию, и самого Сигизмунда с его партией в Польше, были не по силам тогдашней России и, вероятнее всего, погубили бы его и потом наделали бы беды государству. Беззаконное убийство не избавило

[1130] Сноски: 1130
Рукоп. библ. Красинск. В. I, 8.

этого государства от потрясений. Названый царь пал, открывши за собою бездну. Выступили на свет таившиеся до времени побуждения; тогда казалось, что государство во многом еще не было достроено; московское единодержавие еще не совсем успело истребить элементы прежнего строя удельно-вечевой Руси. Давно сдавленные единодержавством, эти элементы уже ослабели; едва ли когда-нибудь они могли проснуться и заиграть сами собою и, конечно, должны были совершенно растаять под давящей силой; но когда эта давящая сила пошатнулась, они еще раз показались в истории. И вот, мы видим, князья и бояре стали думать об ограничении самодержавия Боярскою думою. Видим — народная громада ищет вольности. В прошедшие времена, когда усиливалось единодержавие и усложнялись формы государственного механизма, оппозиция против государства существовала в народе, но только, по причине слишком большого географического пространства, она выражалась бегством, удалением от тягостей, которые налагала на народ государственная связь, а не деятельным противодействием, не борьбою, где могли бы из ряда столкновений и обоюдных уступок вырабатываться такие государственные основы, которые

соглашали бы сознательные противоречивые заявления власти и народа. Русский человек, когда чувствовал, что ему дурно, бежал на окраины — в украинные земли или в казачество, и там накоплялись и прозябали эти враждебные государству стихии. Теперь вешняя сила, ударившая на государство, вызвала их вместе с собою к оппозиции деятельной вместо страдательной. Недовольство тягостями, неизбежными с государством, таилось и в тех, которые не бежали, а терпеливо их несли. Русский народ стал искать, желать и ожидать льгот, а это при неясных тогдашних понятиях значило вообще как можно меньше подчиняться государственному порядку. Народ стал желать, если возможно, жить без государства. И кто ему обещает больше льгот, то есть кто указывает ему надежду не чувствовать на себе тягости государства, тот (если только обещающий силен) ему друг и властитель. Когда порядок в государстве не потрясен и есть крепкая власть, народ не поддается таким льстивым обещаниям, потому что он не верит и боится; но в такую эпоху, когда не стало единой сильной власти, обещания, чуть-чуть сопровождаемые признаками силы, тотчас привлекают толпу. И потому-то в Смутное время, пока народ не испы-

тал, что он обманывается, — кто ему льгот ни обещает, тот ему и царь. Жалобы современников на всеобщее развращение и «малодушество» русских понятны, когда мы представим себе, что все русские люди почувствовали разом надежду освободиться от разных тягостей единодержавного государства, которые у них лежали на плечах; князья и бояре — от царской грозы и опалы; дворяне, дети боярские и вообще служилые — от мало вознаграждаемых служб; народ посадский и крестьянский — от тягла, поборов, посох, работ, мыт, кабал и вообще всякой неволи. И оттого начали русские люди перебегать то к тушинскому Димитрию, то к Шуйскому, а другие толпились около иных названых царевичей — все ища себе льготы, то есть бессознательно ища разрушения государства. Чувства законности не могли их сдерживать, когда не было такого, кто законно мог бы назваться царем. Сначала, как известно, сторона Тушинского вора брала верх; народ склонялся к нему, но тут же народ очень скоро ошибся в расчете и надеждах; насилия и своевольства польских и русских ратных бродяг показались народу хуже всяких государственных тягостей — и дело Шуйского поправлялось. Неспособность и ошибки Шуйского довели его до падения и

открыли дорогу полякам в Москву. Князья, бояре и дворяне поспешили под знамя Владислава, потому что увидали возможность приобрести льготы и права для себя. Народ покорялся с первого раза с недоверчивостью; он уже знал поляков и ненавидел их, он готов был лучше стать под власть вора Димитрия, чем отдаваться полякам; известно, что расположение, возникшее тогда в московском черном народе к вору, побудило бояр пригласить польское войско поместиться в Москве. Народ был прав по-своему. С польским влиянием высшим классам было бы хорошо; многие (как видно по легкой присяге самому Сигизмунду) полагали, что для них даже было бы лучше, если б не Владислав сделался царем, а сам король польский и Московское государство присоединилось бы к Польше. Пользоваться правом и значением польских панов в своей земле было очень заманчиво для тех, которым всего дороже были личные выгоды; но зато народной громаде под польским владычеством предстояло такое тягло, какого она еще и не испытывала; ведь и в договоре с Владиславом о народе мало заботились, а, напротив, закрепощение землевладельцев ставилось условием. Украинные земли, населенные издавна беглецами от тягла, более

других ненавидевшие государственные тягости и неволю, первые упорствовали против признания Владислава. Казаки — тем более. Поляки очень скоро привели к тому, что и вся земля русская на всех концах своих заговорила против них в один голос.

Государство Московское как ни долго составлялось, но в эти печальные годы стало показывать признаки разложения; земли, им соединенные, начинали проявлять сознание самобытности. Северо-восток Руси лениво и неохотно помогал спасению Москвы. Украинные города и Северская земля постоянно шли в разрез со столицей; инородцы на востоке волновались и хотели сбросить с себя русскую власть. В Казани и Астрахани виднеются попытки оторваться; Псков, со своею землею, явно припомнил себе былую независимость, показывал мало участия к общему делу и вращался в своей особой сфере. Новгород хотя заявлял о своей нераздельности с Москвою, но уже считал себя государством, имеющим право заключать договоры и распоряжаться своею судьбою, — связь его с Москвою сама собой переходила из строго-государственной в древнюю федеративную. Понятно, что еще при нескольких годах расстройства такое распадение пошло бы

прогрессивно, и Русь скоро очутилась бы опять с удельными землями.

Но на Руси крепче государства была другая соединяющая связь — вера. Пскович, новгородец, русский казанец, сибиряк, казак — все чувствовали одинаково, что они православные, все люди одной русской веры, принадлежат одной церкви. Даже казаки малорусские, вообще чуждые Московскому государству, на этом вопросе чувствовали свое с ним соединение и становились в ряды его защитников. Русский народ не был искусен в религиозной догматике; самые духовные, при тогдашнем малознании, были большею частью плохие богословы; но зато в народе было беспредельное уважение к внешним признакам православного благочестия: храмы, св. мощи, иконы, церковные обряды и уставы были для него предметами духовного утешения, высочайшею надеждою и опорою в жизни; в житейских бедах, не находя ни средств, ни способов избавиться от них, русский человек видел для себя единственную отраду в уповании будущей жизни, а к ее достижению вела церковь, — понятно, что народ охранял вместе с церковью то, что было дороже всего, что оставалось ему в утешение тогда, когда все отнималось; понятно поэтому, что чем

угнетеннее было его положение, тем он живее ощущал важность церкви; тут все одинаково чувствовали, одинаково мыслили и все одинаково поднимались против поляков, когда убедились, что поляки, овладев Москвою, посягнут на эту святыню. Нельзя сказать, что больше поднимало русский народ — страх ли польских насилий над своими телами и «животами» или страх за веру; и то и другое соединилось вместе, тем более что те, которые не уважали веры, по народному понятию, само собою не могли быть справедливы и милостивы к православным людям. Духовенство с самого начала более других званий стояло за старый государственный порядок. Во-первых, церковь всегда охранительна по своему принципу и всегда склоняется к миру, а не к переворотам, следовательно к старине, с которою неразлучен порядок, а не к новизнам, неизбежным с беспорядками. Во-вторых, духовенство и для церкви, и для своего сословия не могло ничего хорошего ждать от польского владычества: духовные слышали, что делалось с православием во владениях Сигизмунда; они понимали и гласно вопияли, что вся эта буря затем и поднялась на Русскую землю, чтобы ввести латинство. Они понимали, что по Руси рассыпятся иезуиты и всевозмож-

нейших видов латинские монахи и прежде всех подвергнется гонениям православное русское духовенство. В видах самосохранения духовные прежде всего должны были стоять и возбуждать народ против поляков.

После духовенства за старый государственный строй стояли более других люди торговые и промышленные; для них, поставивших себе целью обогащение посредством промыслов и расчета, естественно, прежде всего необходим порядок и мир. Их можно соблазнить обещаниями льгот тогда только, когда они видят какое-нибудь ручательство прочности: привыкши к соображениям, они дальновиднее других; каковы бы ни были тягости, возлагаемые на них государственными властями, — все же они легче беспорядка в стране, грабежей, разбоев, игры разнузданных страстей. Правда, жившие в отдаленных краях, куда не достигали польские шайки, лениво принимались за дело восстановления государства, пока у них были свои источники и пути обогащения; но торговые города, которых промыслы и операции были в органической связи с Москвою и срединою Руси, как, напр., богатая Вологда, Ярославль, Нижний, прежде и живее чувствовали необходимость государственного порядка. От

этого и последнее восстание русского народа зачалось в Нижнем — городе, где находилось тогда несколько зажиточных капиталистов и промышленников, благоразумно сообразивших, что лучше пожертвовать всем достоянием, чтобы иметь средства опять нажить потерянное, чем отдать его на разграбление иноземцам и разбойникам и не видеть после того возможности вознаградить себя. Служилые люди и народ скорее увлекались надеждами на новизну, чем купцы и зажиточные промышленники. Служилые надеялись от новых властей милостей и прав, народ — льгот от тягла; и тех и других соблазняла видимая возможность скоро пользоваться обещанным, тогда как, напротив, торговый и промышленный человек не может пользоваться самыми заманчивыми нравами иначе как с течением времени, для которого необходим порядок, а коль скоро он не видит гражданского порядка и безопасности, то не дает никакой цены надеждам, ожиданиям и предложениям. Служилому дают жалованье и поместье; он пользуется жалованьем, едет в поместье и берет с этого поместья, что взять можно; его, таким образом, можно соблазнить скоростью получения; он живет службою и, при несложности управления хозяйством, не привык

смотреть на будущие времена; живет — как Бог посылает. Крестьянина освобождают от тягостей — он доволен, потому что не дает того, что иначе давал бы; он уже чувствует приобретения, его нужды несложны, планов впереди у него мало. У торговца цели деятельности в будущем; он затрачивает свой капитал с расчетом увеличить его со временем, и всякий такой расчет мыслим только тогда, когда можно предугадывать в известной степени будущее стечение обстоятельств. Купцу и промышленнику пусть дадут права, свободу от пошлин и поборов — все это для него ничего не значит; ему нужно благоустройство и спокойствие в крае, чтобы он на будущее время мог пользоваться дарованными правами. Эти обстоятельства, по нашему мнению, были, между прочим, причиною того, что в Смутное время торговый и промышленный зажиточный класс, после духовенства, больше других склонялся к поддержанию старины и восстановлению расшатавшегося государства в прежнем виде; он не мог сочувствовать полякам, так как поляки его только грабили и производили в крае беспорядок, а ему нужен был порядок и мир. Служилые и черные становились воедино за восстановление прежнего государства, когда увидели суетность

всех надежд на милости, льготы и права.

Безрассудство поляков также немало помогло русскому делу. Поляки сделали все, чтобы раздражить, озлобить и довести до отчаяния русский народ, и вместе с тем все, чтоб облегчить ему успех и победу над собою. У них по отношению к московскому делу господствовало противоречие побуждений, видов, соображений, намерений, и они не знали, за что им впору схватиться, куда обратиться, как поступить; считали легким, что в самом деле было для них трудно, и трудным, что могло быть легко; король оставался под Смоленском, когда ему следовало идти в Москву; Жолкевский из Москвы отступал, когда нужно было упорствовать; Сапега под Смоленском упорствовал, когда уже надобно было уступать; поляки показывали свою грозу под Смоленском, где следовало действовать мирно; поляки вступали в мирные сделки с шайкою врага, когда на нее надобно было действовать грозою; поляки обманывали московских людей, когда их нельзя было обмануть; поляки не давали королю денег и войска для окончания начатого дела; но в то же время позволяли своим бродягам разорять Московское государство и тем возбуждать и усиливать против себя ненависть в русском народе;

в конце концов поляки довели дело до того, что эти бродяги обратились в свое польское отечество и начали терзать его так же, как терзали перед тем чужую землю, а упущенное из-под рук Московское государство, возвративши себе независимость, воспитало в себе завет мщения Польше за Смутное время. Если эта эпоха для Московского государства нанесла величайшие, но временные и поправимые бедствия, то для будущего Польши она же оказалась с важными и роковыми последствиями. Вслед за освобождением Москвы от поляков некоторые дальновидные паны, и в том числе Ходкевич, понимали, что между Польшею и Москвою существует такая историческая необходимость, что либо Москву — Польша, либо Польшу — Москва покорить должна; они предрекали, что коль скоро упущенное и этот раз Московское государство оправится и окрепнет, то припомнит Польше старые годы и совершит над Польшею то, чего Польша не успела совершить над Москвою. Поляки хотели исправить дело, но уже было поздно. В 1618 году Владислав был под Москвою и отошел от нее; по Деулинскому договору Польша сделала приобретение — удержала за собой Смоленск, часть Северщины, но должна была признать царя

Михаила на престоле того государства, которое было у нее уже в руках: для Польши тут уже была потеря, а не приобретение.

Обе стороны чувствовали непрочность и неудовлетворительность положения и заключали только перемирие. Но с этих пор в борьбе Руси с Польшею деятельною, наступательною стороною делается Русь, а страдательною Польша — не так, как было прежде. Московскому государству приходилось расширяться и расти, а Польше терять и падать. Не прошло пятидесяти лет, как Польша, недавно чуть не покорившая московскую Русь, должна была бороться против попыток к освобождению той части Руси, которая уже давно была у нее во власти. Московское государство вмешивается в эту борьбу — и Польша чуть не погибла: только неблагоразумию тогдашней московской политики она обязана была тем, что могла, после испытанного потрясения, влачить еще целое столетие с небольшим болезненное существование, постепенно хирея и сгнивая, пока не настал для нее неизбежный час разложения. Московская война начала XVII века была последним фактом ее расширительного стремления, вместе — последним событием, которое заключает цветущий период польской истории

и начинает период ее упадка. Конечно, причины этого упадка могут отыскаться во времена, предшествовавшие смутной эпохе, — но с этих пор падение Польши стало выражаться последовательным рядом взаимозависимых фактов. Таким образом, смутная эпоха Московского государства была событием, чрезвычайно богатым непосредственными своими последствиями во вред Польше. Никогда еще с такою резкостью и так некстати не заявлена была боязнь усиления королевской власти в ущерб шляхетской свободе; во всем разгуле разыгрывалась польская вольница: наша смутная эпоха была школою своевольства, несогласия, безначалия, политического неразумия, двоедушия, обмана, легкомыслия, распущенности, мелкого эгоизма, не ценящего общих нужд, — словом, всего того, что впоследствии впилось в плоть и кровь польского общества и повело его к разложению.

Но то самое обстоятельство, что страшное потрясение, испытанное и тяжко прочувствованное государством Московским, оказало на него только временное влияние и осталось без важных последствий для его внутреннего организма, — очень знаменательно в русской истории. Несмотря на множество разрушительных

элементов, которые все вышли тогда с самого дна жизни, государство это заключало в себе столько здоровых и живительных начал существования и дальнейшего саморазвития, что устояло против внешнего напора, удержалось на той самой степени развития, до какой успело прежде того дойти, скоро оправилось от ударов и как ни в чем не бывало пошло своею прежнею историческою дорогою, зарубивши, так сказать, себе на память былое для будущего расчета. Основной материал этого государства, несмотря на слабость связей в некоторых местах, оказался до того крепок, что Польша, наперши на него с размаху, скорее сама больно зашиблась об него своим, уже нездоровым, телом и усилила тем свою болезнь, но не одолела сломить его и раздробить, а потому Смутное время останется чрезвычайно знаменательною эпохою в русской истории, как свидетельство крепости внутренней жизни народа — важный задаток для ее будущего.

Источники

При изучении эпохи Смутного времени Московского государства у автора были под рукою следующие источники и пособия, из которых важнейшие означены двумя звездочками, менее важные — одною, а те, которые доставляют мало верных сведений, оставлены без знака:

1 Акты Археографической Экспедиции. Т. II. 1836.**

2 Акты исторические. Т. II. 1841.**

3 Акты Западной России. Т. IV. 1851.**

4 Арцыбышев, Повествование о России, т. III. 1843.**

5 Avisi et lettere giuste di cose memorabili succedite tanto in Africa nel regno di Bibuga che nella Guinea quanto in Moscovia raccolte da Barezzo Barezzi. MDCXII.

6 An appendix being the amours of Demetrius and Dorenski, rivals in the affections of Marina. 1677.

7 Annuae Societatis Jesu. 1604, 1605, 1606.

8 Barezzo Barezzi, Relatione della segnalata et come miraculosa conquista del Paterno imperio conseguita dal Serenissimo gioviue Demetrio gran duca di

Moscovia in quest' anno 1606. (Приписывается Антонию Поссевину, знаменитому иезуиту.) *

9 Bohomolca, Życie Jana Zamoyskiego. 1837.*

10 Bond. Russia at the close of the sixteenth century, MDCCCLVI. (Сочинения Флетчера: Of the Russe Commonwealth, и Горсея Travels.) *

11 Brereton. Newes of the present miseries of Ruschia. 1614.*

12 Временник Императорского Московского Общества Истории и Древностей. Кн. XVI и XVII. (Иное сказание о самозванцах, и Книга, глаголемая Новый летописец.) **

13 Valerii Archangelis legationis polonicae ohm auditoris ad polonos pacis persuasio. 1608.

14 Videkindi. Historia belli Sveco-Moscovitici decennalis, MDCLXXII.*

15 Warachtige ende eygentljcke Beschryvinge van de wonderbare seer gedenckwerdighe geschiedenissen die in Moscovia zijn vorgevallen in den naest voorleden ende in den tegenwoordighen jare 1606 etc. door een geloofwerdich Coopman die doen ter tijdt aldaer teghenwoordich was. MDCVI. (Перевод; см. № 99.) *

16 Wassenberg, Historia gestorum Vladislai IV, 1643.

17 Wiadomości o krwawéj i okratnéj rzezi w mieście

Moskwie i okropny a żałośny koniec Dymitra W. X. i Cara Moskiewskiego przez Hollendra na onczas w Moskwie bawincego etc. 1861. (Польский вариант к № 98, с прибавлениями.) *

18 Gratiani. De Joanne Heraclida despota Valachorum principe libritres. 1759.*

19 Grevenbruch. Tragoedia Moscovitica sive de vita et morte Demetrii qui nuper apud Ruthenos imperium tenuit narratio ex fide dignis scriptis et litteris excerpta. 1608.*

20 Hystorya Dmytra falszywego. (О втор. самозв. Польск. Рукоп. И. П. библ. № 32.) *

21 Historica Russiae monumenta ex antiquis exterorum gentium archivis et bibliothecis derempta, T. I. 1842.**

22 Два хронографа, принадл. Карамзину, ныне находящиеся в Археографической комиссии. (Рукопись.) **

23 Дворцовые разряды. Т. I и II. 1851.**

24 Дополнения к актам историческим. Т. I. 1851.**

25 И. И. Голиков. Дополнения к Деяниям Петра Великого. I, II. 1790.**

26 Древняя Российская Вивлиофика. Тома VII, XII, XIII, XV и XX. 1788–1791.**

27 D'Alessandro Cilli, Historia di Moscovia. 1627.

28 Danckaer, Beschrywinge van Moscowien oft Rusland. 1615.*

29 Del conte Maiolino Bisaccioni il Demetrio Moscovita. Historia tragica. 1643.

30 De Thou, Historiaram sui temporis usque ad annum 1607. Французский перевод: Histoire universelle depuis 1643 jusque l'an 1607. MDCCXXXIV, liv. CXXXIV.*

31 Dzieje Marsa krwawego y sprawy odważue rycerskie przez Wielm. Pana JM. Pana Piotra Sapiehę starostę uświackiego w monarchyi Moskiewskiey od roku 1608 aź do roku 1612 sławnie odprawowane. (Рукопись.) *

32 Diariusz spisany przez JM. Pana Stanisława Niemojewskiego podstolego koronnego drogi i różnych przypadków pociesznych i żałośnych prowadząc córkę JW. JM. Pana Jerzego Mniszka wojewody Sendomierskiego pannę Marynę poszlubionę małżonkę, W. Kniaziowi Moskiewskiemu Dymitrowi Iwanowiczowi, przybycie do Moskwy, koronacya, bankiety i festyny, wreszcie niefortunna śmieré W. Kniazia, przez tegoź naocznego świadka opisana. Anno Domini 1606. (Рукопись. Отрывок из нее был помещен в львовской газете Wieniec. 1862.) **

33 Drei merkliche Relationes: erste von der Victori

Sigismundi III des grossmachtigen Konigs in Polen und Schweden so Ihr. Majest. uber der Moscoviter vermainten unuberwindliche Vestung Smolenzko erhalten und mit sturmender Hand erobert, den 13 Juni des 1611 Jahrs. 1611.*

34 Elias Herekmans. Eeen Historischen Verhael van de vomaemste berverten des keyserrycks van Russia ontstaen door den Demetrium Ivanovits die deu valschen Demetrius t'ourecht genaempt wert. (Издано в настоящее время Археографическою комиссиею.)

35 Житие преподобного Дионисия. (Рукопись.) **

36 Żabczyca. Żegnanie ojczyzny Moźney Cesarzowey Moskiewskiey. 1606. (Стихами.)

37 Żabczyca. Mars Moskiewski krwawy. 1606. (Стихотворное описание похода Димитрия в Москву, 1604–1605 гг.) **

38 Żabczyca. Posel Moskiewski. 1606. (Стихотворное описание посольства Афанасия Васильева.) **

39 Życie Lwa Sapiehy. 1837.*

40 Записки гетмана Жолкевского о московской войне, изданные Павлом Александр. Мухановым, с приложением разных современных актов и отрывков из рукописи ксендза Яна Велевицкого,

касающихся самозванцев и вообще сношений России с Польшею между 1603 и 1635 гг. 1871.**

41 История государства Российского Н. Карамзина. Тома X, XI и XII. (В примечаниях, выписки из разных источников.) **

42 История России с древнейших времен, С. Соловьева. Т. VIII. 1856. (Есть выписки из современных актов.) **

43 История Смутного времени Д. Бутурлина. Ч. 3. 1839. (В примечаниях современные акты.) **

44 Историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссиею. Т. I. 1872.**

45 Isaaci Massae Chronicon. Een cort verhael von begin en oorspronck deser tegenwoordige oorloogen en troeblen in Moscovia, totten jare 1610 int cort overlopen ondert gouvemement van diverse vorsten aldaer. (Издано в настоящее время Археографическою комиссиею.) **

46 Inno Petricii. Historiae Moschoviticae.*

47 Kaspra Niesieckiego, Korona Polska. 41. 1728.*

48 Kobierzycki. Historia Vladislai Poloniae et Sueciae principis etc. usque ad excessum Sigismundi III Poloniae Sueciaeque regis. 1656.**

49 Kognowicki. Życia Sapiehów. 31.1790.

50 Krajewski, Chronologia wojny Moskiewskiey. 1613. (Стихотворное описание военных дей-

ствий.) **

51 Krotkie a prawdziwe opisanie wzięcia Smolenska przednieyszego zamku Panstwa Siewierskiego. 1611.*

52 Летопись о многих мятежах. 1788.*

53 Legende de la vie et de la mort de Dęmetrius l'imposteur, imprimé à Amsterdam en 1606. Reimprimé en 1839. (Вариант к № 98.)

54 Московск. Гл. Арх. Ин. Д. Дела Польские № 26 (рукопись).**

55 Ibid. № 27 (рукопись).**

56 Ibid. № 30 (рукопись).**

57 Московская резня (русский перевод франц. изд. в Париже см. № 83).*

58 Margeret. Estat de l'Empire de Russie et grand Duché de Moscovie, avec ce qui s'y est passé de plus memorable et tragique pendant le règne de quatre Empereurs: à sęavoir depuis l'an 1590 jusques en l'an 1606 en septembre. MDCLXIX. Reimprimé à en 1855.**

59 Marchocki. Historya wojny Moskiewskiey. 1841.**

60 Milton. A brief History of Moscovia. 1682.*

61 Narratio brevis eorum, quae solemni apparatu acta sunt Romae a natione Polona ob insignem victoriam ex Moschus partam a serenissimo rege

Sigism. III et ob Moscovicam universam in ipsius potestatem reductam. MDCXI.

62 Naruszewicz. Historya Jana Karola Chodkiewicza wojewody wileńskiego, hetmana wielkiego W. X. 21.1837.*

63 Neue Zeitung auss der Moscau von den sonderbaren practicken der Jesuiten und Ihrem auffgeworffenen vermeinten Grossfwrsten Demetrius was es fur ein Ende genommen. Neben einem Lateinischen Schreiben. 1606.*

64 Niemcewicz. Dzieje panowania Zygmunta III. 3t. 1836. (В приложениях, современные акты).**

65 Nowakowski, Zródła do dziejów Polskich. 1841.

66 Nowiny z Moskwy od Jana Wisloucha. (Рукопись, заключающая дневник похода Димитрия в 1604–1605 гг.) *

67 Отрывки из летописи, напечатанные г. Мельниковым в Отечественных записках. Т. XXIX.*

68 Orzelski. Bezkrólewia ksiąg ośmioro. 3 t. 1858.*

69 Памятники дипломатических сношений России. 1851. Т. I.*

70 Подлинные свидетельства о взаимных отношениях России и Польши, Муханова. 1834.*

71 Псковская летопись. Полное собрание русских летописей. Т. VI. 1848,**

72 Paprocki, Pharus Sarmatica etc. 1633.

73 Pauli Piasecii Episcopi Praemisliensis Chronica gestorum in Europa singularium accurate ac fideliter conscripta ad annum Christi MDCXLIII. 1645.*

74 Pieśń o tyraństwie Szujskiego. 1609.*

75 Pisma Stanisława Żołkiewskiego, wydał August Bielowski. 1861.**

76 Poselstwo do Króla P. M. y do Pana Hetmana y do Ich. MM. PP. Senatorów y do wszystkiego wobec rycerstwa pod Smoleńskem w obozie będącego od sławnego rycerstwa z wojska Cara Dymitra y respons na tę poselstwo. 1610.**

77 Process powodzenia Dmitra Iwanowicza teraźniejszego Cara Moskiewskiego. (Рукопись.) **

78 Рукопись Филарета, митрополита московского и всея России. 1839.*

79 Русская летопись по Никоновскому списку. T. VIII. 1792.**

80 Raczyński. Poselstwo od Zygmunta III do Dymitra Iwanowicza cara moskiewskiego. 1837.**

81 Reingoldi, Heidensteini Rerum Poloniarum ab excessu Sigismundi Augusti. Libri XII. MDCLXXII.*

82 Relazione dell'Acquisto et Presa della Città, et Fortezza di Smolenscho in Moscovia. 1611.**

83 Rerum Rossicarum scriptores exteri a collegio archeographico editi. T. I. a) Bussov Relatio, das ist Summarische Erzahlung. b) Petri Petreji de Erlesunda,

Historien und Bericht von dem Grossfürstentum Muschkow. 1856.*

84 Recit du sanglant et terrible massacre arrivé dans la ville de Moscou. 1859 (французский вариант английского подлинника; см. № 98).*

85 Rome et Démétrius d'après des documents nouveaux, avec pièces justificatives et facsimile et facsimile par le P. Pierling s. j. 1878. (В приложениях, современные письма.) **

86 Сборник Муханова. 1836.**

87 Сказание об осаде Троицкого-Сергиева монастыря от поляков и о бывших потом в России мятежах, сочиненное оного же Троицкого монастыря келарем Авраамием Палицыным. 1822.*

88 Сказания современников о Димитрии Самозванце. Т. 5. 1824. Переводы: в 1-м томе — Хроники Буссова; во 2-м — Записок Паэрле (Hans Georg Peyerle), аугсбургского купца, бывшего в Москве в 1606–1608 гг.; в 3-м — Маржерета и де Ту; в 4-м — Дневники Марины Мнишек и польских послов, помещеннные подлинником в Hist. Russ. mon., и в 5-м — Памятников Маскевича. Изд. Н. Устрялова.**

89 Собрание государственных грамот и договоров. 1819. т. II **

90 Samuel Bielski. Diariusz roku 1609. Изд. 1848.*

91 Samuel Maszkiewicz. Pamiętniki. 1838.*

92 Sir Thomas Smithes. Voyage and entertainement in Ruschia. London. 1605.*

93 Skargi. Na moskiewskie zwycięstwo knzanie. 1611.

94 Stanisław Borsza. Wyprawa Cara Moskiewskiego Dymitra do Moskwy z Jerzym Mniszkiem. (Рукоп. библиот. генеральн. штаба.) *

95 Stanislai Lubieński episcopi Plocensis opera posthuma historica. MDCXLIII.*

96 Supplementum ad Historica Russiae monumenta. 1848.**

97 Три записки времен Лжедимитрия, изданные по спискам Императорской Публичной библиотеки. 1862.

98 Tragoedia Demetrico-Moscovitica. История достопамятных происшествий, случившихся с Лжедимитрием, и о взятии шведами Великого Новгорода, сочинение Матвея Шаума. 1614. Изд. 1847.*

99 The Russian Impostor or the History of Muscoviae under the usurpation of Boris and the imposture of Demetrius. MDCLXXIV.

100 The report of a bloody and terrible massacre in the city of Mosco. 1607. (Оригинал для №№ 15, 17, 52 и 83).*

101 Хронограф, напечатанный г. Мельниковым отрывками в «Москвитянине». 1850. Ноябрь.**

102 Сборник князя Хилкова, изд. Археографическою комиссиею. 1879.*

103 Записки киевского мещанина Божка Балыки о московской осаде 1612 года. (Киевская Старина. 1882. Т. III. Июль.) **

104 Chlebowski. Zwycięstwo N. Monarchy Zygmunta III. 1611.

105 Chlebowski. Tryumf radośny wszystkich obywatelów koronnych i W. X. L. z sławnego zwycięstwa N. Monarchy Zygmunta III. 1611.

106 Четыре сказания о Лжедимитрии, извлеченные из рукописей Императорской Публичной библиотеки. 1863.*

107 Чтения Императорского Московского Общества Истории и Древностей. 1847, № 9. (Сказание еже содеяся в царствующем граде Москве.)

108 Ciampi, Bibliografia critica delle antiche reciproche corrispondenze politiche. ecclesiastiche, scientifiche, litterarie, artistiche dell' Italia colla Russia, colla Polonia ed altre parti setteńtrionali. 3 v. 1834–1842.*

109 Ciampi, Esame critico con documenti inediti della storia di Demetrio di Iwan Wasiliewitch. 1827.*

110. Ciampi. Notizie dei Secoli XV e XVI sulla Italia,

Polonia e Russia. 1833.*

111 Щербатов. История Российская от древнейших времен. Т. VII. 1791. (Современные грамоты.)

Сверх того, автор пользовался разными актами, письмами и заметками, найденными им в разных русских, польских и латинских рукописях[1131], хранящихся в:

1) Императорской Публичной библиотеке;

2) Литовской Метрике при Правительствующем Сенате;

3) Московском Главном Архиве Иностранных Дел;

4) Библиотеке Красинских в Варшаве;

5) Библиотеке Потоцких в Вилянове;

6) Библиотеке Главного Штаба;

7) Румянцевском Музее, ныне московской Публичной библиотеке;

8) Библиотеке Археографической комиссии.

[1131] Сноски: 1131

В частности, имеется в сносках, но нет в списке источников: Lubieniecki A. Poloneutychia abo Polskiego Królestwa szczęście a przy tym i W. Księstwa Litewskiego и *Niemojewski,* Diariusz drogi spisanej i różnych przypadków pocieszn ych i żałosnych prowadząc córkę Jerzego Mniszka, Marynę, Dymitrowi Iwanowiczowi w roku 1606. — *Прим. ред*.